

ВИКТОР РЕМИЗОВ



ВЕЧНАЯ
МЕРЗЛОТА

РОМАН

18+

Annotation

Книги Виктора Ремизова замечены читателями и литературными критиками, входили в короткие списки главных российских литературных премий – «Русский Букер» и «Большая книга», переведены на основные европейские языки. В «Вечной мерзлоте» автор снова, как и в двух предыдущих книгах, обращается к Сибири. Роман основан на реальных событиях. Полторы тысячи километров железной дороги проложили заключенные с севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949—1953 годах. «Великая Сталинская Магистраль» оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы. Роман построен как история нескольких семей. Он о любви, мощи и красоте человека, о становлении личности в переломный момент истории, о противостоянии и сосуществовании человека и природы. Неторопливое, внимательное повествование завораживает и не отпускает читателя до последней фразы и еще долго после.

- [Виктор Ремизов](#)
 - [Вечная мерзлота](#)
 - [Послесловие](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)

- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)

- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)

- [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
-

Виктор Ремизов
Вечная мерзлота

*Степану
Ремизову*

Вечная мерзлота

1

Был солнечный день начала июня. Снег у поселка сошел, даже и подсохло кое-где, но в тайге по низинам еще по пояс можно было провалиться. Стаи гусей и уток вторую неделю тянули торопливо над Енисеем, в тундру, к недалеким отсюда берегам Ледовитого океана. Несли на крыльях не раннюю и не позднюю, обычную весну 1949 года. Больше двух тысяч верст летели птицы над могучей сибирской рекой, грязной и безлюдной, какой она и бывала каждую весну. Здесь же, у таежного станка Ермаково – пяток изб да два длинных барака на высоком берегу, – как нигде кипела жизнь.

Прямо к навалам льда были ошвартованы три баржи. Люди с грузом на плечах сновали по трапам, криво-косо проложенным среди ледяных торосов, катали бочки, паровые лебедки вытягивали из трюмов ящики и тюки. «Вира!», «Майна!» – то весело, то с жестким, подгоняющим матом разносились крики в весеннем воздухе. Солнце жарило, торосы текли, по голым мужицким спинам бежал рабочий пот.

Ермаковский берег насколько хватало глаз был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высотой и с дом, опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с линялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами.

Даже под ярким солнцем Енисей выглядел неуютно. Основная масса льда прошла, но вода продолжала подниматься, боковые речки, прорывая устьевые заторы, выбрасывали в Енисей новый, пестрый и опасный хаос льда. Временами на реке возникали целые поля с торчащими на них зимними еще углами торосов и купами замороженных кустов.

Одна такая льдина, тяжелая и прочная, заплескиваясь по краям грязной водой, уверенно надвигалась на песчаное охвостье острова. По ней среди торосов метался заяц. Люди побросали работу. Два орлана неловко с разверстыми объятями бегали по льду. Заяц не

сдавался, забивался в торосы, его пытались достать, он выскакивал и нырял в новое укрытие. И заяц, и хищники были мокрые.

На мысу острова льдина приблизилась к берегу, замедлила ход и, разворачиваясь, стала вползать в тихую Ермаковскую протоку. Косой, прижав уши, стремительно полетел к спасительным кустам. Отчаянно, как из пушки метнулся через воду в сторону острова. Совсем чуть-чуть не долетел, плюхнулся с брызгами, и его тут же с головой засосало в водовороты течения. Орланы, чуть столкнувшись крыльями, тяжело вроде, но быстро взялись в воздух, и вот уже один, вытянув лапы, поднял над водой бьющийся серый комок. Зайчишка в когтях оказался маленьким, он отчаянно брыкался длинными ногами и даже кричал, как показалось многим, но вскоре затих и повис мокрой тряпкой.

Женщины замерли, глядя вслед удаляющимся хищникам. Сержанты и стрелки охраны, раздетые по пояс, белотелые, в фуражках с красными околышами и звездами, реагировали гордо, будто они и поймали.

– Добегался!

– Ха-га! Собачку бы туда добрую! Она бы его враз!

Группа заключенных крошила ледовые навалы под причал. Тоже бросили работать:

– Один, что ли, зашамает целого зайца? – бритый налысо парнишка смотрел не отрываясь.

– А то тебе принесет!

– Кончай дымить, курвы! – раздался окрик бригадира. – Зайца не видали?!

Глинистый ермаковский берег, если смотреть на него с реки, не обрывисто, но круто поднимается от воды. Как и везде на Енисее, он голый, ободранный ледоходами, трава да камни. Леса нигде не увидишь у воды. Станок Ермаково стоит в удобном понижении таежных холмов на небольшой речке Ермачихе, впадающей в глубокую и судоходную Ермаковскую протоку.

Первые баржи из Туруханска пришли накануне вечером. Их сейчас и разгружали – палатки, железные печки, мотки колючей проволоки, продукты в ящиках и мешках, строительный брус, фанера, доски. На воскресник вывели всех, со дня на день ждали больших

караванов из Красноярска. Разгружать их было некуда – ни причалов, ни складов, непроходимая тайга стояла по берегам.

Молодой стрелок охраны спускался по трапу с тяжелым мешком на плече. Симпатичный, с бритым затылком и длинным светлым чубом, он познакомился вчера в столовой с веселой подавальщицей – звать Нюра, вольнонаемная, родом из Туруханска. Он нес мешок и представлял, как летом поедут с Нюрой купаться на лодочке, на песчаный островок с кустиками. Аж ноги подгибались от этих мыслей. Стрелок служил по срочной уже два года, всё на отдаленных лагерных пунктах, и кроме мужиков-зэков да начальства никого не видел. Он прямо не верил, что перевели сюда. С Нюрой, правда, все вчера шутили, и офицеры тоже, но он все же надеялся, видел, что понравился девушке. Он сбросил в штабель мешок с закаменевшим цементом и посмотрел в сторону столовой с его Нюрой, его толкнули другим мешком, летевшим с чьего-то плеча, и он с веселым нервным трепетом во всем теле побежал по качающемуся трапу на баржу.

На воскреснике работали и жители станка, им за этот день было обещано по полкило хлеба и по банке мясных консервов. Замначальника Стройки-503 невысокий и худощавый капитан МВД Яков Семенович Клигман, редко носивший форму, ходил, затянутый в ремни. Временами он брался вместе со всеми за тяжелый негабарит и нес под крики бригадира. Потом стоял, вытирал платком лоб под фуражкой и озабоченно осматривал дикий таежный берег, который предстояло освоить.

На берегу Енисея разворачивался «Енисейжелдорлаг». Это было недавно созданное структурное подразделение МВД, состоящее из Енисейского исправительно-трудового лагеря и секретного Строительства-503.

Капитан Клигман, как и большинство офицеров Строительства, одновременно служил в двух должностях – был заместителем начальника лагеря и руководил Управлением снабжения стройки. Он, как никто другой, знал, сколько сейчас в пути пароходов и барж с материалами, техникой и живым спецконтингентом, и совершенно не представлял, куда все это добро разгружать. И он – понятное дело, коммунист и безбожник – малодушно просил кого-то там, на самом-самом верху, чтобы хоть на день-два отсрочили прибытие грузов.

Главная контора Строительства-503 располагалась сотней километров ниже по Енисею, в Игарке. Называлась она Северное управление ГУЛЖДС^[1] МВД СССР. Там тоже разворачивались большие работы: обустраивались дороги, причалы и склады, спешно ставилось жилье для офицеров и вольных специалистов, возводилось большое здание Управления, а Игарский пересыльный лагерь расширялся в соответствии с грядущими масштабами, и теперь в него могли вместиться семь тысяч строителей.

В конце мая, пока Енисей еще стоял, все ермаковское начальство улетело на совещание в Игарку, вернуться быстро у них не получилось, Енисей пошел и забрал с собой ледовый аэродром. Капитан Клигман остался в Ермаково за старшего с лейтенантом-особистом и двумя десятками стрелков охраны.

Самая мощная река России течет с юга на север, поэтому весной здесь всегда непросто. В Красноярске весна начинается в апреле, а внизу, в Дудинке, только через два месяца, и все это время большая вода ведет себя, как вздумает. Первыми начинают таять саянские верховья и притоки, Енисей просыпается, взламывает лед и, устремившись вниз, сталкивается с самим собой же, вполне еще зимним, скованным метровым льдом. Все встает на дыбы, торосы запирают реку от берега до берега, а где-то и до дна, вода поднимается на десять, пятнадцать, иногда и двадцать метров. Миллионы тонн льда сдирают с берегов растительность и забирают с собой все, что неосторожно оставил человек. Работать в это время ни на воде, ни на берегах невозможно.

Так было теперь и в Ермаково, но здесь работали.

Стук топоров, молотков, крики и смех, лай вольных деревенских собак и казенных овчарок разносились над рекой. Громко трещал небольшой локомобиль, вытягивая по временному настилу самые тяжелые ящики. Ермаковский спуск к Енисею размесили так, что не пройти уже было. Клигман поставил четырех заключенных-плотников делать лестницу, те целый час ходили, перекладывали бревна из грязи в грязь, спорили да махали друг на друга черными по локоть руками, и он снова вернул их на валку леса.

Солнце то скрывалось, то вновь слепило в прорехи быстро бегущих облаков. Трудяга Енисей, тяжелый и грязный, не взглядывая

по сторонам, как вечный каторжник буровил мимо. Торосы подмывались, обваливались в мутную серую воду, всплывали тяжело и, медленно набирая скорость, устремлялись на север.

Над далеким поворотом показались клубы черного дыма, кто-то увидел, и вот все уже, прикрываясь от солнца, стали радостно всматриваться. Шел буксир с ниткой барж – первый караван после семи месяцев зимы. Архитектор Николай Мишарин, художавый парень с модной столичной прической, вскарабкался на высокий штабель из досок:

– Три... нет... четыре баржи, Яков Семенович! – докладывал стоящему внизу Клигману.

Клигман близоруко шурился из-под руки на холодную, отблескивающую даль Енисея.

– Пять барж уже, я хорошо вижу!

Николай Мишарин прибыл в Ермаково проектировать строящийся поселок. Он прилетел две недели назад, и все это время ходил счастливый. Всем улыбался приветливо и пытался помочь, потому что самому ему делать пока было нечего – не было ни проектировщиков из его группы, ни даже простенького кульмана для работы. Прошлой весной он с отличием окончил МАРХИ^[2], кафедру градостроительства, сам попросился по распределению на далекую сибирскую стройку и так оказался на этих пустынных берегах, на секретном объекте «Енисейжелдорлага». В Москве это называлось Ударной комсомольской стройкой на Енисее.

Он стоял на покачивающихся досках над великой сибирской рекой, залитой солнцем, и чувствовал себя самым счастливым человеком. «С такого маленького пяточка, отвоёванного у тайги, начинаются великие дела, – мысленно писал он в своем дневнике. – Не пройдет и пяти лет, здесь встанет город с современными домами и проспектами к Енисею. Изогнутый, освещенный электричеством пятикилометровый мост перекинется на восточный берег, поезда с табличками “Москва – Игарка”, “Ленинград – Игарка”, “Сочи – Норильск” понесутся таким же вот солнечным весенним утром. И все это начинается сейчас! Надо как следует запомнить этот нетронутый берег с вековыми кедром и соснами, этих сильных людей, начинающих великое дело. Лет через двадцать-тридцать, а может и

раньше, весь енисейский край снегов и тайги преобразится неузнаваемо...»

– Эй-й-й, рахитектыр! Твою мать! – услышал вдруг Мишарин. – Вали отсюда на хер! – орали с баржи мужики-грузчики.

Лебедка с нервными скрипами поднимала из трюма длинную, опасно гнущуюся пачку досок. Мишарин мешал. Он дружески улыбнулся грузчикам и стал спускаться вниз. Надо вечером обязательно записать, приказывал себе Николай. Он все время забывал это делать.

Приблизившись, пароход загудел раскатисто, сообщая о прибытии краевой цивилизации в таежную глухомань. Баржи тянул небольшой буксир «Полярный», командовал им Александр Белов – самый молодой капитан пароходства. Из Красноярска вышли длинным караваном. Пять пароходов тянули друг за другом два десятка барж, двигались небыстро, за отступающими на север льдами, отстаивались, прятались от нагонявших караван опасных выбросов льда и снова двигались. Больше трех недель продолжалась ответственная, нервная, но и веселая работа. Белов вышел с двумя баржами, теперь же тянул шесть – взял караван поломавшейся «Якутии». Молодому капитану очень хотелось отличиться, и сегодня утром в густом тумане он ушел раньше других. И вот явился первым.

Буксир подошел, на виду у публики сделал оборот^[3] и, встав против течения, уперся тяжело, несоразмерно силам. Красил облака хвостом черного дыма. Баржи, заканчивая маневр, вытягивались за его кормой.

«Полярный» был трехсотсильным буксиром голландской постройки. Двадцать четыре метра в длину и шесть в ширину, с радиомачтой и высокой, почти метрового диаметра трубой посередине. Только с капремонта, корпус выкрашен черной блестящей краской, надстройки бежеватые, буксир выглядел как с иголочки. Капитану по-товарищески завидовали, поминали прямо отцовское к нему отношение начальника пароходства.

Уводя баржи с течения, «Полярный» рискованно приваливал их вплотную к берегу, временами караван замирал, и казалось, что пароходике со всем его разнокалиберным хозяйством, длинно прицепившимся за кормой, никак не осилить весенней мощи реки. Дурная мутная вода временами так наваливала на нос, что буксирный

трос провисал сзади до воды, но «Полярный», добавляя копоты из трубы, снова подавался вперед, в тишь Ермаковской протоки. Высокий капитан в белом летнем кителе и черных брюках на виду у всего берега уверенно руководил командой. Последняя баржа каравана зашла со стремнины в протоку, буксир протянул еще, увел всех под остров, и вскоре на баржах полетели в воду якоря.

Путь в тысячу семьсот километров был позади.

«Полярный» сплывал задним ходом, а вся команда, скинув телогрейки, лихо аврала – выбирала двухсотметровый буксирный трос, боцман едва успевал укладывать бухту на корме. На баржах натягивались – набивались, как говорят флотские – якорные цепи, кто-то увидел знакомых на стоявшем под островом пароходе, улыбались устало, закуривали.

Буксир, расталкивая торосы, ткнулся в берег. Белов вышел из рубки, на белом кителе – погоны флотского лейтенанта и рубиновый орден Красной Звезды. Капитан Клигман стоял на разгружающейся барже.

– Здравия желаю, товарищ капитан, – небрежно козырнул Белов, с видом артиста, только что отыгравшего бенефис. Его щеки горели, как у девицы, а глаза искали знакомых на берегу.

– Лагконтингент на разгрузку поставьте... – то ли приказал, то ли предложил Клигман и посмотрел на Белова так, будто спрашивал: ну что вы, сами не понимаете? Яков Семеныч, всю жизнь служивший по снабжению, не умел приказывать, это было написано у него на лбу.

– Сначала обед, товарищ капитан! С ночи команда не ела! – нагло и весело настаивал флотский. – Куда они из трюмов денутся!

– Э-эх, молодой человек... Ну что такое?! – повернулся Клигман к лейтенанту-особисту.

– Зэков на дальний причал, зэчек – сюда! Без разговоров! – приказал Белову особист.

Буксир сдал назад и, поднимая за кормой недовольный бурун, стал разворачиваться. Обильная черная копоть валила из трубы. Барж с заключенными было две. Обе деревянные, с плоскими палубами, на которых лежали грузы – никогда и не скажешь, что в их трюмах могли быть люди. Одна побольше, посередине – рубленая изба шкипера, из ее трубы шуровал дым, а на весь берег пахло щами. Охрана столпилась у лавочки, кто-то что-то веселое рассказывал – хохот

разносился по воде. В этой барже в трюмах с трехъярусными нарами ожидали разгрузки восемьсот девяносто пять заключенных мужчин.

Палуба соседней баржонки была загружена новенькими мотками колючей проволоки. В ее трюме сидели пятьсот девяносто женщин.

Маленькую баржу подвели первой. Занесли концы на берег. Старшина – начальник прибывшего конвоя, порядившись с лейтенантом-особистом, где будут сдавать этап, на судне или на берегу, расставлял охрану. Двое бойцов сняли засовы с носового люка, откинули широкие дверцы и металлические решетки, и из трюма вырвалось утробное гудение человеческих голосов и показались женские головы.

– Бабы, шухер! Тут ни хера не Сочи! – придуриваясь, визгливо заблажила первая же, с красивым платком на плечах и цветастым узлом в руках. Она и одета была нарядно, если бы не дорожная помятость, хоть в ресторан. Губы ярко накрашены, глаза подведены.

– Лезь давай, шалава драния! – раздавалось беззлобно из глубины трюма. – Дай людям воздушку нюхнуть вольного!

Женщины, поругиваясь и пихая друг друга, выбирались наверх, щурились от яркого света. Первыми выходили воровки, одетые кто в зимнее, кто в летнее, вполне круглые лицами. С узлами и чемоданами. Матерились, дымили куревом, заигрывали со стройным капитаном в белом кителе. Одна даже юбку задрала до трусов.

– Пятерками разобрались! Вперед! Не задерживай! – стрелки не церемонились, подпихивали куда придется, в спины, под задницы... Воровки повизгивали, подбирали юбки, валили нестройно, как на базаре. Под ногами чавкала грязь.

Уголовных было человек сорок-пятьдесят. Потом пошла 58-я^[4], кудрявые и стриженные налысо враги народа, жены врагов, сестры, матери и дочери врагов, худые и бледные, молодые и старые контрреволюционерки, в основном одетые в лагерные фуфайки и бушлаты. На ногах у многих были мужские ботинки 45-го размера, и женщины шли, как клоуны в цирке. Большинство безлики и не очень похожи на женщин, но некоторые красивы. Среди этих мало кто улыбался. Оглядывались тревожно, а увидев красавца-капитана, отворачивались. Много было совсем молоденьких, старшеклассницы по виду.

Пестрый этап двигался небыстро, изгибался вверх по склону, чавкал и оскальзывался в грязи. Когда все вышли, в трюме возникла заминка, заключенная в серой робе, выглянув из люка, звала охрану. Начальник конвоя, натерпевшийся от баб за три недели пути, пошел было по трапу, но остановился и повернулся к этапу:

– Садись! – раздался молодой, не по возрасту властный голос.

– Садись! Садись! – понеслось вверх по склону. – На землю! На землю, сучки!

– Сами садись! Садисты! Идите на хрен! Не имеешь права, писюльку те в пасть! Ха-ха-ха! Не май месяц! – визжали-роптали воровки.

Политические безропотно опускались в строю, кто на корточках, чтоб уж не в грязь, кто на подвернутую ногу в ватных штанах. Многие улыбались хорошей погоде и на вольную картину большой реки. После трех недель в трюме. Платки перевязывали на головах, охорашивались.

Два стрелка за руки за ноги вынесли из баржи худую и длинную пожилую лагерницу. Сзади поднималась молоденькая стриженная девушка, пыталась поддерживать седую голову, но не успевала, голова все время падала и становилось видно костлявое лицо и широко раскрытый синегубый рот.

– Готовая, что ль? – недовольно спросил старшина.

– Не знаю, врача надо... – девушка приложила ухо к груди старухи.

– Какого врача?! – зло гаркнул старшина. – Клади ее в сторону! Сама встала в строй!

Полукилометром выше по течению обносили колючкой рабочую зону. Люди в черных и серых спецовках пилили деревья, обрубали и жгли сучья в огромных кострах, искры, пепел летели высоко, под крики «Па-аберегись!» с тяжелым вздохом валились столетние деревья, топоры звенели, шинькали пилы-двуручки. Зоной выгораживался прямоугольник в триста метров вдоль воды и столько же вглубь тайги. Деревья были в основном повалены и густо лежали в разных направлениях: казалось, что здесь нарочно нагородили весь этот хаос, чтобы невозможно было пройти. Желтели свежие спилы, несколько мужиков таскали обрубленные ветви к реке, бросали в воду

и на торосы, отчего ощущение бардака и бессмысленности только усиливалось.

Колючую проволоку тянули для виду, в три нитки, прибывая прямо к деревьям с отпиленными верхами, выходило неровно. Зону городили для ОЛП^[5] погрузо-разгрузочных работ, сразу за ним планировали ставить главные складские бараки для будущего строительства. Пока же за эту колючку можно было принять прибывающий лагконтингент. Начальство торопилось, огораживали на тысячу заключенных, понимая, что и четырех- и пяти тысячный этап легко уйдет в это пространство.

Все было временное, делалось наспех и малыми силами, все предстояло еще выкорчевать и расчистить, перетянуть колючку в соответствии с подробными инструкциями, поставить вышки, а над вахтой написать нетленную сталинскую мудрость, украшающую ворота всех лагерей от Днепра до Амура: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!»

Так начиналась Великая Сталинская Магистраль.

Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по Полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея.

Все ресурсы, вся тьма стройматериалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народно-хозяйственными планами по годам, выделены и двигались, стекались со всей страны к месту назначения.

2

Станка Ермаково как раньше не было на картах, так и теперь нет, но найти просто – Енисей в этом месте делает самую большую излучину на всем своем пути. Между Туруханском и Игаркой надо смотреть, на пересечении с Полярным кругом. Именно сюда должна была выйти железная дорога с Приполярного Урала. В вершине этой петли на высоком левом берегу и решили ставить поселок – управление Спецстроительства-503.

Впервые станок Ермаково упоминается в исторических документах, датированных 1726 годом. Место описывалось как рыбное, промысловое, с почтовой станцией. Было в нем на тот момент несколько изб, в которых жили три семьи.

Примерно таким станок и оставался. В революционные времена отличился тем, что один ушлый местный национал, представляясь уполномоченным советской власти и показывая неграмотным соплеменникам случайно найденную бумажку с печатью, несколько лет обирал по окрестностям сородичей. И больше ничего особенного. Рыбы не убывало, зверя тоже. Почта, правда, при советской власти вдоль Енисея прекратила ходить.

Первые серьезные изменения произошли во время войны. Шестого января 1942 года в далекой Москве вышло постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Реализуя высокое решение, в поселок, состоявший из семи строений, считая худые сараи, завезли больше трехсот человек. Большинство прибывших были российские немцы, в 1941 году уже сосланные в Сибирь из Поволжья и теперь сосланные еще раз из Сибири на крайний ее север^[6].

Постановление выполнялось силами НКВД, прав у людей никаких не было, кроме транспортных затрат они ничего не стоили, поэтому везли с избытком, учитывая естественную убыль. Так в 1942 году население Ермаково увеличилось сразу в десять раз. Крепких мужчин было двенадцать, остальные – женщины, дети, старики и подростки.

Современный историк, читая тот далекий указ, может поразиться его гуманности – время военное, трудное, а Москва требует от местных властей, чтобы те издали свои постановления, в которых закрепили бы для переселенцев сенокосы, уголья под пашню и выпас для скота. И местные писали постановления и закрепляли... Но вокруг Ермаково стояла глухая тайга. Ни пашни, ни скота здесь никогда не водилось. Важнее было жилье, но его тоже не было.

Первую зиму люди прожили в землянках, которые вырыли сами. Только через год, к январю 1943-го, был закончен барак на двенадцать комнат, в которые вселились сто пятьдесят человек по три-четыре семьи в комнату. В следующем, 1944 году построили еще один барак.

Для добычи рыбы государству была образована артель «Рыбак». В трех ее бригадах состояли пятьдесят человек, еще тридцать работали в администрации, обслуге и бригаде строителей. Остальным, почти полутора сотням работоспособных, работы не было.

К концу войны стало ясно, что все это больше погубило народу, чем принесло пользы – большинство созданных артелей и колхозов задолжали государству астрономические суммы, и о постановлении забыли. Ссылным разрешили переехать в Игарку и Дудинку, где можно было поискать работу. В поселке осталось человек пятьдесят, если считать стариков и ребяташек.

В 1949 году началась новая история станка Ермаково. В первых числах марта на нескольких санях и пешком появилась в заваленном снегом дремотном поселке небольшая бригада лагерников с охраной. Поселились в пустующем бараке, подремонтировались, наладили кухню. По утрам строем и под конвоем стрелков заключенные ходили на Енисей, долбили там целый день, очищая от торосов лед реки и песчаный остров, – готовили взлетно-посадочную полосу.

В конце марта на подготовленный аэродром стали прибывать начальство и ценные грузы. Из Игарки по Енисею на лошадях, машинах и пешком потянулись заключенные-специалисты: геодезисты, плотники, повара, обслуга. Хорошего, налаженного зимника пока не было, его заносило, машины застревали, ломались от мороза, поэтому дорога в сто километров выходила небыстрой и опасной.

До прихода первых барж больших работ в Ермаково не было. Плотники срубили для начальства добрую баньку на ручье, беседку к ней с видом на Енисей да несколько сараев под небольшие склады.

3

З/к^[7] Горчаков Георгий Николаевич неторопливо обрубал сучки со сваленных сосен, относил в кучи, перекуривал неспешно, разглядывал издали суету под ермаковским взвозом. Там грохотала техника, шумели люди, здесь же, на дальнем конце будущей зоны, кроме санитаря Шуры Белозерцева никого не было. Временами ветер доносил сильный запах пароходного дыма. Горчаков поднимал голову

и его ноздри сами собой, по наивности человеческой, тянули знакомые тревожащие душу запахи.

Лагерному фельдшеру Георгию Николаевичу Горчакову было сорок семь, выглядел он старше, может и на шестьдесят, но не стариком, глаза были нестарые. Выше среднего роста, крепкий в плечах, чуть сутулый. Лицо Горчакова всегда бывало спокойно, его можно было бы назвать и волевым, но выражало оно совсем немного. За долгие годы бездумного подчинения его лицо научилось не участвовать в происходящем. Это была довольно обычная физиономия старого лагерника: глубокие морщины поперек лба, разношенные ветрами и морозами слезящиеся глаза, дважды сломанный нос – в январе тридцать седьмого на следствии в Смоленской тюрьме и потом урки на Владивостокской пересылке – оба раза срослось криво, с уродливой щербиной. Были и другие отметины.

Горчаков сел на прохладный сосновый ствол среди необрубленных еще толстых суков. Тщательно протер круглые очки и, закурив, замер, глядя на могучую реку. Он не любил Енисей. Когда-то в молодости он сравнил его с бородатым мужиком с топором, бредущим мимо по своим делам. Енисей был безразличен к человеку. Он совсем не был красив, как не может быть красивым угрюмый и опасный мужик. Просто иногда он бывал спокойным.

Первый раз Георгий Николаевич попал в эти края в середине двадцатых, начинающим геологом, тогда все было иначе... Было много солнца, много сил, счастливого упрямства, удачи и наивной веры, что все можно обуздать, даже и мужика с топором. Многие тогда удалось... Даже потом, когда в тридцать восьмом начальник «Норильскстроя» Перегудов вытащил заключенного Горчакова с Колымы, это были три отличных полевых сезона – тридцать восьмой, тридцать девятый и сороковой. Потом снова были лагеря «Дальстроя», потом Салехард, и вот судьба опять привела его на Енисей. Два последних года кантовался доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии ВСНХ, з/к с учетным номером 2338 Горчаков Георгий Николаевич фельдшером по здешним зонам.

Лишь в пору тяжелых осенних штормов, когда наружу был весь его варначий нрав, Енисей был ничего себе. Горчаков мог часами на него смотреть. Осенью все было так же безжалостно, но честно. Во всякое же другое время «батюшка-Енисей» был угрюмым безответным

зычарой, которому нельзя было доверять, нельзя было лезть к нему со своими мыслями и чувствами. Даже колымские ручьи и речки помнились Горчакову как понимающие тебя, а иногда и расположенные к тебе. Енисей не знал никаких таких чувств к человеку.

Подошел Шура, хотел что-то сказать, но, глянув на застывшего вдаль начальника, молча присел на тот же ствол. Рукавицы-верхонки подложил под себя. Белозерцев был идеальным санитаром – не боялся ни крови, ни грязной работы, ни блатных. У Горчакова, как у всех старых лагерников, ни с кем не заводилось близких отношений, Шура же он доверял, они вместе ели, иногда разговаривали.

– Полная безнадега, чего и говорить! – продолжил Шура ранее начатую мысль. – Сколько раз представлял, как уйду от реки... – он повернулся и строго посмотрел на Горчакова. – Вроде и Россия кругом, а никогда до людей не добраться! Очень неприятно, Георгий Николаич, на тот свет, получается, уходишь!

Горчаков кивнул, соглашаясь, сам рассматривал изуродованный берег реки. Еще три дня назад тут было тихо, как у Христа за пазухой. Нетронутая полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели... Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось и тайги навалили много. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное, деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десятки барж стояли под разгрузкой, росли горы стройматериалов... и всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кобурой на поясе.

– Лепила^[8]! – к ним через завалы пробирался помбригадира Козырьков. – Заманался тебя искать! Там особист врача требует!

Горчаков очнулся от мыслей, посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве.

– Я заберу, – понял его Шура.

Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке. Помбригадира шел сзади, вытирая пот со лба. Козырьков хоть и пытался разговаривать, как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-

то спрятал у него в омшанике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду и как бы он их заныкал, если бы на самом деле хотел спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадиры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился.

Впереди из баржи выгружали большой женский этап. Основная его часть неровной колонной медленно поднималась по склону, у баржи выстраивали последние пятерки, считали. По мере приближения к женщинам Козырек оживлялся, щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него дырявую тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова.

Две женщины неподвижно лежали на солнце, прикрытые мешковиной. Босые ступни одной бросались в глаза – это была девочка-подросток. Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезлось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом, глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле больной сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой, густые темные волосы выбились из-под платка.

– Коля, найди пару досок на носилки, – попросил Горчаков помбригадира и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс.

– Водянка, – негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. – Пульс плохой...

– Вы врач? – Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей.

– Да. Педиатр.

– Прокол сделать можете?

– Никогда не делала.

– Умрет, если не проколоть.

– Попробую...

– Дайте мне эту женщину в помощники, – повернулся Горчаков к начальнику конвоя.

Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшим сидеть на корточках.

– Встал! – рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз.

Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и отступил на два шага.

– Слушаю! – старшина был на полголовы ниже и в два раза моложе, он еле сдерживался, чтобы не ударить в морду лагерного лепилу.

– Зэка Горчаков, статья 58.10. Двадцать пять лет... Фельдшер медпункта, гражданин начальник, – доложил Горчаков по форме.

В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз, он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку.

– Совсем страх потеряли, фашисты недобитые... – прошипел старшина и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже.

– Что, заберешь что ли?! А то околеет... – сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. – Покойников-то куда у вас тут? Самойлов! – крикнул негромко в сторону баржи.

– Я, товарищ сержант! – по палубе бежал боец, шаги гулко отдавались в пустоту трюма.

– Возьми дневальных, пусть закопают... маленькая воняет уже... – сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю.

Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому, и вместо отдыха уставшему за долгую дорогу конвою надо было выставлять охрану на берегу. Старшина был злой, он точно знал, что кого-то недосчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов

занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего.

– Семенов, – заорал старшина, подходя к разгрузке, – всех собак на берег! Живо!

– Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает!

– Я что, сука, сказал! Выполнять! Казбек херов!

Горчаков с Шурой поднимались наверх к медпункту. С конца марта, когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермаково, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было бортов, приходили к Горчакову одолжиться спиртом.

Блатарей не было совсем, и жили спокойно, о лагере напоминали только утренние и вечерние поверки да дневальный с его «Подъем! Подъем, ребята!», потом Горчаков с Шурой на целый день уходили в медпункт – он был не в зоне.

Начальником третьего отдела^[9] был лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий и подтянутый, он был образцом для всего небольшого лагеря – водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, а еще бегал на лыжах и занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колот на морозе дрова.

Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы.

Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт или приводили ребятишек, за что приносили соленой осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобство, разглядывая себя в зеркало.

Теперь все менялось, Шура сокрушенно об этом заговаривал. Горчаков же был спокоен – за тринадцать последних лет как только ни менялась его жизнь. Она текла не в человечьем, но в каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска баланды с селедочной головкой.

Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от ермаковского взвоза стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стаканов скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая поллитровка из-под спирта уже валялась под столом. Капитан Белов в тельняшке, без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт.

Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимыч Подласов, не менее заслуженный капитан «Климента Ворошилова» Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик «Ворошилова» – белоголовый и средних лет Петр Сергеич Сазонов. Строгие темно-синие офицерские кители со стоячими, подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги – форма речников в те времена не отличалась от военно-морской. Все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на тельняшку.

Выпивали не торопясь, шурились на родные енисейские просторы, первый трудный рейс вслед за льдами был окончен, Енисей очищался на глазах, начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи, где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами. Поделиться новостями: кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился и как дело обошлось.

Старики сидели за столом, Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как провел свой караван.

– Подкаменную прошли, – глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением – заслуженным людям рассказывал, – встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся, и как поперло... прямо горы льда тащит, и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянуло. Как переловили – не знаю, вывел всех под левый берег, отстоялись...

– А «Якутию» что? – спросил механик Сазонов.

– Льдами на камни выдавило... Я баржи с зэками еле вытащил из торосов... Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся, охрана перепугалась, орут, чтобы их сняли, собака за борт упала...

Белов нетрезво поблескивал красивыми темно-карими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый, но и рабочего упрямства в нем хватало. Его еще четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост, но, видимо, и за расторопность не по годам.

– Ну-ну, бывает... – Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан. – Ну, давайте!

Выпили. Закусывали. Солнышко пекло, птички наперебой распевали по кустам, от реки доносился шум большой разгрузки.

– В этом году еле успел огород вспахать... – капитан Семенчук, даже когда шутил, говорил с самым серьезным видом. – В прошлом году не успел, жена лопатой копала.

– Что же, не могла соседа попросить? Там у тебя Геннадий Степаныч рядом...

– Сосед – дело опасное, сначала огород, потом еще чего, а потом и тебя не надо! – весело зыркнул из-под лохматых бровей старик-шкипер.

– Не-е, моя железобетонная... это я только скотина, – нахмурился все тем же серьезным глазом Семенчук.

Мужики довольные рассмеялись.

– Как там Смирнов, не женился?

– Женился.

– На поварихе?

– На ней!

– Раньше правило было, – вставил неторопливое слово старый шкипер. – Штурману у себя можно, капитану нельзя! – Помолчал и добавил философски: – Лучше с другого парохода матроску какую приласкать...

– И раньше нарушали, – не согласился Семенчук, – дело такое... Вон в Маклаково был случай, мужик бабу-солдатку потягивал из соседнего барака... ага... ну, один раз «уехал» в командировку! День у нее живет, другой, на третий день пошел мусор выносить в халате и в тапочках, и машинально, ноги сами принесли, пришел домой. Заходит

в чужом халате, чужих тапочках и с чужим мусорным ведром из командировки! Жена на него и смотрит...

Все улыбались, случай был известный.

– У нас в Подтесово тоже этой зимой было, – поддержал Сазонов. – Стармех с «Бурного» пошел во двор за дровами, да с ребятами и загудели как следует. Вернулся домой через восемнадцать дней... но с дровами! Баба его и не тронула – помнил за чем ходил!

Выпили и вторую бутылку. В приподнятом настроении отправились на баржу к шкиперу, на пельмени. Проходя мимо локобиля, механик Сазонов заинтересованно притормозил. Двое заключенных – один потолще и повыше, другой маленький, рябой и с сердитым взглядом – только что запустили механизм, стояли с грязными руками и лицами, слушали, как работает. Локобиль время от времени начинало трясти – высокий быстро наклонялся к крутящейся технике, сбавлял обороты и вопросительно смотрел на сердитого.

Главный механик «Ворошилова» не выдержал:

– Хрена ли смотрите, у вас маховик на двух болтах держится! – он присел и нетрезво посунулся показать, но не удержался и всем телом и рукой поехал внутрь работающего механизма.

Мужики схватили, вытянули обратно, но рукав тужурки был уже разодран, белая рубашка сделалась красной, с руки обильно лилась кровь.

– Ай-й-й! – оскалившись от боли, пьяно хрипел механик. – Вентилятором рубануло!

Вход в медпункт и штабной барак был один. Перед ним на лавочке курил часовой с карабином, поднялся при виде флотских офицеров. Белов решительно распахнул дверь, потом дверь налево с надписью «Санчасть». Как ледокол шел, расчищая дорогу товарищам.

Внутри на топчане громко и тяжело дышала толстая старуха, рядом на коленях стояла чернявая зэчка-врач и заголяла старухе рукав, Горчаков вынимал пинцетом прокипевший шприц, глянул мельком на шумно вошедшего Белова и окровавленную руку механика. В комнате было тесно, у порога валялись ботинки и фуфайки женщин.

Белов шагнул через фуфайки. Флотские, хоть и протрезвели от случившегося, не очень твердо держались на ногах.

– Доктор... – взял на себя командование Белов, но, увидев арестантскую спецовку Горчакова, нахмурился. – Ты доктор?

– Фельдшер, – Горчаков, еще раз оценив руку механика, отвернулся и стал набирать шприц.

– Ты что, не слышишь меня?! – вскипел Белов в спину зэка.

– Слышу, – Горчаков сбрызнув воздух, нагнулся к старухе.

– Я с тобой говорю! – Белов схватил Горчакова за плечо.

Горчаков распрямился, левой рукой оберегая шприц, повернулся к Белову:

– Я должен сделать укол!

Белов, сдерживая ярость, молча отступил, повернулся к механику:

– Сейчас, Петя, сейчас.

Сазонов стоял, вяло опустив белую голову в пол, только вздохнул тяжело и пьяно. Щеки темнели кровью на светлом лице.

Горчаков сделал укол в вену, зэчка подложила свой платок под голову старухи и тихо выскользнула из медпункта, прихватив свою одежду. Горчаков запахнул старуху занавеской, поставил на стол кювету с хирургическими инструментами:

– Давайте сюда!

Механика усадили, он ронял голову, как будто пытался прилечь, Горчаков размотал носовые платки и с пинцетом в руке стал внимательно рассматривать. Ничего важного задето не было, но выглядело изрядно – кожа в лохмотья изорвана на ладони и запястье. Чудом не порванные вены пульсировали кровью.

Горчаков взял пинцетом кусок задранной кожи, расправил и пристроил на место, другой кусок отстриг ножницами. Сам внимательно глядел на механика. Тот только морщился, кряхтел негромко и отворачивался. От него на всю комнату несло спиртом.

– Ничего страшного, – Горчаков поднял взгляд на двух флотских, стоявших над ними. – Зашью. А вы выйдите, пожалуйста, тут и так дышать нечем. – Он открыл стерилизатор, выбирая инструменты.

– Мне спирту! – потребовал вдруг раненый механик у Горчакова, – меня на фронте под спирт зашивали. Два раза... – он попытался задрать китель на боку, показать.

– Вам уже хватит, – Горчаков, морщась от запаха, рукой повернул голову механика в сторону, – туда смотрите. И потерпите.

Флотские вышли, закурили. Из медпункта временами раздавались негромкие матерные подвывания и ободряющее бормотание фельдшера. Белов сходил на буксир за бутылкой спирта. С полчаса длилось это дело, потом дверь отворилась. Фельдшер полотенцем вытирал руки и лоб:

– Забирайте, завтра на перевязку...

Рука по локоть и два пальца механика были аккуратно забинтованы. Сам он сидел протрезвевший, лицо сероватое, волосы прилипли ко лбу от высыхающего пота. В дверь заглядывал Белов. Горчаков щупал пульс старухи. Той стало легче после укола, она лежала с открытыми глазами.

– Сан Саныч, налей мужику! – хрипло потребовал отремонтированный механик.

Белов вошел, присел на топчан, открыл бутылку, булькнул в желто-коричневый от чая стакан, что стоял на столе, посмотрел, куда еще...

– Сюда можно? – спросил, показывая на чистые мензурки.

– Тут бы не надо... – Горчаков встал над старухой.

– Давай, выпей, братишка! – механик хотел сказать что-то еще, но не найдя слов, приподнял забинтованную руку и хмуро и благодарно кивнул фельдшеру белобрысой головой.

Белов налил в две мензурки, оставив стакан Горчакову, тот присел на свое место, улыбнулся, глядя на механика:

– Молодец, терпел...

– Он фронтовик, дядя! Заслуженный! Давай! За Родину! За Сталина! – Белов пьяно гордился товарищем, он грозно поднял свою посуду и орлом встал во весь рост.

Механик тоже поднимался с плещущей мензуркой в левой руке. Они чокнулись и выпили. Горчаков не тронул стакан, собирал окровавленные инструменты в стерилизатор. Белов поставил пустую тонкую посудинку и, сморщившись от спирта, недобро изучал Горчакова.

– Ты чего? – спросил фельдшера, хотя все про него уже понял.

Горчаков молча лил в стерилизатор воду из чайника. Только головой качнул.

– За Сталина пить не хочешь?! – набычился Белов, сжимая пьяные кулаки. – А-а?!

– Ты чего, Сан Саныч? – не понял забинтованный Сазонов.

– В карцер меня определяют за этот стакан... да и вам, граждане начальники, не положено с зэками... Выпьем еще, бог даст...

– Какой такой бог?! – Белов заводил сам себя и лез лицом к зэку. – Я что, не видел?! Руку уже потянул выпить, а как я за Сталина сказал, скосорылился... Что, сука, не так?!

Горчаков снял очки и молча и почти безразлично смотрел на пьяного капитана.

– Да если бы не Сталин, ты бы сейчас, сука, фашистам сапоги лизал! Ты как, подлец...

– Ладно, Сан Саныч, чего кипишь, не тронь его. – Механик закрыл собой фельдшера, стал надвигаться перевязанной рукой на Белова. – Давай, пошли.

– Чего пошли?! Отсиделись суки по зонам, на казенных харчах! – Белова корежило от гнева, лицо красное, волосы растрепались. – Я сопливым пацаном всю войну за них ишачил!

Сазонов вытолкал его из медпункта. Стали спускаться к берегу.

– Чего уж ты так? – механик брезгливо морщился то ли от боли, то ли от выходки Белова. – Он смотри что... – показал свою руку.

– Пусть знает свое место, фашист! Они все Сталина ненавидят! Ты видел?!

– Не фашист он, я его на Пясине встречал... – заговорил старый шкипер Подласов. – До войны еще... Он начальником геологической партии был.

– Этот фельдшер? – не понял механик.

– Ну, они какое-то большое месторождение тогда открыли! Хоть и зэки, а им спирту два ящика привезли на гидросамолете! Начальство прилетело, в воздух палили!

– Это все не важно. Надо их на место ставить! – у Белова от злого возбуждения стучало в висках. – Они никогда не исправятся! Ты видел?! Кто он, сука, такой против Сталина?!

– Ладно, Сан Саныч, чего ты разорался... Кто же против-то?

Белов пьяно отвернулся на Енисей. Мужики молчали.

– Ну что, пойдём, что ли? – шкипер кивнул на свою баржу.

Настроение пропало. Попрощались и разошлись по своим судам.

Белов шел на «Полярный» и пьяно скрипел зубами, что не дал в морду фельдшеру. Он даже останавливался и смотрел вверх,

представлял, как возвращается и открывает дверь медпункта. Сталин был ему дорог, как отец, которого Белов не помнил, и даже больше отца. Портрет вождя с девочкой на руках не просто так висел у него в каюте. Сам повесил.

5

Отоспавшись после ночной вахты и утренней выпивки, Белов стоял под горячим душем. Хмурился, кряхтел на себя за стычку с зэком. Все видели, как он полез за Сталина... Все было смертельно позорно! И фельдшер... чем больше Белов о нем думал, тем сквернее себя чувствовал. Этот зэк, не сказав ни слова, поставил его на место... Так глупо... так погано все получилось.

Он побрился и пошел к себе в каюту.

Было около пяти вечера, когда капитан Белов сошел на берег. Разгрузка продолжалась, но без прежнего задора, теперь работали только зэки. Локомотив, в который попал механик, так и не заработал, и мужики в серых телогрейках таскали мешки с цементом на плечах.

Обходя грязь, Белов пробирался через наспех сваленные материалы. У больших бочек, составленных друг на друга, наткнулся на подростков. Они подсматривали за кем-то и были так увлечены, что он подошел вплотную, от бочек крепко воняло тухлой селедкой. Впереди два лагерных мужика разложили бабу. Оба были без порток, худые и белозадые, белые женские коленки торчали в небо.

– Ну-ка! – негромко шикнул капитан «Полярного».

Двое пацанов, столкнувшись, молча метнулись вбок, третий от неожиданности потерял с ноги безразмерный сапог и сел прямо в грязь. Вжавшись спиной в бочку, заревел в голос:

– Дядя, я не смотрел! Не бе-ей!

– Бегом отсюда!

Мальчишка, схватив сапог, кинулся за друзьями. Зэки уже трещали кустами в разные стороны. Молодая деваха сидела на ящике и застегивала армейскую телогрейку. Светлые волосы растрепаны, она встряхнула головой, оправляя их. Белов покраснел и, нервно отвернувшись, двинулся за убежавшими мальчишками. Обойдя бочки, лицом к лицу столкнулся с девицей, она тоже шла наверх. Это была

белобрыся, лет шестнадцати-семнадцати, крепкая, обабившаяся уже девчонка. Увидев Белова, глянула недовольно и развернулась назад к баржам. Белов, ощущавший дурное возбуждение во всем теле, посторонился и торопливо, не разбирая дороги, пошел наверх.

Девчонка очень была похожа на немку. Неужели и они? – мелькнуло в голове. Сама, никто не насиловал... В том, что он увидел, не было чего-то необычного, в этих местах такое случалось сплошь и рядом, его удивило, что девчонка была немкой. Ссылные немцы и прибалты были культурнее других, и Белову не хотелось, чтобы и они опустились до грязных зэков.

Управление размещалось в половине длинного барака. Белов вошел, дверь в первую же комнату направо была приоткрыта, негромко звучал радиоприемник.

– Здравия желаю!

– Заходите, пожалуйста! – невысокий молодой человек поднимался из-за стола. – Я Мишарин. Николай. Руководитель отдела проектирования жилых зданий.

– Капитан парохода «Полярный». Белов. Здесь отдел кадров?

– Это к капитану Клигману, он сейчас будет... – Мишарин внимательно рассматривал Белова.

Пожали руки. Белов стоял, раздумывая, что делать.

– Скажите, вы коренной сибиряк? – неожиданно спросил молодой человек.

– Коренной, – ответил Сан Саныч, собираясь уже выйти из комнаты.

– Вы видели последний фильм Герасимова? – Мишарин все смотрел на него с интересом.

– Я? – нахмурился Белов, ему было не очень понятно, почему его так рассматривают.

– Там у него одни сибиряки играют. Сибиряки – это особая порода человека, я уверен! Думаю, галерею портретов создать. Молодых, старых, разных профессий, но обязательно коренных сибиряков. Могу я вас нарисовать?

– Мне некогда... у меня пароход, команда. – Белов слегка конфузился, но ему уже нравился этот открытый парень. Еще и рисовать умеет. Сан Саныч всегда уважал людей, умеющих что-то особенное. Рисовать или играть на пианино.

– Жалко... я уже полгода в Сибири, а только три портрета сделал... – Мишарин вытащил из папки ватманские листы с рисунками. – Здесь со всей страны люди... а я настоящих хочу! Сажень косая, знаете?! Взгляд открытый!

Люди на рисунках были как живые. Белов улыбнулся:

– У меня старпом такой вот! Захаров фамилия... Подойдет?

Дверь в барак закрипела, кто-то разговаривал с часовым, потом отворилась дверь в комнату и вошел капитан Клигман.

– Здравия желаю! – козырнул Белов. – Капитан парохода «Полярный», в аренде у Строительства-503.

– Здравствуйте, – кивнул Яков Семеныч, устало присаживаясь снять сапоги. – Хорошо, что зашли, капитан, надо анкеты заполнить на всю команду. Вон, пачка на окне.

– На всю команду?! – насупился недовольно Белов. – В отделе кадров все есть!

– То у вас, а это у нас. Не будьте ребенком, режимная стройка...

В комнату осторожно заглянул невысокий мужик, председатель местной рыбартели:

– Яков Семеныч, что же это, началось, что ли? – спросил, хмуро снимая ушанку.

– Что такое, Меньшов? Заходите!

– Пока мои на воскреснике работали, ваши три избы обчистили! Бабы воют, поутащили харчи, по чугункам лазили! Распорядитесь хоть тушенку выдать, что грозились... За воскресник-то?

Мужик говорил глухо, по его виду не понять было, правда их обворовали или уж по привычке жалуется, смотрел то на Клигмана, то на Белова. Так и замолчал, глядя между ними и держа шапку двумя руками. На сапогах ошметки грязи, штаны драные. Белов рассматривал его, соображая, коренной ли он сибиряк. Клигман молча выслушал и стал надевать сапоги.

– Извините меня, я на склад... пишите пока, – Яков Семеныч вышел на улицу вслед за мужиком.

Сан Саныч сел заполнять анкету.

Родился в селе Знаменское Минусинского района Красноярского края 21 апреля 1928 года.

Национальность – *русский*.

Социальное происхождение – *крестьянское*.

Основное занятие родителей до Октябрьской революции – *прочерк*.

После... – Белов задумался.

– У нас в анкете такого не было... у меня мать из крестьянской семьи, а отец фотографом работал в райцентре? Что писать?

– Не знаю... в селе же отец работал? – Мишарин заглянул в анкету.

– Ну.

– Пиши крестьянское.

Комсомолец, стаж, – Белов уверенно заполнял графы.

Состоял ли в других партиях? – *Не состоял*.

Состоял ли ранее в ВКП(б) и причины исключения? – *Не состоял*.

Были ли колебания в проведении линии партии и участвовал ли в оппозициях (каких, когда)? – *Колебаний не было, в оппозициях не участвовал*.

Образование – *Красноярский речной техникум. Поступил в 1942, закончил в 1946*.

Специальность – *капитан-судоводитель*.

Иностранные языки – *не владею*.

Трудовая деятельность...

Белов прочитал и поднял недовольные глаза на Мишарина:

– Опять всю деятельность писать?!

Мишарин, стаж которого умещался на одной строке, вежливо улыбнулся.

– Я с сорок второго... матросом, боцманом, да на разных судах... – Белов хмуро тер лоб. – Девками командовал!

– Почему девками?

– В войну одни девки в матросах были... девки да пацаны мелкие.

Мишарин явно заинтересовался девками-матросами, достал пачку «Беломора» и стал аккуратно распечатывать:

– И что... прямо вот... молодые девушки работали?

– Работали. И вахты стояли, и уголь грузили... – Белов снова склонился к анкете. – Государственные награды...

Дописывал молча. Мишарин тоже затих и о чем-то думал, неподкуренную папиросу вертел в руках. Табак из нее сыпался. Когда Белов закончил, Николай выдвинул из-под кровати чемодан:

– Выпьем за знакомство?! – он достал бутылку коньяку. – Только закуски совсем нет.

Мишарину, как и Сан Санычу, шел двадцать второй год, но он видел, что рядом с капитаном Беловым сильно проигрывает. Сан Саныч это чувствовал, ему было приятно стеснительное уважение нового товарища:

– Пойдем ко мне на буксир, у меня повариха хорошая.

По дороге зашли в столовую, взяли буханку ржаного хлеба и двух девиц, они как раз заканчивали работу.

Каюта Белова была небольшая, уютная, выкрашенная светло-голубой краской. Справа от входа на узкой койке, заправленной серым шерстяным одеялом, сидели девушки. Между ними – Сан Саныч. На столе нарезанный хлеб, коньяк, рыбные консервы, пирожки с картошкой, оставшиеся с обеда, и четырехлитровая банка сгущенки. Напротив в небольшом кресле устроился старпом Захаров и на табуретке, спиной к двери – архитектор Мишарин. Черненькую звали Нина, светленькую Светлана, Белов шутил то с одной, то с другой и никак не мог решить, какая ему больше нравится.

Девушки почти не пили, мочили губы в рюмках и ставили на стол. Коля Мишарин быстро опьянел, отчего сделался счастлив и неудержимо активен. Он чувствовал, что наконец встретил здесь друзей, и ему ясно было, что рядом с ними он пройдет суровую школу жизни и станет таким же уважаемым человеком. Настоящим сибиряком вернется в Москву. Он уже поднимал тост за капитана Белова и за могучего молчаливого старпома Захарова, в которого он просто влюбился. И еще перецеловал девушкам ручки, чем их здорово смутил, и порывался сбегать за бумагой и начать рисовать Захарова немедленно.

– Дайте и мне папиросу, Сергей Фролыч, – попросил Мишарин старпома почти торжественно, – я свои забыл дома! У меня есть отличные папиросы, я завтра принесу!

Старпом подал. Николай достал папиросу, смял зубами и оглядел всех, будто спрашивая: ну как? Потом улыбнулся и положил папиросу на стол:

– Честно? Сергей Фролыч? Все не могу научиться курить! Голова очень кружится! А хочу! Хочу, знаете, домой приехать... оп-ля! Уже

курю! И никто мне ничего! И еще у нас покойный профессор Смирнов, когда лекции читал, всегда курил! Вы слышали о профессоре Смирнове? Конструктивист! Они с Мельниковым работали! Какие он здания построил! Я у него учился – красный диплом защитил! У меня после института свободный выбор был! В Москве оставляли – инструктором в ЦК комсомола: у меня куча грамот, я доклады по международному положению делал.

Николай говорил быстро, за его мыслями непросто было уследить, но все, особенно девушки, слушали внимательно. Это была далекая московская жизнь.

– Не верите?! Я с лекциями ездил! У меня память страшная! Нет, правда!

Белов под шумок положил руку на талию Светланы. Девушка замерла, но руку не сбросила, продолжала внимательно слушать выпившего архитектора. После мишаринского коньяка пошел спирт. Старпом вертел в руках пустую бутылку:

– Говорят, Черчилль очень наш армянский коньяк уважает.

– Хрен вот ему теперь! – махнул уверенной пьяной рукой Мишарин. Очки съехали набок, он решительно их поправил.

– Чего тебе, жалко? – не понял старпом.

– А речь в Фултоне? Забыли? Военный блок против СССР! А?!

Все посмотрели на Николая. Белов потрогал за талию и черненькую Нину, сидевшую ближе к двери. Тут тоже все прошло успешно. Белов потянулся за куском хлеба и «нечаянно» заглянул ей в глаза. Глаза у Нины были строгие и немного косили. Руку она не убрала, но и смотрела почти безразлично. Даже не улыбнулась.

– Против нас?! – продолжил Николай задиристо. – А?! Оружием бряцают союзнички! Сколько нам надо времени, чтоб до конца Европы дойти? Не подумали они! – Мишарин даже привстал, будто уже собрался начать движение к концу Европы.

– Чего он там сказал? – спросил старпом и поставил пустую бутылку к ножке стола.

– Военный блок предлагает против СССР! Не нравится ему распространение коммунистического мировоззрения в мире!

– Это я по радио слышал, а что еще? – не отставал Фролыч заинтересованно.

– Я не знаю, – слегка растерялся Николай, – речь целиком не печатали... Но Сталин ему ответил! А?! Как он его! Читали в «Правде»?

– Это же в прошлом году было... Ты лучше про югославов расскажи, что у них там... – Белов брякнул первое, что пришло в голову, ему совершенно все равно было, что там сейчас в Югославии, он захмелел, и ему уже не выбрать хотелось, а увести как-нибудь обеих девиц. Куда-нибудь. Он слышал, что такое бывает.

Николай потянулся к литровой банке с разведенным спиртом. Стал наливать, расплескивая, девушки прикрыли свои рюмки ладошками.

– Про Югославию... это наши интересы на Балканах! Сейчас расскажу, но сначала за Сталина выпьем! Знаете что?! – он пытался придать своему лицу самый серьезный вид, но его пошатывало. – Нам очень повезло, что мы живем в одно время с таким человеком! Понимаете?! Мы об этом не помним, а это оч-чень важно! – Он задрал рюмку вверх, наплескал на колени Фролыча, но не заметил этого, а продолжил с пьяным напором. – Другие страны и народы скучно и неинтересно живут, а у нас... все кипит! Вся страна – великая социалистическая стройка! Впервые в истории человечества люди не за страх, а за совесть создают свое светлое будущее – социализм и коммунизм! Благодаря Сталину мы – самая сильная страна в мире! Пройдет немного времени, и мы экономически задушим Америку! За Сталина! – Мишарина опять качнуло, в его стопке почти ничего не осталось. – Я счастлив, что живу в такое время и что нами руководит человек мирового масштаба! Мы выдающаяся нация Ленина и Сталина! За Ленина – Сталина!

– За Сталина! – хмуро и уверенно стал подниматься Белов, поглядывая на портрет спокойно улыбающегося вождя на стене напротив и невольно вспоминая сегодняшнее утро. По телу бежали пьяные мурашки гордости. – Хорошо сказал, Николай!

Девушки тоже заскрипели кроватью, поднялись, выпили, невольно толкаясь локтями в тесноте каюты, только старпом остался в кресле. Мишарин выпил и увидел сидящего Фролыча:

– Вы что, Сергей Фролыч?! Не будете?! – от удивления он тянулся к старпому пустой стопкой.

– Всё, у меня вахта, вставать в четыре...

– А с американцами война будет или нет, как считаешь? – спросил Белов, цепляя ложкой в банке с консервами. Другой рукой он обнимал девушку.

– Почему с американцами?

– Из-за Кореи.

– Не будет!

– А чего тогда в газетах пишут?

– Все нормально. Войска вывели. И мы, и американцы. Теперь корейцы сами решат, как им жить. Я думаю, коммунистическая идеология победит. Южные корейцы видят, какая власть на севере. Народная! Свобода от капитала! Всеобщее равенство! Согласны?! Совсем скоро режим Сеула падет, люди захотят жить лучше! Правильно? Все-таки власть народа – это власть народа!

Старпом крепко зевнул на этих словах и, с трудом вытащив тело из узкого кресла, встал:

– Правильно говоришь, не будет войны, американцы – они нормальные ребята, я с ними работал! Все, пойду досыпать...

– Фролыч, глянь там механика. Не уснул? – попросил Белов.

– Лады, – старпом вышел из каюты, аккуратно прикрыв дверь.

– А где он с ними работал? – Мишарин озадаченно смотрел на Белова.

– На Дальнем Востоке всю войну суда водил по ленд-лизу. У него наград – китель не поднимешь! Главный американский орден есть! – Белов говорил вполголоса, поглядывая на дверь. Он гордился своим старпомом.

– Вы про стройку обещали рассказать, – попросила Светлана. – Жилье когда будут давать?

– Про стройку?! Пожалуйста! – Мишарин задумался. – Я как проектировщик все знаю!

– Валяй! – кивнул Белов. Нина была фигуристее, талия узкая и крепкая, но сидела прямая и напряженная от руки Белова. Светлана помалкивала, и талия, и пониже у нее было мягонькое, у Белова голова временами начинала кружиться.

– В этом году будет построено, – Мишарин загнул мизинец на левой руке, – жилье на десять тысяч человек. Это считая ВГС и ПГС^[10]. ПГС хорошее, дома брусовые в основном, потом – школа большая, двухэтажная, по новому проекту. Дом культуры, здание

Управления – тоже двухэтажные, библиотека, потом... два магазина – промтоварный и продуктовый, госбанк, баня, прачечная, пекарня, больница и роддом. Стадион, он же – зимний каток!

– И все в этом году? – не поверила Светлана.

– В этом! – решительно нахмурился Мишарин – У меня в бюро пятнадцать сотрудников скоро будут – голова кругом идет!

В этот момент Нина, недовольно стряхнув с себя руку Белова, начала вставать. Усмехнулась, как Сан Саныч трусливо отдернул руку с коленок Светланы.

– Ты пойдешь? – спросила подругу.

Светлана удивленно взглянула на Белова, потом на Нину.

– Может, посидим еще? Интересно же...

– Я пойду! Куда тут? – не согласилась девушка.

– Я провожу! – Мишарин начал подниматься, потерял равновесие и навалился на стол. – Ой, на море качка!

– Я тоже пойду, пропустите меня...

– Да куда вы?! Посидим еще! Девушки! – планы Сан Саныча рушились. Даже и теперь он не выбрал еще. Грудь у Светланы была пухлее, чем у Нины, но ноги толстоваты, у Нины фигурка была, что надо, но смотрела девушка по-прежнему строго. То есть уже не смотрела вообще!

– Пустите меня, Александр! – просилась Светлана, легонько упираясь ему в плечо.

– Все, идем! Прогуляемся. Вы, кстати, где живете? – заинтересовался Сан Саныч, когда они спускались по трапу. – Не там?

Это была шутка. Слева на склоне, не так и далеко, мерцали в сером свете белой ночи огни множества костров. Вокруг угадывались сгущения темных бушлатов – заключенные за колючкой коротали ночь.

6

Будущие строители железной дороги все прибывали и прибывали. У костров, которые видел Белов, сидел полуторатысячный этап, разгруженный ночью. Еще почти тысячу заключенных определили в пять больших палаток лагпункта № 1, там же начали ставить еще

несколько, но в бардаке разгрузки затерялись где-то каркасы, а может, их и не было, и заключенные, сложив вдвойне и втройне огромные полотнища палаток, полегли на брезент среди моховых кочек. Привычно прижимались друг к другу.

Горчаков весь вечер занимался больными с новых этапов, крохотный медпункт был давно переполнен, в коридоре лежали на матрасах, медикаменты кончились. Георгий Николаевич вышел на улицу и объявил, что приема больше не будет. Лагерники, толпившиеся двумя кучками, каждая со своим конвоиром, начали роптать.

– Ты нам туфту^[11] не парь, лепила! Полдня тут припухали, ты че, в натуре?! – зло сипел худой блатарь с рябым и остроносым лицом.

Его поддержали другие, возник шум, конвоиры заматерились. На крыльцо вышел Клигман:

– Граждане, – начал чуть дребезжащим голосом, – я замначальника лагеря. Медпункта в данный момент нет, все лекарства, что были, уже раздали. Надо потерпеть, это вопрос двух-трех дней. Большой лазарет и медработники ждут в Игарке, а там ледоход... – Он осмотрел людей, многие были одеты и обуты очень плохо. – Могу вас обрадовать, стройка наша особая, спецодежда и снабжение будут хорошие, зарплату будете получать на руки сто процентов. И зачеты! Будут зачеты! Сможете раньше освободиться!

– Сто пятьдесят – день за три?^[12] – послышались заинтересованные выкрики, но были и недовольные. – Знаем твои зачеты, начальник! Фраеров ищешь!

– Тихо! Тихо стоим! Я тебе, сука, дам фраеров! – заорали конвоиры.

– Уведите, пожалуйста! – приказал Клигман конвойным и скрылся за дверью.

Горчаков с Белозерцевым легли спать на полу медпункта у самого входа, но пришел маленький злой старшина конвойных войск и положил на их матрасы сменных часовых. Их же, брезгливо изучив ночные пропуска, отправил под конвоем в зону.

Так они оказались в общей двадцатиметровой палатке. На сплошных двухэтажных нарах лежали боком, тесно сдавившись одним сплошным телом. Без матрасов, на бушлатах и телогрейках, у кого они

были... От давно не мытых людей воняло так, что и запах махорки не перешибал.

Белозерцев, пошептавшись с дневальным, согнал кого-то с хорошего места недалеко от печки, уложил туда Горчакова, сам куда-то исчез. Горчаков лежал, слушал привычный вечерний гвалт. Этап был свежий, какие-то бытовики пару месяцев назад еще гуляли на воле. Многие не спали, разговаривали вполголоса, обсуждая новое место. В самом конце палатки кто-то балагурил приятным баском, рядом с ним вдруг начинали смеяться. После нескольких недель в душном трюме даже в такой тесноте было неплохо.

– ...и сухой паек выдали за три дня. Никто и не надеялся, а дали. Говорят, тут заполярная норма – килограмм хлеба! Параша^[13], думаешь? – спрашивал негромко сосед слева, он лежал через одного, но так близко, что казалось, говорит прямо в лицо Горчакова.

– Это посмотрим еще... У тебя покурить нет? – отвечал невысокий, видимо, мужик, колючим затылком время от времени задевавший подбородок Горчакова.

– И одеяла байковые обещали! А лес-то какой, ты видал? Чаша́, брат! Интересно, есть тут грибы-ягоды? Говорили, люто в аполярье-то, а ничего, вроде не холодно!

– Так лето...

– Ну я в Казахстане на руднике парился, вот там жарко сейчас. Из жары да в холод – плохо это для человека, как думаешь?

– Да чего мне думать, начальники пусть думают, – сосед громко зевнул.

Дневальный загремел металлической дверцей печки, слышно было, как, привычно матерясь, пихает дрова.

– Дай ей просрать, браток, – простуженно сипел кто-то с нижнего яруса. – Окоченели в этой барже, аж яйца звенят...

– Ты видал? – зашептал опять сосед слева. – Блатных всех отделили. А куда это их? Может, тут без них работать будем? Ребята говорили, теперь отдельно все будут...

– Да как уж без них? Их-то куда девать?

– Вот и я тоже... Говорят, их в Игарку или в Норильск отправят. Это далеко? Игарка-то? У меня ботинки были... больше года носил, хорошие, дегтем их мазал, не текли почти... украли на барже! Деготь-

то еще есть, а ботинок нет, беда одна от этих уроков. Парнишка ведь молоденький стянул, потом еще смеялся надо мной!

– Давай спать, что ли.

– Ага, давай, я что-то... на новом-то месте боязно мне всегда, я на руднике привык уже, там у меня повар земляк был. Хотя в лесу-то мне всяко лучше... Мы тверские, у нас леса вокруг деревни, а чего же еще! Да луга какие! О-о, куда тебе!

– Тут лес другой...

– Ну дак что? Тут хвоя и у нас хвоя. Сосну, ту легче пилить, чем дуб, к примеру. Или вяз, вот вяз я не люблю, что за дерево вредное. Одно слово – вязнет пила в нем! Есть здесь вяз или как?

– Да ты что меня спрашиваешь? Я тут еще не пилил. Ты продукты куда дел?

– Вот, у морды держу.

– Не прохезаешь?

– Так а кто? Блатных-то нет...

– Чужих полно... вон и дневальный не из наших.

– Харэ, мужики, спать давай! – раздался в полумраке чей-то недовольный властный голос.

Соседи рядом примолкли. Балагур в конце палатки тоже убавил громкость, но рассказывать продолжал. Сосед с колючим затылком засопел тихонько, его собеседник не спал, вздыхал время от времени. Внизу, прямо под Горчаковым шептались совсем тихо:

– ...еще в феврале, а некоторых в марте сняли. Всю ленинградскую верхушку, очень большие люди – секретари ЦК... В прессе ничего не было, даже что с работы сняты, ничего! – рассказывал возбужденный хрипловатый голос. – А потом в тюрьму товарищи из Ленинграда стали поступать. Очень много... не только руководство.

Голос замолчал. Сосед его тоже молчал, потом спросил осторожно:

– Только ленинградцев? Странно... вы уверены?

– У нас в камере пять человек оттуда прибыли... – говоривший зашептал что-то горячо в самое ухо. – Вы понимаете? Что это значит? Ведь это его выдвиженцы! Кузнецов! А Вознесенский?!

– Что, арестован?

– Нет пока, но вывели из Политбюро и сняли со всех должностей!

– Да, странно...

– Все, кто в нашей камере сидел, воевали. Ордена, блокада, они же оборону организовали и Ленинград не сдали... Очень достойные люди! Вознесенский всю войну председателем Госплана! Говорят, он единственный, кто Самому возражал! Это какие же еще заслуги нужны?

– Усатый^[14] всегда был трус... а теперь еще и стареет. Большой беды надо ждать.

– Вот и я думаю... В такой войне победили!

Замолчали. Потом хрипловатый голос заговорил опять.

– Меня сегодня потрясло... Знаете, когда я увидел колонну людей, поднимающихся в гору. Советских людей, понимаете?! И наши солдаты с автоматами... В отступлении под Смоленском я такое же видел – колонна наших солдат шла, их вели фашисты. И тоже собаки кидались на людей. Меня тогда поразило ужасно – Бах, Бетховен, Шиллер... и озверевшие собаки и улыбающиеся немцы! Это чудовищное преступление против великой нации! Великой культуры! Так я думал! А сегодня увидел еще страшнее, – шепот стал совсем тихим. – Сегодня и охрана, и люди в колонне были русские! Собак натравливали на братьев! Это невозможно, такого не может быть!

– Вы меня удивляете, Иван Дмитрич, вас что же, на следствии не отлупили ни разу?

Иван Дмитрич долго молчал, потом заговорил:

– Меня арестовали утром, не ночью, а утром, понимаете?! Мы с женой хорошо выспались, сидели завтракали. Была суббота, вся кухня солнцем залита, мы собирались ехать к ребенку, у нас девочка, Даша, восемь лет, она была в пионерлагере... – мужик говорил все тише, и вдруг задохнулся, захлюпал носом и уткнувшись во что-то, заойкал, давясь слезами, закрылся фуфайкой.

– Не надо так часто вспоминать, Иван Дмитрич, это очень выводит из равновесия. Вы же умный человек, постарайтесь взять себя в руки, не вспоминайте.

– Нет, нет, нет, нет... – сдавленно и отчаянно мычал Иван Дмитриевич. – Не могу! Я абсолютно не виновен! Как можно?! У меня чистейшая совесть! Вы мне верите? Я даже жене ни разу не изменил...

– Это у вас реакция на неволю, первый раз у всех так. Пара месяцев – и пройдет, поверьте старому каторжанину. Научитесь жить

без времени – ни прошлого, ни настоящего...

– Да что вы говорите, это невозможно, я – человек!

– Когда бы у вас лет пять было, тогда и потерпеть можно, и про домашних думать, а с вашим сроком другая психика нужна, Иван Дмитрич, надежда вас изорвет.

– Я не понимаю, какая же еще психика?

– Звериная, если хотите: сыт, тепло, и слава богу. Как у мышки или суслика...

– Что за богадельня, мужики, давай ночевать! – раздался рядом негромкий голос.

Слева завозились, стали крутиться на другой бок, Горчаков повернулся вместе со всеми, подумал покурить у печки, но не стал – потом не втиснуться.

У него тоже была жена, но он, как тот старый каторжанин, научился о ней не думать. Вот и сейчас она возникла от чужого разговора – как сквозь запотевший бинокль, какие-то неразборчивые контуры. Горчаков не стал его протирать.

Утром вчерашней старухе стало лучше, в щелочках заплывших глаз заблестела жизнь. Она сама поднялась, села в кровати, даже приосанилась. Расспросила Горчакова, давно ли он тут и нет ли каких новостей с воли, рассказала неторопливо, называя каждого, что у нее шестеро внуков. Поела каши с аппетитом, благодарно покачивая головой и улыбаясь Шуре Белозерцеву, подносившему еду, потом легла и, пока Горчаков мерил давление у ее соседки, перестала дышать.

Снова после завтрака у дверей медпункта собрались больные. Горчаков писал освобождения, хотя ясно было, что они мало помогут в эти первые дни, когда нет ни зон, ни жилья, ни рабочих бригад. Работать мужиков все равно выгонят, а уж работать или в кустах отлеживаться – это кто как сумеет.

Вошел особист Иванов. Пахнувший одеколоном, с чистейшим белым подворотничком, застегнутый на все пуговицы и крючки. Постоял, рассматривая брезгливо, как фельдшер срезает заскорузлую от гноя и грязи тряпку на ноге зэка.

– Горчаков, бери своего санитаря и ставьте временный лазарет... – Лейтенант прищурился на Белозерцева. – Так, отставить. Зэка

Белозерцев, садись у геодезистов, пиши красиво правила внутреннего распорядка! Ты в штабе плакат писал?

– Так точно, гражданин начальник, только я наизусть их не помню... – Белозерцев сделал самое простоватое лицо.

– А хочешь, выучить заставлю?! – Иванов шуток не любил и, кажется, совсем их не понимал. – В трех экземплярах напишешь и отдашь плотникам, пусть в рамочки вставят – два часа тебе на все! Горчаков, идем, место покажу под палатку. Белозерцев, что замер? Ушел уже!

– Гражданин начальник, мне бы плотников... – Горчаков вышел вслед за лейтенантом.

– Плотники, плотники... святой Иосиф был плотник... не подойдет? – улыбка умника скользнула по тонким губам лейтенанта. – Так, господа тунеядцы, плотники есть? – обратился Иванов к заключенным, ожидавшим медпомощи.

Те молча на него посматривали.

– Кто топор-ножовку в руках держал? – надавил Иванов, краснея бледными щеками. – Четверо! До вечера палатку поставите – по буханке хлеба, дармоеды!

Иванов никогда не матерился, это было так необычно, что его не только зэки, но и офицеры не сразу понимали. Там, где в лагерной речи почти обязательно стояли привычные междометия, у него ничего не было. Мужики недоверчиво переглядывались, ожидая, когда им скажут по-русски. Один только зачесал затылок под шапкой, смекая, что выгоднее – в лазарет или плотником...

– Так, конвой! Развести всех по местам работ!

– Гражданин начальник, – поднялось сразу несколько рук, – мы согласные!

К вечеру высокая двадцатиметровая палатка, издали похожая на деревянный барак, стояла хорошо натянутая на каркас. Мужики, за долгий этап соскучившиеся по простой деревенской работе, разохотились, стырили где-то досок, настелили и даже отстрогали пол. Вставили окна из оргстекла, из остатков досок сделали стол, две лавки и маленькую скамеечку. Сидели, довольные, как все натянуто и сработано. В столовую уже второй раз пронесли термосы с едой, но мужики не расходились, ждали обещанного хлеба. Белозерцев пришел с красиво написанным «Распорядком дня заключенных».

Один из плотников, седой старичок-костромич, взялся изучать. Сначала одобрительно поводит заскорузлым пальцем по аккуратной рамочке, потом стал читать по слогам, крепко нажимая на «о»:

– У-твер-жде-но Мэ-Вэ-Дэ Сэ-Сэ-Сэ-Рэ, – поднял удивленный взор на товарищей. – Чой-то?

Мужики засмеялись, особенно самый молодой, прямо пополам сгибался.

– Вы-вы-ши... ва-ется... в жилах... – да чой-то за слова таки? – костромич в досаде сунул рамочку в руки соседу.

– Дай-ка, дядя! – молодой взял и стал бойко читать: – Вывешивается в жилых помещениях для заключенных! Вот! Для тебя написано! Подъем заключенных производится, как правило, в шесть часов!

– А можно бы и в полседьмого, не отлежали бы бока!

– У нас дневальный сегодня аккурат на час раньше разбудил, паскуда... перепутал, гад... – сказал самый маленький и угрюмый.

– Подъем, окончание работы, сбор на поверки, отход ко сну объявляются установленным по лагерю сигналом, – продолжил чтение молодой.

– Это чего ты сказал? – все не понимал костромич.

– Вот ты, дядя! Топорик-то у тебя в руках как птичка летает, а мозгу-то нет совсем! Про рельсу тебе написали русским языком. Ты что делаешь, когда рельсу слышишь?

– Чово... – хитро ухмыльнулся старичок. – Бушлат на голову натягиваю, вот чово... Как все!

– Ага, вертухаев с палками ждешь! – заржал молодой.

– У нас на Колыме рельсу эту поганую «цингой» мужики прозвали, – сказал угрюмый.

– Чего ты там все неинтересное читаешь, ну-ка поищи чего посмешнее!

Молодой побежал глазами по строчкам.

– Во! Для заключенных устанавливается девятичасовой рабочий день, с предоставлением четырех дней отдыха в месяц, а также общеустановленных праздничных дней.

– Вот это подходяще! Это, я вижу, хороший лагерь! – закивал седой головой костромич. – Я бы в таком поработал! Это же какая

справедливость важнее! У нас и в колхозе такого не бывало! Четыре дня выходных! А про зачеты там не сказано?

– Во, смотри... – перебил чтец, – обязанности твои тут! «Беспрекословно подчиняться и выполнять требования конвоя, надзирателей, технического руководства и администрации, звеньевых, бригадиров, мастеров, руководителей работ, начальников цехов и т. п.»

– Собак забыли, – притворно сокрушился костромич. – Нет там про собак-то? Их-то обязательно... я оплошал третьего дни на этапе, а она возьми и поучи меня за штаны-то! Вот! – он ловко повернулся на лавке и показал большую заплатку. – До мяса, Господь уберег, не достала! Второй год сижу, а первый раз такая оказия! Штанов-то как жалко!

Все засмеялись. Принесли обещанный лейтенантом хлеб.

Горчаков, не обращая внимания на балагуривших плотников, обживал новый медпункт. Из старого лазарета перенесли кое-какую мебель, шторы из мешковины, матрасы. Георгий Николаевич стоял среди пустого пространства палатки и о чем-то сосредоточенно думал.

– Вот мужики пол сделали, Георгий Николаич, – восхищался Белозерцев, выметая стружки, – как бы из-за него не отобрали у нас эту палатку. И от вахты недалеко... может, чем его позагадить? Как думаете? Говнеца какого не поискать?

Ночью начал быстро подниматься Енисей. Штабеля пиломатериала, выгруженного сразу за торосами, зашевелились, заливаемые водой. Пригнали сотню полусонных заключенных из-за колючки, и те, мокрые, кто по колено, а кто и по пояс, перетаскали все выше на берег. Покидали небрежно, огромной горой, оцетинившейся во все стороны брусом, углами щитов и досками.

Когда заводили обратно в зону, одного недосчитались. Подняли весь тысячный этап, что кемарил у костров. Построили и остаток ночи продержали на ногах. Считали, пересчитывали, путались с формулярами. Всем было понятно, что исчезнувший, скорее всего, просто сорвался с тороса и утонул. Уйти он не мог – доходяга был.

Ночь была светлая, безоблачная и от этого казалась еще холоднее. Людей выстроили прямо среди неубранных деревьев и кустарников. Они зевали в строю, спали стоя, кому повезло – облокотился на ствол или присел в серединке. Редкий конвой тоже клевал носом, только

овчарки с голодухи принимались вдруг свирепо орать, на них от усталости уже не обращали внимания.

Лейтенанта Иванова подняли среди ночи. Он сидел на ящике, допрашивал и аккуратным почерком записывал показания. До самого солнца держал всех на ногах. Формально ответственным за случившееся был старший сержант, но он отпирался, валил на то, что он начальник караулов двух барж, что стрелков у него только на это и есть и что он не должен был охранять спецконтингент на берегу. Должен был сдать с рук на руки и все.

– Кому сдать? – негромко задавал вопрос Иванов.

– А я откуда знаю? – отвечал сержант виновато, но и злорадно. – Вон, есть у вас ВОХРа^[15], пусть бы и брали! Я за баржи отвечаю... жратву выдали на две недели, а плывем месяц!

Старший сержант был старослужащий, воевавший, присел на корточки, он почти уже час стоял перед этим тупым летёхой со взглядом змеи.

– Встаньте хорошо, сержант! – лейтенант перестал писать и посмотрел на седоголового начальника конвоя долго и холодно. – Я ведь и наручники могу надеть!

Иванов хорошо понимал, что начальник конвоя прав, но фиксировать все, как есть, нельзя было. Охраны не хватало и на сотую часть заключенных – два взвода сидели на другом берегу Енисея, где их застал ледоход, а те полвзвода ВОХРа, о которых говорил сержант, охраняли стройматериалы – за них можно было получить похлеще, чем за утонувшего зэка.

Лейтенант задумывался надолго и с тяжелой внутренней тоской глядел на блеклое солнце, встающее в весеннем рассветном мареве с другой стороны Енисея. Лейтенанту, как человеку правильному, давно все было ясно, он ненавидел вечный русский бардак и русскую лень. Наверняка кто-то из зэков, а может, и конвойные видели, как тот доходяга упал в воду, но никто не дернулся помочь. Эту охрану можно поменять местами с зэками – ничего не изменится!

Сержант сидел рядом на пеньке, кашлял простуженно, сморкался в грязную тряпку и недовольно вздыхал. Так же кашляли, утирались рукавами и тихо разговаривали заключенные, освещенные красноватым утренним солнцем – тихий гул стоял над тысячной толпой. Никому здесь, начиная с Иванова, не было никакого дела до

утонувшего, но особист обязан был провести расследование, а зэки обязаны были стоять там, где им укажут.

7

С начала ледохода прошла всего неделя, но поселок было не узнать. Колесный пароход «Мария Ульянова» привез в Ермаково вольнонаемных, полтысячи человек охраны в новенькой форме, а в просторных трюмах еще один этап заключенных. Конвойные войска менялись на вохру, образовывались лагеря, колонны, командировки. Назначались бригадиры, нарядчики, десятники и их помощники с дубинками или без. И начальство, и охрану вокруг работающих людей стало заметнее. Много привезли и овчарок, для них спешно строили вольер размером с небольшой лагерь. Многоголосый лай не стихал ни днем, ни ночью.

Гигантская разгрузка нарастала, вся узкая полоса вдоль Енисея была завалена горами стройматериалов, трактора урчали, пытались прочистить дороги на берегу и в тайге. Под пилами заключенных падала и падала тайга. Расчищались стройплощадки, ставились палатки – под жилье, склады, столовые и туалеты. Рабочих рук теперь хватало. За Ермаково начали огораживать два больших мужских лагеря, один женский и несколько отдельных вспомогательных лагерей, вроде «Разгрузо-погрузочного» или ОЛП «Центральные ремонтные мастерские».

Охраны тоже было много, ели и спали служивые в таких же палатках, что и заключенные, на тех же сплошных нарах.

Утром Горчакову принесли на подпись акты о смерти на троих зэков. Трупов он не видел, это могло значить, что люди ушли в бега и их списали как утонувших. В неразберихе и то и другое было несложно. А может, и правда утонули. За беглецов с начальства спрашивали строго, за умерших – не так, дело было обычное. Горчаков подписал акты и начал собираться на очередной вызов. Травм было много, его постоянно вызывали, и он ходил, хотя ни лекарств, ни перевязочных материалов по-прежнему не было, Шура Белозерцев рвал простыни длинными полосами и кипятил их в баке на костре.

Горчаков шел в дальний конец разгрузки. По берегу было не пройти, поэтому все ходили верхом, тайгой. Посторонился, пропуская небольшую бригаду работяг навстречу. Люди шли без строя, обходили деревья, конвоиры в узких местах, нарушая инструкцию, плечо в плечо сходились с заключенными. Оттаявшее весеннее болотце чавкало под ногами, его и не пытались обойти, всюду было одинаково, с всхлипами выдирали сапоги и ботинки. Последним, отставшим от колонны, шел солдатик с замороженной овчаркой. Пес был такой же молодой и такой же мокрый по самые уши, время от времени он посовывался в сторону или упирался, норовя освободиться от ошейника. Солдат замахивался концом длинного поводка, карабин сваливался с плеча, солдат неумело матерился и пытался пнуть пса.

Раненый лежал на берегу под высоким, почти отвесным склоном с острыми камнями. Лет тридцати и ярко-рыжий, его лицо было в ссадинах и запекшейся крови. Сквозь порванную казенную гимнастерку была видна белая кожа, изрезанная камнями. У самой воды на бревне спиной к рыжему сидел седой мужик. Курил, глядя на быструю мутную реку. Едва обернулся на фельдшера.

Горчаков осмотрел раненого, попытался убрать из-под него острые камни, но тот громко застонал. Он не мог двигать руками. Это был перелом позвоночника.

– Давно караулишь?

Сторож обернулся, посмотрел с интересом на Горчакова:

– А тебе какой хер? Ты че, прокурор, мне вопросы задавать? – Горчаков и так видел, что он блатной, но тот еще и татуированные руки развел картинно, и головой закачал, будто она у него сейчас отвалится. Мелкая сошка, понял Георгий Николаевич.

– Когда он упал?

– Бочата^[16] дома забыл! Марафету^[17] нет ширнуться? У меня грóши имеются!

Горчаков осторожно вытащил камни, намочил тряпку и приложил к губам рыжего. Раненый почувствовал влагу, сглотнул, потом еще, еще.

– Не корячься с ним, – все так же, не оборачиваясь, выдавил из себя урка. – Его авторитетные люди приговорили...

Горчаков сел на бревно и достал папиросы.

– Курить будешь? – предложил урке.

– Свои имеем, – блатной достал курево из-за пазухи. На левой груди был неумело выколот профиль Сталина. Только усы похожи.

Прикурили от одной спички.

– В картишки фраера проиграл, а завалить забздел!^[18] – неожиданно пояснил урка.

Горчаков недоверчиво покосился.

– Не бзди, я тебя знаю. В прошлом году Паша Безродный у вас в лазарете припухал, а мы ему грелку привели... – урка изыскано сплюнул меж зубов. – Мужиком ее одели, налысо побрили и усы приклеили! – Он весело зыркнул на Горчакова. – Да помнишь ты! Ты в ту ночь дежурил! Чо ты?!

– Веронал есть... – сказал Горчаков, затягиваясь папиросой.

– Чего стоит, на двоих хватит? – лицо седого насторожилось.

– Хватит. Лодка нужна.

– Что?! – у урки от возбуждения дергался глаз.

– Лодку пригонишь?

– Да где я тебе возьму, у меня мазута^[19] есть!

– Вон мужики таскают чего-то, пусть этого заберут...

Седой прищурился на лодочников, потом на тяжело дышащего рыжего:

– Ну смотри, лепила... у тебя с собой?

– До медпункта донесем, там отдам.

– Сам не потащу! Я чего тебе?! – Блатной выбросил недокуренную папиросу и, оскальзываясь на камнях, зашпешил к мужикам, бечевой тянувшим несколько лодок вдоль берега.

Отправив раненого, Георгий Николаевич поднялся на обрыв и, глянув на солнце, неторопливо двинулся тайгой в сторону поселка. Снег в тени деревьев сошел недавно, земля еще не отмерзла и идти было твердо. Вскоре звуки с берега совсем затихли, только ветер налетал на вершины да весенние пичужки щебетали. Улыбаясь чему-то внутри себя, Горчаков присел на валежину и достал папиросы.

В небе, приближаясь, мелодично перекликались небольшие гуси – казарки. Он задрал голову, отыскивая их сквозь прозрачные вершины сосен, и вскоре увидел – косячок небыстро летел против ветра над самыми вершинами деревьев. Георгий Николаевич провожал их взглядом. В памяти встала первая его самостоятельная полевая работа. В двадцать пятом году... Он дословно помнил начало того полевого

дневника: «Я студент МГА^[20], мне – 23, моему товарищу Борису Григорьеву – 21. Нас двоих забросили на оленьих упряжках на таймырскую речку. Вокруг бескрайняя дикая тундра. Вдали горы...» Дневник был наполнен романтикой, два студента ощущали себя героями-первопроходцами. И это было правдой. Горчаков, застыв, вспоминал все в счастливых подробностях.

Была середина июня, ненец, привезший их, уехал, они остались вдвоем и стали ставить палатку на льду заваленной снегом реки. Вокруг была белая тундра. Только редкие вершины кустов торчали из-под снега вдоль берега. День уже стоял полярный, и солнце не заходило, им надо было дожидаться, когда вскрыется река. В первую же ночь завернула настоящая пурга, стало темно, пришлось пилить снег и строить защитную стену вокруг палатки.

Пурга длилась три дня. Делать было ничего невозможно, они спали и днем. Непогода кончилась внезапно, стало тише – заспанные выползли из спальников и прислушались. Ветер уже не выл, не свистел, не драл палатку, ее занесло почти полностью. Они выбрались наружу – погода менялась, вскоре совсем стихло, пробилось солнце и вместе с ним появились первые птицы. Это были гуси.

Студенты раскопали сушняк в прибрежных зарослях ивы, сварили чай. Воздух теплел на глазах, снег отяжелел, с пугающим шорохом осыпался с кустарников, они сидели у костра в одних свитерах, пили чай и громко радовались таким переменам.

Утром протаял береговой откос, а по белой тундре появились темные пятна. Гусей стало больше, появились полярные совы, лебеди, черные турпаны^[21]. Борис убил налетевшего гуся, они не доварили его, он был жесткий, но вкусный. Они мечтали, как поплывут на резиновых лодках, по утрам будут работать, а вечером охотиться и рыбачить.

На следующий день в тундру пришло настоящее тепло, и началась весна. Бугры оттаяли, всюду потекли ручейки и ручьи, а еще через день снег сошел совсем, будто его и не было.

Что тут началось! Кулики и кулички, чайки, крачки, утки. Песни, крики, драки! Начавшие линять, по-зимнему белые, но уже с коричневыми головками самцы куропаток хохотали от весеннего восторга на всю тундру, зайцы носились в брачных играх, облезающие грязные песцы бродили.

Вскоре речка поднялась, взломала и унесла лед. Они накачали лодки и начали геологоразведку...

В первых числах сентября – тундра уже снова стала белой, а озера забирало льдом – они сворачивали работы. Оставалось всего несколько дней, и в один из них Горчаков пошел прогуляться на соседнюю горку, откуда разглядел в бинокль большие охристые осыпи на склоне далекой горной гряды. Они могли образоваться только от выветривания сульфидных руд. Летом 1926 года он нашел там платиново-медно-никелевое месторождение, которое было названо «Норильск II».

Горчаков встал и двинулся дальше, думая о том, что ему тогда невероятно везло. С наивной молодой жадностью высчитывал он, сколько успеет сделать за отведенные ему пятьдесят лет. И вот ему почти пятьдесят...

С караванами барж должны были прийти письма от жены. Сразу три или четыре. Он ждал этих писем, но не был им рад. В прошлом году его судили в третий раз, оформили 58.10 и дали новый срок.

Осенью он написал Асе письмо, где просил больше ему не писать и считать себя свободной. Тогда он переживал это, теперь – нет. Его надежды, потрепанные за тринадцать лет лагерей, окончательно потеряли смысл.

Он прекратил переписку... но она писала.

Звук топоров, ножевок и молотков раздавался все отчетливей. Горчаков вышел из леса. Между большим болотистым озером и берегом Енисея строили временное жилье для вольных. Копали ямы метровой глубины. В них ставили палатки. Такие же большие, как у эков и охраны, но с окнами из оргстекла, утепленные войлоком и фанерой.

Люди работали весело, шутили и смеялись, где-то пели. Холостая молодежь в основном, но были и семейные – ребятишки крутились под ногами. Женщины копали ямы, раскатывали и резали войлок, развешивали белье на веревках, натянутых между деревьями. Мужчины ставили каркасы, колотили нары... На кострах варилась еда, ведерный самовар у кого-то дымил высокой трубой. Все походило на воскресный базар в богатом райцентре.

Ни колючки, ни вышек, никакой охраны... даже собаки лаяли тут иначе.

Рыжий во время перевозки пришел в себя. Это было хорошим признаком. Наверх они несли его с Шурой Белозерцевым. Двое блатных ждали у медпункта своего марафета.

8

Почему, когда и в чьей голове возник замысел этой гигантской стройки в Заполярье – неизвестно, известно лишь, что в 1947 году Сталин дал ей ход.

В том году в СССР действовала карточная система. Не хватало хлеба. Люди голодали и даже умирали (по оценочным данным, от голода погибли от 200 000 до 1 000 000 человек). Множество городов и сел лежало в руинах, катастрофически не хватало жилья, больниц, школ, рабочих рук и специалистов, элементарные одежда и обувь распределялись по карточкам. Восстановление экономики и нормальной жизни людей, по-видимому, и было насущной проблемой страны, но стареющий вождь СССР мыслил другими масштабами. Экономика страны была перегружена великими замыслами и стройками вроде Главного Туркменского канала или Сталинского плана преобразования природы. Проектов было много, они требовали колоссальных человеческих и материальных ресурсов.

Возможно, так семидесятилетний человек, обладающий абсолютной властью над покоренным советским народом, пытался продлить свою жизнь в веках. Руками миллионов заключенных копал, прокладывал, возводил, покорял... Ставил памятники своему гению.

Великая Сталинская Магистраль – железнодорожный путь, соединяющий северные области европейской части Советского Союза с Беринговым и Охотским морями. Многие тысячи километров пути за Полярным кругом. Там, где не жила и одна тысячная населения СССР. Можно предположить, что так выглядел замысел в его окончательном завершении.

Первый шаг был скромный – 400–500 километров дороги от Воркуты через Салехард на мыс Каменный, что на побережье Обской губы. Там Секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин предложил построить порт, в котором для

защиты страны с севера разместить военно-морской флот. Там же должны были переваливаться грузы с железной дороги на морские суда и уходить по Северному морскому пути.

У большой карты с указкой в руках Сталин сам доложил все на Политбюро. Идея для большинства была неожиданной, возразить никто не посмел, но и сторонников не нашлось. Сталин обратился к начальнику «Главсевморпути» и министру морского флота СССР Афанасьеву, мнение которого ценил.

Афанасьев, человек принципиальный и смелый, начал с простого соображения, что военные корабли будут десять месяцев в году стоять вмерзшими в лед. Кроме того, Обская губа – министр там бывал – мелководна и не подходит для крупнотоннажного судоходства. Афанасьев давно знал Сталина и видел, что вождю не нравятся его соображения, но как специалист считал себя обязанным их высказать. Он закончил тем, что без исследования территорий и потенциальных грузопотоков (в них он тоже сомневался!) такое решение принимать нельзя и что на изучение вопроса нужно не меньше года. Его слова довели Сталина до такой злости, какой Афанасьев никогда у него не видел. Сталин прервал совещание, потребовал создать комиссию Политбюро и за три дня – а не за год! – решить этот вопрос.

За три дня вопрос не решили. Начальник «Главсевморпути» и министр морского флота СССР Александр Александрович Афанасьев оказался английским шпионом. Бывшего капитана дальнего плавания, бывшего начальника Дальневосточного морского пароходства, всю войну руководившего поставками по ленд-лизу из США через Дальний Восток – это половина всей помощи союзников! – имевшего три ордена Ленина, допрашивал лично Абакумов. Допрашивал с «пристрастием», то есть бил, и уже через месяц после того совещания Афанасьев получил двадцать лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-1 «а» УК РСФСР.

Решение о строительстве принималось, когда Афанасьев в камере ждал своего приговора. На одном из ночных совещаний узкого состава Политбюро, где присутствовали Ворошилов, Жданов, Каганович и Берия, Сталин заслушал доклад начальника Северной экспедиции Татаринцева и, не спрашивая ничьего мнения, вынес решение: «Будем строить дорогу!»

Через несколько дней, 22 апреля 1947 года, Совет министров СССР принял постановление, в котором обязал МВД немедленно приступить к строительству морского порта, судоремонтного завода и жилого поселка на мысе Каменный, а также начать строительство железной дороги от Печорской магистрали к порту.

Мыс Каменный в это время был укрыт снегами и закован морозами. Никаких дорог туда не было, а навигация начиналась через три месяца – в середине лета. Но работа закипела.

За 1947–1948 годы в районе будущего порта были построены три больших лагеря. Заключенные соорудили жилье и складские помещения, а для стоянки кораблей пятикилометровый ряжевый ^[22] пирс из лиственницы. Тянули и железнодорожную трассу. В начале 1949-го «выяснилось» то, о чем говорил Афанасьев, – акватория Обской губы слишком мелководна для больших судов, а характер грунтов в районе уже построенного пирса не позволяет углубить гавань. Возможно, строителям это было понятно и сразу, просто боялись доложить. От строительства порта на мысе Каменный и железной дороги к нему отказались.

Но Сталин не любил быть неправым.

Новым местом для морского порта была назначена заполярная Игарка, и заполярная железная дорога увеличилась на тысячу километров. Теперь она должна была соединить северные отроги Полярного Урала с низовьями Енисея.

Итак, глубоководный морской порт, судоремонтный завод, выход железной дороги на стык морских и речных коммуникаций. В Игарке создавался большой транспортный узел. Зачем – неизвестно! Постановление Совета министров СССР от 29 января 1949 года только ставит задачи и никак не обосновывает грандиозный проект. Ни экономически, ни политически.

В тех краях на тысячи километров вокруг не было ничего, кроме Норильского горно-металлургического комбината. Везти по этой дороге было нечего.

Согласно Постановлению, в IV квартале 1952 года по железной дороге «Салехард – Игарка» должно было быть открыто рабочее движение, а в 1955 году начаться ее полноценная эксплуатация. При Северном управлении лагерей формировались два строительства –

Обское № 501, оно строило дорогу от Воркуты на восток к Енисею, и Енисейское № 503, двигавшееся на запад, навстречу Обскому.

9

Было четыре утра, «Полярный» ходко шел вниз, в Игарку. Солнце уже высоко поднялось над правым берегом, Енисей почти очистился, лишь изредка виднелись в волнах небольшие льдышки, как называл их главный механик, притонувшие уже, иные, правда, размером с полбуксира. Плыли и живые деревья с корнями и кроной, вывернутые половодьем где-то на таежной речке.

За штурвалом стоял капитан Белов, в новой рабочей тужурке, выбритый, в рубке приятно пахло одеколоном «Шипр». Рядом на высоком стуле в самовязаном сером свитере сидел старый механик Иван Семеныч Грач.

– Все, чисто! Считаю, прошел батюшка-Анисей, – бухтел старик сиплым трескучим голосом с видимым удовольствием. – Пронесло на этот раз, Сан Саныч! Винт целый, руль целый! Считаю, весну пережили... Вон еще льдышка! Эта нам не страшная, мимо...

Грач по привычке всеми пальцами прихватывал то правый, то левый ус, закручивал их концы вверх, сам глядел в сторону недалекого берега. Двигатель работал вполсилы, а летели со скоростью курьерского.

Белов подкручивал штурвал и, тоже довольный, поглядывал на берега, на неразогрешшее еще, прохладное утреннее небо. Он прямо счастлив был, что вырвались. В Ермаково пришел огромный караван – двадцать с лишним барж, и «Полярный» три дня крутился с маневрами в ермаковской протоке. Эту баржу – туда, эту – сюда, нет, давай дальше, давай, давай... С приездом начальства из Игарки командиров стало слишком много.

– Везут и везут, разгружать уже некуда, – капитан произнес вслух конец своей мысли. – Сгнойт половину! Бардак получается, Иван Семенович...

– Ну! – Грач свернул козью ножку, зажег спичку и скосил глаза к переносице, целясь подкурить. – А где у нас не бардак, Сан Саныч? Ээки что за работники?! Игарку вон возьми...

Иван Семеныч подкурил, газета на конце самокрутки вспыхнула огоньком, он притушил ее пальцами, прикурил еще раз и с наслаждением пыхнул клубами синего дыма из ноздрей. Сразу всю небольшую рубку завесил.

– В Игарке, пока зэков не было, все как на дрожжах росло! Вольные за три года два лесозавода отгрохали, причалы, склады... жильё хорошее. Архитектор из самой Москвы был!

– Как это не было зэков, чего говоришь? – не поверил Белов.

– Не было! – грозно просипел Грач. – Игарку вольные начинали. Акционерное общество «Комсеверопуть» – они нанимали! Люди мешки денег везли отсюда. Ну и работали... не то что зэки, ясен хрен. Тут жизнь была мировая!

Грач посидел, покуривая и вспоминая, потом тряхнул головой:

– Ссылные были, это да, а зэков не было. В 1929-м на берегу высадились – тайга глухая, а в 1931-м уже город стал! Вот так! А ты говоришь!

В рубку заглянул Егор Болдырев с горячим чайником. Взгляд у боцмана был такой, будто просто шел мимо. Ушанка на затылке.

– Опять сами за рулевого, Сан Саныч? – не одобрил боцман капитана, которому не положено было стоять за штурвалом.

Белов не ответил. Боцман втиснулся, обходя старика-механика. Снял телогрейку и повесил на крючок. В рубке было тепло от батарей. Егор Болдырев был курсантом все того же Красноярского речного техникума, который заканчивал и Белов. Ему недавно исполнилось шестнадцать, и боцманом он работал первый год.

– Сашкина же вахта... А хотите, я... – Егору хотелось встать к штурвалу, за этим и пришел.

– Сам покручу пока, после завтрака приборочку наведите.

– Корму тоже драить?

– Корму не надо – угля насыпем...

– Балуеть ты их, Сан Саныч, в мои времена матросы и спали со швабрами! Все блестело!

Егор хотел сказать, что у него тоже все блестит, но смолчал. Старый Грач не упускал случая, чтобы маленько поучить Егора, боцману это не нравилось.

– Смотри-смотри! – механик показывал на небо.

В голубом просторе невысоко над кораблем летел большой косяк гусей. Треугольником, ровно шли, как будто бы и не сильно работали крыльями, но летели быстро.

– Юг дует... домой их несет! – Белов вцепился взглядом в вожака. Тот уверенно вел за собой стаю. – Знает дорогу! Никакого сомнения в нем! Всегда удивляюсь!

– Штук сто, не меньше... – восхищенно просипел Иван Семеныч. – Давайте, летите, мы к вам, бог даст, наведаемся. Ох, моя старуха гусятину любит!

– Тридцать восемь, – оторвал взгляд от неба Егор.

– Чего тридцать восемь, я тебе говорю под сотню, я их знаешь сколько перебил... – строго нахмурился Грач.

– Я подсчитал! – стоял на своем Егор, выходя из рубки.

Капитан их не слушал, с жадной радостью человека, соскучившегося по работе, глядел на воду, на мощные весенние взмыры^[23], выбивающиеся из глубины. Пароход переваливал к правому берегу. Солнце поднималось все выше, Енисей заголубел, левый берег был завален высокими белыми торосами. Здесь их никогда не снимало водой, они держались до июля, истекая под солнцем. На высокой правой стороне лес стоял еще зимний, серый, снег лежал по лощинкам, березы стройными белыми стволами вертикально штриховали склон до самого хребтика. Елки да кедрушки выделялись темными пятнами. Все было чуть-чуть скучноватое и повесенному грязное, но березы уже покраснели, наливаясь соками, присматривался Сан Саныч... Обернуться не успеешь, уже лето!

– У тебя, Сан Саныч, дети есть? – спросил механик.

– А? Нет...

– И у меня нет, старуха моя застудилась по молодости и не могла родить. Раз пять брюхатил ее, а не вынашивала.

Грач помолчал, безразлично глядя далеко вперед, туда, где Енисей сходил с небом. Лицо у деда было в глубоких обвисших морщинах, голова седая, с редкими старческими завитушками на затылке и плешью на макушке. Только боевые усы седой проволокой торчали в стороны. Они с Беловым знали друг друга недолго, месяц, пока готовили судно в Красноярске, и вот на реке. Дед был ничего, соображал в железках, уставал только и любил привалиться. У него в машине был уголок, выложенный изношенными телогрейками, где он

любил покемарить под шумок негромкого парового двигателя. Утром, правда, всегда вставал рано.

– Моя старуха племянниц-двойняшек вырастила... десять лет с нами жили... – дед смотрел на Белова, но мыслями был где-то далеко. – Они нам родней родных были, а выпустили ихнюю мать – сестру мою, она и забрала. И они ушли! Своя кровь!

Старик изучил погасшую самокрутку, но прикуривать не стал.

– Десять лет по лагерям шаталась... Большая вся вернулась, матерится, курит, как мужик, а они все равно к ней прибились.

Белов слушал внимательно, поворачивал голову от воды и глядел на старика.

– Спросить хочу, Иван Семеныч... ты же всю жизнь флотский...

– Ну так! – дед посмотрел на Белова, как будто не понимал, как еще можно прожить жизнь.

– Все лето на реке, а жена там... Я в прошлом году женился... – Белов замялся.

– У меня старуха правильная в этом вопросе. А ты что же, сомневаешься в своей?

Белов глядел вдаль, где вскоре должна была появиться Игарка, неопределенно пожал плечами. Ему и хотелось, и не хотелось домой. У него в Игарке было немало приятелей и подружек, которых он не видел с марта, когда улетел в Красноярск принимать «Полярный». Но была и супруга Зинаида. Он женился прошлой осенью по пьяному делу, когда кончилась навигация. Как так получилось, он и сам хорошо не помнил, могли бы просто жить, как многие и жили, но они расписались на другой день – сам же по знакомству все и устроил. Зинаида была на три года старше, красивая... и одевалась так, что выйти с ней было приятно, да и в койке... Даже сейчас, вспоминая жену, Белов почувствовал, как зашумело в мозгах. Он крепко сжал штурвал, вздохнул и прищурился на редкие облака над Енисеем.

Не любит она его – это Белову было понятно. Наряжаться любит, прически модные, туфли... Родилась Зина в Брянске, отца своего не помнила, приехала с матерью по вербовке. Мать такая же – Белов терпеть не мог свою толстую тещу, работавшую в торговле: всегда с наглым или неприятно льстивым лицом, крашеная блондинкой, с темными корнями отросших волос и с темными усиками над верхней губой.

Когда улетал в Красноярск, хотел взять с собой Зинаиду, но она отговорила – мама как раз захворала. Он звонил потом ребятам в Игарку, спрашивал между делом о жене, те рассказывали, что и на танцах ее видят, и еще с одним кентом частенько. Белов и до женитьбы встречал ее с этим длинноносым лейтенантом госбезопасности.

Развестись почему-то не приходило ему в голову. Вот и сейчас при мыслях о Зине у него все путалось. То казалось, что любит ее, то с досадой вспоминалось, как она врала и выкручивалась. Он ей, конечно, тоже врал, случалось.

На палубе появился матрос Санька. Тощий, в штанах, подвернутых до колен и голый по пояс. Он выплеснул за борт грязную воду из ведра, побежал на корму за чистой и вернулся, плеща на палубу и себе на босые ноги. Его колотило от холода. Перед входом в кубрик Санька поскользнулся на своей же воде и со всего маху сел на задницу. Ведро, однако, удержал.

В шесть утра в рубку заглянула Степановна и позвала завтракать. Белов остался один. Солнце широко блестело по волнам, грело сквозь окна, в дверную щель свежо задувало с присвистами. Все было, как и в прошлом году, Белов посматривал на знакомые, почти родные места, и в душе его возникало радостное волнение.

Это было не только утро Енисея, это было и его утро, утро его большой жизни. Вокруг Сан Саныча волновалась, наполненная ветром и солнцем, его любимая стихия. Это была река, но это была и работа. Он распахнул дверь, вдыхая полные легкие ледяного воздуха. Серьезная работа, Сан Саныч! Так было и так будет! И нет ничего выше этого!

Небольшая льдина чуть ударила в борт, гулом отозвалась по металлическому корпусу, «Полярный» привычно вздрогнул, не особо обращая на нее внимания.

Жена Горчакова Анна, а по-домашнему Ася, была поздним и единственным ребенком в семье известных музыкантов. Отец пианист, профессор консерватории и Гнесинского училища, мать – тоже пианистка, преподавала и была концертмейстером Вахтанговского

театра. В их доме постоянно бывали знаменитые музыканты, литераторы, актеры и художники.

Ася родилась в 1912-м, до десяти лет, все смутные времена, получала домашнее образование, потом закончила Гнесинку, потом консерваторию. Ей прочили блестящую карьеру, но Ася, как и большинство молодых людей ее круга, мечтала о живой и трудовой жизни, мечтала работать на благо новой России, не щадя себя.

С будущим мужем, с Герой, она была знакома всегда – жили в одном подъезде, учились фортепиано у одного педагога – отца Аси. Тогда, совсем юной девочкой, на десять лет младше, она в него и влюбилась.

Но Гера, все из того же благородного порыва служения Родине, бросил музыку и пошел в геологию. Начались долгие отъезды, виделись они редко, только писали письма. В конце сентября 1936-го, когда Георгий вернулся из Норильской экспедиции, Ася, после жутких ссор с родителями, уехала в Ленинград. Вскоре они расписались.

Их семейное счастье длилось три месяца. Георгия арестовали 31 декабря 1936 года. Они вдвоем, почти втроем, Ася была беременна, сидели за новогодним столом. Счастливые друг другом и молодостью, которая распахивала перед ними все дороги. Он в свои тридцать три – доктор геолого-минералогических наук, руководитель больших экспедиций, и она – талантливый музыкант. Когда в их комнату вошли вежливые люди в штатском, Ася с Герой наряжали елку и горячо спорили: она умоляла взять ее на безлюдное заполярное плато Бырранга, а он не просто это запрещал, а требовал, чтобы Ася рожала у родителей в Москве и поступала в аспирантуру консерватории...

Первое утро 1937 года она встретила у окна общежития Арктического института, на Васильевском острове, улица Беринга, 38. Она ждала, что он вернется. Озабоченно щупала свой живот, которого было еще совсем не видно.

О муже ничего не сообщали – ни где он, ни в чем обвиняется. Растерянная и ничего не понимающая, бегала Ася по ленинградским тюрьмам, стояла в страшных, словно чумных очередях среди женщин с такими же лицами. Она ревела по ночам, днем же держалась, улыбалась сослуживцам Геры и сама начинала верить, что это ошибка и его скоро отпустят.

Через неделю ее выселили из общежития и заставили уехать в Москву. Даже купили билет – у нее не было денег – и отвезли на вокзал.

Вскоре пришла и ее очередь. Брала Асю на глазах немолодых родителей. «По решению комиссии УНКВД от 23 января 1937 года, как жена врага народа...» она высылалась административно без указания срока ссылки в город Кустанай Казахской ССР.

Она совсем потерялась (ее окончательно разлучали с мужем!), не понимала, почему, на каком основании ее доброго и гениального Геру, который столько сделал для Родины, называют врагом народа. Она не слушала приказаний, не собиралась, но сама спрашивала тех, кто пришли за ней: разве был суд?! Где он? Он мой муж! Я целый месяц ничего не знаю! Это законно? Если он враг народа, значит и я враг народа!

Молодой лейтенант, возможно ровесник Аси, отмалчивался, пояснял сурово, что во всем разберутся. Молчал и отец, сидел за роялем с таблеткой под языком. Он сосредоточенно хмурился, зачем-то начинал поднимать крышку инструмента, но тут же, будто одумавшись, опускал ее со словами: так-так, значит, Ася... Он словно хотел ей что-то объяснить, но замолкал, вцепившись взглядом в беременную дочь. Только мать, не обращая внимания на военных, трясущимися руками собирала теплые вещи, давала Асе указания. «Возьми себя в руки, это только ссылка...» – шептала мужу, потом дочери. Но, кажется, она сама в это не верила.

Матери в тот момент было пятьдесят восемь, отцу – почти семьдесят. Их единственную дочь с еще не родившимся внуком увозили, как увезли многих вокруг.

Меньше чем через полгода, совсем немного не дожив до Асиных родов, отец умер. Мать писала, что после ее ареста он почти перестал разговаривать, не принимал лекарства и врачей и ушел из консерватории. Он сидел целыми днями за письменным столом, глядя в одну точку. Иногда перед ним лежали чистые листы бумаги, но он ничего не писал. Он умер солнечным майским утром, от остановки сердца.

Внука, в честь деда, назвали Николаем. Он родился в нормальные сроки 15 июня в маленькой саманной больничке пыльного казахского

райцентра. Было очень жарко и голодно, но у нее, несмотря на худобу и небольшую грудь, хватало молока, и мальчик рос хорошо.

После нового 1938 года от матери перестали приходиться письма и посылки, а в конце января, как раз был год ее ссылке, пришло письмо от домработницы. Фима писала, что мать сбило машиной и в их квартире уже живут другие.

Ася отбыла почти три года. В ноябре 1939-го ее неожиданно освободили. Даже с правом проживания в Москве. Ее вытащил директор Норильского комбината генерал Перегудов, однокашник Георгия Горчакова по Московской горной академии.

Ася с двухлетним Колей поселилась у Горчаковых. Все в том же седьмом доме в Большом Власьевском переулке, этажом выше, чем жила всю свою жизнь. Квартира была четырехкомнатная с просторной кухней, отец Горчакова Николай Константинович служил заместителем наркома легкой промышленности, у него была огромная зарплата, персональная машина и дача, а сам он неделями работал в командировках. Мать же, Наталья Алексеевна, была занята взрослыми детьми, их было трое: Илья, Лида и Георгий. К тому моменту все они были осуждены на разные сроки и отбывали наказание в разных частях большой страны.

После холода и полуголодного существования в Казахстане, после тесноты, воющего ветра и необходимости раз в две недели ходить отмечаться за двенадцать километров Ася приходила в себя. Съездила к родителям – они лежали на разных кладбищах. Пыталась найти работу, но пока нигде не брали, и она много занималась фортепиано и маленьким Колей.

С возвращением к жизни страшнее становилась тоска по мужу. Она три года не видела его, и к нему можно было уехать. Георгий, благодаря все тому же генералу Перегудову, возглавлявшему одну из самых важных гулаговских строек, был почти вольным, второй год руководил в Норильске всеми геологическими работами. Она рвалась к нему, но Гера опять был против, просил потерпеть, рассчитывая на досрочное освобождение.

Вскоре, однако, жизнь Аси сильно поменялась. В декабре 1939-го отец Геры Николай Константинович Горчаков умер во время операции по удалению аппендицита. Наталья Алексеевна, все знавшая о делах мужа, молчала, но видно было, что она не верит официальному

заклучению и боится больше обычного. Она всех подозревала в доносительстве, иногда Ася ясно видела, что и ее тоже.

Это были не все беды, обвалившиеся на семью. После Нового года освободили из заключения умирающего от туберкулеза старшего сына Горчаковых Илью. Он был едва живой, высохший, кашлял кровью и очень не хотел умирать. Принимал лекарства точно по часам. Он умер на руках матери, и Наталья Алексеевна замкнулась. Она почти перестала разговаривать.

Ей было всего шестьдесят три, она была крепка и здорова, но сама жизнь перестала ее интересовать. Пустыми глазами смотрела она на маленького внука, милого и ласкового Колю, как будто не понимала, зачем все это. Зачем такой милый мальчик? Я знаю, что с ним будет, и вы все знаете, тогда зачем?

Летом, ровно через полгода после смерти Николая Константиновича, их лишили персональной пенсии, госдачи и увезли Наталью Алексеевну. Ася с Колей на руках снова оказалась в тюремных очередях и каждую ночь ждала худшего – что придут за ней. Она тихо сидела возле улыбающегося во сне Коли – какие только мысли не приходили в голову. Но вышло иначе – Наталью Алексеевну вскоре выпустили.

Денег не стало. Асю с ее биографией не брали даже уборщицей, она работала дома машинисткой, печатала целыми днями на немецком и французском и немного преподавала фортепиано, благо инструмент стоял у них в квартире. Время от времени продавали дорогие вещи или украшения Натальи Алексеевны.

Так они пережили войну. В июне сорок пятого, на полгода раньше срока, вернулся из заключения Георгий, и Наталья Алексеевна ожила. Хлопотала о приличной одежде, доставала продукты и целыми днями не отходила от него. Просто сидела и смотрела, как он листает книги по геологии или в поисках работы пишет письма бывшим товарищам. И Георгий, и его мать сильно изменились. Они сами как будто не узнавали друг друга.

За три недели, что Георгий пробыл дома, что-то наладилось, осколки когда-то большой семьи стали будто бы срастаться, возникла жизнь, зашевелились тени прошлого, ожило фортепиано, казалось, вот-вот комнаты наполнятся прежними веселыми и бодрыми голосами людей, живших здесь совсем недавно. Наталья Алексеевна улыбалась

и от волнения говорила со всеми по-французски. Она не была сумасшедшей, она плохо понимала, что происходит.

Второй раз Георгия забирали ранним утром в конце июня. Солнце только вставало. Их опять было трое, старший – улыбчивый молодой капитан – переговорил с Георгием на кухне. Тот вышел как будто вполне спокойный и стал собирать вещи. Обыска не было – взяли только бумаги Георгия, разложенные на письменном столе. Капитан был любезен, шутил, говорил, что это не арест. Просто необходимо выяснить кое-какие подробности, связанные с прежней работой Георгия Николаевича. Присел к фортепиано и спросил разрешения открыть.

Наталья Алексеевна оживилась на неожиданную просьбу:

– На этом инструменте играли многие известные люди. Шостакович, Прокофьев... – она, может быть, впервые в жизни лебезила перед человеком. – Георгий знаком был... Дружили...

Знаменитыми фамилиями она пыталась объяснить, что ее сын не просто субъект, которого надо отвезти в тюрьму, но живой человек, ценная личность, друг таких известных людей.

– Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, это ненадолго, к вечеру вернем обратно... – капитан, стесняясь, взял несколько неуверенных аккордов.

Наталья Алексеевна весь день просидела в прихожей, слушая лифт. Георгий не вернулся.

Следствие вел тот же капитан, что и арестовывал. На первом же допросе он прямо сказал Горчакову: вы опытный, разумный человек, подписывайте все, и мы обещаем легкое следствие и минимальный срок. А возможно, и выбор места. Где бы вы хотели работать? Случаев, когда брали вскоре после освобождения, было множество, Георгий знал о них и к аресту был готов, если к нему вообще можно быть готовым, он все подписал и уже 23 августа 1945 года был осужден ОСО НКВД СССР по тем же статьям, что и в первый раз. Десять лет – это действительно был минимум. За сокрытие полезных ископаемых. Не морочились – переписали из дела в дело, даже с теми же ошибками. К разведке полезных ископаемых последние шесть лет он не имел никакого отношения.

Капитан выполнил и еще одно обещание – перед этапом дали свидание с Асей.

– Если сможешь выйти замуж, выходи. Ты молодая, будут дети, поменяй фамилию, – он почти спокойно смотрел ей в глаза. – Помощи и посылок мне не надо, я там уже все знаю...

– Гера, ты что говоришь?

– Нет! – он остановил ее взглядом. – С моей жизнью все ясно, пусть тебя оставят в покое...

– Как ты можешь! Девять лет, что мы ждали друг друга, – это была не жизнь? Коля уже большой, я могу приехать к тебе... – зашептала Ася, озираясь на охранника.

– Выбрось из головы, это глупость... Ты не представляешь себе, что там!

Вскоре квартиру забрали, а их переселили в старенький двухэтажный дом на Сивцевом Вражке. Это было совсем рядом, место знакомое с детства, и Ася даже рада была, что все как будто прежде, но здесь ничего не напоминает об аресте. И комната досталась немаленькая – шестнадцать метров, с большим, почти во всю стену окном. Выселяли их быстро, мебель пришлось оставить, только рояль по цене платяного шкафа купили соседи.

Дом был с одним подъездом, скрипучей деревянной лестницей и небольшим зеленым двориком. Каждую весну хозяйки засаживали клочки огородиков: огурцы, картошка, капуста, укроп-петрушка. Их коммуналка была всего на пятерых хозяев, без ванной комнаты, но с водопроводом и туалетом.

В сравнении с тем, как жили многие, все это было неплохо. Ася выгородила шкафом и тяжелой шторой угол для свекрови. Там помещались кровать, кресло и половина окна. У другой половины стоял кухонный стол, за которым обедали, Коля делал уроки, а Ася печатала.

К лету 1949 года произошли еще два события.

В декабре сорок пятого в семье Горчакова Георгия Николаевича родился сын Сева, и теперь он, почти четырехлетний, непонятно в кого темноглазый, ужасно симпатичный и умненький, путешествовал по всей коммуналке.

Второе событие было таким – Севкиного отца Горчакова Георгия Николаевича уже в лагере осудили на четверть века исправительно-трудовых лагерей.

Дату их встречи отодвинули на трудновообразимый 1973 год, когда Севе исполнилось бы двадцать восемь, Коле тридцать шесть, а их матери шестьдесят один.

На кухне никого не было, Ася поставила на керогаз тяжеленный бак с бельем, замоченным еще с вечера. Она делала все машинально, привычно быстрыми и точными движениями – она все так делала, сама же разговаривала с Горчаковым. Или не разговаривала, но он почти всегда, а может и всегда, находился рядом. Это стало привычкой. Он присутствовал в ее воображении, и она рассказывала ему, что сейчас с ней происходит. Как будто письмо писала.

...Тут с юбилеем Пушкина множество прекрасных мероприятий. Я наметила себе кучу всего... Хочу попасть в Большой на «Бориса Годунова». Поставил Леонид Баратов, в первом составе Марину поет Мария Максакова, а Юродивого – Иван Козловский. Пока не попасть никак, но мне обещали контрамарки... Пойдем с Колей. Жаль, что Наталья Алексеевна не увидит, она очень постарела. – Ася проверила керосин в бачке керогаза, долила из бидончика. – Последнее время Наталья Алексеевна сажает рядом с собой Колю и Севу и рассказывает им о своей молодости, о Николае Константиновиче. Очень интересно, я иногда заслушиваюсь и забываю печатать, ее речь все больше становится той, прежней. Удивительно, что Сева слушает внимательнее Коли, а потом у меня выпрашивает... вчера пришлось изучать энциклопедию – бабушка рассказывала об Орехово-Зуевской мануфактуре Саввы Морозова, которой руководил их дед.

Ася убавила огонь под закипевшим баком, помешала белье палкой.

...Сева удивительный, никогда не говорит глупостей, которые говорят все дети. А иногда мне кажется, что он понимает даже то, о чем я только думаю. Наталья Алексеевна уверяет – он твоя копия, говорит, ты маленький тоже был серьезный и задумчивый. А я боюсь, он такой взрослый, потому что мало общается с детьми.

Ася очнулась от безответного разговора и пошла в комнату. Сева еще спал, она достала из-под кровати большой кусок хозяйственного мыла. Заглянула к свекрови. Наталья Алексеевна сидела в кресле, думая о чем-то, не среагировала на появление невестки.

Ася вышла из комнаты, едва не столкнувшись с соседом. Геннадий Иванович, в голубоватой майке и с полотенцем в руках, входил в свою комнату. Здороваясь, театрально нагнул голову, но посторонился, как будто боялся заразиться. Ася даже улыбнулась внутренне. В коммуналке их комната – бедные родственники врага народа – была самая неблагополучная. Вскоре из комнаты Геннадия Ивановича раздался приятный баритон: «А-а-а-а... А-а-а-а... – Геннадий Иванович прокашлялся тщательно, прополоскал горло, и опять запел: – А-а-а-а...»

Геннадий Иванович преподавал марксистско-ленинскую философию в пединституте, а для души пел русские народные песни и романсы. Он был из провинциальных мещан, без музыкального образования, самородок. Жена аккомпанировала на пианино или аккордеоне. Они выступали по домам культуры, а иногда ездили «с концертами на село». На Асю Геннадий Иванович всегда смотрел сверху вниз, с легким чувством превосходства, она же на него старалась не смотреть совсем – он очень фальшивил, когда пел.

Ася вернулась в кухню и стала строгать липкий коричневый брусок мыла в бак с бельем.

...Ты Колю не узнаешь... – продолжила разговор с Горчаковым, – он очень взрослый. Столько пережил – бомбежки, голод... А как голодно было после твоего второго ареста, в сорок шестом и сорок седьмом! Иногда у нас был только хлеб! Теперь Коле двенадцать, и он самостоятельный. Это, конечно, плохо, у детей должно быть детство, но если бы не он, что бы я делала? Он остается с Натальей Алексеевной, водит ее в туалет, иногда что-то готовит... – Ася очнулась и прислушалась, – недавно сварил французский луковый суп. Представляешь? Наталья Алексеевна перевела ему рецепт... Как жаль, что ты все время молчишь. Я пытаюсь и не могу представить, что ты улыбаешься. Ты все время только слушаешь меня.

В кухню вошел заспанный Сева, на ходу надевая очки. Увидел тихо булькающий бак, забрался на табурет и стал смотреть, держась за плечо матери.

– Сева, пожалуйста, осторожно! – Ася еще помешала и отошла к столу чистить картошку.

– Серый суп из мыла... – Сева потрогал пальцем вздувшиеся пузыри белья. – Хорошо бы добавить лук и морковку... Я «Тёму и

Жучку» дочитал.

– Сам?

– Сам и с бабой.

– Ты плакал?

– Нет, я знал, что он ее спасет, – он слез с табурета.

– Знал?

– Конечно. Человек должен спасать друга.

Ася перестала чистить и с интересом посмотрела на сына.

– Тот, кто бросил Жучку в колодец... баба говорит, он скотина...

– Ну да, – согласилась Ася.

– Нет, сначала он был просто человек. Вот когда бросил Жучку, стал скотиной...

– Здорово, соседи! – В кухню шумно, с тяжелой авоськой вошла Ветрякова. Они жили через стенку с двумя девочками-старшеклассницами. У них никто не сидел и не бывал в ссылке. Ветряков работал токарем, а Ветрякова уборщицей в продуктовом, и с харчами у них было лучше всех.

– Здравсьте, Нина Семеновна! – Сева сказал и спрятался за мать.

– От зараза! Знает, что не велю так, а вот я тебя! – она растопырила ладонь и посунулась к Севе. – Как меня надо звать?

– Баба говорит, тетя Нина нельзя! Надо – Нина Семеновна!

– Из ума твоя баба давно выжила... – Ветрякова вынула хлеб, большой кусок свинины, капусту выкатила на стол. – На-ка хлебца... – отрезала горбушку и подала Севке. Она его любила.

– Спасибо! – Сева крепко взял хлеб и повернулся к матери с вопросом в глазах.

– Водичкой полей да сахаром посыпь! – Нина обрывала верхние капустные листья и все улыбалась Севке. – Ну, сахарком! Вкуснятина будет, за уши не оттощишь!

Сева протянул хлеб матери. Асю бросило в краску, она выключила керогаз и накрыла булькающий бачок крышкой. Мыльным паром пахло на всю кухню.

– Спасибо, Нин. У нас как раз сахар кончился. Ешь так, Сева!

– Опять без денег сидишь? – Нина ловко обрезала мясо с кости, она с первого дня покровительственно отнеслась к непрактичной интеллигентке-пианистке. – С Клавкой так и не поговорила?

Ася улыбнулась виновато и качнула головой.

– Что, убудет тебя? Она позавчера опять с тем хахалем была! Погоны-то на нем немаленькие! Поговори с ней, она баба неглупая, шепнет в нужный момент! – Нина подмигнула со значением. – Он тебя куда хочешь устроит! А так-то никуда не возьмут, это ясно.

– Да-а... – Асе не хотелось продолжать тему, она присела к Севе, заправила рубашку в трусы.

– Что да-а? На-ка хоть суп свари... – она положила на край стола кость, на которой осталось немного мяса, посмотрела на нее и доложила кусок сала. Зашептала, нагнувшись: – Что, так уж не любишь, этих-то? – Нина поерзала подбородком по плечу, где должны быть погоны.

– Да почему не люблю...

– Мой тоже не любит... – Нина говорила вполголоса, прислушиваясь к тишине коридора. – А чего? Всем жить надо. Будешь у них на машинке стучать, что тут такого?

Ася молчала.

– Нет, ты скажи! Чего волчицей смотришь?

– Не хочу я там работать, – шепнула Ася с нескрываемой досадой.

– Нет, ну одно слово – пианистка! Работа у них такая! Ты не будешь, другая будет!

– Пусть без меня... Иди проверь бабушку... – Ася подтолкнула Севу из кухни.

Нина выглянула в коридор, поставила миску с мясом под кран и открыла воду.

– Мой тоже, как напьется, такое, дурак, порет: видел я их, орет, на фронте! – Нина говорила почти беззвучно, одними губами. – А с Клавкой поговори, она хоть и шалава деревенская, а помочь может. В ресторанах сотни просиживает со своим...

Хлопнула наружная дверь, женщины замолчали, Ася по знакомому пыхтению поняла, что разувается Коля, поблагодарила за мясо и пошла в комнату.

– Мам, можно я к Сашке пойду, ему гитару купили...

– Ты трико порвал! Коля! – Ася повернула его спиной, проверяя с другой стороны.

– Я видел... Тренер сказал, на первенство района меня поставит.

– Снимай, зашью, и не забывай, пожалуйста, у тебя больше ничего спортивного нет.

– Я помню. Где взяла мясо? – Коля понюхал кость.
– Я сегодня печатать иду в театр, ты сможешь там поиграть!
– Мам, я Сашке обещал, он нот не знает... не хочу я на фортепиано...
– Николай! – раздался неожиданно громкий голос из-за ширмы.
– Да, баб! – Коля зашел к ней.
– Твой отец был блестящий пианист! С Обориным, с Шостаковичем играли в четыре руки!
– Баб, ты это говорила! Я просто хочу на гитаре...
– Не перебивай! – Наталья Алексеевна помолчала. – Мать твоя тоже замечательно играла... Ты – внук профессора консерватории, наконец! Я не понимаю, почему тебе не стыдно?! Собирайся и иди с матерью, в Вахтанговском хороший инструмент!
Коля громко и тяжело вздохнул и вышел из-за ширмы.
– И не вздыхай! Музыка – это прекрасно! А от футбола у тебя вылетают мозги! Как это можно, биться головой о мяч! А главное – зачем?!

11

В Игарской протоке, у причалов и на рейде стояло немало судов. «Полярный» медленно двигался к пристани Енисейского пароходства, гудками здоровался. Небольшой портовый буксир «Смелый» маневрировал с двумя длинными баржами. Баржи были порожние, высоко стояли над водой, пароходик мелким муравьем суетился возле. Всю прошлую навигацию отработал Белов подменным капитаном в Игарском порту на этом вот «Смелом». Загудел длинно, приветствуя товарища.

Сразу за пристанью пароходства стояла трюмовая баржа «Ермачиха», построенная специально под заключенных. Их как раз и разгружали. Серая река людей лилась из широкого носового люка на берег и, нарушая закон всемирного тяготения, медленно текла в гору.

На рейде стояла родная сестра «Ермачихи», тоже деревянная, почти стометровой длины и широкая, баржа «Фатьяниха». Ее трюм был огромной тюремной камерой – без переборок, вдоль бортов и посередине – сплошные нары в три и четыре яруса – «Фатьяниха»

вмещала в свою утробу несколько тысяч человек. Сейчас она была пустая – трюмы распахнуты, бойцы завтракали на палубе возле шкиперского домика, кормили собак.

Белов переоделся и направился в город.

Было около восьми, он поднимался широкой лестницей с перилами к красивому зданию речного вокзала. Решил сначала зайти в контору Строительства, не терпелось узнать, куда его направят, опасался, что оставят в Ермаково или здесь, в Игарке, на маневрах. «Полярный», конечно, был не самым мощным буксиром, но по мореходности мог и на Диксон ходить. Белову хотелось простора.

Контору Северного управления МВД СССР начинали строить в начале марта, когда он улетал в Красноярск принимать «Полярный». А еще две улицы нового жилья для офицеров и вольнонаемных. Поговаривали, отсюда будут управлять всеми заполярными стройками, экспортом леса и Северным морским путем. Организация очень богатая, это было понятно по самолетам, которые прибывали и прибывали в город. Привозили начальство и специалистов. Много больших полковников ходили по Игарке, вечером в ресторане места не найти было.

От речного вокзала перекладывали дорогу – снимали сгнившие и поломанные доски и стелили новые. Тротуары уже починили, они пахли свежим деревом, Белов шел и чувствовал под ногами хорошую крепкую работу. Мостки через ручьи и овраги ставили с перилами, под ними еще лежал снег, вытаивал зимний мусор. На каждом шагу попадались привычные таблички: «Не курить!» и «No smoking!» для иностранцев, впервые попавших в город, где все – дороги, тротуары, дома – было деревянное. То тут, то там под охраной стрелков зэки тесали топорами опорные бревна, пилили доски, копали ямы под столбы. Неужели освещение поведут? – не верил глазам Белов, вспоминая темные полярные ночи. На месте старого кинотеатра «Октябрь» строилось большое здание с колоннами. Сносились ветхие торговые ларьки, которые в народе звали по-простому – балки^[24], и ставили новые.

Двухэтажное здание Северного управления бросалось в глаза свежим сосновым брусом, но больше – не по-северному огромными, в два человеческих роста, сверкающими на солнце окнами. «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе

коммунизма!» – красный транспарант был растянут вдоль всего здания между первым и вторым этажами. Белов зашел за угол и нацепил орден, это иногда помогало.

В Управлении кое-что еще доделывали, пахло свежими стружками, вставляли окна в коридоре, но на дверях уже были приколочены таблички. Белов нашел «Отдел водного транспорта» и, постучав, вошел.

Через сорок минут он, довольный, сбегал по широкому крыльцу – его срочно отправляли в низовья. Даже продуктовые деньги выдали на два месяца вперед. Диспетчер оказался толковым интеллигентным дядькой не из местных. Расконвоированный, похоже...

Беловы имели отдельную комнату в длинном бараке. Вход в него был с торца, сразу направо общая кухня. Белов поздоровался с соседкой, стоявшей у плиты.

– Ой, Сан Саныч, ты откуда? – удивилась жена знакомого капитана, выглядывая в коридор. – Моего там не видел?

– Не видел, Катя... Я из Ермаково!

Зинаида спала крепко, не услышала, как он открыл дверь. Приподнялась испуганно и недовольно на локте и, увидев Белова, улыбнулась смятым лицом:

– Александр Александрович! Явились, не запылились! – Зина зевала, улыбалась, раскрывая объятая, и Белов запер дверь на крючок.

– Ой-й, – Зина сладко потянулась и, заголяясь, подвинулась к стенке. Белье на ней было прозрачное. Незнакомое. Ее призабытые запахи кружили голову.

Потом Белов сидел в одних трусах на кровати, гладил гладкое бедро жены и быстро рассказывал, как ему сегодня повезло с начальством и его отправляют в низа́.

– Поедем со мной?! – Белов решительно смотрел на Зинаиду. – Ты знаешь, какой там Енисей! Пятьдесят километров, берегов не видно! А?! Рыбы всякой, зверья... Поедем!

– Ну Са-аня, ну что я там буду делать? Повариху хочешь из меня... – она изогнулась, как кошка, одной рукой ухватила за спину мужа, другой ловко и бесстыдно залезла в черные семейные трусы Сан Саныча. – Только приехал – и уезжаешь!

Белов ойкнул, схватил ее за руку и глянул на окно, завешенное простыней. Зинаида была ненасытная, и от этого ему еще больше хотелось забрать ее с собой... Она не дала ему говорить.

Потом пили чай, у Зины были московские конфеты и совсем не было еды в доме. Даже сахару не нашлось. Белов оставил ей денег и пошел на берег. Вскоре исчезла и досада на жену. Он широко шагал, представляя, что уже завтра может уйти в просторы Енисейского залива.

Навстречу вели большой этап. Охранники шли по тротуарам, зэки – пятерками по разъезженной за зиму деревянной мостовой. Из нее местами проступала и хлюпала грязь, где-то поломались и задрались доски. В первом ряду, слегка рисуясь, шли козырные. Одеты каждый на свой лад, в хороших сапогах, свитерах или пиджаках. Только у одного под мышкой был небольшой кожаный чемоданчик – «балетка», остальные – с пустыми руками. И все в прическах, крайний справа, ближний к Белову, был с длинной, падающей на глаза челкой. Белова завораживали такие колонны, он отошел в сторону и остановился.

При виде зэков у него всегда возникало безотчетное чувство опасности, он злился на себя, потому что никогда не знал, как себя с ними вести. Особенно с блатными. Зэков много было в крае – в очереди в магазине, на базаре, на пристанях – их было видно по лицам. Отсидевшие и оставленные на поселение, они жили по своим законам. В Игарке и в Дудинке образовались поселки из бывших, куда милиционеры по одному не ходили.

Этап небыстро двигался вдоль длинного забора лесозавода с колючей проволокой поверху. За этим забором им предстояло работать, готовить пиломатериал из ценной ангарской сосны для заграницы. Такие же зэки, а может и кто-то из них, пилили эту сосну всю зиму за тысячи километров отсюда. Миллионы кубометров прошли через их руки.

Этап был из «Ермачихи». Из-за ледохода их почти месяц везли сюда в вонючем, прокуренном, холодном трюме. Две тысячи человек.

В строю почти не разговаривали. «Шире шаг! Подтянись!» – раздавалось у Белова над ухом, и он невольно отступил еще. Неровные колонны стриженных и давно небритых людей шли и шли мимо, конца им не видно было. С мешками, узлами, фанерными чемоданами,

бушлатами, тулупами и пальто в руках. В обвислых ватных штанах и телогрейках. Один немолодой усатый дядька внутри строя, увидев Белова, вдруг ожил глазами, вскинул руку, но строй уже прошел мимо. Белов глянул ему вслед, и тут же потерял, не отличить было от других. Бритые, седые, белобрысые и темные затылки под ушанками колыхались и колыхались в такт шаркающим шагам.

Молодой чернявый мужик в истрепанном тулупчике отвел с дороги коня с телегой, груженной обрезками досок. Стоял, держа лошадь за морду и угрюмо покуривая. Лошадь тоже недоверчиво косилась на этап из-под его руки и временами вздрагивала всем телом.

Белов остановился возле новенького продуктового балка, американская тушенка была выставлена в витрине. Когда подошла его очередь, нагнулся в маленькое окошко:

– Десять банок, здарсьте... Спирта нет? – спросил на всякий случай.

– Не торгуем! Куда вам?!

Белов составил тушенку в авоську и пошел в столовую, по вечерам она работала как ресторан и там должен был быть спирт. Белов вошел и через гулкий зал с высокими потолками направился к буфету. У него с этой столовой было связано немало веселых историй. Народу было мало, два летчика стояли у стойки. В фуражках с голубыми околышами, собачьих унтах и летных меховых куртках нараспашку.

– Белов! Сашка! – раздалось от большого стола у окна. Это был Брагин, механик с «Новосибирска», однокурсник Белова. С компанией флотских, гогот и дым стояли столбом.

– Подойди, ты что?! – Брагин был уже прилично веселый, махал рукой.

Белов покачал головой, пейте, мол, без меня, и отвернулся. Молоденькая буфетчица Аня Самаркина в белом крахмальном передничке качала спирт из двухсотлитровой бочки в большую стеклянную банку. Туда-сюда двигала металлической ручкой альвеера^[25]. Спирт тек ржавый, Аня приподняла банку над собой и глянула на свет. Еще две банки отстаивались на витрине, на дне просвечивал темно-коричневый осадок, спирт в них был почище, но еще желтовато-мутный.

– Давай наливай, Анюта, не томи! – просил летчик.

– Как я вам налью, напиток еще не светлый... – Аня шатнула бочку – там было много. Она деловито дунула на упавшую прядь волос, вытерла руки и встала к прилавку.

– Саня, друг... – Николай Брагин облапил Белова. – Айда с нами садись, у нас полно всего... – он кивнул на стол.

– Здорово, Коль, я ухожу сегодня, народ еще нанять надо...

– Кончай, ты что? Прими стакашку с «Новосибирском», мы ночью эков две баржи притащили... а утром они шухер подняли – слышал, стреляли?! Ты когда пришел? – Брагин тянул Белова к столу, размахивая свободной рукой.

Чуть не выбил графин из рук летчика. Тот строго, но благодушно посмотрел на Николая:

– Братишка, крылья поломаешь!

– Следующий! – обратилась Аня к Белову.

– Мне две трехлитровых...

– На вынос не продаем! – Аня невозмутимо смотрела на Сан Саныча.

– Анечка, мы уходим сегодня... – Белов застеснялся, они с Аней были знакомы.

– Вам всем на вынос, а меня с работы погонят! Куда тебе?

– А у тебя-то нет банки?

– И банки у него нет... – она нагнулась под прилавок, округляя юбку, выше которой красовался белый бантик от передничка. Белову доводилось его развязывать, и он даже малость покраснел и убрал глаза от знакомых округлостей буфетчицы. – Вот, из-под компота персикового, ее не отмоешь, сладкая будет...

– Давай сладкую, – согласился Белов.

Она еще раз стрельнула в Белова глазами и пошла в подсобку сполоснуть банку. Летчики, ожидавшие своего спирта, перемигнулись весело на краснощекого речного лейтенанта.

Белов вышел из столовой. Одной рукой прижимал к груди тяжелый и ненадежный бумажный мешок с тушенкой, в другой, в авоське колыхалась пятилитровая банка, налитая до краев. В прорези жестяной крышки всхлипывала мутноватая стоградусная жидкость и доносился приятный запах. Белов вспомнил, как буфетчица назвала спирт, и улыбнулся соглашаясь. Важно теперь было донести «напиток» до буксира.

Он аккуратно спускался по длинной лестнице к реке, когда его догнала повариха Нина Степановна с двумя огромными авоськами из грубой крученой нитки. В Игарке с продуктами было намного лучше, чем в Красноярске. Егор с Сашкой несли по мешку на плечах: один с мукой, другой с сахаром, – понял Белов.

– Здравия желаю, – весело поздоровалась повариха с капитаном.

– Здравьете и вам, чего-то немного? – улыбнулся Белов, пытаясь пошутить.

– Не унесли, сейчас еще сходим... Комбижиру взяла хорошего, – хвасталась довольная кокша.

Белов спускался медленно и даже улыбался так же осторожно, спирт нет-нет, а выплескивался и тек по ребристому боку банки.

Повариха «Полярного» Нина Степановна Трофимова второй год работала с Беловым. Всю войну прошла ротной санитаркой. По передовой ползала, под артобстрелами и бомбежками лежала, и ранена, и контужена была, и в людей стрелять приходилось. Всем на судне, независимо от возраста, даже и Грачу, она была мамой. У кого где чего заболело – все тянулись к ней. Она ни с кем не дружила, да как будто никого особо и не жалела, а люди шли. Готовила хорошо, в отличие от многих поваров, с которыми пришлось работать Белову, ничего не притыривала. Ни семьи, ни родных у нее не было, может поэтому в гарманже^[26] в конце навигации всегда оставались продукты. Единственной бедой, которая время от времени случалась с кокшей, были трехдневные запои. Она тихо сидела в углу кухни и ни на кого не реагировала. Пила чистый спирт, запивая холодным чифирем, и курила. И все три дня не спала. Иногда негромко и сокрушенно с кем-то разговаривала, покачивая головой. Она была тихая и спокойная, но отобрать у нее выпивку никто не осмеливался.

Еще сверху, подходя к судну, Белов видел кучки людей у парохода. Он отдал спирт Егору, сам вышел на берег. Люди сгрудились вокруг. Светлоголовые прибалты и немцы в основном. Были и другие, немало и раскосых глаз смотрели на капитана Белова. Он глядел в эти глаза и чувствовал себя неловко – ему нужно было всего четверо-пятеро из этой волнующейся толпы.

– Товарищ лейтенант, кочегаром берите... Гражданин начальник, я масленщиком три навигации работал! – тянули руки, ушанками и

кепками трясли над головой.

– Так, потише! Радисты есть? – спросил Белов.

Толпа замялась, люди стали озираться друг на друга.

– Радистов нэма, тут одны кочегары!

– Азбуку Морзе кто знает? – уточнил Белов.

– Я знаю, – как будто нехотя ответил голос откуда-то сзади, сквозь толпу протискивался высокий парень.

– Еще кто? – спросил Белов.

Больше радистов не было. Подошел главный механик Грач.

– Выбирай себе моториста, Иван Семенович, – сказал Белов и поманил рукой радиста.

Они отошли к судну. Парень был ровесник Белова, волосы так же зачесаны назад, только светлые. Глядел прямо и независимо.

– Возьмите лучше кочегаром, – попросил неожиданно.

– Почему кочегаром? – не понял Белов.

– У меня справка, – он показал «Удостоверение ссыльного» – потертую бумажечку с печатью, аккуратно заложенную в тонкую книжицу, – особый отдел не разрешит радистом.

– Ты откуда?

– Из Эстонии, учился в мореходке в Таллине, зовут Йохан.

– Бывает, что разрешают... – Сан Саныч внимательно изучал эстонца. – Попробуем.

В кочегары Белов взял двух молодых крепких литовцев. Оставалась матроска. Женщин было немного. Потертую жизнью разбитную кралю с папиросой в щербатом рту Белов отставил сразу, не подходили и пожилые – работы было много и условия тяжелые. Остались говорливая смазливая бабешка в цветастом платке и черном плюшевом пальто и молчаливая, односложно отвечающая немка из Саратовской области. Белов взял немку. Ее звали Берта, она была светлобровая с прыщами на лице. Бабешка в плюшевом пальто страшно возмущалась, хватала Белова за рукав и в запале назвала конкурентку фашисткой, отчего бледные щеки Берты покрылись розовыми пятнами.

Грач выбрал в помощники механика высокого дядьку с умным лицом, боцман привел знакомого мужика в матросы. Мужик был крестьянин, с виноватой открытой улыбкой, крепкий, кривоногий, и сильно окал. Надо было согласовать всех набранных в Управлении.

Там не сразу все получилось, не было начальника Третьего отдела, и окончательное оформление отложили на утро. Неутвержденные, опасаясь потерять место, снова пришли на берег. Люди, которых не взяли, тоже сидели на бревнышках у «Полярного», еще больше народу толклось у пристани пароходства, где стоял большой колесный «Новосибирск».

Встали под уголь к барже-углярке. Первый штурман, а попростому старпом, Сергей Фролович Захаров объявил общий аврал, сам, переодевшись в грязное, распорядился работами. Фролыч был потомственным речником, сыном знаменитого лоцмана с Подкаменной Тунгуски, крупный, слегка толстоватый и очень сильный. Он мог работать сутками. На морозе, жаре, не уставая, улыбался только чему-то внутри себя. Потом столько же спал.

Белов остался в рубке, приводил в порядок бумаги, завел новый вахтенный журнал. Разложил лоцманские карты низовьев Енисея, прикидывая маршрут. За стенами рубки усиливался рабочий шум – гремели сапоги по металлу палубы, уголь посыпался в гулкий пустой бункер. Двое на барже грузили лопатами из кучи, двое катали тачки. Борт «Полярного» был выше баржи, и тачку надо было вкатывать по трапу в горку. Здесь стоял старпом с длинным металлическим крюком – подхватывал тачку за «рыло» и помогал вкатывать.

«Полярный» брал в бункера сорок тонн, и еще тонн пять досыпали прямо на палубу, на корму. Этого хватало на пять дней хорошей работы машины.

На палубе углярки с лопатой в руках появился главный механик Грач. Корабельное начальство никогда не участвовало в погрузке, но Белов промолчал – народу было мало, могло затянуться до утра. Сам пошел переодеваться. Когда он появился на палубе, там уже добавилось народу. Улыбчивый мужичок, подрядившийся матросом, в тельняшке, на которой дырок было больше, чем живого, и первый помощник механика в выцветших брезентовых штанах, явно пошитых своими руками, тоже катали тачки. Белов одобрил про себя мужиков, краем глаза глянул на берег – кочегары сидели на бревне и смотрели за работой. Имеют право, – подумал Сан Саныч, – не устроены еще... Он надел верхонки и встал в пару к матросу Сашке. Четырьмя тачками дело пошло живее. Сашка, чувствуя рядом капитана, черпал с верхом,

выгибался всем телом, занося большую лопату с углем на высокий борт тачки.

– Сашка-шкерт, не бери помногу, – заругался Белов беззлобно.

– Я всегда так! – кряхтел матрос.

Белов жилы не рвал, втягивался помаленьку, к такой работе он был привычен. Не сосчитать, сколько угля в своей курсантско-матросской жизни он перелопатил... Тачечники, вздувая жилы на шее, разгонялись по грязной палубе, вкатывали до середины трапа, старпом подхватывал крючком передок, и они вместе опрокидывали тачку в зеву бункера. Мелкий уголь сыпался мягко, крупные куски грохотали в борт.

Верхний мокрый слой угля сняли, полетела пыль, ветер подымал ее, пот тек темными ручейками по лицам.

– Перекур! – объявил Грач и присел прямо на кучу, где только что брал. – Я в сорок шестом на «Победе» работал, вот там были авралы! Двести тонн только в трюма брали! А еще на палубу пятьдесят... Сутки грузили всей командой!

На баржу поднялись кочегары-литовцы.

– Что такое, ребята? – весело спросил Грач.

– Мы можем работать, только одежды нет... – спокойно глядя на Сан Саныча, ответил тот, что был пониже. Он говорил с сильным акцентом. – Меня Повелас зовут, а это Йонас.

– Егор, найди им одежду, – распорядился Белов.

И снова заскрежетали лопаты, полетела пыль и покатались тачки. Большой командой дело пошло живее, и уже через час левый бункер заполнился и буксир дал ощутимый крен, как будто специально нагнулся, подставляя борт работающим людям. Старпом, кликнув матроса, пошел перекантоваться. Все сели покурить. Егор разлегся прямо на холодной черной куче.

Дело шло к вечеру. Ветер стих, появились первые в этом году комары.

– Ой, вы родимые, – Грач хлопнул себя по щеке, – какие же вы мне знакомые песни поете...

– Весна идет, – поддержал, улыбаясь, пожилой окающий матрос. Фамилия его была Климов. – У нас дома уже озимые по колено. – Он опять виновато улыбнулся, извиняясь за свои мысли.

Нелепо накрененный на один борт «Полярный» коротко гуднул и стал разворачиваться пустым правым бункером к погрузке. Снова кинули трап. Старпом крепким клубком выкатился из рубки, на ходу закручивая на обратную сторону козырек истасканной рабочей фуражки. И снова полетела пыль.

– Па-аберегись! – сипел грозно Грач, больше опасаясь, чтобы его не сбили.

– Дорогу, братцы! – просили одновременно прыщавый матрос Сашка и щербатый Николай Михалыч, неутвержденный первый помощник механика.

– Подходи, православный-и, у меня дешевле! – зазывал вологодский матрос Климов, вгрызаясь лопатой в уголь.

– Сергей Фролыч, лови меня, родимый! – кричал Грач, шагом подкатывая тачку и отдавая ее на крюк старпому. Фролыч перехватывал и, разгрузив, возвращал деду.

– Иди, старый, отдыхай уже! – не раз предлагали ему, но Грач не сдавался.

– Вы без меня тут не управитесь! – дед отъезжал в сторону, прикуривал недокуренную самокрутку и, выждав паузу, продолжал самым серьезным голосом: – Да и скучно в каюте без старухи-то! А?!

Раздавался дружный смех, Грач чувствовал себя в центре событий:

– А вы как хотели, стервецы зеленые?! Думаю, к кому сегодня пойтить – к Степановне али к немке? Пойду к немке, она помоложее вроде...

И опять общий смех и улыбки сквозь черную угольную пыль, хруст и скрежет тачек по металлу. На берегу народ прислушивался, тоже улыбались, хотя ничего не слышно было. Невольно улыбались на радость других. Когда люди работают и смеются, это неплохо!

Вработались и действовали слаженно, силы сами собой распределились: на погрузке стояли мускулистые, привычные к лопате литовцы и матрос Климов. Каждому по силам сыпали – Грачу полтачки, старика и с ней шатало, чуть больше худому и беззубому помощнику главного механика. Фамилия его была Померанцев, он время от времени терял очки, но не сдавался, видно было – и хочет, а не может прибавить шагу. Боцман и капитан возили полные.

– В тачке, Сан Саныч, когда с верхом, два с половиной центнера! – кряхтел притворно недовольно Грач. – Успеешь надорваться!

Белов улыбался, он разохотился и вкалывал с удовольствием, ему нравилась его команда. На реке все зависело от людей. Берта вышла из кормового кубрика, выплеснула из ведра за борт, набрала чистой воды и снова исчезла в трюме. Степановна временами показывалась из камбуза с папиросой, ужин, видно, уже был готов, но молчала, работе не мешала.

Еще часа через два наполнился и второй бункер, и Белов скомандовал: «Шабаш!»

Все закуривали довольные, не расходились, как будто еще хотели побыть друг с другом. Комаров давили, расслабленно посмеивались, куревом угощали, похваливали каждый свое. Закатное солнце не садилось, но, чуть погрузившись в горизонт, оранжевым колесом катило дальше на север, как ему и положено было вести себя белой ночью.

Нина Степановна выглянула из камбуза:

– Пирожков закусите, Сан Саныч... Сюда подать или в кубрик? Больно уж вы черные...

– Давай сюда!

Степановна вынесла большую кастрюлю. Толкнула ногой тачку, повалив ее набок. Поставила кастрюлю. Сашка нес следом ведерный чайник и кружки.

– С чем пирожки? – поинтересовался кто-то.

– С картошкой да с луком... рыбы-то нет еще пútней, одна щука... – ответила повариха.

Из кастрюли хорошо пахло, пирожки были жареные, каждый с добрую мужскую ладонь, горячие еще, не осевшие. Все улыбались поварихе, но никто не брал пока. Курили.

Некурящий Белов взял пирожок, поблагодарил мужиков, новеньким назначил быть к восьми утра и пошел в душ. Сначала отмыл руки и лицо – черно текло, как с трубочиста. Потом встал под сильную лейку. Душ на буксире был добрый, горячей воды залейся. Капитан намывивал мочалку, думал о Зинаиде, до которой было двадцать минут ходу, его охватывала нервная дрожь, и он начинал непроизвольно улыбаться. Он, правда, не сказал ей, будет ли сегодня, но так даже лучше, мечтал Сан Саныч. «Только бы дома была!» –

почти пропел он, представляя, как приходит домой и обнимает не ждущую его жену. Он запахнулся полотенцем и пошел к себе.

Комсостав помещался в носовом кубрике. Белов спустился по короткой и гулкой металлической лесенке – направо была его каюта, такая же налево была распахнута – главный механик откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Уголек на старом лице осел согласно морщинам, самокрутка дымилась в банке-пепельнице. Даже боевые усы Ивана Семеновича устало пообвисли. Дверь в четырехместную каюту, где жили старпом и боцман, тоже была открыта – эти что-то обсуждали оживленно и громко смеялись. Белов заглянул, два голых мужика ходили по каюте. Егор застеснялся капитана, обтянулся полотенцем.

– Идите мойтесь, там свободно! – улыбнулся Сан Саныч и вернулся в каюту.

– Сан Саныч, – раздался сиплый голос механика.

– Здесь я, Иван Семеныч!

– Надо бы тяпнуть сегодня... вот что скажу! Имею такое намерение!

– А как же печень, товарищ главный механик?! – раздался голос старпома.

– Вы ишшо, Сергей Фролыч, стоя какали, когда я ту печень тренировать начал... – отвечал механик. – Выпью сегодня, раз такого дела душа хочет! Очень, скажу я вам, мне первый помощник понравился. Обходительный товарищ! И от тачки не отказался!

– Выпить можно, – согласился Белов. – Кто ночевать остался?

– Механик да матрос, кочегары ушли... – ответил Егор.

– Егор, – окликнул Грач, – завтра мужикам насчет вшей-клопов скажи! Не натащили бы!

– Уже сказал, Иван Семеныч.

Остальная команда помещалась в кормовом кубрике, он был примерно такой же, что и носовой, но без переборок и поэтому казался больше. Нина Степановна отгородила двумя простынями женский угол, в котором стояли двухъярусная кровать и двухэтажная тумбочка вроде шкафа.

На ужин Степановна отбила трехлитровую кастрюльку золотистой щучьей икры и нажарила котлет. Картохи наварила минусинской. Сели в просторной старпомовской каюте.

– Тебе как лить, Сан Саныч, по-простому или с форсом? – Грач взялся за бутылку, лицо распаренное, щеки прямо свекольные. – Мы теперь на какой же широте?

– На шестидесятой, Семеныч. Ты не иначе и правда с поварихой мылся, – старпом протискивался за стулом механика в свой угол.

– Лей по широте, Семеныч, чего уж думать! – Белов нарезал хлеб.

– Всем по шестидесятой лью! – Грач натренированным глазом расплескал по стаканам чистый спирт, долил воды, чтобы получилось шестьдесят градусов крепости. – Ну, за навигацию!

Выпили. Навалились на котлеты и пирожки. Белов решил, что выпьет и пойдет домой. Так даже лучше. Зинаида точно будет дома. Так он думал, голодный, жуя полным ртом и весело поглядывая на товарищей.

Закурили, разговорились, обсуждали новых людей в команде, предстоящий поход «на низа́» и начинающуюся большую стройку. Сталинскую Магистраль, как писала о ней местная газета. Прикидывали, сколько на самом деле приехало комсомольцев-добровольцев, поспорили, зачем эти комсомольцы вообще здесь нужны, если ссыльными забиты все поселки. Допоздна просидели, и домой Белов не пошел. Утром подскочил, когда Грач громко уронил что-то в своей каюте.

На берегу снова начал собираться безработный народ. Белов сходил с новенькими в Управление, особист согласовал всех, кроме радиста. Сан Саныч отправил людей на судно, сам заспешил домой.

Зины дома не было. Белов искал по карманам ключ, из двери напротив вышла соседка с тазиком выстиранного белья:

– Здорово, капитан, свою ищешь? Не ночевала сегодня! – сказала, почти ни на что не намекая, и пошла к выходу.

Белов открыл дверь, остановился, думая над словами соседки – Зина с ней вечно что-то делила в кухне, – хотел спросить, но не стал. В комнате было прибрано. Он постоял, почесывая пахнувший одеколоном подбородок, посмотрел в завешенное окно. Посидел для приличия пять минут и отправился на «Полярный».

До Дудинки было десять часов хода. Начинались открытые места, покачивало, боцман стоял за штурвалом, Белов пошел осмотреться. На широком и прямом Никольском плесе раскачало как следует. Задувал Север, «Полярный» крепко долбило в правую скулу, брызги как следует уже залетали на палубу, почти до рубки. Белов пробовал крепежи трубы, мачт, укладку тросов на корме. Проверил задраенные люки и спустился в машину.

Паровая тяга – не дизель, работала мягко, без вибраций, Грач устраивался покемарить в своем углу. Малолетний масленщик, поречному – маслопуп, Вовка Лупарев, увидев капитана, встал с порожка и подошел к живым механизмам с длинноносой масленкой в руках. Шатуны ходили ритмично, маховик размером с автомобильное колесо вращался. Вовка привычными движениями капал масло в нужные места. Первый помощник разложил книгу на коленях под лампой, поднял голову навстречу Белову, улыбнулся и встал. Сиди, махнул рукой капитан, подвернул к себе название. Не по-русски было::

– На каком языке?

– На немецком, хочу родной передатчик починить, – улыбнулся Померанцев.

– Он с прошлой осени не работает... – Белов недоверчиво глянул на беззубого инженера.

– Попробую... – помощник механика снова уткнулся в схему.

Таких подчиненных у Белова еще не было. Сан Саныч, не учивший языков, был слегка горд тем, что в команде есть человек, понимающий по-немецки. Ему вообще этот бывший инженер нравился. Померанцев, будто читая его мысли, снова улыбнулся, прикрывая рукой щербатый рот. Без зубов-то некрасиво ему, подумал Белов и заглянул в кочегарку. То ли Йонас, то ли Повелас, Сан Саныч пока не помнил, как кого зовут, сидел в уголке, раздетый до пояса, угольная пыль, смешанная с потом, текла по белому, худому и крепкому телу, лицо замотано тряпкой. Под котлом хорошо гудело в обеих топках. Белов постучал по манометру, проверяя стрелку, одобрительно кивнул и стал подниматься вверх.

К Дудинке подходили в полночь, подсвеченное низким солнцем село на высоком берегу было видно километров за десять. Нестройные улицы расплзлись по холму, уходили за перегиб, куда-то в тундру.

Справа границей села была речка Дудинка, за ней улиц уже не было, только мелкие и беспорядочные сарайки да балки, будто высыпанный под угор мусор.

Как и почти все енисейские села, Дудинка строилась хаотично, двухэтажные купеческие дома с балконами и колоннами соседствовали с покосившимися, вросшими в землю халупами. Где-то строения грудились, жались друг к другу, и тут же рядом были незастроенные, а может выгоревшие пустоши. Село было большое, деревянное, темное от старости. Ночное солнце с другой стороны Енисея высвечивало на склоне редкие беленые фасады. Дом культуры, как греческий храм, горел колоннадой и высоким белым фронтоном. Сразу за селом в тундре были выгорожены большие зоны с вышками по периметру. С реки их не видно было. Мужские, женские, усиленного режима, пересыльная... Это были лаготделения гигантского Норильского исправительно-трудового лагеря.

– Вон наша баржонка! – показал Белов на лихтер напротив угольного причала.

– «Норилка», – прищурился Грач, – там Горюнов Нестор Алексеич шкипером.

Лихтер «Норилка» был морской, как и «Полярный», дореволюционной, голландской постройки, ладный, с приподнятой над кормой жилой надстройкой. Трюмы были загружены с избытком, палуба и на метр не поднималась над водой. Трое матросов укладывали щиты на грузовые трюмы и затягивали их брезентом. Ветер мешал, рвал из рук тяжелую влажную ткань. Шкипер с широкой седой бородой ходил среди матросов, проверял клинья, запирающие брезент.

Подали швартовые концы. Металлический лихтер был раза в три длиннее и шире, а главное тяжелее, даже не вздрогнул от касания буксира. «Полярный» покачивало на волне, скрежетало металлом борт о борт. Шкипер поднялся на кормовую надстройку и оперся на фальшборт^[27]. Ветер заворачивал его белую бороду на плечо, но старик не обращал на нее внимания.

– Здравствуй, Нестор Алексеич! – поприветствовал товарища Грач, поднимая руку. – Здорово, водоливы! – кивнул матросам.

– Здравствуй и ты, Иван Семеныч, как жив-здоров? – сдержанно улыбался шкипер. – Ты, значит, нас потащишь?

– Доброго здоровья, Нестор Алексеич! – Белов вышел из рубки, застегивал черную форменную шинель. – Готовы?

– Всё. Задраились, – шкипер отвернулся спиной к ветру, раскуривая небольшую трубочку.

Белов мысленно проверял готовность буксира к непростой работе. Вглядывался в холодные дали Енисея, откуда продолжал давить ледяной ветер Заполярья.

– Пойдем, однако...

– Пойдем... – тряхнул бородой старый шкипер.

Выбрали якоря, и «Полярный», нещадно коптя небо, с натугой развернул тяжелый, будто приросший ко дну углевоз. Потянул вниз по течению. Машину пустили почти на полные обороты, а шли совсем небыстро. Начиналась серьезная работа. Грач ушел вниз, послушать, как «пыхтит», Белов с боцманом и старпомом были в рубке. Несмотря на ранний час, никто не спал, старпом, отстоявший свою вахту, попивал чай и время от времени сдерживал зевки. Всем было интересно, как поведет себя буксир под такой нагрузкой. Не без тревоги ждали широкого Леонтьевского плеса.

– Ты, Фролыч, даже в океане ходил, а я никогда ниже Дудинки не спускался! – Егор хмуро, почти грозно глядел вперед, будто не вертикальным форштевнем, а сам, своей грудью резал сейчас мутную енисейскую воду.

– Здесь, на низах, работа тоже не хухры-мухры, – спокойно ответил старпом.

Еще до Леонтьевского встречный Северо-восток разогнал хорошую волну. Тяжелый лихтер, принимая тупым широким носом удары, дергал, временами ощутимо осаживал «Полярный» назад. Буксировочный трос был опущен уже на двести метров, Белов выходил посмотреть, «Норилка» временами скрывалась из глаз, одни надстройки торчали, волны перекатывали через ее низкую палубу, или так только казалось, издали хорошо не было видно. На лихтере все было спокойно, из трубы кухни срывались белые клочья дыма.

Грач поднялся в рубку, вытирая замасленные руки грязной тряпкой:

– Чего ждешь, Сан Саныч, когда корму тебе оторвет? – старый механик смотрел строго.

– Ага, Иван Семеныч, сейчас сделаем... – капитан напряженно слушал, как ведет себя судно. И Грач, и Фролыч считали, что надо еще отпустить буксирный трос, Белов инстинктивно сомневался, ему казалось, на длинном тросу лихтер станет неуправляемым. – Ну давай, Егор, метров пятьдесят еще отпускайте мало-помалу!

Егор надел шапку, схватил телогрейку и исчез за дверью.

Матрос Климов, подняв воротник бушлата, сидел на корме и глядел на серые буруны от винта, на зайчиков-белячков, скачущих по вершинам ледяных волн, и, наверное, вспоминал свои ласковые вологодские озера. Задумался, курево погасло между пальцев. Может, и своих кого вспомнил. Никто не знал, есть ли у матроса близкие люди, только виновато улыбался Климов на такие вопросы.

Вдвоем с Егором стравили трос, лихтер отделился так, что его совсем стало не видно за волнами, трос провис и весь ушел под воду. В рубке добавили тяги, машина запыхтела, и «Полярный» снова повел в полную силу. Трос поднабился-натянулся, весь из воды так и не вышел, но толкать стало меньше – трос брал рывки на себя. Грач успокоился, раскурил свою сигарку:

– Уже и не помню, когда в первый раз сюда ходил, кажись сто лет назад! – главный механик, разглядывал тундру и хмурое небо сквозь мутное от брызг окно. – Целую флотилию рыбаков брали на гак^[28] от самого Енисейска и по заливу развозили. Каждый на свои «пески» направлялся и там ловил... Купцы всем командовали. Осенью мы их обратно собирали... – Грач сделал значительную паузу, покуривая. – Рыбы много тогда ловили... А готовили – и сравнивать нельзя, что теперь! Балыки красивые солили-коптили, по старинным рецептам. Так-то висели на рынке!

– Ты уж расскажешь, Иван Семеныч, – добродушно улыбнулся старпом. – Раньше-то, видно, и девки в два разá толще были?! Пойду посплю мало-мало...

– Про девок не помню, – продолжал свою линию Грач, – а царь-батюшка о людях заботился! Купцы двумя пароходами на пески завозили! И драли втридорога с этих артелей: на низа завезут – плати, обратно – опять плати! А правительство царско возьми и поставь еще два парохода казенных на это дело – враз цены упали! И рыбка на рынке намного дешевле стала! Я хорошо помню! Народ тогда весело жил!

Егор слышал эти истории. Им навстречу приближалась точка какого-то судна, зоркие глаза боцмана давно ее заметили, но Егор стоял за штурвалом и помалкивал. Вскоре увидел и Белов.

– Большой кто-то идет... – бинокля на «Полярном» не было, и Сан Саныч, прикрываясь рукой от солнца, пытался понять, кто же это, силуэт был незнакомый. – Иностранец, должно быть. Первый в этом году!

– А чего один, если иностранец? Они обычно с ледоколом идут. Кучей! – Грач тоже присматривался, но хорошо не видел.

– Теплоход! Корпусом^[29] идет! – заключил Белов.

Вскоре судно приблизилось, это был большой морской сухогруз «Темза» под английским флагом. Капитаны гудками поприветствовали друг друга. Нина Степановна открыла дверь рубки:

– Есть думаете? Остыло все! – ветер задрал челку и обнажил некрасивый рваный шрам.

– Идем, идем! – заторопился Иван Семеныч. – Идем, мама, не ругайся!

К обеду ветер стих, Енисей сделался почти гладким. Они шли правым, таймырским берегом. На сколько хватало глаз тянулась чуть всхолмленная, покрытая мхом тундра, только вдоль воды и по болотистым лощинкам росли невысокие густые кустарники ивняка. Берега стали плоскими, неба вокруг сильно добавилось, и природа стала суровее. Временами среди пустынного безлюдья возникало неприкаянное, продуваемое всеми ветрами жилье. Фактории, рыбартели... два домика, три... лодки на берегу, сети.

Наконец из-за поворота показался большой поселок Усть-Порт. Он выглядел, как небольшой городок, и очень отличался от других енисейских селений. В 1916 году его начал строить норвежский предприниматель и друг знаменитого Фритьофа Нансена, директор международного акционерного общества «Сибирская компания» Йонас Лид.

Глубоководный порт, ремонтные мастерские, запасы угля для пароходов... Грузы здесь должны были переваливаться с речных судов на морские. Лид назвал это место Усть-Енисейском, что было логично, но название почему-то не прижилось, а закрепилось другое – Усть-Порт.

Строил норвежец основательно. Так, проект Усть-Енисейского порта выполнил инженер путей сообщения Александр Михайлович Вихман – автор проекта Одесского морского порта. Начальная перевалочная мощность должна была составить 300 000 тонн в год.

Для лучшей окупаемости вместе с портом строился и самый современный по тем временам рыбоконсервный завод. Оборудование для него Йонас Лид покупал в Норвегии, служило оно исправно, здесь выпускалась лучшая продукция по всему Енисею – это знали все капитаны.

В двадцатые годы, с приходом советской власти, завод был национализирован, а строительство порта и перевалочной базы брошено. Усть-Порт стал местом ссылки – сначала вольных рабочих завода заменили трудпереселенцами, то есть раскулаченными крестьянами, а затем спецпоселенцами – депортированными немцами Поволжья, калмыками, прибалтами и другими виноватыми перед советской властью народами.

Подожли. Поставили лихтер к широкому пирсу.

Заводские цеха располагались в нескольких непривычных для этих мест двухэтажных каменных домах под добротными крышами. Просторные деревянные склады, разделочные цеха, транспортировочные механизмы, оборудованные погрузочные площадки – заводские строения занимали треть Усть-Порта. Было и жилье – два больших каменных общежития и с полсотни бедных домиков, построенных позже своими силами.

Если бы не дымящая высокая труба кочегарки, Усть-Порт казался бы заброшенным. Людей на улицах не было, только чумазые и не сильно чесанные ребятишки собирались к пирсу. Кто в телогрейке до земли, кто в галошах сорок пятого размера, они напоминали беспризорников.

– Вон вход в мерзлотник!^[30] – кочегар Йонас в поту и грязной робе выбрался из жаркой кочегарки. Вместе с Повеласом они, не отрываясь, рассматривали знакомые места.

– Тут мерзлотник большой, на пятьсот тонн! – со знанием дела объяснял Грач. – Возле завода ссыльные хорошо жили!

Йонас с удивлением посмотрел на Грача, глаза загорелись что-то сказать, но он сдержался, посмотрел на поселок и снова спустился в кочегарку. Загремел лопатой.

– Вы что же, отбывали здесь? – спросил Грач Повеласа.

– Мы на другой стороне залива, в Дорофеевском... – У Повеласа было рябоватое, попорченное оспой лицо, борода росла плохо, клочками, но черты лица были приятные.

Ребятишки на пирсе боролись, бегали наперегонки с собаками. По берегу, прямо по песку два оленя тянули легкие санки, в которых сидел сухой маленький эвенк. Не слезая с санок, задрал плоское лицо на мужиков и крикнул слабым голосом:

– Здолово, лебята, ульта есь? – и всплеснул двумя руками, как будто от радости.

– Чего он? – не понял Егор.

– Ульта – спирт по-ихнему... – пояснил Грач. – Тебя как зовут? Петька, Васька?

– Ага-ага, – радостно кивал эвенк и все махал рукой, будто предлагал спуститься. – Васька я! Здолово! Ульта-спилт давай?!

Облезлые, линиялые олени, с растущими, покрытыми шерстью рогами^[31], стояли, безразлично и устало замерев. За мужиком в санках лежали два больших дыроватых мешка с рыбой. Головы и хвосты торчали из прорех.

– Лыба есь! – похлопал Васька по мешкам. – Спилт есь?!

– Рыбу-то покажь! – сказал Грач, небрежно отворачиваясь.

– Кто он по национальности? – рассматривал рыбака Егор.

– Да бог их разберет. Тут на Таймыре две национальности – саха и ээка! – Грач добродушно рассмеялся.

Васька тем временем неторопливо слез с нарт, развязал мешок и, взяв за углы, вывалил на песок, потом то же самое проделал с другим мешком.

– Таймесок, омуль есь... тли литла ульта давай, бели все! На заводе нет лыба сяс! Не ловят!

– Три литра спирта ему... – передразнил Грач, поднял голову на поселок, нахмурился солидно. – Пару дней простоим, однако, пойду Степановне скажу...

– Эй! – Васька с небольшим тайменем в руках подсеменял на кривых ногах к самому борту. – Один путылка давай, всё бели, сёрт такой китлый!

Берта в черной телогрейке и нарядном светленьком платочке спустилась по трапу, встала на развилке, думая, куда идти. Потом

матрос Климов подошел к кучке местных мужиков, сидящих на бревнах, поздоровался со всеми за руку, стал закуривать. Мужики были ссыльные, он тоже.

Был уже поздний вечер. Егор с Повеласом сходили в поселок, поужинали свежей жареной рыбой и теперь сидели на корме. Разговаривали. Молчаливый Йонас вышел ненадолго из кубрика, покурил, не участвуя в разговоре, и так же молча ушел. У него было необычное лицо, как у актера иностранного кино, только разбитый и криво сросшийся нос портил дело.

– Сколько ему лет? – спросил Егор, когда Йонас закрыл за собой дверь.

– Двадцать четыре... – ответил Повелас, подумав.

– Угу, – поддакнул Егор, возвращаясь к разговору. – И что? Привезли вас в Дорофеевский...

– Ну да. Август был, тепло, в тундре ягоды полно... домой рыбу не разрешали брать, а на неводе можно было есть, сколько хочешь. Мы обрадовались, до этого почти год в колхозе работали, там очень плохо кормили...

– Ты говоришь, вас много было? И что, все литовцы?

– Нет, почему... латыши, русские, финны... На барже везли, послушаешь, как разговаривают – ничего не понятно, столько разных языков! А между собой – все по-русски. Все научились. Нас почти четыреста человек привезли. – Повелас помолчал, вспоминая, головой качнул, будто не веря самому себе.

– Ну и потом что?

– Сначала у костров на ветках спали. Нам обещали палатки и печки, потом стало холодно, палаток не привезли, и нам разрешили отремонтировать бревенчатый барак. В нем и жили. Тесно было, нары сплошные в три яруса, на верхних только лежать можно было.

Он замолчал, достал махорку.

– Это все можно было пережить, но в сентябре встал лед, и нам сказали, что работы больше нет – в колхозе не было зимних сетей. Создали одну бригаду... и все! Триста человек остались без продуктовых карточек, то есть – без хлеба! Нам не к кому было обратиться. Комендант поселка отвечал только за то, чтобы мы оттуда не убежали, бригадир все время ходил пьяный... – Повелас задумался, потом поднял глаза на Егора. – Мы не знали, что такое полярная зима,

а она начиналась. Не понимали, что надо будет так жить еще девять месяцев, до весны... Мы просто не верили, что так могут поступить с людьми. Люди начали умирать, а мы все ждали, что про нас вспомнят...

– Почему рыбу не ловили? – недоверчиво спросил Егор.

– Бригада ловила, но мало, и все сдавали... ее солили и отправляли куда-то. Один парень положил за пазуху несколько небольших рыбок для своей семьи, и его арестовали. Приезжал суд, было показательное заседание, нас всех согнали, но судья запретил задавать вопросы. Парня осудили на три года и забрали в лагерь, в Норильск. Его мать и младшие братья очень плакали по нему, а он выжил, потому что в лагере кормили. А они здесь до Нового года не дожили...

Повелас докурил самокрутку и бросил за борт.

– Нас было трое – мать, мой брат Витас и я. Мне – шестнадцать, брату – семнадцать. Мать продала все, что было: платья, сережки и обручальное кольцо. Потом мы только побирались у тех, у кого была работа, и у раскулаченных, которых сослали давно. Они были русские в основном. Кто-то из них помогал, кто-то нет, всем они не могли помочь, нас было слишком много. В бараке умирали каждый день. Сначала дети, потом старики... Люди от голода умирают тихо.

– И что ты делал? – видно было, что Егор с трудом во все это верит.

– Мы с братом и с мамой искали то, что люди выбрасывали, хорошо, если это были головы и кишки или не очень протухшая рыба, мама варила это долго... Перед Новым годом мы с Йонасом нашли муку, в мешке немного было, может два килограмма, пошли в барак, и нас увидел комендант. Мы не воровали, мука была мокрая и замерзшая, мешок лежал на улице, возле пекарни, но опять был показательный суд – нас человек десять набралось таких преступников. Отправили в Норильск, а там сразу положили в лагерьную больницу – мы еле ходили. Там нас выкормили...

Повелас отвернулся на тихую гладь Енисея. Солнце мягко скользило и переливалось по поверхности, рыбки всплескивались. Скрипела паровая лебедка, вытягивая уголь из трюма лихтера, на камбузе Нина Степановна разговаривала негромко с Бертой, иногда женщины смеялись.

– Мама умерла первая, вскоре после того как меня увезли, потом, весной уже, брат. – Повелас замолчал, глядя за борт, достал махорку, но закуривать не стал. – Семь лет прошло, а все не могу поверить. Кажется, что они где-то живы, не могут же люди просто так погибнуть... просто так... – Он еще помолчал. – Мой брат превратился в скелет, никого не узнавал и ел прямо на помойке, не варил ничего... В мае поменялось начальство, новый комендант разрешил кормить в долг, стали выдавать по триста граммов хлеба, баланду варили из соленой белухи. Но народу к весне мало осталось... Там были хорошие люди... – Повелас поднял глаза на Егора. – Ты Йонаса не спрашивай об этом... У него мама по дороге, на барже еще умерла, он старший остался в семье, он всех кормил, но когда нас с ним увезли в Норильск, – Повелас заговорил совсем тихо, – у него бабушка, дед и сестренки-близняшки остались... Они все там, на фактории, похоронены. Пятилетние девочки были, Гедре и Агне, их все очень любили... – Повелас замер на последней фразе, глядя себе под ноги, потом поднялся и, не оборачиваясь на Егора, пошел на берег.

Егор еще долго сидел и смотрел вниз по реке, туда, где почти у самого Карского моря точкой на карте существовал поселок Дорофеевский. Он никогда там не был, но всегда мечтал – об этих местах рассказывали как о райских для рыбалки и охоты... Он хорошо знал, что такое несытая жизнь, видывал и бессердечных людей, но представить себе, что люди не помогали друг другу... старикам и маленьким девочкам... не мог. Он не верил Повеласу. Люди так не могут... Егор очнулся, встал и пошел в кубрик, откуда звучало радио и слышались голоса.

Выгружались двое суток. Потом снова зацепили лихтер и пошли вниз. Вскоре, на первой же бригаде из трех ветхих балков, увидели мужика. Он стоял у лодки и двумя руками приподнимал за хвост здорового осетра. Поднять его целиком он не мог.

– Ну как я к тебе подойду, милый ты мой, – причитал Грач, высовываясь в окно, – килограмм сорок в зверюге, не меньше! Начались места, Егор, самая рыба здесь!

Фактории и рыбацкие бригады следовали через каждые пятьдесят километров, иногда попадались поселки побольше.

– Здесь прибалты в основном, – объяснял Грач Егору, стоявшему за штурвалом, – совхоз «Родина». Тут у них один дед сумасшедший жил, ходит и всем правду-матку хлещет! И начальству, и энкавэдэшникам прямо в глаза: ироды! людоеды! Бога на них призывал к Страшному суду! А что сделаешь – псих! Седой, волосы длинные, борода... босой до самых морозов ходил... А говорил складно, вроде как и не сумасшедший. Да и глаза, нет-нет да и посмотрит так, хитро... Я его видел!

– Литовцы? – Егор вспоминал свой разговор с Повеласом.

– Да кто их знает, прибалты, да и все!

– У них даже язык разный! – не согласился Егор.

– Ну и хрен с ними! Забрали этого деда сумасшедшего, увезли...

– А за что их сослали?

Грач прихлебнул чай, сделал было умный вид, чтобы ответить, но потом расслабился и равнодушно произнес:

– Было, значит, за что. Сам подумай! За просто так разве потащат в такую даль?

– Так их вон сколько! Старухи, дети... Они тоже что-то сделали? – Егор глядел ершисто.

– Ты, Егор, докалякаешься! Больно башковитый, я смотрю! Тебе они что – рулить мешают?! То дело советской власти, пусть думают, куда этих прибалтов и чего они там натворили.

Егор молчал.

– Это тебе наши кочегары мозги засрали?

– Ничего не засрали! – возмутился боцман. – Вас, Иван Семеныч, как что-нибудь серьезное спросишь, вы сразу...

– Что сразу? – нахмурился Грач.

– Да ничего! Я вас спросил, что сделали маленькие дети советской власти.

– Ну это надо! – возмутился старый механик. – Я откуда знаю? Я тебе что, райком?! Ты что пристал?!

– А если вас... вот так же... ни за что выселят? Мне тоже нельзя будет спросить? Вдруг мне захочется за вас заступиться?

– Я старый, куда меня выселят? – Грач замолчал, глядя на Енисей. – Ты, Егор, тут аккуратнее... пески впереди, скоро надо будет налево перебивать, а потом уже направо к поселку... Пойду старпома разбужу, скоро его вахта!

– Да я сам, Иван Семеныч, знаки же береговые стоят... – попросил Егор.

Но механик, нахлобучив ушанку, уже вышел из рубки. Егор включил радио. Померанцев починил и рацию, и радио. Повертел ручку настройки, иностранные станции зашипели, заголосили, потом «Маяк» заговорил по-русски:

«Израиль подписал временное перемирие с Сирией... Началось строительство киевского метро, пройдены первые метры проходки, состоялся митинг... На Украине готовятся к сбору озимой пшеницы...»

Огромная страна, думал боцман, разглядывая грязную снежную пробку небольшой тундровой речки, по которой бегал грязный же, еще белый песок, гуси летали, утки, солнце не заходило. Боцман улыбался чему-то, чему и сам не знал, но приятному – жизнь перед ним открывалась громадная и интересная, такая же, какой громадной была его прекрасная Родина. Года через два-три денег подкоплю и поеду в отпуск в Москву, на метро покатаюсь...

Началась небыстрая, не зависящая от команды «Полярного» работа. Подводили лихтер к поселку, ставили на разгрузку, иногда сами выгружали, за что шла доплата к окладу, но чаще отсыпались, ходили в магазин, если он был, в пекарню... Везде было полно девчат. Белокурых в основном. Потом шли к другому поселку или колхозу. И опять ставили лихтер под разгрузку.

Погода баловала, было ветрено, солнечно и тепло. Только пару раз поштормило несильно. Наступало лето, рыбы везде было много, и стоила она копейки. За рубкой «Полярного», обернутые марлей от мух, вялились большие куски осетров, десятков метровых стерлядей истекали жиром. Нина Степановна котлеты вертела, жарила-парила. Отъедались вволю.

К середине июля пришли в Сопочную Каргу. Это был последний пункт. Лихтер остался разгружаться, а «Полярный», прихватив на как тупорылую баржонку с полусотней тонн угля и две большие местные лодки, отправился к речке Тундровая, на другую сторону мелкого и просторного для штормов Енисейского залива.

Шли ходко, вода была чище, чем в Енисее, светло-зеленая, бурун за кормой – белый. Вокруг вполне морские уже пространства

волновались. Воздух был плотный и по-заполярному холодный. Дул несильный северо-восток, как раз вбок буксиру, покачивало изрядно, волны и на палубу доставали. Небольшие льдины и бревна болтались по всей акватории.

– Хорошо бежим! – Белов даже обернулся, чтобы убедиться, что сзади нет лихтера. – Сейчас еще лодки сбросим... А-а?! Семеныч?! Хорош у нас буксирчик!

– Да как не хорош?! Машина ровненько, легко поет. Прямо барышня с пальчиками... – Грачу самому понравилось свое сравнение, повернулся к капитану. – У немцев в Дорофеевском рыбы хорошей возьмем! Там совхоз Карла Маркса, а мы с Гюнтером кунаки! Немцы лучше всех рыбу солят! Я раньше думал, они, мол, с Волги, и поэтому с рыбой так. А как-то разговорились с Гюнтером, а он смеется: мы, говорит, в заволжских степях жили – самые лапотные крестьяне, у нас даже плавать не все умеют.

Белов внимательно присматривался к чему-то впереди. Руку на машинный телеграф положил, как будто раздумывал – потянуть-нет, но вот перекинул сначала на малый и тут же на стоп. И, подумав секунду, – на задний ход. Сам быстро выкручивал штурвал.

– Что такое? – Иван Семеныч сполз с высокого стула и, щурясь, сунулся к самому окну.

– Мель или торос такой? – капитан напряженно глядел вперед.

Грач вышел из рубки, рукой прикрылся от солнца:

– Льдина, Сан Саныч, морская. Не дай бог в такую влететь...

К речке Тундровая добрались без приключений. Подходили на самом малом, на носу и по правому борту работал с лотом матрос Климов. Резко забрасывал гирьку вперед по ходу судна. Тонкий, размеченный саженьями и полсаженьями линь быстро уходил в глубину.

– Четыре! – кричал Климов, обернувшись к рубке.

Это означало, что под корпусом восемь метров – старпом вел буксир по едва заметной струе, которую давала втекающая в залив Тундровая. Когда до берега осталось метров триста, Климов выкрикнул: «Три!» Белов застопорил машину и вышел из рубки.

– Отдавай правый! – махнул боцману.

Загремела цепь. Подработали, растянулись, чтоб не гоняло, на якорях. Стали спускать шлюпку. Белов, не вмешиваясь, наблюдал за работой команды. Когда стали разворачивать шлюпбалки за борт, одну

заело. Егор пытался свернуть силой, но Климов с неожиданной ловкостью для его широкой и словно костяной спины, нырнул под шлюпку, что-то там освободил и легко повернул балку. Егор с Сашкой травили помаленьку. Шлюпка медленно опускалась с невысокого борта.

Грач пришел с потертой кирзовой сумкой, в которой что-то лежало, и с пустыми мешками под мышкой. Сели в шлюпку. Она была еще родная, морская, с длинными, хорошо сбалансированными веслами. Уверенно держалась на волне. Климов легко наваливался на свое весло, улыбался. Егор сидел на соседнем, поглядывал на приближающийся берег.

13

Жилье было вырыто в береговом откосе. Рядом низкий длинный стол и лавки кое-как устроены из плавниковых бревен. В костре дымились головешки. Два босоногих мужика подошли по воде, прихватили шлюпку и потащили на берег, проваливаясь в илистый песок. Один был высокий, другой – наоборот, маленький и щуплый, как подросток.

– Ну что, враги народа, чем богаты? – выбирался из шлюпки Грач, протягивая мужикам руку.

– У нас врагов нет... все малосрочники, – высокий и большерукий дядька с небольшим пузцом улыбался напряженно и растерянно, будто не знал, можно ли ему улыбаться.

– Да я чай вижу! Это я шутю, – присел Грач к костру. – Вас тут двое, что ль?

– На рыбалке люди, – поспешно пояснил мужик. – Давай, Ваня, поставь кипятку!

Высокий был в пиджаке, давно потерявшем форму и цвет, и в улатанных, закатанных до колен штанах. Грязные босые ноги, стеснительно косолапя, чавкали по грязи. Маленький мужичонка с плоским раскосым лицом присел к костру, подкинул дров, схватил чайник и мелким шажком побежал натопанной тропинкой к речке.

– Можно посмотреть? – показал Егор на вход в зимовье.

– А чего там смотреть, смотри дак... – кивнул мужик и опять осторожно улыбнулся.

– Вы старший? – Белов не без брезгливости разглядывал грязный босяцкий стан.

– Я бригадир буду. Алексеев. По указу «четыре шестых»^[32], семь лет. Мы тут на командировке. Рыбачим, получается. – Мужик все продолжал оправдываться перед кем-то.

Егор заглянул в землянку. Она оказалась неожиданно большой, запах невымытой одежды стоял, горелого рыбьего жира... Было тепло и влажно – у самого входа шаяла^[33] печка-бочка с щелястой, из подручного железа скрученной трубой. Труба выходила не через крышу, а торчала вбок тут же, у входа. Егор никогда такого не видел. Если бы не нары, было бы похоже на берлогу.

Под ногами хлюпала грязь, прикрытая мелкими ветками. Небольшое окошко на залив было без стекла, видно зимой вставляли льдину, а теперь она растаяла. Вокруг печки сушились сношенные до дыр портянки. На столе недоеденная яичница из больших ярко-оранжевых яиц. Копченые куски осетра, грязные миски, кружки.

Егор вышел, морщась от вони и убогости.

Все сидели на бревнах вокруг стола. На нем – два кирпича хлеба, привезенные Грачом. Бригадир, выпросив, кто они и зачем приехали, оживился, веселее отвечал на вопросы, иногда брал хлеб в руки... видно было, что хочет понюхать, но сдерживается.

– Так вы всю зиму здесь? – с недоверием спрашивал Грач.

– Ну, – кивнул лохматой головой бригадир, – с декабря муки не видели.

Грач достал кисет и, приготовив клочок газеты, полез за махоркой. Бригадир, не отрываясь, смотрел на табак. Грач протянул кисет:

– Закуривай.

– Да отвыкли уже... Можно? – бригадир потянулся к кисету, но вдруг спохватился и повернулся к мужичку.

– Ваня, ты на стол неси чего-нибудь, рыбу из коптилки достань, икры... Икру будете? Щучья, свежая... И осетровая есть, кто любит. Может, Ваньку за яйцами послать?

– Много гусей? – спросил Белов.

– Полно!

– Это у тебя кто же, калмычонок, что ли? – кивнул Иван Семеныч на молчаливого то ли мужичка, то ли паренька.

– Китаец он. Ваней его зовем, он Ван-Тан-Бан какой-то. По-русски не может, а все понимает. – Бригадир прикурил от самокрутки Грача. – Дневальным у нас шурует, огонь бережет, спичек-то нет... Жратву варит.

– Та он тоже, что ли... в заключении?

– А как же... Мы все, – улыбался бригадир ядренному куреву.

Белов с Егором на углу стола собирались на охоту. Патроны и оружие делили. Белов пересматривал, какой дробью снаряжены патроны, Егор смиренно сидел рядом и молил бога, чтобы Сан Саныч себе взял ружье, а ему дал мелкашку^[34]. Он отлично из нее стрелял.

– В октябре, говоришь, сюда завезли? – пытал Грач бригадира.

– Нуда, лед уже стоял... – кивал бригадир. – Мы из Сопкарги пришли. Наш старшой бутор^[35] на собаках вез, а мы пешком... Посылали нас сюда: изба, мол, там хорошая, мерзлотник выкопан, почините, что надо, и работайте. Сеток дали немного да ниток сетных, чтоб сами вязали. У нас тут рыбаки почти все подобралась – с Волги, с Архангельска, я с Вологодской области, с Кубенского озера, не слышали?

– Пешком? – с недоверием посмотрел Грач на другую сторону залива. – Что же тут за рыбалка такая?

– Нам не объясняли, отправили и все. Снег уже глубокий был, целую неделю добирались. С нами бригадир был вольный, он эти места знал... Приходим на речку, а дом-то, значит, сгоревший! Хорошо, палатка была. Мы ее снегом засыпали, потом сверху водой, так и застыло...

Китаец поставил на стол чайник с кипятком и чистые кружки.

– Вы чаю наливайте, мы вот с травками пьем, если не побрезгаете, Ваня собирает. Да закусывайте, чем бог послал. Ваня, наливай!

– Ну-ну, и как же вы? – пытал Грач.

– А как? Тринадцать человек в палатке да печка в середине. Сидя спали. Ни сварить толком ничего... Мы бригадиру – Петрович, надо обратно идти! Не получится тут работы, собаки вон голодные орут! Мы же думали на рыбзавод ездить, рыбу сдавать, ну и продукты получать... еды немного взяли. Он ни в какую! Мол, если обратно придем, его за саботаж посадят. За срыв производственного задания!

Ну, тут он прав, чего уж! Поди докажи, что ты не сам избушку спалил. Мы зэки, нам веры нет... с него весь спрос. – Самокрутка у рассказчика погасла. Он положил ее перед собой и бережно прикрыл рукой. – Уехал Петрович от нас. Мы сети ставили, а он всех собак собрал, весь инструмент, гвозди и уехал! Мы возвращаемся, а тут никого! У нас один топор да пещни. Даже ножовку не оставил.

– И как же управились? – Грач с недоверием осматривал их немалое хозяйство.

– А куда деваться? Стали сети вязать, землянки долбили в берегу...

– Зимой? – удивился Егор.

– Кострами грели да копали, – бригадир, перелопативший за свою лагерную жизнь не один кубометр мерзлой земли, посмотрел на Егора с еще большим удивлением. – В берегу-то несложно грунт брать.

– Зачем здесь копали? – Белов тоже смотрел с недоверием. – Избушек много по берегу...

– Мы и так кумекали... – сморщился виновато бригадир. – А как уйдешь? Приедут за нами, а нас нет. Совсем другое дело!

– Это точно! Ваш Петрович знаешь чего оперу наплел, когда вас бросил? – заговорил молчавший до того Климов. – Сказал, что вы от него в бега подались! И все, ничего не докажете, а объявитесь – на Каларгон^[36] отправят за побег!

– Ну-ну! Так! – бригадир согласно закивал головой и приложил большую ладонь к груди. – Мы поэтому отсюда никуда.

– Это прямо моя история, – Климов спокойно тянул свою махорку. – Нас в Ухте на деляне^[37] бросили зимой, через две недели приезжают, а мы живые! Ну нам по пятерке и довесили сходу, будто мы в тайгу убежали, а потом сами вернулись!

– Так мы работаем, сетей навязали, рыбы тонн двадцать уже наморозили!

– От людей зависит... – улыбался Климов. – Если опер нормальный, может и замнет.

– Опер-то у нас зверь! А мы – тринадцатый лагпункт! Никуда не уходили, работали... Тринадцатый! Ну?! – волновался бригадир. – Как же еще? Мне полгода всего осталось...

– Чего-то вы придумываете, ребята! – Белов встал, надевая ружье на плечо. – Нас же к вам отправили! Значит, помнят о вас, просто так,

что ли, лодки вам посылали?!

– Вот и я подумал... – обрадовался бригадир. – И рыбу заберете?

– Про рыбу разговора не было.

– Значит, рыбы-то тонн двадцать всего... Я бригадир, вишь ты, липовый, – суетился бригадир, – мужики сами назначили...

– Рыбу не повезу! – Белову не хотелось делать крюк в Сопочную Каргу. – Схóдите сами, лодки парусные...

Капитан с боцманом шли по плотному песку вдоль залива, мутный серый прибой накатывался на ровный берег. Сапоги нет-нет проваливались сквозь песок в вязкий черный ил.

– Сан Саныч, а что значит указ «четыре шестых»?

– Не знаю, Егор... воровство на предприятии, кажется, или опоздания на работу.

– У нас соседа, дядь Колю, у него с войны одного глаза нет и руки, посадили на восемь лет, – Егор покосился на капитана. – Он ночным сторожем в детском саду работал и унес оттуда кастрюлю с картошкой. Пьяный был. Они с мужиками выпивали...

– Ну и что?

– Жалко. Дядь Коля хороший мужик был...

– А чего жалко?! – Белов остановился. – Украл? Вот и пусть сидит! Столько ворья развелось!

– Дядь Коля не вор, он последнее отдаст, – не согласился боцман. – Он в суде на них матом орал, он фронтовик, у него нервы и руки нет, а детей трое маленьких...

Пошли молча. Большая стая уток, низко и совсем не обращая внимания на охотников, пронеслась мимо. Белов поглядывал на небо – птицы летало много, и он соображал, сколько тут можно простоять, – хотелось поохотиться на озерах.

Свернули от Енисея, продрались через прибрежный кустарник и перед ними открылась тундра. Во все стороны уходили за горизонт чуть всхолмленные просторы: высокое небо, большие и крошечные озера, болота с высохшим тростником. Зеленые, рыжие, серые мхи... И все это пространство было наполнено птицами. Егор снял с плеча мелкашку – он уже не раз охотился и в соревнованиях по стрельбе участвовал. Попасть хоть в гуся, хоть в утку ему ничего не стоило.

– На тот бугор пойдем...

Белов не договорил, присел, согнулся и Егор. Совсем рядом с ними, помогая себе большими крыльями, неловко, по кустикам карликовой березки побежал гусь. Охотники от неожиданности даже не подняли оружие, птица взлетела невысоко и тяжело. Белов снял с плеча ружье, Егор, волнуясь и спотыкаясь о кочки, двинулся следом, представлял себе, как надо быстро вскидываться и стрелять. Второго гуся они тоже проворонили, он взлетел сзади, они уже прошли его. На бугорке было большое гнездо, выстланное травой и серым пухом. Семь крупных желтовато-палевых яиц лежали. Белов взял одно, посмотрел на свет, потряс возле уха.

– Возьмем? – спросил Егор.

– Не знаю, насиженные уже... Давай разойдемся, надо влет стрелять!

Двинулись порознь. Белов шел осторожно, держал наготове ружье. Егор тоже глядел во все глаза, но двигался быстрее, нетерпеливыми зигзагами. Вскоре поднялись сразу два, Белов выстрелил и промазал, а Егор опять не успел. Стоял, озираясь в досаде. Со стороны капитана раздался выстрел. Белов стрелял в затаившуюся гусыню, она так и осталась на гнезде, по аккуратной серой шее стекала темная кровь.

– На обратном пути заберем, – Сан Саныч перевернул тяжелую птицу и расправил ей крылья, чтобы издалека было видно...

Гнездовья стали попадаться чаще, по несколько гнезд рядом. Гуси подпускали хорошо. Егор убил одного, долго его рассматривал, пытаясь понять, гусь это или гусыня, и больше стрелять не стал. Обратно шли тяжело. Птицы оттягивали руки. Вспугивали других, они отлетали и садились на ближних буграх. Егор уже и пожалел, что не стал больше стрелять, гусей и правда было очень много. Он представлял, как будет рассказывать осенью в техникуме.

Белов, шедший впереди, неожиданно присел и обернулся на Егора. С десятков оленей шли в их сторону. Охотники распластались на мху, Сан Саныч пулями заряжал двустволку, а Егор наблюдал через кустики. Олени светлыми пятнами выделялись на фоне тундры, некоторые были с рогами.

– Из мелкашки нельзя? – зашептал Егор.

– Лучше из ружья... – Сан Саныч замер, глядя на своего боцмана. – Стрельнуть хочешь?

– Угу, – чувствуя, как бухает внутри, кивнул Егор.

– Держи! – Белов протянул свое ружье. – В сердце целься! Я к тому болотцу переползу, если что, толкну их на тебя.

Капитан «Полярного» уполз, смешно виляя задом. Олени шли, нагнув головы, паслись на ходу, но приближались быстро. Егор выставил вперед ружье, локти и колени, утонувшие во мху, давно уже промокли. Волновался, каждую секунду приподнимал голову и смотрел на оленей. И думал с радостью, какая богатая тундра. Сколько здесь всего. Воображал себя в этих краях, как будто живет тут один, добывает мясо и складывает его в мерзлотник на долгую зиму... Два гуся прилетели и сели на соседний бугор. Замерли. Не шевелился и Егор. Гусыня пошвырялась клювом в гнезде и стала устраиваться на яйцах. Егор перевел глаза на оленей – их не было! Он высунулся, заозирался – не было нигде! Увидел Белова, стоящего на коленях и машущего руками. Егор обернулся – олени были у него за спиной! Он вскочил на ноги, прицелился, но было очень далеко! Егор горел со стыда, не смея смотреть в сторону Сан Саныча. Это был позор, такой позор!

– Ты что?! – подбежал капитан. – Чего не стрелял?

– На гусей загляделся! – виновато отвернулся Егор.

– Хо! – Белов опять брякнулся на землю. – Бегут! Кто-то спугнул...

Егор уже лежал за кочкой, прижимаясь к земле. Олени быстро возвращались своим следом.

– Не торопись, подпусти ближе... – шептал Белов.

Егор крепко упер приклад в плечо и, выцелив переднего, нажал на курок. Олень продолжал бежать, Егор выстрелил еще раз. Животное остановилось и глядело на охотников, на светлом боку расплывалось кровавое пятно. Остальные смешались и кучей кинулись в сторону.

Сначала вынесли на берег битых гусей, потом, взявшись за рога, стали тащить оленя.

– Оленуха. Жирная! – пыхтя от натуги, возбужденно радовался Белов. – Ну что, ты рад?!

Остановились, передыхая. С берега поднимался Грач с целой командой босых мужиков. Дичь разобрали и двинулись к землянкам. Белов шел, сосредоточенно посматривая на небо. Север нехорошо

темнел. Ветер дул так же ровно, как и утром. Пока они ходили, к берегу подогнало несколько больших льдин.

– Может, еще сходить, им стрельнуть? – показал Егор на мужиков, несущих дичь.

– Уходить надо, – Сан Саныч кивнул на темный горизонт.

– А точно, Сан Саныч, давай оставим им оленуху, – поддержал Егора Грач. – И муки бы дать... Как думаешь?

– Хотите, оставим... – Белов вдруг остановился недовольно. – Вы мне бросьте эту жалость, сирот нашли! Может, они убийцы, вы что про них знаете?! Этот бригадир темнит что-то...

– Ну ладно, Сан Саныч! Их тут бросили, а они работают! С собаками так обходиться негоже...

– Ты меня не агитируй, Иван Семеныч! Продуктов дадим, но и в Сопкаргу про них сообщим... Чего это ты зэков так полюбил? По мне, лучше бы их тут вообще не было!

– Ты капитан, тебе и решать, – не сдавался Грач, – но с людьми так нельзя! Давай возьмем их рыбу, невелик крюк...

– Куда возьмем? На палубу? А если шторм прихватит и все разморозится, кто отвечать будет? – разозлился Белов на упрямство механика. – Лодка у них теперь есть, сами отвезут...

Когда готовились отплыть, подтверждая подозрения Белова, подошел бригадир и заговорил негромко:

– Гражданин капитан, извините, мы хотели сказать... у нас тут три покойника! – бригадир смотрел тревожно.

– Где? – насторожился Белов.

– В мерзлотнике... В декабре еще от голода ослабели и всё кашляли, а потом померли. Двое. А один поссать вышел и замерз...

Белов смотрел строго и недоверчиво.

– В мерзлотнике они – кожа да кости, ни драк, ничего не было! Вы бы их глянули, может акт какой составили, а мы бы их схоронили... Нам-то никто не поверит!

– Не пойду я никуда, – недовольно буркнул Белов и направился к шлюпке.

Провозились с лодками, оставили заключенным половину оленя, муки и три пары кирзовых сапог. Егор отдал китайцу свою старую крепкую тельняшку и втихую от Белова отрезал двадцать пять метров веревки из боцманских заначек.

Вышли в восьмом часу вечера. Ужинали поздно, Егор в носовом кубрике рассказывал про охоту, как олени сами набежали на выстрел. Матрос Сашка простыл, лежал с температурой. Климов слушал внимательно, покуривая в иллюминатор. Йонас спал перед вахтой.

В рубке на штурвале стоял старпом, капитан поглядывал на компас, на серенькое небо, небольшой снежок налетал временами. Погода портилась, волна шла с левого борта, и «Полярный» прилично покачивало. Еще баржонка сзади дергала.

– Чего их нагнали?! – Белов рассказывал Захарову о рыбаках и об их покойниках в мерзлотнике. – Тут – бытовики, там – враги народа! Нормальных людей не осталось... Этот Климов, матрос-то новый, такой вроде толковый мужик, а две ходки сделал! Тринадцать лет за что-то сидел. Не просто же так? Я думал, он просто раскулаченный.

Буксир ударило снизу, слышно было, как что-то тяжелое скользит вдоль дна. Белов сбросил телеграф, внизу стопорнули машину, под кормой что-то загрело нехорошо. «Полярный» продолжал двигаться по инерции.

– Балан^[38] поймали? – предположил Белов.

– Зевнул малость, – старпом виновато смотрел за корму, ожидая увидеть, что там гремело, но ничего не всплывало. – Похоже, в насадку^[39] поймали? Егор! – старпом высунулся из рубки. – Поглядите там!

Без хода буксир раскачалось, северо-восток усиливался, гнал волны через огромный залив. С севера шли снежные тучи. Егор, уцепившись за фальшборт, заглядывал под корму буксира. Замахал руками в сторону рубки. Белов, застегивая телогрейку, пошел к нему. Низкая корма «Полярного» то опускалась до самой воды, то обнажала металлическое ограждение винта с застрявшей в нем сосной. Дерево было свежее, с толстыми корнями, ими и заклинило.

– Командуй, Егор! Веревки, топоры! – приказал Белов и ухватился за буксирную скобу, пароход резко и высоко подбросило волной.

Климов принес инструменты и стал привязывать веревку к ручке ножовки. Морщинистое лицо с птичьим носиком было невозмутимо. Буксир лег боком к волне, временами его валко переключивало с боку на бок. Небо наливалось мраком, темная седина закрыла далекий правый берег, над левым из-под туч холодно светило низкое солнце.

Налетел снежный заряд, ударил по палубе, закружил хлестко по глазам. На мгновение не стало видно рубку.

Белов вернулся к штурвалу, злясь, что задержались с рыбаками. С северо-востока надвигался шторм. Опять налетел снег, воздух наполнился острой колючей сечкой. До ближайшего мыса, где можно было отстояться, было миль двадцать. По такой волне – часа два-три, прикидывал капитан.

На корме командовал старпом. Пытались выдернуть или хотя бы повернуть веревками застрявшее дерево, но расклинило крепко, руль не поворачивался, не шевелился вообще. Нина Степановна вышла на палубу с папиросой, смотрела спокойно на работу мужиков, встала к борту по привычке, но не устояла и присела на ступеньку камбуза, держась за ручку. Высокая волна взлетела над кормой, окатила мужиков и достала до кокши.

– Я спущусь, – Климов застегивал телогрейку на верхнюю пуговицу.

– Давайте я! Я ловчее, слышь, Климов! – лез Егор, распутывая веревку.

Климов, не обращая внимания на начальника, обвязывался вокруг пояса. Бросили шторм-трап^[40], матрос, оскальзываясь кирзовыми ботинками, полез под корму. Вскоре послышались уверенные удары топора, то глухие, с хлюпаньем, в воду, то звонкие. Держась за фальшборт, подошел молчаливый кочегар Йонас. Белов из рубки наблюдал за работой, волны взлетали и взлетали над кормой, трясли и заливали беспомощный «Полярный» и мужиков.

Ветер давил все крепче, дыбил и рвал волны, небо окончательно затянуло и ничего уже не было видно. Колючий снег стегал окна рубки, набивался серыми наметами по углам. Белов нервно грыз ногти. В рубку, едва не разбив лицо, влетел Грач, матюкнулся, ухватившись за ручку:

– Плохо нас несет, Сан Саныч!

– Знаю, – Белов глянул в сторону приближающегося берега.

– Якорь не хочешь отдать?

– Да вроде заканчивают уже...

– Сразу надо было отдать, гляди там чего! – Грач кивнул на высокие серо-коричневые гряды, идущие на буксир. – Еще пару кабельтовых^[41], и разобьет о грунт! Как горшок лопнем!

Механик зыркнул на капитана и не договорил, в этот момент судно поднялось на высокой волне и резко пошло вниз. Оба почувствовали несильный толчок о дно и замерли, прислушиваясь. Ветер усиливался, волны налетали на корму, на правый борт, брызги и водяная пыль летели через буксир, фальшборт, дуги, окно... все покрывалось льдом. Народ на корме обливало, никто уже не обращал на это внимания, работали, цеплялись. Еще коснулись грунта. Белов высунулся, засвистел пронзительно и замахал боцману.

– Отдавай якоря, Егор, сначала левый!

Егор кинулся к брашпилю^[42]. Отдали якоря, судно развернуло носом к ветру. Белов внимательно слушал – до грунта не доставали. На корме Климова вытягивали из-за борта. Он уже плохо гнулся, старпом с Йонасом втянули его на руках. Брючина порвалась по всей длине, оттуда торчала красно-синяя нога. Климов тряхнул окоченевшей рукой, ножовка вместе с верхонкой упала на палубу. Винт был свободен. Белов нагнулся к переговорной трубе:

– Давай самый малый, Иван Семеныч...

Машина заработала, «Полярный» пробовал винт... Дверь в рубку распахнулась:

– Человек за бортом!

– Кто?! – Белов выскочил наружу и увидел, как, вцепившись в спасательный круг, подлетая на волнах, удаляется от борта его боцман Егор Болдырев. Мужики бросали концы, но они не долетали. Егора захлестнуло волной, он исчез, вынырнул уже без шапки и снова вцепился в круг.

– Шлюпка! – заорал Белов, вцепившись в борт, Егора за метелью уже не различить было.

Шлюпку уже спускали.

– Фролыч, Климова возьми... и кочегара! – командовал Белов. – Если далеко унесет, на берег выбрасывайтесь!

Мужики отцепились, пихались от борта, шлюпку жестко взяла вода, придавила, потом резко потянула вниз по волне. Вставили весла, налегли и стали удаляться в бушующие волны. Старпом, раскорячившись, расперевшись коленями, стоял на руле и высматривал Егора.

Пурга добавила, снег пошел гуще, мокрым холодом залеплял лицо. Шлюпка и люди в ней исчезли из вида. Белов, цепляясь

окоченевшими руками, пошел в рубку, судно все уже было белым, снег лип даже к тонким растяжкам трубы и мачты. Капитан, хмуро вглядываясь в осатаневшую пургу, представлял, как мужики ищут Егора... если пройдут мимо... и как Егор? Собственной шкурой ощущал беспомощность своего боцмана. Вдруг ему показалось, что совсем недалеко за кормой возникла лодка... Он выскочил наружу, ища ее в снегу и волнах – никого не было. На корме и по борту, облепленные снегом, тревожно ждала вся команда. Белов глянул на часы: шлюпка отошла шесть минут назад, она не могла вернуться так быстро. Оскальзываясь, вернулся в рубку. Дал короткий гудок, потом еще один – длинный, сам все вглядывался в снежные вихри. Померанцев обстукивал такелаж и шлюпбалки ото льда, остальные стояли, вглядываясь в пургу. Буксир качало вдоль, корму временами обнажало до винта, потом бросало вниз, взрывая мутную воду. Люди хватались кто за что мог, озирались на рубку, будто ждали оттуда помощи.

В дверь втиснулся облепленный снегом Грач:

– Сан Саныч, давай на пару смычек^[43] отпустимся.

Белов нервно посмотрел на механика, взялся было за шапку, но положил на место.

– Что даст? Полста метров?! – он и сам думал так сделать, но это было глупо. – Не будем суетиться, Иван Семеныч, заходи, посохни.

– Ты чего какой спокойный, Сан Саныч? – Грач зло тряхнул снег с усов.

Белов отвернулся от старика в окно. Все были на нервах... Егор не сдастся, это было понятно, если мужики проскочат мимо... Фролыч опытный... Он еще проревел несколько раз подряд и опять высунулся наружу – ничего не видно было.

Прошло пятнадцать, потом двадцать минут. Пора бы уже, понимал Белов... если нашли... в таком снегу могли пройти мимо буксира... Нахлобучив шапку, гуднул еще и выскочил наружу. Чуть не сбил Нину Степановну, она стояла, замотанная платком и залепленная снегом.

– Вон они! – закричал Повелас, показывая по левому борту, совсем не туда, откуда ждали все.

Мелькнуло яркое пятно в пелене снега, шлюпка взлетала так, что обнажалось дно, крашенное алым суриком. Потом в вихрях снега

проявились весла и люди. На руле сидел кочегар Йонас, на веслах упирались две широкие спины, старпома и Климова, Егор со спасательным кругом на поясе стоял на коленях и держался за борт. Все столпились у кормы, махали руками, что-то кричали. Грач приткнулся в затишке позади всех и посматривал сердито.

– Семеныч, живо готовьте машину! – у Белова и злость была на что-то, и все пело внутри.

Старик кивнул капитану, решительно двинулся вдоль борта, но тут палуба ушла у него из-под ног, и дед боком полетел на кнехт. Белов кинулся к нему.

– В порядке, Сан Саныч, – корчился от боли старик, – все в строю! – Встать он не мог.

Буксир подкидывало ударами волн, палуба была обледеневшая, Белов пытался взять его под мышки, но старик встал на карачки и покачал головой, чтобы Белов не трогал. Сан Саныч отпустил старика, высунулся за борт. Шлюпка была уже под шлюпталями, развернутыми над водой. Ее поднимало, подбрасывало выше «Полярного», оттаскивало от борта, мужики снова наваливались на весла. С буксира полетели концы. Белов поднял старого механика на ноги и повел в каюту. Дед кряхтел, матерился от боли и тряс головой. Спустились.

– Что ты со мной, как с дитем, Сан Саныч?! Иди давай! Сам я, ох, ептыть! – скорчился дед.

Белов метнулся наверх. Авралом заправлял Померанцев. Люди уже были на борту, шлюпку подняли из воды и теперь заводили на пароход. Старпом с Климовым, мокрые насквозь, сидели на палубе и устало улыбались, Фролыч кому-то показывал «покурить», Нина Степановна, скалясь от напряжения и посверкивая металлическими фиксами, стаскивала с Егора спасательный круг, тот будто прирос к разбухшей одежде. Егор виновато, как нашкодивший щенок, посматривал вокруг и на Сан Саныча. Его колотило. Платок сполз с головы кокши, она решительно стянула с боцмана круг вместе с телогрейкой и, обняв за пояс, потянула в сторону тепла.

Шлюпка встала на место.

– Шабаш! – раздался спокойный голос Померанцева.

– Фролыч, ты как? – на голове старпома не было шапки, Белов надел на него свою.

– В порядке! – кивнул старпом, оберегая дымящуюся папиросу. – Слава богу!

Белов направился в рубку. Все были на борту. Все было в порядке. «Полярный» ждал, когда его снимут с якорей. Сан Саныч проехался пятерней по мокрым волосам, сбивая с них снег, двинул вперед ручку телеграфа и нагнулся к переговорному:

– Самый малый давай!

И вскоре почувствовал, как ожила машина. «Полярный» снова был полон сил.

– Ну, с богом! – скомандовал сам себе Белов и высунулся из рубки. – Выбирай!

Вскоре буксир встал на курс, принимая волну левой скулой. Качать стало меньше, лишь временами какая-то шальная волна врезалась, сотрясая весь корпус и окатывая судно до самой рубки и дальше. Белову было весело, он потянулся, включил радиоприемник. Передавали последние известия... «Ткачихи Ивановской фабрики...» Он снова выключил. Не хотелось никаких ткачих. У него на буксире... у них тут все было в порядке. Он слушал рваный злобный вой побежденного шторма и чувствовал гордость за свою команду. В ботинках хлюпало, под ногами растекалась лужа. В рубку сунулся Померанцев:

– Товарищ капитан, разрешите вас подменить? – он уже был в сухой одежде. Как будто стеснялся чего-то. – Меня Иван Семеныч послал.

Белов застыл на секунду, ткнул пальцем в курс и уступил штурвал.

В большой каюте под тремя одеялами сидел на кровати боцман. Его так трясло, что казалось, из-за него трясется весь «Полярный».

– Спирту примешь? – улыбался Белов.

Егор, один нос которого торчал из одеял, затряс головой – не понять было, надо ему спирта или, наоборот, не хочет.

– Выпьешь?

– Нет! – выдохнул Егор и спрятался совсем, одни глаза остались. Пробубнил что-то виноватое.

– Чего ты? – не понял Сан Саныч.

– Ду-думал, все уже. Потону! – во взгляде боцмана до сих пор жил страх.

Фролыч стягивал с себя мокрое, шлепал на пол. Зевал неудержимо, разморенный теплом.

– Кочегар этот, Йонас, ничего мужик... ну и Климов... Не видно же ни хрена, как Егора разглядели?

Капитан изучал малиновую рожу старпома и завидовал, сам бы сходил на шлюпке в такой шторм. Он ушел в свою каюту и стал раздеваться. На часах было половина двенадцатого ночи. В каюте тепло, сухо, если бы не качало, не било в борт да не выло зверем наверху... хоть спать ложись!

Матрос Климов неслышно возник в проеме двери, снял мокрую ушанку:

– Заплата течет, Сан Саныч!

– Сильно?

– Двумя ручьями! По колено уже набежало!

– На то она и заплата, чтобы течь, – улыбался старпом, выходя из своей каюты. – Сейчас качнем, Игнат Кирьяныч!

14

В полтретьего ночи добрались до Ошмаринской бухты. Высокая пологая волна, слабея, докатывалась сюда с Енисея. Встали в устье реки, в глубокой курье^[44]. Здесь было тихо, птички щебетали на утреннем солнышке. «Полярный», как броненосец, был покрыт ледяным панцирем. Народ хоть и наломался, а не спал. Из кормового кубрика команды доносились взрывы смеха. Степановна жарила любимую всеми картошку с луком и на сале.

В командирском кубрике тоже было оживленно. Собрались в каюте пострадавшего Грача. Продубевшие на ледяном ветру лица покраснелись в тепле. Руки у всех свекольные. Грач сидел в одних трусах у себя на койке, обложенный подушками; вокруг длинной кровавистой полосы на боку начинало помаленьку синеть.

– Опасаюсь, ребро бы не сломал, – сипел Иван Семенович, аккуратно нарезая почищенного уже, текущего жиром омуля и раскладывая закуску. – Егорка, сынок, сбегай на палубу, отщипни осетришку... О! – механик вытаращил испуганные глаза. – А где у нас рыба? Что-то я ее не видел!

– Степановна убрала... как вся эта канитель началась, снесла на камбуз, – улыбался старпом.

– Егорка, бежи сбегай, отрежь бочок!

Егор, одетый в ватные штаны и два свитера, с ножом в руках пошел на палубу, вместо него явился Белов, розовый, из горячего душа, с бутылкой разведенного спирта и большой банкой американской тушенки. Сел на койку к Семенычу:

– Ну что, старый, дал нам сегодня батюшка-Анисей просратья! Болит бок?

– Вон! – задрал руку Грач, поворачиваясь и показывая ушиб, – прямо на угол налетел, ты же видал! Как салага, ей-богу!

Егор принес бок осетра, сковородку жареной картохи и три утиных яйца. Все были голодные. Старпом почистил яйца, развалил пополам оранжевыми желтками.

Белов разливал.

– Слышь, Сан Саныч, давай мужикам бутылку отнесу, – предложил старпом.

– Не положено! – Белов не отвлекался, отмерял дозы по кружкам.

– Вкалывали все... Давай уважим! У меня есть заправка.

Белов поставил бутылку и посмотрел на Фролыча:

– Что мне, жалко? Или я не видел, как они работали? Там полкубрика новых людей!

– Надо бы налить ребятам! – поддержал Грач, как будто не слыша капитана, – этот Померанец мой, щербатый... толковый дядька! Хочешь, я сам снесу! Скажу, от меня!

– Вы что, дети малые? – Белов поднял свою кружку. – Меня в Дудинке с буксира снимут!

Все потянулись, разобрали посуду. Многообещающий запах спирта плыл по каюте.

– Хорошо сработали! За это и выпьем! – Белов опрокинул обжигающую жидкость в горло.

Выдыхали, морщились, потянулись к еде. Грач крикнул, занюхал кусочком хлеба и отер усы:

– Егорка сегодня второй раз народился... Ты как же свалился-то?

– Да я говорил уже, – недовольно посмотрел на Грача Егор. – Шторм-трап зацепился, я перегнулся, а тут волной как даст, я и сам не понял. Борт рядом вроде, а не дотянусь!

– Ну-ну, – как будто одобрил Грач. – Сала, что ли, отнести ребятам...

– Степановна отнесла им уже, я видел... – Егор наваливался на жареную картошку.

– От зараза кокша у нас! – одобрил Грач, со значением, косясь на капитана.

– Ага! Не то что некоторые! – усмехнулся Белов. – Повариха-то молодец, а капитан – говно!

– Я это не говорю! – не согласился Грач.

– А если заложат? – Белов снова взялся за бутылку.

– Да кто заложит?! – сорвалось с языка у захмелевшего Егора.

Белов с удивлением и строго посмотрел на своего малолетнего боцмана, но сдержался.

– Хотите?! Отнесу!

– Не надо, – согласился старпом, с которого все и началось. – Может, и правда кого-то подсунули?

Налили еще по одной, ели неторопливо, Грач достал махорку.

– Вот говорят, водка вредная, мне один врач настрого ее запретил, а я думаю... – он ловко оторвал ровную полоску газеты, – не вредная она! Русским без нее никак! Иной раз жизнь так придавит, а выпьешь – и ничего, полегче делается!

Грач послунявил, подклеил свою «кривую сигаретку», осмотрел ее:

– И правительство наше это дело хорошо понимает! – старый механик грозно-весело погрозил козьей ножкой в низкий потолок каюты.

Егор пьяно хмыкнул и радостно качнул головой. Он не любил водки, но с мужиками выпивать очень любил.

– Ты, Егорка, слушай, сынок! Сталин это понимает в тонкостях! Я в машинах так не шуруплю, как он в этом деле! Русской водки и английская королева иной раз спросит!

Выпили спирта за русскую водку.

Разговорились о частой непогоде в северных широтах, о штормах в открытом море.

– Мне и орден за плохую погоду дали, – улыбнулся капитан, вытирая руки от жирной рыбы.

– А как получилось-то, Сан Саныч? Я думал «Красную Звезду» только за боевые дают. Тебе сколько же лет было?

– В сорок шестом... сколько? Восемнадцать... – Сан Саныч замолчал, но все затихли с интересом. – Да известно же – суда гнали из Германии... я вторым помощником шел, а в Архангельске перед выходом старпом заболел, я сразу и стал первым.

– Ну-ну, рассказывай порядком! – настаивал Грач.

Сан Саныч взял у старпома папиросу, прикурил неторопливо, как будто вспоминал:

– Двенадцать судов вышли из Архангельска, мы на сухогрузе «Хабаровск», у немцев он «Бремен» назывался. Сначала в кильватер по Двине, потом по-походному «стайкой» – все друг друга видим, погода хорошая, Белое море прошли спокойно. В Баренце заштормило – я первый раз в море, такой волны не видывал, иногда думал, разломится сухогруз – длинный же! Но ничего, морское судно, а был и танкерок речной, так его полностью волной накрывало! Ну вот... Неделю шли до острова Вайгач. Там долго стояли, бункеровались, чинились... А у меня капитаном был Самойлов Иван Демьяныч, заслуженный капитан, войну прошел в самом пекле – на Северном флоте! А до этого дела, – Белов кивнул на бутылку, – несдержанный был... Сам мне рассказывал, как они пили в войну. Говорил, нельзя без этого было, нервы не выдерживали. Короче, день мой капитан из каюты не показывается, другой... Вызывает на совещание начальник экспедиции Воронин, покойник уже, царствие небесное, человек был властный... Раз, другой вызывает... а мой пьяный – вокруг себя ничего не видит. Что я сделаю?! Пацан против него, я и подойти не смею! Короче, прибывают к нам на «Хабаровск» начальник экспедиции с начальником морской проводки и с помощником по политической части. Мой мрачный, только похмелился с утра, ну и – слово за слово, хреном по столу! Мужик здоровый был, сгреб помполита за китель, чуть за борт его не выбросил, еле отняли. Утром по экспедиции морпроводок приказ – списали моего капитана, дело на него завели... а нам выходить через два часа. Иван Демьяныч протрезвел, пошел к Воронину и говорит: оставляй Белова капитаном, – Сан Саныч помолчал строго. – Некого было больше. Так и очутился я в Карском море капитаном сухогруза. Только вышли – туманы начались, и такие поганые – глаза трешь, кажется, что ослеп...

– Туманов и у нас хватает... – заметил Грач.

– Не-ет, там совсем другое дело! Как в молоке идешь, носа судна не видно! Слава богу, навигация исключительная у немцев была... у нас и сейчас такой нет! Так и шли сутками – туман и туман кругом, а мы как-то идем! У меня ноги тряслись, лучше бы уж шторм! Идем группой, обстановка все время меняется, льды, туман этот... Из двенадцати судов семь на мели залетели – кто-то пробился, один сухогруз на камни выбросило, а меня пронесло!

– Ох-ох-ох, дело наше флотское... Давайте, сынки, – Грач взял кружку. – Заслуженный мужик был Иван Демьяныч... А в войну, ребятушки, не приведи господи... в командах старики, да пацаны-малолетки... И ничего – работал флот! Все для фронта, все для победы, чего и говорить! – Грач замолчал, погружаясь в те времена. – А над этими стариками энкавэдэшные рожи со своими пистолетами стояли. Столько несправедливости было! Половина капитанов в эту мясорубку ушли!

Все молчали. Ветер шумел через открытый иллюминатор, туда же уплывал тяжелый табачный дым.

– Как мы эту войну пережили?! – Грач сокрушенно качал головой. – Не понять нам этого никогда! Оно никому уже и не интересно, герои, и все! А как... что было?

В поселок Дорофеевский пришли на другой день к вечеру. Встали на рейде. Совхоз имени Карла Маркса отстроился на краю небольшого старого поселка. Жилые бараки, аккуратные длинные склады у берега. Погрузочный тельфер, широкие мостки вели к рыбоделке, сети и невода аккуратно развешены. Два больших деревянных мотобота покачивались на якорях, а у берега стояли с десятков разных лодок.

Спустили шлюпку. Грач, Белов, на руле боцман, на веслах Повелас и Йонас. Старпом остался на буксире. На пирсе прогуливался молодой мужчина в начищенных сапогах, галифе и фуражке офицера госбезопасности, но обычной, белой рубашке:

– Лейтенант Габуня! Комендант этой крепости! – лейтенант улыбался открыто, никак не стесняясь своего наряда. Черные, не по уставу длинные волнистые волосы, на которых еле держалась заломленная назад форменная фуражка, озорные глаза, тонкие усы и выразительные вороновые крылья бровей. Белов, перешагивая через

борт шлюпки и подавая руку, невольно улыбнулся ему навстречу, отчего лейтенант улыбнулся еще шире, обнажая белые зубы.

Вечером поплыли неводить. В мотобот сели молодые женщины и девушки и белокурый парнишка лет семнадцати. Сзади тянулись на буксире две большие лодки с неводом. Всем распоряжался пожилой, однорукий и молчаливый бригадир. Он стоял на руле, рядом устроились Белов и Габуня.

Отплыли километров пять, причалили к пескам, и началась привычная работа. Все делалось молча, изредка бригадир подавал голос да девчонки переговаривались и негромко хихикали. Лодка с неводом пошла на глубину, сеть падала с кормы, расправлялась неровной линией деревянных поплавок и подхватывалась течением. Девушки с голыми ногами и подоткнутыми юбками впряглись в береговой конец и потянули, взмучивая мелкий песок. Оживление вносил Габуня, он был в «рабочем» – старом полевом галифе и гимнастерке, шутил с девушками, те отзывались улыбками и шутками.

Было тепло, даже жарко, Белов с Егором разделись было до тельняшек, но вскоре снова надели тужурки, спасаясь от комаров.

– После шторма их, считай, нет совсем! – Габуня протянул баночку с мазью. – Деготь берестяной с вазелином! Наше, дорофеевское изобретение!

– Да ну, – не согласился Грач, – этому изобретению сто лет!

Габуня не стал спорить, только улыбался, он был очень рад гостям. Ушли вперед, поджидая невод, и развели огонь на старом кострище. Рядом были устроены столик и лавки.

– Что значит немецкая аккуратность! – похлопал Иван Семеныч по отструганной столешнице. – Наши ни за что не стали бы! На песке бы закусывали!

Габуня поставил на стол сумку и посмотрел внимательно на Грача:

– Почему немцы? Это я просил сделать! – грузин театрально развел руки и стал доставать еду. – Что тут нам положили? Муксун копченый – люблю, стерлядку не люблю, картошка в мундире... это тоже люблю!

Несколько девушек шли с неводом, остальные сидели дружной стайкой у своего костра, отмахивались от комаров, и весело

выспрашивали о чем-то Егора. Загорелые, с косами и косичками, головы прикрыты платками с подшитыми сетками от комаров, сейчас они их откинули, открыв милые молодые лица. Все босоногие. Только бригадир был в высоких резиновых сапогах и сером пиджаке с пустым рукавом, заложенным в боковой карман. Бригадир не отрываясь следил, как заводят невод, потом встал и подошел к воде. Прикурил, чиркнув спичку одной рукой.

Габуня с Беловым и Грачом выпили. Закусывали. Лейтенант госбезопасности, соскучившись по людям «с воли», не умолкал:

– В совхозе в основном немцы... Скажем честно, – он с веселой улыбкой поднял палец вверх, – в основном немки! План выполняют, живут хорошо, все есть – пекарня, рыба, олени... даже свиней завели! В этой бригаде половина немки, половина – латышки, бригадир – эстонец. Зовут Айно...

– Что у него с рукой? – спросил Грач.

– На лесозаготовках раздавило... Давайте еще по маленькой, сейчас потянут!

Лодка с дальним крылом невода, описав круг, причаливала к берегу. Вся бригада зашла в ледяную воду кто по щиколотку, а кто и по колени. Вскоре все уже впряглись и потянули на песок тяжелую снасть. По поверхности тащились, играли дощечки-поплавки, временами в пространстве, захваченном сетью, начинала метаться большая рыба.

Чайки, крачки и пара орланов, возбужденные ожиданием, летали над дальним концом, падали в невод, выхватывали рыбу, кричали и дрались. Нерпы, как поплавки торчали любопытными темными головами. Всем было весело. Габуня забрался в гущу девчонок – они не особо его стеснялись – шутил свои шутки, специально усиливая акцент, кричал громко, если видел рыбу. Названия рыб он знал по-грузински, по-русски, по-немецки, на латышском и эстонском. Белов был в высоких сапогах, он зашел в глубину, тянул верхний урез, выбирая из него коряги и палки, захваченные снастью. Егор разулся, подвернул штаны и опасно забежал в ледяную воду. Впрягся возле симпатичной беленькой Анны. Анна весело ему улыбалась. Перебирая веревку, они касались друг друга мокрыми локтями.

– Я боцман, – сказал он вдруг Анне с неожиданной для самого себя смелостью. Ему просто хотелось что-нибудь ей сказать. – С

«Полярного»!

– О-о-о! – кокетливо улыбнулась девушка и состроила глазки. Пуговка на ее рубашке как раз расстегнулась от напряжения, открывая щелочку меж пухлых грудей, Анна скосилась на нее весело, руки все равно были заняты, чтоб застегиваться, и она еще смелее улыбнулась Егору, будто разрешая и ему глядеть, куда он хочет.

Крачки, отчаянно крича, трепетали над самыми головами, падали возле рыбаков, выхватывали селедку-ряпушку, торчащую в ячее. К счастливице кидались другие крачки и чайки, возникал галдеж, «воздушный бой!» – кричал, показывая пальцем Ваню. Бои возникали то там, то тут, не прекращались, драчливый базар, отчаянно вереща, висел над рыбаками и рыбой. Нерп вокруг невода становилось все больше.

– Подтягивай! Низа подбирай! – распоряжался бригадир с неторопливым и аккуратным эстонским акцентом.

– Полно рыбы, Айно! – кричал Габуня. Он вдруг бросил тянуть, нагнулся и, схватив под жабры, волоком потащил на берег огромного осетра, тот зло бился, обдавая всех грязными брызгами песка. – Николь! Мария! Бэрэгис! Два пуда ташу!

Однорукий бригадир следом вытаскивал еще одного. Рядом с Беловым возилась большая стерлядь, он выпутал ее острый нос из сети и не знал, что с ней делать – идти на берег было не с руки. И тут одна из девушек, высоко подбирая подол юбки и мелькая узкими коленками, подошла к нему, ловко ухватила стерлядь за жабру и потащила на берег. Белов кивнул благодарно, девушка была с короткой стрижкой, с острыми, будто хрупкими чертами лица. Взглянула на него, словно они были давно знакомы... и даже как будто... Сан Саныч застыл столбом и завороченно смотрел ей вслед. Нездешней красоты тонкие щиколотки мелькали в грязной воде.

Девушка перевалила рыбину через борт и снова вернулась в невод. И опять посмотрела прямо на него и улыбнулась. Молнии ударили в голову и одеревеневшие ноги Сан Саныча. Невод все тянулся, цеплял поплавками сапоги, рыба прыгала, обдавая грязью, люди смеялись довольные... Белов никогда не видел таких глаз, сердце замирало, что девушка сейчас исчезнет, уйдет куда-то, откуда она явилась, и все. Ему хотелось взять ее за руку.

Но девушка, так ни на кого не похожая, снова встала на свое место. Подбирала тонкой рукой грубую просмоленную тетиву, привычно выдергивала из ячеи запутавшуюся селедку. Белов, робея, как школьник, не мог оторваться от нее, – никогда никто не смотрел так на Сан Саныча!

– Разрешите! – Белов мешал, его отстранял плечом однорукий бригадир. – Разрешите, я отвяжу! – бригадир одним движением распустил узел на толстой мокрой веревке.

Выбрали осетров и стерлядей, еще подтянули, сколько смогли. Невод лежал огромной авоськой, набитой рыбой, тут и там торчали наружу узкие серебряные тела ряпушки – туруханской селедки, больше всего ее и попало, и еще омулей зацепили косячок! В мутном, взбитом песке кипела рыба, ближе к берегу растекалась уставшим уже живым серебром.

– Петер, давай сак! – чувствовалось, что и бригадир возбужден. Рыбы было много.

Белов встал на сак с белокурым Петером, и они стали черпать бьющуюся рыбу. Взваливали на борт лодки, выгружали, рыба наполняла рундуки: серебряные сиги, омули и селедка, жирные чиры, похожие на молочных поросят. Несколько больших щук попались, бригадир цеплял их багориком и оттягивал на берег. Он попытался поднять самую большую за огромную челюсть, не осилил, ручка багра, скользкая от рыбы, выскочила из единственной руки. Подскочил Ваню и перебросал пятнистых хищниц в отдельный рундук лодки, там же, как в карцере, ворочались темные налимы.

– Штормом к нам рыбу поддало! – бригадир Айно, довольный, кивал на водный простор.

Принесли еще один сак, две девушки взялись было, но бригадир зашумел:

– Куда?! Успеете надорваться! Как говорил наш нарядчик, не лыжь поперэк батька в пэкло! Все там будэмо!

Ваню отнял у девушек сак и, взяв в напарники Егора, стал нагружать рыбу. Первое, что вывернулось ему под руку, была большая нельма.

– Эй, кто-нибудь! – радостно заорал Ваню... – Смотри, какая!

– Анна, вон Анна! Иди сюда! – позвал Егор.

Серебряная хищная красавица лежала на песке, изогнув мощную темную спину. Анна двумя руками не без труда потянула ее под жабры, хвост волочился по песку.

Все рундуки в лодке были загружены до краев, рыба уже начала выскакивать, подогнали и стали грузить вторую лодку. Габуния с Беловым отошли за свой столик, Грача не оторвать было от рыбы, Егора от веселой Анны. Ваню налил по маленькой, он вообще наливал не по-русски – в маленькие металлические стаканчики с чеканкой.

Девушку звали Николь.

– Двадцать четыре года, француженка, очень хорошая, но приставать бесполезно! Ничего не действует! – улыбался Ваню. – Поверь мне, брат Саша! Крепость грузинскую в кино видел? Одинокую, на скале?! Вот – это она!

Ваню от вина делался еще веселее. Белову он нравился, он не мог не нравиться, иногда, правда, Сан Саныч вспоминал, что Ваню лейтенант госбезопасности, на мгновение задумывался об этом и снова улыбался славному грузину. Вот, думал Белов, вспоминая свои споры с Фролычем, который не любил сотрудников органов, – вот чекист, и какой человек!

– А ты к ней причаливал, значит?! – ревниво спросил Белов, когда они стали сворачивать закуску. Ему хотелось еще поговорить о Николь, он все искал ее глазами среди девушек, работающих у лодок. Ему почему-то не нравилось, что она «француженка», казалось, что она особенная не поэтому, а потому что она сама такая особенная!

– Говорю тебе... Я тут с прошлой осени, до меня комендантом был лейтенант Лазаренко. Пьяница и скотина, каких поискать! Он с ней чего только не делал... без работы держал – считай, голодом морил! Ни в какую! Среди них есть такие! – Ваню неопределенно развел руки, то ли восхищаясь, то ли не понимая. – Некоторые девчонки ее недолюбливают... ну, понимаешь – белая ворона. – Габуния закусил ус и перестал улыбаться, думая о чем-то, потом вздохнул и сказал негромко: – Тут им всем плохо, Саша, – он повернулся и посмотрел на берег, на девчонок, сающихся в лодки. – Немки, латышки, русские... какая разница. Если бы со мной так сделали, я бы камень себе на шею привязал!

Все уже погрузились, ждали только их.

– Да ты сам все знаешь! Во время войны, когда их только привезли... Этот Лазаренко так и говорил: за буханку хлеба – хочешь мамашу, хочешь дочку... – Ваню выразительно посмотрел на Белова. – Вот так!

– Врал он, гад! – Белов недовольно тряхнул головой. – Я тут работал в то время...

– Гаремы заводили, Саша! – Габуня поднял черные глаза на Белова. – От голода женщины на все шли. Семьи спасали!

– И как же... – не уступал Белов. – Разве вам это можно?!

– Нельзя, конечно – связь со ссыльными! Кого-то и сажали... Но кто устоит?! Ты один в этой пустыне, женщин сколько хочешь, и все они в твоей власти! Жизнь их детей в твоих руках! Сами приходили! Много такого, Саша! Очень много!

Белов и верил, и не верил. Ему казалось, что лейтенант, как и все грузины, преувеличивает. Они забрались в мотобот.

Всю недолгую дорогу до поселка Белов смотрел на Николь. Она должна была чувствовать его взгляд, но не посмотрела ни разу. Улыбаясь, слушала Грача, который раздухарился в окружении девчат. Память у старого механика на давние события была исключительная:

– В 1908 году работали мы на рыбопромышленную компанию. Две тысячи человек нанимали тогда на рыбную ловлю! – Грач со значением всех осмотрел. – И мы эти бригады с самых верхов сюда на пески доставляли: лодки, снасти, соль... Бочки для засолки рыбы по дороге брали – в Енисейске их из лиственницы клепали, а в Костином или в Бахте из кедра. Кедровые намного лучше, а обручá из тальника или из черемухи делали. Ой, мастера работали! А бочки были, скажу я вам деточки, и по двадцать, и по двадцать пять пудов! Эвон, какие! – Грач распахнул руки и сделал суровое лицо. – Тогда тут порядку много было! Всё строго по правилам ловилось! И засолку контролировали, и чистоту, даже из Астрахани привозили спецов, те в тузлуке^[45] солили или всухую... по-разному. Я почему знаю, с нами однажды, не соврать, году в десятом или двенадцатом, губернатор Енисейской губернии ходил и сам все осматривал. Такое от царя указание вышло, чтобы рыбы было больше в продаже и чтобы она хорошо засолена была. Тогда, кстати, на все снасти разрешали ловить – и на самолоры, и неводами. По триста, четыреста и пятьсот пудов брали на невод! Это в среднем!

Белов невольно слушал старика, и ему слегка досадно было, что тот раскудахтался про свою рыбу. А может быть, и от чего-то другого досадно. Он все изучал аккуратную голову Николь. Белый платочек, охватывающий загорелую шею, трепетал под встречным ветром, и Сан Санычу нервно становилось, что он сейчас расстанется с ней, даже не познакомившись.

Он стиснул зубы и, матеря себя за непонятно откуда взявшуюся робость, отвернулся обреченно, стал смотреть в тундру, над которой в чистом шатре неба висело ночное солнце – на часах было полпервого.

Тундра не помогала. Ему досадно становилось за невероятную девушку, которая почему-то должна была жить здесь. Он пытался представить ее во Франции и совершенно не мог, только путался... но здесь, рядом с лодками и неводом... такая красивая. Он вздохнул хмуро, повернулся к Вану, тот что-то шептал своей грудастой и симпатичной Герте.

– Слушай, Вану, могу я забрать ее на «Полярный»? – спросил первое, что пришло в голову.

– Кого? – не понял Вану.

– Ну ее, – кивнул в сторону Николь.

Вану повернулся к Белову. Улыбнулся хитро:

– Почему нельзя, дорогой! Ты что, уже влюбился? – грузин понимающе обнял Белова.

– погоди, я серьезно, у нас зарплаты очень хорошие!

– Оформить можно... – подумав, сказал Вану. – А она захочет?

– Не знаю, – Белов хмуро глянул на Николь. – Мне как раз матроска нужна...

– У нее никого тут нет, может и захочет! Сейчас компанию соберем, песни петь будем! Ты сам и поговори с ней... – Вану легкомысленно подмигнул Белову и снова повернулся к подружке.

Николь не слушала Грача, глядела на безбрежные воды залива, по ним скользили теплые вечерние лучи. Небо на горизонте было нежно-желтым, а выше голубело. Она спокойно повернулась и внимательно посмотрела на Белова. И было в ее взгляде что-то... может, просьба... а может, и ответ на тревожные, немые вопросы Сан Саныча.

Бывают такие взгляды в жизни, которые решают все. Даже если ты еще не понял, что уже все решилось, оно решилось. Но это потом,

по прошествии лет становится ясно... Белов же видел это теперь. Эта необычная, ни на кого не похожая девушка – его судьба!

Бот причалил к поселку, возникла веселая суета, бригадир пошел заводить движок и запускать механизированную погрузку. Вытащили на берег весла, паруса, длинный и тяжелый невод развесили сушиться. Габуня показал Белову крайний дом на берегу и ушел со своей Гертой. За плечи ее обнимал.

Белов глядел ему вслед и не понимал, почему Габуня выбрал именно эту, милую, но очень обычную девушку. Егор не отходил от хохочущей и, кажется, счастливой Анны. Он совершенно забыл, что он боцман, и тоже был босой, с подвернутыми штанами, хвастаясь силой, хватал самое тяжелое, вытягивал лодки. И всякий момент, когда это можно было, держал ее за руку. Белов и Анну рассмотрел внимательно – ничего особенного, крепкая деревенская девчонка с двумя тугими косичками, лет восемнадцать... Она выглядела взрослее Егора, была на нем комаров и без стеснения прижималась пухлой грудью к его тельняшке. Белов понимал их, но ему не хотелось, чтобы Николь вела себя так же... С Николь так нельзя было.

Он переобувался, чистил запачкавшуюся одежду и все пытался представить себе, как предлагает ей работу на буксире... У него не получалось – только видел ее удивленный взгляд и чувствовал, как жжет стыд. Должность матроски на «Полярном» была занята.

Директор совхоза ссыльный немец Гюнтер Манн пришел с кочегарами Йонасом и Повеласом, осмотрел рыбу, пошутил что-то по-немецки с девушками, потом улыбнулся Грачу:

– Вы, Иван Семеныч, опять нам фарт привезли!

Николь ушла вместе со всеми, ни разу не обернувшись. Белов сидел на бревне и не знал, что делать, – идти в гости к лейтенанту расхотелось. Хмель проходил, Белов подумал, не вернуться ли на судно... Егор с Анной о чем-то тихо говорили в стороне. Потом Егор подошел и, отводя глаза, попросился в увольнение на всю ночь. Белов разрешил.

На судно уплывал Грач, загруженный мешками с рыбой. Кочегары, довольные, что повидали знакомых и побывали на кладбище, сидели на веслах, ожидая Белова.

– Ну что, Сан Саныч, поплыли? – спросил Грач.

– Ладно, давайте без меня... На берег посматривайте – костерок запалю, пришлите шлюпку.

Изба лейтенанта Габунии была новая – пятистенок, с просторными сенями, заваленными всяким хозяйством. Пахло керосином, рыбой, дымом от печки и одеколоном. Белов слышал хохот внутри, но в полутьме сеней и от стеснения не мог отыскать ручку двери.

Николь была здесь, среди девчонок, приодетых в нарядное, лейтенант как раз говорил тост. Печь трещала.

– О-о! Саша! Заходи, генацвали! Тост за нашего капитана – покорителя страшных бурь! Ура!

Все подняли стаканы, Николь тоже хорошо отпила, заметил Белов и махнул свой. Не почувствовав обжигающего вкуса спирта, с удивлением понюхал из стакана.

– Вино пьем, Саша, не для пьянства, для радости! Песни будем петь! – смеялся Ваню.

– Черничное! – весело поддержала пухленькая Герта. – Это Ваню придумал наливку.

В горнице был полумрак, подсвеченный низким ночным солнцем. Девушки накрывали на стол, в центре стояли бутылка коньяка, миска с конфетами, печеньем и шоколадом, сухая копченая колбаса, нарезанная кружочками, – все это богатство явно было из продуктового набора лейтенанта госбезопасности. Местными были только куски отварной оленины, сливочное масло и миска белой икры. Девушки в кухне пекли блинчики на двух керосинках. Все сновали туда-сюда.

– Так! Кто лучше всех печет блины, тот сидит рядом с капитаном! – Габуния осторожно обнял одну: – Мария? – потом другую: – Николь?

Николь была в бордовой кофте с аккуратно залатанными локтями, длинной темной юбке и босиком. У нее были тонкие ступни.

Ваню усадил ее рядом с Беловым. Она была не против, спокойно ему улыбнулась. И Белов, не понимая, как хватило смелости, нашел ее пальцы под столом. Она посмотрела на Белова пристально и доверчиво... и руку не убрала.

Было уже полтретьего ночи, в восемь утра начинался новый рабочий день, но все веселились. Выпивали, закусывали, Николь

говорила без акцента, совершенно как русская. Ваню поднимал тосты и требовал, чтобы их говорили все. Белов сказал что-то совсем глупое про суровый Енисей. Все это время он сидел молча, иногда напряжено улыбался и мало что соображал. Только чувствовал возле себя Николь, ее тонкую ладонь и пытался думать, как предложить ей уплыть с ним, но его отвлекали, и он брал свою рюмку или блин...

Выпив, он снова находил под столом ее ладонь, и ему казалось, что она ждала его руку и даже чуть пожимала, отвечая на его пожатие, он, впрочем, не уверен был. Косился на Николь и не понимал, что происходит, – ему и хотелось остаться с ней наедине, и совсем не хотелось, чтобы получилось что-то такое. Он окончательно запутался и просто сидел, растерянно перебирая ее тонкие пальцы. И думал, как все это глупо – куда он увезет ее?

Девушки запели латышскую песню, Николь тоже поддержала, видно было, что не первый раз поют вместе. Потом затеяли шуточную немецкую, в припеве все хлопали в ладоши и топали ногами. Хлопал и Белов, он слегка захмелел и ему временами становилось весело.

– Давайте русскую! – предложил Ваню.

– Нет, – закричали девчонки, – грузинскую! Ваню, пожалуйста!

– Сколько вам говорить, – Ваню притворно сводил брови над горбатым носом, – грузинскую хотя бы трое должны петь! Я один – как могу?! Перед человеком меня позорите!

Но они упростили, и он запел. Хрипловатый и негромкий голос Ваню в песне непривычно чисто и красиво звучал. Белов представлял себе высокие горы, вспоминал стихи: «Кавказ подо мною, один в вышине...» Даже подумал прочесть, но не помнил ни слов, ни кто это написал...

Он пошел ее провожать. Было полпятого, на улице не раннее уже утро, накрапывал мелкий, непонятно откуда взявшийся слепой дождичек, люди копошились по хозяйству, солнце стояло над заливом, освещая бескрайнюю тундру, среди которой и притулился поселок. У воды из огромного ствола был устроен дымарь для лошадей. Поутру мошки было мало, но один конь привычно понуро стоял в дыму, помахивая хвостом. Древний старик с белой бородой, широкий и уже негнувшийся, тащил, натужившись, с двумя белобрысыми недоростками балан от реки. Бревно было длинное, сил у них не хватало, но не бросали, дед что-то говорил негромко на незнакомом

языке. Увидев Белова с Николь, старик остановился, кивнул в ответ, стоял и смотрел внимательно. Белов тоже привычно кивнул пожилому человеку.

Они шли рядом и молчали. Он знал, что она не позовет его к себе в дом, но если бы и позвала, он, наверное, не пошел бы. Он это понял и успокоился. В колбе песчаных часов оставались последние песчинки. Когда подошли к калитке, преодолевая тяжелое волнение, спросил:

– Пойдешь ко мне на буксир? Уборщицей... Зарплата хорошая. – В висках стучало, боялся глядеть ей в глаза.

– Меня не отпустят отсюда, даже письма писать не разрешают. А вам правда нужна уборщица?

– Нужна! – Белову не важно было, что он врал, он хотел понять... хочет она с ним? Что-то было не так, он это видел. – Почему ты сказала «вы»?

– Мы с вами даже не познакомились... – глаза Николь были серьезные.

– Да?! – Белов ничего не соображал, он боялся, что она уйдет – всего несколько шагов и исчезнет за дверью.

Николь и не собиралась уходить, серьезно и ласково на него глядела, как будто любовалась им, Белов это видел, но не верил. Все это было так странно, так не похоже на поведение женщин и девчат, которых знал капитан «Полярного». Он блуждал в мыслях и чувствах, она все спутала в его душе.

– Так мы будем вместе! – Белов выпустил все свои мысли на волю.

– Вам нужна не уборщица... любовница?

– Мне? – глупо спросил Белов и почувствовал, что начинает краснеть.

– Ну да... Ваню сказал, что вы женаты.

Белов нахмурился, он не понимал, при чем здесь его жена. Не хотелось вспоминать о ней.

– Саша, хотите, я все про себя скажу? – она опять очень просто улыбнулась, безо всякой игры или какой-то еще мысли.

Белов напрягся, он ждал, что сейчас его пошлют куда подальше. Стряхнул с себя робость:

– Скажите! – тоже перешел на вы. Нечаянно вышло, но он сам почувствовал, что так стало лучше. Она сделалась еще желаннее.

– Хорошо, – Николь глянула по пустой улице, – давайте на лавочку...

И опять она сама села так близко, что он почувствовал ее. И даже взяла его под руку и прижалась, заглядывая в глаза:

– Саша, ничего, что я называю вас Саша? – она озорно улыбнулась. – Сан Саныч мне тоже нравится! Почему вас так зовут?!

Белов слушал ее, и смотрел на нее... и ему было плохо. Она прижималась, и эта ее приветливая улыбка, как будто они знакомы сто лет... Он боялся, что она сейчас начнет успокаивать его. Если бы он мог, он не стал бы ее слушать.

– Саша, вы мне очень нравитесь! – она наклонила голову, будто положила ее на плаху.

Белов замер хмурый.

– Вы мне так понравились, что я не могла на вас смотреть, но подождите, я собьюсь. – Белов слышал, как она волнуется, как стучит ее сердце и слегка дрожит голос, он взял ее маленькую руку, и она нервно и крепко ответила на пожатие. – Я почти не стесняюсь вас... потому что знаю, что мы скоро расстанемся? Да? Но это не главное... Я здесь все время одна, думаю о разном... о любви людей друг к другу... Если вам будет неинтересно, скажите мне! – Она замолчала, теребя пуговицу кофты. Глянула на Белова быстро и внимательно: – Сегодня увидела вас и весь день думаю о своей любви... В сорок третьем, когда нас везли сюда на барже, мы всю дорогу разговаривали с одним немцем. Его звали Людвиг, он был красивый и очень худой – еды ни у кого не было. Мне его было жалко, но знаете... я им любовалась! Я не могла не смотреть на него – прекрасные, грустные голубые глаза на таком красивом лице. Он был очень слабым, но помогал другим. Я тогда плохо говорила по-русски, а он хорошо – он был с Волги. Их выгрузили в Сопкарге, и он умер в тот же год, очень скоро. Я потом узнала и так плакала... Знаете, о чем я жалела? Что не сказала ему ничего, не сказала, что я влюбилась. А я правда влюбилась, так бывает, не важно, что всего одна неделя вместе и в трюме... Я не сказала, а ему это было нужно. Он умер, не зная о моей любви... – она подняла глаза на залив, на далекое солнце в дымке

утреннего тумана. – У нас нет никакой другой возможности напомнить Господу, что мы есть. Любовь – единственное, с чем Он считается...

Сан Саныч совсем запутался. Он не ожидал ничего такого. А может, как раз и ждал – эта необычная девушка и должна была быть такой. Он сидел тихо, глядя под ноги. Она была очень одинока, а он не смел забрать ее с собой.

Николь посмотрела на него, кивнула молча, рука расслабилась в руке Белова. Она медленно и вдумчиво заговорила:

– Я все время думаю о таких вещах, смотрю на этот залив и думаю. Залив меня понимает без слов. Вчера вечером, когда увидела вас, я сказала себе: какой он красивый! Люби его! У тебя есть только сегодня, чтобы его любить, глядеть на него, сколько хочешь! Не стесняйся никого! Вот! Почти так я и сделала... У меня никогда такого не было, и я очень вам благодарна!

Она опять замолчала, смело посмотрела на Сан Саныча и улыбнулась:

– Вы думаете, я ненормальная? Ну пусть! Я буду вас вспоминать... буду думать о вас, разговаривать, сидеть с вами на этой лавочке и держать вашу руку. У вас большая и сильная рука.

Она смотрела очень просто, в ее глазах все было настоящим, они были ясными, как свежее утро, окружавшее их. Белов тряхнул головой, запустил руку в волосы:

– Николь, – Сан Саныч первый раз произнес ее имя вслух и сам удивился, как крепко оно звучит, – я не знаю, что хочу сказать...

– Ну и не говорите ничего! – она осторожно прижала ладошку к его губам. – Не надо никакой матроски – от этого будет только плохо! Я весь вечер обманывала себя, я сказала себе, что свободна! Такая глупая ложь не может жить больше, чем один вечер. Нельзя любить несвободной – так говорил мой отец, его расстреляли немцы...

– Да? – машинально удивился Сан Саныч.

Он не то чтобы не понимал ее... он никогда ни о чем таком не думал. Ему ясно было, что их бессонная ночь прошла, и от этой мысли навалилась усталость. В наступающем дне почему-то не было радости и почти не осталось очарования. Как будто сама жизнь вдруг встала между ними.

– Я пойду! Не обращайтесь на меня внимания, я сама не все понимаю... Вы капитан – красивый и вольный, вы не можете быть

несчастливы!

Она открыла калитку. Белов обреченно смотрел ей вслед. Она обернулась на крыльце:

– Спасибо вам за все! Сан Саныч!

На рейде у совхоза простояли сутки, брали на борт соленую рыбу, погрузкой командовал боцман, закончили только к ночи, и Егор снова попросился на берег. Белов был выпивший – они с лейтенантом Габунией с обеда сидели в капитанской каюте, – ему самому то очень хотелось на берег, то отчего-то становилось стыдно и не хотелось совсем. Он хмуро посмотрел на своего боцмана и, хотя должны были выходить вечером, отпустил до двух утра. Грач уплыл с Егором отблагодарить Гюнтера.

Белов с Ваном вышли подышать, смотрели, как удаляется шлюпка. Работы стихли, команда ужинала в кормовом кубрике, матрос Климов заканчивал сращивать металлический трос, гремел негромко по палубе. И в природе все успокаивалось и затихало: не горланили чайки, не так громко плескалась рыба – белая ночь, она все равно ночь.

Вано соскучился по свежему человеку, да и возрастом они были близки, говорил и говорил. Про счастливое детство у бабушки в деревне, про прекрасный Тбилиси, читал на грузинском стихи Нико Бараташвили, рассказывал, что Нико, как и Лермонтов, прожил всего двадцать семь лет и что он, Вано Габуния, проживет столько же! Они вернулись в каюту, Сан Саныч не мог уже пить, но перед гостем было неудобно, и он достал еще бутылку.

Вано тосковал по Грузии и очень открыто рассказывал о себе. Отец его умер рано, воспитывал дядя, большой чин в НКВД. Вано пошел по тому же ведомству, на годовичные курсы младших лейтенантов – это был сорок второй год, ему было восемнадцать лет. Он уже видел себя на фронте, но дядя оставил его в Москве и сделал своим помощником. Вано протестовал, дядя перевел племянника в Красноярское краевое управление НКВД, к своему товарищу. Вано писал рапорты об отправке на фронт, об увольнении из органов, писал гневные письма дяде и тогда его отправили еще дальше, сначала в Дудинку, а потом в Дорофеевский. Комендантом нескольких ссыльных поселков.

– Я написал ему все, что думаю, но он за мной все равно следит! – Вано прикурил и открыл иллюминатор. Он был не пьян, но очень возбужден. – Что тут происходит, Саша – никто уже не поймет! Они сами там, наверху, ничего не понимают!

– А ты... не хочешь служить в органах?

– Я не знаю... – Вано посмотрел сквозь Белова. – Я же никогда не был настоящим чекистом, и в Красноярске, и в Дудинке я за штатом состоял! Ни одного дела не вел, и везде знали, чей я племянник. Но может и хорошо, что здесь оказался...

Белов смотрел, не очень понимая.

– Я тут могу людям помочь... – Вано замолчал, заглянул в пустую кружку. – Налей, что ли?

– Не хочу больше, – признался Сан Саныч.

– Я тоже не буду... В сорок четвертом я был с комиссией в Усть-Хантайке и Потапово. Слышал, наверное, там за три года из двух тысяч ссыльнопоселенцев двести человек в живых остались! – Вано замолчал, думая о чем-то.

– И что? – спросил Белов.

– Ничего. Коменданта посадили на три года за халатность. Я не застал самых тяжелых сорок второго – сорок третьего, но в сорок четвертом уже был здесь, и у меня от голода не умирали! От людей очень много зависит, Саша!

Габуния налил себе, посмотрел на Сан Саныча, тот покачал головой. Вано выпил и, прикрыв иллюминатор, заговорил вполголоса:

– Знаешь, сколько ссыльных в крае? Две тысячи таких комендатур, как моя. Вот так! И коменданты везде разные...

– Ты есть не хочешь? – Сан Саныч давно уже хотел есть.

– Не хочу! Я выпью еще, надоел тебе? Ты уйдешь, я опять тут один останусь...

– А что ты думаешь о Сталине?

– Что я могу думать? – Вано пристально посмотрел на Белова, как будто что-то хотел сказать, но молчал. Отвернулся, головой покачал, все думая о чем-то. Потом усмехнулся и расслабленно откинулся на спинку стула. – Сталин в Москве сидит, никуда не ездит... только на юг.

– Вот и я думаю, – поддержал Белов. – Он не может все контролировать, мы сами должны... нужна сознательность.

– Это точно... – Габуния внимательно прищурился на Сан Саныча. – Никогда люди не докричатся до него отсюда.

– До Сталина? – не понял Белов.

– До него... – Ваню встал, открыл дверь каюты, выглянул, прислушиваясь. Из соседней каюты доносился храп старпома. Ваню вернулся и снова сел напротив. – Например, НикольВернье...

– Как ее фамилия?

– Вернье.

– А ее за что сослали? – напрягся Сан Саныч.

– Говорит, сбежала от немцев из Франции без документов, была в Латвии у подруги, ну и загребли вместе с семьей подруги. Кого только не брали! И домработниц, и любовниц...

– И что же, нельзя ей помочь? – Белов не понимал, как это все могло быть.

– Она по документам латышкой числится. Как ей доказать, что она француженка?! – Ваню в смущении потрогал усы. – Наши никогда не признаются, что французскую гражданку просто так за Полярный круг загнали. Пишут отказы на ее заявления, и все. Причину не обязаны объяснять.

– А ты не можешь ей помочь?

Ваню посмотрел на Белова, изучая его, заговорил, словно нехотя:

– Я пробовал, но... – он виновато развел руки. – Тут в ссылке иностранцев много, и выпускать их отсюда не будут. Это я точно знаю.

Сан Саныч проводил Габуню. попрощались тепло, долго не разжимали рукопожатие, глядя друг на друга, обещали видеться.

Белов сидел в своей каюте и, хотя страшно хотел спать, не ложился. Николь была рядом, он представлял ее крыльцо, как он заходит к ней, застаёт ее сонную и обнимает. И они стоят, обнявшись. Что-то большое произошло меж ними вчера ночью, кровь волной бросалась к сердцу Сан Саныча, он хватал себя за голову, стискивал челюсти – он чувствовал, что не увидит ее больше никогда. Он застывал, хмуро уставившись в стол с высохшими закусками. Какая-то непонятная, но правильная сила останавливала его, он ни за что не поплыл бы сейчас к ней.

Было уже четыре утра, остроконечные тени деревьев с высокого правого берега достигали середины неширокой протоки.

Соскучившийся по работе «Полярный» весело резал носом вершины этих теней. На вахте за компанию с боцманом сидел на своем стуле плохо спящий по ночам, а тут еще и подпивший Грач. Он вернулся с берега вместе с Егором, не уснул, а плеснув сто грамм на старые дрожжи, поднялся в рубку. Степановна что-то готовила, выходила на палубу, выливая из ведра за борт. Временами в приоткрытую дверь рубки залетали вкусные запахи.

Залив кончился, вошли в систему Бреховских островов, протоки были узкие, но глубокие, Егор, широко зевая, поглядывал на близкие берега.

После двух ночей с Анной он был зверски голодный и так хотел спать, что если бы не болтовня Грача, то и уснул бы за штурвалом. Что-то пылало в мозгу. Он думал, что теперь должен жениться на ней, и от этой мысли в голове только добавлялось копотти. Он и не против был, но ему совсем недавно исполнилось шестнадцать... мать, конечно, ругалась бы... а еще не хотелось менять вольную флотскую жизнь, которая только начиналась. Анна ничего и не говорила, спросила только, весело улыбаясь: «А если будет ребеночек?» Егор не нашелся, покраснел, как рак в кастрюле. Если не считать пары нечаянных, неуклюжих случаев, это была первая в его жизни женщина.

– Нинка печет что-то? А? – кивнул старый механик в сторону камбуза.

– Пирожки с рыбой, – ответил Егор и крепко зевнул. – Сходили бы, Иван Семеныч, она вам даст пару пирожков.

– Так тебе и по ночной вахте положено доппитание!

– Я уже съел... чай с сахаром да горбушку! Пирожка бы! Оленя-то моего сожрали уже!

– И то! Я Гюнтера с тридцать первого года знаю. Посидели с ним, молодость вспомнили...

Егор устало посмотрел на старика и начал подкручивать штурвал на перевальный знак. Солнце слепило глаза. Егор прикрывался рукой, просматривая курс, и зевал неудержимо. Грач за пирожками не пошел, Егор открыл дверцу шкафчика, пошарил там – ни хлебца, ни кусочка сахара не было. Он уже шарил. Снова прищурился на реку.

– Ой-я-а-а! – Егор сунул руку вперед и машинально сбросил ход.

– Чего? – выставился в окно хмельной Грач.

– Лоси! Через протоку перебивают! – Егор сдвинул телеграф на самый малый. – Чего делаем? Ружье у Сан Саныча!

– Лосиха! С сохатенком! Здоровый уже! – спокойно рассуждал Грач.

– Иван Семеныч! Шлюпку будем спускать? Мы в прошлом году веревку прямо с борта накиннули и стреляли! Вы постойте, я за Сан Санычем сбегаяю! – Егор кинулся в кубрик.

Грач встал за штурвал. Животные плыли наперерез, забирали чуть вверх по течению, оказавшись перед буксиром, разделились, лосиха пересекла уже курс и была слева от «Полярного», лосенок испугался и повернул было обратно, потом снова развернулся и теперь плыл у самого правого борта, рукой можно было достать. Он вытягивал морду вдоль воды и то пугливо прикладывал, то выставлял вперед лопухи ушей. Время от времени мыкал негромко. «Полярный» шел совсем медленно.

Из кубрика выбрался непроснувшийся Сан Саныч в тельняшке, фуражке и трусах. В руках ружье. Увидел лосиху, она плыла уже у самого носа судна, крутила головой и время от времени выбрасывала вперед большое острое копыто.

– Унести может! – крикнул Егору. – Надо веревку! И багор!

Егор полетел в свою каюту, капитан стоял с ружьем наготове. Переломил двустволку, проверил патроны. Лосенок опять замычал, вытянув губастую морду, его хорошо было слышно. Лосиха ответила. Прибежал Егор.

– Лосиху стрелять хотите? – взволнованно суетился боцман.

Сан Саныч шагнул к самому борту, встал твердо и поднял ружье, целясь в шею лосихи, она была в пяти метрах. Сзади из рубки раздался сиплый крик Грача:

– Лосенка стреляй, Сан Саныч, ты что?! – он совсем остановил машину.

Крик сбил капитана с толку, он обернулся на Грача, и тут лосиха оплыла наконец нос и, громко замычав, понеслась по течению навстречу лопухому лосенку, они врезались, спутались на мгновение, но потом бок о бок развернулись от «Полярного».

Белов нахмурился и, переломив ружье, вытащил пули.

– Не будете стрелять?! – услышал сзади голос Егора. Вцепившись в фальшборт, он глядел в сторону быстро удаляющихся зверей. Потом

поднялся в рубку и встал за штурвал.

– Чего не стреляли-то? – спросил Грач.

Белов не ответил, направился к себе в каюту.

– Я бы тоже не стал, – Егор все глядел вслед сохатым. – Видели, как она к нему кинулась?!

– Кто? – не понял Грач.

– Да лосиха.

– Ну понятно... – философски равнодушно согласился хмельной механик.

Старпом Фролыч открыл дверь. Умывшийся, свежий:

– Иди поспи, я постою... – кивнул боцману.

– Мне еще два часа.

– Иди-иди, жених, на тебе лица нет, весь в свисток ушел! Я полсуток шконку давил, больше не могу, – добродушно выпроваживал боцмана Фролыч.

Белов пришел, обсудили лосиху с лосенком. Согласились, что живые они лучше мертвых. В рубке затихло. Подстукивал цепью штурвал в сильных руках старпома. Прошли остров, Енисей стал шире, Белов смотрел на играющие под чистым небом синие летние волны. Думал рассеянно о хорошем теплом человеке Габунии, о загадочной и прекрасной девушке, от которой он, капитан «Полярного» Сан Саныч Белов, уходил сейчас вверх по Енисею. Все становилось на свои места, как будто ничего и не было. От этих мыслей делалось немного грустно, но чувствовалась и радость. Как будто сама жизнь решила слишком сложную для людей задачу.

– Все, сухой закон! – сказал Белов негромко и твердо. – Устал от пьянки...

Старпом покосился на него снисходительно.

– Кочегары на каждой стоянке крутятся на берегу... – Грач со значением глянул на капитана.

– Ну? – не понял Белов.

– Может, чего затевают лесные братья^[46]? Тебе бы доложить в Управление... если что... мы, мол, предупреждали!

Белов только поморщился на похмельного старика, глядел вдаль и думал о своем.

– А что ты знаешь о лесных братьях, Иван Семеныч? – спросил Фролыч.

– А мне и знать не надо! – Грач с тупой гордостью уставился на старпома.

Фролыч только головой крутнул:

– У тебя, Иван Семеныч, семь пятниц на неделе. То ты горюешь, что капитанов невинных сажают, то в стукачишки записываешься.

Грач нахмурился, хотел что-то сказать, но нашелся не сразу:

– Я старый человек, сказал то, что сказал, и не тебе меня учить! Обезопаситься надо... я... – Он слез со стула, глянул гневно: – Не ждал от тебя такого, Сергей Фролыч! От кого хошь ждал, но не от тебя! – и, аккуратно переступив порог и придерживаясь двумя руками, вышел вон.

– Иван Семеныч! – крикнул вслед старпом. – Я не хотел, чего ты...

– Что уж ты, правда, Фролыч, дед с похмелья всегда туповатый, они вчера с Гюнтером... – Белов с усмешкой качнул головой. – Я не знал, что Гюнтер пьет.

Старпом помолчал, обдумывая. Посмотрел на капитана, потом снова повернулся на реку. Заговорил спокойно:

– Что мы за люди? У нас и так хорошо, и так пойдет! Чего мы такие недоделанные? Он же старый, повидавший... Сколько его друзей угробили! Все своими глазами видел, а сейчас несчастные литовцы ему подозрительны! У них в этих местах все родные остались. Как не понять?!

– Здесь и не поймешь ничего, мозги пухнут... – отмахнулся недовольно Белов, вспоминая разговоры с Ваню.

– Тут не в мозгах дело, Сан Саныч. Похоже, у нас совести не осталось...

Белов промолчал. Ему не хотелось ни о чем думать. То ли в душе, то ли в затылке застряла Николь. Он не понимал, зачем все это с ним произошло.

В конце августа неожиданно наступила жара, какой не было ни разу за все лето. На Енисее вторую неделю стоял штиль, вода сделалась теплой, ребяташки переплывали на пески ермаковского

острова, разводили дымари у самого берега и целыми днями плескались. Других загорающих не было – из-за жары вылетела несметная мошка. Ее уже прибило было ночными морозцами, и люди решили, что она прошла, но она вылетела так, что даже в поселке, где гнуса всегда было меньше, разговаривать было невозможно – в рот и в глаза лез, а небо из голубого сделалось серым.

Горчаков с Белозерцевым шли таежной тропой. В вещмешке Георгия Николаевича погромыхивали стерилизатор с инструментами, три толстые склянки с медицинским спиртом, пузырьки перекиси и йода, еще кое-какая необходимая мелочь. Вещмешок Белозерцева был в два раза больше, там кроме медикаментов для шестого лаготделения были еще полкирпича хлеба в тряпочке и кое-какая еда. Сверху телогрейка приторочена.

Голову Шуры закрывал накомарник из грязного тюля, а руки были в черных меховых перчатках. Выходя, он основательно намазался дегтем, но теперь все уже смыло потом, и мошка лезла кругом – за пазуху, под резинки на поясе и на руках. Он обмахивался зеленым веником из ольховых веток, но и это было бесполезно – гудящий рой догонял тут же, окружал и принимался за дело с двойным остервенением. Шура завидовал, а правду сказать, не очень понимал Горчакова, который мазался немного и не обмахивался, а шел спокойно, покуривал с поднятой над лицом сеткой настоящего накомарника – их выдавали пока только начальству.

Время от времени Горчаков останавливался, снимал очки и тер глаз к переносице, выдавливая мошку. Георгию Николаевичу, работавшему в таймырской тундре в июле, вот уж когда действительно из-за гнуса неба бывало не видно, сейчас было приятно идти. Улыбался про себя. Их отправили за десять километров в шестое лаготделение – это был первый его вольный выход в тайгу за все лето. Они должны были прийти к вечеру, так им и командировки выписали, но Горчаков не торопился.

Это была радость, пусть и иллюзорная, но он улыбался внутренне так широко, что даже и наружу просачивалось. Как будто никогда в жизни не видел, останавливался и, покуривая, рассматривал вековой кедр с изломанными вершинами. Или растирал в руке и задумчиво нюхал остро пахнувший пихтовый стланик... и опять улыбался каким-то своим мыслям.

Он был рад Белозерцеву, который, чувствуя особенное состояние своего товарища-начальника, шел молча. Обычно с санитарями у Горчакова не было никаких отношений – подай-принеси, истопи печку, полы вымой – так было и с Шурой, но за полгода они неплохо сработались, понимали друг друга с полуслова. Горчаков иногда с сожалением думал о том, когда их разведут. Это все равно бы произошло, за колючкой мало что зависело от людских привязанностей.

Он смотрел и смотрел на знакомые цветы и травы, переросшие и побуревшие уже к осени. Тропа была хорошо набита, Горчаков и на нее улыбался, на тихую хвою под ногами. Конечно, вся эта радость была ворованной и ни в какое сравнение не шла с тем, как ходил он один, с куском хлеба, котелком и геологическим молотком. С пустым рюкзаком утром и неподъемным вечером, где каменно отвисали пробы, ожидая своего часа. Горчаков шел бодро, иногда подмигивал особо толстым кедром, все-таки это было странно, что они такие тут растут – совсем недалеко начинались заболоченные тундровые пространства, тянущиеся на сотни километров на север и запад.

Его отправили в шестой лагпункт на подмену прооперированному начальнику санчасти. Можно было уплыть и на катере, который собирался на другой день, но Горчаков уговорил замначальника лагеря, с которым были хорошие отношения, чтобы пойти пешком и вечером уже быть в лагере. Иванов, начальник особого отдела, как ни странно, не стал возражать, и Горчакова отпустили, и даже дали носильщиком санитаря Белозерцева.

Часа через два тропа вывела на взгорок, продуваемый от мошки. Шура ушел за водой, а Горчаков разжег костерок под старым кедром и уселся спиной к дереву. Закурил. Достал пачку Асиных писем. Все они были распечатаны цензурой и проштампованы, но, похоже, не читаны. Ничего не было вымарано. С рейсовым пароходом пришла большая, накопившаяся где-то почта, и цензоры не справлялись. Выбрал по штемпелю последнее, посмотрел на него, задумчиво отвернулся в сторону садящегося солнца. Письма лежали в кармане второй день. Он открыл конверт. Столько лет знакомый почерк, мелкий, не всегда ровный, он зависел у Аси от настроения, тетрадный листок для его ответа. Он давно уже не отвечал, но она упрямо вкладывала двойной

чистый листок. Георгий Николаевич отложил письмо и неторопливо протер очки.

«Здравствуй, дорогой Гера!

Буду краткой. Сегодня 30 июля. У нас все в порядке. Все здоровы. Наталье Алексеевне назначили новое лекарство от глаукомы, пытаюсь найти, от предыдущих таблеток у нее поднималось давление. В целом она чувствует себя неплохо – за лето ни разу не вызывали скорую. Она все больше погружается в себя, в какую-то дрему – лежит с закрытыми глазами, но не спит, а о чем-то думает, или просто сидит у окна. Про тебя спрашивает редко, как будто все знает. Я вру, что ты здоров и у тебя все неплохо, она все равно слушает невнимательно, у нее что-то собственное в голове. Недавно, глядя мне в глаза, спокойно рассудила, что у тебя, возможно, есть другая женщина, что молодые мужчины не могут так долго быть одни. Похоже, она меня считает виновной в твоём аресте. Я как-то попыталась с ней поговорить, это было, когда ты перестал нам писать, возможно, мне хотелось ее совета, но она не стала разговаривать. Молчала, строго глядя мне в глаза, и я не стала ничего говорить».

Горчаков, морщась от дыма, отодвинул разгоревшийся костер, машинально смахнул мошек, ползающих по лицу. Попытался представить себе Асю, что она сейчас делает... она выходила неправдоподобно молодой. Снова взял письмо.

«Коля пятый класс закончил с тремя четверками – по пению, ботанике и английскому (у него проблемы с молодой учительницей, она совсем плохо знает язык, и он ее поправляет – не знаю, что ему посоветовать?). Отработал летнюю практику в колхозе – их возили в Тамбовскую область – пололи картошку, собирали вишню и клубнику. Вернулся загорелый, окрепший, но не отъелся нисколько, а я, признаюсь, рассчитывала. Сейчас у них идет первенство района по футболу. Ты же помнишь, что он вратарь. Мы с Севой ходили смотреть. Это так странно, он, как обезьяна прыгает за мячом, сдирает локти и колени, кричит на других игроков, а при этом такой же нежный, каким и был всегда, как девочка, особенно этот его спокойный, открытый взгляд и мягкие волосы... в нем совсем нет агрессии. Он, кстати, очень хорош с Севой. Я иногда смотрю на них и думаю – неужели они так могут любить друг друга?! Может, это от того, что у них нет тебя? Он инстинктивно пытается заменить Севе

отца? Не могу этого объяснить... Может быть, мне самой так хочется... Они, конечно, мальчишки, иногда цепляются, но больше Сева проявляет характер.

Что у тебя со зрением, и не нужны ли тебе новые очки? Я познакомилась с одной прекрасной женщиной-офтальмологом. (У нее та же беда, что и у меня! Что и у нас с тобой! Муж такой же, как и ты...) Она может помочь с хорошими очками. Бесплатно.

Я все это писала тебе и в прошлом письме от 10 июля, но ты его мог не получить... Я же ничего не знаю, скоро осень, а я опять отвечаю на твое письмо от ноября прошлого года. Это так все трудно – почему от тебя ничего нет? Ты можешь быть на полевых работах, куда не доходят письма, или тебя лишили переписки... В совсем плохое я не верю. Я точно знаю, что ты жив.

Но может быть и такое, что ты выполняешь свое желание прекратить нашу переписку. (Я в это не верю. Ты можешь отменить свои письма, но как отменишь мои? Не будешь их читать?)

Все время думаю об этом и все время путаюсь: ведь может быть и самое простое – письма опять потерялись или где-то застряли. В 1938-м, когда тебя переводили с Колымы в Норильск, писем не было полгода, а потом под Новый год я получила сразу три. Такое счастье было. Я их перечитываю. Ты тогда был очень бодрый, заканчивал «Описание Норильского промышленного района». Тебе так хотелось работать, что я ревновала, как дура, а ты тогда очень много сделал! Если бы я не была трусихой, я бы приехала к тебе, и мы были бы вместе. Хотя бы те три норильских года».

Горчаков перестал читать. Цензор явно не смотрел письма. Норильск, Колыма – все это обязательно вымарывалось, как «разглашение государственной тайны». Ася так и не научилась ловчить и почти не помнила о цензорах, а они иногда выбрасывали письма, где было много «лишнего».

«Я по-прежнему пишу долго, растягиваю письмо на целую неделю. Получается очень хорошее время – ты как будто рядом, мы что-то обсуждаем, вопрос наш сложный, который никак не решить быстро, поэтому у нас с тобой целая неделя, или даже больше, и мы каждый вечер садимся и разговариваем. Сейчас все спят и я наконец сижу под лампой, которую отгородила газетами. И вот... так странно, сижу в маленьком круге света, улыбаюсь, как идиотка, и мне нечего

тебе сказать. То есть я все время так с тобой разговариваю, а сказать нечего.

На самом деле есть главная мысль, а скорее мечта – чрезвычайно глупая, но она во мне болезненно жива все эти годы: мне хочется вернуть ту новогоднюю ночь, когда за тобой пришли. Оказаться в том времени всего на пятнадцать или даже на пять минут раньше тех людей и убежать! Без ничего, неодетыми выскочить на улицу и исчезнуть. Зная, как все потом сложится, мы, конечно, что-то придумали бы, уехали, исчезли, жили бы где-нибудь тихо и просто растили наших детей...

Я накапала тут. Прости. Я становлюсь слезомойкой, наверное старею.

Перечитала и подумала, что писала идиотка. Сумбур и бессвязность... просто бред. Может, я и правда уже идиотка? Такое может быть, когда пишешь в пустоту! Я ничего про тебя не знаю, а у меня двое детей и свекровь, которым я должна рассказывать о тебе!

В твоём последнем (если не было других?!) письме ты просишь или даже велишь не писать тебе. Гера, зачем ты это придумал? У меня никого нет ближе тебя. Даже если тебя не станет, я не перестану любить тебя. И не думай, что это ненормально, я знаю немало женщин, которые ждут.

Пожалуйста... не надо так со мной! В конце концов, как мне жить – это мой вопрос! Я сейчас и реву, и злюсь на тебя! Больше злюсь, а реву от бессилия! Так не надо – это очень нечестно!»

Горчаков не дочитал и полез в карман за папиросой, но увидел, что во рту торчит погасшая, потянулся к костру за угольком. Белозерцев с чулком-накомарником на голове, как привидение, возник из леса. В руках – котелок с водой и несколько рыжеголовых подосиновиков. Положил возле костра и тоже достал недокурок махорки. Разгреб перед собой тучу вьющейся мошки.

– Как там на воле? – Шура подкурил и прилег с другой стороны костра.

Горчаков глядел в огонь, пожал плечами. Во внутреннем кармане лежали еще два письма.

– Так и не отвечаете? – Шура знал про эти письма и категорически был на стороне Аси.

Горчаков молчал.

– А я радуюсь, когда письмо. В прошлый раз мои пацаны рисунки нарисовали цветными карандашами... для меня. Я как письмо получу – давай сразу дни считать!

– Что я ей отвечу? Чтобы ждала? – Горчаков сидел все в той же позе, будто сам с собой разговаривал.

Шура понимающе качал головой, пошевеливал палкой в костре. Он лез не в свое дело, да и сказать было нечего, но ему ужас как жалко было Асю.

– Я когда про вашу жену думаю, она мне кажется такой... знаете... – Шура задрал голову к небу. – Всем бы таких, короче, да где их взять!

– Она всю жизнь меня ждет. В тринадцать лет влюбилась... – заговорил Горчаков спокойно, как о чем-то обыденном. – Всегда была смелая до безрассудства и крепкая... очень крепкая. Лучше жены для бродяги-геолога не придумать было...

Откуда-то из леса донесся далекий лай собаки, оба повернулись в ту сторону, прислушались, Горчаков снова опустил взгляд под ноги, на обгоревшую от костра траву. Улыбнулся неожиданно и продолжил так же спокойно:

– Середина октября была. Я только вернулся с Анабарского щита, это сразу за плато Путорана, недалеко отсюда – дичайшее место, геологически очень интересное. Мы большие исследования там намечали. Вернулся в Ленинград, а на другой день Ася ночным поездом из Москвы приехала – все тогда сошлось, и работа удачная, и Ася. Даже пообещал ее в ближайшую экспедицию взять. Мы тогда щедро жили: выпускницу консерватории – поварихой!

– Убежала из дома?

– Убежала.

– И свадьбу без родителей гуляли?

– Ну какая свадьба? В мой обеденный перерыв расписались. 17 октября 1936 года. Вышли из загса на Васильевском острове. Небо чистое, денек тихий, листочек не шелохнется, и Нева гладко блестит под солнцем. Я обнял ее и говорю:

– Вот так бы всю жизнь! Возвращаться, зная, что ты здесь, ждешь меня! Как накаркал!

Шура застыл с горькой миной на лице.

– А она наоборот – веселая была: «Я только что вышла замуж за доктора геолого-минералогических наук! Пойдем, ты опоздаешь на работу! Такие люди очень ценны для нашей Родины!» Взяла меня за руку и потянула в институт.

Горчаков замолчал, его лицо мало что выражало. Мошки ползали и ползали, по лбу, щекам, очкам, в бровях путались... Он посмотрел на пустую уже папиросу и бросил в костер.

– Мы прожили с ней два с половиной месяца.

Опять где-то далеко послышалась собака. Шура встревоженно поднял голову.

– Это не овчарка, на лайку похоже, – успокоил Горчаков. – В прошлом году, после суда уже, сижу в Игарской пересылке, и даже бывалые урки с уважением смотрят – мужик двенадцать отмотал, а ему еще четвертак подвесили. И стало мне очень ясно – не выбраться мне отсюда никогда! Написал Асе письмо...

Горчаков взял котелок, аккуратно отпил через край, подумал о чем-то, еще глоток сделал.

– У нас на Колыме один человек был, Смирнов Саша, он, когда ему так же вот довели, написал жене, чтобы не ждала, чтобы отказалась и выходила замуж – у них было трое детей. И все! Все ее письма, не читая, вложит в конверт и обратно! Жизнь подтвердила, что он был прав.

– Она отказалась?

– Про нее не знаю, а он замерз в первую же зиму, их везли... ну замерз, короче.

– Это понятно.

– Дело даже не в этом... Как можно обрекать человека на двадцатилетнее ожидание? Это как в тюрьму его посадить! Ей сейчас тридцать семь... у нее еще может быть жизнь.

Замолчали. Ветер шумел в вершине кедра. Горчаков начал подниматься.

– И чаю не вскипятили, – Шура выплеснул воду в потухший костер, завязал вещмешок. – Дегтем не помажетесь?

Горчаков покачал головой и двинулся по тропе. Солнце садилось впереди, золотило легкие тучки над лесом. Они спустились в низину, казенные ботинки зачавкали по болотцу, и вскоре впереди зашумела таежная речка. Горчаков остановился, посмотрел на часы:

– А что, Шура Степаныч, тормознем тут. Хариус наверняка есть!
– Сегодня прибыть должны... Не хватились бы искать.
– Скажем, заблудились. У костра поночуем! – Горчаков улыбнулся и свернул с тропы. – Ты рыбачить будешь?

– Нет, я тут, на хозяйстве... – Шура озадаченно следил за Горчаковым. – Точно отговоримся, Николаич?! Пропуска не изымут? А то бы и к ужину успели!

Горчаков не ответил, он уже доставал леску с мушками из нагрудного кармана. Вскоре он ушел. Белозерцев сходил к тропе, откуда они свернули, постоял послушал – не слышно ли где лагеря или каких-нибудь работ. На фронте он так же слушал фашистов. Тут свои, но страшнее... Вокруг было тихо, птички переговаривались да теплый ветерок пробежал вершинами речного ольховника. Шура суеверно перекрестился трижды и стал собирать сучья для костра.

Через час, солнце как раз село за деревья, из кустов выбрался Горчаков. В руках тяжелый кукан^[47] хариусов. Посмеиваясь довольно, уселся на бревнышко, притащенное Белозерцевым к костру, и полез за куревом:

– Осенью хариус из ручьев в речку скатывается... Полный омут набилось!

– Вы, Георгий Николаич, с этой рыбалкой как дите становитесь!

– Ну что, уху? – Горчаков стряс рыбу с кукана.

– Так ни картошки, ни лука...

– Зато рыбы полный котел. В тайге картошка редко бывает... – Георгий Николаевич чистил хариуса маленьким самодельным ножиком.

– Давайте я почищу?

– Ничего, я сам. Водички зачерпни.

– Я еще подумал: зачем вы котелок с собой прячете? Не стремно? – Шура повесил воду над огнем.

Горчаков дочистил рыбу, выполоскал в холодной тихо струящейся воде. Улыбаясь чему-то, присел к костру. Наверху еще разливались остатки заката, но в лесу уже стемнело, костер запылал ярче. Мошка с темнотой ушла, только комары дружно пели над ухом. Шура обмахивался веткой.

– Вы, Георгий Николаич, от леса другим человеком делаетесь. Когда про жену рассказывали – прямо старик, ничего вам не

интересно... А сейчас, как живой воды попили... Чего вы улыбаетесь?

– Да так... – Горчаков повернулся к Шуре. – Я, когда совсем худо делается, начинаю мечтать, как достаю оружие и ухожу! Куда-нибудь подальше от цивилизации – на плато Путорана... или на Анабарское. Сколько бы смог, столько бы и прожил! Это мой валидол! Очень подробно об этом думаю – с чего начинать и куда двигаться...

– А как же собаки? Догнали бы! – Шура смотрел с любопытством.

– Ну, догнали бы, значит догнали. Но если идти не по Енисею, как все, а вверх по притоку, через водораздел, а там на плотике сплавиться – в ту сторону искать не станут.

– И потом что? – Шура смотрел так, будто Горчаков и правда собрался уйти.

– Ничего, зажил бы дикарем на берегу такой вот речки. Избушку построил бы.

– А печка?

– Печку я однажды делал... – Горчаков достал папиросу, пересчитал оставшиеся в пачке и, подумав, прикурил. – Это на севере Иркутской области было, мы больше месяца самолета ждали. Избушки там не было, мы хороший балаган из жердей да лапника соорудили, но все равно холодно было. И тогда я вспомнил, как древние люди печку изобрели, ну и повторил.

– И как?

– Да просто все – берешь несколько сухих чурбачков размером с печку, толсто обмазываешь их глиной с камнями и поджигаешь! Чурбаки выгорают внутри глины! Обмазываешь снова, трещины заделываешь – несколько дней провозился и сделал. Для дымохода трубу из ствола сообразили и вывели наружу – дымила, конечно, но жить можно было.

Белозерцев внимательно, даже заворуженно слушал.

– Вот удивительно, Георгий Николаич, вы городской по всему, а лесную жизнь так любите. Я в деревне вырос, а ушел в город, и как отрезало! Я на заводе, на своем станке все умел! Ох-ох, вы бы посмотрели... У нас, в токарном деле, детали очень сложные бывают, так я чертежи таких деталей лучше главного инженера читал!

Белозерцев вздохнул судорожно, но вдруг уперся нервным взглядом в Горчакова:

– Вот какого хера я тут делаю?! Четвертый год уже, да еще три! Санитар, бляха-муха! Сколько я сделал бы за это время! Вы знаете, какие сложные штуки я изготавливал! Вот, я вижу, вы не понимаете, а это же... оч-чень интересно! По несколько суток из цеха не выходил! Бывало, спал рядом со станком! И делал!

Сняли уху, достали каждый свою ложку. Рыба разварилась, не уследили за разговором, хлебали густую рыбную кашу, так не похожую на лагерную баланду. Молча скребли ложками по котелку. Тайга затихла, костер потрескивал да речка тихо шептала и шептала что-то в темноте, будто с костром разговаривала.

Шура положил на угли пару толстых бревешек, поправил постель из лапника и стал укладываться:

- Эх, чует жопа старого зэка хорошую дубину!
- Спокойной ночи, Шура. За такую уху можно и пострадать.
- Пропуска бы не отняли, вот что...
- Это вряд ли, лекарей не хватает.
- Когда их это останавливало, Георгий Николаевич?

Едва рассвело, они уже подходили к широким воротам лагеря.

Зона была свежая – топорами да пилами выгрызен в тайге прямоугольник четыреста на пятьсот метров. Основательные вышки торчали по углам, столбы с освещением по всему периметру, четырехметровая колючка. Все было сделано добротно. Внутри по неровной таежной поверхности – лагерь был устроен в неглубокой ложине между двумя гривами – стояло такое же, как и в Ермаково, временное жилье: ряды брезентовых палаток – двадцать один метр в длину, семь в ширину. Ближе к вахте строились бараки из дерева, входы с торцов с высокими крылечками... По уму ставят, каждая бригада – себе, понимал Белозерцев, который до санитаров работал в строительной бригаде.

Деревянные стены обтягивались дранкой, некоторые уже были оштукатурены глиной, но еще не побелены. Крыш пока нигде не было, и опытному взгляду Белозерцева было ясно – в этом году не поставят и половины жилья и будут зимовать в палатках.

Горчаков с Белозерцевым как раз подошли к воротам, когда на весь лагерь противно и часто загремел рельс. Горчаков постучал в окошко вахты.

– Кто такие? – вертухай-ефрейтор мельком глянул на них и выдвинул ящичек для пропусков.

– В санчасть, из Ермаково... – Горчаков положил оба пропуска.

– Саня, иди сюда! Пришли! – Ефрейтор посмотрел пропуска и дернул засов калитки.

Горчаков с Белозерцевым прошли через вахту. Из домика вышел старший смены:

– Мешки сюда, сами там стойте, – кивнул на выгородку из колючей проволоки. – Где вас черти носили всю ночь?

– Заблудились, гражданин сержант... – начал было Белозерцев, но сержант не стал слушать, вернулся на вахту. – Попали, похоже, Николаич? – во взгляде Шуры была досада. – Надо было испачкаться как следует в болоте...

– Погоди пока, – Горчаков прислушивался к тому, что происходит в домике. – Давай, как договорились, я – старший, сбился с пути, ты просто за мной шел. Обходили болото и заблудились.

– Пришьют ночевку в неустановленном месте, как пить дать!

Зона зашевелилась, палатки закашляли, засинели махорочным дымом, к длинным десяти- и двадцатидырым туалетам, стоявшим спиной к колючке, потянулись лагерники. Кто в трусах, вприпрыжку на утреннем холодке, другие уже оделись. Загремели ряды рукомольников, заключенные помоложе бежали с ведрами от небольшого озера, расплескивая воду.

За зоной у солдатских домиков тоже возникла жизнь, чуть повеселее, радио передавало бодрую музыку. Взвод солдат, дружно грохоча сапогами, голые по пояс, бежали неровным строем на утреннюю зарядку.

– Чего же они тут строят? – щурился недовольно Шура.

– Пристань на Барабанихе и ветку к ней... – Горчаков тоже изучал новую зону.

Заключенные потянулись к столовой. Радио у солдатской казармы передавало новости, уже полседьмого было. Горчаков с Белозерцевым, так и не дождавшись никого с вахты, уселись на землю. Через проходную в ту и в другую сторону тянулись лагерные придурки^[48] – нарядчики, десятники, учетчики, лагерный парикмахер со своим чемоданчиком шел брить офицеров.

Начались разводы на работы. Нарядчик выкрикивал бригады, они подходили, большие и маленькие, уже в пятерках, их запускали в первые ворота, трое надзирателей шмонали для проформы – чего зэк из зоны понесет? Потом считали и выпускали бригаду через внешние ворота. Белозерцев стоя смотрел, как обыскивают. За четыре года он прошел четыре лагеря, поработал в семи разных бригадах – все было одинаково, а все равно волновало – шмон есть шмон!

– Руки вверх, в стороны, не спи, скотина!

– Следующая пятерка!

– Следующая! Что это? – надзиратель нашел что-то. – Отошел в сторону! Следующая!

Шура так и не понял, что же нашли, но, судя по голосу вертухая, что-то несерьезное, может, просто кто-то нужен был сортир у них вычистить.

За воротами бригады ждал конвой. Снова считали. Сытые овчарки от нечего делать начинали лаять на серых зэков и тут же виляли хвостами зеленым солдатам. Для них это были разные люди. Шура все подмечал. Ему было ясно, что зона неплохая, доходяг не было совсем, мужики были сыты, шутили меж собой.

Вышли две последние бригады, конвой разделил их, выстроил. Молодой младший лейтенантик – начальник конвоя заблажил скороговоркой лагерную «молитву»:

«Бригада переходит в распоряжение конвоя! Все требования выполнять неукоснительно, шаг вправо, шаг влево – считается побег! Первая шеренга руки назад, остальным взяться под руки, шагом марш! В строю не разговаривать! Не отставать!»

Белозерцев неодобрительно провожал глазами неопытного начальника. То, что он заставил мужиков взяться под руки, была ненужная строгость – бригады, ушедшие раньше, шли нормально. Шура не любил, когда людей унижали просто так.

В самой зоне на объектах уже работали. Громко молотил какой-то двигатель, кто-то со скрежетом выдирает гвозди, ножовки торопились суетливо. К домику вахты пришел щуплый мужичонка с ведром и тряпкой. Проходя мимо, остановился:

– Шо, хлопци, нияк втеклы?^[49]

Горчаков только один глаз на него открыл, а Шура встал к проволоке:

– Слышь, браток, ты вахту мыть?

– Ну?!

– Ты спроси там, чего они нас тут маринуют? Пусть до лазарета отпустят, мы пока медикаменты разложим. Мы же медики – у нас в мешках лекарства! Скажи им, ладно?!

– Кажу, мени шо? У вас покурыты немає?

– У меня махра, браток! – Шура вытащил узкую пачечку, взял щепоть на одну закурку и всыпал в ладонь мужика.

– На дви дай?

– На две не дам, сами без курева, – начал было Белозерцев, но согласился: – Бери, бродяга, что с тобой сделаешь!

Мыл он долго, минут сорок. Вышел, докуривая чью-то сигаретку, выплеснул тут же у вахты ведро.

– Воны якогось кума чекають з особливого виддилу. Кажуть, що вы швидки!^[50] – Он забрал ведро и, погромыхивая им, направился к палаткам.

– Какого кума? Браток?! Они не сказали? Из Ермаково или откуда? – Шура повернулся к Горчакову, но тот сидел все такой же равнодушный. Зевал крепко время от времени, морщась и прикрывая рукой рот.

Прошло еще около часа, из домика вышел ефрейтор:

– Кто фельдшер, иди сюда!

В вахтовой избушке в комнате особиста сидел лейтенант Иванов. Как всегда чисто выбритый и в хорошем настроении. Только сапоги изрядно испачканы грязью. Уже подсохли. Писал какие-то бумаги. Рапорт, понял Горчаков. Вещмешки открыты и обысканы. Отдельно стояли три склянки со спиртом, закопченный котелок и банка консервов.

– Дознание будем устраивать, зэка Горчаков? Или сам все расскажешь? – бесцветные глаза особиста небрежно, нарочито лениво скользнули по фельдшеру.

– Так получилось, гражданин начальник, с дороги сбились, ночь у костра пришлось сидеть.

Иванов перестал писать.

– И ведь не наврал нигде! Уважаю рецидивистов! Как оформлять прикажете? Как беглых?! Консервы, спиртом запаслись, ножичек

хитро заныканный! Но главное – котелок! Зэка Белозерцева как «корову»^[51] брали или вы не из таких?

Горчаков молчал, смотрел в пол. Этот лейтенант мог придумывать, что ему нравилось, з/к Горчакову с его сроком терять было нечего. Кроме того, Георгий Николаевич знал Иванова, лейтенант любил такие беседы:

– Что, надоело за колючкой? Рыбки половить захотелось? А отдать Родине то, что вы ей должны?! – в голосе лейтенанта зазвучало железо, он и сам сейчас верил в то, что говорил.

А Горчаков вдруг увидел, что у Иванова есть усы. Редкие, светлые, как и брови, они совсем ему не шли. Сам же подумал: умный ты, лейтенант – про рыбалку все правильно вычислил, но, вообще говоря, мурак... Горчаков его не боялся. Иванов это видел, и это его бесило.

Лейтенант Иванов был из бедной рабочей семьи. В 1934 году его отца, работавшего грузчиком, как сознательного комсомольца взяли в охрану тюрьмы, и в доме он стал считаться чекистом. Через какое-то время отец начал «работать» в расстрельной команде, им дали маленькую, но отдельную квартиру. Отец рос в званиях, стал старшиной, получил должность заместителя коменданта и был награжден орденом и именовым оружием. Маленький Володька очень им гордился и твердо решил идти в чекисты.

В 1937-м отец стал крепко попивать, уезжал в долгие командировки, несколько раз лежал в психушке. В начале 1938-го его расстреляли. Семье было объявлено, что отец геройски погиб при выполнении ответственного задания партии. Иванов-младший, может, и усомнился бы, ему уже было тринадцать лет, и родителя он видел в основном пьяным, но отца посмертно наградили орденом, а им дали большую пенсию по потере кормильца. Орден шестикласснику Иванову-младшему вручали при всей школе.

Он перестал ругаться матом и стал учиться на одни четверки и пятерки. Это было непросто, мать была не помощницей, он оставался после уроков, не спал ночами, но троек у него больше не было никогда. К окончанию школы у него был первый спортивный разряд по лыжам и спортивному ориентированию. Он понял, что человек может многое.

В 1943-м он подал документы на трехмесячные курсы НКВД, но его не пустила анкета. Он поступил на годовичные курсы офицеров связи, которые закончил без единой четверки. Вместо фронта его, как отличника, общественника и спортсмена, отправили в Саратовскую школу пограничной и внутренней охраны НКВД. И ее он окончил на «отлично».

Война к тому времени закончилась, и молодого лейтенанта распределили в Главное управление по охране объектов особой государственной важности. Иванов не был карьеристом, он их ненавидел. Он попросился в самые суровые условия и так оказался в Заполярье.

Про отца он все выяснил еще во время учебы. Нашел его товарищей по работе в комендатуре. Он понял, что его отец был редким человеком, настоящим героем, взявшимся выполнять самую тяжелую работу. Единственным, что Иванов-младший не мог простить отцу, были пьянство и малограмотность. Это он исправлял своей жизнью.

Он видел свою миссию в том, чтобы давать окружающим его людям пример совершенного человека. Ему неважно, кто это был – сослуживцы или зэки. Тренированный, всегда трезвый, много читающий и всегда вежливый... или почти всегда вежливый... Беда была в том, что временами презрение и ненависть во взгляде делали его похожим на маньяка-убийцу. Он сам это знал про себя.

Лейтенант мстил Горчакову. Еще весной, когда людей в Ермаково было совсем мало, Иванов несколько раз заходил в медпункт, садился поговорить, но фельдшер по многолетней привычке «включал дурака» с особистом: так точно, гражданин начальник, не знаю, гражданин начальник... Что еще должен был делать старый зэк, если к нему вдруг явился кум с беседой? Иванову же был интересен этот доктор наук, работавший с самим генералом Перегудовым, который теперь был заместителем Берии. Досье у Горчакова было – зачитаешься. Но Горчаков делал скучное лицо – Гоголя читал в школе и не помнил, Гегеля не читал совсем, а о прежней работе своей ничего интересного рассказать не мог. Иванов понял, что ему отказывают в общении. Терпеть такое от зэка было непросто.

Теперь же, когда Иванов стал начальником особого отдела горчаковского лагеря – самого большого лагеря в Ермаково, он мог

делать с ним все, что угодно. Но лейтенант не нарушал закон, он был честный офицер – он как раз и служил здесь, чтобы закон не нарушали.

Лейтенант внимательно, с легким презрением смотрел на Горчакова:

– Понятно, куда ты вчера рвался! Тут и доктором наук не надо быть... Спирт пили?!

– Нет, вот же он, нераспечатанный.

– Ну-ка дыхни! Сержант! – позвал Иванов через дверь. – Понюхай его!

Сержант вошел и с любопытством, внимательно принюхался:

– Кажись, не пахнет, товарищ лейтенант.

– Кажись? Или не пахнет?! – лейтенанта смотрел с нескрываемой досадой.

Сержант понюхал старательнее прежнего.

– Не-е, не пахнет, куревом пахнет!

Иванов кивнул сержанту, чтоб вышел. Помолчал, постукивая карандашом по столу, свои начищенные сапоги осмотрел, высохшую болотную жижу на них... Он встал сегодня ни свет ни заря, сделал марш-бросок по ночной тайге с бойцами и собакой, но не успел. Лейтенант все равно был доволен – он еще вчера вечером вычислил этого «умника», жаль не застал его у костра.

– Так что же, гражданин Горчаков, не хотим на Родину работать? Сначала геологом не захотел, а теперь и фельдшером...

Горчаков молчал, наклонив голову. Не о себе думал – Шуре могли и срок добавить...

– Десять суток штрафного изолятора! Обоим! Без вывода!

– Гражданин начальник, санитар тут не виноват, я же вел!

Иванов как будто не слышал, дописал что-то в бумагу, расписался и встал:

– Вызовите надзирателя, сержант. Вещмешки в лазарет, под замок! – Иванов, не глядя на задержанных, вышел за зону.

Сержант сам повел штрафников. Он оказался веселым, хвастливо рассказывал дорогой про свой скорый дембель. Про девчонок с гладкими коленками и домашнее сало с картошкой, которое он будет есть целую неделю, не вставая из-за стола! И запивать горилкой!

Штрафной изолятор находился внутри зоны, на краю ее, под вышкой с часовым. Он был обнесен колючкой и еще высоким сплошным забором. На входе стоял часовой. Железная дверь в само здание тоже была на запоре, их рассмотрели в глазок и впустили.

Веселый сержант, подмигнув Горчакову, определил их в одну камеру и ушел. Надзирателям сказал, что так велел лейтенант. Их еще раз обыскали, изъяли курево и ремни. У Горчакова в нагрудном кармане нащупали и забрали леску с крючком.

Внутри изолятор еще пах свежей побелкой. Камера не маленькая, нары от стены до стены. Небольшое окно почти под потолком забрано решеткой. В соседней камере кто-то кашлял время от времени. Шура обошел камеру, ощупал все:

– Ничего, не сырая... жить можно... пол деревянный. Мужики рассказывали, зимой на бетонном полу ночевали. Я первый раз в ШИЗО^[52].

Горчаков пристроился в угол на нары и закрыл глаза. Шура присел рядом:

– Значит, он нас по следам вычислил. Вот сука, делать нечего! Сейчас еще придет проверит, власть показать.

– Не придет, – покачал головой Горчаков.

– Почему?

– Не опустится до нас.

– А чего он тогда среди ночи за нами подорвал? Может, стрельнуть хотел? Им за это звездочки вешают!

– Это может быть, – согласился Горчаков.

– Терпеть не могу его рожу – ни рыба ни мясо, у нас в батальоне был один такой же слизняк, все раненых немцев добивал... – Шура снова прошелся по камере, мел на стене мазнул. – Плохо, что без вывода на работу, на объекте подхарчились бы.

В двери загремел ключ, вошел надзиратель-ефрейтор размером со шкаф, всю дверь собой закрыл. Арестанты встали. Ефрейтор посмотрел на них вполне безразлично, губы у него были масляные, сало жрал, определил Шура, ефрейтор рыгнул, подтверждая.

– Днем лежать запрещено! Увижу – уберем нары, на полу спать будете! Скоро обход, пойдет замначальника по режиму, зверь-мужчина – стоять вытянуться, в глаза не смотреть, отвечать четко, просьб и предложений нет! У вас – десять суток строгого. Без вывода...

– Да это мы знаем, гражданин... – Шура не успел договорить, ефрейтор легко двинул его ладонью в лоб, Шура, не ждавший такого, отлетел, ударился боком о лавку и скорчился от боли.

– Встань смирно! – надзиратель почти не изменил благодушного голоса. – Я тебя, урка, ни о чем не спрашивал! Пайка – четыреста грамм, баланда – один раз в день, в обед, за любое нарушение – раз в три дня! Без курева, без прогулок, без писем и так далее. Будете права качать, – он в упор рассмотрел Горчакова, – заберу одежду и переведу в другую камеру, там сами друг друга задушите! – Ефрейтор отчего-то повеселел и возвысил голос. – Все понятно?

И вышел, согнувшись в дверях. Шура встал, задрал гимнастерку, рассматривая ушибленный бок, хмыкнул, вспоминая, как получил в лоб, потом сел смирно. Горчаков опять сидя привалился к стене и закрыл глаза. Шура долго и напряженно молчал, но вдруг тряхнул головой, будто удивляясь чему-то. Кулаки сжал и процедил сквозь зубы:

– Если бы люди думали друг о друге хотя бы маленько, все было бы по-другому!

Горчаков улыбнулся и, открыв глаза, с интересом посмотрел на сокамерника.

– Точно говорю! Чего вы улыбаетесь? Про этого коня? У нас в Игарке один бригадир был, так у того с добрый скворечник кулачок имелся! – Шура встал, все думая о чем-то напряженно, прошелся до двери, прищурился на Горчакова, играя желваками: – Мне сегодня ночью – у костра да на свободе – опять снилось, как одни ребята с веселыми погонами НКВД старшину разведки Шуру Белозерцева на семь годков определили. Это какая ж тогда случилась несправедливость, Георгий Николаич! А если бы они обо мне подумали? Ведь они решали – отпустить меня или в лагерь затолкать! До конца войны двадцать дней оставалось! Работал бы я сейчас токарем-универсалом шестого разряда! А жена моя, Вера Григорьевна, не мыкала бы горя, не гнулась на трех работах, а была бы счастливая женщина...

Белозерцев недовольно посмотрел на Горчакова, сел и отвернулся, нервно давя челюсти. Потом снова повернулся и заговорил спокойнее:

– Вот дай я тебе все как есть расскажу, Николаич! – Шура в волнении переходил с Горчаковым на ты. – Подробно расскажу! А ты

скажи – можно меня было судить или как?

Шура всегда страшно волновался, когда вспоминал о своем аресте. Вот и сейчас глаза его загорелись вернуться в тот апрельский день и все поправить!

– Артиллеристов мы поехали сопровождать на новеньком трофейном «Мерседесе», – начал Шура, строго глядя на Горчакова. – Молоденький старлей осмотреться хотел, куда батарею перевозить, а я думал на хорошей немецкой машине по Германии покататься, сам за руль сел. Ну катим, поля засеянные, зеленые, перелески хорошие, дубовые в основном. И тут... склоном так едем, луг красивый, травка, цветочки. Впереди усадьба со старым парком, внизу в долине городки небольшие, лейтенант все присматривается. И тут постреливать по нам начали, потом гуще пошло, да как будто с нашей стороны. Мы попрыгали с машины – что такое? А к немцам заехали! Там сплошной линии обороны уже не было, и мы аккуратно так у них в тылу оказались. Мы с ребятами, нас трое было, сразу к лесу поползли, а лейтенант с водителем у машины лежат, чего-то думают. Потом, посмотрим, в «Мерседес» прыгнули и по газам. А у фрицев из этой усадьбы как раз все было пристреляно. Водителя первого убило, машина встала, лейтенант выскочил, согнулся и к нам бежит. Мы ему орем ложись, а он растерялся, не ожидал, видно... Ну ухлопали его так, что и тащить нечего было. Мы с ребятами в лес заскочили и к своим пошли, дело привычное, всю войну так ходили. На городок какой-то наткнулись – непонятно, наш – не наш, осмотрелись – ничейный вроде! Войск нет... И тут мы, конечно, малость провинились – пивка выпили и закусили, да еще шнапса с собой набрали. Ночью, под утро пришли к своим, а там особисты ждут – где генеральский «Мерседес»? Кто-то из начальства на эту машину глаз положил. А у нас Вася один был шебутной, возьми и брякни: поехали, мол, покажем, где «Мерседес». Если не забздите! И этот сержант-особист, такой же ведь, как и я! Смотрю – глаз прищурил, подлец! А мы же им все как есть рассказали, шнапс выставили, колбасы... От немцев еле выбрались да выпившие – счастья полны штаны! Дома!

Белозерцев похлопал себя по карманам, ища папиросы, вспомнил, что их отобрали:

– Ну почему курево-то надо отнимать?! – он встал, подошел к двери, поскреб ногтем металлическую обшивку, в глазок заглянул.

Вернулся и сел близко к Горчакову. Опять заговорил тихо и возбужденно: – Сегодня, у вахты пока сидели, я подсчитал – семьсот с лишним человек прошли. Шестнадцать бригад! И всех обшмонали, карманы вывернули, потом с конвоем на работы повели – одних собак больше тридцати штук! На месте работ тоже охрана стоит целый день. Это какие же затраты? А карцер вот... дверь железом обили! Сколько труда лишнего?! Ведь эту тысячу людей надо где-то изловить, судить хоть за что-нибудь! Потом под охраной привезти сюда, под охраной кормить-поить и срать водить. Почему никто не подсчитает?!

Это была любимая лагерная песня, Горчаков столько раз ее слышал, что даже улыбнулся.

– И все это за народные денюжки! Поэтому и жизнь такая, разве народ всех этих прокормит?! – Шура снял ботинок, пощупал что-то внутри недовольно и снова надел.

Горчаков слушал молча. Солнце появилось в небольшом оконце и медленно поползло по стене. Холодное клетчатое солнце неволи.

На входе зашумело, раздалась команда «Смирно», гроыхнула одна дверь, потом другая, потом конь-ефрейтор открыл их камеру, пропуская невысокого и очень худого капитана. Взгляд его мелких глаз, как и все вытянутое вперед, болезненно обтянутое кожей лицо, был как сверло.

– Почему двое в камере? – спросил капитан, не открывая рта.

– Распоряжение лейтенанта, он посадил, товарищ капитан, их с вахты привели... – пояснил ставший ниже ростом ефрейтор.

– Какого лейтенанта? – вскипел вдруг капитан, ощерив мелкие зубы.

– Начальника особого отдела, товарищ капитан, я это... спрашивал...

– Я вас не спрашивал, что вы спрашивали! – пальцы капитана нервно сжались в маленькие кулачки, а взгляд сделался совершенно непонятный. – Па-чч-ему беззаконие?! Кто велел, я требую?! Жалобы, просьбы есть?

Горчаков с Шурой стояли, стараясь не шевелиться. Капитан вышел и застучал каблуками по коридору. Лязгнул тяжелый металлический засов входной двери.

– Пошел звонить в Ермаково... – Шура, поднявшись на цыпочки, прислушивался, что делается на улице. – Против особиста не попер!

Все их бздят!

– Пусть звонит, в санчасти про нас узнают... – Горчаков сел на нары и крепко зевнул.

16

Рояль был из Германии. Звучал прекрасно. В Москве немного было таких инструментов. Увы, ручки, его мучившие, были не для него. Милые детские ручки... У девочки был совсем слабенький слух. Ася вежливо намекала на это, но родители – пятидесятилетний боевой генерал и особенно его молодая, круглая от беременности супруга хотели, чтобы Олечка «хотя бы для гостей» научилась. И бедная послушная Олечка училась.

Сейчас она играла гаммы, она почему-то любила их играть, а Ася сидела рядом и смотрела за окно. День был осенний, теплый. С утра покропил мелкий дождичек, потом вышло солнце, и все засверкало и просохло, и стало даже немного жарко.

Ася дорожила этим местом. Платили в два раза больше, чем в других семьях (это, конечно, генерал), но строго раз в месяц (это его хозяйственная супруга). Ася в других местах могла попросить иногда, чтобы немного вперед дали, но тут не решалась. Генерал был щедрый, с огромной, видимо, зарплатой, в орденах, герой войны. Он часто работал по ночам и утром, в одиннадцать часов, проходил выбритый, в облаке одеколона и черном, шитом золотом атласном халате, из-под которого видны были брюки с красными лампасами. Через гостиную, где стоял рояль, шел тихо, кланялся предупредительно. Он был довольно милый, из крестьян, судя по лицу, но способный и выучившийся.

Они с женой всегда завтракали на кухне. Там уже хлопотала его толстушка и пахло яичницей из четырех яиц – Ася все это знала наизусть, – а потом кофе. Это был не кофейный напиток «Балтика», Ася нечаянно, контрабандой тянула в себя забытый запах.

– Анна Васильевна, а вот здесь можно я лучше вот этим пальцем сыграю? – Оля осторожно трогала задумавшуюся учительницу музыки за руку.

Ася смотрела некоторое время, не понимая.

– Ну конечно... именно этим, Оля, и держи, пожалуйста, руку повыше, вот так... – Иногда Асе казалось, что Оля тоже все понимает и занимается только для того, чтобы Асе платили эти деньги.

– А я хотела этим, – Оля, шая, ткнула в клавишу и начала гаммы сначала.

Ася снова погрузилась в свои заботы. Первого сентября Коле разрезали пальто бритвой. В раздевалке, была веселая толчея, он был с цветами и не заметил ничего, только дома Ася увидела – правый рукав сверху донизу был разрезан одним движением, местами ткань совсем расползлась и торчала черная подкладка. Пальто было новое, он надел его первый раз. Ася так счастлива была – купила случайно, без очереди, в конце месяца выкинули – отличное чешское коричневатожелтоватое пальто, немаркое и даже стильное. Пришлось денег перехватить, еще отдать не успела... Разрез на таком материале был очень виден. Полночи просидела сама, потом к портнихе ходила – ничего нельзя сделать! Придется так ходить, думала Ася, представляя огорченное и ангельски безропотное лицо сына. С самого детства он ходит в чем придется, в чужих обносках. Она задумалась – было ли у Коли вообще когда-то новое пальто? И еще ему срочно нужны были новые ботинки. Подметка на левом почему-то протерлась до дыры... Как же пахнет кофе! – Ася нервно покосилась на дверь, – и почему именно сюда тянет запах? Давно не пила, и бог бы с ним, но пахнет прекрасно. Наверное, тоже трофейный.

Вошла домработница. Сейчас предложит «чашечку кофэ» – приготовилась Ася. Это все генерал...

– Принести чашечку кофэ? Хозяева спрашивают, – домработница кивнула в сторону кухни.

– Спасибо, Катя, мы занимаемся... – Ася, улыбаясь, отвернулась к ученице. – Хочешь, Олечка, я тебе покажу... ты хотела «Турецкий марш»... – Ася всегда в конце урока играла сама, то ли деньги отработывала, то ли перед инструментом извинялась.

– Анна Васильевна, а правда же, ваш папа был настоящий профессор музыки? – Олечка не первый раз это спрашивала. Она вышла из-за рояля.

– Правда, – Ася села за инструмент, ей было высоко, она не стала опускать банкетку.

Опустила голову и держала руки на коленях. Сосредоточиваясь, она всегда звала на помощь Геру. И он являлся, молодой и страшно талантливый, устраивался рядом, готовый слушать. Ася медленно подняла совсем другое, строгое и красивое лицо. Руки взлетели над клавишами.

В кухне замолчали, перестали звенеть ложками и ножами. Ася вместо Моцарта жестко выдала нисходящий каскад аккордов фортепьянного концерта Грига. Инструмент звучал чудесно – большой концертный «Аугуст Фёрстер» из какого-то хорошего зала в Германии. Концерт Грига очень любил Гера. Если бы он правда оказался здесь... мог послушать или сыграть... мы могли бы что-то вместе, только бы здесь никого не было... никаких генералов, их жен и девочек... Хотя бы ненадолго, только Гера, только Горчаков Георгий Николаевич... И потолков этих старинных германских не надо... темных, с резными дубовыми листьями, с пучеглазыми головами оленей и кабанов. Не надо ничего, только Геру моего... И она видела, видела его сбоку у окна! А прекрасные звуки летели и летели в пространство, и не было никого вокруг, только музыка, преодолевающая все, летящая над реками, тайгой и болотами. Слезы потекли, но она продолжала, лишь упрямо наклонила голову, не видя вокруг никого. Играла, и плакала, и молилась о нем, помоги ему, Господи, не может же быть, что Ты ничего не слышишь...

Она остановила вдруг игру, глаза были мокрые, спокойные и пустые, улыбнулась одними губами притихшей девочке и, забрав сумочку, быстро пошла к выходу. В дверях с очень серьезным, понимающим лицом стоял генерал. Склонил голову, когда она проскользнула мимо, похлопал в ладоши:

– Bravo, Анна Васильевна! Bravo! Bravo! Спасибо!

Ася постояла в подъезде, как могла привела себя в порядок и вышла на солнечную улицу. Былолюдно, дворник, набив деревянный ящик желтыми кленовыми листьями, катил его куда-то на самодельной тележке с подшипниками вместо колес. Подшипники скрипели на всю улочку. Ася забежала в булочную, стояла очередь, грудастая продавщица в белом халате не отпускала, считала лотки с хлебом, который подавали в окно. Записывала химическим карандашом. Уголок рта, где она слюнявила карандаш, синел темной точкой. Пахло вкусно. Грузчик, разворачиваясь с лотком в узком коридоре, с наглой,

веселой ухмылочкой норовил проехаться по высокой груди, выпирающей из белого халата. «Вовка!» – тихо вскрикивала продавщица и пихала грузчика в плечо, но и на полшага не отступила. Ася не стала стоять, по дороге была еще одна булочная.

Дверь ей открыл Сева, глаза горят, в руках большая железная «Победа», совершенно как настоящая. Севка дождался, когда мать как следует увидит машину, присел и осторожно покатыл ее по полу в сторону кухни.

– Во-во! Давай, Севка, шофер будешь, как дядя Ефим на войне! – в дверях своей комнаты, ближней к кухне, на низенькой скамеечке сидел сосед Ефим Великанов. В семейных трусах и застиранной зеленоватой майке. Великанов был самый маленький в квартире, ниже Коли. Кивнул вошедшей Асе. – Обмываем с твоим сынулей «Победу».

Дверь к Ветряковым открылась, вышла Нина, одергивая платье и заглядывая в узкое зеркало в коридоре. Подвела губы помадой.

– А вчера ты что обмывал, босота? – спросила беззлобно.

– Ты, что ль, поила? – в тон ей благодушно ответил Ефим. Правой руки у него не было по локоть, и он только куце отмахнулся неровно зашитой культей.

– На инвалидские гуляешь! – не унималась Нина, застегивая босоножки.

– Давай я тебе свои инвалидские, а ты мне мою руку!

– Ты уже предлагал, тебе зачем бабская рука-то?

– Ты, Нинка, совсем дура, у тебя и мозгу только в гастрономе полы дрючить! – Великанов встал, пошатнувшись, и в сердцах закрыл дверь.

– Ну-ну, – Нина поправила в зеркало недорогую модную шляпочку. – Лучше бы мальчишке ботинки купил, чем машину! Богач! И на что пьет?

Все в коммуналке были в курсе проблем друг друга. Ася поменялась местами с Ниной, оглядела ее крепдешиновое цветастое платье:

– Хорошее, тебе идет! – одобрила и открыла дверь в свою комнату.

Коля делал уроки, закатив глаза, кругами ходил на пяточке меж топчаном и дверью. Губами шевелил.

– Мам, проверь! «Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман, исчезли юные забавы...» – забормотал быстро.

Ася слушала, кивала головой, сама осторожно отодвинула штору, разделявшую комнату. Наталья Алексеевна плохо себя чувствовала. Несколько дней уже лежала с закрытыми глазами и ела совсем мало. На Асины расспросы не отвечала, только хмурилась и несогласно качала головой. Денег на лекарства не было, врач скорой помощи выговорил сердито, что вызвала «от нечего делать», и предложил просто подкормить старуху. Наталья Алексеевна действительно была очень худой, но дело было не в еде – какая-то внутренняя, душевная боль точила свекровь.

– «...Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, – Коля подсмотрел в книгу и продолжил громче: – Россия воспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!»

Коля постоял, о чем-то думая, обнял мать и зашептал на ухо:

– Баба говорит, что Россия не воспряла и никогда больше не воспрянет ото сна!

– Она сегодня разговаривала с тобой? – удивилась Ася.

– Когда я первый раз прочитал, она открыла глаза и сказала, что кругом такая ложь, что никакой России уже нет и больше никогда не будет.

Дверь заскрипела, в нее плечом вперед протискивался Великанов. Початую бутылку, два стакана, горбушку и тарелку квашеной капусты прижимал к груди рукой и культей. Он за дверью, видно, слушал стихотворение, тряхнул головой одобрительно:

– До чего же молодец ты, баба, и ребята у тебя путевые! Давай... – мотнул головой. – День рождения у меня, выпей с пролетарьятом! Не откажи, Ася!

Ася вздохнула, виновато посмотрела на сморщившегося Колю и пошла с Ефимом к нему в комнату.

Вечером Клава принесла курточку Коле. Поношенную, но крепкую, с модными накладными карманами. Коля уже улегся. Сел в кровати хмурый.

– Померяй! – От Клавы пахло духами, вином и еще чем-то праздничным, луком из винегрета. Она закурила сигарету в изящном мундштучке, спички бросила в сумочку. – Меряй, чего ты! – дружелюбно мигнула Коле. – Что, старуха-то не встает уже? – повернулась к Асе.

Коля не трогал куртку, косился в сторону матери. Было уже полдвенадцатого, Ася сидела за пишущей машинкой в длинной ночнушке с серым пуховым платком на плечах. Клава стояла в дверях, посадить ее было некуда, Ася тоже встала, виновато улыбаясь.

– Спасибо вам! Померяй, Коля...

– Хочешь, на работу устрою, мне Нинка сказала... – теперь стало видно, что она крепко выпившая. – Это можно! Два слова скажу моему! Хошь, музыкантшей пойдешь... а то трещишь тут целыми днями, ты баба-то еще ничего! Приодеть по-людски...

– Коля, что ты возишься? – Асе отчего-то было неловко за эту курточку.

– Да-а... – Коля не мог сунуть руку в рукав, – мала она...

Коля недолюбливал за что-то Клавдию. Куртка между тем очень не помешала бы. Ася растерялась, а Клава ухмыльнулась понимающе:

– Ладно, смотрите сами, я от души... не с покойника, не думайте! С рук купила...

Ночью Ася не спала. Снова разговаривала с Горчаковым.

«Проснулась от ужасно сволочной мысли: Коле не в чем ходить в школу, а я не хочу эту Клавину курточку... и вообще не хочу никакой помощи от нее. Как с этим жить? Все равно ведь он ее наденет, у него вся одежда – заплатка на заплатке... Потом думала про его зимнюю обувь, которой нет, и про Севу, у него вообще ничего нет, и эту зиму ему придется сидеть дома».

В коридоре заскрипела дверь. Ася прислушалась. Это был пьяный Великанов, бормотал что-то негромко и шел по стенке, не включая лампочку. Вскоре хлопнула дверь в туалет. Она поднялась, накинула пуховый платок и села к столу. Засветила настольную лампу, книжку открыла машинально, но читать не начала. Взяла в руки рамочку с фотографией молодого Горчакова.

«Ты просто так подарил мне эту фотографию, когда мы ходили к Вадим Абрамычу на сольфеджио. Я прекрасно помню тот день... ты еще предлагал поехать на велосипедах... но я была против – пока мы с тобой шли, мы разговаривали. Ты тогда ухаживал за мной в шутку, а для меня все было серьезно. Интересно, ты это понимал? Мне было, как сейчас Коле, и я тогда влюбилась!»

Я недавно Севе рассказывала про те времена и про нас с тобой. Он все понимает, такой философ, дело даже не в том, что он иногда говорит, но как он смотрит, как не по-детски реагирует на сложные вопросы. С ним должен заниматься мужчина, я не справлюсь. Наталья Алексеевна читает с ним, разговаривает самым серьезным образом, она уверена, что он непростой мальчик. Я тоже это вижу... Он может почувствовать мое состояние, какое-нибудь особенное, даже и для меня сложное, подойдет и прижмется. Или просто сядет молча рядом и смотрит... смотрит, понимая тебя без слов... Откуда в нем это глубокое, прямо мировое спокойствие?

Но он и ребенок, конечно... Строит домики из книжек, это его единственные игрушки, недавно соорудил из стульев «палатку геологов», одеялом и моим платком все завесил... Мы живем бедно, я не пишу об этом в письмах – нет никакого смысла, и потом, мы не самые бедные, многие живут хуже. Голодных ребятишек-попрошаек много на улицах, в магазинах. Я иногда даю что-то, но что я могу? Ветряков пришел как-то выпивший, вызвал меня на кухню и стал отчитывать, что я никогда не обращаюсь «по-товарищески». Даже простил меня, что я была в ссылке, так и сказал: «никто еще ничего не знает, может, ты и не виновата совсем! Беременная-то баба как может быть виновата!» Откуда он знает, что я беременная ехала в ссылку? Потом дал мне денег – он получил премию. Так стыдно стало, я не взяла, ушла в комнату... А потом все время думала о них, если бы он еще раз предложил, я бы взяла. До чего докатилась!

Вообще те, кто воевал, не так боятся... особенно выпив, а пьют они, кажется, все... часто говорят, что думают. *Самого*, правда, громко никто не осмеливается обвинить... Но такого общего животного страха, как в конце тридцатых, мне кажется, сейчас нет. Война что-то поменяла, люди стали немного уважать себя. Я в тридцать девятом, когда вернулась из ссылки, боялась за тебя, за Колю, за родителей... боялась, что нас добьют окончательно. Просто уничтожат всех... Если бы не война, так и было бы. Его остановила война, он испугался.

Я все время говорю с тобой, это уже что-то нездоровое. Многолетняя привычка. Иногда стираю и рассказываю тебе, что я стираю, но чаще пишу письмо. Как будто пишу. Наталья Алексеевна жалуется на меня Коле, что я все время молчу. Так и есть. Наговорюсь с тобой, и вслух уже ничего не хочется.

А иногда не выдерживаю, начинаю злиться, и у меня текут слезы. Знаешь, как трудно быть такой матерью! Ведь они тебя не видели. И ты их не видел – таких славных, умных, похожих на тебя, они тебя не видели, а оба ходят точно, как ты, и так же глядят, особенно Сева.

Сейчас четвертый час ночи... если бы Господь сказал: любое твоё желание! Я взяла бы ребят, крепко прижала к себе и полетела. Все время вижу, как мы возникаем возле тебя, на какой-то поляне в тайге. И я исчезаю, потому что такое условие, такой договор – все мои силы уйдут, чтобы принести их к тебе, а потом я должна исчезнуть из вашей жизни. Вот что я, ненормальная, придумала, говорю с тобой, а мне страшно, боюсь их выронить. Господи, как страшно!

17

Только в начале сентября попал Белов домой. На подходе к Игарке начистился, прикрутил орден, взял документы на помощника механика Николая Михайловича Померанцева. Тот наладил радиостанцию, они ею уже пользовались, и Сан Саныч хотел попробовать официально провести Померанцева радистом на полставки. Белов считал, что делает все правильно, но нервничал – могли и как следует по голове надавать: доверил рацию ссыльному, отбывавшему срок по 58-й статье. Без разрешения органов, без приказа по судну. С третьим отделом госбезопасности такие штуки могли плохо кончиться.

В управлении водного транспорта всем по-прежнему распоряжался главный диспетчер Кладько. В небольшой комнате было много народу. Белов, здороваясь со знакомыми, прошел к столу диспетчера. Докладывать не пришлось, Кладько все знал о работе «Полярного», без лишних расспросов позвонил в третий отдел, не рассказывая ничего лишнего, согласовал радиста Померанцева и стал выписывать нужные бумаги. Сан Саныч с невольным уважением рассматривал немолодого, рано поседевшего человека. По слухам, Кладько ходил когда-то капитаном дальнего плавания, потом руководил Черноморским пароходством, теперь же отбывал большой срок. Костюм, светлая рубашка, галстук. Жил главный диспетчер не в зоне, как это полагалось расконвоированным, а в Игарке, как вольный.

На заключенного он совсем не был похож, думал Сан Саныч, выходя на крыльцо.

Он не додумал свои мысли про расконвоированного диспетчера. Погода была хорошая, дело он сделал и ему просто приятно стало, что он сам – Сан Саныч Белов – не заключенный. Что можно просто стоять среди улицы, щурясь на солнце, и раздумывать, куда пойти.

Зинаида была дома, лежала на кровати и подпиливала ногти, чуть испуганно на него посмотрела, как будто не узнавала, потом улыбнулась своей лисьей улыбкой, потянулась:

– Всегда, как снег на голову! Хорошо застал, я в парикмахерскую собралась... Ты надолго?

– Хоть бы встала, муж пришел... – Белов, улыбаясь, разувался и увидел у двери мужские тапочки. – О! Это чьи же?

– Что? – не поняла Зинаида, села в кровати и встревоженно побежала глазами по комнате. – Это мама...

– Сорок пятый у мамы? – Белов перестал разуваться.

– Мама тапки какие-то принесла, для тебя, померяй! Ты надолго или опять на часок? От такого муженька не только тапочки заведутся! – Зинаида снова обретала свой обычный весело-нагловатый тон.

– Знала, за кого замуж идешь... – у Белова неожиданно пропало настроение. – Ты, Зинаида, меня перед соседями тут не позоришь?

– А ты иди сам у них спроси!

– Ты чего? – не понял Белов.

– А ты чего? – во взгляде Зины был наглый вызов.

– Ты если хахаля себе нашла, скажи лучше по-хорошему... – Сан Саныча вдруг начало отпускать.

О Николь вспомнил, он часто о ней вспоминал, и от этого сравнения полегчало. Подумалось вдруг, что не Зинаида, а та далекая и тонкая девушка его жена, что он просто двери перепутал... Белов, улыбаясь внутренне, стал надевать ботинки. Ни злости, ни обиды не было, и даже наоборот – ему на законную жену Зину наплевать стало. Вместе с ее мамиными тапками и вместе с ее мамой сорок пятого размера!

– Ты куда?

– На буксир!

– Почему?

– Там у меня свои тапки!

– Ага! И поварихи, и матроски! Не сильно старую матросочку-то взял? Двадцать-то восемь годков? Фашистку недобитую!

Сан Саныч с удивлением уставился на Зинаиду.

– Ты чего несешь?

– Я про тебя столько знаю, чего и ты не знаешь! Поаккуратней со мной!

Сан Саныч постоял, пристально глядя на жену, и молча вышел. Шел и не мог не думать про ее слова. Получалось, что она ему угрожала, это было смешно – никакой женой она ему никогда не была! И терять ему тут нечего было!

Команда «Полярного», черная от пыли, заканчивала грузить уголь. Их баржу, стоящую неподалеку на рейде, догружали с катера какими-то ящиками. Заключенные работали, двое часовых расхаживали по палубе.

К Ермаково подходили ранним утром. У Белова была ночная вахта, он поспал несколько часов, не выспался, попил чаю и хмурый вышел на палубу. Солнце освещало навалы материалов на берегу. С реки они выглядели так, будто сам Енисей и натащил все эти немислимые горы мешков, ящиков, досок и техники на левый берег. Одинокие часовые стояли и сидели, охраняя народное добро, а сам народ только просыпался. У эзков подъем в шесть, глянул Белов на часы, – скоро явятся.

Начался поселок. Склон пологого таежного холма, протянувшегося вдоль Енисея, был выпилен, и на нем возникла жизнь. Непривычная, слепленная на скорую руку, но все-таки жизнь. Почти ровные ряды больших палаток образовали длинные улицы и перекрестки. Издали они были похожи на деревянные бараки, окна поблескивали на солнце, кое-где уже задымились трубы, люди готовили завтрак. Белов окончательно проснулся, удивленный переменам.

– Три месяца назад тайга стояла с медведями! – изрек вышедший покурить Грач.

– Ну, – машинально кивнул Белов, рассматривая высокий угольный террикон на берегу.

– Ребята в Игарке говорили, магазины уже работают, и товары все самые лучшие. Завлекают! Это вон, – Грач показал на двухэтажное здание, строящееся недалеко от пристани, – управление всей стройкой будет... И водопровод! А, Сан Саныч?! Я всю жизнь без водопровода прожил, а тут будет!

Замолчали. Огромному строительству конца не видно было ни в ту ни в другую сторону. Тайги напилели варварски, явно больше, чем требовалось, будто кто-то не сильно умелый, но с могучей волшебной палочкой здесь старался.

– Сейчас как-нибудь завезут, потом зимники^[53] понаделают и растащат по тайге. Вон тракторов сколько – новенькое все!

– Какая все-таки силища человек! – глубокомысленно произнес Сан Саныч.

– Ребята в Игарке говорили, одних зэков больше ста тысяч завезли!

– Врут твои ребята, Семеныч, во всем Красноярске двести пятьдесят тысяч населения.

– Я, Сан Саныч, за что купил, за то и продаю! Сколько барж пригнали, а в каждой по две тысячи, а то и больше... Их и на пассажирских, в трюмах возят. Что это, вольные, что ли, все построили? Тут зэков столько, что и охраны не хватает! То порежут кого, то ограбят – менты игарские сюда ни в какую не хотят!

Пока ставили баржу под разгрузку, людей на берегу прибавилось. Грач, конечно, перегибал с цифрами, но в главном был прав – весь берег был разгорожен на рабочие зоны. Они сейчас и оживали, подходили колонны людей в лагерной одежде, их считали перед воротами и запускали за колючку. Локомобиль зачихал громко, стреляя дымом в чистое утреннее небо, затарахтел и потянул ленту транспортера, на барже с углем появились темные фигуры грузчиков с тачками. К берегу по грязной лежневке^[54] подъехал грузовик, из него выскочил офицер и быстро пошел к воротам погрузо-разгрузочного ОЛП.

Белов переоделся и вскоре сам уже шел по Ермаково. Строительного бардака и неразберихи здесь было больше, чем виделось с воды, но от этого, от сотен и сотен живых бритых мужиков и баб с лопатами, тачками и носилками, которые были тут повсюду, размах работ выглядел еще грандиознее и так радовал Белова, что он

все время невольно улыбался. А встречая знакомых, крепко жал руку и делился впечатлениями.

– Белов! Александр Александрович! Какая удача! Вы мне очень нужны! – услышал Сан Саныч знакомый, чуть дребезжащий голос капитана Клигмана из небольшой палатки, возле которой стоял часовой. Клигман выглядывал в окно, завешенное марлей от комаров.

Белов вошел, внутри было просторно. В предбаннике на фанерной стене, разгораживающей палатку, висели графики, приказы, списки материалов и людей. Стоял столик с чайником и стаканами, в вазочке горкой лежали сушки и конфеты. Сан Саныч остановился, осматриваясь и прислушиваясь к голосу Клигмана. Тот в соседней комнате диктовал машинистке. Дверь в перегородке открылась:

– У меня к вам пара важных вопросов, я уже заканчиваю. Попейте чайку...

Белов сел, налил остывшего чая. Конфетку развернул и быстро сунул в рот – он всегда робел в кабинетах больших начальников. Клигман теперь был главным снабженцем всего Строительства-503 от Енисея до Урала. Погоны на Яков Семеныче уже были золотые, майорские.

– Идем дальше, Таня... – Клигман продолжил диктовать. – По предварительным расчетам для постройки каждого километра железной дороги необходимо будет завезти от трех до четырех тысяч тонн различных грузов, не считая внутренних перевозок и перевозки людей. Проблема складских помещений и разгрузочных работ в поселке Ермаково остается острой...

Клигман остановился, видно, перечитывал.

– Так, Танечка, давайте уберем вот это все... зачем начальству сложности? Все, завтра в семь утра, пожалуйста... – Клигман вышел к Белову. – Извините, товарищ Белов...

– Поздравляю с повышением! – встал навстречу Сан Саныч.

– Спасибо... У меня вот какой вопрос, – Клигман сел, снял фуражку, на лбу и затылке остался красноватый ободок. – Нам в следующем году надо по реке Турухан поднять много грузов, я запросил отдел водного транспорта, они считают, что такой объем невозможно и за три года перевезти. Вы бывали на Турухане?

Сан Саныч замялся, наморщил лоб.

– Я именно с вами говорю, ваш буксир самый мощный во всем нашем флоте... пока, во всяком случае. Вы двухтысячную баржу сможете повести по Турухану? Знаки ходовые там ставят...

– От подъема воды зависит, да и река небольшая... – Белов не знал Турухана.

Клигман думал о чем-то хмуро, на Белова смотрел так, будто тот и был виноват.

– У нас в Яновом Стане второе строительное отделение – сотни тысяч тонн надо туда забросить: гравий, песок, рельсы, шпалы, паровозы... От этого зависит укладка полотна, вы понимаете?! Все капитаны мнутя, толком ничего не говорят.

– Река – не железная дорога, товарищ майор, она сегодня так, завтра иначе может вывернуть, – нахмурился Сан Саныч.

Клигман встал и быстро заходил, думая о чем-то. Поправил отошедшую марлю на окне.

– В этом году мы должны построить первые тридцать километров дороги от Енисея на запад. – Он глянул на окно и заговорил тише. – Это невозможно, я вам скажу, а мы делаем! Вот так! А вы все думаете! – Он положил руку на плечо Белова. – Сан Саныч, придумайте, как это сделать, я в вас верю! И Макаров про вас хорошо говорит... У вас, кстати, никаких вопросов по снабжению нет?

Белов покачал головой, козырнул и вышел. Клигман еще в тот первый раз ему понравился. Простой, вежливый, за дело старается. Шел и думал о Турухане. Он не знал этой реки, даже устья не видел, оно от Енисея было скрыто большим островом. Знал, что катера туда и летом ходят. Хорошее волнение зарождалось в груди, от больших задач у Сан Саныча всегда так бывало.

С этим настроением и зашел в новенький продуктовый. Магазин еще был не достроен, половина помещения завешена брезентом, и оттуда доносился стук молотков, но уже торговали, очередь стояла. Прилавков что надо – кроме обычного спирта на розлив и в бутылках, армянский коньяк трех и пяти звездочек красовался на полке, конфеты – карамель и шоколадные, копченая колбаса, сало толстое, розовое на разрезе, банки с иностранными консервами. Крупы, мука трех сортов, тушенка, сгущенка, сухие овощи и фрукты.

Он набрал полные руки и еще три бутылки коньяка «на будущее». На судно отправился. «Полярный» был виден прямо от магазина,

Белов шел вдоль обрыва над Енисеем по новенькому деревянному тротуару. Не везде он был еще готов, местами надо было и по грязи перебираться. Белов улыбался. Просторно было над рекой, вольно, девушка в нарядном платье, прическе и в запачканных кирзовых сапогах шла навстречу, в руках – туфли с каблуками. Улыбнулась Белову, он хотел козырнуть, но руки были заняты, и он только еще шире улыбнулся. На столбах висели монтажники, вворачивали новенькие изоляторы и натягивали провода. Перешучивались, матерились беззлобно. Был вечер субботы, завтра выходной.

Сан Саныч позвал в свою каюту старпома и главного механика. Грач давно, «в прошлом веке» бывал на Турухане, он сильно сомневался, считал, что не только с большой баржей, а и сам «Полярный» с его глубокой осадкой никак не пройдет до Янова Стана. Фролычу идея нравилась, он, как и Белов, любил нестандартные ситуации. На лоцманских картах Турухан был девственно чист – ни глубин, ни обстановочных знаков, река нарезала петли и петли среди тайги и болот. Они прикидывали, как высоко там поднимается вода весной и как долго стоит.

– Повороты очень крутые, – старпом, прищурившись, всматривался в карту, – большую баржу накоротке придется тащить.

Сан Саныч согласно кивнул и достал бутылку коньяка. Они еще долго обсуждали плюсы и минусы сильного, но глубокосидящего «Полярного». Работа была особенная и очень рискованная, как всякая весенняя проводка. Можно было хорошо отличиться – самая большая баржа, которую туда подняли этой весной, была всего триста тонн, Белов мечтал затянуть в десять раз больше – трехтысячную, а еще лучше караван провести.

Вечером Белов принял душ, побрился и пошел в гости к своему однокашнику по техникуму Петру Снегиреву. Он тоже был приписан к Стройке-503, командовал небольшим катером.

Вроде и названия улиц были написаны, где на столбиках, где прямо на палатках, и номера палаток указаны, но Белов не быстро нашел Петино жильё. Улицы в городке были кривые, рядом с казенным жильём люди сараюшек и деревянных балков наставили, и даже землянок накопили под соленья-варенья – в цыганском таборе порядка было больше. Белов сначала радовался всему этому людскому

разнообразие, но пока искал, устал радоваться, да и вымазался изрядно. Тротуаров еще не было, доски лежали через грязь.

Внутри палатка выглядела, как барак, только стены были из толстого брезента. Посередине длинный коридор, две чугунные печки в разных его концах. Из коридора направо и налево двери в жилые комнаты. У некоторых двери из фанеры были устроены, у большинства же висел все тот же тяжелый брезент.

– Здорово, Петя! Здрасьте! – поклонился Сан Саныч жене Петра, приподнимая фуражку. – Александр!

– Саня! Вот это гость! Галя, это Сан Саныч Белов, у нас койки в общаге рядом стояли!

Галя, симпатичная, с большим животом, опять кивнула и засмушалась, принимая кульки Белова. Комнатка была такая маленькая, что Сан Саныч слегка опешил. Конечно, он видел и не такую тесноту, его соседи по Игарке в двадцатиметровой комнате жили в три семьи – шестнадцать человек... но там у людей были стены, а здесь – брезент, и так тесно!

– Это ненадолго, – увидел Петя растерянность однокашника, – осенью восемнадцать домов, целую улицу сдают. Нас, как беременных, обещали в первую очередь заселить.

Белов вежливо улыбался. Они с Петей сидели на деревянном топчане, застеленном матрасом, на нем, видно, и спали они с Галей. Небольшой стол под окном, тоже самодельный, Галя резала колбасу, сидя на сундучке. Рядом с ней, у входа стояла фабричная детская кроватка, в которую пока были сложены разные недетские вещи. Галя встала, виновато извиняясь, протиснулась между Беловым и кроваткой и вышла в коридор. Потолка у комнатки не было, он был общий – косяк крыши палатки, утепленный войлоком.

– Давай тяпнем, чего ты? Ни у Гальки, ни у меня вообще ничего не было! И в пароходстве ничего не обещали, а на этой стройке – осенью, максимум к новому году – своя комната! Первое время – десять метров, потом расширят! – Петя разлил коньяк. – Давай за встречу! Мы с ребятами уже сообразили по случаю выходного.

Выпили, закусили колбасой.

– И снабжение намного лучше, чем в Игарке, – продолжал хвастаться Петя. – Зарплаты, полярка^[55]! – Он, повозившись, достал

откуда-то из-под топчана толстую пачку^[56] денег, завернутую в наволочку. – Во! Девать некуда!

– Я в следующем году на «Полярном» на Турухан собираюсь, – перебил его Сан Саныч. – Что там с глубинами? Поднимусь?

– Весной – нормально, летом – бесполезно с твоей осадкой! Там сейчас «Красноярец» работает с брандвахтой, временные знаки ставят до Янова Стана.

– А баржи какие таскаете?

– Да какие баржи?! Паузки!^[57]

Вся огромная палатка, в которой помещалось человек пятьдесят или даже больше, гудела как улей – разговаривала, смеялась, где-то грубый мужской голос нетрезво выговаривал жене, ребенок плакал. Радио на столбе передавало новости. Какая-то невидимая хозяйка жарила на буржуйке картошку с луком, и его запах доставался всем. Где-то недалеко запели красиво.

– Это через два палатки, в тридцать пятой... такие хохлы певучие подобрались – проигрывателя не надо! – пояснил Петя, нетвердой уже рукой разливая коньяк.

Галя помалкивала и смотрела в мутное окно из оргстекла. Солнце уже село, за окном серели летние сумерки.

– Непривычно после города? – обратился к ней Сан Саныч. – Не скучно?

– Нет, – скромно ответила Галя и преданно посмотрела на Петра.

– Какая скука?! Я все время на катере, она одна на хозяйстве.

– Зэки не беспокоят?

– Нет, ничего, под конвоем ходят... – Петя мигнул Белову, опять нагнулся под кровать и, пошарив, вытянул приклад ружья. – У меня тут не забалуешь!

– Они под наши палатки ямы рыли... – улыбнулась Галя, – обычные люди, им и разговаривать с нами не запрещено. Кормежка сытная, они сами рассказывали. В зоне ларек есть продуктовый...

– Кормят их хорошо, это точно, – перебил Петя, – моя мать в Красноярске хуже питается! Баню вон отгрохали! Для вольных старая развалюшка на берегу, а им новая баня!

– Так сколько их, а сколько нас... – заступалась Галя.

– Поэтому я в озере моюсь, а они в бане! – наседали Петя.

Галя хотела еще что-то сказать, но не стала. За брезентовой стенкой в соседней комнате сначала долго шептались, а потом топчан закрипел так ритмично, что Белов невольно покраснел, а Галя вышла из комнатки. Петя только хмыкнул на это дело и весело склонился к уху Сан Саныча:

– По несколько раз за вечер так! А бывает и с двух сторон! А у меня Галька с таким пузом! Хоть беги! Давай выпьем!

Выпили. Петя опять склонился к уху Сан Саныча:

– Это-то ничего, весело, – кивнул на скрип. – Дня два назад у соседа понос случился! Вот концерт был – всю ночь с ведра не слезал! Как даст! Как даст! Да на всю палатку!

Распрощались ближе к полуночи. Петя пошел проводить Белова, закурил. Оступаясь в грязь, по доскам выбрались на деревянный тротуар. Обстучали ботинки. Живыми хвойными запахами тянуло из тайги. В тихих сумерках сразу в нескольких местах негромко пели.

– Ну давай, – протянул руку Белов. – Хорошо тут у вас! А будет еще лучше!

– А то! Бросай ты свою Игарку, вон, видал, какой Дом культуры строят! Потом сразу ресторан! Отдельное здание с верандой и с видом на Енисей обещают!

Сумерки стали погуще, на столбах вдоль улицы горели лампочки, дизельные генераторы гудели в разных концах. Белов шел, прислушиваясь к ночной жизни поселка, тихо гордился и думал, что и вся страна так же строится, огромная его страна – от знойного Туркменистана, где он никогда не был, и до ледяного Диксона, где бывал не раз, – Союз Советских Социалистических Республик.

Енисей не виден был за полосой леса у берега, в другую же сторону, вглубь тайги ярко освещались строгие палаточные скопления, окруженные вышками. Пароход загудел протяжно на реке, Белов вспомнил о своих на буксире и заторопился по свежему, пахнущему смолой тротуару.

Бакенщик Ангутихинского участка Валентин Романов надевал плащ в сених. Слушал, как грохочет и воет снаружи, застегивался

неторопливо. Сунул папиросы и спички во внутренний карман и толкнул дверь, ветер навалился с другой стороны, не давая открыть, потом рванул ее из рук и ударил в лицо. Валентин, удерживая капюшон, глянул сквозь стену дождя на Енисей. Реку задирало тяжелым седым штормом. Холодный север упирался против течения, рвал волну в мелкие клочья – серая масса неслась над взлохмаченной рекой. Листья и ветки летели, кувыркаясь, в осатаневшем воздухе, березы гнуло до земли.

Валентин вернулся в сени, прикурил папиросу, зажал ее в кулак и пошел проверить лодки. Они были вытащены, сети, снятые с вешал, надежно придавлены камнями. Все у него было на месте. Романов присматривался к беснующемуся Енисею, непонятно было, надолго ли. Из-за острова показалось судно – небольшой буксир, прижимаясь к его берегу, быстро шел по ветру. Временами волны нагоняли и окатывали низкую корму. «Полярный», – узнал Валентин и стал спускаться к причалу деревянной лестницей.

В уости Романовской протоки было тише, буксир начал подваливать к пирсу, толкнулся бортом, матросы цепляли кнехты. Дверь рубки отворилась, оттуда, застегиваясь на ходу, выбрался Белов и шагнул на пирс, протягивая руку.

– Здорово, дядь Валь! – Сан Саныч лучился счастьем. – Во натерпелись! Мои орут, давай отстоимся... Дядь Валь, ты чего какой, не рад, что ли?! В Туруханск идем, в мастерские, постою у тебя денек, не прогонишь?!

– Пойдем! – кивнул Романов и стал подниматься наверх к дому. Очередной шквал налетел, заглушил его слова и поднял полы брезентового плаща выше головы.

Рябоватое, с суровыми морщинами лицо бакенщика оставалось невозмутимым и безрадостным. Небольшие глаза, брови со шрамами, тяжелые плечи – он был похож на медведя среднего размера. Так же и ходил, слегка косолапя и сутулясь, как будто природные силы сами собирали его в неторопливый и грозный комок.

Белов вернулся в каюту, взял приготовленный кулек конфет, коробочку цветных карандашей и книжки-раскраски, бутылку коньяка засунул во внутренний карман плаща. Старпом, большую часть шторма отстоявший за штурвалом, собирался в душ. Стоял среди каюты в одних трусах и задумчиво и устало глядел на кусок

хозяйственного мыла, как будто решал, идти мыться или завалиться сразу до завтрашнего утра. Егор забежал босиком, держа сапоги голенищами вниз, из них еще текло. Боцман поставил их к горячей батарее и стал наматывать сухие портянки. Белов сошел по трапу и стал подниматься к дому.

Такие хозяйства, как у Романова, были по Енисею редкостью. Обычно бакенщики обитали в небольших казенных домиках, лодка да сети у берега. Огородики – у кого были, у многих же и их не было. В Ангутихе домик бакенщика был на краю деревни, Валентин, устраиваясь на работу, отказался от него и построился на острове напротив – в сосновом лесу над невысоким каменным мысом. В первый же год срубил избу с холодными сенями, потом пристроил веранду. За домом был вымощенный полубревнами двор, закрытый со всех сторон постройками: баней, санным сараем, стойлом для коня, теплым хлевом для коровы и поросят и летней кухней с большим столом под навесом. Все это постепенно за пять долгих зим устроилось.

Дальней стороной двора была мастерская с длинным верстаком и печкой-буржуйкой. Бакены, бочки, ульи, мебель и даже лодки – все делалось здесь.

В доме было тепло. Сан Саныч раздевался в сенях, прислушиваясь к запаху свежего хлеба. Анна выглянула, кивнула приветливо. Она была на девятнадцать лет моложе мужа, но под стать ему – крепкая и молчаливая. За столом с кружками молока и ломтями хлеба сидели два загорелых белоголовых крепыша-погодка трех и четырех лет и такая же светленькая полторагодовалая девочка.

– Ну, Васька-Петька, что я вам привез! – Белов с подарками присел к столу.

Дети радостно обернулись на мать, та сказала что-то полатышски, и мальчишки, косясь на карандаши и раскраски, послушно взялись за кружки.

– Молока хочешь, Сан Саныч? – Анна подошла с алюминиевым бидончиком в руках. Она говорила с красивым акцентом.

И хотя Николь говорила совсем без акцента, они были похожи, обе ссыльные... Белов рассеянно кивнул, невольно чувствуя, как сжимается сердце. Взял кружку, расплескивая молоко.

Летом он редко думал о Николь. Только когда хорошо выпивал, начинал вдруг тосковать, но ближе к осени стал чаще вспоминать, и не с пьяной тоской, но вполне бодро понимая, что после навигации мог бы как-нибудь и съездить к ней. Далекое, правда, было, и никакой транспорт туда не ходил... Но самым непонятным было то, что связи со ссыльными не приветствовались... Поэтому Белову и хотелось обстоятельно поговорить с Валентином – у того все было очень похоже – жена ссыльная и нерусская.

Через час шторм стал стихать – то ли выдохся, то ли ушел выше по Енисею, к Туруханску, с ним и ливень кончился. Было уже начало сентября, вполне мог бы и снежок полететь, но природа продолжала вести себя по-летнему. И тепло было, и желтеть еще толком не начало. Белов с Романовым сидели на лавочке над гранитными лбами, круто уходящими в воду. Воздух после ливня был чистый и снова теплый, березы, ошалевшие и насквозь мокрые, пошевеливали прядями, поглаживали друг друга, будто вспоминали, как страшно только что было. Одну, раздвоенную, все-таки сломало, и она лежала, придавив белым стволом молодые сосенки. С крыш, с деревьев текло, капало громко. Енисей разгладился, и только нервные узоры шалого ветерка беспокоили поверхность.

– Поедем, если хочешь, – согласился Валентин, – переночуем у сетей. Он встал, бросил окурки под ноги, шаркнул по нему сапогом и пошел в дом.

Белов дружил со старшим сыном Валентина Мишкой. От первого брака. Они вместе учились в речном техникуме и были не разлей вода. Мишка был вылитый батя – коренастый, крепорукий и такой же молчаливый, но, в отличие от отца, нервный. Терпел до последнего, щеки наливались кровью, и тут уж его лучше было не трогать. Самый громкий случай был на третьем курсе, когда начальник политотдела перед учебным взводом назвал его ссыльным сучонком. Мишка смолчал, но поглядел на него так, что тот, поддатый, рассвирепел, грязным заковыристым матом поехал по Мишкиным родителям, врагам народа, понятное дело. Матери к тому времени уже не было в живых, отец сидел в лагере... Мишка ему врезал. Тот только руками взмахнул и грохнулся мордой об угол. Если бы политрук не был пьяным, а Мишка не учился на одни пятерки и не висел на доске

почета, уехал бы учащийся третьего курса Михаил Романов к своему отцу лес валить, все так уже и думали. А может, их одноногий старшина, командир взвода, любивший неуступчивого, рукастого и работающего пацана, может, это он уговорил начальника училища.

После техникума начали работать и виделись редко. Белов распределился в Игарку, Мишка – лучший механик курса – на рембазу в Подтесово.

Его отец, освободившись, появился на Енисее в 1944-м, нашел могилы жены и малолетней дочки в ста километрах ниже Туруханска в деревне Ангутиха, перезимовал возле них зиму, а весной устроился бакенщиком. С сыном они увиделись только через год, в конце навигации 1945-го. Белов же по работе часто ходил мимо Ангутихи и при всяком случае передавал письма, гостинцы и деньги от сына. Они подружились, Сан Саныч звал Романова по-деревенски дядь Валей, а иногда просто батей, что-то родное чувствуя к нему, – своего отца он не помнил.

На носу лодки в крапивных мешках лежали сети. Керосиновые фонари для бакенов – три красных и три белых – были надеты на деревянные штыри в специальной пирамиде. Фонари были, как и везде, самодельные, деревянные, от ламп, вставленных внутрь, пахло свежим керосином.

Романов греб, не оборачиваясь. С сорок пятого года каждый день утром и вечером выплывал он так же сначала к верхним бакенам, потом спускался к нижним. И всегда один, какая бы ни была непогода, ни разу не взял на весла Анну, как это делали другие бакенщики.

– Давай я сяду, дядь Валь! – опять попросил Белов, но тот только мотнул головой.

Ровно скрипели весла, вода шумела вдоль борта, остров удалялся. Сан Саныч видел, что Романов сегодня крепко не в духе, не знал почему, но боялся, что другой возможности поговорить не будет. Он начал издали и вскоре понял с неприятной досадой, что рассказывать о Николь ему особенно нечего, да и Валентин безо всякого интереса слушал. Сан Саныч что-то все же промямлил про то, что хочет съездить за ней, а закончил совсем скомканно и ничего не спросил. Получалось, что он сравнивал себя с Романовым, у которого с Анной было уже трое ребятишек. Как-то все это глупо было.

– Просто так ее не выпустят оттуда... – выдавил угрюмо Романов, толкая весла.

Подошли к красному бакену. Белов сел на весла, а Валентин, зацепив лодку, зажег лампу и надел фонарь на штырь. Вода с шумом обтекала бревна, на которых крепилась пирамида бакена, наискосок в глубину уходил туго натянутый тросик. Солнце уже село, но было еще светло, и огонька, вьющегося над керосиновым фитилем, почти не видно было. Валентин придирчиво наблюдал, ровно ли горит, отпустился, лодку потянуло течением, и бакен стал быстро удаляться.

– К тому давай, – махнул на противоположный берег.

Белов навалился на весла. Романов закурил.

– Ты про Мишку что ничего не скажешь? – спросил, глянув строго.

– Не слышал его давно, его на большой пароход хотят перевести. Я думал, ты знаешь.

Романов слушал очень внимательно, папироса погасла, он еще раз подкурил ее и стал смотреть на другой берег в сторону недалекой уже отсюда деревни Ангутиха.

– Ты чего, дядь Валь, спрашиваешь, не пишет, что ли? – Белов продолжал улыбаться, но напряжение Романова передавалось и ему.

– Забрали его.

Белов замер, продолжая улыбаться.

– Куда забрали, дядь Валь? Мы на совещании виделись...

– В первый рейс вышли, и сняли энкавэдэшники в Енисейске.

– Не может быть! За что?!

– Ты, Санька... – Романов крякнул с досадой и раздраженно мотнул лобастой головой. – В органах он! За что туда берут?!

Сан Саныч заволновался, стал лихорадочно соображать, что Мишку, скорее всего, за его язык и несдержанность могли привлечь. Сказанул где-нибудь, как он это умеет. Белов налегал на весла и поглядывал на Валентина. Тот курил, хмуро глядя вдаль.

– Чего-нибудь брякнул, – предположил осторожно Белов, – ты же его знаешь, дядь Валь. Разберутся, выговор вкатят по комсомольской линии...

Романов затыкнулся судорожно, выматерился коротко в папиросный дым и ничего не ответил. Засветили белый бакен выше Ангутихинских покосов и пошли вниз. Работали молча, каждый думал о своем, хотя

оба о Мишке, сыне и товарище. Вниз по течению лодка летела, вскоре обработали еще три бакена. Темнело, красные и белые огоньки, зажженные ими, стали заметны по реке. Ткнулись в песчаную мель, Романов привычно вытряхивал сети из мешка.

– Много рыбы надо?

– На камбуз да начальнику мастерских в Туруханске.

Поставили быстро. Романов небрежно расправлял сети, груза отбрасывал в сторону с хлюпаньем и брызгами, как будто брезговал всем этим. Последняя сеть была сплавной^[58]. Бакенщик сам сел за весла и стал выгребать на течение, крутя головой и ориентируясь по темным уже берегам. Через какое-то время он перестал грести и кивнул Белову:

– Кидай гагару^[59]!

Растянули сеть, Валентин подержал ее рукой, «слушая», не зацепилась ли, привязал и посадил Белова на весла. Обернулся еще раз на сумеречные очертания Песчаного острова:

– До первого охвостья сплавим, на уху будет...

Уже вскоре веревка задергалась, потом еще, не прошло и получаса.

– Ну хватит, поди... – Валентин начал выбирать сеть в лодку. Улыбнулся вдруг, обернувшись на Сан Саныча. – Мишка всегда у меня выбирает, любит... – сказал и угрюмо, тяжело застыл лицом.

– Дядь Валь, – Сан Саныч пытался говорить уверенно, – не виноват Мишка ни в чем, я точно знаю! Выпустят! Я в Туруханске позвоню в пароходство!

Романов аккуратно складывал полотно сети себе под ноги, папираса попыхивала в сумерках, покачал головой:

– Не лезь в это дело, заберут!

– Меня?! – Сан Саныч перестал подгрести.

– А ты что, заговоренный?

Белов осторожно толкнулся веслами, не зная, что сказать. У Романа завозилось что-то тяжелое в темноте воды, о борт заколотило. Валентин вытащил остроносую, длинную стерлядь, очекрыжил обухом топора и, быстро выпутав, бросил в рундук. Потянул дальше. Попалась еще стерлядь, несколько щук, большой язь и два осетра. Осетров Валентин привязал на веревочный кулан и, поглядывая на берег, сам сел на весла.

Вскоре они зашли в заводь между островами, свернули в узенькую проточку, заросшую с двух сторон высокими кустами. Комары запели дружнее, Белов достал пузыречек с дефицитным «Репудином» и стал мазаться. Протянул Романову, глуповато на него поглядывая, как будто в чем-то виноват был. Валентин отказался, мотнув головой, причалил.

Запалили костер, местечко было обжитое, укромное, за густыми зарослями ивняка не видное с фарватера, с кострищем, заготовленными чурками дров и косым навесом от дождя. Пламя костра сделало ночь темнее, чем она была на самом деле, – сентябрьские ночи, особенно в начале, еще совсем не черны, как будто не успели отдать весь летний свет долгих белых ночей. Романов принес из лодки ватники, котелок, авоську с картошкой и луком. Белов потрошил у воды стерлядь, она вырывалась, пачкалась в песке.

– С икрой, дядь Валь, что делать? Подсолим?

– Да сколько там икры...

Романов порезал рыбу, побросал в котел и повесил на огонь, нож сполоснул. Устало сел на чурбак, вытирая руки о штаны. Сан Саныч натянул ватник и ушанку: после недавнего ливня трава и кусты были мокрые, и отовсюду сквозило сырым ночным холодом. В огонь сунул руки.

– Надо было все-таки взять бутылку... – Белов с надеждой посмотрел в сторону Романова, но тот покуривал, молча глядя в огонь.

Костер трещал, стрелял негромко искрами. Тихо было, реки не слышно, только далеко-далеко вдруг начинала кричать ночная птица. Возле лодки завозились осетры на веревке, забили обреченно хвостами по воде, по борту.

– Я, пока с Мишкой не выясню, пить не буду, – произнес вдруг Валентин очень твердо. – Ты что, совсем про него ничего не слышал?

– Говорю тебе, дядь Валь, последний раз на Первомай виделись, и я ушел с караваном. Он обычный был, ничего вообще не сказал. А ты откуда узнал?

– Люди передали, – Романов отмахнулся от наседающих комаров.

– И что сказали? – Белов спросил так, будто этот вопрос он мог решить.

– В Енисейске рано утром взошли на борт и увезли, они когда что объясняют? Ты в пароходстве не можешь узнать аккуратно? У

надежного человека... – Романов, раздумывая посмотрел на Сан Саныча, бросил бычок в костер. – Или не надо? К тебе и так могут прийти, вы же корефанили^[60]... – Романов застыл, вздохнул угрюмо. – Если придут, ни в чем не признавайся! Спросят, был такой разговор, даже если помнишь, что был, не сознавайся: не помню, и все!

– Почему придут-то?

– А к нему почему пришли?

Белов молчал, у него не было никаких соображений. Подложил пару поленьев. В протоке тяжело выграла рыба. Осетры опять завозились, толкаясь в лодку. Романов поднял голову в темноту:

– Руки у него золотые, с любой техникой... так вот мотор послушает и уже знает, что с ним! И на работе к нему вопросов не было, так же?

– Так, он... да! Что ты, дядь Валь, его же хотят в Ленинград, в институт отправить...

– Кому он мог помешать? Может, баба какая?

– Не-ет... – Белов в сомненье закачал головой. – Мишка не по этому делу.

– Он долго не мог Анну принять, ребятишек любил, а с ней не очень, а в прошлом году, когда Анна Руську родила, он их из Туруханска, из больницы вез. Мы потом с ним здесь же вот сидели. Всю ночь разговаривали, Тоню, мать его, покойницу, вспоминали, Верочку нашу.

Романов замолчал. Белов никогда не видел его таким слабым и постаревшим. Как будто кого-то заклинал Мишкин отец не трогать его сына. Рассказывал и рассказывал:

– Тоня пятерых рожала, да не жили, только Мишка да Верочка остались. Когда нас в ссылку погнали, Тоня как раз после родов болела, слабая была... Меня от них в Красноярске отделили. На зону... – он посмотрел на Белова. – Что я рассказываю, ты все знаешь, наверное?

– Нет, – озадаченно мотнул головой Сан Саныч, – Мишка не рассказывал...

– Как тут можно было от голода умереть? – Романов надолго замолчал. – Сколько им надо было еды? Верочке всего три годика... темненькая, глазки, как у цыганки. У них не было еды, да... еды не было, – Романов взялся за голову, чуть раскачивался, мысль о голоде не

укладывалась в его голове. – Я в лагере на Ангаре лес валил... война шла, Мишка в Красноярске... Тоня письмо прислала, что жизнь их тут, в Ангутихе, сытее, рыбы, мол, много...

Белов молчал. Хотел сказать, что тогда всем было голодно, что у него мать с сестренкой тоже перебивались с хлеба на воду. Промолчал. И без того все было понятно.

– И это все Сталин твой, мрази кусок! – Романов будто очнулся, стал прежним, огонек нежности потух, взгляд отупел тяжело, о него снова можно было железо гнуть. – Сколько же баб и ребятишек он загубил...

Глаза Романова, подсвеченные костром, застыли в угрюмой ненависти. Белов знал, что Романов не любит Сталина, но таких слов от него не ожидал.

– Я очень тебя уважаю, дядь Валь, но говоришь ты так от слабости. Прости меня, но это мелко, не нам судить Сталина! Мы не можем оценить его масштабов! Я не понимаю, как можно не уважать его, столько сделавшего для всех людей?! – Белов встал от волнения. – Я не могу слышать, когда так про него говорят! Да, тебя сослали, всю твою семью... Это несправедливо, я понимаю! Но это могло случиться в такой огромной стране... Ясно же, что и враги есть, и в органах тоже... Это открыто в газетах пишут! Но как не видеть всего остального?! Мы столько сделали под его руководством! Войну выиграла страшную, фашистов остановили! А здесь, рядом с тобой – какая стройка разворачивается! Где еще такое видано?!

Белов замолчал, он забыл, с чего начал, ему остро жаль было Валентина, который не видел большой и прекрасной жизни вокруг.

– Щенок ты недоделанный, Саня... – Валентин поднял глаза, полные тоски. – Ты же его кореш, сука, из одной миски хлебали! И ты веришь им!

– Надо все выяснить, – несогласно заговорил Белов, – мы сейчас ничего не знаем! Вон Фролыч, мой старпом, когда его отца взяли, с ним разговаривать невозможно было, а весной отпустили, дали год и тут же по амнистии освободили. А ведь было за что – он лоцманом судно вел... Надо перебарывать личную обиду, дядь Валь! У нас свободная страна!

Романов отвернулся в костер, сморщился устало:

– Тебе ночку на конвейере^[61] постоять... может, поумнел бы. Мишка уже три месяца у них!

– Не надо, ты не знаешь, может, все не так плохо! Надо потерпеть, дядь Валь, я все узнаю, с Макаровым обязательно поговорю...

– Ты сам-то понимаешь, что мелешь?! Человека арестовали, а я, его отец, не знаю, за что, в чем он обвиняется! Когда взяли? Где он? Он – человек или пачка папирос?!

Белов молчал, упрямо глядя на Валентина, думал – прямо из Туруханска надо позвонить.

– Гордость ты свою бережешь! А ведь у тебя на глазах все! Вон лезут зэки из трюма твоей баржи, а наверху сержант с бойцами, и у всех ремни с солдатскими пряжками, и они со всей дури херачат всех подряд и куда придется! Просто так! Для своего удовольствия! И смеются, когда мы, как блядешки, вертимся, бошки свои прикрываем! Знаешь, почему ты этого не видишь? Потому что отворачиваешься! И арестовывают без вины, и судят без суда...

– Я зэков возил, такого не было!

Валентин очнулся от его слов, а скорее от своих воспоминаний, глянул тоскливо – может, представлял, как его Мишку гонят сквозь такой строй. Вздохнул с судорогой, перекосившей лицо:

– Да не смотрел ты в ту сторону! Просто не смотрел! Как будто этого нет... Страшно ведь, авось пронесет!

Романов застыл, продолжая думать о сказанном, потом увидел ложку у себя в руках, полез было попробовать картошку, но вдруг решительно взял весь котел и снял с огня. Поставил возле:

– Будешь? – машинально кивнул на парящую уху.

– Буду! – Сан Саныч подал миску.

– Сам наливай, я не хочу! – Романов поднялся и, неторопливо закуривая, ушел по тропинке.

Белов поел ухи, он был голодный, посидел, слушая осторожную тишину – шелесты, всплески, влажный ночной ветерок вдруг возникал, пробежал по кустам и траве у воды. Сан Саныч зевнул судорожно, Романова не слышно было, подумал, не прилечь ли, но встал и пошел по тропе, прорубленной в ольшанике.

Романов сидел, сгорбившись, на бревне на конце песчаного мыса. Еле видно его было. Утки, свистя крыльями, пронесли над головой.

Сан Саныч подумал подойти и сказать что-то хорошее, как-нибудь помириться, но не придумал. Валентин сидел, не шевелясь.

Вернулся к костру, подбросил дров и прилег под навесом. Хотел подумать о том, кто же все-таки прав, Романов с его ненавистью или он с его светлой верой. И тут же, неудержимо зевая, провалился в сон. Костер трещал, искры долетали до телогрейки и гасли.

Проснулся от холода, с трудом сообразил, где он, и стал раздувать погасший костер. Солнце поднималось, над водой в их проточке стоял густой туман, но наверху было хорошо, ясно. И настроение полезло весело в эту голубую небесную гору. Он зачерпнул воды в котелок, повесил на огонь и пошел к Романову. Тот возился с бакеном. Пустынно было вокруг, много-много безлюдной воды, песок мыса с замытыми бревнами, мокрые мели, через которые катились волны, высокие дюны острова, уходящего за поворот. Чайки бездельно и молча летали, посматривая на одиноко работающего мужика.

Сан Саныч подошел, сел на бревно. Романов вязал к бакену металлический тросик.

– Помочь, дядь Валь?

Романов только мотнул головой, натянул тросик, затягивая узел, и встал. Морщины на его лице как будто посерели за ночь, и весь он изменился, совиный, всегда чуть хищный взор обмяк. Он посмотрел на Белова, как на незнакомого человека, качнул головой:

– Пойдем, поднимать пора.

В ближайшей сети возились костеришко^[62] на полпудика, несколько щук и стерлядок. Романов показал, где стоит следующая. Белов подгрёб, Валентин начал выбирать, но вдруг сеть в его руках натянулась. Романов присел, уперся коленями в борт, рыба продолжала тянуть, разворачивая лодку. Валентин заискал глазами топор, Белов подпихнул его ногой, сам вытягивал голову, что там за бортом. Романов выплюнул недокуренную папиросу и решительно потянул сеть, поверхность впереди вспучилась темным бугром, но рыба не показалась. О борт ударились небольшая стерлядь, бакенщик принял ее себе под ноги, дальше сеть шла скрученная одним прочным жгутом. Валентин глянул на Белова, соображая, чем тот может помочь.

Белов бросил весла и подался вперед.

– Не-не! – замотал головой Валентин. – Перевернет!

Рыба не собиралась сдаваться, опять пошла вперед, за ней полубоком тянулась лодка. Вода бурлила, Романов, выгнувшись спиной, держал, руки побелели от напряжения. Потом потянуло так, что борт накренился к воде, и Валентин невольно отпустил сеть. Только что выловленную стерлядь утащило за борт, но движение неожиданно прекратилось. Недалеко от лодки с шумом вывернулось мощное тело хозяина реки, хвост ударил по поверхности, и все стихло.

– Во влетел, зверила! – с рук Романова текла кровь. Он быстро выбирал ослабевшую сеть, снова в лодку пришла замученная стерлядь.

– Помочь, дядь Валь?!

– Нет, на меляк выгребай!

Романов уперся коленкой, подтянул еще. Рыба вдруг ослабила тягу и всплыла вдоль борта. Это был осетр. Величиной с лодку, весь свободный, только на голове под жабрами туго накручен жгут сети. Тупой лоб с круглыми глазками и острым носом, по черному боку шел яркий рисунок жучек^[63]. Речной зверь чуть шевелил плавниками. Белов с Романовым выругались восхищенно.

Валентин осторожно, готовый, что зверина рванет, потянулся за топором... огромная, курносая башка была всего в метре. Речной царь и бакенщик Романов смотрели друг на друга. Романов ухватил топориче, потянул жгут сети, но ударить не успел, осетр изогнулся, толкнул борт огромным телом и легко ушел в глубину. Он был сильнее Романова, сеть вылетела из его клешней, снова метровая стерлядь, царапая руки Валентина, улетела в воду и исчезла в глубине. Валентин намотал сеть на уключину и полез за папиросами. С ладоней текла кровь.

Лодку хорошо уже снесло вдоль острова, когда Белов наконец выгреб на мель.

– Давай я, дядь Валь! – решительно попросился Сан Саныч, выскакивая из лодки.

Романов кивнул согласно. Вылез на песок.

– Видал, какой хряк! Не было еще такого, пять лет рыбачу! – Романов хоть и родился на Байкале, но был крестьянином до мозга костей и к рыбе относился без уважения.

Сан Саныч потянул сеть, осетр почти не сопротивлялся, просто тяжело было, будто якорь тащился по дну, но вдруг рыба пришла в

себя и дернула так, что Белов не удержал, он не думал, что рыба может быть такой сильной. Подошел Валентин.

По мели рыба шла тяжело, но вдвоем было легче, и вскоре на поверхности появился черный хребет. Осетр изгибал мощное тело, шел боком, все более и более показываясь из воды. Мужики подналегли, и тут, будто все поняв, речное чудище начало биться, брызги, мокрый песок летели в лицо. Сан Санычу на секунду со страхом показалось, что рыба там не одна, но Романов решительно тянул, и огромная тупорылая рыбина, наконец, целиком выползла на отмель и замерла. Это была царь-рыба. Прекрасная в своей силе и древних формах, тяжелые костяные крышки жабер хищно открывались и закрывались.

– Топор возьми! – Романов держал сеть в натяжении.

Сан Саныч нашарил топор и, широко замахнувшись ударил в голову, обух скользнул, мокрое топориче вылетело из рук, осетр только изогнулся грозно. Сан Саныч вместе с песком цапнул топор и ударил точно, с хрустом. Осетр задрожал лопухами плавников и всем большим телом, мелкие судороги забегали по толстой коже... он медленно заваливался набок. Сан Саныч стоял мокрый с ног до головы, смотрел на Романова, ища одобрения. Валентин трясущейся мокрой рукой лез за папиросами, в пачке ничего не было, он бросил ее в воду и подошел к поверженному чудищу.

– Килограмм семьдесят будет?! – прикидывал восхищенно Сан Саныч.

Романов внимательно рассматривал осетра, плеснул ногой на испачканный в песке бок:

– Больше центнера, однако. Икры – ведра полтора... – Валентин подумал о чем-то, повернулся к Белову. – В Туруханске две женщины ссыльные живут, под угором в маленьком домике. Ада и Аля зовут. Отправишь кого, пусть отнесут им икру. И пару стерлядок.

Он присел и стал освобождать рыбу из сети.

Вдвоем затянули осетра в лодку и вернулись на место ночлега. Порубили рыбу на большие оранжево-желтые жирные куски, икру засолили в двух ведрах – почти полные получились. Белов крутил рукой, перемешивал приятную на ощупь, прохладную, но не холодную, будто хранящую еще жизнь рыбы темно-серую, чуть поблескивающую, зернистую массу. Романов усыпил вчерашних

осетров, выволок их на траву. Ополаскивал и кидал рядом стерлядок, щук, золотых язей. Рыба темной поблескивающей горой лежала в тени кустов, возле мешков с осетриной стояли ведра с икрой, прикрытые тряпкой.

Потом они пили чай, зевали нещадно и молчали. От бессонной ночи, от усталости, но еще и от вчерашней размолвки. Сан Саныч все думал, что бы такого сказать о Мишке и успокоить Валентина, но ничего не находилось – Мишкин арест перевернул всю их прежнюю жизнь. Он зевал, морщился на чистое утреннее небо и понимал, что поговорить уже не получится.

Перед самым отходом Романов объяснил, как найти тех ссыльных москвичек в Туруханске, и еще раз, пересиливая себя и почти не глядя на Белова, рассказал все, что знал про арест сына. Сан Саныч хотел, как обычно, обнять дядь Валю, но не стал. Посмотрел молча и решительно и мысленно дал себе слово разобраться в Мишкином аресте. Пожали руки. В глазах Романова Сан Саныч впервые видел просьбу или даже мольбу. Тяжелую и почти безнадежную.

«Полярный» быстро удалялся от острова бакенщика. Сан Саныч раздевался у себя в каюте, намереваясь выспаться, а из головы не шел этот неприятный спор с Валентином. Он и уважал, и любил Мишкиного отца, но не меньше уважал и великое дело, которое делалось в стране. Не меньше! – Белов решительно встал с кровати, дотянулся до портрета вождя, снял со стены и, разглядывая, снова сел. Он не понимал, как можно ненавидеть человека, на котором столько держится. Он вернул портрет на место, сердцем ощущая, что все идет трудно, но правильно, и он на этом трудном пути стоит вполне осознанно.

Разделся и лег. Засыпая, он частенько думал о Николь. То просто разговаривал с ней, бывало, что и целовались... Но чаще представлял себе, как по окончании навигации он разведется с Зинаидой и отправится в Дорофеевский. Вот и сейчас он думал о долгой и опасной дороге, на попутках, оленях, в полярной ночи... в конце этого пути он видел ее изумленные глаза. Дальше он ничего не представлял себе – никаких определенных планов у него не было.

И с Мишкой все выясню... обязательно! Совершенно успокоенный, как будто все уже и сделалось, Сан Саныч провалился в крепкий сон честного человека.

Романов долго еще сидел на скамеечке, глядя под ноги. Анна выходила, звала обедать, вышла и в другой раз, но не стала ничего говорить, тихо закрыла дверь. Наступала осень, и мысли бакенщика рассеянно бродили по большому хозяйству: надо было перековать Гнедко, насолить туруханской селедки на зиму, отлить пуль – скоро начиналась охота... свиней резать (каждое лето отъедались у него на рыбе и картошке Пахан, Бугор и Гражданин Начальник), бакена снять... Но куда бы ни забредали эти мысли, они все время возвращались к сыну. Почему-то ясно было, что нынешней зимой Мишка к нему не придет и на охоту они не сходят. Просто так его уже не отпустят... это Валентин давно понял, он все лето ждал, что придут и за ним, но пока не пришли.

Вопросы терзали и терзали, они были не к чекистам... Господь голодной смертью забрал у Валентина Романова жену и дочь, теперь же, руками тех же палачей, забирал и сына.

Истерзанная душа Валентина не могла этого принять.

19

Небольшой актовый зал Управления строительства был битком, сидели и на подоконниках, и на ступеньках. На сцене под большим портретом Сталина стоял стол президиума и красная трибуна с гербом СССР. Торжественное заседание было посвящено окончанию навигации и переходу на зимние условия строительства. В президиуме заседало лагерное начальство и двое речников из руководства Енисейского пароходства. Все в форме. В стороне за отдельным столом пухленькая секретарша начальника первого лагеря вела протокол. Она тоже, как по случаю большого праздника, надела форму, сапоги ладные, начищенные до блеска, выше сапог круглые коленки торчат. В зале сидели одни мужики, и, когда она явилась на сцене и села за свой стол, по залу прошел сдавленный вздох и наступила тишина. Потрогать такие коленки, понятное дело, ни один бы не отказался.

В первых рядах сидели военные и флотские, кто-то и в парадной форме, в задних – гражданские. По одежде было понятно, что

немногие из них вольные, большинство – лагерные придурки: руководители подразделений, нарядчики, бригадиры, бухгалтера.

Белов сидел во втором ряду у окна, рядом Грач в великоватом черном кителе, который он на реке не надевал, а берег пофорсить в поселке. Дома же старуха пересыпала его нафталином и прятала в сундук. Начальник Енисейского исправительно-трудового лагеря подполковник Воронов заканчивал свое выступление:

– За июнь – сентябрь для нужд строительства водным транспортом доставлено заключенных: в Ермаково – 11 326 человек, в Янов Стан – 3432, в Туруханск – 504, в Игарку – 4602 человека. Доставка ресурсов в июне и июле в Ермаково и Игарку велась крайне медленно. Управление пароходства, несмотря на обещание, выделило всего три специально оборудованные баржи и один крупнотоннажный лихтер. В собственном флоте Строительства-503 на сегодняшний день имеется 19 малосильных буксиров и 20 малотоннажных барж для местных перевозок.

Воронов деловито и с облегчением собрал бумажки доклада и посмотрел в зал:

– Об обеспеченности строительства ресурсами доложит начальник снабжения майор Клигман. Прошу, Яков Семенович.

Клигман встал за трибуну. Если подполковник Воронов нависал над ней, то майор невысоко торчал головой и плечами, но, в отличие от Воронова, в бумажки почти не заглядывал, только изредка улыбался виновато и громко сморкался в большой носовой платок.

– Добрый день, уважаемые товарищи! Ресурсами Строительство-503 обеспечено удовлетворительно. Начнем с людских ресурсов. Всего по плану требовалось 36 235 человек, фактически имеем 33 493. В том числе планировалось привлечь 3674 вольнонаемных работника, имеем пока 2487 человек. С заключенными лучше – из 30 тысяч плана имеем 29 234. Хуже обстоит дело с вооруженной охраной. По нормам мы должны были иметь 2561 охранника, а в наличии только 1772. В связи с чем вынуждены привлекать самоохрану из заключенных, а вы сами знаете, что это за народ...

Клигман громко высморкался и продолжил:

– Что касается материально-технического обеспечения, то тут дела лучше. Дальше будут только цифры по основным позициям:

первая – план, вторая – фактически имеющиеся:

Автомашины грузовые 356 371

Тракторы 50 64

Экскаваторы 14 14

Станки 169 165

Электростанции 103 115

Бетономешалки 1 3

Насосы 75 111

Лошади 500 254

И наконец, паровозы серии ОВ были запланированы в количестве четырех, четыре и получили. Так же по плану получены сорок штук железнодорожных вагонов широкой колеи.

Грач устал уже от всех этих докладов и цифр, мял в руках кисет с самосадом и вертел головой на предмет покурить. Но курили только в президиуме, и он с тоской поглядывал на улицу. Белов же слушал внимательно и в очередной раз поражался электростанциям, автомобилям и паровозам среди вековой тайги! С гордым прищуром посматривал вокруг – два паровоза из четырех притащил в Ермаково его буксир. Мужики разгружали вручную, строили хитроумные сооружения из бревен... и вытянули! Многотонные машины стояли на высоком берегу, на рельсах! Все здесь будет! – трепетала рабочая гордость в горячем сердце Сан Саныча.

В такие минуты капитан Белов чувствовал себя настоящим человеком – он понимал, ради чего живет. Понимал гигантские размеры задач и планов, и ему просто жаль было тех, кто этого не понимает, кто свое личное ставит выше общего. Его старпом Захаров тоже был сомневающийся, не пошел на совещание, только усмехнулся и покачал головой... Ничего, они – хорошие люди, и старпом, и Романов, всё поймут со временем, и с Мишкой все будет нормально.

Сан Саныч с благодарностью поднял взгляд на портрет Сталина. Понимающие, мудрые глаза смотрели в зал – Сталин был намного больше всего этого личного и мелкого! Сталин вел их непростой, но единственно верной дорогой.

Горчаков тоже присутствовал на совещании, почти случайно оказался. Он пристроился в дальних рядах среди таких же расконвоированных, слушал вполуха и глядел за окно. Там мужик запрягал в санки хорошего вороного коня. Конь не слушался, мужик

терпеливо заводил его в оглобли... Горчаков раздумывал лениво, могут ли люди что-то сделать, если они не понимают, что делают? Если бы мужик не понимал, зачем все эти ремни и оглобли, то и не запряг бы, а если бы наvertsел абы как, то вороной и с места не сошел бы... На трибуне Клигман все докладывал, пытался шутить иногда... Вот умный дядька говорит правильные вроде слова, но не верит в них, – продолжал свои необязательные думы Горчаков. – И все, кто сидит в этом зале, не понимают, зачем нужна эта дорога. Зачем все эти зимники по тайге и болотам, тысячи тонн гравия и песка? Зачем восемьдесят тонн рельсов на километр непонятно куда ведущего пути?

Почти сорок тысяч человек, неглупых и не уродов, вертятся, как мартышки, в гигантском заполярном зоопарке по воле одного человека. Изображают, стараются угадать, чтобы было как-нибудь похоже на то, как он задумал... Он – с доброй улыбкой и вкусной трубочкой – на самом верху, возле него озабоченные генералы и маршалы, возле генералов – полковники и майоры, а ниже всех копошатся неразличимые уже им, бесчисленные и серые, как вши, людишки.

Два здоровых бригадира втихушку играли рядом с Горчаковым самодельными картами в очко. Третий, за ними, торчал головой из заднего ряда, вел счет и записывал проигранные вещи.

– Еще!

– Дама!

– Еще!

– Туз! Перебор, сука! Сдавай! Пиши – носки шерстяные...

Горчаков подумал, что ему тоже нужны шерстяные носки к зиме, игрок рядом ловко, не мельтеша руками, тасовал колоду. Голос Клигмана звучал ровно, Горчаков прислушался.

– ...отсутствие вольнонаемных специалистов для обслуживания механизмов вынуждает строительство использовать для этой цели квалифицированных заключенных (небольшими группами в три-пять человек), что приводит к резкому повышению лимита охраны. – Майор приостановился, будто обдумывал следующую фразу. – Можно было бы расконвоировать таких заключенных, но большой процент контингента был завезен из тюрем и может быть расконвоирован только после отбытия двух третей срока. – Он опять призадумался и добавил негромко будто самому себе. – Хотя бывают исключения.

В этом зале было немало таких исключений, один из них – расконвоированный фельдшер Горчаков с двадцатипятилетним сроком. В лагерной жизни исключений было больше, чем правил.

За окном послышался громкий мат. Мужик в санях, верхом груженных дровами, разворачивался и задел санки с вороним жеребцом. Вороной дернулся, зацепил веревку на дровах, метровые поленья посыпались в санки и вокруг. Мужики злобно матерились, кони топтались, косясь друг на друга и на мужиков, скрипели полозья по снегу, сбруи звенели. Все совещание с живым интересом смотрело на улицу. Кто не видел, спрашивали тех, что сидели у окон.

– Этот с дровами подъехал разгрузаться, а тот стоит, как мутила, даже не подвинулся! – говорил кто-то негромко, но хорошо слышно.

– Так начальника возит!

– Гля-гля, ща он ему поленом!

– Да не-е, не подерутся! Тертые оба!

Начальник первого лагеря Воронов тоже, застыв, смотрел за окно, повернулся в зал, постучал стаканом о графин с водой:

– Не отвлекаемся, товарищи-граждане, какие вопросы будут к докладчикам?

– Разрешите, товарищ подполковник, – поднялся немолодой коренастый старший лейтенант – начальник лагпункта. – Я по проектной документации... Мы уже рельсы начали класть, а трасса на местности не обозначена! Кто отвечать будет, если что?

– Работайте спокойно, постановлением Совмина технический проект по железнодорожной линии должен быть представлен 1 марта 1952 года.

– И что же, три года ждать? – старлей осмотрел сидящих в первом ряду, ища поддержки. – У меня план по укладке полотна на этот год! Товарищи изыскатели?!

– Да-да, – нахмурился Воронов, – у вас сложный участок. С ноября, товарищи, проектное бюро начнет работать в Ермаково, будем быстрее получать документацию и рабочие чертежи...

– У меня в лагере есть спецы, мы и сами могли бы провести изыскания... но ведь как? – старлей замялся.

– Пятьдесят восьмая? – спросил Воронов.

– Так точно.

– Не пойдет! Игарка заворачивает такие инициативы, дорога стратегического значения, сами понимаете. Садитесь, товарищ старший лейтенант, план по полотну мы выполним, не сомневайтесь!

Зал зашумел, проблема была острая, рабочих чертежей не было ни в одном лагере. Без них же строили большое депо, лесозавод и центральную электростанцию. Позади Белова шептались:

– Пошли на хер, наложим рельсы, где придется, а вы думайте! На 501-й так же было – ни проекта, ничего, давай, гони! Целый порт построили, склады, железку к ним, и все бросили на хрен!

Белову хотелось обернуться и посмотреть, кто это говорит, а может и возразить ему, но не стал. Ясно было, что сзади урки. Руки тряслись от злости.

– Разрешите, товарищ подполковник, – в середине зала встал бородатый дядька в выцветшей энцефалитке^[64]. – Хочу заступиться за изыскателей! Геологические условия будущей трассы исключительно сложные, дорога пойдет по пылеватым суглинкам и торфам, по переувлажненным и льдонасыщенным местам, а это вам и непредсказуемые бугры пучения, и термокарстовые провалы! Вот в таких условиях мы вынуждены прокладывать трассу! А еще должны предусмотреть использование местных строительных материалов! А если их здесь нет?! Это непростая работа, товарищи, по трассе есть торфяные болота, которые не замерзают даже после месяца сорокаградусных морозов! Изыскательские работы по такому проекту должны были начаться минимум пять лет назад, а вы хотите, чтобы мы за три месяца все выдали!

Несколько минут в зале стояла тишина. Как будто обдумывали сказанное. Потом одновременно появилось несколько рук в задних рядах. Встал высокий нарядчик кавказской внешности, заговорил с легким акцентом:

– На восьмом лагпункте к первому сентября обещали поставить два барака, до сих пор не начали строить. Гражданин начальник, мы могли бы своими силами их поднять, нужны только материалы... В палатках холодно и тесно, люди не отдыхают! Мы мост строим – важный объект!

Воронов посмотрел на Клигмана. Тот потер подбородок, поправил очки и пожал плечами:

– Придется вам эту зиму в палатках провести, лагпункт временный... можем выделить еще одну большую палатку для расселения, войлок и фанеру. Многие эту зиму будут жить так и даже в полуземлянках. И охрана тоже, вы же видите...

– А столовая?! Бригады едят у себя на нарах, в палатках, еду возят в термосах, она холодная... – Нарядчик-кавказец смотрел строго.

– Я запишу вашу просьбу, попробуем решить...

– Какие ограничения по морозу? – выкрикнул кто-то.

– Наружные работы не будут производиться при температуре минус 45 градусов без ветра, – Воронов погасил папиросу в переполненной пепельнице, – или минус 35 градусов при ветре 10 метров в секунду. При более теплой погоде работы будут проводиться с перерывами для обогрева.

В рядах потянулись руки, их становилось все больше.

– Ну, давайте закругляться, – Воронов решительно поднялся из-за стола. – По питанию, спецодежде и бытовым условиям обращайтесь по службе.

Все стали вставать, застучали стулья, заговорили. Белов с Грачом, толкаясь в дверях и коридоре, вышли на улицу. Ветер со снегом ударил в лицо, поднимали воротники, закуривали. Пока сидели на совещании, снежку подвалило. Улица побелела, даже как будто почище стало.

– Ну все, зима пришла! – Белов плотнее надвинул ушанку.

– К старухе под бок пора!

Подтверждая слова Грача, откуда-то сверху, с крыши сорвало клубы снега и за белыми вихрями стало не видно другой стороны улицы. У доски «Наши успехи и планы» курили мужики:

– В следующем году будем в ресторане отмечать конец навигации! Видал – сдача в августе! – кто-то тыкал пальцем в плакат.

– Что, Сан Саныч, давай ко мне? Отметим?! – подошел Петя Снегирев. – Полдня просидели...

– Здорово, Петь, – протянул руку Белов. – Комнату получил?

– Нет пока, к Новому году обещают, Гальке вот-вот рожать, тянет чего-то... Айда с нами, Иван Семеныч! – настойчиво приглашал Петя.

Бригада человек в пятьдесят заключенных шла мимо неровным строем с лопатами на плечах. Ушанки опущены и завязаны под подбородком – все по инструкции – бушлаты застегнуты на верхнюю пуговицу. Репродуктор на столбе играл бодрую песенку из кинофильма

«Веселые ребята»: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любят песню деревни и села...» Шли строители светлого будущего, комсомольцы-добровольцы, как они сами шутили про себя и как не шутя писали газеты. Конвоиры с автоматами, сзади – проводник с собакой. Последними, в коротких, ловких полушубках, два сержанта. Смеялись чему-то, увидев офицеров, вспомнили о службе:

– Шире шаг, равнение держать! – гаркнули в один голос.

Овчарка дернулась вперед, натянула поводок и с коротким рыком достала высокого прихрамывающего мужика с ломом на плече. Клок из ватных штанов повис, как заячий хвост. Мужик охнул испуганно, побежал, громко матерясь и подпрыгивая, отчего еще больше стал похож на зайца, догнал последнюю шеренгу. Вышедшие с совещания дружно рассмеялись. Мужик с ломом обернулся и тоже ощерился – видно, собака не достала.

В дверях показался Клигман, он натягивал меховые перчатки и недовольно поглядывал на темнеющее снежное небо.

– Здравия желаю, товарищ майор! – козырнул Белов.

– Здравствуйте, Сан Саныч! Ну что, начинается? – Яков Семенович кивнул на непогоду. – Три года уже здесь, а никак не привыкну... В Ялте сейчас бархатный сезон!купаются, на песочке лежат!

– Яков Семеныч, я что-то Мишарина не вижу, Николая? Не уехал?

– В Игарке он, на совещании проектировщиков. Зачем он вам?

– Да так... не виделись с лета, он меня рисовать собирался... – улыбался Белов.

– Я вас попрошу, Саша, если будете видеться, не выпивайте с ним... – Клигман посмотрел на Белова со значением. – Сами поймете, о чем я.

– Неужели? – не поверил Белов. – Он вроде не пил совсем.

– Научился. Думал, ему здесь Эйфелеву башню дадут построить. Ну, до свидания, про Турухан думайте!

Пошли к Пете. Темнело рано, Ермаково уже светилось фонарями. Огни тянулись неровными улицами вдоль Енисея и уходили поперек, как будто вглубь тайги. Улица была отстроена недавно. По одной ее стороне красовались брусовые дома сложной формы, с просторными крылечками и козырьками, с затейливыми фронтонами. Над ними явно

трудился архитектор, и Сан Саныч опять вспомнил про Мишарина. По другой же – один за другим выстроились обычные, длинные засыпные бараки с входами с двух сторон. Мусор валялся, опилки досок и бревен, ни кустика, ни деревца нигде не было, только свежоошкуренные столбы сиротливо торчали да фонари на них качались, подсвечивая косо летящий снежок.

Заканчивался рабочий день, вольные возвращались по домам, и большинство окон уже весело светились, топились печки, дым валил из труб. Последний барак, видно, только заселялся, разгружали машину, подъехала еще одна с полным кузовом узлов и ребятишек, бородатый мужик без шапки, забравшись на лестницу, приколачивал что-то под крышей и громко матерился. Электричества здесь еще не было – керосиновые лампы желтками теплились в нескольких окнах. Две женщины в ватных штанах и телогрейках пилили бревно двуручной пилой и что-то горячо обсуждали. Тротуары так и не доделали, а где-то их уже успели изломать, но грязь уже замерзла крепко.

– Быстро строят! – радовался Белов. – В начале сентября эту улицу только начинали!

– Ну, зэки на лесозаводе в три смены брус гонят! – поддержал Грач. – Только строй!

– Да зэки и строят, – недовольно перебил Петя, – я хожу смотрю! Лес непросохший, со щелями кладут. После таких строителей еще...

– Штукатурить надо, ясное дело, – перебил Грач, – дранкой обивать и глиной мазать! Глина-то есть тут?

Улица с типовыми домами кончилась, началась самозастроенная, разудалая Бакланиха. Она занимала неудобные для казенного строительства склоны ручья и берег озера. Избушки и балки, сколоченные из обрезков, обложенные мхом полуземлянки – все стояло криво-косо, как будто само выросло из земли, и тоже дымило печными трубами. Название свое Бакланиха получила от воровского «баклан» – неопытный вор, хулиган, тут жизни было больше. За заборчиками брехали собаки, возились люди, где-то хрюкал поросенок, худая рыжая кошка сидела на столбе забора. То тут, то там торчали уцелевшие деревья и кусты. Возле одного домика стояла лошадь с бочкой, из нее раздавали воду, ребятишки, обливаясь, бегали с ведрами.

В огромном палаточном городке, где жил Петя, тоже готовились к долгой зиме. Утеплялись мхом, запасались углем и дровами. Свет везде горел на столбах. Полтора месяца назад, Белов это ясно помнил, поселок был раза в два меньше. Радиотарелка на столбе громко передавала классическую музыку.

– Ну, давайте за окончание навигации! – Петя аккуратно разливал по стопкам.

Выпили, захрустели квашеной капустой. Галя принесла кастрюльку с дымящейся картошкой в мундире. Грач полез рукой, подхватил, обжигаясь и перекидывая с руки на руку:

– Старуха-то моя теперь тоже накопала, засыпала уже в погреб, приеду, туруханской селедочки ей привезу бочонок... Вы-то не солили?

– Где нам ее держать? – Петя снова взялся за бутылку.

– Соседи погреба выкопали и все там хранят... – не согласилась Галя.

– Да дураки твои соседи, померзнет у них все! – отмахнулся Петя и поднял стопку.

Чокнулись. Белов не стал закусывать. Он невольно следил за Галиной и представлял себе Николь с животом и что она вот такая же хозяйка – кормит его друзей и недовольна им, что он не выкопал погреб... Он слышал, как кровь толчками радости и тоски приливает к сердцу. Вспоминал и вспоминал, истязая себя. Картинка с Николь наконец так ударила в голову, что он сам себе налил полную рюмку и молча выпил. Грач с Петей с недоверием посмотрели на Белова, Петя взял бутылку, изучил ее и налил всем.

– Вы закусывайте, Сан Саныч! – Галя всех капитанов звала на вы.

Белов машинально зацепил вилкой капусты и стал жевать. Хмурый сидел, внутри вулкан клокотал, и эта капуста так к нему не подходила, что он чуть ее не выплюнул. Он не видел Николь с восемнадцатого июля. Почти три месяца...

– Сан Саныч! Ты чего сегодня какой? – услышал Белов голос Грача. – Петя за наследника предлагает выпить!

– Парень будет – Ермаком назову! – Петя встал и поднял рюмку. – Жизнь тут мировая будет! По железной дороге все привезут – радиоприемник, проигрыватель, даже телевизор в каждой семье будет!

Мы свои уже начали выпускать! Сам по радио слышал: «В продажу поступили первые телевизоры марки КВН-49А!»

– Ты, Петька, чего сказать-то хочешь? У меня рука затекла! – Грач подмигнул Гале на подпившего мужа. – За Ермака так за Ермака! – он выпил свою рюмку.

– Я магнитофон «Днепр» в «Посылторге» заказал! – хвастался Петя. – Видел у одного на «Марии Ульяновой». Вот такие катушки крутятся, и музыка играет. – Он вдруг встрепенулся. – Галька, куда пластинки дела, давай пластинки будем слушать...

– Ты же их все побил, Петя, на день рождения выпивали... Они же тебе надоели?!

– И Шульженку разбил? – не поверил Петя.

– С нее и начал...

– Ничего, новые купим, на совещание поеду в Красноярск... – Петя взялся за бутылку, но она была пуста. – Так, сидеть, ребята, я сейчас!

– Не надо бы тебе, Петя... – запротестовала Галина.

– Нам хватит, Петро! – поддержал ее Белов. – Завтра рано уходим.

– Ну... – Грач подкурил козью ножку и стал подниматься. – Спасибо хозяевам за хлеб-соль!

Вышли на улицу, распрощались. Метель поутихла, легким снежком пробрасывала.

– Ты, Семеныч, Николь не помнишь? – спросил Сан Саныч почти нечаянно.

– Кого? – у Грача самокрутка то разгоралась, то тухла. – От-т, газету подмочил, видать...

– В Дорофеевском когда были, там одна такая темненькая была.

Грач смотрел, не понимая.

– С короткой стрижкой, как мальчишка, и глаза еще такие... не помнишь?

– Я, Сан Саныч, женский пол вообще перестал отличать. А чего, понравилась она тебе?

– Да, – Белов вздохнул удрученно, – понравилась – не то слово...

– Поночевал, что ли, с ней? – житейски просто спросил Грач.

Белов молча смотрел, не обиделся на старикову прямоу, покачал головой.

Буксир ярко освещался береговыми прожекторами, часовые стояли на пристани у аккуратно сложенных ящиков. Заключенные неторопливо разгружали трюмовую баржу. Снег пошел гуще, кружился над мерзлой зимней водой. Снежинки липли к не гладкому уже, но будто шершавому телу реки.

– Шуга^[65], похоже! – перегнулся Грач через фальшборт. – Бечь надо в Игарку, Сан Саныч, кабы не прихватило!

Белов кивнул согласно, всю дорогу он думал о своем.

Колючие снежинки налетали из-за рубки и вдруг замирали растерянно, зависали без ветра и тут же, подхваченные порывом, уносились вверх. И каждую в ярком свете прожектора было отлично видно и, когда замирала, можно было взять рукой. Но ветер надавал, буйно и бессмысленно все перемешивал, и опять не понять ничего было. Отяжелевшему от дум Сан Санычу казалось, что и в жизни его все вот так же. Ничего не ясно... Влюбился в ссыльную, сам не понимая, как... А тут еще Зинаида, как наступающая зима... Уже завтра он должен был быть у нее... Что делать? – сорвалось с языка вслух. Он оглянулся – никого не было, Грач спустился в командирский кубрик, негромко пыхтела паровая машина, да кочегар, скрипуче открыв металлические заслонки топки, начал отбивать шлак.

20

Декабрь сорок девятого выдался отменно злой. Уже с конца осени встали сорокаградусные морозы, временами и за пятьдесят переваливало. В двух ермаковских школах – одна из них была толком не достроена – на радость ребятишкам то и дело отменяли занятия, и они целыми днями сидели дома и бегали друг к другу в гости. Печки топились сутками, но даже в брусовых домах холодные углы промерзали и покрывались льдом.

Сугробы прикрыли поселковую грязь, но только навели видимость порядка. Большие палатки, прикопанные и обложенные мхом, домишки, балки, землянки и полуземлянки, еще какие-то неведомые архитектуре строения стояли где угодно и как угодно. Кто как хотел, так и лепил свою нору, торопясь спрятаться от зимы. Только

на подъеме от Енисея да в центре, где были заложены две длинные улицы, поселок был похож на поселок.

Улицам дали названия, а домам номера. Эта сложная условность путала людей, поскольку номера были не везде, то есть у каких-то домов, не говоря о балках, их не было, а улицы были кривы, а часто и не похожи на улицы. Там, где должна была продолжаться Норильская, шла уже Павлика Морозова, которая вскоре по неизвестным причинам превращалась в Овражную. Долгое время были две улицы Щорса и совсем не было улицы Ленина.

Найти по адресу было сложно, и все же, благодаря почте, люди стали сознавать себя ермаковцами – им приходили письма на их адрес! В ответных письмах они хвастались, что еще весной здесь ничего не было, а теперь Ермаково, если считать вместе с зэками, уже больше Игарки и Туруханска вместе взятых. Хвастались и огромной стройкой всесоюзного значения. Не только вольные, но и охранники и заключенные гордились в своих письмах одним и тем же. Их адреса, правда, были короче, и поселка Ермаково на конверте не значилось, да и про стройку им писать не полагалось.

В обычной поселковой жизни появились твердые ориентиры. Горчакова, отправляя на санзадание в Ермаково (а такое случалось нередко – медработников не хватало), чаще инструктировали «на пальцах», чем вручали адрес: «От Управления второй барак в сторону автобазы...» или «Поселок ПГС пройдешь, не доходя пекарни, сразу за землянками...». «Промтоварный», «Большой» и «Дальний» продуктовые магазины или «Продуктовый возле бани» были верными ориентирами. Достраивалось большое здание Дома культуры, и обещали построить стадион. Все, даже дети, хорошо знали, где находится «первый», а где «второй» лагпункт, а где «женская зона» – они располагались на окраинах поселка, и к ним вели широкие – по пять человек в ряду – хорошо натоптанные дороги.

Общественная баня на берегу работала так: понедельник-среда-пятница-воскресенье – мужской день, вторник-четверг-суббота – женский.

Снег на улицах чистили тракторами, по обочинам и особенно на перекрестках образовались высокие, под крыши домов сугробы, с которых дети катались на ледянках. Грузовики ездили, трактора и кони

таскали сани или волокуши, а начальство пользовалось конными саночками.

Больницу для вольных сдали к празднику Революции 7 Ноября. На сто коек, с большой операционной, новым рентгеновским аппаратом и зубным кабинетом на два кресла. Прибыли терапевт и зубной врач – семейная пара из Ленинграда по распределению после института. Он – после фронта, искалеченный, с некрасиво обожженным, мясного цвета лицом, она – молоденькая, симпатичная и так ласково поглядывающая на мужчин, что у всего начальства сразу заболели зубы.

Торфяные болота наконец схватились и застыли в бетон, через них прочистили зимники, грузовики и трактора потащили грузы по тайге – в лагпункты и на трассу. Работы на объектах не прекращались – за половину декабря всего три дня активировали^[66] из-за холодов, но и те заставили отработать в выходные. Технику, лошадей и собак берегли, люди же выходили. Работали, грелись по теплушкам и снова работали.

Из-за сильных морозов на земляных работах был ад – ни кайло, ни лом не брали грунт. Жгли большие костры, отогревали, снимали мгновенно замерзающий слой и снова наваливали сухостой целыми стволами и сами грелись. Толку было немного – план горел. Бригадиры вечерами мудрили с нарядчиками, придумывали несуществующие работы по расчистке снега, подноске материалов вручную, по корчеванию тайги, которой там давно уже не было, и еще всякую другую «заправляли туфту» и «раскидывали темноту»... и так выполняли производственные задания. Начальство обо всем знало, но закрывало глаза – и план выполнялся на сто, сто двадцать и даже сто пятьдесят процентов. От его выполнения зависели размер пайки заключенных, зарплаты и премии вольных, должности и новые звездочки на погонах высокооплачиваемых сотрудников Министерства внутренних дел.

Шура Белозерцев, раздетый и без шапки, в клубах теплого воздуха выскочил из барака на улицу. Глянул на мутноватую сквозь морозную мглу луну, выплеснул из ведра грязную воду на сугроб и принялся к температуре. У него был свой термометр: Шура слушал, как щиплет в носу и горле и как вообще можно дышать. Сегодня нельзя было – сухой колючий ком сразу встал поперек. Градусник на

столбе показывал минус сорок семь. Вернулся в барак. Шура, несмотря на поджарость, был немерзлявый, чуть только потер уши, тряхнул головой и снова стал наливать горячую воду в ведро.

В операционной, отгороженной дощатой стеной от остального барака, стонал капитан Балакин. Тихо стонал, но не замолкая. Глаз распух и вылез так, что смотреть было тяжело. Кажется, он уже совсем плохо соображал. Горчаков сидел рядом, держал какую-то примочку, сам читал учебник по хирургии.

Белозерцев сунулся было с тряпкой, но передумал, прикрыл дверь и, подхватив парящее ведро, перешел в палату. Снова встал на карачки. Капитана привезли позавчера, глаз уже был опухший, но он им еще смотрел и пытался шутить, потом все стало хуже. И вот он третий день ждет операции. Говорили, сам Богданов должен прийти, а чего-то не было его, вроде к какому-то начальству в Норильск вызывали... – Шура открыл печку, поковырял раскаленный уголь кочережкой, добавил пару совков свежего и снова взялся за грязную половую тряпку. Если хирурга не пришлют, помрет капитан, сколько таких околело.

Все это было привычно, и от простого аппендицита или от водянки люди погибали, а капитана с почерневшем глазом было жалко. Красивый, справедливый мужик, бригадиром был в бригаде у вояк, Шура у него работал. Ни сук, ни воров не боялись. «Героя Советского Союза» имел.

Белозерцев обдумывал все это машинально, как машинально дрючил затоптанные, захарканые, испачканные, где кровью, где гноем, а где и недонесенным дерьмом полы, но озабочен был другим.

Пришла Белозерцеву с воли трепетная весточка. Медсестра Рита принесла вчера утром аккуратно оторванную четвертушку из школьной тетрадки, и клочок этот второй день огнем жег Шуре ляжку. Всю ночь сегодня юлой вертелся, все придумывал, как за зону выскочить на часок.

Три дня всего и поработала у них в лазарете медсестричка Полина Строева, и было это два месяца назад, а вот прислала записку, и Шура махом с резьбы соскочил. Месяц в ШИЗО готов был вытерпеть, только бы к ней слетать. Полина прямо писала, звала повидаться, а если получится, то и на ночку. Руки у Шуры тряслись, как у семнадцатилетнего, он и полы-то теперь мыл – за час до подъема

встал! – чтобы эту тряску унять. Надо было как-то извернуться, да ничего путного в голову не лезло. Просить Горчакова о таком, подставлять его Шура не смел, лезть под проволоку ночью было страшновато, могли и стрельнуть. Его время от времени отправляли за зону по разовым пропускам, вот об этом он теперь и тосковал. И зло возил тяжелой тряпкой по загаженному, местами обледеневшему полу и бегал выплескивать воду.

Стылая ночь стояла над лагерем, и еще часа три после общего подъема будет ночь, вот теперь бы и сгонять. Шура знал барак Полины в поселке, если бегом припустить, то минут десять. И он в который раз прижимался мысленно к ее теплой груди и заглядывала в мягкие глаза.

И дело было не в «ночке», разбудило это неожиданное письмецо подзабытое, но живое, не вытравленное окончательно чувство. Удивительное чувство, неизвестно где и дремлющее в человеке и непонятно как являющееся вдруг между мужчиной и женщиной. Никогда Белозерцев, даже про себя не произнес бы слово «любовь», совсем не подходящее к заключенному и его жизни. Но это была любовь, Шура очень чувствовал ее в себе, трепетная, в небесные выси поднимающая задроченного зэка от его скотской жизни. Все бы отдал Шура за это теплое прикосновение воли.

Лазарет, устроенный в большой палатке, был битком. Нары типа «вагонка» стояли не только вдоль стен, но и в середине, сейчас здесь больше шестидесяти больных помещались и шесть человек персонала. Свободными оставались только узкие проходы да немного места вокруг трех металлических печек, обложенных кирпичом. Возле печек было жарко до пота, по углам подмерзало, а во всем лазарете такой духан стоял, что ноздри разъедало. И гнили, и пердели, и под себя ссали... И сортир на шесть очков здесь же за брезентовой перегородкой был выкопан.

Всю левую сторону занимали прооперированные. Аппендициты, геморрой, выпадение и ущемление прямой кишки. От тяжелой работы с этим добром привозили каждый день. Здесь же лежали и просто с огнестрельными и ножевыми ранами. Через проход за перегородкой из простыней стонали заразные, рожистые больные. Стонали, и подвывали от изнуряющей, почти не прекращающейся боли, и матерились злобно на весь белый свет.

Зубы приходил лечить зубной техник из третьего лагпункта. Лечить он не умел и не считал нужным, а рвал с удовольствием и потом показывал кровавый зуб несчастному пациенту и, вложив в руку, велел унести с собой. Так он отбивал желание обращаться с зубами – на зоне было немало специалистов, которые обычными плоскогубцами рвали не хуже.

Кроме начальника санчасти необразованного фельдшера Горчакова, в лазарете работали дневной и ночной санитары, малолетний дневальный Сашка и две вольные медсестры – высокая и спокойная Рита и молоденькая пугливая Маруся.

Белозерцев, домывая пол, увидел, что дальние деревянные бадьи для мочи стоят полные, крикнул зло и громко дневального:

– Сашка, суч-чий кот, Пушкин парашу выносить должен?!

Сашка не отозвался.

– Сашка, сучонок!

– На ларе с углем спит... – подсказал чей-то измученный болью голос.

Сашка был четырнадцатилетний худощавый мальчишка, получивший год лагеря за побег из ФЗУ^[67]. Бежал в родную деревню, к мамке, которая отдала его в училище, потому что дома жрать было нечего. Мальчишка был ласковый, беззлобный и беззащитный. На Игарской пересылке им попользовались урки. В лазарет привезли с распухшей задницей и разрывами прямой кишки. Богданов сам делал операцию, Горчаков ассистировал, а потом оставил пацана помощником по барак. Должности такой не было, но Сашку никто не трогал, и тот стоял на раздаче, топил печку и бегал с мелкими поручениями на вахту или в штабной барак. Работник он был плохой, не то чтобы ленивый, но мог заснуть где угодно, даже, как вот сейчас, в коридоре, на угольном ларе – за углем пошел и прилег, а там минус десять, не меньше. Как и все зэки, Сашка любил только две вещи – жратву и сон. Полы ему мыть Белозерцев не доверял – только грязь развозил. Шура сам их драил, удовольствия в этом не было никакого, ясное дело, но Шура любил, когда становилось почище, и видел, что Горчаков доволен. Да и больные посматривали на него вроде и с недоумением – чего мужик корячится, но и одобряли чистоту.

Белозерцев нащупал под бушлатом тощее, будто резиновое Сашкино ухо, потянул легонько и зашептал прямо в него:

– Еще раз, бля, увижу, на общие отправлю! Понял меня?!

Сашка соскочил с ларя, сунулся было к двери, но вспомнив, что пришел за углем, открыл крышку. Белозерцева он не боялся. Получал от него каждый день, но злобы в санитаре не было и даже наоборот – родной отец к Сашке так хорошо не относился.

Пришли медсестры, принесли запах воли. Дневальные притащили из столовой чай, нарезанные хлебные пайки на больших подносах и сахар. Сашка встал на раздачу, а Белозерцев, наказав ему выстирать бинты и следить за парашами, быстренько выпил чай, надел под бушлат чистый белый халат и пошел к земляку Женьке Малых.

Женька был не просто земляк, они жили в Куйбышеве на соседних улицах. Тогда, правда, они не знали друг друга. Женька, в отличие от Шуры, успел демобилизоваться и хорошо погулять, отходя от войны и душой, и телом. Шура за это время сменил два лагеря, один другого хуже, прошел три пересылки и четыре разные бригады.

Они познакомились на этапе, в трюме теплохода «Иосиф Сталин», и Шура всю дорогу до Ермаково расспрашивал, как там теперь на его улице и в их доме и не встречал ли он такой симпатичной рыжеватой женщины средних лет с двумя белобрысыми пацанами шести и восьми годков? Спрашивал про рынок: почему там жратва? Работают ли теперь, как раньше, пивные в парке над Волгой и все так ли хорош закат солнца на ту сторону реки, когда сидишь в такой пивной? Там все было так же, Женька рассказывал с подробностями, привирал весело, особенно про свои похождения с девушками. В лагерь он загремел за драку с милиционерами, как раз в этом парке в центре города, но больше за пьяные высказывания в адрес родной власти во время этой драки. Он, с одной стороны, был сыном большого начальника и, скорее всего, поэтому получил всего семь лет, а с другой – ловок был пристраиваться. Только прибыли в Ермаково – это был его первый лагерь, – Женька устроился писарем, а вскоре стал личным секретарем начальника лагеря Воронова.

Белозерцеву Женька был должен – зачем-то срочно надо было лечь землячку в лазарет и Шура ему помог. Лагерный долг – дело святое, Шура теперь очень рассчитывал на разовый пропуск за зону – секретарю начальника это было раз плюнуть.

Было уже семь утра, у вахты ярко было освещено прожекторами, а за ней снова черная, как деготь, ночь и плохо освещенный поселок.

Хорошо, что темно, думал Шура, поглядывая за колючку, – с закрытыми глазами дорогу найду, по темноте и вернуться можно. Он не сказал ничего Горчакову, потому что нечего пока было сказать, с пропуском могло не получиться.

Барак земляка располагался в такой же палатке, что и их лазарет, но обитали здесь не семьдесят, а дай бог человек двадцать. В одной половине была парикмахерская, где и жили стригали, в другой – высокие чином лагерные придурки. Стены были хорошо утеплены фанерой и войлоком, а все помещение разделено на комнатки по четыре человека. Вместо нар – кровати с матрасами и бельем. Работу они начинали часа на два позже. Шура сунулся в нужную комнату:

– Здорово, земля! – шепнул вежливо.

Женька с товарищем пили крепкий чай в стаканах с подстаканниками. Он замолчал, увидев Белозерцева, забыл, видно, что приглашал. Шура не смутился, присел по-свойски на койку, бросил рядом ушанку и достал папиросы. На стол не смотрел, чтобы не подумали, что ради харчей пришел. Закурил. Огляделся. Ему почему-то приятно было побыть с лагерной придурней – какое-никакое, а начальство. Покивал одобрительно головой – хорошо, мол, живете, имеете право.

– Вы пейте, пейте, я попил... – Шура расстегнул бушлат.

– Эй, дедко! – стукнул Женька в фанерную стену. – Притащи кипятку.

Он приоткрыл тумбочку, достал коляску «краковской» и сунул Шуре:

– Возьми с собой, да чайку попей с булкой, маслице самарское мажь, – он кивнул на стол.

Булка была белая, как сметана, с румяной коркой, не из посылки, понятно, а свежая, из пекарни, пахла, как сатана, на всю комнатку, даже запах колбасы перебивала. Шура сглотнул слюну, впихнул колбасу во внутренний карман бушлата, проверил, не вывалится ли, и кивнул: можно, мол, и чайку. Не жадный земляк, будет возможность, тоже отблагодарю, подумал Шура и снял бушлат, оставшись в белом халате поверх телогрейки. Дедок-дневальный вошел с большим чайником. Женькин товарищ, тоже, видно, штабной писарек, допив чай, вышел молча.

– Как там дома? Новости есть?

– Да чего там, все куем, да пашем, да хренами машем! – Женька налил заварки, подвинул Шуру масло. – Мать пишет, троллейбус запустили электрический, через весь город можно проехать.

– О! – удивился Шура, громко отхлебывая горячий чай и обдумывая, как свернуть к делу.

Булка с маслом во рту таяла, колбаса из-за пазухи пахла зверски, с ней неплохо было бы к Полине заявиться, все не с пустыми руками. И хоть вчера полдня об этом думал и сейчас по дороге микитил, а не знал, что сказать. Прямо нельзя было, начнет расспрашивать, что да как...

– Я думал, спиртику притащишь... или у вас с этим туго? – Женька прихлебнул чай.

– Что ты, нас каждая собака обнюхивает... На учете все!

– Кто у вас теперь начальник?

– Кто и был. Горчаков. Старший фельдшер.

– Ну-ну, я помню. И что же он, сам не пьет?

Женя сегодня многовато задавал вопросов. Белозерцев не понимал, чего это он. Дурака включил на всякий случай:

– Не пьет и других не пожалеет. Бесполезно, – приврал, строго нахмутив брови.

– Что за человек вообще?

– Тринадцать лет по зонам, серьезный мужчина! Без образования лепила, а весь лазарет на нем, и лечит, и операции, какие попроще, делает. Богданов, когда сложную операцию ведет, только Николаича в ассистенты требует, а иногда и спрашивает еще, как, мол, вот тут-то надо, что там в «Хирургии» Руфанова написано? Я тоже, бывает, помогаю маленько, иной раз целый таз нарежут!

Женя не очень его слушал, думал о чем-то.

– А чего ты про него? Может, бумага какая? Не переводят его? – Шуру ни с какой стороны не нравился Женькин интерес.

– Да нет, я так... – Женя опять посмотрел внимательно, потом согнулся по-свойски и зашептал одними губами: – Хотел с ним насчет марафета потолковать, поговори, чтоб нам встретиться, а я вам в штабе помогу, у меня там все прихвачено. Того-сего можно подкинуть...

Шура, услышав про марафет – к Горчакову блатные постоянно с этим подъезжали, – напрягся. Не то что расхотел про свой пропуск говорить, но это были дела разного размера. Пропуск касался лично

его, Шурки Белозерцева, и Георгия Николаевича ему никак сюда не хотелось приплетать. Вспомнил, как Женька, когда «припухал» у них неделю, тоже много чем интересовался. На стукача он не похож был, но уж больно деловой, Шура таких не любил, деловые иногда хуже стукачей. Он сделал вид, что не понял про марафет:

– Что в штабе говорят, скоро нас в деревянный барак переведут? Мы инфекционных должны отдельно держать. С лета обещают...

Он помолчал и, неожиданно осмелев, брякнул:

– Я к тебе за пропуском пришел – не сделаешь разовый на сегодня? Часа на два-три. К обеду вернусь...

– Зачем тебе?

– Товарища проведать... санитаром у нас работал... – Шура сам слышал собственное вранье, отвернулся, опустил руку и почесал ватные штаны внутри валенка.

– Бабешку завел? Хорошо подмахивает? – ехидно оживился земляк. – В женской общаге живет... Люська или Оксана?

– Сделаешь пропуск? – перебил Шура, Полю называть не хотелось.

– А ты со своим фельдшером переговоришь?

Белозерцев сосредоточенно думал. Не было ничего особенного в просьбе земляка, с кем угодно другим он его свел бы за этот пропуск, но... Горчаков был в сознании Шуры человеком особым, Женьку к нему нельзя было допускать.

– Шприц-другой смогу увести, больше не выйдет...

– Это не интересно, вы же все время получаете.

– С Горчаковым не выйдет, он и большим вора́м отказывает, не станет говорить... – Шура сказал это и по внимательным глазам Женьки понял, что воры его и подсылают к Горчакову.

– Святого из себя строит?!

– Да нечего ему и строить, вторую ночь возле Балакина сидит... Был бы гондон, не сидел бы!

– Что, он живой еще, капитан?

– Пока живой, глаз, видно, удалять будут. Сделаешь пропуск-то?

– Не знаю, – Женька посмотрел внимательно и неожиданно спросил: – Ты в самоохрану^[68] не хочешь?

Шурка не сразу понял. Потом понял и глаза прищурил не очень вежливо, даже чай отставил подальше.

– Чего ты? Жить за зоной будешь, и баба твоя под рукой всегда... Вояк с небольшими сроками берут, сейчас согласишься – целых полгода скидки! На вышке стоять – не кайлом махать!

– На вышку, значит, меня определяешь, землячок? Как падлу последнюю? – у Шуры глаз задергался, он забыл, зачем пришел.

– Да брось ты! Сам вот сию думаю, все не в зоне пухнуть! С оружием, на вышке! Почти воля!

– И что же ты, в таких же, как ты, мужиков стрелять станешь?

– Не хочешь – не стреляй!

– А если кто к бабе ползет под проволокой? На сладкое свидание?

– У каждого своя доля... Сейчас при лазарете кантуешься, а если на общие пошлют?

– Вот эт-то землячок у меня! – Шура поднялся и стал шарить по карманам бушлата, лицо перекопилось от негодования. – Мне и сказать-то нечего... Старшину разведки в вертухая обрядил! Да я об эту самоохрану даже ноги не вытру!

Он так волновался, что не сразу достал колбасу, дернул в сердцах, разломил пополам, один кусок упал на пол. Он подобрал и положил их на край тумбочки перед Женей.

– Тебе, друг, только колбасой за это платят или деньгами тоже?! – он хотел сказать что-то совсем обидное, но удержался и, нахлобучив шапку, быстро шагнул за дверь.

Выскочил в темень морозной улицы, заспешил, стал надевать варежки, руки тряслись от злости, от несделанного дела, одна варежка на снег упала. Он поднял. Остановился. Дохнул морозным паром, страшно злясь на самого себя – пошел за должком да за пропуском, возвращается, как кот помойный. Как Манька с мыльного завода! Записка Полины вспомнилась, аккуратная такая записочка...

Развернулся к земляку. Челюсти стиснуты, глаза зло прищурены. Женька спокойно одевался.

– Так, значит, должки возвращаешь? Дай пропуск!

– Ты, Шура, идиот, видно, на всю голову! Иди отсюда! – земля стоял безбоязненно, спокойно застегивал блатной тулупчик.

– Ну-ну! – Белозерцев обескураженно поскрипел зубами, потискал кулаки в карманах и вышел.

По дороге успокоился. Сам себя кругом виноватым почувствовал – пошел по бабьему делу, Горчакова втянул, как последний мудака... С земляком поссорился – была рука в штабе, теперь нет. Потом вспомнил про самоохрану и крепко, в несколько этажей выматерился – хер с ним, с этим земляком! Не выгорало повидаться с Полей. Он ухмыльнулся кривовато и горестно, представляя ее милое улыбающееся лицо и разные округлости под белым халатом.

– Звала меня Поля, да я не на воле! Эх-эх! – врезал Шура себе по ляжкам и бегом припустился в санчасть.

Горчаков сидел с книгой и со скальпелем в руках. Рассматривал рисунок устройства глаза, прослеживая скальпелем какие-то сосуды. Поднял на Шуру сосредоточенный взгляд:

– Шура, собери все для перелома. С крыши кто-то упал. Вместе пойдем.

– Куда же, Георгий Николаич? – не верил своим ушам Шура.

– В поселке, у Дома культуры...

Уже через час Горчаков с Белозерцевым, миновав вахту, шагали по улице Ермаково. Остановились, пропуская припозднившуюся бригаду. В густых сумерках полярной ночи заиндевшая от мороза, припорошенная снежком колонна, казалось, была составлена из призраков – серые ватные штаны и бушлаты, серые казенные маски от мороза на лицах. И валенки были серыми и громко скрипели окаменевшим от мороза стеклянным сумеречным снегом.

Шел уже десятый час, до первых признаков зари, рассеивающей ночной мрак, было еще часа полтора. Шура все не решался спросить, только хмурился и прятал лицо под маской. Лицо Георгия Николаевича тоже было скрыто, только брови и ресницы побелели от дыхания.

– Полина Строева у нас работала осенью, – освобождая рот от маски, заговорил, собрав все свое мужество, Белозерцев. Глаз у него трусливо и лихорадочно горел. – Помнит меня. Письмецо написала! – Он переложил чемоданчик с медикаментами в другую руку и похлопал себя по карману.

– Что? – скосил на него глаза Горчаков.

– Сбегать бы мне на часок, да как вот, думаю... Она пишет, мол, сохнет по мне, забыть не может... – Шура и сам начинал верить своим словам. – В двух шагах живет! – ткнул чемоданчиком в проулок.

Горчаков продолжал идти молча, только головой кивнул. И Шура вдруг, как-то разом успокоился. Кивок этот Горчаковский означал: не суетись, Шура, ради бабы не стоит, а будет возможность – сходишь! И Шуре надежно стало от этих правильных слов Николаича, будто отец родной приласкал и не осудил, а поддержал.

Водовоз, по-бабьи перевязанный толстым платком, даже глаз не было видно, шел им навстречу рядом с санями и подхлестывал бедную лошадь. Полозья на таком морозе не скользили по снегу, а скрипели-орали на всю ивановскую – проще было по песку волочь, прикинул Шура. Деревянная пятидесятиведерная бочка косила сани на один бок – льда на нейросло больше, чем внутри было воды. И прорезь наверху бочки, и лошадь были прикрыты попонами. Морда же и мохнатый круп животного густо белели от куржака.

Подошли к объекту – длинному брусовому зданию, в котором ни печей еще не стояло, не прорезаны были двери и окна, а над половиной здания только начали крышу. С этих-то стропил и упал пожилой сухощавый работяга и умудрился сломать лучевые кости на обеих руках. Вся небольшая бригада по такому случаю собралась у раскаленной до алого сияния печки-бочки. Горчаков осторожно ощупал опухшие переломы и открыл чемоданчик – достал временные шины.

– Иди сходи, если недолго... – негромко сказал Шуре. – Если что, скажешь, я послал за обезболивающим.

Шура благодарно сверкнул глазами в темноте и направился к выходу, но вдруг вернулся:

– Вы тут без меня...

– Иди-иди, я побыстро... К часу надо в лазарете быть.

Внутри барака было глаз коли, слабый свет шел только из дальнего конца, над которым не было крыши. Холодно было, почти как на улице. Горчакова с упавшим устроили возле буржуйки. Посматривали на работу фельдшера, переговаривались. Кто-то жалел немолодого мужика, кто-то прикидывал, сколько тот будет на шконке припухать-отдыхать и не прицепится ли особист, не объявит ли саморубом^[69]. Бригада вся была из бытовиков с одним охранником, который ходил с ними не первый уже раз и хорошо всех знал. В нарушение инструкции он сидел тут же, среди мужиков, на заботливо подставленном пеньке, в распахнутом тулупе и с автоматом на коленях

– тоже грелся. И хотя кто-то из бригады в ласковый момент мог у него и махорочки стрельнуть, совсем рядом со стрелком никого не было. Не ближе двух-трех метров – привычка, которую заключенные навсегда усвоили в первые же дни неволи.

Двухсотлитровая буржуйка, жрущая по кубометру дров за смену, затихала, бока ее из алых потемнели до рубиновых, в помещение возвращался мороз.

– Подбрось, кто там? – стрелок внимательно глядел, как Горчаков бинтует руку.

Бригадники негромко заспорили меж собой, стрелок поднял на них голову. Дрова – обрезки строительных досок и бруса, собранные с утра по объекту, кончились, бригадники косились на штабель новенького бруса. Стрелок понял их, усмехнулся и, расстегиваясь на ходу, пошел по малой нужде в дальний конец барака. Один брус в три ножовки тут же распилили на чурбаки и, наколов, запихали в печку.

Горчаков не торопился, опытной рукой щупал сломанные кости, наматывал расползающийся стираный бинт. Также закуривал, поглядывая на огонь, гудящий в печке. Он наблюдал отношения работяг и охранника и шкурой старого лагерника ощущал, что жизнь на строительстве наладилась. Как будто все, и работяги, и охранники, договорились меж собой против малоумной и бесчувственной государственной машины. Неразбериха и нервы первых месяцев улеглись, и наступили странные, но всем понятные и почти справедливые отношения несвободных людей. Всем было одинаково плохо. Горчаков рассматривал бригадников и вернувшегося к печке охранника – одни лица, одни и те же крепкие рабочие плечи и руки. Только и разницы, что один в тулупе, а другие в бушлатах. Любой из них мог влезть в этот тулуп и повесить на плечо автомат. А стрелка легко могли нарядить в серые ватные одежды.

Шура мелкой нервной перебежкой летел к зазнобе, и побежал бы, да не хотел привлекать к себе внимания. В голове мешалось все подряд – что будет говорить, если нарвется на патруль, что скажет Поле. Хотелось что-нибудь повеселей: здравствуй, Поля, вот и я! Позвала, и я явился! Как жила ты без меня? Прямо Пушкин... Поля ты моя, Полюшка, вольная ты моя волюшка! Он вспоминал, как подбивал к ней клинья, как шуточки шутил, а у самого все кишки выворачивало от сладкого преступного желания. И все сомневался – она была

молоденькая, симпатичная медсестра, окончившая училище, а он вояка, грязный санитар подай-принеси... Вчера вечером он тщательно выстирал трусы и майку и разрезал новые портянки, которые до этого на ноги не наматывал, а использовал как шарф.

Полины не было дома!

Она была на работе в больнице для вольных! Шура не поверил, открыл дверь к соседям, он пытался быть вежливым и улыбался, но глаз у него, видно, нехорошо блестел, да и смотрели на зэка в белом халате с недоверием, так, что он даже достал и показал пропуск. Полина соседка выглянула из их комнаты и тоже строго за ним наблюдала. Шура помялся, проглотил матюшки, скопившиеся на языке, и поплелся на улицу. До больницы, где сейчас была Поля, уже не успеть было.

Он и хотел идти быстро, понимая, что Горчаков ждет, да ноги не шли, убитые горем. Так повезло, так размечтался-разохотился, что и предположить не мог, что она не сидит и не ждет его. Эт-то какой же мутила! Три дня суетился, и на тебе! Черная тоска текла по душе!

Ни одного патруля не встретилось. Горчаков ничего не спросил. И так все было понятно. Когда подводили переломанного к вахте, из-за поселка краем неба вставала морозная, желтоватая заря. Другой раз Шура и порадовался бы ей, а еще тому, что побывал за колючкой, но теперь только вздохнул тяжело, устраивая мужика на нары. Лицо Шуры было серым и думы такими же...

Был бы свободный, полетел бы к тебе на крылушках, дорогая моя Полюшка. Все бы бросил и полетел. Прижал бы тебя к груди своей так, чтобы все кишочки в тебе затрепетали, и заглянул бы в глаза твои, – такое-всякое вертелось в голове, но тут же и ребятишки, и незабвенная жена Вера Григорьевна приходили на ум. Как-то ей теперь там... тоже небось несладко... так же, может, мужичка себе манит! Горькие мысли скребли Шурину душу когтями тоски. Полюшка да Верушка, кто нас развел, разделил, кому, какому зверю поганому в ножки за это кланяться?!

В два часа из ермаковской больницы пришел санитар, сказал, что хирург Богданов в Игарке и ни сегодня, ни завтра его не ждать. Горчаков стал совещаться со старшей медсестрой. Глаз надо было удалять, капитан кончался. Белозерцев сунулся к нему, он лежал и не стонал, не бредил уже, а только открывал и закрывал оскаленный и

перекошенный рот. Может, и под морфием был. За стеной Горчаков вполголоса объяснял Рите, как устроен глаз с обратной стороны и как, предположительно, надо ему будет идти скальпелем, который совсем для этого не подходил.

– А вы уже удаляли, Георгий Николаич? – слышался недоверчивый голос Риты.

– Никогда и не видел вынутого глаза. Даже коровьего.

Через двадцать минут Шура внес в комнатку Горчакова баранью голову с двумя глазами. Коровьей не было. Через знакомого хлеботореза вышел на повара, все рассказал, как есть, и еще добавил хороший пакетик заныканного веронала. И вот принес. Горчаков нахмурился, когда Шура размотал грязную простынь, но вскоре они с Ритой уже ковырялись с пучеглазыми бараньими зенками. Шура, представлял, что они то же самое будут сейчас делать с капитаном, и не мог смотреть. Проверил кипятилок, параши и печки. Заставил Сашку отпарить и отдолбить загаженные за день толчки, керосину долил в движок, дающий свет.

Пока работал, думал про неслучившуюся свою любовь, про землячка расторопного, про годики свои поганые, еще четыре их, развеселых, маячило впереди. До неведомого какого-то пятьдесят третьего определено было старшине Белозерцеву куковать в этих краях.

Было уже полпятого, на улице серые дневные сумерки снова сменились мгlistой, беззвездной заполярной ночью. Он вспомнил про капитана, сунулся к Горчакову. Тот, не включая света, лежал на узких нарах в своей комнатке, даже головы не повернул. Шура притворил фанерную дверь. Ритка шла по коридорчику, что-то марлей прикрыла на подносе. Спирт развела, понял Шура.

– Ну что? – спросил скорее взглядом, чем голосом.

– Ужас, Шура, Георгий Николаич сам изрезался, пока вынимал да чистил. Я еле стояла... – Она не договорила, толкнула дверь плечом и вошла в темную комнатку Горчакова.

Шура понимающе поскреб подбородок, зашел в операционную к капитану. Тот спал на койке, голова перевязана. На столе и возле куски окровавленной ваты валялись, грязные бинты. Шура удивился, что всегда аккуратный Горчаков не распорядился, чтоб убрали. Он налил кипятка из бойлера, разбавил холодной и, стараясь не шуметь, стал

прибираться. За перегородкой в комнатке Горчакова сначала было тихо, потом послышались очень понятные Шуру шорохи. В висках застучало, он быстро дособирал бинты и вату и вышел в коридорчик. Тут было не так слышно. Белозерцев встал, охраняя комнату Горчакова, хмурясь и успокаивая себя, но сам все прислушивался невольно и нервно. То же и у него должно было случиться сегодня.

По проходу, широко расставляя ноги (пораженная рожей мошонка висела почти до колен), шел к Шуру больной «западэнец» Мыкола Ковтун. Хмурый, с давно небритой измученной болью мордой, молча глянул на полку с пол-литровыми банками сульфидиновой эмульсии.

– Бери, – кивнул ему Шура.

Рожистых больных ничем не лечили, как-то оно само проходило, мазали только воспаленные места этой мазью, сильно вонявшей рыбьим жиром. И ожоги, и раны ей же мазали. Мыкола выбрал самую полную банку и, все так же раскорячившись, поплелся обратно в полумрак храпящего, кашляющего, стонущего и матерящегося лазарета.

Они курили у входа с Ритой. Медсестра была одного роста с Шурой, с большой грудью и приятной задницей, и еще Белозерцеву всегда нравилось ее лицо. Не так, как нравятся красивые лица женщин, а как-то по-другому, уважительно нравилось. Он затягивался и думал, как бы ловчее порасспросить Риту про Полину, но та рассказывала что-то о своей пятилетней дочке, потом заговорила о Горчакове:

– Нельзя Георгию Николаевичу оперировать, он и спокойный вроде, а видно, что все через себя пропускает. Богданов – тот как камень всегда... – она поежилась от холода, посмотрела на Шуру темными и честными глазами.

Шура постоял еще некоторое время, раздумывая, он, из-за утренней своей неудачи, хотел подкатиться к Ритке, она бы, наверное, не отказала, – да чувствовал неловкость. Николаич большое дело сделал, его было за что пожалеть, а меня-то за что? Разохотившийся Шура невольно гладил глазами пухлые Риткины прелести. И думал, что хорошая она баба, всех жалеет, иной раз и несчастному больному какому даст, а блядью язык не повернется назвать. И Георгий Николаич ее уважает, уверенно заключил Белозерцев.

– Мы с начальником стройки, с Барановым – однодырники! – с глупым отчаяньем похвастался вдруг Шура.

Рита слушала молча, докуривала папиросу.

– Помнишь, у нас летом Жанна лежала, актриса расконвоированная из театра?

Рита кивнула спокойно.

– У нас с ней любовь была, она мне потом записки передавала... – соврал Шура про записки, записка была одна. – А у нее как раз был роман с самим Барановым... Нежная была женщина, с обхожденьями любила. Так что... однодырники, выходит.

Неожиданно из-за угла вывернулась тень ночного санитаря Васьки Трошкина. Оба вздрогнули, Шура не сразу его и узнал – из носа и со лба сочилась кровь, а губы были разбиты в хлам и раздулись, как у коровы, – под тусклой лампочкой, освещающей вход, Васька выглядел негром с картинки.

– Ты чего это? – удивился Белозерцев.

Васька стоял словно пьяный, смотрел то на Шурку, то вбок, потом разлепил кровавый рот:

– Ох, меня сейчас и отпиздили, Шура...

И замолчал. Шура тоже молчал. Думал, что лучше бы его так... чем эта злая история с Полей. Морда заживет, душа нет.

21

Ася с Колей шли пешком из Большого театра. Было морозно, Москва начала наряжаться к Новому 1950 году. Но прежде, 21 декабря, ей предстояло встретить семидесятилетие Иосифа Сталина. Огромные портреты вождя уже висели на фасадах домов. На Манежной мужики в валенках и телогрейках монтировали конструкцию с солнечным живописным полотном высотой с пятиэтажный дом. На нем самые счастливые в мире люди шли на демонстрацию и несли большой портрет Иосифа Виссарионыча. Все улыбались – сильные и смелые мужчины, красивые женщины и радостные дети. Автомобильные краны держали опасно гнущуюся конструкцию.

Коля по дороге насчитал четыре елки, самая большая уже переливалась гирляндами цветных лампочек напротив Большого

театра. Вокруг нее специально поставленные ларьки собирались торговать сладостями и книгами. В скверике у метро «Арбатская» елку только привезли и поднимали из кузова. Как будто все те же мужики в телогрейках тянули дерево подъемным краном, расправляли мохнатые ветви, подпиливали что-то. Милиционеры оцепили сквер. Командовал работами высокий человек в белых бурках, хорошем пальто с серым каракулевым воротником и каракулевым же пирожке. Все его слушались. Время от времени человек снимал перчатку и отогревал уши и нос. Ася тоже грела нос и смотрела на елку, но думала о своем.

Сегодня утром после урока генерал протянул ей конверт с деньгами и посмотрел как-то особо пристально. И даже предложил подвезти до дома. Ася отказалась, растерянно улыбаясь. В конверте вместе с деньгами оказалась записка – генерал уверенным почерком признавался, что она ему нравится, и прямо назначал свидание. Обещал помощь, «финансовую и любую другую». Ася целый день помнила о записке, это было не первое такое предложение. Мужчины на фронте стали решительны в этом вопросе, многие вели себя очень откровенно.

И Ася, изводя себя, представляла, что у ее детей появляется крепкая одежда и обувь, а у нее работа... и всегда будут керосин в керогаз и продукты, кроме картошки и хлеба... Генерал мог бы переселить их в отдельную квартиру, где у Натальи Алексеевны была бы своя комната. Ася словно смотрела интересное и очень глупое кино, которое не надо, но очень хочется посмотреть еще чуть-чуть. Хотя бы в фантазиях увидеть свое семейство сытым и обутым... За это я должна быть его любовницей, приходить к нему куда-то, – она была уверена, что у больших военных обязательно есть такие специальные квартиры. Генерал выглядел мужественно и даже чем-то нравился Асе. Временами ей тяжело бывало, ее собственное, живое и здоровое тело ныло и изводило помимо ее воли. Грубоватая беременная жена генерала пришла в голову. Она за что-то не любила рояль, двигала из угла в угол, расставляла на нем фарфоровых пастушков... может, и ревновала к Асе. Ася через силу улыбнулась собственным фантазиям. Это были не мысли, это было просто так, нервное. Очень-очень нервное.

Сегодня в театре во время спектакля она думала про «любую другую помощь». Генерал мог иметь в виду Геру. То есть Горчакову

можно было облегчить жизнь или даже вытащить из лагеря...

– Мам! – звал Коля.

Ася вздрогнула всем телом, будто ее застали за чем-то крайне неприличным. Елка уже стояла вертикально, мужики курили, задрав головы. Она крепко взяла сына за руку и потянула к арбатским переулкам. В голове все стоял щедрый молодой генерал, он наверняка навел о ней справки и знал про сидящего мужа.

– На чем мы остановились? – Ася забыла, о чем они говорили по дороге.

Коля шел, задумчиво пиная снег и льдинки:

– Мы говорили про Бориса Годунова и царевича Дмитрия...

– Ну да... – ответила Ася машинально. – Я рада, что тебе понравилась опера.

– А когда он погиб, он был такой, как я?

– Нет, ему было всего девять лет.

– А где был его отец? – Коля остановился и поднял голову на Асю.

– Его отцом был Иван Грозный, он умер к тому времени. Ты почему спрашиваешь, ты же все это знаешь?

– А мой отец... – Коля не смотрел на мать.

– Что твой отец? – Ася испуганно инстинктивно глянула по пустынному Сивцеву Вражку. Они как раз сворачивали в темную арку, ведущую во двор.

– Он – враг народа? – голос Коли гулко прозвучал под аркой.

– Тише! – Ася остановилась, притягивая его к себе. Коля виновато, но и упрямо глядел.

– Ты нас обманывала, потому что не хотела говорить этого? Он правда геолог?

Ася молчала, ошарашенная вопросом. Момент, которого она избегала, но со страхом ждала, настал так неожиданно. Ее нагромождения правды и полуправды о Гере давно уже начали разваливаться. Она стояла в замешательстве: Коля, с его наивным стремлением к справедливости, мог проговориться в школе.

Она потянула сына из громкой арки во двор. Тут тоже было темно, только у подъезда горела тусклая лампочка. От растерянности сели на лавочку. Коля заговорил сам:

– Сначала я ждал, что он вернется из экспедиции... потом, после войны ты сказала, что он на ответственном задании, и об этом ни с кем

нельзя говорить... Я тебе верил и привык жить без него, – Ася сидела в страшном напряжении, в тысячный раз проживая собственное вранье, не глядела на сына. – Я ни с кем не говорил о нем. Меня спрашивали, я молчал, иногда говорили, что у меня нет никакого отца... – Коля сидел ссутулившись, как старик, челка выбилась из-под шапки. – Баба другое говорила о нем... и ты сама... Недавно ты сказала Лизе Воронцовой, что он не пишет.

Коля смотрел спокойно, без вины, что подслушал, но и ее не винил, что обманывала и скрывала. В его тревожном ребячьем взгляде читалась сейчас вся та бесчеловечная сложность их изуродованной жизни, в которой ложь была обязательна. Он прижался к матери, обнял, гладил ее руку в латаной-перелатанной и все равно дырявой варежке.

– Я никому не скажу. Кто мой отец? Он в тюрьме?

По Асиным щекам покатались слезы. Она сидела не шевелясь. Потом решительно достала платок, вытерлась. Заговорила, но слезы набухали вновь:

– Твой отец – Георгий Николаевич Горчаков. Знаменитый геолог. Он красивый и светлый человек. Все, что я о нем рассказывала, все правда. Его арестовали тринадцать лет назад... – она замолчала. – Он ни в чем не был виноват.

Коля смотрел застыв, не отрываясь. Откуда-то взявшиеся черные птицы зашевелились вдруг, загалдели в темноте на деревьях, Ася испуганно подняла голову, опять обернулась, вглядываясь в темноту двора.

– А ему еще много сидеть?

Ася молчала, в воздухе возникло тяжелое напряжение. Она сжала его руку:

– Двадцать три с половиной года.

– Так долго?! – вырвалось у Коли.

– Я тебя очень прошу, не говори ни с кем о нем... Скажи, что он нас бросил... – она заглядывала ему в глаза. – Тебе хочется, чтобы у тебя был отец... мне тоже хочется. И он у тебя есть! Я рада, что ты спросил, теперь мы сможем говорить о нем.

– Правда?

– Ты мне не веришь? Честное слово, я давно этого хотела... Только не при Севе и не при бабушке, пожалуйста.

– Почему?

– Сева еще мал... Как ему объяснить, что об этом нельзя говорить?

– Он многое понимает... Ты же говоришь, что отец не виноват?

– Ты мне не веришь?

– Но почему тогда нельзя?

– Коля, – зашептала Ася с испугом, – у нас, если человека осудили, значит, он виноват!

– Если ты знаешь, что отец невиновен, мы можем написать письмо Сталину. Я думал об этом. Люди пишут, можно обратиться через газету.

– Это не поможет. Когда ты думал об этом?

– Почему не поможет?!

Ася молчала.

– А правда, что вокруг так много врагов?

– Что за вопросы? Откуда ты это взял?

– В газетах и по радио все время говорят... Мы обсуждали...

– Что ты! – она схватила его за руку и с ужасом притянула к себе. – С кем ты говорил, Коля?

– С Третьяковым... не бойся, у него нет родителей, он живет с бабушкой.

– С Третьяковым? А больше ни с кем?

– Нет.

Ася высморкалась и заговорила спокойнее:

– Твой отец не просто честный, он очень много сделал, но об этом нельзя говорить вслух. Иначе заберут меня.

– Тебя?! За что?!

– За то, что я считаю его честным.

– Да?!

Коля помолчал, потом обнял мать, прижался:

– Он правда приезжал к нам четыре года назад?

– Коля... – Ася притянула к себе сына, – все-все, что я тебе рассказывала о нем, все – правда, просто я о чем-то не рассказывала. Как же иначе родился Сева?! Я тогда не могла сказать тебе всего, помнишь, ты был под Горьким, в интернате с усиленным питанием.

– Я помню. А почему он не приехал ко мне?

– У него не было документов, только справка об освобождении. Он должен был получить паспорт, иначе его могли арестовать за нарушение режима пребывания. Он очень хотел поехать к тебе, готовился к вашей встрече, расспрашивал про тебя. Это мы с Натальей Алексеевной отговорили ехать, мы не думали, что его арестуют.

– А за что его арестовали? Он же ничего не успел сделать!

– Я не знаю простого ответа на эти вопросы, давай не сейчас. Но я рада, что мы заговорили, я чувствовала себя преступницей, что обманывала. Теперь мне будет легче, но тебе станет трудно. Тебе придется врать в школе...

– Ты напишешь об этом отцу?

– Такое нельзя писать, и он не отвечает на мои письма.

– Почему?

– Это все очень непросто...

– Расскажи о нем.

Ася молчала задумчиво, пожала плечами.

– Я не знаю, какой он сейчас. Когда его арестовали, он был очень жизнерадостный, большой выдумщик и очень умелый – все делал своими руками, а внешне такой, знаешь, скромный математик в круглых очках. Он был очень выносливый, один ходил в многодневные маршруты в тайге... Он убил медведя из обычного револьвера! Это очень опасно...

– Ты мне это рассказывала...

– Ну да... – она вдруг улыбнулась. – Однажды он ехал по тундре на оленях и у него развалились санки... совсем развалились! То есть олени есть, а ехать не на чем! Знаешь, что он сделал?

– Нет.

– Сел на оленью шкуру, взял в руки вожжи и так, на шкуре, проехал почти десять километров до жилья. Я тебе этого не рассказывала, это было в тот год, когда мы поженились... – Ася радовалась, что вспомнила этот случай. – Он уже тогда был большим начальником в институте Арктики. Его очень уважали.

– Уважали и арестовали... За него не могли заступиться?

Ася осеклась в своей радости. Вздохнула.

– Коля, его обвинили... – Ася растерянно терла лоб, – например, в том, что он скрыл полезные ископаемые! Ты понимаешь, какая это

мерзкая ложь?! Он открыл два главных месторождения в Норильске, там целый город выстроили! А он сидит в лагере!

– А что значит «враг народа»?

Ася удивленно, со строгостью во взгляде уставилась на сына.

– Ты что имеешь в виду? Кого? Отца?

– Нет, я просто... так говорят... Почему так говорят?

– Враг народа – это тот, кто бесчеловечными идеями, пропагандой и насилием превращает целый народ в скот, в озверевшее стадо! – Она помолчала, соображая, поймет ли он. – Коля, это все сложно, давай потом поговорим. Мы уже долго тут шепчемся.

– Сталин тоже говорит о врагах народа...

Ася только крепче сжала его локоть.

– Почему ты молчишь? Ты не любишь Сталина? Ты никогда не говорила о нем хорошо...

– А ты любишь?

– Я не знаю... Его все любят.

Ася опустила голову, посидела так, потом подняла уставший взгляд на сына, улыбнулась:

– Пойдем домой, я замерзла, у нас есть вареная картошка с очень вкусной квашеной капустой, меня сегодня угостили... К Ершовым родственница приехала из деревни, такая огромная тетка – в дверь не проходила, пришлось снимать косяки, представляешь? Я к ним прихожу, а двери нет, и в кухне на двух стульях сидит такая невероятная и веселая тетка. Я тебе теперь много расскажу, я попробую, пойдем.

Ночью Ася сидела за письменным столом с газетой, раскрытой под настольной лампочкой. В Ленинграде шли массовые аресты. С Колей надо было очень серьезно поговорить. Она страшно трусила и совсем уже не рада была, что они заговорили о Гере. Надо срочно все объяснить, предупредить его...

Она замерла, уставившись в освещенный лампой кружок газеты. Ей предстояло рассказать сыну правду. О жизни, в которой кругом была ложь.

Вспомнился вдруг конвоир в ссылке, простой деревенский парень с обычным, даже добродушным лицом, он сильно толкнул ее

прикладом в торчащий живот! Он бил еще не родившегося Колю – сына врага народа! И потом смеялся, когда она схватилась за живот...

22

– Зэка Горчаков, статья пятьдесят восемь, десять, по вашему приказанию прибыл, гражданин начальник, – Горчаков не переступал порога, говорил громко, с покорной интонацией, с какой эту фразу обычно и произносили.

Иванов, на погонах которого уже были три звездочки старшего лейтенанта, что-то писал, поднял голову, дождался, пока скажет до конца. Кивнул небрежно, чтобы вошел. На лице обычное презрительно-брезгливое выражение. Он все-таки считал себя самым умным здесь – книжки читал, не матерился... Георгий Николаевич вошел и остановился в трех шагах перед письменным столом. Начальник особого отдела положил перед собой пухлое «Дело Горчакова Г. Н.». Папка была другого цвета, отметил Горчаков. Новую завел.

– В Норильск вас запрашивают, гражданин Горчаков... – Иванов смотрел изучающе и не так презрительно, как обычно, на вы назвал... – Из управления геолого-поисковых работ, ваши прежние товарищи вас вызывают. Там же у вас должны быть товарищи, вы руководили... – он нажимал на слово «товарищи», высматривая что-то в лице Георгия Николаевича.

Горчаков глядел по-прежнему с покорной тупостью. Это была неожиданная новость и, как все неожиданное, не нравилась ему. Он думал о санчасти, о своей маленькой комнатке в лазарете, где можно было побыть одному, о сложившейся здесь жизни...

– Я не полечу, гражданин старший лейтенант... – вырвалось у Горчакова наудачу. Он отлично знал, что ничего не решает.

– Я так и думал! – Иванов, просветлев отчего-то лицом, откинулся на спинку стула, за портупейные ремни себя подергал. – Я многое про вас понял, Георгий Николаевич, а почему вы отказываетесь?

Горчаков молчал, наклонив голову. Неделю назад Иванов расспрашивал его о работе в Норильске. Он не запомнил разговора, его

и не получилось, только неприятный осадок остался – какой бывает после шмона, когда роются у тебя в тумбочке и вещах.

Для з/к Горчакова существовало два Норильска. Один сохранился в памяти как просто тундра, просто рыбная речка Норилка, палатки под горой Шмидтиха и ничего больше. Ни колонн людей в ватниках, ни колючей проволоки, ни конвойных – это была чистая свобода, к которой прилагались разум, руки и надежные товарищи... Теперь же на этом месте стоял другой Норильск. В нем распоряжались люди, обученные ненавидеть свободу.

Георгий Николаевич с интересом посмотрел на Иванова. Перед ним сидел как раз такой – сытый, аккуратный человек, одетый во все казенное, с огромной зарплатой, спецпайком и странной, до неузнаваемости изувеченной совестью. Этот человек не допускал свободы как явления.

– Я смотрел ваше дело. Вы безусловно талантливый человек, но как вы распорядились вашим талантом?! – старший лейтенант сделал значительную паузу, и Горчаков увидел по его лицу, что лейтенант своим талантом распорядился куда лучше. – Советская власть в тяжелейшие для нее годы учила вас геологии! И что же? Чем вы ей ответили?

Горчаков уже слышал похожие слова неделю назад, он вдруг поднял голову, что-то недозволенное для зэка гневно сверкнуло во взгляде, но тут же и погасло:

– Я, гражданин начальник, в отличие от вас, своего дела не видел... Но предполагаю, там моя черная неблагодарность ясно изложена.

– Задело! Иронизируете! В вашем деле все есть, это правда... Вам еще придется ответить перед людьми будущего. Наверняка читали Герберта Уэллса? Придет время, люди восстановят все, что было до них, и роль каждого будет ясна. И если вы действительно такой великий геолог, как показывают ваши товарищи, то ваших потомков спросят: а почему же он не работал на общее дело? Почему не подставил плечо в трудные для Родины времена?!

Лейтенант поднялся из-за стола. Он был чуть пониже, но смотрел жестко, сверху вниз. Перед ним сейчас был очень мелкий человечешко.

– Я вам скажу, почему вы отказываетесь. Вы враг нашего большого дела! И хлеб народный зря едите! Вы настоящий враг, зэка Горчаков, странно, что вас не расстреляли в тридцать седьмом. Мягкость проявили. Дали возможность перековаться.

– Или пулю пожалели... трудные времена были, гражданин начальник, не на всех хватало! – в голосе Горчакова появились твердые, издевательские нотки. Он уже не опускал взгляд.

– А я стрельнул бы! – щеки Иванова бледнели и пошли розоватыми пятнами. – Если бы тогда застал вас у костра, одной тварью, одним гнилым доктором геологии на земле меньше бы стало! Рука бы не дрогнула!

– Двумя тварями, гражданин начальник... Там еще гнилой старшина разведки был!

Иванов едва держался, нервно нагибал голову, будто бычился, глаза непроизвольно жмурились и моргали сами собой. Как он ненавидел Горчакова в этот момент! Как он жалел, что опоздал родиться! Как завидовал отцу! Тогда, в тридцатые, уничтожались враги и предатели, тогда решалось многое, если не все. Иванов даже во снах видел себя чистильщиком этой нечисти – надо было искоренить всех дочиста! Не только за дело, но и всем, кто косо смотрел – расстрел! Кто смел открыть свой поганый рот – расстрел! Не довели дело до конца... Горчаков смотрел в пол, но лейтенант хорошо чувствовал, что этот зэк мнит за собой свою правду. Ее и надо было вырвать, эту их правду, со всеми кишками, чтобы ее никогда больше не было.

– Я пытался найти с тобой контакт... думал, как интеллигентные люди поймем друг друга. Но ты уже никогда не изменишься! Я для тебя палач! – он успокаивался, во взгляде снова появилась брезгливая снисходительность. Подошел к окну и заговорил почти спокойно. – Мой отец был чекистом! И мой сын будет чекистом! Ради всеобщей чистоты мы сделаем нашу работу, и таких, как ты, не останется! Если не я, то мой сын это доделает!

Горчаков молчал. Все, что говорил сейчас старший лейтенант, было искренним. Каждое утро он вставал на час раньше заключенных, закалял свое тело и дух. Делал из себя человека будущего. Так же он думал и про окружающих – что их тоже можно сделать другими, пересоздать по образу и подобию... какому? Георгий Николаевич

поморщился, освобождая голову от лишних мыслей. Ему давно хотелось курить.

Иванову больше нечего было сказать этому фельдшеру. Он решительно сел за стол, взял ручку, школьной перочисткой аккуратно вычистил кончик пера и макнул в чернильницу:

– Свободен! Завтра в двенадцать. С конвоем!

Горчаков сидел в хвосте самолета на откидной металлической лавке и смотрел в иллюминатор. Валенки, ватные брюки, бушлат сверху телогрейки, на шею под бушлат намотан вязаный шерстяной шарф, Рита принесла утром... за два часа до подъема пришла. В вещмешке хорошие ботинки, шерстяная, почти новая тельняшка, курево и буханка хлеба. Его верные лагерные инстинкты собрали все самое необходимое.

Конвоир, в длинном черном тулупе и с пистолетом в кобуре, дремал на лавке напротив. «Ли-2» летел невысоко и небыстро, погода стояла хорошая, несмотря на полярные сумерки, видно было далеко. Когда набрали высоту, на востоке над горизонтом появилась неяркая часть солнечного шара, лежащего где-то за сероватой, мгlistой тундрой. Впереди же, на севере, горизонт был темным – они летели в полярную ночь.

Самолет не отапливался, громко дребезжал металлическими лавками, в щели задувало, и вскоре все – на борту было человек двадцать – стали основательно подмерзать. Поглядывали друг на друга, терли щеки и заматывались шарфами.

Через полчаса после взлета из кабины появился второй пилот в унтах, меховых штанах и меховой куртке. В руках – бидончик. Глаза поблескивают весело, видно, сам уже принял.

– Спирт! – показал бидончик и крышку от него, как стакан. – Холодно будет!

– Хороший? – спросил дрожащий женский голос.

– Первостепенный спиртыга – как антиобледенитель получаем! Девяносто пять градусов!

Пассажиры трясущимися от холода руками брали «рюмку». Спирт был неразбавленный, у непривычных женщин скручивал лица в страшные гримасы, пучил глаза и широко раскрывал рты, закуской

служила большая, разрезанная на дольки и уже побелевшая от мороза луковица. В самолете было минус сорок, не меньше.

– Нам нельзя, – конвоир хмуро качал головой, нечаянно объединяя себя с Горчаковым.

– Да куда он отсюда денется? – улыбался пилот, наливая в крышку. – Еще два часа лететь! Давай!

Конвоир строго покосился на соседей, заглянул в крышку и осторожно взял ее толстыми меховыми варежками. Горчакову так и не дал.

Георгий Николаевич мерз, но как будто и не очень. Задремал даже, вспоминая колымские зимы, когда зашкаливало за шестьдесят. На Колыме холодно было всегда – в жилых бараках, на разводах, в шахтах, но особенно когда перевозили машинами или в медленных тракторных санях. Однажды его везли полярной ночью в открытом кузове грузовика. Он не был готов к дороге – бушлат изношенный, плохо простеганный и со сбившейся ватой, такую же ватную ушанку продувало насквозь, на руки он намотал какие-то тряпки, но не было валенок, на нем были ЧТЗ^[70] на резиновом ходу... Ехали долго, тогда-то он и понял, что холод тяжелее голода, голод можно выносить много дней, к голоду даже можно привыкнуть... Он окоченел до безразличия, а возможно, уже и начал замерзать, но продолжал чувствовать холод. По ночному небосклону полыхало зеленоватое полярное сияние. Оно было такое большое, что даже голову не надо было задирать. Он просто глядел на причудливо льющися и вибрирующие сполохи, и благодарил за них, и прощался с этим миром, даже, ему это хорошо помнилось, думал про себя, что замерзнуть – это неплохо. Еще лучше было бы уснуть и замерзнуть, но он не засыпал. Его везли в расстрельный лагерь на Серпантинку... Оттуда не возвращались. Ему в очередной раз повезло – конвой решил, что он замерз, и он не доехал до Серпантинки. Его оставили возле маленькой придорожной комендатуры... Дальше он не помнил, должно быть он «ожил» и какая-то добрая душа затащила его в тепло. Он очнулся в больнице с тяжелыми обморожениями, а там повезло с доктором, который не стал ничего ампутировать. Он лежал почти три месяца, а потом еще столько же кантовался в лазарете помощником.

В иллюминаторе под гул моторов проплывала серая тундра, пестроватая от полос приречных кустарников. По этим же темным

черточкам, как небритость торчащим из-под снега, можно было угадать округлые пятна озер и болот. Сейчас все было однообразно-ночным и безжизненным.

Георгий Николаевич окидывал мысленным взором гигантские просторы низовьев Енисея и понимал, что само существование человека здесь изменилось. Никогда тут не было столько несвободных людей. В поселки и фактории зачем-то навезли несчастных ссыльных, Норильский комбинат окружен лагерями и без этих лагерей его бы не было... В Игарке, в Дудинке – все держалось на каторжном труде, опутанном колючей проволокой.

Совсем недавно тут жил крепкий, умелый и свободный народ – оленей держали, добывали рыбу, морского зверя, песка. Жизнь была трудная, но понятная и честная. Если Вася-эвенк обещал забрать тебя через месяц на каком-то притоке Пясины, то можно было не сомневаться: Вася или кто-то из его родственников обязательно там ждал. У поселков, у людей были лица. Совесть и чувство собственного достоинства были не пустыми словами. Горчаков невольно улыбался, вспоминая свою работу здесь, знакомых... Были личности, известные на весь Таймыр. Жили сыто. Рыба, мясо никогда не были проблемой и ничего не стоили. Теперь же сама людская жизнь с ее простыми интересами и радостями исчезла, не стало тех лиц. Кругом нужда, полуголодное существование, воровство, и ложь, и убийства, о которых раньше не могли и подумать.

Когда коммунисты везли сюда колючую проволоку, они хотели сделать лучше...

Горчаков отвернулся от иллюминатора и снова задумался о Норильске. Как все старые ээки, он не любил перемен... другой лагерь, другое начальство, другой кум – вспомнился Иванов, он, кстати, был не самым противным особистом... другой аптекарь, повара, хлебрез... другие блатные авторитеты. Но главное, он не хотел менять профессию. Одиннадцать лет назад он подлетал к Норильску совсем в другом настроении.

Шел тридцать восьмой год. Строительством комбината руководил Иван Павлович Перегудов. Недавний заместитель наркома тяжелой промышленности, сам едва не попавший в мясорубку, они учились вместе в Горной академии. Перегудов нашел Горчакова на Колыме и назначил заместителем начальника геологоразведки норильского

горного района – начальником его не утвердили бы в Москве. Горчаков три года руководил всеми полевыми работами, техникой и людьми и еще успевал много писать. Тогда он считал, что продолжает делать большое и важное для страны дело, и даже имевшийся у него десятилетний срок выглядел чем-то несущественным, казалось, что вскоре все уладится само собой. Работы шли очень успешно, после полевого сезона тридцать девятого года все вольное геологическое и горное начальство – его подчиненные – получило большие ордена.

Тогда было неплохо, о том, что Горчаков заключенный, лишь временами напоминал начальник особого отдела Норильлага. Старший майор госбезопасности напрямую подчинялся Москве и, чтобы досадить всесильному Перегудову – у них были плохие отношения – регулярно находил нарушения в ведомстве Горчакова. Иногда и серьезные – поисковые работы и инструкции НКВД совместить было невозможно. Но как-то все решалось... Директор секретного Норильского строительства и руководитель «Норильлага» генерал Иван Перегудов был вхож в самые высокие кабинеты.

Переписывались через вольных^[71], Ася очень просилась к нему, но он не хотел, ждал своего освобождения. Он был почти свободен, а работы так много, что ему некогда было думать о жене и сыне. Войны ждали, стране был нужен стратегический металл.

В сороковом Перегудов был на отдыхе в Крыму, и Горчакова спешно с двумя конвоирами снова отправили на Колыму. В личном деле появился запрет на использование его в геологоразведке. Старший майор госбезопасности – главный кум Норильлага – своего добился.

Георгия Николаевича загнали на самый север, на строительство дороги Сусуман – Сеймчан. Условия были каторжные, но он не падал духом, ждал, что Перегудов его вызовет, – они в Норильске всю зиму готовили большую экспедицию в горы Бырранга... Его не вызвали ни к началу сезона, ни летом, и уже в августе он лежал в больнице среди доходяг.

Какая-то сила дважды убрала Горчакова из Норильска. Первый раз в Смоленскую тюрьму, где его приговорили к расстрелу, второй – на Колыму, там он провел страшные годы войны и обязательно должен был погибнуть, но как-то – случайность, стечение обстоятельств? – выжил. Оба раза его забирали после успешных открытий. Горчаков не

знал, что это за сила – кто-то из начальства, получавшие награды за его работу, товарищи-геологи, ревновавшие к норильским недрам, или просто служаки-энкавэдэшники, за звездочку организовавшие доносы на бывшего доктора наук... Он был слишком на виду, чтобы было иначе.

Норильск стал для него отравленным местом.

Вспомнил о Рите. Заплакала сегодня утром, получалось, что он еще не мертвец и даже не старик. Горчаков улыбался глуповато, вспоминая ее слезы... Самолет кинуло в воздушную яму. Горчаков прислушался. Правый двигатель громко чихнул, заработал с перебоями. Из кабины вышел бортмеханик с отверткой в руках, стал откручивать какой-то лючок на боковой панели сразу за кабиной пилотов.

Люди проснулись, заговорили меж собой, на бортмеханика кивали, особой паники или испуганных лиц не было, кто-то и улыбался. Горчаков отвернулся в иллюминатор. Ледяная пустыня стелилась необозримо во все стороны. Занесенные снегами речки древними меандрами змеились к Енисею, небо над ними было темным. Двигатель по-прежнему барахлил, бортмеханик регулировал, кричал что-то в открытую кабину. Упасть бы сейчас, мелькнуло в голове с нервным облегчением, – все бы и отмучились разом, и он сам, и несчастная Ася... а Иванов сдал бы пухлую папку «З/к Горчаков Г. Н.» в архив.

В Управлении геологоразведки работали и вольные, и бесконвойные, внешне их не различить было. Многие заключенные, нарушая инструкцию^[72], носили домашние свитера, а спецодежда у вольных и заключенных геологов была одинаковая. Одни, правда, ночевали дома, в общежитии барачного типа, другие – в таком же бараке, но за колючей проволокой. И кормили похоже – однообразно и сытно. Но была и разница – зарплата у вольных в Норильске, со всеми северными и полевыми надбавками, была в пять-шесть, а иногда и в десять раз выше зарплат на материке. У зэков-геологов никаких надбавок не было, но были вычеты: за охрану, за конвой, за еду, медицину... от оклада оставалось процентов двадцать пять, они шли на книжку.

Управление размещалось все в том же длинном брусковом бараке, что и в тридцать восьмом году. Вход в середине с высокого крыльца, внутри – тот же коридор, направо-налево двери с табличками. На кабинете начальника значилось: Головнин Игорь Сергеевич. Горчаков такого не помнил.

Из-за стола навстречу поднялся крупный молодой человек лет тридцати пяти. С черной, чуть вьющейся бородой и шевелюрой. На протянутой руке не хватало крайних фаланг пальцев. Затряс руку Горчакова, улыбаясь открыто:

– Рад видеть, Георгий Николаевич, очень рад! Раздевайтесь, присаживайтесь! Танюша, чаю неси, пожалуйста! – прогудел, высунувшись в коридор. – Как добрались, Георгий Николаевич?

– Спасибо... – Горчаков повесил ушанку и бушлат на знакомый гвоздь у входа, сам невольно осматривал карту, стол и небольшой кабинет, в котором провел три года. Карта работ была новая, разрисованная цветными карандашами.

Головнин видел его смущение и растерянность.

– Ваш кабинет, Георгий Николаевич, узнаете? Я у вас в 1939 году студентом в Аянском отряде работал, бороды тогда не было... – он с любопытством разглядывал Горчакова. – Мы и сейчас по вашим исследованиям работаем! – Головнин взял в руки толстую истрепанную книгу, набранную на пишущей машинке. Горчаков только глаза на нее скосил и вежливо кивнул. Таня внесла чай в подстаканниках, печенье в вазочке, сахар кусочками. Расставила все. Она была в мягких валенках и белом пуховом платке на плечах. Улыбалась Горчакову, как будто из времен десятилетней давности. Горчаков улыбался в ответ вежливо и нервно.

– Я так рад, что нашел вас! Да снимайте телогрейку, у нас тепло! – начальник и сам снял пиджак и остался в вязаном свитере.

Горчаков расстегнул пару пуговиц, дальше не стал, он чувствовал себя не в своей тарелке. И чем больше было радости на лице этого басистого парня, тем Георгию Николаевичу становилось неуютнее. Ему казалось, что его принимают за кого-то другого. Помалкивал напряженно.

– Пейте чай... – начальник, открыто улыбаясь, прихлебнул из своего стакана, – и расскажите, как вы сейчас? Я знаю, фельдшером пришлось работать?

– Не думаю, что это интересно, Игорь Сергеевич. Лучше скажите, зачем меня сюда привезли?

– Работать, Георгий Николаевич! Я два года на вас запросы подавал, – Игорь Сергеевич опять широко улыбнулся. – Нам на этот сезон большие задачи ставят! Штат увеличили, хорошая молодежь из МГРИ^[73], МИИГАиКа^[74], из Ленинградского горного, а опытных людей мало. Вы же сами работаете на 503-й, в связи с ней и разведку усиливают. Будет железная дорога, тут много чего можно будет добывать и вывозить. Я с вами Анабарское и горы Бырранга хотел обсудить.

– Я не был на Бырранга.

– Но готовились, у меня все ваши материалы сохранились – ваши предположения по структуре залегания полностью подтверждаются последними полевыми работами!

Горчаков все молчал, поглядывая на Головнина. Примерно так он сам выглядел двадцать лет назад.

– Значит, вы командуете... – погладил Горчаков поверхность стола.

– Ну да, второй год... – Головнин не видел радости в Горчакове, и это его удивляло, он помнил совсем другого Георгия Николаевича. – Вы отдохните с дороги, вот ваш временный пропуск. Я тут с сорок второго года, сначала бурильщиками командовал, теперь вот... Можно бы отметить ваше возвращение, – шепнул заговорщически, – но завтра важные торжества, сами понимаете, – он кивнул на небольшой портрет Сталина на стене. – Отметим еще! Отдыхайте!

В коридоре ждал старый товарищ, Иван Игнатьев. Поздоровались, вышли на улицу, доставая курево. Игнатьев здорово изменился, пух от голода, понимал Горчаков по морщинистому лицу. Рассказывал неторопливо:

– Стариков почти не осталось, кого-то перевели, кто смог, по здоровью уехал. В сороковом, когда вас с Каминским увезли, все управление попало под следствие. Я тогда думал, тебя Перегудов специально убрал.

Иван посмотрел с вопросом, но Горчаков не реагировал.

– Шпионаж в пользу Германии всем лепили. Маркшейдера Иоахима Визе помнишь? Его и еще одного немца-геодезиста расстреляли, это уже в сорок первом было, после начала войны.

Остальным повешали сроков. Мне пятнадцать лет дали и в Камышлаг, а в сорок втором, когда тут плавить начали, обратно перевели. Новый начальник ничего вроде... зачетов для нас добился...

– В кабинете разговаривать нельзя? – спросил вдруг Горчаков.

– Лучше не надо... – Иван бросил окурок в сугроб. – В экспедицию бы поскорее, там полегче. Тебе что предложили? Что-то ты кислый, Гера?

Горчаков докурил, пожал плечами, и они пошли в барак. До конца рабочего дня оставался час, Горчаков сидел за пустым столом, поглядывал на тьму за окном и рассеянно вспоминал, что перед войной тоже многое было болезненным, но было и много хорошей свободной работы, и казалось, что все это нездоровое пройдет. Теперь же он чувствовал, что та болезнь, та зараза остались, разрослись и превратились в жизнь. Люди ведут себя настороженно, везде висят инструкции... И военные в форме... раньше их не было в управлении. Он мысленно возвращался в Ермаково и опасался, что потерял свой лазарет безвозвратно.

Большая зона располагалась прямо в поселке. В отдельно отгороженной ее части стояли несколько старых изб «шарашки», которые в официальных документах МВД именовались как «особое техническое бюро». Одну избу занимали инженерно-технические зэки геологического управления, и все было устроено так, как это обычно бывало в полевых условиях. Посреди избы печь с плитой, на которой постоянно грелся большой чайник, над длинным столом у стены развешаны личные кружки и котелки. Чистые миски стопкой, ложки торчали из литровой банки. Нар не было, в просторной горнице по стенам стояло шесть кроватей. За большим столом не только ели, но и работали, лежали бумаги, книги, стояли два арифмометра. Книги были и на тумбочках у кроватей.

Однорукий старичок-дневальный подметал у печки, поглядывая на нового жильца. Горчаков с недоверием ощупал белое постельное белье на своей койке.

– И баня раз в неделю! – Иван понимал состояние товарища. – Добрая баня, Гера, с парной, вода без ограничений.

Игнатьев заварил хороший чай, но разговор не получался. Горчаков страшно зевал после долгой дороги и вообще чувствовал

себя странно от всех этих новых событий и в конце концов, извинившись перед Иваном, лег и уснул.

Следующий день в честь семидесятилетия Сталина был нерабочим. На торжественное заседание в небольшой клуб собрались заключенные и вольные геологи, геодезисты, геофизики, горные инженеры. От вольных уже пахло праздником. В программе значились торжественная часть и концерт.

Все расселись, но пока не начинали, кого-то ждали, курили, распахнув форточки. В президиуме сидели военные в парадной форме госбезопасности и МВД. По радио играла музыка, потом начались новости с юбилейных торжеств. Их не было слышно, мужики балагурили, один из офицеров, строго глядя в зал, постучал по графину, все притихли, и голос диктора зазвучал торжественно и ясно:

«...к юбилею вождя в залах Третьяковской галереи открылась Всесоюзная художественная выставка. Десятки тысяч посетителей обращаются к произведениям художников, запечатлевших гениев человечества Ленина и Сталина. Часами простаивают простые люди у картины художника Налбандяна, изобразившего заседание Политбюро, где обсуждается сталинский план организации полезащитных лесных полос. Товарищ Сталин склонился над картой и разъясняет идею великого плана. А в сознании зрителя возникает образ нашего вождя, склоненного над картой военных действий в годы Великой Отечественной войны. Блестящей победой советских Вооруженных Сил завершилась война, не имеющая равных в истории человечества. И вот в дни мира мы видим великого Сталина над картой невиданного по масштабам плана преобразования природы.

Сталинскому плану преобразования природы посвящено и новое произведение композитора Шостаковича – оратория “Песнь о лесах”. Она исполнялась в Москве в дни грандиозного смотра новой советской музыки. Сто пятьдесят композиторов к юбилею великого Сталина представили свои новые произведения: оперы, балеты, симфонии, марши, многочисленные хоры, кантаты, оратории. Со всех республик страны съезжались в столицу хоры, оркестры и ансамбли, чтобы развернуть огромное музыкальное полотно, сотканное во славу народного искусства и великого гения всего человечества!»

Горчаков слушал внимательно слова диктора и смотрел на лица людей. Это были суровые мужики... бородатые, живые лица, Горчаков уже и отвык, чтобы столько их собиралось в одном месте. Настоящие трудяги, за плечами которых непростые экспедиции в безлюдном и безжизненном Заполярье. У каждого в биографии немало серьезных мужских дел, но все они сидели и слушали эту галиматью. Никто не посмел бы встать и выключить радио. Это было опаснее, чем остаться в одиночестве за тысячу километров от жилья. Там у человека еще был шанс.

И зазвучала сама оратория. Горчаков знал Шостаковича, они не раз сидели за одним роялем, это было очень давно и где-то совсем в другом мире, который исчез навсегда. Музыка была красивая. Шостаковича было жалко.

Потом началась торжественная часть с речами. Горчаков сидел, опустив глаза в пол, перебирая в памяти больных своего лазарета. Менял бинты одноглазому теперь бедолаге Балакину, перевязывал послеоперационных, ставил уколы... Сейчас в лазарете «припухал» вор в законе по кличке Малой. При нем дежурили двое телохранителей, одного звали Ваня Безумный. Ваня был балагур и рассказчик. Когда Малой спал после обеда, Ваня приходил к Горчакову и рассказывал урочки байки. Очень смешные иногда. Про этого Ваню говорили, что он был палачом – убить приговоренного урками человека ему ничего не стоило. Горчаков поднимал голову на выступавших с трибуны и думал, что лучше сидел бы он сейчас с Ваней. Как Ваня ни старайся, никогда уркам не приговорить, а ему не убить столько безвинных людей, сколько приговорил и убил тот, кому всей страной лизали сейчас жопу.

На другой день Горчаков начал ходить на работу вместе со всеми. Как и вся зона, они вставали в шесть «по рельсе», дневальный приносил пайку, пили чай. Продукты из посылок или купленные в магазине никто не прятал – это говорило о многом. Завтракали за общим столом, совсем как в экспедициях. Потом собирались в Управление. Работа у заключенных начиналась в семь, у вольных в восемь. На вахте забирали пропуска и выпускали за зону. По улицам поселка заключенные обязаны были идти строем – кто-то должен был изображать старшего. Когда шли втроем или вчетвером, строй

получался нелепым, но иначе нельзя было, по улицам ходили патрули. Дальше, за дверями барака Управления, они снова были почти свободными.

Горчакову выдали бумагу, ручку, перьев и даже перочистку. Таня все принесла, улыбаясь как-то очень по-женски. Все в тех же беленьких валенках. Горчаков даже подумал, не могли ли они быть знакомы, но Таня была слишком молода. Девять лет назад, когда его забирали отсюда, еще в школу ходила.

В комнате никого не было. Георгий Николаевич, невольно радуясь давно забытому, налил чернил в чернильницу. Он не помнил уже, когда писал пером, а не карандашом, перья были запрещены в зоне, приравнивались к заточкам. Обмакнул перо в чернила. «Геология» – вывел каллиграфически. С непривычки получилось не очень, острый кончик пера цеплялся, выдирал ворсинки из плохой бумаги. В огрубевшей руке ручка лежала неуверенно.

Вошел Иван, сел за свой стол напротив:

– Начальник хочет создать под тебя группу по поиску алмазов. Ты же работал с Моором^[75], а он писал о трубках, – Игнатъев кивнул на стопку журналов. – В двадцать девятом Генрих описал кимберлит, что привез Урванцев.

– Да, я помню... – Горчаков придвинул к себе журналы. – Что-то новое есть?

– Нового много, на алмазы страшные силы бросили. В Иркутске специализированную Тунгусскую экспедицию создали. Все работы по алмазам координируют, и средства немалые...

Горчаков отбирал журналы.

– С собой брать не разрешается, здесь читай.

– Почему?

– Энкавэдэшники, – шепнул Иван, – секретная документация... Шейнман описал Маймеча-Котуйскую провинцию. Там целая серия массивов изверженных пород, Гера. Тебе было бы очень интересно посмотреть, как они расположены, а мне изучить их химию. Генрих считал, там могут быть алмазы. Посмотри их отчеты за сорок пятый и сорок шестой годы.

– Это к западу от Анабарского... – прищурился Горчаков, вспоминая геологические массивы.

– Ну, там редкая комбинация пород с очень малым кремнеземом и с высоким содержанием щелочей! Рядом могут быть кимберлиты!

Горчаков все сидел молча, потом поднял голову:

– Там должны быть и более молодые магматические выходы.

– То же и Генрих говорил...

– Почему же не работают?

– Боятся. Здесь и авторитет, и голова твоего уровня требуется! Начальнику уверенность нужна, что там что-то есть! – Иван шептал, возбужденно перегнувшись через стол. – Эти работы идут против министерства, там считают, что только в базальтовых породах могут быть алмазы! И по всей стране только в базальтах ищут! Понимаешь? Ты чего задумчивый, Гера?! Его из лагеря выдернули, а он... Ты же большой геолог! Меня в группу возьмешь... если сочтешь нужным, конечно. В этом году на Вилное на косе Соколиная нашли двадцать пять кристаллов алмаза, – глаз у Ивана хитро блеснул, и он заговорил одними губами. – Они ошибаются, Гера! Дело не в базальтах!

– Кто они?

– Ну там, – Иван ткнул в потолок, – в министерстве. Надо по сопутствующим минералам искать, я тут кое-что придумал! С Генрихом спишемся!

– Ты чего такой бодрый? Думаешь, на волю отпустят? – Горчаков был очень спокоен.

– Если алмазы найдем – точно отпустят!

– Сначала расстреляют за то, что не там копали... Ты же старый зэк, Ваня...

В коридоре послышались голоса, дверь распахнулась, на пороге стоял майор госбезопасности. Внимательно их изучал.

– Здесь двое бесконвойных и один вольный сидят, – начальник управления Головнин пояснял что-то из-за плеча майора.

Не сказав ни слова и не закрыв дверь, майор пошел дальше.

– Майор Цымбалюк! Особист Норильлага! – Иван сделал шутливо-испуганные глаза, но испуг в них был настоящий.

Помолчали, прислушиваясь к звукам в коридоре.

– Мне шесть лет осталось, чем ближе, тем страшнее... – зашептал Иван. – В поле бы скорее...

– Так, товарищи, – другой военный, старшина, распахнул дверь в их комнату, – выходите на расчистку снега! Приказ Цымбалюка! И

побыстрее!

– Пойдем покурим как раз! – Иван стал одеваться.

– Это кто? – спросил Горчаков.

– Старшина-то? Завхоз – хороший мужик!

– И такого раньше не было!

– Ну ладно, чистили и раньше!

– Я не об этом. Попки тут не командовали. Даже в сороковом...

– Сейчас тоже от людей зависит. Цымбаль всех, кто не с киркой, считает бездельниками...

Взяли лопаты, вышли на воздух. Мела метель и чистить было бессмысленно. Видимо, это понимал и майор Цымбалюк. Только закурили, из темноты, держась за веревку и прикрываясь от вьюги, вышел старшина-завхоз:

– Ну все, уехал, идите в барак, ребята.

Начальник не дергал, заходил утром, видел читающего Горчакова, спрашивал, как дела и не надо ли чего. Как будто понимая состояние нового сотрудника, с вопросами не лез. Однажды принес в рюкзаке тяжелые куски богатой породы, которую добывали сейчас в шахтах, выложил на стол Горчакову.

Горчаков вежливо кивнул и ничего не сказал.

На следующий день Таня принесла из библиотеки тяжелую кипу машинописных перепечаток. Положила перед Георгием Николаевичем, глядя на него со значением. Это была подборка горчаковских публикаций. Иван и маркшейдер Староверов глядели, что он будет делать. Горчаков отодвинул все на край стола и снова углубился в свое чтение. Игнатьев взял верхнюю книгу, переплетенную толстой картонной обложкой. Это была «Рудная зона Норильска-2»:

– Чтоб ты знал, Гера, это справочная книга всех норильских геологов! Здесь не указано имя автора, но все знают, кто ее написал.

– Маркшейдеры тоже по ней работают, – добавил Староверов, доставая папиросы и поднимаясь из-за стола. – Пойдем покурим, Иван.

Горчаков остался один. В этой пачке самодельных книг было почти все, что он успел опубликовать к своим тридцати четырем годам. Не так и много для доктора геологических наук. Полистал «Рудную зону...». Уже тогда, в конце двадцатых, ему удалось показать, что это

колоссальное месторождение со сложным рудным телом уходит на очень большую глубину.

Следующей была перепечатка из «Известий Академии наук СССР». «К стратиграфии кембрия северо-восточной окраины Среднесибирской платформы». Даже авторы были указаны внутри: Г. Н. Горчаков и Г. Г. Моор. Он полистал текст. Это было в 1935-м, писали с милым, интеллигентнейшим Генрихом. Прошло четырнадцать лет...

Больше его имени нигде не было, но на «Стратиграфии...» с обратной стороны обложки была подклеена старая, пожелтевшая от клея, справка. Она могла стоять кому-то свободы:

Георгий Николаевич Горчаков работал в Норильском промышленном районе с 1925 года в качестве студента, а потом и руководителя различных изыскательских подразделений.

С 1928 по 1931, а затем с 1938 по 1940 год руководил всеми геолого-разведочными работами в Норильске и на Таймыре. Им открыты и описаны месторождения Норильск-1 и Норильск-2.

Доктор геолого-минералогических наук (1935, по совокупности заслуг, без защиты диссертации).

В 1939 году подробно обосновал и наметил масштабные изыскательские работы на Анабарском нагорье.

«Г. Н. Горчаков в статье (1933) о металлоносности сибирских траппов^[76] изложил в сжатом виде материал своей более обширной работы по стратиграфии и тектонике Сибирской платформы. В описании траппов рассмотрен их генезис и охарактеризован химический состав. Даны сведения о четырех группах полезных ископаемых:

1) сульфидные, медно-никелево-кобальтово-платиновые норильского типа;

2) полиметаллическое оруденение;

3) железорудные Ангаро-Ишимского типа;

4) россыпные золота и платины.

Указано распространение этих полезных ископаемых по районам.

Он же описал металлоносность сибирских траппов, дал сведения об общем геологическом строении Средне-Сибирской платформы, рассмотрел состав и характер залегания траппов...»

В. А. Обручев, История геологического исследования Сибири. Издательство АН СССР, 1945

Академик Обручев был его учителем – Горчаков вспоминал веселые и умные глаза Владимира Афанасьевича, седую бороду лопаткой; ученый с мировым именем после войны пытался реабилитировать сидящего ученика. Горчаков ничего этого не знал. В сорок пятом, вернувшись ненадолго из лагеря, он не пошел к Обручеву, чтобы не подставлять восьмидесятилетнего старика. А старик, оказывается, о нем помнил.

Через неделю начальник предложил Горчакову возглавить разведочную «алмазную» партию человек на двадцать и с полной свободой поиска. Головнин явно готовился к разговору. Под рукой лежали геологическая карта и литература по алмазам. С закладками.

– Не получится ничего, Игорь Сергеевич.

– Как же? Что не получится?

– Я больше не геолог.

– Ну что вы, Георгий Николаевич! Алмазы сейчас – главное направление! Вы же читали о них всю неделю.

– Читал, – Горчаков задумался, машинально достал пачку «Беломора».

– Курите здесь, Георгий Николаевич, – разрешил Головнин.

– Да ничего... Нет, Игорь Сергеевич, максимум, что я мог бы, – кашу варить на отряд. Вычеркните меня.

– Георгий Николаевич, вы зачем такое говорите? – Головнин как будто не верил словам Горчакова. – Вы геолог с мировым именем! Вас постоянно цитируют в мировой геологической науке. Благодаря этому удалось вас вызвать, у вас же запрет на геологию, через Москву все решалось. Это очень непросто было!

– Я вам благодарен, но тот, кого цитируют... его уже нет.

Головнин озадаченно взъерошил волосы и открыл было рот, но Горчаков, перебил:

– Не тратьте времени, партия и правительство решили, чтобы я перестал быть геологом, так и вышло, я теперь хорошо валю лес, могу быть помощником пекаря или работать в прожарке^[77], а могу возить воду в бочке...

– Вы обижены?

– Обидно бывает первое время, пока ты еще ничего не понял...

– А мне, признаться, досадно, я много труда положил, чтобы вас вытащить.

– Понимаю, но, сказать правду, я сейчас только и думаю, как вернуться в прежний лагерь. Очень опасаюсь, что не получится, вы не знаете, что такое этап...

По лицу Головнина было видно, что он не понимает, о чем говорит доктор геолого-минералогических наук Горчаков:

– Поваром, я, конечно, не смогу вас оставить, вы в особом отделе на спецконтроле...

Горчаков понимающе кивнул.

– Алмазная тема очень выигрышная, – Головнин нагнулся через стол и заговорил тихо: – Если бы удалось в ней продвинуться, вас могли бы освободить...

– У меня четвертак, Игорь Сергеевич, третья судимость, я клейменный, как последний рецидивист. Мне положено здесь сдохнуть.

– А зачеты? Есть и такая возможность.

Горчаков встал, не реагируя на последнюю реплику начальника.

– Поставьте начальником партии Игнатьева, он, кажется, на правильном пути. Искать надо не алмазы, а пиропы. И возможно, именно в разломах с метаморфическими породами. Это все есть в материалах.

– Ну конечно, и что вы об этом думаете? – схватился Головнин. – Вот, у меня на эту тему...

– С Игнатьевым поговорите... – перебил Горчаков.

– Но он химик, а нужны точные поисковые работы небольшими силами. Тут ваша интуиция нужна. Игнатьев тоже так считает.

Горчаков покачал головой, извинился и вышел из кабинета.

Когда вечером вернулись в зону, в их бараке все было перевернуто вверх дном. Книги сброшены с полок в центр избы. У старичка-дневального на лбу была большая шишка, а нижняя губа разбита.

– Чего искали, и не знаю, пришли вертухаи с лейтенантом и давай. Попки по всем щелям шерстят, а он за столом покуривает.

Мужики разбирали сваленные в кучу книги и вещи.

– Это бывает, – объяснял негромко Иван. – Чтоб жизнь медом не казалась. Ничего они не искали.

Ночью Георгий Николаевич ворочался и думал о предстоящем этапе. Он попадал в руки случая, и его судьбу мог решить любой, от майора Цымбалюка до простого фельдшера в пересыльном лагере. Говорить с Головниным было бессмысленно, он ничего не решал и мог все испортить – в оперотделе, узнав о желании з/к вернуться на прежнее место, скорее всего сделали бы наоборот. Горчаков полагался только на опыт, на лагерную хитрожопость. Это у него было.

Игнатьев тоже не спал, подошел, призывно постучал пальцем по пачке папирос. Они оделись и вышли. Закурили. На улице было непривычно тихо.

– Я не стал говорить, но здесь Ясулович в ноябре был. Так же, как и тебя вот, привозили. Ему шесть лет еще сидеть, в Карелии где-то работал, в лагере для слабосильных. Худой, руки трясутся, взгляд ненормальный и все время ест...

Горчаков понимающе кивнул.

– А помнишь, какой математик был! Всего Пушкина, всего Лермонтова наизусть... нет теперь человека, что-то с нервами, боится всего. То лебезит, то в ярость впадает и начинает требовать истерично. Когда его увезли, полная тумбочка сухарей была... и под матрасом. Головнин на вас с Ясуловичем очень рассчитывал, а ни с ним, ни с тобой не получилось. Он тебя не понимает... да и я, признаться, тоже. Тебя ведь интересуют алмазы, я же вижу!

– Искать в базальтах нет смысла... – Горчаков затянулся папиросой и покачал головой. – Нет, Ваня, без меня!

– А если найдем?!

– Не дадут, Ваня, здесь нужен новый подход, а ваши марксистско-ленинские начальники чего-то боятся. – Горчаков помолчал сосредоточенно. – Очень многие, это и по публикациям видно, понимают, что траппы для поисков бесперспективны, но молчат и даже поддакивают. Ни одной публикации против.

– А Моор?

– Генрих напрямую в этом не участвует. Его работы для умных, и эти умные их знают и молчат. И даже отправляют поисковые партии туда, где точно знают, что ничего нет.

– Гера, тебе же все это интересно!

– Конечно, Ваня, как нет?! Пару дней назад я почти готов был согласиться. Заволновался, как студент.

– Ну?!

– Нету больше геологии, Ваня. Столько труда уходит впустую, все рабы, начиная с министра. В наше время, даже в страшные тридцать восьмой и тридцать девятый, в голову никому не пришло бы так бессовестно врать!

– Это неважно, в поле можно работать. Там мы сами по себе...

Горчаков, не обращая внимания, продолжал хмуро:

– Я смотрел геосъемку, которую делало ваше Управление... Там же туфты полно! И Головнин об этом знает, под этой туфтой его подписи стоят.

– А как по-другому? С него план спрашивают, – заступился Игнатъев, – а людей мало.

– Вот и я об этом, – продолжил Горчаков все так же мрачно. – Министерство геологии – подразделение МВД! Главный геолог страны – Лаврентий Палыч Берия! Не буду я на них работать, Ваня! Им и алмазы нужны, чтобы пушек побольше наделать и всю землю опутать колючей проволокой! Без меня, Ваня!

Замолчали. Затягивались хмуро куревом.

– Чем же ты живешь, Гера?

– Можно было бы поработать, Ваня... конечно, можно! – Георгий Николаевич вздохнул с досадой и выбросил окурок. – Но лучше я у себя в лазарете... просто помогу больному человеку. У меня один батюшка лежал, говорит, болезнь поворачивает человека лицом к Богу. Так что я с хорошими людьми общаюсь, без туфты обходимся...

– Ну как ты можешь сравнивать! При чем здесь Бог? – Иван с недоверием тронул Горчакова за плечо. – Разве может быть лучше, чем в поле! И работа, и споры по полночи! Помнишь?! Бах или Бетховен?! Ты еще любишь свою музыку? А литература?!

Горчаков смотрел, будто не понимал вопроса.

– Устал я, Иван, давно уже никаких серьезных книг... Когда есть время, приключения читаю.

– А тайга?

– Тайгу приворовываю понемногу, это случается... – Горчаков потер замерзший нос.

Иван смотрел напряженно, не понимал.

– Изменился ты, Гера, не узнать. Ты же первый в самую тяжелую работу ввязывался. Где все это?

– Много воды утекло, Ваня... – Горчаков сморщился небрежно. – Что вспоминать?

Иван молчал, погруженный в свои мысли. Потом обнял Горчакова, прижал крепко:

– Я все равно рад, что повидались. Не сдавайся им, Гера! Не сдавайся, он сохнет, и все поменяется! Вот увидишь! Столько людей молятся, чтоб он сох, и это случится...

Через несколько дней Горчакова увезли на Дудинскую пересылку.

Он сходил в спецчасть, дал писарю пачку папирос и попросил пристроить на этап в сторону Ермаково. Таких этапов в ближайшее время не было, писарь курево взял, но надежды на него было мало. В санчасть Горчаков не пошел, опасался, что оставят в Дудинке или отправят куда-то в другое место, медиков не хватало, на них всегда были заявки.

Пересылка была большая, бардака хватало, и ловчить с его опытом было несложно. Чтобы исчезнуть с глаз начальства, он не ходил на утренний развод на работы, уворачивался от облав и караулил попутный этап. Как старый волчара ходил вокруг овчарни и вынюхивал, выслушивал свою лазейку. При любой облаве или другой неосторожности можно было оказаться где угодно, хоть в Казахстане.

Лагерная жизнь только на первый взгляд однообразна, она полна внутреннего движения, неявных смыслов и рычагов, в ней многое очень похоже на обычную жизнь, а многое перевернуто с ног на голову, в ней почти нет строгих законов, но, наоборот, все подвижно и зависит от воли и желаний людей, и все же любой опытный лагерник точно знает, как себя вести. Горчаков был таким лагерником, его шансы были велики – пятьдесят на пятьдесят.

Прошла неделя. Прячась, он не состоял в бригаде, поэтому не получал утреннюю пайку хлеба и сахара и уже чувствовал постоянный голод. Утром ему доставался только кипяток, вечером тоже, в обед всегда одно и то же – миска неплохой жижи соевого супа, на второе – подтухшая селедка. В первые дни Горчаков побрезговал, селедка расплзлась в руках, но на третий день съел. Его голодное тело, его рот и зубы вспомнили, что эту вонючую рыбу можно есть.

Покончив с селедкой, он подходил к окошку раздачи второй раз. Не просил, не изображал из себя блатного, просто смотрел спокойно –

на его морде хватало отметин, чтобы его принимали за серьезного зэка. Раздатчик, в памяти которого держались тысячи лиц, обычно не спрашивал ничего, шлепал еще полчерпака соевой баланды. Или не шлепал.

Без бригады не было и своего места в бараке, да он и сам старался не ночевать в одних и тех же местах. Нары часто доставались в холодных углах. Георгий Николаевич две недели не мылся, обовшивел и, не выдержав, пошел в баню. Там встретился знакомый врач, и его поставили на санобработку свежего этапа.

Вшей было не слишком много, Горчаков стоял на входе в моечное отделение с «квачом» – палкой с намотанным на конце тряпьем, – макал этот «квач» в «жидкое мыло К» и мазал всех входящих мужиков подмышками и вокруг яиц. Зэки охотно подставлялись – помогало! Так он отработал полдня и полночи, потом фельдшер накормил его жирными свиными котлетами. Георгий Николаевич не удержался и съел много. Остаток ночи его рвало, и он понимал, что голод очень быстро превращает его в обычного заключенного и надолго его может не хватить.

На другой день врач санчасти определил его в крохотный этап на Игарку.

Мороз был не самый сильный. Ехали на двух машинах, везли бензин в бочках. Кузов их студебеккера был с тентом, но таким старым, что сквозь прорехи были видны звезды на небе.

Их было пятеро. Никто не знал друг друга. Пока выезжали из Дудинки, конвоиры менялись – один грелся в кабине, другой мерз в кузове, но потом оба втиснулись к водителю. В любую сторону от едва заметной, переметенной дороги лежала проколевшая насквозь тундра, укрытая мраком полярной ночи. Выпрыгнуть из машины мог только самоубийца.

Те, что ехали в кузове, оказались опытными, не сговариваясь сдвинули лавки, сгрудились в угол, прижимались друг к другу, как могли. Двое урок, особенно что помоложе, поначалу пытались отстоять свои привилегии, но вскоре примолкли. Стужа уравнила всех, не отличить уже было в темноте кузова, кто урка, а кто безнадежный враг народа. Телогрейки, бушлаты, ватные штаны и подшитые валенки... И пахли тоже все одинаково – махоркой да дымом рабочих костров.

– Не могу, мужики! Окоченел нахер, – раздавалась глухая, сиплая мольба-требование того, кто закрывал других от ветра, задувающего в прорехи.

Трясаясь и благодарно матерясь, он лез в середину, и его пускали. И пихали, тискали, как будто грели, и сами грелись, потому что в середине было немногим лучше. Разве что морда не так мерзла, уткнутая в вонючий бушлат товарища по несчастью.

До Игарки было двести пятьдесят километров, дорога шла тундрой, но где-то по торосистому льду Енисея – мужиков нещадно кидало в кузове, бочки с бензином, увязанные тросом и веревками, норовили сорваться и присоединиться к мужикам. Иногда водитель терял в темноте дорогу, конвойные выходили из машины, искали ногами, возвращались и снова ехали. Зэков из кузова не выпускали. Ссали сверху.

Через три часа добрались до Потапово. Остановились погреться у знакомых водителя. Заключенных сначала определили в холодные сени, но конвойный солдатик, заскучав караулить, пустил всех в кухню. Зэки легли на пол и вскоре засопели. В горнице выпивали и закусывали.

Горчаков лежал ногами под кроватью, на которой спали за занавеской двое или трое ребяташек, а головой упирался в рукомоЙник. Разморенный теплом, уснул быстро, но вскоре проснулся. Кто-то мыл руки и наплескал на лицо. Георгий Николаевич закрылся бушлатом и попытался снова уснуть, но сна уже не было. Он отломил кусок от толстой краюхи, которой его снабдили в санчасти, и стал помаленьку есть.

В горнице горела лампа, шумели, конвоиры, выпив, рассказывали о службе. Перебивали друг друга. Хвастались. Один из водителей посмеивался над ними. Молодой урка то укладывался возле своего храпящего товарища, то подымался на локте и жадно заглядывал в щель двери.

Горчакову лезли в голову разные лагеря, пересылки – виделись картины его лагерной жизни, совершенно ничего не значащие, как один бессмысленный, дурацкий гул. Лесоповал – этого было больше всего, шахты разные, то вдруг лазарет или работа на кухне, где он почти месяц мыл горы посуды. Жизнь тогда была сытая, где же это было? Почему-то казалось, что на огромной Владивостокской

пересылке, но он не был уверен. Что там было точно, так это страшная эпидемия дизентерии. А он не заболел. Ему вообще везло на людей, вспомнил врача, который оставил его в больнице ночным санитаром... Одного из многих врачей, спасших ему жизнь. И сейчас врач отправил его с этим этапом...

Вспомнился Норильск с его геологией. Прошла всего неделя, всего неделю назад он был голодным псом, которого дразнили куском мяса на веревке. Он нашел в себе силы не глотать этот кусок мяса.

Мысли утомили, он почувствовал сытость от съеденного хлеба и уснул.

Игарская пересылка была огромным лагерем на семь тысяч человек. Бараки и бараки, семь длинных рядов по пять барак в каждом. Слева от вахты небольшая женская зона и БУР^[78], огороженный двумя рядами колючки. Этот БУР был плохим местом, даже по колымским меркам.

Их пятерку конвоир повел через весь лагерь в дальний конец. Прожектора светили. Из репродуктора в безразличное морозное пространство громко и никому звучала радиопередача на ненецком языке. Большинство слов были непонятны и молодой урка начал «переводить», потешая всех, включая конвоира:

– Кир-быр-дыр, совхоз имени Маленкова, дыр-дыр, годовой план, – с самым серьезным лицом громко повторял блатной вслед за радио. – Кир-быр-дыр Октябрьской Социалистической революции, дыр-дыр-дыр товарища Сталина! – Урка низко поклонился, едва не упав.

Все засмеялись в голос, конвойный тоже щерился во весь рот, но вдруг опомнился:

– Разговоры, блядь, в строю! Я тебе дам, сука, товарища Сталина!

Все замолчали. Лишь радио продолжало в ночной тишине свое «кир-быр-дыр Октябрьской Социалистической революции». Как будто не для людей звучали непонятные слова, но для застывшего сумрачного неба. Только снег скрипел под ногами. Небо молчало.

Эту пересылку Горчаков знал хорошо. Несколько раз проходил через нее и даже пару месяцев работал в санчасти. Он присматривался, вспоминая лагерь: лазарет сразу у вахты, в следующем бараке «шарашка», потом хирургия, где он познакомился с Богдановым, потом

барак артистов Игарского театра. Ларек, домик почты, огромная кухня с тремя трубами, потом шли бараки-палатки, такие большие, что издали не отличить было от деревянных. Баня. Потом старые, тридцатых еще годов деревянные бараки – низкие и теплые.

Завели внутрь. Это был отстойник – барак для приемки этапов. Народ плотно валялся на сплошных нарах. Блатные из их пятерки сразу нашли знакомых, заскалились, стали освобождать себе хорошие места. Между делом неплохое место на верхних нарах досталось и Горчакову. Этап в бараке был свежий, это было видно по множеству глупых, часто испуганных взглядов, сообщающих всем, что они ни в чем не виноваты. Никто их тут об этом не спрашивал.

Пара «фитилей»^[79] бродили по бараку, как тени, бормотали и бормотали что-то, словно молитву. С масками смерти на лицах, обтянутых сухой кожей, с вылезшими вперед зубами, – любой лагерник точно определил бы в них кончающихся. Он еще ходит, бормочет, шевелит высохшими руками и смотрит испуганно, но всем уже ясно, что жизнь к нему не вернется. От человека у него остался только беспомощный детский испуг перед спасительной смертью.

Как при усиленном режиме, барак был с решетками на окнах и запирался. Две параша стояли внутри, источая едкий смрад. Горько воняло махоркой, немывтыми телами, застарелым потом телогреек. Ни матрасов, ни сенников^[80] не было, Горчаков расстелил бушлат, надел на себя свитер и ботинки, свернул под голову телогрейку. Он чувствовал, что за ним наблюдают не одни жадные глаза. Не оборачивался, делал свое дело, будто эти взгляды его не касались.

– За что отдашь? – молодой блатной из их пятерки ткнул грязным пальцем в шарф, связанный Ритой. Глаза у него были подловатые.

Горчаков угрюмо качнул головой и лег, отвернувшись. Где-то неподалеку на нижнем ярусе раздался сдавленный крик, злобная возня, потом несколько глухих ударов по лицу, еще жалобный стон и через некоторое время судорожные всхлипы:

– Жена сама шила, единственная вещь от нее...

– Ничего, Алексей, не расстраивайтесь, – успокаивал кто-то опасливым шепотом.

– Всю дорогу берег... – ограбленный был недалеко, слышно, как хлюпал носом.

– Слышь, шарф у тебя длинный, давай пополам распилим, я тебе курева насыплю... – урка сзади Горчакова подергал его за плечо, – а то заберут люди, вон, казначули^[81] фраера...

Горчаков не отвечал, но чувствовал напряжение внутри. Шерстяной шарф был большой ценностью, могли крутануть, но в запертом отстойнике могли и побояться. Сначала попытаются испугать, этот молодой, не сявка^[82], но и не очень серьезный, сам не полезет.

Вечером пришли суки^[83], человек шесть во главе с высоким мужиком с черным чубом из-под песцовой шапки, в высоких белых бурках и тулупчике. Шли вдоль нар, сдергивали укрытых с головой, высматривали, почти ни с кем не заговаривали – глаз был наметан на «воров». Двоих забрали. Один, невысокий седой старик, пошел обреченно, но спокойно, другой же, помоложе, вырвался у самой двери и выхватил заточку. Его тут же прикололи в несколько рук и, оставляя кровавый след, выволокли на улицу. Кто-то из бандитов вернулся и молча показал дневальному на кровь. Тот понятливо закивал. Сосед Горчакова, торговавший шарф, лежал укрывшись с головой бушлатом. Его трясло так, что нары ходили ходуном.

Горчаков достал папиросы и закурил. За свою лекарскую жизнь он многого насмотрелся. Однажды в лазарете прямо у него на глазах воткнули пику в живот ссучившемуся вору. Тот лежал беспомощный после операции. Пика была с обратными заусенцами, вор, оскалившись от боли, выдрал ее из себя с собственными кишками. У самого Горчакова было два ножевых ранения, одно предназначалось в живот, но ушло в ногу, это было в конце Колымы, другое сзади в плечо – на страшной Красноярской пересылке. И в общих ночных драках, и один на один с блатными приходилось участвовать. Этого в лагере было не избежать.

Но ярче всего врезался в память один расстрел. Это было на Колыме во время войны. Выстроили лагерь, зачитали приказ о высшей мере и тут же, чуть отведя в сторону, расстреляли троих. Не сразу, а по очереди – каждому сначала зачитывали, потом залп, и человек на виду у длинного строя валился на снег. Это происходило долго. Тишина стояла мертвая. Не где-то за лагерем, под рокот трактора, как это делали обычно... а на глазах у пятисот человек, устрашая их, законно действовало самое гуманное государство в мире.

Печки топили хорошо, барак прогрелся и напали клопы. Когда жиганул первый, Горчаков удивился, отвык, даже и забыл о них – на севере клопы были редкостью, полез под одежду, стал искать, но вскоре укусил другой и потом еще и еще. Он сел, надел очки. Клопы сыпались с потолка, ползали по бушлату и нарам. Он поморщился от тяжелой неизбежности и снова лег.

День выдался длинный, он засыпал от усталости, клопы будили, он просыпался и снова думал, как быть. Он работал в санчасти Игарской пересылки, здесь должны были остаться знакомые, но руководила лазаретом капитан медицинской службы Голик, прегадкая баба, ненавидевшая заключенных. Она могла специально сделать плохо.

Горчаков пытался вспомнить, когда же он здесь работал – в прошлом году или раньше? Не помнил даже, какое время года было тогда. Только один случай на этой пересылке врезался в память. Его вызвали к больному в БУР. Это был следственный и штрафной изолятор со зверским режимом. Больным оказалась девушка с хорошей фигурой, с тонким, красивым и очень независимым лицом. Она кашляла почти не останавливаясь. Горчаков, в присутствии конвоира и под его жадными взглядами, прослушал ее спину и грудь. Это был туберкулез. Как только Горчаков закончил, она обессиленно опустилась на корточки спиной к стене, нар в камере не было. Печь топилась только в коридоре. По углам и на земляном полу вокруг параша намерз лед.

– Видал, краля какая, а зарубила свою сожительницу! – сообщил конвоир на обратном пути, подкуривая сигаретку. – Приревновала к другой и топором башку – раз!

Горчаков долго ее помнил. Она была похожа на Асю. Крепостью, независимостью и внутренним упорством – все это было в ее красивом взгляде, несмотря на изнуренность и кашель. Ни на что не жаловалась, ничего не просила. И даже то, что она была убийцей, не отталкивало, – она, впрочем, могла и не быть убийцей. Просто не дала кому-то...

Блатные играли в карты, варили чифирь на печке и гоготали, «занимались любовью» с дедушкой Морозом и Снегурочкой. Горчаков вспомнил, что завтра или послезавтра Новый год.

С подъемом в барак ввалились двое нарядчиков с шайкой шестерок. Матюками и палками быстро подняли всех и через час уже

гнали нестройной колонной в сторону порта. За ударную работу допцаек обещали и горячий обед.

Ночью Игарка была больше похожа на город. И Норильск, и Ермаково выглядели огромными строительными площадками, здесь же – колонну вели вёрхом вдоль берега Игарской протоки – были ровные и широкие, хорошо освещенные улицы. Бараки в основном двухэтажные бревенчатые или отштукатуренные и побеленные, но были и необычные здания, с явными архитектурными изысками – сложными крышами, длинными балконами и высокими окнами. Эти были построены еще до войны. В 1938 году Горчаков бывал здесь в Доме культуры.

В затоне возле лесозавода заключенных выстроили на неровном льду протоки. В тело реки был вморожен лес. Его привели сверху в плотях и не успели поднять на берег. Метровый, а то и двухметровый темный слой ангарской сосны. Верхние бревна были уже выдолблены и увезены, отчего затон выглядел как после бомбежки. Нарядчик вышел перед строем:

– Задача – достать лес от этой вешки, – он махнул рукой в меховой варежке на высоко торчащее изо льда бревно. Возле него двое заключенных разжигали костер для стрелка, – до того... костра, – он кивнул налево в темноту. – Там часовой будет. Каждый вырубают и сдает свой балан. Норма – двадцать штук на человека. Кто выполнит норму – завтра выходной в честь праздничка. Сорок пять минут долбим, пятнадцать греемся. Работать парами – один с кайлом, другой с ломом. Вопросы есть?!

Горчаков выбрал себе лом, взял на плечо и пошел к дальнему концу. Он не торопился, точно знал, что никакого выходного ни для кого не будет. Мороз был крепкий, дышалось сухо и даже через маску першило в горле. Какие-то бревна слегка торчали надо льдом, за них началась ругань, Горчаков шел дальше, пока его не окликнул часовой. Он выбрал бревно и начал неторопливо обдалбливать лед. Когда все потянулись к теплушке, у него не обнажилось и половины ствола.

В центре бревенчатого балка жарко гудела бочка-буржуйка. Мужики стягивали с себя замерзшие маски, варежки и шапки, обметенные белым куржаком. Терли примороженные лица, улыбались теплу, садились кто на лавки вдоль стен, кто на пол поближе к печке. Некоторые тут же закрывали глаза покемарить, другие обсуждали меж

собой, что привезут на обед, если до этого два дня не было горячего... Вспоминали и про Новый год. Он наступал сегодня ночью. Шутили про елку в бараке.

Горчаков притулился недалеко от двери. Когда-то Новый год был для него тяжелым воспоминанием, но постепенно страшная картинка – Ася с испуганными глазами – стерлась до привычной пустоты, и он, как и все зэки, перестал обращать внимание на этот праздник, как, впрочем, и на все другие.

После обеда появился молодой и злой десятник, шестерки отлупили палками нескольких блатных, отказывающихся работать, ходили среди крошащих лед, понукали, от них несло спиртом. Горчаков снял бушлат, остался в одной телогрейке и вынужден был долбить. Его объединили еще с двумя мужиками. Неподъемный, напитанный водой семиметровый ствол мало было извлечь из замороженного тела реки, его надо было обколоть и потом волоочь по изорванному ямами льду к берегу.

После четырех снова наступила полярная ночь, долбили наощупь, потом так же волокли, падали, матерились. Работу закончили в девять вечера, обратно колонна еле плелась, как ни орали часовые, как ни пинали отстающих. На всю зону из ночных репродукторов вольно гремели под гармошку знаменитые «Валенки». Красивый и гордый голос Руслановой, как голос не раздавленной до конца России, любили и те, кого сейчас вели, и те, кто вел:

...Суди, люди, суди, Бог,
Как же я любила,
По морозу босиком
К милому ходила.

Валенки да валенки,
Эх, не подшиты, стареньки...

Всенародная любимица Лидия Русланова, давшая более тысячи концертов на передовой во время войны, работала сейчас за пайку где-то в таких же холодных краях. Сидела она за мужа-генерала, это было известно. Легенды – лагерные параша – то привозили ее в

ермаковский театр, то в Норильск, кто-то божился, что видел ее в Тайшете, санитаркой в больнице. Урки, очень ее уважавшие и все знающие, рассказывали, радостно щерясь: на ментовские звезды вообще не смотрит, кого угодно по матушке шлет! По тем же слухам петь в лагере она отказалась наотрез, говорила: соловей в клетке не поет!

В бараке их ждал кипяток. Горчаков выпил кружку и еле забрался на верхний ярус. Весь барак раздевался тихо, даже блатные не балагурили. Руки тряслись, Георгий Николаевич расстелил бушлат и рухнул сверху... Голос Руслановой, кислый запах собственного пота и мысль о том, что кончились папиросы, – это последнее, что он помнил из тысяча девятьсот сорок девятого года.

23

Совсем недалеко от барака, где спал Горчаков, – минут семь пешком – встречал Новый 1950 год капитан буксира «Полярный» Александр Белов. В компании знакомых жены и тещи. В основном были торговые работники – принимал директор ОРСа^[84] Сергей Семенович Нехай, но были и просто уважаемые люди города. Пожилой и представительный директор второго лесозавода, командир Игарского авиаотряда со звездой Героя на лацкане. Начальник районного отдела МГБ старший лейтенант Квасов единственный был в новенькой форме и новых же, со скрипом, офицерских сапогах мехом внутрь.

Квартира была двухкомнатная, просторная, с отдельной кухней. Вешалка в прихожей переполнена, навалом на стульях лежали пальто и полушубки, в веселой неразберихе перепутались белые и черные валенки, бурки, мохнатые собачьи унты...

Из форточек тянуло по полу колючим заполярным холодком, но дамы освобождали от пуховых платков пышные прически, одергивали длинные и «плечистые» пиджаки и переобувались в туфли на каблуках. Мужчины зачесывали назад волосы, из-под широких брюк выглядывали начищенные ботинки.

Новый год есть Новый год, тем более круглый – 1950-й! Наступала середина столетия.

Стол ломился. Осетрина холодного и горячего копчения, стерлядь заливная, малосоляная и с лучком туруханская селедочка^[85], тающая во рту нельма, черная икра, белая икра, красная гольцовая, сугудай^[86], привезенные с юга соленые грузди и соленая черемша...^[87] В центре дефицитным украшением стояла большая миска салата из свежих огурцов и помидоров с зеленым луком и зеленым укропом. Хрустальные рюмки и фужеры выстроились в ожидании редких в этих краях армянского КС^[88] и советского шампанского. Водки не было, напротив командира полярных летчиков Ивана Зверева леденел в графине заблаговременно разведенный спирт.

Внимательный хозяин поднимал тосты, его поддерживали, и к одиннадцати все были веселые, хохотали, много ели, мужчины выходили курить в коридор, где объединялись с такой же соседской компанией.

– Спойте, что ли, Антонина! Да тихо вы! Как поет! – успокаивал галдящих гостей хозяин.

Теща Белова хорошо пела. Жена тоже. Сан Саныч вышел в коридор, он с утра был не в духе. Теща с Зинаидой дошивали на машинке платье, и он им мешал, а потом, уже перед выходом, пристали, чтобы он надел шелковую рубаху и веселенький галстучек с петушками. Отстали, только когда он заявил, что вообще никуда не пойдет.

На просторной лестничной клетке дым стоял коромыслом. Мужики сидели на широких деревянных перилах, на красном противопожарном ящике с песком с надписью «Не курить!», курили, разговор шел о подледной рыбалке. Руками махали, подсекали, вытягивали, Белов послушал их, своего механика представил – тот бы сейчас рассказал! Старпома вспомнил, подумал, что скоро увидит их в Красноярске. Настроение маленько поднялось, и он вернулся в квартиру.

– Ой, мороз, моро-оз... – заводили мама с дочерью на два голоса.

– Не-е морозь меня, – дружно подхватывали все.

Красиво выходило. Сан Санычу медведь на ухо наступил, и пел он только крепко выпивший, когда сам себя не очень уже слышал. Сейчас ему не хотелось, он махнул несколько рюмок коньяку, расшевелил им флотскую гордость и поглядывал на всех снисходительно. Он был тут самым молодым и не самым важным, но и не последним, как

выступала сегодня утром теща. Вспомнилось, как в уходящем году первым привел караван в Ермаково, и еще всякое приятное вспоминалось, и конечно Николь. Сладкое тепло разливалось по душе... Представил, как заходит с ней, красиво одетой, в эту компанию. И как они, черти, рты-то поразинули бы! Он еще махнул душистую, но слабую против спирта рюмку армянского и довольно крякнул в кулак. Прямо до печенок пробирала его выпившую душу эта девушка! Не понимал, чего вообще сидит тут, а не едет к ней в полярную ночь, мороз и пургу...

Он оглядывал всех и радовался, что хорошо выпил и ему уже на всех начхать. То есть все тут были ни при чем, но теща и торгаши ее... Белов их презирал! Жалкие торгаши, и все! Жена опять танцевала со старлеем. Повиливала крепдешиновыми формами.

– Уведут у тебя Зинку, Сан Саныч... – облапил его Иван Зверев. – Чего суровый такой? Давай дернем спиртяжки, друг!

Рука старшего лейтенанта Квасова уверенно скользнула ниже талии Зинаиды, подержалась там и снова вернулась на место. Белов заметил это, нахмурился было, но тут же и усмехнулся. Квасов был старше его раза в два, длинный, с гадючьим взглядом, разжалованный за что-то в их края... Квасов был говно против него! И Зинка ему под стать! Если бы этот носастый Квасов увидел Николь!

– Давай, Иван! Выпьем за наш Север! За Енисей! – Сан Саныч обнял Зверева. – За настоящую мужскую работу! – он гордо повернулся в сторону танцующих, но Зинаиды с Квасовым уже не было.

Они выпили с Иваном и даже поцеловались и пошли курить на лестницу. Возле вешалки Квасов что-то настойчиво говорил в самое ухо Зинаиде, та улыбалась. Сан Саныч, пьяно ухмыляясь, прошествовал мимо, но вдруг остановился:

– Зинаида! – окликнул грубовато.

Зинаида оставила старшего лейтенанта и, не отвечая Белову, пошла к столу. Квасов с раздражением и угрозой смотрел на Белова. Белов на него. Зверев утащил Сан Саныча и дал ему папиросу. На лестнице никого не было.

– Я ему чердак раскрою! – ярился Сан Саныч. – Мне начхать, кто он! Если он мужик...

По радио ударили куранты. «Ура-а!» – грянуло во всех квартирах. Шампанское захлопало. Иван тоже заорал прямо в коридоре, и они вернулись за стол. Слово взял хозяин:

– Пять лет прошло с войны. Тяжелых лет. И голодных, и одеть-обуть нечего было, но вот гляжу на нас, на наш стол! Все у нас есть! А будет еще лучше! С новым годом, товарищи! С новыми надеждами на счастливую жизнь! И чтобы не было войны!

– С Новым годом! За мир во всем мире! С новым счастьем! – зашумели, поднимаясь.

– За Сталина! – перебивая всех, неторопливо встал Квасов и, презрительно ухмыляясь, поднял над собой рюмку.

– За Сталина! За Сталина! – поддержали все не очень стройно и стали чокаться.

– За великого Сталина! – давил сквозь стиснутые зубы Сан Саныч, плеща коньяком.

Он уже набрался, но продолжал пить, мешая спирт с коньяком. Лез к Звереву:

– А бывают француженки! Ваня, это знаешь что?! Не могу тебе сказать! Это как твое небо! – Сан Саныч распахнул руки. – Вот! Глаза! Понимаешь?! Таких русских баб не бывает! Ни хрена! – за столом было шумно и Сан Саныч орал, заглядывая в лицо товарища. – Ты видал француженку когда-нибудь? Не видал?! А-а-а! Давай за нее выпьем, я тебе потом расскажу, я сейчас пьяный уже. Надо за ней на самолете слетать! Слетали бы, забрали бы ее и... фьють! Развелся бы к черту! Пусть эта... – Белов обводил стол мутным взором, пытаясь вспомнить имя жены. – Ну, пусть катится на хрен!

– Сан Саныч, – унимал его Зверев, – не маши так руками и не ори на весь стол.

Домой его вели Квасов с Зинаидой, но Сан Саныч этого не помнил. Помнил, что они шептались в темноте комнаты, а его так мутило, что он хотел, чтобы они исчезли.

Проснулся на полу. Прикрытый полусубком. Жены дома не было, старший лейтенант Квасов стоял над полумертвым Сан Санычем и больно давил каблуком на ладонь:

– Фраерок! Ты понимать-то способный?

Белов с трудом разлепил веки.

– Еще раз рот разинешь, не ты, а я тебе чердак раскрою! Я полжизни этим занимался! Понял?! – он пожевал тонкими губами, как будто собирался плюнуть в Сан Саныча. – И бабу твою... куда хочу, туда и буду! Ты понял или идиот?

Он выругался заковыристо и ушел.

Было уже полтретьего ночи, Ася сидела у письменного стола с маленькой лампочкой. Свекровь тяжело дышала за шторой, дети спали тихо. Соседи тоже уgomонились, гости от них разошлись, только на кухне кто-то гремел – наверное, Нина мыла новогоднюю посуду.

Ася после 1937 года не ставила елку. Дети привыкли и не просили. В отличие от Горчакова, этот самый страшный день их жизни она помнила до мельчайших деталей. Каждый год 31 декабря, истязая себя, вспоминала, как в то утро они с Герой катались на лыжах в парке недалеко от Васильевского острова, Гера вычитал, что это очень полезно для ребенка. Пришли домой только к обеду и начали наряжать елку. Игрушек не было, они делали их из ваты и бумаги, красили сосновые и еловые шишки, снежинки вырезали из золотистых оберток от конфет и клеили на окно разведенной мукой...

Она сидела в темноте, и из темных туманов времени всплывали и всплывали подробности той ночи. Она звала Геру ехать к родителям, встречать Новый год в Москве. Если бы уговорила... Таких случаев было много – человека не находили по какой-то причине и потом уже не трогали. Она пыталась представить себе их другую, обычную, как у всех людей, жизнь, но не могла вообразить Горчакова, лежащего на диване с газетой... или сидящего за столом, сервированным хорошей посудой и приборами.

Она приехала к нему в октябре. Сначала он сдавал отчет о летней экспедиции, потом планировал работы на Анабарском нагорье. Гера возвращался домой, когда она спала, а утро начиналось его рассказами об этом страшно интересном выступе докембрийского фундамента на севере Сибирской платформы. Все его друзья-геологи так жили, и Асе казалось, что только так и надо жить. У них в комнате ничего не было. Кровать, стол, самодельные полки, три походные кружки, две металлические тарелки и один охотничий нож... и ложки. Вилка не было. Постельное белье и ночную рубашку привезла мама. Она была в

ноябре и только качала головой на их нищету. В следующий раз обещала посуду и приборы.

Руководил обыском Гериного возраста высокий, полноватый, очень пролетарского вида парень в штатском. Представился лейтенантом НКВД, улыбался вполне добродушно, зачем-то стишки читал на разные случаи и как будто даже стеснялся этого обыска. И еще удивлялся на пустую комнату, в которой даже шкафа для одежды не было.

Обыскивать было нечего, два сотрудника пролистывали книги, а лейтенант разговаривал с растерянными хозяевами. Они говорили, как ровесники, ни Гера, ни Ася не верили в серьезность ночного визита в новогоднюю ночь и старались рассказать о себе больше, о своих взглядах, чтобы стало ясно, что они совершенно честные советские люди. Этот добряк не мог не понять, что к ним пришли по ошибке и все это недоразумение.

Всю их одежду и две пары летней обуви сложили зачем-то на столе, начали было переносить туда и книги, но их было много, и лейтенант махнул рукой. Взял одну из кипы, это было «Маркшейдерское дело» на английском, бросил на пол и поднял снисходительный взгляд на Геру.

Асе не было страшно, она просто не понимала того здоровяка. Потом она много наблюдала таких – чаще всего это были подлецы, за жалованье, жилье и спецаек готовые на любые низости, они получали удовольствие от власти и унижения не таких, как они, но встречались и просто дураки, а иногда патологические трусы. Часто трус, дурак и подлец жили в одной шкуре.

И таких, готовых быть ничтожествами, было много. Они писали доносы, охраняли, арестовывали, тайно следили за людьми или конвоировали их. Палачу, растлителю и насильнику огромной страны – обычному человеку с двумя руками и двумя ногами – не обойтись было без армии помощников.

Потом, когда они ушли и она поняла, что Геры нет рядом, а возможно поняла что-то еще большее, с ней началось странное – она не находила себе места, не могла ни стоять, ни сидеть, не могла плакать или кричать... стонала, взвизгивала тихо, задыхалась и боялась отойти от ночного окна. Ей казалось, что она может дожидаться Геру.

Дверь отворилась, на пороге стояла Нина. В одной ночнушке, в руках миска. Подошла, стараясь не толкнуть топчан с мальчишками:

– На вот, винегрет остался... – от нее крепко пахло вином. – Куда тебе?

Ася смотрела, не понимая. Нина пригляделась в темноте:

– Опять редела?! Что ты... ей-богу? – она нахмурилась и хозяйски взяла Асю за локоть. – Идем со мной! Идем-идем, там нет никого, всё, погуляли-поблевали...

Пришли в кухню. Нина вложила еще одну ложку в миску, поставила только что вымытые рюмки. Сходила за водкой к себе в комнату. Она была выпившая и делала все машинально, как только что так же машинально уложила спать мужа, а потом перемыла всю посуду. Руки были еще красные от горячей воды с горчицей.

– Давай выпьем с тобой, чтоб этот год... – она задумалась, вздохнула, – короче, чтоб войны не было, а там – как-нибудь, давай!

Она выпила рюмку, зачерпнула ложкой винегрет. Ася сидела и бессмысленно смотрела на свою водку. Она уже отревела свое сегодня. Внутри было пусто, и думать ни о чем не хотелось. Если бы водка помогала, она бы выпила.

– Я своего тоже не бросила бы, и дурак дураком иной раз, и пьет почти каждый день, а натерпелся он – на пятерых хватит! И ты своего не бросай!

Она взялась за бутылку, но увидела, что Ася не пьет.

– Выпей, – потребовала, – легче будет!

– Легче не будет, Нина... – Ася подняла глаза на соседку. – Его арестовали 31 декабря... Мы за столом сидели, и у нас тоже был салат.

Нина молчала, согласно покачивая головой. Убрала бутылку в шкаф.

– Ничего не понять... – она пьяно икнула и постучала себя в грудь, – радио слушаешь – вроде и правда враги... С живым человеком говоришь – все шиворот-навыворот! – она поднялась и стала вытаскивать из форточки сетку-авоську, висевшую на улице. Та, набитая едой, не лезла. Нина засунула руку, пошарила и достала коляску ливерной колбасы. – Возьми ребятишкам да винегрет выставь за окно, поедите завтра.

Валентин Романов вдвоем с Анной сидели за столом под керосиновой лампой. Еды было немного, выпивки не было. Дети уже спали. Погода стояла тихая, ни единого звука не доносилось. Анна, улыбаясь, рассказывала негромко, как весело отмечали Рождество у них на хуторе. Какая огромная семья была, и как с раннего утра начинали готовить еду. Запахи из печи наполняли все комнаты, молодежь бегала, ножи стучали. Дети зашевелились, из-под легкой занавески показались маленькие пяточки, Вася спустился на пол, подошел к ведру с водой и, зачерпнув ковшиком, напился. Посмотрел сонный на родителей и снова исчез за занавеской.

– Рыбы соленой наелся... – улыбнулась Анна.

Валентин рассеянно слушал жену, а думал о своем. Год этот был для него страшным. Вестей от Мишки не было. Ни Белов и никто другой, к кому он обращался, ничего не узнали. И тогда он поехал в Туруханск, в районное отделение госбезопасности. Его не задержали, чего он опасался, но и не сказали ничего. Он написал заявление, это было в конце сентября, прошло три месяца, а ответа все не было. Романов гнал от себя мысль, что его Мишки нет уже в живых.

Когда пробило двенадцать, Горчаков спал, снился ему вполне новогодний сон, снилось, что долбит лед, и лом у него приятный, легкий в руках и острый. И он играючи, улыбаясь, работает, один освобождает бревно за бревном, и мужики уже устали их оттаскивать, а он все колет и улыбается. А на улице не холодно, градусов двадцать пять, и даже солнце откуда-то взялось среди полярной ночи. Долгий-долгий солнечный день снился, как в детстве.

Для Строительства-503 1949-й был годом рождения. Все только начиналось в судьбе гигантской социалистической стройки. И начало это было грандиозным.

Вскоре после отъезда Горчакова в Норильск пришло письмо от Аси. Шура Белозерцев получил его – Горчаков вполне мог и вернуться – и спрятал толстенный конверт в надежное место. Прошел почти

месяц, от Георгия Николаевича не было никаких вестей, в санчасти дважды уже поменялся старший фельдшер, самого Шуру чуть не выгнали, и он про то письмо уже и забыл, но в конце января пришло еще одно. Шура задумался: получалось, что жена Горчакова не знала, где он.

Второе письмо он не стал забирать, его должны были переслать Горчакову по новому адресу, а то первое открыл и прочитал. Можно сказать, что и нечаянно, он не хотел открывать, но почему-то открыл – сердце толкнуло. В конверте было письмо на четырех страницах, два чистых листочка для обратного ответа и фотография. Не в ателье фотографировались, в школе, на фоне географической карты. Два пацана стояли и держались за руки. Шура рассмотрел их – пацаны как пацаны, не так чтоб сильно худые. Что постарше – симпатичный, взгляд уже и не детский. Младший – черноглазый, видно, что умник, в очках, и смотрит серьезно прямо в фотоаппарат.

Шура на следующий день снова перечитал письмо. Ходил и думал. Вечером, после отбоя, когда в санчасти все затихло, сел к столу. Решил написать все, как есть, все, что знает о Горчакове. Открыл ее письмо перед собой. Ася женщина культурная, это было сразу ясно, и Шура робел, не знал, как подступиться. Перечитал еще раз.

«Дорогой мой Гера! С наступающим тебя Новым годом и Рождеством!

Почти полтора года прошло, как я не получаю твоих писем. Это не упрек. Просто с того момента, как я написала первую фразу этого письма, прошло два дня. И все эти два дня я “писала” и “писала” тебе. Те письма были настоящие, женские, нервные, слезливые и даже про любовь. Так что все мои упреки остались там. А это письмо... ну, просто письмо. Скорее всего, опять в никуда.

С Натальей Алексеевной все в порядке, только слабеет и совсем перестала спускаться во двор. У нее новое увлечение – она пишет письма. Ученикам, старым друзьям и хорошим знакомым, которых у нее множество, и я не уверена, что все они живы. Эти письма о прошлом, чаще об очень далеком, я краем глаза заглядывала, написаны очень ясным, старым слогом, в них ничего о сегодняшнем дне. Она садится с утра, пишет черновик, потом переписывает – на это уходит целый день. Руки у нее слабые и трясутся, но она очень довольна этой работой. С Александрой Казимировной и еще с кем-то переписывается

по-французски. Иногда спрашивает у меня какие-то выражения, но, кажется, она лучше меня знает. У нее удивительно красивый французский язык каких-то старых времен, так теперь и французы не говорят.

Но вообще, с ней сложнее, чем с детьми.

Коля не хочет учить язык. Мы тоже, конечно, ленились, но и не думали, что можно не учить. А они теперь, после войны, очень взрослые стали, почти мужчины... Коля перед Новым годом заявил, что в школе будет до восьмого класса, потом пойдет учеником слесаря на завод, и все свободное время – только футбол! Его кумир сейчас – какой-то невероятный молодой вратарь “Динамо” Лев Яшин. Может быть, ты слышал по радио – я помню только, что он в воротах стоит в кепке.

Наталья Алексеевна последнее время стала настойчиво спрашивать меня, почему я не занимаюсь твоей судьбой – не пишу писем, не требую пересмотра дела. Она не помнит, что ты сидишь уже по новому обвинению. У нее очень неровно работает память. Что-то помнит в мелких деталях, что-то совершенно не помнит и сердится, когда я напоминаю, а что-то просто не хочет вспоминать – бережет психику. Недавно рассказала мне очень подробно, как они вместе с Надюшей Крупской учительствовали на вечерних рабочих курсах за Нарвской заставой. И как она потом ходила к ней просить за тебя. А она ведь за Илью ходила. Ты тогда был на свободе, Илья и Лида были арестованы, но не осуждены еще.

Как давно все это было! Странные времена – нам ведь тогда не страшно было, а просто непонятно. Мы с тобой совершенно не верили, что Илью могут осудить, – ты боготворил своего старшего брата. И когда ему дали три года, были очень удивлены (не возмущены, а удивлены!) и ждали, что его отпустят. Наталья Алексеевна действительно (ты был в экспедиции) ходила к вдове Ленина с просьбой разобраться, но Надежда Константиновна даже выслушать ее не смогла. К ней очередь стояла таких, и она очень жалко выглядела.

Но я отвлеклась. Написать тебе о нашей жизни, о трудностях... Да их, собственно, и нет особых. Как у всех, так и у нас. Подрабатываю на трех фронтах: перепечатаваю, преподаю музыку и языки частным образом, иногда перевожу. С работой, даже если бы и взяли, пока придется подождать. Севу в садик не устроишь, везде большие

очереди, или надо что-то отнести заведующей, а нам нечего, да и не умею.

Сева растет быстро, очень самостоятельный и ужасно милый. У него наступает самый хороший возраст. Он все больше и больше становится похожим на тебя в молодости. И лицом, и повадками. Все изучает и все прекрасно запоминает. Недавно принес журнал Академии наук с твоей статьей о металлоносности сибирских траппов: почитай книжку! Я спрашиваю: почему эту? Это папина, – отвечает, – мне Коля читал! Тебе было интересно? Да!

Он крупный, а еще эта его серьезность, ему четыре года, а все дают шесть-семь. Теперь, правда, много очень слабеньких детей. Он все всем раздает, особенно жалеет голодных и нищих. И калек, их теперь тоже много. Смотрит на них очень внимательно и требует, чтобы я что-то им дала. При этом у него такие серьезные глаза, что мне стыдно становится, что эти люди голодные. Он очень необычный, очень глубокий мальчишка.

Вот такие у нас трудности. Я иногда ясно чувствую, что счастлива. У меня двое твоих детей. Всего за полгода жизни вместе. Если бы Господь хотел меня наказать – так многие думают! – их не было бы! А они есть!

Мы все целуем тебя крепко.

5 декабря 1949 года».

И ни слова про фотографию не написала... Шура долго сидел, раздумывая.

Он очень готовился к этому письму, хотел даже ручку с пером и чернила где-то надыбать, но передумал. Пером он до войны последний раз писал. Карандаш заточил, положил перед собой листочки из школьной тетрадки, потрогал шершавыми прокуренными пальцами красную линию полей. Вспомнилось, как школьником боялся заступать за эту линию – отец пошутил, что выгонят из школы, если заступит. Пацанов своих он не успел в школу отвести, а теперь уже и Витька, младший, тридцать девятого года рождения... Шура надолго застыл, высчитывая, в каком же он классе... получалось в третьем или в четвертом. Значит, Сашка уже в шестом. Вернусь, Витька восьмилетку закончит, на завод может идти учеником... Уходил на фронт, совсем желторотые пузаны были, четыре и два годика. Уезжал ненадолго – немца разгромить... Сердце Шурино сдавило тоской, –

кто-то взял и отнял все это у его ребят... Мечтал лодочку завести килевую, в выходной на Волгу выезжать, катать свою Веру Григорьевну, с пацанами рыбку ловить в камышах... А Верочка, стройная, на песочке лежала бы... Не вышло с немцами по-быстрому, четыре года на них ушло, ладно... – лицо Шуры уже косилось в злобной гримасе, – а восемь лет лагеря – ни за что ни про что! Это уже тебе надо было, отец родной! – У Шурки зубы крошились от ярости. – Кайло бы загнать в твои безумные мозги по самую рукоятку! И пусть бы кончили меня тут же, пусть псами изорвали, как бы раскрыл твою рябую морду! Нет такого фашиста на земле, который столько нам наделал!

Шурка очнулся, лицо расправил от нервной злобы, выглянул в коридор и выскочил на улицу. Дрожащими руками сигарету подкурил. Не выдерживала психованная Шуркина натура этих мыслей. Как застарелая, гниющая заноза сидели они в душе, не за себя, за несчастных российских баб ненавистью исходил. Кто вернет им погубленную молодость? Подлые энкавэдэшные сапоги об эту удивительную Асю вытерли!

Только на другой вечер сел за письмо. Опять волновался, чтобы глупость какую не написать, фитиль в лампе вычистил. Достал из тайника Асино письмо, фотографию, конверт с написанным уже адресом. Чистых листочков из тетрадки не было. Сунул руку глубже за фанеру, обшарил весь тайник, но уже вспомнил, что забыл вчера листочки на столе. За голову схватился! Искурили, подлецы! Искурили детские листочки, суки вонючие, каторжные!

Письмо еще на два дня отложилось, Рита принесла бумаги из дома.

«Уважаемая Ася!

Извиняюсь очень, что не знаю вашего отчества. Это пишет вам такой же зэк, как и ваш муж, Шура Белозерцев. Георгия Николаевича я знаю уже почти что год, но сейчас его увезли в Норильск. Он думает, что его снова поставят геологом, и я не понял, хочет он или не хочет. Уехал он 18 декабря, больше месяца прошло, скорее всего, он там остался и не вернется уже, поэтому я вам и пишу.

Я прочитал одно ваше письмо, которое пришло месяц назад, и решил ответить. Могу сразу сказать, я всегда ему говорил, что он должен вам писать, потому что у него сыновья, но он ничего мне на

это не говорил и вам не писал. Скажу вам по правде – он вас очень жалеет. И детей тоже, даже которых он не видел. У него все фотокарточки целы (может, и не все, нас тоже иногда шмонают!), не скажу, чтобы он каждый день на них глядел (он зэк битый, а битые наружу своего никогда не покажут!), но если карточки не выбросил, а сохранил, то значит это вы и сами поймете.

И вот я вместо него получил его, то есть ваше письмо и, когда прочитал, очень захотелось мне вам сразу ответить. Особенно когда понял, что Георгий Николаич, скорее всего, сюда уже не вернется и мы с ним не увидимся больше никогда».

Шура задумался надолго, соображая, где теперь может быть Горчаков и как о нем можно что-то узнать. Не придумал ничего. Привернул закоптивший фитилек лампы, прислушался к храпящему, кашляющему и бормочущему лазарету и продолжил.

«Скажу вам сразу – это мне очень жалко. В санчасти все жалеют и спрашивают про него, но сказать мне им нечего – мы люди лагерные, куда загонят, там и существуем, баландой питаемся.

Вы пишете, что не писал Георгий Николаич вам давно, на это сообщу, что все это время чувствовал он себя хорошо. Не болел, работал старшим фельдшером, начальником санчасти в большом лагере на 2000 з/к. Отношения с начальством у него хорошие, с блатными тоже. Лечить старается, делает даже то, что ему не положено. Недавно мы с ним вынули глаз одному уважаемому бригадиру – герою войны. Георгий Николаевич сам, за хирурга все сделал, я только голову ему принес в мешке. Можно сказать, жизнь человеку дали.

В свободное время и по выходным, они, конечно, редко бывают, Георгий Николаевич читает книги по медицине и разные другие. Когда в лагерь привозят кино, мы ходим. Недавно смотрели “Поезд идет на восток”. Интересно нам очень, мы смотрим, как вы там, что едите и пьете, и вообще весело ли вам там. У нас в Ермаково построили большой клуб и начали ставить постановки настоящие артисты из Москвы и Ленинграда.

То, что он вам не пишет, это потому, что вы еще молодая, а срок у него большой. Не знаю даже, я вчера целый день думал об этом, как я на вашем месте сделал бы. Может, вам и правда замуж выйти? Георгий Николаевич ничего плохого вам не скажет. Я его знаю. Не ждать же

вам, когда его четвертак кончится, мне три года и четыре месяца осталось, а и то тоска! А ему за семьдесят, получается, будет. То есть отцом вашим детям он никогда уже не будет, тут ясно...»

Шура опять надолго задумался, сходил выкурил сигарету. Перечитал написанное, нахмурился недовольно и решительно взялся за карандаш:

«Мозги мои, уважаемая Ася, эту тему не тянут, одним матом ругаться хочется. Писал-писал вам, а чего написал и сам не рад. На этом прощайте!

Александр Белозерцев. Ермаково. 29 января 1950 года».

Еще раз перечитал, приписал внизу:

«За письмо это не беспокойтесь, отправлю его через надежного вольного человека, читать его не будут. На этот же адресок можете и ответ прислать, если задумаете».

Подумал и еще добавил:

«А если Георгий Николаевич напишет вам из Норильска, то вы про это мое письмо и что я его письмо прочитал, ему не говорите. Я это от души сделал, а он, скорее всего, не хотел бы так. Да и вы извините меня сердечно, если что не так сделал. Шура Белозерцев».

25

Первого января 1950 года распоряжением ГУЛЖДС МВД СССР была прекращена деятельность «Енисейжелдорлага», а Северное управление строительства и лагерей преобразовано в Северное управление ИТЛ^[89] и строительства № 503. Руководству стройки указывалось передислоцироваться из Игарки в поселок Ермаково, чтобы оттуда «непосредственно руководить строительными подразделениями».

Если и искать в этом логику, то только бюрократическую: видно, что-то в строительстве шло не так, как хотелось, возможно, что «главный прораб страны» изучающе прищурил взгляд и тем, кто на этот прищур наткнулся, надо было что-то срочно предпринять, чтобы спасти свою должность, а возможно и свободу.

И вот, как результат этого прищура, немалый аппарат Управления Строительства-503 со всеми его конторами зашевелился переехать на

сто десять километров. Среди зимы, из одного Заполярья в другое. Если бы это был один большой объект, как Норильский комбинат, к примеру, тогда можно было понять, в чем заключается «непосредственность» руководства, но Объект-503 был растянут на тысячу километров тайги и болот.

Из Игарки в Ермаково дороги не было, и уже третьего января на лед Енисея вышли бригады заключенных строить стокилометровый зимник – срубать торосы, чистить снег, вмораживать вешки. В Ермаково же ломали головы, куда размещать людей – для многих сотен «вновь прибывающих» не было ни рабочих помещений, ни жилья, ни мест в детсадах и школе.

Перевозились управленцы, снабженцы, проектировщики, топо-, гидро- и геоизыскатели, разные прикомандированные филиалы, вроде института мерзлотоведения. Ехали преподаватели восьмилетки и музыкально-художественной школы, которых успели набрать из ссыльных Игарки, второй раз уже переезжала немаленькая труппа театра, созданная по распоряжению начальника Строительства полковника Баранова еще в Салехарде при Стройке-501.

Сразу после новогодних праздников в Ермаково начали срочно освобождать или закладывать новое жилье для руководства, здания под конторы. Из Москвы прилетали комиссии, торопили, им накрывались обильные банкеты, и все делали вид, что торопятся исполнить указания партии и правительства. На самом же деле никому переезжать не хотелось и все, как могли, тянули. И не только из-за лютых морозов и полярной ночи, но и просто... устроились вроде и на тебе. Полковнику Баранову только к Новому году отделали в Игарке просторный двухэтажный дом, он ждал, когда спадут морозы, и собирался вызвать семью из Москвы, и вот теперь дом заново надо было строить в Ермаково, а приезд семьи откладывался на неопределенное время.

Северное управление строительства и лагерей за 1949 год построило в Игарке целый микрорайон нового жилья, двухэтажное здание конторы и школу, большую электростанцию, новую баню... а еще десятки барачных огромного пересыльного лагеря. Все это отходило не верящему в свое счастье Игарскому горисполкому. Из-за послевоенных послаблений в городе сильно прибыло ссыльных из

окрестных поселков, и они ютились друг на друге – на одного человека не приходилось и пятидесяти сантиметров жилплощади.

Белов сидел на очередном совещании и рассматривал начальника Строительства-503. Полковник Баранов не просто руководил Северным управлением железнодорожного строительства МВД СССР, но был заместителем начальника всего ГУЛЖДС МВД СССР – одного из самых больших и богатых главков МВД. Баранов подписывал документы на производство работ в миллионы и миллионы рублей, его распоряжениями поднимались и двигались в любом направлении тысячи людей.

Сан Саныч видел его второй раз и теперь старался хорошо запомнить – полковник очень ему нравился. Баранову в этом году исполнилось пятьдесят, но он не выглядел и на сорок, подтянутый, красивое и умное лицо всегда бывало спокойно. С руководителями подразделений (полковник не делал разницы, кто эти подчиненные – расконвоированные зэки, вольные или офицеры) всегда разговаривал уважительно.

Про Баранова говорили, что он давно должен был стать генерал-майором, но крепко проштрафился, его исключали из партии, и он чудом избежал высшей меры. По одной версии полковник крепко пил, по другой – его попутали с женским полом. Белов пытался представить себе, что же такого можно было натворить, сколько выпить... или с бабами? Люди уровня полковника имели все это, сколько хотели, и кто бы им мог такое запретить? Сан Саныч искренне считал, что к их ответственной работе, да еще с таким контингентом, и коньяк, и бабы прилагались без ограничений. Любой младший лейтенант, начальник захудалого лагеря пользовался этим свободно. Были, конечно, и такие, кто не пользовался. Сан Саныч не знал, что лучше.

Сводный отчет по лагерному хозяйству Северного управления с полчаса уже зачитывал какой-то майор:

«...с июня по январь 1949 года в состоянии лагерного режима и охраны заключенных наблюдались многие нарушения: 8 случаев лагерного бандитизма, 563 отказа от работ, 156 хулиганских действий, 503 случая промотов вещевого довольствия, 329 краж, 477 случаев картежной игры, фактов пьянства и сожительства. Наказаниям были подвергнуты 2238 человек, под суд отдано 99 человек. За 1949 год из

мест заключения бежало 60 заключенных, из них ликвидировано 54. Совершено 53 попытки к побегу...»

Майор остановился, выпил воды и снова уткнулся в бумаги. В зале стоял громкий уже шумок, никто не слушал. Белову казалось, что все эти цифры кочуют из отчета в отчет. Из-за предстоящего переезда совещания устраивались чуть ли не каждый день.

«...Личный состав охраны часто допускает аморальные проступки. Избиением заключенных занимались не только рядовые и надзиратели, но и начальники военизированной охраны. Так, майор Гузин был отстранен от должности за удар по лицу заключенного из числа самоохраны, начальник лагпункта сержант Фунтиков за систематические избиения заключенных был передан суду, а рядовой Соловьев осужден на 1,5 года лишения свободы».

Сан Саныч отвлекся, пытаясь вообразить себе начальника лагеря с фамилией Фунтиков. Сначала представился маленький и со злыми глазками, Сан Саныч забраковал его и, наоборот, вообразил себе здорового бугая с кулаками, как гири. Бугая по кличке Фунтиков. Белов невольно улыбнулся и стал слушать дальше.

«...На 1 января 1950 года для размещения заключенных построили порядка 150 зданий. Часть заключенных проживают примерно в ста полуземлянках и в пятидесяти больших утепленных палатках. Организация питания спецконтингента проходила в условиях освоения трассы. Продовольствие с баз на колонны и лагпункты доставлялось вьючными лошадьми, тракторами, а в некоторых случаях на людях...»

Когда речь зашла о флоте, прикомандированном к Строительству-503, «Полярный» отметили грамотой и переходящим вымпелом. В зале захлопали. Сан Саныч, гордясь и стесняясь одновременно, вышел получить, козырнул по-военному. Баранов, улыбаясь, пожал ему руку. Белов покраснел еще гуще и сел на место.

Было около трех, опускались сумерки, он не пошел с ребятами в столовую, а направился на буксир. С самого Нового года стояли крепкие морозы, и теперь придавливало, как следует, Сан Саныч поторапливался, тер щеки и нос. Ему хотелось обсудить Турухан, но было не с кем. Грач и Фролыч после навигации улетели к себе в Подтесово. Егор – на учебу в Красноярск. Из всей команды на зимовке

в Игарке остались кочегары да Климов с Померанцевым. Повариха Нина Степановна работала в столовой, иногда приходила навестить.

Он спустился ненадолго в ледяное машинное отделение пустого и гулкого «Полярного», кивнул Померанцеву, который готовил к съему хвостовик вала, и пошел в караванку^[90].

У «Полярного» был отдельный домик из двух комнат. В маленькой стояли стол и кровать Сан Саныча. Натоплено было жарко. Белов открыл форточку, разделся и сел к столу. Каждый январь, после Нового года он устанавливал себе личные планы. Тетрадь достал и задумался, пытаясь представить не пройденный никем левый приток Енисея.

1. Подъем по Турухану: поговорить с путейцами, взять промеры глубин прошлого года. Расспросить в Красноярске стариков-лоцманов...

Белов давно уже решил поднимать не одну, а сразу несколько больших барж. Это было опасно, река узкая, небольшая ошибка – и весь караван вместе с буксиром мог остаться по берегам. Даже сейчас: он только воображал себя на реке, а холодок бежал по спине. Сан Саныч сидел и бычился, будто уже впрягся в эти баржи. Он вышел в соседнюю комнату, поставил чайник на печку и снова сел к столу.

2. Продумать «метод толкания». Сделать крепеж и попробовать самостоятельно.

Толкать, а не тянуть баржи давно было темой разговоров, это было выгодней, во всем мире давно уже так делали, а Фролыч и сам видел, как толкали американцы. Они с Фролычем разрисовывали схемы, прикидывали механизмы стыковки носа буксира и кормы баржи и даже пытались толкать по прямой небольшую баржонку. Но попробовать, как следует, не решались – стремно было без приказа.

Сан Саныч достал и рассмотрел чертежи стыковой обоймы, которую они придумали. Прилег на кровать, положил руки под голову и стал воображать, как его небольшой «Полярный» толкает против течения сразу несколько барж. Он опять почувствовал страх – состав мог развалиться и все баржи навалило бы на буксир! Тросы звенели, скрежетал металл...

Белов проснулся от того, что замерз. Встал, закрыл форточку. За окном было совсем темно. Снова лег, вспоминая прошедшую навигацию. Он был не очень доволен – крутился все лето от Игарки до

Туруханска да в Ермаково... План выполнили, конечно, но ничего выдающегося. В эту навигацию надо будет костями лечь, а что-то сделать немаленькое.

«Полярный» стоял полностью вымороженный^[91], весь корпус проверен и залатан, осталось отремонтировать направляющие вала, поменять винт, еще какие-то мелочи. И совсем скоро надо было лететь в Красноярск. Там было много дел, у Сан Саныча все внутри начинало волноваться.

Он твердо решил выяснить, где находится Мишка и в чем его вина. А при возможности и поручиться за него. Сан Саныч воображал себе разговор с офицерами из органов, где он, уверенно глядя им в глаза, рассказывал, какой талантливый и принципиальный человек Михаил Валентинович Романов. И как он нужен и полезен Родине.

Представился невольню Мишкин отец – Валентин Романов, его остров, белобрысое малолетнее семейство, Анна... Думая о них, он всегда вспоминал Николь. Сан Саныч глядел в деревянный потолок своего «кубрика», а видел эту удивительную девушку, она казалась ему невозможно хорошей. Сердце его тоскливо сжималось, он накрывал голову подушкой, чтобы быть еще ближе к ней, не слышать ничьих морозных шагов за стеной караванки, ни приглушенного окающего говора матроса Климова, колющего дрова. Беда была в том, что Сан Саныч не помнил ее лица. Совершенно! И чем больше напрягался вспомнить, тем хуже получалось. Только иногда, нечаянно, вдруг пронзала сердце ее смелая открытая улыбка.

Он не помнил лица Николь, но так много думал о ней, что чувствовал, что хорошо уже знает ее, чувствует трепет ее души.

Невольное сравнение с Зиной было ужасным – Зинаида казалась безмозглой течной сукой, которой все равно, кому подставляться. И еще многие девушки вспоминались манерными и похотливыми. С Николь же все было необычно – он ей нравился, она ему тоже, а между ними все осталось красиво. Не разменялись.

Можно было бы написать письмо, ссыльным не запрещалось писать письма, но он не представлял, что можно написать. Все-таки она француженка... Однажды они выпивали в Интерклубе с французским капитаном и его помощником. Сан Саныч выучил слова «камерада», «ляфам», «шампань» и «амор», а французы слово «товарищ» и еще два матерных, которыми можно было выразить все.

Выпили много и расстались друзьями... Но те французы были другими, французскими французами, а Николь уже наша. И по-русски говорит так, что не отличишь, и живет в рыбацьем поселке Дорофеевский.

Эта мысль волновала больше всего... До Дудинки можно было добраться на самолете, а вот дальше... километров триста пятьдесят... на оленях или собаках. Сан Саныч вздыхал, кусал угол подушки и клял заполярную ночь с ее собачьими морозами и черной пургой по нескольку дней.

За нетолстой стеной караванки закрипели чьи-то шаги. Человек шел уверенно, поздоровался с кем-то громко, заговорил, Сан Саныч встал с кровати, поправил одеяло и открыл дверь в свою комнату.

– Здорово, чертяка! – в караванку в собачьих унтах и лохматой, белой от инея ушанке вваливался Серега Плотников.

– Здорово! – обрадовался Белов, и они крепко обнялись.

Изо всех карманов меховой летной куртки у Сереги торчало. Два коньяка на стол встали, шоколадка, банка американской ветчины, еще что-то. Серега был одноклассник. Они даже на фронт удирали вместе, а потом вместе собирались в речной техникум.

– Надолго?! Полярная авиация! – Белов опять схватил друга за куртку и развернул к себе.

– Да не трясись так, на два дня... Год почти не был, а тебя сразу нашел, даже не спрашивал никого! – он снял куртку. – Но Игарка-то, а?! Настроили! Новый город уже больше Старого! Театр! Автобус ходит! Нигде на Северах такого нет!

– Пятьсот третья строит, я к ним прикомандирован.

– Хорошо платят?

– Нормально!

Они врезали сразу по полстакана и вскоре веселые горланили на весь кубрик. Плотников усы отпустил и заматерел за последний год, а глаза такие же веселые, жениться он и не собирался. Гордо рассказывал про полярную работу – за два года работы у него уже были три вынужденные посадки – одна в торосы на море. Серега выглядел героем, с высоты своих полетов посматривал на товарища.

– Как у вас с Зинаидой? – спросил, обстукивая сургуч с коньячной головки. – Детей нет еще?

Сан Саныч видел, что Серега спрашивает просто так, но задумался. Взял свой стакан:

– Не женись, Плотников!

– Эт точно! – легко согласился Сергей, и они чокнулись.

– Зинка недавно призналась, что аборт сделала, а мне все равно.

Честное слово. Вообще не знаю, зачем она мне.

– А что, готовит плохо?

– Да нет, почему? Готовит... – Сан Саныч думал, что сказать. – Что-то неприятное от нее. Как будто не родня мы никакая, а так... Я после Нового года дома раза три ночевал.

– Так и не работает?

– Нет.

– А чего делает?

– Да хер знает! Учится вроде, с матерью чего-то там колготят по торговле, я не лезу. У нее мать всю жизнь торгашка, всех тут знает.

– Ты, Сан Саныч, чего такой простой-то? У тебя квартира, зарплата вон какая! Да тебя еще и нет никогда! Гони ее на хрен!

– Не могу я... – Белов сморщился брезгливо. Он чувствовал, что пьянеет. – Меня, когда орденом награждали, приняли кандидатом в члены партии – вроде так надо было. А партийному разводиться нельзя!

– Разводиться-то можно, но из капитанов могут турнуть! Вот если ты ее застукаешь! – Сергей закурил папиросу.

– Налей, что ли, – попросил Сан Саныч.

Выпили. Закуски больше не было. За стеной негромко разговаривали мужики. Ужинали.

– У нее в госбезопасности знакомый! Начальник районного управления...

– Ну и что? Это не их дело! У нас до войны начальником полярной авиации был Марк Иванович Шевелев – ни одного летчика им не отдал! Нет и все! И ничего они не смогли!

– Он меня на Новый год прямо предупредил, чтоб я... не касался ее! – Белову стало совсем стыдно, он зло запнулся и встал. – Пойду закуски возьму...

– Да не надо, тут осталось-то... А чего он лезет?

Сан Саныч не стал объяснять, почему боится эмгэбэшника и не ночует дома. Он и сам этого не знал. Дело было не в нем, а в Зинке.

Сел на свое место:

– По радио сегодня передавали: американцы машину придумали, которая считает быстрее, чем сто человек! А тут с бабой не разберешься!

– Электронно-вычислительная машина, – со знанием дела поправил Сергей, – их давно придумали, я в «Технике – молодежи» читал. У нас своя ЭВМ тоже есть, скоро самолеты вслепую полетят, машина сама будет курс считать!

Сан Саныч пошел провожать Плотникова до общежития и там свернул домой. Спьяну захотелось посмотреть в глаза Зинаиде.

Она словно ждала, поднесла стопку, кормила и шутила над тем, как он напился. Такая ласковая была, что пьяный и благодарный Сан Саныч чуть не предложил ей развестись.

И спали, как в медовый месяц! Утром Белов проснулся от запаха жареной картошки.

– Ты со мной по-человечески, и я с тобой по-человечески! – улыбалась Зинаида, нарезаая хлеб.

– Чего это? – щурился Белов недоспавшим глазом.

– Анекдот смешной... Мужу одному жена надоела – неряха, не готовит ему, он и думает, как бы от нее избавиться... Убить не убьешь, выгнать не за что!

Сан Саныч не без удивления слушал жену.

– Ему мужики и говорят: ты, Петька, ее ночью замучай этим делом насмерть! – Зинаида озорно стрельнула глазами. – Ну он всю ночь ее... того! Утюжил! Утром встает еле живой, а она причесана, халатик новый надела и еды всякой наготовила. Он глазам не верит, а она: ты со мной по-человечески, и я с тобой! – Зинаида радостно захохотала, запрокидывая голову.

Белов малость смутился, припоминая ночь. Что-то такое, даже и чувства такие, как в анекдоте, у него были.

– Садись, Санечка! Борща сегодня сварю украинского. С пампушками твоими любимыми. Мама муки белой достала.

Сан Саныч надел бушлат на голое тело и пошел в уборную. Когда вернулся, на аккуратно заправленной кровати специально для него было раскинуто длинное темно-зеленое пальто с пышным воротником из чернобурки. Белов даже чуть растерялся недовольно – откуда у нее столько денег... Сел за стол.

– Похмелишься?

Он отказался, цеплял вилкой картошку, сам все поглядывал на шубу.

– Нравится?

– Откуда такое?

– В Коопторг завезли три штуки. Одну начальник пересылки взял, одну Нехай своей жене...

– Сколько стоит?

– Угадай?

– Не знаю...

– Три тысячи... – Зинаида присела к нему, прижалась и обняла за талию. – Подаришь мне?

– Что? Ты еще не купила?

– У меня денег нет.

– А у меня есть? Это две мои зарплаты!

– Саня! Ты же не жадный! Это дефицит страшный! Такое сто лет будет носиться! Посмотри! – Зинаида ловко накинула пальто и покрутилась.

У Белова были отложены полторы тысячи на командировку, жена о них не знала, но думал он о другом – стало понятно, почему Зинаида так неприкрыто ласкалась. Это было не в первый раз. Белов отодвинул тарелку:

– По-человечески, говоришь? – его глаза были полны презренья. – Что у тебя за душа такая!

– Какая?!

– Да у тебя ее вообще нет! Одна подлость!

– Ты что, Сан Саныч! – Зинаида растерялась.

– То! – давил Сан Саныч. – Гадюка!

– Ты поаккуратней в словах!

– Это я поаккуратней?

– Ты! – Зина смотрела уже с нескрываемой ненавистью.

– А ты не хочешь собрать свои шмотки и свалить отсюда к своей маме?!

– Что-о-о?! Ах ты скот! – Зинаида выхватила у него недоеденную тарелку, но тут же бросила. Схватила пальто, свернула чернобуркой внутрь и сунула в шкаф. – Без тебя куплю! Найдутся... найдутся денежки! А отсюда ты сам вылетишь, если захочу! Ага?!

Сан Саныч ясно видел, о чем догадывался и раньше – она знала о предупреждении Квасова. Кровь в нем закипела, он вскочил, но удержал себя. Скривился в ухмылке:

– Сегодня же откажусь от квартиры!

– Даже не думай! Дурак чертов! – она села на кровать. – Нет, это я дура, за кого вышла! Профессор в Москву звал, пять тысяч только оклад, домработница, квартира... а я?! Кому поверила! На руках обещал носить!

– Да ты за пять тысяч за коня бы пошла! Вот, и-го-го! – Белов встал на колени и вытянул из-под кровати чемодан. Вывернул из него все на кровать. – В караванку перееду! А ты езжай к своему профессору! В Москву!

– Ты что думаешь, Белов, на тебя управы не найдется?! – она дернула его за рукав. – Полторы тысячи дай, полторы мама даст...

Белов молча швырял вещи в чемодан. Расправил старую тельняшку, дырка на ней была защита. Повернулся к Зинаиде:

– Что же твоя мама на целое пальто не наспекулировала?

– Это ты говоришь?! А кто мешок муки с буксира приволок?! – она скинула пачку старых газет, лежавших на мешке с мукой.

– Ах ты, – Сан Саныч аж слова забыл от негодования, – да чтоб я... Это честная мука... Ах ты, сука! – он в ярости схватил Зинаиду за воротник халата.

– А-а-ай-й! – заорала Зинаида на весь барак и вцепилась зубами в его руку.

Тут уже взвыл Белов, заматерился, тряся рукой. Захлопнул чемодан и стал одеваться:

– Чтоб духу твоего тут не было! Слышала?! До завтра тебе время!

– Белов, ты чего? Ты чего, правда? – она перешла на зловещий шепот. – Ты пожалеешь, Саня! Ой, пожалеешь! Я напомним, кому надо! Тебя предупреждали!

– Вот ты мне где! – Белов рубанул себя по горлу, протиснулся с чемоданом в дверь и зашагал по темной утренней улице.

Остановился, успокаиваясь, завязал ушанку под подбородком. Ему было страшновато отчего-то, но и хорошо. Он хвалил себя за то, что ушел, понимал, что все время после Нового года готовился к этому и вот сделал. Молодец, Сан Саныч! Будь что будет! Сам в партбюро пойду, пусть принимают решение, спекулянтки, сука, что одна, что

другая! Чернобурку ей, а хер вот на воротник не хочешь! Он пощупал паспорт в нагрудном кармане. Завтра же пойду заявление подам! Он поскользнулся в темноте, чуть не грохнулся, ударил углом чемодана о снег, ручка оторвалась. Сан Саныч только ухмыльнулся довольно, взвалил чемодан на плечо и двинулся дальше.

– Здорово, Сан Саныч! – раздался чей-то хриплый голос с другой стороны улицы.

– Здорово! – отозвался Белов, не оборачиваясь.

«Полярный» был выморожен чуть на отшибе от зимующего каравана судов, и их караванка с окнами на Енисей тоже стояла отдельно. Климов, кашляя, не торопясь подбрасывал уголь в печку. Обернулся, кивнул уважительно. Белов прошел к себе, сбросил чемодан на койку и снял шинель.

Померанцев жарил гренки на комбижире. Вкусно пахло на весь домик.

– Здравствуй, Николай Михалыч, чайком побалуемся? – спросил Белов.

– А как же! Есть чаек! – Померанцев отвлекся от гренок и налил из чайника крепкого, перекипевшего и очень горячего чая.

– Поешь с нами хлебца, Сан Саныч? – Климов, улыбаясь, присел на пенек у порога и взялся за недопитую кружку. – Или ты дома питался?

Померанцев выложил гренки в миску и поставил на стол. Сам сел напротив Белова, размочил свою гренку в кружке и потянул ее в беззубый рот. Уважительное дружелюбие этих, таких разных людей успокаивало, напоминало о лете, о работе. Климов вспомнился, висящий за бортом с топором в руках, вообще весь тот отчаянный шторм в низах. Улыбнулся сам себе:

– Какие новости?

– Да какие, никаких, Сан Саныч, угольку бы еще выписать... – Климов громко прихлебнул обжигающий чай. – Зарплата уж скоро, подхарчимся малость, так, Николай Михалыч? Он у нас все утро про смертную казнь тоскует, – Климов весело и осторожно зыркнул на Померанцева, не сказал ли чего лишнего? – Опять ведь ее ввели, по радио передали...

– А ее разве отменяли? – удивился Белов.

– В сорок седьмом... – Померанцев аккуратно обсасывал размоченный кусок.

– По радио указ был, – Климов кивнул на приемник, – от 12 января 1950 года. Для изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов снова заводят смертную казнь. Я думаю, это для матерых урок придумали. Раньше он убил – и ему ничего! У него и так четвертак! А теперь убил – вставай к стенке, браток! А и то, сколько от них беды в зоне...

Померанцев помалкивал, но видно было, что у него на этот счет свое мнение.

– По-нашему, по-крестьянски если сказать, – Климов в смущении почесал затылок, – ее никогда и не отменяли. Если кого хотели жизни лишить, то думать-то не сильно бы стали, так же? – Он присел к печке и, обжигая пальцы, закурил совсем небольшой остаток самокрутки. Сам все думал о чем-то. – Человек – животинка особенная, крепче его нет никого. Конь, к примеру, тот хлипкий против человека, сразу ясно! Пашешь целый день, и если он устал – все, распрягай, а не то копытья протянет. А человек! Ого! Как хошь с ним можно! Мы в Ухте план дневной не выполним, нас в тайге на ночь оставляют. Как работать – не видать ничего, ходим, как привидения. А утром снова на работу! И ничего! Опять же от стрелков много зависело. Иной не смотрит на тебя, а другой и костра зажечь не даст – все на работу понукает, а это же не его дело...

– Для пятьдесят восьмой ее вводят, – перебил Померанцев, – по многочисленным просьбам трудящихся...

– Вот ты опять! Да не осталось уже политических, откуда им? – Климов, явно не накурившись, придавил пустую самокрутку в жестяной баночке. – Кто теперь враги-то? Сорок лет с революции прошло – померли все буржуи, Николай Михалыч. Я сам по радио слышал – умные люди вслух об этом размышляли.

– В Ленинграде большие аресты. Для них расстрелы готовят.

Белов, услышав про аресты, вспомнил о Зинкиных угрозах и опять почувствовал, как неприятная волна страха поднимается изнутри.

Вечером, в темноте уже, Сан Саныч ходил к своему барaku. Посмотрел издали – темно было в его окне. Он постоял, помялся, но

внутри не пошел. Он вообще не очень понимал, зачем пришел к Зинкиному окну. Дальним кругом, мимо Дома культуры вернулся на берег, ощущая тяжелый комок внутри.

Мужиков в караванке не было, на его койке лежал старший лейтенант Квасов. Белые бурки большого размера на каретку задраны. Накурено, початая бутылка на столе. Не шевельнулся, когда вошел оторопевший Сан Саныч, только чуть прищурился. Потом неторопливо сел, оперся на высокие мосластые колени. Снисходительно разглядывал Белова.

– Хочешь, уведу в наручниках? – он небрежно, по-блатному ухмыльнулся и зачем-то выпятил губы.

Белов стоял молча. Книжки были сброшены с полки и валялись на столе, дневник, спрятанный за ними, лежал открытый. В вещах тоже копались, чемодан вытащен из-под кровати, тельняшка из него торчала.

– Целый час на тебя убил! Ты кто такой? Капитан, сука, буксира? А на нары не хочешь?! – он встал, неторопливо надел шинель, заткнул бутылку и сунул в карман. – Запомни хорошо, щенок, жена твоя – наш человек, это я тебе по секрету сказал, за разглашение – десятка! Минимум! А то и четвертачок выпишу... – он посмотрел с выражением и вдруг выставил вперед кривой палец. – А ты ее муж, понял! Пойдешь в загс за разводом – домой не вернешься. И не видать тебе ни баржи твоей, ни батюшки-Анисея! – он захихикал противно, придвинулся к самому лицу, перегаром запахло. – Вишь, как она тебя любит, очень меня просила сохранить семью. Завтра, короче, собрался и домой. Понял меня? Не слышу ответа!

Белов молчал напряженно, он ждал этого разговора. Боялся его, пытался вообразить крутой «мужской разговор», но не получалось. И сейчас, чувствуя за собой правоту, Сан Саныч не знал, что сказать. Старлей неспешно наслаждался унижением. И Белов эту его власть почему-то принимал. Квасов шагнул мимо посторонившегося Сан Саныча к двери, наматывал толстый шарф вокруг шеи:

– А кто такая... – он кивнул на дневник и явно специально держал паузу, – как ее? Коля-Николя! Шалава твоя? Не иностранка, случаем?!

У Белова помутилось в мозгах, к страху подмешалась ярость, еще мгновение и он кинулся бы на эту тварь, но он стоял, как парализованный. Он чувствовал себя голым перед старшим

лейтенантом, и, как всякому голому, оставалось только прикрыться. Все его мечтания по поводу Николь на самом деле были неосознанными страхами, и теперь они оказались на поверхности.

– Ну, пойду, ты, кстати, заходи, если вопросы будут! – голос Квасова зазвучал неожиданно просто, по-приятельски, так, что Сан Саныч даже поднял на него голову.

Ночью Белов не спал. Жизнь представлялась ему изуродованной. Все, о чем он мечтал, о хорошей работе, которую обязательно отметят, о переводе на большой теплоход – все это смешалось в запутанный клубок и выглядело жалким и ненужным... Он ворочался, садился в кровати, прислушивался к храпу мужиков за стеной и жалел, что не курит... Можно было сходить к Квасову и поговорить с ним. Прямо сказать, что давно уже не любит Зинаиду и что им было бы лучше разойтись.

Белов замирал, не понимая, почему так нельзя сделать, душа переставала трястись, он даже думал, что завтра же надо поговорить. А если бы Квасов стал расспрашивать, можно было сказать о Николь. В том, что она ему понравилась, не было ничего преступного, она только ссыльная девушка, между ними ничего не было – он даже перед женой был чист. Он снова ложился и опять не спал. Что-то безнадежно унижительное было во всем этом. Он хотел, но не мог поступить по совести.

К Квасову нельзя было идти. Белов воображал, что уезжает куда-то далеко, вербует на Дальний Восток, с его специальностью его везде бы взяли. Зинаида останется здесь... Эта мысль ему не нравилась. Он предавал команду, руководство, которое в него верило. Так нельзя. Он готов был отказаться от Николь и уехать. Ради работы готов был, но от Енисея... И он опять стискивал зубы и думал, думал. Выход был только один, и к утру, измотавшись, он как будто уговорил себя.

Сразу домой не пошел, как того требовал Квасов, не пошел и на другой день под каким-то предлогом. Сам мысленно разговаривал со старшим лейтенантом, оправдывался, почему не пришел. Пришел на третий день и стал собираться в командировку в Красноярск. Зинаида посматривала снисходительно, но все вещи были перестираны и аккуратно выглажены. И борщ был сварен, она молча налила тарелку, положила рядом очищенные дольки чеснока и, взяв стирку, ушла на

кухню. Сан Саныч сел есть. На душе легчало – уже послезавтра утром он сядет в самолет, а вечером будет пить с друзьями в ресторане «Енисей».

Он остался ночевать дома и даже не удержался и жену ублажил, ненавидя ее, а еще больше себя. Потом не мог уснуть, думая с тоской предателя об удивительной девушке с красивыми и честными глазами. Спокойно думал, понимая, что вряд ли еще когда-то ее увидит. Припоминал и других случайных знакомых, в которых так же влюблялся и... ничего. Забывались девушки, забудется и эта.

26

Белов стоял в автобусе у задней двери, дорога из аэропорта до Красноярска была скользкая, в ледяных кочках, качало, как в хороший шторм. Он держался за поручень над головой и радовался, что благодаря чудесной силе авиации все его вопросы – раз – и отделились, всего-то несколько часов в воздухе. А впереди товарищи, которых давно не видел, и хорошие, привычные дела. И что вообще скоро навигация, он загибал пальцы, сколько осталось... получалось многовато – четыре с половиной месяца. Месяц он собирался пробыть в Красноярске, потом на рембазе в Подтесово, запчасти нужны, новый винт... потом буксир уже надо будет готовить, дома не обязательно было ночевать.

Мальчишка, сидевший на его чемодане, подскочил вместе с автобусом и свалился в ноги Белова, ухватился за штанину и глянул снизу испуганно. Сан Саныч поднял его, поправил чемодан и снова усадил пацана. Тот все смотрел с недоверием. Сан Саныч подмигнул дружелюбно, ему неприятно стало, что его боятся. И снова остро кольнуло, вспомнил о своем страхе. Нахмурился зло, он весь полет обдумывал свою ситуацию – он никогда не был трусом, а тут, получается, был. Мальчонка тоже, похоже, рос безотцовщиной, с бабкой ехал.

Старый перегруженный автобус полз медленно, взывал и гремел вентилятором. Они уже въехали в город, но до пароходства было еще далеко. На заднем сиденье трое летчиков устроили столик на

брезентовом тюке. Выпивали. Автобус мотало, спирт плескался, они негромко произносили какие-то тосты, чокались и радостно гоготали.

Толстая бабка повернулась к ним строго на очередной взрыв хохота:

– Чегой-то вы, ребята, разве можно?! На вас, вон, ребятишки смотрят, некультурно! Пьете ведь! А еще летчики!

Ближний к ней чернявый летчик аккуратнo допил из кружки, поморщился, отер, не дыша, губы и, сняв меховой шлем с головы, занюхал из него. И только после всего этого посмотрел на бабку голубыми глазами, на которых выступили слезы. Видно, разведено у них было крепко, а может и совсем не разведено:

– Мы, бабушка, если бы за штурвалом выпивали, тогда это было бы некультурно, а в автобусе самое то! Трясет только! У него вот, – он ткнул в товарища, – третий сын родился! А он хотел девку! У него горе, бабушка!

Они рассмеялись. И Белов, и многие вокруг улыбались. Рядом с летчиками в самом углу сидели крепкий мужчина с бородой и светловолосая женщина. В полушубках, с большими рюкзаками на руках. Геологи, подумал было Белов, но, приглядевшись внимательнее, передумал... должно быть, ссыльные. Геологи вели бы себя иначе, скорее уже пили бы вместе с летчиками, а эти старались быть незаметными. И у женщины было нерусское лицо. Покорное и вместе с тем строгое. Почувствовав, что ее изучают, быстро глянула на Белова. Он отвернулся, ясно понимая, что русские так не смотрят, немка, скорее всего.

Перед ним сидел мужик с заграничным, туго набитым портфелем. Он начал вставать, собираясь выйти, Белов посторонился, и они встретились глазами.

– Здравствуйте... – Сан Саныч от неожиданности забыл, как зовут главного диспетчера отдела водного транспорта Стройки-503.

– Здравствуйте, – тот присматривался к Белову, потом подал руку: – Кладько, а вы – Белов, капитан буксира «Полярный».

– Так точно, вы тоже на совещание?

– Ну да, к вашему начальству за тоннажем еду... Вы когда обратно в Игарку? – Кладько, извиняясь, протискивался в сторону двери.

– Месяца через полтора-два...

– Вернетесь, зайдите, подумаем по Турухану, мне Клигман про вас говорил... Там непросто!

К Макарову Белов попал только через неделю. Был уже вечер, невысокий и коренастый начальник пароходства вышел из-за стола, подал руку, разглядывая.

– Ну что, капитан, садись, рассказывай! – он устало опустился за стол и указал Белову место напротив. – Как навигация?

– Сто пятьдесят пять процентов плана! – доложил Белов. Он любил, очень уважал, но и слегка побаивался Ивана Михайловича.

– Как буксир?

– Неплохо, корпус подварили... мне бы винт новый...

– Напиши заявку.

– Вот! – Белов вынул подготовленную бумагу.

Макаров подписал, пошел к шкафу и нашел нужную папку.

– Я смотрел твои чертежи по толканию. То, что ты рисуешь, оно и так понятно, тут пробовать надо, а это время, месяц – не меньше.

– Мой старпом сам видел, как американцы составы по 60 тысяч тонн толкают!

– У американцев и толкачи в 12 тысяч лошадиных сил, а у тебя их триста! – Макаров встал, подошел к большому окну с видом на серый, скованный льдом Енисей, замер, соображая. – Там не так все просто, обойму на нос вы нарисовали, а рули у баржи защитить?! Там кринолины нужны, иначе все изломаете. Надо вам кого-то с хорошим опытом... – он задумался. – Ладно, поглядим, может найдем пару недель на все про все...

Белов кивнул благодарно.

– Как мать, болеет?

– Похоронили. Той весной еще, Иван Михалыч.

– Ну, царствие небесное, прости, забыл. Еще вопросы?

– Я про Михаила Романова хотел спросить, Иван Михалыч, его отец сказал, он арестован, а за что, вы не знаете?

Макаров молчал, не глядел на Белова, потом и совсем отвернулся в окно.

– Мы с ним в одной группе учились, он честный человек! Я могу за него поручиться! Он ничего не мог сделать! – осторожно настаивал Белов.

– Я не знаю, за что он арестован, капитан, и тебе в это дело не надо лезть. Разберутся, если не виноват – отпустят... – он посмотрел на Белова, но в его умных усталых глазах не было прежней уверенности. – Что-то у него по пьяному делу получилось.

– Подрался?

– Да нет вроде, не говорят ничего, – Макаров развел руки. – Что я могу? Идет следствие. И ты не лезь туда. Это тебе мой приказ! Какие еще вопросы?

Он встал, подошел к Белову, пожал руку, строго глядя в глаза:

– Давай, сынок, дел у нас много... Каждый свое будем делать. Даже если ему трудно сейчас, мы ничем не поможем. А толкание осваивайте – миллионы народные сэкономим, если получится.

Белов бодро шел в сторону общежития, думал напряженно обо всем сразу и не отдал честь патрулю. Младший лейтенант окрикнул строго, проверил документы и отчитал снисходительно. Речники, железнодорожники, пожарные... многие ходили в форме и по уставу должны были отдавать честь друг другу и военным, но так мало кто делал, и военные почти никогда их не останавливали. Белов не стал спорить, извинился, отдал честь и двинулся дальше. Настроение было хорошее, хотелось с кем-то поделиться. Между делом вспомнил, что надо съездить к матери на кладбище. Остановился, соображая. На кладбище – это на двух автобусах, полдня уйдет.

Темнело. Из дверей заведения вышли шумные подвыпившие работяги. Телогрейки нараспашку, шапки вкривь, морды красные, спорили о чем-то. В этой пивной они с Мишкой однажды чуть не попались каким-то блатным. Те без очереди полезли за пивом, Сан Саныч не пустил, пошли разбираться на улицу... Из техникума было немало ребят, и многие громко возмущались, а на разборки никто не вышел, только Мишка, который помалкивал. Блатные были с ножами, базарили на повышенных, оглядывались по сторонам, чтоб, типа, без свидетелей, пугали... Белов с Мишкой встали к стене, не уступали, и как-то стало затихать, один урка, кто поглавнее, убрал нож:

– Харэ, притырились все! – и, снисходительно оскалившись на Мишку, произнес сквозь фиксы: – Правильный ты, керя, но залупился не по делу – где они, твои корешки дешевые? Тебя не пьют, ты не корячься!

Этот лагерный принцип – тебя не «гребут», ты не корячься! – частенько потом вспоминался. Многие им пользовались. Только не Мишка.

Сан Саныч зашел в пивную. У них в Игарке разливного не было, да, собственно, никакого не было, только на проходящем пассажирском пароходе можно было выпить. А тут было и «Жигулевское», и «Бархатное». Он взял большую кружку «Жигулевского». Народу было не очень много, за соседним столиком стоял пожилой мужик с фанерным чемоданом у ног. Лицо худое, вокруг не смотрел, пиво пил с баранкой. Отламывал в кармане кусок, осторожно, не роняя крошек, клал в рот и неторопливо, вдумчиво запивал. Освободившийся зэк или ссыльный, – понял Сан Саныч и отпил глоток. Пиво было хорошее. Он пил и думал о Мишке. Слова Макарова о том, что идет следствие, давали надежду.

На выходе из пивной, его окликнули:

– Белов! Сан Саныч!

Распахнув руки, к нему спешил невысокий человек в хорошем пальто нараспашку и дорогим костюме. Белов не узнавал.

– Я – Николай! Мишарин! Из Ермаково!

Сан Саныч уже и видел, что перед ним Николай, а смотрел с недоверием. Совсем недавно скуластое и чубастое, с огнем в глазах, лицо архитектора-отличника было теперь крепко припухшим, да и сам он слегка округлился и стал похож на директора продбазы. Пьет! – вспомнил Белов предупреждение майора Клигмана.

– Коля, тебя не узнать!

– Да?! – Николай и сейчас был слегка выпивший. – Пойдем со мной! Как я тебе рад!

Радости, однако, в Мишарине было немного, но больше чего-то жалкого и лихорадочного, он клещом вцепился в рукав Сан Саныча и потянул за собой.

– Идем, мы с тобой миллион лет не виделись, а я думал о тебе! – он вдруг остановился, с удивлением рассматривая Белова. – И года не прошло, а столько всего... Я тогда даже курить не умел! Нам сюда! – Николай стал подниматься по ступеням к высоким дверям. – Здесь ресторан.

– погоди! – Белов остановился, раздумывая. Ему и в ресторан хотелось, и посидеть с московским архитектором, но выглядел тот

странно.

– Сан Саныч, ты что?! Я приглашаю! Расскажешь, как плавал! Это очень хороший ресторан!

Дверь открылась, швейцар в униформе и фуражке почтительно склонил голову.

– Николай Александрович! Молодые люди! Прошу!

Они вошли. Белов не знал этого заведения. Несколько небольших залов с высокими потолками, дорогая мебель, ковры, гардины – все как в музее, старинное и уютное. Было еще рано для ужина и пусто, их провели в отдельный кабинет, обитый бархатом, с картинами на стенах.

Подошел официант, почтительно поздоровался с Николаем, как со старым знакомым. Мишарин, не глядя в меню, назвал блюда.

– Водка или коньяк? – спросил Белова.

Тот пожал плечами.

– КВВК! Семьсот пятьдесят! – приказал архитектор.

– Так точно, Николай Александрович, принесу сразу. Лимончик и шоколад, как всегда?

– Что за ресторан? – наклонился к Мишарину Белов, когда официант прикрыл дверь.

– А-а-а, – небрежно скривился Николай. – Закрытый, видишь, даже вывески нет, для... – Он постучал пальцем себе по плечу.

– А ты как здесь?

– Как? Я тоже... сотрудник МВД. Клигман как-то привел, в командировке были осенью... Ты лучше расскажи, где летом был? Я тебя ни разу не видел, в зоне все время сижу, как урка! Ну?!

Глаз Мишарина блестел нервно. Сан Саныч хорошо видел, что спрашивает Николай просто так, сам нервно озирается и ждет коньяка.

– Работа как работа... на низа сходили... почти до Диксона. Ты-то как?

Официант внес графин.

– Я? – Николай сам разлил коньяк и поднял рюмку. – Ну, давай!

Они выпили. Мишарин посидел, прислушиваясь к коньяку внутри, еще налил и, не дожидаясь Белова, выпил. Крякнул довольно и достал папиросы «Казбек».

– Ты что здесь делаешь? – Сан Саныч тоже хлопнул свою рюмку.

– Домой еду, никак не доеду! – видно было, что Николая отпускало, щеки покраснелись, он начал улыбаться. – Вторую неделю тут. Хороший кабак, да? Девочки есть, ты как? Можно вызвать. – Он кивнул в сторону официанта.

– Я – нет, – нахмурился Белов. – Лучше о работе расскажи. Настроил яслей?

– А-а-а... – Николай с досадой выдыхал дым папиросы. – Им мои мозги без надобности! Им – давай, давай! Побольше! Квадратные метры! А как там жить – никого не волнует! Клигман, – он согнулся к Белову и зашептал, – так и сказал: «Не выпендривайтесь вы, Коля, все это ненадолго!» Он не верит, что это кому-то нужно! Представляешь?! Встает по склянке вместе с зэками в шесть утра, ложится после полуночи, не пьет... а не верит! Мы с ним в одной комнате жили.

Принесли закуски. Выпили, и Николай жадно навалился на еду, да и Сан Саныч не отставал – с утра ничего не ел.

– Ты видел улицу Енисейская?

Белов не помнил.

– Она в Ермаково одна такая – шесть домов из бруса барачного типа, но все дома разные...

– Ну-ну, видел, – вспомнил Белов.

– Это единственное, что я успел сделать. Первая же комиссия насчитала страшный перерасход материалов и занижение квадратных метров – у меня из зарплаты до сих пор удерживают. Пройдет время, эти дома образцами северной архитектуры будут. За них и сняли из начальников. Замом сейчас тружусь, денег все равно полно, да неинтересно мне... У них и детсад на барак похож! – Он помолчал, дожевывая. – Короче, думал, еду на стройку будущего, а тут... Да ты и сам все видишь!

– Я – нет... мне моя работа нравится... и стройка! – Сан Саныч слушал его с удивлением.

– У тебя на корабле зэки есть?

– Нет.

– Хо, а как же ты? – Николай искренне вытаращил глаза. – Где людей берешь?!

– У меня ссыльные есть...

Николай склонился и заговорил очень тихо:

– У нас на «пятьсот третьей» будет заложено больше ста лагерей! Это по плану!

– А что такого? Большая стройка...

– Да? – Мишарин задумался над его словами, хотел возразить, но промолчал. – Ладно, давай махнем, друг, проблем там больше, чем мы думаем.

Принесли горячий шашлык на большом блюде. Со свежими овощами. Белов смотрел на всю эту роскошь с удивлением и испугом, сколько это может стоить. Но еще больше удивлялся, как изменился Мишарин. Огрубел неприятно, ел много и жадно. В нем совсем не осталось прежнего задора.

– Ешь, шашлык здесь отменный! – Николай, жуя, достал новую папиросу. – Я три месяца уже в зоне работаю, там сделали проектное бюро. Каждое утро хожу через вахту первого лагеря.

Белов ел шашлык, подошел официант, показал глазами на графин, в котором осталось на дне. Мишарин кивнул, затянулся папиросой и продолжил:

– Знаешь, почему бюро в зоне сделали?

Белов покачал головой.

– На воле проектировщиков даже за большие деньги не смогли набрать. А по лагерям их много, да все с пятьдесят восьмой статьей... короче, создали шарашку прямо в зоне, они там сидят, там же и работают. А я к ним хожу – нас на все бюро только двое вольных.

Мишарин пил и почти не пьянел. Говорил негромко, чуть тревожно, иногда склонялся и шептал одними губами. Руки все время были в нервном движении – брали еду, папиросу, рюмку, взгляд же словно застыл на чем-то внутреннем:

– Двенадцать заключенных в бюро – и никто, никто не виноват. Ты думаешь, я их защищаю? Нет. Там разные, есть и очень неприятные люди, а виноватых – никого! У одного отец был известный архитектор, у них квартира была хорошая. Его обвинили в доносительстве на покойного уже отца! И посадили! Жену с детьми выселили как членов семьи. Сейчас в этой квартире один очень известный человек живет... – он потыкал пальцем в потолок.

Белов чувствовал себя не в своей тарелке. Ему все время казалось, что официант стоит за дверью и подслушивает.

– Не веришь? Думаешь, они мне наговорили? Я все их дела смотрел! У нас особист, старший лейтенант Иванов – интересный тип. Мы с ним сначала очень подружились, а потом он заявил, что я маловвер и жалкий человек! Что партия не может ошибаться! А причем здесь партия?

– Ты уж тоже... как это, все невиновны?!

– Ну, если виной считать, что человек слушал анекдот про... – Николай закатил глаза к потолку, – и не донес об этом! За это десять лет дали! Не сам рассказывал, а только слушал! Ты никогда таких анекдотов не слышал?

Белов напрягся, молчал недовольно. Мишарин вел себя, как провокатор.

– Вот. Значит, и ты...

– Я не слушаю таких анекдотов. Они мне не нравятся.

– Да ладно, я не об этом... Людей жалко! Среди них есть очень талантливые! На пятьсот первой сидит выдающийся художник нашего времени. Александр Дейнека! Не слышал такого?! Наверное, тоже в такой же шарашке припухает! – Николай с пьяной горечью посмотрел на Сан Саныча. – Я раз выпил и пошел к Иванову, говорю: я тоже анекдоты слышал! Он меня выгнал!

Он помолчал, раздумывая.

– И кругом доносы! Мне пишут, на меня пишут! Позор же! Как это может быть? Люди закладывают друг друга! Лгут друг о друге! Придумывают всякую дрянь!

– А что же стройка? – Белов попытался перевести разговор. Он очень жалел, что пошел с Николаем, ни шашлыка, ни огурцов уже не надо было.

– Сан Саныч, я тебя прошу, то, что я про Клигмана сказал, – фамилию он опять произнес одними губами, – не говори никому. Ладно?! Это я сболтнул. По глупости. А стройка... я ничего там не понимаю. Строят быстро, плохо и очень дорого! По трассе временные деревянные мосты ставят, чтобы отчитаться, что мост есть! А что такое деревянный мост?! Да в таких условиях?! Это колоссальные трудозатраты! А еще временные дороги параллельно железке! Песок, гравий, лес... труд людей! Эта дорога золотой выйдет!

– И что же? Не строить?

– Строить, но не четыре года, а, может быть, двадцать. Для этих условий нужны особые методы, их нужно придумать, рассчитать! Нужно время. И платить надо за качество, а не за кубометры.

Мишарин говорил о наболевшем, даже протрезвел. Застыл надолго, глядя с горечью:

– Знаешь, какие бывают умельцы! Какие головы! Золото! Наш народ кормить бы получше да не обижать... Не надо его в тюрьму сажать!

– Так ты в отпуск или совсем уезжаешь? – Сан Саныч хотел сменить тему.

– Совсем не пускают. На два месяца.

– А пьешь чего?

– Привык, – Николай махнул рукой. – Совсем не могу заснуть, если не выпью.

– А что же начальство?

– Да с ними и пью... – Мишарин пьяно и строго глядел в стол. – Они еще и не такое говорят! Все. С завтрашнего дня ухожу в завязку. Два дня держусь и потом домой, иначе мама не узнает. У меня от водки лицо очень опухает. Опухает?

– Опухает, – подтвердил Белов.

– Давай больше не будем. Вот – по последней и все!

Белов узнавал горячего и честного Николая. Даже жалко стало:

– А как же твоя галерея сибиряков?

Мишарин глянул удивленно. Потом сморщился:

– Да-а какие там сибиряки... зэков надо рисовать. Работяг, бригадиров, доходяг... охрану тоже – вот типажи! Я Клигману рассказал, он так испугался! Посадят! А и посадят!

Ночью Сан Санычу снился сон, будто они с Мишариным пьют пиво в пивной, а через столик стоит мужик, страшно похожий на Мишкиного отца, дядь Валю. Сан Саныч ждет, что он повернется, чтоб уж точно узнать, но тот не поворачивается. Стоит спокойно, только голову наклоняет к кружке да задирает, когда пьет. И Сан Саныч почему-то не может подойти к нему, да и Николай что-то все бормочет. Он проснулся среди ночи в ясной тревоге, что дядь Валя там и стоял!

Встал рано, выбрился, надушился одеколоном, форму надел, повертел в руках орден, но передумал, в Красноярске смущался

надевать. Вскоре он уже сидел недалеко от кабинета особиста Енисейского пароходства, того не было еще. Он решил прямо спросить, за что арестован Михаил Романов. И нельзя ли их комсомольской организации взять его на поруки? Объяснить, если понадобится, что за Мишкой не может быть никакой вины, что он принципиально другой человек!

Особиста все не было, Белов ходил в столовую, по приятелям прошелся, что работали в Управлении. Капитан госбезопасности появился только в одиннадцать, Сан Саныч был у него перед прошлой навигацией, когда получал «Полярный», но как его зовут, не запомнил. Заходил, слегка волнуясь.

– Здравия желаю! – попытался улыбнуться, но капитан только кивнул, дочитывая бумагу.

Он был в сером гражданском костюме без галстука, отложной воротничок по моде лежал сверху пиджака, с очень обычным, чуть рябоватым лицом. Белов приглядывался к нему и не помнил, он ли был в этом кабинете год назад или кто-то другой. Наконец хозяин кабинета поднял взгляд на Белова:

– Что привело к нам?

– Белов Александр Александрович, буксир «Полярный»...

– Давайте вашу бумагу, – перебил нетерпеливо.

– У меня нет, я хотел спросить...

– Спрашивайте, – капитан глянул чуть внимательнее.

– Я хотел узнать, за что арестовали Михаила Валентиновича Романова, старшего механика... – голос Белова звучал жестко: пока ждал капитана, тренировался.

– Почему интересуетесь? – особист жестом остановил его.

– Он – мой друг, мы вместе учились, четыре года... – Сан Саныч вдруг вспомнил, что как раз этого не велел говорить Мишкин отец, но его уже понесло, ему почему-то показалось, что именно этот безликий капитан имеет отношение к Мишкиному аресту. – Я про него все знаю. Что он сделал?

– Вы чего такой смелый? – капитан, внимательно изучая Белова, откинулся на стуле.

Белов кивнул от растерянности, понял, что напрасно, и почувствовал, как предательски краснеет. Но смотреть продолжал

упрямо и даже с вызовом. Он сегодня всю ночь думал, что идет в такое место, где восстанавливается справедливость.

– А вдруг он серьезный государственный преступник?

– Этого не может быть...

– А если он новый мост хотел взорвать? – взгляд капитана наливался тяжестью.

– Зачем? – опешил Сан Саныч.

– Вот это мы и выясним!

– Не может быть, он...

– Не забываетесь, Белов! Его делом занимаются серьезные люди! Вы что-нибудь слышали про диверсии? В вашем подчинении экипаж, вы – капитан парохода! Какая близорукость! Вы, Белов, у руководства на хорошем счету, не подводите уж его!

Сан Саныч совсем растерялся, не мог понять, какое отношение имел Мишка к новому мосту.

– Я только узнать хотел, его отец...

– Что его отец? – быстро перебил капитан.

– Он не знает, за что арестовали...

– А вы все знаете про его отца?

– Я? А что я должен знать? Разве не должны сообщать, когда сын арестован...

– Капитан, у меня много срочных дел, а вы идите и никому не говорите об этом разговоре. Мы – Министерство государственной безопасности и занимаемся государственными преступниками! Вы это понимаете?! Вы куда пришли?

– Я понимаю... конечно, наоборот, я шел к вам... но я хорошо его знаю, он не может быть преступником! Вы понимаете? Его все уважали! Вы про мост почему сказали? Такого не может быть!

– Вы что, в цирк пришли? – капитан угрожающе поднялся над столом. – Быстро! Вон отсюда! И не вздумай рот открывать, защитник! По одному делу не хочешь пойти?! Вон отсюда!

Белов вышел обескураженный, двинулся машинально в сторону общежития, потом спустился зачем-то к Енисею и пошел по льду. Шел, куда глаза глядят, рассказывал о том, что случилось, дядь Вале и понимал, что сказать нечего. Тяжелые, тягучие мысли замедляли движение, наконец он совсем остановился и осмотрелся. Один, на пустой реке он выглядел странно, пошел к набережной.

Особист мог быть прав, в голову приходили громкие дела, о которых писали газеты, даже снимали художественные фильмы... Если Мишка случайно оказался в какой-то плохой компании, а они расследуют это дело... Получалось, что надо было ждать. Ему стыдно стало перед капитаном, даже мелькнула мысль пойти и извиниться, что наговорил лишнего... Он, успокаиваясь, двинулся в сторону пароходства. Вспомнились знакомые капитаны, которых судили за какие-то нарушения по службе, им давали условный срок, но работали они на своих же судах. Таких было немало, вполне уважаемых людей. Особист был спокоен, вспоминал Белов неприметное лицо капитана, ничего не спрашивал, значит, дело Мишкино простое. Он был уже благодарен ему, в конце концов, капитан сказал все, что мог. Мог бы и этого не говорить.

В отделе снабжения удалось согласовать почти все, даже то, на что не надеялся. Вечером сидели с ребятами в ресторане. Вспоминали учебу, прошедшую навигацию, пацанские подвиги, кто-то женился, у кого-то дети родились. Про Мишку никто не вспомнил. Ребята то ли не знали о его аресте, то ли не хотели говорить, и это было правильно, понимал Сан Саныч – ни к чему Мишке такая слава. Выйдет, все забудется. Он тоже помалкивал о друге, рассказывал о методе толкания, и они все вычисляли на пьяные головы, какую экономию этот метод может дать.

Белов довольный возвращался в веселой компании в общежитие. Один из товарищей работал механиком в Сопкарге и знал лейтенанта Габуню. Он скоро уже возвращался в низовья. Сан Саныч, возбужденный выпивкой, никак не мог уснуть – грезилась ему даже не сама Николь, он как будто ее и не видел, а просто шел рядом с ней, но та утренняя прохлада, что окружала их тот рассвет... Они возвращались берегом от домика Габуньи, он тогда обнял ее, и свежесть того утра смешалась с ее запахом. Он хорошо его помнил. А потом и лицо ее ясно приснилось. Как же он любил это лицо.

Он поднялся рано, побежал под холодный душ, голова была странная от бессонницы – радостная и легкая, какая-то глупая радость была и в душе, и он сел писать письмо Габуньи. Длинно вышло и путано маленько, но написал все, как есть. Отнес письмо товарищу.

Старший лейтенант Константин Квасов, громко скрипя промороженным снегом, шел темной, слабо освещенной и безлюдной по случаю позднего вечера улицей. Свернул в узкий проход, прорытый за зиму в высоких, под крышу, сугробах. Нащупал ручку в темноте и, не обметая валенок, вошел в коридор барака. Ребятишки бегали, ловили друг друга в полумраке коридора, закричали, бросились с веселыми визгами в дальний конец, увидев незнакомого военного. Квасов толкнул дверь в комнату Зинаиды, сморщился на яркую лампочку. Он был в солдатском бушлате, простой ушанке, ватных брюках и серых солдатских валенках. Все было новое. Глядел на Зину загадочно, с кривой своей улыбкой.

– Испугал, Костя! – Зина сидела на кровати и штопала шерстяной носок, надетый на перегоревшую лампочку. – Думала, не придешь сегодня, раздевайся. Что за маскарад? В рядовые разжаловали?

– Пойдем-ка со мной!

– Куда?

– Дело есть, – Квасов, продолжая загадочно улыбаться жесткими короткими усиками, подошел и, запрокинув ей голову, впился в пухлые губы. – Тебе понравится.

– А чего тут-то? – Зина быстро сбросила халат и открыла шкаф.

Квасов сел, хищно любясь ядреным телом.

– Вот ты сука! – проскрипел ласково. – Ничего не боится! А если твой петушок явится?!

Зине показалось, что ему прямо хочется, чтобы сюда кто-то заявился. Квасов был на взводе – или выпил, или покурил этой своей дряни.

– А кого мне бояться с таким мужчиной? – Зина заматывалась толстым пуховым платком. – Пусть он меня боится. – Она внимательно глянула в зеркало. – А он и боится!

Вышли в темную полярную ночь, снег запел под ногами, у продуктового Квасов буркнул, чтоб подождала, и исчез за углом в сторону задней двери. Зина отошла от света фонаря в темноту, но Квасов появился быстро. Из авоськи топорщились бумажные кульки.

Они двинулись дальше, речку перешли по новому мостику... он вел ее на край поселка.

– Куда идем-то? – опять спросила Зинаида.

– В нашей с тобой карусели вопросы задаю я!

Это был огромный вещевой склад Стройки-503. Несколько высоких барачков были окружены колючей проволокой, прожектора светили. Часовой окликнул, но, узнав старшего лейтенанта, пробормотал приветствие и отдал честь меховой варежкой. Внутри тоже было непривычно светло от ламп-пятисоток, из каптерки высунулся мужик, кивнул им. Квасов уверенно шел между стеллажами, открыл дверь в тепло натопленную комнату. На полу навалом лежали тюки с новенькой формой: солдатские гимнастерки, ватные брюки и фуфайки. Пахло швейной фабрикой и нафталином. Квасов щелкнул ножом, вылетело лезвие, он взрезал тюк с фуфайками, разбросал их, вскрыл следующий, потом еще один, разровнял небрежно пологую горку и завалился сверху. Протянул одну ногу:

– Сымай!

Зина примерила солдатскую фуражку с полки, сняла пальто, подошла, игриво посматривая из-под козырька одним глазом:

– Сам снимай! – она задрала подол и стала отстегивать чулки, – опять играть хочешь?

– Бухнуть надо! – Квасов резко поднялся и стал вытряхивать из кульков на стол – копченая колбаса, конфеты, белая булка, сливочное масло и две бутылки коньяка.

– Уважают некоторых! – Зина села к нему на колени.

– Боятся! – Квасов открыл бутылку и стал наливать.

По приемнику шла передача для жителей села. Он убавил было громкость, но там заиграла гармошка и запели протяжно: «На зака-ате ходит па-арень возле дома моего-о, поморга-ает мне глазами и не скажет ничего-о...» Квасов прибавил громкости и весело подтянул вместе с хором:

– И кто его знает, чего он моргает?! Выпьешь?! – голос у него был сиплый и скорее неприятный, но мелодию выводил правильно, даже и красиво.

– Наливай, что спрашиваешь?

Квасов выпил свои полстакана, откусил колбасы. Жевал крепкими зубами, широко открывая рот. Оставшуюся часть коляски пристроил к

своей ширинке. Осклабился весело на Зинку.

– Ты, Костя, большой начальник, а ведешь себя... – Зина пригубила коньяк.

– Как кто? – Квасов махнул еще полстакашки и довольно шмыгнул носом. Потянул ее к себе.

– Как зычара козырный! – она им любовалась, выпила неторопливо, выдернула заколки и рассыпала свои роскошные волосы ему на лицо.

– Я в своем законе, дура! Я – выше воров!

Через какое-то время они голые лежали на фуфайках, Квасов курил.

– Когда твой щенок возвращается?

Зина думала о чем-то другом, пожала плечиком.

– Квасов, а скажи, у тебя семья все-таки есть?

– Цыц, курица! Знаешь, как мой хрен выглядит, и хватит!

– А может, я за тебя замуж хочу!

– Ну и хоти!

– А куда моего Сан Саныча денем? Слушай, а если ты его посадишь, комната мне останется? Ты можешь так сделать?

– Не-е, комната ведомственная, заберут! – длинный нос Квасова запрокинулся вверх и задергался в смехе. – Посажу твоего, пойдешь подавальщицей в столовку, дадут тебе угол, буду подавальщицу драть... Надень гимнастерку!

– Зачем?

– Надевай!

– Опять ты... – Зина только делала вид, что недовольна, одевалась, кокетливо посматривая на старшего лейтенанта. Форма ей шла. – И чего дома не захотел?

– Скучно! И орешь ты, как полоумная! Ты со своим Беловым тоже орешь? – Квасов надел нательную рубаху, присел к столу и стал разливать. – Иди выпей, Белова Зина... из магазина!

Зина надела гимнастерку, фуражку скосила на глаз, подошла.

– Ну и хороша же ты, баба, сука! – Квасов полез ей под гимнастерку, в другой руке плескался стакан. – Цены нет твоей мохнатке!

– А ты все-таки воевал, мой ненаглядный! – она похотливо прижалась грудью и вцепилась ему в волосы. – Любишь баб в форме!

– Не твое овечье дело! – он отстранился и поднес стакан к губам.

– Воевал-воевал! Только ни ран на тебе, ничего! – Зина одернула гимнастерку и села к нему на колени. – И ордена нет! А у Белова есть! – Она умело прикурила папиросу.

– Цыц, шалава, ты мне для разврата нужна! Остальное – ша! – он снова полез под гимнастерку. Щерился и шептал: – Я, может, и рассказал бы, да тебе этого не понять! Это была крутая судьба, Зинаида! Все в ней было – и ордена, и медали...

Зина ойкнула от боли и оттолкнула его руку. Он допил коньяк, поморщился, отерся рукавом рубахи и тут же налил еще. Взгляд его становился жестким.

– Я людишек пачками на тот свет отправлял, Зина! – Квасов говорил медленно и тихо, сквозь зубы, глаза сузил хищно, смотрел, какое впечатление производят его слова.

– Прямо сам стрелял? – Зина нервно стряхнула пепел.

– Я говорю! Ты молчишь! Твоего огребыша я в порошок мог стереть! В двадцать четыре часа! По закону! Да и сейчас могу... У него какая-то шмара есть в Дорофеевском. Не по-нашему зовут, ничего не знаешь? – Он подсел к прогоревшей буржуйке, стал подкладывать.

Зинаида заинтересованно повернулась, морщась, выдохнула дым.

– Кто такая? Откуда знаешь?

– Болтает твой Белов много, когда выпьет. – Квасов снова лег на ворох фуфаяк и штанов. – Иди, дай мне французской любви, моя принцесса! Где ты ей научилась?

Зина будто и не слышала, курила сосредоточенно, потом ухмыльнулась:

– У меня одна знакомая на мужа написала, он старик был, его забрали, и досталась ей трехкомнатная квартира. Она там ремонт сделала... – Зина с иронией смотрела на Квасова, – только сделала, а ее и забрали...

– И чего?

– Перед самой войной это было, я у них в домработницах жила. – Она погасила папиросу, встала и медленно пошла к Квасову, покачивая бедрами, – и въехал в эту отремонтированную квартиру один красавец, товарищ майор НКВД с семьей...

– Та-ак?

– Большая шишка был в Брянске! На персональной машине возили!

– И что?

– Вот он меня, шестнадцатилетнюю, и научил французской любви!

– Ну... ты способная! – Квасов смотрел на нее с интересом.

– Никого в своей жизни так не любила! – Зина глянула с вызовом, даже с пренебрежением. – Как он ухаживал! Так и в кино не бывает! Я лучше его жены была одета, жениться собирался, ждал моих восемнадцати лет... В Сочи ездили, в Ялту! Ты был на югах?

– Еще вопросы?

– Он однажды в Ялте меня спросил: знаешь, что общего между большими энкавэдэшниками и ворами в законе? – Зина вызывающе поглядывала на Квасова.

– Ну?

– И те и другие любят Сочи и Ялту! Так что ты мог бывать в Ялте! – она легла рядом. – Ты до каких чинов дослужился?

– И куда делся этот твой майор?

– Расстреляли... – она погладила его по волосатой груди.

– А ты сюда удрала... ко мне... Теперь ты моя сука! Сука моя долбаная! – он оскалился от возбуждения и уже не особенно соображал.

Радиоприемник негромко бормотал мировые новости:

«Венгерская Народная Республика начала реализацию плана первой пятилетки.

Завершился визит в Москву Председателя ЦэКа демократического объединенного фронта Кореи товарища Ким Ир Сена, где он имел продолжительные беседы с товарищем Сталиным.

Премьер-министр Италии Альчиде де Гаспери сформировал новый кабинет. Прежнее правительство ушло в отставку после всеитальянской забастовки.

Тридцать первого января президент США Гарри Трумэн заявил, что отдал приказ начать производство водородной бомбы. С заявлением протеста против этого решения выступил Альберт Эйнштейн».

Пурга началась среди ночи, неожиданно, как будто в дверь кто неурочно постучал-попросился. С вечера ничего не предвещало, а ночью задуло и задуло, и еще сильнее, балок начало потряхивать, так что все проснулись. Гринберг предложил одеться и затащить нарты поглубже в тайгу, но каюр, прислушавшись к снежному вою за брезентовыми стенами, махнул рукой, спите, мол. Сам вышел, вернулся минут через двадцать, весь в снегу, лица не видно. Отряхнулся у порога, улыбаясь чему-то, закурил короткую вонючую трубочку.

– Оленя перевязал... в лесу-то ничего, не сильно дует, но, боюсь, надолго.

Как в воду глядел каюр Гусев – они проспали ночь, день и еще ночь, а пурга все не унималась. Выходили, откапывали грузовую нарту, доставали керосин в лампу, еду, Гусев ходил проверять оленей.

Горчаков подбросил дров в железную печурку, прикрыл тягу и помешал перловую кашу. Их было четверо. Кроме Горчакова, еще один расконвоированный заключенный – бывший полковник авиации Василий Степанович Кошкин и двое вольных – каюр Ефим Гусев и руководитель группы – двадцатитрехлетний проектировщик-изыскатель Леонид Гринберг. У их небольшой экспедиции было две задачи – нанести на карту зимние глубины реки Турухан и главная – промерить уклоны трассы железной дороги.

Каюр сидел в углу и чинил одежду, Гринберг с полковником лежали с опухшими от долгого сна бездумными лицами. Горчаков варил кашу на печке, сам рассматривал меховые, из оленьих шкур, стенки балка и вспоминал зимние работы в тундре. У них были такие же передвижные балки-будочки на нартах, в которые впрягали оленей. Вдвоем за день строили такую будку. Сначала каркас из реек, потом мелкими гвоздями крепили оленьи шкуры, сверху обтягивали парусиной. Внутри – рабочий столик, съемные нары, печку крепили к полу. Месяцами так жили и работали. Здесь все было так же, только без откидного столика.

Ели, держа миски в руках. Пурга шарахалась по стенкам, трясла настойчиво легкое жилище.

– Весело будет, если не найдет Ефим оленей! До ближайшего лагеря километров семь? Правильно, Леонид Григорич? – Полковник был крупный, с барскими замашками, говорил приятным низким голосом.

– Найдет, он жожака привязывает на длинную веревку, – Гринберг сосредоточенно скреб кашу со стенки миски и неуступчиво, если не сказать строго, поглядывал на полковника. – Опаздывать начинаем, Василий Степанович.

– Так и пурги такой еще не было! Чует мое сердце, сорвем все сроки... – полковник зацепил ложкой густой каши и подмигнул Горчакову. – Надо вам, Леонид Григорич, школу молодого зэка пройти, а то посадят, а вы простейших вещей не знаете! Вот, например, подходит к вам блатной... нет, не подходит, а подзывает вас наглючими зенками из-под козырька своей вонючей кепки...

– Василий Степанович, вы человек, конечно, знающий и смелый, воевали, я против вас... что и говорить, но сейчас вопрос о другом, если можно, давайте серьезно!

– Вы, Леня, крайне наивный человек! Управление послало нас в эту идиотскую экспедицию, не потому что она нужна, а потому что где-то, на такой же никому не нужной дороге паровоз не вытянул в горку. Почему не вытянул – разбираться не стали, какой-нибудь тупорылый эмвэдэшный мудака с большими погонами указал, что уклон виноват. И тут же по всем управлениям пошел приказ – проверить и выпрямить уклоны! И наше управление, хотя они отлично знают, что у нас тут не может быть никаких уклонов, кинулось реагировать! Прямо в феврале месяце! Вот и все! Вы меня простите, что я так подробно, но меня беспокоит ваш трудовой энтузиазм.

По виду полковника не очень понятно было, серьезно ли то, что он говорит. Он повернулся к Горчакову:

– Георгий Николаич, будьте любезны, чайку плесните покрепче! В нашей проект-шарашке все это отлично понимали, поэтому и послали проверять уклоны таких, как мы! Меня, например, потому что я самый бестолковый в конторе! Какой я, в жопу, проектировщик?! Я там по благу состою, за взятку! И теодолит, который я для вас получал, нерабочий. Неотюстирован он, это мне завхоз сказал, когда выдавал. А вы им пытаетесь что-то померить! Вы же не геодезист, Леня. Вот, кстати, Георгий Николаевич, он может проверить этот прибор. Ну, что

вы молчите все время, зека Горчаков? У вас в личном деле написано, что вы работали геодезистом! Проверьте теодолит, и пусть он успокоится, наконец!

Полковник нарочно громко отхлебнул чай и поставил кружку на край нар:

– У нас с вами совсем другие задачи, Леонид Григорьевич! Отличная компания составила, жратвы отвалили, целый месяц сроку дали... месяца полтора спокойно можем валять тут дурака. Ни колючки, ни вертухаев! Еще и поохотимся, бог даст!

– Если не будем мерить, нас отдадут под суд! За срыв производственного задания! Разве не глупо! – Гринберг смотрел растерянно.

– Так вы и не будьте дураком, пишите что-нибудь, ведите бумажки, отчет составьте, как положено. Ваша задача, чтоб бумаг было много, чтоб основательно доложить – на нашей стройке с земляными уклонами на трассе все в порядке... – полковник опять отхлебнул чай, прислушиваясь к тому, что делалось снаружи, – дорога на всем нашем участке идет вдоль Турухана – тут не может быть никаких уклонов, согласны?

– Это не совсем так, – не согласился Гринберг, – мы должны мерить!

– О-о-о! Вы, похоже, верите, что тут пойдут паровозы? – полковник уперся ехидным взглядом в юного начальника.

– Василий Степанович, опять вы... Я изыскатель, у меня задание... – Гринберг давно уже доел кашу и все держал в руках пустую миску.

Полковник забрал ее и отдал Горчакову.

– Леня, дорогой, тут все туфта! Вы же видели эти первые пятнадцать километров от Ермаково! Ленточки разрезали, ура покричали, шапки в воздух, в Москву рапорт: проложены первые километры по нехоженой тайге! Вы думаете, они не знают, что это за километры? Замерзли болота, сверху и положили! И ни один проектировщик никогда не посмеет сказать правду.

– Я не согласен! Болота засыпали, я сам видел! – уперся Гринберг.

Полковник прямо счастливо рассмеялся и закурил папиросу.

– Правильно! Мешками с песком! Вот уж где туфта! Бросят сто мешков в болото, а бригадир с нарядчиком закрывают тысячу! И всем

это болото, как мать родная! Бригадникам зачеты закрывают за ударную работу, начальству премии, генералам звезды! Ура! Через пару лет эти мешки сгниют, песок растечется, и ваша железная дорога в болото уйдет! Тогда, конечно, уклон!

– Что вы предлагаете?

– Я предлагаю?! – поразился полковник.

Гринберг все смотрел недовольно.

– Я скажу, но вам, Леня, опять не понравится, то есть как человеку умному понравится, конечно, но как, уж простите, ссыкливому не по душе будет. Если хотите, запишите: собрать весь гуталин в СССР и засунуть в жопу главному Гуталинщику!^[92] Не торопясь, в день баночки по три! Так, чтоб через неделю у него изо рта его черное нутро полезло! – глаза полковника были уже не добрыми, но слегка нервными. – Тогда и не надо будет строить мудацких, никому не нужных железных дорог, а нам с вами в этих краях корячиться! Нашлось бы нам какое-нибудь достойное дело, как вы думаете, Леня?! Я, к примеру, неплохой пилот! С завязанными глазами на любую машину сяду и подниму ее в небо!

Гринберг поморщился недовольно и осторожно покосился на молчаливого каюра Гусева.

– Бойтесь?! Бойтся наш начальник, смотрите, Георгий Николаевич! – улыбался полковник.

– Пойдемте на свежий воздух покурим, Василий Степанович, – Горчаков надел шапку, взял из-под себя бушлат и открыл дверь.

За плотным молодым сосняком дуло не так сильно и даже снег был всего по колено. Каюр хорошо выбрал место. Горчаков встал за балок, вскоре вышел и Кошкин, поднимая ворот бушлата и оценивая разгулявшуюся непогоду.

– Ох, не люблю я этих... ведь он же умный человек... – забухтел, отворачиваясь от вьюги, полковник. – Мог бы хоть здесь не нести этой чуши! Он ведь и правда мерить хочет! Что вы все время отмалчиваетесь, Георгий Николаевич? Проверьте вы этот теодолит хренов... – у полковника погасла папироса, и он достал спички.

– Я, Василий Степанович, действительно, геодезистом работал на Стройке-501, и вот за такие разговоры... Кстати, и компания была похожая – мне двадцать пять лет дали.

– Я читал ваше дело...

– И стукач, между прочим, знающий и интересный был человек! – Горчаков внимательно посмотрел на полковника. – Вы почему так в ваших товарищах уверены?

– За фраерка-то меня не держите, Георгий Николаевич, я людей сам сюда подбирал.

– Вы? – удивился Горчаков. Балок шатнуло сильным порывом, с крыши спихнуло ком снега и на секунду ничего не стало видно.

– А вы не поняли? С вами просто повезло – личное дело сверху лежало, вас на этап уже отобрали, на Диксоне фельдшер нужен был. Я и подумал – надо человеку помочь... гляжу, а там и геодезист, и начальник лазарета... и все это при приличной, интеллигентной статье. Вы хоть довольны, что попали сюда?!

– Не знаю пока... – Горчаков глядел недоверчиво. – Как это вы мое дело читали? Вам начальник спецчасти дал?

– Избави бог, Георгий Николаевич... Начальник спецчасти у нас пьяница, бабник и дурак, а вот дневальным у него один умный человек, мой товарищ, между прочим. Думаете, откуда у меня пропуск бесконвойного с моими статьями?! – полковник смотрел с победоносной издевкой. – Но с вами случайно вышло, я уже сказал, кто-то вам там пособляет! – он развел руки и поднял глаза к небу.

– А каюр?

– Каюр нормальный, такие не сдают...

– Все сдают.

– Это точно! – полковник поморщился, дотянул папиросу и бросил ее в снег. – Шесть лет сижу и говорю, что думаю – и пока ничего! Уважают! Даже особисты, я вам скажу! Среди них, кстати, встречаются приличные люди.

Горчаков молчал.

– Не согласны, – понял полковник.

– В лагере чего только не бывает... – Горчаков затянулся папиросой, пряча ее в кулаке. – Я на Колыме знал одного князя – умный, очень образованный, не матерился, уважительно ко всем и никогда не позволял себе злиться. И его берегли, наверное, как вас, как будто признавали за ним право быть таким особенным. И было это во время войны – совершенно невероятно!

– Ну вот, видите! – улыбнулся полковник.

– Да, он как-то умудрялся хорошо держаться, мне иногда казалось, что его для образца человеческой породы берегают, на всякий случай...

– Вот! Золотые слова! Я потому и упираюсь, чтобы люди не забывались, кто они! Ведь этот Гринберг – умница и человек тонкий, а трус, каких свет не видел!

– Того князя расстреляли. Приехала какая-то шишка с проверкой, я не знаю, что там случилось, может просто под пьяную руку попал. Вечером его отвели за лагерь, а утром повесили бирку на его дворянскую ногу. А мужики, которые его закапывали, – Горчаков замедлился, но продолжил, глядя прямо в лицо полковника. – Я был одним из них. Мы сняли с него всю одежду, тогда с ней совсем плохо было. Даже драные кальсоны.

Горчаков докурил, бросил пустой окурочек, его подхватило ветром, закрутило куда-то вверх, и он исчез в пурге. Вернулись в тепло. Гринберг сидел, обложенный бумагами:

– Георгий Николаич, завтра надо начинать замеры глубин, вы говорили, разберетесь. Я, честно, не очень понимаю, как можно промерить перекал на реке – а если он широкий, сколько же дырок долбить?

– Надо по фарватеру мерить, я описывал тундровые речки, не переживайте.

– Опять вы, Леня! Не бойтесь вы ничего, что нельзя проверить! Я бы вообще не стал дырки бить – на глазок бы писал и все! – полковник, крепко зевая, устраивался на нарах. – Вот, прости господи, разоспишься, неделю можно нары давить... Бывало у вас такое удовольствие, Георгий Николаич? Особо когда жрачки полно и ни одного попки^[93] рядом!

К обеду стало стихать, и Гусев пошел собирать оленей, вернулся с задней оленьей ногой, погрел застывшие руки у раскаленной печки и стал снимать шкуру.

– Замерзла важенка... бывает... – он надрезал шкуру и стал стягивать ее силой. – Они обычно встают против пурги и стоят, не пасутся. В тундре ветер сильнее, кучей стоят, впереди самые крупные быки, при сильных порывах маленько вперед двигаются. Бывает, дня два-три дует, так и за десять километров уйдут. А если какой-то к ветру задом встанет или ляжет, тогда все, эта вот теплая еще была... –

каюр резал мясо на куски и опускал в котелок. – В следующий раз встанем по уму, в большом котле вам сварю, на костре.

Леня запустил руку в густую кудрявую шевелюру.

– Вы все-таки по реке хотите ехать, Ефим??

– По-другому не получится... – каюр твердо посмотрел на начальника. – В тайге снег глубокий, олени не пойдут!

– Как же нам промерять трассу?

– Здесь трассы нет еще, одни лагеря стоят... где-то прорубили просеку, а где-то и ее нет – тайга, и все. Жилье пока обустроят, зимники бьют... – каюр Ефим Гусев как будто боялся расстроить начальника экспедиции.

– Послушайте меня, Леня, – спокойно заговорил полковник. – Поедем по реке, дырки будем долбить, дно мерить, а когда какие-то работы увидим на берегу, там будем подниматься вверх и мерить несуществующую трассу. Правильно?

На другой день ветер совсем стих, подморозило под сорок, солнце вставало в дымке. Пока завтракали, Гусев запряг оленей, а Горчаков спустился на реку и неторопливо продолбил первую лунку – лед был толще метра.

Прошло две недели, сработались, каждый стал понятен, и жили дружно. Да и грех было быть другому – работа несложная, планов никто не гнал. Главной заботой были олени, иногда встречались обширные наледи на реке да глубокий снег. Полковник Кошкин после работы на морозе любил завалиться и полежать. Не затапливал печку, не шел набивать снег в котелок, никогда не готовил и не стеснялся этого... Когда же надо было, впрягался и тянул за троих – долбил лунки, топтал снег впереди оленей. Молчаливый каюр Гусев оказался интересным, с непростой, необычной биографией и взглядами на жизнь. Ему было под шестьдесят, и он хорошо знал огромный район от Туруханска и дальше на север, чуть ли не до Диксона.

Этим утром Горчаков с полковником вели караван по льду и промеряли глубины, а Гусев с Гринбергом ушли на легких санках вперед с теодолитом и рейкой. Горчаков выправил прибор, и Гринберг теперь с легким сердцем, когда находили просеки под будущую трассу, делал промеры, а вечерами вычерчивал уклоны, которые – тут полковник был прав – вдоль тундровой реки были несущественные.

Василий Степанович опустил лот, замерил глубину, записал. Стал сматывать быстро обмерзающую веревочку. Горчаков на берегу, у кромки льда, затесывал дерево. Глубокая борозда в снегу вела к нему. Полковник только поначалу посмеивался над основательностью Горчакова, но потом привык, сел, вытирая пот после долбежки. Обмахивал морозную изморось с шапки и бровей. Горчаков ставил две затески, первую на высоте метра от уровня льда, вторую – на двух метрах.

– А вы серьезно к этим промерам относитесь, Георгий Николаич?

– Это для речников, – Горчаков подумал о чем-то и вдруг улыбнулся. – Я точно такую же работу в двадцать восьмом году делал. Кажется, что и пешня та же самая... А потом мы плыли по этим нашим измерениям, снаряжение забрасывали. Я эти затески на карте отмечаю, потом можно будет просто плыть и, глядя на них, понимать глубину.

Погода стояла пасмурная, мороз не больше десяти градусов, работали легко, в фуфайках нараспашку, ушанки не подвязывали. Горчаков взял в руки длинный хорей, тронул оленей и сел в заскрипевшую нарту с грузом. В нее была запряжена четверка, сзади шесть быков тащили жилой балок.

За вторым поворотом открылась огромная наледь через всю реку. Вода на перекате выбивалась на поверхность льда и где-то замерзала, но во многих местах парила живая. Полковник Кошкин выругался, следы легких саночек каюра вели к берегу и там глубоким снегом обходили препятствие. Так же надо было тащить и тяжелые нарты, и балок – ехать по наледи было нельзя – олени скользили копытами и падали. У людей мокла обувь. Почти два часа, раздевшись до гимнастерок, обходили этот перекат. Распрягали и запрягали оленей, топтали им тропу в глубоком снегу.

Перекурили, тронулись и за ближайшим поворотом реки увидели Гусева с Гринбергом. Те сидели на лунках с удочками. Подъехали. Горчаков взялся за пешню и стал долбить свою лунку, а полковник в нетерпении разматывал удочку:

– Блесну-то какую? Как в прошлый раз? Ефим?!

– Не знаю пока, только опустили, – каюр вытащил снасть, уступая полковнику свое место, отошел в сторону и стал долбить новую лунку у самого берега.

Василий Степаныч опустил блесну, дернул несколько раз и вскоре, сопя, вытянул на снег приличного хариуса.

– Опустить не успел! Смотри, Ефим! – азартился полковник, нетерпеливо выдирая крючок изо рта золотисто-бронзовой рыбины с высоким радужным спинным плавником. Даже приплясывал от нетерпения. Снова опустил блесну. – Оп-па! Есть контакт! – полковник высоко вскинул руку, подсекая, и опять быстро потянул из лунки. – От винта!

Еще один хариус закувыркался в пушистом снегу рядом с первым.

Горчаков, не торопясь, прорубил свою лунку, закурил, разматывая шнур с короткого удильника. Снасти были каюра Гусева. Самые примитивные – шнур толстый, вместо блесны – ложка с двумя большими крючками, припаянными с двух концов. Горчаков отрезал от пойманного хариуса хвост и насадил на крюк, осмотрел грубую конструкцию, три дня назад он отлично ловил на нее налимов.

Полковник в азарте тянул очередного «разбойника», но вдруг быстро сунулся в лунку и замахал мокрой рукой:

– Ефим, опять оборвал! Ну е-мое! Ну, шнур у тебя говно! Привяжи, брат, новую? Я нечаянно!

Ефим Гусев сидел над лункой, налаживая свою снасть. Смотрел недовольно:

– Ты, Василий Степаныч, как пацан, ей-богу! Говорю же – не тяни так сильно! А ты прешь! Сам же об лед и оборвал! Это какое же нетерпение надо иметь?! А еще полковник!

– Ефим, ты не ругайся, брат, дай мне твою удочку пока?

– Не-е, Степаныч, вот тебе последняя блесёнка, сам привязывай! Порвешь – на гвоздь лови!

Леня больше наблюдал за другими, интеллигентно и бестолково подергивая своей удочкой в лунке. У него не клевало. Леня не был рыбаком, и создавалось ощущение, что ловит он из вежливости. Ефим, крикнув довольно и бурча что-то про себя, вытащил хариуса из новой лунки. Горчаков докурил и стал опускать свою блесну.

– От винта! – опять радостно и громко раздалось от полковника авиации. – Смотри, Ефим, у тебя такой же?

– Ух-х! Удочку вырвал! – Леня, очень удивленный, тоже тянул рыбу.

Горчаков стоял в стороне, у него не клевало, он поддернул блесну повыше, ревниво понимая, что у него самая большая блесна и для хариуса она не годится... Снасть кто-то сильно тянул вниз. Горчаков перехватил рукой шнур и ясно почувствовал – там, внизу под ним возилось что-то очень тяжелое и не хотело наверх. Он заволновался, сглаживал могучие уверенные рывки и потянул вверх. Рыба подошла ко льду, задвигалась активнее, толчки усилились. Горчаков опять отпустил...

– Что примолк, Георгий Николаевич?

– Крокодил взял! – Горчаков, удерживая рыбу, присел к самой лунке.

– Не торопись! – Ефим шел к нему с пешней. – Помучай! Тут таймени и по полцентнера попадают, такой в узкую лунку не дастся...

– О, Ефим, я чира поймал! – полковник поднял над головой крупную желтовато-серебряную рыбину. Во, маза^[94] пошла!

Горчаков опять подтянул рыбину ко льду и попытался завести ее в лунку, но она, рывками вырывая шнур, снова ушла на глубину.

– Терпи-терпи, Георгий Николаич, – Ефим полез за куревом, – я раз целый час вот так воевал, а он все равно оторвал!

Горчаков и не торопился, шнур в его руках временами гудел от натяжения. Полковник и Леня, побросав свои снасти, стояли рядом.

– Может, правда, таймень...

Полковник не договорил, Горчаков вдруг потянул, потянул, и из лунки показалась огромная щучья морда. Шнур лопнул, Горчаков с Ефимом, столкнувшись плечами, упали на колени и схватились за щучью башку. Вытянули, выдрали на снег. Широкая пятнистая щучина с огромной зубастой пастью и тяжелым пузом раскрывала темные красные жабры.

– Вот это чудище! – восхитился полковник и сунул валенок в раскрытую пасть. – Зубья, прямо как у товарища Сталина! Попалась, тварь!

– Кил двадцать будет... – прикидывал Ефим. – Урвал ты, Николаич!

– Она съедобная? – спросил Леня.

– А что же? – не понял Ефим.

– Можно выпустить, хорошей рыбы много?

– Выбросить всегда успеем...

Они снова разошлись по лункам, и снова пошла работа. Хорошо ловились хариус и сиги. Горчакову на его «крупнокалиберную» блесну еще несколько щук попались и с десятков налимов. Собрали рыбу в три мешка. Закурили довольные возле нарт. Руки у всех были красные, валенки и телогрейки мокрые.

– Ну и ямка, Ефим! – весело басил полковник. – Запоминай, Леонид Григорич, местечко, может, когда...

– Ну да! – хохотал Леня. – Река Турухан, сто пятый поворот налево!

– Сюда бы вольными попасть да с хорошей компанией! Показать людям такие вот богатства! – полковник повел рукой по горизонту. – Природу эту суровую! Это же наша природа, ребята! Вот она – настоящая Россия-матушка!

Природа в этом месте не представляла собой ничего особенного. Поворот реки, обрывистая глина правого берега, елки темными силуэтами, как конвой, торчали по склону среди кустарников. Солнце сегодня так и не вышло, но настроение у всех было отменное.

Они проехали совсем немного, Гусев увидел неплохое место для ночлега и с кормежкой для оленей. Свернули. Снега между прибрежными кустами было по грудь, пробили-протоптали дорогу для животных и нарт. В тайге было не так глубоко. Вытоптали и тут добрую полянку в сосняке.

– Уху вам сварю путную, а то все обещаю-обещаю, – Гусев распрягал оленей.

Горчаков помогал Гусеву, полковник, намеревавшийся после хорошей работы завалиться на полчаса придавить шконку, достал мешок с хариусами из нарты:

– Много чистить, Ефим?

– Десятка полтора хватит... – Ефим привязывал вожака, подкармливая его солью и поглаживая по шее. – Да из налимов максы^[95] набери...

Горчаков достал нож и сел рядом с полковником на край нарт:

– Никак не привыкну, что нож не надо прятать...

– Точно, – согласился Василий Степаныч, – я тоже, беру в руки и озираюсь.

Они принялись чистить рыбу. Все стихло в природе, начинало темнеть, с неба падал редкий пушистый снежок. Леня зажег костер, и

вокруг стало еще темнее. Каюр навтыкал подмерзших сигов и чиров мордами в снег на завтрашнюю строганину. Вскоре уха закипела в большом котле. Гусев растирал заправку из налимьей максы и рассказывал про оленей:

– У ненцев, у эвенков, у кетов маленько по-разному недоуздки крепятся, я у ненцев учился. Для грузов вот, – он ткнул в нарты, на которых сидел, – длинные нарты используют, на низких копыльях, а лыжи шире. Триста килограмм нагрузишь, те же четыре оленя и потащат. У местных все очень красиво продумано. Иной раз только и удивляешься! – Ефим замолчал, понюхал заправку и довольно посмотрел на всех.

Мужики тихие сидели вокруг огня.

– Как в пионерском лагере! – задумчиво хлюпнув забитым носом, проговорил Гринберг. – Мы в походы ходили, тоже костер...

– А ты, Георгий Николаич? – повернулся к Горчакову полковник. – Ты в лесу как дома, даже с оленями умеешь!

– Точно-точно! – с уважением закивал каюр.

– Приходилось по молодости...

– Где? – Гринберг подкладывал сучья.

– В разных местах, мне пятьдесят почти...

– Да ну?! – удивился полковник. – Думал ты постарше, Георгий Николаич... до лагеря-то в геологии работал?

– Запиши, фельдшером, – улыбнулся Горчаков.

– Про фельдшера мы знаем... Не хочешь, не говори... был бы ты настоящий фельдшер, у тебя бы спирт был! После такой рыбалки, да полкило фронтовых в баки залить! Гусев, точно у тебя нет?

Такой разговор заходил не впервые, но в этот раз каюр покосился на Гринберга:

– Ну что, начальник, достать НЗ под уху?

– Доставайте, что вы меня спрашиваете? Какой я вам начальник?

Гусев ушел в балок и вскоре вернулся с полулитровой бутылкой спирта. Поставил перед Кошкиным. Сам взял черпак и присел к котлу.

– Чур меня! – полковник осторожно взял бутылку. – Георгий Николаич, давай-ка в котелке разведем...

Разлили жирную золотую уху, у огня на широкой разделочной доске дымилась белая, разваристая гора рыбы.

– На весь лес пахнет! – полковник, затаив дыхание, разливал «божественный напиток». – Вот это денек у нас сегодня!

Разобрали посуду, полковник поднял свою:

– За свободу, ребята! За небо! – он махнул свою кружку.

И уха была хороша, и буханка из деревенской пекарни, оттаявшая у огня, казалась свежей, а местами и хрустела припекшейся корочкой.

– Вот, мне с непривычки шибануло! – радовался полковник, снова наливая спирт. – Давай, ребята, за что выпьем? За рыбалку? Скажи ты, Ефим!

– Давайте за ваших близких, кто остались там далеко! – каюр сказал негромко, в костер посматривал, выпил не торопясь. Все тоже выпили.

– Почему вы сказали, «за ваших»? У вас, что, никого нет? – спросил Леня, выпив и отдышавшись от спирта.

– Наверное, уже никого... ничего про них не знаю.

– Ты из крестьян? – спросил полковник.

– Ну, – кивнул каюр, раскуривая самокрутку от уголька. – У отца большое хозяйство было, благодаря ему я гимназию закончил в Воронеже, а потом разошелся с ним – я тогда революционер был, эксплуататоров ненавижу.

– И что же, уехал из дома?

– Уехал. Завербовался в Игарку, в школе рабочей молодежи учителем работал. Вначале Игарка веселая была, а в тридцать седьмом все руководство города арестовали, ссыльных нагнали на заводы... Я в низовья уехал, несколько лет рыбаком работал, потом охотником-промысловиком, во время войны на нас бронь была – на фронт не брали. – Гусев говорил неторопливо, просто вспоминал.

Полковник долил остатки спирта. Чокнулись, выпили молча.

– Бродяга я, а не крестьянин, уже и не охота ничего. Балок слепил и живу!

– А про своих почему ничего не знаешь? Так и не ездил?

– Ездил в 1936-м, раскулачили их. Всех увезли куда-то в Томскую область, – каюр подбросил в костер. – Я соседу – в школе вместе учились – свой адрес оставил, в Игарку приезжаю, а меня уже ищут. Стукнул сосед... я и уехал в Сопкаргу.

Помолчали, обдумывая. Полковник очнулся первым:

– Вроде и не в лагере, а и не очень-то ты вольный, Ефим! Один Леня у нас нормальный.

– Я? – Леня смотрел с нетрезвым испугом. – Я женат! У меня ребенок... но я развелся. Моя мама тоже в Москве.

– Почему развелся? – не понял полковник.

Гринберг хмуро молчал, даже головой тряхнул, не желая отвечать.

– Да говори уж, ты что, тоже беглый?! – благодушно пытал Кошкин.

– Я – нет! – быстро ответил Леня и замолчал, но потом заговорил насупленно и даже строго: – Моих друзей обвинили в заговоре! Это была провокация! Мы вместе учились в институте, у нас там ребята воевавшие были, после фронта, они не боялись обсуждать... Мы просто думали, что делать. Понимаете? Мы ждали, что после войны жизнь лучше станет, свободнее... – он посмотрел на всех твердо. – Мы говорили о культе личности. Ребят арестовали в прошлом году.

– Так вы настоящие заговорщики! Вы что же, шлепнуть его хотели? – спросил полковник заинтересованно и почти серьезно.

– Совсем нет, я же говорю, мы только обсуждали, искали пути выхода... считали, что мы как молодые специалисты обязаны помочь своей стране. Сталин – очень серьезная помеха в ее развитии. Среди нас были хорошие экономисты. За мной тоже приходили, но я тогда на «Волго-Доне» работал, канал строили, я как раз был на строительстве... – Леня разволновался и от этого еще больше захмелел, говорил сбивчиво, осматривал всех, ища сочувствия. – Мой начальник отсоветовал мне ехать в Москву. Меня почему-то там, на Дону, не искали, возможно ждали, когда вернусь... а вскоре начальник перевелся сюда, на 503-ю, и меня забрал с собой. Жена со мной развелась, иначе ее тоже могли арестовать, а у нас дочка маленькая.

– Если бы не уехал, лес уже где-нибудь валил бы! – подытожил полковник. – Получается, я из вас самый нормальный: сижу за дело – дал в морду члену военсовета фронта.

– Прямо в морду? – обрадовался чему-то Гринберг.

– Так точно, и сказал, сука, все, что о нем думаю! Я из-за этого уroda четверть полка потерял... В сорок четвертом дело было, могли и расстрелять, конечно, но повезло!

По виду Василия Степановича понятно было, что делать так не следовало, но поступком своим он доволен.

– А у тебя, Георгий Николаевич, дети есть?

Горчаков курил молча, как будто не слышал.

– Что молчишь? – не отставал полковник.

– Не стоит, Василь Степаныч...

– Вы понимаете, – горячо заговорил вдруг Гринберг, пытаясь сосредоточиться от опьянения, – если бы я остался, вся семья могла пострадать. У арестованных ребят, даже у родителей жилье конфисковывали, одну девушку вместе с мужем забрали, а он совершенно ни при чем... Я спасал моих, мне непросто было, и жена не хотела развода, но меня еще могут арестовать. Я боюсь этого, да, это – честно!

Замолчали, только костер трещал да временами слышно было оленей в лесу.

– Вы не волнуйтесь так, товарищ Гринберг! Нам тут иногда лучше, чем там, на воле! – полковник поднял пустую бутылку из-под спирта, заглянул в нее и с сожалением швырнул в кусты.

– А как сейчас в Москве? С продуктами полегче стало? – спросил вдруг Горчаков.

– В Москве неплохо, – Леня посмотрел на Георгия Николаевича, не очень понимая, к чему тот спрашивает. – В деревнях очень бедно живут, многие голодают... На «Волго-Доне» крестьян много заключенных, такое рассказывают – невозможно поверить.

– В деревнях свое хозяйство – голодным не останешься... – не согласился полковник.

– Ой как останешься, – Гусев подбросил в огонь охапку сучков. – Я в Туруханске сошелся с хорошей женщиной, переехал к ней, устроился учителем, с северными надбавками зарплата получилась больше тысячи рублей. Вроде неплохо, но из них каждый месяц: на государственный займ – 150, холостяцкий налог – 60, подоходный – 80 рублей, сельхозналог с усадьбы – у нас огород был 10 соток – 180 рублей, страховые какие-то платежи за посев огорода, корову и дом – 130 рублей, сбор за регистрацию охотничье-промысловых собак, хотя я тогда не охотился... – я не все и помню, оставалось меньше пятисот. У Насти корова была, и она каждый год должна была сдать 40 килограмм мяса, 360 литров молока, 1 кожу, 120 килограмм картошки и 30 штук яиц. Кур у нас не было – все приходилось покупать! Молока она зимой, дай бог, литра полтора в день давала, а литр отдай

государству... и чего там оставалось? Продали эту корову, а я снова ушел в охотники... Если бы не Енисей да не тайга, все тут ноги протянули бы давно, я не знаю, как люди в России живут? – каюр замолчал недовольно. – Помирали в деревнях от голода, чего тут и говорить, и в сорок шестом, и в сорок седьмом, сам видел...

Замолчали. Костер примолк, прогорая, в темноте слышно было, как, добираясь до мха, гребет копытом привязанный вожак да время от времени поблескивают его большие глаза. Каждый о своем думал, о своих семьях, оставшихся без мужчин. Гринбергу было полегче – он посылал своим деньги.

– Самый гребаный месяц этот февраль, – полковник поднялся, глядя куда-то вверх, в черноту небес, – вроде к весне дело, а до нее еще жить и жить.

Горчаков ушел в балок, растопил печку и лег. Мужики еще долго сидели, возбужденные откровенным разговором.

– Невежество и грубая сила взяли верх над человеческим достоинством, над высокими устремлениями к знаниям и свободе! Вот что произошло после революции! – слышался взволнованный голос Гринберга. – Самомнение невежества победило, Василий Степанович, такой чистый и мощный порыв к лучшему был загублен, какого, может быть, и не было в истории людей!

На другой день все работали без особого энтузиазма. Двигались по реке одним караваном, полковник из гусевского карабина убил на склоне лису-чернобурку. Они отправились за ней, а Гринберг подошел к Горчакову:

– Георгий Николаевич, я неправильно сделал, что уехал от своих?

– Правильно, Леня, не сомневайся.

– А вы сами почему так не сделали?

– Дурак был. Работал бы сейчас вот так вот каюром... – он кивнул на оленей, уставших уже и застывших неподвижно впереди его нарт.

Гринберг помялся, глядя в сторону охотников.

– А еще... я давно хотел спросить, вы к Норильским месторождениям отношения не имели?

– Имел.

– А Рожкова Бориса Николаевича не знали случайно?

Горчаков с интересом посмотрел на Леню.

– Мы работали вместе... Ты его знал?

– Я из-за него пошел в геологоразведочный, мы были знакомы. У него ваша фотография висела, такие же круглые очки! А что с ним случилось? Он исчез в конце тридцать шестого.

– Расстреляли Борю в Смоленской тюрьме... Я с ним по одному делу шел, но меня что-то спасло... Огромный, редкий талант... такого трудягу убили! – Горчаков шарил по карманам в поисках курева. Папироса дымилась в его рту. Он увидел ее, затаился строго. – Ну ничего...

– Что ничего?

– Когда-то все станет известно... обязательно станет. Ты береги себя, Леня, кто-то должен будет все это понять. Если не ваше поколение, то, может быть, ваши дети? Или внуки?

– Вы считаете, мы не понимаем? Это террор против своего народа. Уничтожение людей по идеологическому принципу!

– Нам это сложно понять. Мы не знаем всей правды, не можем видеть масштабов репрессий, ни их результатов, наконец. И потом – вдруг через пятьдесят лет все эти тьмы замученных людей окажутся необходимой платой за что-то, о чем мы не догадываемся?

– Но как же? Человек – разве не самое ценное? Нет ничего, за что можно платить людьми!

– Мне тоже так кажется... – Горчаков чуть нахмурил брови. – Нужно время, чтобы выбраться из этих страшных событий. Люди должны осознать произошедшее как национальную трагедию, как тяжелейшую, трудноизлечимую болезнь, которая передается потомкам... А пока это только наш с вами вопрос, Леня.

– А наши близкие?

Горчаков молчал, глядя куда-то мимо Гринберга.

– А вдруг через пятьдесят лет люди не захотят об этом думать? – волновался Леня.

– Тогда мы мучились зря! – Горчаков улыбнулся. – Нужно не только время, нужны свободные люди, которые захотят все это понять. Только свободные могут этого захотеть.

Так они и двигались вверх по Турухану, обрабатывая стопятидесятикилометровый участок будущей железной дороги. Метели задували по несколько суток кряду, кончился хлеб, но никто не торопился, в пургу пили чай и много разговаривали, вспоминали

свободную жизнь, даже Горчаков разговорился. О его домашних, правда, так никто ничего и не узнал.

Лагеря попадались часто, они никогда не стояли на берегу, но следы человека бывали видны издали: за водой приезжали, рыбачили, костры жгли, валялись бревна и доски. Специально в лагеря не заезжали, даже когда хлеб кончился. Однажды их догнал старший лейтенант – начальник лагеря. С тремя автоматчиками. Проверил документы, когда узнал, что они изучают состояние трассы, залебезил, стал рассказывать, почему у него мало сделано, в баню приглашал. А потом отвел Гринберга в сторону и предложил обмен. Ватники, валенки, сапоги... новые... сколько хочешь – на пару литров спирта.

Перед самым Яновым Станом полковник Кошкин несколькими дальними выстрелами добыл лося, переходившего открытое пространство реки. Дело шло к вечеру, надо было останавливаться.

Кошкин радовался горе мяса, каюр снимал шкуру, Горчаков помогал. Гринберг же ходил вокруг и делал вид, что он тоже рад этому лосю, сам же с внутренней тряской представлял себе, как в Яновом Стане с него спрашивают за почти трехнедельное опоздание.

– Василь Степаныч! – Леня остановился и недовольно посмотрел на работавших, как будто собираясь что-то приказать.

– Да, Леня? – весело отозвался полковник, подрезая ножом шкуру. – Сегодня большой шулюм заварим! А?! Ефим, ну ты видел! Он как шел, – полковник распахнул окровавленные руки, – так и завалился и пополз на фюзеляже по склону... О, бычара! Что ты улыбаешься, Ефим?

– Нет, ничего, ловко вы его! Я бы не попал!

– А то! Я за войну мильен патронов выпустил!

Гринберг только поморщился на чужую радость, нервно сжал кулаки и пошел к балку.

В Яновом Стане была одна из перевалочных баз стройки. Капитан, начальник тамошнего лагеря, выслушав Гринберга, сказал, что у него по их поводу никаких распоряжений нет и ночевать у него тоже негде, стрелки живут в холодных палатках.

На другой день они отправились в Ермаково. Ехали своим же следом, без работы, и всего за четыре дня добрались к месту, откуда начинали. Здесь трасса уходила в сторону от Турухана, в тайгу. До

Ермаково оставалось еще шестьдесят километров зимником. В небольшом лагере договорились о попутной машине.

Пришло время прощаться с Гусевым.

– Ну, бывай, Ефим, – полковник облапил небольшую фигуру каюра, – береги мой адрес, будешь в Москве, обязательно заезжай! Даже если меня не будет, тебя Нина моя примет, она у меня вот такая женщина! – выпячивал Кошкин большой палец.

– Прощайте, Ефим Егорыч, может, еще увидимся! – протянул руку Гринберг. – В Игарке знаете, где меня найти!

Горчаков тоже должен был вернуться в Игарку, в пересыльный лагерь. Дорога лежала через Ермаково, мимо его лазарета.

Машина была открытая, зимник плохой и до Ермаково добирались еще полдня, мерзли, как собаки. Горчаков всю дорогу соображал, как увидеться с кем-то из врачебного начальства. Лучше всего с Богдановым, который обязательно оставил бы. Права ходить по Ермаково у Горчакова не было – поселок не был вписан в командировку. Помог Гринберг, как руководитель повел «заболевшего» подчиненного в поселковую больницу. Георгий Николаевич не был здесь два с половиной месяца – за это время к главному корпусу небольшое крыло пристроили.

Ни Богданова, ни заведующего не было, сестра сказала, что Богданов час назад уехал. Горчаков с Гринбергом сели в приемном покое, Георгий Николаевич судорожно соображал, как поступить, но никого знакомых, кто мог помочь, не было. Какая-то очень симпатичная и незнакомая девушка прошла в халате врача. Они проводили ее взглядом... Идти к себе в зону, в лазарет первого лагеря, куда он и стремился и который был совсем рядом, было нельзя – не было пропуска, да и никакого смысла. С его документами его должны были вернуть в пересыльный лагерь. И никак иначе.

Но на множество инструкций Главного управления гигантским лагерным хозяйством страны существовало и множество исключений. Хирург Богданов всегда имел пустой спецнаряд, подписанный начальником Строительства полковником Барановым. Достаточно было просто вписать туда имя заключенного, и он поступал в распоряжение хирурга. Дело з/к Горчакова мог исправить почти любой начальник – просто оставить его у себя, а потом затребовать с пересылки его личное дело.

В приемную влетел конвойный Богданова сержант Кувакин. Пробежал было к кабинету хирургов, но, увидев Горчакова, остановился.

– Георгий Николаевич, здравия желаю! Виталий Григорьевич недавно опять про вас вспоминал! Вы вернулись, что ему сказать?

– Петя, здравствуй! – Горчаков себе не верил, заволновался от неожиданной подмоги. – А где Виталий Григорьевич?

– Мы в Игарку вылетаем на операцию, за нами самолет прислали.

– Передай Виталию Григорьевичу, что я числюсь на пересылке в Игарке, пытаюсь вернуться сюда, но куда отправят – не знаю.

– Так может, вы с нами? – Петя строго посмотрел на Гринберга: – Вы – расконвоированный?

Через три дня Горчаков вернулся в Ермаково, и его снова определили в лазарет первого лагеря. Не старшим, а просто фельдшером. Из прежнего народа был только Шура Белозерцев да ночной санитар, молчаливый здоровяк-азербайджанец Ибрагимов. Вечером, после отбоя они сидели с Шурой, и Шура удивлялся перемене, которая произошла с Горчаковым: тот сам с настроением вспоминал о поездке, о пурге и рыбалках, расспросил про Риту. Шура в свою очередь рассказывал новости – Иванов заходил пару раз, интересовался, нет ли вестей из Норильска. Без Горчакова сменились два начальника санчасти. Последний был пожилой дядька, сельский фельдшер, с бытовой статьёй.

– Неплохой, спокойный мужик, Николаич, но где-то его урки капитально напугали, я сначала посмеивался про себя, а потом жалко стало. Все он ждал, что к нему за марафетом придут, ночью один в вашей комнате не ложился, среди больных спал. У него полгода сроку оставалось, может поэтому. Так и отпросился в обычные санитары куда-то.

Горчаков лежал и слушал санчасть. Отвык от кашля, хрипов и неожиданно среди тревожной тишины возникающей, злобной болезненной ругани. После вольной тайги надо было снова привыкать к звукам и запахам лазарета. Полтора месяца на Турухане что-то изменили в нем. Невольно вспоминал долгие разговоры в прокуренном балке под завыванье ветра и шум сосен. Наивного и честного Лёню, боевого полковника со смешной фамилией, воронежского гимназиста Гусева, опустившегося до первобытного состояния.

Всех их, таких разных, объединяло стремление к свободе, они по-разному ее понимали, разного от нее хотели, но это и есть свобода, когда люди могут быть разными и им никто в этом не мешает.

Леня рвался к свободе общественной, к свободе мысли, к возможности говорить на площадях и шагать к светлому будущему – он был самым большим коммунистом во всей компании. Кошкину достаточно его неба, веселых друзей и красавицы-жены. Он скоро освободится. А я? – Горчаков незаконно пристраивал себя со своим безнадежным сроком к этой легкомысленной компании. Я уже зэк навсегда? Он пытался представить какую-то свою свободу, и ему не было скучно от этой мысли, как это бывало раньше. Как будто душа отдохнула, напиталась таежной силы и теперь смотрела на все веселее. Даже в его положении старого зэка были плюсы – он не боялся ареста, как Леня или Гусев, или нового срока, как полковник.

Разговоры, однако, были слишком откровенные. Горчаков понимал, что никто из их экспедиции сам не побежит сдавать, здесь Кошкин был прав, но если припрут... Тут вариантов не было – если умело припрут, сдать мог любой. У всех есть слабые места, даже у полковника авиации.

Горчаков лежал, улыбался в темноте и благодарил Бога, что снова оказался в своем лазарете. Это было громадное везение. Не объяснить никому было. Конечно, Норильск, работа в поле очень манили, но он чувствовал, что поступил правильно.

Шура, счастливый, храпел рядом, за тонкой дощатой перегородкой, Георгий Николаевич подумал, что в этом тоже есть радость. В лагере товарищей не бывает, спят рядом, едят вместе – вот и все. Они с Шурой год уже ели вместе.

Даже про Асю подумал, про ее письмо, которое он еще не читал. Ему вдруг ясно показалось, что и ее жизнь тоже как-нибудь да сложится. Он выдержал не писать ей и выдержит еще, и она примет, а возможно, уже и приняла это. Сколько можно жить и все время помнить, что где-то у нее есть муж, которого она должна ждать. Кому должна?

В марте начались оттепели, их сменяли крепкие ночные морозы, а потом и просто возвращалась зима, выстуживала, пуржила, заметала поселок. Мелкие избушки и полуземлянки были давно завалены по

печные трубы, возле которых грелись собаки. Но люди уже начали ждать весны. Солнце все чаще припекало, и даже старики нет-нет выползали погреться на завалинке, у теплой стенки, обшитой черным рубероидом.

Начальство со всеми многочисленными службами и барахлом перебиралось из Игарки в Ермаково. Переехал театр и на доме культуры появились красиво нарисованные афиши, возле которых всегда толпился народ. Проектировщиков поселили в первом лагере, и временами к Горчакову навевывался неунывающий Кошкин. В зоне полковник уже не был таким правдорубом.

Весна насадала, в конце апреля потекло так, что ермаковский бугор оттаял, а лед на Енисее почернел, будто собирался тронуться, и люди, обманутые несвоевременным теплом, поглядывали на небо, высматривая перелетные стаи. Небо было чистое, до птиц еще было далеко.

Первого мая случилась в лазарете у Горчакова крепкая поножовщина. Одного больного убили в драке, двое оказались с серьезными ранениями, а Шура Белозерцев, принявший участие на одной из сторон, получил доской от нар и сам оказался на койке с замотанной башкой. Иванов устроил полный шмон лазарета, с выводом всех больных на улицу. Нашлось немало ножичков, пара серьезных заточек и, что самое неприятное, целая упаковка веронала за фанерной обшивкой в комнатке фельдшера. Горчаков к тому времени снова стал старшим фельдшером. Иванов обещал отдать его под суд, но почему-то выписал только трое суток ШИЗО, и сам отвел, и определил в узкую камеру с ледяной стеной и полом. На следующий день пришел проверить. Не разговаривал, но смотрел снисходительно, будто ночные заморозки до минус двадцати зависели тоже от него. Иванов не был подлецом, он был служака. Несчастный человек, зачем-то обманывающий самого себя.

Настоящее тепло пришло после первого июня. Стоял полярный день, и солнце старалось в три смены, двадцать четыре часа грело окоченевшую землю. Текли огромные и грязные зимние сугробы, таяли в лед наезженные дороги, зимний мусор полз на глаза изо всех углов поселка, с бугра в Енисей шумно устремились грязные ручьи. По вечерам у реки было, как в гигантском мерзлотнике. Огромной ледяной панцирь Енисея дышал холодом, набух и изготовился в

дальнюю дорогу. Люди вечерами ходили смотреть на сочные весенние закаты, что разрисовывали небо в тихом и торжественном ожидании ледохода, весны и птиц.

Утром была подвижка, невидимая могучая и страшная сила двинула Енисей, лед покрылся трещинами, пополз медленно, полез на берега, но, пройдя метров двести, огромная ледяная река снова замерла. Все встало и даже промерзло, ребятишки бесстрашно скакали по торосам далеко от берега. Только через три дня, к вечеру, откуда-то сверху пришла новая, еще более мощная сила, и тяжелая масса белой истрескавшейся реки тихо потекла в берегах. Где-то замирала, кружилась туго, прозрачными, неправдоподобно толстыми кубами льда наползала друг на друга и лезла на берег. Вода начала быстро подниматься.

29

Март в Москве стоял сырой и ветреный, то и дело шел мокрый снег. Коля ходил в школу в зеленых резиновых сапожках Натальи Алексеевны. Сапожки были на женском каблучке и маловаты, но больше надеть было нечего, и Коля молча страдал.

Ася варила суп. Картошка, лук пережаренный, два сырых яйца влила, помешивая, в кипящую воду. В кастрюльке сразу стало не пусто и похоже на лапшу – яйца сварились длинными светлыми нитями. Попробовала на соль и понесла в комнату.

Наталья Алексеевна позвала из-за своей шторы:

– Я написала письмо Георгию Николаевичу, будь любезна, отправь ему, пожалуйста, – свекровь говорила строго и сухо.

Ася не понимала, к чему эта строгость относится – к тому, что нет конверта, утром они об этом говорили, или к Гере. Она привычно вежливо изучала лицо свекрови. Раньше Ася отговаривалась тем, что в этом месяце уже отправляла письмо, а Гера не может получать больше одного в месяц, но теперь промолчала. Смотрела на свекровь, а сама думала о письме Шуры Белозерцева, которое получила почти месяц назад. Она часто о нем думала, но все не могла решить, о чем попросить неожиданного помощника. Мысли, которые приходили, были слишком серьезными и пугали ее саму.

С письмом в руках села у двери. Денег не было ни на конверт с маркой, ни на керосин. Никаких украшений или ценных вещей в доме давно не осталось. Только маленькие золотые сережки в ушах Натальи Алексеевны. Впрочем, и посылать это письмо, скорее всего, не надо было. Из-за шторы слышался тихий сап, свекровь дремала.

Ася осторожно развернула письмо:

«Дорогой Гера, здравствуй!

Я тебе давно не писала, полагалась на Асю, которой отдала эту возможность – писать от имени всех нас одно письмо в месяц! – но теперь пишу в надежде, что она не посмеет не отправить тебе письма твоей матери.

Ася скрывает от меня твои письма. И не только от меня, но и от детей!

Последний раз, когда я попросила почитать твою корреспонденцию, она опять дала мне письма двухлетней давности. Когда я стала настаивать, она сильно покраснела и сказала, что это последние и других нет. Она никогда не лгала мне прежде, но сейчас я отказываюсь это понимать!

Напиши ей, что твоя мать старая и немощная, но еще не выжила из ума. (Это ты можешь понять из моего письма.)

И последнее – ты должен поговорить с Асей – она слишком экономна, я совершенно ничего не понимаю в ее расчетах и не могу подать ей никакого совета, но едим мы иногда невозможно плохо. А Коля ходит в школу в рубашках, которые она перешивает из моих блузок! Этого я вообще не понимаю, он уже большой мальчик, чтобы выглядеть так нелепо! Я уже сделала ему замечание, но он все равно ходит!

Я не все тебе пишу, не все наши с Асей разговоры, но думаю (я чувствую это!), что Ася считает мое поведение и мои претензии старческими капризами! Я прошу прощения, но я отдала ей все свои хорошие вещи, все драгоценности, а теперь не могу иногда добиться белого хлеба с хорошим сливочным маслом, а не маргарином.

Но главное – это твои письма. Прошу тебя поговорить с ней. Твоя мама».

Ася опустила письмо. Ее лицо горело. Она потерла лоб и прислушалась. Наталья Алексеевна спала. Сева, услышав запах супа, оторвался от книжки и попросил есть. Скоро должен был вернуться из

школы старший. Коле в июне исполнялось тринадцать, он был ростом почти с Асю, ясноглазый красивый мальчишка, с пушком по щекам и пухлыми губами. Он влюбился в девочку из параллельного класса, стал носить модный чуб, который закрывал лоб и наезжал на глаза, он ему очень шел. Насчет блузок Наталья Алексеевна была права.

Ася перевязала пачку писем, приложила ее к другим таким же, увязанным по годам, обняла и легла сверху головой, как на подушку. Улыбалась. Письма Геры она хранила у Лизы, своей близкой подруги, однокашнице по училищу Гнесиных. В них не было ничего крамольного, но половина были написаны с разными вольными обратными адресами, и она боялась хранить их у себя. Ася два часа уже сидела в крохотной Лизиной комнатке и читала письма. Лиза служила актрисой театра Вахтангова и теперь была на спектакле. Должна была уже вернуться. Ася развязала пачку писем тридцать девятого года, – возможно, это был лучший Герин год...

«3 октября 1938

Дорогая моя, любимая Ася!

Вчера поздно вечером вернулись в Норильск на базу экспедиции. Целый день сегодня топили баню (ту еще, которую строил Урванцев!) и мылись, благо снега навалило по колено.

Сезон закончен, мы отлично поработали, завтра большое совещание по итогам и садимся за отчеты. Потом – к Новому году – сводный отчет. Не буду дразнить собак, но результаты такие, каких я и не ждал – рудное тело на Норильске втором оказалось намного больше, в следующем году мы продолжим понимать его размеры и форму, но уже сейчас можно сказать, что извлечь весь металл, что есть здесь, вряд ли удастся и за сто лет. Мои предположения по форме рудного тела полностью подтверждаются, и это имеет огромное значение для других месторождений. Не могу всего рассказать, но это страшно интересно! Угадывать, предвидеть, прямо чувствовать – конь, подходя к замерзшей речке, очень внимательно нюхает лед и потом – или уверенно идет, или никакими силами не загонишь! Он чувствует толщину льда, глубину и силу речки и высчитывает опасность! Так и я собираюсь в ближайшие месяцы очень крепко прислушаться – где, на какой глубине и с какими возможными признаками на поверхности залегает то самое золото-платино-медное и т. д. чудесное рудное тело.

Я, возможно, сумасшедший, но я прямо люблю его! Чуть меньше, чем тебя и нашего Колю, конечно. А хорошо прислушавшись, разрисую цветными карандашами мою карту – я достал новенькую! – определю районы поисков за пределами Норильского района...

Все эти немалые, скромно скажем, успехи вселяют известные надежды. И когда все замечательно изменится, я просто сяду в самолет и прилечу в Москву, мы накупим теплых вещей, маму устроим у дяди Леки, оставим им много денег и втроем вернемся в Норильск. Это славное место! Трудноватое для жизни из-за долгой зимы и непростого климата, но сказочно богатое! Трудно, даже невозможно такую роскошь себе представить! Здесь по-настоящему нетронутая природа, а что такое долгая зима, если мы рядом.

Я сижу за письменным столом – у меня здесь шикарный дубовый стол! – и вот я за этим столом СЛУШАЮ НЕДРА, а ты на диване или в кресле С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ (кресла, правда, пока нет, но это наживное, как и фортепиано!). За окном – ночь, она длится и длится, но каково, когда первый раз солнце показывается над горизонтом! Все ходят и улыбаются друг другу! Ну конечно, я опять забыл о Коле. Он – спит! Я – работаю, ты – читаешь, а он – спит... или тоже что-то делает, я пока плохо его себе представляю.

Ася, меня сейчас зовут мои товарищи, у нас сегодня крупный сабантуй по случаю возвращения! Допишу завтра!

Продолжил только через неделю, дел было полно, к сожалению, не всегда приятных, тогда после бани и перед празднованием настроение мое порхало за облаками. Но в целом все так и есть, как писал. Целую тебя, моя милая...

Какая тупость! Я все время забываю о Коле, когда же увижу его? Целую и обнимаю вас с Колей с надеждой на скорую встречу. Ваш Гера.

Маме привет, я напишу ей отдельно».

Ася положила письмо на верх пачки и перевязала шпагатом. Она уже не плакала, читая его письма. Она их не то чтобы знала наизусть, они стали частью ее жизни. Такой вот странной, долгой жизнью, в которой не было мужа, но были его письма. Она помнила все свои мысли по поводу этих писем, где он был в этот момент, с кем и над чем работал и почему одни написаны карандашом, а другие чернилами. И себя помнила, как их получала и читала, и ревела. Если бы не эти

аккуратно перевязанные пачки, ее жизнь была бы другой. Она, впрочем, не могла себе этого представить. Эти письма и были ее жизнью.

Сегодня она ушла к Лизе, чтобы спокойно обдумать письмо Белозерцеву. Его коротенькое письмо старательным почерком и с ошибками возбуждало в ней горячее желание ехать к Гере при малейшей возможности. Надо было написать Белозерцеву и все выспросить. То, что Горчакова сейчас не было в Ермаково, ее не смущало, ей казалось, что он должен быть где-то там рядом и его несложно будет найти.

Открыла письмо от 20 августа 1948 года. Она всегда открывала его последним. Она знала его наизусть.

«Ася, здравствуй.

Это мое последнее письмо тебе. Не буду еще раз приводить доводы, ты их хорошо знаешь. Выходи замуж. У твоих сыновей будет отец, а у тебя муж. Все это еще возможно для вас. Мой срок закончится через двадцать пять лет. Рассуждать дальше нет смысла.

Я все хорошо и спокойно обдумал. По поводу детей мне не очень сложно принимать это решение – они никогда меня не видели. Я их тоже.

Писать мне не надо – читать не буду.

С мамой сложнее, если бы не она, я уже год назад прислал бы тебе это письмо. Скажи ей, что сочтешь нужным, как в твоей ситуации удобно, но лучше всего сказать, что я умер.

Прощаюсь с тобой безо всякого сожаления, но с радостью за твою свободу».

Подписи под письмом не было.

Лиза пришла около одиннадцати. Веселая, пахнувшая духами, вином, беззаботная. Бросила цветы на диван.

– Ой, Аська, я забыла про тебя, вспомнила нечаянно и сразу побежала. Да не отпускают же! Там один такой подполковник был! Вот, на своем! – достала из сумочки шоколадку.

– Спасибо, мне уже идти надо...

– Посиди, не поговорили совсем, ты есть хочешь? – она сбросила туфли, надела тапочки и, подхватив цветы, убежала на кухню.

Ася сложила письма в коробку и сунула под диван, посмотрела на часы. Дети уже спали, можно было не торопиться.

– Вот, – Лиза положила на стол свертки, хлеб и нож, – режь, колбаса из Кремлевского буфета! Еще сыр есть! Гуляем! – она снова вышла и вскоре вернулась с чайником. – Рассказывай про своего генерала!

Ася поморщилась и качнула головой.

– Да расскажи хорошо, он записку написал – и что? Давно, кстати?

– Почти два месяца...

– И что?

– Ничего, даю уроки, делаю вид, будто ничего не произошло. Я не могу уйти от них сама...

– А он, а он?

– В командировку уезжал, а недавно подает пальто и смотрит на меня. Знаешь... очень хорошо смотрит... ну... как будто правда влюбился. Я всю ночь спать не могла. У него красивые, умные и немного печальные глаза.

– Ты и правда дура!

– Почему?

– Жизнь проходит, Аська, тебе уже тридцать восемь... – Лиза замолчала, соображая что-то, потом потянулась через стол и взяла Асю за руку. – Надо быть реалистами, Гера вряд ли вернется. Пусть не этот генерал, но ты еще привлекательная, у ребят будет отец, у тебя мужчина, ты еще сможешь родить, вернешься в большую музыку.

– Лиза, ну что ты, ей-богу! У них отец есть!

– Я это знаю... бери колбасу!

– Не хочу! – Ася нахмурилась. – Когда Гера работал в Норильске, я должна была уехать к нему, но побоялась. Теперь они выросли... самостоятельные.

– Это мы уже слышали, и не один раз! – Лиза достала сигареты из сумочки, закурила и села на низкий подоконник. – Ну приедешь, и что? Будешь с ним в лагере жить?

– Он расконвоированный... увидит детей.

– Ты с детьми собралась?! С ума сошла?! – Лиза выдохнула дым в форточку. – Там же зэки кругом!

– Мне его санитар письмо прислал. Там вполне нормальная жизнь! Гера почти свободно ходит по городку, в кино, в театр... работает в больнице для вольных. Я хочу написать этому санитару, его Шура зовут, и все выспросить как следует, – Ася замолчала, обдумывая что-то. – Перед Новым годом Геру вызвали в Норильск!

– И что?

– Его снова могут использовать по специальности. Я все время жду от него письма. Тогда он сам может все устроить. В прошлый раз он хотел, он почти вызвал нас с Колей! – Ася встала от волнения. – Как я тогда ошиблась, что не поехала! Просто струсил! Дай мне сигарету.

– Ты точно чокнутая! Ты даже не знаешь, где он... – Лиза протянула иностранную пачку и дала прикурить.

– Поэтому я и думаю про Ермаково. Это недалеко от Норильска. Я устроюсь хоть машинисткой, там очень не хватает рабочей силы и высокие зарплаты. И снабжение отличное, я узнавала. Там все лучше, мы здесь перебиваемся с хлеба на воду. Почему же не поехать? Туда и самолеты летают!

– А Наталья Алексеевна?

Ася замерла, сморщившись, отдала дымящуюся сигарету и села, напряженно закусив губу. Головой качнула, соглашаясь.

– Ты, кстати, не займешь мне немного? Я еще те не отдала, я помню...

Лиза достала кошелек.

Эту зиму Николь прожила у стариков Михайловых. Ушла из барака, где в двух больших комнатах на сплошных нарах и за одним длинным столом жила молодежь трех бригад. И хотя там часто бывало весело, пели песни и устраивали танцы, она перебралась.

Тихий домик стариков стоял на заливе. У Николь был отдельный угол за печкой – узкий топчан, столик, шкафчик и даже свое окошко. В него каждое утро с другой стороны Енисейского залива показывалось солнце. Залив был безбрежный, такой же, как море в ее Бретани. Песок у воды, а иногда и цвет воды были те же. Она закрывала глаза и

слышала соленый, влажный запах моря и приглушенные звуки французской речи. И крики бретонских чаек, чайки тоже кричали одинаково.

Дед Михайлов был дряхлый, вставал только поесть, и между собой старики разговаривали мало, Николь помогала по хозяйству, пилила и колола дрова, приносила рыбу из бригады. Она много читала, а к весне начала мечтать о собственном радиоприемнике.

Получив письмо от Белова, лейтенант Габуня хотел сразу пойти и обрадовать Николь. Это было целое событие для их заметенного снегами поселка, и он чуть было не рассказал Герте, но удержался. Еще раз внимательно перечитал и немножко перестал понимать, чего хочет Белов. Письмо было сумбурным, в нем было много вопросов, на которые не было ответов, но были и просьбы, и Ваню стал соображать, как можно хорошо помочь дорогому Сан Санычу, которого искренне любил.

За ночь он ничего не придумал, а утром, собравшись к Николь, еще раз перечитал письмо и совсем запутался в чувствах, желаниях и неуверенности Белова. Так лейтенант и вошел в домик стариков. Снял пушистую песцовую ушанку, унты обмахнул веничком от снега, поздоровался громко. Николь в ее углу за печкой не было.

– Во дворе снег чистила, там, поди... – старуха, морщась от жара, ухватом вытягивала из печки чугунок. Привычный жирный запах налимьей ухи стоял на всю избу.

Лейтенант вышел из сеней, везде было расчищено, обогнул пристройку и увидел Николь. Ловко орудуя снежной лопатой, девушка откапывала дверь бани. Лицо покрасневшее, серый пуховый платок распустился и свисал с плеча. Николь была в ватных брюках, короткой фуфайке и валенках. Одежда на ней была хорошо простегана и аккуратно перешита под ее размер. Модница, – лейтенант не без удовольствия рассматривал ее хорошую фигуру. Солнце уже поднялось над Енисеем и заливало расчищенный от снега двор ярким светом.

– Девушка, вы что дэлаэте сэгодня вэчером?! – лейтенант специально коверкал язык, это была любимая шутка.

– Ой, Ваню, испугал! – Николь распрямылась, поправляя платок.

– Вы сэгодня вэчером сэбодны? – Ваню шел галантным кавалером, покачивая головой и бедрами под белым овечьим тулупом. – Разрешите, помогу вам снег доскрести!

– Ты ко мне? – улыбалась Николь.

Всякий внимательный человек сразу угадал бы в ней иностранку. Много советских языков было намешано в низовьях Енисея, но она от них отличалась. И глядела, и улыбалась иначе. Спокойно, с особенным, не броским, но ясным чувством собственного достоинства. И короткая прическа – никто не стригся в их краях под мальчика. После письма Сан Саныча Ваню рассматривал ее с новым интересом. И сейчас, как, впрочем, не раз до этого, чувствовал, что она ему тоже нравится. Она не могла не нравиться.

– Целовать меня будешь, когда узнаешь, зачем пришел! Ты Сан Саныча Белова помнишь?

Николь внимательнее посмотрела на лейтенанта.

– Он мне письмо прислал... – Ваню вел себя, как заговорщик, придумывал, как лучше сказать. – Ты помнишь его?!

– Помню, – спокойно ответила Николь, и Ваню еще больше смутился.

Он вдруг подумал, что она, может быть, совсем и не влюблена в Белова. Он пишет, что влюблен, а она – она стояла перед ним, такая прекрасная и еще освещенная утренним солнцем – не влюблена совсем! Такое же может быть!

– Слушай, он хороший человек!

Николь молчала, только чуть качнула головой и приподняла бровь.

– Такой мужчина! Такое мне письмо написал, я сам в него чуть не влюбился, ай-й!

– Ваня, пойдем в дом, у меня чай есть.

– Э-э, подожди, – Ваню не нравилось, что она не оценила послание Белова, – человек сердце свое большое прислал! А ты – чай! Он такое пишет! Ты что, не понимаешь?

– Так он же тебе письмо прислал...

– Как мне?! Все время про тебя пишет! Ты хочешь к нему?

Тут лицо девушки не выдержало. Николь смотрела удивленно и еще что-то было, чего Ваню не понимал.

– Прямо мне скажи, ты его... – он замялся, – у тебя к нему какие такие чувства есть? Он не знает, кстати!

– У меня к нему очень хорошие чувства, плохих нет, так ему и напиши! – рассмеялась Николь. – Чаю правда не хочешь?

– Подожди, как не поймешь? Он тебя к себе забрать хочет! – Ваню заметно волновался.

– Я не понимаю, Ваня...

– Будете вместе-рядом жить, работать у него на пароходе...

Николь растерянно молчала.

– О-о, ты какая, я же говорю, он письмо написал, что очень тебя любит, он еще не знает, но думает, что очень! Что?! – Ваню вытаращил глаза. – Он еще не знает, потому что честный человек!

– Но у него жена.

– Он с ней не хочет жить... он пока живет, я не понял почему... Я ему напишу письмо, он мне прямо ответит, я тебе все скажу. Ты же хотела уехать отсюда?!

– Ваня, ты что мне предлагаешь?

– Он же хороший человек, ты сама сказала, вот и езжай!

– Как же я поеду? Кто меня отпустит? – растерянно улыбалась Николь.

– Все сделаем, командировку придумаем! Согласна?!

– А где я там буду? И почему он написал тебе, а не мне?

– Он стесняется! Что не понятно? Настоящие мужчины, когда им женщина нравится, они всегда стесняются! Он мне написал, чтобы я тебе все сказал. Я все придумал, поеду в мае на совещание – заберу тебя с собой, передам ему. Всё! Дальше вы сами!

– Ваня, тебе спасибо, но... я же не чемодан! Я ссыльная, конечно...

– Слушай, все француженки такие глупые? – Ваню в негодовании вскинул руки. – Вот я, настоящий грузин, тебе настоящим русским языком говорю – Сан Саныч в тебя влюбился! Хочет с женой что-то сделать, я пока не знаю что, а потом... – Ваню опять выразительно выпучил глаза и развел растопыренные ладони, – потом уже с тобой! Может быть, он хочет жениться на тебе. Вот! Скорее всего! Если влюбился, значит должен жениться...

Ваню выдохнул и достал папиросы. Закурил. Николь о чем-то думала. Потом подняла взгляд на него, улыбнулась и, потянувшись, поцеловала в щеку.

– Ну вот, видишь! – обрадовался Ваню.

– Ваня, я тебе очень верю... но я плохо понимаю, что он от меня хочет.

Вано задумчиво выдохнул дым, лоб потер под пушистой ушанкой:
– Ладно, хорошо, давай поедем к нему, и ты сама обо всем его спросишь! Не захочешь, вернемся сюда, только не жалея потом!

Так этот разговор ничем у них не кончился. Ответа от Белова не было, как и вообще не было почты, Габуня весь апрель отсутствовал – ездил по соседним поселкам и в Сопкаргу, где повесился участковый милиционер.

Николь очень задумалась. Она помнила и часто вспоминала тот чудесный вечер, но, как и Белов, уже не очень ясно помнила лицо Сан Саныча. Ее волновала сама возможность уехать из этого «края мира», как говорил Габуня.

К Вано у нее было особое доверие, он был единственным, кто действительно пытался помочь ей, писал запросы по своему ведомству, помогал правильно составлять заявления. И даже, очень рискуя, как-то передал на французское судно письмо Николь к матери. И, что было совсем невероятно, получил ответ с другим судном. Написала соседка. Мать Николь погибла вместе с бабушкой в сорок четвертом во время американской бомбежки Сен-Мало. Больше у Николь никого не было, и хлопотать за нее было некому.

Конечно, Вано относился к ней не как к вещи, да и Белов совсем не был похож на обманщика. Она просто боялась уезжать. Тут у нее был свой угол, работа, подруги, здесь не было голода, и она уже привыкла – прожила больше шести лет. О свободе они с девчонками мечтали в сорок пятом, когда закончилась война, и, может, еще пару лет после, но прошло уже пять лет, и надежды иссякли. По поводу ссыльных прибалтов вышло постановление, что они закрепляются на местах ссылки на вечное поселение. Без права выезда. Николь, как и все, подписала эту бумагу, и у нее сняли отпечатки всех ее пальцев.

В первый рейс навигации 1950 года вышли из Игарки в Ермаково. Белов внимательно слушал паровую машину, недоверчиво приглядывался, как ведет себя судно на беспокойной мощи весенней реки. Егор стоял на штурвале и все время подрабатывал, перекладывал то направо, то налево. Тянули две баржонки с заключенными,

нетяжелые, но загруженные неправильно, они очень рыскали на сильном встречном течении. По реке еще пробрасывало лед, гидросамолеты не летали, и на борту «Полярного» были начальник Стройки-503 Баранов с двумя замами.

Сан Саныч спустился в машину. По случаю присутствия большого начальства все были на своих местах, Грач и сам форменный китель надел, и Померанцеву велел – в этом году его провели как полноценного первого помощника механика. Николай Михалыч улыбался Сан Санычу ртом с дырками вместо зубов и показывал большой палец – они зимой вместе меняли винт. Белов покивал и снова поднялся в рубку.

На Енисей опускался вечер, погода портилась – час назад туман превратился в мелкий ледяной дождь, а теперь к стеклу стали липнуть совсем не июньские снежинки. Сан Саныч глядел вперед на плавный поворот реки и черные тучи над ним, сам неприятно морщился – настроение у него было под стать погоде. Охранник Баранова в легкомысленной фуфаечке и летней фуражке с автоматом на плече заглянул в рубку и позвал к начальству. Они расположились в самой большой каюте.

Белов вошел, поздоровался.

– Поужинай с нами, капитан! – дружелюбно пригласил Баранов, кивнув на свободный стул.

Кроме Баранова, в каюте был майор Клигман и начальник политотдела Строительства-503 майор Штанько. На стол накрывал молоденький розовощекий лейтенант. Доставал из небольшого сундучка закуски, коньяк, серебряные рюмки. Выпили по первой. Баранов отправил в рот дольку лимона, весело поглядывал на Белова:

– Чего такой серьезный, капитан? Как настроение?

– Нормально, товарищ полковник, поработаем, – Белов чувствовал себя не в своей тарелке.

– Яков Семеныч говорит, вы по Турухану собираетесь целый караван поднять? А почему другие не могут? В чем сложность? – лицо у Баранова было умное, и спрашивал он не просто так.

– Большие суда по Турухану не поднимались, нужды не было. Мы впервые пойдем...

– Налейте, Яков Семеныч, – кивнул на пустые рюмки Баранов. – Так-так, интересно!

– Лоцию составим на сложные места, вешки дополнительные выставим... у меня осадка морская – два шестьдесят! Если с караваном пройду – любые буксиры можно будет использовать.

– Ну, удачи вам! – Баранов выпил, чуть сморщил нос и спросил: – Сколько вам лет, капитан?

Белов не успел выпить, опустил рюмку и, слегка покраснев, ответил:

– Двадцать два, товарищ полковник...

– Пейте-пейте! Видите, товарищ начальник политотдела, – Баранов бросил снисходительный взгляд в сторону Штанько, – какие кадры у нас растут! Вы ведь уже орденосец?

– Так точно, – Белов опять отстранился от рюмки.

– А вы не хотите, чтобы у них театр был! – полковник снова склонился на Штанько. – Где же им в такой глуши к культуре приобщаться? Мы ее и должны создавать! Вы, товарищ Белов, бывали в нашем театре в Игарке?

– Так точно! Мне очень нравится!

– Какие спектакли смотрели?

– Все видел. «Раскинулось море широко», «Вас вызывает Таймыр», «Московский характер»...

– Ну что, товарищ майор?

Штанько угрюмо жевал колбасу, поморщился небрежно:

– У меня и других дел хватает, товарищ полковник! В этом театре двести человек... и почти все заключенные. Они на сцену выходят, а что у них внутри?

– Вот переведут меня с этой стройки, и изничтожите вы их немедленно, – Баранов говорил спокойно, с прищуром глядя прямо в глаза Штанько, достал папиросу и стал неторопливо закуривать, – очень вы скверно к артистам настроены, а их признали лучшим театром во всем Красноярском крае! И дом культуры в Ермаково готов. Лучше, чем в Игарке!

– Дом культуры сдали, а охране жить негде! – Штанько покраснел. – В Игарке свой городской театр был, работали люди много лет! А потом прибыли эти... они, конечно, артисты центральных театров, а для меня они зэки! А те, что тут работали, – честные советские люди! Герои Крайнего Севера! И их, ради вашего арестантского театра, уволили! Очень неприлично получилось,

товарищ полковник! По мне, так там половину надо в шахты отправить! Прямо завтра!

– Вы мне это уже раза три говорили, а вот молодому капитану нравится! И в Ермаково, уверен, есть люди, которые вообще никогда театра не видели.

– Конечно, – радостно поддержал полковника Белов.

У Штанько морда стала совсем бурая. На Белова он не смотрел. Закусывал, громко хрустя квашеной капустой.

Тихо поздоровавшись, вошла Николь. Поставила стаканы, заварочный чайник, быстро развернувшись, достала из-за двери большой чайник.

– Осторожно, горячий! – предупредила, мило улыбнувшись. И вышла.

– Вот это официантка у тебя, капитан! – поразился полковник. – Где взял?

– Ссылная латышка, – неожиданно заинтересованно предположил Штанько.

– Не латышка... еврейка, – не согласился Баранов, – еврейки такие бывают, очень хорошенькие.

– Одна на тыщу! – скривился Штанько. – Лучше наших баб... по всему миру поискать!

Белов напрягся, краской пошел по щекам.

– Разрешите идти?! – голос выдавал Сан Саныча, Баранов это заметил.

– Не обижайтесь, капитан, мы по-доброму. Может, это ваша жена? Извините в таком случае! На красивых женщин всегда обращают внимание – у них доля такая! У меня жена тоже красавица!

В Ермаково пришли в два ночи, поставили баржи, училились и легли спать. Белов ворочался на своей узкой койке – сна не было ни в одном глазу. И такой уже была третья ночь. Никогда не было так тяжело и непонятно.

Он пытался навести порядок в душе, думал и думал, но только больше запутывался. Все сошлось – радостное, всегда волнующее начало навигации, Николь, которую Габуня привез за три дня до отхода. Пришлось на глазах экипажа увольнять уже принятую на работу матроску, ему было стыдно. Николь оказалась другой, чем он ее помнил, и он уже не знал, хорошо ли, что она у него на борту. Иногда

ему так беспокойно становилось от навала мыслей, что он с облегчением думал, как хорошо бы было, если бы на ее месте была любая другая матроска.

Но вечером, когда Баранов положил на нее глаз, Сан Саныч вдруг ощутил, что уже отвечает за нее. Как следует отвечает, как мужик, и что она это чувствует и надеется на его защиту.

Баранов был всесильным хозяином в этих краях, со своей авиацией и флотом, даже со своим театром, человеком, которому сам Сталин подавал руку. Сан Саныч вспоминал орденские планки на кителе Баранова – два ордена Ленина, два Красного Знамени, Красной Звезды, еще какие-то... Баранов спокойно мог забрать у него ссыльную матроску, но его Белов не боялся, в голове невольно возникало сухое лицо старшего лейтенанта Квасова, вместе с трусливыми душевными судорогами возникало. Именно оно и не давало заснуть.

Квасов вызвал Белова на следующий день после приезда Николь. К себе в кабинет, повесткой, которую солдат принес домой, и все это видела Зинаида.

– Ты что, поиграть со мной решил, фраерок?! – Квасов отодвинул бумаги.

Белов нахмурился, он трусил, когда шел, и ждал чего-то неприятного, но опешил от такого напора и все припасенные слова, что за ним не водится никаких преступлений и даже проступков, что Николь он принимает на работу, как и всех, на законных основаниях... все слова вылетели из головы, но вместе с тем и злость стала подниматься. Квасов это увидел.

– Не советую открывать рот! Не советую! – старлей решительно приподнялся над столом. – Сейчас вызову конвой и в наручники закую!

В голове Белова возник выдраенный и покрашенный «Полярный», на котором несколько дней уже были разведены пары. Отвел взгляд.

– Вот это правильно. Теперь поговорим! Я тебя предупреждал про развод?!

Белов чувствовал себя школьником, поднял голову:

– Я и не разводился...

– Это правильно... – старлей замер, что-то соображая. – А что же ты новую матроску взял? Думал потихоньку удрать?!

Белов понял, что информация у Квасова от Зины, и он ничего не знает про Николь, не знает, кто она и откуда, не видел документов, которые выправил Габуня.

– Матроска и матроска, товарищ старший лейтенант, – и Сан Саныч сделал такое лицо, как будто говорил о какой-то шалости: мол, баба, она и есть баба, чего о ней говорить, вон их сколько.

Квасов смотрел недоверчиво. Думал. Потом сел расслабленно, видно какая-то веселая мысль пришла ему в голову. Открыл тумбочку и достал бутылку:

– Ладно, Белов, иди в свое плаванье! – набулькал в стаканы. – Давай! Это хорошо, что ты не дурак! За Сталина!

Белов взял стакан, посмотрел в него и выпил, не особо понимая, что делает.

Следующую ночь он не спал, думал, что все это может значить. Потом еще одну. И вот теперь третью ночь лежал, уставившись в потолок. И чего только не сыпалось на него с этого потолка. Все было криво! Он вытащил ее из Дорофеевского, он отвечал за нее, а был очень мелким человеком. Пил с этой сволочью Квасовым... ухмылялся ему доверительно, про какую-то бабу, каких много. Сан Саныч ненавидел, ненавидел и ненавидел себя. Он был трусом, он не знал, что делать, а она была у него на борту.

В кочегарке загремели створками печей и стали забрасывать уголь, Сан Саныч посмотрел в иллюминатор, было светло, солнце уже не садилось и теперь золотило холодным и нежным утренним светом обрыв впереди «Полярного». На часах было около двух утра. Он оделся, посидел, с тоской оглядывая свою каюту. Подумал, что грош цена этому капитану Белову со всеми его орденами и заслугами. Грош цена! Грач с Фролычем храпели в своих каютах. Вышел, стараясь не греметь, наверх.

Было холодно, фальшборт, крашенная палуба, вся металлическая оснастка были покрыты мелким бисером росы и лужицами от вчерашнего дождя и снега. Небо было чистое, но солнце не грело еще. На берегу, на баржах, которые они вчера привели, начали пошевеливаться. На ближайшей негромко разговаривали часовые, они сидели возле обвисшей палатки на корме, две собаки мирно дремали у ног. Мелкие речные крачки беззвучно, без криков парили в воздухе. Мутная весенняя вода шумным водоворотом вспучивалась из-под

борта «Полярного». Все было по-утреннему тихо и мирно. Сан Саныч вдохнул холодного воздуха, уставился в розовато-серую дымку севера. Это была весна, новая его весна и новые надежды. В душе шевельнулось что-то хорошее. Тяжеловато жить, вздохнул Сан Саныч, а хорошо!

Он усмехнулся грустно, но уже и немножко весело. В конце концов он снова на своем «Полярном», втягивается в работу, и все по-прежнему. С камбуза раздавались стук ножей, громыхали посудой. Сан Саныч пошел в корму и увидел Николь. Девушка стояла у фальшборта, застыла взглядом на поднимающемся солнце, на большой реке с солнечными зайчиками. Сан Саныч замер, не хотел ей показываться – всего три дня назад он ее почти предал.

Он помялся, трусливо подсматривая за ней из-за рубки, замерз и стал спускаться к себе. На соседней барже зашумели, в тишине утра раздались резкие крики, топот ног, яростно заорали собаки, Сан Саныч вернулся наверх.

По палубе баржи метался заключенный. Немолодой, без шапки, в черной спецовке и черной распахнутой телогрейке, он бежал к корме, будто собирался прыгнуть в воду, но вдруг развернулся и, громыхая тяжелыми ботинками и не даваясь двум конвоирам, которые как будто и не очень старались его поймать, кинулся на нос, к трапу, спущенному на берег. У трапа стоял офицер и неторопливо доставал пистолет. Мужик увидел, затормозил, съежился, и, прикрывая голову руками, мимо офицера и мимо трапа прыгнул в воду. Там было неглубоко, он вскочил на ноги и, хромя и вопя от боли, бросился вдоль берега. Он был слабый, возможно и больной, падал, скользя по глине, бежал непонятно куда и непонятно зачем. Белов даже не испугался за него, конвой вел себя спокойно, было ясно, что мужик вот-вот упадет без сил и его не надо будет ловить.

На барже конвоиры с собаками подошли к офицеру, тот ржал, тыча пальцем в убежавшего доходягу. Собаки заходились в злобе и рвались с поводков. Белов вспомнил вдруг о Николь. Обернулся. Она стояла на корме, вцепившись в фальшборт.

По трапу сверху вниз, нервно и быстро перебирая ногами, спускалась овчарка. Спрыгнула на берег и рванула за нелепым беглецом.

– А-а-а-й! – раздался страшный женский визг.

Белов не понял, откуда он, овчарка как раз налетела на мужика и повалила на землю.

– А-а-а-й-яй! Помогите! Люди! Лю-у-ди-и-и! – Николь кричала и бежала вдоль борта.

К зэку стрелой подлетела вторая овчарка, и два обученных зверя яростно закрутились вокруг лежащего. Вгрызались, тянули, рвали.

– Ой! Ой! А-а-а! – негромко стонал мужик, закрывая голову.

– Да что же вы делаете?! Звери! Урки поганые! – орала от камбуза Нина Степановна, грозя в воздухе огромным ножом.

Николь добежала до трапа, но чего-то испугалась и осела, как и мужик, закрывая голову руками. Белов схватил ее в охапку, она отпихивалась с безумными глазами... Офицер стоял совсем недалеко, на носу баржи, и, улыбаясь, смотрел на Белова с Николь. Солдаты неторопливо шли к своим овчаркам. Лагерник уже не отмахивался и не кричал, сжался в комок. Штаны изорваны, ноги в крови, ботинок валялся в стороне. Один пес устал и отошел в сторону, другой все рвал беглеца. Наконец бойцы взяли их на поводки и отвели, разглядывая работу собак.

Николь трясло, Сан Саныч силой поднял ее, она оказалась легкой, и он, крепко обняв ее, повел в носовой кубрик. Оттуда уже выбирались разбуженные криками матрос Санька и Йонас... Нина Степановна помогла Белову спустить девушку по металлической лесенке.

– Ну иди, иди, Сан Саныч, я тут сама! – она пыталась уложить Николь на кровать, но та не ложилась, качала головой, будто не веря тому, что видела, и закрывала руками лицо.

Белов поднялся наверх. Вокруг изорванного уже собрались конвоиры и кто-то с соседних барж. Тряска Николь передалась Белову, он глядел на случившееся ее глазами, он видел ее бесстрашный порыв бежать на помощь и понимал, что она француженка! На помощь русскому мужику бежала слабая француженка! И ему становилось невозможно стыдно за свою родину и за всех русских.

Возле мужика все было спокойно. Он лежал в окружении таких же мужиков, над ними поднимался табачный дым. Сверху по ермаковскому взвозу спускались двое в белых халатах. На «Полярном» многие уже были на палубе. Грач негромко внушал молодежи:

– И не надо туда лезть, не наше дело, а вдруг он преступник?! Да с ножом! Чего он побег? Никто не знает! И не лезьте, ребята, конвойные

стрельнут – им за это ничего не будет!

Сан Саныч взял у Фролыча папиросу, после бессонной ночи и нервов голова сразу закружилась, он стоял, напряженно думая о чем-то, но вдруг отдал Фролычу дымящееся курево и решительно пошел к трапу. По дороге фуфайку сбросил. Спустился и неторопливо двинулся к истерзанному. Тот лежал на спине и тихо стонал, кто-то в белом халате обрабатывал раны. У заключенного были изорваны ноги и кисти рук, лицо серое, будто окаменело в боли и только синий рот открывался для стона-выдоха. Взгляд был ненормальный, ни на ком не останавливался, словно вокруг него совсем не было людей.

– Так, разошлись все! – раздался властный молодой голос.

К беглецу шел младший лейтенант, начальник конвоя, тот, что командовал стрелками и овчарками. Лицо вблизи оказалось очень обычным, не злым, как ожидал Белов. Светло-русый чуб, падающий на лоб, толстоватые щеки... Деревенский, судя по говору:

– Бегать не будет! Берите его!

– Если умрет, отвечать будете вы, гражданин лейтенант! Я составлю рапорт... – врач осторожно ощупывал окровавленную голову заключенного.

– Кого... отвечать! Мы его стрелять могли! – офицер снисходительно, но и чуть трусливо улыбнулся.

Врач не слушал офицера, сказал что-то санитару, и они стали перевязывать ноги беглеца. Белов увидел лицо врача. Это был тот фельдшер, с которым он сцепился в прошлом году.

– Я обязан забрать его в санчасть... – фельдшер спокойно крутил бинт. – Заключенного сильно изорвали, гражданин лейтенант. Это вы распорядились?

– Чего ты?! – недобро оскалился младший лейтенант. – Побег был! Собак пустили...

– Я не из особого отдела... – фельдшер распрямился и посмотрел в глаза начальника конвоя.

– Я все видел! – твердо заговорил Белов, поддерживая фельдшера. – Они специально его затравили! Я капитан буксира «Полярный», могу подтвердить! – Сан Саныч зло волновался, еле сдерживался, чтобы не сцепиться с лейтенантом.

– Ну вот, видите, гражданин лейтенант! Будет лучше, если он выживет...

В конце концов, после препирательств – младшему лейтенанту было бы выгоднее, если бы зэк окошел в трюме, где сидели еще полтысячи таких же, – искалеченного увезли на телеге в санчасть. Начали разгружать остальных.

Белов вернулся на судно, все уже занимались своими делами. В командирском кубрике завтракали, Сан Саныч не мог есть, выпил остывшего чая. Его тянуло сходить к Николь, но было неудобно и перед командой, и еще почему-то... Он страшно хотел спать, за все эти бессонные дни... уснул, не раздеваясь.

Проснулся после обеда, заглянул к кокше на камбуз:

– Как она, Нина Степановна?

– Съешь супу, Сан Саныч, не завтракал, не обедал! Спит она. Все о людях горевала... прямо как с ума спятила. Но ничего вроде... – Степановна взяла с полочки недокурную папиросу и вышла на палубу. – Намучаетесь вы с ней, Сан Саныч, помяните мое слово!

Белов молчал.

– Съешьте хоть рыбы... На подсолнечном масле жарила!

– Думаешь, не надо будить? Она тоже не ела.

– Как знаете, больно нежная, нашей сейчас водки полстакана, и спала бы до утра, а с этой – не знаю. Идите посмотрите...

Белов кивнул и двинулся к носовому кубрику.

– Там нет никого, я не велела... – обронила вслед Степановна.

Николь лежала тихо, без света. Не спала. Белов спустился осторожно, присматриваясь к негустой темноте, увидел устремленные на него глаза. Сел на кровать напротив.

– Куда он бежал? – спросила негромко.

Белов пожал плечами. В голове было пусто. Николь пристально, со множеством вопросов смотрела на него. Он это чувствовал, ответить было нечего.

– Он бежал к людям?! Его мог кто-нибудь спасти? – спросила Николь, сбросила с себя одеяло и села на кровати, прямо перед ним. Не стеснялась, платье задралось, колени торчали, с плеча сползло.

– Нет, – мотнул головой Белов, – его никто не мог спасти! Они все делали по инструкции.

– Они меня тоже убьют. – Николь обреченно смотрела мимо Сан Саныча в иллюминатор.

– Почему? – Белову хотелось взять ее за руку, ее руки были совсем рядом, но он не смел.

– Я тоже хочу убежать... хочу к людям, больше не могу уже, я должна убежать... – Николь смотрела твердо и чуть враждебно. – Ты зачем меня сюда затащил?

Белов молчал. Он ждал этого разговора, надеялся, как-нибудь при случае, попозже, когда все станет яснее, спокойно поговорить. Теперь же не знал, что ответить. Ему просто хотелось помочь ей. Как другу. Может быть, помочь бежать... Посадить на французский пароход... Сан Саныч посмотрел на Николь, и эта странная, не очень трезвая мысль оживила его взгляд. Он улыбнулся.

– Ты смеешься? – Николь приблизилась, удивленная.

– Я не знаю, но я не сделаю тебе плохо...

– Что ты не знаешь?

– Не знаю, зачем взял тебя на работу. Ей-богу, не знаю, но ты не бойся, здесь тебя не обидят.

– Я – ссыльная, ты не забыл? Я тоже живу по их инструкциям!

– Мы уйдем в рейс в красивые места, там безопасно, там совсем нет людей.

Замолчали. Николь снова забралась под одеяло и прислонилась к переборке. Думала о чем-то, обняв колени:

– Я просила тогда, летом, чтобы ты все забыл, а ты сделал по-другому... Мне просто хотелось убежать оттуда. Игарка – это город?

Белов кивнул.

– Ваню пришел в марте, у меня было много времени, я думала о тебе. Думала, ты капитан, свободный и сильный. Я жила в портовом городе и видела капитанов. Я придумала себе, что ты – моя свобода. Как глупо... скоро будет девять лет, как я сижу в этой клетке.

Она помолчала. Потом спросила спокойно, не глядя на него:

– Ты хочешь, чтобы я была твоя девка?

Сан Саныч застыл от неожиданности. Ему очень не нравился ее вопрос, но в нем была какая-то правда.

– Ты хочешь, чтобы я с тобой спала? Так?

– Нет. Не хочу! Точка! – Белов встал, решительно нагнулся ко входу, но вдруг повернулся. – Есть хочешь?

– Нет, не надо ничего, я хочу тебе все сказать... – она заговорила медленно, успокаивая себя растопыренными ладошками. – Я сюда

приехала из-за Ваню. Он хороший, у него есть Герта и дети, он их любит. Я поехала с ним, потому что хотела убежать и верила ему, а тебя я не знала. И сейчас не знаю. Я на этом судне, – она опять заволновалась и опять стала успокаивать себя, – матроска! Только матроска! Я мою полы, посуду, стираю, помогаю Степановне. Все! Я не хочу есть! – она встала перед ним. – Мне надо переодеться! Я пойду работать!

Белов поднялся уходить.

– А тот человек... с собаками, он насмерть?

Сан Саныч покачал головой и стал подниматься вверх.

На другой день он проспал. Проснулся, когда на буксире вовсю уже гремела жизнь.

– Колюшка, – слышался прямо над ухом голос Грача, – ты, дочка, палубу не тронь, палубу матросы пусть дрючат! Брось-ка, голуба, швабру, где это мужичье сопливое?!

– Да уже все, Иван Семеныч...

– Я все хотел полюбопытствовать у тебя, милушка, вы там... лягушк~~ов~~-то как кушаете? Прижариваете на сковородке или отвариваете, значит, с картошечкой?

Солнце светило в иллюминатор. Сан Саныч, улыбаясь, потянулся сладко и рывком сел в кровати. Завтра они уходили на серьезную работу.

32

До середины июля, всю высокую воду «Полярный» работал на Турухане. Три раза успели обернуться до Янова Стана, да груженые так, что все только головами качали. С паводком повезло – уровень держался почти месяц. Потом вода пошла на убыль, и Сан Саныч впервые с начала навигации дал всем три дня выходных. Команда отсыпалась, каждый вечер целой бригадой ходили на один и тот же фильм в новый Дом культуры Ермаково. Белов же со старпомом готовились подняться до Янова Стана по летней воде.

Начальник Енисейского пароходства Иван Макаров обещал лично проинспектировать работу на весеннем Турухане, но попал в Ермаково только двадцатого июля:

– Значит, по две тысячные туда таскал?! Ну, герой, Сан Саныч! – Макаров шутливо, а все же с некоторым недоверием глядел на Белова. – У Стройки премиальных столько нет! Один половину годового плана сделал!

– Да там несложно было, Иван Михалыч, первые сто пятьдесят километров как по заливу ходили, – принижал Белов свои заслуги, – теперь бы с одной баржей подняться.

– Нам бы еще один буксирчик сил на шестьсот да с осадкой метра полтора... а, Иван Михалыч? – у начальника управления водного транспорта, в этом разговоре были свои интересы.

– Как же ты там вертишься с двухтысячными? Узко же?! – Макаров сделал вид, что не услышал Кладько.

– Катерок небольшой для маневров приспособили, баржам хвосты затаскиваем... – пояснял Сан Саныч.

– Ну-ну, молодец. На малую воду я не должен был бы тебя отпускать – риск большой, но ты сейчас на ходу... и реку изучил... если получится, большое дело сделаешь! Когда уходишь?

– Да хоть сегодня, погрузку ждем... – Белов недовольно покосился на Кладько.

– Вода в три раза упала, Иван Михалыч, – Кладько кивнул на график, – две недели назад было семьсот двадцать кубов, сейчас – сто пятьдесят, и продолжает падать...

– И что предлагаете?

– Да все то же – у нас «Полярный» самый мощный буксир, – нельзя ему там работать сейчас, у него осадка два с половиной метра! Дайте другой буксир!

– Николай Николаич, ты же капитан дальнего плавания...

– Бывший... – спокойно уточнил Кладько.

– А по три раза одно и то же говоришь! Ну где я тебе его, из коленки выломлю? Норильск требует! Вы требуете! А у меня еще целый Красноярский край! Ничего, Белов капитан аккуратный, не подумав – не полезет! Так же, Сан Саныч? – Иван Михайлович задумался, поднял бровь. – Дело-то, конечно, непростое будет, тут ты прав... но попробовать надо!

– Мы зимой по малой воде делали замеры. Вот, смотрите, все глубины до Янова Стана... – Кладько разложил листы карты,

пристраивая их друг к другу. – Один заключенный делал, бывший геодезист...

– Да, умно придумано, – одобрил Макаров, отрываясь от карты. – Так и возьмите этого геодезиста с собой, пусть все на лоцманские карты перенесет!

Кладько согласно кивнул и записал что-то в блокнот. Макаров подошел к окну, прищурился на Енисей и, хитро улыбаясь, повернулся к Белову:

– На Подкаменной Тунгуске через Большой порог прошли!

Белов замер, пораженный. Это была мечта енисейских речников. Его Турухан в сравнении с бурной весенней Тунгуской был ручейком.

– Вот так! Теперь до Байкита будем подниматься! А ты тут давай, если пройдешь, сделаешь Турухан судоходным, навсегда его за тобой запишем! Но смотри, капитан! Рискуй разумно!

Солнце жарило. «Полярный» ходко тянул за собой две баржи – длинную и широкую, тяжело груженую стройматериалами и совсем маленький паузок, в котором груза почти не было, только небольшая партия заключенных. Паузок и заключенных Белов взял на случай, если вдруг засадят на мель основную баржу и придется ее разгружать.

Вода сошла, открывая настоящие размеры Турухана. Две недели назад берегов тут не было, только затопленные ивняки, через которые шла мутная весенняя река. Теперь же упавшая вода показала травянистые склоны, и глазу стало приятнее, но на душе беспокойней.

Сан Саныч стоял на баке и смотрел по берегам, а сам припоминал сложные места впереди и прикидывал, как они будут выглядеть теперь по малой воде. Они хорошо заработали за июнь, получили благодарность от руководства Строительством-503, и Белову казалось, что и это дело он осилит. Боевым разведчиком себя чувствовал, холодок волнения катился по спине куда-то до самых пяток.

Была и еще одна мысль, которую было приятно думать. За этот месяц Николь успокоилась, ее все полюбили, и она порхала цветочком в своем голубеньком платъице по буксиру, то с ведром воды, то со шваброй. Тонкими и сильными руками развешивала белье в носовой части. Туда не доставала копоть из трубы, но закрывался обзор рулевому... Ни один рулевой ей слова не сказал.

Девушка была такая открытая, улыбчивая и работающая, что и среди матросов, и в командирском кубрике не раз обсуждался этот вопрос. Все считали, что если француженка, то должна быть дамочка не рабочая, а только нежная, как в кино, должна все время глазки строить и пить кофе. Николь была другой, и всем, а Сан Санычу особенно, было это приятно и удивительно.

Отношения выправились, она и с капитаном была приветлива и шутила весело, как будто забыла уже, что он «выписал» ее на свой пароход, «как чемодан». Сан Саныч видел, что ей тут лучше, чем в колхозе, и ему тепло делалось на душе, а сердце само собой начинало вдруг колотиться. Напрягало только всякое-разное мужичье с других пароходов. Разевали «варежку» на матроску с «Полярного», а некоторые еще и шутили, как безмозглые ослы... Все это ужасно злило Сан Саныча. В последний рейс, кроме грузов, они везли этап зэков, и какой-то жирный лейтенант конвойных войск позволил себе игривые жеребьячи слова. Их едва разняли...

Но вообще все было хорошо.

А еще в этот рейс шел вместе с Сан Санычем тот самый фельдшер. При ближнем общении, а они в Ермаково долго разговаривали о характере Турухана и о тундровых реках вообще, Горчаков оказался очень знающим и толковым мужиком. Белов внимательно к нему присматривался и ясно чувствовал, что хочет быть на него похож. Горчаков, при всем его спокойствии и замкнутости, казался ему труднодостижимым идеалом. Он был единственным на пароходе, к кому Сан Саныч ревновал Николь, хотя они, кажется, не сказали друг другу ни слова.

Из душа выскочил Егор. В синих семейных трусах. Растирал полотенцем мускулистое тело. Он и вытянулся, и стал еще крепче, басок прорезался, даже покуривать начал для солидности:

– Холодненькой сполоснулся, – доложил радостно Белову. – Может, вечером тормознемся искупаться, Сан Саныч? Жарища такая! Да неводок затынем?

– Вам комары дадут неводок! – усмехнулся добродушно Сан Саныч.

– Костер разведем, чего же теперь – не рыбачить? Три рейса уже без рыбалки, Иван Семеныч обижается, говорит, вы все деньги Стройки-503 решили заработать. Ему, говорит, столько не надо!

– Посмотрим. Иди подмени старпома да позови ко мне Грача и Горчакова. – Белов двинулся в сторону кубрика.

– Сан Саныч, а на охоту пойдете? – спросил Егор, натягивая штаны.

– На какую? – не понял Белов.

– Так оленя же положили на приваду! Как раз он скоро... Меня возьмите!

Сан Саныч не ответил, кивнул неопределенно и стал спускаться в кубрик.

Вскоре собрались все. Фролыч втиснулся в свой угол, Грач на стуле, Горчаков примостился на краю койки. Белов разложил на столе карту Турухана.

– Сложных участков будет восемь, может десять. Из них три – очень сложные. В этом повороте, помните? – Белов ткнул в крутой изгиб реки. – Здесь баржа не впишется... на косу выползет. – Он достал из стола несколько рисунков.

– Чего раньше времени гоношиться, Сан Саныч, дойдем, будем думать... – Грач вынул кисет с табаком. Горчаков вскрыл ему большой фурункул, и щека Грача была смешно заклеена пластырем.

– Смотри, вот тянем, – продолжал Сан Саныч, не обращая внимания на механика, – вот наш трос идет, можно на этот кнехт перекинуть, и тогда ее сюда уведет, так?

– Ну, – согласно кивнул Фролыч.

– Мы стоп-машина, трос дает слабую, мы его снова сюда перекидываем, и баржа выпрямляется по фарватеру, вытягиваем ее...

– Ну понял, кормой только берег зацепим, надо цепей сзади побольше бросить.

– Сан Саныч, разъясни старику... не пойму я, если буксир пройдет, то чего же баржа за ним не пройдет? Вот так-то она пойдет, пойдет и придет! В одном фарвартере они! – Грач чиркнул спичкой и почти торжественно запалил конец самокрутки.

Фролыч улыбнулся на «фарвартер» Грача и пояснил спокойно:

– У нас длина двадцать четыре метра, Иван Семенович, а баржа почти сто.

– Так две или три маленькие надо было брать! Я вам что говорил! – Грач поморщился и потрогал прооперированную щеку.

– Вы не помните этот поворот, Георгий Николаевич? – Белов повернулся к Горчакову.

– Хорошо помню, мы там рыбачили... там везде глубоко. Сейчас на полметра вода выше, чем в феврале...

Они еще долго обсуждали, в каком месте, что и как делать, рисовали и спорили, табачный дым, гуще, чем из трубы, валил из открытого иллюминатора. Ходили, смотрели точки крепления. Дело шло к вечеру, буксир тянул и тянул, тихо пыхтя паровой машиной. Солнце садилось. По реке то прямо, то наискосок потянулись длинные тени елок и кедров. Природа, будто извиняясь за целый день неразумной жары, оживала, птички залетали над рекой, рыба заплескалась. На песчаных отмелях вода уже казалась совсем прозрачной. Всем хотелось искупаться, но никто не решался прервать горячие разговоры начальства. В каюту спустилась Степановна:

– Я прошу прощения, Сан Саныч, мы ужинать сейчас будем или уж когда искупаемся? Егор говорит, опять пляж хороший впереди.

Белов глянул на нее, но закончил фразу:

– Тут нам тяги большой не надо, Семенович, тут думать будем крепко! Все! Пойдем купаться!

Отдали якорь. Спустили шлюпку. Весь правый берег был широким песчаным пляжем, подсохшим уже после недавнего паводка и приятным для босых ног. Могучий Фролыч, Егор с Климовым и матрос Сашка плавали, ныряли и радовались на всю неширокую в этом месте реку. Повелас и Йонас ловко попрыгали с кормы и встали неторопливо против течения, приближались к берегу, смеялись и громко разговаривали по-литовски. Померанцев, засучив штаны до колен, ходил по мелководью, сосредоточенно отмахиваясь от комаров ольховой веткой. Тоже улыбался чему-то. Женщины ушли от мужчин выше по течению. Купальников не было ни у той ни у другой, повариха была в обычных трусах и лифчике, Николь же навертела на себя цветастую тряпочку, и ее нижнего белья не было видно. Напротив буксира на стволе наполовину замытого в песок дерева сидел Грач. Посматривал вокруг, закуску стерег, захваченную Степановной.

Белов рад был, почти вся его прошлогодняя команда сохранилась. Зашел в воду, она была еще довольно холодная, он удивился на народ, который плескался как ни в чем не бывало, нырнул и поплыл быстрым кролем. Он хорошо плавал и знал это, ему хотелось, чтобы его сейчас

увидели, особенно с женской стороны. Доплыл до борта «Полярного», отпихнулся от него и увидел Горчакова. Он стоял одетый. Оперся на фальшборт и улыбался.

– А вы что не купаетесь, Георгий Николаевич?

– Ничего, Сан Саныч, успею еще...

Потом все отжимались по кустам, отбиваясь от комаров. Перебравшись на буксир, сели ужинать за большим столом на палубе. Солнце ушло за вершины деревьев, и комаров добавилось. Дымокуры с трухляком и корой дымили в старых ведрах.

– Сколько же их здесь, у меня каши не видно! Кыш, ребята, это мне на одного наложили! – балагурил Грач с комарами. – Да какие же вы полосатые! Либо черти, либо матросы! А?!

– Жуй лучше, Семеныч! – улыбалась Степановна. – Комары-то небось жирные!

– Да я не за себя, я за Колюшку нашу душой извелся! Гля-кось, каки звери! Они, если сговорятся, утащ-щат ее... а, Степановна?!

– Ты что ее Колькой зовешь? – возмутилась кокша. – Она, чай, тебе не парнишка!

Грач на секунду задумался, сунул кашу в рот:

– Грубоватая ты женщина, Степановна, обхождения иностранного не знаешь! Я, как лучше, придумал! Чтобы и по-ихнему было, и по-нашему! А?! – Грач весело покосился, ища поддержки.

Поддержки не было, все улыбались снисходительно.

– Называйте, называйте, Иван Семеныч, мне нравится! – засмеялась Николь и встала собирать посуду. Прижалась между делом к плечу старика.

Белов доел и кивнул Егору сниматься. Он торопился добраться до притока, на котором была устроена привада. Темнело после двенадцати, часа на полтора-два. Сан Саныч хотел пригласить на охоту Горчакова, а потом посидеть вдвоем у костра. Надо было расспросить про Мишку. Почему-то Сан Санычу казалось, что Горчаков, с его опытом, может что-то знать. Начальник пароходства в последнюю встречу ничего о Мишке не сказал.

Позвал Горчакова к себе в каюту:

– Закуривайте, Георгий Николаевич.

– Спасибо, у меня курева нет, я из штрафного изолятора к вам...

– Гарманжой пользоваться умеете?

- Умею, но...
- Берите спокойно, я вам за этот рейс заплачу, так что пользуйтесь...
- А как вы мне заплатите? – Горчаков смотрел с недоверием.
- Закрою на кого-нибудь вашу работу...
- Хорошо бы, если так. Разрешите, я сейчас схожу за куревом?
- Сходите... да, идемте на палубу.

Горчаков закурил, блаженствуя. Они присели на корме. На дальней баржонке как раз вываливали за борт парашу. Емкость была немаленькая, у мужиков что-то не ладилось, орали друг на друга, руками махали.

- На охоту не хотите сходить?
- На охоту? – удивился Горчаков.
- Ну. Мы в последнем рейсе нашли утонувшего оленя, Климов с Егором его на приваду пристроили. Должен медведь ходить...
- Спасибо, Сан Саныч, я с удовольствием... года два уже ружья в руках не держал.
- Где же вы охотились? – теперь удивился Белов.
- Геодезистом работал на «пятьсот первой».
- Вам, что же, оружие выдавали?
- Нет, конечно, так же вот...
- И медведя стреляли?
- Стрелял... но это давно было.

Причалили, вытянули шлюпку и пошли вдоль берега. Впереди за поворотом реки впадал небольшой приток, к которому они и направлялись.

Тихо струился Турухан, плавилась мелочь по гладкой поверхности, иногда эту гладь взрывала большая рыба и хищные круги расходились и уплывали по течению. Солнце село, было еще вполне светло, но лес уже погружался в серую вечернюю дымку. Белов шел впереди с вещмешком за плечами и карабином в руках, за ним Горчаков с двустволкой. Вскоре показался приток, Белов остановился:

- Рановато идем, давайте покурим да от комаров намажемся, – зашептал, доставая пузырек с мазью.

Присели на теплую землю. Самостоятельно Сан Саныч медведя еще никогда не стрелял. При нем не раз добывали переплывающих

Енисей, это была не охота, а заготовка мяса. Стреляли с борта из нескольких ружей, но и тогда было страшно – это были настоящие звери, некоторые кидались на борт и умирали не с первого выстрела. Сан Саныч помнил, как у опытных стрелков руки тряслись. Сам он видел, конечно, медведей в тундре, и это тоже бывало не очень приятно. Сан Саныч мазался мазью и чувствовал смятение в душе – одно дело наблюдать за зверем издали, другое – скрадывать! На Горчакова не смотрел, чтобы тот не увидел его страхов.

Горчаков курил и тоже волновался. Давно с ним этого не было. Опасности, которыми был переполнен лагерь, не вызывали в нем ни особенного страха, ни живых эмоций вообще. Он избегал этих опасностей, это было понятно, но не более того, а тут, в вечеряющей тайге, он вдруг с душевным трепетом ощутил забытые чувства. Как будто сама человеческая жизнь получала свою обычную цену и возвращалась к нему таким необычным путем. Ему было страшно за эту жизнь. И отчего-то весело.

Сегодня рано утром его поразила Николь, она мыла что-то на камбузе и пела по-французски. Горчаков застыл, он боялся повернуться и посмотреть, чтобы не спугнуть певунью. Она оборвала песню, выплеснула за борт грязную воду, увидела его, глянула весело и ушла. Еще секунда и Горчаков заговорил бы с ней. Когда она исчезла, он постоял, успокоился и даже похвалил себя, что не заговорил. Но потом весь день при виде Николь его голова легкомысленно производила чудом сохранившиеся в памяти французские фразы. И это странное, волнуящее желание заговорить с красивой женщиной на языке, которого вокруг никто бы не понял, что-то основательно разбередило внутри. А вечером Белов, как вольного, поставил на гарманжу и предложил пойти на охоту. Это было слишком для одного дня жизни заключенного.

– Пойдемте... пойдемте, Георгий Николаич, – Белов осторожно трогал его за плечо, – пора.

Они еще прошли берегом, потом Белов стал осторожно подниматься от воды вверх, и через некоторое время они вошли в тайгу. Тут было темновато и не очень удобно, звериная стежка то возникала, то исчезала в старом буреломе. Кусты цеплялись и громко шелестели по одежде. Они шли слишком шумно, Сан Саныч, видимо, это тоже понял и снова выбрался на открытый берег.

– Олень должен быть на другой стороне ручья, у вас ружье, стреляйте первым, если что... я добавлю... – зашептал в ухо Горчакову. Георгий Николаевич видел, как он волнуется.

Опять двинулись. Тайга затихала, сумерки становились гуще, в кустах рядом с тропой запищали-заверещали птенцы в гнезде и тут же смолкли, Белов вздрогнул, прислушался, обернулся на Горчакова. Ветки временами похрустывали под ногами. Остановились метрах в тридцати от шумевшего впереди притока. Слушали внимательно. Горчаков впервые шел на опасную охоту с незнакомым человеком. Сан Саныч был симпатичный, но слишком быстрый в решениях и не выглядел опытным охотником. Лучше было бы идти одному.

Берега ручья заросли кустарником и были завалены упавшими деревьями. Вода едва текла в тихой бочажине с водяными лопухами. Горчаков присматривался, где тут могли положить приваду. Место было удобное для хозяина здешних мест, но неловкое для стрельбы – медведь мог неожиданно объявиться среди темных пятен кустов и выворотней. Для двух ружей это было не очень опасно, медведь, в конце концов, боялся не меньше, но неприятно.

Белов не знал, где привада, Климов сказал, что примотал оленя проволокой к дереву, лежащему в ручье. Ничего такого не было видно, он осторожно присел на колени, обернулся на Горчакова и пожал плечами. Помочь могла только случайность. Если привада лежит за поворотом ручья или, наоборот, ниже, у Турухана, они ничего бы не увидели. И Белов, как это часто бывает на охоте, стал быстро остывать от чувства опасности. Успокаиваться, понимая, что можно и не увидеть зверя. Даже заговорил про себя с Горчаковым, заранее извиняясь, что так по-дурацки все вышло.

Медведь возник легким лесным шумом наверху склона, ветка под ним треснула, что-то зашелестело. Он встал на задние лапы, огляделся и тут же деловито заспешил к ручью. Исчезал и возникал в кустах. Внизу еще раз высунулся из высоких водяных лопухов и замер, слушая ручей и тайгу. Медведь был средних размером, светлый в темноте. Рыжий, понял Горчаков.

Мишка вошел в ручей и стал по-хозяйски разгребать таежный мусор и ветки у ствола дерева. Только тут Горчаков увидел большие рога северного оленя. Медведь был метрах в двадцати, послышалось громкое сопенье, потом чавканье. Время от времени зверь вставал на

задние лапы, быстро озирался и снова опускался есть. Если не знать, что это медведь, топтыгин очень сошел бы за мужика в ватных штанах и телогрейке. Он напоминал Горчакову Шуру Белозерцева, когда тот химичил что-то запретное. Трусливо озираясь, уплетал мишка свою пайку.

Сан Саныч поднял карабин к плечу и чуть обернулся, показывая Горчакову, что тот может стрелять. Георгий Николаевич замер, разглядывая косолапого, потом склонился под чавканье к самому уху Белова:

– Стреляйте вы, Сан Саныч!

Белов обернулся удивленно, взгляд от волнения был чуть шальной.

– А вы? – спросил глазами.

– Нет, – помотал головой Горчаков.

Сан Саныч глянул на медведя, потом на Горчакова и пожал плечами. Горчаков снова едва заметно качал головой. Глаза Сан Саныча были полны сомнения, он медленно опустил карабин. Они смотрели друг на друга. Медведь вдруг перестал чавкать, на фоне отблескивающей воды снова возник его серый силуэт, он стоял, слушая и принюхиваясь. Потом гроыхнул камнями в ручье и быстро полез вверх, откуда пришел. Сан Саныч обернулся на Горчакова, но тот приложил палец к губам, слушая тишину. Турухан внизу выглядел как темный провал в ночи, только тихие всплески было слышно. Горчаков слушал во все стороны. Сова ухнула где-то далеко. И тут же на склоне выше охотников то ли фыркнул, то ли тихо рявкнул медведь, и по тайге затрещало. Они быстро развернулись, шум удалялся, затихая. Оглядываясь, спустились на берег Турухана. Здесь было тихо, осторожно текла ночная вода. Белов, слегка досадуя, заговорил в полный голос:

– Что же не стреляли?

– Простите меня, Сан Саныч, нашло что-то... не знаю, такой этот медведик... прямо как мужичок за колючкой.

– Почему за колючкой? – не понял Белов.

– Да бог его знает... Уже можно закурить?

– Ну конечно... – Белов был расстроен. – И я тоже не успел! Так удобно было стрелять!

Горчаков дунул в гильзу папиросы, смял ее и зажег спичку.

– Спасибо вам, Сан Саныч, что позвали... как в молодости побывал!

Сан Саныч с недоверием смотрел, сел рядом, вздохнул, сбрасывая волнение, усмехнулся.

– И правда чудной... молодой, наверное. Ну ладно, давайте скажем, что не приходил, не поверят, что не стреляли... Чайку попьем? – Сан Саныч будто согласился с настроением Горчакова, сел на бревно и стал снимать вещмешок.

В вещмешке лежали котелок, хлеб, кусок соленого осетра и разведенный спирт. Сан Саныч отнес фляжку в воду, черпанул воды на лицо, он здорово поволновался, ни разу не видел медведя вот так вот... да еще ночью. Подумал, нарезаю хлеб, если бы были с Егором, наверняка стреляли бы, и ему стало еще страшнее. Горчаков спускался берегом ручья с охапкой сушняка.

– Спирту выпьем? – голос Сан Саныча все еще выдавал волнение.

– Спасибо, – кивнул Горчаков. – Я не знаю зэка, который отказался бы выпить! – он зажег бересту и сунул под дрова.

Он все делал аккуратно, осторожно поправлял разгорающиеся сучки. Огонь поднимался, становилось светлее. Горчаков чуть улыбался, глядя на языки пламени, думал о чем-то или вспоминал, рука достала папиросы, но так и застыла, не мешая хозяину думать. Сан Саныч видел, что Горчакову хорошо, и он не стал бы его трогать, но именно сейчас захотелось извиниться. В тишине тайги и огня, после опасности, пережитой плечом к плечу.

Горчаков очнулся от мыслей, зачерпнул котелок и пристроил на горящие сучки.

– Я хотел попросить у вас извинения, Георгий Николаевич! – сказал Белов негромко, но твердо.

– Ну что вы, Сан Саныч! Это я виноват, старый уже для охоты...

– Нет, это про другое. Я за прошлогодний случай! Вы помните, конечно. Я был тогда неправ... пьяный был. В общем, извините, Георгий Николаевич, если я вас тогда обидел своими словами, – Сан Саныч говорил, а сам видел, как лезет на этого хорошего человека. Становилось так стыдно, что слов уже не было.

– Да бог с вами, Сан Саныч, я и не запомнил... не стоит об этом.

– Нет, я должен сказать, для меня это важно, я много думал над тем своим поведением...

– Сан Саныч, я вас прошу, – Горчаков прижал руку к груди, – вы же славный человек, я это вижу... я давно сижу, привык ко всякому. Ей-богу, люди зэков либо жалеют, либо боятся...

– Я не боялся!

– Да-да... ваши чувства были сложнее... – спохватился Горчаков.

– Да, они были трудные, я потом много думал... мне непросто сейчас извиняться... Даже... – Белов замялся. – Ну, в общем, это все непросто, но тогда я вел себя погано! Я это должен был сказать. Это не касается моего отношения к Сталину.

Оба молчали, глядя в огонь.

– Тут вы правы, Сан Саныч, я не смогу разделить ваших чувств. Не обижайтесь, у меня за плечами моя жизнь, – Горчаков отмахнулся от гудящих комаров. – Я, кстати, видел его близко. Сталин вручал мне премию ВСНХ за норильские месторождения, это было в двадцать девятом году. Тогда он был просто одним из руководителей государства... можно сказать, одним из нас, в те годы мы еще верили в равенство и братство, рвались строить страну. Я его хорошо запомнил – маленький, меня прямо поразило, какой маленький, и маленькие же, черные... недоверчивые глазки. И еще рябой, очень рябой... Ничего, что я это рассказываю? Если вам неприятно, я не буду.

– Вы говорите, что рвались строить... – Сан Саныч не закончил фразу и напряженно замолчал.

– Ну да, мы горели, мне кажется, намного ярче, чем вы сейчас. Нам ничего не надо было, только работать, строить... это был единый, главный порыв. Были, конечно, и такие, кто понимал, что происходит, но в моей, например, семье считалось, что все это неизбежные перекосы. После таких масштабных изменений жизни иначе и быть не могло и скоро пройдет.

– Значит, вы шли за Лениным. Конечно, Ленин важнее для революции, я думал об этом, но... я вырос при Сталине, мы всю войну провели с его именем! Он для меня победитель, и то, что он наш вождь, это справедливо! Это не может быть по-другому!

Горчаков молчал нахмурившись. Потом поднял глаза на Белова:

– Я сидел в тюрьме со старыми партийцами. Это были чудесные, по-настоящему замечательные люди. Они работали и с Лениным, и со Сталиным. Хорошо знали их лично... – Горчаков напряженно

замолчал. Теперь в его лице появилось тяжелое упрямство. – Сан Саныч, боюсь мы не поймем друг друга.

– А за что вас посадили?

– Вы хотите знать приговор суда?

Сан Саныч молчал, не понимая.

– На суде меня назвали членом фашистской террористической организации и обвинили во вредительской деятельности по сокрытию месторождений полезных ископаемых, – Горчаков внимательно смотрел на Сан Саныча. – Все обвинение держалось на показаниях одного человека, мы с ним даже не были знакомы. Он оговорил многих, на очной ставке ни говорить, ни стоять не мог, только кивал, его всего трясло – страшное было зрелище. Собственно, суда и не было. Несколько непонятных людей за час решили судьбу шестнадцати человек. Суд надо мной занял меньше десяти минут. Я им был не интересен, будь их воля, они не задали бы мне ни одного вопроса, а решили бы все за две минуты – сколько нужно времени, чтобы поставить подписи на нескольких бумажках?! Мне дали десять лет, а девять человек из шестнадцати были расстреляны. Эти непонятные люди за десять минут решили, что их надо расстрелять! – Горчаков замолчал, глядя в огонь. – Расстрелянные ничем не отличались от приговоренных к срокам, я не знаю, почему убили именно их... по алфавиту? Или по лицам, просто их лица не понравились и их убили.

– У меня товарища год назад арестовали. Я ходил к нашему особисту, он ничего не сказал, вообще не стал разговаривать. Что все это может значить?

Горчаков неторопливо покуривал.

– Год следствия – это похоже на «пятьдесят восьмую»... Вы уверены, что он еще не осужден?

– Не знаю, от него нет вестей. А у вас следствие долго шло?

– Пять месяцев. Здесь нет никаких закономерностей, некоторых быстро пропускали, а бывало и по два года сидели. Надо искать знакомых в органах. Иногда это помогает, но можно и нарваться.

– А выпустить могут? Просто выпустить?

– После года вряд ли... хотя и так бывало.

Сан Саныч надолго замолчал, Горчаков подбросил еще дров. Короткая ночь кончалась, едва заметно забрезжил рассвет.

– Что мне его отцу сказать? Он бакенщик, тут недалеко. Трое детей маленьких...

Горчаков смотрел непроницаемо, ничего не было во взгляде.

– Меня это больше всего бесит! – Сан Саныч сломал сучок в руках. – Если виноват – скажите в чем! Пусть все знают! Почему ничего не говорят? Что за тайна?

– Давненько я не обсуждал работу органов.

– Да? – удивился Белов. – А у вас об этом не говорят?

– В лагере – нет. В тюрьме дела друг друга разбирают. Там люди еще верят в справедливость. А в лагере все такие же, как и ты, все всё уже поняли.

Сан Саныч его не слушал, думал о чем-то напряженно, повернулся:

– Если ты не виноват и говоришь следователю правду... ее же можно проверить?!

Горчаков с удивлением, а скорее с сожалением смотрел на Сан Саныча.

– Я боюсь, не смогу этого объяснить, – он поскреб щетину. – Там нет никакой справедливости и никого не интересует правда.

– Но почему вы так говорите? – нахмурился Белов. – Так не может быть, зачем же следствие?

– Послушайте, Сан Саныч, меня обвинили, что я фашист и скрыл месторождения. Ну какая в этом может быть правда? Когда я попытался настаивать, что я открыл, а не скрыл и что у меня за эти месторождения премия ВСНХ, я лишился пары зубов!

Замолчали. Каждый думал о своем. Огонь тихими рыжими лохмотьями улетал в темное небо. Река незаметно, почти бесшумно уплывала и уплывала в темноту.

– Я не знаю, как помочь вашему другу, у людей, которые им занимаются, нет правил. Они мордуют тебя любыми способами, пока ты все не подпишешь!

Сан Саныч его не слышал. Поднял упрямо голову:

– Я пойду и потребую, встану на общем партийном собрании и при всех потребую честного разбирательства!

Горчаков все смотрел в огонь, только мелко, как будто несогласно качал головой.

– Если вы встанете на общем собрании, вас посадят.

– Давайте выпьем, – Сан Саныч решительно достал фляжку из воды.

– Давайте... Я знал одного енисейского капитана. Он сильно постарше был, но вы с ним похожи чем-то. Мы работали санитарями на Красноярской пересылке...

– Санитарями? – удивился Сан Саныч, наливая в кружки. – Как его звали?

– Николай Александрович Саламатин.

– Да, я знаю, он из старых капитанов, заслуженный, а что с ним случилось?

– Он погиб очень нелепо, новичок был в лагере. Он, кстати, уже на этапе, на пересылке был, а приговора своего не знал. Его зарезали урки, хотели снять форменный китель, а он не дал.

– И вы не заступились?

– Меня не было рядом... но... не знаю, заступился ли бы. Может быть, надо было отдать...

– А что, надо все им отдавать?! – Белов смотрел напряженно, забыв о выпивке.

– По обстановке, в лагере нельзя быть наивным. Саламатин не верил, что его посадят, надеялся на письмо, которое написал в Комитет партийного контроля. По-настоящему честный и светлый был человек.

Выпили, закусывали, Сан Саныч тут же налил еще по полкружки. Было два часа ночи, и все уже хорошо стало видно. И сонную реку, и крутоватый, глинистый противоположный берег со сползшим после половодья куском обрыва с зеленой травой. Горчаков приложил вдруг палец к губам и показал глазами за спину Белову, Сан Саныч осторожно повернулся – к ним вдоль кромки воды шла здоровенная черная мамаша с тремя маленькими медвежатами. Рядом с ней они казались игрушечными, то совались в воду, то исчезали в траве, наскакивали друг на друга... Сан Саныч поставил кружку и взял в руки карабин. Медведица увидела или услышала его движения, привстала, задирая чуткий нос, и тут же бросилась тяжелыми прыжками к ближайшим кустам. Медвежат не видно было, только трава змеилась.

– Фу-у, я их все-таки боюсь! Черт! – Сан Саныч нервно повернулся к Горчакову и одним глотком осушил кружку.

– Я тоже... но они в этом не виноваты. – Горчаков выпил, понюхал корочку хлеба, улыбался чему-то спокойно. Видно было, что он захмелел:

– Ваша Николь очень похожа на мою жену. Не лицом, а... характером, такая же хрупкая с виду и крепкая. Она у вас крепкая... – Георгий Николаевич глядел на притихший огонь и на речку, но был где-то в других местах. – Мне сегодня ночью семья снилась... отец, мать, сестра... Мой брат открыл больше тридцати месторождений золота в Казахстане, а погиб в лагере от туберкулеза...

Белов внимательно слушал. Георгий Николаевич щурился в костер, грустно улыбаясь:

– Проснулся среди ночи, лежу и думаю, как все странно устроилось в жизни. Мы были очень дружные, но от нас ничего не осталось! Нашу семью как будто специально разрушили. Зачем? Кому от этого стало лучше? Хоть какой-то смысл в этом был?

Он нахмурился и замолчал.

Белов пошевеливал палкой в костре, он не мог представить себе каких-то далеких во времени и пространстве родственников Горчакова. Они казались ему людьми из ушедшего прошлого, из времен революции... все это было задолго до страшной войны, которая еще раз поменяла всю жизнь. Теперь все было по-другому, и ему казалось логичным, что тех, старых людей уже нет. Он молча долил остатки спирта.

– Где вы сидели? – спросил Белов, когда они выпили.

Горчаков подкурил папиросу, движения его были не очень твердыми, но глаза трезвые:

– Во многих, в разных местах... – он пожал плечами. – Кажется, не помню уже ничего – вахты, бригадиры, урки... место на нарах с твоей табличкой... как будто всю жизнь за колючкой.

– По вам не скажешь.

– Это я сейчас такой гладкий, а бывало, меньше пятидесяти килограммов весил... В голове никаких мыслей, только что-нибудь засунуть в рот. – Он замолчал, раскурил от уголька погасшую папиросу. Посмотрел пристально на Белова. – Я ведь и в помойках копался... и ел оттуда. Собаки, кошки, бурундуки, дохлые крысы, вороны... павшая корова – это было большое везение, никто от них на Колыме не отказывался.

Сан Саныч напряженно молчал.

– Вы сейчас думаете: как мне не стыдно в этом признаваться? – продолжал Горчаков спокойно. – Немного, впрочем, и стыдно, но в моей душе все это уже по-другому. Если вам кто-то скажет, что оттуда можно вернуться нормальным, – не верьте! Человек в лагере меняется навсегда!

– Зачем вы, Георгий Николаевич? Вы – совершенно нормальный! Я же вижу...

– Я предупреждал, что это не очень интересно... – Горчаков улыбнулся. – Никто и никогда не сможет этого рассказать. А если и сможет, то его не будут слушать. Людям не нужны такие знания – применить они их не могут, а сопереживать лагерное существование... это непосильно для человеческой психики. – Горчаков замолчал, покуривая. – Если вдумываться в это существование как следует, с помойками, дохлыми кошками и тем, как люди до этого доходят, то это непосильно, а если не вдумываться – то какой смысл рассказывать?!

– Как же вы со всем этим живете?

– Очень просто. Просыпаюсь утром, чищу зубы, получаю пайку и занимаюсь больными. Это неплохая жизнь. Когда есть, что курить, и когда можешь кому-то помочь. Думаю, на воле многие живут хуже.

– А ваша семья?

– Я научился не думать. О многих вещах... – Горчаков смотрел спокойно. – Можно бы сказать, что и забыл, но это не так, конечно. Возможно, я просто устал о них думать.

Белов очень хотел спать, чувствовал, что спрашивает уже из вежливости и теряет нить разговора. Горчаков был прав – все, о чем он рассказывал, не имело к жизни Сан Саныча никакого отношения. Невольно вспомнился «Полярный», предстоящая сложная работа, радость и даже счастье шевельнулись в душе. Он зевнул крепко, поглядел на небо, потом на часы:

– Пойдемте, Георгий Николаевич, погода на дождь заходит.

Было уже три утра. Приняли на борт шлюпку, старпом повел буксир, а Белов ушел в свою каюту. Лег, зевая изо всех сил, но уснуть не мог. О Горчакове думал. Станный был человек этот Георгий Николаевич, вроде и серьезный, и умный, а разговора не получилось. Как будто не хватало в нем чего-то.

Горчаков же, наоборот, уснул быстро и спал крепко. Проснулся рано от счастливой мысли, что у него есть курево. Оделся и вышел на палубу. Достал папиросы. Было тепло, пасмурно и тихо, все еще спали, только в кочегарке лопата забрасывала уголь в топку. Георгий Николаевич стоял на носу, река бурлила негромко под ним, где-то на дальней барже коротко взлаяла овчарка, и эхо ее голоса гулко отразилось в тайге.

Вспомнился ночной разговор с Сан Санычем. Судьба Белова складывалась удачно, много лучше, чем у других, и он относил это на свои таланты и трудолюбие. Он не мог не знать о несчастных, попавших в жернова, но они, конечно же, всегда сами были виноваты... Горчаков прикурил, спичка упала и закружилась в водовороте. Понимает ли Сан Саныч, что он никогда не встанет ни на каком собрании за своего друга?

Спичка все крутилась, водоворот был совсем небольшой, размера спички, а она не могла выбраться и уплыть на свободу.

Как-то это все уживалось в людских головах? В лагере, где твоя судьба была ясна, вопрос о Сталине решался однозначно – его ненавидели все. И эта всеобщая лагерная ненависть к Усатому очень быстро перековывала любого самого розового сталиниста.

На воле же таких, как Сан Саныч, было большинство. Это было странное, невозможное, насильственное сочетание любви и страха. «В любви нет страха, потому что в страхе есть мучение...» – вспомнились чьи-то слова.

Любовь к Сталину знала страх. Она на нем держалась. Это была не любовь.

Застучали легкие шаги по металлу, из кубрика с полотенцем на плече поднималась Николь.

– Здравствуйте! – улыбнулась.

Горчаков кивнул, едва не брякнув «бон жур». Собака опять залаяла с эхом на барже с заключенными, там слышались голоса, но вскоре все смолкло. И снова пасмурная и мягкая утренняя тишина повисла над рекой, только негромко пыхтела паровая машина.

Николь вышла из душа, вздохнула короткие мокрые волосы:

– Дайте мне, пожалуйста, папиросу, – улыбнулась, как старому знакомому.

– Vous fumez?^[96] – заговорил Горчаков по-французски и достал пачку. – Puis’je vous parler ainsi?^[97]

Николь протянула руку за папиросой и застыла. Глаза широко открыты и, кажется, продолжали открываться еще.

– Vous l’avez dit en français?^[98] – прошептала, отмахиваясь от лезущей в глаза мошки.

– Oui, je le parlais il ya quelque temps...^[99]

Николь обернулась на дверь в кубрик, на пустую палубу. Шагнула к нему вплотную:

– Mais est-ce qu’on a le droit? Êtes-vous un détenu?^[100]

– Ce n’est peut-être pas interdit, mais il vaut mieux parler russe...^[101]

Николь слушала его слова все так же удивленно, будто не верила происходящему:

– Этого не может быть! Я думала, что уже не смогу. Я столько лет ни с кем не говорила.

– Но вы вчера пели «À la claire fontaine»^[102].

– Je ne m’en souviens plus. J’ai chanté en français? Ah, bon... Avez-vous été en France?!^[103] – ее глаза сверкали живым, пугливым любопытством.

– Non^[104], – улыбнулся Горчаков.

– Ah... dommage. Pouvez-vous m’aider?^[105]

– Je ne sais pas^[106].

– Je voudrais envoyer une lettre à l’ambassade à Moscou. J’ai déjà essayé mais elles n’arrivent pas. Je me demande si quelqu’un pourrait remettre une lettre à l’ambassade? Vous connaissez quelqu’un?^[107] – она вдруг замолчала и перешла на русский язык. – Дайте прикурить!

Из носовой каюты комсостава вышел, потягиваясь, обнаженный по пояс Фролыч. По небесам прошелся взглядом, зевнул сладко, увидев Горчакова с Николь, улыбнулся, извиняясь, и щелкнул замочком в душевой. Вскоре оттуда раздались бодрые звуки холодного душа.

– Réfléchissez-y s’il vous plaît^[108], – зашептала Николь совсем тихо, – voyez si vous voulez et pouvez m’aider. Ne dites rien à personne, je vous en prie... en faisant cela, je ne fais courir de risque à personne? Bon, je file, à plus tard!^[109]

Горчаков кивнул и достал новую папиросу. Сел от волнения, в сознании ярко встала Ася, они разговаривали с ней по-французски, для практики – неделю по-французски, неделю по-английски. Это было в Питере, стояла теплая осень, Ася очень хорошо говорила по-французски.

На палубе прибывало людей – кокша с заспанным лицом прошла на камбуз, к душу выстроилась очередь, мужики курили, били друг на друге комаров:

– Вчерашняя жара к непогоде была, – сипел Грач, – и рыба вчера клевала, как дурная – все к этому! Дня на три дождь зарядит!

– Ты, старый, еще раз мне такой рыбы наловишь, сам чистить будешь! – раздался с камбуза голос Степановны. – Рыба у них клевала!

– Сейчас увидишь, как эта рыбка пойдет! – Грача пропустили без очереди, и он разговаривал со Степановной прямо из душа.

Николь присела с тазиком мелкой, в ладонь размером, рыбешки над машинным отделением, ловко шкерила ее ножиком и бросала в ведро. С камбуза уже пахло жареной рыбой.

Белов вышел одним из последних, сел за стол невыспавшийся, поевшие уже курили. Николь мелькала между камбузом и едоками. Сан Санычу пришла вдруг в голову ужасно приятная мысль. Представилось, что на всем пароходе они с Николь одни. Он следил за ней, за ее умелыми руками, красивой головой и шеей. Она пришла с очередной порцией жареной рыбы и порезанным хлебом, поставила в середину стола. Села напротив Сан Саныча и смотрела с веселым чертенком в глазах:

– Что, Сан Саныч, видели медведя? Страшный он?

Белов слышал подвох в ее голосе, но не понимал, чему она радуется.

– А тебе что, медвежатины захотелось? – спросил Егор полным ртом и сам захихикал над своей шуткой.

– Без котлет нас оставили! – Степановна присела за край стола, дымя папиросой.

– Рыбы им мало... – не отставала Николь.

– Рыба – рыбой, а без мяса мужики не могут!

– А медведь большой был? – Николь снова обратилась к Белову, – много из него котлет вышло бы? Тысяча?

Сан Саныч снова не нашелся, что сказать. Подумал с неудовольствием, не рассказал ли Горчаков про их охоту.

– Вот смелая! – улыбался Егор снисходительно. – Увидела бы медведя, небось не смеялась бы!

– Я, Егорка, восемь лет на Енисейском заливе прожила! Ближе, чем тебя, их видела! – она собрала посуду. – Вполне милое и безобидное животное. Люди попадались страшнее!

Вверх по течению река становилась все быстрее, а работа напряженнее. По высокой воде перекатов не было вообще, теперь, на первом же – прошли, поднимая за кормой огромные рыже-серые буруны. Всю речку замутили. Грунт днищем не прихватили, но было близко к тому.

Подошли к Кривому, как они его меж собой звали, перекату. Белов больше всего его опасался, река впереди сужалась метров до пятидесяти и делала поворот под острым углом. Судовой ход был сложный, узкий, а самое неприятное – дно могло быть каменное, с правого берега реку подпирали скалы. Встали под перекатом, Горчаков с матросом ушел на шлюпке промерить глубины, а Сан Саныч со старпомом ходили по большой барже, прикидывали, как крепить цепи на корме и какой длины они должны быть. Смотрели подолгу на кривизну поворота.

– Сан Саныч, а не привязать ли нам к цепям еще рельсочку небольшую? – Фролыч присел к рельсам, лежащим на палубе. – Вяжем за один конец... Чтоб наверняка удержало!

На «Полярном» в рубке скучал Егор. Вчера закончил читать «Пещерный лев», больше на буксире неизвестных ему книжек не было. Он подумал дописать письмо матери, которое начал недели две назад, даже сходил за ним. Писать особо было не о чем. Мать всегда интересовалась вещами неинтересными: что он ест да довольно ли им начальство. Егор вспоминал лицо матери, сам следил за струйками дождя, текущими по запотевшему стеклу. За тем, как изгибались эти струйки порывами ветра. Дверь тихо приоткрылась, в нее аккуратно заглянула Николь, увидев, что никого нет, вошла.

– Салю, Егор!

– Салю! – буркнул Егор и покраснел.

Как Николь появилась на буксире, он решил учить французский, но пока знал всего несколько слов. Он обрадовался и засмутился одновременно, даже за штурвал взялся...

– Егор, расскажи, пожалуйста, как мы потянем эту баржу? Все всё время говорят, я не понимаю... почему это трудно?

Егор спрятал письмо, присматриваясь к девушке: серьезно ли спрашивает? Чуть нахмурился, соображая, с чего начать.

– Вот тут, например, – он показал на поворот переката впереди, – узко очень, буксир тянет баржу на тросу. Баржа длинная, да еще трос длинный... Мы уже за поворот уйдем, а она здесь может враспор встать между берегами, а может на мыс боком заползти!

– А на коротком тросу нельзя тащить?

– Можно, тогда винт начнет гнать в рыло барже, сам против себя работать, можем не вытянуть.

– А почему Сан Саныч там, на барже ходит?

– Цепи будем вешать с ее кормы, – важно нахмурился Егор, – они по грунту тащатся и корму держат, не дают заноса... – по лицу Николь было видно, что она не очень понимает. – Ну сама подумай! При повороте из-за этих цепей корма баржи почти на месте остается, а нос мы вытягиваем. Тогда баржа точно за нами, строго по судовому ходу пойдет. Понятно?

Николь кивнула, все еще обдумывая что-то:

– И больше ничего?

– А тебе мало?! – уставился на нее Егор. – Там ювелирно сработать надо! И пробиться можем, и на мель сесть! Если сядем, нас отсюда никто уже не снимет! – Когда речь шла о деле, то и Николь, которая очень ему нравилась, превращалась в глупую девицу с глупыми вопросами.

– Понятно, – благодарно кивнула Николь. – Мерси!

Она шагнула было за дверь, но повернулась:

– Почему Сан Саныч всегда один? Без жены?

– А зачем она ему?! – сморщился небрежно Егор.

– Она красивая?

– Да ну! Накрашенная... и глаза такие, как будто стащить чего хочет. Я бы и близко к буксиру не подпустил!

Ему на самом деле хотелось сказать, какая красивая Николь и что он был бы рад, если бы Сан Саныч развелся со своей и женился на

такой прекрасной девушке. Он ревниво думал об этом, высчитывал разницу в возрасте между Николь и собой, получалось очень много – семь лет, поэтому если кому он и отдавал свою возлюбленную в этих своих мыслях, то только Сан Санычу, которого тоже любил. Ему это, конечно, было грустно, но он бы потерпел. И ему казалось, что так оно и будет. Да и на буксире все примерно так же думали, проскакивало в разговорах и шуточках.

Отцепили паузок с заключенными, взяли баржу насколько можно было коротко и стали заводить в узость поворота. Сан Саныч сам встал за штурвал, рядом был Горчаков с замерами глубин. Пары подняли до максимума – из трубы шуровали мощные клубы дыма.

«Полярный» прошел поворот и выворачивал на прямой участок, баржа сзади только-только начала поворачивать. И здесь в узости Сан Санычу стало не по себе, он все время оборачивался, баржа была тяжелая, широкая и такая длинная, что где-то, он это шкурой чувствовал, она должна была зацепиться.

– Иван Семеныч, – нагнулся к переговорному, – добавляй все, что можешь! Угля не жалейте...

– Все делаем, Сан Саныч!

Голос Грача был слишком спокойным, Белов сунулся к устройству и заговорил жестче:

– Мне сейчас полная мощность нужна! Еще наддайте, нос баржи выводим! Он в десяти метрах от берега! Воткнется – не вытащим!

Течение било в нос и в бок баржи, буксир, работая на полных оборотах, гнал воду туда же и почти стоял на месте, от напряжения его смещало в сторону правого берега. Белов, продолжая злиться на спокойный голос Грача, быстро кивнул Горчакову, чтобы тот встал к штурвалу:

– Так держите!

Сам метнулся к кочегару:

– Повелас! Давай, брат! Не щади котел!

Но тот и так не щадил не только котел, но и самого себя, в котельной было жарко, как в аду. На Повеласе был один фартук, волосы слиплись, пот заливал глаза. Лопата с углем без остановки исчезала в пекле топки.

Белов метнулся в рубку и махнул Егору на корму:

– Травите помалу!

Егор стал травить трос, и «Полярный», набирая скорость, двинулся вперед от опасного берега. Нос баржи по инерции продолжал сближаться с глинистым обрывом.

– Стой, Егор! – заорал Белов в открытое окно и стал переключать штурвал, буксир пошел к левому берегу. – Что тут глубины, Георгий Николаевич?

– Под нами шесть метров, еще метров двадцать смело можно, но лучше к скале ближе... – показал Горчаков на правый берег.

– Это я и сам вижу, – Белов крутил головой то вперед, то назад, вращал, оскалась, штурвал. – Фролыч цепи бросил... хорошо... – бормотал про себя.

Буксир опять почти встал на месте, из-за усилившегося дождя и ветра непонятно было, движется ли куда-то, Сан Саныч еще больше открыл окно, как будто это могло помочь, и даже высунулся в него, вглядываясь в очертания скал на правом берегу.

– Георгий Николаич, давай к Егору, пусть помалу травит, метров бы сто... но слабины не дает!

Белов говорил все это, не глядя на Горчакова, который тут же вышел, всем своим существом ощущал капитан положение буксира, работу кочегара, машины и винта, силу встречного течения Турухана и встречного ветра, тупое сопротивление носа баржи... Сопротивление гасло, Белов это понял – корма баржи пошла по инерции. Теперь нельзя было тянуть, тяжелая баржа всем длинным боком могла зацепить берег. Сан Саныч высунулся в дверь и заорал в дождь:

– Егор! Трави на всю!

«Полярный» снова пошел вперед, и вскоре Сан Саныч почувствовал сильный рывок троса. Замер, слушая... Дальнего конца баржи не видно было за дождем. Горчаков открыл дверь:

– Кормой задели, Сан Саныч...

– Ага! – Белов вцепился взглядом в берег, до него было метров двадцать.

Буксир медленно двигался вперед. Они вышли на прямой участок и встали против течения. Они должны были набирать скорость, но ее не было. Корма тащится по берегу, только бы не камни... – понимал Белов, вглядываясь в ориентиры. Ничего не было видно, но Сан Саныч чувствовал, как буксир потихоньку набирает ход.

– Продрались! – Сан Саныч напряженно повернулся к Горчакову.

– Здорово сработали, Сан Саныч! Здорово! – Георгий Николаевич улыбался, а Сан Саныч покраснел.

За спиной Горчакова стояла Николь с горячим чайником. Она слышала слова Горчакова, и у нее тоже отчего-то покраснели щеки.

– Извините, Нина Степановна сказала, что уже всё, я вам чай принесла. Хотите хлеба? – Она все смотрела на капитана. – Мы с Ниной волновались!

Поставили баржу на якорь и отправились за паузком. Мокрый от дождя Фролыч сидел в рубке, курил с наслаждением и прихлебывал чай.

– Вы надавили да течняк! Как корму поперло, Саня! Как на карусели! Цепи не держат! Хорошо, рельс приготовили! Сбросили, натянулось, а до берега уже рукой достать! Не удержали бы буксиром! Такая махина да боком! Ни в какую! Умно ты направо переложился! Я бы не допер!

– Ну! Не видать же ничего, дождь как раз прибавил! – радуясь, поддакивал Сан Саныч.

– Да на таком расстоянии и без дождя не видать, там сантиметры все решали!

Это место, как и предполагали, было самым сложным, дальше было мельче, цеплялись днищем глубокосидящего буксира, но грунт, слава богу, был не каменистый, и нигде не пробилась. Утром на третий день пришли в Янов Стан. Горчаков перенес свои зимние измерения на лоцманские карты. Погода снова установилась тихая и жаркая. Комара добавилось.

На обратном пути, пустые, спускались быстро. Когда прошли Кривой порог, остановились на полдня. Купались. Грач с Егором сколотили «артель» желающих и несколько раз затягивали невод. Много не поймали, но уха получалась богатая. Грач сам варил на просторном песчаном берегу, женщины допускались только на вспомогательные работы. Запалили дымари от комаров, поставили стол на всю команду, привезли лавки с буксира.

– ...на лодке спускались! – Грач восседал на пенечке с поварешкой в руках, покуривал, глядя на огонь, и рассказывал мечтательно. – Август уже, дожди, а то и снежок! Парнишка со мной

был, городской вроде, в очках, а крепкий оказался... Степан звали! Ветра такие, что лодку с берега не спихнуть... дожди залили... День мокнем да гребем, ночь сушимся как-нибудь! Вот такой Степан, значит... Хороший парнишка. Если бы не он – не попасть мне было в эти места...

– Иван Семеныч, ты про уху-то не забыл? – напомнила Нина Степановна, она уже расставила тарелки. – Народ баснями не кормят!

– Ты, женщина, про кашу свою понимай, а тут... – Семеныч встал и опустил алюминиевую поварешку в уху, она не утонула, огромный котел был полон рыбы. Он зачерпнул жирной юшки, повернулся в сторону садящегося солнца, рассмотрел прозрачный слой жира, и, не пробуя, вылил обратно. – Тут рыбацкий нюх нужен!

Капитан выставил выпивку. После опасной работы, после Янова Стана с его унылыми часовыми у бесконечных складов, после долгой непогоды... после купания да перед таким ужином настроение у всех было лучше не надо. И стол накрыли богато.

– Давайте уж я первый скажу! – Сан Саныч встал, отмахнулся от комаров, собравшихся небольшой тучкой отпить из его кружки. – Работа была непростой. Мы ее сделали хорошо, прошли по малой воде, провели большую баржу, составили подробную лоцию, – он глянул на Горчакова. – Теперь за нами смело пойдут другие. Поздравляю всех!

Выпили. Зашумели, похваливали уху и повара. Закусывали, шутки шутили. Хохот громко отражался от высокого противоположного берега, как будто там сидела еще одна компания.

– Окуни должны быть о-бя-зательно! Это – раз! Потом – стерлядка! – Грач пьяновато-важно объяснял секрет ухи сидевшей рядом Николь. – Там, у вас, что водится? Окунь есть?

– Там, где я жила – море, Иван Семенович! Оно соленое и там окуня, наверное, нет...

– А что есть? Скажи-ка!

– Вы уже спрашивали, я не знаю, как будут морские рыбы по-русски.

– Скажи по-нерусски, скажи!

Белов сидел почти напротив Николь, и казалось ему, захмелевшему, что все рассказы за этим столом предназначаются только ей. Он внимательно глянул на Горчакова, тот спокойно

разговаривал о чем-то с Померанцевым и на Николь не смотрел. Сан Саныч нахмурился на самого себя, на свою ревность и поднял голову. Николь глядела прямо на него и улыбалась. Так улыбалась, что Сан Саныч почувствовал, как сердце его катится, охая, куда-то под лавку. Он отвел взгляд, уставился в стол перед собой, в объединенный рыбий хвост, в голове шумело. Это была его женщина! И никаких других вариантов не было!

Фролыч рассказывал что-то из времен своей работы на ленд-лизе. Все слушали в негромкой вечерней тишине, не перебивали вопросами, только комаров били да в кочегарке время от времени начинали методично забрасывать уголь в ненасытную топку.

Сан Саныч только теперь, выпив, почувствовал усталость от этого опасного рейса. Он и сам хорошо не понимал его значения, просто приятно было быть первым, сделать то, что даже и не пытались. Вспоминал извилистый Турухан, и он уже не казался ему чем-то опасным. Не опаснее любой другой такой работы. Он чувствовал себя енисейским капитаном, которому и старики теперь руку будут подавать с уважением. Это было важно.

Солнце опустилось за лес, стало прохладней, комаров еще прибавилось. Кто-то перебрался к костру, курили сквозь сетки накомарников. Другие оставались за столом. Разговаривали. Боцман с матросом Сашкой вышли из тайги с охалками хвороста.

– Ну, что запоем, служивые? – Степановна бросила окурок в высокий огонь и улыбнулась.

– Ах ты, Нинушка, родная, давай «Черного ворона» моего... – запричитал Иван Семеныч.

Нина посидела молча в наступившей тишине и запела. Лицо ее было серьезно и спокойно, только брови чуть хмурились. Ее стали поддерживать, и вскоре пели уже все:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой!

Что ты когти распускаешь
Над моею головой?

Иль добычу себе чаешь? —
Черный ворон, я – не твой!

Отсветы костра ярко освещали ее лицо, уродливый шрам на темени, морщины, глаза спокойные и строгие. Она выглядела лет на пятьдесят или старше, а ей и сорока не было. Белов разглядывал ее и думал, что ничего о ней не знает. Надежная повариха, надежная и честная, никогда с пустым вопросом не придет. А что у нее за плечами? Вроде были до войны и муж и ребенок, но что с ними? Померанцев присел рядом с поварихой, пел вторым голосом, у него был неожиданно красивый баритон. Померанцев свои зубы где-то в лагере оставил, Степановна на фронте... Пели Егор, Фролыч, пела Николь, пели литовец Повелас и вологодский матрос Климов, Грач то подтягивал, то опускал старую голову и кивал, расстраиваясь о своей жизни. Песня кончилась. Только костер трещал и рвался вверх в серое небо белой ночи.

– Давай, Нина, чего-нибудь повеселей, – сказал задумчиво Грач, доставая кисет.

– А романсы знаете, Нина Степановна? – спросил Померанцев.

Был уже второй час ночи. Стемнело. У костра оставались повариха, Померанцев и Климов. Пели негромко. Грач кемарил, опустив усы на грудь.

Николь с Сан Санычем, гуляя, ушли за поворот берега. Остановивались. Разговаривали. Обходили лужи на плотном песке, деревья, принесенные Туруханом, и удалялись все дальше. Поющих уже не было слышно. Птицы ночные им пели. Громко, раскатисто и чисто в темном воздухе и над гладкой рекой. Николь была спокойна и ласкова, Белов, наоборот, скован своими мыслями о ней, о жизни.

– Этот вот, что щелкает, – это соловей?

– Не знаю, – жал плечами Сан Саныч, – как соловей по-французски?

– Россиньоль...

Белов кивнул.

– Даже Горчаков пел, очень точно, кстати, пел! И голос у него приятный... но так странно, да?

– Что странно? – спросил Сан Саныч.

– Что такой человек поет! Он же все время молчит... Ты знаешь, он хорошо говорит по-французски?

– Я тоже научусь, – неожиданно громко и грубовато брякнул Сан Саныч.

– Ты? – Николь двумя руками взяла его руку выше локтя и прижалась. – Конечно. Ты все сможешь! Ты такой умный! И смелый! Я думаю, ты очень талантливый человек!

– Почему? – Сан Санычу показалось, что она шутит.

– Я это вижу! Все, что ты делаешь, это так трудно! Мы с Ниной очень боялись, когда были эти повороты. Нина говорит, что ты очень хороший капитан!

Белов молча рассматривал ее в темноте. Чувствовал ее руки.

– Значит, ты меня простила?

– Саша! – Николь развернулась и сделала то, что очень хотел сделать Сан Саныч, – притянула его к себе. – Какой ты хороший! Если бы я не хотела к тебе, не приехала бы. Я просто боялась, что ты окажешься другим. Я привыкла бояться людей.

Белов стоял спиной к реке, в голове все плыло от ее слов, он боялся свалиться в реку и держался за Николь. Ему казалось, что они с Николь давным-давно уже муж и жена, прожили вместе много лет, но что-то их разлучало, и вот они снова вместе. Он обнял ее осторожно:

– Я тоже очень хотел, чтобы ты была рядом...

Сан Саныч стискивал челюсти от глупости, которую сказал, но сказать, что любит ее, он не мог. Это была правда, которую он боялся произнести вслух – у него не было ничего дороже. Сан Саныч прижимал девушку, понимая, что окончательно отвечает за нее. Что никакой обратной дороги нет. Мелькнул в сознании Квасов, разъяренная Зинаида, даже общее партсобрание – все, о чем он думал и чего боялся, мелькнуло и исчезло. В его руках была Николь, и все, что сейчас начиналось, было правильно, все соответствовало честной людской жизни.

Он прижался щекой к ее виску.

На пароходе привел в свою каюту и уложил в кровать. Сам взял бушлат и собрался выйти.

– Ты куда, Саша? – испуганно спросила Николь.

– Отдыхай, завтра все сделаем, я рядом у ребят пока.

На следующий день Белов перестроил свою каюту. Убрали кресло, передвинули столик в угол, а вместо узкой кровати матрос Климов сколотил ловкий просторный топчан. С Николь Сан Саныч почти не разговаривал, даже и побаивался – вдруг у нее это был просто порыв? Николь тоже была тихой, не улыбалась, ложки-вилки из рук валялись. Обедала не со всеми, в кухне притулились с Ниной. Говорили о чем-то негромко.

Сан Санычу казалось, что вся команда чувствовала что-то особенное и была серьезна. Старпом, когда остались вдвоем с Беловым, предложил спокойно:

– Идите в нашу с Егором каюту, она просторнее.

– Спасибо тебе, Фролыч, все уже сделали... – Белов помолчал. – Вернемся – женюсь!

Старпом согласно кивнул и переключил телеграф на «малый», подошли к повороту.

Николь, покраснев, перенесла к нему свои вещи. У нее, как у заправской зэчки, был фанерный чемодан. Стеснялись друг друга, не очень понимали, что происходит, обсуждали ее несвободу и необходимость – по закону – вернуться после навигации в Дорофеевский, куда она была приписана. С его разводом тоже все было не очень просто, но Сан Саныч ничего не стал говорить о своих страхах. Обсуждали, где будут жить в Игарке, когда распишутся.

Белов чувствовал, что здесь, на корабле, он поступил правильно и честно, но «Полярный», спускаясь по глухому таежному Турухану, приближал его к действительности, которая жила по другим законам.

Прошло еще несколько нервных и растерянных ночей, прежде чем они стали мужем и женой. Утром после этой ночи они вышли на просторы Енисея. Белов щурился сурово на рассвет, поднимающийся над другим берегом, и не верил, что у них что-то может не получиться.

«Полярный» делал оборот, целясь в узкую протоку бакенщика Валентина Романова.

Белов стоял на штурвале. Вылизанные штормами базальтовые выступы Большого Каменного острова спускались к воде и

образовывали тихую бухту. Ниже мыса весь огромный, двадцатикилометровый остров был песчаным, заросшим тальниками и разрезался мелкими протоками. Только этот передовой мыс, видимо и давший название всему острову, был скальный. Очень похожий на характер Валентина Романова.

Знакомая лестница с перилами поднималась от причала к натоптанной тропинке, которая, огибая большие камни, уводила к жилью. Дом с постройками стоял в сосняке, с реки его почти не видно было. Другая тропинка вела на песчаный берег ниже скал. Здесь были запасные бакены, лодка, невода и сети на вешалах из бревен. Все у дядь Вали было надежно.

Как ни торопился Сан Саныч в Ермаково, чтобы покончить со своим семейным вопросом, мимо Мишкиного отца пройти не мог. После их прошлогоднего разговора они не виделись и не писали друг другу. Сан Саныч ничего не узнал о Мишке, и от этого было стыдно, ему казалось, он плохо пытался помочь.

Валентин стоял на своем бугре в телогрейке и с дымящейся папиросой. Не спустился к буксиру. Белов первый поднялся по лестнице:

– Здорово, дядь Валь! – протянул руку.

– Здорово, Сашка! – у Сан Саныча отлегло от души, лицо Романова было, как всегда, слегка угрюмо, но в голосе не было тяжести.

– Забежал к вам. Ты чего в телогрейке? – Белов потрепал ласкающуюся лайку.

– Спину прохватило, пойдем, – Романов двинулся к дому, но вдруг остановился и повернулся к Сан Санычу. – Мишка письмо прислал...

– Да?! – обрадовался Сан Саныч. – Где он?!

– На Колыме в пересыльном лагере, при Анне не надо... – и он снова повернулся к дому.

Белов пораженный, замер на тропинке, смотрел на тяжелую спину Мишкиного отца, в голове замелькали лица начальника пароходства, безразличного и безликого капитана-особиста...

– Мне куда, Сан Саныч? – Горчаков с фельдшерским чемоданчиком поднимался от реки.

– погоди, Георгий Николаич... Тут такая херня... – Сан Саныч напряженно смотрел на Горчакова.

– Что случилось? – Горчаков поставил чемоданчик и достал папиросу.

– Сына его, моего друга... я вам рассказывал... на Колыме он, – Белов смотрел сквозь Горчакова. – Черт! – зло сдавил челюсти и кулаки. – Черт! Черт! Черт!!!

– Чего стоите? Заходите... – Валентин вышел на крыльцо.

– Покурим, – показал папиросу Горчаков.

Романов подошел, изучая Горчакова, протянул руку, признавая в нем своего:

– Валентин!

– Георгий!

– Георгий Николаич – фельдшер, посмотрит ребятишек... – Белов не глядел на Романова: и вины за собой не чувствовал, а глаза не поднимались. – Он сидел в лагере на Колыме.

Романов заинтересованно посмотрел на Горчакова.

– Сын из Магадана написал, с пересылки. Бывал там?

– Бывал.

– Куда могут отправить? Лагерьей-то много?

– Много.

– Что за работа? Золото моют?

– Больше в шахтах работают... Сейчас полегче стало, и техника, и кормят лучше.

– По специальности устроится, хорошие механики везде нужны... – спокойно и строго сказал Романов. Так сказал, словно от его мнения это и зависело.

Молчали, курили. На «Полярном» собирались обедать, Николь принесла чистую посуду на стол, загремела ложками. Она была в лучшем своем платье. Заслонившись рукой от солнца, посмотрела в их сторону. Сан Саныч нечаянно вспомнил, как целовались сегодня всю ночь, и ему захотелось сказать что-то хорошее дядь Вале. Он напрягся, искал слова, но они были все пустые, он чувствовал себя глупым мальчишкой рядом с этими молчавшими мужиками. Он несколько раз мог встать за Мишку на собраниях в пароходстве, но не встал... Не хватило духу.

– Руки у него золотые, технику любит. Не пропадет! – Валентин повернулся к Горчакову. – Пятнадцать лет дали! Теперь срока такие!

– Сейчас и за болтовню двадцать пять дают, совсем, видно, нечего было предъявить.

– Одна надежда, – Романов докурил папиросу, бросил под ноги и тщательно растер сапогом, – околеет Усатый, не вечный же он! У тебя большой срок?

– Двадцать пять.

– Точно околеет... столько людей его смерти ждут, Бога просят, а он все дышит, сука рябая, – Романов нахмурился деловито. – Я, когда письмо получил, успокоился. Боялся, что нету моего Мишки уже, а тут – вот он, его рука. Пойдемте в избу. Ты, Сашка, зря за него ходил, не помогло бы...

Белов глянул, не понимая, откуда он знает, но Романов уже двинулся к крыльцу.

– Дайте мне папиросу! – попросил Горчакова. – Вы идите!

Сан Саныч закурил, глубоко вдыхая крепкий дым. На «Полярном» ели, стол не видно было, но ложки скребли и негромкий разговор гудел, посмеивались. Он глядел на енисейскую ширь с песчаными островами и отмелями и опять остро чувствовал раздвоенность. Один Белов работал, смело поднимался по Турухану, отвечал за своих людей, и здесь все было ясно и хорошо, здесь не было трудностей, которые бы он не одолел. Но была и другая жизнь Сан Саныча Белова, как будто придуманная специально, чтобы все путать. И в этой жизни только что два дорогих ему человека поняли друг друга с полуслова, а он оказался пустым местом рядом с ними. Теперь в той другой жизни был и Мишка, за которого бесстрашный капитан Белов струсил вступить. И Николь, она тоже была не из этой его жизни, где все было ясно. Его Николь всегда помнила, что она не человек, но ссыльная.

– Идите за стол, Сан Саныч, – Анна спускалась к реке, в руках таз с бельем, за ней, держась за перила и озираясь на Сан Саныча, дети.

Белов затоптал окурок и пошел в дом. Фельдшерский чемоданчик был раскрыт на лавке, мужики сидели за столом, пили чай, перед Горчаковым лежало письмо.

– А лес там какой? – спрашивал Романов.

– Лиственница да кедровый стланик, по реке – тальники... – рассказывал Горчаков.

– Об одном Бога прошу – не побежал бы Мишка... В первые дни – тоска страшная! Я неделю не спал, нары грыз. Не знаю, что удержало. – Он застыл, вспоминая. – Привык помаленьку. Осень была, приморозило, снежок выпал, меня в хорошую бригаду взяли. Бригадир у нас толковый был... Давай, Сашка, шей! Ты чего там сел? А то давайте самогонки хлебнем, раз такие гости! – Валентин очнулся от воспоминаний и решительно открыл люк в погреб. Спустился, загремел чем-то, голос звучал глухо. – Помогай, Саня!

Белов принял кусок сала, миску соленой туруханской селедочки и тяжелую бутылку белесого самогона. На стол поставил. Романов сегодня был в духе, сало резал и говорил необычно много. Сан Саныч наблюдал за ним и не понимал этого его почти веселья. Оно не было нервным, Валентин на самом деле был чему-то рад.

– Пересылочка-то ничего там? На Магадане?

– Я там в тридцать седьмом был, – улыбался Горчаков, – молодой, не понимал ничего...

– Это да... Если б можно было, я бы за Мишку пошел. На общие, на лесоповал, на земляные – куда хошь! Я все уже знаю, зачем парня губить? Я бы за него отработал.

Налил по трети стакана, поднял свой:

– Ну, мужики, чтоб он сдох поскорее! – Валентин косо глянул на угол с иконами и выпил. Жевал сало, обдумывая свои слова, кивнул, подтверждая их. – Заберет его Господь, люди свет увидят!

Сан Саныч чокнулся со всеми, выпил, почувствовал хмельное облегчение, но и неприятно было. Он не должен был пить такой тост! Надо простить их ненависть, хмурился внутренне Сан Саныч, – лагерь сделал их слепыми...

– Может, еще разберутся? – Сан Саныч с нетвердой надеждой посмотрел на Романова.

Валентин резал хлеб, замер на слова Белова.

– В чем разберутся?! – бакенщик смотрел в упор.

Сан Санычу неприятно стало, но взгляда не отвел, молчал упрямо.

– Хороший ты мужик, Сан Саныч, но дурак! – Валентин замолчал, разливая самогонку. – Не пробовал ты, как они разбираются... Люди в их руках собственных детей оговаривают!

Белов уже хорошо захмелел и смотрел с еще большим упорством. Выпил, мысленно проговорив: «За Сталина!» Романов и Горчаков

были искалеченные люди, это ясно. Ему не хотелось ничего этого слушать. После ночного разговора с Горчаковым на Турухане Сан Саныч много думал, пытался представить, что такое по всей стране творится... Никак не получалось – вокруг него ничего такого не было! Арестовывали совсем не часто, а тех, кого сажали, было за что!

– При чем здесь Сталин?! – с задиристой пьяной решительностью заговорил Сан Саныч. – Вы ему смерти желаете, а без него... что без него?! – Сан Саныч замолчал в досаде, он не мог, никогда не пытался представить себе жизнь без Сталина.

Романов его не слушал, развернулся в сторону Горчакова:

– Характера Мишкиного боюсь, Георгий Николаевич, не смолчит он, а там сам знаешь как! Урки, попки, шестерки! Какая справедливость!

Замолчали. Стало слышно, как Анна во дворе разговаривает с детьми. Мужики притихли со своими мыслями, и опять показалось Сан Санычу, что Романов с Горчаковым и молча друг друга понимают, а он лишний за этим столом. В сенях забренчала щеколда, вошел Грач.

– Здравия желаем честной компании! Здравствуй, Валентин! Как живешь помаленьку? Сан Саныч, у нас дейдвуд потек, меляков-то нацепляли, надо бы перебить сальники... На полдня работы будет. Ребята уже начали. Или прикажешь, так пойдем?

Белов пошел смотреть. Текло сильно. Как ни хотелось Белову уйти побыстрее от всех этих разговоров, надо было ремонтироваться. На берег не пошел, поднялся в каюту и вспомнил, что Николь живет у него. Он шел лечь и выспаться, но теперь сел, тяжело нахмурившись, на широкой кровати, ругая себя мысленно, что выпил. Никого не хотел видеть.

Осторожно постучавшись, вошла Николь, застеснялась его на секунду, но тут же улыбнулась, присела и поцеловала Сан Саныча в щеку:

– Целый день сегодня не виделись, странно, да? Мы на одном маленьком корабле... Что с тобой? Это я виновата? Ты жалеешь о сегодняшней ночи? – она говорила тихо, чуть тревожно, но настойчиво. Заглядывала в глаза. – Скажи сразу! Ты жалеешь? Потому что я ссыльная?

– Нет, что ты... – очнулся Сан Саныч. – Нет, мы выпили и разговаривали...

Он посматривал в ее ясные карие глаза и не знал, можно ли ей хоть что-то из того рассказать. Нельзя было, понимал, у нее и своего хватает.

– Это наши, мужицкие дела, – вздохнул тяжело.

– Какие? Этот здоровый мужик выпил и лез драться?! А Георгий Николаевич?

– Да нет, ну что ты! – удивился Сан Саныч.

– Русские часто дерутся пьяные, – Николь быстро поцеловала Белова в губы. – Я из-за тебя сегодня ночью все-все забыла. Всю свою плохую жизнь, и осталась только хорошая.

И опять поцеловала.

Сан Саныч обнял ее и вскоре тоже забыл все на свете.

Через полчаса Николь, делая страшные глаза, убежала на камбуз, а Сан Саныч, успокоенный, отвернулся к стенке и уснул.

Романов чувствовал лагерное родство с Горчаковым, тяжелое родство несправедливых безжалостных судеб, ему хотелось поговорить, и они уплыли на реку. Висели на нижнем, самом дальнем бакене. Енисей был тихий, только зацепленная за бакен лодка шумела сильной водой. Солнце уже не пекло. Романов, только что поднимавший и опускавший тяжелый камень-якорь со дна – они переставляли бакен, – отер пот и достал папиросы:

– Подождем маленько, иногда катится по дну, – кивнул вниз под воду.

Прикурил, протянул огонек Горчакову. Попыхивали молча среди вечерней тишины реки.

– Ты откуда родом? – спросил Георгий Николаевич.

Романов помолчал, стряхнул пепел в воду.

– С устья Селенги, это на Байкале. Бурятское сельцо Малая Березовка.

– Рыбачили?

Романов кивнул, все думая о чем-то:

– Больше землю пахали, там земля – какой поискать! Одним большим двором жили на своем хуторе – отец с матерью да нас трое братьев с семьями, одних взрослых работников десять человек было, ребятишки еще... Старший брат рыбалкой занимался – омуль у нас самый крупный на всем Байкале, Посольский называется, его ловили,

да осетров... щуку-окуня за рыбу не считали. Лошадей, коров, мелкого скота больше ста голов было – пастбища там островные, богатые. Хлеба собирали много, огород большой... зимой извозом занимались. Хорошо жили, жатки, сеялки, косилки – все было, руками не косили.

Он замолчал, крепкое внутреннее удовольствие отражалось на грубоватом лице. Папиросу притухшую раскурил. Продолжил неторопливо:

– Долго нас не трогали, думали уже пронесет, хотя слухи ходили, да и людей везли на восток целыми составами... Летом 1931-го вышло постановление о раскулачивании в Бурят-Монгольской АССР. Ну и вся наша семья, все хозяйство... – Валентин нахмурился. – Побоялись всех в одно место сослать, разделили. Мне тридцать три года было, жена Тоня, Мишка трехлетний и дочка махонькая, годовалая, нам повезло – отправили на юг Красноярского края, место необжитое, но земля неплохая. Первый год в ледяном бараке жили друг на друге, лес валили и сплавливали, кормили очень плохо, девочка умерла, Тоню с Мишкой еле уберег. На другой год бригадиром овощеводов назначили, свой огород посадили, картошки и капусты хороший урожай был, помаленьку поднялись. Через год избу небольшую поставил, из барака переехали, потом коня купил, свой огород побольше уже сажали – в город продавать возили. Верочка родилась. Весной 1939-го снова раскулачили. Меня в лагерь, их – вон, на кладбище...

Валентин посмотрел на Горчакова, потом на погасшую папиросу, подкуривать не стал. Снова прищурился на Енисей:

– От семьи не знаю, кто и остался, отец в первый же год умер где-то на Ангаре, мать вернулась в Березовку, там никого... побиралась, говорят, – Валентин угрюмо тер ладонью борт лодки. – Братья не знаю где, сосед написал, что Василий, старший наш, один приезжал перед самой войной и исчез потом.

Валентин бросил папиросу в воду, посмотрел, как ее подхватило быстрым течением, постучал задумчиво кулаком о колено:

– Ты, прости, Николаич... мне тут не с кем... – Он нахмурился и, потряхнув головой, добавил: – У тебя тоже, видно, беды хватает... но другой и не поймет.

Замолчали, думая о своем. Валентин поднял взгляд на Горчакова:

– У тебя-то отец кто был?

Горчаков очнулся от своих мыслей:

– Текстильщик. Инженер-технолог в Орехово-Зуево у Саввы Морозова и у Прохорова на Трехгорной мануфактуре управляющим... – Он посмотрел на Романова, тот слушал внимательно. – После революции создавал советскую текстильную отрасль.

– Значит, не против революции был?

– Нет, считал, что революция даст России настоящую свободу. Его большевики очень ценили... он много построил.

– Большевик, значит?! – Романов смотрел неодобрительно. – Сколько же умных людей в большевики пошли! Какие же они после этого умные?! Неужели они этих воров не понимали?

– Большевиком он не был, он был честный и думал, что нищету и невежество можно будет преодолеть... – Горчаков достал папиросы, но не стал прикуривать. – Вся семья такая была, старшие брат и сестра вступили в партию еще до революции, наверное и я вступил бы, будь постарше. Мы все очень верили... Стремление к свободе и равенству началось задолго до большевиков, в других странах это получилось.

– Да как же вы не видели этих зверей? – с досадой крикнул Романов. – На воров! На воров и бездельников вы работали! Меня такие вот в декабре тридцать девятого пришли кулачить... во второй раз!

– А почему тебя в лагерь взяли?

– Так куда же? – не понял Валентин.

– Сослать должны были...

– А-а... – криво ухмыльнулся бакенщик. – Я этим уполномоченным морды разбил... И винтовки у них изломал об угол. Они пьяные были. Пятнадцать лет дали, «пятьдесят восьмую», пункты 8, 9 и 10. Террорист. Хорошо, не стрельнули.

– А выпустили досрочно? – прищурился Горчаков.

– Ну... за героизм, бляха-муха...

Горчаков смотрел с интересом.

– В сорок четвертом, я пять лет уже отмотал, – Валентин замолчал хмуро, головой тряхнул, будто подтверждая. – Короче, вытащил пьяных начальника лагеря и кума из огня, и там еще один был... Они в бане пьянствовали, она и загорелась. А я их и перетаскал на воздух.

Георгий Николаевич все смотрел внимательно.

– Так и было, мы с работы мимо шли, стрелки мечутся, боятся войти – деревянная-то изба страшно горит! А я это дело знал, вижу, что крыше еще рано падать, бушлат на голову и туда... ну и выволок по одному, один-то уже совсем задохся.

– Хороший начальник лагеря был? – улыбнулся Горчаков.

– Да нет, обычный, старшой лейтенант... А особист, тот и вовсе сволочь... Я про то не думал, кошку, и ту жалко...

Валентин отцепился от бакена. Улыбнулся криво:

– Этот третий мужик, что с ними был, какая-то шишка оказался. Через два месяца на меня документы пришли. Видал?! У них там тоже справедливость бывает. Давай к дому.

– И что же ты, все время тут? – Горчаков разворачивал лодку, вода забурлила.

– Ну, с Анной вот сошлись. Их тут, похоже, навсегда оставляют. Постановление вышло...

Уключины ровно скрипели, течение наваливалось на нос. Мутная от собственной мощи река вольно катила в океан. Редкие желтоватые облака плыли в вечерющем небе. На коряге, торчащей из песчаного островка, дремали крачки.

Сан Саныч проснулся под вечер отдохнувшим, лежал в каюте и думал. Смысл его жизни был в том, чтобы на земле стало лучше. Для этого он сам должен был стать лучше и другие люди тоже. Именно этого от него справедливо требовал Сталин, и именно так он старался жить. С чистой совестью и напрягая все силы. Романов и Горчаков не верили Сталину... Сан Саныч задумался, во что же они верили, и не мог понять. Выходило, что они, отвергая прекрасную идею строительства коммунизма, не верили ни во что и жили для себя. Для небольших дел своей отдельной жизни, о которых и думать не хотелось. Из-за этого, из-за других масштабов, которые им ставил Сталин, они и ненавидели его.

Сан Саныч чувствовал в себе большую веру. Его собственная жизнь не казалась ему такой важной, она была частью чего-то огромного...

Лагерной дружбы не существует. В лагере говорят «мы с ним едим» – в этом вся дружба... И все же Шура Белозерцев ждал Георгия Николаича. Спиртик копил, отказывал себе в обжигающем глотке чистого на ночь – в лагерной жизни это немало! Шура копил, непонятно на что рассчитывая, и ждал. Вспоминал, как они прошлым летом с Горчаковым в тайге ночевали. Пустое вроде дело, а в памяти крепко засело, за всю свою арестантскую жизнь Шура никому про свой «подвиг разведчиков» не рассказывал.

Горчаков тоже рад был Шуре. Он вернулся первого августа, поздно вечером, и после отбоя они сели в фельдшерском закутке. Выпили. Закурили, Георгий Николаич устало, но весело посматривал сквозь очки на Шуру, а тот, собираясь послушать об иных краях (Горчакова почти месяц не было в лагере), сам трещал без умолку:

– Тут, Николаич, двух брянских полицаев привезли с трассы. Один, курва, девять ребятишек на тот свет отправил. Сам все рассказывает, герой, сука! Они, говорит, комсямольцы были и пиянерки... – Шура рассказывал, передразнивая неторопливую якающую речь брянского. – «Да как же ты смог, Коля ты вонючий?! – спрашиваю. – Они же дети сопливые?!» – «Да чаво? Связал им руки, вывел за околицу в лясок и перестрялял!»

Шура замолчал, глядя на Горчакова.

– Вот так вот, Николаич! Ему самому тогда восемнадцати не было, и его теперь досрочно отпускают, как малолетку! Бумаги пришли уже – он, тварь, героем и ходит!

Шура выглянул из каморки, послушал беспокойно спящий барак, вернулся и налил еще. Выпили, закусили казенной пшенной кашей, которую Шура заправил шкварками и сухим луком.

– Второй – тоже полицай, и тоже хвастается, как сельчан обирал. Эх, говорит, и пожил в свое удовольствие... И смятана...

– Что ты мне, Шура, про них рассказываешь? – перебил Горчаков. – Видел я полицаев...

Шура смотрел не очень трезво, удивленно и слегка виновато:

– Я, Николаич, прямо перед твоим приходом маленько с ними зацепился, – Шура сжал крепкий костистый кулак. – Маленько за тех ребятишек морду ему раскровянил. Вот так! А этот за того полез! Ну я и этого, того! Они не спят вон, гундят меж собой, завтра куму писать будут. Как бы их припугнуть, а, Николаич? Напишут ведь?!

– Что уж ты, Шура?

– Я, Николаич, как узнал, что ты приехал, очень занервничал, а ты все в штабе и в штабе, а эти стоят курят, ну я с ними покурить, а этот, сука, палач-то, как раз про ребяташек-пионеров вспомнил, как они его в лесу умоляли, как голосили и мамок звали... И смеется, тварь, ну-у... – Шура заскрипел зубами, прямо слышно было. – Не выдержал я, Николаич!

– У тебя, Шура, лагерный невроз! Ты без меня тут таблеточками не увлекался?

– Не-не, не было такого, я в порядке, Николаич.

– А эти брянские с чем у нас?

– Понос, вчера целый день с горшка не слезали...

– Дизентерия?

– Нет, нажрались чего-то... а может, мастырку^[110] какую жрут.

– Урки есть в лазарете?

– Серьезных нет. Один под аппендицит косит неделю уже, Нинку нашу клеит...

– А кто дежурит?

– Она и дежурит. Махмудка ночным санитаром сегодня... Ой, побегу микстуру дам, ты сиди, Николаич, закусывай, хлеб бери! Я сейчас!

Горчакова усталость и спирт валили с ног, день получился длинным. Еще сегодня он обедал на «Полярном», Степановна по случаю расставания пельменей настряпала... Идут себе в ночи сейчас, баржу тянут, утром будут в Игарке. Сан Саныч, Фролыч, Николь... Свежим речным простором повеяло от этих мыслей, он вздохнул невесело. Шура вошел, присел к столу:

– Санитарка новая у нас. Батурина. Надо ее убирать, Николаич... – Шура подкурил папиросу. – Она до нас в Норильске работала, а там девчонки-каторжанки из Западной Украины норильский аэродром строили, ну и ясно, полна больница – травмы, обморожения, воспаления легких. А у этих хохлушек одежды красивые, вышитые все. Батурина им за эти одежды пайку хлеба четырехсотграммовую предлагала. Узнает, когда девушку должны выписать, заберет вещь, завтра, мол, принесу тебе хлеб. А на завтра за девчонкой конвой на работу! Сколько она народу так обманула, Николаич!

Шура взял с полки склянку с остатками спирта, прикинул, что осталось, и долил по кружкам:

– Порыбачить-то не пришлось?

– Нет, – Горчаков выпил, занюхал кусочком хлеба. – Ребята ловили неводом...

– Что ловили?

– Да разную...

– Не любишь ты сетями, Николаич, а у нас на Волге – милое дело! Неводок затянем, стерлядок выберем, судачков, остальное обратно пускаем...

Под утро, часа в четыре, Шура поднялся в туалет, дежурной сестры за ее столиком не было. Лампа была потушена, ночной санитар Махмудка спал, свернувшись клубком на бушлате. Шура, прислушиваясь и посматривая, где сестра, прошел весь лазарет и у самого туалета понял – что-то не то. Он подошел вплотную и ясно услышал звуки любви, он поморщился, понимая, что дежурная здесь, и уже было развернулся уйти, как услышал тихие, злые матерки, а потом и совсем отчетливо:

– Я те укушу, шалава!

И сдавленный стон медсестры. Шура тихо бросился за дубиной. Горчаков подскочил от того, что Белозерцев со злобным шепотом шарил под топчаном:

– Вставай, Георгий Николаич, там нашу Нинку тянут... – он нашел обломанный черенок от лопаты и тихо выскочил.

В сортире на шесть очков и со страшным запахом хлорки возились трое уроков. Двое держали Нинку в позе сбора картошки, затыкали рот, третий пыхтел сзади. Этому и досталось первому, Шура бил со всей дури. Негромко и жалостно запричитала Нинка, Махмудка втиснулся и вцепился в одного из насильников, тут уже все за клубилось, кто-то падал, Шура бил дубиной, затрещала ткань палатки. Урки, отмахиваясь, выскакивали на волю. Кончилось все быстро, не весь лазарет и проснулся. В большую дыру, разрезанную заточкой, тянуло утренним холодом.

В процедурной Нинка трясущимися руками бинтовала Шуру. Кто-то из уроков успел полоснуть его по руке. Рана была неглубокая, но текло, как из свиньи.

– Ты как же там оказалась? – пытал ее Шура, строго следя за бинтом.

– Отстань!

– Чего отстань? Ты думай, что оперу будешь плести... Уф-ш! Аккуратно крути!

– Я сама пошла, думала он один будет, – Нина теранула слезы тыльной стороной ладони. – Я уже с ним была, он жениться хотел, ему два года всего осталось...

– Эх и дура, ты, Нинка! Урке поверила! А эти как же пристроились?!

– Да не знаю, отстань!

– Они бы тебя потом прикололи! – спокойно резюмировал Шура.

Медсестра перестала крутить бинт. Замерла.

– И даже не думай, им зачем улика? Сидела бы сейчас на дырке, с пикой в сиське! Давай, сам завяжу.

Наутро Горчакова отправили в барак оздоровительного питания – там накануне обнаружилось крупное воровство и всех фельдшеров на время следствия посадили в штрафной изолятор.

Этот лазарет для доходяг в издевку звали в лагере «Курорт», он был крайний в ряду бараков огромного первого лагеря, теплый и довольно большой. В него собирали «фитилей» со всех ермаковских лагерей и с трассы. Здесь почти не лечили, но пытались подкормить, иные хроники лежали и по два, и по три месяца. Диагноз писали один на всех – алиментарная дистрофия. Они были такие тощие, что на тех же стандартных нарах типа «вагонка»^[111] часто лежали по двое, и в бараке вместо двухсот пятидесяти человек помещалось около четырех сотен.

Горчакова командировали на неделю, и он пришел со своим – Махмудка тащил на голове горчаковский матрас и белье. Больные как раз стояли длинной костлявой очередью к двум умывальникам, кто с полотенцем, кто без. По недовольным лицам ясно было: если бы их не подняли, они бы не умывались – это пустая трата сил. Вскоре санитары внесли ведра с завтраком. Поставили у раздатки, и Георгий Николаевич почувствовал, как весь барак насторожился и притих.

Сначала с подносов раздали по двести граммов утреннего хлеба. По сто пятьдесят дадут еще в обед и вечером, всего получалось

пятьсот, в лазарете Горчакова в «больничном» пайке хлеба было шестьсот граммов, но каши и приварков давали меньше. Этим же, окончательно обессиленным, давали кусочки соленой рыбы, кусочки жира – в инструкциях вес был расписан точно – он зависел от того, масло это, маргарин или «комбижир».

Все это скрупулезное распределение еды и происходило сейчас под жадным надзором сотен глаз. Второй санитар лил по черпаку чаю, он был горячий, заваренный непонятно чем. Возле раздатчика стояла миска гороха – из нее по одной ложке отщипывалось тем, кто состоял на «цинготном» пайке.

После раздачи барак затих. Больные ели, сидя на нарах, скрестив ноги по-татарски. Сначала хлебали баланду. Рыба и жир – бациллы^[112] – на кусочке хлеба лежали рядом. Доходяга все время их видел, а иногда трогал и облизывал пальцы.

Горчаков рассматривал жадно жующих людей, их кости, обтянутые кожей, и думал, что даже этих вот, стоящих у порога смерти, объедает лагерная псарня. И так было везде, в любом самом «хорошем» лагере и в любые годы: чем слабее человек, тем легче его объесть – других правил не существовало.

Он открыл тетрадь с записями фельдшерских курсов. Это были его главные учебники, толковые, подробные. Сейчас он смотрел лекцию профессора Должанского о пеллагре:

«Когда питаешься только хлебом и впроголодь, образуется известный заколдованный круг: истощенный организм не в состоянии усвоить хлеб, а организм, неспособный усвоить хлеб, истощается. Атрофируются слизистые оболочки желудка и кишечника, “ворсинки” перестают всасывать питательные вещества, они не поступают в кровь и оттуда в клетки организма.

Таким образом, кишечник не может использовать пищу, и она извергается наружу. Это и есть голодный понос. Его легко принять за дизентерию, хотя дизентерийные микробы отсутствуют. По мере истощения образуются безбелковые отеки. Развивается самый тяжелый вид авитаминоза – пеллагра».

Горчаков глядел в тетрадь, а сам слышал тихий, сильно картавящий голос профессора. «Кто может, запомните формулу три “D”: Dispersia, Dermatitis, Dementia^[113]». Горчаков запомнил эту формулу. Первые два «Д» он испытал на себе.

«Пеллагра похожа на авитаминоз, но это нечто совсем иное. Мышцы, атрофировавшиеся до того, что остается один апоневроз^[114], все же могут вновь отрасти, жировая ткань тоже; кости, ставшие пористыми и хрупкими, могут вновь окрепнуть; кровь возвращается к нормальному составу, пеллагра же – состояние необратимое, она поражает нервную систему...»

Пришел доктор Золотарев, они были знакомы с Горчаковым еще по обским лагерям 501-й стройки, и велел ему сделать обход.

– Посмотрите на предмет других инфекций, Георгий Николаевич, я отлучусь на время.

Горчаков кивнул и позвал санитару с фанеркой, на которой были записаны показания утренних термометров.

Доктор Золотарев был из заключенных 58-й статьи, плод «селекции» 1937 года. Шпион английской, французской и немецкой разведок. Золотарев везде работал с доходагами. Это был спокойный седой человек с простым, ничем не выдающимся взглядом, не особенно душевный. Он был редкий тип лагерного доктора, кто своей задачей назначил выхаживать таких, на ком поставили крест. Он выхаживал «фитилей». Именно так он их и называл: «Ну как дела, фитиль Иван Петрович? Как аппетит?» Доктор был не без юмора, есть его больные хотели всегда. Гражданская же специализация у него была совсем другая – психиатр.

Горчаков остановился у первых нар. Внизу лежали четверо на месте двоих, крайний по привычке, видимо, придерживался рукой за выступающий бордюрик, чтобы не упасть, но тесно им не было. Впалые животы, ребра, сухая серая кожа складками, сыпь, один был весь в гнойных фурункулах.

– Жалобы есть? – Горчаков глянул температуру на фанерке, она у всех была нормальная.

Он присмотрелся ко всему длинному списку «температур» и махнул санитару, что ни он, ни его «измерения» не нужны. Санитар равнодушно ушел со своей фанерной ведомостью.

На верхнем ярусе, на двух черных и вонючих матрасах лежали трое, все внимательно рассматривали нового фельдшера, а он рассматривал их. Горчаков не был специалистом по дистрофии, но его собственная лагерная жизнь подсказывала, что большинство из них в нормальных условиях остались бы жить. Сон и немного разнообразить

питание – больше им ничего не нужно было. Но были и такие, кого смерть уже отметила. Один из нижних стал жаловаться, что ему сегодня совсем не давали еды, что он человек умственного труда и ему необходимо питание. В его взгляде было легкое безумие, как будто он был уже не здесь. Может, оно и к лучшему, – мелькнуло в голове Горчакова. Но человек настаивал с тихим раздражением:

– Моя фамилия Нестеров, вы должны объяснить мне, что со мной происходит. Почему я здесь? Я пойму, да, пожалуйста, скажите, как есть! – говоря, он все время смотрел в сторону, а потом встал, высокий и худой, как скелет из кабинета по анатомии. Живот так втянут, что через него виден позвоночник. Нестеров, не дожидаясь ответа, снова лег и отвернулся от Горчакова. Кожа на его шее была «цвета мореного дуба», как это определял Должанский. Верный признак пеллагры.

«На последней стадии возникает белковое голодание и организм начинает потреблять белок костей, мышц и кожи, а при тяжелых состояниях – белок внутренних органов и в последнюю очередь – белок мозга».

До умирающего существа, которое было когда-то Нестеровым, никому в этом бараке не было дела. Никто не знал, не хотел знать и нисколько не интересовался его личностью. Мне ведь тоже нет до него дела, думал Горчаков, – у меня нет времени и сил, их тут четыре сотни. Они умирают в полном одиночестве, мало кого из них ждут на воле, поэтому и неплохо, что большинство сначала сходит с ума и перестает понимать действительность.

Георгий Николаевич пометил Нестерова, перешел дальше, присел к старику, уткнувшемуся в черную подушку. У него над плечом неожиданно снова возник Нестеров:

– Благодарю вас! – заговорил все так же негромко, скосив глаза в сторону и вверх. – Мне сейчас дадут полноценный обед. Баланду и бациллы! Это важно! Санитар уже пошел... – он исчез так же, как появился.

Старик, скорее всего, был калмыком, он медленно повернул голову и посмотрел на Горчакова долгим взглядом, потом двинул руку к письму, торчащему из-под матраса.

Горчаков вытащил конверт с обратным адресом:

– Напишу, – сказал негромко.

Ему не раз попадало за такие письма, и в ШИЗО сживал... Сообщать о смерти в лагере было запрещено категорически. Изменники Родины, контрреволюционеры, враги великого советского народа, вроде этого старика, должны были исчезать из жизни без следа...

Горчаков всегда, когда получалось, писал.

Старик умер через два дня. По санкарте ему было тридцать шесть лет. Он был казаком.

Горчаков вторую ночь не спал на новом месте. Ворочался, и не хотел, а с тихой радостью вспоминал команду «Полярного» – возвращаться в лагерь было тяжело. Это не было чем-то новым, но сейчас вызывало душную тоску.

Особенно мысли о Николь рождали какие-то посторонние чувства. Это были чувства, не зависящие от него. Не любовь, конечно, любовь и лагерь несовместимы, но своим независимым видом, блеском прекрасных несмирившихся глаз Николь ворошила в нем что-то глубокое и прочно забытое.

Он встал, набросил телогрейку и вышел покурить. Было уже давно светло, очередь из больных пеллагрой стояла в длинный туалет оздоровительного пункта. Многие сидели за сортиром, вдоль колючей проволоки, белели тощими голыми задами. Гадили прямо на землю, ругались, материли, кололи друг другу глаза смертью, которая ходила рядом, хрипели от ненависти – кто раньше сдохнет...

35

В Усть-Порту загрузились и уже готовились отойти, ждали хлеб с пекарни. Белов стоял на теплом утреннем солнце у кучи угля на корме и соображал, хватит ли. Сыпать, впрочем, больше было некуда...

По пристани быстрым, уверенным шагом загремели сапоги, Сан Саныч обернулся, офицер и трое бойцов, все с оружием перешли по трапу на борт «Полярного». Офицер направился к рубке, один солдат – автомат стволom вперед – шел к Белову. Сан Саныч замер, от неожиданности в голове зашумели самые страшные мысли, он не мог вспомнить, где сейчас Николь.

– Нам нужен капитан! – солдат смотрел требовательно.

– Я капитан! – ответил машинально.

– Пройдемте!

– Куда? – Белов взялся за фальшборт, словно это могло спасти.

– Капитан Белов? – к ним с пистолетом в руке шел лейтенант госбезопасности.

– Это я... капитан... – Сан Саныч не узнавал своего голоса.

– Пройдемте в вашу каюту!

Белов совсем перестал соображать, он все держался за фальшборт и тупо смотрел на лейтенанта. На берегу появились боцман и два матроса. На плечах мешки с горячим хлебом.

– Капитан, пройдемте к вам в каюту, у нас ордер! – лейтенант смотрел настойчиво.

– Да-да, сейчас... – Сан Саныч очнулся и, торопясь, чтобы не увидели матросы, направился в свой кубрик.

На входе лейтенант аккуратно, но крепко взял его за локоть и спросил тихо:

– Камбуз здесь? – кивнул на дверь камбуза.

– Да...

Сан Саныч понимал, что пришли за ним и за Николь, у него подгибались колени, он не понимал, как двигался. В голове стучало. Вошли в каюту. Наверху у камбуза загрели солдатские сапоги, слышались женские голоса.

– Не волнуйтесь, капитан! – лейтенант следил за его реакцией. – Вы побледнели! Александр Александрович, что с вами? Вот ордер! – он достал бумагу, но не разворачивал ее.

Сан Саныч стоял, стиснув зубы, у Николь могли быть не в порядке документы, которые дал Габунья... но почему столько солдат? Из головы не шла подлая ухмылка Квасова. Лейтенант следил за Беловым, сам внимательно слушал, что делается на камбузе. Когда там все стихло, повернулся к Белову, прищурился уверенно и строго:

– У вас работает Трофимова?

Сан Саныч не понял, о ком его спрашивают.

– Трофимова Нина Степановна? – уточнил лейтенант.

Белов нахмурился, машинально кивнул, он не понимал, при чем здесь повариха.

– Она арестована как опасный военный преступник!

Сан Саныч стоял, не понимая. До него доходил какой-то новый смысл.

– Только она? Ее только... – спросил глупо, чувствуя, как внутри все затряслось – пришли не за ними...

– Я из Москвы, это спецоперация. Трофимова находится во всесоюзном розыске.

Лейтенант говорил негромко, все прислушивался, что делалось наверху, потом вышел из каюты и поднялся по громким ступенькам. Вскоре вернулся. Страх Сан Саныча за эту минуту сменился трусливой радостью, радость нарастала, он еле удержался, чтобы не пожать лейтенанту руку. Сердце стучало так, что было слышно.

– Все в порядке. Мне понадобится ваша помощь... – лейтенант подумал о чем-то. – Можно прямо здесь! – он совсем уже расслабленно и даже весело улыбнулся. Нагнулся в приоткрытый иллюминатор. – Красота у вас тут! Завидую! Всю юность мечтал стать моряком!

Он сел к столу и достал из планшета бланки допроса.

– Вы хотите арестовать Нину Степановну?

– Так точно. Уже арестовали!

– А что она могла сделать, она же все время на судне? – Сан Саныч еще не отошел от страха, говорил не своим голосом.

Лейтенант что-то записал и, с интересом посмотрев на Белова, отодвинул бумаги:

– Товарищ Белов, а не хотите со мной позавтракать? Я с самолета, всю ночь летели, голодный как собака! Я прикажу, пусть принесут сюда, по сто грамм врежем? А? Я впервые в таких местах, тут ведь до края земли рукой подать?

Сан Саныч ничего не соображал, там, на камбузе, была и Николь, он только об этом и думал, в голове вертелась какая-то недостача продуктов... Что еще могла сделать кокша? За Степановной такого не водилось. И почему – всесоюзный розыск!

– Так что? Выпьем по маленькой?!

– Конечно. Можно. Степановна накроет... – он споткнулся на секунду, но продолжил: – Так вы ее арестовать хотите? Я не понял? Какой же она военный преступник, товарищ лейтенант? Она ранена была, всю войну на передовой, ротной санитаркой, ее с кем-то перепутали. Я уверен!

– Ее уже увели, Александр Александрович, и сегодня же увезем в Красноярск, а потом в Москву. Ошибки нет, – лейтенант смотрел снисходительно, – Трофимова Нина Степановна, 1913 года рождения, рваный шрам на лбу, зубы справа железные... Он достал фотографии. Она?

Белов рассмотрел. Фронтовые – Степановна была непохожа на себя – счастливое лицо, красивое, молодое. И позже, со шрамом, анфас и в профиль.

– Подождите, – засуетился Сан Саныч, – сейчас я попрошу, мы накроем, я вам все расскажу – она очень ответственная женщина, у нас в команде ее все мамой зовут, даже Грач! Честное слово!

Белов выскочил наверх и столкнулся со старпомом, тот курил чернее тучи.

– Фролыч, давайте еды, какой получше! Срочно! Надо угостить... – он кивнул через плечо и увидел улыбающегося лейтенанта, который неслышно поднялся следом.

– Не беспокойтесь, Александр Александрович, все есть! – лейтенант махнул кому-то в сторону причала. Там стояло несколько военных и местное начальство.

Вскоре стол в каюте Белова был накрыт, Николь не появилась – и хорошо, подумал Сан Саныч, – ее легкие шаги несколько раз прозвучали по палубе – стряпню с камбуза принес Егор. Пирожки с картошкой и жареным луком, оладьи из икры. Но на столе уже были и оленина, и колбаса, и разная рыба с Усть-Портовского завода.

Лейтенант налил коньяк, распахнул иллюминатор, любуясь на реку:

– Какая же огромная и прекрасная наша Родина! Две тысячи километров летели сюда из Красноярска. И все тайга нетронутая, богатая, ждущая рук людей! Огромная река, полная рыбы! Тундра, озера, стада диких оленей! Выпьем за нашу Родину, капитан! Вы ее покоряете, мы охраняем!

Выпили. Лейтенант с веселой жадностью голодного и здорового человека принялся все пробовать. Налил еще, чокнулись без тоста. Белов улыбался, ему казалось, что сейчас все наладится, не может такой славный человек сделать плохо.

– Простые пирожки, а вкуснота! За уши не оттащишь! – хвалил лейтенант полным ртом.

– Степановна стряпала! Она из ничего может приготовить! У нее в конце навигации всегда продукты остаются! С другими капитанами поговори – никогда не хватает, а эта ничего себе не возьмет! Кристально честная женщина!

– Давно ее знаешь? – лейтенант чокнулся, улыбаясь, и перешел на ты.

– Работает у меня? Вторую навигацию. Честнейшая! Честное слово! Не может быть, что она что-то... – Белов сделал дураковатое лицо, слегка извиняясь, что такое говорит.

– Трофимова – опасный человек, – лейтенант стал серьезным, – во время войны она совершила предательство, а три года назад бежала из-под следствия.

– Не может быть?! Степановна?! Предательство?!

– В Севастополе во время отступления она должна была эвакуировать тяжелораненых бойцов из подвала, но не сделала этого, а сдала всех в плен немцам. Шестнадцать человек. Сама вместе с ними осталась в этом подвале, сама позвала немцев. Вместо того чтобы дать бойцам возможность защищаться! Она не дала им оружие... радовалась приходу немцев и обкладывала Красную армию и ее руководство самым грязным матом.

Белов невольно улыбнулся, вспоминая, как могла завернуть Степановна.

– Они же тяжелораненые, как же они могли защищаться?

– Это мы выясним.

– Ну конечно, это не она была! Она же всю войну прошла, в сорок пятом в Кенигсберге закончила. Севастополь – это сорок второй! Не сдавалась она, лейтенант!

– Из этих бойцов, капитан, несколько человек выжили в немецком плену и дали на нее показания, это было в сорок пятом... А как она после плена снова оказалась в нашей армии, это тоже интересный вопрос. У предательства нет срока давности, капитан, все ответят... – Лейтенант разлил еще, поднял стакан и продолжил: – Ее взяли через два года после войны. В Астрахани спряталась в рыболовецкой бригаде. Этапировали, а по дороге, оглушив конвоира, она убежала из поезда. И оказалась здесь... Тут целый детектив, капитан.

Он выпил. Сан Саныч тоже махнул рюмку для храбрости.

– Но от нас не скроешься, – лейтенант блаженно вздохнул, удержался от того, чтобы рыгнуть, и сыто погладил себя по животу.

– Как же вы узнали, где она?

– Я не на все вопросы отвечаю, капитан, – лейтенант снова сунулся в иллюминатор, потянул воздух. – Эх, взять бы отпуск да пару недель вот так с тобой поплавать. Отоспаться, поохотиться, у меня КМС^[115] по стрельбе! Я больше всего утиную охоту люблю! Нет, честно, я неплохо стреляю!

– Товарищ лейтенант! – в дверь кубрика осторожно постучали.

– Иду! – лейтенант встал, протягивая крепкую руку. – Ну, товарищ капитан Белов, спасибо за гостеприимство, посидел бы еще, но у меня самолет, а ты сегодня зайти в комендатуру, показания оставь, кто с ней из экипажа дружил.

– Да у нее со всеми... но чтобы дружить, такого не было... – Белов суетливо поднялся. – Она на кухне все время, работы много.

– Вот! Не дружила! Значит, было что скрывать! Расскажешь все, ну, бывай здоров!

– Но если кто обращался, обязательно помогала... – Белов удержал за руку лейтенанта.

– Не расстраивайся, капитан, так бывает. Может, она и хорошая повариха, но закон нарушила... И вообще, скажу тебе по секрету, – он взял Белова за пуговицу, – законность будем укреплять. Война разбаловала народ, победа не только делает героев, но и портит. Пить стали больше, – он кивнул на коньяк и подмигнул. – Барахла наташили, на красивую жизнь насмотрелись, а нам страну надо строить! Что я тебе говорю, ты и так ее строишь!

Лейтенант не рисовался, он был умный, симпатичный, образованный, он верил в то, что говорил. Белов это видел, более того, он со многим, если не со всем, был согласен.

– И не советую ее выгораживать! Ей не поможешь, а себе можешь навредить. Ну, счастливо! – и он исчез, бодро взбежав по ступеням.

Белов сидел, ничего не понимая. Он не смог ничего внятного сказать про Степановну. Лейтенант честно делал свое дело, это был совсем не Квасов, и ему можно было все рассказать. Вздрогнул, услышав легкие шаги по лесенке, это была Николь:

– За что ее? – зареванная, взгляд слегка сумасшедший.

Белов молчал.

– Что она сделала? – в глазах Николь навернулись слезы, а вместе с ними закипало тихое бешенство.

Сан Саныч поднял голову:

– Сядь, я не знаю...

– Но ты разговаривал с ним... пил водку!

Сан Саныч посмотрел на еду и недопитую бутылку, вздохнул судорожно:

– Говорит... – он посмотрел на Николь, соображая, можно ли это рассказывать, – говорит, во время войны сдалась в плен.

– И что?! – удивилась девушка.

– Я не знаю... этого нельзя было делать... Будет следствие, разберутся.

– Нет, я не понимаю! Объясни!

– Это у нее уже второй арест, она сбежала три года назад, и они искали ее по всей стране. Она не должна была убегать, если бежала, значит, знала, что виновата... – неожиданно для самого себя сделал вывод Сан Саныч.

– Ты пьяный?!

– Я? Нет! – нахмурился Белов.

– Они не могут, не имеют права за это арестовывать! Во всех армиях мира человек, если он уже не может, обязан сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Эту жизнь ему дал Господь, а не Сталин! Ваш Сталин может только отнять жизнь!

– Тихо, что ты! – Сан Саныч встал и прижал ее к себе. – Если бы мы сдавались, мы никогда не победили бы.

– А вы не сдавались?! – Николь оттолкнула его от себя, слезы текли по щекам. – Целыми дивизиями и еще больше! Нина два раза в окружении была. И не говори, что ты этого не знаешь! Все это знают! Вы русские совсем ненормальные – не хотите знать про себя правду! Вы – идиоты! Врете сами себе!

Она смазала слезы, нахмурилась, села, собрав в кулак передник.

– Сделать ничего нельзя? Только убежать? Может, она и сейчас убежит? – Николь глянула на Белова, будто ища поддержки, и тут же отвернулась. – О, как я ее люблю и уважаю! Почему у вас всех хороших людей надо обязательно арестовывать?

По лесенке зашуршали шаги, Фролыч встал в дверном проеме:

– Тебя в комендатуру требуют... – старпом смотрел угрюмо. – Не говори там лишнего, Сан Саныч.

Белов нахмурился, открыл шкаф и достал шинель. Одинокий орден блеснул рубиново. Он посмотрел на него, отцепил и бросил в ящик стола.

Вышли только на следующий день. На судне стояла тяжелая тишина, никто ни с кем не разговаривал, не смеялись, как будто все были виноваты в аресте Степановны.

По правому боку «Полярного» была приторочена небольшая, чуть длиннее буксира баржа-углярка. Хотя и по течению, а шли медленно, баржа была такая старая, что тянуть ее на буксире было опасно. В трюме углярки плыли спецпереселенцы. Их сопровождал уполномоченный с портфелем. Сам он жил на «Полярном». Вытребовал себе место.

Путь был неблизкий, последние полторы сотни километров предстояло пройти по Енисейскому заливу. Сан Саныч не знал, как поведет себя баржа в шторм, пошел еще раз проверить. Пожилой конвоир лежал на палубе за штабелем ящиков, курил и сам с собой играл в карты. Карабин рядом. Белов рассмотрел его, не понимая, зачем ссыльным вооруженный конвой, спрашивать ничего не стал. Вчерашние события так омрачили жизнь, что вообще ничего не хотелось. Он все время думал об аресте Нины Степановны и ничего не мог придумать. Николь ходила тихая, как будто и обиженная на него, и ни о чем не спрашивала.

Белов спустился по лестнице в кормовой люк баржи, уголь, видно, давно не возили, крепко пахло ржавой селедкой, еще чем-то несвежим, куревом. Трюм был очень темный, трехметровой высоты. Люди расположились вдоль бортов, в дальней носовой части под открытым люком было посветлее и занавешено простынями. Женщины, – понял Белов, присматриваясь к темноте.

Здесь, у лестницы под светом из широкого люка, на кое-как сколоченных нарах сидели с десятков молодых людей. Давили насекомых. Кто-то просто раззявил подштанники, искал по швам, кто-то снял гимнастерку и обрабатывал ворот. Они были так заняты, так кровожадно комментировали смерть беззащитных животных, что не обратили внимания на капитана. Сан Саныч невольно улыбнулся,

слушая, как ребята считали свои жертвы, соцсоревнование у них было. Белов шагнул дальше в темноту трюма, впереди несколько коптилок чадило, надо было проверить, чтобы пожара не наделали...

– Товарищ капитан, – раздался молодой голос с сильным прибалтийским акцентом, – а куда нас везут?

Белов обернулся, соображая, можно ли им сообщать. Парнишка, лет шестнадцати-семнадцати, светловолосый и симпатичный, заправлял рубашку в явно великоватые ему штаны. Улыбался открыто. Сан Саныч опять вспомнил про арест Степановны и решительнее развернулся навстречу:

– За Сопочную Каргу, на речку Сариха, вам не сказали?

– Нам никогда не говорят... – вежливо и беззлобно пояснил парень. – Меня Гунар зовут. Это далеко?

– Километров триста пятьдесят. На рыбалку везут? – в свою очередь спросил Сан Саныч.

– Мы не знаем, вторую неделю в этой барже живем...

– Товарищ капитан! – послышался торопливый голос, опасливые сапоги спускались по лестнице, потом и их хозяин заглянул в трюм. Это был уполномоченный. – Товарищ капитан, нельзя с ними, вы нарушаете инструкцию. Они специки!

Сан Саныч поднялся на палубу.

– Сопровождающий спецпереселенцев уполномоченный Турайкин! Никифор Григорьевич! – сопровождающий уже в третий раз ему представлялся. – Я должен вас предупредить.

Турайкин был невысокий, с небольшим пузцом и гитлеровским бантиком усов. Его бестолковые глаза под кустистыми бровями ничего не выражали, а были просто неприятные отчего-то – по нему не понять было, что он хочет на самом деле. И еще этот потрепанный черный портфель в руках. Турайкин щелкнул портсигаром, угощая:

– О чем предупредить? – Белов смотрел не очень добро, не замечая портсигара.

– Товарищ капитан, спецконтингент не должен знать ни маршрута следования, ни времени в пути, экипаж не должен с ними общаться. Я своим распоряжением запретил им переходить на борт «Полярного», но кухня одна, поэтому они все равно ходят...

Пока он это говорил, Николь легко перебралась на баржу через фальшборт и быстро спустилась в трюм. Турайкин заметил это,

застыл, соображая:

– Кто эта девушка?

– Наш повар, – взгляд Белова тяжелел, ему уже хотелось врезать в морду этому Турайкину.

– Запретите ей общаться с ссыльными! Я уже кочегара одного вашего выгнал, он тоже из Литвы! Вы понимаете?

– Да что я должен понимать? Что это за опасные люди и зачем вы их везете с конвоем?

– Я вам не подчиняюсь, но вы должны знать. – Он заговорил тише. – Это особо опасные ссыльные! Все изолированы в 1949-м, родственники «лесных братьев», члены семей! А кто-то и сам по лесам бегал, только доказать не удалось. Их собрали из ссыльных поселков, начиная от Дудинки, и везем подальше. Самых отъявленных! По хорошему, их надо было сразу в каторжный лагерь!

– Женщины тоже отъявленные?

– И женщины! Вы их еще не видели!

– Там с грудными детьми есть...

– Они сами отказались сдать их в дом ребенка. Здесь все изменники...

Неожиданно из трюма раздалось пение. Кто-то громко и красиво пел романс. Белов с сопровождающим повернулись к распахнутому люку. Матрос Климов тоже перестал работать в корме, распрямился, улыбаясь.

– Это он специально! – у Турайкина ходили желваки на бледном лице. – Я ему запрещал! Что за радость такая?! Сейчас еще оперу запоем...

– А зачем вы их на Сариху везете? – перебил Белов.

– Обустроить спецпоселение, рыбацкую факторию будут строить.

– Но там уже снег лежит...

– Вы, товарищ капитан, о них не беспокойтесь. Вы их еще не знаете, узнаете, по-другому заговорите! А мне с ними жить! Строить жилье и ловить рыбу – у нас план! И дисциплина мне сейчас нужна, потом поздно будет!

В трюме раздалась аплодисменты. Потом тот же голос запел снова. Турайкин решительно направился на вверенную ему баржу. Все

это было бы похоже на глупую комедию, а Турайкин на плохого клоуна, если бы не живые люди, сидящие в грязном трюме.

Ночью Николь рассказывала Белову об аресте Нины Степановны. Раздевалась, иногда замирала надолго и рассказывала... Кокша, увидев направленный на нее автомат бойца, ничему не удивилась, вытерла руки о фартук и подставила под наручники.

– Она ничего не сказала? – спросил Сан Саныч.

– Нет, сунула хлеб в вещмешок и пошла. – Николь спустила один чулок и замерла. – Не взглянула ни на кого, даже со мной не попрощалась! Я думала, мы с ней подруги... – Николь юркнула к стенке и прижалась к Сан Санычу. От нее пахло посудой, которую она только что мыла.

– На кухне справляешься?

– Справляюсь, ребята теперь кубрик сами убирают, Егор сегодня картошку чистил... – Она помолчала. – У ссыльных продукты заканчиваются, выдали на месяц, а пока ждали нашего буксира, почти все съели. И не мылись две недели! Этот Никифор Григорьевич такая скотина, командует все время, а ничего не делает! Такой важняк! Ходит со своим дурацким портфелем или руки за спиной. Насмотрелся в лагере! Он же сам сидел недавно, а спецами их зовет... дурак и все! Я ему сковородой по башке дам, он все время на кухню лезет.

– А кто у них поет?

– Герберт, он инженер, такой славный... – Николь захихикала.

– Ты что?

– Я спускаюсь сегодня, а Герберт давит вшей и тихо поет «Я встретил вас...». Знаешь, такой красивый романс на стихи Пушкина. Щелкает вшами в портках и поет!

Сан Саныч улыбался на слово «важняк», вообще на то, что она, такая тонкая и нежная, так хорошо изъясняется по-русски, столько всего знает и ловко вставляет лагерные словечки, а то и мат... Он улыбался и засыпал, день получился тяжелый, через четыре часа надо было вставать на вахту. Степановна, которая еще вчера была просто хорошей поварихой, которую все любили, сейчас летела куда-то по этапу. Он все время о ней думал, вспоминал, и ему становилось понятно, почему команда звала ее «мама».

Уже на другой день начались хорошие охотничьи места, несколько раз видели оленей, и в тундре, и переплывающих, но Белов не

останавливался, арест кокши отбил всякое настроение, да и в трюме баржи было холодно и время от времени плакал ребенок – грудных было двое. Сан Саныч поторапливался, насколько позволяла погода.

Тормозил движение Турайкин. Вообще вел себя странно – сначала сутки продержал всех в Казанцево и Карауле, потом двое суток в Воронцово. Уходил, глупо помахивая портфелем, приводил коменданта, объяснял что-то, показывая на баржу. Ссылных на берег не выпускал, выставлял караульного, и люди бродили по палубе, с тоской посматривая на поселок.

В Воронцово – они стояли вторые сутки, дело шло к вечеру – Белов не выдержал и отправился его искать. Нашел в жарко натопленной избе председателя колхоза. Турайкин, отирая пот, пил чай. Самогонка и закуска стояли на столе. Сан Саныч вскипел, а сопровождающий как ни в чем не бывало оделся, взял приготовленную для него копченую рыбу и вышел вслед за Беловым.

– Куда торопитесь, Александр Александрович, все равно ждать ответа. Связь будет, – он посмотрел на часы, – через сорок минут. Я действую по инструкциям, выданным мне в управлении госбезопасности Дудинки, у меня специков семьдесят человек! Ответственность! – Турайкин был благодушен, от него крепко пахло сивухой.

– В трюме, где сидят ваши ссылные, очень холодно, Никифор Григорьевич! Там половина больные уже! Мы чего здесь ждем?

– Зря вы так, товарищ капитан, я с Дудинкой связываюсь по радиации! Они там все понимают, но пока решить не могут!

– Да что решить?

– Этого не могу вам сказать!

– Я вам предлагал, оставайтесь, решайте, мы их отвезем, пусть жильё строят, рыбачат, они уже третий день на пустой баланде сидят. А вы потом с попутным транспортом... Вы что, специально их голодом морите?

– Сами виноваты, у них американская тушенка была и молоко сухое! На целый месяц! А штаны видели на них?! На некоторых! Тоже американские! Вот как их государство обеспечивает, а они все сожрали и теперь голодают! Ничего, у нас вся страна голодала, пока они там под немцами гранманже кушали, пусть и они теперь...

В комендатуре он, видно, тоже здорово надоел, никакого ответа на его радиогранму не пришло, комендант поднялся и попросил их выйти:

– Закрывается комендатура. До утра. Извините, товарищ Белов...

– Ну ничего, завтра так завтра, мне из Дудинки ответ обязательно нужен! – Турайкин как будто рад был, что дело опять откладывается. – Охрану-то не усилите мне, товарищ комендант? Ночь на дворе, а они особо опасные!

Комендант закрыл дверь на замок и ушел, кивнув Белову. Они с Турайкиным пошли на судно. По дороге Сан Саныч вдруг остановился:

– Мы сейчас уходим!

– Никак нельзя... – начал было Турайкин.

– Тогда создаю комиссию и составляю акт, – перебил Белов. – Зафиксируем, что вы пьяный в рабочее время! А людей голодом морите!

Турайкин, видно, не ожидал ничего такого, шел некоторое время молча.

– Хорошо, но если придет положительный ответ, под суд пойдете вы!

– Какой ответ? – не понимал Белов.

– Государственная тайна!

Последним населенным пунктом была Сопочная карга, до нее оставалось тридцать пять километров. Покачивало изрядно, и шли совсем медленно. Стемнело. Певец Герберт выбрался на пустую палубу, встал за ящиками, слушая сложные звуки шумящей вдоль борта ночной воды. На небе было немного звезд, он задрал голову и нечаянно попал рукой в... муку. Рядом с ним стоял раскрытый куль муки. Герберт замер, соображая, почему он раскрыт, даже в ночи был виден манящий белый цвет. Герберт еще немного подумал и стал быстро наполнять карман. Когда тот тяжело разбух, певец, воровато оглядевшись, на трясущихся ногах направился в сторону трюма. Уже представлял, как заварят болтушку... И тут через фальшборт «Полярного» перескочил Турайкин. Радостно похлопал Герберта по торчащему карману, ткнул пальцем в штанину, обсыпанную мукой:

– А ну-ка следуй за мной! – он потащил его вниз.

В трюме, при свете коптилки и свидетельстве его притихших обитателей, по всей форме был составлен протокол о краже государственного имущества. Пока Никифор Григорьевич писал, он вволю поиздевался, объясняя всем, сколько за это «светит» и где Герберт будет отбывать... Никифор Григорьевич хорошо знал окрестные лагеря.

– Пять лет, минимум... – шептал кто-то в темноте.

– Отец у тебя где работал? – закончил писать Турайкин.

– Преподавал историю в институте, он профессор! Гражданин Турайкин, простите меня, я нечаянно... сам не знаю, как получилось. Мне очень стыдно! Честное слово! Разрешите, я отдам муку и... я больше не буду петь... – просил Герберт.

– Он очень голодный! – слышались голоса из темноты. – Он никогда не был вором! Зачем вы пишете?!

– Разговоры! Конвой сейчас вызову! Факт кражи государственного имущества налицо?! Налицо! А остальное он к борту волок, выбросить хотел! Он знал, что у нас муки мало! За мной проследуй! – и Турайкин полез на палубу.

– Политику шьет, – зашептались, – 58-ю могут впаять, пункт 14, контрреволюционный саботаж. Это не пять, а все пятнадцать!

Турайкин привел несчастного Герберта в каюту комсостава. Белов, Фролыч и Грач ужинали, подняли головы на стук.

– Попрошу быть свидетелями, товарищи, смотрите и слушайте! Перед вами сынок прокурора, продажного слуги латвийской буржуазии, – с места в карьер начал Турайкин, демонстрируя карман с мукой.

Герберт стоял красный, безропотно показывая муку, и невольно принюхивался к запаху каши, которую ели в кубрике.

– Сынок буржуйского прокурора и не мог поступить иначе! Если бы я случайно не увидел, он, наполнив свой карман, выбросил бы весь куль за борт, он уже начал его подтаскивать...

– Это неправда! – возмутился Герберт.

– Да-да! – почти ликуя продолжил сопровождающий. – Куль этот принадлежит команде буксира «Полярный», и я как уполномоченный обязан принять меры. Протокол готов, его должен подписать ответственный за продукты.

– От нас-то вы что хотите? – спросил Фролыч недобро.

– Чтобы вы знали...

– Мы и так все знаем, – перебил Турайкина старпом, – лучше накормите парня, чем срамить.

– Это, товарищ, вы сейчас близоруко сказали! – засверкал глазами Турайкин. – Его ждет справедливый советский суд! Вы будете свидетелями!

– Завтра! – остановил его Белов. – Завтра со всем разберемся.

Когда они вышли, Фролыч бросил ложку в кашу:

– Вот сука! Как эта мука вообще к ним попала?!

– Николюшка ему дала, сказал взаимнообразно, в Сопкарге, мол, отдаст... – Грач доел свою кашу. – Я сам видел, как он его на баржу попер.

– На приманку он их ловил, тварь! Голодных! – у старпома бровь дергалась. – Как это можно, чтобы от такой гниды столько людей зависело?! Он же идиот законченный! Он их угробит!

– Нам бы, ребята, не связываться, вишь, вроде и ссыльные, а с конвоиром! Да еще колгота эта вокруг них, во всех поселках стоим. Чем-то они провинились... – Грач вытащил кисет и посматривал вокруг, где оторвать бумажку.

Наутро Турайкин пришел на камбуз к Николь:

– Здравия желаю, хотел поинтересоваться, не видели вчерашний куль? Куда делся?

– Обрато забрала, оладья стряпала.

Турайкин на секунду задумался, принюхиваясь к запаху свежих оладушек.

– Ага, хорошо, тогда подпись поставьте, – он аккуратно вытащил бумагу из портфеля.

– Что это?

– Протокол о недостатке муки!

– У кого недостача?

– У вас! Муку же украли! Тут все зафиксировано, не сомневайтесь, – Турайкин совал бумагу и химический карандаш. – Карандаш-то послунявьте и подписывайте!

– Вы, товарищ, зачем придумываете глупости, нет у меня никакой недостачи, – она зачерпнула черпак горячего супа, подула на него,

заглядывая в бумажку, и вдруг весь черпак и опрокинулся! На протокол, в портфель и на китель Турайкина.

– Уй-й-й!!! – взвопил сопровождающий уполномоченный, тряся бумагой и выскакивая из камбуза. – Ты что?!

– Вы меня простите, я тут варю суп на команду, а вы лезете... И вопросы какие-то глупые, клинья бьете, так и скажите... – Николь, валяя дурочку, выглянула наружу. – Вон уже Сопкарга, мне людей кормить, не мешайте, товарищ.

Турайкин трясущимися руками пытался стереть суп, но химический карандаш уже расплылся по бумаге. Из портфеля капало и свисала капуста. Он свирепо сдвинул брови и бросился в рубку.

– Саботаж! – распахнул дверь.

– Стоянка в Сопкарге два часа! – Белов сам стоял за штурвалом. – Прошу не опаздывать!

В поселке Турайкин, не сказав никому ни слова, первым скатился по трапу. Белов надел шинель, звезду нацепил на черный китель и отправился следом. Здесь снег уже лежал капитально и поселок выглядел чистенько, как заяц, переодевшийся к зиме. Машин в Сопкарге не водилось, дорога была укатана санками, утоптана людьми, собаками и оленями. Погода была пасмурная, но без ветра и обещала снег. Сан Саныч посматривал на небо, он шел добить этого Турайкина, прямо видел, как выведет эту тупую сволочь на чистую воду.

Турайкин оказался простым бригадиром и всю свою власть придумал сам. Но победить его, поставить на место здравым смыслом не вышло. Самоуполномоченный, благодаря тупости и житейскому цинизму, легко остался на плаву.

Эту спецбригаду в порядке рвения по службе изобрел начальник Дудинского райотдела госбезопасности. Со стороны начальства затея могла выглядеть убедительно: собрать из разных поселков проштрафившихся и отправить в наказание почти к Диксону. И похвальная строгость применена, и для отчета неплохо – заложен еще один рыбацкий поселок ссыльнопоселенцев.

Турайкина назначили бригадиром, и он, упирая на то, что ссыльные неблагополучные, требовал перевода бригады на режим лагпункта. Часть дела ему каким-то образом удалась – уже в Усть-Порту получил он одного конвойного, во всех же остальных

населенных пунктах, где были радиостанции, он сочинял длинные радиограммы, в которых обосновывал и требовал.

Белов в Сопкарге дал две радиограммы своему начальству, но толку это не принесло – «Полярный», простояв два дня, взял на борт еще двух бойцов. Конвоиров стало трое, и уполномоченный бригадир Турайкин, собственным приказом на весь период работ объявил режим лагпункта. Народ в трюме пороптал, но не сильно, разница была невелика, всех больше волновало, что ждет их на новом месте, до которого осталось двадцать с небольшим километров. Берега залива давно уже по-зимнему были укрыты снегом. За кормой баржи добавились две большие рыбацкие лодки.

Речка Сариха, вытекающая из тундры, выглядела холодно и неуютно. Белов подвел баржу к самому берегу, бросили трапы, и люди стали спускаться. С узлами, чемоданами, мешками, кто-то нес большой котел, кто-то металлическую печку... Люди толпились на берегу, посматривая на баржу и буксир, дымящий высокой трубой. Как будто хотели вернуться, не обнаружив на берегу ничего кроме унылого, укрытого снегом, кочковатого пространства да навала плавника на берегу. Единственное строение – небольшой старенький балок стоял в отдалении на берегу речки.

– Пошевеливайся, давай! – покрикивал Турайкин, которого никто не слушал. – Инструмент и продукты – сюда, очистить здесь от снега!

Он суетился бестолково, люди же привычно взялись за работу, невысокий старичок негромко распоряжался делами, определял, куда поставить лодки. Часть людей натягивали навес от снега, который нет-нет срывался мелко с набрякшего неба. Народ в основном был молодой, вскоре уже и первый смех раздался. Конвоиры у балка запалили костер и сели вокруг.

Вскоре ни на палубе баржи, ни в трюме в особом помещении, который уполномоченный держал под замком, ничего не осталось. Турайкина окружили мужчины, выясняли что-то с горячностью, не характерной для спокойных прибалтов. На шестьдесят пять человек работников было всего шесть лопат, три топора, две двуручные пилы и две ножовки. Ящик огромных, не очень нужных гвоздей... несколько мотков колючей проволоки... Многих нужных вещей не было совсем.

Сан Саныч с Фролычем наблюдали все это угрюмо. Недостающего полно было на складах в поселках, которые они проплыли, не говоря о Дудинке или Игарке. Турайкин сам спустился в трюм, выбрался озабоченный:

– Что ищете? – спросил Белов.

– Веревки куда-то задевались...

– А сети где же? – спросил Фролыч.

– Сетей не брали. Невод есть...

– Зимой тоже неводом будешь ловить? – старпом смотрел с откровенной ненавистью. – Ты, Никифор, бумажки свои выправил?

– Выправил!

– И конвоиров добился?

– Добился! – с вызовом ответил уполномоченный. – Граница рядом, дорогой товарищ! А у них лодки! Уплывут, кто отвечать будет?!

– На лодке? Ты с какой осины упал, сволочь?!

– Попрошу не оскорблять при подчиненных! – огрызнулся Турайкин и отправился на берег.

Мужики опять его окружили.

Через некоторое время с борта «Полярного» стали спускаться люди с мешками за плечами. Отдали сети, веревок, несколько лопат, лом, два топора, ящик гвоздей. Оставили и еды.

Пошел снег, ветер менялся, заходил промозглый север, и на глазах становилось холоднее. На берегу поторапливались, закрывались от снега брезентом, дрова пилили и кололи, благо их по берегу было много. Фролыч вышел из своей каюты с чем-то замотанным в мешковину:

– Оставлю им, Сан Саныч, свою мелкашку? Все равно не стреляю, у тебя патрончиков нет лишней сотенки?

– Точно! Фролыч! Я свою тоже отдам, у меня хорошо пристреляна...

Сан Саныч собрал в каюте все, что нужно, и, замотав в ту же мешковину, понес на берег. Уполномоченный был у балка и там тоже командовал. Белов отдал оружие одному из стариков. Костры горели, мокрые дрова застилали дымом весь табор, на нескольких наспех сделанных очагах уже готовилась еда, молодая мамаша кормила грудью. Народу очень много, как они тут устроятся, непонятно, – Сан Саныч хмурый поднялся на борт.

Когда отходили, снег пошел гуще, косо летел, закручивался вихрями, подчеркивая неустроенность и абсурд происходящего. Кочегар Повелас, Николь, Климов с Померанцевым стояли на корме, курили, прикрываясь от снега.

– Это они какую-то пакость придумали, – рассуждал Климов о Турайкине, – затевают чего-то... У нас в Ухте одного такого же подсадили, и он давай молодых склонять к побегу. Подкармливал их, кому-то хорошую обувь достал... шесть человек собрал, и уплыли ночью на лодке. А утром их догнали на катере – четверых убили, двоих судили показательно... Опер орден получил за ликвидацию побега. Я потом эту утку подсадную в другом лагере встречал.

В Сопкарге взяли баржу, груженую бочками, и двинулись на другую сторону залива в Дорофеевский. Едва вышли из-за мыса, север надавил так, что Белов не решился идти в темноте. Вернулись за каргу, в глубину залива, встали под самый берег. Здесь почти не качало, из черноты тундры летел снег, и на корме быстро рос высокий белый сугроб. Все попрятались по каютам, разговаривали о доме, о близком конце навигации, Грач журил Егора, что тот отдал ссыльным бочонок отборной туруханской селедки. Йонас и Повелас кипятили чай в горячей кочегарке, разговаривали о земляках, как-то ютящихся теперь у костров, о Дорофеевском. Они везли большие металлические таблички с именами погибших родственников.

Николь с Сан Санычем лежали в темноте, только свет ламп на палубе, отражаясь от волн, попадал в иллюминатор, лампы качались, и свет в каюте был слабым, но живым. Ветер временами наваливался, как следует, гудел в снастях, чем-то мелко хлестал по корпусу, Николь прислушивалась и теснее прижималась к Сан Санычу.

– Я с тобой не боюсь, – шептала. – Я всегда здесь была одна...

– Чего не боишься?

– Мне кажется, ничего не боюсь, но, наверное, это неправда. Все говорят, что я смелая, а я очень несмелая трусиха.

Она замолчала, думала. Потрепала Сан Саныча за плечо:

– Грач опять сказал, что «лесные братья» враги... а для меня они герои! Они встали за свою свободу! Против огромной и сильной Красной армии! Их Родина маленькая... вам это смешно, но маленькая Литва – это их Родина! И они за нее сражались. Они такие же герои,

как и русские партизаны! – Николь волновалась. – Я люблю русских солдат, они победили Гитлера и помогли освободить Францию от фашистов, я плакала за них, я молилась и желала им победы и удачи! Но почему сейчас они убивают тех, кто борется за свободу своей Родины?

Белов притянул ее к себе.

– Я тебя просил, не надо об этом...

– Французы, которые были в Сопротивлении и воевали с фашистами, герои! Это твои слова! Почему с прибалтами это не так?

– Немцы были захватчиками и агрессорами, а мы прибалтов освободили...

– От кого?! – возмутилась Николь. – Освободили и повезли в свинских вагонах в Сибирь?! Я сама в них ехала!

– Тише, Николь, давай не будем... Опять поругаемся. Ну что мы все время? Я же не против.

Николь помолчала, вздохнула судорожно:

– Да-да, я не хочу, ты такой красивый, ты мой муж! Да?! У меня никогда не было мужа... Мне повезло, Господь занес меня в такие края, чтобы здесь наградить Сан Санычем Беловым!

– Не тебя, а меня он наградил!

– Тебя не за что! Ты просто жил, а я много-много терпела... я иногда не понимала, зачем терплю, и хотела убить себя. Я серьезно говорю! А теперь ясно – как бы еще я могла получить тебя! Мы ведь подходим друг другу, правда? Ты же видел нас в зеркало? У нас одинаковые глаза – карие... – она приподнялась над ним и попыталась рассмотреть его лицо. Поцеловала быстро и снова легла, прижавшись. – Не видно ничего! А ты рад, что мы встретились?

– Ты уже восемнадцать раз спрашивала... – улыбнулся Сан Саныч.

– Ты говорил, что все бы бросил ради меня. И даже свой пароход – это ты врал! А кстати, куда мы денемся осенью? Я где буду жить?

– В Игарке. Снимем комнату.

– Ты будешь разводиться?

– Что-нибудь придумаем, по работе могут быть сложности, я – кандидат в члены партии... – Сан Саныч невольно вздохнул, это была самая поганая тема. По мере приближения к Игарке он все чаще вспоминал лейтенанта госбезопасности.

– Ладно-ладно, это неважно, я могу жить, где угодно... лучше, конечно, вдвоем... а еще лучше втроем. Я такая дура, когда мы любим друг друга, я все время хочу твоего ребенка! Как сумасшедшая, только это в голове! У меня, кстати, два раза уже не было месячных...

– Да? И что? – повернул голову Сан Саныч.

– Испугался? Не знаю ничего, у меня так бывает. Когда нас везли в Сибирь, и потом, когда работали в лесу, у меня больше года ничего не было. И здесь, в Дорофеевском, когда привезли, я очень испугалась этой огромной тундры, и тоже долго не было. Может, и теперь... Я боялась уезжать из Дорофеевского, а теперь боюсь сходить на берег! Я же говорю – трусиха! – Она помолчала. – Знаешь, кого я боялась больше всего?

– Кого?

Николь молчала, закусив простынку.

– Николь! – Сан Саныч нашел в темноте ее лицо.

– Блатнячек в тюрьме! Даже сейчас страшно вспоминать о них! Я иногда глядела на этих женщин и девушек и думала, что это люди, которые попали в руки Сатаны. У них есть мозг людей, психика, чувства... но все их способности направлены на самое гадкое в человеке. Они ничего не стесняются! Избить, украсть, отнять... специально на чьи-то вещи написать, тебе неприятно, прости, я нечаянно вспомнила. У всех на глазах любовью друг с другом занимались, девочек насиловали!

– Но ты же не сидела в тюрьме?

– Сидела, я была под следствием.

– Да? Ты не говорила...

– Я три месяца всего... это на Оби было, не хочу об этом. Я не пойду в Дорофеевский, ладно?

– Как хочешь, но ты не должна бояться. Ты законно работаешь на «Полярном».

– Люди завидуют. Вон Степановна, какая хорошая была, а кто-то стукнул. Выпившая могла проговориться, человек и написал.

– Ты думаешь?

– Конечно! Кто-то из своих, такие всегда есть. Врал твой лейтенант, что ее разыскивали. Стукнул кто-то, они и явились. Целый самолет прислали за «особо опасной» поварихой.

Николь затихла напряженно, потом прошептала с горечью:

– Нас много, а мы молчим! Они нас ловят, сдирают с нас шкуру... иногда и не сдирают... а мы молчим! Мы, как безголосые звери! Или это они звери?! Саня?! Нет, я знаю! И мы, и они – все уже звери! Правда?

Сан Саныч молчал. Он не знал, как мог заступиться за Степановну. Ставил себе вопросы: если бы знал заранее, предупредил бы ее? Спрятал бы? И чувствовал, что боится отвечать. Все уже случилось, вопросы были лишние.

После ареста поварихи настроение в команде поменялось.

Подходили к Дорофеевскому утром. Здесь все было, как и год назад, бригада готовилась к рыбалке, в длинной лодке был уложен невод. Люди садились в большой бот. Только теперь все были одеты в ватники и шапки, обметали лавки от снега. Поселок плотно, позимнему уже укрылся белым и выглядел уютнее, чем летом. Пушистые песцовые шапки лежали на крышах и стогах сена во дворах, на длинных поленницах. Дымы шуровали из труб. Колхоз готовился к долгой зиме, часть баркасов и лодок были уже вытянуты и перевернуты и тоже укрыты снегом. Бригада девчонок на берегу пилила плавник на дрова и увозила куда-то трактором. Мужичок к ним подъехал на небольшой мохнатой лошадке, запряженной в сани. Веселый смех разносился далеко по темной воде. Николь напряженно прислушивалась и всматривалась в поселок, где прожила восемь лет, потом решительно спустилась в каюту, собралась и, поцеловав Сан Саныча (он сидел, разложив бумаги), побежала к шлюпке.

Сан Саныч накинул бушлат и вышел следом. Рыбацкий бот с лодками на прицепе уплывал с неводом на пески. На румпеле восседал Айно. Узнали друг друга, Айно поднял единственную руку. Девушки, Сан Саныч не угадывал их в теплой одежде, радостно закричали и замахали ему.

От небольшой баржи, стоящей на рейде неподалеку, отделился маломощный плоскодонный катер. Вскоре он подвалил к борту «Полярного».

Это были заготовители оленей. Бригадир, здоровый, кругломордый и нечесаный мужик со шрамом через всю щеку, поднялся на борт и стал зазывать помощников – олени шли валом и

рук в бригаде не хватало. День работаешь – три туши твои! Грач начал торговаться, и бригадир поднял цену до пяти оленьих туш.

Вскоре Егор с Грачом уже сидели в катере, больше охотников не нашлось. Бригадир звали Саня, он стоял за рулем в крошечной рубке, катерок резво бежал вдоль берега на юг от поселка.

– На переправе когда-нибудь оленей били? – обернулся на «завербованных» бригадир. – Там все просто... погода вот только говно, морозцу бы хорошего.

– Били, как не бить... – отвечал Грач, поглаживая усы. – И большой план дали?

– Восемьсот голов! Половину заготовили уже... не проквасить бы.

Вскоре вошли в устье медленной и неряшливой тундровой речки с высокими песчано-глинистыми берегами, заваленными обсохшими корягами. Винт то и дело цеплял дно и поднимал муть за кормой. Через полчаса причалили у балка, бригадир достал из рубки двадцатилитровую булькающую канистру и сошел на берег.

Весь снег вокруг балка был вытоптан до грязи, костер едва дымил, а сам балок храпел так, что Грач с Егором замедлили шаг. В пеньке у входа торчали окровавленные ножи, стояли такие же, черные от крови дубинки. Некоторые были обтянуты жестью, в которой застряли мясо и шерсть. Бригадир толкнул дверь и вошел внутрь.

– Давай вставай, помощников привез! Вставай, похмелимся! Колян! Семёнка! Кончай ночевать! Кеша, вашу мать!

Вместе с матом бригадир Саня вытянул на свет двоих темнолицых националов и привалил их к стенке, прямо в снег и грязь. Перевесил на костер чугунный котел с застывшей олениной. Вскоре все собрались за столом, сколоченным из чего придется. Кроме небольших националов, еще двое – Колян и Кеша, как два колхозных бугая, размерами не уступали бригадиру. Последним вышел такой же, как и местные, жилистый и раскосый. «Нездешний, – определил Грач, – казах, скорее всего».

Морды у мужиков были опухшие, коричневые, давно немытые волосы торчали из-под шапок. Похмелились, поели мяса, доставая руками из котла, и, ничего не обсуждая, привычно двинулись по набитой тропе куда-то в тундру. Махоркой завоняли.

Вскоре впереди показалась вода. Мужики присели в прибрежных зарослях тундрового ивняка и сквозь обломанные кусты стали что-то

высматривать на реке. У Коляна и Кеши в руках бурые дубинки, у других – ножи. Река в этом месте разливалась небольшим озером и делала плавный поворот вокруг мыса, на котором они сидели.

– Восемь штук... Поплывем, что ли? – обернулся на бригадира один из мужиков.

– Давайте. Мы пока здесь...

– А где они? Покажите?! – волновался Егор, он ничего не видел.

– Да вон, на середине уже, покойнички... – Кеша начал подниматься.

– Погодь-погодь... Гля-кось, что наверху!

На высокий противоположный берег выходило большое стадо. Толпились, не решаясь спуститься, рога колыхались на фоне неба, но вот передние заскакали к воде.

– Всё, тех ждем! – распорядился бригадир. – Я к себе деда возьму, ты, Колян, паренька вон на весла посади. Семёнка, здесь все готовьте, ножи наведите.

Передние олени вскоре уже были на середине, а с берега все спускались и спускались, заходили в воду и плыли, задрав головы.

– Народу путного, за неделю бы план сварганили... смотри, чего прут! – бригадир поднялся. – Пойдем, однако!

Мужики двинулись по тропе меж зарослей. Расселись по двое в лодки. Одна пошла к передовым оленям, отрезая их от мыса, вторая, где на веслах сидел Егор, забирала левее, окружала. Егор впервые участвовал в таком деле и, стараясь показать себя, со всей мочи навалился на весла, вода бурлила, Колян с носа задавал направление. В третьей лодке бригадир дергал холодный мотор. Матерился негромко и заковыристо.

Животные, плывущие спокойной серо-коричневой массой, увидев людей, заволновались. Несколько передних, большерогие и мощные, продолжали быстро двигаться вперед, остальные поплыли в стороны, стали разворачиваться, но сзади их давили. Рога колыхались, животные сбились в большую живую массу, какие-то снова поплыли вслед за передовыми. Егор греб и греб, озирался быстро, охотничье волнение нарастало, сердце колотилось ненормально. Бригадир завел мотор и третья лодка, набирая скорость, пошла к дальнему берегу, отрезая от него все стадо.

– Левее бери! – услышал Егор напарника.

Он обернулся, животные были уже перед лодкой. Егор гребанул всей спиной, лодка ударилась в мягкое, олень, бурля водой, бросился в живую кучу. Там мелькало множество испуганных глаз. Рога громко стучали друг о друга. Егор совсем перестал соображать, левое весло ударилось в чье-то тело, лодка едва не перевернулась...

– Ты куда, твою мать?! Не дави их!

Бригадирова лодка завернула стадо от берега, и теперь задние животные теснили передних прямо на забойщиков. Большой теленок, косясь на глыбу Коляна и вытянув голову по поверхности, плыл мимо их лодки. Бугай почти без замаха опустил дубинку меж бугорков будущих рогов. Теленок вздрогнул, запрокинул в судороге голову и перевернулся на бок, дергая длинными ногами. У Егора сжалось сердце, он не мог оторваться от неестественно вывернутой головы с открытыми глазами и кудрявой шерстью на лбу... Голова судорожно задиралась назад и опускалась под воду. Он услышал еще удар... Оленуха с короткими рогами тихо опустила голову под воду и тоже перевернулась на бок. Вокруг лодки уже плавало несколько безжизненных животных.

– Ты чо смотришь, блядь! – матерился Колян. – Эй! Твою мать! Куда гребешь?! Ты чо, сука?! – Колян попытался подрулить дубиной, но Егор потерялся и гребанул не в ту сторону. Лодка развернулась от животных.

– Дай я! – Колян лез к веслам. – Иди бей!

Егор с трясущимися руками послушно перебрался на нос. В соседней лодке орудовал Кеша, бил, добивал, весело покрикивал что-то своему весловому. Бригадир мотором умело закручивал уходящих животных, и у него, и у Грача в руках были дубинки, и в их стороне уже торчали белыми боками безжизненные олени туши.

– Бей, ты чего, твою мать?! – Колян поставил лодку так, что под рукой Егора оказалось сразу несколько испуганных голов и спин.

– Я первый раз! – огрызнулся негромко Егор.

Он не решался ударить. Если б он знал, что так будет, не поехал бы ни за что. Егор стоял на коленях, сжимал в руках мокрую дубину и ругал себя последними словами, молча материл Коляна, не глядя в его сторону. А оттуда несея семиэтажный, в бога, в душу мат. У Коляна в руках откуда-то возникла палка с длинным ножом, примотанным к

концу, он в азарте колол ею, как копьем, кровь лилась по бокам животных на поверхность реки.

– Бей, боцман, чего смотришь! – услышал Егор хрипловатый голос бригадира, их лодка оказалась неподалеку. – Не красна девка!

В этот момент самец с большими рогами больно зацепил Егора подмышку, доля секунды и Егор вылетел бы, бык оказался под носом лодки, она заходила ходуном, Егор вцепился в борт.

– Бей, сука! – слышались крики со всех сторон.

Егору казалось, что кричат уже все – Колян, бригадир, Грач. Грач, торча усами, в азарте махал дубинкой. Множество убитых качалось на поверхности. Мимо Егора плыл большой однорогий самец. Егор размахнулся и, зажмурив глаза, со всей силы ударил сзади по затылку. Он ждал, что придется бить еще, но олень с тихим всхлипом уронил голову, вода вывернула его на поверхность, задние копыта ударили в борт лодки. Егор отшатнулся, никто уже не орал на него, трусливая радость мелькнула в душе – получилось!

– Бей еще! – приказывал напарник.

Под бортом рядом с Егором крутился теленок, Егор в азарте ударил по безрогой голове. Теленок задергался, вытягиваясь всем телом, Егор ударил еще раз, и все кончилось.

– Справа матуха с телком! Промеж рог ей! – Колян уже не колол, но веслами подводил Егора, щерился хищно от Егоровой работы, будто сам бил.

Егор ударил, плохо пришлось, только скользнуло по мокрой шерсти лба, он перехватил удобнее дубинку, оленуха отплыла, не достать было.

– Выблядка бей! – одабривал Колян.

Егор ударил теленка, но опять неудачно, тот замычал и забился под борт, вернулась матуха, по ее лбу текла кровь, он убил ее одним ударом, потом добил теленка. Это так надо, стискивал зубы Егор. Такая работа! «Дан-н! Шлюп!» – с брызгами опускалась дубина. Все хотят есть мясо! «Дун-н!» – он опять промахнулся, попал в рог, дубинка самортизировала и вылетела в воду.

– Заманался?! – Колян мощно подворачивал лодку под удар Егору.

– Нет, я могу, могу! – Егор выловил дубинку.

Егор с благодарностью глянул на громадного зверообразного Коляна, который не забрал у него дубинку, признавая боцмана за

своего. Егору хотелось быть таким же сильным и безжалостным, как Колян. Ради трудного мужского дела, где жалости не было места. Колян, умело орудуя веслами, подставил очередного оленя.

– Хрясь! – боцману показалось, что он проломил лоб.

– Молодца! – Колян толкал лодку вперед.

Егор чувствовал, что гордится этой похвалой, он с жадностью ждал следующего. Он научился убивать одним ударом!

Живых животных сильно убавилось, они ошарашенно и уже не так бодро плавали среди убитых. На лодке к ним не протиснуться было. Мертвые спасали живых.

– Харэ! – раздался громкий голос бригадира. – Плоты вяжем!

– Давай перекурим, бугор?! – попросил Колян.

– Айда! – разрешил бригадир.

Сплылись. Бригадир Саня угощал махоркой, Грач своим самосадам. Егор рассматривал руки и телогрейку – все было в крови, лицо тоже. Скопился осторожно на Коляна, тот курил, глядя себе под ноги, самокрутка в кровавых пальцах.

– Я штук двадцать замочил! – хвастался Грач. – Видал, Саня, один прямо на меня попер!

– Бывает и скинет, сила в них страшная! – бригадир аккуратно заматывал пачечку махорки в тряпицу. – Вчера лодку перевернули, Кеша с Аббаской купались...

– Опасно, если кинется? – спросил Егор, ему хотелось, чтобы было опасно.

– Не кинется, – бригадир был серьезен. – У нас с ними договор – только мы их бьем!

– А если бы кинулся? – не отставал боцман.

– Ну... если бы, да кабы... так уж устроено. Одни бьют, другие согласны! – Он неторопливо выдохнул дым. – Оно и у людей так ё!

– Вы что же, лагерные будете? – любопытствовал Грач.

– А какие же? Не сами приехали... Да ты не бзди, дед!

– А я чего? Не я вас сюда определял, будь моя воля, я бы всех поотпускал... – угодливо отшутился Грач.

Все молчали, покуривая.

– А политические?! – неожиданно громко встрял Колян. – Я бы их, сук, всех передушил! Умников, блядь! – он сплюнул презрительно. – Поехали, что ль, ханки^[116] дернем!

Стали вязать «плоты» из оленьих тел. Живые, притаившиеся среди убитых, заметались, Грач схватился за дубинку.

– Шабаш, этих не трогаем! – строго остановил его бригадир, накидывая веревку на мертвые рога. – Пусть плывут!

Забитых оказалось шестьдесят три. Плотами по несколько штук стянули всех ниже по течению. Здесь были врыты столбы, между ними перекладыны с крюками, на них подвешивали оленя, обдирали шкуру, вспарывали. Внутренности, головы, голяшки с копытами отвозили в речку. Руки и даже лица были красные, по фартукам текло, работали быстро, от крови никто не берегся. Выпивали разведенный, с резиновым вкусом рыжеватый спирт, закусывали вареным мясом, которое тут же кипело на костре. Националы макали подмороженную вчерашнюю убоину в живую кровь или раскалывали кости ног и доставали мозг. Часа через два половина забитых животных уже лежали полутушами, проветривались на морозце.

Егор крепко захмелел от выпитого, работал, поглядывая на других. В голове пьяно мешались те первые, утренние чувства, когда все это казалось нечестным и гадким и ему ни за что не хотелось бить оленей, и новые чувства – его восхищало изобилие и сила жизни. Вокруг были горы мяса, добытые тяжелым и жестоким трудом. Это мясо съедят люди. Он гордился, что переборол в себе слюнтяя и делал дело. Иногда оставшийся в памяти испуганный взгляд больших черных глаз колот сердце, но юный боцман только хмурился пьяно и начинал активнее работать ножом. Время от времени просил бригадира плеснуть ему спиртяжки, как ласково называл спирт Колян.

За мысом, в каких-нибудь трехстах метрах, не видя охотников, другие олени переплывали реку. Их было нескончаемо много. Егор сходил на них посмотреть, и это тоже его радовало.

– Отвези-ка, боцман, бошки! – кивнул бригадир на переполненную лодку.

Егор воткнул нож в лавку и, пошатываясь, направился к воде. Ему нравилось, что он часть этой компании, такой же уверенный и сильный, как бригадир, как Колян и Кеша, в несколько рывков снимающие шкуру с теплой еще туши. Он сел, отпихнул из-под ног голову олененка с кучерявым лбом и погреб к середине реки.

– Олень – дрянь! Тресь в лоб, он и готов! – Грач нализался и сидел у костра, временами выдавая умозаключения.

– Человек против оленя намного слабже! – наливал себе в кружку. – От одной мысли, что его сейчас подколят, с копыт валится! Другой и обосрется еще!

– Человек знает про смерть, а олень нет! Тут все и есть! – философски поддержал бригадир.

– Никто про нее не знает... – не согласился Грач.

– Если бы вместо оленей там люди плавали, а мы с дубинами вокруг... – бригадир смотрел серьезно, – половина сами перетопли бы! Люди про смерть всегда помнят!

До ночи они сделали еще один «замес» и обработку закончили уже ночью. Почти девяносто штук получилось. Доплелись до балка и попадали на нары.

Утром опохмелившаяся бригада, закурив цыгарки, снова ушла на работу, Грач с Егором помогли бригадиру загрузить на катер подмерзшие туши и отправились в Дорофеевский.

Лейтенант Габуня был в отъезде, и Белов в поселок не поплыл, весь день просидел в каюте, оформляя бумаги. Написал приказ на новую повариху, наряды на работы закрыл. Почти вся команда была на берегу, только к вечеру начали собираться. Кочегары вернулись вместе с Фролычем и Климовым, перепачканные, но возбужденные и довольные.

– Камень на могилу нашли на берегу, – рассказывал, раздеваясь, старпом, – притащили его трактором, а дальше – как? Кладбище! Трактору не повернуться, давай вагами его, на катках... часа два мудохались, полпоселка собралось! Но поставили хорошо... Хороший памятник вышел... Гюнтер обещал таблички с именами навеки вмуровать, чтоб ни одна сволочь не выдрала.

Старпом, с полотенцем на бедрах, заглянул к Белову, одна ладонь содрана до крови. Морщась, лизнул:

– Я, Саня, этот камень ворочал и так хорошо думал про наших кочегаров – таблички заказали в мастерских, добрались в эту даль... Мы, русские, не стали бы ничего, рукой бы махнули – случилось и случилось, чего теперь? Так ведь? Ты у матери на кладбище когда был?

– Года два...

– Вот и я такой же. Дед – три года как помер... А он меня с пеленок растил, люблю я его.

С последней шлюпкой с берега явилась Николь. Задумчивая, невеселая... Поплакала, видел Сан Саныч по глазам. Стала кормить команду. Белов поел и ушел с Померанцевым в радиорубку.

Снег прекратился, холодало, в небе заиграло первое в этом году северное сияние – зелено было на горизонте, переливалось едва заметно, повыше, почти над головами висели длинные живые сосульки зеленых же сполохов. Николь курила на палубе в длинной беловской шинели и его же ушанке. На сияние не смотрела, глядела в черную ночную воду Енисея, медленно движущуюся мимо. Или слушала ее, зимнюю уже, мерзлую, ничего не видно было в темноте.

Когда Сан Саныч вернулся в каюту, она что-то читала, сидя на кровати, запахнула кофтой.

– Что ты? – удивился.

– Это так... Что, как погода?

– Морозы сильные идут... – Белов сел рядом, обнял, улыбаясь. – Секреты от меня?

– Это не мое, – Николь нехотя показала записную книжицу в кожаном переплете. – Моя подруга писала... Она здесь похоронена.

Николь сидела прямо и прямо же глядела на Сан Саныча, словно он тоже был виноват в смерти ее подруги.

– Ее звали Мария... Этот дневник она писала мне, он очень короткий, – Николь видела, что Сан Саныч не понимает. Положила обе ладошки на колени. – Мы жили с ней здесь с сорок третьего по сорок пятый. Когда пришла победа, все ждали, что нас освободят... В сорок шестом она убежала. Просто села на баржу и поплыла в Дудинку, там устроилась посудомойщицей на пароход до Красноярска. У нее не было ни денег, ни документов, но она была очень милая, люди ей помогали, и она добралась до Риги. Дома она пробыла два месяца, ее арестовали и отправили обратно. Не как ссыльную, но по этапу, как заключенную. Из-за навигации везли очень долго, только в июле сорок седьмого она снова была здесь. Такая невероятная история.

– Почему невероятная?

– Ну как же? Без документов, без денег... Да и посадить должны были за побег, а ее просто обратно привезли.

Она замолчала, слезы набухли в глазах, но лицо было спокойно. Внимательно смотрела на Сан Саныча. Вдруг решительно положила дневничок перед Беловым:

– Это был самый близкий мне человек... Дай папиросу.

– Ты мне обещала...

– Дай, пожалуйста!

Николь надела телогрейку и вышла. Сан Саныч посмотрел на часы – его вахта начиналась в четыре утра – открыл дневничок с ровным девчачьим почерком:

«10 января 1947 года.

Сегодня смогла написать. Хотела сесть за письмо еще вчера, но не могла – сердце не выдерживало. Я первый раз в тюрьме, мне страшно и все время хочется рыдать над моей ужасной судьбой, что я и делаю потихоньку. Мысленно вижу тебя, моя Николь, – словно ты стоишь перед воротами тюрьмы, куда меня завели, и ждешь... Скорее всего, мы никогда не увидимся – мне не сказали, куда загонят меня теперь...

25 января.

Вскарабкалась к окну, посмотреть, что творится на воле. Мимо проезжал трактор, точь-в-точь как наш дорофеевский, за которым мы ездили на волокуше. Мы часто смеялись и пели. Я отошла от окна, легла на нары и заплакала. Почему я в тюрьме? Что я сделала плохого?! Мысли о свободе вгоняют меня в апатию, я становлюсь тупой. И трусливой, только и жду что новых унижений. Они здесь на каждом шагу.

27 января.

Сегодня – на этап! Целый день сидим и ждем. Как овцы в загоне. Никто не знает, куда нас везут. Тупо сидим с узлами и глядим на дверь. В отличие от овец, девочкам интересно, куда их повезут. Это очень глупо, потому что нет никакой разницы, лучше бы они нас просто убили!

28 января.

Вчера вечером всех, назначенных к отъезду, повели на станцию. Вещи сложили на сани, которые нам же приказали тащить. Из нас сделали лошадей или собак – это было не самым мучительным унижением или я отупела до того, что меня это не особенно и мучило. Тащила и тащила. Только что проехали Великие Луки. Если ты когда-нибудь поедешь здесь, вспомни, что и я все это видела, только через решетку.

1 февраля.

Я в куйбышевской тюрьме. Здесь не то же, что в рижской тюрьме, где мы сидели с другими ссыльными. Тут все по-настоящему. Мы – совершенно безвинные девчонки – лежим на одних нарах с воровками и бандитками. Кроме жуткого мата ничего не услышишь.

В Москве меня посадили в вагон, где в одном купе нас было семнадцать человек. Это было самое обыкновенное купе с решеткой, в котором устроили трехэтажные нары. На самом верху они были сплошные, чтобы там уместились пять человек. Мы лежали в страшной жаре на головах друг у друга. Я задыхалась, теряла сознание, я думала, что не выдержу, но вот я пишу и мне самой странно, что я жива.

Когда ночью выпустили в коридор “по надобности”, конвоир сжалился и разрешил выпить кружку воды. Ведро стояло в туалете. Наверняка зачерпнули в первой попавшейся канаве. В серой воде плавали куски льда, но я пила и разгрызала этот лед.

Бандитки не умеют нормально говорить. Кажется, они соревнуются, выдумывая самый грубый мат. В России много матерятся, но такого я не слышала – все время лежишь и ждешь, что опять начнут выкрикивать всякие гадости! В соседнем купе были немки. Те говорили по-немецки. Они, так же как и мы, не были никакими преступницами.

В первые дни дороги так хотелось умереть, что я плакала и молила Господа об этом, я объясняла Ему, что не могу выдержать все это до конца. Но ко всему привыкаешь. Я даже научилась отвечать конвоирам. Однажды меня вызвали из купе и приказали мыть пол. Я мыла и улыбалась. Охранник, деревенский парнишка, спрашивает: чего улыбишься, нравится? А я ему: спасибо вам, что позвали, я люблю мыть полы. Он на меня выпятился, помолчал и спрашивает: что же,

и хата, и корова у тебя была? Нет, говорю, коровы не было, только пианино (брякнула)! Он, кажется, не знал, что это такое, стал радостно смеяться над моей бедностью. А потом спросил, пошла ли бы я за него замуж. Я, похоже, ему понравилась. То есть я еще могу кому-то нравиться!

3 февраля.

Мои новые товарищи чувствуют себя здесь, как дома, – матерятся, играют в карты и воруют. И во всем этом стараются перецеголять друг друга. Даже писать не могу, как только они увидели в моих руках бумагу, тут же стали смеяться и вырывать. У меня уже украли половину вещей, еще несколько дней и украдут или отнимут все, не отдать нельзя – могут зарезать. Когда я молю Бога о смерти, мне не страшно, когда вижу лезвие в руках этих женщин – страшно.

7 февраля.

Вчера вечером через тюремное окошко увидела городские дома. Здесь, в Куйбышеве, тюрьма со всех сторон окружена холмами, поэтому хорошо видны здания, стоящие на склонах. Это большие, красивые трех- и четырехэтажные каменные дома, в которых наверняка живут счастливые люди. Сидят за столом, ужинают. Я видела огни в их окнах. И плакала. Я ничего не сделала плохого.

22 февраля.

Позавчера я была в аду. Мы в новой камере, здесь почти все ссыльные, только семеро из воровского мира. Нас так много, что не хватает места улечься, и мы приткнулись на полу у стены. За этой стеной было две сотни “мальчиков” от 12 до 18 лет. Утром они начали ломать стену, и некоторых посадили в карцер. Это их так разъярило, что они выломали дверь, и все надзиратели сбежали. Тогда они стали ломиться к нам и досками от нар пробили стену! Когда они ворвались – большинство совсем мальчишки в длинной, взрослой одежде – один охранник отомкнул дверь и крикнул, чтобы мы быстро выходили. Я вся тряслась и еле переставляла ноги. Нас вынесли наружу другие женщины, но многие не успели, их не пустили

мальчишки с этими досками. Больше всего почему-то досталось воровкам, они потом совсем не могли ходить.

8 марта 1947 года.

Я в Новосибирске. Пять дней были в пути. Не хочу писать, что было в нашем вагоне с решетками. Сейчас я снова в тюрьме...»

Текст кончился, Сан Саныч пролистнул странички – больше по-русски не было. Стихи Пушкина и Лермонтова в одном месте. В дневнике не было ничего особенного, он не понимал, от чего так расстраивалась Николь. Он сам видел, как возили зэков в трюмах, видел драки между заключенными – как-то так уж был устроен мир по другую сторону колючей проволоки.

Вернулась замерзшая Николь. Стала греть руки на горячих трубах.

– Это весь дневник? – осторожно спросил Сан Саныч.

Николь повернулась и внимательно его рассмотрела:

– Я так и думала, что ты ничего не поймешь.

– Но тут немного...

– Да-да, так люди и устроены... если бы с твоей сестрой так сделали... – Николь недовольно дернула плечом, но тут же улыбнулась виновато. – Прости. Ты не видел Марию. Она была очень нежный человек, ее все любили. После Новосибирска она больше не могла писать. Ее изнасиловали, сначала воровки в купе, потом конвой. Такой она и приехала в Дорофеевский, ничего не рассказывала, спала все время, когда можно было. Этот дневник я нашла после ее смерти, она забыла про него.

– От чего она умерла?

– У нее был сифилис, она повесилась.

Сан Саныч сел в кровати, прислонившись к стене. Ссылные, которых он знал по Игарке и из команды «Полярного», не выглядели несчастными. Он вспомнил уполномоченного Турайкина и подумал, что все в конечном счете зависит от людей.

– Наверное, это плохо, но я тоже привыкла к такой жизни... – она попыталась улыбнуться, подняла на него глаза, но только чуть скривила рот. – Я иногда спрашиваю себя, я правда так тебя люблю

или потому что я здесь, и все? Я полюбила бы тебя, если бы мы встретились в Париже?

Николь изучала Белова, словно никогда не видела.

– Ты бы пил пиво, нет, кальвадос... в ресторанчике в Латинском квартале, я бы спросила, как тебя зовут. Ты сказал бы – Сан Саныч... – ее глаза не смеялись, но, напротив, становились все тоскливее. – Как это все грустно! Ничего невозможно! Ты не мог бы пить кальвадос в Париже, а чтобы тебя увидеть, я должна была оказаться на Енисее, в бригаде рыбаков.

Она затихла, машинально перебирала странички дневника, посмотрела на Сан Саныча:

– Мне все время хочется рассказать тебе, какой я была до ареста... я же была совсем другая. Я ничего не боялась и наделала много глупостей... почти убежала из дома. От мамы. Как я об этом жалею, сколько раз плакала о ней! Так плакала! – она замолчала, грызя ноготь. – Ты знаешь, как нас арестовывали?

– Почему арестовывали? Разве ссыльных арестовывают?

Николь его не слушала. Бережно гладила странички дневника:

– Нас разбудили в три утра. Это было четырнадцатое июня 1941 года, небольшой хутор под Ригой. Я услышала громкий стук в дверь и голоса. Отец моей подруги Иветы, мы вместе учились в пансионе в Париже, разговаривал с теми, кто пришел, по-русски. Я ничего не понимала – я недавно к ним приехала, а Ивета со страха забыла французский и не могла перевести. Мы с ней лежали в кровати, прижавшись и очень тихо почему-то, и к нам никто не заходил. Я думала, что их грабят, мне хотелось кричать и звать на помощь, но Ивета вцепилась в меня и трясла от страха головой. Потом пришла мама Иветы с солдатом, и он велел нам одеваться. Несколько человек в форме обыскивали дом и двор, я была в ужасе, думала, что кто-то что-то натворил очень серьезное. У них в доме жил квартирант-студент, он показал паспорт, и его не тронули. Отец Иветы про меня тоже пытался объяснить, что я француженка, что я бежала от немцев, и поэтому у меня нет паспорта, но его не слушали. Военные, которые обыскивали, говорили, что вещей брать не надо, что везут в какой-то соседний городок и скоро все вернутся домой. Они ввали, конечно, но тоже наверняка не знали, как далеко нас повезут.

Николь прервала рассказ, глядя куда-то сквозь переборку, потом продолжила:

– Говорить разрешали только по-русски. Старший составил протокол. Изъяли документы, охотничье ружье, порох, пишущую машинку, ключи от сараев и кладовок. Я ничего не понимала, все это потом в вагоне рассказывали и рассказывали друг другу люди.

Ивета принципиально не стала собирать свои теплые вещи и поехала в выходных туфлях и красивом платье. Она была активистка, бесплатно работала в столовой для бедных и считала, что ее честной семье совершенно нечего бояться. Она не дала матери взять украшения и драгоценности – как бы они имгодились! Нас всех загнали в машину, и мы там долго сидели. Было слышно, как эти люди хозяйничают в кладовках. У них была еще одна крытая машина, и они носили туда мешки, из одного мешка у нас на глазах рассыпалось фамильное серебро, из другого торчал копченый окорок. Родители сидели, отвернувшись. Потом к нам в кузов грузовика привели соседа с женой и маленькой дочкой, сосед служил полицейским и был в форме.

Было очень рано, солнце только поднялось, нас привезли на станцию. Там на всех запасных путях стояло множество длинных поездов. Все это были вагоны для скота. Людей везли и везли, разгружали быстро и загоняли по вагонам. Люди возмущались, в некоторых вагонах было грязно после животных, но везде стояло оцепление, и здесь уже все было строго, как в тюрьме. Правда, тоже все время вали – ехать недолго, всего два часа.

Николь опять остановилась, подняла взгляд на Сан Саныча. Тот сидел, хмуро замерев.

– Для нас на той станции не нашлось места, все вагоны были переполнены. Повезли дальше. По дороге, в лесу, у них что-то сломалось, машина встала. Нас полный кузов, конвоиров двое, видно было, что они боятся, запрещали нам разговаривать, ругались с шофером. Мы спокойно могли разбежаться, я так и предлагала сделать, мне не нравилось, как они обращаются с нами, я не верила, что они будут стрелять. Но отец Иветы и сосед-полицейский требовали, чтобы мы сидели спокойно, они говорили, что мы ни в чем не виноваты и нас скоро отпустят. Полицейский помогал чинить машину. Так мы и не убежали.

Нас выгрузили на перрон какой-то маленькой станции и оцепили. Толпа, тесно, старики, дети плачут, многие были с грудными, люди просят у солдат воды, просят в туалет, но с перрона никуда не пускают. А грузовые машины все везут и везут людей. У кого-то много вещей, у кого-то нет ничего, никто ничего не знает, спрашивают друг друга, куда их везут... Это было очень страшно. Я никогда не видела столько безжалостного и бессмысленного насилия.

Подали вагоны, в них уже было много людей, но в каждый добавляли одну или две семьи. Нас втиснули куда-то. На две стороны от дверей – двухэтажные нары, грязные и в занозах. Когда закрыли дверь, стало очень темно – под потолком только два крошечных вентиляционных окошка с решетками. У стенки напротив двери топором прорублено отверстие в полу – для туалета. Там же вдоль стены рядами выложены буханки хлеба. В нашем вагоне было человек сорок и много маленьких. Женщины стали плакать, смотрят на решетки, прижимают к себе детей и плачут. Дети, глядя на них, тоже режут и просят домой. Люди, обманывая себя, придумывали всякое: нас сюда собрали, чтобы ограбить наши дома. Ограбят и отпустят. Все начинали обсуждать это и радоваться. Или – что нас хотят перевезти в другую часть Латвии, чтобы создать там колхозы. Радовались и этому, но жалели об оставленных домах. Другие говорили, что везут создавать колхозы в России, недалеко от Латвии, на похожих землях. Никто не мог предположить, что случится.

Выходить не разрешали, двери все время были закрыты, ходили в туалет в эту дыру. Ох, как это было ужасно, Саша, двое держали простынь, я садилась, а в двух метрах от меня были люди, которые все слышали, и еще запах... Одна девушка чуть не умерла, она не могла этого сделать, теряла сознание, и ее забрали куда-то. Потом снизу, из-под вагона, стало ужасно пахнуть, да и от людей тоже. Раз в день приносили два ведра воды, только попить, но посуда была не у всех.

Николь закурила и открыла иллюминатор, в который потянуло холодом.

– На станции, где нас погрузили и заперли, мы простояли трое суток. Еды не давали, но есть и не хотелось – так всем было страшно. Сидели на нарах и на вещах, и почти всегда, и днем и ночью, кто-то плакал. И всегда кто-то дежурил у маленького окошечка с решеткой. Люди начали думать, что их расстреляют, но вслух об этом не

говорили. Все эти три дня везли новые семьи. Мне почему-то запомнилось, что было много маленьких детей, – она задумалась, – да, детей и стариков... мужчин я почему-то не помню, может быть, потому что все были смертельно испуганны. Мы, которые сидели там три дня, могли крикнуть тем, кого привозили, чтобы они бежали, но молчали. Боялись, что будет еще хуже.

В нашем вагоне было уже человек шестьдесят. Солдаты тоже устали и были злые, они почти открыто называли нас преступниками и врагами. Я не понимала – как могут быть преступниками сразу столько людей? А маленькие дети? Я пыталась возмущаться, обращалась к офицерам, но они не говорили по-французски.

Сан Саныч тоже взял папиросу, Николь подвинула ему пепельницу и продолжила:

– На третий день был обход, отец Иветы подписал какие-то бумаги, опять попытался что-то сказать про меня, но его не стали слушать. Ночью наконец двинулись, а утром я увидела Россию, Советский Союз, о котором мы столько говорили с моим отцом. Я ждала встречи с красивой и богатой страной, где радостно трудятся самые свободные в мире советские люди! Мне тогда очень нравились изображения Ленина и Сталина! Они казались мне мудрыми и добрыми, я ждала, что в Советском Союзе нас освободят, все выяснится, а виновных в насилии накажут. Все, что происходило в Латвии, казалось недоразумением военного времени, которое устроил какой-то дурак латвийский чиновник. Так, кстати, не только я думала.

Николь замолчала, качая головой. Застыла от воспоминаний. Заговорила снова:

– Поезд шел медленно. Это были разоренные, пустые и мрачные деревни, неухоженные поля. Почему-то очень худые лошади и коровы. Это было не похоже ни на мою Францию, ни на аккуратные латвийские хутора. Не одна я была в растерянности, латыши тоже не ожидали увидеть такое. Совсем недавно Россия была очень сытой и богатой – они это хорошо помнили. Они обсуждали это, и я видела, что их страх усиливается. Состав останавливался на какой-нибудь станции, открывали двери, нам давали воду, и мы видели оборванных, худеньких детей, которые бегали, выпрашивая у нас хлеб, им бросали. Буханки, заготовленные для нас, начали уже плесневеть, их почти никто не ел, они были не похожи на хлеб. Многие взяли из дома

продукты и сначала ими делились. Плохо одетые русские женщины на станциях предлагали вареную картошку и немного молока в обмен на этот плохой хлеб. Говорили, что у них совсем нет хлеба. Отец Иветы попросил охранника купить что-нибудь в станционном буфете. Тот принес пачку сухого безвкусного печенья, больше ничего не было. Мы спрашивали, куда нас везут, но солдаты не знали. А в вагоне только об этом и думали.

Николь долгим взглядом посмотрела на Сан Саныча, как будто что-то хотела спросить. Очень важное. Потом отвела взгляд и продолжила:

– Делать было нечего, и отец Иветы стал учить нас русскому языку, – она улыбнулась. – Первое слово, которое я самостоятельно прочитала по-русски, было «Бабинино». Это была станция, где сначала долго стояли, а потом приказали выйти женщинам с детьми. Женщины не выходили, отказывались идти без своих мужчин. Нас опять обманули, сказали, что мужчины поедут в этом же поезде, но отдельно от женщин, чтобы не смущать их. Это всего два-три дня, скоро уже приедем. С мужчинами остались и все вещи, чтобы женщинам не таскать тяжести.

На этой станции Ивета и ее мать навсегда расстались с отцом и братом. Так, кстати, было со всеми, многие латыши и литовцы в Дорофеево до сих пор ничего не знают о родных. Известно только, что мужчин отправляли в лагеря, а многих расстреляли. У отца Иветы была большая лесопильня, куда он нанимал работников, и десять гектаров земли, за это вряд ли могли расстрелять... – Николь замолчала, вспоминая отца Иветы.

– Если человека расстреливали, разве семье не сообщали?

Николь, очнувшись, с удивлением глянула на Сан Саныча.

– Нет, обычно люди ничего не знают...

Она еще посидела, о чем-то думая или вспоминая, и вернулась к рассказу:

– Поезд двигался на восток, это было понятно по городам, которые проезжали. У нас в вагоне появилась беременная женщина, ее звали Илзе, у нее еще была трехлетняя малышка. За ними все ухаживали, и когда мы прибыли на Алтай, она родила, ей, кстати, повезло, это случилось не в поезде, а в каком-то городке, на большой станции. Но там же все узнали, что наших мужчин в поезде нет. Это

было так ужасно! Нельзя рассказать, такой страшный плач стоял! А потом все так же страшно затихли. Илзе перестала разговаривать даже со своей трехлетней дочкой. Я помню ее бледное застывшее лицо... У нее пропало молоко. Ее малыш, которому все так радовались, умер.

Там же на Алтае мы узнали о нападении Германии на Советский Союз. Это было вечером 25 июня, мы поняли, что немцы очень быстро продвигаются, и я увидела, как в людях проснулась надежда. Люди, еще недавно боящиеся и ненавидевшие фашистов, теперь надеялись на них. Меня стали расспрашивать о том, как быстро была захвачена Франция, ведь французская армия была больше немецкой, и как вели себя немцы с обычными французами. И я, ненавидящая немцев за смерть моего отца, говорила, что немцы вели себя лучше, чем то, что мы испытали за эти десять дней. Немцы не считали французов за скот.

Нас куда-то перевезли, и мы долго жили недалеко от одной из станций в длинном бараке, огороженном колючей проволокой. Кормили одним хлебом, иногда давали селедку, иногда пустой суп. К этому моменту всем стало понятно, что все плохо. Латышки меня жалели, что я совершенно ни за что попала... Как будто они за что-то... – Николь положила давно погасшую папиросу в пепельницу. – А может, и не жалели, всем было слишком плохо, и у них были дети, которые все время просили есть. Не было теплой одежды, а по ночам уже было холодно. Я ждала, что они поймут наконец, что я француженка, что я участвовала в Соппротивлении, и отправят меня обратно. Для меня это было одно огромное недоразумение, которому когда-то должен был настать конец.

Но вышло по-другому – в России вообще ничего не надо загадывать! – женщины втолковали какому-то начальнику, что я из Франции, и меня забрали в город. Там я не смогла объясниться, попросила переводчика, и меня с ближайшей группой ссыльных отправили в Новосибирск и окончательно разъединили с семьей Иветы. Так я осталась совсем без языка, и мне пришлось учить русский как следует.

В Новосибирске нас построили колонной и повели через город. И люди смотрели на нас, как на преступников! Они думали, что мы преступники, а мы ничего не могли им сказать!

На Оби нас ждала огромная баржа. В реке мы впервые смогли помыться, это было счастье, я помню, как мы смеялись и плескались.

Нас торопили, пришел сержант, сказал литовкам, что они едут к их «мужикам», которые готовят для них жилье на новом месте. Я спросила про себя, и оказалось, что на меня есть документы, что я ссыльная латышка Николь Вернье. И не было никого, кто мог бы это опровергнуть. Я возмущалась, но я была одна, русского почти не знала, а командовал всеми сержант, который говорил по-русски еще хуже меня. Он сказал: давай, вперед, там разберутся! И вот это «разберутся!» я слышу уже много лет. Ваню единственный, кто пытался помочь. Литовские женщины, услышав про мужей, не стали стираться, погрузились и сами торопили охрану отплывать. Это была страшная ложь, но они в нее верили, и если бы я сказала, что думаю об этом, они бы меня разорвали.

Через несколько дней какой-то комендант в каком-то райцентре на берегу Оби сказал женщинам, что никаких литовцев там нет и никогда не было. Мы ночевали на барже. Одна из женщин не спала всю ночь, а на рассвете вышла с маленьким ребенком на палубу и бросилась в Обь. Прижала к себе ребенка и бросилась. Она была эстонка. Мы поплыли дальше. Как нас везли, ты и сам знаешь, ты же возил... – Николь внимательно и строго смотрела на Сан Саныча.

– Я зэков возил... – нахмурился Сан Саныч.

Николь долго молчала, потом спокойно продолжила:

– У кого-то обнаружился тиф, больных не снимали, наоборот, на пристанях забирали тех, кто здоровее. Меня загнали в какой-то глухой лесхоз. И там я пилила лес, штабелевала, трелевала, жгла сучья... и еще много чего делала. Мне было не хуже других, рядом работали женщины с маленькими детьми. – Она опять задумалась надолго. – В том лесхозе вообще не было законов, начальник нашего участка был нашим законом! И был он редкой тварью!

– Ты там сидела в тюрьме?

– Да.

Сан Саныч помолчал, потом, виновато улыбаясь, притянул ее к себе:

– Придем в Игарку – поведу тебя в театр. У нас там актеры из Ленинграда и Москвы.

– Габунья новое «Удостоверение ссыльной» сделал для меня. Гюнтер передал. Я теперь законно приписана к Игарке. Печати, подписи – все настоящее, в Красноярске проставлено.

Они помолчали, вспоминая беззаботное, веселое лицо Ваню.

Отходили часа за два до рассвета. Белов был в рубке, старпом по карте и компасу задавал направление. Боцман с матросом подняли шлюпку, командовали якорями:

– Правый чистый! – кричал Егор от брашпиля.

– Левый берем! – высунулся Белов. – Холодно сегодня...

– Минус пятнадцать, – подтвердил старпом, – на палубе все коловое.

Подняли и левый якорь и, слышно ломая нетолстый ледок, двинулись на самом малом ходу. Матрос впереди светил мощной фарой. Боцман распахнул дверь:

– Сан Саныч, а баржу-то?!!

– Вернемся за ней... сбегает к этим бедолагам быстренько. Сколько вчера оленей привезли?

– Семь, кажется, я не знаю. – Егор закрыл дверь рубки и загремел по палубе в сторону камбуза.

Вокруг «Полярного», медленно выходящего из Дорофеевского залива, было темно. Редкие звезды на небе почти не давали света. Вскоре началась чистая вода, старпом посмотрел на часы и, ткнув в компас, сказал:

– Так вот держи...

Белов кивнул, передвинул телеграф, склонился к переговорному:

– В машине? Добавляйте на малый...

Белов решил сходить к выгруженным на Сарихе ссыльным. Туда было полста километров через залив, часа три хода. Последняя радиограмма вчера была категоричная: «Идут сильные морозы! Срочно в Дудинку!» До Дудинки было больше четырехсот километров, и рейс на Сариху выглядел просто как крюк, но это было серьезным нарушением, Турайкин мог стукнуть. Белов волновался неприятно, но и отступить не хотел – «Полярный» вез инструменты, сети, еду...

– Как такого мудака могли назначить? – качал головой Сан Саныч, вглядываясь в темноту перед буксиром. – Ни рыбалки не знает, ни Севера. Он, похоже, не зимовал никогда вот так... Хоть бы женщин с детьми в Сопкарге оставил...

Фролыч прикурил, подсветил спичкой часы:

– Степановну жаль, сейчас уже встала бы...

– Рано еще.

– Она бы встала.

Жуя полным ртом, вошел Егор:

– Николь рыбу разделывает, сказала, сама чай принесет.

– У нее сегодня день рождения... – продолжал свои мысли Фролыч.

– У кого? – не понял Белов.

– У Степановны, тридцать семь лет... Бражку поставила на всех, наготовить чего-то хотела.

Тихо было в рубке, машину едва слышно, «Полярный» шел ровно, без качки, цепи штурвала чуть позвякивали в темноте. Мужики молчали, вспоминая повариху.

– У нее примета была, если тридцать семь отметит без приключений, дальше все нормально будет... В аккурат пришлось, – Фролыч вздохнул тяжело и показал Белову, что можно прибавлять ход.

Сан Саныч перевел телеграф, покосился в темноте на старпома, удивляясь, что два таких молчуна, как Фролыч и Степановна, что-то умудрились сообщить друг другу.

– Как раз к рассвету добежим, – Фролыч мерял расстояние по карте, – разгрузимся по-быстрому...

– Гюнтер упаковал все, – поддержал его Белов, – гвозди, топоры, лопаты, брезент... Нигде ни слова про этот рейс, Егор, мне башку снимут!

– Грача надо предупредить, – улыбнулся Фролыч, – со вчерашнего обеда дед шконку давит. Он тоже оленей бил?

– Бил... – боцман думал о чем-то.

– А ты что же к своей Анне не сходил? – спросил Фролыч с дружеской подначкой.

– Хм...

– Чего?

– Как раз про нее думаю, – простодушно признался Егор.

– Она про тебя спрашивала...

– Я знаю... Чего-то... все время к ней хотел, а сюда пришли – заробел весь. Стыдоба чего-то... – Егор тяжело вздохнул.

Николь внесла горячий чайник, бутерброды с маргарином и малосольной рыбой, налила всем в кружки:

– Икру не будете? Осетровая, вчера присолила... А могу стерлядку пожарить?

– Да ну их, Николь, – старпом с неожиданной нежностью потрогал молоденькую повариху за плечо. – Там у Степановны бражка где-то стоит, нацеди литрушку, у нее сегодня день рождения.

Николь глянула на Сан Саныча и исчезла, кивнув.

– Так ведь, Сан Саныч? – извиняясь, произнес старпом. – Выпьем по маленькой за нашу Нину, кто нас тут ночью?

К шести утра подошли к Сарихе. Солнце еще не поднялось. В той части тундры, где оно должно было показаться, чуть только начало розоветь. Морозило крепко. Прозрачное стекло затянуло весь небольшой залив, ветерок завивал по нему мелкий снежок. Громко, длинными трещинами ломая лед, отдали якорь и спустили шлюпку. Белов поплыл первым рейсом.

Люди на берегу уже работали. В обрывистом берегу речки копали землянки, распиливали на козлах бревна на длинные доски, таскали плавник. Выбирали ровные, до звона высохшие на солнце бревна – будущие стены общего барака – складывали на высоком, уже выровненном месте. Женщины возились у костров, мерзлый мох носили из тундры. К Белову подошел старик.

– Добрый день, капитан, меня зовут Карл Иванович, хотел поблагодарить вас за инструмент и спросить – кому мы должны его вернуть? И когда?

– Ничего, работайте, это вам в Дорофеевском собрали, сейчас еще сгрузим. Как вы тут?

– Работаем, я хотел предупредить вас... – он заговорил тише.

– Рыбачить пробовали? – Белов кивнул на лодки в заливе, там явно перебирали сети.

– Неводом пока нет, но в сети рыба хорошо идет. Капитан, вы оставляли ружья... наш бригадир их увидел и изъял. Протокол составил!

– Как изъял? – Белов будто ждал повода, чтобы разозлиться. – Где он?

– Говорит, мы не имеем права брать в руки оружие, я хотел вас предупредить.

Вторая шлюпка была нагружена с верхом. Егор привез две металлические бочки-печки и разрубленные туши оленей. Белов со стариком стоял у строящегося барака. Камни под фундамент уже были заготовлены. Колышки забиты. Мужчины, благодарно кивая Белову, подходили за лопатами.

– А спите-то как? – спросил Сан Саныч.

– Под брезентом пока, у костров... – спокойно ответил Карл Иванович.

– И дети?!

Карл Иванович только пожал плечами.

– А там что? – показал Сан Саныч на костер, дымящийся метрах в трехстах по берегу.

– Бригада рыбаков... рыбачек, – поправился Карл Иванович, – бригадир одних женщин назначил в рыбаки, говорит, мужчины должны строить. Поговорите с ним, капитан, пусть он Лайму освободит, она с грудным ребенком, ей там никак нельзя!

– Она тоже в той бригаде?

– Да. Что-то не так сказала бригадиру. Поговорите, он вас боится. И еще насчет рыбы...

– А почему они вообще там? Отдельно? – у Белова все внутри кипело.

– Бригадир распорядился, чтобы рыбу не воровали. Они ловят и морозят, у них план.

– И что же? Вы рыбу не едите?! – Сан Саныч искал глазами Турайкина и не находил.

– Пока нет...

– Напишите на него жалобу. Я передам! А где этот Турайкин?!

– Спят... у них целая фляга самогона... – Карл Иванович был все так же спокоен, – они, слава богу, все время пьяные.

Совсем рассвело, снег пошел гуще. Кочегары курили у костра с земляками, что-то рассказывали, улыбались. Очередная шлюпка подходила к берегу, в ней командовал Фролыч. Николь, как заправская колхозница, с большим мешком на плече шла в сторону костра женщин-рыбачек. Сан Саныч догнал ее, взял мешок, там были продукты, ватное одеяло и пуховый платок Степановны. Сан Саныч шагал решительно и широко, почти не слушал Николь, думая, как можно помочь, она едва попевала.

– Этот Турайкин пьяный приставал к Лайме, она не дала, он и отправил ее, – Николь споткнулась на замерзшей грязи, падая, уцепилась за шинель Белова. Он подхватил ее. – Сан Саныч, давай заберем их? Ребенок здесь не выживет!

– Как же мы заберем? – нахмурился Белов, думавший о другом.

– Пока охрана спит, отвезем ее на «Полярный». У Лаймы вся семья в Игарке, там к ней тоже приставал один гад, она красивая, ты же видел ее?! Надо увезти ее. Скажем, забрали больную, обратно уже не пошлют, Енисей встанет.

– Ей побег могут вменить! – Белов пошел медленнее, пытаясь сообразить. – Ну и нам...

– Ты слишком много думаешь, Саня, тут такой бардак везде... – Николь опять остановилась, машинально отряхивая от снега и перевязывая сбившийся платок. – Ничего ей не будет, ну переспит с тем в Игарке, я с ней говорила...

Пораженный Сан Саныч встал, как вкопанный.

– Ты что? – не поняла Николь.

– Ты... так легко... ты тоже могла, вот так переспать?

– Если надо будет спасти твоего ребенка, смогу! Идем! Ты можешь ее взять или нет?

Сан Саныч шагал, все никак не решаясь. Дело было серьезное и касалось не только Лаймы.

Обе лодки уже стояли у берега. Женщины выбирали рыбу из сети. На снегу были разложены омули, стерляди, щуки. Сети, как и маленькие красные руки женщин, были задубевшие от мороза, вместе с рыбой наловили и колотых льдинок, их выбирать было труднее, чем рыбу. Лайма сидела у костра, следила за варевом в котле и кормила грудью.

– Сколько ему? – спросил Сан Саныч.

– Два месяца, – Лайма прикрыла грудь вместе с чмокающими губами. Она и правда была очень красивая, будто с обложки журнала.

Обратно вернулись вместе с Лаймой, и Николь увезла ее на «Полярный». Сан Саныч уплывал вторым рейсом, люди сгрудились у берега, благодарили, Карл Иванович передал жалобу, написанную карандашом на оберточной бумаге. Шлюпка уже отошла, когда Сан Саныч услышал знакомый голос.

– Товарищ Белов! – бригадир Турайкин торопливо семенил от балка, замер на секунду у разгруженных вещей. – Это чье?

Он был без шапки, лицо заспанное и крепко похмельное. Люди расступились, Турайкин, пошатываясь, присел к воде, плеснул себе на лицо. Он никак не был смущен, что его наблюдают в таком виде. Белов махнул, чтобы причалили.

– Возьмите меня, мне в Сопочную Каргу по делу... И рыбу отвезти.

У Сан Саныча накопилось столько злости и вопросов, что он не знал, с чего начать.

– Вы сначала мелкашки наши верните людям...

– Оружие! Не положено! Акт уже составлен!

– Не сочиняйте здесь! – вскипел Белов. – По всем поселкам ссыльные охотятся! Ты их без еды оставил! Из-за твоей трусости...

– Я – принципиальный! О вашей винтовке будет доложено, куда следует!

– Ну тогда мы поплыли! Давай, ребята! – скомандовал Белов.

– Подождите, Александр Александрович! У меня важное задание! Вы обязаны...

– Ничего я тебе не обязан, урод! – шлюпка отошла от берега.

Белов видел десятки умоляющих глаз, чтобы он забрал бригадира. От балка бежали трое бойцов. С вещмешками, один с большим чемоданом, двое тащили флягу.

– Отдайте им оружие! – приказал Белов.

– Хорошо, но должен буду доложить... – Турайкин неожиданно шустро побежал к балку.

Рыбу Белов отказался взять наотрез, и она осталась ссыльным.

Конвойные расстелили бушлаты на носу буксира и сели похмеляться. Турайкин стоял, недовольно и озадаченно поглядывая на удаляющийся берег с застывшими силуэтами людей. Как будто не понимал, откуда их здесь так много.

– Разве им можно пить? – подошел Сан Саныч к Турайкину. Он говорил громко, Лайму спрятали в носовом кубрике, и бригадир мог услышать плач малыша. – Скоро уже и Сопкарга, там начальство...

– Какое там начальство?! – Турайкин был хмурый, взгляд мутный.

– Ну как же? – Белов не мог придумать, что еще спросить. Малыш плакал, его было слышно.

– Вы, товарищ Белов, мне не верите, потому что молоды еще, а они ведь враги. Самые настоящие. Эти «лесные братья» детей коммунистов пытаются на глазах матерей... гвоздями прибивают! Грудных! Хуже бандеровцев они... Девочек молоденьких по кругу пускали. Фашисты – одно слово! – Турайкин зыркнул в сторону громко уже веселящихся стрелков и угрюмо отвернулся. Сплюнул за борт. – Как тут без дисциплины?! Видели, их сколько! Вот и охраны теперь не будет, топором зарубят и в Енисей...

– У вас, что же, и жена, и дети где-то? – ребенок под ними замолчал.

– И жена, и дети... двое. Я тут восьмой год уже... А всё – на работу опоздал на полчаса! – он сурово посмотрел на Белова и направился к пьющим.

В Сопкарге даже не заводили концов, всех четверых на руках вынесли и сложили кучкой на их же вещмешки. Карабины рядом пристроили, чемодан, с надписями по-литовски и пустую флягу. На причале никого не было. «Полярный» сдавал назад, пушистая серая лайка, обследовавшая берег, взбежала на деревянную пристань, приняхалась издали к бездыханной куче и, испуганная запахом, бросилась прочь.

В Дорофеевском забрали груженую баржу и пошли в Дудинку. У Сан Саныча была ночная вахта, он сразу после ужина лег спать, но не спалось. Лежал и чувствовал, как тяжелеет его жизнь. Надвигающаяся зима, шуга, опасность зазимовать на полпути к Игарке, да, наверное, и усталость от долгой навигации... Главной же причиной была Николь. Сан Саныч очень ясно это понимал и от этой мысли еще больше любил ее. Она многое меняла в нем, он сам себе теперь казался старше и умнее. Он вспоминал их жизнь и чувствовал, как иногда Николь становилась его глазами, а иногда и волей. Хрупкая девушка... его женщина. Она намного больше понимала в этой жизни, и от этого его собственная жизнь выглядела куда сложнее, чем раньше, но он был счастлив. Улыбался в темноте каюты. Даже сел, думая пойти помочь ей домыть посуду, но удержался и снова лег. Николь категорически запрещала ему заходить на кухню.

А она мыла посуду и думала о нем. О том, как он забрал Лайму и, вообще, как все хорошо получилось с бригадой на Сарихе. И тоже чувствовала огромность счастья, свалившегося на нее. Она гордилась

Сан Санычем, он был красивый и смелый человек. Таких за девять лет жизни в России она встретила немного.

Вспомнила ночной сон, он был очень реальный и такой беззаботный, что она целый день к нему возвращалась... Они с Сан Санычем в Бретани, на скалках тихого морского залива. Светит нежаркое солнце, чайки кричат что-то возбужденно, пахнет отливом. Она лежит головой у него на коленях и рассказывает про Францию, а он все выпрашивает и пытается сравнить это с Россией, они спорят, смеются и целуются. Чайки парят над ними, а море такое тихое, что кажется, оно спит, пригревшись на солнце. И мама зовет их обедать, просит сходить в подвал за вином...

О чем-то таком она и мечтала все это лето. Сан Саныч разбередил в ней надежды, и она снова стала тосковать о Франции, бродила мысленно по любимым местам. Обязательно с Сан Санычем. Ей хотелось вместе с ним спрятаться там, в тишине Бретани, надолго, пока не кончится все это страшное время, не может же оно тянуться вечно.

Когда пришла в каюту, Сан Саныч не спал, подвинулся, уступая ее место у переборки. Обнял.

– Расскажи мне про твою работу в ссылке...

– Вот чудно, – Николь перестала раздеваться, – я никому не рассказывала, потому что лучше бы это забыть, а тебе все рассказываю...

– Не могу представить тебя на деляне и с топором.

Николь легла и замолчала. Сан Саныч тоже молчал, потом поднялся на локте:

– Расскажи лучше о своей жизни. С самого начала.

– Я тебе рассказывала.

– Сейчас лежал, думал о тебе – ничего себе не представляю...

Расскажи по порядку, этот Сен-Мало, где ты родилась, он какой – как Игарка?

– Наверное, побольше, я не помню Игарку... но там огромная крепость на мысу! Я тебе говорила...

– А твоя бабушка жила рядом...

– Ну да, недалеко от Сен-Мало в совсем маленькой деревушке на побережье. Мамина мама, ее звали Клер. С двенадцати лет я училась в частном пансионе в Париже, – Николь замолчала. – Как давно это

было, я совершенно ничего не помню. В 1940-м пришли немцы и оккупировали и Париж, и Сен-Мало. Отец завел в подвале нашей гостиницы – у родителей была гостиница – типографский станок. Представляешь, в номерах живут немецкие офицеры, я варю им кофе, а под нами печатают листовки. Мне это ужасно нравилось, немцы были очень вежливые и совсем не казались опасными, я их совершенно не боялась. Это было, как игра. А родители боялись, особенно мама. Она мне все запрещала, держала меня дома, и мы часто ссорились.

В конце сорокового типографию нашли, отца арестовали, был суд, и весной его расстреляли. Вместе с партизанами. Для меня это был страшный удар, не могла поверить, как эти вежливые немцы могли его убить? Он же никого не убивал! Тогда я стала немного понимать, что такое Соппротивление и почему отец боролся против фашистов. Я стала вспоминать его слова, которых раньше не понимала, мы много с ним разговаривали. Это перестало быть игрой, я не могла убивать, но я готова была умереть за свободу.

Николь замолчала, задумчиво трогая рукой переборку. Снова заговорила:

– У нас тоже все сложно, и люди, конечно, разные, но большинство французов ни за что не отдадут своей свободы. Мы такими родились. Я стала ненавидеть приспособленцев и помогать партизанам, у нас они назывались *маки*. Я жила дома, но мы окончательно рассорились с матерью. Меня довольно быстро арестовали за распространение листовок. Кажется, немцы не очень серьезно ко мне относились, я была очень худенькая, нас плохо охраняли, и я убежала. У нас в гостинице жил финн – капитан большого корабля, я переделалась парнем, прошла к нему на борт, и он взял меня с собой в Хельсинки. Потом пересадил на другой корабль, и так я добралась до Риги. Это был конец мая, 1941 год. Паспорта не было, его забрали немцы при аресте, я не знала ни одного слова, только листок из блокнота, на котором по-латышски был написан адрес. Так я нашла Ивету. Они жили под Ригой, там было интересно – много советских войск, танков. Все очень боялись немцев и думали, что Россия специально вошла в Латвию, чтобы защитить ее. Я всегда любила русских, русскую революцию, я и бежала поближе к России... Мы с Иветой ходили смотреть на русских солдат, как они готовятся

драться с фашистами, но они готовились к другому... – она посмотрела на Сан Саныча. – Дальше ты знаешь.

– Расскажи, как ты попала в тюрьму, – решительно попросил Сан Саныч.

– Ну, это не настоящая тюрьма была... Я возвращалась с деляны и заблудилась в тайге, ушла в другую деревню, сама очень испугалась, а они решили, что я пыталась сбежать. Следствие шло три месяца, вот я и сидела в тюрьме, потом просто отпустили. Я была тощая, они поняли, что такие не убегают. Потом – это, наверное, был сорок второй год – работала в овощесовхозе, я тебе рассказывала, там было неплохо, можно было поесть чего-нибудь. Лучше всего морковь, потом свекла, иногда удавалось запечь в костре картошку, но и сырая она тоже ничего... Зимой опять увезли на работу в тайгу, и опять были карточки, голод и холод. – Она вздохнула, грустно глядя на Сан Саныча. – Нас никто не морил специально трудом или голодом, но мы всегда числились буржуями, врагами советской власти...

– Разве ты плохо жила в Дорофеевском? – Белов прижал ее к себе. – Не хотела уезжать...

– Это благодаря Гюнтеру. У Турайкина обязательно будут голодать. На Енисее немало ссыльных погибло...

Николь затихла. Они долго сидели молча.

– Мы с Турайкиным курили на корме... – заговорила Николь негромко. – У него руки трясутся с похмелья, я стою и думаю: спихнуть тебя, гада, за борт! Скольким людям жизнь облегчу! Уже представила, как толкаю и как он барахтается со своим портфелем, а «Полярный» уходит... Очень хотела столкнуть, а не смогла... Почему мы так не можем?! Он же может! Не бригадир он никакой, стукач он, сотни людей уже спихнул за борт! А мы все равно не можем. Почему так? – Николь напряженно молчала. – Ты боишься?

– Чего? – спросил Сан Саныч, хорошо понимая, о чем она.

– А я боюсь. Они могут сделать с нами, что захотят. Отправят меня обратно в Дорофеевский, а могут и посадить... – она подняла на него тревожный, любящий взгляд. – Этот Никифор уже десять телег наката на тебя, он за этим и едет в Сопкаргу, ты разве не понял? Надо было его спихнуть.

– Ладно, прорвемся... – поморщился Сан Саныч.

– Если они тебя арестуют, я что-то с собой сделаю, мне тогда уже совсем все равно будет!

В Дудинке Сан Саныч сам отвел Лайму в больницу и отнес в районный отдел госбезопасности жалобу Карла Ивановича. Шинель вычистил, форму выгладил и отнес. Попросил, чтобы жалобу зарегистрировали как положено.

В Игарку пришли за ледоколом. Енисей вставал, весь корявый от торосов и уже белый, только на фарватере кое-где парили темные полосы. В Игарской протоке мальчишки бегали по льду и катались на коньках. Все уже было нарядным, зимним, снег толсто лежал на крышах, на высоких штабелях золотистого, приготовленного к погрузке пиломатериала.

36

Октябрь стоял сухой и непривычно теплый для Москвы. Весь месяц было солнечно и тихо. Ася и Лиза Воронцова встретились на Гоголевском бульваре у метро «Дворец Советов» и пошли вверх к Никитским воротам. Дворники уже подмели, косые царапины метел на дорожках лежали строго и почти стерильно, если бы не слетающие листья. Их непокорное золото украшало беззаботный, залитый солнцем бульвар.

Ася достала из сумочки деньги, что должна была, пересказывала новости, их было много, и главная, что с Дальнего Востока приехала Лидия Николаевна – сестра Горчакова.

– ...лицо в мужских морщинах, курит все время и молчит. С матерью почти не разговаривает, уходит куда-то на целый день, возвращается выпившая. Спит на полу у порога, сама выбрала место, у нас и негде, правда, больше, говорит, сквозняки ее не берут. Она хорошая, но странная, как будто эта наша жизнь ей непонятна совсем и не очень приятна. Денег заработала, у нее срок два года назад кончился, я все долги раздала, она Севке обувь на осень и зиму купила, пальто... И на него так же смотрит, как будто совсем улыбаться разучилась. Так и сидят иногда молча и оба книжки читают... Как-то у них все очень... полновесно. Однажды я слышала, как Севка ее про отца расспрашивал. Как он все понимает?

– Да, Севка у тебя удивительный... – Лиза потянула Асю присесть на скамейку. – А у Лидии Николаевны своих детей нет?

– Была дочка... Их с мужем арестовали друг за другом, комнату отобрали, а девочку отдали в детдом, бабушке с дедушкой, как членам семьи, не разрешили взять. Эрику усыновила их домработница. Она взяла ее к себе в Подмосковь, в Фирсановку, девочка оттуда ездила в школу на поезде. Ей было одиннадцать лет, через год она попала под поезд. Это было в тридцать восьмом году.

Лиза горестно качала головой.

– Лидия Николаевна одна, если бы она осталась с матерью, мы могли бы уехать в Норильск. Но я с ней пока не говорила...

– Ты опять?! Какой Норильск?! Ты, Аська, все-таки чокнутая! Там сейчас зима!

– Лидия Николаевна говорит, везде можно жить, даже на Колыме... Она про Геру ничего не спрашивала, спросила только, где он.

– Полярная ночь, мороз, заключенные... Ты знаешь, что там полно заключенных! – продолжала возмущаться Лиза.

Ася молчала. Лиза погасила сигаретку в чугунную урну:

– Вчера в театре открытое партсоборание было, какой-то хрен из Министерства культуры приезжал. Рожа, как у бегемота, глазки маленькие, и видно, что вообще не умеет говорить правду. Мозги нам мыл, – Лиза склонилась в самое ухо, – про значение партии и лично товарища Сталина в театральном искусстве. – Она отстранилась, улыбаясь. – Хорошо, мне господь детей не дал, твоим все это еще слушать и слушать.

– Проще всего было бы завербоваться в какую-нибудь норильскую организацию, получить подъемные, билет на самолет, в этом случае они и жилплощадь сразу дают. Я ходила, там везде люди нужны, но отказали – одинокая, с двумя детьми, садик нужен, школа, даже до анкеты дело не дошло.

– Аська, тебе чего-нибудь попить надо успокаивающее! Денег нет, свекровь на руках, дети! А-а?! Подожди, хотя бы Коля получит паспорт... Что твой генерал, кстати?

– Его арестовали.

– Да-а-а? – Лиза глянула испуганно.

– Он не в командировку уезжал, следствие было. Летом их выселили. Домработница говорит, имущество конфисковали, жена с детьми к матери в деревню уехала.

– И что у тебя с уроками?

– Плохо, – поморщилась Ася, – поэтому и надо ехать. Там хоть работа есть.

– Ты к ним машинисткой принципиально не пошла, а там кругом сплошное МГБ. Норильск – это их стройка, у тебя дети, Ася, три раза подумай!

– Это отсюда все страшно выглядит. Поищу его спокойно год-два, не найду – вернусь. Или не вернусь. Здесь жизнь – тоже не сахар.

– А свекровь?

– У Натальи Алексеевны пенсия неплохая и главное – комната. Если Лида не захочет, можно хорошего человека найти, кто стал бы ухаживать, прописать его к ней. А я денег высылала бы.

– Ты в самолет сесть не успеешь, Наталью Алексеевну соседи в дом престарелых сдадут за эту комнату. Пойдем! – Лиза убрала сигареты в сумочку. – Ты ведь и про Геру ничего не знаешь...

– Вчера написала тому санитару, я тебе рассказывала... Прочти, пожалуйста.

– Зачем? – не поняла Лиза.

– Я целую неделю писала... – Ася достала письмо. – Оно может попасть не в те руки, письма же проверяют... Прочти, ты спокойнее меня!

Лиза посмотрела по сторонам и раскрыла письмо:

«Дорогой Шура!

Пишет вам Ася, вы мне писали прошлой зимой, накануне нового 1950 года. Рассказывали об одном вашем товарище, которого отправили в командировку в Норильск. Я вам отвечала (это было уже весной), но вашего ответа не получила. Письмо могло потеряться, поэтому пишу снова.

Одна моя знакомая собралась на работу на Крайний Север (известно, что там у вас очень хорошие зарплаты), но у нее двое детей, один дошкольник, и ее все отговаривают, говорят, что трудно может быть со школой. Что вы скажете? И то же самое о жилье? Как у вас с жилплощадью?

Работы, я понимаю, на вашей стройке хватает и устроиться несложно. А еще эта женщина спрашивает: как к вам добираются в зимнее время? Возможно ли это вообще или лучше ей подождать летней навигации?

Вы писали про командировку, в которую уехал ваш товарищ. Вернулся ли он обратно?»

Лиза перестала читать, глянула скептически на Асю и вернулась к письму.

«Где он сейчас трудится? И кем? Как проводит свое свободное время? Ходите ли вы с ним в кино в новый Дом культуры, о котором вы мне писали? И смотрели ли фильм “Молодая гвардия” режиссера Герасимова? Про героев-краснодонцев. Мне очень нравится игра молодых талантливых актеров Вячеслава Тихонова и Сергея Бондарчука. Сходите обязательно, если еще не видели. И еще советую посмотреть музыкальную комедию “Кубанские казаки”! Очень смешная и веселая!

И еще вопрос – если эта женщина приедет в Ермаково, а вашего товарища там не будет, сможет ли она его разыскать? Я ей обещала их познакомить, она хороша собой и не замужем.

Желаю вам всего самого доброго, Шура, и успехов в работе, конечно!»

Лиза сложила листочек. Повернулась к Асе.

– Партизанка! Под простужку сработала, можно бы еще чего-нибудь поглупее... Там эти письма не слишком крупные интеллигенты читают... – она в сомненье качала головой.

– Поймет он, как считаешь?

– Не знаю, – Лиза думала о чем-то, вздохнула, доставая сигарету, – ой, не знаю, подруга! Мне и думать об этом трудно. Какой он сейчас, твой Гера? Не пишет же, приедешь, а у него там баба да семеро по лавкам... Сколько хочешь такого!

Ася сидела, не шевелясь, только пальцы машинально разглаживали конверт. Смотрела вдоль тихого и солнечного осеннего бульвара, все мысли ее были где-то очень далеко.

– Ну ладно... если правда надумаешь ехать, продам бабкин перстень, он мне все равно велик.

Октябрь 1950 года и в Игарке был неплохой. Городок, как полярный зверек, поменял шкурку, из пегого и грязноватого стал беленьким и нарядным, не пуржило ни разу, не переходило со снега на ледяной дождь. Чего еще надо? Стоял приятный, градусов в десять-пятнадцать морозец, и холодное северное солнце каждый день, как по заказу, появлялось над горизонтом.

Белов третью неделю уже жил в городе. Готовил «Полярный» к долгому зимнему отстою, бумаги писал, недописанные за лето, закрывал наряды, премии, проводил ревизию вещевого довольствия и оставшихся продуктов. Вечерами ходил по товарищам, по знакомым – искал съемный угол. Пока жили с Николь в караванке, в его комнате. На первых порах он попросил ее никуда не выходить, и она не ходила – варила, стирала и штопала на всю оставшуюся команду.

Вместе с Сан Санычем, трясаясь от страха, сходили в милицию и поставили ее на учет. Документы, выправленные Габунией, оказались в порядке, и теперь Николь жила в Игарке на законных основаниях. Но все равно было беспокойно.

Дела, которых так опасался Белов, складывались неплохо, можно сказать, что и хорошо. Его не пришли арестовывать, Квасов им не интересовался, с женой виделся один раз и поговорили без скандала. Большие неприятности, которых он ждал, не оправдывались, и он рассчитывал, что все как-нибудь утрясется. Даже кольцо купил Николь. Какая-то тетка, из прибалтиек, продавала у магазина вещи. Кольцо было старинное, темно-желтое, многоношеное, Сан Саныч, повертев его, сначала отказался и отдал обратно, но тетка очень честно посмотрела ему в глаза и сказала, что это ее прабабушки, фамильное. Сан Саныч дал ей больше, чем она просила, и принес Николь. Кольцо оказалось чуть великовато, Белов обещал найти мастера в зоне. Николь сначала притихла, разглядывая и обдумывая его подарок, потом повеселела и стала приставать, чтобы Сан Саныч нашел батюшку, чтобы обручил их по-настоящему. Навсегда. Ночью, правда, немного поплакала.

Как-то вечером Белов сидел с флотскими в ресторане, не в первый уже раз отмечая окончание навигации. Дым коромыслом, полный стол

закусок, графины все с тем же мутноватым спиртом «бочкового посола». Пили за речной флот, за Енисейское пароходство, за выполнение плана, за премии, за официанток и за женщин вообще. Выпили и за Белова с его туруханскими подвигами. Сан Саныч получил за навигацию хорошие деньги от Строительства-503. За подъем по Турухану Макаров обещал отдельно поощрить от пароходства. Могли дать путевку в их санаторий в Кавминводы, он ни разу еще не ездил, и это ему сулили выпившие товарищи. Сан Саныч помалкивал, без Николь он не поехал бы.

В хмельную голову Сан Саныча пришла интересная мысль – можно было подарить путевку в Кавминводы Зине. Зайти, подарить, поговорить по-доброму и спокойно решить с разводом. Он мог первые полгода-год даже помогать ей, пока она не устроится на работу.

– Эй! Сан Саныч! Уснул! – кричали ему весело, сосед пихнул в плечо. Весь их стол стоял.

– Не буду! Я уже пьяный! – Белов тоже поднялся, качая головой.

– Как не будешь?! За победу пьем! За нашу великую Родину! Ура! Ура! Ура-а-а!

Сан Саныч улыбнулся и выпил свою рюмку. Сделал вид, что идет курить, сам взял шинель и пошел домой. Караванка была маленькая, кроме их отдельной комнатки в другой, на черных лагерных матрацах, на полу спали Померанцев, Климов, оба кочегара, за летнюю навигацию потерявшие жилплощадь, и Егор, познакомившийся с какой-то игарской девахой и отложивший отъезд на большую землю.

Перед людьми было неудобно, но и деться некуда. Частный дом в Старом городе, где они сняли угол, оказался слишком веселым. За фанерной перегородкой каждую ночь пили, матерились, иногда пели блатные песни под гитару. Часто дрались... Дрались и женщины, визжали и бегали друг за другом по двору. Николь, выдавшая всякое, лежала, прижавшись к Сан Санычу, и поначалу хихикала, но к концу недели они собрали вещи и ушли.

Белов открыл дверь в караванку, накурено было крепко, Сан Саныч кивнул, вокруг буржуйки с кружками в руках сидели Померанцев с Климовым и еще трое каких-то мужиков не сильно приятного вида. Сан Саныч напрягся и сразу прошел в свою комнату. Николь сидела без света, ойкнула, когда он открыл дверь.

– Ты что в темноте? – хмель волной сходил с Белова.

– Саша! – Николь метнулась к нему.

– Что? – Белову показалось, ее обидели.

Оставляя ее одну, он все время боялся. Игарка была одна большая зона, урок боялись все. Те, что сидели сейчас у печки, были как раз такие, в привычных позах на корточках.

– Нет, ничего, ничего, – прижималась Николь, – я ждала тебя.

Сан Саныч вытянул из-под топчана ружье, проверил патроны и решительно открыл дверь в соседнюю комнату. Урок не было. Померанцев запирает дверь на палку.

– Фу, Сан Саныч, – перекрестился Климов, увидев своего капитана, – натерпелись маленько...

– Чего они хотели?

– Дак чего? Понятно чего, Николь увидели... Она тут налима жарила, а они зашли огонька стрелнуть. Шакалили, видно, ходили... с заточками все. Бикса^[117], спрашивают, ваша? А мы вдвоем с Михалычем да с голыми руками...

Белов отнес ружье, сели ужинать, ели молча, у Померанцева с Климовым тряслись руки. Пришли кочегары, потом Егор привел товарища переночевать. Оба под мухой.

– Ты, Егорка, зря по ночам один ходишь! – в караванке Климов с боцманом менялись ролями, и Егор его слушался.

– Не бойсь, Игнат Кирьяныч, у меня вот! – Егор, улыбаясь, достал из кармана увесистый кастет. – Отобьюсь!

– Не знаешь ты их породу, сынок, урки – они все до одного подлецы, думаешь, драться с тобой будут?!

Николь взглядом оставила Белова в комнате и ушла к себе. Мужики пили кипяток с тундровыми травками Климова и обсуждали принесенные новости. Осень была ранняя и морозы захватили в запани у лесозавода тридцать плотов, приведенных с Ангары. Зэков нагнали, они, мокрые, лазили по замороженным бревнам, дробили нетолстый еще лед и вытаскивали, сколько могли, но складывать было некуда – все берега и площадки были забиты лесом. Тридцать плотов – это было очень много, Померанцев пытался высчитать, какой же примерно толщины слой бревен находился под водой...

– Зимой всех выгонят долбить, и зэков, и вольных, – улыбался Повелас, – тут всегда так.

– И даже членов партии, – поддержал Померанцев с самым серьезным лицом.

– В Дудинку целый караван идет через лед... – Егор показал на своего товарища. – Вон, Петька боцманом шел на «Севере».

Все посмотрели на боцмана Петьку, который молчал и только кивал на слова Егора. Об этом караване почти из десятка судов, вмерзших в Енисей на полпути между Дудинкой и Игаркой, слышали все. Читали о героической битве со льдами в газете «Коммунист Заполярья».

– Ты давно оттуда? – спросил Белов.

– Два дня... Мне в техникум надо, а там самая работа – зэков нагнали тысячи!

– Ну ладно... – улыбнулся Белов.

– Точно! В три смены работают! Уголь для пароходов возят из Дудинки, тонн по пятьдесят каждый день. Сначала на лошадях да быках возили, потом лед окреп, машины и трактора пошли.

– Ну и где тут тысячи? – не уступал Белов.

– А лед долбить! Там четыре здоровых парохода друг за другом, да лихтер, да еще буксир портовый... и дорогу впереди, и вокруг всех надо лунки долбить! Целый километр! Черно от народу! Надолбят, взрывчатку закладывают, заряды все в длинных мешочках, их специально для этого на зоне шьют. Потом лунки с зарядами соединяют детонатором! – Петя выразительно всех осмотрел, показывая масштаб работ. – Взрывают одновременно, и пока лед летит вверх да падает, мы уже прем на всех парах! Морозище такой, что эта каша ледяная мигом схватывается. Чуть опоздали, уже не пройти по тому, что взорвали. Надо в обход долбить. Зэкам, которые на морозе, спирт выдают!

– Не может такого быть... – восхитился Климов. – Сколь отсидел – никто ни разу не поднес!

– Я сам видел, ей-богу! На морозе же целый день... – Петька крепко зевнул.

– И помногу проходили? – спросил Померанцев.

– Сначала ничего, у «Жданова» одна машина шестьсот сил и стальной ледовый винт, да «Хабаровск» пятьсот сил, да мы... А когда уезжал, лед уже почти метр толщиной, один-два корпуса прoderемся,

снова лунки долбят. – Он опять зевнул и посмотрел в угол, где начал стелиться Климов.

Мужики стали укладываться, а Сан Саныч вернулся в свою комнату. Разделся и лег рядом с Николь. Она не спала.

– Испугалась?

– Немножко. Не думай об этом, у меня такое не первый раз! – она поцеловала его в плечо. – Я комнату нашла!

– Ты? Где?!

– В Доме культуры! Мне Гюнтер письма дал к разным людям, к немцам, которые здесь живут, – зашептала возбуждено. – Прихожу в Дом культуры к завхозу, говорю, здравствуйте, тетя Марта. А она – такая старушка худенькая, сидит за столом и смотрит строго! Прочитала записку от Гюнтера, спрашивает, как он там? Ничего, говорю, жив-здоров, план выполняет, помогите с каким-нибудь уголком... она только рукой махнула – нет ничего. Но как-то посмотрела на меня с интересом немножко. Я это заметила и опять, очень жалостно – помогите, пожалуйста, мы с мужем! Я в долгу не останусь... и на этих словах у меня с пальца слетает твое кольцо и к ней под стол. У меня сердце оборвалось – как будто я ей взятку даю! Я чуть не бросилась за ним. А она спокойно так подняла кольцо, рассмотрела его и подает мне обратно. А сама все на меня смотрит. Садись, говорит, чаю нет, вот кипяток с хлебом. Ты не русская? Я ей рассказала. Про «мужа»-капитана, про свою ссылку. Она настоящая немка, из Германии, коммунистка. Десять лет отсидела за русского мужа, как член семьи врага народа, потом ссылка навечно... Завтра пойдем смотреть!

Это была подсобка, придумывалась она для дворников, для их инструмента, без окна и отопления, но люди Игарки сразу исправили эти недостатки. И оконце прорезали, и буржуйку поставили, и еще топчан с узким столиком втиснули, больше, правда, ничего не поместилось. Комната была два на четыре метра, то есть это была не комната, а отдельная квартира с отдельным входом. Это был их дом.

В первый же вечер устроили пир со спиртом, разведенным консервированными ананасами, которыми были забиты все магазины. Даже хотели пойти прогуляться под ручку, как муж и жена, но Николь, подумав, посмотрела на «мужа» внимательно и отказалась.

Несколькими днями раньше они договаривались не ходить пока вместе по Игарке.

И все же это было очень похоже на настоящее семейное счастье. Здесь, в центре города, было освещено, и Николь могла выходить даже вечером. Патруль как-то проверил у нее «Удостоверение ссыльного», и она почти с удовольствием его показала и даже состроила глазки молодому сержанту – начальнику патруля.

Наконец она сходила и в больницу. Вечером сказала Сан Санычу, что беременна. Уже три месяца или больше. Он только что поел. Они молча, в напряжении глядели друг на друга. Она взяла его за руку:

– Что с тобой?

Сан Санычу захотелось встать и пройтись, но пройтись по их комнате было невозможно, и от этого, от этой несвободы, а еще от такого ее вопроса он почувствовал раздражение. Не на нее, но вообще. Взялся за голову, соображая, и тут же встал решительно:

– Пойдем на улицу!

– Нет! – закачала головой Николь.

– Идем, одевайся! Надо все обдумать!

– Что обдумать?

– Нашу жизнь!

Они оделись и вышли. Шли молча. Мыслей было так много, что Сан Саныч не знал, что сказать. Даже и про ребенка забыл. Остановился:

– Сейчас пойду и возьму у нее развод. Потребую!

– Она же не дает?

На этот вопрос у Сан Саныча не было ответа, если бы был, он давно бы все это проделал.

– Получается, я ее боюсь... – сказал вслух.

– Не ее, – подсказала Николь.

– Ну да, но он меня не трогает! Он знает, что я здесь, мы с ним виделись случайно. Значит, все в порядке. Я должен сходить к Зине... Так?

Николь молчала.

– Саша, это очень странно, но мы с тобой не знаем, чего боимся! Так разве бывает?

Белов молчал.

– Ты всегда говорил, что тебе нечего бояться. А теперь есть чего? Это из-за меня? Но ведь со ссыльными не запрещается общаться. Многие женятся...

– Это можно. Летом начальник Туруханской пристани женился на немке... – Сан Саныч замолчал, будто соображал, говорить, нет ли... – Меня арестовать могут.

– За что?

– Я не знаю. – Сан Саныч потянул ее дальше по улице, но вдруг встал решительно. – Вот что! Не будем про них думать! Надо действовать и все, и ничего не бояться. Развестись, расписаться, мы станем мужем и женой. Ребенок будет наш.

Уверенности, однако, в словах Сан Саныча было немного. Николь это слышала. А его ребенка уже ощущала в себе.

Начальника райотдела МГБ по Игарке старшего лейтенанта Константина Васильевича Квасова не перевели на материк. Ни весной, ни летом, вопрос должен был решиться до ноябрьских праздников, но три дня назад из Москвы позвонил человек и сказал, что место, на которое Квасов рассчитывал, заняли. Место было теплое, на югах, должность майорская. Квасов сразу, как только попал сюда, возненавидел эту Игарку и решил надолго тут не задерживаться. Поэтому в отпусках времени зря не терял, пил с кем надо, ценные подарки возил... и вот опять сорвалось.

Он сидел в своем кабинете, читал материалы дела Белова Александра Александровича, а сам Александр Александрович тихо потел на стуле перед ним.

Это был старый прием, Квасов вызывал «клиента», сажал его напротив, но не за стол, а поодаль, у стены, и начинал «изучать дело». Не он это придумал, но ему очень нравилось. Он пил чай, думал о своем, листал неторопливо подшитые бумаги, возвращался к прочитанному и снова читал донесения оперов, наружки, если они были, доносы сослуживцев или просто стукачей – эти были всегда. В кабинете было тихо, подследственный не должен был ничего спрашивать. И они всегда – до чего же они все друг на друга похожи! – всегда вели себя очень тихо, не мешая, стараясь и дышать бесшумно. Так же вел себя и Белов.

Квасов, расстроенный отказом, третий день не брал в рот спиртного и был злой. Он и не хотел уже, но все время думал, как повернуть судьбу в свою сторону и перевестись хотя бы в Красноярск. Он уже боялся этой Игарки, где у него все было – деньги, любая выпивка, наркота, жратва и бабы – любая баба, какую душа пожелает. Но не было солнца, всегда было холодно и не было приличных людей. Самыми приличными были несколько воров в законе, с которыми он иногда играл в карты, вспоминая об иной жизни. А иногда просто разговаривал – среди авторитетных встречались люди очень неглупые, поведавшие по-настоящему красивую жизнь.

Квасов позвонил, попросил свежего чаю, мельком глянул на Белова, который час уже молчал на своем стуле, уставившись в одну точку и отупев от навала страшных мыслей.

С женой Белова Квасов завязал, ухаживал за дочкой начальника Игарского ОРСа. Снабженец имел немаленькие левые деньги и тоже собирался сваливать на материк. Дочке было всего восемнадцать, смазливая, училась на отлично, на виолончели играла, родители были не сказать как против Квасова, особенно мать, которая просто его ненавидела, но молчали. Квасов неторопливо совратил ее и думал жениться перед отъездом. Даже успел поговорить с отцом о приданом.

И вот теперь, хмурый, внутренне растерянный и оттого еще больше злой, он делал вид, что читает дело, а сам думал совсем о других вещах. Белов не вызывал в нем никакого азарта, в его деле не было ничего интересного. Посадить можно было, конечно, но и это было скучно. Опять вспомнил со злобой об уплывшем из-под носа новом месте работы. Он мог выбирать место жительства – Геленджик или Анапу, он склонялся к Геленджику. Красивая бухта, шашлыки, запахи теплого моря... мог бы пойти сейчас с полотенцем на плече, искупаться. Квасов посмотрел за окно – здесь тоже было солнце, слепило, отражаясь от белых сугробов.

Квасов уже двадцать минут «читал» донесения какого-то мудака Турайкина о каком-то мудацком куле муки, который «исчез в неизвестном направлении, являясь уликой факта воровства государственного имущества в крупных размерах», о «небескорыстной помощи ссыльнопоселенцам» опять же «в крупных размерах», «предоставление им оружия и сетей, что может рассматриваться, как подготовка к массовому бегству за границу нашей Родины СССР».

Еще скучнее были две положительные характеристики из Пароходства и из отдела водного транспорта Стройки-503, запрошенные Дудинским отделом госбезопасности.

Будь Квасов в настроении, он, ничего не объясняя, ушел бы сейчас обедать, а потом и вздремнуть, редко кто после трех-четырех часов такой молчаливой пытки оставался спокойным и не наговорил бы на себя. При мысли про обед Квасову вдруг так захотелось выпить, что он заинтересованно посмотрел на Белова. Тот тоже поднял голову с тревожным вопросом в глазах.

– Был у своей? – спросил Квасов снисходительно.

– Был... – Сан Саныч как раз чего-то такого и ждал.

Если бы Квасов велел ему изложить всю свою вину, как он ее видит, он все бы рассказал начистоту в мельчайших подробностях. Самым серьезным проступком было то, что он жил с Николь, не разведясь с женой. Но этого как раз хотел сам Квасов. «Я готов немедленно развестись и жениться на Николь. У нас скоро будет ребенок!» Примерно такую речь готовил про себя Сан Саныч. Иногда он добавлял к делу своего друга лейтенанта МГБ Габуню, который знает Николь, но всякий раз вычеркивал его.

– Что делает?

– Кто? – не понял Сан Саныч, он говорил, всячески подчеркивая свою готовность говорить, сам слышал этот тон, ненавидел себя за него, но поделать ничего не мог.

– Баба твоя!

– А-а-а, – Сан Саныч болезненно соображал, кого Квасов имеет в виду, – Зина-то... На машинке шьет... – ответил Сан Саныч, с тревожным ожиданием глядя на Квасова. Он уже еле держался, не понимал, почему Квасов ничего не спрашивает про Николь. И вообще – вызвал и второй час ничего не спрашивает.

Они все такие, думал старлей, – а чего ссать? Чего этому сопляку, жизни не видевшего, бояться? Квасов, прищурившись, в упор смотрел на Белова. Рассказать бы тебе, пацанчик, чего я в своей жизни повидал! Вспомнился «писатель», что приходил с ворами, – настоящий член Союза писателей! Вот кому рассказать все в подробностях, пусть запишет красиво, потом камень на шею и в Енисей. Квасов даже ухмыльнулся интересной мысли. Это была бы книжка! «Война и мир»!

– Ну рассказывай! – лейтенант уже твердо решил выпить.

– Что рассказывать? – с готовностью спросил Сан Саныч.

– Куда куль муки дел? – скривился Квасов и тут же, сморщившись брезгливо, поднял руку, запрещая говорить. – Белов, ты любишь Игарку?

– Игарку? – не понял Сан Саныч.

– А я ненавижу! – Квасов достал из стола бутылку коньяка и налил себе полстакана. – Со всеми этими вашими кулями муки, рыбалками, охотами, белым безмолвием и полярными сияниями! К свиньям все!

Он выпил, закрыл глаза, подышал и налил еще. Сан Саныч смотрел, ничего не понимая. Ему тоже очень хотелось коньяку.

– Пароход любишь свой?

– Люблю!

– Молодец! – Квасов опять выпил и аккуратно поставил стакан. – С Зинкой твоей чего хочешь, то и делай, мне насрать, завтра у тебя обыск на пароходе, от судна тебя отстраним! На время расследования!

От коньяка щеки Квасова пошли красными пятнами, а глаза заблестели.

– А почему расследование? Что я сделал? – теперь Белов пошел красными пятнами.

– Ссылным помогал? Оружие давал? Продукты, пять туш оленьих! Деньги с них брал, пишут товарищи! Все выясним, в Ермаково документы поднимем, тут тоже доносец есть... Работай пока. Свободен, давай пропуск, – лейтенант пугал скорее по привычке, ему уже все равно было.

Белов подал бумажку, на ней ничего нельзя было разобрать, так он ее затер от волнения.

Вышел на улицу. Солнце переползло на другую сторону города, за Енисей, он не знал, куда идти, подумал про Николь, про караванку... – нельзя было, надо было как-то отойти от этого разговора, он его не понимал. От растерянности направился к Зинаиде. Просто поговорить, она могла что-то знать. У Зины сидела теща, в пальто и пуховом платке, рассказывала про кого-то, вылупилась изумленно на Сан Саныча.

– Явился! А мы думали, не выпустят тебя! Ну я пошла, Зин! Материю-то не забудь вечером!

– Здравствуй! – первый поздоровался Сан Саныч.

– Здравствуй! – ответила Зинаида и села за швейную машинку. – У меня работа срочная, заказчица ждет!

Она тронула рукой колесо машинки и заработала педалью. Машинка застрекотала, шов пополз на Белова.

– Как тут... дела? – спросил Сан Саныч, расстегивая шинель и присаживаясь на кровать. Увидел орден Красной Звезды на кителе, прикрыл полой.

– У меня-то ничего, а у тебя так себе! С иностранкой связался?!

– С какой иностранкой?

– Дурочку не валяй! Вся Игарка уже знает! – она прекратила строчить, откусила нитку. – Измена Родине, двадцать лет лагерей за такие связи! А у меня комнату отберут!

– Я и пришел, чтобы развестись, давно предлагал... Она не иностранка, она ссыльная!

Зинаида слушала внимательно.

– А Квасов что говорит?

– Ничего...

– Как это?

– Да ничего, она тут совсем ни при чем. Я на низах ссыльным помог, бригадир телегу накатыл... Давай, Зин, разведемся по-хорошему, я тебе на первое время денег давать буду, пока не устроишься. А жить – тут живи!

У Сан Саныча отпускала. Зина тоже ничего особенного не сказала. Он даже улыбнулся ей – хотелось, чтобы люди друг к другу добрее были. Зина смотрела с большим недоверием.

– Не выйдет, – сказала не очень уверенно, – я на тебя уже в Пароходство написала. Мне тоже муж нужен, я, может, тебя люблю! Супу не хочешь? – она встала из-за машинки, и Сан Саныч увидел прежнюю Зину – блядскую, лживую и заботливую одновременно.

– Нет, – ответил Сан Саныч, будто ожегшись о ту, прежнюю жизнь, и подумал о Николь, она уже ждала его. – Написала и написала, я завтра в загс пойду.

– Сан Саныч! – Зина подошла так близко, что Белов услышал знакомый запах ее дыхания. – Я тебя просто так какой-то ссыльной шлюхе не отдам! Поигрался и домой! А хочешь, еще поиграйся, я потерплю! Я и сейчас терплю, а могу лихих ребят попросить, они ее хором так отделают, мало ей не будет! – Она говорила тихо и уверенно,

уоставилась на него, ожидая эффекта, но Белов молчал. – От меня ты не уйдешь, Сан Саныч! Даже не пытайся! Только в зону! Я на тебя такого напишу – в ад не примут! Первая напишу, я в жены врага народа не хочу! Будешь суп? Горячий еще...

Сан Саныч шел по улице, ничего не видя вокруг, останавливался, пытаюсь успокоиться, к беременной Николь нельзя было идти таким. Он кипел, а сделать ничего не мог – Зинка легко написала бы любую ложь, она была под защитой все тех же тайных и страшных сил. Сан Саныч очнулся – вокруг была обычная заснеженная улица, мужик ехал на санях, груженных мешками, полозья скрипели, от коня шел пар, а его гнедая морда, как и положено, была седой от мороза, автобус подошел к остановке, народ, пихаясь, полез в двери, Сан Саныч сам так же садился сегодня утром. Все было, как всегда, только внутри все стонало от бессилия. Он, свободный гражданин своей страны, много работающий на нее, лучше других работающий...

Он сказал Николь, что очень болит голова, выпил таблетку и лег. Она ушла в магазин, а когда вернулась, Сан Саныч тихо похрапывал и проспал до самого вечера. Проснулся уставшим, будто один загрузил бункера «Полярного». Улыбнулся Николь и сел ужинать. Игарка стала опасной для Николь.

Весь следующий день провел в хлопотах. Взял отпуск, снял со сберкнижки деньги, договорился с летчиками, и через два дня они с Николь на грузовом «Дугласе» улетели в Ермаково.

Столица Сталинской Магистральной Стройки-503, тоже приделась в белые заполярные одежды. Самолет делал круг, целясь на ледовый аэродром Ермаково, Белов никогда не видел поселок сверху. Внизу, в окружении тайги и озер, прижимался к рябой торосистой полосе Енисея целый город, размером с добрый райцентр. Ближние от берега улицы тянулись ровными рядами домов, дальше же только крыши, крыши и крыши с шапками снега. Отдельные большие дома выделялись – больница, электростанция, лесозавод с высокими штабелями бревен, стадион, железнодорожные пути, пристани и склады, склады...

Самолет летел уже совсем низко. Ребятишки бегали возле школы, грузовики дымили синим, лошади тянули сани, дворняжки брехали на колонну зэков. Белые дымы поднимались в морозное небо – мелкие и

частые завитушки над веселым человеческим жильем и тугие над электростанцией, особенно парило над теплым бассейном лесозавода, где оттаивал пиловочник. Сан Саныч жадно все рассматривал и радовался невольному развитию новой жизни.

Устроились в палатке, на освобожденном месте Пети Снегирева. У него родилась дочка – ровесница Стройки-503. Петя на радостях, Галя была еще в роддоме, по пьяному делу чуть было не записал ее Стройкой или Магистралью, да женщина в загсе отговорила. Если уж хотите по-новому называть, посоветовала, то можно Владлена, от Владимира Ленина, или Фридэнга... Стальной еще некоторые называют. Это красиво, а Магистралью некрасиво.

Пете с Галей дали комнату – не отдельную, пополам с другой молодой семьей, но в теплом брусом доме и недалеко от Дома культуры и школы. Дочку назвали Варей.

В палатке теперь было просторней, некоторые семьи занимали по две брезентовые ячейки.

– Каждую ячейку общества – в отдельную ячейку! – шутил Петя, опуская чемодан с плеча. Он встречал Белова и Николь у самолета.

– Тут у нас и посуды осталась немного, – он понизил голос, чтобы не слышали соседи, – под кроватью картошка в ящике – можете брать, в бочке – рыба соленая, вы ее поближе к стене держите, пусть лучше подмерзает, чем квасится. Короче, пользуйтесь!

Он покрутил головой, чем бы еще поделиться:

– Ладно, вечером к нам, в теплый барак! Отметим ваше новоселье! Ты надолго сюда?

– Как получится... на два месяца просился, – замялся Белов.

– На весь отпуск?

– У меня за три года накопилось.

– Ну ладно, бывайте! Мне на службу... – Петя повернулся было к выходу.

– Ты обещал о работе для Николь узнать! – остановил его Белов.

– А-а, этого полно. На машинке печатать можешь?

– Нет, – покачала головой Николь.

– А в школу? Учительницей?

– У меня нет образования...

– Она пишет очень красиво, – помог Белов, – писарем в совхозе работала...

Петя растерянно чесал лоб, оценивая Николь.

– Я заходил в Управление стройкой, там рабочие специальности нужны. Или в лагерь? В охрану, учетчицей или в КВЧ... Не хочешь?

– В лагерь не надо! – не дал договорить Белов. – Ей не ради денег, она – ссыльная, надо, чтобы ее оформили в Ермаково. В Управлении водного транспорта ничего нет?

– Нет, зимой чего там делать? А на «Полярном» она кем ходила?

– Поварихой.

– Так, может, в столовую? Ты никого из лагерного начальства не знаешь?

Белов пожал плечами, задумался:

– Мишарина знаю, архитектора... О! Я майора Клигмана знаю! – вспомнил Белов.

– Ничего себе, у тебя знакомые! – уважительно одобрил Петя.

Через два дня Белов сидел в кабинете Якова Семеныча.

– Простой вопрос, Александр Александрович, – видно было, что Клигман ему рад. – Можно в столовую, нет, лучше... – он снял трубку и набрал номер. – Семен Исаакович, доброго вам дня, как Сонечка? Ничего? Ну и славно... Семен Исаакович, тут просьба будет, надо хорошую, честную девушку в вашу столовую пристроить.

Яков Семенович слушал, прикрыл ладонью трубку и спросил осторожно Белова:

– Поваром сможет?

– На буксире пятнадцать человек кормила... – Белов неуверенно пожал плечами.

– А если не поваром, попроще что-нибудь, на раздаче или... ну вот и хорошо. Спасибо, Семен Исаакович, кланяйтесь Соне, ваши лекарства будут на следующей неделе. Всего доброго!

Клигман положил трубку.

– В больницу для вольных выйдет – там хорошая столовая и директриса приличная. Как у вас дела, Саша? С Туруханом вы нам здорово помогли, премию получили?! Довольны? Что теперь? Какие подвиги? Пейте чай, пожалуйста.

Сан Саныч кивнул про премию и на радостях рассказал Клигману про Николь и про свои проблемы с Квасовым. Ему казалось, что майор Клигман и с этим может помочь, они были из одного ведомства. Яков

Семенович слушал внимательно, головой покачивал понимающе. Когда Белов закончил, вздохнул и заговорил едва слышно, одними губами:

– Они, Саша, или Красноярску, или напрямую Москве подчиняются. Я в такие дела не вмешиваюсь. У всех, Саша, свои семьи, и проблемы все очень похожи. Хотите еще чаю?

Белов видел, что Яков Семеныч не хочет дальше разговаривать на его тему, поблагодарил за помощь. Встал. Клигман подошел близко, подал руку, в его глазах была тревога:

– А эта ваша девушка... вам о ней задавали вопросы? Она фигурировала в деле?

– Нет, ничего... У нее все документы в порядке!

Клигман неопределенно покачал головой, и они расстались.

Сан Саныч всю ночь ворочался, ругая себя, что открыл рот о Квасове. Боялся, Клигман струсит, а он и струсил, это было хорошо видно, и не поможет. Не выспался, утром мрачный пошел с Николь в больницу. Сидели в приемном покое, ожидая директрисы столовой. Сан Саныч чувствовал, что место это им не достанется. Его настроение передалось и Николь. Обсуждали шепотом.

– Здра-авствуйте! – раздался негромкий знакомый голос.

Над ними стоял Горчаков. В белом халате и шапочке, совершенно не похожий на того Горчакова на Турухане, без папиросы и не в сапогах, а в тапочках, ни одного комара не висело над его головой. Только те же круглые очки, в крепкой оправе. Николь вскочила, обняла и чмокнула его в щеку. Георгий Николаич чуть смутился, а может просто обрадовался, протянул руку Сан Санычу и поманил их в сторону. Улыбаясь, завел в небольшой кабинет.

– Вы как здесь? – спросил.

Но тут за Николь пришла медсестра и увела к директрисе. Сан Саныч так был рад Горчакову, что не мог говорить, все смотрел на него.

– В августе расстались, а кажется столько времени прошло! – выдавил он наконец. – Вы здесь теперь работаете, Георгий Николаевич?

– Нет, на операцию вызвали, я по-прежнему в первом лагере.

– Давайте вечером к нам, вы можете?

– Не получится, Сан Саныч, я же в зоне ночью, или в больнице, если дежурство.

– Вот беда! Я так хотел рассказать, тут столько дел всяких. А завтра?

Георгий Николаевич в задумчивости потер подбородок.

– Попробую на дежурство напроситься, но не обещаю. Как Николь?

– Хорошо... то есть... она беременная!

Они встретились только через три дня. Горчаков был на ночном дежурстве, и Белов пришел к нему в гости. Сидели все в той же комнатке возле приемного покоя. Сан Саныч в белом халате, дверь приоткрыта – могли привезти больного. Разговор не начинался, стеснялись друг друга. Горчаков закурил, посматривая на Сан Саныча сквозь кругляшки очков:

– Как на Таймыр сходили? Штормило?

Белов думал о своих проблемах. Удивился простому вопросу:

– Столько всего рассказывать... Нину Степановну арестовали, прямо с борта сняли, сказали, два года назад сбежала из-под следствия... – Сан Саныч следил за реакцией Горчакова, но тот спокойно покуривал, только кивнул. – Потом ссыльных завезли ниже Сопкарги, на меня телегу написали, следовательно вызывал... – Сан Саныч смотрел с вопросом.

– Следователь-мент?

– Начальник райотдела МГБ.

– Что еще спрашивал?

– Ничего особенного... это с моей женой связано, я с ней развожусь.

– Следователь чего хотел? – Горчаков брякнул металлической оправой о стол, сощурился близоруко. – Вы ничего не подписывали?

– Нет, – Сан Саныч пожал плечами. – Два часа в молчанку с ним играли – дело мое читал. Потом задал три вопроса и отпустил.

– Дело? – не понял Горчаков.

– Ну да, дело на меня завели, там доносы да характеристики с места работы.

Горчаков погасил папиросу, вышел в коридор, слышно было, как сказал что-то санитарке, и вскоре вернулся:

– Плохо, что на вас есть дело. Может, и ничего не будет, а можете и пригодиться им. Лучше бы вам не высываться, Сан Саныч, слишком вы прямой иногда. Все верите, что они по закону живут... – Горчаков замолчал напряженно, машинально достал новую папиросу. – Если еще вызовут, ничего не говорите им сами! Вообще ничего не рассказывайте, «да» и «нет», а лучше – «не помню» и все! – Горчаков с усилием тер подбородок. – Ладно, может и пронесет. Николь беременна, вы сказали? Она хочет оставить ребенка?

– Почему вы спрашиваете? – Сан Саныч смотрел с удивлением. – Это наш ребенок!

– Да-да, вы правы, это непростой вопрос... – Горчаков покачал головой. – Я третий день об этом думаю. За Николь страшно почему-то, не могу объяснить. Сан Саныч, только поймите меня правильно, я к ней, как к дочери, – у нее трудная судьба, а с ребенком будет намного тяжелее, вы, конечно, и сами это понимаете... – он смотрел с внутренней горечью и с надеждой, что его поймут.

Сан Саныч молчал, глупо было думать о судьбе Николь. Теперь их судьба была общей. Что будет с ней, то будет и с ним. Он сидел нахохлившись, как нашкодивший мальчишка, и в этом был виноват Горчаков. Как и в прошлый раз, у них опять не получилось разговора. Почему же я так на него рассчитываю, думал Сан Саныч, отводя от Горчакова глаза, – я готов ему доверить все, а ничего не выходит. Холодный он...

– Я пойду, Георгий Николаевич, Николь одна там, давайте в другой раз. А ребенок обязательно родится. В гости заходите, Николь очень вас ждет, – Сан Саныч встал и протянул руку.

Вместе вышли на крыльцо, Горчаков закурил наконец измятую папиросу. Взгляд за очками снова стал спокойным и почти безразличным. Будто спрятался лагерный фельдшер от этого мира куда-то, в одном ему известное место.

Николь работала, ей все нравилось, зарплата была не такая большая, как у вольных, но в сравнении с совхозом огромная. Вольных работников в больнице не было и половины. Ссылные да расконвоированные доктора и сестры, в основном «пятьдесят восьмая». Благодаря новым знакомствам на учет ее поставили без лишних вопросов.

Они гуляли с Сан Санычем под ручку, как «законные». Ходили на все фильмы в Дом культуры, в гости, в баню – никто их здесь не знал, а кто знал, относились к ним хорошо. Они были очень симпатичной парой, а что не были расписаны, никого не волновало, такого было много вокруг. Даже с комендантом Ермаково подружились и Седьмое ноября отмечали в большой компании в его квартире.

Сан Санычу так нравилась его новая жизнь, что он не особенно страдал без своего «Полярного». В декабре дни стали совсем коротки, Николь уходила на работу ночью, ночью же и возвращалась. Он провожал и встречал ее у крыльца больницы. С Горчаковым виделись всего несколько раз, тот работал в своем лазарете, в лагере. Даже когда и обещал, не всегда приходил.

Обзаводились хозяйством, купили большие и маленькие кастрюли и сковороду, праздничный фарфоровый сервиз на двенадцать персон. В их брезентовой комнатке все блестело и всегда вкусно пахло. Николь колдовала с французскими рецептами, которые плохо дружили с сушеными заполярными овощами. Сан Саныч хвалил все, особенно он любил «супалонён»^[118], название которого, как утверждала Николь, произносил совершенно без акцента. Николь была счастлива:

– У меня никогда ничего своего не было! А теперь вон сколько! Когда я была девушкой, я мечтала, что у меня будет свой дом... Он выглядел совершенно иначе! – Николь хихикала и обнимала Сан Саныча. – Но я все равно страшно рада! Я согласна так жить! Плевать, что в палатке, – хочу, чтобы так было всегда! Ты, я, наш маленький, – она трогала живот, – и потом еще парочка наших маленьких! Да?! Я согласна! А ты, Саня?!

Шура Белозерцев сидел, запершись в процедурной, и писал. Время от времени прислушивался недовольно, что делается в лазарете. Перед ним лежало письмо Аси, которое утром принесла медсестра. Шура был хмур и сосредоточен, времени писать не было совсем:

«В первых строках моего письма напишу вам сразу, что получил его только что, час назад, с большой задержкой, в которой никто не виноват, одна женщина увезла его по нечаянности, а потом прислала

обратно, и вот только теперь принесли. Сразу вам и пишу, сегодня уже 12 декабря, а вы писали мне в октябре, полтора месяца прошло, больше. Очень нехорошо получилось.

Я так понял по вашему письму, что это не подруга ваша, а вы сами хотите сюда к Георгию Николаевичу приехать. Вот из-за этого больше всего и обидно, а вдруг вы пождали моего письма, да и рванули, и уже едете или уже приехали, и пишу я теперь непонятно кому, а вы уже в Игарке или даже в Ермаково...»

Шура сунул письмо за пазуху и пошел покурить. Больного выругал по дороге почти ни за что, все кряхтел от досады, что так с письмом вышло. И все соображал – не сказать ли про ее письмо Георгию Николаевичу, пусть сам решает? Не хотелось признаваться, что прочитал когда-то его письмо... да и рассказывать было нечего – Шура не знал, ни где она сейчас, ни что с ней. Вернулся в процедуру.

«Напишу вам, а там уж, как будет. По порядку отвечаю...»

Он уткнулся в Асино письмо, подумал недолго и склонился над бумагой.

«Люди на северах живут неплохо, хотя как посмотреть... Если у вас будет двое детей, то это похуже, конечно, но и вас я понимаю, не на кого, наверное, оставить, кому сейчас чужие ребятишки нужны. Моя жена с двумя очень трудно живет. Пишет, не всегда найдется чего и в кастрюлю положить. Хлеб, правда, как карточки отменили, покупает. Но это вы и без меня знаете. Здесь хлеб тоже не по карточкам, а в магазинах – всего, чего хочешь, были бы деньги. Школа в Ермаково двухэтажная, большая и с колоннами, хотя и деревянная.

Про жильё врать не буду, сами-то мы казенные нары давим, но у вольных теперь получше стало – два года уже строят для них. Думаю, если не в брусовом бараке, то в палатке-то место всегда вам дадут. Палатки теплые, не думайте, это не то что пионеры в поход ходят. С работой тоже хорошо, разная работа есть, вольных сюда длинным рублем зазывают.

В зимнее время к нам летают самолеты из Игарки, там большой аэродром и туда летают самолеты из Москвы, большего не скажу – сам ни разу в жизни не летал, даже на фронте не пришлось. Возят ли эти самолеты гражданских, тоже не знаю, но попробую узнать».

Дальше шел главный вопрос о Горчакове, и Шура задумался надолго. Писем Георгий Николаевич давно не получал, значит, она ему

не писала... И в письме она выпрашивает обо всем, значит, и он не пишет, и узнать ей больше неоткуда... Шура напряженно тер лоб, ему почему-то очень хотелось, чтобы Ася приехала. Горчаков, правда, с августа прошлого года ни разу ни жену, ни детей вслух не вспомнил.

Шура от напряжения чувствовал пот на лбу и под мышками, перечитал еще раз короткое письмо Аси, он его уже наизусть знал, решил писать и все! Если Горчаков против, а она хочет, то она имеет право приехать! Она – жена, мать... имеет право!

«Георгий Николаевич вернулся в Ермаково, командует лазаретом, где и я состою санитаром. В данный момент его вызвали в Ермаково, должен вернуться с минуты на минуту, я тороплюсь, потому что, кажется мне, вы едете, не спросясь у него, и даже не написали ему. Дело ваше, я вам отвечаю на письмо, а там уже, как сами решите.

Про свободное время вы еще спрашиваете и про кино, тут мне тямю^[119] не хватает, что вы хотели-то? Кино тут часто показывают в Доме культуры, самодеятельность бывает, поют, пляшут. Жить не очень скучно, наверное... У нас-то вообще не соскучишься – в шесть подъем и побегли, как заведенные. А иногда ничего особо не делаешь, бывает и днем приляжешь. Как повезет. На днях в лагере общий шмон был, какой-то придурок убежал, а может спрятался от наказания какого, дак всех из барачков вывели и давай считать-пересчитывать, даже у нас все перевернули, только совсем тяжелые остались на койках. Стояли с Георгием Николаичем, как французы под Москвой, морды обмотали! Пурга как раз была!

Что вам хочу главное сказать – приезжайте и ничего не бойтесь! Жить здесь нормально! Только упаси вас Господь, чтоб кто-то узнал, что вы жена Георгия Николаича, мигом к куму сбегают, хоть вольные, хоть ссыльные! Тут у нас так! И тогда его немедля переведут куда-то, так всегда делается!»

Шура перечитал письмо, ничего вроде вышло, он жене так складно не писал, только чего-то важного не сказал... больше напугал, наверное, человека. Чего-то надо было добавить про Георгия Николаича. Шура стал о нем думать – нечего и сказать было. Подъем, обход, завтрак – каждый день одно и то же, больные воняют, орут друг на друга, приворовывают, дерутся, лекарств нет, тесно, врачи приходят, когда им нравится. Так и работает... Он представил себе лицо Горчакова. Спокойный вроде, но спит последнее время плохо, все

время курить встает. Получается, какие-то мысли его гложут, может и бабешка какая завелась в Ермаково, – мелькнуло вдруг у Шуры.

Это ничего, жена приедет, он ту сразу бросит, это понятно. Шура строго прищурился и взялся за карандаш:

«Самое главное так вам скажу – последнее время Георгий Николаич думает много, курит один, может и о вас беспокоится, а может какая другая тоска его заедает. Лагерный невроз это называется по-научному. Люди перестают понимать, что вокруг, где они и зачем. Бывает, и с ума сходят или руки на себя накладывают».

У нас весной интересный похожий случай был, привезли с трассы одного пограничника. С ума сошел, как получил из дома письмо, что ему жена изменяет. Буйный сделался, втроем свяжем, а все время связанным держать нельзя. Развяжем, он разбегается, прикладывает руки к бокам и головой вперед через два окна. Не порезавшись, пролетал! Мороз, снег глубокий, а он в нижнем белье бежит! Ловим, опять связываем, и так два дня, у нас уже стекло не было вставлять. Увезли его куда-то».

Шура даже разволновался от непривычного творчества. Места совсем не осталось на листочке, и Шура мелко-мелко дописал сбоку снизу вверх:

«Когда жена приезжает, человеку всегда лучше! Пишите, если что. Шура».

39

Ася получила письмо Белозерцева тридцать первого декабря, почтальон принес после обеда. Коля с Севкой, у которого теперь была зимняя одежда, ушли погулять и за хлебом. Ася, замерев, долго уже сидела над нервными Шуриными строчками. За шторой тяжело и редко дышала Наталья Алексеевна, ей нездоровилось. Во всей квартире стоял предпраздничный гул, громкий и веселый, на кухне было не протолкнуться. С утра поддатый Великанов опять заглянул любопытно:

– Ребятишки-то где?

– В магазин пошли...

– Ну-ну, с наступающим, значит! – и закрыл дверь.

Главная новость была в том, что Горчаков снова работал в Ермаково, она не понимала, хорошо это или плохо, почему-то казалось, что лучше был бы Норильск. Еще и еще раз пробежала письмо, пытаясь понять, что с ним. Ее тревожили последние намеки Шуры, «с ума сходят или руки на себя накладывают...» – просто так человек не стал бы писать. Пыталась представить себе этого Шуру. «Когда жена приезжает, человеку всегда лучше!» – она не была в этом уверена, Гера не отвечал на письма два с половиной года. Она сама намного реже стала писать, особенно последний год, когда не знала, где он.

Опять услышала праздничный шум квартиры, кто-то пришел к Ветряковым, за стеной радостно и громко заговорили. Наталья Алексеевна тяжело вздохнула. Состояние свекрови ухудшилось, она почти все время лежала, к ее обычным болячкам добавился хронический бронхит. Она стала много кашлять, и за ней надо было постоянно присматривать. Это делал Сева. Разводил ингаляции, помогал есть, подавал лекарства. Он делал все вдумчиво и терпеливо следил за ее желаниями. В отличие от Коли он совсем не брезговал бабкой, у которой не было полрта зубов и пища часто выпадала изо рта. Сева заваривал ей чай, кормил, мыл за ней посуду – Наталья Алексеевна ела только из своих тарелок. Если бы не Сева, Ася не могла бы работать. Для него это была не игра и не помощь матери, он это делал, потому что его бабушке была нужна помощь.

Дочь Натальи Алексеевны Лида в Москве не осталась, снова улетела на Дальний Восток. Отговорилась тем, что в Москве ее обязательно посадят еще раз, но Ася видела, что Москва для Лиды стала городом несчастья, здесь она потеряла мужа и дочь. В Магадане у нее были друзья, которые ее понимали. Лида не была алкоголиком, с ног не падала, но выпивала каждый вечер. Выпивала, закуривала и рассматривала Севку, как будто пыталась понять, зачем этот парнишка объявился на белом свете.

– Когда на него смотрю, почему-то вспоминаю лагерных уродов... – изрекла однажды.

– Ты про кого? – не поняла Ася.

– А там почти все уроды!

Иногда, выпив, Лида разговаривала с Асей. Ее взгляды на жизнь были самыми мрачными, ни в какие перемены, даже со смертью

Сталина, она не верила. К Гере ехать категорически не советовала: «Там людей превращают в говно, Ася! Никому там твои ухаживания не нужны. Не выходишь ты его...» Она оставила немного денег и улетела.

Бакенщик Валентин Романов за неделю до Нового года поехал в Туруханск – отправить Мишке посылку и забрать письма. Почта из-за нелетной погоды задерживалась, почтарша ждала их со дня на день, и Валентин устроился в Дом колхозника. В колхозе и сеном разжился для коня.

К знакомым ссыльным ходил в гости. Две москвички снимали угол недалеко от пристани. Он познакомился с ними в сорок девятом, плыли вместе в эти веселые края. Их везли в ссылку. Поговорил с умными людьми, печку поправил, дров привез на Гнедке, попилил и переколол.

Самолет с почтой прилетел 31 декабря в обед, письма от Мишки не было. Валентин вышел на крыльцо почты, посмотрел на все еще нехорошее, мутное от снежной крупы небо и пошел запрягать коня. До дома было семьдесят километров, дорога шла по Енисею, торосы, ухабы, лед, сюда он добирался, не торопясь, почти весь световой день... но он решил ехать. Анна ждала, теперь уже и волноваться будет, – Валентин выворачивал со скрипом в заваленные снегом ворота Дома колхозника. До нового 1951 года оставалось десять часов, до темноты часа четыре...

– Давай, Гнедко, давай, брат, сани у нас пустые, животы тоже, добежим небось! Нно-о-о, милый, тут-то дорога хоть куда! – Валентин не боялся ночной дороги, душой улыбался, подбирая полу тулупа, представлял, как заваливается к своим. Как те пищат и виснут, и как улыбается Анна.

Конь бежал резвой рысью. Дорога до Селиванихи, километров десять-двенадцать, была накатана, даже и пурга не так сильно перемела на открытом, когда же спустились на Енисей, стало похуже. Гнедко сам перешел на шаг, но тянул споро, иногда и рысил, подгонять не надо было, знал, что домой к сытому сено спешат. Снежная крупка сыпала справа, конь бежал, отворачивая от нее морду, одним глазом посматривая на дорогу.

Романов закурил и опять стал думать о Мишке, который ни одного Нового года не пропустил, всегда к ним добирался. Представлялось

ему чудное – будто он и теперь приехал, сидят они за праздничным столом, выпивают и рассказывает Валентин сыну свой лагерный опыт. Вспомнился один лихой случай – посадили Валентина так же вот перед Новым годом в карцер – не так посмотрел на опера.

В ШИЗО поместили в угловую одноместную камерку, с земляным полом и без печки. Там было хуже, чем на улице, а на улице – под тридцать. Бушлат отобрали, валенки тоже, вместо них бросили старую телогрейку, чтоб было на чем топтаться. Валентин ждал, что поугаюют и выпустят, но опер, зайдя через пару часов и не услышав никаких просьб, поздравил с наступающим, велел забрать телогрейку и надеть наручники.

– Это был конец, сынок, – прищуриваясь и подкуривая папиросу, неторопливо рассказывал Валентин, так же как и конь, отворачиваясь от снега. – Я тогда перекрестился да и разорвал наручники, их, если с умом выворачиваешь, всегда можно сломать. Больно, ясное дело, кровь, но сломались. Тут уже проще, залез на нары, дотянулся до окошка под потолком и разбил! Один осколочек, как раз ловкий вышел. Я шкуру на запястьях оттянул и резанул неглубоко – крови, как из свиньи, и вроде как из вены! Резанул и в дверь ногой давай долбить – они кормушку открыли, а я им туда руки кровавые! Ну, тут уж какой карцер, давай меня в лазарет! – Валентин улыбался, покуривая и пряча папиросу от ветра. – Старый, скажу тебе, урочий трюк!

Он очнулся, глянул по берегам, определяясь, подумал, что Мишка его, может, и не такие штуки уже знает... Начало темнеть, Гнедко шел все так же ходко, но не рысил, подустал. Полпути уже проехали – в этом месте в Енисей впадала речка, можно было заночевать у рыбаков, как раз было бы, но Валентин только почмокал губами, поощряя коня. Снег теперь летел в спину, мороз слабел, уже и десяти градусов не было. Для полозьев, как раз хорошо, скользили, как по маслу.

– Давай, милый, добежим сегодня, устанешь, я пешком промнусь, не велик барин! Анна уже и в окошко не смотрит.

На Енисей совсем опустилась ночь, но темно не было – луна просвечивала сквозь тучи, снег отражал ее свет и кое-что можно было различить. Повороты реки, острова и лес по берегам. Конь дорогу хорошо видел, шел и шел. Часа четыре тащимся, не меньше, прикидывал Валентин, всматриваясь в темноту вокруг, – должно, на

длинном плесе уже. Не пошел по протоке? Боишься леса? Ну-ну, береженого бог бережет, иди, как знаешь... я-то не вижу ни черта.

Подумал, можно было бы и сальца с хлебом пожевать, у него еще оставалось немного, но не хотелось останавливаться. Снова задумался о том, как там Мишке. Может, так же вот едет сейчас в санях куда-то... Только бежать не надо, – просил сына, бормоча в обиндевший ворот тулупа. – На первом году тоска сосет, сердце за колючкой не хочет жить... а надо терпеть... я отмотал свое и вот... какая-то жизнь, Анна, ребята растут... надо терпеть, Миша, такая уж нам доля.

Думал одно и тут же представлялось совсем другое. Виделось, что Мишка убежал из лагеря, добрался до отца, и они, прихватив припасов, уходят за перевал. Вдвоем ставят зимовейку в укромном месте. Валентин улыбался, воображая, как прибежал бы Мишка сейчас к ним на лыжах... на Новый год. Заложили бы, сынок, сто процентов заложили бы – люди теперь хуже собак сделались. Это при царе-злодее беглеца накормить да согреть надо было... Теперь и сам сядешь, если не стукнешь, и семью укатают. Куда людям и деваться-то?

Гнедко пошел совсем медленно, потом встал настороженно.

– Ты что? Что там? – Валентин нашарил ружье, взвел курки и всматривался вперед.

Ничего не видно было. Серая снежная темнота, конь стоял, напряженно вытянув голову вперед и вбок, и тянул ноздрями воздух.

– Чего учуял? Волки? Или люди? Больше некому... Иль майну^[120] услышал? – Валентин шел к коню, прислушиваясь и вглядываясь – не должно майны-то быть здесь...

Ничего не было. Он взял Гнедко под уздцы, пошел вперед и вскоре увидел что-то слева в сугробе, как будто человек лежал. Романов постоял, осторожно подошел, похоже было на заметенного человека, рука вроде, тронул ногой... Это был бушлат. Валентин поднял его, потрянул. Большого размера, темный, лагерный. Романов понюхал его, разгреб ногой сугроб, ничего больше не было. Бросил в сани. Осмотрелся вокруг.

– Ну пойдём, обронил кто-то... – он пощупал подпавшие уже бока лошади, подтянул подпругу, сел в сани и тронул коня, доставая курево. – Вот у вас память! Как ты помнишь, что не было тут этой штуки?! Но-о! Давай, брат, недалеко уже!

Домой приехал в первом часу ночи, Анна выбежала на радостный лай и визг собак, стащила с окоченевшего мужа тулуп, телогрейку, валенки, села напротив и заплакала.

– Ты чего? Приехал же...

– Десять дней не было, боялась, в комендатуру взяли... – она пересела к нему и уткнулась в плечо. – Ребятишки изгалделись: где папа?

Старший лейтенант Квасов встречал Новый 1951 год в Игарке. В ресторане собралось все руководство Стройки-503. Даже из Москвы были гости с большими золотыми погонами, хотели принять их в Ермаково, но погода не дала. Квасов пришел с Зиной. Поняв, что эту зиму ему опять куковать в Игарке, старший лейтенант вернулся к прежним делам и привычкам, глупую восемнадцатилетнюю дурочку бросил, а когда отец попытался качнуть права, положил перед ним пухлую папку. Даже тесемки не пришлось развязывать. Несчастные торгаши, так с ними всегда и бывало – сначала они поили и кормили ментов и чекистов, а потом эти же менты их и сажали.

Зина была нарядна и хороша, на нее поглядывали большие начальники, но она ими не интересовалась. С удовольствием выпивала и закусывала, танцевала под хороший живой оркестр из приодетых эков и курила тонкие иностранные сигаретки, добытые где-то Квасовым. Таких за столом ни у кого не было, только у нее.

И вообще, с появлением Квасова у нее снова все наладилось. С ленивым и приятным внутренним чувством вспоминала о Белове. Она уже не боялась за свою комнату, но ждала возвращения бывшего мужа из отпуска, чтобы назначить себе содержание и раз и навсегда запретить эту шалаву из Дорофеевского! Зина ее видела несколько раз в городе и ревновала страшно. Спать не могла.

И у Квасова все было неплохо, после неудачи с переводом он начал жить шире и наглее, получая от жизни полное удовольствие, оно было положено ему по должности. Страна оправлялась от военной разрухи, местные коммерсанты входили во вкус, и у него очень прибавилось денег и дорогого барахла. Предусмотрительный начальник Строительства-503, сменивший Баранова, и себе выстроил хоромы, и Квасову предложил скромный особнячок. Его уже заканчивали отделывать. Квасов согласился, хотя точно знал, что с его

теперешними бабками в наступившем 1951-м у он будет начальствовать на юге. Уже летом! Коммерсанты там жирнее, а враги народа везде одинаковые. Он снисходительно шурился на выпивающих и танцующих, как нагулявшийся кот, и лениво соображал, где бы покурить с Зиной. У него в портсигаре лежала пара славных косячков.

– С Новым годом, товарищи! – закричал кто-то, уже не попадая рукой к рюмке.

Его не поддержали, шел третий час ночи, гости нагулялись и потихоньку расходились по домам. Даже фейерверк пускали в этом году, какие-то заключенные китайцы расстарались, и вроде ничего не сожгли.

Белов с Николь впервые встречали Новый год вместе. В палатке, за красиво накрытым столом, с выдержанным коньяком и каким-то особенным Советским шампанским с золотой этикеткой.

– Я не понимаю! – веселилась Николь, рассматривая бутылку. – Оно какое? Советское или Шампанское?!

– Не нравится, не пей! Еле достал! – Сан Саныч попытался отнять бутылку, но Николь увернулась.

– И коньяк, кстати, тоже! У нас такой город есть! Коньяк может быть только французским!

– А армянский?

– Нет! Как и я – я тоже французская! И не могу быть армянской!

– Ты уже наполовину русская! – Сан Саныч взглядом погладил ее живот, обтянутый платьем.

– Да, конечно! – она приложила руки. – Эй! Малыш! Шампанское будешь?

– Почему малыш? Может, малышка?!

– А лучше бы сразу двое – тебе девочка, мне мальчик! Мальчик хочет колбасы! – она взяла кружок. – Год назад я и мечтать о таком не могла... сыр, шампанское и такое огромный живот!

Ждали Горчакова, который должен был организовать себе вызов, но ни в десять, ни в одиннадцать так и не появился. В двенадцать открыли шампанское.

Палатка шумела, звонко чокалась, кричала ура, ставила пластинки и сама пела песни, а они сидели, держались за руки и смотрели друг на

друга. Через несколько дней Сан Саныч должен был ехать в Игарку – отпуск кончился неделю назад. Им предстояло порознь пережить зиму – раньше середины или даже конца июня он не мог появиться.

Сан Саныч не смел смотреть в грустные глаза Николь. В уходящем году в его жизни появилась эта прекрасная женщина, было много хорошей работы, и все должно было быть только радостно, а этого не было. И даже наоборот, он чувствовал, как что-то встает в жизни поперек их счастья. Везти в Игарку Николь нельзя было.

Они сидели обнявшись, встревоженные предстоящим отъездом, у нее все время наворачивались слезы, она весело их смахивала, говорила, что это от радости, и они снова наворачивались.

Она чувствовала, что он уезжает очень надолго. Может быть, навсегда. Что это разлука.

Неявившийся Горчаков в новогоднюю ночь ассистировал хирургу Богданову. Привезли провалившихся под лед и страшно обморозившихся изыскателей. Шесть человек лежали с сине-черными конечностями в операционной и возле. Богданов пилил и шил всю новогоднюю ночь.

40

Вернувшись в Игарку, Сан Саныч поселился в караванке. Соскучился по мужикам, проговорили до полночи. Утром, голый по пояс, растерся снегом, позавтракал и обошел буксир. Все было хорошо, он взял у Померанцева список хозяйственных нужд и отправился в город.

Было солнечно, стояли крепкие морозы, желтоватые на солнце клубы пара поднимались над лесозаводами, как над океанскими лайнерами. Печные трубы и буржуйки многоквартирных домов пытели мелко и обильно в голубое небо – так издали дымит предзимняя гавань, забитая портовыми катерами и баржами. Из форточек, обметанных инеем, парило, как с буксирного камбуза, с запахами жареной рыбы и картошки.

У Белова настроение только поднималось, здоровался со знакомыми, думал, как сходят с Зиной в загс, потом можно в ресторане

посидеть, пообедать. И денег, как обещал, буду подбрасывать, с лета ничего ей не давал, а она не просила. Все-таки она неплохая... просто бывают лучше, и все. Так он шел, вспоминал Николь, улыбался чистым мыслям, солнцу и даже громко скрипящему под ногами снегу.

– Здорово, Белов!

Сан Саныч поднял улыбающееся лицо. Перед ним стоял Квасов. С папиросой во рту. Мимо спешили тепло одетые люди. Лейтенант как будто ждал его на этом углу. Смотрел спокойно:

– Зайди сегодня ко мне. В пять! – выражение его лица не менялось.

– Хорошо! – ответил Белов.

Он двинулся дальше, чувствуя, как разом все погасло. Он опять испугался и, ничего не спросив, торопливо ответил «хорошо». Уверенный, наглый прищур Квасова не шел из головы.

Зина была дома. В комнате, как всегда, чисто, на окнах новенькие шторы. Цветы поливала.

– Муженек явился! – констатировала снисходительно и порыхлила землю в горшке с геранью.

– Здравствуй, Зин... – Сан Саныч слышал неуверенность в собственном голосе. – Как тут?

– Да ничего, не бедствуем... Ты никак алименты принес? – она долила воду в цветок.

Сан Саныч помялся, соображая, полез за кошельком:

– Я подумал, рублей по четыреста в месяц могу...

Его оклад был полторы тысячи, летом выходило и две с половиной или больше. Зина все это знала, смотрела на него внимательно и непонятно. Сан Саныч нахмурился, он предлагал ей зарплату его матроса, слишком много давать тоже не хотелось, он не любил бездельников. Зина села напротив, ногу на ногу закинула. Смотрела весело и нагло:

– Значит так, Сан Саныч, будешь отдавать мне пятьсот рублей каждый месяц. Это раз. Сучку свою бросишь, – она посмотрела пристально, выясняя, не бросил ли уже, – это два. Сюда можешь приходить, когда хочешь... – она погладила себя по бедрам, – ночевать, питаться! Это – три!

Сан Саныч вскинул голову, внутри все перевернулось. Но Зина не дала сказать:

– Не советую дергаться! Я читала твое «Дело», ты у них вот на таком крючке! И мамзелька твоя тоже! Меня благодари, Костя тебя из Ермаково в наручниках привез бы... Пришлось попотеть за родственничка! – она улыбалась, ничего не стесняясь.

Сан Саныч опустил голову и стиснул зубы. Он ждал чего-то такого, где-то глубоко внутри себя, в сердце ждал, поэтому и встречи с Квасовым испугался. Но и готов был к этому. Он встал, достал кошелек, у него было только четыреста рублей. Положил их на край стола.

– Сто рублей занесу. Завтра пойду напишу заявление о разводе. Ты не пойдешь?

– Нет, – лениво покачала головой, – и ты не пойдешь! На что спорим?

Сан Саныч сходил в столовую, еда в рот не лезла. Зинка могла и обмануть, нервы были на взводе, страшно хотелось выпить, но он терпел, ждал встречи с Квасовым. Не знал, куда деться, никого не хотелось видеть. В конце концов он оказался в караванке, его колотило, он прилег, укрывшись одеялом и уснул.

Проснулся около пяти, в караванке было пусто, за окном темно, он быстро оделся и заспешил в Управление госбезопасности. Северное сияние, фиолетовое, тревожное, неприятно высокими сполохами резало небо сверху вниз и обратно.

Он опоздал, но и Квасов был занят, сел возле кабинета в крохотной комнатке. Печка топилась. Сан Саныч чувствовал себя больным, потрогал лоб, он был ледяным.

У старшего лейтенанта Квасова был начальник Игарского госрыбтреста Николай Антонович Самсонов. Речь шла о снабжении лагерей рыбой. Собственно, Квасов многого от него и не хотел, он с этого и начал – обставить его особняк «меблишечкой поприличнее». Но Самсонов неожиданно заупрямился, стал ходить кругами, дурака включал, и все подхихикивал толстым лицом. Намекал, что все вопросы с милицией и госбезопасностью у него уже решены. В Красноярске. И что он вообще человек небольшой и состоит в подчинении... Николай Антонович при этом потел и вытирался серым носовым платком. Квасов не ожидал отказа, поэтому и не готовился особенно, но теперь разозлился и достал несколько бумажек:

– Тут у меня немного, Николай Антонович, давайте посмотрим, а не хватит, попрошу ребят еще поковыряться в вашей бухгалтерии.

– У меня недавно ревизия была, Константин Васильевич, все в ажуре! Мы законы знаем, нам нарушать ни к чему! – Самсонов нервно помаргивал злыми и трусливыми глазками.

Квасов внимательно читал.

– Вот интересно, «солонина мокрого засола, поставленная в летнее время, в подавляющей части оказалась некачественной и требовала постоянной доработки»... Это еще не преступление, конечно, зэки и такое сожрут... – Квасов внимательно смотрел на Самсонова, непонятно было, серьезно он или шутит. – А что это вы солониной вдруг занялись?

– Из Красноярска, Константин Васильевич, что поставили, то и отдал. Централизованные закупки были, по линии ГУВС^[121], с подсобных хозяйств и совхозов вашего ведомства. Те же зэки и солили свининку, что с них возьмешь? А не брать ее, сами понимаете, кто же посмеет?! – Самсонов опять отер пот и тяжело вздохнул.

Квасов и раньше догадывался, что за Самсоновым стоят какие-то чином немаленькие люди, но Игарка была его территорией. Хренов коммерсант не должен был так себя вести...

– «Ассортимент рыбы по поставкам рыбзаводов Игарского госрыбтреста состоял из дорогостоящих сортов сиговых и лососевых пород...» Очень хорошо! – улыбнулся Квасов. – С этим поработаем. Лососей, значит, да сигов нежных поставляли нашим работягам за колючую проволоку? Или думаете, время прошло, ревизия закрыта и все? Селедку тухлую за лосося выдали! Неплохо! Разница в цене на сотни тысяч потянет...

Квасов закурил и, открыв форточку, взял с полки пухлое дело. Полистал и начал читать:

– «...до пятидесяти процентов валенок, поставленных в лагеря Северного управления, оказались от 24 до 27 размера, приходилось организовывать пункты по их растяжке до нужных размеров, отчего они теряли устойчивость в нóске. На базах скопилось до шести тысяч таких пар...»

– Мы к валенкам отношения не имеем... – сердито мотнул головой Самсонов.

– Это не вы, – Квасов взвесил в руках папку, – этот негодяй уже получил пятнадцать лет! Статья 58 пункт 7! Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, совершенный в контрреволюционных целях, – то есть промышленный саботаж! При особо отягчающих обстоятельствах вплоть до расстрела с конфискацией. Понимаете?! Такие масштабы... всю селедку в лосося превратить, товарищ Самсонов! Или гражданин? Вам как больше нравится?

– Константин Васильевич...

– Идите, – перебил Квасов, – и хорошо подумайте! У меня сегодня прием, человек ждет!

Самсонов злой и красный вывалился в комнатку, где сидел Белов, пыхтел, не с первого раза снял с вешалки пальто с каракулевым воротником и папашой и, не одеваясь, вышел. Дверную ручку не сразу поймал. Квасов докурил и, выбросив папиросу в форточку, сел за стол. Он продолжал думать, воображая краевые, а может и московские связи торговца. Мебелью дурак-Самсонов уже не отделается – в положении начальника районной госбезопасности были свои немалые козыри.

Белов открыл дверь в кабинет.

– Здравия желаю, гражданин Белов! – Квасов продолжал напряженно думать о Самсонове, потом поднял взгляд на Сан Саныча. – Вы, я надеюсь, поняли, что я оставил вас на свободе?

Сан Саныч молчал, не понимая, кивнул чуть заметно. Квасов все смотрел пристально, думал о чем-то:

– Так, капитан Белов, а почему вам не помочь Родине?! Среди наших граждан разные еще встречаются, – он кивнул головой на ушедшего Самсонова, – так ведь? Садитесь! – Лейтенант ощерился благодушно, и Сан Санычу неприятно стало от его широкой тонкогубой улыбки.

– Хотите помочь государственной безопасности! В пароходстве вы на хорошем счету... Что вы смотрите, я не шучу, выпить и поговорить с вами никто не откажется. А нам иногда нужно знать мнение отдельных руководителей. Вы понимаете? Енисейское пароходство работает по всему Красноярскому краю! Миллионы тонн грузов! Вы газеты читаете, товарищ Белов? Заговоры, диверсии... все это есть! – Квасов закурил неторопливо.

Белов сидел все так же напряженно, шапку в руках сжимал, следил за горящей спичкой лейтенанта, но вдруг очнулся:

– А почему вы сказали, что оставили меня на свободе? – Сан Саныч смотрел прямо в расслабленно улыбающиеся глаза старшего лейтенанта.

Квасов замер на секунду и достал из ящика «Дело» с надписью «Совершенно секретно». Его читала Зина, мелькнуло у Белова, он не имел права ей давать! Сказать ему, что я знаю?

– Дела ваши так себе, капитан. Я, предположим, не очень во все это верю, но бумаги есть. И довольно серьезные. Вот материалчик, можете посмотреть. – Старший лейтенант загнул листок так, чтобы не было видно подписи.

Это был почерк Грача. Сан Саныч сразу узнал, ровный и каллиграфически красивый, но с дрожанием руки. Узнал и не поверил.

«Рапорт, – стояло отдельно, как заголовок... – Довожу до вашего сведения... Могу так же сообщить, что ссыльные получили лопат – 12, ломов – 4, кирки – 2... рейс буксира “Полярный” к ссыльным не был отражен в документах... пять туш оленей, мука, картошка... Так же доношу... – глаза бежали за рукой главного механика, перескакивали, пытаясь ухватить, нет ли чего-то... – имеет жалость к ссыльным поселенцам и заключенным...»

Квасов забрал листок.

– Ну и ваша Николь, конечно... – старший лейтенант наблюдал, как меняется лицо Белова. – Слушайте, Сан Саныч, так же вас зовут? – Квасов заговорил вдруг по-товарищески просто и доверительно, будто разделял горе Белова. – Давайте дернем по сто пятьдесят, что-то у меня день сегодня тяжелый! А?!

И, не дожидаясь ответа, пошел через маленькую комнатку в дверь напротив. Открыл картонный ящик, который оставил Самсонов. Ветчина в банках, колбаса, сало, несколько лимонов, шоколад и три коньяка 10-летней выдержки. Вернулся с бутылкой.

– Товарищ прилетал в командировку. Из Армении. Вот, прямо с завода коньячок, лимоны тоже армянские! – он привычно обстукивал сургуч с горлышка, не глядя на Белова.

Сан Саныч сидел замерев, выпить ему хотелось больше, чем Квасову. Он волновался так, словно все уже произошло и Николь куда-

то отправили... Не чокнулись. Квасов, не торопясь тянул из своего стакана, смаковал. Сан Саныч, давясь, сделал три больших глотка.

– Все хотят жить чистенько и красиво, а кому нашу работу делать?! Вон Самсонов... Я точно знаю, что он ворует десятками тысяч, простых людей обкрадывает, зэков несчастных! – Квасов неторопливо разливал коньяк. – А пойдешь его возьми! Тертый! Был бы у меня такой помощник, – Квасов одобрительно чокнулся о стакан Сан Саныча, – мы бы с вами посидели, подумали бы... план операции... и вывели бы подлеца на чистую воду. – Он выпил и, как на равного, посмотрел на Сан Саныча.

– Вы сейчас думаете, почему я вам предлагаю?! Потому что мне честные люди нужны! Наше дело нельзя делать грязными руками! – Квасов смотрел строго, говорил доверительно, даже с горечью. – Самсонов мало кому верит. А вам, честному, поверит!

Старлей открыл пачку «Казбека», достал папиросу, Белову подвинул. Подкурили от одной спички. Сан Саныч поразился, что так прикурили, он уже захмелел. Вздохнул глуповато:

– А Николь? Я хочу на ней жениться! Она ссыльная, на ссыльных не запрещено...

– Это решим! – Квасов смотрел совсем дружелюбно.

– Я без нее не смогу! – пробурчал Сан Саныч благодарно и опустил голову.

Квасов подумал о чем-то, неторопливо, но уверенно открыл беловское «Дело», достал несколько листочков, пробежал глазами и, еще поразмыслив, порвал на мелкие клочки. В урну бросил. – Все, нет на вашу Николь ничего, считайте, что тут у вас все в порядке! – Он многозначительно помолчал и продолжил, перейдя на ты: – А теперь скажи, капитан Белов, только честно! Ты Сталина уважаешь?

– Уважаю! – ответил Сан Саныч быстро и твердо. Ему не нравилось, когда так прямо задавали этот вопрос, но теперь, в этом месте и с таким человеком, он казался уместным.

– Значит, и дело его уважаешь?

– Я орден имею от партии и правительства!

Они еще долго сидели. Разговаривали. Квасов рассказывал о службе, об опасности, приводил яркие примеры, когда удавалось обезвредить целые шайки государственных преступников благодаря действиям таких «смелых парней» в их рядах. Выпили еще. Сан

Саныч только и думал, как напишет Николь об их внезапно обретенной свободе и возможности жить вместе, к концу второй бутылки он был страшно благодарен за все старшему лейтенанту госбезопасности.

Квасов достал чистый лист бумаги. Положил перед Сан Санычем.

– Пиши: «Я, гр-н Белов Александр Александрович...»

– Что это? – испуганно замер Сан Саныч, он все-таки боялся Квасова.

– Документ. Теперь ты наш сотрудник...

– Да не надо, я же вам слово дал! Только позовите! Я всегда... – он ткнул папирсой мимо пепельницы.

Но Квасов настаивал, и Сан Саныч написал под диктовку:

«Я, гр-н Белов Александр Александрович, даю настоящую подписку Игарскому райотделу МГБ в том, что все даваемые мне поручения органов МГБ обязуюсь сохранять в абсолютной тайне, не разглашая о своем сотрудничестве с органами МГБ ни своей жене, ни близким родственникам и знакомым. За разглашение буду привлечен к ответственности по всей строгости закона, в чем и расписываюсь».

Еще надо было выбрать агентурный псевдоним, сам Сан Саныч уже не мог, и Квасов предложил «Чернов». Это было остроумно, Сан Саныч почти весело согласился и поставил дату и подпись. Квасов сказал, что вызовет, когда будет нужно. Просто так заходить не велел. Распрощались. Белов долго и крепко жал руку и ушел.

Квасов очень довольный откинулся на спинку стула. Он не собирался и никак не рассчитывал завербовать Белова. Даже не думал об этом. И вдруг само собой вышло! Получить в агентуру действующего енисейского капитана, орденосца, кандидата в члены партии, да еще и любимца начальника пароходства было большой удачей, это был жирный плюс товарищу старшему лейтенанту Квасову!

Он сходил к самсоновской коробке и принес третью бутылку. От хмеля, а больше от собственной фартовости, улыбался расслабленно. Налил себе еще и с удовольствием затянулся папирсой. Капитан Сан Саныч Белов, муж Зины Беловой... Он хочет Николь! Она не хочет Николь! Аж зеленеет от злобы! А я вас обоих имею, как хочу и когда хочу! Он выпил коньяк. Прищурился все с тем же хмельным внутренним кайфом. Ни деньги, ни бабы не вызывали в нем такого

восторга, как такие случаи. Только что свято верящий в справедливость и честь, капитан Белов подписался под тем, что вступает в орден подлецов и негодяев! Это было не совращением малолетки – это было круче! Ну и говно же ты человек, товарищ Квасов! Лейтенант прищурился зло и весело, и ощерился, а потом и вслух засмеялся, и зарычал восторженно, стуча кулаком по столу! И каблуком по полу! Душа его пела!

Сан Саныч был так пьян, что еле добрался до караванки. Заснул мгновенно, спокойный и почти радостный, была бы сейчас Николь, он бы все-все ей рассказал. «Полная свобода, – бормотал он слова Квасова, – если на кого-то не хочу давать материал – не даю! Мое право! И если считаю, что кто-то хороший человек, тоже, как сотрудник органов, имею право высказать свое мнение в защиту. Мог бы и Степановну спасти...»

На другой день у него страшно болела голова, он лежал, болезненно вспоминая случившееся. Голова не могла хорошо думать, но остатки вчерашней радости говорили, что он сделал все правильно. Надо будет спокойно сходить к старшему лейтенанту и поговорить, как ему привезти Николь в Игарку. Квасов разрешил, и это дело теперь казалось решенным. Он встал и похмелился.

Так он и жил в этой мутноватой радости, уговаривал себя, что поступил правильно, и временами очень верил в это. Временами же, особенно по ночам, очень сомневался, вспоминался Грач, написавший на него... Грач тоже был секретным сотрудником? И тоже придумывал себе кличку?

Дня через три-четыре Сан Саныч уже ясно понимал, что ему неудобно смотреть в глаза своим товарищам в караванке. Он пытался успокоить себя, что ему не надо будет писать на Климова или Повеласа. Речь шла о врагах, о Самсонове... что-то тут было не то, но выбор был страшный – если он «Чернов», то у него есть Николь, если Белов... все снова зависало в страшной неизвестности. Николь он ничего не написал.

Через неделю тяжелой бессонницы Сан Саныч только и думал, как забрать то свое согласие... Это было невозможно, он с ужасом вспоминал, как, пьяный, подробно рассказывал Квасову о Николь. Возможно, сказал даже, что она французенка.

Он решил никуда не ходить, а дожидаться первого задания. Если оно ему не понравится – не соглашаться. Это он мог, Квасов так и говорил. Возможность отказаться успокаивала, с Николь тоже ничего пока не происходило, и Сан Саныч замер, боясь спугнуть наступившее равновесие. Он снова начал писать Николь, ничего ей не рассказывая.

В конце января Белов улетел в Красноярск. Получил от Николь сразу несколько писем, читал их в самолете. Она писала, что работы много, что была у врача, он сказал, все в порядке. С Горчаковым видится редко, но вообще ей не скучно, она давно не жила в таком окружении новых людей. Никто ее не обижает, на днях в очередной раз отметилась в комендатуре – все нормально.

В Красноярске было большое совещание, а потом общее застолье в честь юбилея пароходства. Белов очень любил такие собрания, это было флотское братство, а в этот раз его еще и выделили. Макаров так и сказал перед всем залом: теперь твое имя, капитан Белов, навсегда вписано в историю Енисея. Ты пошел на серьезный риск и сделал большую работу. Такое во флоте не забывается. Река Турухан теперь судоходна! Весь зал встал, все хлопали и весело оглядывались на красного как рак капитана Белова.

Посидел за рюмкой со своими. Были Фролыч, Егор и Грач. Сан Саныч рассчитывал, что Грача не позовут по возрасту, но тот приехал, обнимался, когда встретились, слезу старческую пустил: не знаю, Сан Саныч, осилю еще одну навигацию с вами, нет ли? Сан Саныч не мог ему в глаза смотреть. Если бы он сам не был «Черновым», он мог бы просто поговорить со стариком, спросить: что же ты, Иван Семеныч? Я к тебе, как к батю, а ты такое на меня? А теперь не мог. И с другими было то же. Ему нервно казалось, что все знают, что он теперь сексот – секретный сотрудник. На общем собрании его познакомили с кем-то, он уже хорошо выпил, протянул руку и брякнул: «Сан Саныч. Чернов». Все рассмеялись его шутке, а Сан Саныча с ног до головы пробил ужас. Он не понял, как это сказал.

Потом были обычные заботы по ремонту, запчастям, вечерами ходил на курсы повышения квалификации, но лучше не становилось. Иногда просыпался среди ночи с ясной мыслью, что он подлец для всех. Пытался себя успокоить, что он еще ничего не сделал и никогда не сделает, не помогало – он подавал людям руку, отводя глаза. Единственным его желанием было вернуться в Игарку и отказаться от

той черной бумажки. Чего бы это ни стоило. Фролыч как-то на перекуре, они стояли вдвоем, спросил:

– Что с тобой, Саня?

– А что? – резко вскинулся Белов.

– Какой-то ты... как будто больной... Не триппер?

– Да нет... какой триппер, ты чего?! – нахмурился недовольно.

– Я так, для примеру. За ребенка, может, переживаешь?

– За ребенка? Нет. Его еще нет...

– Да я понимаю. Со своей-то развелся?

Сан Саныч нахмурился и покачал головой. У него был такой «триппер», от которого проще было залезть в петлю, чем в нем признаться.

В конце января его отправили на курсы в Новосибирск. И там, вдали от знакомых, загруженный учебой, Сан Саныч не забывал своего страшного поступка. Даже Николь почувствовала, что с ним что-то происходит. Спрашивала в письмах. Прислала свою фотокарточку с большим животом. Лицо тоже было изменившееся, Сан Саныч долго на нее смотрел, потом потрогал губами липкий глянец фотографии. Не надо было никакой учебы, никакого буксира, надо было от всего отказаться и лететь к ней. Чтобы просто быть рядом.

Он понимал это очень ясно и чувствовал, что не осмелится на такое никогда. Внутри вставляли жесткие запреты, через которые он не смел переступить. Он не имел права на личное счастье в ущерб общему делу. Так он был воспитан.

В Игарку вернулся в конце марта. На следующий день пошел в отдел госбезопасности. Квасов был в отпуске на юге.

– Вы по какому вопросу, товарищ? – спросил младший лейтенант, сидевший в соседнем кабинете.

– По личному, к старшему лейтенанту...

Стройки 501 и 503, как две гигантские змеи, все дальше и дальше уползали в тайгу, навстречу друг другу. 501-я с Северного Урала на восток, 503-я на запад от Енисея. Шпалы, рельсы, песок и гравий, заключенные и вольные люди – пищи было вдоволь и змеи росли,

делались толще и сильнее, выгрызали тайгу, заваливали болота и преодолевали реки. Им не страшны были ни влажный таежный зной и черные тучи гнуса, ни снега и морозы. Гиганты набрали скорость, накопили запасы и начали жить своей жизнью. Казалось, их ничто уже не остановит.

В конце марта 1951 года состоялось большое совещание у Сталина. В повестке значилось строительство Великой Заполярной Магистральной. Подчеркивая масштаб работ, собрали руководителей всех значимых подразделений. Докладчики – генералы и офицеры МГБ и МВД – зачитывали по бумажкам, что работы идут опережающими темпами по всей 1400-километровой линии будущей трассы. Корчуются лес, возводятся насыпи, строятся временные и постоянные мосты и укладываются рельсы. Через реку Обь второй год действует семнадцатикилометровая ледовая переправа, по которой открыто рабочее движение и уже идут железнодорожные составы со стройматериалами и людьми. Рабочее движение для целей строительства открыто на многих других участках.

Особо отмечалось, что с годовым опережением графика была построена постоянная линия связи от Игарки до Салехарда, что позволило уже теперь, в начале 1951 года, обеспечить бесперебойную телеграфную и телефонную связь любой точки трассы с Москвой. Докладчик предложил сейчас же сделать такой звонок в Игарку или Ермаково, но Сталин не отреагировал.

– На Игарско-Ермаковском отрезке, – докладывал невысокий коренастый подполковник, уложено более шестидесяти километров железнодорожных путей. Начато освоение следующего участка главного пути длиной сто двенадцать километров. Полным ходом идет строительство двадцати бетонных и восемнадцати деревянных постоянных мостов...

– Хоть один мост построили? – спросил секретарь ЦК ВКП(б), перебив докладчика. Спросил негромко, но все его услышали. Зал замер.

– Так точно, – чуть растерялся подполковник, – через... Барабаниху!

– Большой?

– Пятьдесят один метр, на бетонных опорах, с металлическими перекрытиями и деревянным настилом! – отчеканил докладчик.

– А что со строительством глубоководного морского порта в Игарке? – Сталин устал слушать доклады. Он встал и неторопливо пошел в сторону подполковника.

– Игарский морской порт – стратегически важный... государственный объект, товарищ Сталин, – заволновался докладчик.

– Это я знаю... – верховный остановился и, поморщившись, посмотрел на собравшихся военных, как будто что-то хотел всем сказать, но не сказал, потянул задумчиво из трубки.

Все напряженно улыбались. Докладчик листал бумаги, нашел нужную:

– Проектирование Игарского порта проводит «Арктикпроект» Главсевморпути, к концу нынешнего года запланирован эскизный проект первой очереди работ по устройству ковша для отстоя судов в периоды весенних ледоходов...

– Когда приступите к строительству?

– В соответствии с графиком, товарищ Сталин... это не мой участок, товарищ Сталин... – закончил докладчик совсем тихо и с малиновым лицом вытянулся по стойке «смирно».

Генералиссимус спокойно раскуривал трубку, как будто это было важнее, чем то, что он слушал, при этом серьезно рассматривал смущение подполковника, щеки которого были уже бурые. Офицер с трудом выдерживал этот взгляд. Сталин кивнул, чтобы тот сел, и повернулся к генералу через стол:

– Товарищ Зверев, вы его начальник, вы были в этом Ермаково?

– Так точно, товарищ Сталин, – плотненький генерал с круглым невзрачным лицом быстро поднялся с места. Папку раскрывал на ходу.

– Не надо бумаг! Люди хорошо устроены? Детсады, школы... достаточно? Кинотеатр? Целый город в тайге!

– Все есть, товарищ Сталин, вторая школа будет сдана в следующем году, большой Дом культуры...

– А ресторан? Ресторан есть для людей? Есть куда пойти культурно после трудового дня?

– Так точно, ресторан сдан в сроки!

– На сколько мест?

– Не могу сказать... мест на сто или сто пятьдесят...

– Сами были в нем?

– Так точно!

– Значит, хорошо посидели, если не помните! Спасибо, товарищ Зверев.

Сталин показал трубкой, что генерал может сесть. Пошел медленно к своему месту во главе стола. Заговорил, не глядя ни на кого:

– Ну что же, Сталин подумает об этом большом строительстве! Сталину это пока нравится.

Генералиссимус говорил медленно, как будто и сам с собой, словно в этом зале не было никого, кто мог хорошо понять, что он говорит. Он остановился у своего пустого кресла: левая, сухая и слабая рука заложена за френч, правая с трубкой покоится на резной спинке.

– Пройдут годы, люди поймут и оценят наш труд. Все в истории получит свою оценку...

Секретарь ЦК ВКП(б) и Председатель Совета министров СССР был доволен. Страна крепла, люди жили все лучше. Эта железная дорога через тайгу, его детище, строилась рекордными темпами. В тяжелейших условиях, которые не снились никому в мире. Он сделал едва заметный жест в сторону банкетного зала. Все стали подниматься и вслед за вождем потянулись в распахнутые двери роскошного зала. Банкет был рассчитан на пятьдесят персон.

Первый тост поднял маршал Советского Союза Лаврентий Берия. «За Сталина!» Все дружно и радостно закричали и выпили до дна. Потом выпили еще и еще, и отлегло совсем. Доклады прошли хорошо, у Хозяина было хорошее настроение, и он ничего не спросил. Никому не пришлось называть неприятных цифр.

Этих цифр боялись больше всего, потому что они были, и о них знали все присутствующие. Участки полотна, положенные зимой, летом по большей части оказались негодными. Затраты на их ремонт, обеспечивающий хотя бы рабочее движение, почти в два раза превысили первоначальную стоимость строительства.

К 1951 году Стройка-503 по-прежнему не имела ни утвержденного технического проекта, ни генеральной сметы. Железнодорожная линия, Игарский морской порт и судоремонтный завод и еще многие-многие важные объекты, все огромное строительство продолжало финансироваться по фактическим затратам. Это означало, что ГУЛАГ^[122] МВД СССР, начиная с простого

нормировщика, мог выписывать столько финансов, сколько отваживалась написать рука.

В МВД этим строительством ведали: ГУЛЖДС^[123], ГУПВИ^[124], ГУББ^[125], ГУЛЛП^[126], Управление конвойных войск МВД СССР, Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог, УМТС^[127], Отдел перевозок МВД СССР... 7-й специальный отдел^[128], а еще Центральный финансовый, Плановый и проч., и проч. На содержание всех этих структур, а также в щели и пропасти между ними уходили миллионы и миллионы народных денег, которых не хватало на хлеб и школы.

В докладах было много от лукавого. Ледовая переправа через 17-километровую Обь намораживалась в течение трех месяцев огромной армией заключенных (воду качали ручными помпами), а эксплуатировалась всего полтора месяца. Были и другие большие и сложные переправы, к которым и не приступали. Всего планировалось 277 искусственных сооружений в крайне труднодоступных местах.

Не были зачитаны и планы, а они выглядели очень скромно. В 1951 году на участке Игарка-Уренгой предполагалось уложить всего 55 километров главного пути и закончить сооружение 40 постоянных и временных мостов – такими темпами дорога строилась бы еще десять лет, а по постановлению правительства сквозное рабочее движение должно было начаться в 1953 году, то есть меньше чем через два года.

Но волновались напрасно. Хозяин не услышал бы эти цифры. В фундаменте Великой Сталинской Магистральной лежали ложь и круговая порука. Все присутствующие на совещании хорошо знали про невыполнимость строительства в поставленные сроки и про то, что об этом нельзя говорить вслух.

Впрочем, выяснить это было несложно, но пожилой «хозяин» страны сам не хотел вдаваться в детали. Он устал. В октябре 1949-го у него был второй инсульт, он терял речь и два месяца почти ни с кем не общался. С тех пор он начал брать длительные отпуска и ездить на юг. В узком кругу Политбюро у Сталина появилось прозвище «дачник». Во время этих длительных отпусков дела передавались «тройке» – Берия, Молотов, Булганин.

Какое отношение к жизни имело это совещание у престарелого человека? Он давно устал и единственное, чего хотел на самом деле, – это уйти на покой. Он и с этого совещания уехал вскоре после начала

банкета и сидел со стаканом чая на ближней даче. Больной, быстро стареющий и безнадежно одинокий человек.

Со скуки и от бессонницы старый человек развернул газету «Правда».

В Корее воевали вовсю, КНДР в союзе с Китаем вновь заняли Сеул. Где-то там рядом образовалась, ликовала газета, Коммунистическая партия Камбоджи! Через десять лет ее возглавит человек с именем Пол Пот...

Он отложил газету, отхлебнул остывший чай. Ему все это было уже почти неинтересно, а на планете складывались режимы, похожие на его, основанные на лжи и пропаганде, с несменяемой властью и обманутыми народами.

42

Горчаков втянулся в привычный ритм жизни. Работал в лазарете, иногда вызывали на травму, на труп или в ермаковскую больницу, так все и шло изо дня в день, и это спокойное течение лагерного времени ему нравилось больше нечаянной, ворованной свободы на Турухане. Та командировка нехорошо, надолго растревожила. Николь пробудила в нем безрассудный и сложный ком чувств, он волновался, чего не было давно, и это ему не нравилось.

Он вставал утром, получал пайку и кашу, делал обход больных, назначал лечение, процедуры, заказывал лекарства, писал заявку на хирурга или других специалистов, занимался питанием, помывкой в бане, постельным и личным бельем... выгонял и принимал санитаров, активировал умерших, писал объяснительные. Стоял в одном строю вместе со всеми во время шмонов... Дел хватало, все шло ровно.

Асю вспоминал редко, привык, прошло почти три года, как он написал в последний раз. Ее письма стали приходить реже, они уже не были такими длинными, только о матери и детях. Он понимал, что у нее мог появиться мужчина. Он не ревновал, даже и рад был, как можно радоваться за людей хороших, но почти посторонних.

Николь жила рядом и вот-вот должна была родить. Пока она работала, он заходил поведать, поздороваться к ней в столовую,

теперь же она одна сидела на больничном в своей палатке. Туда ему труднее было выбраться.

Николь ему нравилась. Наверное, и как женщина, но было и еще что-то важное. Как из глубокой, законсервированной и запретной шахты, поднимала на поверхность эта юная женщина его безоглядную и гордую молодость. Георгий Николаевич не хотел об этом думать, но мысли приходили сами. Перед сном или в тихие свободные минуты. И он, забывшись, начинал нечаянно улыбаться. Тогда всегда светило солнце, были живы отец, брат, сестра и мать... а ему казалось, что всё-всё, что он задумает в своей жизни, он выполнит.

Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам...

Последний раз он был у Николь совсем коротко первого апреля, она поставила чай, но и на него не было времени. Сели, глядя друг на друга. Николь весело пожаловалась на соседку, которую к ней подселили после отъезда Сан Саныча. Соседка – молодая здоровая деваха – приходила выпившая с разными ребятами. Развлекались, не обращая на нее внимания.

– Им негде встречаться, мне понятно, я ухожу на улицу, но мне тяжело долго гулять... а они иногда остаются ночевать... Я лежу, заткнув уши, и думаю о ребенке, мне кажется, он все слышит.

Горчаков поморщился, кровать соседки стояла в метре от кровати Николь.

– Как себя чувствуешь? – он рассматривал ее милое лицо с заметными пигментными пятнами.

– Как утка хожу! Только не крикаю! – улыбалась Николь. – Что смотрите? Некрасивая?

– Почему?! – растерялся Горчаков.

– Некрасивая, я вижу в зеркало. Хорошо, Сани нет сейчас... – она отвернулась от Горчакова. – А если помру, то и ничего не надо будет...

– Ну что ты, – улыбнулся Георгий Николаевич, – молодая, здоровая, куда ты денешься...

– Может быть, придет? Он был на курсах в Новосибирске, сейчас снова в Игарке. Пишет, что сразу придет, как только рожу... Я не обижаюсь, все же понятно, я ссыльная...

Она замолчала, посматривая на Горчакова с вопросом в глазах.

– А мой ребенок, он будет свободным, как Сан Саныч, или ссыльным, как я? Вы не знаете?

– Ну почему же ссыльным? – Горчаков улыбнулся машинально, но тоже задумался.

– Я спрашивала, даже наш комендант не знает, у вас такие суровые законы и такие непонятные... Но даже если он будет считаться свободным, он же не сможет без меня. Так ведь? Значит, и он ссыльный!

Горчаков с нежностью смотрел на Николь, сидевшую с ногами на кровати. В валенках, тепло одетая, с белым пуховым платком на плечах. Три месяца она жила здесь одна.

– Вот, Саня оренбургский платок прислал, – Николь улыбнулась, – как будто обнимает меня. И валенки мягкие! Мой размер! И еще шоколад, вы не хотите? У меня много... – она словно читала мысли Горчакова. – Вы не думайте, он все время мне пишет и посылки шлет. Мне не грустно...

Слезы вдруг полились из ее глаз. Горчаков впервые видел такое.

– Доктор говорит, это у всех беременных бывает... – оправдывалась Николь. – Нервы, наверное, – она уже смеялась, всхлипывая и вытирая слезы. – Сан Саныч только через два месяца придет на «Полярном». Как вы думаете, я смогу с двухмесячным малышом на буксире работать? Там везде сквозняки...

Сосед заглянул, оттопырив брезент на входе:

– Николь, у тебя чайник выкипает!

– Ой, Георгий Николаич, я чай забыла!

– Мне надо идти, Николь, я сюда потихоньку завернул, на патруль могу нарваться... Как почувствуешь схватки...

– Я все помню...

– Мне обязательно дай знать через медсестру, ладно?!

– Ладно, уже скоро, дерется все время, доктор говорит, если дерется – спокойный будет... Странно, да?

Георгий Николаевич вышел из палатки. Вечерело, скользкая дорожка среди высоких, выше человеческого роста и по-весеннему грязных сугробов, с желтыми потеками мочи вывела к основной дороге, ведущей в поселок. Солнце село, но было еще светло, и зажженные фонари едва видны были на фоне сереющего неба.

Горчаков торопился в лазарет. У него умирал дядька сорока двух лет. Худой, с серым лицом, с клочками облысевшей головой и слегка сумасшедшими уже глазами. Его сожрал туберкулез, и он выглядел дряхлым стариком, кашлял кровью.

На руках фельдшера Горчакова умерло много людей, слишком много, чтобы хоть половину из них запомнить. И умирали по-разному. Кто-то тяжело мучился, другие отходили быстро, некоторые были до того обессиленные, что ничего уже не сознавали. Но большинство умирающих надеялись, цеплялись за жизнь и ждали помощи.

В прошлом году умирал один мальчишка, Горчаков забрал его из лазарета для доходяг. Его звали Андриас, ему было четырнадцать лет. На общей линейке в гимназии он крикнул «Да здравствует свободная Литва!». Судили быстро, показательно дали десять лет и так же быстро отправили на этап. В мае он еще стоял свободный на той линейке, а в июле испуганным четырнадцатилетним заключенным сходил по качающемуся трапу в заполярном Ермаково.

Лай овчарок сзади вывел из раздумий. Горчаков оглянулся, со стороны лесозавода выворачивала небольшая бригада, почти бегом бежали, скользили по наезженной дороге, едва держа шеренги. На ужин торопятся, понял Георгий Николаевич и тоже прибавил шаг, чтобы до них, до их обыска пройти в ворота со сталинской мудростью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Между мужиком, который умирал теперь, и Андриасом была та страшная разница, которую знает всякий хорошо посидевший зэк. Мужик, его звали Ефим, за свои десять лет выработался в лагерях, и когда получил еще один, такой же безнадежный довесок, ему было уже все равно, умирает он или живет. Андриас еще не знал ничего этого и очень хотел жить. Смотрел тревожно, очень благодарил за все.

Горчаков хорошо его помнил, он подолгу сидел рядом с мальчишкой. Разговаривал, иногда просто держал за руку. Андриас переживал страшно, все время возвращался мыслями в тот майский день и очень жалел о своем поступке. Его вывели перед всей линейкой.

Директор был хороший человек, если бы он слышал эту фразу один, он ничего не стал бы делать, но ее слышали многие и это означало, что уже на другой день в местном отделе госбезопасности лежало бы несколько заявлений. «Если бы он промолчал, он меня бы не спас, но и сам пострадал бы, и другие... все же слышали» – так «помудрел» за неполный год в лагере Андриас.

Он был из хорошей семьи, очень воспитанный, даже в его безнадежном положении – у него совсем не осталось сил – пытался держать себя чисто. Светловолосый, светлокожий, с большими черными глазами, которые, странным образом, не потускнели от болезни, но наоборот, как-то особенно блестели и пытались что-то выражать.

Горчаков перевел его к себе в конце августа. Андриас быстро уходил. Уже через две недели совсем высох, и его еще детская кожа стала не пергаментной, как обычно, а прозрачной, с голубоватыми прожилками. На заострившемся лице остались одни эти темные глаза.

Его привезли в лагерь «35-й километр», это был обычный исправительно-трудовой лагерь на трассе, ни хороший и ни плохой... На третий день он убежал. Такое случалось с новичками, особенно с молодыми. И особенно с теми, кто никогда не знал, что такое неволя и принуждение. Тоска их бывала такой силы, что они бежали, совершенно не понимая, что делают, куда бегут, и что с ними будет завтра. Так было и с Андриасом. Он ушел вечером, шел всю ночь вдоль трассы, его жрали комары, он промок, провалившись в болото, потом переплыл речку и промок весь, а под утро уснул, пригревшись под густой елкой. У него даже спичек не было с собой. «Мне все время казалось, что наш дом недалеко и там меня ждут и спрячут». Так он рассказывал.

Его задержал вольный обходчик, привел и сдал в лагерь «23-й километр». Андриасне сопротивлялся, не пытался убежать, он все еще не верил, что он заключенный – он же ничего плохого не сделал! – и ждал от людей естественной справедливости. Из лагеря его передали на заставу, которая стояла на трассе меж двух озер, чтобы ловить таких. Там из него сделали настоящего беглеца. Начальник заставы лично натаскивал новобранцев:

– С ними вот так надо, – лейтенант ощерился благодушно и без замаха ударил кулаком в доверчивый черный глаз Андриаса, – чтобы

забыли, как бегать! Поняли?!

Начальник оставил в карцере недавно призванных на службу, простых, чуть старше беглеца, деревенских парнишек. Андриас мог им не понравиться – беленький, нежный, ни еды, ни курева, только книжка была с собой.

Потом на нем натаскивали молодую овчарку. Разжигали злобу – пес был в приспущенном наморднике, он не мог рвать клыками, но так вцеплялся передними зубами, что его отрывали вместе с кусками одежды.

Андриасу повезло, что его не убили, было бы дело зимой, так и сделали бы, а труп беглого выставили бы для устрашения на неделю у лагерных ворот. А может, наоборот, не повезло. Его поместили в лазарет ближайшего лагеря, где не было даже фельдшера. Он был в ужасном состоянии, кровь шла изо рта и с поносом, он и не должен был бы, но жил, и когда у него сошли синяки и затянулись укусы, его повезли в Ермаково, где определили в лазарет оздоровительного питания. Там уже не лечили, врач сразу понял – мальчишка перешагнул страшную черту.

Горчаков случайно наткнулся на взгляд его черных глаз, и Андриас очень к нему привязался. Возможно, Георгий Николаевич был единственным, кто хотел, чтобы он жил.

Он уже не мог ни есть, ни пить. Горчаков консультировался с Богдановым и с терапевтами, пробовал вводить подкожно рингеровский^[129] раствор, но он не рассасывался. Он вводил глюкозу, пытался кормить специально сваренными бульонами, кашицами, сидел с ним, разговаривал, но он был очень слабый. Кажется, в нем совсем ничего не осталось, кроме этого желания жизни, почти неестественного уже в тонких руках и челюстях, обтянутых кожей. Сестрам, санитарам, за укол, за грелку или за то, что просто подушку поправили, Андреас пытался улыбнуться и чуть слышно шептал: «Спасибо...»

В то утро Георгий Николаевич подсел к нему и посмотрел в глаза. Андриас чуть прикрыл их, благодаря, как будто ждал Горчакова, чуть заметная гримаса улыбки застыла на лице.

– Спасибо, – выдохнул мальчишка едва слышно.

Это было его последнее слово людям.

На следующий день Горчаков сам пошел на вскрытие. У Андриаса были отбиты все внутренности... желудок несчастного был словно из кружева – он переварил сам себя.

Так хотел жить.

Горчаков добрался до лазарета. Переоделся в халат, с дежурной сестрой переговорил, подошел к Ефиму, он лежал сразу за процедурной. Глаза закрыты. Георгий Николаевич сел рядом. Ефим иногда говорил, иногда молчал и лежал без признаков жизни. Сейчас он был «жив», дышал ровно и не кашлял.

– Чаю хочешь? – негромко спросил Горчаков.

– Сам уже помер, голова работает... – довольно вятно ответил Ефим сухими потрескавшимися губами.

У него был абсцесс легкого, и в очаге распада был поврежден крупный сосуд. Рано или поздно, во время одного из приступов он все равно бы умер, но Горчаков или сестра каждый раз останавливали кровотечение – соль, лед, хлористый кальций... Ефим опять получал отсрочку! В нем еще была сила жизни, и он, несмотря на старческий вид, был молод.

Ефим долго молчал, потом заговорил спокойно. Видно было, что сегодня чувствует себя неплохо, даже чуть глаза приоткрыл:

– Нет ничего дороже своих-то, баба да ребятишки перед глазами все время, о них думаю. Не зря, видно, Господь так распорядился, чтоб человеку с одной бабой жить. Не увижу уже их... – Ефим обо всем говорил равнодушно, что о жене, что о собственной смерти, после стольких лет в лагере его ничего уже не волновало. – Ты, доктор, побудь еще, мне помирать не страшно, когда ты рядом. Я в сороковом году доходил до последней крайности. В шахте работал, норму уже никак не выполнял, а тогда за это стреляли. Саботаж, значит...

Свет в лазарете замигал-замигал, потускнел и погас. На улице загремел и остановился движок. Вскоре там же, доливая керосин и ругая дневального, заматерился Белозерцев. Ефим с Горчаковым прислушивались. Потом Ефим продолжил:

– И вот думал всё, мечтание у меня было такое. Чудно, ей-богу, думать-то, когда еле ноги переставляешь, а больше ничего не остается! Понятно уже было, что придется мне в ледяной шахте околеть... или по дороге, под сапогами конвоиров да собаками изорванным! И очень

мне это не нравилось, даже в бараке не хотел помирать, так он мне надоел, этот барак! Ты еще не помер, а твои кальсоны уже поделили... Я в больницу хотел, в любую... чтобы хоть кто-нибудь меня пожалел, даже и не пожалел, на что нам жалость. Просто посмотрел бы – человек же я! – воды подал. Мечтал вот в больнице помереть...

– Расскажи о своих, письма давно не было? – спросил Горчаков, снимая очки. Одна дужка сильно уже шаталась.

Ефим долго молчал. Он уже рассказывал Горчакову о своих.

– А ты сам доходил когда-нибудь? – спросил вдруг.

– Доходил, – Горчаков спокойно надел очки.

– И что?

– В больнице выходили...

– Мне уже не выбраться, я два раза помирал, знаю это дело... –

Он замолчал устало, на щеках появился нездоровый розоватый румянец. Отдышался. – Иной раз лежу, глаза открыть не могу, а все чую. И так все скучно, все одинаково. Все время одинаково. Люди всё ходят и ходят, ходят и ходят... Вдруг слышу, будто кто-то ко мне подошел. А я ни пальцем шевельнуть, ни глаз открыть, одна голова все думает. Вы меня такого, Христа ради, не отдайте! На вахте штырем-то длинным протыкают покойников... [130] – он замолчал, переживая, чтоб его не проткнули. – Завтрак уже был? Сейчас чего у нас?

– Ночь.

– У тебя детей много?

– Двое.

– У меня пятеро. Три девки и два парня, последний Ефимка, как я.

Ефим начал чуть заметно щуриться, потом кашлянул легко, потом еще раз. И потом закашлялся, закашлялся. Сестра приоткрыла дверь, кивнула Горчакову и ушла в процедурную, загремела стерилизатором и мензурками.

Ефим выхаркнул кровавый сгусток, Горчаков принял его изо рта на тряпку.

– Потерпи, сейчас...

Ефим замотал головой с закрытыми глазами, силой удерживая кашель:

– Все, не надо, не мешай, помирать буду. Ты только рядом посиди, Христа ради... одному страшно. – Он искал Горчакова костлявой рукой и опять закашлялся.

Горчаков взял его руку, другой вытирал кровь.

Шура Белозерцев заглянул, распространяя запах керосина, грязные руки вытирал, на Ефима посмотрел и пошел в расположение. Тут же явился дневальный с ведром угля, слышно было, как засыпает в печку. Сестра приготовила растворы, подошла. Горчаков внимательно глядел на Ефима. Показал ей, чтобы унесла все:

– Морфий набери!

После укола Ефим забылся и заснул, но Горчаков все сидел, держа его руку. Пытался представить пятерых его детей, и особенно последнего Ефимку.

Через неделю, 13 апреля 1951 года, подданная вольнолюбивой Французской республики Николь Вернье родила гражданку Союза Советских Социалистических Республик Клер Вернье. Три килограмма двести граммов.

На другой день кто-то из акушерок сходил в Управление водного транспорта Стройки-503, и те позвонили в Игарку.

Еще через день Сан Саныч Белов ехал на попутной машине. Погода стояла солнечная, морозная. Зимник до Ермаково был чуть больше ста километров, но машин ехало много, они застревали, ломались, их вытаскивали общими усилиями... Пока доехали – солнце уже садилось.

Запыхавшийся Сан Саныч сунулся осторожно в брезентовую комнатку к Николь, как будто вся она была одной детской кроваткой и там никого, кроме его дочери, не могло быть. У самой двери на табуретке сидел большой человек в ватнике, он обернулся, блеснув знакомыми круглыми очками, это был Горчаков, на койке слева с журналом «Работница» в руках лежала здоровая незнакомая деваха. Николь на их кровати пеленала крохотного ребенка.

– Саша!

Ее голос сорвался, она запахнула пеленки и вцепилась в Сан Саныча. Тот обнял ее неловко, в руках были подарки:

– Ну что ты? Вот я, приехал!

– Надолго? – испуганно спросила Николь, вытирая слезы и заставляя себя улыбнуться.

– Не знаю, недели на три, может на месяц... – наврал Сан Саныч, его отпустили только на неделю. – Здравствуй, Георгий Николаевич! –

Белов поставил подарки и протянул руку.

– Здравствуй, Сан Саныч! – Горчаков поднялся, пропуская его. Встал у входа.

– Ну, посмотри! – Николь осторожно раскрыла малышку.

Девочка была с легким пушком на голове и очень маленькая, она лежала с закрытыми глазами и напряженно перебирала красными ручками и ножками. Сан Саныч с испугом ее разглядывал, он чувствовал, что надо сказать что-то особенное, но в голове было пусто. Робко косился на Николь, на Горчакова.

– Это твоя дочь! – радостно сообщила Николь. – Вот она!

– Да-да, – глупо подтвердил Сан Саныч. – Как мы ее назовем?

– Я уже назвала... – Николь расстегивала шинель Сан Саныча. – От меня требовали, чтобы записать... в больнице что-то оформляли.

– И как назвала?

– Клер! Тебе нравится? Как мою бабушку, по-русски это значит «ясная, светлая», но можем и по-другому... – Она стянула с него и второй рукав, бросила шинель на кровать и прижалась. – Саша...

– Я хотел Катей назвать, но Клер тоже хорошо. А фамилия?

– Мне не разрешили записать ее Беловой, сказали, нужна регистрация... Мы потом все исправим! Ты расстроен?

Соседка, продолжая лежать на кровати спиной к ним, громко зашевелилась крепким телом, перевернула страницу, на которой она была все то время, как пришел Сан Саныч. Наверное, она думала, что поступает вежливо, отворачиваясь. В комнатке было очень тесно.

– Я пойду, завтра-послезавтра постараюсь вырваться.

– Ну что вы, Георгий Николаевич?! Десять минут всего были! Мы должны выпить! Не уходите! У меня никакой закуски нет, одна каша... – Николь быстро перепеленала Клер и положила в ящичек с невысокими бортиками. – Вот так, это мне наш плотник в больнице сделал, правда, удобно? Ее можно подвешивать, но тут негде. Клер, тебе нравится твоя кроватка?

Она повернулась к мужчинам, которые, едва помещаясь, стояли у входа.

– Садитесь же! Столько еды, Сан Саныч! Ура! – она все доставала на стол. – Шампанское!

– Из Новосибирска вез...

– Спирт! Как вы его пьете, бедные?! Колбаса! Сало мое любимое! – она вдруг приостановила свою радость. – Георгий Николаевич, а мне можно сейчас сало? Диатеза не будет? Не стойте, как в гостях! Саша, садись рядом со мной, Георгий Николаевич, *asseyez-vous s'il vous plaît!*^[131] – она озорно показала на единственную табуретку. – Зоя, вы не хотите с нами?

Девушка повернулась одной головой, лицо не очень довольное, глянула на стол, на мужчин, помягчала снисходительно и спустила ноги на пол. Выпили за Клер, за маму, за папу. Горчаков ушел. Закусывали, Сан Саныч не ел ничего целый день, раскраснелся, открыл спирт, но Николь неожиданно проявила жесткость и дала выпить только одну рюмку – ребенку надо было гулять. Они оделись и вышли.

Была уже тихая ночь, под ногами хрустело. Их палаточный городок одним боком прижимался к тайге. Вдоль деревянного тротуара стояли темные елки и пихты и пахли талым снегом и еще чем-то весенним. Они неторопливо шли в сторону освещенного центра. Николь рассказывала, что в больнице к ней очень хорошо отнеслись, но вчера, когда она переехала в свою палатку, Зоя была очень недовольна.

– Она следит за мной, – Николь повернулась к Сан Санычу, – и стучит, сука! Я знаю!

Сан Саныч напрягся. Когда ехал сюда, он твердо решил рассказать все Николь. И про те старые угрозы Квасова, и про последний случай с «Черновым». Надо было объяснить, почему до сих пор не развелся и как этот старший лейтенант запутал всю его жизнь... Об этом он теперь и думал, но молчал, только косился на Николь – «сука-соседка» и он были одно и то же!

Белов прожил в Ермаково полторы недели. И все это время хлопотал, пытался найти им с Клер жилье где-то в бревенчатом бараке, а не в холодной палатке, но ничего не получилось. Клигман был в отпуске на материке, Николай Мишарин работал и ночевал почему-то в своем проектном бюро в лагере, куда Белова не пустили, а сам Николай не захотел встретиться.

Клер была очень спокойной девочкой. Когда он уезжал в Игарку, она не спала, внимательно его изучила и даже, он это точно видел,

улыбнулась ему. Сан Саныч оставил все деньги и договорился, что в случае нужды Николь может звонить ему из Управления.

Из-за пурги Белов возвращался трое суток, ночевал на полу какой-то избы. Его продуло. Но это все было полбеды. Он всю дорогу думал о своей жизни, которая по необъяснимым причинам и против его желания все больше прорастала враньем и разгоняясь, катилась куда-то вниз.

Белов пролежал с высокой температурой почти неделю. Бредил и даже кричал, рассказывал ухаживающий за ним Климов. Это был бред, вызванный тем, как человек сам про себя думает. Ничего хорошего про себя Сан Саныч подумать не мог.

У Квасова были люди, Белов слышал его голос через дверь, сел дожидаться все в том же предбаннике с двумя стульями, печкой и окном, заставленным выцветшими бумажными цветами. Из кабинета вышел чем-то недовольный знакомый капитан с портового буксира. С большим свертком. Сунул руку, интересуясь, чего Белов здесь делает, Сан Саныч неопределенно пожал плечами. Потом второй стул заняла пожилая тетка, которая тоже отчего-то косилась на Сан Саныча. За дверью разговаривали громко, временами смеялись. Прошло около часа. Из кабинета вышли двое военных, Квасов их провожал, увидел Белова:

– Давайте, кто по очереди, – и закрыл за собой дверь.

Белов вошел, зачем-то застегивая шинель, внутри все малодушно тряслось:

– Я пришел сказать, что я не буду! – он попытался твердо посмотреть на загорелого старшего лейтенанта.

– Здорово, Сан Саныч! – Квасов, улыбаясь, протянул руку через стол.

Сан Саныч кивнул и пожал ее с хмурым и виноватым видом.

– Чего не будешь-то? Садись!

– Не хочу... то, что мы подписали... не буду ничего делать!

– Это плохо, а чего так?

– Я... предателем себя чувствую!

Квасов не торопясь достал папиросу из пачки, подвинул, угощая Белова:

– Предатель – это плохо. А кого предал?

С Сан Саныча сходило напряжение, он взял папиросу, присматриваясь к лейтенанту, показалось, что все это можно будет закончить спокойно. Иногда ему такое мнилось – Квасов мог просто взять и порвать ту бумагу.

– Людей, Константин Васильевич! Я все это время думал!

– Каких людей, капитан? – Квасов придвинулся через стол и заговорил тихо. – Я сейчас с ответственного задания, шкурой своей рисковал, а я, по-твоему, предатель?! – он смотрел строго. – Да, мы не орем на каждом углу о своих делах! Мы вынуждены так работать, нам даже награды дают не так, как вам! И мы – предатели?! Я был о тебе лучшего мнения, руководству хвалил, тебя в наш боевой резерв хотят оформить! Это – честь, Белов, это лучшим из лучших предлагается.

– Нет, я все понимаю, но... – растерялся Сан Саныч, – я уже это решил, я не могу! Мне так плохо, как будто я на своих товарищей наступал уже... Я отказываюсь.

– Кто же это с тобой работу провел? – видно было, что Квасов начинает злиться. – Николь твоя, ссыльная поселенка, или Горчаков, а может, Померанцев? Ты знаешь, что он за контрреволюционную деятельность отсидел десять лет?

– Нет, – Сан Саныч начал приходить в себя, – я сам. Я хорошо подумал.

Пораженный осведомленностью Квасова, он начал подниматься со стула.

– погоди! Сядь! – приказал старший лейтенант. Помолчал, соображая. – У нас просто так нельзя уйти! Подписать и уйти – нельзя! Я на тебя все бумаги еще в январе оформил и отправил. И на них ответ уже пришел – мне разрешили использовать тебя в самых важных мероприятиях! Ты это понимаешь?! Может быть – раз в год! Отложим этот разговор, завтра посидим вдвоем, выпьем, я расскажу, какие тебе могут быть предложены дела. И какие за это могут быть поощрения. Быстрое продвижение по службе – это самое малое!

Сан Саныч стоял и молчал, он не предполагал, что вляпался так крепко. Он чувствовал, что снова начинает трусливо доверять уверенному голосу Квасова, но против этого вставали весь ужас и вся подлость, пережитые за последние три месяца. Он поднял голову:

– Я могу уволиться из пароходства, если надо будет, но я твердо решил: не буду ничего такого делать! – пока говорил фразу,

уверенность и упрямство нарастали. – Я могу быть свободен?

Квасов расслабленно откинулся на спинку стула. Зло смотрел.

– Идти ты можешь, но вот будешь ли свободен? Ты, Белов, сейчас в мои личные враги записываешься! Подумай! Иди и крепко подумай! Хорошая жизнь, любимая жена с французским именем, должность, лучшие санатории в Крыму, возможно и служба в госбезопасности с немаленькими звездами на плечах! – Он смотрел куда-то сквозь Сан Саныча. – Или шпалы ворочать на Стройке-503?! Иди, думай! Я не я буду, если тебя под эти шпалы не закатаю! – Он злыми тычками погасил папиросу в пепельнице.

Сан Саныч вышел на улицу, свернул за угол и остановился, оперевшись взглядом себе под ноги. Внутри бушевала буря. Не трусливая, хотя и это было...

– Ты все, Сан Саныч? – навстречу шел давешний капитан буксира, все с тем же свертком.

– А? – Сан Саныч машинально и почти гордо протянул ему руку. – Я все, Василь Палыч. Все, дорогой! Иду вот! – и Белов указал куда-то вперед.

И он ринулся, не очень понимая, куда. Мог бы полететь, полетел бы! Все угрозы Квасова были уже не в счет. Он все сказал, он смог, он снова честно любил Николь, Померанцева, Климова, кочегаров – он снова, как честный человек, мог смотреть им в глаза.

Ноги сами привели его в загс. Он достал паспорт и потребовал, чтобы их развели. Без жены этого было нельзя сделать. То есть можно, но через суд.

– А чего тебе не живется? – загсом руководил худощавый старичок с добрыми глазами и пушистыми седыми усами.

– Мы давно уже не живем. И женились-то, как собаки! – Белов просительно заглядывал в глаза старику.

– Если она против, и по суду не разведут, – привычно уверил старичок.

– Я в суде все расскажу, я ее не люблю, да и она меня. Может, у нее кто-то уже есть!

– Партия постановление дала, чтобы ужесточить это дело, а то после войны больно уж много разводов сделалось, и всё мужчины желают. На фронте подруг себе завели, детишек нарожали, поэтому всё. Теперь и пошлину в десять раз подняли – раньше пятьсот рублёв

отдавали за развод, теперь – целные две тыщи, сынок. А дети есть? Или совместное имущество?

– Нет ни детей, ни имущества...

– Это хорошо, если имущество, тогда вообще через прокуратуру.

– Что же мне делать, отец? А если она мне изменяет? – мелькнула у Сан Саныча надежда.

– Не является основанием!

– Как же?! А вы откуда про суд так знаете?

– Так меня экспертом вызывают, вот последнее разъяснение Верховного суда. Сам почитай. – Он подал вырезку из газеты, аккуратно подклеенную на картон:

«Суды ошибаются, если полагают, будто “желание супругов расторгнуть брак” – достаточная причина, чтобы их развести. Не следует думать, что вступление мужа во внебрачную связь с другой женщиной само по себе является основанием для расторжения законного брака. Народные суды недостаточно серьезно относятся к возложенной на них задаче примирения супругов. Они должны помнить, что самое главное для них – укрепление советской семьи и брака».

– Ну ни хрена... И что же делать? – Белов, обескураженный, начал подниматься со стула. – Не разведут?

– Никак не разведут! Можешь и не подавать заявление...

Вместе вышли на крыльцо, старичок достал самодельный мундштучок и дешевые сигаретки.

– Или с женой договорись, или... – он подкурил, пыхнул с удовольствием, – или только если у тебя уже другой брак и в нем уже есть ребенок, а лучше два...

Сан Саныч заинтересованно покосился на заведующего загсом, но про Николь ничего не стал говорить, поблагодарил и пошел к Зине.

– Я подал на развод, – заявил с порога.

Зина куда-то собиралась, в прическе уже, губы мазала перед зеркалом.

– Кому ты врешь? Развод! Я тебе не дам!

– А мне и не надо! – Сан Саныч снял шапку и сел на стул. Стал расстегивать шинель. – Через суд можно и без жены. Короче, подал уже заявление, рассмотрят в месячный срок.

Зина повернулась, пренебрежительно его рассматривая:

– Да ты врать научился, Белов!

– Почему врать? Подал!

– Как ты мог подать, если свидетельство о браке у меня!

– Так давай его, я за ним и пришел... Зин, – заговорил он вдруг примирительно, – давай по-хорошему. Эта комната тебе останется... Я тебе... хочешь, целый год по тысяче буду отваливать?! Зачем я тебе? Живи, как тебе нравится!

– Я и так живу, как мне нравится! Дай-ка пальто!

Белов встал и снял с вешалки то самое дорожное пальто с чернобуркой.

– Короче так, Белов, живи, где хочешь и с кем хочешь, а развода я тебе не дам! Не хочу! Считаю, что я такая сука! – она стервозно улыбнулась и, застегиваясь, заговорила тише: – А будешь настаивать, все узнают, что ты – стукачок позорный! Пропусти! Ключ под половиком оставь!

Сан Саныч будто ломом по башке получил, он отступил к стене, сел, судорожно соображая, внутри все колотилось – в руках этой твари была его честь. Представил, как она в какой-то компании рассказывает...

С этого дня он стал ждать слухов о себе. Кто-то по пьяни обязательно сказал бы. Игарка – город небольшой.

Весна пятьдесят первого была ранняя, снег начал таять в конце апреля, и небольшую центральную площадь Ермаково вычистили к празднику Первомая, соорудили новую высокую трибуну для начальства. Перед самым праздником устроили общий субботник – пытались убрать мусор, наваленный за зиму. Не везде это удалось, но в центре стало почище, хотя высокие грязные сугробы текли и местами было не пройти. Поменяли репродукторы на столбах. Теперь везде играла музыка и громко, словно из облаков передавались последние новости. Было весело, люди улыбались друг другу, ждали праздника, за ним настоящей весны и ледохода, а там уже и скорого лета. Многие собирались в отпуска на Большую землю. Заключение, получившие освобождение, но не имеющие денег на самолет (да и билетов продавалось немного – в очередь записывались за три месяца и вел ее лично начальник аэропорта), в душевном томлении приходили к Енисею. До первых пароходов было еще далеко.

Как-то вечером Шура Белозерцев явился в лазарет сильно избитый. Лег молча, но, неосторожно повернувшись, застонал. Дневальный заглянул к нему и заложил Горчакову, что у Шуры вся морда разбита.

– Где тебя так? – Горчаков повернул Шуру за плечо, тот опять, стиснув зубы, едва слышно застонал. – Давай-ка посмотрю... вставай-вставай! – потребовал Георгий Николаевич.

Зашли в процедурную и тут при сильном свете стало понятно, что Шуру отмолотили профессионально. Горчаков стал щупать голову, осмотрел глаза.

– Подними руки! Чем тебя били?

Шура устало поднял руки, но тут же опустил.

– Руками, налейте лучше сто грамм, Николаич! Меня Иванов отмудохал!

– Кто?! – не поверил Горчаков.

– Он меня уже полгода обламывает написать на вас... Сегодня опять начал политинформацию насчет моей сознательности, я не выдержал, послал его по матушке... ну он и... шлангом каким-то...

Горчаков попытался снять гимнастерку, но Шура покачал головой:

– Не надо, Николаич, там крови нет, синяки одни. Освирепел лейтенант, я такой злобы не видел у людей...

– Что же ты ему сказал? – Горчаков осторожно протирает ссадины.

– Он мне, сука, предлагал пользу Родине принести. Фельдшер Горчаков, мол, враг и на него нужен надежный материал. Я раньше, как дурак, слушал, башкой кивал. Да. Хорошо. Постараюсь. А тут он конкретно прицепился, про Николь спрашивал, какая у вас связь, и все такое, про капитана Белова, с которым вы по реке ходили. Я что-то и не выдержал. Уф-ф-ф! Тут больно! – сморщился Шура. – Когда он опять про Родину запел, я его и спросил: если, мол, напишу на Горчакова, вы его точно посадите? Точно! – отвечает, аж расцвел, гад, глазками своими белыми заморгал. А не скажете ли мне, гражданин старший лейтенант, сколько вам таких Горчаковых надо угробить, чтоб ваша Родина наконец нажралась?! Он весь пятнами пошел, из-за стола вылетел и давай меня квасить, и кулаками, и ногами, сука. Потом шланг этот схватил. Глаза совсем побелели, изо рта слюни... Я руками прикрылся, потом в шкафу плечом стекло выдавил, сержант забежал...

– Надо акт составить! Маша! – позвал Горчаков сестру.

– Не надо, Николаич. Лучше сто грамм!

– У тебя сотрясение мозга, надо написать заявление на побои, я попрошу Богданова подписать. Он не побоится!

– Да что с тобой, Николаич, ничего это не даст! На общие он меня переводит. Это жалко. Прижился я здесь...

На другой день утром, после развода, пришел нарядчик и велел Шуре собираться на трассу. Шура сунул ему и вымолил отложить это дело до завтра. После обхода они с Горчаковым сидели на бревнышках за лазаретом, курили и грелись на солнышке. Птички щебетали, облака тянуло южным ветром. Один глаз у Шуры заплыл совсем, как коровья губа сделался, сам Шура был непривычно молчалив. Потом вздохнул:

– Ухожу вот, много чего у вас спросить хотел, уже и не спрошу, видно. Может, и не увидимся больше...

Он потянул папиросу. Горчаков видел необычное Шурино волнение, не мог его понять.

– Вы никогда в начальники не лезли, а могли! Сейчас в Ермаково командовали бы или в Игарке... – Шура смотрел с каким-то дополнительным интересом.

– А зачем?

– Ну как? Чем у тебя больше в подчинении, тем больше уважения, в ШИЗО просто так не отправят, кормежка другая... У начальства и деньжата имеются!

Горчаков улыбался, разглядывая свои поношенные казенные ботинки. Поднял голову:

– Я на Колыме еще сказал себе, что никогда не буду выживать за счет другого.

– Вот и я про то! Это не по-лагерному! Тут каждый живет за счет другого! А вы не так!

Горчаков задумчиво тянул погасшую папиросу, машинально полез за спичками, прикурил.:

– Ну, понятно... а чего ты вдруг?

– Не знаю, уйду от вас, не поговорить уже, я про этого Иванова тоже думал. У него, как и у вас, ни баб нет хоровада, и ест он просто, мне повар говорил... по лагерю опять же ходит, никого не боится. А чего же он тварь-то такая? Скольким людям жизнь изуродовал... Я не то что он мне морду разбил, меня и похуже угощали, а вот не пойму, почему он такой, а вы вот такой?

– Ты уж святого из меня не делай, Шура...

– Я не делаю! – Шура отвернулся. – Для такой жизни, какой мы живем, вы, если не святой, то рядом.

Он все-таки очень страдал, что его избили. Ему так понравилась его смелая выходка, когда он спросил Иванова про Родину... успел даже погордиться собой немного, пока старлей поднимался из-за стола. Он помолчал, потрогал заплывший глаз:

– Мне два года осталось, – Шура помолчал тяжело. – Видно, боюсь я в эту режимную бригаду идти... или, не знаю... чем ближе к воле, тем страшнее. Один вы и есть, с кем ни разу не поругался. Нервный я стал, на стенку могу разораться! Не было раньше такого, даже на фронте, уж там-то бывали ситуации, ой-ёй-ёй, а такого не помню. А тут на пустом месте закипаю из-за любой дряни. Ладно, мозги вам затер совсем... Бригада сейчас за Барабанихой новый лагерь усиленного режима строит, брошу вам весточку! Заходите на самовар! – и Шура расплылся разбитым ртом.

43

Была середина мая, навигация приближалась, скоро должны были объявиться боцман и главный механик из Красноярска, опять надо было набирать недостающих в экипаж, а у Белова из рук все валилось. Не мог простейшего решить, даже когда Климов спрашивал, каким цветом красить потолок в радиорубке, долго морщился, не понимая, что от него хотят... Крась, как знаешь. Люди видели, что с их капитаном что-то происходит.

Однажды вечером Померанцев подсел к нему на бревнышко, Сан Саныч покуривать стал чаще, вот и сейчас курил, спиртным от него пахло.

– Чего-то кислый наш капитан? – Николай Михалыч осторожно улыбался, достал махорку. – Извините, если вам неприятно... Покурю с вами?

Белов кивнул. Солнце садилось за протоку и дальше, за Енисей. Снизу ото льда холодило, оба были в валенках и бушлатах. Померанцев прикурил от папиросы Сан Саныча.

– Стукача из меня сделали, Николай Михалыч... – неожиданно для самого себя признался Белов, – и не отпускают... – он говорил тихо, с внутренней горечью произносил вслух то, что тысячу раз говорил про себя. – Да как бы только это...

И он рассказал все неторопливо, припоминал подробности. Померанцев слушал внимательно, не перебивал и ничего не спрашивал.

– Этих ребят подлости специально учат, Сан Саныч, а вы – честный. – Померанцев затушил окурок. – Даже и не думайте, вы не можете быть стукачом.

– Что же, я всегда у них буду числиться? Я все равно ничего не буду делать!

– И не делайте, – Померанцев задумался. – Они, конечно, ребята мстительные... а бывает, что и пронесет. Он вас в картотеку занес, в отчете написал, что завербовал капитана парохода, это не зэка голодного за пачку махорки обработать... Я однажды согласился оперу на нашего бригадира написать...

Белов с удивлением глянул на Померанцева.

– Ну! За булку хлеба! Он обрадовался, послал за буханкой. Давай, пиши, дает бумагу, карандаш и вышел. Я всю буханку и съел, сижую икаю от счастья, он заходит, чего не пишешь, а я в отказ! Не буду, говорю, я подумал, хороший человек наш бригадир. Труженик. Ох, он разозлился, а даже в карцер не посадил, боялся, я расскажу всем, как я его... – Николай Михалыч радостно, широко и беззубо улыбался.

Солнце село, лед по всей реке сделался синеватым. Становилось холодно. В караванке зажгли керосиновые лампы, оттуда доносились прибаутки Климова и запахи жареной корюшки. Белов с удивлением думал о рассказе поммеха.

– Извините, Сан Саныч, вспомнилось. Плюньте на них, живите по своей правде.

В понедельник Сан Саныч сходил в загс. Поставил старичку бутылку, и они вместе сочинили заявление в суд. Сан Саныч как свою семью указал Николь и Клер.

– Имена чудные какие, она откуда родом? – спросил старичок, приподняв лохматую бровь.

Белов замялся, что-то удерживало сказать правду.

- Не иностранка, избави бог? – настаивал дед.
- Почему «избави бог»?
- Так... указ Президиума Верховного Совета от 15 февраля 1947 года – браки советских граждан с иностранцами запрещены! Что ты! Сразу – уголовное дело!
- Она из Риги...
- Ну слава богу, теперь их адрес – место жительства...

Дрожащей рукой Сан Саныч вывел: Красноярский край, Туруханский район, поселок Ермаково, улица Молотова, дом 32.

- Так, здесь вот свои чувства опиши и что обещаешь немедленно жениться. Это и будет главная причина развода.
- Она еще абортыв делала, сама мне говорила...
- Кто? – не понял заведующий загсом.
- Жена моя, Зинаида.
- Тут не знаю, аборт – дело уголовное. Она может сказать, ты ее заставлял. Такие случаи были, обоих и сажали.

– Да нет, я просто так, подумал, может, пригодится.

Заявление было зарегистрировано 25 мая. На рассмотрение отводилось два месяца. Сан Саныч и рад был, что как-то сдвинул дело, но временами чувствовал необъяснимый животный страх.

Время, однако, шло, приближалось начало навигации, и он, понемногу успокаиваясь, впрягся в работу. В начале июня прилетели из Красноярска боцман «Полярного» Егор Болдырев и старший помощник Сергей Фролыч Захаров. Вместо списанного по возрасту Грача на должность главного механика Управление утвердило Померанцева. Прибывали флотские и с других кораблей, ходили друг к другу в гости, выпивали, разговаривали, ждали весны. Шумно бывало в караванках, накурено – топор вешай.

Весна шла ранняя, Игарка обнажала засыпанные щепой деревянные дороги, сохли на солнце огромные лужи и тротуары, городок теплел, становился живее и веселее. Енисей пошел второго июня. Сан Саныч волновался, как мальчишка, лед уходил, освобождая дорогу к Николь и Клер. До них было всего сто километров. Через день писал письма, это было бессмысленно, они все равно копились теперь до первых пароходов, и Николь могла увидеть его самого раньше, чем его письма.

Сходил в Игарский отдел водного транспорта, и первый рейс ему поставили в Ермаково – там сейчас помещалось все счастье его жизни. Представлял себе маленькую Клер в капитанской каюте «Полярного»... прижимал к себе с осторожным трепетом. Он все больше любил ее и невыносимо скучал по ее прекрасной маме.

Седьмого июня все неожиданно поменялось. Ермаково отменили, а «Полярный» вслед за льдами отправили в другую сторону – в Дудинку. Порожняком шли – задание было срочное и особенное – льда по реке было еще много, но добрались без приключений.

Баржа, за которой спешили, стояла уже загруженная стройматериалами для Сталинского мемориала в Курейке. Все было непривычно строго – секретный груз сопровождал старший лейтенант, а на палубу баржи никого не пускали два автоматчика. Остановки по ходу движения были запрещены. Ермаково было как раз по ходу движения, перед самой Курейкой. Сан Саныч кивнул на запрет, точно зная, что он остановится и сбегает к Николь. Причину всегда можно было придумать.

– Полозов Николай Павлович! Расконвоированный, статья 58! Прораб строительства в Курейке, – уверенно представился спортивного вида человек, пожимая руки Фролыча и Белова. Коробку дорогих папирос открыл.

– Что там за секреты? – спросил Фролыч, угощаясь столичным куревом.

– Железобетонная статуя вождя! Десять метров высоты – полгода отливали! Если что случится, всем каюк! – прораб спокойно улыбался, подкуривая папиросу, а Фролыч с Беловым невольно посмотрели на тянущуюся за кормой баржу. На ее палубе стоял деревянный саркофаг, увязанный тросами и затянутый брезентом.

Сталинский мемориал строил «Норильлаг». Это был подарок вождю к его семидесятилетию. Норильские архитекторы придумали установить в Курейке на берегу Енисея стеклянный павильон. Внутри изба, в которой жил Иосиф Сталин во время ссылки в 1913–1916 годах.

Так и сделали. Павильон получился размером с двухподъездный пятиэтажный дом. Двенадцатиметровые оконные проемы от земли до «неба» делали его прозрачным. Вместо сталинской внутри стояла другая изба, новая, закопченная под старую. Рядом, за лесочком

выстроили электростанцию, которая круглосуточно освещала и отапливала огромное помещение. Особенно впечатляюще Мемориал выглядел полярной ночью – специальное освещение имитировало северное сияние.

Прораб Полозов поселился с Фролычем и Егором. С собой у веселого начальника были зубная щетка, пачка чистых дорогих рубаш и ящик коньяку. В первый же вечер Николай Павлович устроил застолье. После завершения Мемориала его освобождали. На год раньше за ударную работу, восемь лет Николай Павлович уже «оттянул». Сидел он за древние дворянские крови, за знание многих языков и заграничное образование, вследствие чего, впрочем, и был незаменимым, смелым и очень знающим организатором строительства. За восемь лет он успел отличиться на строительстве Московского метрополитена, Магнитки и Норильского комбината.

Сидели втроем с Фролычем в каюте Белова.

– Через деревню Курейка проходит Полярный круг планеты Земля, и там великий сын планеты Земля отбывал царскую ссылку! – Полозов выразительно поднял свой стакан. – Теперь понимаете, почему именно сюда выходит Великая Сталинская Магистраль?! Священное место!

Говорил Полозов очень уверенно и весело, и про «священное место» непонятно было, серьезно ли он или издевается. Выпили, закусывали норильскими разносолами московского завоза.

– Помнят его там? – заинтересовался Фролыч.

– Конечно! Познакомлю вас с Анфисой Степановной, ей только рюмку налей, все про него выдаст... веселая бабка, простая сельдючка^[132]. Рассказывает: «Ёсиф веселый парень был, плясал, песни пел хорошо, баб любил, сынок тут у него народился...» Они его не очень любили.

Белов с Фролычем напряженно слушали. Прораб же продолжал, совершенно не смущаясь:

– Для них Иосиф Сталин и тот Ёсиф – разные люди! – Полозов спокойно подкуривал папиросу. – Старик Деев дружил со Сталиным, его поставили экскурсии вести. Приехали комсомольцы из Норильска, он и рассказывает: «Сталин в те годы царской неволи был небольшого роста, кривоногий, конопатый сильно. Рыбу любил ловить, табак

курил, а больше всяво девок любил!» – Полозов весело захохотал и потянулся к бутылке.

Егор заглянул, вызывая старпома. Фролыч вышел, Белов остался вдвоем с прорабом.

– Сталин много работал в ссылке... писал... – негромко заговорил Сан Саныч.

– Совсем не писал! – перебил Полозов уверенно. – Можно посмотреть по собранию сочинений! У меня товарища в прошлом году послали в Курейку от газеты «Правда» собрать материал о жизни товарища Сталина. Он приехал, перезнакомился со всеми, всех опросил... Сел за работу – а писать не о чем! Рыбалка да вечеринки с местными барышнями-полукровками... Больше великий вождь не занимался ничем, с товарищами по ссылке не общался, из Курейки выбирался очень редко. Не писал, не читал... А еще все рассказывали, что Иосиф Виссарионович обрюхатил четырнадцатилетнюю девку, она сирота была. Дядя этой девки потребовал жениться, Иосиф в отказ – это не я! Ну мужики и поволокли его в прорубь топить, да что-то их остановило... – Полозов говорил тихо, глаза светились радостной хитринкой. – На льду уже бросили. Деев говорит, прорубь мала была, а пещни с собой не было. Представляете, как вырастает роль пещни в мировой истории!

Белов сидел, отодвинувшись от стола, вертел в руках спички и не реагировал.

– Вам не нравится то, что я говорю... – Полозов уже не улыбался, он налил себе коньяку и молча выпил. – Знаете, почему я вам это рассказываю?

Белов не отвечал.

– Все товарищи Сталина по туруханской ссылке были расстреляны или исчезли в тюрьмах, – Полозов зло помолчал, играя желваками. – Про другие его подвиги вы и сами знаете, а у вас над головой висит портрет этого зверя! Извините, впрочем... но я знаю, что вы честный человек, и вдруг такое! Не понимаю! – Он перевел взгляд на портрет вождя и достал папиросы.

– Откуда вы знаете, что я честный человек? – Белов слегка опешил от такого напора.

– Мы с Николаем Михайловичем Померанцевым старые каторжане! Отбывали вместе!

Мимо Ермаково шли ночью, было светло, поселок дремал, но шевелился, как это всегда бывает во время белых ночей. По палубе баржи в бушлате и ушанке расхаживал боец. Сан Саныч решил не нарушать приказ – после разгрузки, уже сегодня вечером, он мог быть у Николь на законных основаниях.

Через три часа пришли в Курейку. Громадный куб пантеона подсвечивался боковым утренним солнцем из-за Енисея, сиял красным гранитом, высоченными стеклами... Он казался чем-то нездешним, будто его не построили, а спустили с неба люди-гиганты. Величественно, но и страшновато нависал над берегом.

Баржу ждали, у воды к приему многотонного вождя была приготовлена деревянная платформа на катках. Сосредоточенные офицеры покрикивали, работяги полезли на баржу, стали заводить такелаж паровой лебедки. Вскоре длинный саркофаг закачался под стрелой, и его стали медленно разворачивать в сторону берега. Вдруг в лебедке что-то громко захрустело, статуя стала быстро и косо опускаться на палубу. Офицеры заметались, матерясь, ящик лег на борт, баржа опасно клонилась, казалось, она вот-вот перевернется. Офицеры гнали работяг в воду, чтобы держали руками... Но вскоре стало ясно, что баржа уперлась в дно, и паника улеглась. Военные, убедившись, что баржа стоит «мертво», ушли с Полозовым в поселок.

Белов поел и пошел посмотреть Мемориал. К нему вела широкая лестница. Народу внутри работало много, ждали генералов из Москвы и Норильска. Подкрашивали золоченую лепнину, натирали дубовый паркет и намывали высокие окна. Вокруг избушки росла живая трава.

И всюду – нарядные стенды к семидесятидвулетию вождя. Белов остановился у одного. К синему бархату были пришпилены вырезки из юбилейного выпуска газеты «Красноярский рабочий»: «Большевики Красноярска, Енисейска, Минусинска и других городов Сибири получали непосредственные указания от товарища Сталина из туруханской ссылки».

«...и долго-долго горела лампа над этим столом. И свет этой лампы был виден далеко-далеко. Его видели все, кто поднялся на борьбу за свободу и счастье трудового народа» – писал в том же номере газеты поэт Казимир Плясовский.

«Экспозиция будущего музея ознакомит посетителей с огромной революционной и теоретической работой, которую продолжал Сталин,

находясь в туруханской ссылке. Вернейший друг и соратник Ленина, товарищ Сталин отсюда, из далекой Курейки, руководил борьбой партии и рабочего класса против безжалостного самодержавия, заточившего его в эту ссылку.

Принято решение, что все пароходы в обязательном порядке будет причаливать в Курейке. Пассажирам в составе организованных экскурсий расскажут, как в глухой царской ссылке великий сын нашего народа, борец за будущее счастье людей готовил пролетарскую революцию в России».

У дальней стены стояли портреты вождя. Их было больше, чем могло здесь поместиться. Мудрые глаза, иногда с веселой хитринкой, но живые и не строгие. Какой он сейчас? Семьдесят два года... почти как Грачу, – Белов подошел к парадному портрету Генералиссимуса. Скромные награды, никакой роскоши, никогда... Кто нас просит так льстить, писать глупости и неправду. Нужна ему эта неправда? Ему, определяющему пути огромной страны!

Белов никогда не пытался представить себе, куда ведут эти пути, он просто знал, что там, впереди, куда шла страна, будет лучше. Новые заводы и фабрики, жилые дома, школы и больницы, гигантские стройки вроде той, на которой он сам работал! Вот это и надо было помещать в Мемориале. Это и было тем реальным, что родилось в той далекой ссылке.

Настроение поднялось от этих мыслей, и даже собственные проблемы ушли на второй план, как мелкие и глупые. Вышел на улицу. До Николь отсюда было всего пятьдесят километров.

Возле высокого фундамента, где должен был встать монумент, высаживали разноцветные анютины глазки. Учительница и пионервожатая тренировали отряд пионеров. Все были в красных галстуках и белых рубашечках. Дети стояли в две шеренги, скандировали звонкими голосами:

Побеждать мы не устали!
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане!

– И-и-и, раз! Сразу пионерское приветствие пошло! Молодцы! Руденко! Саша! Опять опаздываешь! Все уже вскинули руки, а ты только из кармана тянешь! Я матери скажу, она тебе карманы зашьет! Так, еще раз, следующий куплет – «Жизнь прекрасная нашего вождя»...

Белов пошел к буксиру. На берегу горели костры из строительного мусора, бригада зэков весело очищала территорию вдоль широкой деревянной лестницы, что горело – летело в огонь, что плыло и тонуло – в Енисей.

Внизу у баржи снова суетились, там починили лебедку. К обеду вождя сняли на платформу и на бревнах-катках, как древние строители пирамид, осторожно потянули наверх к Пантеону.

«Полярный» не отпускали, он простоял еще сутки, а потом его срочно отправили в Дудинку – чего-то не хватало, Сан Санычу не объяснили чего. Старшим на барже теперь был психованный майор. Когда показалось Ермаково, Белов стал настаивать на десятиминутной остановке, «отдать документы в диспетчерскую», майор выхватил пистолет и пригрозил арестом.

«Полярный» на самом малом шел вдоль ермаковских причалов. Белов, серый от бешенства, ушел к себе в каюту. Фролыч заглянул, дал папиросу:

– До Дудинки порожняком двенадцать часов ходу, обратно – двадцать... Потерпи, Сан Саныч, послезавтра здесь будем. Можно «поломаться» дня на три... – Фролыч дружески придерживал за плечо своего капитана. – Сядь вон, допиши! Успокоишься!

На столе лежало начатое письмо «Милая моя, чудесная Николь...». Сан Саныч кивнул и вышел на палубу. Ермаково уже не видно было. Он хмуро докурил, выбросил папиросу и вернулся в каюту.

«...навигация только началась, а я второй раз уже прошел мимо тебя. Только рассматривал наши места, где мы гуляли с “неуклюжим и пузатым гадким утенком”, который снова превратился в прекрасную мою Николь... Как ни стараюсь, не могу представить себе нашу Клер. Ее имя для меня очень взрослое, и она все время кажется мне большой девочкой. А может, я просто мало ее видел, поэтому и не могу представить.

Сейчас прошел мимо тебя, и все опустело внутри. Так хотелось приказать Фролычу, чтобы он сделал оборот и высадил меня в Ермаково навсегда. Если бы я знал, что так мы сможем навсегда остаться вместе, втроем, я бы так и сделал, хоть кочегаром пошел бы!

У меня на эту навигацию большие планы по работе. При первой же возможности заберу вас на «Полярный», оформлю тебя в штат, в июле – августе тепло, а Клер тринадцатого будет уже три месяца. Вопрос с разводом должен решиться к концу июля, и все наладится.

Не знаю, когда ты получишь это письмо, скорее мы увидимся раньше, и я заберу вас!

Целую тебя и Клер много-много раз, обнимаю, смотрю на вас, люблюсь... как бы я хотел хоть что-то из этого сделать.

Место поварихи до сих пор пусто. Команда ждет только тебя!»

44

Нехорошая сила рулила судьбой Сан Саныча. Обратный рейс в Курейку отменили, а буксир поставили таскать лихтера с дудинским углем на Диксон. Работа была мужская, как раз для «Полярного» и денежная, в другой раз он очень рад был бы, но не сейчас.

Он тосковал и всерьез задумывался, не уволиться ли, обсуждал с Фролычем. Речной флот считался полувоенной организацией со своим оперотделом, «Полярный» были прикомандирован к ответственной стройке МВД. Оперотдел Стройки следил за политической благонадежностью не только заключенных, но и вольнонаемных, и такое увольнение могли назвать экономическим саботажем. Белов не рассказывал старпому о Квасове, но сам об этом очень помнил, Квасов вряд ли забыл ему отказ.

В начале августа «Полярный» пришел в Дудинку, и на буксир прибыл капитан-наставник Мецайк. Начались пробы с толканием.

Константин Александрович Мецайк был легендой флота. Больше сорока лет его жизни прошли на Енисее. За ним числилось множество заслуг – первопрохождения рек Енисейского бассейна, перегоны речных судов северными морями из Европы, руководство большими ледовыми экспедициями, но главная – это был человек, составивший

лоцию реки Енисей от Енисейска до Дудинки. Энциклопедию и настольную книгу всех енисейских капитанов.

Метод толкания Мецайк предлагал еще до войны.

Взойдя на борт «Полярного», капитан-наставник постоял, осматриваясь, и негромко произнес:

– В 1921 году этот пароход назывался «Амстердам». Я шел на нем из Архангельска. Отличная посудина.

Белов уступил Константину Александровичу свою каюту. Сосредоточенный, неразговорчивый, с умными, строгими, но не жесткими глазами под седыми лохматыми бровями. Он был не очень здоровый человек, из-за астмы он спал сидя и, некурящий, курил какую-то специальную траву. Никогда не курил ее при других. Разговаривал со всеми на вы, даже в шторм был выбрит и аккуратно одет. От него всегда исходило спокойное благородство.

В первый же вечер сели обсуждать предстоящие работы. Мецайк достал свои чертежи, у него все было продумано тщательнее, даже мелкие узлы профессионально вычерчены в трех проекциях, но и Сан Саныч с Фролычем и Померанцевым тоже кое-что придумали неглупое. Капитан-наставник одобрительно кивал головой.

Для экспериментального рейса взяли палубную баржу «Припять». В Дудинке погрузили 2000 тонн угля и стали толкать ее в Игарку. Туда было двести пятьдесят километров. Баржа была подготовлена, вместо деревянного кринолина, который защищал рули, по их чертежам был сделан металлический. Нос буксира входил в специальную обойму.

Главным был вопрос управляемости. Буксир вместе с баржей были длиннее ста метров, и как они поведут себя счаленные вместе, никто не знал. Шли не торопясь, пробовали разные варианты. Управлялся состав тросами, которые натягивались с кормы буксира за корму баржи. Они могли быть натянуты максимально жестко и тогда получался «жесткий счал». Баржа при нем была одним целым с буксиром, не рыскала, не болталась даже в шторм. На прямых участках это было то, что надо, но при маневрах такому длинному «судну» нужно было много места.

Они пробовали маневрировать на сильном и слабом течении, при разных ветрах и в шторм, пытались управлять рулями баржи. Что-то получалось, что-то не очень, думали и дорабатывали. Однажды в

хороший шторм лопнул трос, и Померанцев предложил оборудовать конструкцию пружинными амортизаторами.

Метод толкания оказался не таким простым, как думалось поначалу. Белов со старпомом и механиком спали по три часа в сутки. Мецайк в мелочи не лез, смотрел и обсуждал только критические ситуации, уходил в свою каюту и садился за письменный стол. Он редактировал только что вышедшую лоцию Енисея – уточнял схемы прохождения перекатов, глубины, отмели, течения. Всю реку Мецайк помнил по памяти. Такой рабочей лоции не было еще в истории Енисея.

Вошли в Игарскую протоку. Здесь стояло много морских судов. Работали стрелы кранов, грузили лес. Среди них выделялся размерами и необычной формой специально изготовленный для Строительства-503 и прибывший недавно новый железнодорожный паром. Широкий, девяностометровой длины, с массивным вагоноподъемником в носовой части, он походил на огромный плавкран, башню и стрелу которого временно демонтировали. Паром предназначался для ермаковской переправы, он брал на борт сразу тридцать два товарных вагона. Железнодорожную пристань в Ермаково пока не начинали строить, и Сан Саныч с трудом представлял себе этого гиганта у деревянных ермаковских причалов.

Все, кто был в порту, вывалили посмотреть на необычный состав из буксира «Полярный» и длинной баржи, хитро прицепленной впереди него.

Мецайк решил не рисковать – маневрировали жестким счалом. Места не хватило, и весь стометровый состав, не выполнив маневра, неумолимо, по инерции пошел к берегу. Сан Саныч, потный от надвигающейся катастрофы, вцепился в штурвал, машина работала полный назад, но тяжелая длинная махина баржи продолжала быстро двигаться вперед в высокий борт парома. Мецайк замер, не показывая признаков волнения.

– Моя ошибка, – резюмировал капитан-наставник, когда баржа грузно ткнулась в берег, пройдя в паре метров от парома. – Перестраховался. Вы были правы, Александр Александрович!

«Полярный» отработал назад и свободным счалом, на глазах у всех, легко сманеврировав, поставил баржу к угольному причалу.

Мецайк сошел в Игарке, а Белов еще две недели учился толкать состав из двух и трех барж. Проверяли и описывали всё в необходимых подробностях. Мерили и сравнивали скорости буксирования и толкания. Двадцать шестого августа отбили радиogramму начальнику пароходства:

«Толкание опробовали, готовы показать на практике. Капитан Белов».

На приемку прилетел Макаров с экономистами и капитанами-наставниками. Все были на борту «Полярного», когда Белов вошел носом в обойму на корме «Припяти» и вывел ее, груженую углем, из Игарской протоки. Проверяли два дня, выполняли разные маневры – многие старые капитаны с недоверием, как к заведомо аварийной ситуации относились к новому способу проводки. В Дудинке Сан Саныч спросил разрешения и поставил перед «Припятью» еще две небольшие баржи. Состав получился очень длинный, но и с ним все получалось.

После работы Макаров пригласил всех на ужин, который был накрыт на берегу речки Дудинки. Благодарил за ответственную работу. Выступали экономисты, подсчитавшие примерные выгоды от внедрения нового способа. Заспорили, опытные капитаны, увидев все своими глазами, чувствовали, что эффект будет намного больше. Подпившие, рисовали свои схемы, доказывали.

– Товарищи, – с душой заговорил Макаров, – не будем сейчас спорить! Важность этой работы станет ясна уже скоро. Наш метод может быть принят во всех регионах СССР, а это огромная экономия топлива, времени и человеческого труда. Еще раз отмечу, что инициатива принадлежит капитану-наставнику Константину Александровичу Мецайку и капитану буксира «Полярный» Сан Санычу Белову. Все об этом так или иначе думали, Белов же со своей командой эту идею еще в прошлом году начал конкретно разрабатывать и пробовать. Вот так просто делаются большие дела, товарищи! Так самоотверженно служат Родине!

Выпили хорошо, в какой-то момент Макаров взял Сан Саныча за локоть, они отошли ото всех, присели на бревно у воды:

– Расскажи-ка мне, Сан Саныч, что у тебя за проблемы в Ермаково?

Сан Саныч застыл, чувствуя, как с него сходит хмель. Рассказал вкратце про развод, про то, что не видел своих почти полгода.

– Дайте рейс в Ермаково, я заберу их.

Макаров достал папиросу, прикурил от Беловской спички:

– Особый отдел ввел запрет на твое посещение Ермаково... Ты у них неблагонадежным числишься, Сан Саныч, я к Кузьмичеву ходил, еле отбил. Не дразни их, потерпи до конца навигации.

Сан Саныч окончательно протрезвел и мрачно смотрел на пожелтевшие водяные лопухи. Из его рук уплывала последняя надежда.

– С девушкой твоей надо чего-нибудь придумать... не встречайся пока. Степанов, начальник Ярцевской пристани, заявление в загс подал на ссыльной немке жениться, так ее в другое место перевели, а от нас потребовали, чтобы его уволили – должность повышенной ответственности! Мужик с фронта еле живой вернулся, она его выходила... – Макаров отмахнулся от наседающей мошки: – Надо терпеть, Сан Саныч, больше ничего не скажу! На что Мецайк заслуженный, каких просто больше нет, а два ареста пережил! Как не расстреляли?!

Очередной рейс был обычным, в Енисейский залив с рыбаками. После напряженной интересной работы казался скучным, да и настроение у капитана Белова было на нуле. Это и вся команда чувствовала. Место поварихи, по общему молчаливому уговору, так и пустовало в ожидании Николь. Ее временно замещал матрос Климов. Готовил он грубовато, но по-крестьянски сытно, и никто не жаловался. По два дня ели одну и ту же кашу.

Пришли в Дорофеевский. Было первое сентября, погода стояла теплая, залив тихо спал, посапывая у берега пологой волной. Сан Саныч в поселок не поплыл, Ваню Габуню опять был в отъезде, а перед подружками Николь почему-то было стыдно, не хотелось ни с кем встречаться.

На буксире народу осталось совсем мало и было тихо. Белов сидел на корме с папиросой. Тундра вокруг пожелтела и покраснела с первыми морозами, над поселком высилось бескрайнее, по-осеннему синее небо с нежаркой уже точкой вечного светила. На берегу было

безлюдно, даже чайки летали медленно и лениво. Вода негромко хлюпала о борт.

Сан Саныч представлял, как они с Николь могли бы жить здесь долгими полярными зимами, работал бы рыбаком, детей растили бы... Мысли эти, вызванные тишиной и окружающей благостью, были даже не мыслями, но просто привычной его тоской о любимой. О Клер же он часто просто забывал, а когда вспоминал, на ум почему-то приходили дети Горчакова, и ему начинало казаться, что и свою дочь он может никогда больше не увидеть.

Достал последнее письмо Николь, он знал его наизусть, бежал глазами, ее настроение было таким же:

«...Я не верю, что мы увидимся, каждый день жду чего-то, какого-то события, которое нас окончательно разлучит... Какая-то бездушная сила разделяет нас...»

Вся первая часть письма была нервная, одни эмоции. Клер уже ползала, молока было полно, соседка за ними шпионила – все это было и в предыдущих письмах. Сан Саныч перевернул листок:

«...когда пишу тебе, всегда вспоминаю свои зимы в Дорофеевском. Гюнтер давал мне переписывать гроссбухи совхоза им. Карла Маркса. Я писала много и красивым почерком (сначала делала много ошибок!). Гюнтер всем находил работу. Во время войны это был вопрос жизни и смерти – благодаря этой «переписке», я считалась служащей второй категории и получала карточки на 500 граммов хлеба в день, а еще сахар, крупы и жиры...

Когда нет Зои, говорю с Клер по-французски (хотя мне это уже трудно!). Она понимает на двух языках... Это очень интересно, все эти годы, что я жила в России, у меня не было желания говорить на родном языке. Да и не с кем было. И вот есть! Я нечаянно заговорила с ней, понимая, что она тоже француженка!

С соседкой Зоей, слава богу, все заканчивается. Она съезжает от нас, выходит замуж за бойца ВОХР, он служит вертухаем на вахте. Зоя счастлива, два дня со мной, как с ближайшей подругой, всем делилась, оказывается, работа на вахте очень выгодная, там кроме зарплаты можно что-то еще заработать. Он приходил к нам, в два раза старше ее, с глупыми глазами и читает по слогам, но они оба счастливы, им как семейным обещают отдельную восьмиметровую комнату в бараке. Места там так много, что они хотят отгородить закуток и завести

свинью, он договорился брать отходы с лагерной кухни. Я смотрела на них и думала, что давно не видела таких счастливых людей. Я не шучу, я им завидовала.

У нас все по-прежнему, недавно была с Клер у врача – сделали прививку от оспы. Спросила про Горчакова, сказали, в зоне его нет, где-то в командировке по лагерям. Там какая-то эпидемия. Я не видела его с июля.

Кормила сейчас Клер и думала: неужели тебе никак нельзя выбраться хотя бы на неделю? Посмотрел бы, как она чмокает, как улыбается. Она улыбается абсолютно всем! Такая занятная, видит человека и цветет всем лицом. Она улыбается всем, кроме тебя. Неужели твое начальство не может понять, что у тебя ребенок! Маленький отпуск на неделю – и возвращайся на свой “Полярный”! Какая я дура, что не поехала с тобой сразу, мне надо было удрать в Игарку с попутным пароходом, а там что-нибудь придумали бы.

В России ведь никогда и ничего нельзя, а все как-то живут.

Целую тебя, любимый мой Сан Саныч! Много-много раз! Прости, если наговорила глупостей. Твоя Николь».

Сан Саныч очнулся от письма. К борту «Полярного» подошла шлюпка. Гремели веслами.

В конце августа метод толкания был принят в Министерстве речного флота. В приказе о поощрении Енисейского пароходства был Макаров и еще много людей, но не было дважды судимого капитана-наставника Мецайка. Представление Белова к государственной награде было отклонено по линии госбезопасности.

Заседание по бракоразводному процессу несколько раз переносилось и в конце концов, было уже пятое сентября, Белову в разводе отказали. Его жена Зинаида Белова написала заявление, что она беременна (справка прилагалась) и очень любит своего мужа. Кроме того, справками с места работы подтверждалось, что гражданин Белов с гражданкой Николь Вернье, указанной им как мать его ребенка, ни разу не виделся с момента рождения означенного ребенка.

Сан Саныч вернулся на «Полярный» парализованный, сел в своей каюте. Достал бутылку спирта, но вошел Фролыч и унес ее: «Потом выпьем!» Белов нахмурился, такого раньше быть не могло, но промолчал и устало уставился на своего старшего помощника:

– Уволюсь и поеду к Николь! Все! – Сан Саныч смотрел мутно. Фролыч молчал. Он присутствовал на суде.

– Что молчишь?

– Туда тебе нельзя, – вымолвил, наконец, Фролыч, – ясно уже, это дело пасут органы.

– Да зачем?! Какое отношение моя личная жизнь имеет к государственной безопасности?

В каюту спустился Померанцев:

– Извините, Сан Саныч, все готово, разрешите отходить?

– Давайте... – разрешил Белов.

Померанцев вышел, и вскоре послышались громкие команды боцмана. Загремели якорные цепи. Рейс снова был в залив.

– Ты, Сан Саныч, у чекистов все высокие смыслы ищешь, а этот Квасов просто скотина. Не нравится ему, что ты герой... Даже на суд пришел!

Белов с удивлением уставился на Фролыча.

– Он меня вызывал, стучать предлагал, место капитана «Полярного» сулил, – пояснил старпом. – Копает он под тебя!

– Дай водки, Серега! – пробурчал Сан Саныч.

– погоди с водкой... Правда, твоя Зина беременная?

– Я с ней больше года не спал! – Белов пожал плечами. – Она наврет, глазом не моргнет!

– Справка была! Если родит, будет считаться твой ребенок.

Сан Саныч напряженно молчал, папиросу в руках крутил:

– Меня и в партию из-за этого не принимают, опять отложили на полгода... думал, вступлю – напишу в комитет партийного контроля, Квасов тоже член партии, расскажу все, как есть. Пусть нас судят! – Белов замер напряженно. – Надо было уволиться и уехать в Ермаково. Почему этого нельзя сделать? Переведут ее куда-то – поеду за ней, другого варианта нет. Неси водку!

Они выпили. Занюхали корочкой хлеба. Курили молча. Сан Саныч вдруг поднял голову, в глазах жесткая тоска:

– Сдохнуть хочется, Фролыч, как будто сердце вынули... Николь мне уже не верит, а я ничего не могу сделать!

Наталья Алексеевна умерла десятого сентября. Ее кремировали – она сама так распорядилась – и похоронили в одной могиле с мужем Николаем Константиновичем Горчаковым. На кладбище были только дети, Лиза Воронцова да соседи – Ветрякова и маленький безрукий и непривычно трезвый Ефим Великанов. Они же, да еще вернувшийся со смены Петр Ветряков сидели за поминальным столом. Речей не говорили, соседи толком ничего не знали о покойной, тосты поднимали за то, что «отмучилась». Ася с Лизой вытирали наворачивающиеся слезы и молчали, думая, видимо, об одном. О том, как блестяще начиналась жизнь этой красивой и талантливой женщины, матери выдающихся детей, счастливой жены заслуженного и уважаемого человека... и чем все закончилось. Ася не успела разобрать угол Натальи Алексеевны, последние убогие метры ее жизненного пространства. Соседи из вежливости и любопытства заглядывали за штору, где «кончилась старуха», и видели аккуратно застеленную постель, тумбочку-этажерку с книгами, письмами и лекарствами.

Ася два дня ходила молчаливая, видно было, что делает все машинально, сама думает о чем-то, вечером посадила детей напротив себя:

– Я считаю, нам надо ехать к отцу. Вы должны его увидеть. Я не говорила вам, но всегда думала об этом...

– Ты говорила... – Сева серьезно изучал мать сквозь круглые «профессорские» очки.

– Да? – Ася смотрела недоверчиво и непривычно строго. Строгость эта относилась не к детям, но к самой себе, к своему решению. – Тем лучше, пароходы ходят до конца октября, мы вполне успеваем. Пять дней до Красноярска, неделя до Ермаково, я все еще раз проверила... Что нас ждет, я не знаю, там ли ваш отец сейчас – тоже неизвестно. Но даже если найдем его не сразу, в Ермаково хорошая большая школа, для меня есть работа... Вы читали письмо санитаря. Что вы думаете?

Сыновья молчали, чувствуя мучительную напряженность матери. Ася же понимала, что вопрос задан не детям, а себе самой. В тысячный раз... В этой бесчеловечной ситуации не было правильного решения. Слишком много неизвестного, это было перемещение в другой мир, где все было опасно. Спрашивая детей, она хотела понять

– чувствуют ли они, зачем едут? Нужно ли им это, как нужно ей? Они не знали его и любили только потому, что его любила она. Ася внимательно изучала лица сыновей.

– Всё против этой поездки, – заговорила она спокойнее. – Лучше было бы дождаться следующего лета, начала навигации, тогда мы успели бы вернуться. Если поедem сейчас, то, скорее всего, потеряем нашу комнату. Я говорю с вами, потому что не могу оценить риск, я так много думала, что уже не понимаю, в чем он. Иногда мне кажется, что его совсем нет. – Ася задумалась, сбилась с мысли, посмотрела растерянно на детей. – Там будет трудно, это правда, но здесь тоже нелегко...

– Мам, мы понимаем, мы с Севой обсуждали это... – начал Коля, но Ася перебила.

– Прости, я не досказала... результат может оказаться совсем не таким, как я себе воображаю. Совсем не таким, понимаете, письмо санитара было отправлено девять месяцев назад, а на другие письма он не ответил... – Она запнулась, но взяла себя в руки и посмотрела на детей с решимостью. – Мы семья, у нас есть отец, он жив... Над нашей любовью, над любовью людей друг к другу, надругались, и все потеряло смысл. Мы можем это изменить. Это очень трудно, но можно.

Они долго молчали.

– С этим нельзя мириться, ты уже большой, Коля, если со мной что-то случится, вы сможете и без меня. Сева у нас умный и взрослый, – Ася взяла младшего за руку. – Иногда мне кажется, ты старше меня. Ну, скажи что-нибудь!

– Мы должны поехать. – Сева смотрел строго и спокойно. Он встал и обнял мать за шею. – Там наш отец.

– Да-да, – поддержала Ася. – А ты, Коля, тебе жалко расставаться с товарищами?

– Жалко, но... может, правда, весной? У нас же много вещей...

– Вещей? Почему много?

– Зимние, летние... еще одеяла, наверное, у нас же нет денег! Мы с Севой представляли, что мы едем... мам, это будет трудно. Сева составил список вещей и книг, которые надо взять. – Коля улыбнулся и тоже пересел к матери. – У нас нет столько чемоданов...

– Почему? Когда вы все это успели?

– Мам, ты с нами еще в прошлом году об этом говорила.

– Да? Может быть... Несколько раз я могла уехать к нему и ни разу этого не сделала, – Ася говорила медленно, словно вспоминала несостоявшиеся поездки. – Все время ждала каких-то лучших условий, обстоятельств. А они становились только хуже.

Начались сборы. Соседям Ася сказала, что завербовалась на комсомольскую стройку на Дальний Восток, то же наврала и домоуправу, рассчитывая сохранить комнату, но тот потребовал документального подтверждения, можно было и не врать. В ее жизни появилась цель и наступила неожиданная легкость, которой не было давно. Она понимала, что эта легкость держится на самообмане, но это ее уже не смущало. Какие-то вещи Лиза Воронцова перевезла в двух узлах в костюмерную Вахтанговского театра, что-то из вещей Натальи Алексеевны удалось продать, что-то отдала соседям. Лиза раздобыла денег, должно было хватить на поезд, на пароход и немного на первое время.

Каждый вечер перечитывали письмо Шуры Белозерцева, представляли, как сходят на пристани «Ермаково» и селятся в недорогую гостиницу. Потом Ася находила работу. При удачном раскладе могли выдать и подъемные, а они были немалые. Но и в самом плохом случае, улыбалась Ася, голоднее, чем здесь, не будет.

Девять дней по Наталье Алексеевне пришлось на восемнадцатое сентября, а уже двадцать первого Ася, Коля и Сева садились в поезд Москва – Хабаровск.

В начале сентября в Ермаково прибыла бригада Красноярского института эпидемиологии и микробиологии. Обследовали лазареты ближайших лагпунктов, везде был выявлен гепатит «А», который, собственно, и искали, и после нескольких дней препирательств с лагерным начальством Строительства-503 решили проверить все лагпункты вдоль трассы железной дороги. Горчаков, как фельдшер, снова попал в командировку на Турухан. Река была единственной летней дорогой.

Маломощный катерок тянул за собой небольшую металлическую баржу. На ее палубе в бревенчатой избушке шкипера была оборудована передвижная бактериологическая лаборатория. Командовал ею эпидемиологиз Красноярска, студент мединститута Артем. Помогать ему – работать в лагерях и брать анализы – должны были Горчаков и медицинская сестра Фрося Сосновская. Фрося освободилась совсем недавно, а до этого, так же как Георгий Николаевич, работала медсестрой Центральной Норильской больницы.

Ссылно-лагерная судьба Фроси Сосновской была богата, не меньше, чем у Горчакова.

Началась она в 1941 году, когда ее выслали из Бессарабии в низовья Оби. Условия труда и жизни были невыносимые, характер у девушки строптивый, она сбежала и пешком, по зимней тайге и болотам прошла полторы тысячи километров до Новосибирска.

Потом были полгода следственных тюрем. На суде полуживая от истощения (в тюрьме она голодала в знак протеста) Сосновская выступила с обвинительной речью со ссылками на труды Маркса и Энгельса, со страшными примерами издевательств над людьми в советской ссылке. Двадцать четвертого февраля 1943 года за «клевету на жизнь трудящихся в СССР» и «побег из места обязательного поселения» ее приговорили к расстрелу. На другой день ее вывели из камеры и в дежурной комнате дали прочесть приговор – «подержать в руках свою смерть», а затем дали лист бумаги и предложили здесь же подать просьбу о помиловании. «Требовать справедливости – не могу, просить милости – не хочу. Дон-Кихот» – написала Фрося. Через две недели ожидания расстрела его заменили десятью годами ИТЛ. И начались ее этапы и лагеря.

Крепкая, выносливая, умелая, она работала прачкой, лесорубом, шахтером, кайлила мерзлый грунт, укладывала шпалы, была художником-оформителем (хорошо рисовала) и фельдшером. Но и это было не самым в ней интересным. Фрося не терпела никогда и ничего, что считала несправедливым. Горчаков поначалу настороженно с ней обходился, но постепенно привык. Лучшего попутчика, а им в этой командировке много приходилось ходить по тайге, трудно было придумать.

На строительство Сталинской Магистральной Фрося попала впервые и поначалу страшно расстраивалась. Она много слышала о

трансполярной дороге и почему-то думала, что это нужное дело. От того, что она увидела своими глазами, она пришла в ужас. Летняя жара в паре с мерзлотой основательно поработали с полотном – провалившиеся насыпи, покореженные рельсы. Все лето зэки чинили и латали, но главный путь все равно проседал и кривился, как того хотела природа.

Фрося приставала ко всем с расспросами, зэки или не понимали, или злорадно щерились:

– Наше дело не рожать – сунул-вынул и бежать! – заржал один дюжий мордovorот с медной фиксой во рту и полувековым сроком впереди. – Рельсы ей вспухают! Пусть ваш Папа Карла усатый здесь припухнет^[133], падло!

Остальные заржали довольные, сжирая глазами Фросю. На дорогу им было глубоко начхать.

У вольного строительного начальства была похожая реакция – не понимали, чего ей надо. Хозяйственная Фрося только руками разводила в негодовании о трате народных денег и вообще о негодной работе. Сама она всегда работала с полной отдачей. Горчаков на нее тоже удивлялся.

Был уже конец сентября, двадцать шестое число. Они работали вместе уже три недели, привыкли друг к другу, понимали с полуслова. Фрося, так же как Горчаков, поначалу помалкивала, а теперь, чувствуя скорую разлуку – оставалось обработать четыре лагеря, – много рассказывала о себе и расспрашивала.

Был вечер, они поужинали и сидели на барже за столом возле избушки. Костерок едва дымил рядом в выложенном камнями очаге. Баржу чуть пошевеливало течением, редкие комары пели последние песни бабьему лету. Солнце коснулось уже леса, и по палубе поползли темные тени от вершин деревьев. На стоящем впереди катере негромко разговаривали, смеялись. Мужской голос был слышен хорошо, даже отдельные слова различались, женский что-то отвечал. Команда катера состояла из капитана, поварихи и матроса. Капитан, узнав, что на барже будет бактериологическая лаборатория, перестал к ней чалиться и всегда опасливо вставал на расстоянии буксирного троса – сто, а то и побольше метров.

Студент-эпидемиолог уплыл было на берег, на охоту, но, не прошло и часа, вышел из леса к шлюпке и вскоре причалил к борту,

гремя веслами. Повесил ружье на гвоздь под навесом, бросил к дровам большой кусок только что содранной бересты и налил себе чаю.

– Чего вернулся, Артем? Рябчики кончились? – Фрося была противницей любого убийства.

– Да ну... – Артем, прихлебывая чай, смотрел на берег. – Там и леса-то нет... кусты да сухая трава выше головы... Лес где-то на горизонте! И тропы в траве везде. Медвежьи, что ли? Или нет? – студент с вопросом посмотрел на Горчакова. – Я в эту траву зашел, а она с меня ростом... И такая тишина! Ух-х-х! Так страшно стало! – Видно было, что студенту и теперь жутко. – Стою, ни вперед, ни назад! А ветер так по траве тихо шелестит... И вокруг словно все застыло навсегда, как будто больше вообще нет ничего... Ей-богу, так жутко никогда не было – как будто дыхание какое-то с того света. По-настоящему все такое, будто меня забрать кто-то хочет!

– Я тоже медведей боюсь, – простодушно улыбнулась Фрося.

– Это не медведи... это какие-то большие силы... – студент был серьезен. – И тропы не медвежьи.

Он вздохнул, отрясая с себя воспоминания и напряженно улыбаясь, стрельнул у Горчакова папиросу. Так и курил, разглядывая крутой, оползающий в реку глинистый берег. Как будто там, на перегибе, кто-то должен был появиться. Покурив, ушел в избушку.

Фрося серьезно наблюдала за студентом, потом посмотрела на Горчакова.

– Большие силы не в траве живут, – она застыла, думая о чем-то. – Я про них знаю, они в человеке. Меня столько раз должны были зарезать, а всего разок пырнули, изнасиловать и убить – ээки, конвой, а не изнасиловали... от усталости, от голода падала, замерзала... и не замерзла! Я всегда чувствовала, что есть силы, которые мне помогают помимо моей воли!

Фрося замолчала. У нее была крепкая фигура, грубоватые мужские повадки и красивые, большие и умные глаза. Река тихо струилась вдоль борта, солнце ушло за лес, закат опять был красный, обещая хорошую погоду на завтра. Горчаков спокойно покуривал, а из избушки доносилось похрапывание Артема.

– У вас такого не было, Георгий Николаевич?

– Не знаю, Фрося, никогда не думал в таких категориях... Я не понимаю непонятных сил.

– Да нет, я просто объяснить не могу... Когда вас последний раз могли убить?

– Кто это знает? – он усмехнулся, достал папиросу и чиркнул спичкой. – Меня в прошлом году в карты проиграли.

– И что вы сделали? Вам было страшно?

– Ничего, с ножом спал, а потом того, кто проиграл, убили. Думаю, это сделал один из моих санитаров. Большой дядька был, азербайджанец... Это было неприятно, конечно, но не очень страшно. – Он сморщился. – Знаете, я про страшное как-то не думал... Привык, наверное.

Фрося молчала. Горчаков курил, думая о чем-то. Заговорил спокойно:

– Есть вещи похуже страха. Я как-то нечаянно заложил человека, это до войны еще было, проявил идиотскую принципиальность, а получилось, что заложил. Его расстреляли. Он был изрядный негодяй, за ним много чего скверного водилось, но я не должен был так. И теперь его нет... – Горчаков замолчал, глядя через речку. – А иногда не решался на какие-то операции. Это тоже плохо вспоминается.

– Какие операции? Вы же не хирург!

– Не хирург, но можно было попытаться... Люди погибали. Такого очень много было.

– За это вам не должно быть стыдно.

– Дело не в стыде, иногда очень переживаешь смерть, которую можно было остановить.

Они замолчали. Небо темнело, Фрося подбросила дров в костер. Горчаков смотрел куда-то сквозь поднимающийся огонь.

Фрося с Горчаковым вышли около пяти утра. В рюкзаках – медикаменты, пробирки, немного еды на всякий случай. У Горчакова был кусок карты, срисованный еще в Ермаково.

Лагерь, куда они направлялись, был временный, устроенный в двадцати километрах от Турухана весной 1951 года. Полсотни эков готовили песчано-гравийное месторождение для добычи. Счищали верхний слой мха и кустарников, корчевали лес, рубили просеки, поставили несколько изб и баню. Из-за болот вывозить гравий можно было только зимой.

От Турухана тропа шла по сухой гриве и была хорошо натоптана. Ночной морозец посеребрил траву и кусты, на лужах хрустел ледок. Идти было легко. Воздух был чистый, звонкий. Фрося шла первая – Горчаков иногда закуривал на ходу, и она не любила дышать его дымом. Коренастая, в солдатских штанах и гимнастерке, со спины она выглядела, как боец, выдавал только белый платочек, аккуратно повязанный на темные короткие волосы, да узкая талия, стянутая солдатским ремнем.

Она была моложе лет на двадцать, и Георгию Николаевичу поначалу хотелось ее защитить. Фрося была слишком прямая и честная, таким в лагере всегда плохо, но за эти три недели он очень ясно почувствовал ее внутреннюю крепость. Такие, как Фрося, встречались крайне редко, они никогда не просили о помощи. Горчаков остановился, раскуривая гаснущую папиросу, снова двинулся вперед. Фрося была моложе, но по лагерным меркам вполне матерая – восемь лет только в Норильлаге! Освободилась, книгу пишет, она уже несколько раз о ней заговаривала...

– Фрося, почему вы не уехали на материк?

– Некуда и не к кому ехать. И не на что пока, да и... – она остановилась, поджидая Горчакова. – Хочу в больницу, где я бесправной зэчкой состояла, поработать нормально. Не дадут, конечно...

Она улыбнулась и двинулась дальше. Вскоре они вышли на болото и пошли краем, местами чавкали, местами попадались твердые каменистые гривки с низкими тщедушными сосенками. Болото было огромным, уходило вправо на многие километры, постепенно оно все открылось из-за леса. Осеннее, желтое, красное, зеленое. Кое-где на плотном мху как из ведра рассыпали крупной и спелой клюквы. По гривкам встречалась сладкая брусника. Фрося присаживалась, ела, поглядывая на неторопливо догонявшего Горчакова.

Они уже прошли большую часть открытого пространства, впереди повышалось и росла тайга. Горчаков остановился, достал курево, обернулся, запоминая, как шли, небо было чистое, солнце мягко припекало. Фрося собирала бруснику.

– Георгий Николаевич, вы мне вчера так и не ответили, почему же этой заразой не заинтересовались сразу? Если первые больные в феврале появились? – Она встала и протянула ему полную пригоршню

темных спелых ягод. – У нас в Норильске осенью была небольшая вспышка, наши сразу определили инфекционный гепатит. Кровь, моча, да и желтуха!

– Вы относитесь к Норильлагу, мы к Северному управлению... Если бы гражданские не начали болеть, никакой комиссии не было бы. Температура невысокая, два-три месяца на ногах... болезнь Боткина не самая смертельная.

– Осложнения возможны, цирроз, печеночная кома. Наш студент удивляется в микроскоп, а это мертвые ткани печени, попавшие в кровь. Они поражают нервную систему...

Горчаков с интересом слушал Фросю, улыбнулся.

– Вы думаете, эпидемиологам это все непонятно? Они нашими силами поднимут сейчас большой объем работ. Отчеты напишут – всю тайгу исследовали. Здесь им повышенный коэффициент, полярные платят... так уж все по-дурацки. Хорошо, хоть питание исследуют. Пусть узнают, что люди в лагерях едят.

Они долго шли тайгой, впереди показалась небольшая речка. Здесь ее переходили вброд. Фрося озадаченно обернулась на Горчакова:

– Похоже, глубоко, Георгий Николаевич? – спросила чуть растерянно, но тут же справилась с собой. – Ладно, не буду вас стесняться, но можете и отвернуться.

Она сняла рюкзак и села расшнуровывать ботинки.

– Я первый пройду, Фрося, и лучше это делать в ботинках.

– Да? – удивилась Фрося. – Ну ладно, тогда и в штанах.

Горчаков вырезал два шеста. Будь он один, пошел бы голым, но теперь они вместе двинулись в воду, как были. Дно было вязкое, речка небыстрая, с темной болотистой водой. У Горчакова получилось выше пояса, Фрося и грудь намочила. Вышли с черными от ила ногами.

– Чаю попьем, заодно и подсохнем... – Горчаков пошел к опушке и стал снимать рюкзак.

До лагеря оставалось совсем немного. И по времени, и следы человеческого присутствия стали попадаться чаще. Они пристроились на упавшем дереве, с которого кто-то обрубил сучки. Горчаков ушел отжать штаны, а Фрося зажгла костер, чему-то улыбалась, нарезаю хлеб. Достала из рюкзака остатки утренней пшенной каши:

– Разогреть, Георгий Николаевич, или холодную съедим?

– Как сделаете, так и хорошо...

– Знаете, о чем я думаю? – Фрося не глядела на Горчакова. – Я много лет не стеснялась мужчин. Я их не считала за мужчин, а к вам привыкла, и вы уже для меня мужчина. Так это удивительно, я не могу объяснить. И вы тоже застеснялись, я видела!

– Ну да... не сверкать же перед вами голым задом. – Горчаков присел к жаркому огню.

– Да нет, я что-то другое хотела сказать... я в больнице столько голых задов перевидела. А уж в морге когда работала...

– Документы! – раздалось неожиданно из ближайших кустов, оттуда выходил невысокий мужчина в геологической энцефалитке. В руках ружье, взгляд настороженный.

Фрося ойкнула с испуга и застыла с ложкой и котелком в руках. Горчаков полез за командировочным удостоверением.

– Мы – медработники! – заговорила строго Фрося. – А вы кто?

– Бумаги покажите! Сюда положите и отойдите! – человек с ружьем смотрел очень недоверчиво. Взгляд колючий, как и небольшие рыжеватые усики.

Горчаков положил коричневую пропуск-книжечку расконвоированного. Мужик читал невнимательно, фотографию сличил, больше косился на нечаянных встречных.

– Куда идете?

– Медработники, – подтвердил Горчаков, – идем в лагпункт «Карьер».

– Что в рюкзаках?

– Ну-ка опустите ваше ружье, – возмутилась Фрося. – Как вы разговариваете? Вы кто такой?!

Мужчина явно не ожидал такого, сделал шаг в сторону, не опуская оружия.

– А ваши документы? – уставился на Фросю.

– Вы свои покажите! Люди воспитанные сначала представляются!

– Я сейчас схожу за конвоем, он тут рядом, и мы посмотрим, кто из нас воспитанный.

– Идите! – скомандовала Фрося и поставила котелок на огонь.

– Послушайте, мы действительно медработники, в рюкзаках у нас медикаменты и препараты для бактериологических исследований. Далеко еще до лагеря?

– Километра два... Я – геолог этого карьера. Что у вас за исследования? – Мужчина присел на конец бревна, положил ружье на колени и стал закуривать.

– Вы мне отдадите командировку? – спросил Горчаков. Он, в отличие от рассерженной Фроси, смотрел очень спокойно.

– В лагере отдам, – ответил строго геолог, но, неожиданно помягчев, добавил: – Сейчас кого только не встретишь в тайге.

– Но у нас же документы! Вот мой паспорт! – Фрося не без гордости достала паспорт из нагрудного кармана. – Я – вольная!

– Ну ладно-ладно, – мужик явно успокаивался. – Тут такие правила, я обязан проверить документы. Так вы с берега идете?

– С берега, – кивнул Горчаков, – хотим за день обернуться...

– Я прошу прощения, – неожиданно заискивающе попросил геолог и потрогал себя за усы, – не угостите хорошей папироской, три месяца не курил, вот, дрянью травимся.

Горчаков достал из пачки пару папирос и протянул.

– Спасибо, – обрадовался геолог, подсел ближе и тут же подкурил от уголька из костра, – у нас зэки на плечах все носят, дороги-то нет. Вы как прошли? Ничего? После дождей по тем болотам не пролезть!

Каша была готова, Горчаков с Фросей скребли ложками по стенкам котелка.

– Спирт несете?

– Нет, спирта нет! – ответил Горчаков.

– Это хорошо, тут у нас... – он то ли изучающе, то ли слегка испуганно смотрел. – Начальник лагеря – алкаш форменный, и опер такой же. Карьер без единого механизма разрабатывают, топор да лопата! А они пьют себе!

– Где же они берут? – спросила Фрося.

– И бражку гонят, и привозят. При старом начальнике порядок был, при нем все и построили. И зэки смирные были, а сейчас... – он затянулся папиросой. – Зэкам сапоги резиновые положены были, так они их прямо на Турухане продали и все пропили. – Геолог говорил с осуждением, но в словах была и странная зависть.

– А вы почему же не доложите об этом, вы же руководитель? – спросила Фрося.

– Не-е, я уж как-нибудь до окончания сезона досижу и домой. Тут всем урка-нарядчик заправляет, вы с ним поаккуратнее. Гусев

фамилия, с усами такой... по дружбе вас предупреждаю. Он начальника лагеря и спаивает. – Папироса кончилась, он бросил ее в костер. – Я раньше на трассе работал, еле убрался оттуда.

Геолог пересел еще ближе. Видно было, что человеку хочется поговорить со свежими людьми, особенно с женщиной.

– А на трассе чем же плохо? – Фрося укладывала пустой котелок в рюкзак.

– На полотне работать – обязательно попадешься. Кто наряды подписывает? Руководитель! Прошлой зимой подсунули мне, что они тачками за двести метров песок подвозили, ну я подписал, куда деваться, а тут комиссия из Ермаково! Хлоп наряды – у нас ни одной тачки нет на участке! А они там такой объем пририсовали – я уже сухари сушить думал!

Он посмотрел на Фросю со значением и продолжил:

– Хорошо, нарядчик старый зычара был. Нашел, как подмазать. Да сколько таких случаев! Мы с товарищем один техникум заканчивали, вместе сюда приехали, завербовались на три года, так он год уже сидит. В Игарке на Сухарихе тоже карьером гравийным командовал. Сам Баранов приехал с проверкой – замеры, а объемы добычи в одиннадцать раз завышены! А ведь оттуда гравий баржами сюда на трассу возили! Представляете, сколько работ приписали! И перевозку, и отсыпку! На товарища сразу наручники надели! Даже и не знаю, сколько ему дали...

– Так что же, построят дорогу или нет? – заинтересовалась Фрося.

– Мне все равно, уеду весной, женюсь, деньжат подзаработал... А вы где живете? В Ермаково? Меня, кстати, Вадим зовут, а вас? – он будто совсем забыл о Горчакове и говорил только с Фросей. Нервно приглаживал усы ладонью и сучил ногой.

– Я из Норильска. Зовут Фрося.

– А-а-а, – чуть разочарованно протянул геолог Вадим, – а к нам надолго?

– Сегодня обратно... – Фрося посмотрела на Горчакова. – Пора нам, Георгий Николаевич?

Они надели рюкзаки и двинулись по просеке. Вадим пытался идти рядом с Фросей, но тропа местами была сильно расхожена, ноги проваливались в рыжую торфяную жижу по колени. Вадим при всяком

удобном случае пытался взять Фросю за локоть. Та отпихивалась и смотрела строго.

– Могу проводить на обратном пути. Вы без оружия?

– Мы без, а зачем провожать?

– Э-э-э, – сладострастно захихикал геолог, – тут у нас такие звери есть – пострашней медведя! Женщин по несколько лет не видели... этот Гусев, он с двумя мальчишками, как с женами, живет! А остальные – кто как может! Так что вы тут осторожней!

– Какая у вас геологическая специальность? – спросил Горчаков.

– Да никакой! – Вадим остановился. – Незаконченное образование, хотели отчислить со второго курса техникума, да я успел завербоваться, теперь отсрочка мне. Тут специалистов не хватает... ээки сами все делают. Я дальше не пойду, вы одни идите. Не говорите, что со мной разговаривали... – он помялся, разглядывая Фросю. – Гусев – он с виду вежливый, да вы с ним осторожно!

Он сошел с тропы и исчез в тайге. Вскоре впереди обозначилась большая поляна с озером и лагерем, обнесенным высокой колючкой и вышками.

– Все на себе таскали... – Фрося шла мрачная, – и эту колючую проволоку тоже. Вам не приходилось ее носить?

– Приходилось, – подумав, кивнул Горчаков.

– Тяжелая, сволочь...

Они подошли. Лагерь выглядел неожиданно прилично. На берегу небольшого озера стоял свежесрубленный дом с просторным крыльцом и резными перилами, еще несколько барачков, тоже с крылечками, были внутри зоны. Вахта аккуратная. Заключенных в лагере не было, и только возле открытой летней кухни наблюдалось какое-то движение. Под навесом сидели несколько человек. Вскоре один из них направился к вахте.

Как и предупреждал геолог, нарядчик Гусев оказался вежливым, с внимательным, не сильно добрым, но и не злым взглядом. Боксерский нос был сплюснен и свернут чуть набок. Он был во всем гражданском – хорошие сапоги, брюки, пиджак. Гусев пригласил пообедать, но Фрося сразу приступила к делу – потребовала документы на продукты, сами продукты, баланду, которую готовили для зэков. Санчасти в лагере не было, больных тоже. Горчаков спросил про начальника

лагеря. По словам Гусева, тот был на карьере и должен был прийти к вечеру.

Баланда представляла собой мутную воду, в которой плавало немного пшенной крупы и разварившиеся остатки карасей из озера. Хлеб серый, непропеченный. Кладовка была почти пустая, Фрося прямо там напустилась на завскладом, тот только морщился, чесал небритую щеку и поглядывал на дверь. Вскоре в ней показался Гусев.

– Пойдемте пообедаем сначала! Пойдемте! – пригласил настойчиво.

На столе под навесом было накрыто. Хороший хлеб, лапша с мясом, на третье – компот из брусники с клюквой. Фрося злая стояла над всем этим богатством.

– Садитесь, – еще раз пригласил нарядчик.

Горчаков уже ел, кивнул Фросе, чтобы тоже садилась.

– Я не буду! – тихо и недобро ответила Фрося. – Я сейчас составлю акт о чудовищном состоянии кухни! О полном отсутствии витаминов! Покажите...

– Вы не волнуйтесь, – все так же спокойно согласился нарядчик, – пойдемте со мной, я покажу вам все документы. Пойдемте!

Они пошли в сторону вахты, потом к дому на берегу, Горчаков доел, закурил и чуть тревожно поглядывал в ту сторону. Повар, убрав посуду, куда-то исчез. Из ближайшего барака вышел старик с чайником и направился к кухне. Он был босой, одет в драное и очень худой, ноги в чирьях. Увидев курящего Горчакова, старик остановился в немом почтении:

– Не оставите покурить, гражданин начальник?

Горчаков достал папиросу, взял со стола недоеденный хлеб и протянул. Тот явно не ждал ничего такого, растерялся, стал озираться по сторонам, хлеб немедленно исчез в лохмотьях за пазухой. Папиросу зажал в кулаке. Георгий Николаевич хорошо знал, что сейчас делается в его полуживых мозгах. Целая папироса была огромным богатством, на нее можно было обменять хлеба, или угостить кого-то из придурков, чтобы потом с чем-то обратиться, но и самому страшно хотелось покурить. Горчаков протянул ему свою недокуренную папиросу. Тут мозги старика включились, и он жадно присосался к папиросе шелушащимися губами.

– У тебя в бараке инфекционные есть? Ты дневальный? – спросил Горчаков.

Тот смотрел, не особенно понимая.

– Я – фельдшер! Мы здесь с комиссией...

– Увели всех через ту вахту, – доходяга кивнул головой куда-то за лагерь. – У нас теперь лазарет будет?

Горчаков покачал головой.

– До карьера далеко?

– Два километра, сегодня в ночную смену всех оставят... никого не увидите. – Табак хорошо подействовал, мужик, он был еще совсем не старый, заговорил разумно, только с опаской следил за домом на берегу озера, куда ушла Фрося. Наливал в чайник кипяток из бака.

– Начальник лагеря в карьере?

– Он там не бывает... – мужик кивнул на дом на берегу и, забрав чайник, ушел в барак.

В это время Гусев завел Фросю в просторную комнату с самодельной, но хорошей мебелью. Предложил присесть.

– Давайте документы... – отказалась Фрося.

– Оставайся фельдшером! – нарядчик щупал ее глазами. – Ставка есть, лазарет отстроим за неделю... Царицей здесь будешь! Ничего не будешь делать! Через пару месяцев зимник встанет, можно будет в Ермаково выезжать. Деньги есть. Я расконвоированный, у меня в Ермаках своя хата. Ты тоже сидела, я вижу, оставайся, женой будешь! Хотя бы до весны! Денег поднимешь! – Он подошел к ней совсем близко.

– Покажите подписанные раскладки! – Фрося за свой срок не раз и не два слышала такие предложения. – Это в ваших интересах! Я все равно составлю акт!

– Ты меня не поняла, я тут могу все! – Гусев попытался взять Фросю за руки.

– Не надо, не трогайте... да не тронь, ты! – она пихнула его в грудь и направилась к двери.

– Не торопись уходить, мне это может не понравиться!

– Не пугай, – обернулась Фрося на пороге, – я пуганая!

– Хорошо подумай! На одну ночь останься! Слышь! Тебе возвращаться еще! Ребята все голодные, мне их только с цепи спустить! – глаза его наливались тихой злобой.

Фрося, не дослушав, вышла. Горчаков сидел на ступенях, возле него стояли их рюкзаки.

– Пойдемте, – Фрося вскинула рюкзак на плечо. – Тут на беспредел похоже... Пригрозил мне коллективным изнасилованием. Надо дубинки вырезать.

– Не торопитесь так, – Горчаков шагал широко, но спокойно.

– Да, вы правы... но неприятно!

Они вошли в тайгу, Горчаков остановился, внимательно всматриваясь, а больше слушая лагерь. Там было по-прежнему тихо. Солнце уже хорошо опустилось и висело над макушками леса.

– Почему-то собак не слышно.

– Собак? – не поняла Фрося. – На объекте, наверное. Вы думаете, с собаками за нами...

– Обычно их слышно... – Горчаков повернулся и пошел, думая о чем-то.

Фрося рядом месила негромко хлюпающую моховую тропу. Просека, по которой они шли, рубилась под перевозку, она была довольно широкой и прямой, обходила только таежные озери-болотца. Темный и густой лес стоял по сторонам, и на просеке уже было по-вечернему прохладно.

– Если ночью найдете дорогу, то можно идти, не останавливаясь... – предложила Фрося.

Горчаков не отвечал, шел сосредоточенный. Он не думал, что нарядчик станет их догонять, это был бы открытый бандитизм, а в лагере поддерживалась видимость порядка. Догонять, чтобы потешиться одну ночь, он не должен, медработников хватятся... А ему здесь очень неплохо. Горчаков знал таких. Крепко пьющих офицеров – начальников лагерей было много. Ушлых урок – тоже. Он шагал широко, так, что теперь Фрося не поспевала, его все-таки беспокоило что-то... Нарядчик мог взять с собой пару урок... а потом просто перестрелять их и все на них списать. Мог и еще что-то придумать. Горчаков давно так не волновался за другого человека.

– А куда делся этот наш геолог? Из тайги вышел, в тайгу ушел. Не объект, а сплошная аномалия... – Фрося настороженно вслушивалась в затихающую тайгу. – Вы что молчите, Георгий Николаевич? Ночевать будем или до баржи пойдем?

– Я бы ночевал, наломались сегодня, на речке плотик есть...

– Откуда знаете?

– Повар сказал. Они этого Гусева все ненавидят.

На реке засады не было. Никаких свежих следов. Они переправились на плотике. После реки просека кончилась и пошла обычная тропа, в одного человека. Было уже крепко сумеречно, Фрося шла первая и присматривалась – впереди то и дело таились темные силуэты. Очень тихо было, только их шаги хлюпали и громко отдавались в тайге, когда попадали на мокрую бочажину или еще громче трещали сухой веткой. Из-за тишины и молчали, прислушивались. Горчаков соображал, где лучше ночевать. Надо было так уйти, чтобы их костра не видно было и чтобы утром долго не искать тропу. Внезапно прямо над их головами кто-то ухнул так громко, что Фрося вскрикнула и метнулась к Горчакову, но тут же остановилась, негромко и нервно смеясь:

– Вот гад, напугал до самых кишок!

– Филин.

– Наверное, – она задрала голову, на фоне темного неба не разглядеть было. – Ут-т, я тебя!

Вскоре тропа вышла на длинную поляну с высоким высохшим уже кипреем. Становилось прохладнее, Георгий Николаевич присматривался, где можно было свернуть... Вдруг Фрося впереди с громким шумом исчезла в кипрее. Горчаков кинулся к ней:

– Что вы?

– Глухаря поймала! Бьется! – Фрося наваливалась на большую птицу всем телом. – Помогите!

– Башку ему крутите! – Горчаков сбросил свой рюкзак.

– Лучше вы, он сильный! Вот здесь голова, у меня под грудью!

Горчаков сунул руку под Фросю, глухарь забился, Георгий Николаевич ощупью добрался до его шеи и попытался сломать, но не вышло, Фрося всей своей тяжестью прижимала птицу к земле.

– Здесь чуть освободите...

– Такой сильный, гад! – пыхла Фрося. – Еле держу!

Горчаков подлез двумя руками и свернул петуху шею. Птица задергалась в последней агонии, большое крыло освободилось и забилось, ломая сухую траву. Куча-мала сделалась – сухие, трескучие стебли кипрея, бьющийся глухарь, Фрося, Горчаков, руки которого были в крови.

– У нас в экспедиции повар схватил так же линялого глухаря, а тот вывернулся и в глаз его клюнул, чуть-чуть не попал, из брови кусок мяса вырвал. Огромный глухарина был! – бормотал Горчаков, возбужденный азартом охоты.

– А этот большой?

– Не маленький... Попробуйте отпустить немного.

Фрося ослабила давление, петух уже так не бился, только дергал ногами, как будто пытался бежать.

– Очень кстати птичка, – довольно урчал Георгий Николаевич, – у нас с вами даже хлеба нет, а вы сегодня не обедали.

– У меня соль есть!

– У меня тоже... отпускайте! Как вы на него кинулись... вы же не любите, когда убивают?

– Это у меня уже третий. На лесоповале работали, глухарей много было, их там петьками звали, я в одного топором бросила и попала, молодой был, а другой – линялый, так же вот поймала. Мы там все, что шевелится ели, бурундуков ловили петлями... Ну что, большой?

– Хороший, килограмма четыре. Надо где-то ночевать. – Горчаков вытер руки о траву, встал, оглядываясь.

Они сошли с тропы и двинулись краем леса вдоль болота. Перебирались через деревья, спотыкались о кочки. Было уже совсем темно.

– Далеко ушли, Георгий Николаевич, обратно дорогу не найдем.

– Найдем, идите за мной! – Горчаков свернул от болота вглубь тайги. – Береженого бог бережет!

– Вы не боитесь? – негромко спрашивала сзади Фрося.

– За вас опасаюсь... вдруг вы сильно понравились этому Гусеву?

– Хорошая шутка, Георгий Николаевич!

– Простите. Вот здесь давайте, под кедр~~и~~ной, – Горчаков щупал толстый слой хвои под деревом. – Дайте котелок, за водой схожу. Большой костер не делайте...

Фрося зажгла огонь, посидела, слушая ночную тайгу. Кругом шуршало, неприятно попискивало, иногда вдруг отчетливо слышались чьи-то шаги. Становилось ощутимо холодно. Она принялась драть птицу, но вдруг отложила ее и встала. Горчакова не было слишком долго. Подбросила мелких дров, их небольшая полянка осветилась ярче, огонь должен был быть виден. Фрося осторожно двинулась в

темноту, в ту сторону, куда ушел Георгий Николаевич. Хотелось по детской еще привычке крикнуть, хотя бы негромко, даже поднесла ладони ко рту, но убрала их. Замерла. Горчакова не слышно было, ни шагов, ни сломанных веток, деревья колючей стеной вокруг. Ничего не видно и непонятно было, куда идти. Фрося вернулась к огню. Представила, что Горчаков может и совсем не прийти... Почему? Болото! – мелькнуло в голове. Она встала и, выставив руки вперед, решительно направилась в темноту. Уже вскоре выбралась на опушку. Костра сзади не видно было, перед ней чистое пространство болота:

– Георгий Николаевич! – позвала негромко.

– Я здесь, Фрося... – голос Горчакова был еле слышен, откуда-то справа и сзади.

Фрося вздрогнула всем телом и радостно спросила:

– Вы где? Идите сюда! Вы что там делаете? Георгий Николаевич?!

– Иду-иду, плутанул, кажется, вы почему ушли от костра? – Горчаков наступал осторожно, стараясь не расплескать воду.

– А вы почему так долго? – Фрося даже ощупала его в темноте.

– Очки слетели, когда воду набирал, еле нашел, – он приблизился к девушке, пытаясь увидеть ее лицо. – Не вижу ничего, очки грязные. Пойдемте.

Котелок был маленький, Горчаков нарезал в него глухаринного мяса.

– Так, порядок... Вы что там делаете? – он повесил котелок над огнем.

– Рюкзаки стелю, постель... – Фрося возилась в темноте под кроной кедра. – Вспомнила сейчас... В самый первый год, в ссылке еще была, мы лес валили... я голодовку объявила. Такая дура была – работала, норму их поганую выполняла и голодала! Две недели выдержала!

– Лихо... – Горчаков спокойно реагировал на рассказ Фроси, достал мятую, почти пустую пачку папирос, содержимое этой пачки волновало его явно больше. – И чем кончилось?

– Да ничем, сознание стала терять, и меня отвезли в больницу... У нас бригадир людей специально морил! Некондиционный лес заставлял сжигать прямо на деляне, а с собой на дрова не разрешал брать. В лесу жили – в бараке минус был! Однажды моего земляка, хороший дядька, царствие небесное, падающим деревом придавило,

его в больницу надо было, а этот бригадир его работать заставил. Ночью ему плохо стало, рвало, а бригадир снова выгнал его на работу. Он там и умер. Это не единственный случай был, все видели и молчали. Тогда я потребовала встречи с комендантом, так и заявила – чтобы подать жалобу.

– Не перестаю на вас удивляться, Фрося... – Горчаков, пересчитав папиросы в пачке, осторожно достал одну.

– Это, конечно, было наивно, но мне часто удавалось помочь людям. От начальников многое зависит. Сравнить хотя бы этот вот лагерь и «48-й километр». Одна система, одни условия, снабжение, одежда, еда, а какая разница! Там порядок, цветочки растут на клумбах! Еда нормальная. И люди спокойно работают, больных немного. А тут?

– Самое обычное дело. Начальник лагеря – простой парнишка, семь классов образования да курсы... А здесь нарядчик, знающий жизнь – выпивка, закуска... заключенные любые твои прихоти исполняют... даже и убить можно, если захочется, никто не пикнет.

Фрося сидела, задумчиво глядя в огонь. Вздохнула:

– Обязательно напишу рапорт на начальника лагеря.

Горчаков ничего на это не сказал, потянулся ложкой попробовать глухаря.

Утром они вышли, как только начало светать. Горчаков уверенно пробирался по зарослям краем леса и вывел на тропу. Долго изучал ее в сумерках:

– Вроде никого не было, все мерзлое...

По тропе двинулись быстрее, согревались после холодной ночи. Горчаков закурил, и Фрося опять пошла впереди. Продолжила вечерний разговор у костра – она считала, что лагерные «хорошо» и «плохо» ничем не отличаются от тех, что на воле.

– Что хорошего в спирте и табаке? – спросила она задиристо и громко.

Рябчик с характерным шумом поднялся впереди с земли и замелькал между веток. Оба остановились и замерли. Горчаков обернулся. Сзади было тихо. Туман опускался на тропу.

– С медицинской точки зрения – ничего хорошего, наверное, но человек – существо сложное. Вот попал человек в лагерь. Ни за что попал – он отлично это знает про себя, но от него уже ничего не

зависит, отказалась жена, дети. Его обобрали урки, избил десятник, ему все время страшно хочется есть. Плохо ли для него покурить? Или выпить? Если он морально надломлен по всем пунктам? А уж обнять живую женщину! Это же все крохи свободы! Пусть хоть в этих нарушениях лагерного режима почувствовать себя личностью. Как его можно винить за это? Многие начинают курить. Неужели вы никогда не пробовали покурить или выпить?

– Не пробовала. И мужчин у меня никогда не было! Человек все-таки разумнее скотины!

– Простите, Фрося, но неужели не хотелось? Никто не нравился, в конце концов?

– Почему же, бывало, что нравились, и хотелось, конечно, я же живой человек. Но я начинала что-то делать и останавливала в себе эти мысли. Они возникают от лени и слабости, от распушенности, от того, что человек позволяет себе на время превратиться в скотину.

– Это все справедливо, наверное, давайте перекурим, извините за каламбур. – Горчаков остановился на болотной гривке и стал снимать рюкзак. – Тут сухо, можно посидеть.

Они прошли уже довольно много. Справа, из-за болота и гребенки леса начало подниматься солнце, туман клубами смещался вдоль обширной топи. Ветерок потянул, и появилась мошка. Фрося тоже сняла рюкзак и присела на корточки.

– Удивляюсь на вас, Фрося, с такими взглядами в лагере не выживают... – Горчаков закурил, опять пересчитал свои папиросы и убрал пачку.

– А что удивляться... – Фрося задумчиво жевала травинку. – Есть Бог, есть честь, есть память родителей. Есть что терять, Георгий Николаевич. Собственно, больше у меня ничего нет.

– Вы когда попали в ссылку?

Фрося посмотрела на Горчакова с интересом, помолчала, соображая.

– В сороковом году. После того как Советский Союз ввел войска к нам в Бессарабию. Я, кстати, была рада, ведь пришли свои, русские, но советская власть сразу себя показала.

– У вас было имение?

– Да, небольшое. Засеивали поля, держали скотину, мама была уже немолодая, и все хозяйство было на мне. Бессарабия до прихода Советов жила очень весело и сыто.

Горчаков внимательно изучал Фросю. Несмотря на лагерь, она выглядела моложе своих лет, особенно красивые глаза. Он пытался представить себе, какой она была там, в Бессарабии, десять лет назад.

– У меня было посеяно несколько полей кукурузы, она созрела, надо убирать. А по новым законам я не имела права нанимать работников. Я пришла к председателю сельсовета, спрашиваю, как быть? Убирай и сдавай государству! Одна я не смогу, надо нанять людей! Не имеешь права! Тогда урожай погибнет! Погибнет – посадим как саботажницу! – Фрося отмахнулась от горчаковского дыма. – Вскоре меня раскулачили, кукурузу убрали колхозники – в колхоз уже, кто победнее, вступили. Председателем назначили русского, пришлого, и по его распоряжению кукурузу сложили в бурты! Я пошла к нему – нельзя ее в бурты, это не картошка – сгниет! Ее сушить надо! А он сидит за барским письменным столом, реквизированные ковры на стенах, самогонкой от него пахнет... очень собой довольный. Говорит мне – а вам какое дело, гражданочка? Ну и всё – через пару недель от этих буртов пошла страшная вонь. Весь урожай пропал! И началась вся эта дурь – налоги на все назначили! Люди фруктовые деревья рубили, перерезали скот. Страшное было время – собаки ходили с раздутыми от мяса животами.

Она перевязала платочек, расправила гимнастерку под ремнем и стала надевать рюкзак.

– Нам с мамой разрешили взять немного вещей и выгнали из дома. Он, кстати, потом так и стоял пустой. Я отправила мать к родственникам в Румынию, а сама стала батрачить. Народ загоняли в колхоз, еще чего-то хотели от него. Начались репрессии, несогласных забирали, меня не трогали, потому что у меня ничего не было. Кормилась тем, что работала на людей. Виноград обрезала, дрова колола, пахала...

– А почему не уехала в Румынию?

– Из принципа! Я была патриотка России, хотела работать, строить новую жизнь, я думала, что эти вот глупые начальнички, которых к нам прислали, во всем виноваты. Узнают, пришлют других, и все поменяется. Думала, в России все иначе – газеты же советские

читала, радио слушала. А потом своими глазами увидела нищету. Не могла поверить – в России крестьяне всегда жили лучше, чем в Бессарабии! Ну а когда попала в сибирскую деревню и посмотрела, что там едят люди... Страшный сон! Многие хуже собак жили! И это все большевики натворили за двадцать лет!

Шли рядом краем болота, уже и устали от дороги, чавкали мелкой болотной жижей. До Турухана оставалось недалеко, ясно было, никто за ними не погонится. Солнце пекло по-летнему, пот тек по лицам, комарики, мошка вились над ними, но это были уже не летние голодные «звери».

– Что в отчете напишете? – спросил Горчаков.

– Удивительно! – обрадованно повернулась к нему Фрося. – Как раз об этом думала. Ведь все признаки инфекционного гепатита налицо, в восемнадцати лагерях обнаружили, и ни в одном не объявили карантин!

Горчаков шел молча.

– Что молчите?

– Начальники не хотят ответственности, Фрося, что тут скажешь... Я в тридцать девятом работал во Владивостоке в тифозном карантине. Там потяжелее было... Дай начальникам полную волю, они всю пересылку, а там были десятки тысяч людей, тракторами бы засыпали. Они серьезно это обсуждали – здоровых вместе с больными. Тиф! С ним трудно! Что вы хотите от этих начальников? Это система, в которой человек ничего не стоит!

Горчаков приостановился, поправил лямки и продолжил:

– Всем лагерным врачам про гепатит все понятно, но в отчете его не должно быть! Этого не хотят не только наши с вами начальники, которые будут составлять отчет по Строительству-503, но и их начальники в Москве. Если в отчетах нет гепатита, то его и нет. А то, что тут люди погибают, это их не волнует. Между этими начальниками и нами-лагерниками нет никаких человеческих связей. Они не предполагаются! Поэтому соображения медсестры Сосновской никому не интересны, их проигнорируют и напишут то, что им надо.

– Но я должна написать, и я напишу!

– Напрасный труд!

– Я, кстати, уже написала, что по моим опросам во всех без исключения лагерях в течение всех трех лет строительства

заклученные не имеют в рационе свежих овощей. Отсюда у пятидесяти процентов наблюдается сухость кожи и петехии^[134], у двадцати процентов лагконтингента есть цинготные проявления, а у пяти процентов цинга ясно выражена. И очень часто именно они инфицированные гепатитом!

– И вы все это хотите изложить?

– Уже изложила!

– Вы, Фрося, очень хороший человек!

– Вы иронизируете, а я просто делаю свою работу! Если бы все поступали так же, эта система не устояла бы! Она основана на лжи, жадности и подлости конкретных людей.

– Вот для них вы и будете писать отчет о кожной сыпи у зэков!

Фрося остановилась.

– Какой же вы отчаявшийся человек, Георгий Николаевич! Глубоко отчаявшийся! Вы ведь в людей совсем не верите!

Горчаков перемялся с ноги на ногу, улыбнулся на прямогу.

– Скажите честно, – настаивала Фрося, – все люди для вас плохие?

– Я давно перестал думать на такие темы, Фрося... Я просто живу. Идемте, вон уже Турухан.

Всю неделю, что шли до Туруханска, погода стояла сырая, сыпало мелким дождем, как из самого частого сита, было холодно и мокро не только на палубе, но и в их шкиперской избушке. Все время подтапливали печку. Горчаков по лагерной привычке спать при всяком удобном случае спал много. Столько же давил нары и студент, и только Фрося Сосновская вставала рано, затапливала печь, писала или рисовала за столом у серого слезящегося окошка, варила кашу. Мужики поднимались заспанные, позевывали, ели, курили и снова ложились. При студенте Фрося ничего с Горчаковым не обсуждала. Иногда смотрела на него подолгу и с интересом, а иногда с жалостью. Горчаков спящий был не такой отстраненный, но наоборот, трогательный и беззащитный. Ей ужасно хотелось погладить его, прижать к себе, как маленького.

В Туруханске выгрузили лабораторию и высадили студента-бактериолога, Фрося должна была сойти вместе с ним, но осталась, сказала, хочет посмотреть Ермаково.

Отчалили в обед, качало прилично, на ближайшем плесе северный ветер поднял крутую жесткую волну, дождь усилился и летел почти горизонтально. Горчаков, вышедший покурить, вернулся в избушку мокрый с охапкой дров:

– Однако прилично давит... катер еле тянет!

– Чайку попейте, Георгий Николаевич! Я оладушков напекла. – Фрося сменила мужской наряд на юбку и темно-синюю кофту.

Горчаков выгрузил поленья у печки, пристроил на теплую плиту подмокшую пачку папирос. Сам прислушивался к тому, что делалось снаружи:

– Похоже, еще добавит...

– Что? – не поняла Фрося.

– Шторм, говорю, приличный.

Будто подтверждая его слова, баржа поднялась на крутую волну, дернулась, горячий чайник поехал к краю плиты. Фрося поймала его, вернула на место, но он поехал в другую сторону, и она поставила его на пол. Горчаков выглянул наружу, капитан пытался перевалить к правому берегу, баржа шла под углом к волне, в дверь заливал дождь. Они закрепили все, что могло упасть. Изба громко скрипела, Фрося не без страха посматривала на стекло, рама окна косилась на глазах, выпрямлялась, потом косилась в другую сторону. Временами казалось, что и пол тоже перекашивается и уходит из-под ног.

Горчаков обошел избушку. Поленицу развалило и часть дров уже унесло к низкому ограждению бортов. Баржа в больших волнах словно уменьшилась в размерах. Катер тянул, что было сил, стремясь под защиту берега. Горчаков всматривался вперед. Там было так же плохо, капитан, похоже, не знал, куда податься. Весь плес продувало севером, ни вернуться, ни пристать нигде нельзя было. Катерок впереди, перевалив волну, почти весь исчезал из виду, только трос от него уходил в глубину. Горчаков вернулся в избу. Печка разваливалась, трещины на ее теле расширились на глазах, Фрося лила в них воду из чайника. Шел пар и летела сажа.

– Надо сообщить им! – в глазах Фроси был испуг.

Горчаков улыбнулся.

– Почему вы улыбаетесь, Георгий Николаевич?

– Впервые вижу, что вы по-настоящему боитесь.

– Я серьезно! Почему баржа так гнется? Она металлическая и может утонуть, так?!

Так продолжалось с час. Развалилась и труба, кирпичи загрохотали по крыше избушки. Фрося оделась, собрала рюкзак, сидела бледная и решительная. Горчаков вышел наружу. Катер медленно тянул баржу по течению и против ветра. Он заглянул в трюм – баржа набирала воды, он не стал ничего говорить – Фрося не умела плавать.

Вечерело на глазах, небо сделалось совсем серым, но как будто и затихать стало. Несколько раз прошуршали кормой по мели, Горчаков выглянул – катер затягивал хорошо уже притопленную баржу в тихую воду какой-то протоки. Качать почти перестало. Впереди по левому борту была небольшая пристань. Горчаков присматривался, узнавая... На каменном бугре, закрываясь рукой от ветра, стоял бакенщик Валентин Романов. Горчаков никак такого не ожидал, улыбаясь, вернулся в шкиперскую избу.

– Что вы так улыбаетесь, Георгий Николаевич? – обиженно и сердито спросила Фрося. – Как можно радоваться чужому страху?

– Да что вы, Фрося, мы к Романову причалили, познакомлю вас. Славный человек!

Фрося, бледная, доставала из-за пазухи сверток бумаги.

– Я не за себя, за рукопись испугалась, третий год ее берегу... – она смотрела в упор. – Мы полтора месяца вместе работаем, а вы так и не попросили ее прочитать! Вам совсем не интересно?

– Это о лагере?

– Да. И о ссылке! О моей жизни!

– Фрося... – Горчаков перестал улыбаться. – Я не хочу читать о лагере. Даже если вы попросите... Вы меня простите, дело не в вас, дело во мне.

– Я не вышла в Туруханске, осталась, чтобы поговорить с вами, а тут... – она опустила голову и произнесла тихо себе под ноги: – Наивная дура! Лезу к вам, а вам и так все ясно. Я про вас много думала, Георгий Николаевич... А-а, ладно!

Она встала, нахмурилась и мимо Горчакова вышла наружу. Валентин Романов на большой моторке выруливал из протоки. Шторм

стихал, но Енисей все еще качало, и лодка врезалась в волны, разметывая их в разные стороны. На носу были закреплены уже зажженные лампы для бакенов.

Вернулся он через час, уже стемнело, мокрый с головы до ног, увидел Горчакова, поджидавшего на пирсе. Узнал, улыбнулся и поднял руку над головой. Они вместе разгрузили и вытащили лодку и поднялись наверх. Ветер стих, река сзади уже не шумела, капитан в катере громко материл матроса. На камбузе играло радио.

– Надолго? – спросил, приостановившись, Романов.

– Не знаю, до утра, наверное.

– А я сегодня проснулся и что-то настроение... – Валентин совсем развернулся к Горчакову. – Лежу, за окном ночь, шторм хлещет, а я улыбаюсь, как будто что-то хорошее будет. Встал и баню затопил. Анна с ребяташками уже помылась, ты как, в баньку, Георгий Николаевич?

Горчаков молча покуривал и тоже улыбался, рад был встрече.

– Чего ты? – Валентин бросил окурок. – Баня своя, не казенная, ох, как же я ее в лагере, грешник, не любил. Ты, видать, тоже?

Горчаков кивнул. Романов сегодня был сам на себя не похож, разговаривал много, улыбался.

– Баню в прошлом году новую срубил, из сухой кедры, – они раздевались в предбаннике. – Тут Анне простору дал – на стирку, детей помыть. Для печки еще Мишка все привозил, с ним должны были строить... Ничего, он там в бригаде плотников устроился теперь. Пишет, жить можно, кормежка неплохая, какие-то гостевые дома строят по всей Колыме. Для лагерных шишек, видать. Бригадирит он, бугром заделался!

Валентин замер напряженно с одним носком в руке.

– Уехал бы я к нему... – он в досаде сдернул второй носок и остался в чем в баню ходят. – Только об этом и думаю. Двадцать три года парню, жить и жить, я устроился бы где-то рядом, помогал бы, не дал бы его никому. – Валентин опять застыл, поднял беззащитный взгляд на Горчакова. – Десять лет, если с умом, потерпеть можно. Боюсь я, Николаич... Мишка – это все, что осталось от Тони.

Он вздохнул с судорогой. Горчаков давно разделся, сидел слушал спокойно. Валентин вытряс из пачки папиросу:

– Давай покурим, – он распахнул дверь и присел к порогу. – Анна говорит, езжай, справлюсь, и справится ведь. Ты как думаешь?

Горчаков покачал головой, затягиваясь папиросой.

– Ты извини, Георгий Николаич, с Анной не обо всем можно...

– Плохая идея, Валя...

– Это понятно... это я понимаю... Сделать с собой ничего не могу! Все кажется, что он маленький и с ним там все что хочешь могут учинить. Как подумаю, аж зубы крошатся, ни есть, ни спать... У нас одна жена приехала к мужу и два года жила рядом. И никто, ни одна падла не заложила! Пол-лагеря стукачей было, а ни один не дунул! Сейчас рассказываю, самому не верится! Ну, пойдём! – он решительно затушил папиросу, взял лампу и шагнул в парилку.

Одна лампа уже висела на стенке, Валентин повесил вторую, подкрутил фитили, прибавляя огня. Горчаков присел на горячий полоч. Все было сработано аккуратно и прочно. Полы, потолок хорошо проструганы, большая печь. На стенах развешаны пучки травы. Валентин распахнул металлические дверцы каменки, и оттуда пошел жар раскаленных речных камней. Горчаков осторожно пригнул голову.

– Ну, держись, Николаич, давно в доброй бане не был?! – Романов, пробуя, плеснул легонько, каменка ответила быстрым каленым выдохом. – О! Злая барыня! Сейчас мы тебя потешим!!

Зачерпнул кипятка и стал плескать мелкими порциями. Камни пыхали и шипели, душистый, сладковатый запах лесных трав, пихты и кедрового стланика поплыл вместе с жаром. Горчаков спустился сначала на нижнюю полку, а потом и вовсе сполз на пол. Везде было чисто, в деревянной шайке запарены березовый и пихтовый веники. Горчаков улыбался, вспоминая забытые ощущения.

– Слабак, Николаич! У меня Анна крепче! Да она и меня крепче, у них в Латвии баню уважают, она у меня деревенская тоже, с хутора... – разговаривая, Валентин успевал поддавать, стряхнул веники и разогнал жар. – Видал, трав засушила, мы таблетками и не пользуемся. Вообще, повезло мне с ней. Когда все это с Мишкой случилось, я ведь сначала попить стал... Она удержала. Бабы, они вообще лучше мужиков. Ну, ложись на полоч...

– Да что-то я... – Горчаков, пригнув голову, сидел на полу.

– Не боись! Ложись! Или больно жарко?!

Валентин горой страшных мышц стоял над ним с веником в руках.

– Я последний раз до войны так парился...

– Это я понимаю, я аккуратно, шкуру целой оставляю...

Горчаков облил голову из холодной бочки и, кряхтя, растянулся на полке. Валентин прошелся легонько, шуганул раскаленный воздух под потолком:

– Ну как? – гора мышц была очень заботлива.

– Давай, чего уж... – не без опаски согласился Горчаков.

– Во! – Валентин ловко орудовал большими, в свой размер, вениками. – Сейчас каторжные твои кости разогрею! Нас в последнем лагере голыми водили в баню, и зимой, и летом! В бараке разденут, вещи казенные заберут и айда строем! А там с полкилометра! Не вру! Как же мы эту баню ненавидели! Очень я тебе рад, Николаич! Вспоминал про тебя. Сан Саныча-то давно не видал? Что-то он исчез? Ох-хо-хо!

Валентин бросил веники, ливанул на распаренного Горчакова холодной воды. Тот охнул от неожиданности, закряхтел довольно.

– Вертись на спину, бедолага!

Потом долго мылись. Горчаков рассказал о Сан Саныче, о Николь и дочке.

Сели в подтопленной и чистой горнице. Анна с Фросей накрывали на стол. Подросшие дети по случаю гостей не спали, шептались и хихикали за занавеской. Валентин достал Мишкины письма, просматривал, интересное зачитывал Горчакову. Он знал их наизусть. Спрашивал про разные места и лагеря, которые упоминал Мишка. Фрося, лагерный опыт которой был почти в два раза больше романовского, молча наблюдала за их разговором. На Горчакова старалась не смотреть. Обидел, понимал Георгий Николаевич.

Выпили. Фрося отказалась даже от наливки. Закусывали солеными грибами, селедочкой. Картошка, томленая со сливками, дымилась в чугунке. Валентин заговорил о Сан Саныче:

– Слишком честный он для нынешних времен, Николаич. У него и портрет Усатого висит, потому что верит в него. Ему изверг почти как господь бог, по светлому пути, мол, нас ведет! – Валентин разливал по стаканам. – Нет, в Сан Саныче подлости или хитрости совсем нет... глуповато иногда выглядит, это да... напролом лезет! – Он поднял свой

стакан и потянулся к Горчакову. – Ну, помогай ему бог с этой женщиной!

Валентин выпил, прикурил папиросу вздохнул хмуро:

– Изувечат его, Николаич, чует мое сердце, либо в лагерь из-за этой женщины загонят, либо в большие начальники выбьется. В партийные...

Дверь в сенях брякнула, кто-то вошел, гремя сапогами.

– Шульга! – Романов поднес руку ко рту, предлагая прекратить разговор. – Председатель зверосовхоза. Поганец редкий!

Дверь открылась и в нее вошел высокий поджарый мужик лет пятидесяти, с правильными чертами лица и едва начавшей сесть темной шевелюрой.

– Здорово всем! – пробасил чуть сипловатым голосом. – Здорово, Валя! Выручай с бензином! Мне корма завозить – бензина ни капли! Дай бочку, отдам! Вы ешьте, ешьте, я на минуту! – снисходительно кивнул Горчакову с Фросей, внимательно рассматривая их сквозь очки.

Валентин вышел молча. Вернулся минут через двадцать. Сполоснул руки под рукомойником.

– У нас, чем дурней, тем – начальник! Никогда у него ничего нет, эти его чернобурки то разбегутся, то потравятся... А все на своем месте. И все время учит жить!

– Не отдаст бензин? – догадался Горчаков.

– Третью бочку за лето берет...

– Так не давайте! – возмутилась Фрося.

– Они с комендантом кореша, Анна иногда задерживается с отметкой... Начальство, короче. Да и мне всего этого хозяйства, – он кивнул на свой большой двор, – не положено заводить, разрешения брать надо. На землю, на строительство, на покосы... Хрен с ним, с этим бензином.

Валентин задумался глубоко, потом встряхнулся, достал папиросу:

– С таких, как этот, сука, Пал Палыч, все как с гуся вода! Его как директора совхоза десять раз уже посадить должны были. Целый гарем завел из ссыльных девчонок... И женатый ведь! Жена наглая, еще хуже его. Вся деревня об этом знает, и ничего! – он закурил наконец папиросу и стал подниматься из-за стола. – Может, там, наверху, заповеди Господни переписали давно? Нам только не сказали!

На другой день вышли рано, капитан буксира торопился. Утро после вчерашнего шторма было пасмурное, холодное, сизые тучи летели с Северного Ледовитого. Шкиперская избушка остыла без печки, и спать было холодно. Сели пить чай. Горчаков все время зевал, прикрывая рот рукой и извиняясь, но удержаться не мог. Фрося, как всегда, была бодрa, вскипятила чайник на улице, на очаге, поставила на стол кружки, свежий хлеб, что дала Анна, молоко. Села напротив.

– Вы меня простите, Георгий Николаевич, но я все думаю: чем же вы живете? Вы вчера начали говорить... – Фрося была мастерица на неожиданные вопросы, смотрела прямо в глаза. – Мы ведь скоро расстанемся.

Георгий Николаевич поморщился, отпил из кружки:

– Ничего умного, Фрося, вы от меня не услышите...

– От жены и детей отказались... Вы же их любите... – Фрося говорила медленно, изучала Горчакова. – Я сначала решила, что вы предатель своей семьи, но потом ясно увидела – вы все время о них помните. Я в этом уверена. Все время переживаете эту разлуку!

– Это все сложно... сложнее, чем вы думаете...

Георгий Николаевич снял очки, близоруко прищурился, протирая их. В окно блеснуло низкое, из-под туч пасмурное утреннее солнце. Блеснуло, осветило внутренность избушки и вскоре снова ушло за тучи. Фрося притихла, подняла грустные глаза на Горчакова. Все рассматривала его. Мошка ползала по круглым потертым дужкам его очков, Фрося дернула рукой, чтобы согнать, но удержалась. В свете лампы, невыспавшийся, он казался уставшим и старым.

– Расстанемся скоро, а я к вам привыкла... – она отвела глаза. – Дайте мне папиросу!

Горчаков взял пачку и посмотрел на нее с вопросом.

– Дайте! Мне хочется сделать что-то такое, что делаете вы...

Горчаков достал папиросу. Фрося взяла, не зная, как с ней обращаться. Трогала пальцами.

– Влюбиться бы в такого, я не вас имею в виду, вы любите свою жену, это понятно. Но в такого же... Так и не пойму, что в вас хорошего? Вы ведь не мой герой, а вот... меня к вам тянет, не хочется расставаться.

– Бог с вами, Фрося, не выдумывайте из меня ничего...

– Но вы правы, я ведь тоже так считаю, человек должен жить достойно того, каким нас создал Господь. Быть мужественным, честным... добрым, конечно... все это очень трудно. Вы не стали работать в Норильске, чтобы иметь возможность оставаться таким.

– Каким?

– Честным.

Горчаков улыбнулся, забрал у Фроси так и не подкуренную папиросу и сладко зевнул:

– Вы очень славный человек, Фрося, вы намного мужественнее и честнее меня. Ей-богу!

Фрося молчала задумчиво.

– Как, кстати, называется книга, которую вы пишете?

Фрося все думала о чем-то, подняла на Горчакова умные и грустные глаза:

– «Сколько стоит человек».

48

В конце сентября капитану Белову с его «Полярным» опять выписали работу в Енисейском заливе. Он пошел в Управление, но начальник только руки развел и опасливо показал глазами на потолок – распоряжение пришло из Ермаковского управления речного транспорта. Это означало, что к Николь Сан Саныч уже никак не попадет в эту навигацию.

Он вернулся на буксир, посидел с Фролычем в своей каюте и в тот же вечер улетел в Ермаково на самолете. Старпом взял на себя командование буксиром и повел караван барж в Сопочную Каргу. В Управление ничего не сообщали – это было серьезное нарушение.

Николь уже спала. Проснувшись от его прикосновения и не испугалась, а тут же села, стряхивая с себя сон, волосы поправляла и сурово вглядывалась в его лицо:

– Саша, Сашенька... – зашептала, наконец, хватая его за шею, – ты мне сейчас снился, я тебя видела... Саша, Сан Саныч мой прекрасный! Это ты!

Она обнимала, искала его губы, Сан Саныч встал на колени, обнял ее.

– Ты надолго?

– Я?! – глупо переспросил Сан Саныч, не зная, что сказать.

– Тихо! На сколько ты приехал? И «Полярный» здесь? Ребята? Видел, какую новую пристань для вас построили? Ты заберешь нас?

Сан Саныч весь полет придумывал ответы на эти вопросы и не придумал. Пока летел, ему нравился его безрассудный поступок, он чувствовал себя мужчиной, а увидев Николь, испугался.

– Завтра все расскажу. Как Клер?

– Клер – хорошо, но скажи – все в порядке? Ты надолго? Тебе дали развод?

– Все вопросы завтра, все расскажу, а сейчас спать, я зверски хочу спать!

– Спать хочешь?! – поразились Николь.

– Да, а ты нет? Не соскучилась?

– Я – да, я тоже хочу с тобой спать, ой, Саша, мне щекотно, движок уже не работает, но у меня есть керосиновая лампа, давай зажжем, я тебя не помню! Вдруг это не ты? Ой, аккуратно, у меня до сих пор полно молока...

Утром проснулись, едва рассвело. Огромная палатка храпела, сопела и посвистывала мужскими и женскими носами сквозь брезентовые и фанерные стены, в соседней палатке кто-то гремел рукомойником. Сан Саныч открыл глаза – Николь прибиралась в комнате, прихорашивалась, заглядывая в небольшое круглое зеркало на столе. Клер спала все так же спокойно. Сан Саныч потянулся сладко и счастливо, взял Николь за локоть, и пока тянулся сам и тянул к ней руки, проснулся окончательно, словно и не спал.

Николь ничего не спрашивала. Улыбалась ему, строила глазки, убегала к своей керосинке. Сан Саныч закрыл глаза и даже отвернулся к стенке, накрывшись с головой. Нельзя было говорить ей ничего. По крайней мере не сейчас, завтра скажу или послезавтра... – так он думал, совершенно ничего не зная про себя. Одно было известно точно – капитан Белов сбежал со своего буксира, никого не поставив в известность, без каких-либо причин, которые можно было бы считать уважительными. Можно было пойти к врачу и вырвать зуб, но это можно было сделать и в Игарке. Единственной причиной могло быть то, что главное Управление речным транспортом Стройки-503 находилось в Ермаково. Он мог приехать сюда, чтобы написать

заявление на увольнение. Это было глупо, с нарушением многих служебных инструкций – увольняться он должен был в пароходстве, к Стройке-503 он был только прикомандирован, но хоть что-то... Если бы он заявил об увольнении в Игарке, его бы не отпустили, и он не попал бы к Николь. Даже Фролыч с этим согласился.

Мука была еще и в том, что увольняться он совсем не хотел, замирал, прислушиваясь к Николь, и все не решался выбраться из-под одеяла.

Одеяло само поползло с него, Сан Саныч повернулся, все еще не решив, что говорить. На руках у Николь была Клер. В бело-розовых одеждах, с завязочками и вышивкой, пухленькие ручки и ножки, щечки с ямочками... Николь отдала девочку в руки Сан Саныча. Он испуганно прижал ее к себе, почему-то казалось, что девочка должна выскользнуть и упасть. Он не дышал, и уронить боялся, и крепче прижать не решался. Смотрел виновато на Николь, он думал сейчас о другом.

– Ты одичал без нас, а мы выросли! – рассмеялась Николь. – Улыбнись-ка папе! Да не бойся, держи хорошо, она не хрустальная!

Девочка, не испуганно, но и не понимая, вертела головкой с темными мамиными глазками и светленькими волосиками. Взгляд был очень осмысленный. Она вдруг остановилась на Сан Саныче, улыбнулась и осторожно потянулась рукой к его лицу. Попыталась схватить за щеку и еще больше развеселилась, повернулась к матери, будто приглашая ее тоже потрогать этого дядю. От нее пахло чем-то... Сан Саныч невольно принюхивался, это был особенный запах. Он скосил глаза на Николь. Та внимательно наблюдала за ними, улыбалась, и слезы катились из ее прекрасных глаз.

– Это моя дочь! – сказал вдруг Сан Саныч. – Вот! – и прижал еще крепче и даже коснулся губами головы Клер.

– Да поцелуй же ее, ты медведь, а не отец!

Сан Саныч опять осторожно коснулся губами головы и маленького уха Клер.

– Ты чего плачешь?

– Я не плачу! – не согласилась Николь, вытирая мокрые щеки. – Посидел бы здесь с мое...

Она обняла его вместе с дочерью, уткнулась в плечо, и плечи ее задрожали, она сильнее в него вцепилась:

– Не отпущу больше... – глухо зашептала, – я стала нервная, боюсь за тебя, за Клер, у меня кончаются силы... Ну, скажи теперь, надолго ты?

– Надолго, – уверенно вылетело у Сан Саныча, – увольняться приехал!

– Как? Почему?!

– Уволюсь из пароходства, устроюсь здесь, в Ермаково. Будем жить вместе, у нас Клер.

– А «Полярный»?

Белов помолчал, поморщился:

– Меня особый отдел не пускал в Ермаково...

– Почему? Я не понимаю... И развод не дали?

– Нет... жена написала заявление, что она беременная.

– А она беременная?

– Нет, что ты! Я не знаю, у меня с ней ничего не было. С того лета, как мы с тобой встретились... – почти не соврал Сан Саныч.

Николь сидела, безвольно сложив руки на коленях. Клер трогала отца за щеку, ухо и губу, ей надоело, что на нее не обращают внимания, и она потянулась к матери. Николь взяла ее, машинально освободила грудь и дала девочке.

– Ты хочешь устроиться здесь на работу и жить с нами?

– Да.

– А тебя уволят?

– А почему нет?

– Не знаю... ты же говорил... – она недоверчиво покачала головой и тревожно осмотрела Сан Саныча. – А жить вместе разрешат?

– Да почему же нет?!

– Ты важный капитан, скоро станешь членом партии... Они знают, что я иностранка, а на иностранках нельзя жениться.

– По документам ты латышка, то есть советская гражданка! Все, не будем об этом, я уже приехал! Я здесь! – Сан Саныч хлопнул себя по голым ляжкам, он сидел в синих семейных трусах. – Три дня заслуженного отпуска – никуда не пойду! Будем гулять... в кино, в ресторан! У вас открыли ресторан?! С дочерью буду играть! Ну, ты рада?

Николь кивнула тревожно.

– Для начала я есть хочу! Вчера только обедал! – он похлопал себя по плоскому животу.

– Ой! – всполошилась Николь и повернулась в сторону коридора, – там у меня картошка тушится... с луком, как ты любишь!

Белов высунулся в коридор и вернулся с кастрюлей, заглянул в нее:

– Даже не начинала тушиться... ты забыла керосинку включить.

– Да? – удивилась Николь. – Ну ладно, есть яйца, давай яичницу? – она показала глазами на шкафчик, где хранились продукты. Клер, наевшись, засыпала у нее на руках.

Это были три прекрасных дня. Может быть, ворованное счастье самое сладкое? Встало настоящее бабье лето, с морозными утренниками, но теплыми, даже жаркими днями. Они гуляли, катались на лодочке и устроили пикник в лесу на берегу озера. Белов был заботлив, все время нянчился с Клер, которую вскоре начал звать Катей, они вообще очень подружились и вместе ползали по их шести квадратным метрам. Уже в первый день Клер на вопрос, где папа, оборачивалась на Сан Саныча, отчего тот делал Николь «значительные» глаза. Он избегал публичных мест, это Николь заметила, поэтому ни в кино, ни в ресторан они так и не сходили.

– Не хочу встречаться с товарищами, о работе спрашивать начнут... потом всё узнают, – ответил Сан Саныч на ее прямой вопрос. – Сходим еще в кино, зима длинная.

В понедельник Сан Саныч начистился и пошел в Управление.

Заместитель начальника Управления Николай Николаевич Кладько, на помощь которого очень рассчитывал капитан Белов, в Управлении больше не работал. Белов вышел покурить со знакомым диспетчером.

– Отказался дать катер начальнику Игарского отдела МГБ. С работы сняли и перевели куда-то... чуть ли не в штрафную? – одними губами объяснил диспетчер. – Начальник на ушах стоит, ни хрена не понимает, вся работа вверх дном, на Кладько все держалось...

– Старший лейтенант Квасов, – задумчиво произнес Белов.

– Кто?

– Начальник Игарского отдела МГБ!

– Ну да, он и был... А ты чего? «Полярный» вроде в низовья отправляли?

– Увольняться приехал, – к Белову приходила уверенность в правильности решения.

– Да ладно! – не поверил диспетчер. – Тебя к ордену, а ты увольняться...

– Перебьемся. Ухожу из пароходства.

– И Макаров знает?

– Нет, вот иду к твоему начальнику заявление писать, потом к Макарову. – Сан Саныч уверенно вошел в дверь.

Начальником ермаковского Управления был прикомандированный от пароходства Скворцов – пятидесятилетний дядька, юнцом пришедший в пароходство. Безликий и безвредный, сначала по комсомольской линии, потом по партийной двигавшийся карьерной лестницей. Судоводителем он был негодным, поэтому находились для него всякие-разные должности, на которых он сидел тихо. Успехов в работе не было, но и крупных проколов тоже. Он всегда хорошо знал линию партии, всегда занимал правильную позицию, никогда не перечил начальству ипил водку с кем надо и когда надо. Помалкивал и улыбался. И еще – состоял негласным осведомителем в органах госбезопасности. Так и двигался, тихо, но уверенно, серость и бесталанность компенсировались другими его «достоинствами». По окончании навигации он метил перейти на должность начальника Красноярского речного техникума, но тут с Кладько, который и вел всю напряженную работу Управления, случилось ЧП и забот очень прибавилось. И в этот крайне неподходящий момент явился Белов со своим заявлением.

За одно оставление судна капитана Белова нужно было сажать под арест. Но он был орденосцем, отличником, рационализатором, а главное – любимчиком начальника пароходства. Скворцов не хотел выходить на Макарова с такими новостями. Он попытался выяснить у Белова, в чем дело, но Сан Саныч не стал распространяться: «Вы мой непосредственный начальник, подпишите и все! Хочу поменять профессию!»

Вечер, ночь и все утро промучился Скворцов с этой проблемой, жену извел сомнениями и решил позвонить старшему лейтенанту Квасову, который, это Скворцов хорошо знал, не любил Белова и

собирал на него информацию. Квасов будто готов был к такому, перебил:

– Не подписывай ничего, в пароходство не сообщай!

И бросил трубку. После обеда пришла радиogramма из пароходства: Белову выносился строгий выговор с занесением в личное дело за самовольное оставление судна. Подпись Макарова. Вечером Скворцову позвонил Квасов. Пьяный и довольный:

– Значит так, завтра соберете партсобрание трудового коллектива. Тема – аморальное поведение кандидата в члены КПСС Белова А. А. Рекомендация – исключить из кандидатов! Но не сразу – пару недель помуржьте! Сначала ваша парторганизация, потом передайте в вышестоящую, потом в Красноярск его вызовем! И от меня привет передай... – он задумался, – скажи ему так: товарищ Квасов так твою бабу запрячет – сам черт не найдет! Ну давай, пиши, если что! – последняя фраза была любимой шуткой лейтенанта. Он со всеми своими стукачами так шутил. Он их презирал.

Так быстро закончилось короткое счастье Белова с Николь. Его не уволили. Утром он уходил «по делам», только бы не видеть ее тревожных взглядов, и целый день болтался где-нибудь. Через два дня состоялось комсомольское собрание, на другой день собрали партколлектив Управления. Все всё понимали, но говорили то, что от них требовалось. Белов хмуро слушал, опустив голову, и думал: кому все это надо? Кто это придумал? Его возражений, что он любит, что у него ребенок, не слышали. Скворцов гневно жалел беременную жену, порицал – так и сказал! – разрушителя семьи. Казалось, он действительно верит в то, что произносит его бессовестный рот. Сан Саныч знал всех в этой партячейке. В пароходстве все друг про друга всё знают – кто и сколько раз был женат, даже кто с кем гуляет. Были среди партийных и серьезные капитаны. Эти сидели, помалкивая. Курили и смотрели в окно, но голосовали, как и все, не глядя на Сан Саныча, нехотя поднимали руки. Никто не воздержался. Белов перестал сопротивляться. Только на своем стоял твердо – уволюсь! На пароход больше не выйду!

Его укоряли, стыдили, что государство тратило на его обучение силы и средства, что он орденносец – значит, государство доверяет ему! На последнем партсобрании Белов не выдержал, разорался нервно и зло, что он с тринадцати лет честно пашет на это государство,

так пусть оно разрешит ему любить того, кого он любит! Пятнами пошел красными, но ему только воды дали попить, будто ничего и не говорил.

Прошло две недели, за это время провели одно комсомольское и два партийных собрания. Потом его дело передали в Игарскую парторганизацию. В райком. Он должен был ехать. Без решения райкома его не могли уволить.

Сан Саныч боялся уезжать от Николь, вернувшись, он мог не найти жену и дочь. Сердце останавливалось, когда думал об этом, он был на пределе сил. Однажды вечером они сидели в темноте и молчали. Она достала из шкатулки и подала сложенный тетрадный листок.

– Что это? – напрягся Сан Саныч.

– Тут адреса двух моих приятельниц, если вдруг нас разлучат, через них мы сможем найти друг друга. Мария Егель – жена бригадира в Дорофеевске, хорошая женщина, обязательно ответит, а это Аля Сухова – санитарка, она здешняя, ты ее знаешь.

Белов молчал. Листок в руке чуть подрагивал.

– Я на всякий случай, я не отчаиваюсь, – заговорила Николь быстрым шепотом, – мы сейчас вместе, нас не трогают и слава богу, будем так жить. Я скоро смогу выйти на работу в больницу, главврач сказал, мое место за мной держат...

– Ты думаешь... ты чувствуешь что-то плохое?

– Я? Нет! Не плохое... но я все время чувствовала... как только в тебя влюбилась, мне тогда еще страшно стало. Думаешь, это мой ангел-хранитель? – она помолчала, рассматривая его. – Но видишь, почти два года прошло, а мы всё вместе! Может, тебе все-таки в Красноярск поехать?

– Да-да... – Сан Саныч думал о чем-то своем.

– Эти адреса перепиши в записную книжку... и еще куда-нибудь, – Николь пыталась улыбаться, прижималась к его руке.

Свет луны слабо пробивался к ним сквозь мутное плексигласовое оконце. Даже в полутьме палатки Сан Саныч чувствовал болезненность ее улыбки. Никогда раньше Николь не выглядела так жалко, и в этом был виноват он. А он ничего не мог сделать. Если бы ему дали много тяжелой работы, он бы засучил рукава и работал бы день и ночь, сказали бы переплыть вот прямо сейчас Енисей, он бы

прыгнул и поплыл, он мог бы и утонуть, но все это были понятные задачи. То, что происходило с ним, не укладывалось в голову. Это было против правды, против здравого смысла, против их честной жизни и любви.

– В крайнем случае... – она задумалась и замолчала. – Нет, этого тебе нельзя...

– Все равно скажи!

– Я подумала... если ты меня не сможешь найти...

– Почему не смогу, что ты все время...

– Подожди, я знаю слишком много случаев, чтобы об этом не думать. Очень много семей – нормальных, русских, женатых давно и законно – они ничего не знают о своих мужьях и детях! Почему ты думаешь, что мы другие? Меня могут отправить отсюда в любой момент, я разговаривала... странно, что еще не отправили.

– С кем разговаривала?

– С женой коменданта...

– Зачем?!

– Она хорошая женщина, бывшая ссыльная. Она спросила у мужа, он, кстати, тоже нормальный, добрый мужик – он сказал, что связи с ссыльными не приветствуются. Он думает, ты слишком на виду в пароходстве... поэтому все так.

– Ты сказала, если нас разлучат... в крайнем случае? – нервно напомнил Сан Саныч.

– Я думала обратиться во французское посольство, но это очень опасно. Нет, этого нельзя! Меня просто отправят на Колыму! Ответят посольству, что нет никакой Николь Вернье! – Она вздохнула судорожно и замолчала. Потерлась щекой о плечо Сан Саныча. – У меня во Франции есть родственники, но они, скорее всего, думают, что я погибла. Столько лет от меня ничего нет...

Белов молчал. Никакое французское посольство не могло их защитить. Он был ей никто. Ни ей, ни Клер, которая спала рядом в кровати. Их Катька, плод их любви, его дочь... ее нигде не признавали его дочерью, в голову лезли все эти нелепые, выматывающие комсомольские и партсобрания. Люди радовались тому, что портят мне жизнь, они ненавидят нашу любовь. Почему?!

– Саша! – Николь теребила его за плечо. – Ты о чем задумался?

– Я? – Сан Саныч нервно обнял ее, притянул к себе. Еще сильнее прижал.

– Мне больно, ты сильный!

– Я не сильный, Николь... я очень устал. Вчера стоял над Енисеем... я так устал...

Сан Саныч замолчал, он давно хотел рассказать Николь все, что было в Игарке, про его дела с Квасовым... Не решался. И это тоже висело тяжелым камнем. Душа двоилась, он не мог быть стукачом, и тут же понимал, что, пойдя он к Квасову, тот легко мог остановить все их муки. Скворцов несколько раз прямо на это намекал.

– Не вини себя... – прижалась к нему Николь, – я иногда огромное счастье испытываю, просто от того, что ты есть, что у нас есть наша дочь. Я никогда не откажусь от того, что между нами было. Это же было счастье! Любовь! И сейчас есть! У многих ничего такого никогда не было! Правда?! Нас не арестовывают, значит могут оставить в покое! Может, наша любовь нас защищает! Ну?! На что еще могут надеяться люди? – она улыбнулась и почти весело потормошила его.

– Ты правда меня так любишь? – Сан Саныч говорил тихо. Не поворачивал головы.

– Эй! Что такое? Скажи мне! Ты же мой муж! Я из твоего ребра!

– Это я во всем виноват! Я думал, что живу честно, да не так все!

– Ну что ты?! Ты не просто честный, ты страшно наивный... ты иногда просто дурак! Если бы я тебя не любила...

– Подожди! Я сейчас скажу... – он помолчал, отнял у нее руку. Повернул тяжелую голову. – Я согласился быть стукачом у Квасова!

– Кем? – не поняла или не поверила Николь.

– Я подписал бумаги, что согласен сотрудничать с органами!

Николь молчала.

– Я ничего не делал... никого не заложил! Только подписал, Квасов обещал помочь с разводом и с тобой. Он многое может, и сейчас тоже... Но потом я отказался. Сказал, не буду стучать. Он угрожал, уговаривал... Короче, это он все устроил, все эти партсобрания... «приветы» мне передает.

Сан Саныч сдавил челюсти и повернулся на молчавшую Николь, хотел найти ее руку, но не стал. Замер, ожидая ее слов, но Николь молчала.

– Это долго надо рассказывать, я сам не знаю, как получилось, думал, он нам поможет. Он говорил, если я не захочу, могу не стучать... Ну, хватит об этом, – оборвал он сам себя.

Николь взяла его за руку. Гладила ее и молчала.

– Я могу позвонить Квасову... ты понимаешь это?

– И что ты должен будешь делать?

Сан Саныч пожал плечами. Нервно сдвинул ее руку.

– Хорошо бы, конечно, чтобы нас оставили в покое... Но не могу себе представить, чтобы ты... нет... ты же нечаянно это сделал?

– Черт его знает, как все вышло, ты тогда была беременная. Мы с ним коньяк пили... Потом представил себе, что на кого-то пишу. Помнишь эту сволочь Турайкина – подумал, что этого подлеца можно посадить! А на другой день так погано стало!

– Фу-у-у! Я не стала бы жить с таким человеком! Что ты?! – она хмыкнула зло и весело. – Молодец, что... молодец! Я еще больше тебя люблю! Что же делать, такие мы... такая судьба! Катя будет очень хорошим человеком!

– Почему?

– У нее такой отец!

– Какой? – не понял Сан Саныч.

– Красивый, честный и сильный!

– Что ты говоришь... – нервно стиснул зубы Сан Саныч.

– Я серьезно! В России талантливым и честным людям очень трудно жить! Их обязательно найдут... за ними охотятся!

Она замолчала. Сидели, прижавшись друг к другу, слушали ночную жизнь барака. Где-то в дальнем углу тоже негромко разговаривали. Какая-то бабушка непонятным старинным напевом, а может, и не по-русски, баюкала ребенка.

Двадцать первого сентября 1951 года Горчакова Ася, Горчаков Николай и Горчаков Сева сидели в общем вагоне поезда Москва – Хабаровск. Сева, по возрасту, ехал без билета. Контролеры в поезде принимали его за восьмилетнего, и Асе приходилось показывать метрику.

В их купе разместилось две семьи, считая Горчаковых, и одна молодая пара. Безбилетный Сева спал с Асей на нижней полке, на которой обязательно кто-нибудь еще сидел. Было тесно, накурено, за столиком постоянно кто-то ел, пили чай, гасили сигареты в банке из-под килек. В соседнем купе ехали завербованные на далекую Уральскую стройку, выпивать они начали еще на вокзале в Москве, не успел тронуться поезд, а они уже радостно орали, а вскоре достали гитару. Это были в основном молодые парни, они заходили в гости, угощали детей баранками, а мужиков водкой и рассказывали о жизни, о суровом труде в суровых краях.

Так и ехали, ели, спали, глядели в окно, читать книжки не получалось. На вторые сутки у Горчаковых украли один из трех чемоданов. Ночью была большая станция, люди входили, выходили, носили вещи, кричали через весь вагон, лупили орущих детей. Ася не спала и про чемоданы помнила, а утром Коля обнаружил пропажу. В чемодане было постельное белье и летние вещи.

В Красноярск приехали ночью 27 сентября. До рассвета просидели на вокзале. Там было битком, но не так страшно, как на ночных улицах. Утром поехали на речной вокзал. Это было новое просторное здание в стиле московских высоток. Гулкое, с лепниной и высоким острым шпилем на крыше. Здесь народу было еще больше. Ася усадила ребят на вещи и ушла в огромную очередь.

Уже к обеду стало ясно, что очередь не движется, а живет какой-то своей жизнью. Дело шло к концу навигации, пароходов вниз уходило много, но мест не было нигде. Ни в третьем классе, ни на палубе. Особенно трудно было тем, кто, как Горчаковы, плыл далеко. Местные недоверчиво и недовольно посматривали на худую, по-московски одетую мамашу, на чистеньких детей и качали головами. Билетов не было.

Следующий день тоже не дал результатов. До Дудинки ушел большой пароход, и хотя билетов не продавали, многие из очереди на него сели. Первого октября туда же уходил пароход «Мария Ульянова». Ася с ребятами целый день стояли в толпе. Очередь почти не двигалась. Перед самым закрытием касс она нечаянно купила билеты. Подошла с испуганными глазами и зашептала:

– Пойдемте, я купила!

Длинная двухпалубная «Мария Ульянова» стояла у причала, но на нее не сажали – посадка начиналась рано утром. Они устроились среди таких же ожидающих, в холодном полуоткрытом павильоне. Стемнело, было сыро, холодно, ветер продувал насквозь. Они сидели тесно прижавшись, уже и не разговаривали, все было переговорено, иногда ели хлеб и запивали водой.

Люди сидели кучками, семьями. Дремали, ели. Рядом закусывали несколько мужиков, они тоже были не местные, возможно в командировку ехали. Выпивавший с ними старик в черном бушлате железнодорожника покуривал и рассказывал хрипловатым голосом:

– В Красноярске воря, ребята, больше, чем нормальных людей. Одна пересылка на сорок тысяч... опять же и зоны вокруг – сколько заводов пускают! Завод искусственного волокна уже работает, «Сибэлектросталь», завод синтетического каучука строят – резину искусственную будут делать. Следующий год обещаются пустить телевизорный завод. Всё они, горемычные, и строят! Их тут тысячи тысяч, ребята, так что аккуратно надо!

Билеты в третий класс лежали в кошельке, кошелек в дамской сумочке, сумка под пальто прижата к груди. Ася билеты купила не в кассе и теперь страшно тряслась, что они окажутся фальшивыми. Дети спрашивали, как ей удалось купить, но она строго и испуганно хмурила брови и молчала. И прижимала их к себе: спите!

Утром, до рассвета еще, народ начал стекаться из города, те, что ждали на пристани, тесно сгрудились у трапа. В семь должна была начаться посадка, но никого не было, в полвосьмого только появились билетеры и весовщики, чтобы взвешивать багаж. Народ ждал хмурый, голодный и невыспавшийся, то и дело возникали перебранки, кто-то нагло лез через головы с огромным чемоданом, те, что стояли у самого трапа орали, чтобы на них не давили: Перила ломаете! Ребятишек подавите! Ничего не помогало, задние, улыбаясь друг другу, поддавливали, чтобы нарочно поломать те перила, чтобы начали посадку. Ближе к восьми страсти накалились – в начале очереди две бабы с трехэтажным матом и визгами посрывали друг с друга платки... Наконец появился кто-то из начальства, и начали взвешивать вещи и пропускать на борт.

Очередь сломалась, люди, злобно ругаясь, лезли с чемоданами, узлами и мешками, побеждали сильнейшие. Ася с ребятами сели почти

последними.

Каюта была на нижней палубе, с узким окном, заложенным вещами, места в ней было меньше, чем в купе поезда. На их полке расположилась толстая тетка с двумя маленькими ребятишками и большими сумками, кормила их чем-то, что доставала рукой из сумки и пихала в ротик. Возможно, это был прокисший творог – пахло очень скверно. Ребятишки помогали себе руками, размазывали еду и сопли по лицам и лавке. Баба кормила и совершенно не обращала внимания на Асю с детьми, стоящую в дверях. С билетами в руках.

Ситуацию неожиданно разрешил Сева. Он взял билеты и шагнул к тетке. Встал так близко к ней, что той уже невозможно было делать вид:

– Простите, гражданочка, – начал Сева очень уверенно, и в купе все улыбнулись, – вот наши билеты, это наши места. Это и это!

Тетка, возможно, готовилась поскандалить с тощей интеллигенткой, но тут только тупо уставилась на Севу. Даже закрыла сумку с едой. Сева поправил очки и ждал, ждало и все купе.

– Чего он? – тетка зло нахмурилась на Асю.

– Да не «чего он», а билет свой покажи! – раздался мужской голос со второй полки. Мужчина отодвинул газету, это был милиционер.

Тетка закричала хмуро и, поругиваясь вполголоса и подгоняя ребятню, стала собирать свои сумки. Когда она вышла, Сева, придерживая очки, задрал голову наверх:

– Спасибо! – поблагодарил милиционера и сел на лавку.

– Не за что, им до Енисейска плыть... я ее знаю! – милиционер снова уткнулся в газету.

В девять заиграли марш «Прощание славянки», большой пароход громко зашлепал колесными плицами, отвалил от пристани и стал разворачиваться вниз по течению. Черный дым вылетал из огромной трубы в холодное чистое небо. Вода под бортом тоже была по-осеннему прозрачная и казалась голубоватой.

Они поднялись на верхнюю палубу, рассматривая Красноярск. Строящуюся набережную, современные дома, дворянские с колоннами, купеческие, бараки... Народ с билетами четвертого класса располагался в проходах и на палубах, в основном это были крестьяне, стелились привычно, устраивали детей. Все улыбались, были радешеньки, что попали на рейс. Кто-то уже и разливал, и резал

нехитрую закуску. Ася с детьми встали на корме. Наконец-то они почувствовали себя в безопасности и немножко свободными. Два чемодана были сданы в багажную комнату, и о них можно было не думать, продукты и сумка с дорожными вещами и туалетными принадлежностями остались в каюте. Соседи, семья из трех человек, были симпатичные норильчане, они выходили на конечной – в Дудинке.

Вскоре город кончился, по левому берегу тянулась деревня или пригород, за ним – длинная промышленная стройплощадка: большие металлические конструкции лежали, кучи песка и щебня. На правом берегу жилья не было – желто-красный осенний берег с покосами, стога, сметанные крестьянскими руками. Мужики с лодки расправляли невод в устье речки. Ася улыбалась невольно, машинально перевязывая платок на голове, думала о том, что все, в конце концов, сложилось неплохо, и молила Бога, чтобы так же все и было.

– Я знаю, какую взятку ты дала! – Сева отвернулся от пейзажа и посмотрел на уши матери, в которых не было сережек.

– Тс-с, Сева! Ты что?

– Расскажи, мам? – попросил Коля негромко.

Ася смотрела на сыновей, собираясь с мыслями. Потом улыбнулась расслабленно:

– Я уже думала, домой придется возвращаться. Стою в туалете, мою руки, а рядом тетка какая-то посматривает на меня. И вдруг спрашивает: тебе куда надо? В Ермаково, отвечаю. На «Марию Ульянову»? На нее бы... Сколько билетов? Один взрослый, один детский! Пойдем, говорит! Я подумала, мошенница, сумочку прижала крепко, а она: «Не бойся! Я в кассе работаю. Сережки отдашь?» – и смотрит на сережки Натальи Алексеевны. Я и отдала...

– Это и правда взятка! – Коля смотрел недовольно.

– Не перебивай! – дернул его за руку Сева.

– Больше ничего – отдала сережки и деньги, и она принесла три билета. – Ася смотрела весело. – Тетка честная оказалась...

– Ты была очень бледная, когда пришла с билетами... – Сева серьезно изучал мать.

– Да?! Ну да... я еще никогда не давала взятку. Не будем о грустном, смотрите, как красиво! Нам почти неделю так плыть, кажется, Господь над нами сжалился. И погода хорошая.

– У нас целый месяц до конца навигации, – Коля, улыбаясь, обнял мать. – Ты уже не боишься, что мы опоздаем? Или что не найдем нашего отца?

– Мы найдем его... – сказал Сева, как будто точно знал это. Он, придерживая очки, смотрел за борт, не отрываясь от стремительной воды. – Какая река! Страшноватая!

Енисей был неширокий и быстрый, бакены лежали на боку от сильного течения. Вода вокруг них бурлила, пароход не шел, а летел мимо. Близкие берега были высокие, заросшие тайгой, иногда скалами обрывались в темную воду. Осень окрасила холмы в любимые свои цвета. Березы, осины и лиственницы стояли цыплячье-желтые, бурые или винно-красные. Зеленели кедры и ели, рябины гнулись под яркой тяжестью.

Сева, не отрываясь смотрел на разлив этих красок в воде, на отражение солнца, неба и облаков. Думал, что и отец, где-то там далеко вниз по течению Енисея, тоже может сейчас смотреть на это же солнце. Солнце было одно на всех. Отец должен был быть похож на умершую бабушку, она была строгой, очень умной, очень много читала. Еще отец, как и мама, играл на фортепиано. На фотографиях отец-пианист не был похож на отца-геолога. Это были два разных человека. «У Севы отцовы глаза, – говорила бабушка, – и сосредоточенность. И Гера и Сева все время во что-то углублены». Сева пытался представить, что отец такой же, как и он сам. Это было труднее всего. Он покосился на мать и понял, что она тоже думала об отце.

50

Ночью на Енисее стреляли. Романов вышел покурить и услышал торопливые автоматные очереди. Стреляли выше его острова, что было за судно, Валентин не разглядел.

Утром у другого берега напротив Ангутихи стоял буксир с длинной баржей для заключенных. Зэки чего-то начудили ночью, понял Валентин, или сбежали. Место для побега было негодное – Енисей был широк, но даже если и доплыли до берега, добраться отсюда до людных мест не получится. Он закурил, вырвав на

моторке из протоки и присматриваясь – у баржи суетился катерок. Валентин погасил верхние бакены и поплыл к нижним. С баржи замахали руками. Он подрулил.

– Кто такой? – спросил немолодой старший лейтенант конвойных войск. Морда узенькая, будто в детстве дверью прищемили.

– Бакенщик... – в тон ему ответил Романов, хмуро глядя в злые глазки старлея.

– Садись к нему! Двое! Чтоб весь тот берег прочесали! – старлей махнул в сторону романовского дома.

– У меня бензина нет... – не уступал Валентин.

– На веслах пойдешь! – старлей отвернулся и зашагал по пустой палубе к домику охраны.

Двое, солдат и ефрейтор, с автоматами в руках уже попрыгали в лодку. Валентин посидел еще, что-то соображая, и отчалил.

– Куда плыть?

– Туда давай! – показал ефрейтор, испуганно озираясь на лейтенанта.

– Кого ищете? – уже спокойнее спросил Валентин, доставая папиросы.

Бойцы помалкивали.

– Много сбежало? Чего молчите?

– Ты, дяденька, закурить-то бы дал, – неожиданно попросил Валентина рядовой.

Валентин достал из пачки пару папирос. Лет двадцать было мальчишке, лицо деревенское, с глуповатыми светлыми усиками. Окал так, что не разобрать было. Солдатик прикурил, блаженно втягивая дым, передал спички товарищу.

– Один ночью за борт прыгнул, теперь вот не спим, не жрем... да и был бы бандит, а то малолетка дохлый, сразу и уходился, видать. В такой-то воде кто выживет? Тот берег весь прошли, а на этот ему и не попасть никак, течения вон куды! У тебя, дядя, хлебца-то нет с собой?

Еды у Романова не было.

– Ну, куда вам? Тут дальше острова песчаные...

– Вон к тем кустам, что ли? Или к лесу?! – всматривался в лес ефрейтор.

Баржа с заключенными ушла только после обеда. Никого не нашли. Старший лейтенант сам пришел на катере в протоку к

Романову и обшарил все хозяйство. Валентин до самого вечера прибирался после обыска, злой уплыл на бакена, вернулся совсем уже ночью. Долго не мог уснуть, думал лежал... все больше об этом паскудном узкомордом лейтенанте. Взыщут с конвойного служаки за побег! Деревенский мужичок, ухватку-то видно! Чуть собак не перестрелял, так позавидовал на хозяйство. Валентин крикнул с досадой, что нельзя было старлея в Енисей с лестницы спустить... Он поднялся, нашарил в темноте курево и пошел на улицу.

Над рекой уже слегка светало, роса выпала, Валентин смахнул рукавом лавочку, уселся, не закуривая. Опять ему этот убежавший малолетка примерещился. Будто сидит сейчас где-то в кустах, может и рядом, а зайти боится. Анна вышла с платком на плечах:

– Ты чего, Валя?

– Отрежь-ка кусок хлеба, поеду поищу...

– Кого?

– Да пацана этого, они по тому берегу искали, а его должно было на острова вынести. Если не утоп, конечно. Поеду.

Валентин не стал заводить мотор, на веслах пошел по течению. Видно уже было неплохо. Он чалился, выходил на берег, искал следы. Ничего не было. Он спустился до поворота, до последних островов. Ничего. Следы чаек да медведик небольшой набродил ночью по песку. Дальше смотреть не имело смысла.

Солнце уже поднялось и заиграло на вершинах островных тальников, тени потянулись по песку и холодной воде, но выглянуло оно ненадолго – все небо было затянуто серым свинцом. Валентин неторопливо греб против течения, возвращаясь домой. Погода в это время всегда приходила с запада – темные дожди лили дни напролет, ночами шел мокрый снег и по утрам под ногами было серо и скользко. Работать можно было только под крышей. За этой, иногда и двухнедельной скукой, всегда как будто неожиданно, но уверенно приходил морозный север. За час разгоняло тучи, появлялось солнце, и все замерзало... часто и насовсем, до весны.

С концом навигации наступало его время. Он спокойно занимался хозяйством, раз в месяц возил Анну отметить к коменданту в Ангутиху. Посторонние люди к ним на остров забредали редко. Комендант с председателем совхоза могли заскочить выпить на дармовщину. Этим приходилось терпеть. Валентин представлял себе

белый заснеженный Енисей, охоту, Гнедка, все лето вольно пасшегося на островах.

Валентин подплывал уже к своему «шалашу», где последний раз тяжело разговаривали с Сан Санычем, и услышал кашель. Прислушался. Подумал на собак, но кашель был человеческий. На его лежанке из лапника скорчился тщедушный мальчонка, босой и в одних драных кальсонах. Он лежал, уткнувшись себе в колени, с закрытыми глазами и слабо и глухо кашлял. Это был кашель помирающего, Валентин его хорошо помнил – доходяги так дохали. Бессильно и почти беззвучно. Если бы не свернул за сетями, с реки не услышал бы. Он взял беглеца за плечо, тот не реагировал, тело было не холодное, но странно теплое. Валентин приложил руку ко лбу – у парня была горячка.

Он легко поднял его на руки, баран весил больше, и пошел к лодке.

Анна застыла на мгновение, увидев их в дверях, в ее лице многое мелькнуло, Валентин и сам об этом думал, пока плыл, но тут же постелила старое одеяло на лавку и помогла уложить. Парнишка был без сознания, бритый, очень худой, с потрескавшимися губами, с шелушащейся кожей, грязными руками и ногами. Прямо заморыш. Анна стянула с него кальсоны, просмотрела их, и, нахмурившись на вшей, вынесла из избы. Валентин курил, глядя на костлявые руки и ноги, на торчащие ребра, думал о чем-то строго и сосредоточенно. Анна вернулась с дровами, свалила у плиты.

– Давай затоплю, – Валентин присел к печке. – Доходит, видно, даже глаза не открывает.

– Легкие застудил... – Анна пересматривала мешочки с травами.

– Мама, а кто это? – высунулись из-под одеяла сразу две детские мордочки.

– Спите, рано еще! – Анна задвинула шторку. – В баню его надо, Валя! Если кто-то увидит... Ты что с ним думаешь?

Беглец опять начал кашлять слабо, будто и не кашлял уже, просто остатки жизни выходили.

– Да что тут думать, выхаживай пока! – нахмурился Валентин. – Не выживет он... на собачонку помирающую смотреть тяжело, а тут человек.

Вечером беглец открыл глаза. Мутные, вялые, ничего не видящие глаза умирающего. В бане было темновато, Анна поднесла лампу, мальчишка почти не реагировал на свет. Дала ему ложкой теплого куриного бульона. Он сделал пару глотков и его стало тошнить. Анна губами попробовала лоб. Температура держалась высокой, но он не потел и перестал кашлять. Закутала в ватное одеяло. Валентин вошел:

– Ну что?

– Не знаю, только бы не заразный... – Анна присела рядом с больным.

– В себя-то не приходил?

– Нет. Малиной с медом напоить, да он не пьет почти...

– Обрезанный он... мусульманин, видать, – Валентин наклонился, всматриваясь в лицо больного. – Совсем мальчонка еще...

– А лицом, как худой мужик... и глаза что-то мутные.

– От голода все такие. Может, баню как следует натопить да пропарить?

– Нельзя ему, – Анна заговорила, понизив голос, как будто их кто-то мог услышать. – Найдут его у нас – беда будет. У нас ребятишки...

Валентин молчал, не глядел на жену. Сел с другой стороны беглеца.

– Ангутихинские узнают, обязательно сдадут в милицию! – продолжала шептать Анна.

– Посмотрим... Пусть выживет сначала, что уж ты?

В этот момент больной засипел, будто что-то силился сказать, они присмотрелись к нему, но он лежал все так же полумертво, с закрытыми глазами.

Ночью Валентин лег спать на лавке в предбаннике. Прислушивался, когда беглец проявлял признаки жизни, насильно поил травяным отваром, бульоном.

Утром показалось, что парнишка умер, Валентин потрогал его, постоял хмуро и пошел за Анной. Анна приложила ухо к груди – больной еще дышал.

На третий день он первый раз вспотел, начал шевелить руками и пальцами и стал пить. К вечеру у него начался сильный жар, Валентин растер его самогонкой, Анна настаивала травы, вспоминала, улыбаясь, свою бабушку, та всех лечила.

Первый раз он посмотрел осознанно день на пятый-шестой. Взгляд был все такой же измученный и вялый, но в нем был вопрос. Вскоре, впрочем, вопрос исчез, он снова стал тихо бредить на своем языке. В этот же вечер он съел немного размоченного в молоке хлеба. Анна с Валентином уже привыкли к нему, и мысль о том, что он может умереть, была тяжелой, но по мере того как в беглеце проявлялись новые признаки жизни, Анна все больше и больше тревожилась. Ребятишкам было строго-настрого наказано не ходить к нему и ничего не говорить о нем, они согласно кивали светлыми кудряшками и тут же спрашивали, нельзя ли посмотреть только одним глазком и не всем сразу, а по очереди.

Выручала тяжелая октябрьская непогода, к ним никто не заглядывал. Беглец начал садиться, сам ел ложкой. Однажды вечером Анна не выдержала и зашептала, чтобы не слышали дети:

– Тебе за него двадцать пять лет дадут, Валя!

Валентин подшивал валенок. Молча на нее посмотрел, но тут же отвернулся к работе.

– Что предлагаешь? Оперу его отвезти? – он проколол подошву и вытянул иголку с суровой ниткой. – Сам все время думаю...

– Может, в Туруханск его отвезешь? Там интернат?

– Без документов?

– Скажет, потерял...

– Если я привезу, сразу вычислят, кто он и откуда. Ему за второй побег...

– Почему второй? – не поняла Анна.

– Стрелки говорили, он за побег из ссылки три года получил, значит ему лет шестнадцать... Теперь как рецидивист пойдет! – Валентин поскреб щетину. – Так и не разговаривает с тобой?

Анна покачала головой. И опять зашептала, наклоняясь к мужу:

– Дикий он совсем, сегодня из бани выглядывал, высматривал что-то! Я вошла с тарелкой, он сидит и зверенышем на меня смотрит! За что он нас ненавидит...

Валентин накинул телогрейку, но остановился в дверях:

– Он и есть звереныш... Спасибо большевикам-коммунистам! Мы-то с тобой чем лучше на нашем острове?

– Так нормальные люди не смотрят, Валя! Я его кормлю и боюсь!

– Не бойся, он не урка. Тех я за версту чую! – Валентин почти весело подмигнул жене. – Поговорю с ним завтра.

Утром беглеца в бане не было. Валентин нахмурился, прошелся по хозяйственным пристройкам, вышел к реке – лодки, весла – все было на месте. Вернулся в избу, Анна никуда не выходила, только корову доить. Смотрела тревожно.

Валентин снова пошел в баню, ощупал постель, она была холодная, просмотрел внимательно инструменты в мастерской – ничего не тронуто. Выпустил собак из загородки и стал спускаться к реке. Вскоре на песке обнаружили следы босых ребячьих ног. Они уходили вниз по течению, у первой же протоки, не задумываясь, вошли в воду. Валентин остановился и, чертыхаясь на холод, стал стягивать сапоги, потом штаны. В нагрудный карман рубахи сунул папиросы и спички, завязал ее на пузе, и так – в одной рубахе и трусах шагнул в воду. Как огнем ожгло ледяным холодом, гусиная кожа побежала по телу. Валентин перебрел, тут было чуть выше колена, побежал, согреваясь и соображая, почему мальчишка ушел? И куда идет? Собаки, не очень понимая, что делает хозяин, мокрые, весело скакали рядом.

Вторая протока была глубже и шире, Валентин перешел и ее и побежал вперед, не разбирая уже следов. Следующая протока была глубокая, с сильным течением, на другой ее стороне начинались сплошные пески, еще протоки и песчаные дюны – остров тянулся почти на двадцать километров. Валентин забрался на песчаный бугор и стал всматриваться в серо-желтую даль. Никого не было видно. Он пошел берегом, думая где-то переплыть, но протока была опасна, надо было возвращаться за лодкой. И тут в прибрежных кустах залаяли собаки.

Беглец сидел на куче лесного мусора, намытого рекой, и страшно дрожал. От собак не защищался, они, впрочем, и не насакивали, на Валентина не посмотрел. Тощие руки обхватили мосластые коленки. Трясло его крепко. Лицо, особенно губы, были серые от холода.

– Ты куда шел? – спросил Валентин, стараясь быть дружелюбным, он тоже замерз.

Беглец молчал, дрожа локтями и всем телом. Отвернулся.

– Я тебя спрашиваю! – надавил было Валентин, даже потянулся взять его рукой, но одумался.

Прошелся, растираясь от холода, нашел берестяную скрутку, нагреб веток, и, встав на корячки, стал разжигать. Подкладывал сучочки и, улыбаясь довольно, благодарил Господа, что тот придумал бересту. Костер задымил-задымил, ветер раздувал огонь, и вскоре хорошо уже затрещало, Валентин притащил сучьев и пару бревешек от берега, навалил сверху. Протянул грязные руки к огню, он здорово замерз. Папиросу подкурил.

Мальчишка все это время сидел одним боком к огню и не шевелился.

– Ты, чай, не на допросе, а я не кум! Как зовут-то?

Мальчишка молчал. То переставал дрожать, то снова колотило.

– Что, обидели тебя? Русские обидели? Ты вообще по-русски умеешь?

У Валентина от тепла костра, от папиросы и от того, что нашел пацана, поднималось настроение. Он затынулся несколько раз подряд, все думая о чем-то:

– Идти тебе некуда. Отсюда одна дорога – в лагерь, там ты и месяца не протянешь... – Валентин поправил костер и покосился на беглеца, тот сидел притихнув. – Умно будешь себя вести – живи до весны, посажу тебя на какое-нибудь судно... или еще чего придумаем. Сейчас – бесполезно! Если так бегать будешь, сам сгинешь и нас всех погубишь. Понимаешь ты меня?

Парнишку звали Азиз. Было ему семнадцать. В сорок четвертом году, когда его родное чеченское село окружили войска, ему было десять лет. Его отец, учитель русского языка, воевал на фронте. Их погрузили все в те же вагоны для скота и повезли в Казахстан. Мама, два брата, младшему было три года, и старый дед, потерявший руку на Первой мировой войне. По пути в вагоне умер от скарлатины младший брат, вскоре после приезда пришла похоронка на отца, а в сорок пятом за побег из фабрично-заводского училища посадили старшего, пятнадцатилетнего Тимура. Через год от него перестали приходить письма. В сорок восьмом мать надорвалась, помогала лошади вытаскивать из грязи груженую телегу. Промучилась неделю и умерла, оставив однорукого деда с пятнадцатилетним Азизом. Работали в совхозе. Дед сторожем, Азиз – рабочим за еду, жили очень голодно.

В пятидесятом за то, что дед служил урядником, то есть сержантом в царской армии, его снова сослали. Теперь уже из

Казахстана. Азиз был сослан вместе с ним. Их опять повезли, сначала по железной дороге, потом перегрузили на баржу и отправили вниз по Енисею. Дед в дороге заболел, его сняли с баржи и положили в больницу. Азизу конвой не разрешил остаться, заперли в трюме... на следующую ночь он убежал. Прыгнул в воду, когда баржа проплывала недалеко от берега, и пошел пешком обратно к деду. Через несколько дней его, обессилевшего от голода и зажранного гнусом, сдал в милицию бакенщик. Суд был в Игарке. За побег из ссылки дали три года лагерей. Погрузили на баржу и опять повезли. Теперь уже вверх по Енисею, с зеками. В трюме, под замком и за решетками. Через несколько дней, ночью, улучив момент, он снова прыгнул в воду. По нему стреляли, и эти выстрелы слышал Валентин Романов. Самым невероятным во всей его истории было то, что Азиз не умел плавать.

Все это Азиз мог бы рассказать Валентину, но с некоторых пор он начал ненавидеть русских. И чем дальше, тем ненавидел их сильнее и сильнее. Русские для него были хуже фашистов.

Азиз повернулся и посмотрел в глаза Валентину. Тот спокойно курил:

– Понимаю... не любишь нас... Нас теперь многие не любят. Хохлы, татары, казахи... я среди бурят жил, те после раскулачивания тоже... Люди теперь так. Анна у меня – латышка. Латышей ты тоже не любишь?

Парнишка сидел, напряженно слушая.

– Что же пошел, даже хлеба не взял? И на ноги чего-то надо было придумать... Я первый год в лагере много думал, чтоб убежать. У тебя-то есть кто? Или один? Как зовут-то тебя?

Азиз молчал, уткнувшись в колени, только бессильные слезы катились. Валентин смотрел на него удрученно – худой, как кошка, в чем и жизнь держится, а сердце о ком-то горюет.

– Пойдем, застынем тут... – Валентин встал.

Мальчишка не двигался.

– Пойдем, захочешь уйти, уйдешь, хлеба тебе дам, одежду, но торчать нам здесь не надо – рыбаки ангутихинские увидят – с кем это там Романов в трусах гуляет? Стукнут коменданту! Пойдем!

Дома Валентин натопил жаркую баню, но мальчишка с ним не пошел, лежал в предбаннике на лавке лицом к стенке. Поел, правда. Там и заснул. Валентин, напарившийся, красный, сидел покуривая в

приоткрытую дверь. На дворе было уже темно, шел дождь со снегом. Валентин прислушивался к тревожному дыханию парнишки – не заболел бы снова, и думал о своем Мишке.

У него, у Валентина Романова и детство, и юность были счастливыми. Люди в те времена были людьми. И сравнивать нельзя.

Утром весь двор и бугор, и острова с противоположным берегом были бело-рябые от снега. Подмораживало. Романов вытягивал воротом лодки на бугор, уносил все с берега. Мальчишка в окно бани напряженно наблюдал за его работой, но помочь не вышел.

Наступало время бездорожья, по Енисею шла шуга, несло льдины, потом отпускало ненадолго, потом снова несло лед, образовались забереги, торосило. Романов сбегал на охоту с собаками и три дня таскал из леса лося.

Заговорил Азиз с Анной, сначала поблагодарил за еду, потом попросил ниток и кожи для обуви. Но и после этого несколько дней молча шил кожаные чуни. Анна приносила еду и видела отрешенное, почти старчески скорбное лицо. Однажды вечером Валентин застал его стоящим на коленях над скалистым обрывом. На самом краю. Азиз молился. Валентин подошел осторожно и ухватил его за плечо, мальчишка рванулся испуганно, но Валентин держал крепко, увел его от обрыва:

– Так не пойдет, сынок! Ты что? Так негоже! – он силой вел его во двор.

В бане только отпустил. Сел у дверей. Было темно, через оконце попадало немного света.

– Если бы я к твоему отцу в дом попал, а меня энкавэдэшники искали, он бы меня выдал?

В бане было тихо, только ветер шумел снаружи.

– Что молчишь? Я же русский?! Неужели выдал бы?!

– Нет! – резко вскинулся мальчишка. – Нет! Мой отец – человек!!!

Валентин впервые слышал его голос.

– Вот и я не выдал, что же ты так? Анна тебя боится, и сам ты... зачем на обрыв встал?! За этим тебя выхаживали? Придет время, твой отец мне спасибо скажет.

– Моего отца нет, деда тоже нет... Лучше бы меня убили! – мальчишка говорил с сильным акцентом и яростью, но ярость назначалась не Валентину.

– Не убили, значит, ваш Аллах того не пожелал... – Валентин похлопал себя по карманам, но папирос не было. – Я в лагере с одним мусульманином сидел, ели с ним вместе, спали рядом. По-лагерному это значит друг. Крепкий был мужчина. Так же вот, как ты, портянку свою чистую постелет и молится за бараком, за тем же бараком и православные наши стояли. Если хочешь, молись, тут тебе никто ничего не скажет.

Валентин помолчал, опять пощупал карман, где не было папирос:

– А захочешь помогать – помогай! Я лося таскал, про тебя думал, вдвоем-то мы быстрее бы его приперли. На охоту никогда не ходил?

Постепенно Азиз перестал дичиться, иногда и улыбался, но чаще был просто спокоен. Помогал Валентину охотно, старательно, в дом без нужды не заходил, на Анну и ребятишек смотрел как-то особенно, будто они напоминали о чем-то горестном. О себе не рассказывал, да Романов и не спрашивал.

51

Белова вызвали в райком. Предписывалось явиться с попутным судном – «Климент Ворошилов» утром уходил в Игарку. Это уже было совсем серьезно, и Белов полдня слонялся по Ермакову, придумывал себе дела, шел куда-то, но потом возвращался, ничего не сделав. Он был уверен, что в Игарке его арестуют. Не мог смотреть в глаза Николь.

Уже стемнело, когда он, нагруженный покупками, пришел в их брезентовое жильё. Перед входом попытался сделать спокойное лицо, но чувствовал, как внутри все трясется. Звонкий писклявый Катькин смех был слышен, закатывалась на всю огромную палатку. И от этого чудесного детского смеха, от чего людям всегда становится лучше, Сан Санычу стало совсем тяжко. Хмурый, еле шел темным коридорчиком, отодвинул брезентовый полог... сердце застучало от неожиданной радости – в их комнатенке сидел Горчаков, которого он не видел целую вечность. С Катькой на коленях, осторожно щекотал и слегка подбрасывал. Видно было, не умеет лагерный фельдшер обращаться с малышами. Катька ликовала. Белов тоже улыбался.

– Саша, ты где ходишь, мы заждались! – весело набросилась Николь. – Георгию Николаевичу уходить уже надо! Ты хлеба купил?

В авоськах Сан Саныча чего только не было, а про хлеб забыл. Обнялись с Горчаковым. Георгий Николаевич был сильно загоревшим и как будто помолодел. От коньяка и еды отказался, а вскоре и поднялся, ему надо было в больницу на операцию. Белов пошел проводить и все рассказал – про то, что самовольно оставил судно, что не увольняют, про партсобрания... Горчаков некоторое время шел молча, потом остановился:

– Надо вам где-то пересидеть это дело!

– Не получится, завтра утром увозят в Игарку.

– Можно лечь в больницу... – Горчаков напряженно соображал. – Поговорю сейчас с Богдановым.

– Да зачем все это? – Белов поморщился и недовольно отвернулся. – Я уже устал... поеду.

– Положим вас на пару недель... – Горчаков взял его за плечо. – Они, конечно, могут и с больничной койки взять, но сюда еще надо добраться. Навигация вот-вот кончится, дорог месяца полтора не будет, этот ваш Квасов может в отпуск улететь, да что угодно... Так и надо сделать...

Сан Саныч стоял, растерянно его слушая, по лицу было видно, не нравится ему все это:

– Вы, Георгий Николаевич, как преступника меня прячете, а я ничего не сделал.

– Я знаю, Сан Саныч. И Квасов это знает...

– Не хочу прятаться! Никогда так не делал!

– Боюсь, придется! – довольно жестко перебил Горчаков. – У вас жена и дочь. Если вас арестуют, Николь может пойти по вашему делу...

Белов застыл несогласно, но Горчаков заговорил быстро и требовательно:

– Надо лечь с аппендицитом, Богданов, в конце концов, может вам шов сделать, и все будет правдоподобно. Не бойтесь...

– Я не боюсь...

– Вам нужно выиграть время, – не слушал его Горчаков, – вы же говорили с Макаровым?

– Говорил, он мне верит и обещал помочь.

– Если он молчит после всех этих партсобраний, то у него не очень получается.

На следующий день вместо того, чтобы садиться на пароход в Игарку, Белов лежал в палате на восемь человек, в самом мрачном расположении духа. В комнате все были послеоперационные, по-настоящему больные, он же был здоров и страдал от нехорошего вранья, в котором участвовал. И даже представлял себе, что чекисты кладут его на настоящую операцию и обнаруживают, что аппендицит у него на месте. Но когда его мысли забредали в Игарский райком партии, ему становилось страшно и тоскливо до удушья, и он начинал трусливо радоваться, что есть законные основания не ехать. Почему-то этого райкома он боялся больше, чем Квасова.

Успокаивали серьезные лица Горчакова и хирурга Богданова. Богданов, хоть и заключенный, был хорошо известен и с его мнением считались. Вчера вечером после разговора с Горчаковым он вышел из своего кабинета и внимательно рассмотрел Сан Саныча. Сегодня утром тоже был очень серьезен, и Белов понял, что Богданов, глядя на него, думает не об операции.

Внизу живота болело, капитан Белов осторожно потрогал ругой повязку, поморщился болезненно. Он не знал, как его там разрежали.

– Болит? – раздалось с соседней койки.

Небольшой живой мужичок с торчащими рыжими бровями смотрел заботливо:

– У меня грыжа пупочная. Вчера сделали. Два дня лежу, потом надо ходить. Врачи требуют! У тебя аппендицит – три дня лежишь – потом вставай и вперед! Современная медицина! – он улыбнулся довольный. – Меня Николай зовут, на центральной электростанции помощником механика работаю. Жена, двое детей! А у тебя?

Сан Саныч скосил глаза, не решаясь повернуться.

– Да не бойся! Мы молодые, на нас, как на собаках, все зарастает! Дети есть?

– Есть, – выдавил из себя Белов и тоже улыбнулся на непосредственность соседа.

За последние три недели он ни с кем так вот запросто не разговаривал, всё было под страшным напряжением. Сосед просто болтал с ним. Он вдруг почувствовал себя в безопасности. С ним

сейчас ничего не могли сделать! Ни арестовать, ни разбирать на партсобрании...

– Эй, ты что не слышишь? Тебя как зовут-то? – спрашивал сосед Николай.

– Меня? – Белов вспоминал свое имя, – Сан Са... Александр, – поправился и опять улыбнулся.

– Я в позапрошлом году у нас в райцентре лежал с почками, кормили, как в тюрьме! Как не посдохли все! А тут кормежка, что надо! Каша с маслом, а на обед щи вчера были, сегодня – уха! Вечером мясное обязательно! Ты не думай! Да еще жена принесет! Моя с утра должна была прийти, да она в две смены сегодня – за сентябрь план выполняют! Ты не куришь?

Белов покачал головой.

– Я тоже не курю, но за компанию можно было бы. Ты на трассе или в Ермаково? Ты кем вообще, не экскаваторщиком? Тут у нас один товарищ два года экскаваторщиком на трассе отработал – домик приобрел в Анапе. Зовет в отпуск, фрукты, говорит, там и покупать не надо – через заборы висят! Сам-то сколько зарабатываешь?

– Я на буксире работаю.

– О-о! – поразился чему-то Николай, вздыбив брови. – Кем?

– Боцманом!

– Ну да? – не поверил Николай.

– А что?

– Боцман толстый, а ты не толстый... И по лицу тоже... молодой ты еще. А денег сколько?

– Тыщу.

– Мало! У тебя работа опасная! У меня на электростанции тыща пятьсот, а кто на сдельной да на трассе, те и по две, и по три заколачивают! Но все равно хорошо. Я из Тамбовской области, – он перешел на шепот, – у нас там народ за трудодни корячится, только с голоду не подохнуть! Тятя рассказывал, у них раньше свиньи лучше питались! Я сначала в Тамбов на завод уехал, там ФЗУ закончил и сюда. Тут много платят! Ты у нас в ресторане был?

– Был, – кивнул головой Сан Саныч, ему уже надоел этот рыжий Коля.

– Также хочу пойти, да моя не пускает, говорит, там разврат! А мне интересно посмотреть. Разврат там?

– Саша! – услышал Сан Саныч громкий шепот. В дверь заглядывала Николь. – Можно мне?

Николь была с Клер на руках. Подошла, торопливо разматывая с нее одеяло. Поцеловала Сан Саныча.

– Что тебе принести?

– Да ничего ему не надо! – охотно ответил за Сан Саныча Николай. – Больница супер-люкс! По последнему слову техники! Послезавтра ходить будет, через неделю выпишут твоего боцмана!

– Почему боцмана? – не поняла Николь.

– Николай, – повернул Сан Саныч голову к соседу, – дай нам поговорить, а?

– Говорите! Жена пришла, как не поговорить, моя вчера приходила, мы с ней два часа говорили, а вы, гражданка, где служите? Не в школе? Я же вас там видел, я запомнил...

– Все, Коля! – остановил его рукой Сан Саныч. – Как она? – показал глазами на Катю.

– Заснула по дороге, все хорошо... Георгий Николаевич заходил, сказал, операция прошла хорошо, если не будет осложнений, то дней через десять могут выписать домой. Я сейчас твою справку отнесу в Управление... Что тебе приготовить?

Белов, не улыбаясь, но спокойно смотрел на нее.

– Ты красивая, и Катя на тебя похожа... она подрастет, я повезу вас на юг, к теплему морю. Там фрукты через забор висят...

– Конечно, – кивнула Николь, укладывая девочку в ногах Белова. – Когда-нибудь так и будет. Не могу представить тебя больным, ты же никогда не болеешь!

– Точно! Как только тебя отпустят, мы поедем, куда захотим...

Коля все время ерзал, тут не выдержал:

– Прошу прощения, я это... Вы на теплое море хотите поехать?

Николь поднялась, присела и поцеловала Сан Саныча.

– Все будет хорошо! – шепнула, и Белов увидел, как повлажнили ее глаза.

– Ну что ты?! – Сан Саныч крепко прижал ее, забыв про «операцию».

Когда она ушла, он уснул. И снился ему хороший легкий сон, как будто ему сделали операцию и он умер, но почему-то все легко, и ему самого себя не жалко совсем, а даже наоборот. Только Николь нет

нигде. Ни Николь, ни Кати. А потом он воскрес как будто, или и не умирал, а ее все равно нет и нет. И все очень светло и приятно, ему хочется, чтобы Николь тоже это все увидела, а ее нет. Он проснулся, толстая пожилая санитарка будила к обеду, а он лежал и думал, что все это могло значить. Откуда вся эта светлая и приятная красота? И почему нет Николь...

– Тебе, сынок, пока бульон. И чай! – санитарка поставила тарелку на его тумбочку.

Запахло супом, едой, и Белову снова стало тошно от вранья. Он, хмуро стиснув челюсти, смотрел на свой бульон. Он, Белов Александр Александрович, всю жизнь воспитывавший в себе мужской характер, лежал и как последний трус изображал из себя больного! Он чуть не вскочил от возмущения. Рука тряслась скинуть эту тарелку на пол. Зубы скрипели на всю палату.

На следующий день пришел секретарь ермаковской партиячейки. Интересовался, как здоровье Белова, на субботу было назначено заседание бюро райкома. Белов смотрел на него и понимал, что никакой он не секретарь партийного комитета, не коммунист он вообще, задача этого несчастного – доставить Белова в Игарку с последними парходами. Гидросамолеты уже не летали.

Сан Саныч больше, чем за себя, боялся за Николь, и как только ему разрешили ходить, стал ночевать дома. Николь умоляла не делать так, это могло все открыть, но он не слушался. Нервы были на пределе, он не спал, казалось, что вот сейчас войдут за Николь и Катей.

Через неделю его вызвали на телефонный разговор с Макаровым. Белов обрадовался и испугался – все было обставлено слишком официально, за ним пришли двое – один из управления, другой из милиции. Пока шли в Управление, ни о чем не разговаривали, как будто знали уже что-то, чего Белов не знает.

Макаров тоже был сух. Обычно он называл его «капитан» или «сынок», но теперь Белов был Александром Александровичем или просто «товарищ капитан». Связь с Красноярском была не прямая, провода были проложены вдоль будущей трассы до Салехарда и дальше чуть ли не через Москву, а оттуда в Красноярск. Голос приходил с длинными задержками.

– Александр Александрович, приказываю вам вернуться на буксир и принять командование.

Белов давно готовился к этому разговору. Он твердо решил стоять на своем:

– Здравия желаю, Иван Михалыч, я прошу уволить меня по семейным обстоятельствам. Когда все уладится, готов вернуться, если возьмете... – Белов пытался говорить, как они говорили обычно, но чувствовал, что Макаров чего-то опасается.

– Вы представлены к государственной награде, Родина высоко оценила ваши заслуги в прошедшей навигации, вместо этого вы пишете заявление. Как это объяснить?! И в какое положение вы ставите руководство пароходства перед министерством? Перед правительством, чью высокую награду вы получаете?

– Иван Михайлович, я хочу честно жениться, у меня ребенок! В Ермаково могу работать на любой должности: диспетчером, подменным капитаном... кем скажете! Я просил об этом Скворцова...

– Вы самовольно покинули буксир, за это вы понесете ответственность, я уже издал приказ по пароходству: строгий выговор с занесением в личное дело. В военное время за такие поступки расстреливали, товарищ Белов, вы это не хуже меня знаете. Я пытаюсь вам помочь! Предостеречь вас! Вам не надо ехать в Игарку... – на том конце трубки возникла пауза, потом Макаров продолжил. – Вам, мне сказали, сделали операцию, надеюсь, все в порядке. И надеюсь на ваше благоразумие. Я на днях приму еще какие-то решения, может, это вам поможет...

– Николай Михалыч, – взмолился Сан Саныч, – я вам за все благодарен! Я люблю мою работу и мой буксир, я жить без них не смогу, но сейчас я не могу! Тут моя жена... не жена, но... мы давно, уже два года любим друг друга!

– Ну-ну, держись, сынок, ты должен принять правильное решение, Мецайк за тебя приходил просить... – Макаров сказал это вполголоса, но вдруг снова заговорил громко и сухо: – Я надеюсь на ваше благоразумие. На ваш профессиональный долг! Желаю удачи!

Разговор закончился. Сан Саныч стоял с трубкой в руках и смотрел в окно. К пристани подвели длинную баржу, на палубе которой высились ящики с четкими иностранными надписями. Заключение снимали крепеж. Мелкий холодный дождичек сыпал,

временами превращаясь в липкие серенькие снежинки. Белов так рассчитывал на этот разговор, на помощь Макарова, больше ему и не на кого было рассчитывать, и теперь стоял, ничего не понимая... Мецайк за него ходил... там что-то делается. Про орден сказал... значит, Макаров все-таки добился награды? И еще сказал, что не надо ехать в Игарку...

Сан Саныч забыл о своей операции, дернулся резко повесить трубку и скорчился от боли – у него за эти дни дважды разошелся шов. Замначальника Управления, присутствовавший при разговоре, поморщился сочувственно.

На следующий день его неожиданно вызвали в Красноярск, и Сан Саныч, после ночи раздумий, решил ехать. В Туруханск шел попутный катер. Николь тоже не спала, слушала его соображения, согласно кивала и прижималась к нему. Подгладила парадную форму, собрала еды в дорогу. Перекрестила православным крестом, потом еще раз, крестом наоборот. Католическим.

– Ну ладно, – шутливо нахмурился Сан Саныч. – Береги Катьку, и каждый день телеграммы чтобы давала! Каждый день! Я, как освобожусь, сразу обратно.

Она проводила его до пристани. По реке вовсю шла шуга, Николь тревожно смотрела на Енисей и была права, катер еле дотянул до Туруханска – на плесах уже вставал лед.

На другой день к вечеру он был в Красноярске, а утром в кабинете у Макарова.

– Здравия желаю, Иван Михалыч!

– Здорово! – Макаров крепко пожал его руку, посмотрел выразительно и приложил указательный палец к губам. – Я рад, что ты забрал свое заявление! – Он опять выразительно посмотрел. – Садись, серьезный разговор есть!

Они сели за большой стол.

– В Москве очень оценили твои эксперименты по методу толкания. Проверили на практике. В масштабах государства – колоссальный экономический эффект. Метод вводят в других пароходствах и теперь собирают совещание. Министерство потребовало отправить тебя к ним в командировку, подготовь чертежи, расчеты, будешь докладывать. Завтра и вылетай, документы на твое

награждение вот-вот должны быть подписаны, так что можешь дважды орденосцем вернуться. Вопросы есть?

Макаров был привычно собран, но непривычно сух и напряжен, и по этому напряжению Белов понял, что его вопрос никак еще не решен. Они вышли в приемную, где ожидало несколько человек. Все поднялись.

– Здравствуйте! – Макаров каждому подал руку. – Одну минуту... Ольга Семеновна, – обратился к секретарше – Макаров бросал курить, – дайте, пожалуйста, одну папиросу.

Они вышли в коридор к большому окну. Макаров закурил и заговорил негромко голосом прежнего Ивана Михайловича:

– Пока удалось отбить тебя, сынок, у них на тебя зуб серьезный... а может, и на меня, – он затаился с удовольствием. – Уезжай скорее, поработай в министерстве, там у меня товарищ – замминистра, он поможет. – Он заговорил совсем тихо: – Дела на тебя пока нет, так что езжай спокойно.

Белов с удивлением поднял глаза.

– Из надежных источников информация... – Макаров затаился и погасил папиросу в пепельницу. – Чем дольше в Москве просидишь, тем лучше, поезжай с Богом! На меня без нужды не выходи, телефон слушают, я сам все буду знать... – он думал о чем-то, поглядывая на Белова, подошел совсем близко: – Летом был отстранен и арестован Абакумов^[135], в августе министром назначен Игнатьев. Сейчас идет массовая чистка, берут руководящих работников МГБ, арестованы три заместителя Абакумова... вскрыты очень серьезные нарушения. Может, доберутся и до наших... Поэтому лучше подождать! – Иван Михалыч подал руку и направился в приемную.

Белов получил в бухгалтерии командировочные, пошел на почту и половину денег отправил Николь. Дал телеграмму:

«Лечу Москву командировку. Все хорошо. Возможна награда. Целую вас! Саша».

Хотел было сесть в ресторан, но передумал и, хоть было поздно, поехал к матери на кладбище. В сумерках добрался, едва нашел могилу. Она была прибрана. Совсем простенькая оградка с небольшим кустом рябины в углу, металлическая тумба памятника с фотографией. Кто-то из родственников... мамина сестра тетя Нина, наверное, ходит.

Сан Саныч задумался о матери, было у него когда-то какое-то детство, голодное, как и у всех, но он вспоминал о нем хорошо. Отец их бросил, и вместо него был дед. Потом началась война, речной техникум, с тринадцати лет на судах. С тех пор он от матери и отстал, не виделись толком – зимой учился на военном положении – их не отпускали в увольнительные, летом на реке. Посылал деньги, открытки к праздникам, продуктами иногда помогал, рыбу привозил, а она работала в своем колхозе. К сорок седьмому все разъехались, и она осталась одна. С фотографии на Белова смотрели спокойные мудрые глаза... Вспомнились ее руки, большие мужские руки, глядящие его голову, она вообще была крупная женщина. Не терпела вранья, вспоминал Сан Саныч, в их доме никогда не было лжи.

Красноярский аэропорт был забит народом, билетов не было никуда. Как цыгане, семьями и компаниями разлеглись люди на лавках и деревянном полу, играли в карты, пеленали и подмывали детей, закусывали, стояли в очередях. Курили под козырьком у входа, поглядывая на дождливое, обложное небо и обсуждая, когда там, наверху, сжалются и дадут погоду. Аэропорт гудел негромким разговором, многие спали. Иногда какой-то из «таборов» начинал лихорадочно упихивать вещи по сумкам и чемоданам, бежали в сторону взлетно-посадочной полосы. Белов зашел с запиской к начальнику аэропорта – у пароходства была бронь. Через несколько часов он уже летел, разглядывая в иллюминатор облака. Самолет был самый современный, «Ил-12», он в таком еще не летал. Удобные кресла, внутри тепло и почти не слышно звука двигателей. Красиво одетые стюардессы обслуживали, как в ресторане, разносили еду, чай и кофе – на выбор, свежие газеты.

В Москве лил такой же, как и в Красноярске, противный, серый и мелкий осенний дождь. Белов встал в очередь на такси. Он не раз бывал в командировках и в столице, и в Ленинграде, и всегда любил это дело. У него и теперь была хорошая гостиница в самом центре, достаточно денег, можно было ни в чем себе не отказывать, погулять, купить новый костюм, что-нибудь нарядное Николь и Кате... Сан Саныч вспомнил про них, и настроение поползло вниз. Таксист что-то рассказывал, дождик лил по стеклам, дворники скребли. За стеклами была красивая, многоэтажная и просторная Москва. Готовилась к

тридцать четвертой годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции – флаги вешали, огромные портреты вождей. Москва ему всегда нравилась. Но не теперь. Опять, как и в ермаковской больнице с фальшивым аппендицитом внизу живота, он прятался от своей судьбы. Прямо ненавидел себя и отворачивался от наряжающейся столицы. Сигарету у таксиста стрельнул.

52

Ася боялась оставлять детей одних, и они втроем целый день простояли на верхней палубе. Сначала Енисей шел узким и стремительным лесистым коридором, после Казачинского порога стало шире, пестрые осенние увалы расступились, открывая остывающие таежные просторы. Они смотрели и смотрели на завораживающую красоту сибирской тайги, на мощь реки, колеса «Марии Ульяновой» ритмично шлепали по зеленоватой глади.

Народ на палубе в основном спал под бушлатами и тулупами, но была и веселая компания с гармошкой. Молодой короткостриженный парень играл негромко, но без усталости, останавливался только выпить и зажевать хлебом да прикурить махорочки. И снова играл, попыхивая вонючим синим дымом и склонив голову набок, нежно прислушиваясь к гармошке. Пепел сыпался на сапоги. Гармошка была саратовская, с колокольцами. У гармониста было хорошее лицо. Он и играл, как будто для себя, щурился куда-то вверх на чистое небо. Сева сходил послушать, вернулся.

– Он славно играет, – Сева прижался к матери. – Мелодии очень грустные, а колокольцы беззаботные...

– Да, – кивнула Ася, прислушиваясь.

– А Баха на гармошке можно играть?

– Можно, есть переложения.

– А клавирные концерты? – Сева глядел на гармониста и о чем-то думал. Поднял умные глаза на мать. – Все-таки с колокольчиками слишком грустно получается...

Сева был очень одарен музыкально и хотел заниматься, но инструмента не было и он, все понимая, никогда ничего не просил. Вот и сейчас, обсуждая гармошку, он очень хотел бы попробовать на ней.

Ася с надеждой думала о Ермаково, если бы удалось устроиться преподавателем музыки, Севу можно было бы начать серьезно учить. Она покосилась на него с этими мыслями, но Сева все наблюдал за гармонистом, тот как раз подбирал что-то, склонив ухо к самым мехам, но вот заиграл уверенно и свободно.

– Мам, а почему так много дров? – Коля разглядывал огромные поленицы на берегу. – Это же дрова?

– Я не знаю... Может быть, продают?

– Так для пароходов! – повернулся стоявший рядом старичок в сером ватнике, заношенной ушанке и кирзовых сапогах. – А то – дровяная пристань, получается!

Старичок добродушно рассматривал городских, не знающих таких простых вещей.

– Этот пароход знаешь сколько дровец кушает, аль вы не слышали? Скоро грузиться будем, сами посмотрите! Вот они и сохнут в пятериках! Вон, – старик ткнул пальцем, – как есть пятерики дров и стоят один за другим. Капитан, видать, тертый – мимо этих летит, значит, дальше лучше дрова будут! По всему Енисею леспромхозы стоят, специально для пароходов заготовливают.

– Что такое пятерики? – спросил Коля.

– Поленица такая. В длину – сажень, в высоту – сажень, а в ширину, значит, пять поленьев уложены. Такими мерами и продают. А поленья для пароходов или метровые, или аршинные, семьдесят сантиметров, значит. Вишь, – он ткнул в дым из трубы, проносящийся над их головами, – дым светлый, значит на дровах, а когда черный – то уголек чадит!

Старик был доволен своим рассказом. Улыбался.

– Я сам по молодости пильщиком нанимался. Сколотим артельку пять-семь человек, один – пилы да топоры правит, еду готовит, остальные – до обеда пилим, после обеда колем. При царе-батюшке неплохо зарабатывали. Я и в будни в хороших сапогах ходил. Тогда качество давали, сынок, теперь – не то! Теперь начальники кругом, а начальник, он дурак! Да-а-а! Вон, вишь, сыряк пилят! От него руки отваливаются, да и не нужен он никому! – «Мария Ульянова» как раз поравнялась с мужиками, пилившими на козлах в конце поленицы.

– А почему же они пилят? – спросили одновременно Сева и Ася.

– Да кто же их спрашивает? Лагерные они! Их камнями заставят бревно перерубать, они и камнями будут... – старичок уже был не так доволен. Головой покачивал сокрушенно, кисет достал. – А вы далеко, значит, следуете?

Мальчики посмотрели на мать. Ася больше всего боялась таких расспросов, не понимала, как будет врать при детях, и готовилась к этому. И вот ее спросили. Старику врать не хотелось.

– Ты, милая, не хочешь, не говори, нынче люди не больно друг другу верят. Это я говорю, что думаю, мне уже ничего не страшно. Зажился я, никого родных не осталось, уже охота и повидаться с ими. – Он говорил негромко, неторопливо скручивал сигарку. – Я зла ни на кого не держу, власть наша собачья, а я и на них улыбаюсь – значит, так Господь нас испытывает. Или наказывает. Что-то, видать, натворили по неразумению нашему – не жилось нам при царе-батюшке, попробуйте другого царя! Не ндравится? А взад ходу нет, дорогие товаришшы! Придется и потужить теперь!

Старик похлопал себя по карманам, прикурил.

– В ссылке я тут жил... сами-то мы с Волги, а вот отпустили меня в прошлом году, когда мне восемьдесят пять исполнилось. Иди, говорят, дед, на все четыре стороны. А куды ж мне идти, робятки! Нет у меня ничего и никого на белом свете. Всего вы меня порешили... – дед склонил голову в знак благодарности. – Так и служу сторожем, такие же вот дрова сторожу в Ворогово.

– Вы сказали, голодно у вас, дедушка? – поинтересовалась настороженно Ася.

– А где теперь не голодно? У кого работа есть, как-нибудь перебиваются, у кого нет, и не знаю, что жуют. Вон, калмычат привезли к нам во время войны, так все и перемерли. Одна из них старуха осталась, сторожит со мной ночь через ночь. Тоже ведь они с Волги, как и я... – дед, покуривая, уже думал о чем-то своем.

Вскоре пароход встал к дровяной пристани, спустили трап, и началась погрузка. Носилки прогибались под метровыми поленьями, трап шатался, к концам носилок были привязаны лямки, в которые дровоносы вставляли руки, поэтому руки не обрывались и ничего не падало. Морды у мужиков были красные от напряжения, человек двадцать работали или больше. Носили матросы и кочегары с «Марии

Ульяновой», носили и береговые, два солдата с автоматами сидели у штабелей.

– Это – заключенные? – спросил Коля.

– Может быть... – Ася неуверенно пожала плечами.

– Они что-то сделали? Ты знаешь? – Сева тоже следил за погрузкой.

– Возможно, они совершили преступление, – подумав, ответила Ася.

– Почему возможно? – повернулся Сева.

Вдоль борта стоял народ, наблюдал за работающими. Покуривали, переговаривались. Солнце садилось и становилось прохладно. Ася наклонилась к сыну:

– Сева, это сложный вопрос, я сейчас не могу ответить, но я тебя попрошу, – она взяла его за подбородок и подняла на себя, – никого не спрашивай об этом! Ладно? – Сева смотрел, не понимая. Ася нахмурилась: – Дай мне слово! Позже мы обязательно поговорим на эту тему!

– Хорошо, я не буду спрашивать! – Сева поправил очки и снова повернулся к дровоносам.

Закончили ночью, при свете сильных прожекторов.

К вечеру следующего дня пришли в Ярцево. Прямо у пристани был рынок, и Ася с детьми собралась что-нибудь купить. Пароход подошел, тяжело тряхнул дебаркадер, народ посунулся было к трапу, но никого не пускали. Первыми из трюма поднимали заключенных и тут же, на дебаркадере заводили в комнату для пассажиров. Мужчины были в основном в серых и черных ватниках, в руках – чемоданы, узлы, военные вещмешки и просто мешки, увязанные веревкой. Все щурились на свет, хотя он и не был слишком ярким, шли нетвердо, озирались, самых нерасторопных пихали конвойные. Их заводили и заводили, комната ожидания на дебаркадере была не очень большая, скоро на входе случилась заминка, те, что зашли, кричали, что больше некуда. Сержант, распорядившийся разгрузкой, заглянул в трюм и приказал продолжать. Утолкали и оставшихся. Через окна комнаты ожидания хорошо видно было, как они стояли, прижавшись друг к другу. Их заперли, выключили свет и поставили часового. Народ потянулся по трапу. Обсуждали разгрузку, некоторые и весело,

большинство же проходили, тревожно поглядывая на темную людскую массу лагерников.

Ася хотела увести детей, но осталась, только обняла и крепко прижала. Она везла их в места, где такого было много, где, возможно, им придется увидеть еще более страшное. Ей представился Горчаков, устало стоящий в таком же строю, с такими же недобрыми конвойными солдатами. У нее тряслись руки, она знала, что не выдержит и бросится к нему.

– Мама, что с тобой? – Коля крепко держал ее за руку. – Тебе их жалко?

– Тихо, Коля, что ты... – Ася испуганно оглянулась, но народ уже почти весь вышел. – Давайте не пойдем!

– А как же еда? У нас только кипяток... – не понял Коля.

– Я могу пойти, я их не боюсь, мне баба много рассказывала про заключенных! Они ничего плохого не сделали! – Сева со спокойной решимостью глядел на мать. – Дай мне деньги, я куплю! Я же ходил за хлебом!

– Сева, я просила не говорить на эту тему! – зашептала Ася.

На базарчике местные продавали вареную картошку, хлеб, соленую и вяленую рыбу. Брусника и клюква стояли в ящиках и бочонках, картошка в мешках. Ася купила вяленых окуней, хлеба и теплой отварной картошки.

Сели ужинать в своей каюте. Юрий, глава норильского семейства, тоже ходил на рынок, улыбнулся над Асиными окунями, он купил соленого тугунка^[136], омулей, черемши и бочонок брусники. Составили общий стол. Коля принес кипятка, и Ася заварила хорошего московского чая.

Юрий был врачом, заведовал отделением в городской больнице Норильска, его жену звали Елена, она работала геологом в Управлении шахты. У них была пятилетняя девочка. Они многое могли бы рассказать о жизни в этих местах, но Ася боялась, что они сами начнут расспрашивать, и обходила стороной все вопросы, куда и зачем они едут. Иногда просто не отвечала, это выглядело довольно глупо, но так надо было. Если бы лагерное начальство Горчакова узнало, что к нему приехала жена, его немедленно перевели бы в другой лагерь. Это утверждал он сам, когда не разрешал ей приехать в Норильск, и это же

подтвердила его освободившаяся сестра. Это правило неукоснительно выполнялось по всему ГУЛАГу.

Норильчане перестали спрашивать. Говорили о Москве, о Ленинграде, о енисейской погоде, красоте и богатствах тундры.

Ася долго не могла уснуть. Все ее ответы о Ермаково выглядели подозрительно – у нее не было ни вызова на работу, ни подъемных, она ехала с двумя детьми, не представляя себе, куда едет. Любой милиционер через пять минут разговора должен был понять, что здесь что-то не то.

Утром проснулись от грохота дров, падающих в бункер. Опять долго грузились, на этот раз заключенных не было, работала одна команда. Капитан спросил в рупор добровольцев, и кто-то из пассажиров тоже засучил рукава. Погода портилась, после Ярцева сделалось пасмурно, с неба посыпался дождь, вперемешку со снегом. Река стала серой, унылой и совсем безлюдной. Когда пришли в Ворогово, ветер дул уже с севера, палуба стала обмерзать, да и стоять на ней уже не хотелось. Енисей делался шире, а течение замедлялось. Знаменитые скальные острова Корабль и Барочка и опасную Осиновскую систему порогов, которых ждал Коля, проходили ночью, и их было едва видно.

Капитан спешил, подгонял на разгрузках, на бункеровку дровами выгонял всю команду. Берега стали белыми от снега, отчего река выглядела стальной и бездушной. Ася волновалась, в Ворогово она слышала обрывок разговора капитана с начальником пристани, что в Дудинке уже стоят двадцатиградусные морозы и навигацию могут сократить.

В каютах было жарко, Юрий с Еленой занимались с дочкой, читали книжки, играли в шашки и «чапаевцев», перекусывали, спали и Асиных волнений не разделяли.

– Сейчас прижмет, потом отпустит, так рано Енисей не закрывают, – рассуждал отец семейства, откладывая книжку. – Доплывете. Вам километров пятьсот осталось...

– Семьсот, – уточнил Коля.

– Успеете, два-три дня и будете на месте. Нам после вас еще пятьсот километров...

Погода успокоилась, снова стало солнечно и красиво, Енисей заголубел в белых берегах. Морозило уже крепко, ночью градусник

опускался до минус пятнадцати и ниже. К Туруханску подходили шестого октября утром. Пристань стояла на впадении широкой и полноводной Нижней Тунгуски в Енисей. Входя в Тунгуску, «Мария Ульянова» резала носом лед у дебаркадера. Лед был крепкий, вся Тунгуска, насколько хватало глаз, стояла.

Опять быстро разгружались, спешно бункеровались дровами, но вдруг все замерло. Капитан ушел в поселок и вернулся только вечером. Его обступили пассажиры.

– Спокойно, товарищи, руководство решает вопрос о нашем дальнейшем движении. В Дудинке и в Игарке морозы, и по прогнозу ослабления не ожидается. Идти мы можем, но это определенный риск, все-таки у нас пассажирское судно. Не волнуйтесь, все решим!

– Дак что решим?! Идти надо, когда он так рано вставал! – требовали самые нетерпеливые.

– Я тоже так считаю, но это вопрос не моей компетенции. Есть начальник пароходства, есть метеорологическая служба. Расходитесь по каютам, пожалуйста.

– А если встанет, нас куда денете?

– Товарищи, дорогие, я не Господь Бог, за погоду не отвечаю! Вы можете сойти в Туруханске или вернуться с нами в Красноярск. Если будем вынуждены вернуться, обратно повезем бесплатно, конечно. Есть такое распоряжение.

– Да как же так? А кормить кто будет? Да-да, кормежка-то как? Государство должно озаботиться! У нас дети! А отсюда-то как?! Тут дорог нет! – Люди зашумели, заговорили, обсуждая неприятный поворот событий, но капитан, не слушая, стал подниматься в рубку.

На следующее утро было объявлено, что «Мария Ульянова» возвращается в Красноярск. Желающие могут выходить в Туруханске, время на разгрузку – один час.

У Аси оборвалось сердце. До Ермаково оставалось сто семьдесят километров, она узнала у капитана. Ночью она не спала, пытаясь придумать, как быть, если судно развернется, и вот надо было принимать решение. Они стояли на палубе, людей выходило совсем немного, выгружались и их соседи-норильчане.

– Мы можем сойти и как-нибудь добраться... – Ася с тревогой следила за пассажирами, спускающимися по трапу. – Люди говорят, по Енисею зимняя дорога всегда есть, по ней ездят...

– Может, растает, мам? Вон еще пароходы стоят... – Коля предлагал сойти.

Ася застыла в нерешительности, слушала и не слышала соображения возбужденных детей, она видела, что они не хотят возвращаться. Она тоже не хотела.

– Если не уедем, придется жить здесь до следующего лета... – она в смятении смотрела на заваленное снегом село. Храм с высокой колокольней высился над Енисеем, крестов не было... – С работой здесь очень плохо. У нас мало денег...

– Если бы нас не было, ты бы осталась? – спросил Сева.

– Осталась бы! – честно ответила Ася.

– Еще можно улететь на самолете! – осенило Колю.

– Не знаю... нет денег.

– Выходящих просьба поторопиться, до конца разгрузки осталось двадцать минут! – разнесся над пристанью и заснеженным берегом женский голос из корабельного репродуктора.

У Аси все сжалось внутри.

– Мам, мы с Севой тоже хотим сойти.

– Слишком много против... – Ася судорожно стискивала сумочку, впившись взглядом в берег. – У нас есть немного денег и вещей. Наверное, можно нанять лошадь...

Они сошли. Длинная белая двухпалубная «Мария Ульянова» шумно провернула колеса, дала протяжный прощальный гудок и стала отваливать от пирса. Лед затрещал вокруг судна, пошел волнами, рвался длинными трещинами и большими пластинами. Звон и треск стоял, люди кричали, кто-то бегал по дебаркадеру, многие плакали, пароход проворачивал колеса, перемалывал лед и воду и неумолимо разворачивался. Ася с жадностью смотрела на отходящее судно, ей страшно было думать, что их ждет. Но они никогда не были так близко к их отцу.

Чемоданы обрывали руки. Они поочередно носили их с Колей, взявшись за одну ручку, руки у обоих были тонкие. В «Доме колхозника» только затапливали печи и было очень холодно. Ася спросила самый дешевый номер, их поселили в большую комнату: полтора десятка кроватей стояли в три ряда с узкими проходами между ними. Пассажиров с «Марии Ульяновой» сошло немного, и в комнате были заняты только две койки. Столовой в селе не было, рынка тоже.

В первый вечер Горчаковых накормили норильчане, они поселились в отдельном номере. Разговорились, Ася так и не решилась рассказать о себе, соврала, что едет к подруге, которая работает там второй год. Едет работать в музыкальной школе. В ее рассказе наверняка многое не сходилось, совершенно не понятно было, почему они сошли в Туруханске, но ни Юрий, ни Елена вопросов не задавали. О муже не спросили.

– За нами на днях должны прислать самолет, можем забрать вас в Норильск. Я могу позвонить – работа для музыканта с консерваторским образованием у нас всегда найдется. Устроитесь, летом откроется навигация, доберетесь до вашего Ермаково, а может, и у нас останетесь. У нас цивилизации побольше будет.

– А на вашем самолете нельзя до Ермаково долететь? Это же по пути? – спросила Ася.

– Вряд ли, – Юрий покачал головой, – у летчиков будет маршрут. А то, что я предложил, вам не нравится?

– Спасибо вам большое, это выглядит неблагодарно, но мне все время кажется, что мы доберемся. Тут же рядом... пусть неделю или две, но доберемся. Моя подруга ждет нас...

– Ася, – заговорила Елена, – вы плохо представляете здешние условия. Здесь нет дорог. И люди не самые приветливые. Я в этих краях пятнадцать лет, а не рискнула бы с детьми.

– Но у меня мальчики! – улыбнулась Ася, посмотрев на девочку, игравшую с куклой.

И она опять остро пожалела, что не может сказать всей правды людям, которые могли ей помочь. Они могли и навредить, даже и нечаянно. Нельзя было рассказывать о Гере.

Она правильно рассуждала, но если бы она рассказала, все могло бы сложиться иначе. Елена не просто знала Георгия Николаевича Горчакова, она работала у него в Норильске. Это было перед войной, Елена, как и многие недавние студентки, была влюблена в «их гениального очкарика». Узнав, что настоящей причиной был Горчаков, они с мужем что-то придумали бы... но они ничего не знали и не понимали, почему эта молодая и образованная женщина так рвется в Ермаково.

Через день они улетели попутным бортом. Уезжая на аэродром, Юрий оставил мешок картошки, купленный в Ярцево, и предложил

Асе денег займы. От денег Ася отказалась.

Они сходили в магазин, он оказался почти пустой, но им повезло – продавщица оставляла кому-то хлеб утренней выпечки – она продала его им. Хлеб был серый, но хорошо пропеченный и очень вкусный, они ели, отламывая от буханки и гуляли по селу.

В Туруханске все было деревянное – их гостиница, клуб, районная больница, большие избы и кособокие избышки, заборы и тротуары. Только монастырские стены и Свято-Троицкий храм были из камня. Монастырь стоял над рекой, Ася глянула вокруг и перекрестилась украдкой, но трижды. Дошли до поворота реки. Енисей уходил на север, льда на нем не было, только у берегов да в заводях. Но в воде видно было взвешенную кашницу, которая, видимо, и превращалась в лед.

Обсуждали, что делать, если не получится с попутным пароходом. Отважно решили продать все, что можно, облегчить чемоданы и купить еды на дорогу. В сторону Ермаково по берегу уходила наезженная дорога, они даже прошлись по ней немного, погода стояла солнечная и морозная, а украшенная снегом тайга манила сказочной красотой и была совсем не страшной.

– Мы преодолели несколько тысяч километров... до Ермаково всего сто семьдесят! – подытожил их расчеты Коля. – И у нас полно времени!

– Даже пешком можно дойти! – весело согласился Сева, вероломно повис на руке у брата, и они оба свалились в снег.

– Мам, расскажи нам об отце! – Сева уселся верхом на Колю.

– Я рассказывала, не сыпь ему снег за шиворот...

– Нет-нет, скажи, как мы его узнаем?

Ася улыбалась, она и сама не знала, какой сейчас их отец, но заразилась Севкиной радостью.

– Увидите в Ермаково человека... – Ася смотрела хитро и весело, – с самым умным лицом...

– В таких же круглых очках! – подсказал Сева.

– Точно! Это и будет ваш отец!

– Ты еще говорила, что он очень спокойный, – добавил Сева.

– Да, правда!

– Я тоже спокойный?

– Ты на него вообще очень похож...

– А я? – спросил Коля.

– Ты тоже. Мне иногда кажется, что ты больше похож, а иногда, что Севка! Не забывайте, что я помню отца совсем молодым, ему было тридцать с небольшим.

– На всякий случай у этого человека можно будет спросить фамилию, она у нас одинаковая, – Коля вытаскивал брата из сугроба.

– А сейчас ему сколько? – спросил Сева.

– Сорок девять. Когда он был последний раз, он был уже другой.

– Печальный? – Сева заглянул в глаза матери.

– Уставший.

– Но и печальный тоже. Баба рассказывала, его нигде не брали на работу. Когда я его увижу, я его обниму. Баба велела обнять его крепко. – Сева подумал и добавил: – Я и сам очень хочу.

Шли молча, воображали встречу с отцом.

В Туруханске неделю прожили в «Доме колхозника». Их переселили в маленькую теплую комнату, которую они сами и топили. Теперь они могли спокойно все обсуждать, раскладывать вещи и даже приглашать к себе покупателей. Продажа вещей шла плохо, у ссыльных денег не было, у местных тоже. Продали мешок картошки и хороший кожаный чемодан Натальи Алексеевны. Вместо чемодана им дали старый солдатский вещмешок и еще просто крапивный мешок, к которому Коля с Севой приделали веревки, и его можно было носить на манер рюкзака. Мальчики были очень довольны. Примеряли «рюкзаки» и «уходили» в тайгу.

Среди ссыльных в Туруханске попадались и москвичи, некоторые были сосланы в эти края в довоенные еще времена. Люди были разные – кого-то уже не отличить было от местных, кто-то сохранил московские манеры и речь. Все были плохо одеты. В ватниках и валенках, женское пальто редко можно было увидеть. Ася продала свое демисезонное пальто жене председателя местного леспромхоза. Отдала совсем недорого, получив в придачу почти новую телогрейку, Асе казалось, что она обманула женщину. Пальто ей совсем сейчас было не нужно, его бы пришлось тащить на себе, а ватник был очень кстати.

За эту неделю Ася поняла, что люди живут здесь намного хуже, чем в Москве, на картошке и рыбе. Поняла и то, что помогают тут друг другу неохотно или совсем не помогают и бывают открыто

недовольны, когда к ним с чем-то обращаются. Во дворах у всех были злые собаки и почти не было скота. Когда же узнавали, что она не ссыльная, но сама сюда приехала, то и совсем этого не понимали. Смотрели подозрительно или как на дуру.

Наконец, они были готовы. Асе удалось купить два с половиной литра спирта, его разлили в пять бутылок и забили деревянными пробками, которые тоже смастерили Коля и Сева. Вообще мальчикам все, кроме голодных гостиничных клопов, очень нравилось. Единственное, расстраивало, что мать не отпускает одних. Они везде ходили втроем. Ася этого не объясняла, сказала только, когда они в очередной раз начали проситься и протестовать, что должна привезти их к отцу целыми и невредимыми. И посмотрела так непривычно жестко, что они отстали.

Одиннадцать километров до Селиванихи их вез Микола, по кличке Хохол, как он и сам себя называл, муж продавщицы из сельпо. Он был здоровый, жирноватый и ленивый дядька, с хитрыми, а может, наоборот, бесхитростными глазами. Подрядились за не новый, но крепкий дерматиновый чемодан. В их вещмешках было самое необходимое – немного продуктов, спирт, чтобы расплачиваться с возчиками, и теплые вещи.

Накатанная дорога сначала шла высоким берегом Енисея, потом свернула в тайгу. Крепкая лошадка покорно тянула сани с не очень тяжелой поклажей. Ася была в телогрейке, Коля с Севой в теплых пальто, все трое в валенках. Ася, как и дети, очень радовалась их деловой, как ей казалось, хваткой. Всем было тепло, все лишнее продано, и все это ей удалось проверить так быстро и в совершенно незнакомом месте. Ей и в Москве приходилось продавать вещи и украшения свекрови, но там все-таки были знакомые или знакомые знакомых.

– Что же у тебя там за работа такая, в Ермаково-то, в этом? – спрашивал Микола, подергивая вожжи. Об этом ее все спрашивали.

– Подруга у меня там...

– Начальница, что ли, большая?

– Да нет.

– А чего тогда тащишься?

– Так тут-то совсем нет работы.

– Тут нет, – соглашался возчик, плотнее запахивая тулуп, – ссыльных полно. Они и за копейку пойдут, а ты вольная, тебе платить надо. У нас жиличка живет, в школе уборщицей устроилась... так ей директриса сто рублѐв платит, совести совсем нет. Жиличка эти деньги все нам за квартиру и отдает. А и директриса не дура – не хочешь, не работай! У нее из таких ссыльных целая очередь стоит.

Он помолчал, подгрел под бок, на котором полулежал, побольше сена и продолжил все так же равнодушно:

– И надо тебе ехать в такую даль... Люди нынче хуже собак! Собаку, ту уговорить можно – не тронет! А человек семь шкур с тебя сымет, коли его власть. Ты людям шибко-то не верь, тут всяких хватает. И отсидевшие, и ссыльные, а и вольные не лучше. Какие от голода злые, а кто и сытый, да такой же... Нно-о! – он поддернул вожжи. – И не поймешь, что лучше... Что у нас тут за радости? – Он кивнул на заснеженную тайгу. – Дров надо, так и то, иди поклоняйся начальству, а не захотят – и не дадут. А сам возьмешь – тут же напишут! И в Сибирь! Что улыбаешься? У меня корефан весной на собрании брякнул чего-то, выпимший. Никто и не понял, чего сказал, а начальству показалось, против них, значит. Всѐ, баба его одна с тремя ребятишками осталась. А он на Ангаре лес пилит. Восемь лет дали! Ну какая разница – он и здесь лес пилил! А ребятишки без отца – бабе хоть побирайся!

Доехали меньше чем за три часа. Дорога выползла из тайги, за кустами впереди показались серые деревенские дома.

– Тпру! – Микола остановил лошадь перед спуском к ручью. – Всѐ, Битюжок...

– Что? – не поняла Ася.

– Речка Битюжок, вон Селиваниха за кустами, дальше не поеду, сани мочить неохота, дойдете.

Разобрали вещмешки, благодарили, Ася на всякий случай спросила, не может ли он за плату подвезти их до следующей деревни, но он отказался и стал разворачиваться. Лошадь задирала морду, перебирала ногами, полозья скрипели...

– А к кому посоветуете обратиться, кто может подвезти? – заторопилась спросить Ася.

– Да стучитесь, у кого сено во дворе. Где сено, там и конь. Нно-о-о, пошла! – не оборачиваясь, и не попрощавшись, Микола поехал

обратно.

Они надели свои ноши и зашагали к деревне.

– Если с такой скоростью будем перемещаться, через две недели будем в Ермаково. – Коля шагал первым, говорил бодро. – Ты как, Севка? Могу твой вещмешок взять...

– Я сам, – Сева не успевал за ним, оборачивался на мать.

– Не торопись, Коля, сегодня вряд ли кто-то повезет, скоро темно.

– Лошадь идет со скоростью человека, около четырех километров в час, – продолжил считать Коля, – до Якуто́в двадцать километров, потом деревня Ангутиха, до нее тридцать километров, если бы была палатка, мы могли бы ночевать в тайге, тогда можно было идти пешком. Скорость та же!

Началась деревня, за высокими глухими заборами забрежали собаки. Избы были темные, невысокие, с небольшими окнами. Ася выбрала дом с просторным двором, где за постройками виднелся высокий стог сена. Подошла к глухим воротам в бревенчатых заплотах и, явно стесняясь, постучала. Собака заливалась яростным лаем. Никого не было. Постучал Коля, попытался приоткрыть калитку.

– Кто там? – раздался недовольный возглас, калитка открылась и из нее высунулась невысокая и крепкая молодая женщина. – Чего надо?

– Вы извините, мы хотели... – замялась Ася.

– Откуда идешь-то? – в круглых глазах женщины доброты не прибавилось, но появилось любопытство к посторонним.

– Мы из Туруханска.

– И кто нужен?

– Видите ли, мы идем в Ермаково... это далеко, мы хотели нанять лошадь, не подскажете, кто бы мог нас отвезти? За плату, конечно...

– Где же это, Ермаково, не слыхивала...

– Сто шестьдесят километров отсюда, – подсказал Коля.

– Да кто же повезет?! Не-е, мой не повезет в такую даль. И никто не повезет, у вас что же, денег мешок? Ссылные, что ли?

– Мы не ссылные, у нас отец в Ермаково работает! – Сева произнес это очень твердо и серьезно. – Мы на пароходе не доплыли и идем к нему пешком.

Ася испуганно взяла Севу за плечо, но тут же подумала, что сейчас это можно было сказать.

– А переночевать у вас нельзя? Мы заплатим...

– Нюрка! Иди забери подойник! Подоила! – раздалось откуда-то из глубины двора.

– Не-е, у нас нельзя, самим тесно, – женщина еще что-то хотела спросить, но не спросила, стала закрывать калитку.

– Не подскажите, к кому можно было бы...

– Не знаю, идите! – с другой стороны ворот громыхнул засов и опять залаяла собака.

В Селиванихе было полтора десятка дворов, они стучались, но никто не пустил. Ася в отчаянии стояла возле очередного дома, где им только что отказали. До конца деревни оставалось еще два двора, они выглядели как нежилые. Ася думала, как они пойдут обратно в Туруханск и что делать потом. Коля побежал к оставшимся дворам, и в ближайшем их пустили.

Избенка была совсем низенькая, Ася стояла, касаясь головой потолка, в ней жили двое стариков. Дед был полоумный и глуховатый, старуха молчаливо и как будто сердито пихала ухватом чугунок в печь. Рыба в нем была явно несвежая, нехороший запах стоял на всю избу. Ася пригляделась к темноте избы. Она была такая маленькая, что им и правда некуда было устроиться. Стол, лавка, большой сундук и рукомойник с переполненной деревянной бадьей под ним, печь занимала почти половину дома. Ася с детьми встали у двери, не снимая своих вещмешков. Впятером в избе было не повернуться.

– Раздевайтесь, сядем вот тут, нам больше некуда... – зашептала Ася, показывая на угол у двери. – У кого хлеб?

– У меня! – Сева спокойно снимал мешок, его не смущали ни запахи, ни теснота.

Она достала хлеб, и еще мешочек. Положила на стол:

– Вот, бабушка, тут пшено, можно кашу сварить.

Старуха недоверчиво залезла в пшено корявыми пальцами и стала доставать чугунок из печи. Всыпала туда три горсти. Чугунок опять принес тяжеловатый запах подтухшей соленой рыбы и Асе стало жалко испорченного пшена.

– Иди луку принеси! – закричала старуха громко в самое ухо старику.

– Ай? – не понял дед.

– Луку притарань, глушня! – беззлобно подпихнула его к двери.

Дед ушел.

– Не стойте, чай, – кивнула на лавку. Пшено и хлеб явно смягчили старуху. – Далеко идете-то, горемычные?

– В Ермаково, бабушка.

– В Ермаки, получается... – машинально повторила старуха и внимательно посмотрела на Асю. Взгляд ее не был ни слишком стар, ни полоумен, как у старика. – Однако далеко туда, девка!

– Доберемся. Может, кто-то подвезет?

– Кто теперь подвезет? Коней-то всех сожрали...

Дед принес несколько луковиц, они были с присохшей землей, бабка обстучала их ножом прямо под ноги, пол был земляной, и стала чистить.

– А вы вдвоем живете? – Сева снял запотевшие очки. Прищурившись, внимательно наблюдал за работой старухи.

– Вдвоем. Отец это мой. Я бы уехала, да его не бросишь. Мы раньше чисто жили, а теперь так вот... Огородом да речкой кормимся... а с огорода налог. Три дня назад воз картошки у нас увезли, суки поганые. Хорошо, лук не нашарили.

Она покрошила лук, всыпала его в чугунок. Присела к краю стола и стала вертеть самокрутку. Потом еще одну. Прикурила обе, себе и старику. В избе стало не продохнуть, старуха увидела это, приоткрыла дверь. Это была странная женщина, говорила вполне по-деревенски, но и лагерный жаргон проскакивал. Видно было, что и другую жизнь она знала.

– Ты, девка, в Якутах осторожней, там сейчас командировку огородили – то ли лес валят, то ли рыбу ловят... попадешь к зэкам в лапы, так откатают, живой не уйдешь. Мужичье в лагере хуже зверей, в Якутах из-за них ночевать никто не пустит. – Она опять о чем-то соображала, потягивала мелко из самокрутки. – Зверосовхоз в Ангутихе был, из Якутов к ним рыбу могут возить, тогда, может, и доберетесь... А до Ермаков и не знаю как, там далеко! Трудненько придется. – Она прищурилась на примолкших мальчишек. – Сидели бы в Турухане.

– Мам, мы пойдем погуляем немножко? – спросил Коля.

– А? Да, хорошо, я с вами...

– Недолго, баланда скоро готова будет. Похлебаете горячего.

Они вышли и направились к остывающему Енисею. Просторно, широко было, особенно после тесной избы. Небо за рекой пылало розово-красным, все невольно залюбовались. Перевернутые лодки на берегу, штабеля бревен, стога сена – все было укрыто, как будто специально обрисовано снегом, и на всем этом, замершем и спокойном, на чистых белоснежных берегах отражалось мягкое вечернее зарево. Только зимняя вода реки поблескивала темно и неуютно.

– Такое небо! – Коля глядел с грустью. – В Москве сейчас день, до заката далеко еще.

– В Москве неба не видно... – Сева глубокомысленно изучал гигантский пейзаж. – И закатов нет, я про них только в книгах читал.

– Ты по-прежнему сомневаешься? – повернулся Коля к матери.

– Я не представляю себе, что нас ждет... Надо было лететь в Норильск.

– Самолет был перегружен... – Сева взял мать за руку. – Коля спрашивал.

– Да-да... – машинально подтвердила Ася.

Бабкина юшка оказалась из соленых стерляжьих голов. Протомленная в дыму печи, она уже так не пахла. Старуха налила им отдельно в большую миску, головы выложила на разделочную доску. Горчаковы с утра ничего не ели, и Ася достала ложки. Уха была вкусная.

Старухе не было и пятидесяти, звали Мотя, как она сама себя назвала. Она спала на печке, отец внизу на сундуке. Поглядев на ребят, Мотя стянула с печки большой тулуп, сложила вдвое и бросила на пол рядом с сундуком, явно намереваясь там лечь:

– Полезайте наверх, как раз вам там!

– А вы? – не согласилась Ася.

– Мы привычные...

В Селиванихе они прожили несколько дней. Енисей вставал на глазах, от берега покрывался льдом, его присыпало снегом, темная полоса воды парила в середине и каждый день становилась все уже. Морозило крепко, по ночам доходило градусов до тридцати, уверенно определяла Мотя, днем было солнечно и, казалось, не холодно.

Все вместе таскали на больших санках бревна из-под берега, вытянули Мотину лодку. Лук, спрятанный на чердаке, почистили от

грязи и перенесли в дом. Ася с Мотей сходили по соседям, лошадей в деревне было всего три, и никто везти не согласился. Бабы Мотю за порог не пускали, а одна прямо назвала ее варначкой. Мотя в ответ выругалась заковыристым и беззлобным матом.

Как-то Мотя стала собираться на рыбалку, взяла пешню, сеть в корыте. Мальчишки загорелись, пошли все вместе. Стали пробивать лунки в курье, лед здесь был уже толстый, а лунок надо было много. Наконец поставили сеть. Мотя, довольная помощниками, закурила, усевшись на перевернутое корыто.

– Молодцы, ребята, работающие... – Повернулась к Асе и предложила вполне серьезно: – Оставайтесь до весны, перекантуемся как-нибудь! Дрова есть!

Через три дня утром, темно еще было, приехал на санях Микола, узнавший от жены про Асин спирт. Повез их в Якуты. Только выехали за околицу, Микола потребовал похмелиться. Ася, наученная Мотей, заупрямилась, но и возчик стоял на своем. Ася достала кружку и налила треть. Микола сыпнул в спирт снега, поболтал пальцем и, хлопнув залпом, снегом же и заел. Конь на этот раз был другой, бежал резвее, и дорога была лучше прикрыта снегом. Микола, не смолкая, рассказывал обо всем подряд, через час он еще выпил, потом еще. Ася и дети мерзли, чтобы согреться, слезали с саней и шли рядом. Ася боялась, что спирт в бутылке, о которой они договорились, кончится и Микола потребует другую. Если бы он остановился сейчас и выпотрошил их котомки, она ничего бы не сказала. Но Микола так не сделал. Когда спирт кончился, он еще некоторое время продолжал разговаривать, а потом заскучал. Стал приглядываться вокруг. Наконец остановился в низинке. Зашел за елку отлить, а вернувшись, заявил, что дальше не поедет:

– В эту горку поднимитесь, там уже Якуты видать будет, километра два осталось. А мне еще обратно... – Микола надел тулуп и стал разворачивать лошадь. – Как деревню увидите, одна дорога верхом пойдет, а вы ближе к Енисею берите, там речку переходить надо.

Они перекусили хлебом и печеным налимом, надели вещмешки и пошли в горку. Миколы давно уже и след простыл, было тихо, только неглубокий снег похрустывал под ногами. Дорога была совсем

ненаезжена, просека шла меж высоких темных елок и пихт, украшенных снегом, солнце играло тенями. Согрелись.

– Еще двадцать километров минус. Осталось сто сорок... – подсчитывал Коля, хрустя снегом.

– Тут все небыстро, – улыбнулась Ася. – К Новому году добраться бы! Тебе не тяжело? – спросила младшего.

– Нет, – ответил Сева, думая о чем-то своем.

– Эта Мотя такая молодец, я поначалу ею брезговала.

– Почему молодец? – не понял Коля.

– Научила спирт спрятать... Он тут лучше денег. Микола вон откуда приехал!

– У нас еще четыре бутылки?

– Три, я одну Моте оставила.

Забрались на бугор, никакого жилья впереди не видно было. Дорога спускалась с таежного увала в низину, потом сворачивала, казалось, что в сторону от Енисея. Ясно было, что идти им больше двух километров. Ася поглядывала на солнце, которое уже начало опускаться. Она сама затеяла разговор о том, как ночевать в зимнем лесу. Коля по этому поводу много читал, они стали фантазировать, как строить *иглу* из снега, как жечь костер, чтобы он горел долго...

Часа через полтора, уставшие, поднялись на следующий хребет и не увидели ни Якутов, ни Енисея. Вокруг были такие же заснеженные таежные хребты, Ася осторожно оглянулась назад.

– Хотите отдохнуть? – спросила, пытаясь придать голосу бодрости. – Сева, ты не устал?

– Немного.

– Давай, возьму твой вещмешок? – предложил Коля.

– Нет, ты тоже устал, – не согласился Сева.

– А далеко еще? – Коля тоже смотрел назад, на такую же белую просеку дороги в тайге.

Снова двинулись, шли помалкивая. Солнце скрылось за гору, и стало холоднее. Дорога впереди пустынно темнела вечерними тенями. Ася страшно трусила, ей казалось, что они уходят куда-то в сторону от человеческого жилья. Спички сжимала в кармане, в вещмешке лежал нож. Больше всего она боялась волков.

Когда спустились вниз, увидели свежие следы саней. Их было много. Видимо, что-то возили, следы с дороги сворачивали в тайгу.

Радостные, зашагали быстрее. Рассуждали, возьмут ли их эти люди, когда будут возвращаться? Дорога снова медленно поднималась в гору, но теперь она была наезжена и шлось легче. Да и гора была невысокая. С нее увидели дымы деревни. Слева в серой сумеречной дымке угадывался простор Енисея. Вскоре, как и говорил Микола, дорога разошлась. Брели устало, присаживались на валежины, Ася пыталась сообразить, как искать ночлег в ночной деревне.

Они не дошли до реки, когда их догнали двое саней. Сначала сзади из-за поворота послышались звуки копыт и полозьев по снегу, потом в сумерках меж деревьев стали различаться невысокие мохнатые лошадки. В санях сидело по мужику, оба были тепло одеты.

– Пр-ру-у-у! Ты откуда же, такая красавица? – спросил, не вставая с саней, тот, что ехал первым, по его лицу через всю щеку шел некрасивый шрам.

– Здравствуйте, – поздоровалась Ася, а следом за ней Коля и Сева.

Ася молчала, понимая, что про ночлег лучше не спрашивать. Седой от инея конь не стоял, перебирал ногами и нетерпеливо вздергивал головой.

– А вы куда едете? – улыбнулась через страх.

– За кудыкину гору! – из сумерек вышел второй мужик. – Ксива есть? – Он нервно хихикнул.

– Мы идем в Якуты, нас подвезли, но тут уже недалеко... – Ася от волнения стала поправлять мешок на Коле.

– А к кому же в Якуты?

– Мы... – она окончательно смутилась. – Я – учительница!

– Дак ты в школу? – неожиданно миролюбиво пробасил с резаной щекой.

– Да... я... это мои дети, – Ася показала на ребят.

– Ну садись, подвезем... – мужик указал на свои сани.

– Спасибо вам, а далеко еще? – Ася с благодарностью шагнула к саням, снимая мешок. – Сева иди ко мне.

– Да рядом. Откуда идете-то? – резаный тронул лошадь.

– Мы из Селиванихи, то есть из Туруханска, конечно. Фу-у, я что-то так напугалась, извините, мы по лесу шли.

– Да чего там бояться? А машина ваша где же, в лесу осталась?

– Нас не на машине, на лошади везли, он назад уехал.

В сумерках конь шел небыстро, возница все время его подстегивал, оборачиваясь на товарища. Вскоре и совсем стемнело, только белая дорога впереди и деревья по бокам хорошо различались. Ася ждала, что покажется берег, к которому они шли, но дорога все петляла низиной, забирая вправо. Словно объезжала деревню.

– Извините, далеко еще? – спросила Ася, они уже полчаса, как ехали.

– Считай, дома... – возница выплюнул махорочный окурок.

Дорога резко свернула налево и выехала на берег Енисея. Никакой деревни не было, изба, рядом баня или полуземлянка. Мужик остановил сани возле темной избы. Подъехал второй.

– Мальцов в ледник! – скомандовал с резаной щекой и, ухватив Севку за воротник, поволок к полуземлянке.

– Вы что?! Пустите! – попытался отпихнуться Сева, но мужик уже открыл дверь ледника, второй грубо толкал в спину Колю.

– Что вы делаете? Отпустите сейчас же! – опомнилась Ася и кинулась к детям. – Простите...

Ее отпихнули, один подпирал дверь, а другой, с резаной щекой, крепко ухватив Асю, потащил к дому:

– Дура не будешь, быстро отпустим, да не дергайся ты... – он беззлобно врезал ей по лицу.

У Аси помутилось в голове. Сзади торопливо догонял второй. Подобрал платок, слетевший с головы Аси, подхихикивал мерзко. Что-то говорил.

– Нет, ну что вы? Зачем? – Ася вырвала руку, но резаный тут же больно ухватил ее за шею. – Так же нельзя, пожалуйста, я вас прошу, отпустите детей...

– Хорош базлать, мы быстро, – щерился, что шел сзади, подталкивал, лапая ее. – По разочку и отпустим...

– Послушайте, – у Аси сердце выскакивало из груди, она изо всех сил уперлась перед дверью. – У меня муж тоже отбивает... в лагере. Зачем же вы так? Мы к нему едем! В Ермаково!

– Не убудет! И ему останется! – они впихнули ее в дом.

В леднике было очень тесно. Коля стоял нагнувшись, его всего трясло, слезы текли, бормотал: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста...» – он кого-то умолял. Сева в полной темноте шарил руками по стенам и по полу:

– Давай бить в дверь! – срывающимся голосом заорал он на старшего брата.

– Что? – испуганно вскрикнул Коля.

– Дверь бить! – Сева уже чем-то колотил в дверь.

Они навалились плечами, еще и еще, дверь не поддавалась.

– Нам не открыть! – зашептал Коля.

– Тут топор! – Сева возился в темноте, ощупывал дверь. – Надо топором!

– Что топором?

– Не знаю. Нас заперли! Ма-ма! – закричал Сева неожиданно требовательно. Он совал топор в дверную щель, они вместе наваливались, дверь шаталась, но не поддавалась. – Ма-ма! – продолжал вопить Сева.

Они не поняли, что произошло, дверь вывалилась наружу, Коля упал на снег, Сева же, подобрав топор, побежал к избе. Коля за ним следом. Оттуда доносились сдавленные крики Аси. Услышав их, Коля потерялся совсем, остановился, сжав себе голову и бормоча: «Надо позвать! Надо позвать людей! Да помогите же!»

Сева взбежал по ступенькам, толкнул запертую дверь. Ударил по ней топором, еще ударил, тяжелый топор вылетел из рук:

– Открывайте! – заорал писклявым детским голоском, в котором была жалкая и отчаянная угроза мальчишки. Под ногами валялись кирзовые сапоги, Севка схватил один, ударил им в дверь, потом со злостью забросил его с крыльца.

– Отпустите маму! – он схватил второй сапог.

– Сева, не надо! – закричала Ася. – Уходите отсюда! Идите с Колей в деревню! Уходите!

Мужики не обращали на них никакого внимания. Один зажигал лампу, другой снимал ватные штаны, с Аси они содрали почти всю одежду. Севка спустился с крыльца, забежал сбоку и ударил сапогом в низкое окно. Полетели стекла.

– Пустите маму!!

– Блядь, Васька, гля-кось! Он окно побил!

Сева подбежал ко второму окну и еще ударил. Опять зазвенело и посыпалось.

– Убью, блядь!

Один из насильников в белой рубахе и босой выбежал из избы, Сева побежал от него, раздались выстрелы. Севка, сбитый сильной рукой, брякнулся на снег. В темноте мелькали фонарики и тени. Какие-то люди, их было много, они были уже на крыльце... снова грохнул выстрел:

– Всем на землю! Лежать! Лежать, уроды! – раздался властный голос.

Ася схватила одежду и прикрылась. Свет сильного фонарика остановился на ее голых ногах, она, щурясь, прижалась в углу.

– Кто такая? – ей светили прямо в лицо. Это был офицер, на коротком полушубке были погоны. Вошли двое бойцов с автоматами.

– Я никто... Мы с детьми... шли... – заикалась Ася.

– Оденься! – офицер присел к распластавшемуся на полу насильнику и потыкал ему в затылок стволом пистолета. – Что, Некрасов, перепихнуться захотелось? Где бабу надыбали? Ты с Квелым здесь? Не слышу ответа?! – Он встал и со всей силы заехал носком сапога в колено лежащему.

– Ой-й, бля, начальник, ты чо, в натуре! Ой-й, сука, больно! – застонал насильник.

– Где Квелый, спрашиваю? Сколько вас уехало? Еще хочешь?!

– Тут он! – просипел лежащий.

Бойцы завели полуодетого мужика со шрамом. Тот взялся за свои портки.

– Куда одеваться, Квелый?! Так поедешь! Я тебя предупреждал, ебарь-самоучка! В ШИЗО их!

Из леса подъехали еще двое саней, офицер вышел из избы, распорядился о чем-то, вернулся, засовывая пистолет в кобуру. Ася уже оделась.

– Ну, рассказывайте, гражданочка, откуда вы такая нарядная? – он убавил коптящий фитиль лампы и сел напротив.

– Там мои дети, можно мне к ним?

– Сначала мои вопросы! – он придвинул лампу и рассматривал ее с интересом. – Ссылная?

– Я? – Ася лихорадочно пыталась поправить волосы. – Нет, я преподаю музыку.

– Музыку? – поразился лейтенант. – Как же вас занесло сюда? Вы хоть представляете, где вы?

Ася наконец достала документы. Лейтенант просмотрел.

– Из Москвы... А я, представьте, из Ленинграда. Так что же привело в наш убогий угол? И как вы оказались с этими рецидивистами?

Ася плохо понимала, что происходит, она видела через окно, что дети стоят в окружении солдат и с ними все в порядке. Она начала бестолково рассказывать про их отмененный рейс, про дорогу сюда, сама судорожно ощупывала порванную одежду и думала, что будет говорить детям. Горела со стыда. Лейтенант, казалось, не слушал, но смотрел на нее так, что она опять попыталась поправить волосы.

– У меня подруга была здесь на гастролях, она артистка Вахтанговского театра, я там концертмейстером иногда подрабатываю...

– Понятно, а муж ваш где?

Ася замерла и закрыла глаза.

– Не знаю... я... не знаю.

– Как это?

– Он был осужден на большой срок, и мы прекратили отношения. Он прекратил. Я не знаю, где он сейчас, это было давно. – Она с удивлением понимала, что сказала почти правду и легко выкрутилась.

Зашел боец, спросил, можно ли увозить. Лейтенант отпустил, сам стоял и думал:

– Можете в этом доме переночевать, – предложил, – тут у нас бригады рыбаков живут. Пока их нет...

– А можно в деревне? – Асе не могла себе представить, что они останутся здесь одни.

Лейтенант молча прищурился на нее, вышел на крыльцо, слышно было, как распоряжается.

Изба была на краю деревни. Пустая и ледяная внутри. Лейтенант прислал мужика, тот затопил печь, сходил за водой и уехал. Прислал и булку хлеба, котелок каши с тушенкой, узел солдатских одеял. Каша была холодная, они попытались погреть ее в печи, но были такие голодные, что от нее вскоре уже ничего не осталось. В доме было жутко холодно – изо рта шел пар, не раздеваясь, они сидели у огня, печь трещала и стрелялась, они были вместе, живы и здоровы. Сева лежал на коленях у матери, держал ее за руку и смотрел в чело большой русской печи. Там бушевал красный огонь. Коля прижался к

Асе с другой стороны, временами его колотила нервная дрожь, он считал себя трусом и тяжело переживал случившееся. Они ничего не обсуждали.

– Давайте вернемся в Туруханск, – неожиданно нервно заговорил Коля, отстраняясь от матери. – Попросим этих офицеров, чтобы нас отвезли, подождем там навигации... Сами мы не дойдем!

Ася с Севой продолжали смотреть в огонь. Коля говорил правильно, это было понятно.

– В Туруханске ждать почти год. Ты сам говорил, – спокойно возразил Сева. – Отца могут увезти!

– Его и сейчас там может не быть! Как мы доберемся?! Нас могли убить, ты не понимаешь, ты еще маленький!

– Я маленький, а ты трус! – Севе изменило его самообладание, и он превратился в неуступчивого младшего брата. Такое у них случалось. – Я не боюсь идти по тайге. Даже ночью могу!

– Не надо, – остановила их Ася. – Может быть, Коля прав, давайте завтра все обсудим.

Они попытались лечь на печку, но она была ледяная. Снова сели на единственную лавку к челу печи. Зевали, уставшие и измученные, разговаривать ни о чем не хотелось.

Утром заехал лейтенант, привез кульки с карамельками и печеньем и кусок масла.

– Меня Александр зовут, как устроились? Ничего? Не холодно? Что еще надо? Скажите, я пришлю. – Он был явно в хорошем настроении, прошелся по пустой горнице, глянул в окно. – Енисей! Вид прекрасный и суровый! Ася, можно вас?

Они вышли на улицу, лейтенант замялся, вглядываясь в ее тонкое лицо, как будто и засмутился, спросил, чтобы что-то спросить:

– Откуда ватничек? – уверенно взял ее за рукав.

– Купила в Туруханске... обменяла... – на ватнике, после вчерашнего не хватало пуговиц.

– Зэковский! Без карманов и простеганный плохо, с зэка вам подсунули! Вы извините, Ася, за вчерашний инцидент, те люди наказаны... Я хотел попросить вас... – он опять замялся, смотрел так, как на нее давно никто не смотрел. – Я помогу вам. Когда Енисей встанет, отправлю до Ангутихи... а сегодня хотел пригласить вас к себе. Расскажите о Москве, вы коренная москвичка?

– Хорошо, – Ася видела его смущение, и ей от этого неудобно было.

Она стояла растерянная от приглашения и обрадованная предложением помощи. Она очень признательна была лейтенанту. Ночью к ней возвращался и возвращался вчерашний ужас, если бы не лейтенант, даже подумать было страшно – картины одна другой ужасней приходили в голову. Как ангел с неба, слетел он со своим пистолетом, и устроил, и дров прислал. Ей было понятно, что он ухаживает, это было уже не так страшно.

Он заехал вечером, в легких саночках, внес котелок каши с мясом, на этот раз гороховой. Оставил мальчишкам, а мать забрал. На улице было уже совсем темно.

Он жил в отдельной избе на другом краю деревни. С его крыльца была видна вахта небольшого лагеря всего на несколько бараков. Было жарко натоплено и уже накрыто на двоих.

Лейтенанту было двадцать пять, хотя выглядел он сильно старше – это водка, делать здесь совершенно нечего, особенно зимой, признался сам. Он не воевал, на эту лагерную командировку был назначен временно, но о нем, кажется, забыли, и он служил здесь второй год. Он предложил выпить и стал разливать разведенный спирт. Ася отказалась, он выпил один, потом еще раз. Он не закусывал, довольно быстро опьянел, осмелел и перешел на ты. Он сел к ней на кровать и попытался взять за руку. Ася улыбалась вежливо, но руки не дала.

– Оставайся у меня, любую должность тебе придумаю – хочешь в КВЧ, а хочешь, просто так оставайся... как женой будешь? Пацанов отвезем в Туруханск в интернат, будешь ездить к ним раз в неделю... – он опять попытался взять ее руку, но Ася просительно закачала головой и отодвинулась.

– Саша, мне уже тридцать девять лет. Я немолода и не смогу оставить своих детей. Лучше помогите нам добраться. Вы очень добрый, мы с детьми говорили о вас, они считают вас настоящим героем!

– Урки не выпустили бы тебя оттуда! Привезли бы еще таких же! – лейтенанту хотелось быть героем, но в глазах было то же, что и у тех мужиков.

– Отправьте нас в Ермаково... – попросилась Ася ласково и сама взяла его за руку. – Саша, вы правда очень хороший человек, не настаивайте, пожалуйста, я не смогу. Моего мужа первый раз арестовали в тридцать шестом, я ни с кем не была с тех пор. Вы же можете это понять... Помогите нам, мы всегда будем о вас помнить!

Лейтенант посмотрел на нее с нетрезвой суровостью, налил полстакана, махнул и, обхватив ее руками, уперся лбом в плечо:

– Так я и знал, – он сжал ее крепче, так, что ей больно стало, а еще больше неловко, но тут же отпустил и отвернулся. – Мне не баба нужна, просто нормальной женщины захотелось. Зэки одни кругом, а от тебя человеком пахнет, ты даже смотришь по-другому! Жизнь! Понимаешь?! Вот тут зашевелилось! – Он ткнул себя в грудь и замолчал. Вздохнул пьяно. – Нас как собак натаскивают! Если не пить, через год с ума сойдешь. Они же не люди! Не работают, воруют, режут друг друга... издеваются друг над другом хуже зверья!

Ася замерла, за стенами неподалеку трещал дизель, временами лаяли собаки. Лейтенант сидел молча, опершись на стол. Вдруг поднялся решительно и, не говоря ни слова, вышел, брякнув дверью. Ее отвезли в избу. Коля с Севой не спали, сидели у печки и ждали мать. Кинулись к ней, и потом сидели втроем и глядели на огонь. Они ничего не спрашивали, Ася сказала, что лейтенант обещал помочь, надо ждать, когда встанет Енисей.

Два дня к ним никто не показывался, у них кончились дрова, и они ходили, собирали по берегу, что придется. С продуктами было совсем плохо. Домик стоял не в деревне, а на отшибе, на спуске к реке, и с местными они не пересекались. Погода испортилась, сильный ветер взломал почти замерзший Енисей, нагородил торосов, они смерзлись, и ходить по реке стало опасно – тут и там парили полыньи и текла черная вода. Местами тонкий лед был предательски присыпан снегом.

На третий день лейтенант прислал дрова, керосин, лампу, сам явился вечером, привез еды и снова увез Асю в свою избу. Теперь на столе стоял коньяк, лежала копченая колбаса и шоколадные конфеты. У него опять ничего не получилось. Он один выпил коньяк, снова рассказывал о своей несчастной жизни и был настойчив, но Ася не пожалела его. Провожая ее, лейтенант поставил ультиматум – она остается с ним на ночь, и потом он их отправляет, куда она скажет.

Так повторилось несколько раз, лейтенант то появлялся, то исчезал. Иногда трезвый, чаще пьяный. В деревне было восемь жилых домов. Коля с Севой ходили на рыбалку с соседом дедом Серафимом и ловили налимов. Что в Туруханск, что в Ангутиху – расстояние было одинаковое, но в Ангутихе, утверждал дед Серафим, можно было устроиться в зверосовхозе. «Плотют плохо, а все с голоду не помрете, и бараки там есть! Большая деревня!»

Лошадей в Якутах было всего две, ехать никто не соглашался. Ни за деньги, ни за спирт. Ася видела, что все боятся лейтенанта. Они жили в Якутах уже третью неделю, лейтенант опять «забыл» про них, кончились дрова, ели одну рыбу. Мальчишки уходили с дедом Серафимом проверять удочки, а Ася в тяжелых раздумьях сидела у окна. Однажды вечером она сама ушла к лейтенанту на другой край деревни. Вернулась среди ночи, умылась снегом, прежде чем войти к сыновьям. Постояла, обсыхая на морозном ветру. Мальчишки спали.

Наутро лейтенант обещал прислать за ними сани. Они поднялись рано, молча собрали вещи, Асе стыдно было смотреть в глаза сыновьям, приготовились к дороге. Ни утром, ни в обед никто не приехал. То же было и на следующий день. Ася поняла, что ее обманули, и с ужасом ждала появления лейтенанта.

Еще с Севой поругались, не поругались, но не поняли и обиделись друг на друга. Он один, было уже темно, сходил на Енисей за водой, и она в сердцах отругала его, так и легли спать, не разговаривая. У них такое редко бывало, а тут... Она, конечно, была виновата. Не надо было ходить к лейтенанту, а уж случилось, надо было терпеть, она же очень нервничала и срывалась. Дети все чувствовали. Она была кругом неправа, это она утащила их сюда, но уже ничего не вернуть было...

Она опять целый день просидела у окна, с тоской наблюдая белый, рябой от торосов Енисей. Мальчишки возились по хозяйству, пилили и кололи дрова, ходили проверять удочки, за водой, Коля сварил рыбу. Ася страдала от ссоры с Севой, хотелось прижать его к себе, но еще больше ей было стыдно перед ним и перед Колей. Они все чувствовали... а она чувствовала себя оскверненной, лейтенант надругался над ней. Он именно этого хотел. В голове, как проигравшая пластинка, с убивающим шипеньем крутилась пустота.

Мальчишки видели, что матери плохо, но чем они могли помочь? Она слышала, как они обсуждали рыбалку, Сева шепотом уверял брата, что он не трус и что один сможет рыбачить. Промывал в воде цветные камешки, что искал на берегу, и раскладывал их по подоконникам. Ася легла спать рано, забилась на печи в темный угол и тихо наревелась. Она боялась, что их отсюда не отпустят и что все это, все эти «отношения» будут выясняться на глазах сыновей. Она с тоской вспоминала Туруханск, а еще больше Москву.

Утром проснулась поздно, за окнами уже светало. Рядом на печке спал Коля. Она спустилась, Севы в горнице не было и не слышно его было. Она долила керосин, зажгла лампу, сама все прислушивалась, выглянула в сени, на улицу – ни его, ни пальто и валенок. Проснулся Коля, набросил фуфайку и тоже сходил на улицу – Севы во дворе не было. Стал затапливать печку. Ася сидела с Севиными чулками в руках. Сева терпеть не мог надевать чулки с резинками, они лежали на табуретке, где он раздевался. Не было шапки, пальто и валенок. Он мог пойти за водой, но их единственное ведро было на месте.

Они оделись и вышли из избы. Севкины следы вели вниз к реке. Они пошли по ним, всматриваясь в гигантский сумеречный еще провал Енисея. Нигде ни силуэта, ни единой темной точки. Сердце Аси заколотилось в плохом предчувствии, она пошла быстрее.

– Мама, не топчи следы... Он мог удочки проверить и к деду Серафиму пойти.

– Да? – остановилась Ася. – Да-да... а почему он не оделся? И шарф не взял?

Она еще раз оглядела пустое серое пространство реки и, торопливо оскальзываясь, пошла в сторону деревни.

– Мам, ты куда, надо по следам...

– Ты иди, только осторожно, пожалуйста! Я к деду Серафиму...

Коля шел дальше, следы вышли на лед Енисея, у берега были сплошные торосы, и Коля потерял следы, но он знал, где стоят удочки, и вскоре снова нашел знакомые следы. Валенки были маленькие и подшитые, а еще Сева, выходя из дома, наступил в мазут, и правая пятка печатала темное пятно. Коля доволен был своей наблюдательностью. Он остановился и огляделся. Мать бегом спускалась от деревни. Он сам уже зашел дальше удочек. Коля заволновался. Вокруг, кроме них с матерью, не было ни души. Это

было так странно, он привык к тому, что их всегда трое. Он чуть было не побежал навстречу матери, но удержался и двинулся дальше по следам. Следы с пятнышком мазута вели на середину реки, к незамерзшей стремнине. Сева шел мелкими шагами, было темно, понимал Коля, он боялся провалиться... Что он делает? Зачем он идет? Я не разрешал, мы даже поругались...

Впереди с краю затянутой льдом полыньи виднелась рыжая Севкина ушанка. Припорошенная снегом. Коля замер, обернулся на мать, она была уже близко. Он повернулся к матери:

– Мама! Не надо! Он провалился... Наш Сева провалился, там его шапка!

Ася подбежала, бросилась к ушанке, выбросила ее на снег, проломил лед и ушла рукой в глубину. Шарил рукой подо льдом. Переползала и шарила. Она погружалась по плечо и глубже:

– Се-е-в-а-а-а! Се-е-в-а-а-а! Се-ева! – она выискивала рукой и кричала, захлебываясь водой.

Коля схватил ее за телогрейку и потащил от полыньи. Черная вода с шумом уходила в белоснежное обрамление. Ася словно опомнилась, затрясла головой, быстро встала и, озираясь вокруг, заговорила, а потом и закричала:

– Се-ва, Се-ва, Се-е-в-а-а-а! Он должен быть где-то здесь, он просто... куда же он пошел? Надо его искать, он замерзнет! Да где же он?! – ее глаза беспокойно и безумно обыскивали горизонт. – Ну не может же быть. Подожди, давай спокойно. Ты уверен, что он... то есть ты шел по его следам? Почему ты думаешь, что это его следы?

Коля молчал.

– Мама...

– Да что «мама», отвечай на мой вопрос! – она была собрана и строга, ей казалось, что если Коля ответит сейчас на ее вопрос, то Сева обязательно найдется.

– Это его следы.

– Почему ты так говоришь?

– Он в мазут наступил... и шапка.

– При чем здесь мазут, он же мог пойти куда-нибудь еще? Куда он ходил? А лейтенант... не мог?! – в ее глазах засветилась надежда. – Конечно, это он его увез! А шапку специально бросил!

Коля растерянный стоял с шапкой в руках. С берега к ним спешил дед Серафим. Ася поднялась от полыньи и пошла навстречу старику. Один рукав мокрый схватывался морозом, платок сбился набок. Ася остановилась, вдумчиво перевязала платок. Она что-то хотела спросить, но не помнила, что... Внутри все отупело и отяжелело. Дед заглянул в полынью:

– Вы чего здесь? Куда малой-то ушел? – старик и сам был растерян. – Дома его нет? Может, уснул где? Привалился и уснул...

Он стал внимательно оглядывать полынью, покачал головой.

– Сами-то здесь осторожней! Не ровён час, провалитесь... – дед увидел мокрую шапку в руках Коли и замолчал.

– Да, Коля, надо пойти... надо обыскать весь дом. Он обиделся на меня вчера и спрятался на чердаке. Идем, чего ты стоишь? Коля, что с тобой? Ты что плачешь?! Быстро пошли отсюда! – Ася тяжело дышала и шла очень медленно.

Дома Севы не было. Ася обшарила все, заставила Колю, а потом и сама поднялась на чердак. Не было. Потом снова вспомнила про лейтенанта.

– Надо ждать. Он придет. Затопи печку! – она села у стола, соображая что-то. – Он никогда так не делал. Правда? Не уходил. Он послушный и очень разумный мальчишка. Да, он очень разумный, он мудрее нас с тобой. Это значит, он вернется! Он не мог пойти ночью... зачем? Там же ничего нет и не видно. Он ничего тебе не говорил?

– Что?

– О чем ты думаешь?

Коля с болью в глазах смотрел на мать, слезы опять потекли.

– Да что ты плачешь? Не смей! Ты что, с ума сошел?! Коля?! Прекрати!

– Он хотел сходить туда, где Енисей не замерз, где он течет...

– Да?

– Сначала меня уговаривал, а потом сказал, что одному ему страшно и поэтому он обязательно хочет пойти один. Что он не трус...

– А ты?

– Я не разрешал, я говорил ему, что это опасно. Он и деда Серафима спрашивал...

Дед как раз поднимался на крыльцо. Зашел в избу. Сел у дверей, дымя цигаркой.

– Дедушка, Сева спрашивал вас... он хотел туда... где не замерзло еще? – Ася спрашивала и видно было, что она не хочет слышать ответа.

– Вот и сам об этом думаю. Мальчонка-то куда смышленный был, разное выпрашивал. На стремнину я ему не велел ходить. А он спрашивал, так и было. Вчерась уды проверяли, а он ушел и у самого края полыньи стоит на струю смотрит. Вода-то шелестит мимо, как живая. Спрашивает меня: дед Серафим, ты боишься сюда смотреть? Я, мол, ясное дело, боюсь, как нет? А он – не надо, мол, бояться. А потом и спросил – а ночью еще страшнее? Что, мол, страшнее, сынок? А он – ночь черная и вода черная, а бояться все равно не надо! Даже когда страшно! Так-то вот! Такой смышленный был! – дед вздохнул и потянул из самокрутки.

– Почему вы говорите «был»? – нервно спросила Ася.

– Дак теперь уж... как? – сокрушаясь, мотнул головой. – Жалко-то его! Досужий, взрослый мальчишка, все, бывало, спросит. Как товарищи мы с ним были, жалость такая...

Ася недобро посмотрела на старика, попыталась надеть ватник, но он был неподъемный, с рукава натекло. Она вышла на крыльцо, отжала рукав и попыталась всунуть туда руку. Дед неожиданно поднялся решительно, взял у нее мокрую одежду и, мрачно нахмурившись, заговорил:

– Ты, баба, с ума не сходи, у тебя вот парень, если малой ушел куда, сюда и вернется. Повешай сушиться и сама просохни, чаю попейте. Не ходи туда! Я сам схожу, еще гляну!

Он помялся, не зная, что еще сказать или что сделать.

– Яичек не хотите свежих, яешню сделаете, сбегай, Колька, на столе лежат три яйца. Севка, тот любил из-под кур достать! – дед улыбнулся, вспоминая, но тут же посуровел. – Не ходите никуда. Сам схожу! Да к лагерным дойду, они у нас заместо милиции.

Соседи стали приходить. Приносили что-то. Кивали горестно, спрашивали, как же случилось. Все были уверены, что Сева утонул. Ася улыбалась растерянными, пустыми глазами, выходила на крыльцо и все смотрела в сторону полыньи, как будто оттуда кто-то мог появиться. Одна баба вошла, поставила корзинку на лавку и, некрасиво искривив рот, завывла тихо:

– Ты поплачь, милая, попла-ачь, горе-то у тебя какое, не дай Бог нико-му-у-у...

Ася схватила платок и выбежала на улицу, пошла было быстро к Енисею, но остановилась в нерешительности. За ней уже бежала и эта баба, и еще кто-то. Привели домой. К вечеру, как стемнело, в избу набилось народу. Самогонка появилась, закуска, Ася ушла за печку и легла на лавку. В голове было только одно и очень странное – Сева домой не пришел. Слез не было. Она не верила и ждала его.

В нее все-таки влили водки. Дед Серафим заставил, и потом еще, есть велел. Есть она не могла, тошнило, но выпивала, ей казалось, если она выполнит требования других людей, все восстановится, как прежде. Не будет этой ночи. И она выпивала и, благодарно улыбаясь, кивала... Она была полумертвой, в голове мелькало без разбору, не задерживаясь – Георгий Николаевич Горчаков, Сева, Туруханск, «Мария Ульянова», их московская комната, свекровь Наталья Алексеевна, Сева и Коля с рюкзаками, опять Горчаков-старший, молодой и похожий на Севу, Сева с книжкой, задумчивый...

Коля постоянно плакал. Молча, без рыданий, где-то в сторонке. Дед Серафим успокаивал:

– Ничего, парень, беда такая, поплачь, слезы-то Господь придумал. Как же братишку не жалко, дружные вы были, что там! Поплачь, тебе еще за матерью ходить, вишь, она и слезы не уронит. Не верит, не хочет... – дед вздыхал, садился к столу и скручивал очередную самокрутку. – Кому такого захочется... а Господь не спрашивает...

Он и ночевать остался с ними. На полу устроился на своем тулупе.

Утром приехал фельдшер из лагеря, стал спрашивать Асю, но она отказалась разговаривать. Коля все рассказал. Фельдшер составил какую-то бумагу, сказал, что это все филькины грамоты, по-хорошему надо им в Туруханск в милицию ехать.

Вечером бабы устроили поминки. Винегрет сделали, кто-то соленой осетрины принес, уху сварили, нажарили налима... Ася достала спирт. Дед Серафим развел две бутылки, одну велел спрятать. Асю опять заставили выпить, но ее тут же вырвало, и она ушла на лавочку за печкой. Люди поминали, жалели мать, потом стали

рассуждать, зачем она потащила их в эти края, потом стали о делах говорить, смеяться... Ася заснула.

Проснувшись ночью с совершенно ясной головой. Она сосредоточилась и опять пошла рядом с Севой к той полынье. Была ночь, лунная, но видно было плохо, он шел медленно, пожалел, что не надел шарф, холод забирался под пальто. На Енисее пошел еще осторожней, глянул вперед – не видно было, ни самой незамерзшей воды, ни пара над ней. В некоторых местах пробовал пробить валенком лед – везде было крепко. Он пошел смелее, холод забирался даже в валенки, надетые на босые ноги, иногда он немножко пробежал, чтобы согреться, но, вспоминая о полыньях, снова шел осторожно. Страх провалиться укорачивал его шаг, и он же толкал вперед. Сева понимал, что делает это только для себя, что ни матери, ни Коле этого не расскажешь, но ему важно было это сделать. Он был очень серьезен, он боролся с настоящим страхом. В какой-то момент ему захотелось помолиться, но он преодолел себя – все хотелось сделать самому.

Так и шла Ася вместе с ним. Она много раз так ходила, но до полыньи не добиралась, а теперь дошла. Лед проломился неожиданно, сильное течение схватило его, ничего плохого не сделавшего, и утянуло под лед... она ясно видела его уплывающего, хватающегося руками за черный потолок льда. Ася страшно взвыла и вцепилась зубами в подушку. Коля спускался с печки. Дед Серафим закричал, садясь на полу:

– Зажигай лампу, сынок, зажигай, карасин есть... куды его теперь беречь...

Время тянулось страшно. Ели налимов, что Коля ловил с дедом Серафимом. Ася поначалу подолгу стояла у крепко замерзшей уже полыньи, но метели вскоре все замели, и не найти было того места. Ася перестала ходить, просто сидела на бревнышках на берегу. Иногда одна, чаще с Колей. Молча сидели или вяло говорили о чем-то постороннем, о Севе не могли говорить. Глубина страдания, на которую погрузил их Сева, не знала слов.

Люди там немые.

На девять дней пришел дед Серафим и две старухи.

Надо было что-то делать, но Коля не смел спрашивать мать. Несколько дней спустя после поминок заехал сосед Иван и предложил

подвезти до Ангутихи, он ехал в ту сторону на свой охотничий участок. На следующее утро они опять сидели собранные. Только теперь у них было два вещмешка. Зашел дед Серафим, принес вареной рыбы в чугушке. Попрощались, и вскоре деревенька со страшным названьем Якуты осталась за поворотом.

Дорога шла берегом или краем, по торосистому льду, часто приходилось выбираться из саней, потом снова ехали. Иван помалкивал, только с конем по кличке Непокорный иногда разговаривал. Ася вспомнила про спирт, предложила ему. Иван подумал, посмотрел на небо и согласился. Выпив, помаленьку разговорился:

– Не горюй ты так-то! Отмучился малый от этой жизни... Так и старики говорили, а подумать, так и есть, что за жизнь у людей? Мы, мужики, хоть выпьем, а бабам с ребятишками как? Чего они, кроме нужды, тут видят? Одна казенна рыбартель, ёп ее мать-то! – он помолчал, поддернул вожжи. – Мне баба моя говорит, свези, говорит, сердешную, а то она так и бросится в ту прорубь. Я вот и еду... А куда тебе деваться, жить надо. Так-то! Нно-о, Непокорный, замерзнешь! Вот и говорю, какая там жизнь ни есть, она все лучше, чем тут! Как хуже-то ей быть?!

Было уже второе ноября, мороз стоял под сорок и ехать было холодно, особенно на ровных местах, где Иван пускал коня рысью. Достали одеяла, прижались друг к другу, глаза матери были пусты, улыбалась сыну безжизненно и дрожала. Коля закутал ее валенки одеялом.

– Уезжаем от Севки, – шепнула ему Ася и по ее щекам покатались мокрые полоски.

Ночевали в маленьком зимовье. Деревня Ангутиха была недалеко, на другой стороне Енисея. Утром выехали и вскоре свернули от берега через белое торосистое пространство реки.

– Ну, молитесь Богу, ребята, – Иван строго осенил себя широким крестом.

– Далеко на ту сторону? – Коля тоже перекрестился, слегка стесняясь.

– Километров пять... – Иван недовольно посмотрел на Асю, та, сосредоточенная на чем-то своем, сидела с одеялом в руках. – К

середке подъедем, ноги с саней спусти! – заговорил громче, – а то так и уйдешь!

Вскоре конь пошел осторожно, постоянно принюхивался к снежной дороге, под которой текла большая вода. Иногда вскидывал недовольно голову и почти останавливался, но Иван понукал негромко и не настойчиво, и конь делал осторожный шаг. Как в кипятке ступал. Они шли по санному следу, кто-то ехал до них. Опасливые следы полозьев то пропадали, то появлялись вновь. Объезжали торосы. В одном месте конь совсем заупрямился, начал пятиться, и Иван его послушал. Обошли это место, но вскоре Непокорный опять заволновался, тянул перед собой умную морду, раздувая ноздри, прядал ушами и не шел. Иван вышел перед ним, сделал вперед несколько шагов, и под ним затрещало. Попробовали обойти и это место, не получилось. Конь не шел и пятился.

– Не пойдет он, – Иван достал из шапки недокуренную самокрутку, прикурил. – Похоже, плохо еще встало. Вон за тем поворотом Ангутиха. Идите! Вы-то легкие, пройдете. Ты, парень вперед матери иди, где опасно – пробуй!

Он сел на сани, покуривая и думая о чем-то. Посмотрел на Асю. Даже как будто и улыбнулся благодушно, пытаюсь поддержать:

– Эх-эх, антеллигенция! Слабый вы помет! Родите одного-двух, потом и убиваетесь, разве так надо?!

На Коле был тяжелый вещмешок, он шел первым, прислушивался, не треснет ли под ногой. Временами там, где ветер сдувал снег, выходил осторожно на темное зеркало льда, топал, но было надежно, нигде не трещало. Они шли медленно, устало, у обоих заплетались ноги. Они были уже на середине, когда Коля провалился. Ася молча кинулась к нему, схватила за вещмешок, под ней тоже затрещало, но Коля уже выбрался. Один валенок унесло. Мокрый по пояс, он прыгал на одной ноге и с удивлением глядел на мать, которая продолжала стоять на коленях возле проломленного льда. Вода хищно, черно неслась в проломе.

– Мама, уйди оттуда! У меня валенок уплыл! Мама!

– Да-да! – очнулась Ася. – Есть Севины валенки... они малы... я достану твои ботинки! – Ася приходила в себя, ощупывала растерянно вещмешки. – Ты сильно промок?

– У меня сухих штанов нет! На мне двое, сама сказала надеть. – Он все время оборачивался на разломанную майну. – А вдруг везде так? Как мы пойдём?

– Надо вернуться на берег и зажечь костер. – Ася растирала ему ноги, натягивала сухие шерстяные носки, потом надела ботинки.

Они быстро пошли назад. Штаны на Коле, прихваченные морозом, гремели, как картонные.

На опушке с трудом развели костер. Коля крутился возле огня, подставляя то один, то другой бок, а Ася все собирала и подкладывала сучья. Когда хорошо разгорелось, наставили палок и рогатин, и развесили мокрую одежду, от нее шел пар. Коля остался в одних трико, морозило крепко, со спины было холодно, от костра жарко. Доели остатки налима. Солнце перевалило на вторую половину дня. Коля подсушился и снова натянул на себя штаны. Все было влажное, тут же прихватывалось морозом.

– Может, нам вернуться в зимовье? – Ася, так же как и утром, сидела с равнодушными, потухшими глазами, думала о чем-то, в огонь глядела.

– Там дров нет. Иван сказал, туда почти так же, как до Ангутихи. – Колю совсем не испугало это нечаянное купание.

– Хорошо, тогда я пойду первая!

– Не-ет! Я легче! Возьму палку и буду стучать по льду! – не согласился Коля. – Если тонко – сразу услышишь! Надо по тому санному следу идти! Кто-то же проехал!

Коля вскоре начал мерзнуть. Ася догнала его и, решительно отобрав дубинку, пошла вперед. Пыталась постукивать, но лед везде был толстый, звук глухой, и она просто понесла ее в руке. Коля время от времени останавливался, подмокший вещмешок оттягивал плечи. Он поправлял лямки и постепенно отставал все больше.

Ася шла ровно, чувствовала страшную усталость и безразличие ко всему. Временами ее оглушенный мозг опускал ее под этот коварный лед, и ей становилось хорошо. Там было светло и очень тихо. Она шла и улыбалась, слезы сами собой начинали течь, она рада была уйти туда, только бы увидеть его. Даже прибавляла шагу, чтобы ощутить под ногой эту желанную избавляющую пустоту.

– Мам! Ма-а-ма! – ее догонял Коля. – Ты что? Ты куда идешь?

– Коля! – Ася вдруг схватила его и крепко прижала к себе. – Коля... я здесь!

– Смотри, куда ты идешь! – Коля показывал ей на дымящую полынью впереди, но лицо матери было уже в тяжелых слезах, и он прижался к ней. – Ты думала о Севке? Я знаю! Я тоже о нем все время думаю.

И сам заплакал. Так они и стояли среди белого, залитого морозным солнцем Енисея. Недалеко от парящей полыньи. Обнимались и ревели.

Бакенщик Валентин Романов чинил створный знак на высоком берегу и наблюдал этих двоих. Он приехал, когда они первый раз шли через реку и были уже далеко. Он знал, что Енисей еще хорошо не встал, но решил, что это кто-то из Ангутихи, перешли и теперь возвращаются своим же следом. Издали не видно было, что за люди, две черные черточки с руками-ногами. Он продолжил свою работу, слез со знака и увидел их, идущих обратно. Провалились – мелькнуло в голове – не иначе, пьяные, трезвый не полезет. Он стал тесать топором заготовленные доски и все посматривал в их сторону.

Он понял, что эти двое пришлые, когда они разожгли костер. На таком морозе местные наверняка ушли бы в зимовье. Он закурил, раздумывая, как быть, решил сначала доделать. У костра не замерзнут. Ему уже интересно было, кто бродит в его безлюдных краях, да еще в это время.

Они снова пошли через Енисей. Валентин как раз доделал, увязал инструменты в мешок и понес в сани. Гнедко стоял, прикрытый попой, где не было прикрыто, серебрилось от морозного инея. Нетерпеливо поглядывал на хозяина.

– Ну-ну, сейчас поедem... – Валентина надел узду, подтянул подпругу, достал папиросы и вышел на берег.

Сверху все было, как на ладони. Эти двое снова шли своим следом, туда же, где и провалились. Валентин хмуро наблюдал за ними. И правее и левее было так же опасно – черными прерывистыми лентами, показывая неукротимый хребет енисейской воды, тянулись промоины фарватера. Романов развернул Гнедка и стал спускаться вниз. Вдоль берега поехал рысью. Эти двое его не видели – они уже подходили к фарватеру. Валентин подхлестывал и подхлестывал Гнедка, встал в санях, сунул в рот пальцы и залиvisto засвистел – надо

было их останавливать. Они его не слышали, но остановились. Застыли рядом с чистой водой. Не доезжая метров сто, Валентин бросил упирающегося Гнедка и пошел пешком. Они наконец его увидели, топтались на месте. Это была баба с мальчишкой.

– Тут не пройти, ребята! Вам чего там? – Валентин слегка запыхался.

Женщина была симпатичная, заплаканная, слезы вытирала, смотрела тревожно. Городские, понял Романов, мать с сыном.

– Здравствуйте, – вежливо поздоровалась женщина, – нам на ту сторону надо...

– Через неделю, может, и попадете, сейчас не получится.

– Мы в Ангутиху хотели... – Ася во все глаза глядела на почти квадратного и очень страшного с виду дядьку. Ей сумасшедше казалось, что он сейчас что-то скажет про Севу.

53

В начале ноября завернули совсем крепкие морозы. Доходило до пятидесяти. Раньше обычного начали вставать таежные зимники, по ним на трассу потекли грузы. Ехали колонны грузовиков, трактора тянули огромные бревенчатые сани, груженные разным добром с ермаковских складов, стали убывать высоченные штабеля бруса и досок, напильные за лето лесозаводом.

Разросшийся поселок присыпало снегом, но его не хватило, чтобы скрыть убожество торопливого казенного строительства. Казалось, что все внимание людей переключилось теперь на трассу, а Ермаково стало просто местом перевалки людей и грузов.

Мощенные деревом дороги, уложенные летом и осенью сорок девятого, теперь выглядели неряшливо. Опасно торчали бревна, доски, гвозди и скобы. Никаких тротуаров уже не было, как будто их не было никогда, и люди ходили там же, где ездили машины и трактора. Огромные лужи, как и в Игарке, заваливались опилками. С отштукатуренных и беленых барачных осыпалась штукатурка, и они стояли пегие и облезлые, как стадо старых коров.

Но были и ладные, хорошо отстроенные дома. Новый начальник Строительства-503 Боровицкий поставил отдельное добротное жилье

для офицеров. Красивой была и высокая двухэтажная школа, с не по-северному большими окнами, из которых был виден Енисей. Классы и коридоры тоже были просторные, спортзал в два этажа, мастерские.

Одноколейный железнодорожный путь начинался почти в середине поселка, и Ермаково выглядело, как железнодорожная станция с разъездами и семафорами. Две ветки подходили к Енисею, третья вела к депо. Ни причала для парома, ни железнодорожной станции пока не было, и люди не знали, зачем все эти пути, через которые им приходилось перебираться, ломая ноги. Вдоль насыпей валялся строительный хлам, к нему ермаковцы добавляли и нестроительный, и возникали свалки с воронами и тощими собаками.

Горчаков стоял в толпе на митинге в честь праздника 7 Ноября – это была тридцать четвертая годовщина революции. К знаменательному дню строители на два месяца раньше срока сдали железнодорожный мост через речку Барабаниха. Горчаков, как и все коченеющие здесь люди, не слушал выступающих. Все хорошо знали, что мост этот не только не сдан раньше срока, но должен был быть сданным – и кажется, его уже сдавали! – еще в прошлом году.

Перед мостом, готовый его пересечь, стоял черный, вычищенный и подкрашенный паровоз. Он был украшен маленькими елками, красными флагами, большим портретом Сталина и красным лозунгом «Вперед к коммунизму!». На буфере паровоза под портретом вождя замерли боец с автоматом и школьник со знаменем.

Въезд на мост украшала специально построенная высоченная арка со словами «Слава великому Сталину!». Она тоже была украшена большими и маленькими флагами, елками, яркой красной звездой в центре и еще портретами Сталина и Ленина.

Все это было похоже на детские забавы, когда ребятишки, в соответствии со своими вкусами, украшают что-то стекляшечками, цветными ленточками и тряпочками. Только вся эта конструкция была тщательно разработана в далекой Москве, описана в подробной инструкции и потом воспроизведена множество раз по всей необъятной стране.

Трибуну украсили портретами членов Политбюро. Портрет Сталина в центре, в три раза больше других. На трибуне стоял один штатский, остальные были офицеры, все в парадной форме и при орденах, громкоговорители разносили их речи по тайге.

– ...В октябре прошлого года лагпункту № 22 была поставлена задача забетонировать опоры моста через реку Сухариху... – услышал Горчаков знакомый голос начальника культурно-воспитательной части первого лагеря. – Бригада заключенного Носова 1927 года рождения (статья – Указ от 4 июня 1947 года, срок 7 лет) не выполняла производственные задания. Инспектор КВЧ лагпункта тов. Хоменко усилил разъяснительную работу, провел с бригадой беседу о сложном современном международном положении, выработка стала повышаться и в отдельные дни доходила до 142–137 процентов. Это позволило лагпункту закончить бетонирование в установленные сроки...

Этот начальник КВЧ несколько дней назад дежурил по первому лагерю. Как раз достали из сортира двух стукачей, которых урки утопили в говне. И этот послуживший уже капитан все не мог на них смотреть, затыкал нос и очень глупо и пугливо удивлялся, почему все вокруг замерзло, как бетон, а говно нет. Будто на себя это дело примерял. Про урок и про то, как они обходятся с теми, кто «дует куму», ему давно все было понятно. Стукачей же ему было не жалко, он их не любил, как не любил их, несчастных, никто.

Сам мост тоже был украшен большими и маленькими елочками. Ими же прикрыли мусор на берегах. Мост стоял на бетонных опорах, перекрытия лежали внушительные, металлические, привезенные с материка... но многое в конструкции было деревянным, на подпорках, и всем присутствующим было понятно, что это очередная туфта к годовщине революции.

До лагерной столовой Горчаков добрался только в три. Бригады давно пообедали, двое дневальных курили на крыльце, а несколько тощих доходят, нервно что-то обсуждая и ругаясь, возили грязными тряпками по полу. Повар узнал его, принес густого супа и банку рыбных консервов. Положил кусок свежего хлеба. Выпил уже где-то, видно было по неуверенным веселым движениям.

– Бациллу тебе, лепила! С праздничком! – улыбнулся ртом с железными зубами.

Горчаков кивнул и сел за ближайший стол. День сегодня выдался неплохой, на такие большие праздники часто устраивали общелагерный шмон, лазарет тоже обыскивали. Сегодня было тихо. Неплохой был этот новый начальник Стройки-503 Боровицкий.

Баранов, кстати, тоже был ничего... Может, они там, наверху, устали от всей этой пустой круговерти? Горчаков задумался. Непохоже было. Сразу после войны, после обильного потока фронтовиков и полицаев, в сорок седьмом и сорок восьмом как будто потише стало, и в газетах тоже. Теперь же словно все заново закрутилось, опять окрепли враги народа и ожили бесстрашные газеты.

Он раздумывал лениво, доедая консервы и наблюдая за доходягами. Рыба была вкусная, выпивший повар расщедрился, а остальное Горчакова мало касалось. Жизнь, а это и была его жизнь, текла мимо, ни о чем у него не интересуясь. Он прижился в лагере, как приживается бродячая собачонка возле столовой. Не нарушал примитивных законов жизни за колючкой, а там, где нарушал, точно чувствовал границы, за которые нельзя. Гибель, быстрая смерть были бы не самым плохим выходом, хуже было попасть в тяжелые условия. Он хорошо помнил, как от голода и слабости превратился в такую собачку, которую уже не кормят, а пинают, просто потому что она отвратительна.

Один из доходяг, с неправдоподобно тонкими, как у ребенка, руками, тер тряпкой вокруг Горчакова, сам глаз не мог отвести от еды. Горчаков отдал ему кусок хлеба, в банке осталось немного рыбы и жижа. Тот тут же достал свою ложку и, даже не кивнув, уселся за край стола.

Георгий Николаевич шел по «центральной улице» первого лагеря в сторону вахты и думал, что был точно таким же. Доходить можно очень долго, и эта «собачья» жизнь, когда ты уже не помнишь, кто ты, тоже тянется долго. Уже не человек, а все еще дышишь, ищешь глазами, хватаешь и тянешь в рот все, что похоже на еду или было едой... Первый раз он стал таким, как раз сохраняя свое человеческое достоинство, отказываясь от подлостей, к которым толкал лагерь. В результате он оказался доходягой без всякого достоинства.

Навстречу шел Николай Мишарин, лейтенант МВД, архитектор, в прошлом году они сталкивались несколько раз у Николь. Мишарин был всегда пьяный и казался глупым. Горчаков не понимал, что у них общего с Беловым. На этот раз архитектор был трезвый, узнал Горчакова, но отвернулся и угрюмо прошел мимо.

И этим тоже не миновать лагерной подлости, им только кажется, что они вольные. Горчаков обернулся на пухломордого, с тонкими

ногами и неуверенной походкой Мишарина и опять вспомнил о Николь. Сан Саныч уже месяц как уехал, Горчаков был у нее два раза, последний раз неделю назад. Она болезненно волновалась, все время говорила о Сан Саныче, о том, что он вольный и мог бы для нее и Клер что-то сделать. Для замужества ей нужна была справка, что органы надзора не против, она ходила к коменданту, но он справку не дал. Николь боялась писать об этом Сан Санычу.

Его мысли прервались криками от дальнего барака. Там крепко хлестались. Кого-то уже вынесли, Горчаков присмотрелся, издали плохо видно было, но похоже было на матросов. Опять справедливость наводят. От вахты к бараку бежали бойцы с собаками и оружием. Горчаков прибавил шаг, торопясь в санчасть.

Матросы-североморцы появились в первом лагере недавно. Про них говорили, что чуть ли не всем экипажем корабля получили они пятьдесят восьмую. Люди были аховые, всю войну сопровождали морские караваны из Англии – страшнее долю трудно было придумать. По чьему-то недосмотру человек двадцать пять – тридцать из них оказались в одном этапе и в одном лагере. В первый же вечер урки попытались снять с кого-то тельняшку и получилась большая драка. С трупами.

Вскоре в лазарет стали поступать раненые и избитые. В этот раз матросы дрались с ссученными ворами. Потери были с обеих сторон – у вахты лежало несколько убитых, двоих тяжелых пришел оперировать Богданов. Горчаков встал ассистировать. Первым разрежали матроса множественными проникающими ранениями кишечника – блатные наспиговали его ножом. Операция шла четыре часа, кишечник сшили, вытянув больше метра. Размылись, вышли перекурить, по дороге Богданов осмотрел тяжелого блатного, подготовленного к операции.

– Все, домой пойду, – Богданов с удовольствием тянул в себя дым папиросы. – Этого завтра на рентген свозите. Если доживет. Перелом основания черепа – ничего не сделать уже.

Горчаков взялся за избитых и несильно резаных. Один мужичонка лет пятидесяти крестьянского вида, от радости, что спасся из заварухи, – он не был ни моряком, ни блатным – не умолкал. Горчаков обработал огромную рваную ссадину, оставленную дубиной на плече, и стал зашивать кожу на голове. Тот даже не морщился, все трещал вполголоса, поглядывая на дверь:

– В прошлом году все началось! Как воров в законе стали увозить на штрафняк в Каларгон, тут порядку и не стало. Блатные без главаря никак не могут, так у них не бывает! Такая шваль всплыла, житья совсем нет – всех подряд грабят! Вот матросики и возмутились. Раз блатным морды начистили, другой – они все равно свое гнут! Тогда они их главарей изничтожать стали! Вора Диевского убили, потом Демчишина, да ты знаешь, поди?!

– Не крутись. Знаю... – Горчаков удержал его голову.

– Ну вот, ай, мóзги-то мне не проткнешь? Блатные попритихли малость, а теперь начальство уже матросов стало бояться – на трассу их, по отдельным лагпунктам распределяет. Вот урки и пришли счета сводить. Матросиков-то всего четверо осталось, крику больше, чем драки... а троих на тот свет отправили, кабы не больше.

Палата была перенаселена, чад стоял, как в бане, с окон все время текла вода, и прооперированного матроса положили у окна, чтоб было чем дышать. На соседнем топчане лежал блатной с переломом основания черепа. У него уже появились очки – синие круги вокруг глаз.

Ночью за Горчаковым прибежали санитары, блатной лежал лицом к стене и, как машина, кулаком молотил по ней. Штукатурка вся осыпалась, с кулака текла кровь. Санитар поставил матрас между ним и стеной, Георгий Николаевич сделал укол и сел рядом, спал вполглаза, прислонясь к косяку. К утру, как и говорил Богданов, урка умер.

Прооперированный матрос умер вечером. Богданов взбесился, устроил следствие и выяснилось, что матрос сам выпил воды – для сбора конденсата с окон на подоконниках висели бутылки. Матрос после наркоза пришел в себя, стал просил пить, ему категорически нельзя было... Но он увидел рядом с собой бутылку набежавшего конденсата. У него воспалился весь кишечник.

Так оба и отдали Богу душу. К воротам блатного и матроса везли в одних санях.

В кармане матросского бушлата было несколько фотографий. Мать с отцом, он сам с товарищем в парадных кителях, молодая женщина лет тридцати, на обороте написано: «Любимому братишке от Аси!» Горчаков нахмурился, рассмотрел фотографию. Эта Ася была совсем не похожа на Асю. Курносая, с ямочками на щеках, с ярко окрашенными губами и затейливой прической. Он, впрочем, и не

помнил хорошо, как выглядела «его» Ася. От нее давно уже не было писем, и Горчаков старался об этом не думать.

Может быть, у нее наконец сложилась жизнь.

54

Романов вез Асю с Колей к себе домой и думал про Азиза. Его не спрятать было. Валентин поглядывал на молча сидящих «странников» и почему-то был уверен, что эти не заложат. Лицо матери невольно вызывало симпатию. Ася увидела его взгляд, улыбнулась вежливо, получилось все равно тяжело. Хлебнула, похоже, бабенка горюшка, – чувствовал Валентин, подергивая вожжи.

В доме Романовых все было иначе, чем последний месяц их жизни по енисейским деревням. Чисто, светло, нормальная еда, мытая посуда, ни мух, ни тараканов. Ужиная, Ася разглядывала милых Романовских ребятишек и забывала о своей беде. Отвечала на расспросы о Москве, выпила с Анной наливки из голубики. Она впервые за много дней оказалась в безопасности, и в ее поврежденную голову пришел новый обман, что ее главная беда тоже временная и вскоре все изменится.

Валентин определил их в летнюю кухню. Настелил на полу овчин, натопил...

Ночью с Асей случился срыв, ее трясло, она рыдала и не могла остановиться. Давила рыдания, но они душили, рвались и рвались из разорванной души. Коля сидел рядом, обнимал, гладил мать и испуганно хватал ее руки, впивающиеся в лицо и волосы. Бормотал какие-то слова. Опухшая от слез, она вдруг замирала, дышала тяжело, не видела, не признавала сына, отталкивала его руки или вдруг хватала и иступлено прижимала к себе его голову. И опять давилась страшными немymi слезами. Коля боялся, что она что-то сделает с собой.

Романов выходил ночью покурить и все слышал. Постоял, соображая, но заходить не стал. Утром, когда Ася ушла с Анной на Енисей полоскать белье, он зашел в летнюю кухню. Принес дров, помог Коле растопить плиту.

– Не замерзли, спали?

– Спасибо, тепло было... – они встретились глазами, и Коля понял, что Валентин все слышал.

Романов присел к столу, достал папиросы, подкурил. На столе сушились подмокшие вчера Колина и Севина метрики. Валентин взял, разглядывая скукожившиеся бумажки:

– Что с матерью?

Коля молчал, опустив голову, руки его подрагивали, и он, не удержавшись и презирая себя за слабость, заплакал. Стоял, кусая губы, а слезы текли и текли. Он стирал их и не мог остановиться. Ему хотелось рассказать все, как было, этому молчаливому дядьке, но он обещал матери молчать.

Романов, чтобы не смущать, тоже не глядел на пацана, думал об Асе, глаза сами, нечаянно, читали свидетельство о рождении Горчакова Николая Георгиевича... Валентин чуть нахмурился, соображая, разглядел Колю с любопытством и уже с явным интересом взял Севину метрику. Взлохматил волосы большой рукой:

– У тебя отец не сидит?

Коля замер, вытер слезы, не знал, что отвечать. И вдруг почти нечаянно ответил:

– Да.

– В Ермаково?

– Мы не знаем... – Коля успокаивался. – А вы его знаете?

– Похоже на то. Крепкий такой дядька моих лет... со шрамом вот здесь, в очках... Да ты на него похож!

– Я его никогда не видел, только на фотографиях...

– Это он. Горчаков Георгий! Он вас тоже не видел! – Валентин, пораженный, разглядывал сына Горчакова. – Он мне говорил про вас! Так вы к нему... А где младший?

И Коля все ему рассказал. Про гибель Севы Валентин дотошно выпросил, как будто собирался искать его в Якутах.

– Да-а-а, – вздохнул тяжело Романов, давя в пепельнице папиросу, – наделала твоя мамаша...

– Что наделала?

– Да все! – сказал с сердцем. – Куда ехала?! Вот бабы!

Он достал новую папиросу, но не прикуривал, сидел хмуро что-то соображая:

– На таких бабах, однако, мир и держится... – вывел, сокрушенно качая головой.

Он еще посидел молча, словно примиряясь с гибели Севы, крикнул с досадой:

– Да-а-а! Ну ничего, – хлопнул себя по коленям, – доставим вас зэка Горчакову в сохранности.

Вечером Ася, Коля, Валентин и Анна сидели в летней кухне и тихо беседовали. Ася молчала вежливо и безразлично. То, что Романов знал Геру, убило ее окончательно. Она не плакала, но едва дышала. Анна заварила ей мяты, темный горьковатый настой стоял в стакане. Романов считал, что они должны остаться до весны... а там уже смотреть. Ася его слушала и не реагировала.

Все ее прежние мысли о Горчакове, о том, что он не может увидеть своих детей, уже лишились смысла. Никакие самые прекрасные идеи и мечтания не стоили жизни их сына.

Так и потекли ее дни. Странные, как в тумане, не оставляющие следа. Она жила, что-то делала, ела и даже улыбалась, но все было безжизненно. Ее жизнью была черная лунная ночь 29 октября. Ее надо было отменить. Иногда она чувствовала, что это возможно, ведь это было совсем недавно, а он не прожил и шести лет... Он не мог умереть так рано!

Это была глубинная истерика, страшная своей тишиной и одиночеством.

Времена открытого и страшного горя, когда слезы могли прорваться в любой момент, сменялись полным отупением. В такие моменты она задумывалась и ей казалось, что она не помнит о Севке. Совсем не помнит, как будто вообще ничего не было. Но чаще бывало так, что среди обычных занятий – стоит чистит картошку – голова Аси вдруг начинала несогласно качаться из стороны в сторону.

– Нет, нет, нет, нет, нет... – сдавленно шептали губы, – не-е-ет! – и слез уже было не удержать, она уходила, чтобы ее не видели.

В один из таких моментов Анна крепко обняла ее за плечи:

– Не стесняйся меня, Ася... – улыбнулась сквозь собственные слезы. – И Валю не стесняйся, он очень за тебя переживает.

Валентин как-то подошел. Она сидела на его лавочке над белым, залитым солнцем пространством большой реки. Закурил. Присел рядом на корточки:

– Я когда своих искал, сюда приехал, – он помолчал, щурясь, на слепящий снег. – Сердце чуяло беду, конечно, писем от них давно не было, но надеялся, подарки берег. С катера сошел – и как бревном по башке: околели, говорят, мужик, на кладбище их ищи. Там и нашел... Первый год самый тяжелый был, как праздник какой, я про них вспоминаю... на Рождество, помню... выпил лишнего, ушел на берег в одной рубашке, сел и думаю: пусть! Может, повидаюсь с ними... – Валентин бросил бычок. – Забыть ты его не забудешь, по-новому привыкнешь с ним быть, вот что хочу сказать!

Ася вежливо кивала, но видно было, что о думает другом.

Вечером сидели за большим столом, лепили пельмени. Анна с маленькой Рутой скалкой раскатывали тесто. Васька с Петькой рюмками давили кружочки. Ловчее всего лепил Азиз, все его хвалили, и он был страшно рад, краснел и отворачивался от похвал. Таким веселым колхозом получалось быстро, Анна то и дело выносила готовые пельмени на мороз. Подшучивали друг над другом, ребятишки верещали...

– Хех! – громко усмехнулся молчавший до того Романов, он тоже лепил пельмени толстыми не очень ловкими пальцами. – Вспомнил, как в метрике прочитал фамилию Горчаков – у меня сразу в голове Георгий встал! А вы говорите – не бывает! Еще как бывает! У меня случай был – вообще не поверишь! Еще в Бурятии, на Байкале. Был у нас один милиционер по фамилии Литовкин. Вот раз собрались мы с мужиками на другую сторону Байкала. – Валентин осмотрел готовый пельмень, они у него самые большие выходили, положил к другим. – К празднику Первомай ехали. Целый обоз – картошку, зерно, рыбу везли в Качугский район, это уже Иркутская область. И вот этот Витька Литовкин пристал ко мне: у меня, говорит, в Иркутской области дядя живет, ты ему привет передай! Я смеюсь, говорю, как же я его найду-то, Иркутская область большая! Я, мол, тут только, с краешка буду. А он говорит, ну вот увидишь, так и передай привет от Витьки! Мы с мужиками посмеялись, какой у нас милиционер молодец, и уехали. Пока добрались, с неделю прошло, я и забыл про этого дядю, а у меня там товарищ хороший жил. Зовут Сашка, фамилия у него Заяц, а сам размером с доброго медведя. Вот мы с ним выпили немножко, сидим разговариваем, а на нем такая обувка славная для охоты – шептуны называются! Только в их краях такие делают. Подошва из валенка, а

голенища из двойной шинелки – в этих шептунах милое дело зверя зимой скрадывать. Вот я и спрашиваю Сашку: кто у вас их делает? Далеко ли? И недалеко, – Сашка Заяц смеется, через три дома отсюда, пойдем-ка. Взяли бутылку и пошли. Приходим. А дело аккурат второго мая было. День трудящихся – выходной. Ходит по избе высокий сухой дед в пиджаке, на нем царский Георгиевский крест прицеплен... но в кальсонах. Явно дед с похмелья и бабку свою ругает, что она ему похмелиться не дает и штаны спрятала.

«Здравия желаем, господин унтер-офицер Литовкин!» – здоровкается Сашка и поллитру на стол. Дед на бутылку только зыркнул. «Не унтер-офицер, а фельдфебель надо говорить!» Я как стоял, так и обомлел! Простите, говорю, что интересуюсь, а как же ваша фамилия будет? Литовкин! – отвечает. И вы эти самые шептуны изготавливаете? – Я шью! – дед из бутылки по стаканам булькает. – А нет ли у вас случайно на той стороне Байкала, в сельце Малая Березовка, родственника по имени Витька, моего примерно возраста, в милиции служит? Есть, говорит, такой, а что?

Валентин еще один пельмень положил к готовым. Этот еще больше вышел. Романов недовольно на него посмотрел, покосился на Анну. Азиз хихикал радостно, все улыбались, то ли на рассказ, то ли на неуклюжий пельмень, похожий на пирожок.

– Оказалось, он родной дядя этого нашего Витьки Литовкина! Как вот такое?! А ты говоришь, Горчаков! Чего в жизни не приключится!

Азиз встал и, краснея, зашептал что-то на ухо Валентину. Он стеснялся Асю с Колей.

– О, правильно! – кивнул Романов, поднимаясь. – Давно хотим послушать, какие такие у нас тут музыканты?!

Черные глаза Азиза блестели азартом. Валентин вынес из-за ширмы футляр с аккордеоном. Достал инструмент:

– Вот, Мишке покупал, да он не стал играть, ему железки больше нравятся...

Ася смотрела равнодушно, ее тут же облепили ребятишки и стали просить.

– Сыграй, мам, – попросил и Коля.

Ася растерянно, словно не понимая, чего от нее хотят, держала яркий инструмент. Все смотрели с ожиданием, она машинально нажала клавиши. Задумалась и не очень уверенно заиграла тихое

начало сонаты фа-минор Скарлатти, и тут же из ее глаз полились слезы, закапали на перламутр и меха инструмента. Она играла, опустив голову и отвернувшись ото всех. Будто никого, кроме нее и печальной музыки, тут не было. Все перестали работать. Анна села, закрывшись полотенцем, у Коли тряслись губы и набухли глаза. Ребятишки затихли, не понимая, почему вдруг стало невесело. Валентин стоял, тяжело набычившись, но вдруг положил руки на плечи Асе, потом правая скользнула на меха.

– Нет. Ты потом эту музыку сыграешь... – он вздохнул, не зная, что делать, увидел в футляре Мишкины ноты. – Вот это можешь?

Ася подняла тихие, усталые глаза на Валентина:

– Можно, и это потом?

55

Шестого ноября 1951 года Александр Александрович Белов стал дважды орденоносцем. «Трудовое Красное Знамя» вручали в Кремле. Ночь накануне Сан Саныч почти не спал. На неверных, подгибающихся ногах еле дошел до Никольских ворот и долго не мог найти выписанный накануне пропуск. Ни Сталина, никого из высших руководителей партии и правительства на награждении не было, не было и застолья, о котором все предупреждали. Белов трижды перекрестился внутренне – он точно знал, что не выдержал бы, если бы оказался возле Сталина.

На следующий день Сан Саныч шел по Красной площади в составе праздничной министерской колонны демонстрантов. Члены Политбюро стояли на Мавзолее. Белов не видел никого, кроме Сталина, был нечеловечески счастлив, кричал «ура» и сердце его выскакивало из груди! Он сам, своими глазами видел Сталина! Не нужно было никаких наград, он мысленно рассказывал и рассказывал Николь, как шел по брусчатке, как кричал, опасаясь за свою глотку. Когда их колонна с флагами и транспарантами поравнялась с трибуной, Сталин, до того разговаривавший с Ворошиловым, посмотрел на Белова и поднял руку. Сан Саныч совершенно ясно видел, как Сталин махнул ему. Совершенно ясно! Белов навсегда запомнил взгляд вождя.

Десятого ноября капитан Белов был в Красноярске. Его портрет висел на доске почета пароходства, его поздравляли с наградой. Поздравил и Макаров, назвал сынком и, хитро улыбаясь, сказал, что сделал все, что мог. Белов видел, что Макаров все еще волнуется за него, хотелось успокоить совсем уже седого Ивана Михалыча, и он рассказал, как шел в той колонне. Начальник пароходства устало, почти без интереса покивал головой, вдруг взгляд его заострился:

– Ты в партию что тянешь? Секретарь пароходства опять звонил! Весной еще стаж кандидатский кончился...

– Навигация же, Иван Михалыч! Да они и сами забыли, а потом эти собрания...

– До Игарки доберешься, сразу иди в партком, с такими вещами не шутят!

– Да я, если честно... не очень...

– Что? – удивился и не понял Макаров.

– Какой из меня партийный? Даже стыдно, честное слово, мне еще вырасти надо до настоящего члена партии.

– Ну, это не твое дело, два ордена на груди, а ему вырасти... – Он внимательно рассмотрел Сан Саныча. – Нам бы, сынок, побольше таких, недоросших...

Даже их особист, они случайно столкнулись в пароходстве, расцвел в улыбке и протянул руку. Расспрашивал подробно, Белов и ему не без гордости рассказал о докладе в министерстве, награждении в Кремле и демонстрации. Рассказывал и понимал, что теперь этим ребятам до него не дотянуться! Ни до него, ни до Николь!

Сан Саныч вошел в привычный рабочий ритм. Бегал с заявками на запчасти, покупал подарки «своим девицам». Перед отъездом душевно посидели с капитанами – Сан Саныч проставлялся. Обмывал. Красивый орден Трудового Красного Знамени, как и первый, Красной Звезды, упал в стакан с водкой, и Белов выпил досуха. Кто-то поднял тост:

– Это уже традиция получается, Сан Саныч!

– За традицию! Дай бог не последний! Бог троицу любит! – зашумели все, поднимаясь.

Сан Саныч видел, что его опять все любят и никто не завидует. И всё вокруг так же, как и всегда. Он пил много и всякий тост добавлял про себя, как заклинание: и еще за мою Николь и нашу Катюку! Он

нечеловечески любил их, и никто не мог их разлучить. Все плохое осталось позади. Это и было счастье.

Утром на аэродроме его провожал Фролыч. Похмелились в буфете. Белов летел веселый, с легким настроением. И в Туруханске повезло с пересадкой – в Ермаково уходил почтовый борт. Сан Саныч расстегнул шинель, чтобы была видна красивая орденосная грудь, и вошел в кабинет к начальнику аэропорта.

Николь в палатке не было. Белов заглянул к соседям, незнакомые ребята чуть старше его с уважением смотрели на его ордена. Про Николь ничего не знали.

Он встретил ее на улице, она просто шла ему навстречу. Отдала тепло одетую и спящую Катю и устало его рассматривала.

– Ты что, не соскучилась? – улыбался счастливый Белов. – А почему не в коляске?

Николь все смотрела устало и тревожно.

– Как тут с коляской? – кивнула на разбитую машинами деревянную лежневку. – Ты приехал?

– Николь! – заорал Сан Саныч и с Катей на руке попытался обнять ее. – Все хорошо! Я видел самого Сталина! – шепнул гордо. – Он махнул мне!

– Тихо! Катю разбудишь! Что тебе сказали в пароходстве? – с Кати свалился маленький, почти игрушечный валенок, Николь подняла и надела.

– Все хорошо!

– Что хорошо? – Николь смотрела все тревожнее.

– Все! Все хорошо! – Сан Саныч пытался быть серьезным и веселым, но ее тревога передавалась и ему. – Ты знаешь, что ордена утверждаются решением Президиума Верховного Совета СССР! Ты понимаешь?! Госбезопасность все проверяет, прежде чем награждать!

– И что?

– Да что с тобой?! Пойдем домой! Надо срочно переселяться из палатки. Там какие-то парни... кто такие?

– Не знаю, люди... вежливые. Ты уехал, они вскоре поселились.

– Пойдем сегодня в ресторан! Отметим! Все же хорошо, ну?!

Ее вид расстраивал. Возвращал на землю. Напоминал, что все их вопросы как были, так и остались – они с Катей по-прежнему

ссылки, и их не пустят к нему в Игарку. В ее усталых глазах была их новая разлука.

– Не надо в ресторан. Там курят и дерутся... недавно опять милиция разнимала. Ты тоже там напьешься, а нам надо спокойно поговорить... – она неожиданно улыбнулась и потянулась к нему. – Санечка мой приехал!

В палатке Клер проснулась. Николь раздела ее, девочка выросла, говорила «а-а-а-а», и «ма-ма-ма-ма», и еще «ах» и «ох» и сама вставала и ходила внутри кровати. Сразу пошла на ручки к Сан Санычу.

Николь сварила картошки, в чемодане Сан Саныча было полно всякой разной вкусноты и две бутылки шампанского. Они поужинали, уложили Катю, сидели обнявшись и разговаривали, разговаривали. Негромко, иногда шептались. Сан Саныч подробно рассказал про демонстрацию на Красной площади, про совещание, на котором к нему относились очень серьезно, даже предложили работу в министерстве. В Красноярске тоже все было отлично.

Выпивший Сан Саныч горел надеждами, Николь тоже начала улыбаться, вспоминали, как славно работалось на «Полярном», фантазировали, что он перевезет ее в Игарку и они станут наконец законными родителями и супругами. Поспорили, как записать Катю-Клер, сошлись на Кате, хотя Сан Саныч готов был уступить. Он встал к кровати, где спокойно спала их дочь, нагнулся, разглядывая:

– Я теперь буду хорошим отцом! Увидишь! Всегда буду с вами! – повернулся к Николь. – Летел сейчас в самолете и думал про вас – у меня никого нет ближе. Не дай бог, что-то случится, я без вас сдохну! Часа не проживу!

Заснули около трех.

Ровно в четыре утра их разбудили. Это были соседи, те двое ребят. Сан Саныч встал из кровати, недовольный, не понимая, что происходит.

– Вы арестованы! Одевайтесь! – негромко повторил один, открывая свой документ и постановление об аресте.

Он был в форме офицера госбезопасности, со звездочкой младшего лейтенанта. Второй, в штатском, стоял с наведенным на них пистолетом и светил фонариком в лица.

– Не-ет! – громко вскрикнула Николь.

– Тихо! – строго зашипел офицер, придвигаясь прямо к ее лицу.

– А в чем дело?! – пытался спросить Сан Саныч, чувствуя, как разом кончился воздух и земля пошла из-под ног.

– Одевайтесь, все объясним!

– Этого не может быть, я позавчера разговаривал... Слушайте... это какая-то глупость! Это ошибка! – Сан Санычу вдруг и самому стало ясно, что это недоразумение.

– Возможно, – охотно согласился лейтенант, – мы вас задерживаем только для выяснения.

У лейтенанта был умный взгляд и тонкие стильные усики на лице. Он зачерпнул воды и подал Николь. Сан Саныч только теперь услышал, как ее трясет и что она, как сумасшедшая, бормочет: нет-нет-нет... нет-нет-нет... не-е-ет... не-е-ет-нет...

– Николь, не волнуйся... это недоразумение, все выяснится! Я же позавчера разговаривал с начальником оперотдела пароходства, я говорил тебе, он меня поздравлял.

– У вас есть оружие?

– Да, в сейфе на «Полярном»... – Сан Саныч зажег керосиновую лампу и стал одеваться.

– Вам тоже надо будет одеться!

– Мне? – Николь сидела, вжавшись в спинку кровати.

– Да! – очень уверенно ответил младший лейтенант. – Одевайтесь.

– Может, вы отвернетесь? – в голосе Сан Саныча была настоящая просьба.

– Мы не смотрим... – сказал офицер, но не отвернулся.

Сан Саныч понимал, что могли прийти и за ним, но было ясно, что эти ребята выполняют какое-то старое задание, что они не знают, как все поменялось. Он надел китель с орденами, стал застегиваться. Младший лейтенант не дал, бесцеремонно, будто китель висел в шкафу, на плечиках, а не на плечах, прохлопал карманы, потом брюки. Ощупал Белова со спины. В Сан Саныче вскипело негодование, но он тут же задушил его. Он готов был раздеться догола, и пусть бы они здесь все обыскали и убедились, что у них ничего запретного нет и быть не может! Пусть бы обыскали, убедились и ушли... Николь натягивала на себя одежду под одеялом.

– Куда мы? Мы вместе пойдем? – спросила. В ее голосе была надежда.

– В отделение милиции. Доложим начальству, скажут отпустить – отпустим. Вы правы, ошибки бывают... – младший лейтенант доброжелательно улыбнулся.

Сан Саныч переглянулся с Николь.

– А вы тут жили... – она кивнула на соседнюю комнату, – вы следили за мной? – она тоже старалась дружески, как знакомому, улыбнуться лейтенанту.

– Служба такая, – в тон ей ответил молодой лейтенант. – Ребенка возьмите! – подсказал.

– Да? – удивилась Николь. – Ну конечно! Я совсем забыла!

Она повернулась к Клер, которая кряхтела и вела себя беспокойно, как только все началось. Поменяла пеленку и стала одевать. Ее сильные руки привычно крутили девочку, натягивали рукава, видно было, что Николь торопится, делает все машинально, сама поглядывает на офицера и пытается улыбаться.

– Возьмите зубную щетку и порошок, – подсказал штатский, он уже убрал пистолет.

– Зубную щетку? – Сан Саныч, не понимая, посмотрел на старшего.

– Мы готовы! – Николь застегнула пальто и взяла девочку на руки.

– Товарищ останется, – лейтенант кивнул на штатского, – посторожит вещи. Если на улице встретятся знакомые, ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло. Это в ваших интересах, вы можете вернуться уже сегодня... Правильно?

– Конечно, что вы, мы... конечно... – перебивая друг друга, согласились Николь и Сан Саныч.

Они вышли и, старательно делая вид, что все в порядке, двинулись пустынной ночной улицей. Николь не отдала Сан Санычу Катю, сама несла, спотыкаясь в свете фонарей. Младший лейтенант шел чуть сзади.

В отделении милиции их завели в небольшую комнату. Сначала опросили Николь, Белов ждал в коридоре. Кто такая, где работает, в каких отношениях с Беловым А. А. Лейтенант довольно формально все записывал. Или делал вид, или Николь на самом деле его не интересовала. Насчет Клер, которую Николь держала на руках, вообще ничего не спросил и отпустил.

– Я могу подождать Белова? – спросила, поднимаясь, Николь.

– Не надо, пока с начальством свяжемся, в Красноярске еще не проснулись... Вам ребенка надо кормить. Идите.

Николь вышла с Сан Санычем. Было около девяти, еще не светало. Отошли чуть в сторону от света фонаря.

– Ну что?

– Ничего, обычная анкета... – она смотрела на Сан Саныча, а сама думала о чем-то. – Сказал, будет в Красноярск звонить. Мы даже постановление об аресте не посмотрели...

– Да ладно, нормальные мужики, сейчас позвонят, и все выяснится, – трусливо бодрился Сан Саныч.

– Нет, Саша, там нормальных нет... Я подожду тебя здесь. Вот тебе носки шерстяные, я захватила. – Она вдруг стала решительной. – Я схожу за твоими теплыми вещами...

– Не смей! – напыжился Сан Саныч. – Они подумают, что я на самом деле в чем-то замешан!

– Саша, – Николь смотрела тревожно и не отрываясь. – Они просто так не приходят, они не отпускают, если взяли. Меня три раза арестовывали и все время ввали, а я всегда им верила! Как дура! Я пойду за вещами. И не рассказывай им ничего лишнего!

– Ты что говоришь? Что мне скрывать?! Я неделю назад Сталина видел!

– Саша! – Николь показала глазами.

За спиной Сан Саныча в свете лампочки, покачивающейся над входом, стоял младший лейтенант и разминал папиросу.

– Закуривайте, товарищ Белов. – Он раскрыл коробку «Герцеговины Флор». – Эти папиросы как раз товарищ Сталин курит, извините, что нечаянно подслушал. Где же вы его видели?

– Не курю! – Сан Саныч смотрел чуть с вызовом. Носки в руках стиснул. – В Москве...

– Везет вам, я в Москве ни разу не был. Красивая?

– Красивая... – уже спокойнее ответил Сан Саныч и повернулся к Николь. – Иди домой! Я скоро приду.

– Саша! – Николь потянулась к нему одной рукой. – Обними меня! Сан Саныч замялся, но все же обнял.

– Я люблю тебя, – зашептала горячо Николь, – я буду тебя ждать, что бы ни случилось. Никому не верь, если скажут, что я от тебя отказалась. Помнишь про адреса? Спрячь их, сохрани...

Сан Саныч попытался отстраниться, но она держала крепко:

– Если сегодня ночью у нас получилась еще одна Катя, я ее рожу!

– Что ты говоришь... – Сан Саныч вдруг испугался за нее, прижал крепко. – Не говори так, все будет хорошо. Меня не за что, ты же понимаешь...

Она не давала ему говорить, прижималась крепко и целовала его лицо.

– Нам пора! – раздался спокойный голос младшего лейтенанта.

– Все. Иди! – Сан Саныч решительно отвернулся и пошел вслед за офицером.

Опросили и его. Забрали паспорт, билет кандидата в члены ВКП(б), сберкнижку, блокнот с адресами и телефонами, новенькую орденскую книжку. Лейтенант внимательно рассмотрел фотографию Николь. Ее делал знаменитый московский фотограф Гарик. Из первого лагпункта. Сан Саныч всегда носил ее с собой.

– Хороший снимок, – младший лейтенант кивнул с завистью. – Вы давно вместе?

– Два с половиной года... Лейтенант, пожалуйста! Скажите, в чем дело? В чем меня обвиняют? Это все очень нервно для нее, я знаю, что меня отпустят, но она волнуется. Она ссыльная... Вы же понимаете?

– Я выполняю приказ. Обязан задержать вас до выяснения обстоятельств. Сейчас получим указания, но предполагаю, что все же придется съездить в Игарку.

– В Игарку?!

– Да... день туда, день обратно, не волнуйтесь. В ваших интересах, чтобы все прошло спокойно. Не привлекайте к себе внимания. Я и так, сколько могу, помогаю, ордена вам оставил, и, если хорошо будете себя вести, без наручников полетим.

– Без наручников? – поразился Белов, и страх опять навалился и раздавил. Он застыл. В который раз мелькнули перед ним его честная и ясная жизнь, работа... Что произошло? Не могут же просто так... – Товарищ лейтенант, скажите... это не связано со старшим лейтенантом Квасовым?

– А кто это?

– Начальник управления госбезопасности... в Игарке. А вы откуда?

– Слишком много вопросов, – уже без улыбки ответил офицер и встал из-за стола.

Летели на том же почтовом «Ли-2», на котором Белов прилетел из Туруханска. Как и обещал лейтенант, без наручников. Их сопровождал тот же человек в штатском.

В Игарке привели на квартиру. Ни Зины, ни ее вещей почему-то не было. Забрали комсомольский билет, военный, профсоюзный, вторую орденскую книжку. Лейтенант составлял опись, штатский листал книги. На место ничего не возвращал, сваливал все в кучу в центре комнаты. Изъяли порох, дробь и пачки с патрончиками для мелкашки. Сложили все в коробку.

– Ордена тоже сюда! – здесь лейтенант вел себя жестче, не улыбался.

– Ордена не дам! В чем моя вина?! – Сан Саныч закрыл ордена рукой, ему все это надоело. Все его вещи, выглаженная форма вперемешку с обувью и грязными мешками из-под картошки валялись в одной куче.

Штатский оторвался от книг и уставился на Белова.

– Здесь мы задаем вопросы! Ордена! – приказал лейтенант.

Сан Саныч нахмурился, его заколотило от наглости, но штатский уже шагнул к нему, поймал его руку и быстрым движением вывернул за спину. Сан Саныч взвыл, оказался лицом вниз, он дернулся изо всех сил, и оба громко грохнулись на пол. Штатский давил сверху, заламывал руку.

– Пустите! – зашипел Сан Саныч, ему было стыдно перед соседями, он перестал сопротивляться.

Но штатский держал больно, лейтенант встал из-за стола и неторопливо, со знанием дела, содрал с груди капитана Белова сначала «Красную Звезду», потом «Трудовое Красное Знамя». С мясом вырвал.

– Как вы можете?! – растерялся Сан Саныч, глядя на дырки в парадном кителе, но штатский сильнее надавил на руку.

– Пусти его! – велел младший лейтенант и потрогал усики.

Штатский ослабил руку, Белов стал разгибаться, в это время дверь открылась, и вошел Квасов. Поздоровался за руку с обоими. Белову даже не кивнул. Он был не похож на себя. Прошелся по комнате, оглядывая кучу. Остановил долгий, многозначительный взгляд на Белове.

В Красноярск везли обычным пассажирским рейсом. Ни офицера, ни штатского уже не было, два охранника в тулупчиках и с пистолетами провели Белова в наручниках через весь салон и посадили на заднее место. Сан Саныч шел, отворачиваясь от знакомых, кто-то попытался заговорить, но им не дали: «Не разговаривать с задержанным!»

Сан Саныч сидел у окошка, в парадной форме и парадных ботинках. В салоне было холодно, мысли путались. Одновременно думал о Николь, о Квасове, который, скорее всего, и был причиной, о Макарове, о Сталине на трибуне. Его колотил нервный озноб, временами очень хотелось есть, и это простое желание как-то возвращало к жизни, ему казалось, что эти необъяснимые, не складывающиеся друг с другом события скоро кончатся. Это была бессмыслица! Его награждали в Верховном Совете, а какой-то младший лейтенант выдрал этот новенький орден с мясом... Белову очень хотелось услышать, в чем его обвиняют. Он покосился на конвой. Молодые ребята, его ровесники, один спал под рокот моторов, другой, с рябым и бледным лицом, читал газету. Они не знают, кто я... такая работа.

Ноги мерзли в ботинках. Улыбнулся, вспомнив, как Николь хотела принести теплые вещи.

К тюрьме привезли в милицейском «воронке». Сан Саныч с детства боялся этого огромного старого здания на краю Красноярска, все окна были в решетках. Он вышел из машины, щурясь на солнце, ждал, что сейчас его сдадут офицеру, который наконец-то заинтересуется им по-настоящему.

– Чего рот разинул?! Вперед! – рябой конвоир толкнул его ко входу.

Никакого офицера нигде не было, и от этого вход в тюрьму показался страшным. Как будто вели в больницу на опасную для жизни операцию. Ничего о нем не зная, вели на операцию, которую делали всем... Конвойный, недовольно его отпихнув, открыл перед ним массивную дверь.

Белова поставили лицом к стене, и так он стоял минут двадцать, ноги затекли, а он все рассматривал крашеную стену и прислушивался тревожно. Что-то с его документами было не так, ходили куда-то вверх, спрашивали начальство... В Сан Саныче снова затеплилась

надежда. Его вывели, посадили в «воронку» и опять повезли. Он уже устал от всех этих перелетов и переездов и очень хотел есть. За два дня с тех пор, как расстался с Николь, его покормили только один раз, вечером в Игарке. Дали какую-то кашу, но тогда он не смог есть, а теперь бы съел.

Опять куда-то привезли. Это было в центре Красноярска на улице Маркса. Недалеко от Енисея и пароходства. Сан Саныч ожил:

– А куда мы? – улыбнулся конвойным как можно дружелюбнее.

– Отставить! – бойцы смотрели недобро. – Вперед пошел!

Они свернули за угол, это было здание краевого Управления госбезопасности. Вошли под арку и стали спускаться в подвальное помещение.

Приемная была совсем маленькая, крашенная той же желтоватой краской. Конвоиры передали документы, сняли наручники и ушли. Невысокий надзиратель с сержантскими лычками спросил про вещи, их не было, он закрыл пухлую тетрадь регистрации и вызвал надзирателя.

За все это время, начиная с Игарки, никто из людей, сопровождавших Сан Саныча, ни разу не заговорил с ним, даже не взглянул ему в глаза. А как раз сейчас он очень нуждался в людях. Ему хотелось объяснить, что он ни в чем не виноват. Просто поговорить. Это незаслуженное одиночество было трудным. Его, как малоценную, но опасную вещь, просто передавали с рук на руки. Очередной человек в форме привел в небольшую комнату. Прямо как в ателье, сфотографировали анфас и в профиль, только в руках он держал табличку с номером. Он попытался посмотреть номер, но его строго одернули. Сняли отпечатки пальцев.

Все было очень похоже на процедуры перед приемом в больницу, он с матерью перед ее смертью проходил эти процедуры, водил ее слабую. Но сейчас это настораживало, он не был больным. Он пытался улыбаться, пошутил, что никогда в жизни не сдавал отпечатки пальцев. Они должны были видеть дырки, следы от выданных орденов, он косился, дырки бросались в глаза. Ему хотелось, чтобы они поняли, что он не просто кто-то, он – Сан Саныч Белов! Уважаемый человек! Его знают и любят очень много людей в этом городе! Но людям в погонах было совершенно все равно, кто он и кто его любит. Они не смотрели на него, просто снимали отпечатки, просто писали...

Перевозбужденный и уставший от непрекращающейся работы, мозг Сан Саныча и в этом находил хороший знак – если здесь такой порядок и все так точно, то они быстро во всем разберутся. Надежда снова охватывала его, он становился внимательнее, старался предугадать действия этих строгих и молчаливых людей. Между собой, правда, они разговаривали.

Опять повели по коридору. На допрос, понимал Сан Саныч и начинал волноваться. Он считал себя невиновным и все же боялся узнать, в чем его обвиняют.

Его завели в комнату. Сержант и ефрейтор курили и разговаривали о ком-то, кто собрался жениться. Сержант сидел за письменным столом. Сан Саныч шагнул уверенно, чуть было не отдал честь, но удержался. Встал к столу, он ожидал, что допрашивать будет офицер и ему предложат сесть, – так бывало в фильмах, – закурить предложат. Он бы и закурил, почему-то хотелось.

– Раздевайся! – приказал сержант, не глядя на него и продолжая слушать товарища.

– Что?! – не понял Белов.

– Снимай все! Что-о! – передразнил немолодой дядька-ефрейтор, гася папиросу в пепельнице. – Опять глухой попался!

– Зачем? – уперся Сан Саныч, набычившись.

Оба продолжали улыбаться друг другу.

– Сейчас надзирателей вызову, они с тебя и шкуру снимут! Вместе с пиджаком! – лениво пообещал сержант и вдруг заорал, поднимаясь: – Живо раздевайся, блядь глухая!

– Вы что себе позволяете?! Я требую офицера!

Сержант нажал что-то под столом и вскоре в комнате появились два бойца. Один был очень большой. Сержант кивнул головой на Белова.

– Не смейте ко мне прикасаться! У меня даже допроса не было! – он вцепился в шинель.

– Снял все! – у здорового изо рта воняло гнилыми зубами и куревом.

Белов отступил на шаг. Все четверо стояли и смотрели, как он раздевается. Он не знал, куда деть шинель.

– На пол! – приказал сержант.

Следом упали китель, брюки, рубашка. Он остался в трусах и носках. Пожилой ефрейтор шарил по карманам снятых вещей, ощупывал внимательно.

– Все снимай, боцман Свистков!

– Что?! Я – капитан! Я попросил бы...

– Догола, урод! – разозлился сержант и привстал из-за стола.

Сан Саныч нахмурился и снял трусы.

– Носки!

Белов снял и носки.

– Рот открой!

Сан Саныч открыл, пожилой, теми же руками, которыми ощупывал ботинки, залез указательным пальцем в рот Сан Саныча, проверил одну щеку, другую, заставил высунуть язык. Посветил фонариком в уши и нос, для чего, как барану, запрокинул Сан Санычу голову.

– Член подыми!

– Как? – не поверил Сан Саныч.

– Да ты что, бля, глухой какой? Член вверх! – заорал сержант из-за стола, закуривая и обрезая пуговицы с одежды Сан Саныча.

Белов взялся за член.

– Направо! – улыбаясь, командовал сержант. – Налево! Ногу отведи!

Сан Саныч слушался, в его промежность светил фонариком пожилой надзиратель.

– Жопой встань, ноги шире! – сержант явно получал удовольствие. – Нагнись! До пола! Ягодицы разведи! Да не ссы, с петухами в камере познакомишься! Присел резко! Резко, я сказал! Все! Пятки покажи! Одевайся, сука глухая!

Лица всех были довольные. Переглядывались, посмеиваясь над тем, как Сан Саныч от злости и растерянности не попадал в рукава и штанины.

Он не помнил, как оказался в камере. Шел, держа руками трусы и брюки, из которых вынули резинку и ремень и срезали пуговицы. Надзиратель, щелкнув запорами, опустил одну из коек со стены камеры и молча вышел. Дважды клацнул замок. Сан Саныч тоскливо посмотрел на железную дверь и сел на грязный матрас. На его новой шинели была грубо распорота шелковая подкладка.

Камера была меньше его каюты, но на две койки, вторая была поднята. Сильная лампочка под высоким потолком, маленькое окошко с толстыми решетками, в которое почти не поступал свет с улицы. Там уже вечер, стемнело... – подумал Сан Саныч, он прислушался, но и звуков не было слышно. Вспомнил, что он в подвале. В углу стояла деревянная бадья с крышкой, из которой пованивало. Больше в камере ничего не было. Взгляд остановился на ботинках без шнурков... и брюки, и парадный, всегда чистый и отглаженный китель были грязные и без пуговиц.

Сан Саныч устало прилег на шинель, по привычке положил руки под голову, но тут же сел – сама эта вольная поза вызывала нервное волнение. Он не понимал, что происходит.

Он встал и сделал шаг, как будто собрался идти. Там была стена, Сан Саныч потрогал ее рукой, выше какое-то ненормальное окно, до которого не достать. Он развернулся, сделал четыре небольших шага, потрогал холодный металл двери. Это было издевательство! Человека нельзя запирать просто так... – сердце начинало взволнованно биться. Нет-нет! Спокойно! Завтра меня должны повести к следователю. Я ему все расскажу про этот унижительный обыск! Негодяи! Пользуются тем, что их никто не видит! Надо обязательно все рассказать!

Он пытался хорошо думать, заставлял себя сосредоточиться и все вспомнить, и не мог. Бессмысленные, невозможные события двух последних дней мелькали, перемешивались, то одно было важнее, то другое... Он не понимал, что эти два дня делал он – Александр Александрович Белов?! Получалось, что ничего! Его как будто в них не было! Он трогал себя за руки и даже за лицо – он был, живой, теплый, но его не было! Никто сейчас не мог подтвердить, что он есть на белом свете. Он вставал, делал свои четыре шага, опять садился и снова вскакивал, в отчаянии хватаясь руками за голову. Пытался думать о тех, кто был сейчас за этими стенами, но даже Николь не шла на ум, он морщился, пытался представить, что происходит у нее, и не мог! То, что творили сейчас с ним, было ужасно – его схватили, засунули в этот мешок и ничего не говорят!

Его унижали везде, на каждом шагу! В голове вдруг, будто спешил на помощь, разлился бескрайний Енисейский залив, солнце широко блеснуло на волнах, холодный ветер засвистел призывно. Черные

клубы дыма из трубы стелились над водой... Сан Саныч схватился за металлическую кровать, сдавил ее так, что рукам стало больно:

– Ы-ы-ы-ы! Ы-ы-ы-ы! – замычал, завыл с отчаяньем, ему казалось, он подышает. – Гы-ы-ы-ы!

В двери вдруг загредело, открылось окошко:

– Чего мычим на всю тюрьму?! – с угрозой в голосе заглянул какой-то человек.

– Товарищ! – кинулся к нему Сан Саныч.

– Не положено стонать! Тишина! – дверка закрылась.

– Послушайте, – Сан Саныч приник к щелке и зашептал: – Товарищ, я хотел спросить, откройте, пожалуйста, я просто хочу вас спросить...

Никто не реагировал. Бешенство закипело в Сан Саныче.

– Откройте! – заорал он злобно и забарабанил в дверь кулаками. – Кто вы?! Вы не имеете права! Я требую офицера! Старшего! Я ни в чем не виноват! Ни в чем!

Защелкал замок, дверь открылась, там стояли двое. Один из них был тот здоровый, что раздевал Белова:

– Цыц! – цыкнул он негромко. – Будешь орать, пристегнем!

– Вы мне сказали «цыц»?! – вскипел Сан Саныч и услышал, как его голос разносится по коридору. – Как вы смеете? Я заслуженный...

Договорить ему не дали, захлопнули дверь, здоровяк легко, Сан Саныч и не собиравшись с ним драться, вывернул руку и щелкнул наручником. Вдвоем они согнули его к полу и наручники щелкнули второй раз. Сан Саныч попытался распрямиться, но рухнул на пол. Его руки были пристегнуты к нижней части кровати. Здоровяк беззлобно ткнул его ногой в бок:

– Будешь орать, отведем в карцер. Понял?

Опять дважды провернулся ключ в замке.

Сан Саныч стоял на коленях, неудобно скрючившись, наручники впились в запястья. Штаны сползли вместе с трусами и слетел ботинок. Он попытался сесть на пятки, не получилось. Тело быстро затекало, он опустил локти, стало получше, но вскоре заныла спина, от пола было холодно. Он стянул зубами шинель с кровати, подпихнул под себя коленями и лег. Телу стало лучше, только вывернутые запястья ломило. Он поерзал, нашел какую-то позу, прилачился и застыл.

Он лежал на полу тюремной камеры, с голой задницей. Умелый, смелый, любимец женщин и начальства... Они не могут со мной так! Не могут! Этого не может быть!

В коридоре разговаривали, загремели металлом, дверка в двери отворилась:

– Чего разлегся? Ужин примамай! – Знакомый уже хриловатый голос надзирателя сказал что-то, и оба рассмеялись. Защелкал замок:

– Жрать будешь? Или до утра полежишь?

– Буду... – пробормотал Сан Саныч.

– Ну вот... – надзиратель благодушно перешагнул через арестанта и отомкнул наручники.

Белов поднялся, натянул штаны и взял миску с кашей и кружку с чем-то. Стола не было. Поставил кружку на пол. Каша была пшенная, жидкая, пахла так, как пахнет вода, в которой мыли жирную посуду. Сан Саныч поморщился, попробовал. Вкус оказался такой же, но он был очень голодный. Он съел вторую ложку, и вскоре в миске ничего не осталось. Сан Саныч доскреб все со стенок, подумал даже лизнуть, но удержался. От каши, от плохого комбижира во рту было так, будто жевал свечку. Он не наелся. В кружке была теплая, чем-то подкрашенная вода. Выпил и ее.

Еда немного успокоила. Он стал думать о надзирателях, которые его накормили. Не надо вынуждать их, они выполняют свою работу, они не знают, что он не виноват, тут и убийцы, и ворюги сидят. Завтра утром вызовут, будут задавать вопросы... и все выяснится. Смешно будет, если его с кем-то перепутали. За ним не было даже мелких проступков. Он обдумывал последнюю навигацию. Только этот рейс в заливе, этот придурок Турайкин и ссыльные... но он ничего незаконного не делал. Вот только Грач с его доносом о муке... но это смешно. Куль с мукой никуда не делся, он был на месте, это подтвердят все... Получалось, что если все это выяснять, понадобится время. Могут и продержат из-за какой-то глупости... И это меня – сэкономившего государству миллионы рублей! Много миллионов! Он лег на койку.

– Не лежать! – раздался голос в глазок. – До отбоя не лежать!

Сан Саныч не понял, к нему это или нет, но на всякий случай сел. Надо терпеть, надо есть и выполнять все их требования. Снова загремела кормушка в двери:

– Посуду!
– Спасибо! – Сан Саныч вернул миску и кружку. – Товарищ, простите, можно...

– Тамбовский волк тебе товарищ! Гражданин! Слушаю просьбу?

– Можно сходить в туалет?

Надзиратель с той стороны замер.

– Параша в углу! Хезай, сколько влезет!

Сан Саныч и сам догадывался, зачем эта бадья в углу, из нее и пахло соответственно, но думал, может, по большому отведут в туалет. Он встал над вонючей емкостью, снял деревянную крышку и стал мочиться. Мочой запахло на всю камеру.

Ночью ему приспичило, и он сходил в бадью. И потом всю ночь не мог уснуть из-за запаха, который заполнил маленькую камеру. Лежал и думал. Желание набраться терпения сменилось бессильным, малодушным отчаянием. Никого больше не было на белом свете. Только он и свобода. Там, за стенами и решеткой... его свобода!

Утром подняли в шесть, повели умываться, можно было почистить зубы, но он оставил где-то свою зубную щетку и порошок. Он все время был один, как будто во всей тюрьме не было никого, кроме него и его сопровождающего. Надзиратели на вопросы не отвечали. Как мог, привел себя в порядок и сидел ждал вызова. Прислушивался к звукам в коридоре.

Так и просидел до обеда.

Потом был ужин.

Потом прошли по камерам со словом «отбой».

Его не вызвали!

Его не вызвали и на следующий день.

И на следующий...

Николь вернулась в палатку, стала кормить Клер, сама напряженно думала: что произошло? Вчера Саня вернулся полный надежд и планов, в пароходстве все тоже были довольны, поздравляли, обмывали орден, он подписал запчасти... а сегодня эти люди пришли к ним? Она не понимала, что все это значит. Если он преступник, его

должны были арестовать в Красноярске. И почему наградили? Зачем доска Почета? Она путалась, ничего не сходилось.

Эти ребята, они не все время его ждали, то появлялись, то исчезали. Даже не познакомились с ней, хотя жили через стенку. Какая подлость! Она стала вспоминать: не разговаривала ли она с кем-то? С Горчаковым? Нет, его и не было в этом месяце. Или был?

Она глянула на Клер, та уже наелась, перестала сосать и начала засыпать. Осторожно положила в кроватку. Застыла на минуту, потом будто очнулась и стала собирать вещи. Шерстяные носки, кальсоны, простую прочную рубаху, шерстяной шарф, свитер, конечно же свитер! – вспоминала свою работу в лесу... и какой-нибудь еды... хлеб, сало.

Только тут она поняла, что у них был обыск. Вещи валялись, сброшенные небрежно, она открыла свой всегда аккуратно уложенный чемодан. Там тоже все было вверх дном. Не было коньяка и продуктов, что Сан Саныч привез из Красноярска. Ошарашенная, она уселась на кровать, но тут же, еще больше торопясь, кинулась собирать вещи. Получилась много и увесисто, где-то должен был быть вещмешок Сан Саныча, она все не могла его найти. В конце концов затолкала вещи в большую авоську, погрузила Клер в санки, взяла на локоть вещи Сан Саныча и пошла.

Она добралась к милиции, когда совсем рассвело. Торопилась, вываляла в снегу Клер, та, слава богу, не проснулась... Александра Белова в милиции уже не было.

– Увезли на аэродром, – устало позевывая объяснил ночной дежурный.

Это был пожилой дядька, он уже сменился, сидел в углу, покуривая, узнал ее.

– А куда его, не знаете?

– В Игарку, кажись... Чего натворил-то?

Николь посмотрела на него, не понимая вопроса, пожала плечами.

– Ну-ну, – согласно кивнул милиционер. – Эти и не скажут...

Она поднялась и потащилась домой. Ноги не шли. Не знали, куда идти, не хотели...

Весь день и всю ночь думала, как узнать о Сан Саныче, но вопросов было слишком много. Она была ему никем и могла навредить... Через несколько дней она все же пошла к коменданту.

Взяла документ на отметку на всякий случай. Он знал про Белова. Вышли покурить.

– Ничем тебе не помогу, Николь, – немолодой уже, седой комендант задумчиво тянул папиросу. – Мы люди маленькие, а то... из особого отдела! – прошептал одними губами, опасливо просматривая улицу.

– Как же мне узнать? Они ничего не сказали... В чем его обвиняют?

– И не скажут... Смотри, не брякни где, что ты француженка... – он помолчал, обдумывая свои же слова. – Отпустят – хорошо, нет – что делать? Такая, видать судьба. Мне до пенсии полгода осталось...

– Может, мне в Дорофеевский уехать? Там тихо... И там Ваню, он все узнает...

– Нету там твоего Ваню! – комендант выразительно посмотрел и бросил окурок.

– Как нету?!

– Арестован за связь с ссыльной! Приказ по нему был.

– Боже мой!

– Я тебе ничего не говорил!

– Так, может, и Сан Саныча за связь со мной?

– Почему? Белов же не в органах... Ко мне больше не ходи, узнаю чего, сам найду.

– Спасибо вам, Николай Иванович, спасибо... А если я напишу в МГБ запрос на него? Официально?

– Не надо, и тебя могут взять.

– А в пароходство?

– Не надо ничего, не высовывайся! Может, и хорошо, что ты ему никто!

День сменялся другим, подъем, завтрак, обед... После завтрака в подвальное оконце, закрытое деревянным щитом, проникало немного света. Через неделю Белов перестал ждать вызова на допрос. Сидел на кровати или ходил – мелких шажков получалось шесть в одну сторону. Гремела и открывалась кормушка, возникали руки, кружка, миска... и

больше ничего. По рукам, по сопенью Белов понимал, чья сегодня смена. Свет ночью не гасили, и это было почти то же самое, что и день, только можно было лечь. Лежать надо было с руками поверх одеяла. Засыпая, Сан Саныч по привычке прятал их, и его будили окриком в кормушку, требовали показать руки.

Первые ночи он не спал, все пытался что-то решить, бестолково метался мыслями по прошлой жизни. Или начинал вдруг сосредоточенно соображать, почему на окошке деревянный щит, почему ночью не гасят свет... потом снова возвращался к неразрешимым вопросам. Иногда он завидовал арестантам, которые могли предметно обдумывать какую-то свою вину, у Сан Саныча ее не было. Это делало его мысли пустыми и раздражало.

Прошло две недели или больше, и Сан Саныч начал привыкать, начал как-то жить. Улыбался иногда на некоторые свои воспоминания с воли, а в его тюремной жизни появилось хорошее и плохое. Ему стало не хватать еды, и он спрашивал добавки у разносчика. Иногда давали. Еда была невкусная, особенно щи с гниловатым запахом. Порой это была просто серая вода, в которой плавали пара капустных листьев да кусок картошки. Он съедал все. Но бывали и удачи – однажды ему досталась полная миска густого горохового супа со дна бака, он долго о нем помнил и ждал чего-то такого же еще.

Люди живучие. От тоски они гибнут только в книжках.

Утренний вывод на умывание, завтрак, обед, ужин, прогулка и сон – это было хорошо. Плохими были долгие часы между завтраком и обедом, и особенно между обедом и ужином. Время останавливалось. Он был один в этом мире. Он не знал, что с ним происходит и сколько это продлится.

Он уже хорошо различал надзирателей – по шагам, по тому, как вставляют ключ и открывают дверь. Их было пятеро. Двоим нравилось унижать, один – мужик средних лет – был молчаливый, хмурый и непонятный, двое же были неплохие. Молодой парень, ровесник Белова, и особенно седоусый радикулитный старик, тот пару раз его и сынком назвал. Пол в камере полагалось мыть раз в три дня, но Белов, когда дежурили «хорошие», просил тряпку и ведро и вдумчиво намывал полы и стены. Мойка отвлекала, в ней был смысл.

Он тер стенку и объяснял кому-то, как он сидит в этой камере и почему стал таким примитивным. Объяснял и видел, что его не

слушают, что людям это не нужно. Вспоминалось, как сам вел себя на воле – он знал тех, кто отсидел, кто вернулся из лагеря, – он никогда не интересовался ни их следствием, ни тем, что они делали в камере и лагере.

О Николь он не беспокоился. Воображал ее в Ермаково, в их палатке, у нее была Катя...

Он, кого арестовали «просто так», не верил, что ее могут арестовать «просто так».

Через месяц его повели наверх, на третий этаж. В коридорах были синие ковровые дорожки, чисто и светло. Он шел, не веря, что все это может быть, морщился от яркого солнечного света в больших окнах и держал рукой штаны. Его посадили за письменный стол и дали бумагу.

– Пишите чистосердечное... – сержант макнул перо в чернила, проверяя сколько их.

– Чистосердечное признание? – Белов с удивлением рассматривал не привычного надзирателя, но опрятного сержанта. Он отвык от людей и их голосов.

– Перечислите, в чем виноваты перед родиной... – сержант закрыл дверь.

Сан Саныч никак не мог привыкнуть к солнечному свету, долго морщился, пытаясь что-то соображать. Он точно знал ответ на этот вопрос. Вывел аккуратно:

«Я ни в чем не виноват! Произошла ошибка!» Подпись.

Он хотел поставить дату, но не знал, какое сегодня число. Был декабрь, это понятно, середина или даже конец... Сан Санычу казалось, что у него что-то с головой. Он подробно помнил арест и обыск в Игарке... и потом ничего не было... шесть коротких шагов в одну сторону. На перекидном численнике на столе было 18 декабря 1951 года, вторник. Он смотрел на цифры и ничего не понимал. Я не умею думать, подумал Сан Саныч. Они сделали из меня идиота!

Он перечитал свое заявление и порвал на мелкие кусочки. Положил новый лист.

Вместо ответов в голове снова встали вопросы. Он пытался сформулировать их весомо, но получалось очень глупо. В конце концов, сержант уже вошел в дверь, Белов быстро написал:

«Прошу мне сообщить, в чем я виноват. Белов».

Сержант прочитал, скомкал и бросил в корзину для бумаг:

– Я дам вам бумаги и карандаш, возьмите с собой в камеру. Лучше сами напишите.

– Да что? Что написать?!

– Чем больше напишете, тем лучше. На выход!

В коридоре уже ждал надзиратель. И Сан Саныч снова оказался в подвале, в своей камере.

Следующий день он провел в большом волнении, не мог ни на чем сосредоточиться, спорил мысленно то с младшим лейтенантом, который его арестовывал, то с сержантом, доказывал, что он невиновен. И все смотрел на чистую бумагу, понимая, что должен что-то написать.

Больше всего подходил донос Грача. Там говорилось, что он помогал ссыльным. Сан Саныч не понимал, в чем тут преступление, в его глазах все было как раз наоборот, он гордился тем, что рисковал ради людей... Еще в доносе указывалось, что второй рейс на Сариху был левый! Можно было сказать и так... Он встал к кормушке и пристроил лист бумаги.

Писал подробно, что люди на берегу залива могли погибнуть без инструментов и сетей. Указал километраж и высчитал, сколько угля было сожжено, и что он готов возместить этот ущерб государству. Постучал в кормушку и отдал. Был уже вечер, но он ждал, что его вызовут. Ходил и проговаривал четкие ответы.

Ни на следующий день, ни через день за ним не пришли.

Подъем. Завтрак. Обед. Ужин. Отбой.

Яркая лампочка. Руки поверх одеяла. Вонючая параша. Шесть коротких шагов. Чистка зубов пальцем. Одиночество, тишина и неизвестность. Его охватывало паническое отчаяние, он замирал, вцепившись в металл кровати, – никто им не интересовался, никто не выручал. Мысли о людях на воле вызывали тяжелое нервное недоумение.

Как-то, прошло довольно много времени, поздно вечером его неожиданно повели наверх. Он чувствовал себя так плохо, что никак не отреагировал на вызов, которого долго ждал. Шел впереди конвоира, выполняя «направо», «налево», звучащие сзади. Послушно останавливался у отпираемых дверей лицом к стене, шел дальше. Ему было все равно, он страшно устал.

Его завели в просторный, хорошо обставленный кабинет. Высокие окна были прикрыты тяжелыми бордовыми занавесками с золотыми кистями. Сан Саныч стоял на толстом ковре, в ботинках без шнурков, держал руками спадающие трусы и брюки.

За дорогим столом с кожаной столешницей, под большим портретом Сталина сидел крупный, лет шестидесяти, полковник госбезопасности и что-то читал. Наконец, озабоченно нахмурившись, закрыл папку, побарабанил по ней пухлыми, как огурцы, пальцами и поднял строгий взгляд на Белова. Кивнул на стул. Сан Саныч сел, ощущая, что нечаянно упустил трусы и они сползли почти до колен.

– Ну что, гражданин Белов? Мне доложили, вы отказались от чистосердечного признания?

Лицо начальника госбезопасности огромного Красноярского края было довольно обычное, не злое и не доброе. Мордатое, отекшее лицо с мешками под глазами неглупого, регулярно выпивающего и ведущего ночной образ жизни человека. Большими и сильными руками он очень походил на деревенского кузнеца Дулова, в кузню к которому бегал маленький Санька Белов. Сан Саныч с недоверием перевел взгляд с рук на золотые погоны с золотыми звездами. На кителе полковника выделялись четыре орденские планки «Красной Звезды», две «Трудового Красного Знамени», еще какие-то...

– У вас тоже два ордена... – начальник перехватил взгляд Белова.

Сан Саныч машинально кивнул, соглашаясь.

– Вы совершили трудовой подвиг – мы вас наградили, теперь вы пойманы на предательстве – мы наказываем! – Полковник, пошуршав коробкой, достал папиросу, неторопливо чиркнул спичкой. – Остается только один вопрос: безнадежны вы или встанете на путь исправления?

Он грузно поднялся из-за стола, прошелся, рассматривая что-то в окно. Посмотрел на часы.

– Органы не только карают, но и воспитывают. Мы о вас все знаем, но даем возможность самому признаться и показать, насколько вы понимаете свою вину. А органы сделают выводы...

– Я ничего не делал, товарищ полковник, какие же выводы? Мне вообще ничего не сказали!

– Ну как же так, – полковник снова превратился в добродушного кузнеца Дулова и посмотрел на Белова почти весело, – вот сын у отца

натворил что-то, а отец об этом все и узнал. Что сделает плохой отец? Сразу высечет! Правильно? А хороший, умный отец? – полковник смотрел со значением. – Спросит – расскажи-ка, что ты сделал, сынок?! И если тот раскается...

Полковник, довольный примером, снисходительно улыбался, почти как отец из его рассказа. С удовольствием подкурил папиросу.

– Даже у попов, и у тех так же! На исповеди человек должен все без утайки изложить про себя, тогда понятно, что он осознал! Так и у нас!

– Простите, я готов, но что я должен рассказать? Я на исповеди никогда не был, я неверующий! – Сан Саныч запутался от волнения.

– Не понимаете меня или не хотите понять?! – лицо полковника сделалось строже. – Идите и подумайте хорошо, я к вам по-доброму пока... Надумаете, можете мне напрямую писать. Я прочту!

Он внимательно изучал лицо Сан Саныча, потом добавил с каким-то особым значением:

– Нас не вся ваша жизнь интересует. Мелкие грешки, – он ухмыльнулся понимающе, – не пишите. Нас интересует ваша работа. Вы молодой, но уже заслуженный, я вот лично хотел на вас посмотреть. Как молодой коммунист вы могли бы обнаружить серьезные недочеты, а возможно, и врагов в руководстве Енисейским флотом. Родина не забывает своих преданных сынов! Докажите свою преданность!

Белова увели, а полковник сел за стол и снова раскрыл пухлую красную папку с надписью «Совершенно секретно». В ней были жалобы и прошения на Указ о вечном поселении от 9 октября 1951 года. По этому Указу было много вопросов, и вот теперь пришли разъяснения, но все равно было непонятно. Полковник всю жизнь путался в многочисленных категориях ссыльных граждан, для каждой в Указе были свои, специально прописанные условия.

«...“навечно” оставить на спецпоселении... бывших военнослужащих Красной Армии, попавших в плен и служивших в немецкой армии, в специальных немецких формированиях, власовцев и полицейских;

– “навечно” оставить на спецпоселении направленных с территорий выселений коренных лиц немецкой, чеченской,

калмыцкой, ингушской, балкарской, карачаевской, греческой национальностей и крымских татар...»

Полковник сосредоточенно тер кулаком подбородок. Ему все равно было, кого оставляют навечно, а кому разрешат выехать, он пытался понять внутреннюю сущность «разъяснения». У всех бумаг, приходящих из Москвы, обязательно было второе дно. Он пока не понимал, на что указывает начальство этим «разъяснением» или что собирается делать на самом деле.

Ссылных было много по всей стране, только в его крае сидело больше ста пятидесяти тысяч, и везде был бардак. Все проверки по учету выявляли недостачи на местах сотен и даже тысяч ссылных, коменданты за взятку выправляли документы, а бывало, и отпускали за бутылку спирта. В побегам по стране числилось семнадцать тысяч ссылных поселенцев. Власовцев и бандеровцев в основном. И бардак этот шел из Москвы. По учету, режиму содержания, освобождению, материальному обеспечению, трудоустройству, оплате труда, по вычетам и налогам ссылных было выпущено сотни инструкций. Одни категории граждан надо было содержать так, другие эдак... то освобождали детей прибалтов старше шестнадцати и отправляли домой, то снова брали и гнали по этапу на прежнее место ссылки. Иногда у полковника складывалось впечатление, что там, в Москве, им нечего делать...

– Старший лейтенант Антипин, – заговорил селектор бодрым голосом секретаря.

– Пусти!

В кабинет вошел стройный красивый офицер.

– Здравия желаю, товарищ полковник госбезопасности, разрешите, – действия лейтенанта были вольны, видно было, что и себе знает цену, и к начальству умеет с уважением подойти.

– Ну что у тебя на этого Белова? – полковник кивнул на кресло у стола.

– Работаем, Иван Тимофеич! – старший лейтенант присел, улыбаясь. – Созревает клиент, нервный уже, вслух разговаривает. Сегодня к нему курочку пуцу. Работаем.

– Дело должно быть крайней важности! Обязательно – большая группа! Головка заговора в Енисейском пароходстве – чем выше возьмем, тем лучше! Кого-нибудь из обкома к ним для весу и евреев

побольше! Чует мое сердце, Хозяин что-то с евреями задумал! – полковник глянул строго на лейтенанта, подчеркивая конфиденциальность соображения. – Да учти, в Москве у Макарова большие заступники сидят! Без этих дел постарайтесь, – он помял свой немаленький кулак.

– Обижаете, Иван Тимофеич!

– Иди, работай!

Полковник смотрел на закрывшуюся дверь и думал, что всего десять-двенадцать лет назад он приказал бы ровно наоборот, еще и сам спустился бы в подвал, помочь... а всякие Макаровы, что ходят заступаться, уже сидели бы рядом с Беловым А. А.

Иван Тимофеевич снял китель, подошел к буфету и налил себе рюмку водки. Сам все думал о стареющем Хозяине. Времена менялись, а как, не понять было. Из этого беловского дела можно сварганить верную антисоветчину, по всему Енисею пройтись, капитаны народ вольный, твердый... Начальник пароходства во время войны стопроцентно под расстрел шел, а выкрутился... Полковник глянул недовольно на хрустальную рюмку, перелил водку в граненый стакан. Добавил до середины и махнул залпом. Потянул в себя воздух.

Надо пяток комендантов, что ссыльным за взятки помогают, добавить в это дело! – мелькнула хорошая догадка. Полковник госбезопасности налил еще полстакана и неторопливо, с удовольствием выпил.

В камере Сан Саныча вторая койка была опущена, на ней сидел кругломордый мужик, с животом и щеками. Он был крупный, но какой-то обвисший, поднял на Белова безвольный взгляд маленьких трусоватых глаз, кивнул на приветствие. Сан Саныч месяц ни с кем не разговаривал, обрадовался товарищу:

– Меня Александр зовут... Белов.

– Кротовский Валерий Сергеевич. Газета «Красноярский рабочий». Редактор отдела транспорта. У вас не будет закурить?

– Я не курю.

– Жалко... я тоже не курю, а здесь закурил. У меня жену и старшую дочку арестовали!

– Давно сидите?

– Второй месяц.

– А за что?

– За взятку, которую я не взял! – Кротовский сокрушенно закачал головой, примолк на секунду и заговорил нервно: – Я фельетон готовил на начальника ОРСа – на людей такого уровня материал всегда дает начальство! Я сам подсобрал кое-что еще и уже начал писать, и тут от начальника ОРСа человек приходит и приносит взятку... ну продукты, понимаете? Я не взял! Хотя... жизнь у корреспондентов не самая сытая. И вот, почти дописал, на следующий день сдавать должен был главному редактору, а за мной приходят! Понимаете?! – Кротовский говорил не возмущенно, но растерянно сокрушаясь, время от времени озирался на дверь и переходил на шепот. – Обвинили в том, что я не написал на него заявление!

– На кого? – не понял Сан Саныч.

– На начальника ОРСа. Я говорю, мол, фельетон писал, там все рассказано, после такого ему уже не отвертеться было! Ничего не знаем, должны были информировать органы! – Кротовский замолчал, потом поднял покорные глаза. – Недоносительство! Статья 58! И тут же редактор отдела культуры написал на меня, что это не первый случай, что я таким образом уже брал взятки! Но мы все брали, понимаете, у нас зарплаты небольшие, и он сам брал, я знаю. А написал он, потому что мы вместе жили в коммуналке. У нас была комната на четверых, и у них так же. Мне дали квартиру в новом районе, а старшую дочь я оставил там, в коммуналке. Понимаете?! Я имел право! А он написал, и теперь у него будет целая квартира!

Сан Саныч помалкивал, рассматривая соседа.

– А ведь не арестовали! – зашептал журналист.

– Кого?

– Да начальника ОРСа! Работает, как работал! И мой фельетон не опубликовали!

– Откуда знаете?

– А очная ставка! Он пришел, как свободный человек, пропуск ему подписали! Да-да! Такая у нас профессия, всю жизнь я ждал чего-то такого. Работал! Все точно по линии партии сверял! Думал, за мои заслуги не тронут. Знаете, сколько я фельетонов написал, вы, наверное, их читали? Я полжизни в отделе транспорта, мы и речников прорабатывали... – он посмотрел, знает ли Белов его фамилию, но Сан Саныч не знал. – Что я все про себя? Вас-то за что?

– Не знаю, – пожал плечами Сан Саныч.

– Как же так?

– Не говорят ничего, – Сан Саныч с надеждой посмотрел на редактора.

– Не может быть! Просто так не берут! Что-то должно быть. Вы сами-то что думаете? Может, анекдот где рассказали?

– Да не люблю я анекдоты, я их не запоминаю...

– Могли обсудить что-то... по неосторожности?

– Что я мог обсудить?

– Ну мало ли... вы вообще как к линии партии относитесь? Есть же перекосы, согласны?!

– Нормально отношусь, я кандидат в члены партии.

– А к Сталину? Вам не кажется, что... сдает наш вождь? – Кротовский заморгал глазами и отвел взгляд. – Все-таки возраст?!

– Я так не думаю! – Сан Саныч с неприятным удивлением разглядывал журналиста. – Хочу написать ему письмо.

– Правильно, напишите все чистосердечно, и он простит. У нас в семье безусловный культ личности Сталина – Ленина. Мы их любим! И я, и жена, и дочери, у меня младшая пионерка еще, проходит мимо портретов, обязательно отдает пионерский салют. Жена научила. Помоему, это прекрасно, когда люди так любят своих руководителей. Не рассуждать, а идти следом за вождями! За великими идти! Страшная патриотическая сила получается!

Сан Санычу не очень нравились все эти странные рассуждения, и сам этот журналист уже не нравился. Слизняк какой-то. Даже хотел спросить, не он ли написал фельетон на отца Фролыча? Белов помнил заголовок: «Враг вел судно на камни!» Не стал спрашивать. Вскоре объявили отбой, и они улеглись по кроватям.

Сан Саныч не сразу уснул, из-за журналиста-фельетониста опять задумался о письме Сталину. Он думал о вожде, понятно было, что Сталин не мог знать про такие сложные случаи, как у него, – Николь ссыльная, да еще иностранка, он женат... Но партийные органы по всей стране работают... это их дело, и они должны разбираться! В конце концов, это судьбы людей! Ему совершенно ясно было, что дело не в Сталине и что можно было попробовать написать...

Ключ в двери громко заскрежетал, она открылась, и Белова повели по пустым ночным лестницам и коридорам. Он спросил,

сколько времени, но услышал недоброе: «Не разговаривать!»

В кабинете сидел следователь. Улыбался, изучая лицо Сан Саныча. Указал на стул:

– Ну как, гражданин Белов, надумали?

– Я все написал, товарищ старший лейтенант, – Сан Саныч приложил руку к груди.

– Называйте меня гражданин старший лейтенант, вы под следствием.

– А в чем меня обвиняют? – заторопился Сан Саныч, он наконец увидел человека, которому можно задать этот вопрос и который обязан на него ответить.

Старший лейтенант многозначительно молчал, вглядываясь в лицо Сан Саныча. Он был аккуратный, с приятной улыбкой, похож на артиста кино.

– Не хотите, значит? Это понятно. Это подтверждает наши предположения. После того как я зачитаю вам обвинение, вы уже не сможете заявить о своем раскаянии. Понимаете? Вам, за ваши заслуги, – он сделал значительную паузу, – делают снисхождение. Предлагают самому раскаяться и разоружиться перед партией и народом!

Сан Саныч молчал.

– Расскажите о своих политических взглядах и настроениях и о своей враждебной деятельности против СССР. – Антипин положил перед собой чистый лист бумаги. – Даже если она была нечаянная и вы заблуждались...

– У меня нормальные политические взгляды и настроения... хорошие! Какая же враждебная деятельность?! Я – честный человек, гражданин старший лейтенант!

– Честный? – старлей смотрел пристально.

– Абсолютно! Кристально честный! – выскочило из Сан Саныча слово, которым он думал, но которое никогда не собирался произносить.

– Ну?! – снисходительно усмехнулся лейтенант.

– Нет, ну понятно... – замялся Белов.

– Расскажите о вашем методе толкания.

– О чем? – не поверил Сан Саныч.

– О вашей работе, вы же придумали толкать баржи!

– Не я, это известно было, но... – у Сан Саныча, от того, что старлей заинтересовался его работой, прибавилось духу. – Раньше буксир баржи за собой тянул, а теперь толкаем. По несколько барж можно! Раньше думали...

– Ну вот, я вижу, вы любите вашу работу. А как вы считаете, в чем наша работа заключается?

Белов не ожидал поворота в разговоре, замер, разглядывая серебряные погоны офицера.

– Вы за государственную безопасность отвечаете.

– Та-ак, а что это значит? Просто, в жизни?

– Не знаю, шпионов ловите, врагов народа...

– Вы в жизни много их встречали?

– Я? Я не встречал...

– Конечно, у него на лбу не написано, что он шпион. – Лейтенант сделал паузу. – Вот это и есть наша работа! Простой антисоветчик, и тот маскируется, прикидывается обычным честным человеком. Наша задача – вычислить его! А бывает, человек и сам про себя ничего такого не думает, а гниль уже завелась! Мы должны помочь такому человеку! Вот ваш случай, давайте начистоту, без протокола! – он отодвинул в сторону бумаги и ручку. – Антисоветских анекдотов вы не рассказываете?

– Нет! – честно затряс головой Сан Саныч.

– И никогда не слушали? – лейтенант добродушно улыбался. – Да ладно вам, капитан, даже я их знаю! Бывают, кстати, очень смешные. Недавно арестованный рассказал: «Один другому говорит, у нас, говорит, по ночам только проститутки, воры да энкавэдэшники работают!» – старлей засмеялся приятным, очень натуральным смешком. Ему, похоже, и на самом деле было весело.

– Нет, ну слышал, конечно... – Сан Саныч от напряжения не понял смысла анекдота.

– Слышали, а заявление на анекдотчика написали? По закону?

– Нет, – виновато потупился Сан Саныч.

– А это для кристально честного советского человека уже пятно! Наша задача, чтобы все были пусть и не кристально, но хотя бы просто честными! Услышал – напиши! Мы разберемся!

Белов пожал плечами и согласно кивнул.

– А еще за вами водится прямо патологическая любовь к ссыльнопереселенцам. Половина экипажа «Полярного» – ссыльные или бывшие зэки, ребенок у вас от ссыльной, жениться на ней собирались, нарушая закон, и, уж конечно, этот спецрейс к поселенцам прошлой осенью...

– Я о рейсе подробно написал, там люди погибли бы, а вот Турайкин – он настоящий враг!

– Видите! Вы Турайкина считаете врагом, а нам ничего не сообщили! – он уже не улыбался, смотрел строго. – Еще можно вспомнить, как вы сначала согласились работать с органами, а потом передумали... Что вам не понравилось?

– Я все честно объяснил старшему лейтенанту Квасову! Я не могу этого – у меня другое призвание. Я – флотский человек, я много пользы принес...

– Это понятно, о вашей пользе мы знаем, а вот о ваших проблемах вы сами только что рассказали... Может, они и не великие, но есть. – Старлей опять смотрел почти дружелюбно. – Я дам вам бумаги, садитесь за мой стол и спокойно пишите.

– Что?

– Все, что в голову придет. Мы с вами потом вместе посмотрим, ненужное выбросим. Спать не очень хотите?

– Нет, я попробую!

– Отлично! Не буду вам мешать! Вот звонок! – он показал кнопку под столом.

Часа через полтора Сан Саныч закончил. Перечитал и сидел с недовольным лицом. Когда разговаривал с лейтенантом, все вроде было ясно, теперь снова непонятно. Не поп же этот лейтенант, в самом деле! Он снова описал рейс на Сариху, добавил, как Турайкин пьянствовал с охраной, как женщину с грудным ребенком определил в рыбаки. Написал, что ссыльные обычно очень хорошие работники, не пьют и дисциплинированные. Дольше всего сидел и думал, как представить Николь. Что-то подсказывало ему, что настаивать на женитьбе сейчас не стоит. Написал, стиснув зубы, что связь со ссыльной – нечаянная, ошибка молодости, но ребенка, как мужчина, готов признать и выплачивать алименты.

– Ну вот, хорошо, – старлей прочел и улыбнулся Белову. – Меня, кстати, Андрей Александрович зовут. Антипин. Мы с вами

сработаемся! Только перепишите начисто, зачеркиваний не должно быть. Садитесь, бумагу не экономьте!

Было уже два ночи или позже, часов на стене нигде не было, Сан Саныч нещадно зевал, но благодарно кивнул и снова сел за стол.

– Про Померанцева и про вашего старшего помощника Захарова напишите подробнее...

– Почему?

– Померанцев сидел по 58-й статье, он здесь на вечном поселении. Вы его главным механиком сделали, значит, были основания!

– У него голова – Дом Советов!

– Вот и пишите!

Вернулся Сан Саныч под утро и потом весь день пытался покемарить, но за ним внимательно следили в глазок и не давали притулиться. И сосед достал. Теперь он все время рассказывал, как тут пытаются и как бьют. Что-то плел про расстрельные камеры и про тех, кто расстреливает. Сан Саныч больше с ним не общался, решив, что это просто мокрица.

На следующую ночь разговор со следователем Антипиным продолжился. Сан Саныча взяли из камеры сразу после ужина, и он снова писал, теперь уже конкретнее. Следователя интересовали отношения Белова с законной женой, с Николь, с арестованной поварихой, политические взгляды и настроения Сергея Фролыча Захарова и что тот рассказывал о своей работе с американцами на Дальнем Востоке. Белов писал, не очень понимая, зачем он это делает. Старший лейтенант уходил, возвращался через пару часов, и замученному Белову казалось, что тот спал все это время. Вернулся в камеру опять под утро.

Ночью за Беловым пришли, когда он хорошо уснул. Растолкали и повели наверх. Антипин извинился, что приходится работать по ночам, сослался на дневную занятость, дежурства, оперативные мероприятия. Теперь вопросы были о руководстве пароходством. О Макарове, его заместителях, Мецайке, других известных капитанах, о Михаиле Валентиновиче Романове. Сан Саныч уперся, что о них ему нечего сказать.

– Макаров хороший специалист?

– Очень! С 1935 года руководит пароходством! Всю войну! – Сан Саныч сдержал зевок.

– Это известно, а просто по-человечески, о чем с ним разговаривали? У вас же хорошие отношения. Он вас зовет «сынок»! С ним по душам можно поговорить? Что он думает о партийном руководстве края? У них с первым не очень отношения, скажу по секрету... Нам все надо знать.

Белов с удивлением смотрел на старлея.

– Я не знаю. Мы с ним только о делах разговаривали, «сынками» он всех молодых капитанов зовет... – Сан Саныч зевнул совсем крепко, он еле держался, мозги плыли.

– А вы знаете, что его дважды судили?

– Нет.

– Судили. Но поверили! Специалист он действительно хороший, а линию партии не всегда правильно понимает. Вот вы вернулись из Москвы, о чем разговаривали? Вспомните, может что-то... чем-то Макаров был недоволен?

– Да нет, что вы! Он настоящий коммунист! Он в Гражданскую воевал!

– Ну хорошо, мы с вами неплохо движемся, скоро закончим, напишите все. А если что-то совсем интересное вспомните о вашем руководстве... – Антипин сделал строгое лицо. – Мы оценим, и вам это очень поможет! Отсюда необязательно на нары уходят, можно и на повышение! Вы же мечтаете о большом судне!

Он опять ушел, а Сан Саныч, падая носом в стол, пытался думать, что происходит и что надо написать. Голова не работала, он старался выгородить своих товарищей, но получалась какая-то чушь, если бы кто-то из них прочел то, что он о них писал, ему никогда не подали бы руки.

Старшего лейтенанта не было долго. Сан Саныч и уснул бы прямо за столом, но Антипин оставлял за себя бойца, тот сидел у двери и спать не давал. Антипин появился под утро, в хорошем настроении, от него пахло водкой, едой и женскими духами.

Соседа в камере не было. Он появился вскоре, Сан Саныч только лег, но не спал еще, фитилек бессонницы безжалостно трепетал и трепетал в мозгу. Журналист был взволнован больше обычного, даже неправдоподобно, но Сан Саныча это не волновало, он хотел спать.

– Меня расстреляют, – заговорил шепотом фельетонист, как только закрылась дверь. – Я это понял, я слишком много знаю. Теперь каждого второго к расстрелу приговаривают! Мне не себя жалко, я родину очень люблю! Враги моей родины – мои враги!

Сан Саныч смотрел на него устало, не очень понимая.

– Неужели вам не страшно? А за близких? Их тоже могут арестовать, может уже арестовали?!

Белов нахмурился и молчал.

– А у вас что? Вы не говорите, значит, что-то серьезное... Вас тоже могут расстрелять! Я бы на вашем месте на ваше руководство написал, пока не поздно! На Макарова! Ему все равно ничего не будет, таких людей не трогают...

От журналиста пахло спиртным. Сан Саныч принюхался и не смог сдержать брезгливости. Он, молча и внимательно смотрел в круглое лицо провокатора.

– Где же это водочкой угощают? – устало спросил Сан Саныч.

– Мне следователь налил. Я ему сегодня рассказал кое-что, и он налил. Они так делают...

– А про смертную казнь он вас попросил мне рассказать? И про близких?! Вот что, Кротиков...

– Моя фамилия Кротовский...

– Мне все равно, больше ко мне не обращайся, гнида! Иначе я тебе башку расшибу!

Сан Саныч отвернулся, укрылся одеялом с головой и тут же провалился в сон.

Он проснулся от сильного сердцебиения. Сосед храпел. Он сбросил с себя одеяло, лег на правый бок, все равно давило, но хуже было с головой. Она плодила и плодила страшные образы. О чем бы он ни думал, все скручивалось в сцены смерти, гибели. Он падал с высоты, тонул, замерзал... Погибал и он, и все, кто был рядом. Он сел потихоньку, стараясь не разбудить писаку, попытался думать о чем-то хорошем, но ничего хорошего не приходило. Внутри все было страшно.

«...Характеризую как отличного хозяйственника и руководителя, образцового советского человека...» Как я мог все это писать? Оценивать Макарова?! Что им Енисейская лоция Мецайка?! Великого речника! Сан Саныч не верил, что он это написал!

Про своих товарищей, про свою личную жизнь. Я не должен был этого делать! Внутри все тихо тряслось и стонало. Его голова, лишенная сна, перестала соображать. Так и просидел. Услышал, как надзиратель бренчит ключами и поднимает соседние камеры.

Утром, еще до завтрака, сосед попросился за чем-то и больше не вернулся. Белов сел на край кровати и провалился в сон. Его будили, но он тут же засыпал с открытыми глазами. Он перестал верить этому холеному старлею, знал, что ночью за ним опять придут и не дадут спать.

Съев обед, он вдруг подумал, что можно встретиться с Антипиным и днем. Передал просьбу через надзирателя. И его действительно подняли наверх. Старший лейтенант был одет в гражданское, и оно ему тоже очень шло. Он был весел, даже, здороваясь, подал руку Сан Санычу:

– Ну, с наступающим 1952-м!

Сан Саныч смотрел, не понимая.

– Новый год сегодня, гражданин Белов! Пусть он будет для вас счастливее, чем старый! Я не хотел вас вызывать сегодня, но раз уж пришли... С чем пожаловали? Садитесь!

– Гражданин старший лейтенант, я хотел забрать все, что написал.

– Забрать? – лицо старлея застыло на секунду, но он справился с собой и снова улыбнулся. – Что значит забрать?

– Я не имею права оценивать свое руководство и своих товарищей. – Сан Саныч недовольно отвернулся. – Про меня спрашивайте, что хотите, а про других нет!

– Хотите отказаться? Вы что, лгали?

– Я не отказываюсь, все, что написал, это правда, но... не имею права. Я не понимаю, зачем вам все это? Если я в чем-то виноват, то судите меня. А про других ничего больше писать не буду!

– Вы мне показались честным, даже наивным... не так все просто, оказывается. Враждебность свою выказываете?

– Почему враждебность? Я не имею права оценивать других. Мне стыдно.

– Отлично, – лейтенант о чем-то думал. – Я в командировку отъеду на пару недель, может на месяц... вы тут подумайте хорошо.

– И что, мне все это время одному сидеть? Меня не будут допрашивать?

– Будут, не расстраивайтесь!

Белова повели вниз, на вахте первого этажа надзиратели пошептались о чем-то, и вместо камеры его завели в какую-то комнату и приковали наручниками руками вверх к кольцу в стене. В комнате были стол, стул и плохо пахло. Он вспомнил про Новый год, удивился, что прошло столько времени, и пытался думать, что сейчас делает Николь... Но за ним пришли и отвели в камеру.

На его койке лежал здоровый бандитского вида мужик. Грязными носками на его подушке.

– Курить есть? – мужик смотрел в упор.

– Нет... не курю... это моя койка! – Сан Саныч невольно опасался бугая.

– Твою шконку ты не скоро увидишь, фраер! Деньги есть?

– Нет, – в Белове одновременно рос страх и закипала кровь.

– А поискать? – бандит сел, заскрипев кроватью. – Кителек прислал!

– Что?! – Сан Саныч сжал кулаки.

Мужик спокойно нагнулся, взял свой ботинок и неожиданно со всей силы врезал каблуком по коленке Сан Саныча. Тот вскрикнул и кинулся на бугая, но тем же каблуком получил в нос и, заливаясь кровью, схватился за лицо. Вскоре избитый Сан Саныч, кровь текла из носа ему в ладони, сидел на своей кровати, а мужик торопливо обшаривал карманы кителя. Ничего не найдя, бугай застучал в дверь:

– Надзиратель! Надзиратель! Открой!

Дверь открылась. Старший надзиратель как будто стоял за ней и ждал.

– Заберите его от меня, он дерется! Я жалобу напишу! – почти серьезно причитал урка.

На Сан Саныча надели наручники и дали трое суток карцера.

Перед самым праздником Валентин Романов ездил на почту в Туруханск. Отвез Асины письма в Москву. Она написала и Горчакову, но в последний момент, Валентин уже сел в сани, забрала письмо. Коля тоже хотел написать школьным приятелям, несколько вечеров

сидел, грыз карандаш, но так ничего и не написал. Зато Романов привез из Туруханска сразу три письма от Мишки. Читали все вместе, Мишка осваивался на Колыме, писал, что стало легче, чем поначалу, рассказывал о работе, хвастался, что уже заработал почти полгода зачетов, и, как мог, подбадривал домашних. Все остальное Валентин читал между строк, чувствовал, что дела у Мишки были так себе, ничего действительно хорошего он не сообщал. Правда, и сильно плохого тоже.

Если бы не беда Горчаковых, новогодний праздник вышел бы веселым. Народу, как никогда, было у Романовых. Особенно радовались трое самых мелких, прилипли к Коле, и они каждый день играли в школу – читали, писали и рисовали. Васе было уже семь, Пете шесть, Русе скоро исполнялось пять. Азиз оказался очень чувствительным, привязался к несчастной Асе, ухаживал за ней очень наивно и преданно. Она учила его играть на аккордеоне, и у него неплохо получалось.

Тридцатого декабря был день рожденья Севки. Ася запретила Коле говорить об этом. И сама ни разу не заплакала при людях. Когда наворачивались слезы, она начинала насильно улыбаться ртом, получалось искусственно, но все были заняты праздничными хлопотами и никто не замечал. Только Азиз чувствовал, что Ася очень другая сегодня, смотрел тревожно.

Тридцать первого Азиз с Колей принесли елку из леса, все наряжали, делали игрушки, детвора бегала громкая и радостная. После ужина под елкой обнаружили подарки, пели песни под аккордеон, хороводы водили. Пели и грустные песни.

На следующий день строили снежную крепость, как это бывало на родине бакенщика, потом брали ее штурмом. Взрослые, дети... собаки носились вместе с людьми... Так и проморгали Шульгу. Он оставил коня с санями на берегу, поднялся во двор и встал, рассматривая радостную суету. Особенно внимательно наблюдал за Азизом. Праздник сразу потух, все вежливо здоровались с председателем, только маленькие не понимали и громко требовали продолжения.

Посадили гостя за стол. Пал Палыч был веселее обычного, опять заигрывал с Асей, к ней он и ехал, называл ее «дорогая Ася» или

«наша дорогая москвичка», предлагал спеть всем вместе и лихо тряс чубом. Мужики выпили, закусили, вышли покурить.

– Этот азизик осенью с парохода сбежал! – ехидно, с недоброй веселостью прищурился Шульга на Романова. Пристально глядел.

Валентин молчал, попыхивал папироской.

– За такое дело четвертак схлопочешь, тебе меньше уже не дадут! – настаивал Пал Палыч пьяно, он был очень чем-то доволен.

– На острова его вынесло, думали околеет, а он выжил... Он парнишка безобидный!

– Знаем мы этих безобидных! Они безголовые, что дагестанцы, что чеченцы! У него два побега, получается!

– Да ладно тебе, Пал Палыч, с борта сиганул, какой побег! Он даже плавать не умеет!

– А как же выплыл?! Врет он все! – Шульга сыто и басисто рыгнул, стал протирать очки и заговорил тоном хозяина ситуации. – Сдать бы его надо, да не сдашь уже! Спросят, где он все это время был? Да-а-а, Валя, даже и не знаю... – Он надел очки и опять довольно улыбнулся. – Ладно, я пока ничего не видел. Налей самогоночки бидончик! Больно уж хороша у тебя...

Валентин кивнул согласно и поднялся.

– И с московской кралей обещал переговорить... Забыл?! – Шульга со значением глядел на хмурого Романова.

Председатель, выпив еще полстакана, завалился в сани и уехал. Смеркаться начинало. Так скверно для Валентина начался новый 1952-й. Говорят, как начнется, так и дальше пойдет...

– Ну, Николь, уже думал, не найду тебя! Здравствуй, моя хорошая!

В дверях, напустив клубы холода, стоял высокий дядька в длинном черном бушлате речника, лица его не видно было из ушанки, завязанной под подбородком, один нос торчал. На улице еще не рассвело, а от лампы темновато было в ее углу... Шапка на вошедшем вся в изморози...

– Здравствуйте, – осторожно ответила Николь, – раздевайтесь!

– С Новым годом! Не узнаешь?! – дядька размотал шарф и стянул шапку.

Это был Померанцев. Улыбался, привычно прикрывая беззубый рот. Николь совсем растерялась, заволновалась, что это могло значить.

– Здравствуйте, Николай Михалыч... Николай Михалыч, это вы?!

– Да я, ты уж прости, что без звонка, – Померанцев радостно улыбался. – Я тебе целую нельмину из Игарки привез. Пировать будем! Второй день по Ермаково брожу, еле нашел тебя! – он шагнул из прихожей в небольшую комнату, разгороженную занавеской. – Да у тебя тут хоромы!

– Проходите! Вы прямо из Игарки? – она заглянула за занавеску и крикнула громко: – Тетя Нина, к нам гости!

Повернулась к Померанцеву:

– Хозяйка почти совсем не слышит. Так вы из Игарки? Про Сашу ничего нет? Да идите сюда, вот на сундук садитесь! И не бойтесь, говорите спокойно, она глухая.

– Сан Саныч арестован, он в Красноярске, нас с Климовым тоже допрашивали, а тебя?

– Меня – нет, даже не вызывали. Вы какими судьбами?

– К вам с Катей приехал! Подумал, вдруг вам тут грустно? С матросом Климовым посоветовался и приехал! Не прогоните? Здесь же, в Бакланихе, уголок сниму, на работу устроюсь до весны. А там Сан Саныча, глядишь, отпустят.

– А как же отмечаться? – она год не видела Померанцева, то ли постарел Николай Михайлович, то ли от стеснения так много говорил...

– За взятку сменил приписку, все в порядке. Пойду-ка нельму порублю, как бы собаки ее не пристроили, куда следует. Топор есть? – он надевал шапку, но вдруг остановился. – Погодите, а дочка где?

– Спит, поела недавно... – улыбнулась Николь.

Николай Михайлович отказался от еды, они укутали Катю, усадили ее в санки и пошли гулять. Померанцев был необычно бодрый, теребил Николь и все время улыбался. В конце концов, она тоже предалась его настроению. Рассказывали друг другу, что знали о Сан Саныче. Оказалось, кроме него арестовали еще Фролыча и Егора, но Егора отпустили.

На главной улице убирала снег бригада зэков, тракторишко с ними пыхтел, по самую кабину зарываясь в высокие сугробы. Людей по случаю наступающего праздника гуляло много, из репродукторов гремела народная плясовая музыка. Мужики готовились к встрече Нового года, выпивали, закусывали блинами с икрой и медом. На

Енисее на расчищенном пяточке возле пассажирской пристани ребятишки и взрослые катались на коньках. Компании гуляли. Сразу в нескольких местах, перебивая друг друга, играли гармошки, частушки сыпались. Им притопывали и прихлопывали.

– Веселый, видно, будет тысяча девятьсот пятьдесят второй! – невесело произнес Николай Михайлович, глядя за Енисей в туманные от мороза таежные дали.

– Почему? – не поняла Николь.

Он все смотрел за реку. Повернулся, грустно улыбаясь:

– Пошутил я, про Москву подумал, красивый был город. Там теперь тоже праздник.

– Почему был?

– Там теперь все портретами начальников завешано... и не увидишь ничего! Я почти не смеюсь! Вот когда мы с вами, с Катей и Сан Санычем окажемся в Москве, я вам экскурсию закачу на целый день! Даже на три дня. Портреты уберут, и она снова станет красивой! Я сам питерский, а Москва мне всегда очень нравилась. Больше Парижа, кстати!

– Вы бывали в Париже?! – Николь недоверчиво смотрела на беззубого ссыльного.

– Так точно! И не раз, живал на Монпарнасе, представьте себе! – он улыбнулся.

– Учились там?

– Нет, по работе, последний раз с группой инженеров оборудование получали для завода.

– Вам не понравился Париж?

– Очень понравился, почему же?

– Хм, странно, я недавно тоже вспоминала Париж...

Николь задумчиво любовалась катающимися на коньках. Низкое зимнее солнце, толком не поднявшись над горизонтом, уже начинало садиться, заливало снега и людей золотистым вечерним светом.

– И блески сыплются от мороза... Такого в Париже нет. – Она говорила спокойно и грустно, видно было, думает о чем-то другом. – Хорошо, ведь, когда и Париж есть, и такой вот прекрасный Енисей.

– Хорошо, – согласился Николай Михайлович, доставая папиросы. Они шли некоторое время молча.

– Прошлый Новый год мы с Сан Санычем встречали, я была с животом... В палатке... Это был лучший Новый год в моей жизни! – Она вздохнула, присела и проверила Катю.

Померанцев молча курил, взял ее за локоть:

– Не отчаивайся, Николь, всякое бывает, могут и выпустить...

– Я не отчаиваюсь, у нас было настоящее счастье! Еще и Катя получилась!

Санки с Катей морозно скрипели полозьями по снегу. Знакомые кивали Николь, поздравляли с Новым годом и новым счастьем.

Дома варили уху из головы и хвоста нельмы, Николай Михайлович засучил рукава и не давал Николь ничего делать – подсолил жирные брюшки, запекал в печке картошку. Между делом починил электроплитку. Они разговаривали и разговаривали. Будто целый год молчали до этого. За окошком вовсю уже чернела ранняя полярная ночь.

Когда сели за стол, Померанцев пошел в сени за строганиной, а вернулся с Горчаковым. Тот вошел большой, в черном овчинном полушубке, в снегу и инее. Устало и виновато осматривался. Николь кинулась к нему:

– Георгий Николаевич, я думала, вас тоже арестовали! Где вы были?

– Здравствуй, Николь... – Горчаков обнял ее и начал раздеваться.

– Не раздевайся, Георгий Николаевич, пойдем покурим! – Померанцев влезал в валенки.

Они вышли. В кривобоких, засыпанных снегом домишках Бакланихи светились окна, много где пели, а где-то и отплясывали, сотрясая избушки. Прикурили. Редкие снежинки падали в свете фонарей и окон.

– Ты про Сан Саныча знаешь? – спросил Померанцев.

– Час назад узнал... А ты давно здесь?

– С утра, – ухмыльнулся Померанцев, – мы с ребятами, как узнали, решили, надо ехать к ней. Ребята деньжат собрали...

– Кто же теперь там?

– Кочегары да Климов... А ты, значит, давно у нее не был?

– Давно. В Дудинку летал с Богдановым на операции, потом особист пропуска лишил. Из лагеря не выходил.

– Нас всех допрашивали, «Полярный» наизнанку вывернули. Капитанов, летчиков, с кем Сан Саныч дружил, всех вызывают... Целую бригаду из Красноярска пригнали.

Горчаков молчал, думая о чем-то, затянулся папиросой и заговорил неторопливо:

– Я сейчас на вскрытии был. Опер первого лагеря, старший лейтенант Иванов... – Горчаков опять замолчал. – Под расстрел меня подвести обещал... и вот, простыню снимаю, а это он лежит. Голый. Молодой, крепкий... и покойник. Даже жалко стало. Он честный был...

– Хуже нет таких честных... И кто его?

– Урки на центральную электростанцию заманили и паром сварили из шланга. Так изуродовали, что и лица не узнать. Кожа вся полопалась... Белобрысый был, неглупый, книжки по философии пытался читать... Ни жены, ни детей! Ищейка всю жизнь, да и смелый, полез на эту электростанцию, один...

– Честный дурак он был, не жалеете, Георгий Николаевич! Почему-то мы их все время жалеем. Они нас стреляют, а мы жалеем! Сейчас вот такой же честный Сан Санычу срок изобретает.

– Вы надолго сюда?

– До начала навигации, думаю. Если Николь не арестуют, заберем ее на «Полярный» поварихой. Фролыча, кстати, тоже арестовали...

Старший лейтенант Квасов встречал Новый год в Красноярске. Управление устроило большой банкет, и он был приглашен. Он прилетел заранее, привез начальнику отдела кадров две олени туши, отборной мороженой рыбы и несколько мешков песцовых шкур. Квасова все-таки переводили из его дыры. К аресту Белова он отношения не имел. Всю осень Квасов выстраивал немаленькое дело на руководство потребкооперации. Нити этого дела из затерянной в Заполярье и засыпанной снегами Игарки вели в Красноярск и еще дальше. Среди прочих он арестовал мамашу Зинаиды Беловой, и Зина с матерью стучали, как оголтелые, писали на всех подряд, надо было бы – изобличили бы и самого господ бога... Квасов с достойной и необходимой подобострастностью поглядывал на начальство и попивал коньячок. Он надеялся, что больше никогда не будет сидеть в этом зале, не будет плавать по этой великой реке и носить валенки.

Дело о потребкооперации было закрыто распоряжением краевого начальства, и это обеспечило перевод на юг.

Квасов не любил ни Москвы, ни Ленинграда.

Знаешь прикуп – живешь в Сочи!

Для капитана Белова 1952-й начался в карцере. Карцер был горячий. Маленький и темный пенал, в ширину он легко доставал руками стен, под потолком шли горячие трубы и в камере было градусов пятьдесят. Дышалось с трудом. Уже через полчаса, как захлопнулась дверь, Сан Саныч лежал на полу, раздевшись до трусов, и обливался потом.

Избитый бугаём-уркой, но как-то очень поумневший лежал. Даже и улыбался про себя. Вспоминал свой последний разговор с Антипиным, его растерянность, и был доволен и слегка горд собой. Он отказался и снова чувствовал себя человеком. Казалось, что следом за этим поступком можно будет сделать еще какие-то, повести себя принципиально, и эта дорога выведет на волю.

Он отирал насквозь уже мокрой рубашкой пот с лица и груди и улыбался. Просто так его не сломать было. С Новым годом, товарищ старший лейтенант Антипин!

Секретное Строительство-503 отмечало свой третий Новый год. Он не обещал быть удачным. Сильно сокращалось финансирование, поднимались нормы выработки, ходили слухи об очередной реорганизации Управления... Интерес к грандиозной заполярной железной дороге падал. Главный строитель страны старел, его помощники, может, и совсем остановили бы Великую Магистраль, но пока не смели.

Ермаково к 1952 году решением Верховного Совета СССР значился уже не станком, но поселком городского типа. Весь берег, заваленный в 1949 году стройматериалами, теперь был застроен почти на семь километров. По поселку ходили два небольших автобуса. Редко, не по расписанию, и часто ломались, но ходили.

Внизу у берега стояла пассажирская пристань, длинные грузовые и угольные причалы, лесозавод с его транспортерами-бромсбергами, поднимающими лес из Енисея. Пять магазинов торговали в центре и ближе к берегу. Построили и настоящую двухэтажную гостиницу, в которой круглосуточно работал буфет и с буфетной наценкой спиртное всегда можно было купить навывнос.

Небольшой стадион в центре, ресторан и красивое здание клуба-театра были построены еще в 1950-м. Самым высоким зданием поселка была пожарка. А самым шумным – огромный собачий питомник на стройдворе.

За электричество в Ермаково не платили. Дрова, уголь и воду тоже развозили бесплатно. Правда, много было и таких, у кого не было ни электричества, ни дров, ни воды.

Сангородок, куда временами вызывали Горчакова, располагался на окраине, по дороге на первый лагпункт. В нем было несколько добротных бараков для больных, баня, пекарня, прачечная, барак для обслуживающего персонала. Лечили здесь и вольнонаемных, и заключенных – бараки последних были огорожены колючей проволокой вроде небольшой зоны. Сразу за колючкой было и кладбище для заключенных. Вместо крестов или звезд им ставили безымянные колышки с лагерными номерами.

Вольнонаемных специалистов, тех, что специально приехали на Стройку-503, было немного и большую часть жителей поселка составляли солдаты, офицеры и недавние заключенные, отбывшие свои сроки. Многих из бывших лагерников, особенно специалистов, принудительно оставляли в ссылке, другие не уезжали сами – обжились, обзавелись семьями, а зарплаты и снабжение в Ермаково были намного лучше, чем на материке.

А бывало и так, что, скажем, муж уже отбыл ссылку и мог уехать, но жене еще положено было отбывать сколько-то лет. Или кому-то одному выписывали ссылку «навечно». Так и оставались. И рожали детей. И те учились вместе с детьми вольных или полувольных, и никто не делал никакой разницы.

Это была жизнь, если отвлечься, то и вполне счастливая, с гуляньями и танцами, кино и концертами художественной самодеятельности, с соревнованиями по волейболу или лыжными гонками, в которых ДСО^[137] «Спартак» (общество профсоюзов)

билось с «Локомотивом» (железнодорожники) и «Динамо» (органы внутренних дел и госбезопасности). И за эти гонки выходил болеть весь поселок.

Конечно, это была странная, искусственная жизнь, она говорила только о том, что человек может приспособиться почти к любым условиям. Если бы не Строительство-503, никакой такой жизни здесь точно не было бы.

Но она была. Здесь жили и работали люди.

Горчаков снова получил пропуск и стал бывать у Николь. Она жила вместе с Померанцевым, который через знакомых ссыльных нашел отдельный домик, и теперь они могли разговаривать в полный голос. Здесь же Николай Михайлович халтурил – чинил радиоприемники, плитки, антенны, часы и всякое другое. Николь с Клер больше не разговаривала по-французски и называла ее только Катей. Новостей от Белова не было уже два месяца. Померанцев, как ангел-хранитель, явился к ее истерзанной душе. Он не давал ей тосковать.

На Рождество сидели втроем с Горчаковым. Мужчины выпили, Николь запекла осетрину, стала раскладывать рыбу. Тарелки были ленинградского фарфорового завода, Сан Саныч настоял купить, Николь всегда это вспоминала, когда брала их в руки, бокалы и рюмки тоже были красивые. Хрустальные...

– Что, Катя, – Померанцев качнул девочку на колене, – папу помнишь? Хороший у нас папа?

– Не наступайте на сердце, Николай Михайлович... она его не узнает!

– Узна-ает! Вон, Георгий Николаевич своих сыновей не видел никогда, а узнал бы! Как же? Нельзя не узнать – душа обязательно толкнет. Моему сейчас под сорок, а и то узнаю.

Катя, крупная для своих десяти месяцев, решительно сползла с коленей Николая Михайловича и пошла к матери. Николь взяла ее к себе. Мужчины выпили еще по рюмке и вышли на воздух.

– У вас-то дома как? – спросил Померанцев, прикуривая. – Вы извините, что я вас приплел, иногда и не знаешь, что сказать, горюет она очень. На людях – нет, а сама с собой – плачет. Сидит, перебирает его вещи...

– Все нормально, не извиняйтесь. Моя жена, кажется, замуж вышла. Полгода уже писем нет.

– Жалеете?

Горчаков помолчал, словно размышляя. Потом улыбнулся:

– Иногда хочется, конечно, увидеть, но, знаете, это просто такое желание. Я и представить их себе не могу.

60

После Нового года у Сан Саныча началась другая жизнь. Теперь его вызывал другой лейтенант. Полная противоположность красавцу Антипину. Замухрышка – сразу определил его Сан Саныч. Младший лейтенант Козин был лет тридцати, невысокий, со слабыми, прямо детскими руками, безвольным и вялым взглядом и потрескавшимися губами. Он был, как вечный двоечник, сидящий за первой партой, никогда ничего не знающий и тихо нелюбящий всех за это.

Такой его вид сыграл с Сан Санычем плохую штуку. Недооценивая возможности младшего лейтенанта госбезопасности, он повел себя вызывающе, отказался отвечать на «глупые вопросы» и простоял на ногах всю ночь. Лицом к стене, с пустым протоколом в руках. Козин уходил на час-другой, оставляя вместо себя конвойного. Форма младшему лейтенанту шла, как корове седло, и сапоги были смешно велики в голенищах, но к утру Сан Саныч уже не думал об этом.

В камере он с трудом снял ботинки с опухших ног. Днем ему опять не давали спать, а вечером, не отвечая на вопросы Белова, замухрышка Козин поставил его лицом к стене и ушел. Сан Саныч засыпал и начинал падать, но конвойный орал в самое ухо «Не спать!», пинал по коленкам и обливал водой из графина.

Белов как следует возненавидел маленького гаденыша Козина. Когда тот вернулся в кабинет, это было уже под утро, коленки у Белова тряслись от усталости, он без разрешения с трудом повернулся к следователю и заговорил с презрением, на которое только был способен:

– Эти твои фашистские методы не сработают! Не на того напал! Я верю в советских людей и советскую справедливость, а такие

недоноски, как ты, все поганят! Ты – настоящий враг моей Родины, враг партии и Сталина! Я выйду отсюда и найду тебя, суку! Сам найду!

Козин молча все это выслушал, в глаза не глядел, но куда-то вниз на руки, на наручники Белова, только хлюпнул сопливым носом и вызвал конвойного. Белов ничего не чувствовал от усталости и с трудом передвигал отекающие ноги. Он был рад своему выступлению. Пока стоял, много думал и хорошо отрепетировал слова.

Его спустили не в камеру, а этажом ниже. Провели мимо горячего карцера, где он провалялся три дня. Он думал, что и сейчас ведут туда же, там хуже всего было, когда дали селедку, а потом два дня не давали пить. Селедку нельзя было есть ни в коем случае. Но его провели мимо. Завели в тупик и поставили лицом к стене у какой-то двери. Пришел Козин.

– Давайте, – сказал негромко. Он был все такой же болезненный недоросток. Белову странно было, что он может кому-то приказывать.

Сан Саныча завели в камеру со сводчатыми потолками. Надзирателей было двое. Незнакомые. Один, с жирным животом и большими руками, посматривал равнодушно, главным же был невысокий светлолицый сержант, с маленьким курносим носом и жестко поблескивающими глазками. Сержант спокойно перецепил Белову наручники, теперь руки Сан Саныча оказались сзади, и примкнул к кольцу в стене. Стоять было неудобно, пришлось чуть согнуться вперед. Все происходило деловито, в тишине. Сан Саныч понимал, что его готовят к чему-то плохому. Он молча подчинился, пытаясь выказывать презрение к их действиям. Одно его волновало – выдержит или нет? Карцер выдержал, бессонницу тоже, хуже всего были эти два последние дня лицом к стене. Ноги опухали, не гнулись и не могли идти, но он ни разу не упал и ни о чем не попросил этого сморчка. Он его ненавидел.

– Так, говоришь, фашисты мы? – Козин взял в руки кусок толстого резинового шланга. Взгляд все такой же задроченный.

Белов молчал, отвернулся от своего следователя. Он почему-то не боялся его шланга.

– Что молчишь? Скажи еще... Цветков, – Козин повернулся к сержанту, – он фашистами нас обзывал!

Младший лейтенант пытался разозлить сам себя. Хотел и не решался ударить. Ткнул шлангом в живот Белову. Шланг был твердый, чем-то заполнен. Надзиратели никак не реагировали, и Сан Саныч легкомысленно подумал, что ребята тоже презирают этого хорька. Он повернул голову в сторону недоброго сержанта, ища поддержки, и в этот момент у него взорвалась голова. Он повис на наручниках, боль от вывернутых плеч вернула в сознание, он вскрикнул и заелозил ногами по полу, пытаясь встать. Ему помог толстопузый. Рот наполнялся кровью.

– Ну как?! – глаза младшего лейтенанта заблестели радостью победителя. – Еще хочешь? Скажи, давай!

Сан Саныч стоял, расставив ноги, он не знал, кто его ударил. Пузан спокойно стоял рядом справа, в лице ничего зверского, сержант отошел и что-то делал в темном углу, вернулся, натягивая перчатки.

– Давайте, чего ждете! – скомандовал младший лейтенант и сильно ткнул Белова шлангом.

И опять Сан Саныч на секунды потерял сознание. Это бил толстый, коротко, без замаха, бил в голову, но не в лицо. И сам же подхватывал... Теперь перед ним встал сержант, как на ринге, очень близко, желваки на щеках играли он ударил в живот, и тут же снизу в падающую голову. Лейтенант, раззадорившись, ударил шлангом по голове:

– Фашисты, говоришь! – он широко замахнулся и ударил еще раз.

Жирный поднимал Сан Саныча, но тот не мог ни разогнуться, ни вздохнуть, только сипел, выдыхая остатки воздуха. Щека раздувалась на глазах.

– Слабак! – заключил сержант и, зачерпнув воды в кружку, плеснул в лицо Сан Саныча.

– Вы почему меня бьете? – Белов сглотнул кровь и посмотрел на сержанта. – Я ни в чем не виноват! Он за все ответит! Герой, да?! – повернулся к офицеру.

Младший лейтенант, оскалившись, ударил шлангом по голове, с другой стороны опять коротко ударил жирный, а следом за ним сержант. Этот бил профессионально, что-то захрустело, Сан Саныч выплюнул вместе с кровью... Это были зубы. Во рту сбоку образовалась дыра.

В голове сильно шумело, Сан Саныча слышал только, как лейтенант выговаривал кому-то. В челюсти пульсировала острая боль. Его облили водой, но он стоял, безвольно опустив голову. Кто-то поднял ее, и Сан Саныч увидел лицо лейтенанта Козина:

– Завтра подпишешь протокол. Понял?

Белов молчал. Глаза лейтенанта были беспокойны, он уперся в Белова шлангом:

– Я напишу протокол, а ты подпишешь! Иначе отдам тебя этим бойцам. Они будут бить, пока не подпишешь!

Его вызвали утром. Протокол был на пяти страницах, мелким, неровным и плохо разборчивым почерком. Белов долго пытался понять, что там написано, у него страшно болела голова. Руками в наручниках с трудом перелистывал большие страницы. Наконец Козин не выдержал:

– Подписывай!

– Я не понимаю, что здесь. – Челюсть распухла так, что Сан Саныч еле произносил слова.

– Здесь изложено, что ты в сговоре с поделщиками вел антисоветские разговоры, слушали вражеские голоса по радио, обсуждали деятельность партии и правительства в негативном ключе. Это самое мягкое, что могу, – он заговорил тише, – у Антипина ты должен был лесозавод взорвать в Игарке. Взрывчатку нашли бы на твоём корабле! А твои люди все бы подтвердили! Подписывай, начальство распорядилось помягче с тобой! Через неделю суд и на этап! Вот здесь распишись!

– Какой суд?!

– Что, маленький?! Больше десяти лет не получишь, может и меньше дадут...

– Я никаких разговоров не вел... – Белов помнил, что в протоколе были имена старпома, главного механика, а еще Макарова и его замов.

– Тебе вчера мало было?! – Козин нервно грыз заусенец на руке. – Этим зверям отдам, навсегда инвалидом сделают! Подписывай!

Белов тупо глядел мимо лейтенанта в окно.

– Ну всё, вечером снова будешь внизу! – Козин вызвал конвой и Белова увели в камеру.

Думать Сан Саныч не мог, сидел на кровати, прислонившись к стене. Когда надзиратель с воплем «Не спать!» заходил в камеру, он

видел, что Белов не спит, сидит с открытыми глазами. Баланду есть тоже не мог, рот не глотал. Он не понимал, что произошло. Его избили. Просто так, привязали и избили. Он не мог этого понять. Он утерять какую-то важную нить, которая могла бы связать все эти события. Ничего уже не имело значения, ни беседы Антипина, даже этот сморчок не вызывал никаких эмоций. Внутри все опустело. Страшно хотелось есть и спать. И он отключался с открытыми глазами.

Вечером его опять повели вниз. Он чуть пришел в себя, спускался по лестнице и пытался понять, что сейчас будет? Неужели опять бить? Не может быть... Надо поговорить с этим хорьком... Это была другая камера. За столом сидел младший лейтенант Козин. Рядом на стуле спокойно курил вчерашний боксер Цветков.

– Папироску хотите? – как ни в чем ни бывало спросил лейтенант.

Сан Саныч, готовившийся к худшему, неожиданно кивнул. Цветков сунул ему в рот папиросу и чиркнул спичкой. Белов опять кивнул. Курить с наручниками на руках было трудно. Вдруг за стеной кто-то громко заорал, потом заговорил горячо и потом опять заорал. Сан Саныч прислушался, похоже, там кого-то били. Лейтенант смотрел спокойно.

– Сними с него наручники, – приказал надзирателю. – Покури и подписывай!

– Я хотел прочитать... – за стеной опять раздались крики, слышно было и удары.

Он послушно сел к столу, рука пыталась взять папиросу, но у нее не получалось. Тряслась.

– Подписывай! Антисоветчина и больше ничего!

– А с кем я разговаривал?

Козин повернул протокол к себе, поискал глазами и прочел:

– Померанцев Н. М., Захаров С. Ф., Грач... Хочешь еще кого-то добавить?

За стеной орал и выл человек, и ругался, и снова орал. Слышались глухие удары. Сан Саныч не мог сосредоточиться.

– Но мы не ввели никаких разговоров... – Белов почти жалобно смотрел на лейтенанта.

– Понял. Не хватило вчера... – он стал неторопливо собирать бумаги в папку. – Не советую тянуть, были такие, кто три дня

выдерживали, ну четыре, потом все равно подписывали! Чем кровью ссать, лучше подпиши и на этап!

Сан Саныч понимал, что лейтенант сейчас уйдет и его начнут бить. Представил, что подписывает...

– А их арестуют? – спросил и понял, что спросил глупость. Ему хотелось задержать лейтенанта.

– Их уже арестовали, и все дали показания и на тебя, и друг на друга... Не хочешь друзей, назови кого-то из руководства! – лейтенант напряженно ждал. – Есть же кто-то, кто тебе не нравится? Давай! Я добавлю.

– Я так не могу, – Сан Саныч потрогал заросшую и саднящую от боли щеку. – Зачем это все? Арестуйте одного меня...

– Ты и так арестован, идиот. Не убейте его... Захочет подписать, протокол здесь! – Козин оставил бумаги на столе и вышел за дверь. Маленький и жалкий. Ноги болтались в сапогах.

Цветков сдернул с Белова китель и застегивал наручники за спиной. Сопел молча. Сан Саныч остался в одной тельняшке.

– Послушайте, – заговорил Сан Саныч негромко, – я, ей-богу, ничего не совершал. Клянусь вам. Я капитан буксира... Меня все уважают, у меня два ордена...

– Встал! – Цветков, как неразумного, пнул Белова в бок.

Белов распрямился, с просьбой, даже и жалобно заглядывая в глаза надзирателя. Но в них ничего не было. Боксер почти безразлично рассматривал Белова, соображая что-то, только в глубине маленьких глаз проблескивала злобная насмешка... или превосходство. Вчера он бил с таким же лицом. Сан Саныч сжался внутренне, ожидая удара. Надзиратель взял его за наручники и потащил к стене. Прицепил к трубе одну руку, потом другими наручниками другую. Сан Саныч стоял словно распятый лицом к стене. Руки вывернуты неудобно. Он закрыл глаза, сжал челюсти и уперся лбом в стену. Цветков все сопел и возился сзади. Потом чиркнул спичкой. Сан Саныч напрягся, попытался обернуться и в тот же момент глухо вскрикнул от резкой боли. Правая рука будто сломалась. Цветков бил резиновым шлангом, размахивался и с выдохом лупил в одно место по предплечью. Сан Саныч уже не чувствовал руку, только взывал от боли, пронзающей все тело. Он боялся, что ему сломают руку, но шланг ложился не поперек, а вдоль. Боец остановился, подошел к дымящемуся куреву на

столе, дернул несколько раз и вернулся. Встал к левой руке. Он бил сильно и размеренно, вскоре у Сан Саныча уже не было рук, но только две пылающие, разорванные до костей конечности. В голову стреляло, он отключался, начинал обвисать на наручниках, но страшная боль в выкрученных запястьях возвращала его на землю.

– Я не могу, не могу... – забормотал.

– Что? Громче!

– Я больше не могу, я... не могу... не могу...

– Подписывать будешь? – сержант ткнул дубинку в голову Сан Саныча.

– Я... я... – Белов дышал с трудом, – я прочитаю... прочитаю, я не читал...

Боец молча отступил на шаг. Удар пришелся по ягодицам. Сан Саныч вскрикнул, боль была неожиданно резкая.

– За что вы меня бьете?! – взвопил Сан Саныч.

– Было бы за что, убил бы... – боец перекуривал, попил воды из графина. – Будешь писать?!

– Я не знаю, что там! Ай-й! Зачем вы бьете, я же человек! Я не виноват! Ай-й! Послушайте, товарищ...

Боль становилась все острее, Сан Саныч выгибался от каждого удара, он опять перестал понимать, что происходит, было больно, больно и больно... Удары отдавались во всем теле. Надзиратель бил не так сильно, но чаще, он устал и разозлился, дышал тяжело. Присаживался, вытирал пот, снова закурил. Сан Саныч уже не вскрикивал, но только тяжело выл, ноги тряслись и подгибались.

Неожиданно все кончилось. Боец попил из графина, вытерся полотенцем и отстегнул наручники:

– Садись! – кивнул на табуретку.

Белов, бренча наручниками на двух руках, подошел покорно и безумно и попытался сесть, но, едва коснувшись задом табуретки, взвыл и упал на колени.

– Ха-ха-ха-ха! – заливался боец. – Садись, чего ты?! – Эту штуку он проделывал со всеми. Сан Саныч стоял на коленях, согнув голову, и тихо выл. – Я на тебя завтра посмотрю, козел! На выход!

Сержант завел его в соседнюю, совсем маленькую комнатку. В ней не было ничего, только бетонный пол.

– Вывод завтра утром, насрешь – съест заставлю! Понял?! Языком пол вымоешь!

Сан Саныч с трудом нашел позу. Лежал на животе, руки вывернуты вдоль тела. Последние несколько часов он был не человеком, но животным, которое почему-то истязали. Ни об унижении, ни о мести, ни о чем другом он не мог думать, ему было очень больно. Кого-то опять били за стенкой, тот кричал и ругался, но Сан Санычу было все равно.

Он проснулся среди ночи от страшной боли во всем теле. Ему очень хотелось в туалет. Он потихоньку встал на ноги, прислушался. Глазок в камере был небольшой и без кормушки. Сан Саныч постучался негромко. Никто не загремел ключами, не подошел, похоже, в подвале никого не было. Сан Саныч постучал громче:

– Эй, есть кто-нибудь?

Никто не ответил. Он уже не мог удержаться. Помня про угрозу своего истязателя, писнул на стену, перешел и писнул еще немного... так он прошел полкамеры. По стенкам стекало, сильно пахло мочой. Ноги под ягодицами были сине-красные. Сан Саныч осторожно задрал тельняшку и осмотрел руки. Они были сплошным синяком и нигде не было ни капли крови.

Утром в камеру вошел Цветков и сразу сморщился от запаха, увидел потеки на стенах:

– Раздевайся! – в лице, в маленьких глазках – ненависть.

Сан Саныч чуть помедлил, соображая, что сейчас будет, и начал снимать тельняшку, он с трудом шевелил пальцами. Ему казалось, что Цветков, осмотрев его, сжалится. Но тот неожиданно вышел и вскоре вернулся с ведром. В нем была вода.

– Все стенки вымыл от ссая! – Цветков кинул тельняшку Белова в ведро.

Сан Саныч стиснул зубы, глаз не поднимал, но и не двинулся с места.

Весь следующий час Цветков его бил. По тем же местам, что и вчера, по синим, разбитым рукам и ягодицам. Сан Саныч уже ничего не чувствовал, это была сплошная боль, он молил Господа, в которого не верил, чтобы тот кончил все это скорее. Сдохнуть! Сдохнуть! Сдохнуть! – колотилось в голове.

Цветков устал и снова запер его в камере.

Его не кормили, вечером только дали кружку воды, и вскоре пришел следователь Козин. Сан Саныч не мог встать, лежал на полу, на боку, но тот и не требовал:

– Так будет каждый день. Все равно подпишешь!

Он постоял, думая о чем-то. Потом заговорил миролюбиво:

– Зря мучаешься, все подписывают. Инвалидом же станешь... могу кого-то убрать из протокола... Иду тебе навстречу. Слышишь, герой?

– Ни на кого клеветать не буду! – промямлил Сан Саныч разбитым ртом. – Хотите, убейте! Я ни в чем не виноват и это будет известно...

– Так что же, отпустить тебя?

– Да! – чуть слышно, но твердо кивнул Сан Саныч.

– Хм! – развеселился Козин и присел к нему на корточки. – Ты же начнешь говорить, что у нас безвинных берут! Да еще и бьют!

Сан Саныч молчал. Ему больно было говорить, а щеке от пола было прохладно и полегче.

– От нас просто так не уходят. Подпишешь сегодня – получишь не больше десяти лет. Одному не получится, мне нужна группа. Померанцев, Захаров, ссыльные прибалты пойдут! Йонас-Павулюс! И обязательно кто-то из начальства... Не будь ты дураком! Все равно подпишешь!

Сан Саныч слушал его и на время забыл о своей боли. Он сейчас не Козина презирал, он вдруг ясно почувствовал, что любит своих кочегаров. И ни за что не продаст их. Это были первые человеческие чувства за последние сутки. Тут же Николь в голову явилась, Катька, другие хорошие люди. У него в груди перехватило:

– Они – люди, а ты паскуда! Сдохну, не подпишу! Из-за таких уродов все...

Он не договорил, лейтенант вскочил с перекошенным ртом и трусливо замахнулся ногой в лицо. Сан Саныч зажмурил глаза. Удара не было. Лейтенант стоял над ним, сжав кулаки:

– Ну, тварь, посмотришь у меня! – прошипел следователь сквозь стиснутые зубы и вышел.

Ночью пришли двое. Цветков и какой-то незнакомый старшина. Подняли с пола. Голодный Сан Саныч еле держался на ногах. Руки в наручниках за спиной. Старшина брезгливо осмотрел его, покачал головой:

– Не, Цветков, давай сам! Чего Козел на него взъелся?

– Так не подписывает!

– Они все не подписывают... и зачем его... он чуть живой... – старшина разговаривал так, словно Сан Саныча не было в комнате.

– Да мне начхать, не я придумал... – Цветков то ли смущался, то ли наоборот, был чем-то доволен.

– Ну давай, я в дежурке буду, если чего! Тут уже и бить нечего!

– Жрачку-то привезли? – спросил Цветков вдогонку.

– Привезли.

Цветков ударил, как только закрылась дверь. На этот раз он разговаривал. Зло сузив рот и прищутив глаза.

– Ты что же, сука?! А?! – он ударил в живот и поймал падающего Белова за шиворот.

Сан Саныч не мог вздохнуть, но еще получил коленом в грудь. Потом еще. Цветков вел себя так, будто Беловых вокруг было сто, и он, патриот Цветков, один стоял против этих предателей, окруживших его родину.

– Ты что же, партию не любишь, сука?! – кулак смачно пришелся в другую челюсть. – А?! Сталина не любишь?! – кулаки только мелькали. – А, сука?! Не любишь?! Подстилка американская!

Цветков бил своего личного ненавистного врага, бил в ярости, куда придется, не особо разбирая. По рукам было больше всего, Сан Саныч не прикрывался и уже не убирал голову, ему было все равно, мелькнуло, что Козин велел забить насмерть. Наконец, теряя сознание, сполз по стене, растянулся и лежал, закрыв глаза. Ни на что не реагировал.

– Встал, паскуда! – ревел над ним Цветков, пиная в ребра.

Сан Саныч не двигался. Цветков примолк, отошел, сопел что-то рядом, Белов подумал, что на этом, может, и кончится, и даже чуть расслабился... но тут же почувствовал, как по его лицу течет вода, он поморщился, не понимая, вода была теплая, затекала в ноздри, сбегала по губам, Сан Саныч очнулся, открыл глаза, Цветков стоял над ним и ссал на него.

– Что, сука, не нравится?!

Сан Саныч попытался отвернуться и спрятать голову, но тот поливал тельняшку, снова направил струю на лицо. Белов, забыв о боли в руках, попытался сесть, Цветков хохотал над ним, целился в

голову, волосы были все мокрые. Наконец Цветков иссяк. Наступил сапогом на руку Белова, другой ногой проверил наручники. Распрявился брезгливо.

– Все, до утра свободен! Блевотина американская!

Он ушел. Сан Саныч лежал в луже, плотно сжав губы. Даже тело перестало болеть. Попытался отодвинуться, но лужа была везде. Сан Саныч бессильно опустил мокрую голову. К нему, в его сознание просились близкие люди, но он не пустил их. Дальше так нельзя, мелькнуло ясно.

Он уже думал об этом. Когда мыл камеру, нашел половинку лезвия, запрятанную в щель. После первого избиения он достал ее и долго сидел, зажав в кулаке страшную остроту. Можно было отважиться на одно движение, и его больше не смогут бить и издеваться. Пустота. Конец. Ни Козина, ни Цветкова. Пугала вытекающая кровь, а вместе с ней и жизнь... У него начинало колотиться сердце. Он представлял, как его объявят врагом народа – честные люди с собой не кончают! – довольное лицо Козина возникало, еще какие-то лица. И среди них, чуть поодаль, внимательные глаза Николь. Она строго на него смотрела, и он чувствовал себя кем-то, кем быть нельзя. Он спрятал лезвие на место и с облегчением подумал, что морда заживет, а там, на воле, его ждут люди, которые его любят.

Теперь же он ни о ком не мог думать. Он стиснул зубы и чиркал, чиркал лезвием по запястью, преодолевая самый страшный последний страх. Страх все-таки был. Он ненавидел себя. Даже в вонючей луже, полуживой и опозоренный, он трясся за свою шкуру. Сейчас приведут в камеру, и сразу сделаю. Он запрещал себе думать, как он это будет делать, только чувствовал в себе эту последнюю решимость. Лежал и ждал, когда за ним придут.

Он проснулся все в той же камере на полу. Прислушался, в коридоре ходили, в голову пришло вчерашнее, Сан Саныч принялся к себе, не понял, чем пахнет – он уже больше месяца не был в бане. Но тельняшка была сухая и лужи не было. Болели запястья под наручниками.

За ним пришел незнакомый надзиратель и отвел в туалет. Не торопил, дал умыться, Сан Саныч даже голову вымыл под краном и, как мог, привел себя в порядок. Это хорошо, – он чистил китель

мокрой рукой, – я должен выглядеть хорошо. Его решимость не проходила, он почти спокойно ждал возвращения в камеру. Внутри после сна было подозрительно тихо и не так сильно болело тело. Он чувствовал безразличие ко всему, даже к своему убийству, как будто оно уже произошло и ему больше не о чем было волноваться. И это он тоже считал хорошим знаком. Чтобы это сделать, надо быть спокойным.

Его повели не в его камеру, но сразу на третий этаж. Он стоял лицом к стене у двери какого-то кабинета и равнодушно вспоминал, как лежал вчера ночью в цветковской мочке. И думал, что лучше так лежать, чем когда тебя бьют. С ним что-то произошло, ему не было ни стыдно, ни унижительно, ему было все равно. Надо было попасть в свою камеру, он старался не думать о лезвии, но просто видел себя уже неживым. Просто лежал на койке, а вокруг стояли люди.

Это был кабинет Антипина. Тот сидел за столом и писал, кивнул Белову.

– Садитесь, Александр Александрович! – старший лейтенант перестал писать и укладывал бумаги в папку. – Ну, как дела? Чего же вы стоите? – Антипин смотрел доброжелательно. – Садитесь, я из командировки, в Ермаково был, вашу Николь видел!

– Я не могу... – у Сан Саныча все сдвинулось в голове от ее имени. – Меня избили!

– Кто? Вы же в одиночке? – очень искренне удивился Антипин.

– Следователь Козин с надзирателями... – Сан Саныч не мог понять, знает Антипин или нет.

– Как получилось? – нахмурился старший лейтенант.

– Я не подписывал протокол, в котором мне предлагали оклеветать честных людей.

– И вас за это ударили? – продолжал не понимать следователь.

Сан Саныч отпустил штаны, и они без ремня сами сползли и обнажили синие, местами черные ноги. Сан Саныч все смотрел в глаза своего следователя, у него росла надежда, что тот ничего не знает. Антипин подошел, хмуро осмотрел ноги Сан Саныча. Принюхался к нему.

– Вы давно были в бане? – он вернулся за стол и достал бумагу.

– Ни разу не был.

– Я распоряжусь, присаживайтесь как-нибудь и пишите заявление о побоях. Вот ручка...

– О побоях?! – Белов не сразу шагнул к столу, сердце в нем очнулось и затрепетало мщением.

– На имя начальника тюрьмы... – Антипин посмотрел на часы. – Как только появится врач, зафиксируем травмы. Что у вас с пальцами? Писать сможете?

Сан Саныч посмотрел на большой палец правой руки. Он опух и не шевелился, остальные тоже плохо гнулись.

– Ладно, напишете заявление у себя в камере, а сейчас я хотел с вами поговорить. У меня серьезные вопросы, которые могут решить вашу судьбу. – Он встал, прошелся, полуулыбка блуждала по лицу. Все вглядывался в Сан Саныча. – Сначала о другом хотел спросить... Ведь вы верный сталинец?

Сан Саныч кивнул головой.

– То есть вы безоговорочно верите нашему вождю?

– Да, – уверенно ответил Сан Саныч, – почему вы спрашиваете?

Антипин подошел к шкафу с книгами, достал какую-то брошюру и стал листать.

– Вот. Читайте, – он чиркнул ногтем.

«...метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод...»

Белов поднял голову, не очень понимая, к чему все это.

– Совершенно секретный документ. На подпись смотрите!

Белов видел подпись Сталина.

– Это его разъяснения! Это руководство нашими действиями. Сталин допускает методы физического воздействия.

– Но там говорится о врагах народа!

– Дорогой Александр Александрович, мы и в прошлый раз с вами на этом не сошлись! Вы сами можете не знать, что уже являетесь членом антисоветской организации!

– А зачем вы мне показали совершенно секретный документ? – спросил вдруг Сан Саныч. – Если я враг?! Вы же не верите...

– Правильно, я даже уверен в обратном! Вы честный, но наивный советский человек. Вы превратно понимаете слова о чести и дружбе.

Безопасность нашей с вами родины выше дружбы, и вы с этим, конечно, согласны, но не хотите нам помочь! Помогите! Мы все уже знаем, но нам как раз нужен такой видный и, главное, честный человек, который... – Антипин чуть замялся.

– Честный человек, который всех оболжет! – закончил за него Сан Саныч. – Зачем вам мои признания в том, чего я не делал? Вы же знаете, что не было никаких антисоветских разговоров! Козин прямо над этим смеялся, говорил, что выбьет из меня любые признания... что я подпишу, как со своей матерью спал!

– С Козиним разберемся, считайте, что его дни в госбезопасности сочтены. Что же касается меня, в моей практике не было случая, чтобы подследственный не сознался!

– А если он не был виноват? – удивился Сан Саныч, но Антипин его не слышал.

– Мы знаем, что в Енисейском пароходстве ведутся антисоветские разговоры. Начались они в голодные годы после войны, а в последнее время усиливаются. Связано это с большим количеством заключенных и ссыльных в крае, с огромными и трудными стройками. Все это и в Москве знают, Иосиф Виссарионович недавно принимал начальника нашего управления и лично ставил ему задачи... Нам поручено вскрыть этот нарыв.

Антипин подошел к окну, шире раздернул шторы. Солнце вставало и заливало курящийся дымами город розоватым морозным светом. Старший лейтенант, слегка картинно задрал подбородок, смотрел куда-то вдаль.

– Идите сюда!

Белов осторожно подковылял, придерживая штаны. Его тело снова начало болеть.

– Смотрите! Краны и краны! Самые современные корпуса! Сплошные заводы! Десять лет назад сказать кому, что мы здесь будем делать телевизоры! И такое по всей стране! Вы это не хуже меня знаете! Разве не Сталин говорил нам об этом? Не он провел через страшную войну и заложил основы коммунизма?! Наши дети увидят совсем другую жизнь! А есть люди, которые ненавидят все это, вставляют палки в колеса! Не помогая нам, вы помогаете им!

За окном, и правда, было хорошо. Солнечно. Сан Саныч почти два месяца не видел снега. Подъемные краны ворочали свои стрелы, из

высоких труб по голубому небу тянулись светлые, розоватые в утреннем солнце дымы.

– Я был в Ермаково и в Игарке, машина завертелась, это будет большое дело! Я знаю, как вы относитесь к Макарову, но материалы следствия полностью его изобличают. Его, и его замов Селиверстова и Питкуна, опять же знаю, что вам не понравится, но замешан и белогвардеец Мецайк. Они многим успели промыть мозги.

– Почему белогвардеец?

– Наивная вы простота, Белов... думаете, что все знаете. Потому что белогвардеец! Настоящий! С высшими колчаковскими наградами! И вы должны вспомнить, о чем с ним разговаривали. Вспомнить в подробностях, а я уже разберусь, что есть что.

Антипин замолчал, открыл портсигар с папиросами.

– У вас два выхода – или вы с нами, или идете вместе со всеми по самым тяжелым статьям, как нераскаявшийся злобный враг. Москва с такими не шутит – двадцать пять лет или расстрел!

Сан Саныч сидел, опустив голову. Он вспотел и от тельняшки пахло мочой.

– Вы понимаете теперь, что я действительно хочу помочь! Хочу сохранить вам жизнь и свободу! А понадобится, простите за откровенность, можем уничтожить вас, как опасного свидетеля. В архиве будет лежать бумажка о вашей смерти в результате болезни.

– Даже если я не виноват?

– Возможно. Мы решаем большие задачи. Енисейское пароходство – транспортная артерия огромного Красноярского края. Это должен быть здоровый механизм. Ради счастья миллионов с одним человеком можно и ошибиться. Во время войны ошибки тысячами, даже десятками тысяч измерялись. И мы победили!

Белов молчал. Старший лейтенант закурил, придвинул портсигар, но понял, что Белов не сможет взять папиросы опухшими пальцами. Достал сам и помог прикурить:

– У меня большие возможности. Помните прошлогоднее дело красноярских геологов? Больше двухсот человек были осуждены! Академики! Доктора наук! Это потом Москва подключилась, а начинал это дело я! И все, с кем я работал, сознались. Вы должны понять, что и без вас дело вашего пароходства будет раскрыто. Уже арестовано больше тридцати человек, все дают показания, будут еще аресты. Вы

своим упорством ничего не добьетесь, есть свидетельства и против вас. Но вы лично мне очень симпатичны. – Он прижал руку к груди. – Моей власти достаточно, чтобы вам помочь, но и вы должны нам помогать.

Это была та же ситуация, что и с Квасовым, Белов не раз возвращался мыслями в те времена. Если бы он тогда согласился, пришлось бы жить с паскудным чувством стукача, но теперь все было намного хуже.

Антипин курил, спокойно посматривая на Белова. Ждал. У Сан Саныча голова закружилась от табака. Папироса в неловких пальцах мешала думать.

– Значит, я должен написать о своих товарищах то, чего не было... должен рассказать, что они недостойные советские люди, враги... – Сан Саныч глядел в стол и говорил медленно, будто сам пытался понять, что его слова значат. А может, думал о чем-то совсем другом. Распухшие руки подрагивали на столе. – Оболгать людей, которые меня учили жить и работать?! Знаете, Андрей Александрович, я вижу, что вы мне хотите помочь, но я так не могу. Как-то все не по-людски...

– Вы меня в самом деле не слышите? Те, о ком вы не хотите сообщать, уже а-ре-сто-ваны! Они признаются, дают показания. Вы не можете повлиять на их судьбу!

– Почему же вы со мной так возитесь? Зачем вам мои нечестные признания?

– Вы – талантливый капитан! Орденосец! Я вижу, что вы не враг, а искренний человек, преданный делу партии, делу строительства коммунизма. Для вас слово Родина не пустой звук!

– Но как можно обвинять Макарова? На нем пароходство держалось всю войну! – Белов напряженно соображал. – Я хочу написать Сталину! Я имею на это право?

– Вы не знаете самого плохого... – старший лейтенант открыл стол и достал лист бумаги. – Это ордер на арест вашей подруги!

От мужества, с каким Сан Саныч защищал Макарова, не осталось и следа. Он прочел имя Николь. Все эти два месяца он не верил, но больше всего боялся именно этого.

– Она ничего не могла... она беременная была. Потом с ребенком... – заикался Сан Саныч, с мольбой глядя на старшего лейтенанта. Опустился на стул, не чувствуя боли, в висках стучало.

– Я был в Ермаково, допрашивал вашу Николь. Красивая женщина... – Антипин чиркнул спичкой и прикурил. – Дочка на вас похожа. У них, кстати, пока все в порядке, они живут в отдельном домике.

– Вы ей сказали про меня?

– Не имел права. Мы арестовали Померанцева, Захарова, коменданта Ермаково... вы знаете таких, они все под следствием. Ее, – он кивнул на ордер, – не тронем, если вы начнете сотрудничать.

Сан Саныч сидел, качая головой. Антипин подошел, сел на край стола и заговорил совсем доверительно.

– У вас есть выбор. Ваша жена Зинаида официально отказалась от вас, теперь вы сможете жениться, Николь рассказала мне о ваших проблемах, получите большой теплоход и заживете нормальной жизнью. Подойдет?

Сан Саныч слушал с удивлением. Антипин много знал.

– Говорю прямо – нужны показания на руководство. Какая, в конце концов, вам разница, кто будет руководить Енисейским пароходством. У вас своя жизнь. С молодой женой, полная радости! Вы столько еще можете сделать для родины! – он помолчал секунду и добавил: – Или лагерь... очень надолго. И она тоже...

– Да какие же показания? – взмолился Белов.

– Мы вам поможем, у нас надежные данные слежки и прослушивания. Все, что будет в протоколе вашего допроса, – все будет правдой! Макаров признается.

– Вы его посадите?

– Будет объективное следствие, потом суд. Вас освободим в зале суда.

Белов уперся взглядом в одну точку и думал о чем-то напряженно. Поднял угрюмый взгляд:

– Я так не смогу.

– Тогда ваша Николь окажется в соседней камере.

– Но за что?!

– За связь с вами, сейчас вы идете как член антисоветской группы, но если поднять ее документы... ваше с Николь дело можно переqualифицировать в шпионаж в пользу капиталистической Франции. Шпионаж и попытка организации побега на буксире «Полярный». Это расстрел. Для обоих!

– Не может быть, этого не может быть! Зачем вы это говорите?! Ничего такого не было и не могло быть! Вы же говорили, что мне верите?!

– А девочку в дом малютки... Она очень симпатичная, возможно, ее удочерят хорошие люди. – Антипин смотрел жестко, все больше отстраняясь. Он встал. – Но сначала с ее мамой... вас интересует, как будут допрашивать маму вашей дочери?

Старший лейтенант одернул смявшуюся гимнастерку, провел ладонью под ремнем:

– Вам плохо было внизу? В подвале?

Белов понял, что Антипин все знал. И даже, почему пахнет мочой.

– Так вот, женщин там не бьют. Вы же видели там кровать?! Цветков у нас большой любитель. Не доводите до такого. У вас нет выбора, спасайте жену и дочь. И себя!

Сан Саныч сидел, опустив голову. У него не было выбора. Он хотел в свою камеру: «если я уйду, они отстанут от Николь».

– Успокойтесь! Пока все в ваших руках, я разрешу вам спать сегодня днем. И смотрите, никому ни слова из нашего разговора... Что с вами? Хотите воды?

61

Старший лейтенант Антипин врал. Ни Померанцев, ни Горчаков не были арестованы, и Николь он вызывал как инспектор по делам малолетних. И даже наоборот – с начала января Горчаков был прикомандирован к ермаковской больнице, дневной и ночной пропуска бесконвойного позволяли ему почти свободно перемещаться по всему Ермаково. Поэтому он частенько бывал и даже ночевал в избушке Николь и Николая Михайловича. В каком-то смысле это было лучшее время для всех троих. Точнее, для четверых, маленькая Катя, когда не спала, бывала очень занята.

Было утро воскресенья, Горчаков пришел с ночного дежурства, и они с Померанцевым пилили дрова. Николай Михайлович ни минуты не сидел без дела – пилил, колот, воровал где-то дрова или уголь, носил воду из озера, варил, мыл полы и еще успевал подрабатывать – чинил, что ему носили. Николь жила как у Христа за пазухой.

– У нее – Катька! – объяснял с удовольствием Николай Михайлович, направляя движения гибкой звонкой пилы. – А мне одно удовольствие с ними. Прямо счастье. И не пойму, за что Господь послал такое? Сидел бы сейчас в караванке с Климовым... Славный, кстати, человек Игнат Кирьяныч. Письмо прислал. Пишет – один остался. Как эти допросы начались, из отдела кадров приказ пришел уволить кочегаров с «Полярного». Почему их? Мы с Климовым тоже ссыльные... Ничего не поймешь у нашей власти... От старпома тоже никаких вестей.

Последнее бревно развалились и упало с козел, сели на чурбаки перекурить. Мороз стоял градусов под сорок, но на солнце было приятно, казалось, что и тепло.

– Я завтра-послезавтра в командировку уеду на трассу, – Горчаков щурился на голубое морозное небо. – Опять московская комиссия.

– А ты что проверяешь?

– Да ничего – питание, хранение продуктов, лазарет – во всех лагерях об этих комиссиях за две недели знают. Где нет лазарета, больных смотрю.

– И зубы рвешь?

– При острой боли рву... у тебя что, зуб болит?

– Нет, я думал про тебя, ты же по профессии технарь, как и я... Я бы не смог вырвать... – он задумчиво посасывал папиросу. – Ладно еще мужику грубому, а женщине?!

– Женщины терпеливее.

– Да я не об этом – жалко же! Вчера ночью представил, что я Николь зуб выдираю. Так разволновался, до утра не уснул. Пойдем-ка, ладно, у меня там щи довариваются, потом поколем...

– Не утащат? – Горчаков кивнул на чурбаки.

– Ночью обязательно, днем – побоятся. После обеда гулять пойдем, ты бы ей снотворного принес, она после этого инспектора опять спать перестала. Читает ночи напролет. И чемодан опять сложила... Вот сучья жизнь. Сидим, как собаки на цепи.

Запах щей стоял на всю избушку. Померанцев пережаривал лук с морковкой, пробовал на соль и одобрительно качал головой. Солнце и натопленная печка прогрели верхи толсто замороженных окон, и оно заглядывало в эти оплывающие продухи желтым теплом. Николь ушла

с Катей делать прививку, давно должна была вернуться, но их все не было. Померанцев волновался, разговаривал больше обычного, выходил за дверь вроде как за делом, а сам всматривался в конец длинной кривой улицы. Сто раз уже пожалел, что не пошел с ними, виной тому были сворованные дрова – это были трехметровые столбы, заготовленные для ремонта зоны, их за пачку папирос притащили знакомые ээки. Надо было попилить, чтобы никто не стукнул, за эти пять столбов – хищение социалистической собственности! – можно было десять лет схлопотать, нечего делать! По два года за столб! – подсчитал Померанцев.

– Тут вот что... – Николай Михайлович прислушался к улице и очень серьезно посмотрел на Горчакова. – Не беременная ли Николь?

– Почему? – Горчаков глянул с тревогой.

– У нее месячных нет уже почти три месяца, говорит от волнения. А сама побаивается, да и ведет себя как-то по-другому, ты разве не видишь? Может, поговоришь с ней, как врач...

– Нет, лучше ты, Николай Михалыч... ты с ней ближе. – Горчаков озадаченно наморщил лоб. – Аборт ей надо делать, совсем ведь у них все плохо...

– Вот и я не знаю... с двумя-то детьми...

Померанцев испуганно обернулся на вход. Дверь в сенях заскрипела, Николь обстукивала валенки, обметала голым березовым веничком, разговаривала негромко с Катей. Вошли. Щеки у мамыши красные. Катя закутана платком так, что одни темненькие глазки поблескивали.

– Здравствуйте, Георгий Николаевич, – Николь разматывала девочку, улыбаясь мужчинам.

– Дай-ка я! – Померанцев отнял у Николь Катю и поставил ее на табуретку. – Вы где так долго? Я уже старик, могу и не дожидаться, крикну от волнения где-нибудь в углу... Ты, Катерина Александровна, где была? – он напускал на себя строгость и целился седыми усами в живот девочки.

Катя закатывалась от смеха и хватала «деда» за усы.

– На концерт попали. Идем мимо клуба, а там – спектакль художественной самодеятельности, мы и зашли. Очень смешной, Катя так смеялась... – Николь развешивала вещи. – Ой, я вам бутылку купила – в сенях, в авоське! И хлеб там!

Сели обедать. Солнце опустилось к горизонту и теперь стояло против окна. Заливало комнату едва заметными красноватыми отблесками. Николь кормила Катю «специальными щами», которые «деда Коля» – Катя показывала на Померанцева – сварил для одной маленькой девочки – Катя тыкала пальчиком себе в грудь. Мужчины выпивали после работы на морозе.

– Какой же ты молодец, Николай Михалыч! – похваливал Горчаков. – Меня, хоть палкой бей, так не сварю! Мы раз с товарищем месяц делали круговой маршрут на Курейке, и так получилось, что я все время готовил. Так весь месяц и ели одно и то же – суп с тушенкой и макаронами! Утром, в обед, и вечером.

– Это меня Климов выучил, вот, я вам скажу, талантище природный! На все руки! И в механике, и зашить-починить! А с виду – такой... топором тесаный.

– Мне казалось, он крестьянин...

– Так и есть! По земле тоскует, бедолага, про свое хозяйство все рассказывает – до сих пор помнит, как какую корову звали. Вот скажи ты мне, за каким бесом они его здесь держат?

– Ты думаешь, они о нем думают? – Горчаков, закуривая, подсел к печке.

Солнце опускалось, в комнате темнело, Катя, нагулявшись, заснула, не доев щи. Николь налила в рюмку спирта, добавила ложку брусничного варенья и подсела с папиросой к мужчинам.

– Где сейчас наш Сан Саныч?

Это был ее любимый вопрос, когда у нее бывало настроение. Они начинали придумывать «хорошие условия» для Сан Саныча, «хороших» следователей или хороших товарищей в камерах. Все имели тюремный опыт, все прошли через следствие. В этот раз разговорился Горчаков:

– Меня ни разу не били на следствии, ни один следователь пальцем не тронул... Мне вообще очень везло в жизни.

Николь с Померанцевым улыбнулись.

– И как же они тебя на такие срока уговаривали? – беззубо ощерился Померанцев, наливая еще по рюмке. – Такого-то «везучего»?

– Да ничего особенного, сколько всем давали, столько и я получал... – Горчаков замолчал, покуривая задумчиво. – Вот загадка – почему при таких нелепых, неправдоподобных делах и приговорах они

соблюдают юридические формальности? Зачем им все эти суды? Прокуроры, надзирающие над следствием? Зачем они добиваются признания вины, если негласно могут делать с людьми все, что угодно?

– Ну как же?! Ложь не любит, когда она похожа на ложь, все должны верить в самое светлое и справедливое общество! – Николай Михайлович выбросил бычок в печку. – Пойдем-ка, Георгий Николаевич, перетаскаем чурбаки в сарай, не ровен час, приделают им ноги сознательные советские люди.

Поезд тянул небыстро, километров пятнадцать в час, а иногда и меньше, и все же это была железная дорога. С перестуком колес. Мимо проплывала тайга, местами неряшливо выпиленная, с неубранными деревьями, но, присыпанная снегом и с пушистыми шапками на ветвях, она все равно выглядела красиво. Весь состав состоял из трех вагонов-теплушек – в одном ехало начальство, в двух других – охрана и походная кухня. Теплушка для начальства была блатная, в ней были устроены не по северному большие окна и полумягкие сиденья, как в плацкарте. Лучшие места занимали три офицера – члены комиссии Главного управления лагерей и начальник Северного управления лагерей и Стройки-503 полковник Боровицкий. Горчаков устроился наискосок с противоположной стороны. Здесь тоже было большое окно.

Дорога была однопутная, тайга иногда подступала совсем близко, и ее можно было рассмотреть. Местами же поезд тянулся по снежной траншее – снег по бокам был выше вагонов. Мороз стоял за сорок, в вагоне все время подтапливали буржуйку и было жарко. Георгий Николаевич, разморенный приятным бездельем, задремывал под стук колес, просыпался, когда останавливались или ехали совсем медленно. И снова смотрел в окно.

Мосты проезжали осторожно, а через некоторые поезд проходил с пустыми вагонами. Выходили, закуривали, начальство по случаю «славного морозного утра» заряжалось коньячком на свежем воздухе, закусывали салцем и копченой колбаской. Горчаков не завидовал. Сегодня утром он тоже завтракал не баландой, а главное, в хорошей компании. У него на коленях Катька ела свою манную кашу. Георгий

Николаевич улыбался невольно, тоже закуривал и любовался той же, что и высокое начальство, заснеженной таежной речкой.

Переходили мост пешком, рассаживались и ехали дальше. У начальства в их «плацкарте» был накрыт стол. Разговор, подогретый коньяком, оживился и стал громче.

– Сугудаем! Сугудаем закусывайте, товарищ майор, – угощал начальник Стройки-503 полнотелого, с пухлыми губами и щеками веселого майора-экономиста. – В Москве такого не подадут! Этот омуль еще вчера в Енисее плавал!

– У меня к вам вопрос, товарищ Боровицкий! – проверяющий полковник, он был старшим, смотрел добродушно, но и чуть строго. – Километров тридцать уже проехали, и все тайгой. Ведь это же шпалы! А вы их заказываете и заказываете. Почему здесь не пилите?

– Здесь нет столько леса, товарищ полковник. Для магистральной железнодорожной линии из одной столетней сосны получается только две полномерные шпалы, а их на один километр пути надо 1600–1800 штук, это тысяча сосен. То есть для Строительства-503 надо спилить около миллиона деревьев! Здесь столько нет, а их еще креозотом пропитать надо – это целое производство. Везти экономически выгоднее, мы считали.

– Но я же вижу, что вы пилите! – кивнул полковник за окно.

– Конечно, параллельно железной дороге идут зимники для завозки грузов тракторами и машинами. На гати много леса уходит.

Горчаков следил за разговором. По холеному виду московского полковника ясно было, что его совершенно не интересуют все эти шпалы и пропитки. Ему хорошо было от коньяка, от солнечной погоды и неторопливо ползущей картины тайги за окном. Этот полковник три недели назад улетел из столицы в «трудную, далекую и опасную» командировку. И совсем не торопится обратно. Обхаживали и принимали в Ермаково по высшему разряду. Здесь, «у черта на рогах», было все, чего только могла пожелать командировочная душа.

– За два с половиной года построили больше ста километров, товарищ полковник, – рассказывал Боровицкий. – Мы сегодня доедем с вами почти до Янова Стана по этой дороге. Однако и проблем хватает. Вот мост проехали...

– Хороший мост! – со знанием дела похвалил полковник. – Я бы сказал – изящный!

– А ведь он временный! И стоит на объездном пути! На основном здесь нет ничего. У нас на сегодня почти все мосты деревянные, только под легкие паровозы, для нужд строительства.

– Сколько у вас постоянных мостов? – важно нахмурившись, спросил полковник.

– Полностью готовый один пока.

– Почему не строить сразу хорошие мосты? Средства есть! – спросил, улыбаясь, майор. – Пишите заявку, выделим еще!

– Все та же проблема – нет проектов, а без них кто возьмет на себя ответственность? Мы начали ставить бетонные опоры через несколько рек, а они и десяти-, и двенадцатиметровой высоты! Часть опор через год уже поплыли из-за мерзлоты! Изыскания нужны основательные, на это нужно время, а с нас спрашивают километры! Вот и гоним деревянные! Вы же и спрашиваете! За эти мосты уже кучу народу посадили!

– С нас тоже спрашивают, – майор перестал улыбаться. – Наш отдел не одну вашу стройку обсчитывает. Деревянные мосты дают высокие темпы строительства, мы понимаем!

– Я недавно своих экономистов спросил, сколько на нашем участке должно быть мостов, – полковник Боровицкий прикурил папиросу. – А они не знают. Почему? Все то же – окончательного проекта нет! В одном месте в районе Турухана был мостовой переход через овраг предусмотрен, а зэки его взяли и засыпали. Десятиметровой высоты насыпь получилась! Мы подсчитали – по деньгам дешевле, вроде лучше, а весной Турухан поднялся, и эта насыпь превратилась в плотину. Ее потом все лето ремонтировали – она теперь золотая. Весной железная дорога во многих местах километрами уходит под воду!

– И что с ней потом?

– Обслуживаем! Ремонтируем! Срываем сроки строительства! Хорошо, вдоль трассы лагеря уже стоят, можно заткнуть дыры людьми. Но это пока трасса сто километров! А когда она станет тысячу – кто будет обслуживать? Тут же совсем нет местного населения. Или лагеря здесь навсегда?

– Ну, дорогой товарищ полковник, это не нашего ума дело, надо будет, и останутся!

– Совершенно справедливо, – поддержал майор, – трасса Салехард – Игарка – самая дорогая стройка в нашей истории. Уже освоены колоссальные деньги – больше пяти миллиардов народных рублей! За эти деньги самое современное жилье для двух таких городов, как Красноярск, можно было построить! Два новых Красноярска! Это при том, что полстраны живут в бараках и сараях! Вы понимаете, как нам сейчас нужны эти деньги?!

Все не без удивления на него смотрели. Но он уверенно продолжил:

– Мы с вами не можем оценить значимость этого проекта! Только сам Сталин способен заглянуть так далеко и принять такое решение, и я уверен, через двадцать лет, через пятьдесят – это решение станет понятно всем. Наши потомки оценят все в полной мере. Нам же сегодня надо поменьше рассуждать и просто много работать! За Сталина!

Майор встал. Все поднялись, чокнулись с серьезными лицами. Может быть даже слишком серьезными. Горчаков улыбнулся про себя. Он бы выпил, конечно, под такую закуску и с таким видом за окном, но не с этими высокопоставленными шестерками. Боровицкого жалко было, нынешний начальник 503-й был неглупый мужик.

Поезд остановился. Впереди небольшая бригада женщин расчищала от снега и чинила просевшее полотно. Все были в обычных, тех же, что и у мужчин, черных ватных штанах, телогрейках и серых валенках. Большинство в шапках-ушанках и только одна – в белом вязаном пуховом платке и белых подшитых валенках. Это была красивая, лет тридцати женщина, такая красивая, что странно и встретить ее было здесь. Она была бригадиршей. Начальство спрыгивало с подножки в глубокий снег. Две женщины с лопатами, одна совсем пожилая, в матери годилась офицерам, подошли и стали чистить площадку.

Женщины на полотне торопились, подвживали просевшие шпалы вместе с рельсами, гроздьями висли на длинных и толстых вагах, рычагом приподнимая полотно. Другие бригадницы подсыпали песок, который тут же застывал комьями на морозе. Две пожилые тетки грели этот песок на костре в металлическом коробе. Чуть дальше несколько женщин забивали костыли в замороженные шпалы. Увидев высыпающее начальство, лагерницы начали охорашиваться, поднимали

ушанки, перевязывали сбившиеся платки. Вскоре и соленые шутки послышались. Мужчины, закуривая, подтягивались к работающим.

– Вот, Александр Петрович, это называется вага, – московский полковник показывал на шестиметровое бревно, которым бабы поднимали путь. Он обращался к лысому капитану, инспектирующему культурно-воспитательные части, на самом же деле говорил громко, чтобы слышали женщины. – А это – «мальчик»! – он указывал на чурбак, на который опиралась вага, превращаясь в мощный рычаг.

– Мальчики у мужиков в штанах! А это чурбан-чурбачок! – громко сострила одна из баб с прокуренным коричневым лицом. Женщины весело засмеялись.

– Здравствуйте, граждане женщины! Шутки шутим – настроение хорошее!

– Здравствуй, Воронина! – поздоровался полковник Боровицкий с красоткой-бригадиршей. Он знал почти всех своих начальников, включая бригадиров, по имени.

– Здравия желаем, гражданин начальник! – весело ответила Воронина. – Сейчас поедете, тут метров десять всего, думали успеем.

– Странно, такой мороз, а просело? – подошел с «умным» вопросом полковник. Он дымил вкусной московской папиросой и разглядывал Воронину с понятным интересом.

Да и другие краснощекие от коньяка проверяющие улыбались значительно и не отводили от нее глаз. «Красота – страшная сила!» – пробурчал кто-то из девчат, висящих на вагах. Остальные рассмеялись, кто-то и сорвался с ваги, полотно опустилось, и женщины, подсыпавшие и трамбовавшие песок, заматерились, не стесняясь начальства.

– Угостите папироской, гражданин начальник! – попросила Воронина, не обращаясь ни к кому конкретно, на всех поровну деля блестящий черный взгляд.

Офицеры потянулись за портсигарами, раскрыли. Настя снисходительно кокетничала, притворно удивлялась мужской щедрости, хотя не впервые это проделывала, и, «чтобы не обидеть!», по одной, по две папироски взяла у всех.

Напрасно золотопогонные жрали Настю Воронину глазами. Она была лагерной женой старшего нарядчика Михаила Вассорина. Это был крупный красивый блондин, фронтовик, человек абсолютного

авторитета. Горчаков видел, как Вассорин разводил на работы семитысячный пересыльный лагерь в Игарке – начало строя стояло у вахты, а конца его не было видно. Здесь нужны были не только мозги.

Никакой самый крутой начальник не смел дотронуться до Ворониной. Горчаков знал и Настю – время от времени она ложилась в больницу для вольных. «Припухала» на законных основаниях.

– Что же у вас женщины на тяжелых работах используются? – поинтересовался молчаливый лысый капитан.

На его глупый вопрос покосились, но вежливый Боровицкий ответил:

– Инструкции не запрещают использовать женщин на тех же работах, что и мужчин. Мы, конечно, стараемся, но где столько легких работ набрать?

– Что же, и норма выработки у них такая же?

– Такая же, и норма, и пайка. И у подростков те же самые нормы, мы выходили на руководство с просьбой не присылать в наши условия хотя бы осужденных подростков, но... – Боровицкий повернулся к закурившей и стоявшей чуть в стороне Ворониной: – Настя! У тебя в бригаде моложе восемнадцати много?

– Человек пять-шесть, я их ксивы не смотрела...

– А что, скидка им будет? – живо заинтересовалась одна из заключенных. – У нас Зойка Протасова... ей четырнадцать лет всего, гражданин начальник!

– Лучше бы старух отпустили, – раздался чей-то голос. – Твоя Зойка ложку мимо рта не носит, а старухи и такие есть.

– Ну, Зойка у нас по ночам и по три пайки зарабатывает!

Женщины закончили работу, одни закуривали и весело посматривали на начальство, другие устало собирали инструмент и, взвалив его на плечи, двигались по шпалам.

Продрогшие офицеры, от которых зависели работа, отдых и еда этих женщин, потирая руки, поднимались в теплушку. Горчаков докуривал, внезапно рядом с ним оказалась Воронина, незаметно сунула в руку бумажку:

– Лепила, – зашептала в ухо, – на Сорок пятом километре маляву передай в лазарет. Веселовой Любаше.

Горчаков кивнул и сунул записку в рукав полушубка. Он чувствовал ее теплое дыхание и грудь, навалившуюся на плечо. Даже

«лепила» произнесла не по-блатному, а как-то... как это может прошептать только очень красивая женщина. Тут Горчаков был согласен с начальничками.

62

Сан Саныч еле дошел до своей камеры. Лег на кровать. Как и обещал Антипин, его никто не поднял, и он лежал обессиленный, проваливался в сон, и тут же просыпался. Он очень устал за этот месяц, смертельно устал. Ему предложили выбор – оговорить товарищей, наврать на них и послать их в лагерь или отправить в лагерь любимую.

Половинка лезвия лежала в двух шагах. Помешать никто не мог. Он не торопился, понимая, что на это тоже нужны силы, но и не волновался... Просто надо было немного отдохнуть. Он забывался и видел в полусне, как из руки течет кровь, как заливает тельняшку, впитывается в грязный матрас... Он видел себя со стороны, осознанно переступающим черту, за которой уже ничего не исправить. Черта была здесь. В его камере.

Он сел в кровати, вспоминая, где лежало лезвие, трусливо дрогнуло сердце, но он быстро спустился на пол – Николь и Катю не тронут, я никого не предаю, их оставят в покое... Лезвие лежало на месте. Он выскреб его ногтями из щели, руки были беспокойны, оно выпало, он поднял и прислушался к коридору. Было тихо. Он стиснул челюсти, ему все-таки было очень плохо, руки не держали лезвие и сильно тряслись... и внутри все дрожало. Он переполз на коленях в угол, сунул руки между ног и нащупал мягкое запястье, сухожилия, какие-то тонкие кости... надо было резать здесь.

Он нагнул голову, увидел острие возле вздувшихся вен, и ему стало плохо, голова закружилась, он схватился за стену... Не надо ни о чем думать, просто одно движение – и не смотреть... лучше лечь, надо лечь и закрыть глаза... Он лег на кровать и сунул руки под себя. Захотелось в последний раз подумать о Николь. Тут же набухли слезы, но он нахмурился, взял Катю на руки, прижал крепко. Обнял Николь. Они ему не мешали. Он слышал, как бьются их сердца. Нащупал

лезвием запястье и совсем спокойно подумал: хорошо, что Катя и Николь будут рядом...

В коридоре загремело, в его двери громко оборачивался ключ. Сан Саныч дернулся, вздрогнул и сел, выронив лезвие, из верха правой ладони сильно потекла кровь. Он зажал кулак, высматривая на полу лезвие. Над ним стоял надзиратель:

– С вещами!

– Что? – Белов не узнавал своего голоса, и все смотрел на пол.

– Собирайся!

– Я?

– Матрас возьми. На выход!

Его привели в общую камеру. Она была большая со сводчатыми потолками и двухэтажными нарами. В центре длинный стол и лавки. Примолкли, когда завели Белова. Дверь сзади закрылась, Сан Саныч стоял у всех на обозрении и хмуро осматривался, куда положить матрас. Там, где он держал его рукой, из порезанной ладони напиталось крови. Хорошо, что матрас черный, подумал Сан Саныч, он был опустошен и спокоен до безразличия, как будто все, что хотел, уже сделал.

– Еще один фраерок! По какой статье плывешь, матрос? – с верхних нар прыгнул молодой парнишка. Бритый, в белой когда-то майке. – В картишки есть что проиграть? Тельничек поставишь?

С нар, откуда он прыгнул, с наглым любопытством смотрели на Белова еще несколько полубандитских рож. В Игарке таких хватало. Сан Саныч не обращал на него внимания, смотрел, куда лечь.

– Отстань от человека, – крепкий, тоже бритый дядька в очках сидел за столом и читал книжку. – Вон, занимай пока... – он кивнул Белову на пустые нары, ближние к двери.

Сан Саныч кивнул устало.

– Не хочет морячок у параша!

– Чистенький! Мамкины пирожки из жопы торчат! – заржали сверху.

Сан Саныч раскатал свой матрас кровью вниз и лег. Рядом спиной к нему лежал здоровый толстый мужик. Сан Саныч глянул на ладонь, текло меньше, он зажал рану другой рукой и уткнулся в подушку. Он только что мог закончить свою жизнь, но оказался здесь. Лезвие осталось в камере. Он никак не мог выйти из того состояния или не

хотел выходить. Решение, которое он сегодня принял, было правильным... Ему хотелось отступить назад и сделать все хорошо.

Сосед перевернулся и посмотрел на Белова. Это был Самсонов – начальник Игарского госрыбтреста, вор, Белов видел его у Квасова.

– Вы давно с воли? – Самсонов косился на Сан Саныча заплывшими от сна глазами.

– Давно, – сквозь зубы ответил Сан Саныч и закрыл глаза.

Он только что неловко резанул свою руку, а теперь лежал рядом с вором. В одной камере с ворами лежал... Его размышления прервал малолетка, что первый соскочил с нар. Подошел, вихляясь, открыл парашу и, не особо целясь, стал дуть в нее, запел на мотив популярной песни:

– Первым делом, первым делом на допросы. Ну а лагеря? А лагеря потом! Ты чего, какой главный? Тельняшку на что меняешь?

Сан Саныч молчал.

– Зря, на пересылке все равно разденут... – похихикивая, надел портки. – И прохоря у тебя добрячие, – парнишка рассмотрел беловские ботинки. – По этапу пойдешь, сразу их меняй, с ногами сымут!

Сан Саныч молчал.

– Ты что, в натуре, какой важный? Пятьдесят восьмая, что ли? Эй, Михайло, твоих мастей фраерок будет... – повернулся малолетка к лысому мужику, читавшему книгу.

Антипин его не вызывал. Словно забыл о своем предложении. Сан Саныч отсыпался, у него проходили синяки, и все время думал. Самоубийство стало возможным, и это его успокоило. Он словно нашел дверь, в которую всегда можно выйти даже отсюда. Иногда ему совершенно ясно было, что своим убийством он ничего бы не решил. Антипин объявил бы его врагом народа, испугавшимся ответственности, и посадил бы Николь... прошелся бы по команде «Полярного» и по пароходству. Они могли подделать его подпись и подписать любые протоколы. Но он все равно почему-то стал спокойнее.

Негодование и протест против несправедливого ареста прошли, закончились и надежды, что в его деле разберутся. Давили одиночество и страх за Николь, временами он подолгу «наблюдал»,

как его маленькая Катя живет в детском доме, – он видел этих грязных, сопливых и голодных ребятишек.

Рядом целыми днями громко храпел ворюга Самсонов. Блатные играли в самодельные карты, вспоминали веселые случаи из своей и чужой лагерной жизни. Лысый мужик – он оказался старостой камеры – читал книжки или разговаривал с двумя другими, явно не блатными арестантами в противоположном углу.

Антипин вызвал на третий день. Опять был корректен, извинился, что его долго не было.

– Тут ваших товарищей допрашивали, хотите почитать? – он достал из стола листы и положил перед Сан Санычем. – Это самый безобидный протокол, но и его показаний хватит лет на двадцать пять.

Это был протокол допроса Грача. Сан Саныч уткнулся с волнением, это было первое хоть что-то реальное, какой-то документ. Долго читал анкету Грача, потом начало протокола, где старика спрашивали, кем и когда он работал на «Полярном»...

– Вы пропускайте, – подсказал Антипин и перевернул пару страниц.

Сан Саныч снова вцепился глазами в текст.

ВОПРОС: Где и при каких обстоятельствах капитан судна Белов А. А. негативно отзывался о Советской власти и ее руководителях?

ОТВЕТ: Не помню такого.

ВОПРОС: Ранее вы показывали, что капитан Белов во время самовольного рейса к ссыльным матерно ругал местные органы власти и говорил, что их надо взорвать. С кем из ссыльных вел Белов такие разговоры? Перечислите имена! Это поможет вскрыть заговор.

ОТВЕТ: У нас на «Полярном» полкоманды ссыльные. Он со всеми разговаривал...

Белов поднял глаза на Антипина:

– Это какая-то чушь! – Сан Саныч нахмурился, всем видом показывая несерьезность допроса. – И почему все время Грач? Он из ума уже выжил, Квасов мне тоже донос Грача показывал, у вас что, других нет?

– Есть и другие, – Антипин перевернул еще страницу.

– Вот отсюда... – это место было отчеркнуто красным карандашом.

ВОПРОС: Осенью прошлого года вы написали заявление, что капитан Белов прятал на буксире «Полярный» триста килограммов взрывчатки. Расскажите, как взрывчатка могла попасть на «Полярный»? И для каких целей?

ОТВЕТ: Не знаю, для каких целей. Забыл.

ВОПРОС: Про взрывчатку на «Полярном» подтверждаете?

ОТВЕТ: Подтверждаю.

ВОПРОС: В вашем заявлении указано, что вы слышали разговор о намерении взорвать лесозавод в Игарке, выпускающий экспортный лес. Кто кроме капитана Белова участвовал в разговоре: механик Померанцев, матрос Климов, старший помощник Захаров? Повар Трофимова?

ОТВЕТ: Я не помню уже, давно было.

ВОПРОС: За дачу ложных показаний и отказ сотрудничать с органами вы будете привлечены к уголовной ответственности. Вы сами участвовали в разговорах о планируемых диверсиях? Это отражено в вашем заявлении и протоколе допроса осенью 1951 года.

ОТВЕТ: Участвовал.

ВОПРОС: Расскажите, кто с вами разговаривал про диверсии? Вы показывали, что капитан Белов планировал заложить взрывчатку на лесозаводе в Игарке. На каком? И с кем?

ОТВЕТ: Капитан Белов планировал заложить взрывчатку на первом лесозаводе, там, где поставили новое оборудование. Помогать ему должны были ссыльные кочегары Йонас и Повелас, фамилий их я не помню.

ВОПРОС: А старший помощник Захаров Сергей Фролыч?

ОТВЕТ: И старший помощник Захаров Сергей Фролыч.

ВОПРОС: Кто руководил всей организацией? Откуда поступали указания о диверсиях?

ОТВЕТ: От руководства Енисейского пароходства.

ВОПРОС: Отвечайте по существу! Кто именно?

ОТВЕТ: Начальник пароходства Макаров, капитан-наставник Мецайк, заместители начальника пароходства. Всех я не знаю.

ВОПРОС: Кто вербовал вас?

ОТВЕТ: Меня вербовал резидент американской и английской разведки белогвардеец Мецайк.

ВОПРОС: Откуда вы знаете, что капитан-наставник Мецайк является резидентом английской и американской разведок?

ОТВЕТ: Он сам мне говорил об этом, мы с ним выпивали, и он сказал, что состоит в отношениях с английской и американской разведками с 1924 года.

ВОПРОС: Какие задачи вам ставил?

ОТВЕТ: Я должен был распространять сведения, порочащие партию и правительство. Выяснить удобный момент для взрыва на лесозаводе, ремонтных мастерских в Подтесово и порту Игарка. Еще говорили про убийства партийного руководства Красноярского края.

ВОПРОС: Вы показали, что у Белова были знакомые в охране лесозавода, которые должны были пропустить людей с взрывчаткой?

Антипин забрал протокол, рассматривая Сан Саныча:

– Есть и другие, куда более интересные показания. Сотрудники лесозавода, заместители Макарова... Много. Это все тянет на очень большой срок!

Он все смотрел со значением.

– У вас пока еще есть выбор. Вот ваш протокол. Читайте спокойно, я вернусь через час.

Он положил перед Сан Санычем заполненный протокол допроса и вышел. Вместо него вошел надзиратель и сел у двери.

Сан Саныч стал читать. Перечитывал самые невероятные места. Свои ответы. Это было еще более чудовищно, чем протокол допроса Грача! А. А. Белов, отвечая на вопросы следователя Антипина, пересказывал выдуманные разговоры, в которых уважаемые честные люди выглядели как настоящие враги. Он читал бегло эту полную чушь и даже не запоминал. На последней странице стояло:

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны верно. И расшифровка подписи: Белов А. А.

Сан Саныч тупо сидел, уткнувшись взглядом в бумагу. Все это невозможно было себе вообразить, а он не только видел этот протокол своими глазами, ему предлагалось его подписать. Пришел Антипин. Довольный чем-то, улыбался.

– Подписали?

Сан Саныч покачал головой.

– У вас нет выбора, гражданин Белов. Или вы снова уважаемый человек и счастливый отец! Или я вам не завидую!

– Я не могу это подписать... – произнес Сан Саныч негромко. – Здесь много выдуманно.

Антипин посидел в недовольной задумчивости, положил перед ним карандаш:

– Исправьте, что считаете нужным...

– Это совершенно... здесь все неправда. Не было таких разговоров. Зачем это все?

– Понятно, наши с вами беседы прошли впустую. Вы не верите следствию и вашему следователю, не верите, что у нас есть неопровержимые доказательства широкой антисоветской организации на Енисее. – Антипин встал грозно над столом. – Мы целый год работали, собирали сведения, а вы решили, что лучше нас все знаете? Так?

Сан Саныч напряженно, но неуступчиво молчал.

– Скажите, Александр Александрович, а зачем Советской власти органы госбезопасности?

– Вы об этом меня спрашивали... – Сан Саныч обреченно опустил голову. Он уже не подыскивал слов, он не понимал, что происходит.

– Подписывайте, как есть! Поверьте нам, и обещаю, что через несколько дней будете у своей Николь, – Антипин деловито сел и, макнув ручку в чернильницу, подал Белову.

Сан Саныч смотрел себе под ноги мимо стола. Кто-то, какой-то маленький издерганный человечек подталкивал изнутри: «Подпиши, и все кончится! Подпиши!»

– Я не смогу это подписать, – он почти твердо посмотрел на следователя.

– Ну тогда я подписываю это! Моему терпению тоже есть пределы! – перед Антипиным лежал ордер на арест Николь.

– Зачем она вам? – у Сан Саныча сердце превращалось в кисель. – Судите меня!

– Все в строгом соответствии с законом, гражданин Белов, – Антипин макнул ручку и занес ее над бумагой. – Ваши родственники будут арестованы как члены семьи врага народа...

– Но они не члены моей семьи, мы не расписаны. А меня вы можете расстрелять, я согласен!

Антипин с усмешкой процитировал наизусть:

– «...привлечению к ответственности подлежат члены семей изменников родине, совместно с ними проживавшие или находившиеся на их иждивении к моменту совершения преступления». Нам несложно будет доказать, что Николь была в курсе всех ваших дел. Это десять лет лагеря.

Антипин нагло врал. Он цитировал документ, утративший силу, но это ему было совершенно неважно. Угроза ареста членов семьи действовала безотказно. Он пристально смотрел на Сан Саныча. Тот молчал.

– Понятно, – Антипин макнул ручку еще раз и, склонив голову, расписался. – Вы не хотите помочь следствию, мы не можем помочь вам. Увидитесь с ней на очной ставке.

Он аккуратно промокнул подпись пресс-папье и позвонил. Вошел сержант.

– Выезжайте завтра же и арестуйте! – он подал ордер.

В камере освободились места, Самсонов сдвинулся дальше, и теперь справа от Сан Саныча было пусто, слева же к параше время от времени подходили. Кто по-маленькому, кто зависал надолго. Сан Саныч не передвинулся, сидел мертвый, прислонившись к стене и уткнувшись в колени. Думать ни о чем не мог.

– Переезжай ко мне...

Белов открыл глаза, это был староста. В потертых и треснутых очках. Смотрел спокойно, как будто понимал, что творится в душе Сан Саныча.

– Первый раз в тюрьме? – староста уверенно, но деликатно вытащил из-под Белова подушку, и кивнул идти за собой.

Сан Саныч поднялся.

– Матрас возьми! – напомнил староста.

Они сели рядом.

– Ну, что у тебя?! – Сан Саныч только покачал головой. – Самое плохое расскажи... – настаивал староста, протирая очки. – Меня Михаил зовут, тебя Александр, ты капитан буксира. – Он глянул на лампочку сквозь очки и снова надел на нос. – Что? Родственников грозятся взять?

– Жену, – выдавил из себя Сан Саныч и встретил понимающий взгляд.

– Тише говори... – Михаил склонился к уху Белова. – В камере стукачи.

Сан Саныч заговорил полушепотом, иногда одними губами и глазами, и рассказал все.

– Ничего особенного, парень, – Михаил покосился на блатных, которые разорались между собой. – Бьют, правда, не всех, это тебе повезло... Жену могут взять, а могут и не тронуть, ты верь им поменьше. И уж точно забудь, что они тебя отпустят. Просто так отсюда не выходят. Про то, что многих уже арестовали, опять же могут врать, надо проверить, нет ли в тюрьме кого из флотских.

– Вы можете узнать?

– Третий раз здесь... – Михаил вставил половинку сигареты в самодельный мундштук.

– А за что?

– А тебя за что? – Михаил закурил.

Сан Саныч нахмурился недовольно, он только что все рассказал.

– Тут полкамеры таких, как ты. Вон директор завода с Дальнего Востока. Вся грудь в орденах. Обвиняют, что передал в Америку ценные сведения по оборудованию. А оборудование это было получено из Америки. Он сначала над ними смеялся, дураками и врагами обзывал, теперь уже не смеется – меньше двадцати ему не дадут. А тот парнишка, что к блатарям клеится, тот за дело – прямо как у Чехова, гайки с путей воровал и к неводу привязывал. А это сегодня тоже пятьдесят восьмая, пункт девять. Диверсант!

Сан Саныч слушал хмуро.

– Не верь им, парень, и правильно, что на групповое дело не подписываешься. Тебя они все равно запихают... Женат-то давно?

– Она не жена мне, не успели оформить...

– Так откажись! – удивился Михаил. – Знать ее не знаю, и ребенок не мой, алиментов платить не буду!

Сан Саныч с недоверием и даже со злостью посмотрел на старосту.

– Это мой ребенок!

– Очень хорошо, а им лепи – не знаю никого! – Михаил говорил очень спокойно. – Иначе за собой ее утянешь. Ну не дурак ли? Ты, когда со следователем говоришь, о правде забудь. Правда в этих кабинетах ни тебе, ни им не нужна.

Сан Саныч представил, что отказывается от Николь. Отвернулся недовольно, он не смог бы этого сделать. Михаил, однако, вызывал доверие, собственный тюремный опыт это подсказывал. Вздохнул и заговорил полусшепотом:

– А зачем им нужно, чтобы я этот протокол подписал? Сами бы поставили мою подпись! Вы же говорите, что и суд такой же?

– Не знаю, может, на людей хотят быть похожими... – усмехнулся горько Михаил.

– Прокурор может отменить приговор?

– Может. Но я про такие случаи не слышал.

– А если письмо написать в Верховный Совет, они же меня награждали?! Или Сталину?

– В лагере, парень, лучше в Бога верить, чем в Сталина, проку больше!

Сан Саныч полночи не спал, придумывал разговор с Антипиным. Он решил сознаться в каком-то недовольстве, которое мог слышать Грач. И подписать протокол.

Он ждал вызова утром, после обеда и даже ночью, но его не вызвали. На другой день передал через надзирателя просьбу о встрече со следователем... ничего не получилось. Так прошла неделя. Сан Саныч ждал самого страшного – очной ставки с Николь.

Минула еще неделя, была уже середина февраля, пошел четвертый месяц в тюрьме. Михаила и еще одного с «пятьдесят восьмой» судили и отправили на этап, ушла часть блатных. На их место приходили другие.

Испуг и растерянность прошли. Сан Саныч научился отличать «наседок», которых подсаживали в камеру время от времени, и увидел вокруг людей. Они были разные, попадались и воры, вроде Самсонова, и шпана, большинство же были обычными людьми. Не понимающими, за что их арестовали. Многие попали по доносам, за неосторожное слово.

Ленька-злоумышленник, тот, что отвинтил гайки на запасных путях, по которым никто не ездил, как и пророчил Михаил, получил двадцать лет лагерей. В диверсии обвинялся и директор завода. Коммунист с тридцатилетним стажем. Он сидел уже восемь месяцев, иногда к нему на очную ставку привозили людей с Дальнего Востока.

Он молчал по поводу своего ареста, но громко и вслух возмущался таким расточительством. Он стал старостой камеры, и Сан Саныч видел, что это и есть кристальной честности и большого государственного ума человек. Они подружились, разговаривали, обсуждали, отчего такое с ними случилось, судьбы других сидельцев. Директор в своем деле винил доносчиков, он их знал и тоже, как и Сан Саныч, считал Сталина великим, а путь страны трудным, но правильным.

Судьба Белова сделала резкий зигзаг в самом конце февраля, когда он уже перестал ждать вызова. Это был другой следователь и вопросы задавал совсем на другую тему. Дело капитана Белова переквалифицировали на бытовую статью – о чем ему сразу и сообщили. Сан Саныч не верил своим ушам. Несколько раз перечитал обвинение в превышении должностных полномочий и выполнении незаконного рейса. Все еще не веря в происходящее, Сан Саныч подписал бумагу. Максимум, что грозило – пять лет, объяснил лейтенант.

Сан Саныч не спал всю ночь, пытаясь понять, в чем здесь обман. Он, помня Михаила, да и собственное следствие, не верил новому следователю. Он не понимал, зачем его били, зачем составляли и требовали подписать те протоколы. Куда делось большое дело «Енисейского пароходства» и почему теперь все происходит так быстро...

На следующее утро его привезли в суд, а после обеда он уже сидел в огромном, прокуренном и страшно вонючем бараке Красноярской пересылки. Ему, как обыкновенному бытовому, дали четыре года. Сан Саныч не знал, радоваться или горевать. То есть он рад был, конечно, что легко отделался, как может быть рад осужденный, ни в чем не виноватый человек.

Сам суд был неприятный, в очень холодном помещении, судья, пожилая женщина в пуховом платке и с насморком, торопилась и отчитывала капитана Белова, как мелкого жулика. И все время тщательно сморкалась и рассматривала платок. Белов видел, что это для нее намного важнее, чем судьба енисейского капитана, которого она стыдила. Никто не вспомнил ни о наградах, ни о заслугах. Не было адвоката и никого из товарищей.

Пересыльный барак был такой длинный, что его конца не видно было. Вдоль стен двумя этажами тянулись сплошные нары. Ни матрасов, ни подушек. Как в трюмах «Ермачихи» и «Фатьянихи», только на баржах нары были трех-, а иногда и четырехэтажные. Или только трех-? Сан Саныч не помнил – когда он в них заглядывал, там не было людей. Здесь же они всюду копошились. Гул стоял, как в улье.

Он сел поближе к раскаленной печке, но его тут же согнал какой-то здоровый угрюмый мужик, это было его место. Сан Саныч прошел дальше. Блатные – их было видно сразу – занимали верхние нары, держались шайками, он старался не смотреть в их сторону. Внизу устраивались обычные осужденные, многие громко и зло ругались за место, призывая всех в свидетели свершающейся несправедливости. Но это были крики в пустоту – никто не обращал на них внимания. Каждому важен был его уголок, содержание его мешка, тепло и сухость его одежды.

Сан Саныч не успел найти себе место, прозвучала команда «Выходи строиться!». В бараке появились крепкие мужики с дубинками и цветистым матом. Всех вывели. Было уже темно, они стояли на морозе, в строю, под сильными лампами, какой-то офицер в белом полушубке отбирал себе плотников, шоферов, штукатуров... Не торопился.

Блатные блажили, орали «Не май месяц, начальник!». Народ стоял самый разный. Были и хорошо одетые, и в рабочей, изношенной одежде, большая же часть в черных лагерных бушлатах. Этих переводили из лагеря в лагерь, понимал Сан Саныч. У него очень мерзли ноги в ботинках. Снова запустили в барак, он не стал давиться, вошел с последними. Вблизи печек и на верхних нарах все было занято. Он дошел до конца, тут было очень холодно, хотел вернуться, но его окружила шайка малолеток. Один постарше и покрепче, приблизившись вплотную, спросил негромко:

– Колесами махнемся? Даю шикарные чеботья! – Сан Саныч почувствовал, как несколько рук внизу в темноте пытаются стянуть с него ботинки.

Он схватил за горло того, что спрашивал, сопляк был на полголовы ниже Сан Саныча, и тут же почувствовал острие на собственной шее, по проходу к ним двигался здоровый амбал и смотрел прямо в глаза Сан Саныча. Его усадили на нары и, держа

заточку у горла, разули. По шее текла кровь. Бросили в лицо какие-то тряпичные, ватные чуни с надорванной подошвой из резины. Он устало прислонился к столбу.

– Сан Саныч! – послышался осторожный голос.

Белов не поверил своим ушам, давно его так никто не называл, даже повернулся не сразу.

– Вано?! – выдохнул Сан Саныч.

Это был Габуня! Они схватили друг друга за руки.

– Не переживай, завтра схожу к землякам, достану тебе валенки.

– Ты как здесь? – спросил Белов.

– Мой дядя арестован, – шепнул Ваню в самое ухо, – тут не надо, чтобы знали, кто я... У тебя суд был? А что с зубами?

Белов коротко рассказал про арест и следствие и про неожиданный конец. Всего два дня назад он лежал на тюремных нарах с тяжелыми обвинениями по 58-й статье. Ваню слушал внимательно, переспрашивал. Барак затихал. Только блатные гоготали в нескольких местах да дневальный гремел кочергой.

– Начальника Красноярского управления МГБ сняли, чистят краевой аппарат, здесь комиссия работает... – Ваню говорил еле слышно. – Пойдем к печке.

У Ваню был солдатский вещмешок, одет он тоже был простенько, ничего не выдавало в нем офицера госбезопасности. Возле печки, сделанной из двухсотлитровой бочки, двое тощих заключенных варили что-то вонючее в консервных банках. Дневальный подошел с дровами, молча отогнал их пинками и стал закладывать поленья. Заключенные встали рядом. Ваню дождался, пока уйдет дневальный, достал из вещмешка полкирпича хлеба, отломил кусок и разделил меж фитилей:

– Идите туда! – показал на вторую печку ближе к выходу.

Те не сразу поняли, что произошло, но тут же начали есть, забрали свои банки и ушли.

– Абакумова и его заков еще летом сняли... – продолжил шепотом Габуня. – В Грузии сейчас большие аресты среди прокурорских и в партийном руководстве тоже. Мой дядя арестован. Тебе повезло, что комиссия приехала, поэтому и статью поменяли...

– Почему просто не отпустили, ясно же, что я не виноват?

– Скажи спасибо, всего четыре года дали... – Ваню достал папиросы. – Закуривай!

– Дай лучше хлеба, меня с утра не кормили, – попросил Сан Саныч.

– Чего молчишь? У меня и сало есть... – он полез в вещмешок.

– Откуда у тебя?

– Я вчера еще в тюрьме госбезопасности сидел. В отдельной камере, как белый человек.

– Я сначала тоже в отдельной! – обрадовался чему-то Сан Саныч, жадно откусывая хлеб.

– Ну... я там все-таки свой, знакомые нашлись. – Он нагнулся в самое ухо Сан Саныча: – У меня и деньги есть, оставлю тебе.

Огромный барак храпел на разные переливы и завыванья, а еще бормотал тревожно, кашлял во всех углах... а то вдруг начинали где-то материться, ругались и тут же затихали. Вонь стояла от курева, портянок, давно немывшихся людей, печки подванивали креозотом от дров из ворованных шпал.

– Тебя не из-за меня арестовали? – спросил Сан Саныч.

– Почему из-за тебя?

– Следователь сказал, большое дело ведет, по всему Енисею, много моих товарищей назвал, сказал, арестованы...

– Они всегда хотят большие дела вести... Мой дядя Гиви, родной брат моей мамы, в тридцать восьмом году «крупнейший заговор в Закавказье» вскрыл. Газеты писали, Сталину это дело очень понравилось, – Ваню говорил сбивчиво, задумывался, что-то его тяготило. – Берия дядю в Москву забрал. Многих тогда расстреляли, Сталин сам утверждал расстрельные списки.

– Ты думаешь, мое дело закрыто?

– Скорее всего... Иначе не выпустили бы...

– Выпустили... – мрачно повторил Белов. Он доел хлеб и взял папиросу. – Куда меня теперь?

– В лагерь, куда... – Ваню сказал это машинально, сам думал о чем-то, потом осмысленно посмотрел на Сан Саныча. – Да нет, скорее всего капитанить будешь! Приставят стрелка с ружьем и вперед. А то ты не знаешь таких?

– Знаю, – кивнул Белов. – А Николь?

– Не знаю, – Ваню задумался. – Могут и не тронуть, а может, уже и сюда привезли...

– Узнать не можешь?

Вано покачал головой. Сан Санычу казалось, что Вано не очень волнуется судьба Николь. Он вглядывался в лицо друга в темноте. Тот вздохнул горестно и достал новую папиросу. Но вдруг нагнулся к самому уху Белова:

– На пересылке будь осторожен. Один нигде не оставайся, если что, ори, беги...

– Почему? – не понял Сан Саныч.

– Убить могут. Ты орденоседец, они тебя били... что-то они быстро тебя отпустили.

– А кто может убить? Конвой?

– Зачем? Урки! За буханку хлеба зарежут!

Сан Саныч молчал, забыв о папиросе.

Вано посунулся к Белову и, неуклюже обняв, шепнул:

– Меня расстреляют, Сан Саныч.

– Что?!!

– Тщ-щ! Тихо! Я это знаю. Если там, наверху, замечают следы, то меня уже нет...

– Да почему же? Кто замечает?

– После училища я полгода работал у дяди личным помощником, он меня проверял. Я оказался негодным – не все понимал, во все верил и на фронт хотел. Потом только понял, какие дела шли через дядю Гиви. Я личные записки Сталина в руках держал, видел его не раз. Как я его любил тогда, он был для меня почти богом! Мне казалось, Сталин никогда не думает о себе, но только о людях. Потом в одной записке Сталин потребовал измордовать – так и написал карандашом! – одного арестованного. Этот арестованный был хорошим человеком, я его знал, я считал, что дядя должен пойти к Берии и объяснить, что это ошибка, – Сталин тоже лично знал того арестованного! Мы поссорились. Дядя не пошел, и того человека сначала избили, как написал Сталин, а потом по его же указанию расстреляли. Вскоре дядя отправил меня в Красноярск... – Вано замолчал, затягивался задумчиво папиросой, поднял глаза на Сан Саныча. – Сталин очень маленький человек, Саша, вот что я понял. Очень хитрый и очень мстительный. Убить для него – ничего не значит... вообще ничего! Он лично отправил на уничтожение тысячи людей... Сам...

– Откуда знаешь? – с недоверием спросил Сан Саныч.

– Саша, дорогой, я в руках держал списки арестованных, в которых он красным карандашом определял, кого убивать, а кого в лагерь. Мужчины, женщины, верные большевики-ленинцы – ему все равно было! Он уничтожал все, что угрожало его власти или выказывало хоть какое-то неуважение к его «гению»... – Ваню замолчал, докурил папиросу и бросил ее в печку. – Я думаю, он любил убивать, ему это нравилось – поставит черточку напротив фамилии, и человека нет! Только одну черточку!

Белов молчал.

– Дядя Гиви работал под прямым руководством Берии... Отдыхали они тоже вместе! Берия его обязательно расстреляет, ему не нужен такой свидетель... – Ваню помолчал. – Герту жалко, у нас весной третий должен родиться! Очень плакала! Старшему Шота – в честь Шота Руставели назвали – пять лет уже, потом Марта, так звали маму Герты, теперь, если мальчик, сказала, Ваню назовет...

Он замолчал надолго. Будто забыл про Сан Саныча. Потом нехотя очнулся и твердо посмотрел на Белова:

– Я вчера не спал, боялся, что зарежут... И под утро уже как будто Бог мне сказал: дети – это самое важное на свете! Благодаря им я навсегда останусь на земле! Мой отец, дед есть в этом мире через меня, и я пойду в будущее через моих детей! Это значит, что смерти нет! Мне стало очень спокойно, – Ваню улыбнулся – Я грузин, она – немка, странно, да? Встретились за Полярным кругом, и там родились наши дети! Старший по-грузински и по-немецки говорит, дочка тоже по-грузински понимает. Мы очень хорошо жили, Саша.

Они разговаривали и разговаривали. К подъему Сан Саныч начал зевать, а Ваню все говорил возбужденно... просил не бросать Герту с ребяташками. Задумывался надолго и потом снова говорил. Вспоминал Тбилиси, родных, как рвался в училище и на фронт, как пошел поперек дяди.

Утром, дневальные только начали поднимать народ, Ваню сходил куда-то и принес валенки.

– У меня земляк тут в придурках. Хороший человек, без денег помог. Не знает, кто я. Иначе можно было нож в кишки получить, – шептал в ухо Белову, примерявшему валенки.

Раздали пайки, сахар, у кого были кружки, могли попить кипятку. У многих не было ничего, спичечный коробок сахара сыпали в ладонь

или на хлеб.

Вывели на развод.

Вано выкликнули первым и увели в сторону вахты.

Сан Саныча забрали на этап. Их битком набили в пять воронок с надписями «Хлеб» и «Мясо», и повезли. Сан Санычу повезло, он оказался в середине фургона, радовался, будет тепло, все спасибо говорил Вану за теплые валенки. Сердце его замирало и отказывалось верить, что с его другом, самым жизнерадостным, бескорыстным и отзывчивым человеком, что-то случится. Тревога Вану передалась и ему, но после бессонной ночи и долгого разговора думать он уже не мог. Сидели очень тесно, Сан Саныч согрелся и быстро уснул.

Проснулся от холода, воронок подскакивал на ухабах, продувался и понизу, и по головам.

– Давно едем? – спросил соседа.

– Кто его знает? Часа три, а то и четыре... Я на часы последний раз семь лет назад смотрел.

Ушанка на мужике была завязана так плотно, что торчали одни усы. Пышные, будто чубом закрывали рот.

– А куда везут?

– Первый раз, что ли, браток? Они когда говорят? Верст сто пятьдесят уж отмахали, Сибирь большая, найдут теплое место...

– Горы были?

– Да нет вроде, ровно бежим.

– Тогда на север... а может и на восток.

– На север, похоже, солнце все справа от нас... У тебя махорочки не найдется, на закрутку?

Белов вспомнил, что Вану оставил папиросы и двести рублей. Достал пачку, вскрыл. Сосед с другой стороны зашептал:

– Не угостишь, парень, три дня не курил...

Сан Саныч начал вытрясать папиросу и ему, но усатый не дал. Рукой в меховой рукавице, накрыл папиросы:

– Убери, всех не накуришь! У этого шакала свои есть!

– Ты откуда знаешь? – зло зашипел обделенный.

– Знаю, коли говорю...

Усатый деловито достал спички. Закурили. Проснулся кто-то впереди. Закрутил головой, услышав дым.

– Братва, оставьте дернуть?

- Нельзя тебе! – благодушно балагурил усатый.
- Чегой-то?
- С новым кумом сегодня знакомиться будешь, вдруг он тебя поцеловать захочет за-ради знакомства?!
- Вокруг засмеялись, кто-то достал свое курево.
- Бывают такие кумовья! – раздался сипловатый ехидный голос. – На командировке «Таежная», в Богучанском районе, мне лично куманек любовь предлагал... в кудрявых кустиках!
- Чего же ты не дался?
- Да больно мало посулил! А у меня в деревне коза знакомая была! Лютая на любовь, скажу вам, братцы!
- Смеялись уже все.
- Вот и продал бы ее куму!
- Дак он не козу, он козла искал!
- Ха-ха-ха-ха! – веселился над похотливым кумом весь воронок.
- Э-эх! – усач рядом с Сан Санычем крикнул с досады. – В дурдоме и валенки ебут! Гогочите, гогочите, а кума вам не избежать. На что захочет, на то и натянет!
- Это точно, – охотно согласился сиплый. – Мы ребята тертые...
- Ты что же, без щубенок?^[138] – заботливо спросил усатый Белова. – Меня Гришкой зовут.
- Меня Сашкой, – улыбнулся Сан Саныч. – Нету ничего. Перчатки были, да куда-то делись.
- На-ко вот! – Гришка сунул руку в мешок и вытянул варежки из ватина, – отдашь, когда приедем. Срок-то большой, пятьдесят восьмая небось?
- Нет, четыре года... Я – капитан. С Енисея.
- Ну-ну, это тебе по благу дали. Зубья-то на допросе оставил?
- Ну. А что?
- Ничего, смешно говоришь.

К вечеру привезли в Подтесово. В поселке располагалась ремонтная база Енисейской флотилии, тут жили Грач, Фролыч, Егор...

Сан Саныч и обрадовался, и затосковал – его здесь знали, могли встретить в колонне заключенных.

Разгрузили у ворот лагеря. Построили под сильным светом прожекторов, народ мерз терпеливо и молча. Принимающие сверяли наличие людей с формулярами.

– С этапом идут только формуляры, – пояснил Гришка, – личные дела потом пересылают. Твое дело жиденькое будет – фамилия, имя, отчество, срок да статья. У других по несколько ходок, есть что записать. Вещи казенные в карточки проиграл или с бабешкой перепихнулся... все фиксируют! – Гришка весело прищурился, обозначая толщину своего дела. – Кое у кого красным перечеркнуто, значит, был побег, таких за зону уже не выпускают, в зоне работают.

Наконец начали пересчитывать пятерки и запускать в ворота. Их барак был ближний. «Разойдись!» – раздалась команда, и окоченевший народ кинулся к двери. Сан Саныч осторожно, не знал, можно ли ходить без строя по зоне, зашел за угол и достал папиросу.

Зона была ярко освещена фонарями и выглядела аккуратно, полтора десятка бараков стояли в три ряда, сильные лампочки качались над каждым входом. Вышки по углам. Вдоль высокой колючей проволоки ярко светили прожектора. Почти сразу за колючкой начинались улицы поселка. Там уже было не так светло, росли старые тополя. Белов всматривался в окна добротных двухэтажных домов, высчитывая, где жил Фролыч. В темноте было непонятно. Наконец сообразил и нашел окна своего старпома, сердце на секунду затрепетало, но рядом курили такие же, как он, серые и молчаливые тени, и острая тоска разлилась по душе. Папироса его погасла, он бросил, ее тут же кто-то поднял и стал раскуривать. Лицо осветилось спичкой, оно было обычное, только очень худое. Когда-то это был нормальный человек. Что будет со мной через четыре года? – со страхом вспыхнуло в мозгу Сан Саныча.

Опять все места в бараке были заняты, он прошел по проходу, везде лежали или сидели темные в полутьме нар люди. На черных матрасах и наволочках не разобрать было, есть там человек, нет ли, Сан Саныч совался, под рукой шевелилось или раздавался мат. Он опасался идти в конец барака.

– Санек! – Гришка варил что-то на печке. – Я тебе занял. Иди, чифирку хлебнем!

Гришка как раз высыпал пачку чая в закопченную консервную банку с проволочными ручками. Налил воды и поставил на раскаленную печку.

– Колымский чай по-нашему, – объяснял благодушно. – Сейчасверху поднимется, посмотреть, какой дурак его варит, сразу снимай! Это – первак-чифир! Второй раз заливаешь – это вторяк, потом – третяк... потом – все, нифеля^[139] доходяги сожрут. Угощай папироской!

На вкус чифирь был горький и напоминал какое-то сильное лекарство. Сердце вскоре застучало очень слышно, но Сан Саныч, обжигая руки и рот, пил и пил мелкими глотками. Так с колотящимся сердцем и лег на нары, закрывшись бушлатом. Гришка вызвался передать записку на волю, и от этой возможности накатила душная тоска – здесь, совсем рядом за забором жили и работали его товарищи, а он не имел к ним никакого отношения. Он не мог написать Николь, что он в лагере.

Утром Сан Саныч Белов стал настоящим эком. Ему выдали утреннюю пайку, две длиненькие пачки бийской махорки и спецодежду – брюки, спецовку, ватные брюки, телогрейку, бушлат. Все было черного цвета, ношеное, но крепкое. Свою одежду Сан Саныч увязал в узел, Гришка дал простыню и обещал раздобыть чемодан. Деньги Ваню заканчивались.

Дали время на маркировку и подгонку одежды. И тут помогал Гришка, вытравил хлоркой фамилию Сан Саныча на его новых вещах и пришил намордник к ушанке – толстую тряпочку с прорезями для глаз. Чтоб лицо не стыло на морозе. Сан Саныч безвольно наблюдал, как его новый товарищ ловко орудует иглой, сам думал о Николь, о Фролыче, представлял, как встречается с ними в этом наморднике.

После обеда построили перед бараком, пересчитали, вывели пятерками за ворота, опять пересчитали. Сержант – начальник конвоя зачитал утреннюю «молитву»:

«Внимание, бригада! Переходите в распоряжение конвоя! Все требования конвоя выполнять неукоснительно, шаг вправо, шаг влево – считается побег! Первая шеренга руки назад, остальные взяться под руки, шагом марш! В строю не разговаривать! Не отставать!»

Привели на расчистку снега. Это были какие-то склады, заметенные под крышу, мужики снимали бушлаты и привычно

разбирали лопаты из саней, Белов замешкался, увидев недалекий белый и чистенький Енисей. Здесь он был неширокий, санный путь лежал через...

– Что, глухой?! – пнул его конвоир-ефрейтор. – Костер зажег бегом!

Сан Саныч завертел головой, не понимая, чего от него хотят.

– Кому стоим?! Побежал за дровами! – другой стрелок, ровесник Сан Саныча, замахнулся прикладом. – Ты тоже! Быстро! – кивнул еще одному мужику.

Белов пошел за мужиком.

– Бегом, я сказал! – раздалось сзади, и мужик с Сан Санычем побежали.

Мужик матерился беззлобно, делал вид, что бежит, сам осматривался, свернул за склад, изучил стену и стал отдирать длинную доску. Белов обернулся удивленно – их никто не видел.

– Помогай давай, что смотришь?! – доска отдиралась со скрипом и треском.

– Зачем ломаешь? – не понимал Белов.

– Где я им дров найду? Тяни! Вишь, тут уже брали!

Оторвали несколько досок, изломали и понесли к конвоирам. Расчистили снег, зажгли, над досками заплясало пламя. Сан Саныч достал было папиросу, но на него так заорал ефрейтор, что Белов бегом побежал к саням.

Лопаты остались самые большие, с неровными ручками. Сан Саныч встал рядом с другими к сугробу... пальцы левой руки не держали, разжимались сами собой, и лопата со снегом выворачивалась. Сан Саныч снял телогрейку, ощупал руку – показалось, что левая рука тоньше правой. Снова взялся за лопату. Зачерпнул снег, но поднять не смог. Он сцепил зубы, подгребал, придерживая полумертвой рукой, и видел, что на него недобро косятся. Это была плохая работа, за счет других, ему, воспитанному в труде, было стыдно перед людьми, но и обидно до ярости – он ясно помнил, как гаденыш Козин раздавил эту руку каблуком.

Отвыкший от работы, он еле доплелся до столовой. Намордник не спас, одна щека была крепко прихвачена морозом, сначала он не чувствовал ее совсем, потом оттер, она начала отходить, на ней лопнула кожа и сочилась сукровицей. В его миске оказалось несколько

ложек жидкой кашицы, он сначала подумал, что кто-то недоел. Свою пайку хлеба с ложкой сахара он съел еще утром. Есть захотелось еще больше.

Гришка осмотрел больную руку, ощупал внимательно:

– Херово! – заключил. – Ни один лепила не освободит. Тут знаешь сколько таких больных... Что же, совсем не держит? – Гришка взял последнюю папиросу из пачки Сан Саныча. – Завтра в постоянные бригады будут разбирать... Ты чего-нибудь умеешь делать?

– Я... на реке все могу... – Сан Саныч смотрел затравленно.

– Ну-ну... Завтра будут спрашивать. Какая теперь река? Плохо дело, тебе бы с твоей рукой в придурки закосить, денег-то много осталось?

– Рублей двадцать...

Все его деньги и ушли Гришке, сегодня утром за старую простынь, куда завязали вещи, он взял семь рублей, три рубля за чифир, два за намордник. Цены Гришка назначал сам, по реакции соседей Сан Саныч понимал, что его обманывают, но был благодарен судьбе за этого Гришку.

– Китель и брюки можешь продать, или бригадиру отдай за хорошую должность. Без меня у тебя их все равно подрежут, – Гришка придирчиво пересматривал вещи.

У Сан Саныча половина поселка были знакомы, у любого он мог занять хоть пятьсот рублей, но он помалкивал. Ему казалось, что все это только дурная игра: переодевания в казенные вещи, негодная еда, глупые долгие пересчеты, формуляры, овчарки, конвой. То, что с ним происходило, было невозможной нелепостью. Его, умелого капитана и любящего отца, держали в этом странном месте, среди странных людей. Сан Саныч очнулся, присматриваясь. В бараке было темновато, эки привычно занимались вечерними делами: шили, играли в карты, варили что-то у печки, ругались или просто спали в одежде, укрывшись одеялами и бушлатами.

Ночью разразилась драка с ножами, визгами и криками. Человек десять металась друг за другом недалеко от входа. Падали лавки, тела, трещала одежда. Барак проснулся, загудел тревожно, Сан Саныч сел на нарах и вжался в холодную стену. «Убили! Убили!» – визжал кто-то, перекрикивая злобный мат дерущихся. Дверь распахнулась, и вскоре замелькали овчарки. Мужики в панике полезли на верхние нары, друг

на друга... Собак было много, с глухим рычанием они прыгали на длинный стол, оттуда на верхние нары и рвали, рвали, не разбирая. Они были в приспущенных намордниках. Орал уже весь барак – ближние молили о пощаде, кто был подальше страшно материли бойцов. Те, с автоматами, толпились у входа, готовые стрелять. Сан Саныч затаился ни жив ни мертв, рядом под бушлатом вперемешку с матом шептал молитвы Гришка.

Все длилось недолго – сначала с трудом забрали собак, потом стали выводить изорванных и изрезанных. Нескольких унесли. Сан Саныч не понимал, живы ли они. Надзиратели палками подняли ближайших ко входу и заставили мыть полы. Кровью пахло на весь барак.

Утром Сан Саныча, он так и не уснул, неожиданно вызвали с вещами к вахте и повезли на аэродром. Вскоре они уже летели. Их было четверо, все флотские. Один молоденький, лет семнадцати, боцман из Красноярска, и два капитана с Оби. Разговаривать не разрешали. Самолет держал курс на север, в Сан Саныче крепи непонятные надежды – его забрали из лагеря, и он летел в сторону Николь. Ему казалось, какие-то светлые силы сжалились над ним и несут его прямо к ней.

В Бору всех завели в холодную камеру, дали по буханке хлеба, сахар на два дня и кипяток в чайнике. Кружек ни у кого не было, хлеб запивали из носика.

Боцман и один из капитанов были осуждены за драки, оба на два года, другой капитан выпивал в рубке вместе с механиком и старпомом и на полном ходу снес буксиром деревянный мост. Рассказывал, гордясь, что все взял на себя, а буксир не пострадал совсем, «чуть нос погнули и мачты попадали». Дали ему три года.

– Был бы трезвый – диверсию приписали бы! – улыбался довольно капитан, насыпая казенную махорку в лоскуток бумаги. – А ты чего? – спросил у Белова.

Сан Саныч не знал, что сказать, не хотелось, чтобы его считали «бытовиком»:

– Ссылным пять туш оленей отдал... – ответил неожиданно для себя.

– И чего? – не понял капитан.

– Политику шили, да не вышло.

От холода никто не спал, утром их снова посадили в ледяной самолет. Трасса шла вдоль Енисея, Белов точно определял плесы и притоки... когда пролетали ермаковскую петлю, Сан Саныч уперся лбом, впился взглядом в протаявший иллюминатор, но поселка не разглядел.

Под низким небом полярной ночи пересыльный лагерь Игарки выглядел как бесконечный город, состоящий из одинаковых длинных бараков. Такими же неправдоподобными был и тысячный строй людей в свете прожекторов. Белов был одним из них, стоял на утреннем разводе... здесь, в Игарке, где он жил свободным человеком! Совсем недалеко стоял его «Полярный»!

Это была другая, темная сторона жизни. Вспоминались и вспоминались вышки и колючая проволока – они были везде! По всему Енисею! Он их видел и раньше. Теперь эта тьма взяла и его жизнь, и, может быть, жизнь Николь.

Обских капитанов оставили в Игарке, приписав на суда. Белов ждал вызова в отдел перевозок Стройки-503, где его знали, но его не вызывали. Не приписывали и к бригадам. Офицер, наблюдавший за работой нарядчика на разводе, на вопросы не отвечал.

Не приписанному к бригаде, ему не полагалась пайка, он пытался пристроиться к бригадам, когда те шли в столовую, но его гнали, и никому не было дела до того, что он голодный. Он поменял брюки на буханку хлеба и две папиросы. Съел меньше половины, остальной хлеб вместе с папиросами увели так ловко, что он ничего не заметил, в бараке было полно шпаны.

На третий день утром он не обнаружил своего узла с кителем и шинелью, которые собирался обменять. Прямо через проход его шинель мерил блатной по кличке Мордвин, небольшой, с наглыми глазками под низким лбом. Голодный Сан Саныча подскочил в дикой ярости и со всей дури врезал Мордвину в лицо. Тот от неожиданности ударился головой о нары и упал, Сан Саныч вытряхнул его из шинели и вернулся на свое место. Урки загудели, кто-то из больших воров громко заржал на верхних нарах – там всю ночь шло сражение в карты, и Мордвин был из проигравших. Малолетки, выкрикивая угрозы, окружили нары Сан Саныча, его трясло от возбуждения и страха. Завязывая, порвал простынь, и шинель вывалилась.

Бригады ушли на работы, он остался в бараке. Кроме дневальных и нескольких больных никого не было. Сан Саныч ждал расплаты и боялся выйти на улицу, представлял, как выходит в темноту и его режут в несколько ножей. Так весь день и просидел на нарах. К вечеру он отупел от голода и страха, он страшно жалел, что ударил. Придумывал, как отдать шинель Мордвину. Он не знал, где его найти.

Народ возвращался с работы. Многие видели, что произошло между фраером и уркой, – Мордвин не был авторитетом, и все понимали, что Белов был прав, но это ничего не значило. Никто не подошел, только старик-дневальный предупредил, что просто так это не кончится. При этом подловато улыбался, как будто ждал продолжения спектакля, и сунул большой заточенный гвоздь: «Жив останешься – тельняшку мне отдашь!» Малолетки останавливались, рассматривали Белова и ехидно подмигивали.

Сан Саныч ждал беды, спать не лег, сел у печки, приготовившись к новой драке. Ясно было, что небольшой и слабый Мордвин теперь будет не один. Заточка в карман не помещалась, он прятал ее в рукаве, щупал ее и думал, как будет зарезать человека. Временами его начинало трясти и казалось, трясутся все нары. Мордвин явился перед самым отбоем с двумя крепкими урками. Все были хорошо пьяные. Встал напротив Сан Саныча:

– Пойдем выйдем, фраерок!

Сан Саныч, холодея всем телом, встал и нашарил шапку. Целый день он думал об этой минуте и ничего не придумал, ноги не слушались. «Сейчас буду драться, могу убить его, но скорее они убьют меня. Я не хочу идти, а иду... Зачем? Мне нужна моя жизнь...» Малолетки стали прыгивать с нар.

– Ша! – шикнул на них Мордвин. – Сам все сделаю!

Они вышли. Урка направился за угол в темноту. Сан Саныч сунув руку в карман, хотел выхватить заточку, но руки так тряслись, что она, дзинькнув о стену барака, упала в снег.

– Перо? – неожиданно спокойно усмехнулся урка, доставая из кармана папиросы. – Я сегодня добрый, считай, повезло тебе, олень^[140]! Отыгрался я, спирту выпил, маруху^[141] оформил! Моя жизнь удалась сегодня, мужичок! А ты что? Срался сидел, покойник?

Сан Саныч молчал, у него отпускало, он видел, что Мордвин пьян и благодушен. Трусливая благодарность заговорила в сердце. Этот

Мордвин дарил ему жизнь.

– Дайте мне папиросу, – у Белова тряслись губы, – я отдам шинель, она мне не нужна, я просто есть хотел...

– О, бля! – удивился Мордвин, что-то соображая. Потом неторопливо достал папиросу и дал подкурить. – На мои нары положишь! И тельник тоже!

Он помолчал, неторопливо и многозначительно попыхивая папиросой, он был сильно ниже Белова. От уходящего страха, от голода и курева кружилась голова, Сан Саныч еле стоял.

– Ну иди! Не трону, – Мордвин усмехнулся. – За горсть махорки малолетки из тебя фарш сделали бы! Не залупайся, олень, понимай свое место! Иди в барак!

Сан Саныч не слышал издевательского тона Мордвина, в нем не осталось никаких сил. Он положил шинель и тельняшку, куда ему было указано, и лег спать. «Этим не кончится...» – шепнул сосед по нарам.

Утром его посадили в машину с десятком других зэков и опять повезли куда-то в полярную темень. Без тельняшки было холодно, а в голове все стоял случай с Мордвином. Он не понимал, почему блатные не напали сразу, не натравили малолеток, не устроили разбора... ничего не понятно было. Пытался вспомнить слова Горчакова об отношениях в лагере, но ничего не помнил. Здесь все было по-другому.

Была середина марта. Заключение Белов почти месяц работал на Великой Сталинской Магистрале. Одна из командировок Строительства-503, куда его привезли из Игарки, была небольшой, человек на двести пятьдесят. Еще с полсотни стрелков самообороны жили в такой же длинной, зарытой в снег палатке.

Вернувшись с работы и проглотив теплую, а иногда и холодную баланду, полуголодный валился на нары, как был – в фуфайке, валенках, пропитанных потом ватных штанах. Укрывался бушлатом с головой. Согреваясь и стараясь не думать о еде, он воображал что-нибудь далекое и счастливое – перегон судов в закрытом туманом море, праздничную Москву или непростую реку Турухан. Там хорошо работалось... он вспоминал все в мелких подробностях и так засыпал.

Называлась командировка «лагпункт или колонна номер восемнадцать», командовал ею старший сержант Фунтиков – Белову

все время казалось, что он где-то слышал эту фамилию, Фунтиков очень был на нее похож – невысокий, плотный и жирненький, с лоснящимся красным лицом, как фунтик сливочного масла. Сержант бывал в двух состояниях – либо пьяный и хвастливо говорливый, либо похмельный и злой.

Трезвого его боялись все, включая надзирателей. Заключенных он бил молча, без предупреждения и объяснений. На разводе, на вахте, в карьере. Казалось, он только для этого и приходил. Любил ударить неожиданно, среди мирного разговора или подкравшись. После такого удара не только хлюпкие малолетки, многие валились и вставали не сразу. Ударив, Фунтиков наблюдал и наслаждался эффектом и назидательно произносил что-нибудь про план или про дисциплину.

В карьере добывали песок. Техники не было, кирка мерзлый песок не брала и его можно было только рвать. Лагерники долбили ломами полутораметровые лунки, закладывали взрывчатку, а после взрыва ворочали и раскалывали, а иногда и снова взрывали отколотые глыбы. Часто попадались линзы вечной мерзлоты, состоящие из песчаного льда, в который была замурована речная галька. Это было хуже всего – мерзлота была крепче бетона.

Сан Саныч работал в бригаде из восьми человек, они били шурфы для взрывников. Бригадир и его помощник были блатные и не работали, сидели у костра, на котором грелись ломы. Три пары работяг загоняли эти раскаленные докрасна ломы в неодолимо-вязкий мерзлый грунт. Один держал щипцами, другой орудовал кувалдой. Ломы не лезли, закручивались винтом, их снова грели и снова загоняли.

Рука Сан Саныча слегка зажила, и работал он не хуже других – все были слабые и работали плохо. Карьер должны были закрыть еще в прошлом году, но почему-то не закрыли, а только забрали всю технику. Куски песка по двенадцать часов в день возили тачками и вручную грузили на машины. Бригады, несмотря на приписки, не вытягивали норму выработки и на тридцать процентов, поэтому пайка была минимальная – четыреста граммов хлеба.

Их он съедал утром с полупустой баландой, туда же, в воющий от голода желудок уходил и сахар с теплой, подкрашенной чем-то водой. Все это только усиливало голодную тоску, страшно хотелось курить, и он докурил бы любой бычок, если бы ему оставили, но ему не оставляли. Козьи ножки из махорки докуривались так, что в них не

оставалось ни табачинки, сигареты, у кого они были, зажимали меж двух спичек и высасывали, до волдырей обжигая губы.

Вместо баланды иногда давали половину селедки. Это было несравненно нажористее, это имело вкус, даже если и пованивало тухлятиной. Селедка ощутимо присутствовала на языке и зубах.

Белов окаменел, он жил уже не волей, не желаниями, но одним инстинктом. Он был животным, сохранявшим в себе жизнь. Временами, нечаянно вспоминая о Николь, он равнодушно и даже недовольно отворачивался от ее образа – возможно, это была уже не она, а просто какая-то женщина, он почти не понимал и не хотел вспоминать, кто такая Николь. Это были не мысли, это был какой-то шум из другого мира, и тот мир давно уже не вызывал ничего кроме зуда. Белов смирился с тем, что о нем забыли. От постоянных голода и холода – холод все-таки был хуже! – от безысходности он перестал думать. В том, что с ним происходило, не было никакого смысла.

Он как раз начинал новую ямку, первые сантиметров двадцать пять – тридцать можно было ковырять без лома, одной киркой. Он и махал ею, крошил, каждый удар откусывал пол спичечного коробка мороженого песчаного мяса, когда под клюв попадала галька, кирка вылетала из рук. Сан Саныч выгребал варежками мороженое крошево и снова брался за кирку. Ему вчера крупно повезло – на ужин досталась не задняя половина селедки, но с головой и в ней была икра, но главное – хлеборез, рубя рыбину пополам, промахнулся, и его часть оказалась намного больше. Сан Саныч хорошо это видел, даже рука повара дрогнула, когда взялась за его порцайку. Дрогнула, замерла на секунду, отрезать, но подала в окошко, в протянутую руку Сан Саныча. И по весу было понятно, что хлеборез здорово ошибся.

Селедка была жирная и непротушенная. Сан Саныч съел все, разгрыз и мелко изжевывал голову, долго гонял по жадному рту две горошины рыбьих зрачков. Все казалось, что они тоже растворятся и превратятся в пищу. Он махал и махал киркой, и ему представлялось, что вчерашняя селедка стала такой большой и тяжелой, что он с трудом держит ее в руках. Он кусал ее, отрывал сытные куски, чувствовал, как жир течет по щекам, и это уже была не селедка, а жирная нельма. А по лагерю гуляла верная параша, что теперь вместо селедки всегда будет нельма...

Он так размечтался, что не услышал, как подкрался сержант. Фунтиков был из крестьян и даже свою красную морду считал признаком здоровья и силы, он за что-то не любил белоручку капитана Белова. Утром он специально поставил Белова работать одного. Лом было некому держать, Сан Саныч за два часа – только-только стало светать – успел выдолбить всего одну лунку.

Начальник лагеря ударил кулаком по затылку склонившегося Сан Саныча. От неожиданности тот рухнул вперед на свою кирку. Выключился на минуту, но вскоре зашевелился.

– После работы в ШИЗО! В рот гребаный! – Фунтиков хмуро рассматривал елозившего по грязному снегу Сан Саныча. – На двести грамм! Десять суток с выводом на работу!

Сан Саныч стоял на коленях над выдолбленной дыркой, затылок наливался свинцом. Никаких чувств у Сан Саныча не было. Ни обиды, ни злости, Фунтиков уже не раз бил его, жалко было, что не дали доесть нельму.

64

Валентин Романов ходил в лес присмотреть пару елок на новые весла и совсем недалеко от дома углядел лося. Сохатый спокойно кормился в зарослях ольхи. Май был плохим временем для зверя, лось наверняка был тощий, но едоков в доме было много, и мясо следовало добывать. Валентин сходил за оружием, вернулся и теперь прикидывал, как лучше скрасть зверя.

С Енисея послышался звук копыт. Сквозь кусты мелькала серая лошадь с санями. Шульга, чёрта бы ему! – напрягся Романов, – зачастил, сука... Валентин проводил сани глазами и осторожно двинулся дальше.

Лось, кормясь, уходил от реки. Валентин, не торопясь, обходил зверя, который должен был пересечь небольшую открытую болотинку. Там можно было встретиться. А не получится, так его, сохатого, счастье – везет кому-то одному! Он остановился, послушал тишину тайги и, стараясь не греметь лыжами по насту, двинулся к намеченному месту. Вскоре увидел утренние следы зверя и встал рядом с ними под большой сосной.

Лось пока не проявил себя, но он был там, в этом небольшом острове ольховника. Надо было ждать. Валентин обтоптался, проверил ружье, присел на корточки и оперся спиной на сосну. Через полчаса у Романова затекла спина, он начал подмерзать, а зверь все не проявлялся. Валентин пожалел, что не взял с собой Азиза. Раньше мальчишка просился на охоту, теперь от Аси не отходит. Способный, на аккордеоне играет уже. Не просто так прилипли друг к другу. Ей сорок, ему – семнадцать. Несчастье прилепило, оба про горе знают, как людям не надо бы знать...

Лось негромким шумом обозначился в кустарниках, шел своим следом, кормился, задирая голову и объедая концы веток. До него было далековато, и Валентин опять задумался. Даже маленько ревновал, что Ася так часто с Азизом сидит, разговаривают о чем-то. Валентину тоже хотелось поговорить с интересной женщиной, ему было, что рассказать. Романов полез за папиросами, но вспомнил, где он... Редкая женщина, как на такое решилась... – Валентин аж крикнул от Асиной потери. Он не знал таких женщин. Вернее, точно знал, что ни Тоня, ни Анна не отважились бы ехать с ребятами. Эх-х, арифметика Господня... Как теперь Георгию покажется?

Он весь уже затек. И на корточках, и вставал осторожно, лось то исчезал, то показывался. Ночь короткая, не успел пожрать, теперь наверстывает, думал Валентин. Да и ни к чему тебе жрать-то... иди уже!

Валентин подумал это нечаянно и поразился – получалось, что он знает судьбу сохатого, а сам сохатый не знает! Ест спокойно. У людей то же – Господь знает, мы – нет! Знал бы мальчонка, сколько горя принесет матери, разве пошел бы ночью? Ой-ой-ой, – вздохнул. Сам Романов, когда собирался что-то опасное сделать, всегда крестился со словами «Помогай, Господи!». И бывали ситуации, когда язык не поворачивался сказать такое. Тогда он не делал этого опасного дела. Так Господь и берег его от безрассудства. Вот бы Севке так сказать было! Может, и не пошел бы? А может, и пошел, сам же ты нас, Господи, любопытными сделал.

Он вздрогнул, здоровый горбатый самец шел прямо на него, проваливался шумно сквозь толстый наст. Остановился. До него было метров тридцать. Валентин сидел на корточках, спиной к сосне, ружье стояло рядом. Они с сохатым глядели друг на друга. Охотник чуть

заволновался и уверенно поднялся во весь рост. Зверь вскинулся большой головой, прынул в сторону и заскакал по глубокому снегу. Валентин побежал к нему легонько, наст держал, зверь же проваливался почти по грудь, вскидывал острые копыта и двигался медленно, будто в снежной полынье барахтался. Валентин подошел шагов на десять, сохатый развернулся к нему мордой и замер. Раздался выстрел, зверь, битый в шею, заваливался, суча страшными копытами в разные стороны. Охотник подождал, пока сохатый затихнет, и перерезал глотку. Кровь хлынула темным ручьем.

Валентин закурил и стал обтаптывать снег вокруг добычи.

День непривычно быстро прибавлялся, было начало мая, солнце в четыре уже поднималось из тайги и голубило небо над белым еще, закованным в лед Енисеем. Анна с Валентином вставали следом за солнцем, вместе с ними и Ася. Азиз тоже был ранней пташкой, привычный к деревенскому укладу, вставал еще раньше и успевал наносить воды. У порога летней кухни, где спали Ася с Колей, всегда стояло ведро с чистой енисейской водой, льдинки плавали. Коля спал долго, а просыпаясь, читал лежа. Он прочел все, что было у Романовых, и теперь Валентин возил ему при случае книги из Ангутихи, из школьной библиотеки.

В это утро Ася с Азизом, как обычно, занимались аккордеоном. Чтобы никому не мешать, сидели у окна в просторной бане. Азиз окреп, волосы отросли, он выглядел симпатичным, стройным молодым парнишкой и был очень настойчив в занятиях. Сейчас он осваивал новые гаммы, какое-то место не давалось, он, нахмурившись, строго проигрывал и проигрывал его. Ася разглядывала его, улыбалась невольно. Черные с отблеском волосы, нос с горбинкой, глаза умные и строгие к себе. Тонкие, всегда стиснутые губы. Азиз был молчалив и даже когда оживлялся, смеялся одними глазами и уголками рта. Его отец был учителем, Ася представляла, что это сам Азиз учитель. Строгий и справедливый.

Он заметил ее улыбку, перестал играть и вдруг спросил:

– А почему твой Сева никогда не играл?

– У нас не было инструмента...

Азиз был единственный, с кем она говорила о Севе. И Анна, и Валентин были внимательны, но у них были свои заботы, дети, своя

непростая жизнь. Азиз же чувствовал ее горе, слушал очень внимательно, иногда рассказывал о своих. Он был очень стеснительный, но иногда вдруг брал и целовал ее руку. Он переживал ее потерю, она его.

Азиз был трепетно влюблен в свою учительницу. Тихо ревновал Колю, что он ее сын и может любить ее открыто. Он неожиданно отложил инструмент:

– У тебя с Севой нечаянно получилось – ни ты, ни он, никто не виноват! – Он замолчал надолго, поднял на нее гордый, полный тоски взгляд. – У меня только отец погиб как мужчина. На фронте. Мама, братья и дед никогда не делали ничего плохого! За что их замучили?! Нам говорили – за предательство, но в Чечне никогда не было немцев. Русские всегда врут!

Кто-то подъехал к дому, окриком остановил лошадь, та громко выдохнула и забренчала уздечкой. Ася настороженно прислушалась, Азиз словно не слышал, продолжал рассказывать:

– Солдаты окружили наше село, их было очень много, но они все равно ввали, что это военные учения. Все ввали! Ни один солдат не сказал, что нас увозят. Сталин так велел! Потом долго везли в Казахстан и опять ввали, что скоро приедем, что накормят, что будет врач... ввали, что они хоронят умерших... Они обманули меня и увезли от заболевшего деда. – Азиз заскрежетал зубами и схватил себя за горло. – Дед был уже совсем слабый, без руки...

Ася молчала.

– Я ненавижу всех русских, я хотел мстить... Потом русский меня спас. Почему так?

– Не надо мстить... не надо, на земле слишком много горя.

– Это мужское дело! – насупился Азиз. – Я за тебя тоже убить могу! Себя мне не жалко! – он не смутился своих слов, только щеки чуть потемнели.

Азиз был мужчина, Ася это видела. Он уже не первый раз так проговаривался и так краснел.

В сенях бани загремели и в низкую дверь заглянул Шульга:

– Здорово! – по чистой бане поплыли запах сивухи и вонь сырого овчинного полушубка. Пал Палыч был в настроении. – Не помешал? Выдь-ка вон, поговорить надо! – небрежно кивнул Азизу.

Ася видела, как вспыхнули глаза Азиза. Не проронив ни слова, он взял телогрейку и вышел. Этот Шульга был не просто подлец, он наслаждался, что может быть подлецом. После того как открылось, что Азиз беглый, он с ними не церемонился.

– За тобой приехал! – Шульга сел рядом с Асей, касаясь ее. – Собирайся, будешь в клубе музыку играть. Я тебе ставку выбил!

Ася попыталась отодвинуться, но он облапил ее за талию и ухватил за колено. Он давно уже приставал и пытался ее лапать, когда заставлял одну.

– Со мной будешь жить, – забасил в ухо, – соскучилась по мужику! Каждую ночь будем ребятишек с тобой строгать! Чего ты?! Жрчка – любая! Жить у меня будешь!

Ася отпихнула его руки, встала, растерянная. Шульга снял овчинный полушубок, вытащил бутылку из кармана.

– Бабу свою отправил в Туруханск, опять беременная, за тобой приехал! – Он отпил из горлышка, сморщился, занюхивая кулаком. – Выпей! – потребовал и придвинулся снова.

– Пал Палыч, – Ася осторожно отводила его руки, – я вам все объяснила, зачем вы...

Он встал, загораживая ей выход.

– Вот вы у меня где! – показал кулак. – Прямо здесь могу тебя разложить, никто не вякнет! Сядь! Сядь сюда!

Ася покорно села. Он положил руку ей на колено. Она терпела, чуть отвернувшись.

– Вот так! Плетью обуха не перешибешь! Все равно увезу тебя! Довольна будешь, от меня бабы на стенку лезут! – он повернул ее лицо на себя. – А не захочешь, сдам вас всех с потрохами! По закону! Как честный советский человек! – он ухмыльнулся и снова заглянул ей в глаза: – Хоть до лета поживи! Я свою бабу специально, из-за тебя отправил... – Шульга полез к ней под платье, Ася громко ойкнула и отскочила к двери.

Мимо окна мелькнул Романов, обстучал валенки о порог и вошел.

– Здорово, Шульга! – дружелюбно протянул руку.

– Здорово! – председатель смотрел с пьяным превосходством. – Выпей, Валька, с нами!

– О! Как раз будет! – Валентин только чуть зыркнул на Асю, он был чем-то необычно возбужден, возможно, слышал, как она

вскрикнула. – Ух-х! – Он хорошо отпил из бутылки. – Сохатого здорового завалил, уже разделал, помощи привезти, Пал Палыч... половину отдам!

– Ну-у?! Где же ты его?

– Да вон, сразу за протокой. На одних санях не увезу...

– Чего же ты чечена своего не возьмешь?

– Какой с него помощник?! Там мужик нужен!

Ася видела, что Валентин темнит. Никогда бы он не стал просить Шульгу. Но тот, крепко захмелевший, только улыбался. Асе подмигнул снисходительно. Мужики еще по разу приложились и допили бутылку. Вышли за ворота.

– Поехали! – скомандовал Шульга и, отвязав вожжи, завалился в свои сани.

Валентин вернулся ночью. Уставший так, что пошатывало, лицо серое и исцарапанное.

– Подрались? – испуганно спросила Анна, подавая полотенце.

Не ответил, умывался, тяжело сопя. Руки тер от лосиной крови.

– Позови Азиза и Асю.

Когда все сошлись, Валентин курил у порога, встал, все еще хмуро размышляя о чем-то:

– Не было его сегодня здесь! Николай его не видел?

– Нет, – качнула головой Ася.

Валентин кивнул, будто утверждался в каких-то своих мыслях. Потянул еще папиросу, играя желваками. Ни капли хмеля в глазах.

– Завтра поедем, отвезу тебя в зимовье, – заговорил, обращаясь к Азизу, – поживешь недели две... Искать его будут, к нам заявятся... собери все свое, чтоб ничего не осталось.

Ночью Анна не спала. Слышала, что Валя не спит. Взяла его за плечо и зашептала:

– У тебя лицо все... видно, что рукой исцарапано...

– Знаю. Отвезу Азиза на Гремячий, оттуда поеду в Туруханск, торопиться не буду, по дороге заживет. – Он помолчал. – Если придут с обыском, скажи третьего дня еще уехал.

Кто-то из детей завозился, заговорил во сне, Анна прислушалась, опять зашептала:

– Коня его куда дел?

– Отогнал к Горошихе, он к ним уйдет, пусть там ищут. Спи давай, – обнял и прижал к себе.

– Меня прямо трясет всю, Валя... Ты с Шульгой что сделал?

Он помолчал, раздумывая, выдохнул тяжело:

– К налимам его отправил, не надо тебе...

– Уй-й! – Анна перекрестилась, но рука тряслась и путалась.

– Ну-ну, – Валя прижал голову жены к подбородку, – заложил бы он! Прямо сказал, если Аська с ним не поедет, завтра тут комендант будет! Потешился бы, потом все равно сдал бы...

Он помолчал, неловко поглаживая голову жены. Выдохнул с тяжелым кряхтением.

– Не донесли... всем бы лагерь был, и тебе, и Асе, а так – я один пойду. Разодрались два пьяных – десятку, больше не дадут. А может, и пронесет.

– Ой, Валя... человек ведь... – она уткнулась ему в плечо, как будто не хотела, чтобы все это было правдой.

– Когда-то и был человек, да одна мразь осталась. Аська готова была пойти ради нас... – Валентин замолчал, кряхтел и вздыхал время от времени, Анна вытирала беззвучные слезы. – Не тужи, может, Господь сжалятся над нами наконец. Что мы ему плохого сделали?

– Кому?

– Да Богу нашему...

– Не грехи так говорить.

Замолчали. Ходики тикали на стенке. Валентин опять выдохнул тяжело и сел в кровати.

– Все равно не усну. Собери мне на неделю и Азизке. Муки да картошки... соль в зимовье есть, мяса возьмем. Когда рассветет, пройди, глянь все хорошо. Чтобы и следа парнишки не было. Асе не рассказывай лишнего, я и тебе не хотел говорить... Мой это грех, и точка! А с обыском придут – самогонки им ставь побольше, не стесняйся.

Собирался неторопливо, коня запряг, Анна зажгла лампу, мелькала в окнах. Около трех пошел в баню разбудить Азиза. Его не было. Матрас с одеялом скручены, как будто не ночевал. И не топлено было. Валентин достал папиросу, вышел, прислушиваясь к тишине двора. Корова выдохнула во сне, лайка, увидев хозяина, виновато застучала хвостом о стенку будки. Начинало светать. Валентин дошел до

туалета. Никого. Подумал с неприятностью – не с Асей ли где? – почему-то не хотелось этого. В летней кухне, и правда, слышно было какие-то шорохи. Валентин остановился в нерешительности. Ася, одетая в ватник и платок, вышла к Валентину.

– Азиза не видела?

– Нет.

– Не ночевал он... Ничего вчера не говорил?

– Нет... не помню... Сказал, что ты – настоящий мужчина, а он – нет!

– Вот сопляк! – Валентин бросил измятую и высыпавшуюся папиросу, достал другую, закурил. – Иди ложись, чего теперь.

– Валя, давай мы с Колей уйдем в Ермаково. У вас дети... давай так сделаем?! Мы здесь – одни проблемы.

– Какое Ермаково? – недовольно остановил ее Романов.

– Или в Ангутиху. Устроюсь работать... Даже не знаю, как благодарить тебя...

– Ты что говоришь такое?!

Анна вышла, кутаясь в платок.

– Если Азиз вернется... – начала говорить Ася, но Валентин перебил:

– Не вернется он. Не хотел нас подставлять, вот и ушел. Если его возьмут – не сознается, где был. Язык себе откусит, а не скажет, – Валентин повернулся и посмотрел в ту сторону, куда ушел мальчишка. – Эх, Азизка, Азизка, что же ты? – Он сдавил челюсти в досаде и стал выводить коня в ворота. – Поеду, может, увижу его где...

Анна шагнула к нему, прижалась к исцарапанному, пахнущему кровью лицу.

Ночь стояла черная, совсем другая, чем в низовьях. Теплая. С другими запахами. Сверчок пел за открытым окном. Чуть колыхалась ночным воздухом старенькая тюлевая занавеска. Был уже второй час ночи, Николь не спалось и очень хотелось выкурить папиросу. Курить, несмотря на большой восьмимесячный живот, она начала на этапе.

Из Ермаково ее увозил пассажирский теплоход «Иосиф Сталин», Николь стояла на палубе, сжав маленькую ручку Кати, вцепилась глазами в удаляющиеся улицы и пристань. Сердце останавливалось, прощалась с Сан Санычем. В трюме гудел женский этап, рядом конвоир дымил куревом. Николь спросила папиросу, но тот только чавокнул недовольно и не дал. Она купила пачку «Беломора» в буфете теплохода и с тех пор покуривала.

Николь осторожно поднялась, нащупала тапочки и, стараясь не разбудить чутко спящую старуху-хозяйку, вышла на крыльцо. Чиркнула спичкой. Тот, кто был в животе, брыкнулся, ему не нравилось, что она курит. Николь это знала.

Ее везли по этапу, ничего не объясняя, только бывший комендант Ермаково – они плыли вместе – шепнул, что она идет «по особому распоряжению». Что это значило, он не знал. Он попросил за нее, и Николь с Катей разместили не с уголовницами в трюме, а в каюте четвертого класса. Там тоже было тесно, но им досталась половина нижней полки, а из трюма доносился мат, крики, а иногда и звуки визгливого побоища, после которого снизу выводили не сильно трезвых баб с раскровяненными и опухшими от пьянства мордами. Конвойные и приносили им водку, женщинам всегда было, чем расплатиться.

Николь везла чемодан с вещами и тяжелый узел из простыни, который она надевала через голову. Она взяла зимнее и дорогие платья и кофты – подарки Сан Саныча – это могло продаться. Было полторы тысячи денег. Она разложила их в лифчик, в трусы под животом, а семьсот рублей, Померанцев, туго скатав, зашил в тряпичную Катину куклу. Все это было сделано в последнюю ночь в Ермаково. Так и не легли спать, чай пили, вспоминали «Полярный», Сан Саныча, команду. Померанцев проводил их в милицию, а потом на пристань.

Плыли больше недели. В Красноярск пришли ночью, загнали весь этап в какой-то барак, и там Николь обработали воровки. Навалились кучей и вытащили все деньги из трусов и лифчика. Платье порвали. Николь, опасаясь за Катю и за живот, не сопротивлялась. Порылись и в вещах, не оставив ничего шелкового, ни чулок, ни ночнушек.

На другой день с отдельным конвойным привезли в здание МГБ. Младший лейтенант, в кабинет которого ее завели, удивился на живот, а больше на Катю и сел писать бумаги. Они направлялись на

постоянное местопоселение в Минусинский район Красноярского края.

Николь подала свою потрепанную картонку удостоверения ссыльной, села напротив, осторожно придерживая живот. Катя тихо играла с куклой на стульях, что-то объясняла ей шепотом, потом уложила спать и сама, посматривая на строгого дяденьку, сняла сандалики и улеглась рядом. И уснула. Как будто что-то понимая, а может следом за притихшей матерью, девочка вела себя очень дисциплинированно. Хмурившийся по службе младший лейтенант помягчел.

– Сколько ей? Года два? – кивнул на девочку.

– Год и два месяца...

– Крупная. Моей два с половиной, – он поскреб редкие усики быстрым привычным движением. Как будто вычесывал из них блох.

Лейтенант был лопухий, круглолицый, с редкими льняными волосами. Вид у него был не злой, но слегка глуповатый, такой же и почерк, мелкий и не очень разборчивый. Шаблон документа был отпечатан в типографии, он только заполнял пробелы. Николь молча следила за поскрипывающим и цепляющимся за бумагу пером.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (о приеме под надзор и направлении к месту поселения)

Я, *оперуполномоченный*, – вписал лейтенант, – 3 Отделения 9 Отдела Управления МГБ по Красноярскому краю *л-т Носов*, рассмотрев материалы на *ссылно-поселенку Николь Вернье, 1925* года рождения.

НАШЕЛ: *Вернье Н.* на основании наряда отдела «А» МГБ СССР этапирована из *пос. Ермаково Игарского р-на Красноярского края.*

Руководствуясь Директивой МГБ СССР № 27 от 25 апреля 1951 года,

ПОСТАНОВИЛ: *Николь Вернье* направить на поселение в Минусинский р-н Красноярского края, под надзор местного органа МГБ.

Оперуполномоченный 3 Отделения 9 Отдела УМГБ по Красноярскому краю *Л-т Носов*

СОГЛАСНЫ: Начальник 3 Отделения 9 Отдела УМГБ по Красноярскому краю *П-к Филимонов*

Замначальника 9 Отдела УМГБ по Красноярскому краю *К-н Шилин*

В верхнем углу документ был утвержден росписью Начальника Управления МГБ по Красноярскому краю. Полковником. Подписи везде уже стояли. Получалось, четыре офицера госбезопасности занимались ее судьбой. Лейтенант расписался и с интересом посмотрел на Николь. У человека явно было хорошее настроение:

– Не пойму, что за фамилия – латышка?

– Латышка.

– Ну-ну, Николь, как Николай, получается.

Николь кивнула, подумав, что вот такой же грамотей-писарь сделал когда-то ее латышкой. Сейчас, правда, ей это было на руку.

– Каких фамилий только нет. Кабыздохова вчера оформлял, знаете, собак так зовут: эй, Кабыздох! А тут человек! А перед Новым годом у меня целая итальянка была... – лейтенант опять поскреб усы, – забыл фамилию. – Он глянул на дверь и, склонившись ближе к Николь, зашептал: – У нее место рождения – Рим! Вот бы посмотреть! Я в Берлине был и в Варшаве... да там одни камни остались.

– Вы воевали? – спросила Николь, уважительно улыбаясь. Лейтенант выглядел молодо.

– Два года, – он покосился на наградные планки на гимнастерке, потом на Николь, добавил совсем благодушно: – Могу «обязательство» и «расписку» с вас взять.

– Я давала и то и другое...

– Надо новые, расписка у вас устаревшая, теперь за побег с места поселения двадцать лет дают. Давайте, чтоб вам с ребенком в комендатурах не мучиться. У нас все отпечатано, только вписывай!

Он положил бланк и обмакнул ручку в чернильницу. Кажется, лейтенант любил писать.

РАСПИСКА № 26730

Мне, *Николь Вернье*, 1925 года рождения, объявлено, что я выслана в ссылку в Красноярский край и место поселения мне определено с. *Лугавское Минусинского района*

Откуда выезжать без разрешения органов МГБ не имею права.

Я предупреждена, что за побег с места постоянного поселения буду привлечена к уголовной ответственности по Указу Президиума

Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года. Мера наказания за это преступление предусмотрена ~~20 лет каторжных работ~~.

25 июня 1952 года. Расписку отобрал мл. л-т Носов.

Николь расписалась.

– А можно прочитать весь указ?

– Можно. Многие просят. – Лейтенант порылся в бумагах и достал замызганный листок.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР № 123/12...

«Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны»

В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено ~~навечно, без права возврата их к прежним местам жительства~~.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ.

Дела в отношении побегов выселенцев рассматриваются в Особом совещании при Министерстве внутренних дел СССР.

Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства, и лиц, оказывающих им помощь в устройстве их в местах прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности. Определить меру наказания за эти преступления – лишение свободы на срок в 5 лет».

– А Катя? На нее нет никаких бумаг? – Николь отдала Указ.

– На нее нет. Отец-то у нее вольный? – лейтенант аккуратно промокнул бланки пресс-папье.

– Я не знаю...

– Что, отца не знаешь?

– Я не знаю, где он сейчас.

– Бросил вас?

– Может, и бросил, – пожала плечами Николь.

– Я бы таких, кто бросает, сажал бы! – лейтенант недовольно, со значением потеревил усы. Он, кажется, и вправду был добрый. – А этот, – строго кивнул на живот, – тоже его работа?

Николь чуть не рассмеялась, опустила голову и кивнула.

– Если хочешь добираться сама, я выпишу направление и маршрутный лист, но лучше по этапу. Туда почти пятьсот верст, билетов на пароход не достать... да и денег стоит.

– А где нам ждать этого этапа?

– В тюрьме, – лейтенант развел руки. – Где еще?

– Не хочу на этап, – решительно нахмурилась Николь. – У меня девочка, зачем ей это? Мне сказали, что я на особом учете. Что это значит, товарищ лейтенант?

– Гражданин! – по привычке поправил ее лейтенант, складывая бумаги в личное дело. – Для вас ничего не значит, это наши внутренние инструкции. Отмечаться в комендатуре будете раз в неделю, вот и все! Точно сами поедете? А билеты?

– А вы нам не поможете? Сделайте доброе дело, гражданин лейтенант!

– Билеты за свой счет! – удивился он ее просьбе.

– У меня есть деньги. – Николь жалостно смотрела на младшего лейтенанта. Она видела свое лицо в зеркало. Распухшее после почти двухнедельного этапа, некрасивое лицо бабы на сносях...

Лейтенант задумался, дверь в кабинет приоткрылась, в нее заглянул военный:

– Носов, мы в столовую! Догоняй! – и дверь закрылась.

– Попробую купить, тут рядом. Вам какой класс? Четвертый?

– Четвертый, но можно и на палубу... вам деньги дать? – Николь с ужасом думала, как у него на глазах будет распарывать Катину куклу.

– Потом отдашь, у нас зарплаты – вам не чета! – он подошел к спящей Кате. – Разбудить придется, в кабинете нельзя. В коридоре ждите.

Они просидели в коридоре до отхода парохода. Лейтенант выписал нужные бумаги и сам повел их на речной вокзал. Когда свернули в улицу и здание МГБ скрылось из виду, взял у Николь чемодан. Рассказывал, улыбаясь:

– Я два года на фронте, в артиллерии. После победы год дослуживал в Германии, а когда демобилизовался, по комсомольской линии предложили в погранучилище. Тут такие зарплаты... комнату сразу дали, ясли – пожалуйста. Чего бы я на заводе слесарем получал?! А здесь я в отделе спецпоселений, работа непыльная. Утром пришел, вечером ушел. В выходной – на рыбалку! Завтра едем с ребятами, сейчас тебя отведу, пойду червяков копать.

Николь с удивлением слушала, поддакивала. Через руки этого рыбака прошли сотни ссыльных судеб. Они с Катей еле успевали за неторопливо шагающим лейтенантом.

– Мама, мама! – Катя тянула вверх ручки.

– Потерпи, милая, скоро придем.

– Давайте, я возьму... иди-иди, – лейтенант ловко подцепил Катю на локоть и та, улыбаясь, обхватила его за шею. – У меня такая же, Анечка, зовут. А тебя как зовут?

– Катя! – бойко ответила Катя.

Николь, растерянная и благодарная, тащилась сзади с животом и узлом на плече.

У причала речного вокзала, боком один к другому, стояли несколько красавцев-кораблей.

– Вам скоро рожать? – спросил вдруг лейтенант.

– Через месяц, должно быть...

– Я и вижу, вам декретный отпуск положен! Как приедете, сразу коменданту заявите. Да идите в больницу, пусть справку дадут, наши бюрократы без бумажек ничего делать не будут.

Лейтенант показал удостоверение, зашел с ними на корабль и посадил их на место. Строго осмотрев попутчиков, откланялся. Николь пошла его проводить, еще раз предложила деньги, она успела их достать, но он великодушно отказался.

– Скажите, вы с нами так возитесь, потому что я на особом учете? – она удержала его за локоть, когда они оказались на палубе.

– Да нет, – засмутился лейтенант, – чего же не помочь женщине с ребенком?! С ребятами... – поправился он шутливо и еще больше

засмутился. – Обращайтесь, если что.

– А вы не могли бы узнать, что с моим мужем? Он капитан парохода «Полярный»...

– А что с ним? – с простецкой важностью спросил лейтенант.

– Его арестовали органы в Ермаково в ноябре прошлого года, и с тех пор ничего...

Важность быстро сошла с лица лейтенанта, он уставился на Николь, потом нахмурился:

– Тут – не могу. Это совсем другой отдел! – он говорил очень тихо, еще раз глянул на людей, таскающих сумки, и не кивнув, пошел на берег.

Николь смотрела ему вслед. Лейтенант был хороший человек, не надо было его спрашивать. Даже поблагодарить не успела.

Так она оказалась на самом юге Красноярского края в селе Лугавском. Зарегистрировалась в комендатуре, сняла угол на улице Красных партизан. Село было большое, с садами, на задах дома, сразу за огородом протекала по мелким пескам речка Лугавка, за ней были видны острова и протоки Енисея. Они с Катей ходили купаться каждый день. Фрукты и овощи стоили копейки в сравнении с Ермаково, деньги пока были, и Николь, очень уставшая за дорогу, отдыхала. В больницу не ходила, справку не взяла, живот уже был такой огромный, что ни в каких справках не нуждался.

Николь курила на ночном крыльце, прислушивалась к бреху собак, здесь их голоса звучали иначе, чем в Ермаково. Тут вообще было намного тише, воздух, особенно по ночам пах чем-то сладким и степным, Николь казалось, что дынями и арбузами, здесь их тоже выращивали. Мысли ее летели куда-то далеко в ночь, где был сейчас Сан Саныч. Если бы можно было достать его этими мыслями и вызвать сюда. Ничего лучше и не надо было бы. Помогали бы бабке ухаживать за ее большим огородом. И тихо жили бы.

Ермаково, с его вечными снегами и темными колоннами зэков, откуда их обоих увезли этапами, казалось местом, где не может быть жизни.

Погасила папиросу. Луна уходила за Енисей. За черный силуэт горы.

Утром ее разбудил комендант Григорий Емельяныч. Он был одноногий, с костылем подмышкой и простой, как бутылка вниз

горлом, деревянной культей от колена. Ногу он потерял не на фронте, а еще до войны – замерз по пьяному делу и обморозился. Емельяныч был бобылем, всегда ходил в форменной соленой от пота гимнастерке с кривыми сержантскими погонами, засаленной фуражке и с запахом самогона изо рта. Внешне он никогда не выглядел пьяным, но только как будто сонным.

– Ты, девка, выходи на работу! Тебе положено в трехдневный срок выйти! – комендант уселся, громыхнув культей об пол, и стал закуривать. – Я начальству в Минусинск звонил, сказал, что ты брюхатая. Говорят, если не работает, декрет не положен. Кто, мол, ей платить будет? Пусть, говорят, поработает... – он пустил дым в потолок. – Иначе будешь тунеядкой, дело подсудное. Правильно, Матвевна? Налей-ка похмелиться!

Хозяйка занесла ведро с водой, поставила на лавку и, ничего не ответив, вышла. Загремела чем-то в сених.

– Спать любишь? – ухмыльнулся вдруг комендант на заспанную Николь, которая сидела, прикрывшись одеялом. – Приходи вечером ко мне, погуляем!

– Иди-ка отседа, кобель одноногий! – прикрикнула хозяйка. – Иль у ей пуза не видишь!

– А я чего?! Все по-честному! Может, она арбуз проглотила? – захихикал комендант в сторону сеней. – Ладно, шутю! Я договорился в совхозе, возьмут тебя, бутылку мне поставишь! Начальство на картофельных полях сейчас, вот и ступай...

Пока Николь с Катей дошли, было уже полдевятого. Бригадирша, крупная женщина из раскулаченных, оглядела недовольно новых работничков, выдала мотыгу и показала два ряда картошки. Сама смотрела, как Николь будет работать с таким животом.

Солнце жарило изрядно. Николь повязала белый платочек Кате, потом себе. Картошка начала уже цвести фиолетовыми с желтеньким цветочками, Катя смекнула это дело и, радостно блестя глазками, вошла в грядки. Кусты были высокие, когда девочка присаживалась, ее совсем не было видно. Ровные картофельные ряды уходили за горизонт. Николь взяла Катю за руку и решительно направилась к бригадирше:

– Вы извините, я не смогу, я на восьмом месяце... Нет ли другой работы?

– Откуда ты? – подошла женщина с сильным латышским акцентом.

– Я ссыльная, из Риги.

– Dzīvoja tur?^[142]

– Nē, – ответила Николь, и добавила: – Es nerunāju latviski^[143].

– Начинай, сколько сможешь, потом в тенек, вон, садись, – распорядилась бригадирша. – Директора увидишь, он на рыжей кобыле будет, берись за мотыгу. Рабочий день я тебе закрою.

Николь прошла три десятка кустов, обернулась на свою работу, получалось неплохо, опыт с картошкой у нее был немалый, но живот очень мешал, она все время задевала его локтями. Пот градом катил по лицу и спине. Она снова нагнулась над грядкой, цепляла сорняки вместе с землей, окучивала, не делая лишних движений. Поглядывала на Катю, торчащую из ботвы. Улыбнулась. В прошлый раз она работала так на Оби, было холодно, лили дожди и у нее не было Кати.

Очнулась Николь от того, что ее тормозили. Она лежала на земле, возле хлопотали все та же бригадирша и латышка, имен которых она не знала. Бригадирша мочила ей лицо из чайника:

– Очнись-ка, родимая!

– Ее надо в больницу! – настаивала латышка. – Какое издевательство, она же может родить!

Николь попыталась встать.

– Сиди-сиди пока, – удержала ее бригадирша. – От приперло тебе детишек рожать! – Она осматривалась широко по полям, выглядывая кого-то. – И мужика у тебя нет?

– Мне уже лучше, я встану. – Женщины поддержали ее под руки. – У меня есть муж, его арестовали... а я ссыльная.

– Тут все ссыльные, давай-ка в тень, посиди там. Появится директор, скажи отдыхаешь, шел бы он его кобылев трещину... – Бригадирша отвернулась и, добавив еще чего-то матерного, грузной, мужицкой походкой пошла с поля.

Вечером к Николь пришла латышка, ее звали Мария, и еще две девушки помоложе. Познакомились, рассказали о селе. Местные в основном были высланными кулаками, они жили здесь давно, выращивали овощи на продажу, держали скот и лошадей. Другие полсела были ссыльными времен войны и после, платили им меньше,

чем местным, и все равно жить здесь было намного легче, чем на северах...

Девушки расспрашивали о Ермаково, находили общих знакомых – Мария работала на рыбных промыслах в низовьях. Мир ссыльных был тесен. Даже на сибирских просторах.

Латышки не знали, что и посоветовать Николь. «Надо работать, – сочувственно размышляла Мария, – не будет денег на жилье, придется перебираться в общий барак для ссыльных. Там черно от клопов и нет электричества, а зимой очень холодно...»

Когда женщины ушли, Николь достала бумагу и села за письма. Долго сидела без движения. Работать с двумя детьми она не могла, помочь ей было некому. Померанцев уехал на «Полярный», и ее письмо его не нашло бы, писать в Дорофеевский не захотела – денег там ни у кого не было, как и здесь.

В Ермаково было много знакомых, которые получали огромные зарплаты в полторы и даже две тысячи рублей, а ей нужно было всего сто рублей в месяц. На хлеб и квартиру. Она перебирала имена, но так и не отважилась написать. Это было стыдно, у людей были свои проблемы. Николь еще и еще раз представляла свою жизнь здесь и вдруг успокоилась. Она поняла, что на хлеб и молоко все равно заработает...

Ее мысли привычно переключились на Сан Саныча. Только бы он нашелся. Она не видела его семь с половиной месяцев. Это могло значить, что его осудили по «пятьдесят восьмой» без права переписки. Ему было намного тяжелее. Он был один и в лагере, а у нее были дети. Николь разулыбалась отчего-то, по щекам текли слезы. Ревела и улыбалась, чувствуя не очень понятное, но очень глубокое счастье. Она любила его и не верила, что ее Сан Саныча могли осудить без права переписки... его письма... просто еще не дошли.

Она написала коротенькие весточки Але и Марии Егель в Дорофеевский. Это были адреса, которые она оставляла Сан Санычу. Достала папиросу и вышла на крыльцо. Курила и думала о Сан Саныче, и опять слезы наворачивались от их счастливых дней. Сан Саныч был сейчас в ней. Тихо лежал, не брыкался. Сегодня в магазине какая-то баба оценила ее от нечего делать: «Наблюдают и ходють», – так она выразилась про ее живот, да и про Катю, наверное. Николь улыбнулась. Их любовь с Сан Санычем все это снесла бы. Все эти

насмешки. Только бы он был жив. Такой нежный. Ее Сан Саныч был слишком нежным для лагеря. Так она чувствовала.

Она сморщилась на противный вкус табака во рту, загасила папиросу и вернулась в дом.

66

Начался июль, травы поднялись в пояс, был самый пик комара, солнце не уходило за горизонт, и Романов, казалось, не ложился спать... косил сено Гнедку и корове, чинил, строил, рыбачил. Поторапливался переделать дела, ждал, что Ася попросится ехать в Ермаково. Дни летели, а она все не могла решиться. Сидела одна на лавочке в темном накомарнике, как в парандже, или уходила по пескам вдоль берега.

Со дня гибели Севы прошло восемь месяцев, но в ее душе мало что изменилось.

Хорошо ей было только с Севой. Она разговаривала с ним, ласкала, прижимала к себе и была очень внимательна – она страшно страдала, что была такой нечуткой к нему раньше, пока это было можно. Пока не стало поздно.

Наедине с собой она плакала каждый день, поэтому и уходила подальше. Иногда ей хотелось рассказать о нем кому-то, но единственный, с кем она могла говорить о Севе, был Азиз. Трепетный и чистый парень. Азиза больше не было.

Она помогала Анне по дому, стирала, гладила, занималась с детьми, а сама думала и думала о нем. Она совершенно от этого не уставала. Он был все такой же, спокойный и серьезный не по возрасту, и им было хорошо вдвоем.

Если бы она знала способ, она, конечно же, ушла бы к нему.

В такие минуты она не помнила ни о старшем сыне, ни о муже. То сильное чувство, которое повело ее в эти края, то стремление, вопреки страшному устройству жизни, привезти детей к их отцу, обмелело, потеряло смысл перед холодной чернотой енисейской промоины.

Севино безрассудство было детским, ее – непростительным.

Каждую ночь она проваливалась и уходила под лед вместе с сыном, захлебывалась, и ее грудь разрывало острейшее чувство его

последней вины. За то, что он пошел туда. Один. Она понимала его глупые, «мужские» – это потому, что у него не было отца! – мальчишеские чувства и просила за них прощения. У Севы и у Господа. И все бежала и бежала по снегу к той черной промоине. Босая, в ночной рубашке, как угодно бы бежала...

Она чувствовала себя очень скверно перед добрыми и терпеливыми Романовыми. Особенно перед Анной с тремя ребятишками. Да и Валентин... В мае у них кончилась картошка, потом мука. Валентин один от темна до темна молча работал на ораву едоков.

Из-за нее Валентин убил председателя.

Из-за нее ушел Азиз. Уход гордого и чистого мальчишки еще одним камнем лежал на сердце. Если бы она не была парализована гибелью Севы, все было бы по-другому. Она могла бы действовать, могла бы жить и принимать решения. Ее же поведение было неразумно, она и теперь не уезжала потому, что, уехав, стала бы дальше от Севы. От глухой енисейской деревни со страшным названьем *Якуты*.

Она ничего не знала о муже. Иногда ясно понимала, что не может простить ему, что он ничего не знает о гибели их сына. Он мог бы знать, но он сам так решил. Она не хотела называть Горчакова предателем, просто получалось, что он им стал. Когда он отказался от писем, она его понимала, чувствовала, что все это ради нее, и прощала. Теперь же она ясно знала – никто и никогда не смей отказываться от близких!

То, что он сделал, было предательством. Она слишком дорого заплатила, чтобы это узнать...

Она должна была к нему ехать. Ася спрашивала себя, любит ли она мужа. Горчакова Георгия Николаевича. И не могла ответить на этот вопрос. Молчаливый железный человек Валентин Романов больше знал о ее детях, больше помогал и переживал за них, чем родной отец. Она боялась плыть в Ермаково. Она так глубоко ушла в свое горе, что рядом уже никого не было. Кроме Севы.

Кораблей на Енисее было много, некоторые заходили к бакенщику. Многие шли в Ермаково.

Однажды утром она сидела на лавочке, в дыму дымокура от комаров, подошел Валентин, закурил и заговорил о Горчакове. Она

согласно покивала, но не ответила, ушла к Енисею и вернулась, когда все уже пообедали. Она решила плыть. Романов смотрел с недоверием. Ася выглядела плохо. Затравленное, усталое лицо, костлявые плечи, даже осенью она была лучше.

Через несколько дней Ася, Коля и Валентин стояли на борту буксира «Печера», Анна с детьми махали руками с причала. Ребятишки с головы до ног были в сетках от комаров. Собаки крутились рядом, лаяли льстиво и недовольно в сторону удаляющегося хозяина.

Было раннее утро середины июля, по берегам буйствовала зелень, солнце всего несколько дней как начало скрываться за горизонт, и ночи были светлые. Романову не надо было зажигать и гасить бакена. Чайки, крачки дрались и падали в воду за картофельными очистками, что вывалила с камбуза кокша. Романов курил с капитаном возле рубки. Коля отвязал от вещмешка телогрейку, надел на плечи матери, обнял, заглядывая в глаза и отгоняя мошку:

– Не грусти... у нас там отец. Мы же хотели к нему.

Ася кивнула головой и взяла его за руку, поднесла к губам, потрогала костяшки пальцев. Улыбнулась грустно и снова отвернулась к бегущей мимо сильной равнодушной воде:

– Я к нему хочу...

– Мам... – Коля крепко обнял мать за плечи. – Ты не виновата в его гибели.

– Ах, Коля, Коля... – слезы полились из Асиных глаз, она улыбалась через силу, нервно прикусывала губы и улыбалась, – как же не виновата... – она нахмурилась, останавливая слезы. – Я не понимаю, что происходит и куда мы плывем.

Коля помолчал виновато:

– Ты говорила, отец мужественный человек. Нам втроем будет легче.

Ася нахмурилась, беря себя в руки, достала платок, стала сморкаться и вытирать слезы. Подошел Романов.

– Сколько нам плыть? – спросил Коля.

– Восемьдесят пять километров. У меня в Ермаково одна знакомая, она клубом заведовала... зайдем к ней насчет работы.

Он неторопливо скрутил самокрутку и полез за спичками.

– Вы, ребята, вот что... одну штуку вам скажу... Нигде, ни с кем, не дай бог, не проговоритесь про Георгия. Нет у вас ни мужа, ни отца. Помер, заболел и помер в Москве. От туберкулеза! А вы сюда на заработки плывете, за длинным рублем. Про Севу, про то, что у меня жили, тоже ни с кем не вспоминайте. Одно за другое потянется... узнают про Георгия – плохо будет! – Валентин изучал своих подопечных, внятно ли объяснил. – Что еще? Одежонку надо будет купить, денег я займу. У тебя, кроме этого, что-нибудь есть?

Ася посмотрела на свои войлочные зимние боты «прощай молодость».

– Босоножки еще. Платье для работы тоже есть.

– Ну вот, мыла, зубной порошок Анна положила, полотенце. Не пропадем, проживу с вами первое время. – Валентин выбросил окуроч в воду, его завертело вдоль борта.

– А если мы нечаянно встретим его в поселке? – спросила Ася.

– Что ты?! Ни в коем случае! – возмутился Валентин. – Отвернешься и мимо пройдешь!

– А как же он узнает про нас? – спросил Коля.

– Молите бога, чтобы он был в Ермаково. Там я его найду. Обживешься маленько, на работу выйдешь... Не будем загадывать!

В клуб Асю не взяли, не было ставок, но завклубом позвонила директорше школы – там нужен был учитель музыки. Отправились в школу. По дороге завернули в Бакланиху к знакомым Романова, вещи у них оставили и спросили про жилье.

Поселок, о котором они столько разговаривали, поразил Асю с Колей неухоженностью, раздолбанными деревянными дорогами с огромными лужами, засыпанными опилками. Дома-бараки выглядели так, словно их бросили жильцы и заселили случайные люди. Помойные ведра, зола из печек выливались прямо на улицу или возле деревянных туалетов. Горы дров и угля высились, многое только строилось... Всего было много, все было казенное, и среди этого казенного пульсировала живая жизнь. Хозяйки, громко что-то обсуждая, вешали белье на натянутые веревки, кошки дремали на завалинках. Босоногий мужик с подвернутыми штанами шел от Енисея с мешком, из которого торчал осетровый хвост. Мешок

недовольно шевелился, мужик останавливался, сбрасывал ношу и вытирал пот, на солнце было жарко.

Ася с Колей сравнивали Ермаково не с Москвой, конечно, но с островом Валентина Романова. Там было тихо и красиво. У сильной и богатой реки жил рабочий, хозяйственный человек. Здесь же все им казалось, что люди заехали сюда ненадолго и уже собираются уезжать. Коля почему-то думал, что в центре Ермаково стоит огромная тюрьма. Тюрьмы не было.

В центре Ермаково было чище, тротуары отремонтированы, двухэтажные здания образовывали ровную улицу. Запах, правда, стоял, будто канализацию прорвало.

– В этих домах, – пояснил Романов, – сортиры на втором этаже сделали, деревянные короба сверху идут... как лето, так вонь...

Перед зданием школы росли цветы, женщины мыли большие окна. В коридорах, как и во всякой летней школе, было пусто и гулко. Директриса, пожилая женщина, поздоровалась и повела в актовый зал к пианино. Ася открыла крышку, попробовала, инструмент был хорошо настроен. Она делала все машинально, сама все время, как только вошли в красивое здание, думала о Севе, который никогда не был в школе. Он мог бы здесь учиться.

– Сыграйте! – услышала она голос директора.

– Да-да... что я должна сыграть?

– Что можете...

Директриса с начала каникул, как только уехала учительница музыки, прослушала несколько кандидатов. Все играли плохо или очень плохо. Она подозрительно посматривала на странную тройцу, особенно смущал медвежьего вида рябой мужчина в кирзовых сапогах.

Ася все не начинала, рядом все стоял Сева, у нее наворачивались слезы. Она сыграла бы ему, но здесь были люди. Ася еле держалась, чтобы не встать и не уйти. Пальцы не хотели к клавишам, сжимались в кулаки.

– У меня нет времени... – директриса начала недовольно разворачиваться грузным телом, у нее были больные ноги, она опиралась на палку. Романов неожиданно шагнул поперек ее пути:

– Погоди, мать, погоди, она сыграет, – он и сам уже засомневался, умеет ли Ася на пианино. – Ася, может, тебе аккордеон раздобыть? На

аккордеоне же можно? – Валя снова повернул круглое, битое жизнью лицо к директору.

И Ася заиграла, руки сами начали любимый Севкин ре-минорный концерт Баха. Она играла ему, он всегда слушал очень серьезно, слезы потекли. Инструмент в пустом пространстве большого зала звучал хорошо. Ася отвернулась в сторону, задрала голову, но все равно было ясно, что плачет.

– Вы ее муж? – спросила негромко директриса.

– Чш-ш, – зашипел Валентин: он никогда не слышал ничего такого и так близко.

Ася оборвала игру, достала платок, вытерлась, высморкалась и уже спокойнее заиграла прелюдию Шопена, потом концерт Моцарта.

Они спустились в кабинет.

– Вы нам подходите, но что с нервами? Почему плакали?

Ася спокойно смотрела на директрису и не знала, что ответить.

– Муж у нее помер, тоже музыкант был... – заговорил Валентин. – Поэтому!

– А вы кто?

– Я – знакомый, бакенщиком работаю на Ангутихе.

– Хорошо, приносите документы. Вас будут проверять, здесь режимный объект... – директриса внимательно смотрела на нее, словно пыталась разгадать. – Где вы учились?

– В Московской консерватории...

– Ну хорошо, что-то придумаем, у нас в школе профессор МГУ преподает физику... – директриса улыбнулась усталой улыбкой много повидавшего человека.

Снова через весь поселок пошли в Бакланиху. У магазина, в тенечке играли в карты трое инвалидов, один был на тележке, совсем безногий, но с руками, у двоих было по одной руке. Валентин дал каждому по бумажке, постоял, о чем-то их расспрашивая.

Знакомые Романова выдали ключи от небольшого строеньица на той же улочке. Умывальник, стол, два топчана по стенам и раскладушка. Гвозди для одежды вбиты в стену над постелями. Главным украшением комнаты была чугунная фабричная буржуйка. Ящик с углем занимал половину холодного коридорчика.

Так и строилась вся Бакланиха, нагло, из чего было, большей частью из ворованного, безо всяких разрешений на строительство.

Прилепилась к Ермаково с запада, со стороны изрядно уже выпиленной тайги. Дальше, через озеро и болото торчали вышки Первого мужского лагеря.

Жилье было холостяцкое. Мужики уехали в отпуск до сентября после хорошей попойки. Вещи разбросаны, на столе высохли остатки закусок в консервных банках.

Когда солнце опустилось за лес и в небольшое окно потекли краски заката, все было прибрано. Посуда, полы и окна перемыты, на электроплитке доваривался суп. Валентин ходил в Ермаково и принес продуктов. Асе отвалил пятьсот рублей в долг.

Ася ожила в работе, улыбалась, будто устраивала свое собственное жилье. Коля бегал на озеро за водой, выносил мусор, чистил картошку. Ася протирала газетой вымытые окна. Составленные из разных стекол они поскрипывали и похрустывали, готовые вывалиться. Ася улыбалась чему-то, видно было, с кем-то разговаривает молча. Ждет, что сюда придет отец, думал Коля, – он и сам представлял такое сегодня. Думал, как сядут с отцом на берегу Енисея вдвоем, и он расскажет ему про бабушку, про Севу, про всю их жизнь и про мать, а отец расскажет про свою жизнь.

На улице чуть стемнело. Влажная таежная жара спала, стало прохладно. Зажгли свет, и в прибранной комнате сделалось уютно. Валентин сам накрывал на стол. Дорвавшись до магазина, он накупил городской еды: коньяк, копченую колбасу, икру баклажанную, кильку в томате, сухие квадратные брикетки растворимого «Какао с сахаром»...

– Люблю, грешник, икру баклажанную, банки три могу за раз съесть... – Валентин резал свежий, хрустящий коркой хлеб. – А ты, Колька?

– Я... не очень, – вежливо улыбнулся Коля.

– А килечку в томате? Закусь мировая! Я в лагере все время про кильку мечтал!

– Мне налим больше нравится...

– Ну-ну... стерлядку копченую порежу, взял из дома... Ася, ты как? Картошка сейчас сварится, новоселье у нас или что?! – Романов был так разговорчив, что не похож на самого себя. Ася и Коля только улыбались на него. – Денек сегодня, слава богу! Утром дома проснулись, а уже и на работу тебя взяли, и жилье нашли. Кто-то из

вас фартовый, однако! Думал, на дебаркадере придется ночевать. Не-е, – Валентин обстукивал сургуч с горлышка. Коньячная бутылка в его ладонях была словно игрушечная, – когда люди друг другу люди, тогда все путем идет.

Он налил полстакана себе, немного Асе:

– Давай, мать, выпьем по маленькой. День-то еще тот был. Я, сволочь, нервничал, особенно, когда ты играть не хотела. Подумал – разучилась!

Ася улыбнулась и кивнула. Взяла свой стакан. Коля поднял кружку с чаем. Выпили. Валентин крикнул с душой и замер – не слишком ли громко получилось.

– А скажи-ка... – он поскреб пятерней подбородок, – по радио такую же музыку передают?

– Да, – Ася не допила и, сморщившись, поставила свой стакан. – Такую же.

– Тебя слушал, совсем по-другому... аж... вот такие мураши по спине! – он показал свой кулак и достал папиросу. – Ничего, все у нас еще будет! Бог – не фраер! И отца вашего найдем!

– А можно мне пойти сходить к Енисею? – спросил Коля.

– Не надо...

– Почему?

– Тут не Москва – на пьяных нарвешься... пацаны тоже шакалят ходят... – он все смотрел на Колю. – С отцом, опять же, можешь встретиться...

Все замолчали.

– А мы не для этого сюда приехали? – спросила Ася.

– Заревешь ты, Ася... кинешься к нему! – Валентин взял стакан, но поставил на место. – Испортишь все!

Ася молчала. Жизнь так изменилась, что эта встреча почти потеряла смысл. Она с трудом себе ее представляла...

– Я сам найду Георгия и поговорю с ним. – Романов положил на стол большую ладонь. – Мы с ним все порешаем.

– Мама думает, отец может отказаться от нас... – Коля взял мать за руку. – Тогда мы даже не увидимся?

– Почему отказаться? – не понял Романов.

– Не захочет. Мы не знаем почему...

– Нет, так не будет, – нахмурился Валентин.

– Делай, как знаешь, Валя, нам тебя Бог послал... – Ася взяла свой стакан подрагивающей рукой, задохнулась, ожегшись коньяком, но допила.

Весь следующий день Валентин где-то пропадал, а вечером вернулся выпивший и довольный – Горчаков был в Ермаково, работал в Первом лагере.

Это было совсем близко.

Вскоре в культурных кругах Ермаково стало известно, что в школу устроилась выпускница московской консерватории. Ася по приглашению завклубом участвовала в большом концерте по случаю дня военно-морского флота, который отмечали как день речника. Ее не отпускали со сцены. Валентин Романов впервые присутствующий при живом концертном исполнении, был восхищен, обнимал Колю и объяснял ему, какая у него мать.

Половина зала были офицеры, они хлопали стоя, а некоторые сбегали и надрали цветов с клумбы. Это Романова напрягало. Ася и правда выглядела очень женственно и незащищенно, особенно с этими ее темными кругами под глазами. Все печальные бабы выглядят красиво, ревниво думал Валентин, но проблема была в другом. У Аси с лепилой Первого лагеря Георгием Горчаковым (статья 58, 25 лет) была одна фамилия. Вычислить их родство ничего не стоило.

Валентин без нужды не выпускал их из дома, сам ходил в магазин и по мелким делам. Он разыскал медсестру из горчаковского лазарета и передал с ней записку:

«Георгий Николаевич, это бакенщик Валя Романов. Я в Ермаково. Очень надо бы повидаться. Скажи, где и когда».

Их адреса в Бакланихе он не дал – Горчаков мог прийти, когда его не было, а этого Валентин не хотел. Все ждали этой встречи, и все, даже Валентин, ее опасались.

Героический образ геолога Горчакова, созданный матерью, не вязался у Коли с образом заключенного. В Москве заключенных не было или они были незаметны, а здесь, начиная с Красноярска, Коля не раз рассматривал хмурые серые колонны или просто работающих в оцеплении, одинаковых, всегда темных и не особенно приятных людей. Он думал об отце, а вспоминались насильники из Якутов, и ему

не хотелось представлять себе отца таким же, в ватной ушанке и ватных штанах...

Ася плохо спала. Она совсем не уверена была, что они с Колей нужны Горчакову. После первого срока он вернулся другим человеком, прошло еще семь лет, пять из них они прожили без переписки. У него могла быть новая семья, другие дети. Эти старые мысли в Ермаково обрели остроту, бессвязно и бессонно бродили они по светлой комнате. Была середина белой ночи, за окном чирикали птички. Романов храпел, Коля свернулся на раскладушке... трактор протарахтел по узкой улице, лязгая гусеницами и снова стало тихо. Ася не знала, зачем сюда приехала, возвращалась и возвращалась мыслями безнадежно далеко назад, где Сева еще был.

Это была просто идея – она хотела, чтобы Гера увидел своих сыновей. Эта идея долго жила в ее голове. Просто мысль. Почти ничего! Но она почему-то начала ее исполнять. Ее все отговаривали, но кто-то лишил ее разума... – Ася всю уже беззвучно плакала, вытирала простынкой нос. – Кто-то не дал ей ума не делать этого. И она сделала. Гера и Сева не встретятся теперь никогда... Она не хотела ничего особенного, просто хотела, чтобы они полюбили друг друга.

Романов перестал храпеть, открыл глаза и тут же сел, позевывая и собирая одежду со стула. Вышел тихо. На ходиках было полпятого.

Ася вытерла слезы и тоже стала одеваться. Чайник поставила на плитку.

Валентин сидел на ступеньках крыльца, сосредоточенно щупал гвоздь внутри сапога и дымил папирсой.

– Чего поднялась?

– Не спится...

Ася поежилась, хотела присесть, но ступеньки были влажные от росы. Валентин снял телогрейку, положил ей. Солнце стояло над тайгой, над дальним берегом Енисея. Красноватое, еще нежаркое, утренний воздух был прохладен и тяжел, лиственницами тянуло из тайги и разносилась дробь дятла. На озере и болоте лежал туман, камыши из него торчали, утка-мамаша осторожно, но настойчиво звала утят. За озером лаяли овчарки. Ася села на телогрейку.

– Здесь комаров совсем нет...

– За водой пойду схожу, спите еще! – Валентин надел сапог, пробуя ногой все тот же гвоздь.

– Что ты скажешь Горчакову?

Валентин молча курил. Почесал небритую щеку:

– Найду что сказать, что об этом думать...

Ася согласно кивнула. Валентин хмуро бросил погасшую папиросу к забору.

– Я давно тебе хотел сказать, да не знаю, как... Не для моих это мозгов... но только если бы моя первая жена Тоня не погибла, ни Васьки, ни Петьки, ни Руськи не было бы... а они есть. Как это все? – он замолчал надолго. – Жизнь не разгадаешь, наше дело – терпеть и стараться... живых беречь, Ася. Твоему Георгию в жизни досталось – на десятерых хватит. Приехала ты сюда, и слов нету! Шапку снять и поклониться! Да только тут еще суметь надо. Тут у тебя самое трудное. Георгий с виду нормальный, а ведь он – зэк! – Валентин нахмурился, собираясь с мыслями. Поднял на Асю виноватый взгляд. – Не мастак я говорить, но зэк – это грубая скотина, Ася. Мелкая, нервная. Зэк очень тяжело живет! Все время под палкой да под кумом – он у тебя почти двадцать лет по лагерям. Как он с тобой будет, не знаю...

– Валя, если у него есть женщина, ты мне прямо скажи...

Романов помолчал, соображая.

– Не похож он на таких, кто лагерных жен заводит, но... кто его знает? Там, в лагере, никакой жизни, а баба – это все-таки... Может и есть кто, не знаю. Но тебя он не обидит. Не такой! – Валя помолчал, глянул на Асю. – Ты не про него думай, тут офицеров холостых полно, обязательно полезут к тебе...

– Я как-то все эти годы жила.

– На воле – одно, тут – все другое, Ася!

Сан Саныч стоял у зеркала и смотрел на высокого худого человека, похожего на капитана Белова. Это был совсем другой человек. Он тоже внимательно изучал Сан Саныча. Оба пытались понять, что изменилось, и оба понимали, что изменилось все. В зеркале был угрюмый бритый мужик с худым лицом и худыми руками. Одна, левая, так и осталась инвалидкой, что-то в ней было не так... Сан Саныч сжал мосластый разбитый кулак и отвернулся недовольно.

Безвольный беззубый зэк. Фраер, штымп, мужик... олень самый настоящий, – вспоминались имена, которыми его называли урки. Истопник, снегочист, кирка-лопата, кривой лом – специалист по мерзлым грунтам. Три пересылки, два лагеря. Бывший речник, бывший капитан, бывший орденоносец, бывший мужчина, любивший жену и дочку.

Лагерный голод не отпускал, Сан Саныч не отказывался ни от какой еды, что носила повариха. Ел и спал.

В начале июня Белова вызвал сержант Фунтиков и объявил, что он идет на этап по индивидуальному наряду. До Игарки везли на тракторных санях, там поменяли спецодежду на новую и самолетом привезли в Красноярск. Был пересуд, Сан Саныч ждал переквалификации на 58-ю и большого срока, но ему не меняли статью, срок снизили до двух лет и освободили в зале суда. На выходе его ждал водитель Макарова, и вот он второй день уже жил на катере начальника пароходства. Отъедался. Не было ни одежды, ни денег, чтобы выйти в город. Не было и желания – за эти семь месяцев в нем что-то произошло, он чувствовал, что побаивается воли.

Вместо паспорта в кармане лежала справка от Строительства-503 МВД СССР.

«Выдана гражданину Белову А. А., уроженцу..., русскому, осужденному народным судом Ленинского района города Красноярска по статьям 56–30 УК РСФСР к лишению свободы на два года, в том, что он отбывал наказание в местах заключения МВД по 10 июня 1952 года. Освобожден по выписке от 13 июня с применением-отработкой неотбытого срока наказания на предприятиях речного транспорта МВД СССР...»

Его освобождали от наказания «в связи с изменением обстановки». По этой справке он должен был еще полтора года отработать на «Полярном». Прилагалась и целая инструкция, определяющая размеры его свободы. «Ночевать только на буксире; не выезжать за пределы Игарского района; не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них; не изменять место пребывания и место работы без согласия надзорных органов...»

В случае нарушения любого из пунктов два года отработки превращались в четыре года лагеря.

Макаров появился поздно вечером. Обнял. Впервые в жизни крепко прижал к себе Сан Саныча, погладил по исхудавшей спине. Рассматривал, словно не узнавал. Повариха накрывала в столовой на верхней палубе, слышны были запахи и как она беззлобно ругается на матроса. Катер, медленно маневрируя, выходил из затона в Енисей. Ночной город переливался огнями по воде.

– Ну пойдем, капитан, пойдем выпьем. Все у тебя позади, будем надеяться...

Они уселись напротив друг друга. Столовая была ярко освещена, стол накрыт так, будто тут не двое собирались ужинать. Сан Саныч посмотрел с вопросом, но начальник пароходства уже наливал коньяк. Вдруг остановил руку.

– Я и не спросил, может, тебе водки?

– Все равно, Иван Михайлович, – хмуро усмехнулся Белов, – я давно не пил...

– Ну да, – Макаров поднял рюмку. – С возвращением в ряды товарищей!

Выпили. Закусывали. Макаров тут же сунул в рот папиросу:

– Тут за тебя целая битва была. Они громкое дело затевали, многие пошли бы... вон, повариху мою и ту допрашивали... Я в Москву летал, ты министру нашему понравился... – начальник пароходства посмотрел пристально. – Ты, капитан, крепким мужиком оказался! Если бы оговорил нас, все сидели бы! Били же тебя?!

Сан Саныч смотрел тревожно.

– Что молчишь?

– Били, – кивнул, – вы откуда знаете?

– Начальник УМГБ по Красноярскому краю снят. Твой следователь понижен в звании и должности и переведен куда-то, чуть ли не на Диксон. Там много голов полетело, знаешь, как это у них бывает! Давай выпьем, нам просто повезло, чего уж там! – Он плеснул рюмку в рот. – Они на тебя как на молодого партийца и орденосца главную ставку делали. Ты на суде должен был раскаться и главным обвинителем выступить.

– Я этого не знал.

– Я смотрел твое дело. Начальником Управления назначен мой однокашник по училищу. Подгозин Федор Иванович. Ты что завял?

– Я? Ничего.

– Вспоминать не хочется? Крепко досталось?

Сан Саныч только мотнул головой, все думая о чем-то.

– Выпей, что ты?

– Они меня обоссали! – тихо выдавил сквозь зубы.

– Что? – не поверил Макаров.

– Избили так, что я ничего не соображал... и обоссали. Я на полу лежал...

– Вот, блядь, скоты! Это кто? Антипин этот?!

Сан Саныч мотнул головой.

– А кто? Надо заявление писать! Надо найти, кто это сделал!

Белов поднял тоскливый взгляд на своего начальника.

– Не хочешь?

– Не верю! – Белов влил в себя спиртное, подышал и прикурил папиросу. – Не верю я больше, все так запутано... это страшнее, чем моча.

– Кому не веришь?

Белов молчал, сосредоточенно затягиваясь куревом.

– Никому, – он твердо посмотрел на Макарова. – Все фальшивое.

– А мне веришь?

– Я не про вас.

Макаров хотел сказать что-то еще, но не стал. Сидел, напряженно постукивая кулаком по столу. Потом заговорил почти спокойно:

– Трудная нам с тобой, Сан Саныч, жизнь выпала. Врагу не пожелаешь, а мы как-то умудряемся ее любить. Нас через сто лет изучать будут. Как особую породу людей. Породу, которая хотела сделать хорошо – всех, весь мир новой дорогой осчастливить! А делала, как получалось... Они через сто лет будут думать, как мы могли так криво жить?! Пальцем на нас будут показывать – боком, мол, ходили да раком, черное называли белым, подлецов героями, а героев уничтожали, как врагов. Да еще следили друг за другом! И будут правы... – Он помолчал и добавил: – А мы еще как-то живы. Работаем, улыбаемся, водку вот пьем... У меня жена в лагере. Семь лет уже. Как я живу?!

Сан Саныч глянул с удивлением.

– Меня не смогли, ее взяли, чтобы тьявкал поменьше. Трудно там?

Сан Саныч молчал, пожал плечами:

– Трудно бывает, когда ты что-то сделать можешь... Последний раз меня в ШИЗО посадили, мороз в камере, а у меня сил уже нет. Ничего уже не хотел, лег на ледяной пол и улыбаюсь, радуюсь, как будто к Богу, к его груди прислонился. Сейчас остыну, думал, и больше уже не встану.

– Ты что, в Бога поверил?

– Не знаю.

– И чем кончилось?

– Не помню, в медпункте очнулся.

– Сильно голодал? – Макаров разлил по рюмкам. – Кожа да кости...

– Все время, даже во сне жрать хотел... этого вы не поймете... – Сан Саныч выпил, сморщился и заговорил нервно. – Там все бессмысленно, вот что страшно! Из Игарки – сорок километров по морозу пешим этапом! Зачем? Вон машины стоят! Нет. Пешком! Без сил, голодные, сзади трактор с санями, так на них конвой и блатари едут. В карьере – никакой техники! Кирка да лопата! И есть норма выработки, и хлеб дают по выработке. Зачем все это? Ради какой идеи?! Люди, которые здесь хотели работать, очень хотели, там не хотят совсем! Их заставляют! Потом – кормят или не кормят, бьют...

– Ты что же, в обычном лагере сидел?

– Бывают и хуже, дело не в лагере... Там люди в скот превращаются! – Сан Саныч замолчал, посмотрел на Макарова, понимает ли. – Начальство издевается, как над скотом, между лагерниками отношения не лучше, блатные не работают, заставляют работяг за них пахать... с подростками спят открыто. Эти ребяташки... они в пятнадцать-шестнадцать лет уже не люди. В лагере все уродует – я сам видел, как двое обычных работяг, не блатных, а самых обычных мужиков, собаку... понимаете? В смысле... ну, пялили ее... над ними только посмеивались. Люди сами опускаются до положения скота!

Сан Саныч сморщился брезгливо. Взял было папиросу, но положил.

– Я это по себе знаю, там ведь ничего человеческого. Убивать, воровать – можно, надзиратели сами наводят, чтобы для них тащили! Товарища оболгать? Вот бумага, пиши! И хлеба дадут, и накормят за твою ложь на другого! Там все людские законы отменены, а человек

без них не может быть человеком! Не выдерживает человек, Иван Михайлович!

– Ты сейчас Христовы заповеди перечислил.

– Что? – не понял Сан Саныч.

– Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй... там все это есть.

– А вы, что же, веруете? – в глазах Сан Саныча блеснул огонек любопытства.

– Не знаю. Да нет, конечно. Я убежденный коммунист... – Макаров вдруг склонился к Сан Санычу и зашептал: – Я за жену молился, она у меня верующая. Есть такая молитва короткая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Батюшка один научил – Иисусова молитва называется. Вот я и твердил ее, как проклятый, по пятьсот раз в день, пока письмо не пришло. Долго от нее ничего не было... – Макаров будто в себя приходил, застеснялся сказанного.

– Я тоже... о смерти просил, сначала в тюрьме, потом в лагере. Унижения пережить трудно... Может, это и не молитвы совсем... – Сан Саныч говорил тихо, уткнувшись взглядом в стол, хлебные крошки машинально и тщательно собирал, скатывал в мякиш и отправлял в рот, жевал вдумчиво. – Я и сейчас не знаю, как буду людям в лицо смотреть. Не выдержал я той жизни.

– Ну-ну, не наговаривай на себя! Давай выпьем, чтобы все это кончилось когда-нибудь.

Катер стоял на якоре недалеко от берега, слышно было, как шелестит, ластится к борту енисейская волна, автомобильный клаксон пикнул вдали на берегу, в носовом кубрике негромко играл радиоприемник. Макаров налил полную рюмку, выпил молча, закурил:

– Тебе бы забыть все это... – он замолчал, тяжело о чем-то думая. – Иначе с ума сойдешь или наделаешь чего.

– Как забыть? Вы меня вытащили, а там люди остались. Мишка Романов, Захаров, может и еще кто-то из команды...

– Ох, Сан Саныч, надо терпеть, не все сразу! Ближе к сердцу все берешь. Лицо у тебя плохое, радости никакой... с собой ничего не сделай!

– Этого они не дождутся. Можно мне взять пару недель отпуска?

– Не я решаю, ты пока по их ведомству числишься, но похлопочу. Я осенью хотел тебя на большой теплоход ставить, буду с ними

разговаривать. Пойдешь на большой?

– Мне Николь найти надо, Иван Михалыч. Я у вас тут на катере, не позвонить, ничего. Она должна быть в Ермаково? – Сан Саныч смотрел со страхом.

– Нет ее там.

Сан Саныч схватил лицо руками, но тут же отпустил.

– А где она?

– Не знаю, ей поменяли место ссылки.

– Я должен найти их!

– Сан Саныч, не надо бы этого, они знают, что Николь француженка.

– Да? И что?!

– Связь с иностранкой – уголовное преступление!

– Она по паспорту латышка!

– Ее тоже могут посадить, ты этого хочешь?

– За что?

Макаров пожал плечами и в сомнении покачал головой:

– Ладно, будут вопросы – звони. Про Николь не пойду спрашивать, я с таким трудом тебя отбил, и то – два года оставили. Они тебя посадят – честь мундира... Выпишу тебе командировку в Ермаково, у коменданта за бутылку узнаешь, куда увезли.

– Можно сначала в Игарку – мне с женой надо развестись.

– Нет у тебя жены, отказалась, как от врага народа. Сразу, как только арестовали...

На другой день капитан «Полярного» вылетел в Туруханск, а оттуда поплыл попутным буксиром. Все было, как и три года назад, когда он вел свой первый караван в тихий енисейский станок. Лед недавно прошел, вода стояла высокая, с белыми грудями торосов, берега начали зеленеть травой, и воздух вовсю уже пах весной. В голове плутала глупейшая мысль – вернуться назад, в ту весну сорок девятого, и чтобы там была Николь. В этой его фантазии Николь была беззаботной, веселой и совсем юной, какой он ее и не знал. Сан Саныч улыбался внутренне, смолил одну за другой, после лагеря он курил много и жадно, и завидовал капитану буксира, ведущему свои баржи. Капитан был глубокий старик, Белов знал его, буксир такой же – царской постройки пароходошко густо коптил небо черной сажей.

Показались трубы ермаковской электростанции и лесозавода, из-за острова стали открываться знакомые очертания поселка. Ермаково был все таким же казенным, не похожим на другие енисейские поселения, железнодорожных путей добавилось, это сразу бросалось в глаза. Подошли к длинному грузовому причалу, его Белов еще не видел, новой была и недостроенная пассажирская пристань, на ней толпился народ, ждали, видно, какого-то парохода.

Сан Саныч неторопливо поднялся от реки наверх, снял пальто и взял на руку. Он чувствовал себя неуютно, Макаров одолжил денег, и вся одежда на нем была новой. Ботинок тер пятку, а брюки от костюма все время сползали, несмотря на туго затянутый ремень – он похудел на два размера. От острого волнения достал папиросы. Все смотрел и смотрел, выискивая Николь с Катей на руках.

Он не знал, где они, поэтому они могли быть, где угодно.

Улицы были по-весеннему слякотны, снег сошел недавно и обнажил небрежную зимнюю жизнь. Бригадка эков с метлами и лопатами изображала работу. Туфтыт, понимал Сан Саныч, на солнышке греются, припухают. Он приглядывался, будто себя представлял среди них, вспоминал свою работу на лютой стуже, продирающей до костей, – эти были доходяги, видно было по тощим мордам и голодным взглядам. Сан Саныч внутренне радовался, что теперь понимает этих людей, так радовался, будто им, голодным и слабым, должно было стать полегче, что он их понимает. Но и трусливо доволен был, что он не среди них, а просто идет по улице в костюме и кепке, с пальто на руке. Последняя радость была подлой. Это теперь он очень ясно знал.

Конвойный, не обращая внимания на своих фитилей, весело разговаривал с девушкой. Девушка с независимым видом грызла семечки, она была толстозадой и толстоногой, в кирзовых сапогах и фуфайке, из-под которой торчало легкое крепдешиновое платье в цветочек.

– Гражданин добрый! – негромко обратился к Белову высокий светлолицый эк с впалыми щеками, одни глаза светились на лице. – Угостите покурить?

Сан Саныч остановился, достал пачку, эки побросали работу и потянулись к нему. Папиросы быстро кончились, больше у Сан Саныча не было. Тут же возникли мелкие стычки, один, мгновенно распаяясь

от обиды, заорал злым тонким голосом и замахал костлявыми руками. Это было ужасно, уродливо, чувство жалости и братства мешалось в Сан Саныче с брезгливостью. Он впервые видел так много доходяг в одном месте. К ним спешил конвойный:

– Ну-ка, в сторону! Отойдь, сказано! Всем работать, уроды! – он дал пинка первому же попавшемуся и дошел до Белова. – Пройдите, гражданин! Не положено! Что тут не видали?!

Сан Саныч пошел дальше, понимая, что машинально успел испугаться этого деревенского парнишку-конвойного, а можно было дать доходягам денег, они бы купили себе масла, он помнил, как мечтал о сливочном масле. Но он растерялся и не дал, и не вернуться уже было...

Он так волновался, отыскивая их палатку, что оказался на какой-то другой улице, которой совершенно не помнил, снова вернулся на берег и наконец нашел... Палатки, где они жили с Николь и где его арестовали, не было, на этом месте разместили большой склад бочек с горючим. Он был окружен колючей проволокой, на вышке гулял часовой. С берега к складу вела подвесная тросовая дорога, а внутри колочки зэки катали бочки, городили из них черные, поблескивающие краской, высокие штабели.

Горчакова в больнице не было, Белов оставил ему записку и пошел к знакомому коменданту поселка узнать про отправку Николь. Комендант уехал с семьей на материк. В его квартире жили другие люди. Сан Саныч с утра ничего не ел, подумал о ресторане, но он был брит под ноль и беззубый. Взял в магазине банку тушенки, сала, хлеба, две бутылки спирта и отправился на берег. В гражданском его никто не узнавал, да и знакомых оказалось не так много, как он опасался. Это и радовало – не надо было никому ничего объяснять и огорчало одновременно – он не понимал, как искать Николь и Катю.

Сел над рекой на какой-то ящик, здесь, видно, постоянно выпивали, бутылки валялись, скорлупа от яиц, рыбы головы и кости. Нарезал сала и ел с хлебом. На Енисей смотрел, рассеянно думал о «Полярном», но больше о Николь. Улыбался нечаянно, иногда казалось, что найти ее будет несложно. Мысли отчего-то все время устремлялись в сторону Дорофеевского. Так и видел, что ее отправили куда-то в низовья. Низовья были большие, но там он ее не мог не

найти! Он был уверен, что через две-три недели они увидятся, поэтому мысли о поисках были не самыми тяжелыми.

– Сан Саныч! Вы?! О господи! – Померанцев кинулся к нему, не смея обнять.

Белов поднялся с ящика и тоже застеснялся, протягивая руку.

– Вы как здесь, Сан Саныч? Николь увезли, вы знаете?

– Когда?

– Десять дней назад...

– Десять дней? – как будто не верил Сан Саныч. – А куда, вниз?

– Да нет, вверх вроде повезли, я думал это связано с вашим делом.

А вас освободили? – Померанцев рад был, но смотрел настороженно.

– Макаров вытащил – два года с отработкой...

– Вид у вас, как из лагеря.

– И там был... куда же их отправили?

– Не знаю... на «Марии Ульяновой», должно быть, она в тот день уходила.

– Мне Николь оставляла адреса, куда писать... – Сан Саныч морщился и тер лоб. – После лагеря ничего не осталось. В Дорофеевском кто-то...

– Пойдемте домой, Сан Саныч, вы давно здесь? – Померанцев все не решался сказать Белову, что Николь забрали беременной. С большим животом.

На крылечке курил Горчаков. Обнялись молча.

– Заходите, не стойте! – Померанцев распахнул дверь.

Белов вошел, увидел детскую кроватку, ширму, разделяющую комнату, и все понял.

– Вот, – Померанцев засовывал самодельный кипяtilьник в чайник. – Тут мы и бичевали, там – дамы, я на топчане, Георгий Николаевич, когда ночевал, под столом спал. Вы голодный, Сан Саныч?

– Называйте меня на ты, Николай Михалыч!

Померанцев обернулся, сморщился в сомнении:

– Не получится, наверное, Сан Саныч, вы все же мой капитан.

– Все мы теперь зэки... бывшие...

– Почему же бывшие, – улыбнулся Горчаков, усаживаясь на стул, – есть и действующие.

– Я много думал про вас... я полгода еле выдержал, а вы столько лет отсидели... – Сан Саныч с недоверием рассматривал Горчакова.

– Николь по вашему делу шла?

– Кажется, нет... Угрожали, но что-то у них... не знаю, мне давали протокол на подпись, там была куча имен, я и не знал многих. – Сан Саныч потер лоб. Ему и хотелось рассказать близким людям, что с ним было, и тяжело было вспоминать. – Может, выпьем? У меня спирт есть.

– Я на дежурстве, вашу записку увидел и пришел ненадолго. – Горчаков все разглядывал Белова.

– Я бы тоже не стал, Сан Саныч, – Померанцев разливал крепкий чай. – Где Николь искать будем? Мы с Георгием Николаевичем всех здесь подняли, но даже Богданов ничего не узнал. Клигман чего-то испугался, видно их здорово трянули. Надо в Красноярске искать, кто там ссыльными ведаёт?

– А я выпью. Мне больше не с кем!

Померанцев нарезал сало, поставил вареной картошки. Развел спирт и достал две рюмки.

– Не теряйте времени, Сан Саныч, сходите к новому коменданту... – Горчаков докурил и поднялся. – Вы знаете, что Николь беременная?

– Как?! – застыл Сан Саныч.

– На восьмом месяце! – уточнил Горчаков. – Идите к коменданту!

– Он ничего не скажет – я ей никто! – Белов все смотрел оторопело. – Как же она?

– Новый комендант очень коньяк любит и рыбалку. Сходите, пообещайте свозить куда-то... он может узнать. – Горчаков подал руку, прощаясь. – Но чего-то они все боятся. Клигман сказал, что большое следствие идет по Красноярскому управлению МГБ. Будьте здоровы!

Они выпили и просидели до поздней ночи. Померанцев оказался душевным дядькой. Сан Саныч рассказывал и рассказывал ему, и сам пытался понять, спрашивал, как ему быть со своей трусостью? На это Николай Михайлович, посмеиваясь, рассказал свои, такие же нелепые и совсем несмешные случаи. Вышли покурить.

– Не бери в голову, Сан Саныч, не стоило за тряпки драться. Есть вещи поважнее...

Поселок спал. Дворняги, а они были чуть ли не в каждом дворе, перебрехивались между собой, басисто гремели овчарки из питомника и еще где-то далеко, словно за лесом выли, выворачивая душу, цепные сторожа с лагерных периметров. Ночь была звездная, по-весеннему прохладная, но первые комары уже запели. Молчали, слушая тишину.

– Такая же вот ночь была, когда их увели. Под утро пришли трое. Я решил, что арест, заволновался, как мальчишка. Николь – наоборот, у нее все собрано было. Одеда Катю, я взял ее на руки, и пошли.

Две недели искал Сан Саныч Николь по всему Енисею до Красноярска. Пил с комендантами, разговаривал с начальниками пристаней. Этап, которым ее увезли, был большой, сборный, плыли в нем в основном бытовички-малосрочницы, но были и ссыльные. Тем же пароходом вывозили амнистированных женщин с детьми, поэтому разглядеть «молодую, темненькую и симпатичную девушку с полуторогодовалой девочкой» было сложно. «Мария Ульянова» останавливалась по всем пристаням, Николь могли выгрузить на любой из них.

В Красноярске в МГБ не пошел, не стал обращаться и к Макарову. Получил в ателье заказанную форму, документацию и деньги и улетел на «Полярный» в Игарку. У него оставалась надежда на адреса, которые дала Николь. Один адрес был в Дорофеевском, имени он не помнил, но можно было написать Герте, и та обязательно поняла бы, о ком речь. Второй же адрес был в Ермаково, с ним было сложнее.

Сан Саныч был слегка не в себе, ему казалось, что на «Полярном» у него больше возможностей, он мог сходить в низа и искать ее там, мог переговорить с капитанами, начальниками пристаней, в рыбколхозах – у него везде было полно знакомых.

Он рвался на «Полярный», словно буксир мог восстановить его прежнюю жизнь.

– Тут целая история, Георгий Николаич! – Валентин Романов шагал широко, курил хмуро и пытался найти правильные слова.

Он эти слова две недели назад, как приехали в Ермаково, начал подбирать, а теперь, когда Горчаков был рядом, ничего в голове не осталось. Валентин не знал, как Горчаков среагирует, вдруг правда откажется идти? Он остановился, зло выплюнул папиросу и для надежности взял Горчакова за плечо:

– К тебе жена приехала, вот что! – Валентин смотрел требовательно, но и тревожно.

– Кто? – не понял Горчаков.

– Ася твоя здесь. С Колей. Две недели уже в Бакланихе живут. Мы с тобой сейчас к ним идем.

Горчаков нахмурился растерянно, остановился и полез за папиросами.

– Какая еще жена, Валя? Ты откуда знаешь? – Горчаков шарил по карманам, ища спички. Наконец нашел и недовольно уставился на Валентина.

– Они у меня на острове с осени жили, идем, они ждут тебя, – Романов держал Горчакова за рукав, не давая думать.

– погоди, Валя, не тяни меня! – уперся Горчаков.

– Таких женщин, как твоя Ася, поискать!

– Какая Ася?

– Николаич, я с тобой не шутки шучу! Жена твоя! Здесь! В Ермаково!

– Давно? – Горчаков сдался, и они двинулись по дороге.

– Говорю же – две недели, она в школу устроилась. По музыке учительницей. В концерте уже участвовала! Еле отпустили, хлопают и хлопают, суки. – Валентин говорил, чтобы не молчать или чтобы Горчаков не сказал чего-нибудь... Покосился на хмуро шагавшего лагерного фельдшера. – Офицерье под нее клинья бьют, баба она завидная, поаккуратней вам надо...

Горчаков остановился очень мрачный.

– Дай покурю, – он глядел вокруг, как будто искал, куда присесть, но ничего не видел.

– Пойдем на стадион! – понял его волнение Романов.

Они направились к деревянной трибуне. Ребятишки бегали по вытопанному полю, гоняли мяч. Кричали.

– Ты говоришь, ко мне жена приехала? – недоверчиво спросил Горчаков.

– Ну да! Ася Горчакова!

– А почему...

– Как почему?! – перебил Валентин. – Жена она твоя! Приехала и все!

– Валя, мы много лет не виделись! Зачем она?! – Горчаков в досаде замотал головой. – Ох, Ася... Она что, правда здесь?!

Прилетел мяч и застрял в трибуне чуть выше.

– Пойдем, Николаич, чего сидеть? Они ждут, Колька, тот и не видел тебя никогда. И ты его...

– Дяденька, кинь мячик, – бежал к ним загорелый мальчишка, поддергивая трусы.

Мужики встали, не замечая его, и пошли к выходу.

– Большой уже? – спросил Горчаков.

– Кто?

– Коля.

– Выше меня, про тебя все спрашивает, ты только с ними поаккуратней... – Валентин кряхтел и не решался говорить самого плохого. – Ох, нам с тобой литрочку спирта усидеть, я все рассказал бы... Они к тебе пешком шли! Из Туруханска! Дубина ты бесчувственная!

– Пешком?

– Прошлой осенью это было, чуть живых подобрал. Ты, Николаич, сразу ничего их особенного не спрашивай. Дай им к тебе привыкнуть, приласкай, как можешь, они так тебя ждали! Вон тот домик с черной трубой. Я тебя на улице подожду, а хочешь за бутылкой схожу?

Горчаков остановился, сосредоточенно глядя на Романова.

– Ты какой-то бледный, Николаич, сделался... не кипишись ^[144] так-то, свои же...

Ася с Колей уже второй час ждали. Устали волноваться, сидели, прижавшись друг к другу, напротив двери, говорили о чем-то тихо. Замерли на входную дверь, встали оба, когда он вошел.

Трое людей молча глядели друг на друга.

– Здравствуй, Ася... Коля... – Горчаков не решался двинуться к ним. Очки поправил.

Ноги Аси подкосились, Коля ухватил ее и опустил на топчан. Горчаков присел рядом на табурет, взял ее ладонь.

– Все хорошо, Ася, все хорошо! – Георгий Николаевич, растерянно ее рассматривал, сжимал руку. Коля стоял рядом.

– Коля... – Георгий Николаевич все так же растерянно кивнул сыну.

– Мы боялись, не узнаем тебя, – шепнула Ася, не отрывая от мужа окаменевшего взгляда.

Комната наполнялась растерянностью, как чужие смотрели, смущались друг друга...

– Ты не обнимешь меня?

– Да-да... я... – Горчаков привстал и, неуклюже обхватив, поцеловал жену в щеку.

Осторожно обнял Колю. Они совсем не были похожи на семью. Георгий Николаевич, седой, в изношенных круглых очках, казался намного старше Аси. И смотрели они друг на друга, как давно забывшие друг друга люди. Коле очень неловко было – он видел стеснение матери и сам ничего не чувствовал к этому пожилому мужчине. Все годы мать рассказывала ему о другом человеке.

Горчаков хмурился, не знал, что ему делать с Асиной ладонью и с Колей и зачем вообще все это. От неожиданности он виновато, но и с внутренним упрямством смотрел то на Асю, то на сына. На его лице совсем не было радости.

– Я на дежурстве сейчас. Надо идти. Я приду еще... возможно, сегодня... – он отпустил Асину руку и осторожно отступил к двери.

– Гера! – Ася встала, закрывая рот рукой, глаза темнели и наполнялись слезами. – У меня Сева погиб...

– Сева... – Горчаков машинально повторил имя, понял, что речь идет о младшем. – Где он?

– Он погиб...

Ася стиснула зубы, слезы градом катились по щекам, но глаза не плакали, вцепились в мужа строго и страшно. Коля прижал ее к себе. Горчаков все стоял в дверях.

– Расскажи мне... – видно было, что он ничего не понимает и недоволен, что она плачет.

Ася смотрела все так же тяжело, смахнула слезы.

– Он утонул... в Енисее. – Она отвернулась и бессильно опустила голову.

– Я дежурю всю эту неделю в больнице, я обязательно приду... – Горчаков задумался на секунду, – завтра утром приду. Коля, проводи меня.

Вышли на улицу. Мрачный Романов курил у забора.

– Куда вы?! – он придиричиво изучал лицо Горчакова.

– Я приду, успокой мать... – Горчаков взял сына за плечо. – Очень неожиданно все это... Она сказала, что погиб Сева? Твой брат?

– Он ночью пошел на Енисей и провалился... – у Коли тоже текли слезы.

Горчаков хмуро разминал в пальцах курево, табак сыпался. Он прикурил, полупустая папироса вспыхнула огнем.

– Енисей не встал еще, – вмешался Валентин, – на быстрине текло... да ночь еще эта, лунная... Луна была во все небо! Ты с Асей осторожней, Николаич, она таких вопросов не выдержит... плачет все время! Сердце у нее в хлам изорвано!

Горчаков кивнул и вышел за калитку.

Романов и Коля вернулись в дом. Ася бледная, с мертвыми глазами стояла у порога, прижавшись виском к стене. Ухватила себя за кофточку на груди и не плакала.

– Пойду за водкой! – Романов решительно развернулся, зацепил плечом косяк, с потолка посыпалась известка. – Колька, не отходи от матери!

Горчаков возвращался в больницу. Шел, не видя ничего, и пытался понять, что сейчас произошло. Это была жена, которую он не помнил, сын, которого не знал, еще один сын... Реальным был только Валентин Романов, но и его он таким никогда не видел. Горчаков замедлил шаг, он вышел уже из Бакланихи на широкую улицу... Свадьба гуляла у одного из барачков, нарядный выпивший жених с пьяными товарищами брал штурмом крыльцо невесты. Подружки невесты не пускали, визжали на всю улицу, перекрикивая гармошку.

Впереди показалась больница. Горчаков пошел медленнее, он не понимал, как его младший сын, существовавший где-то на западе, совсем в другом мире, мог утонуть в Енисее. Его жена и его сын продолжали быть нереальными, ему странно было с ними разговаривать... Николь с ее детьми, несчастный Сан Саныч, сходящий с ума по Николь, беспокоили его больше...

Горчаков подошел к больнице и сел покурить на лавочку. Сегодня утром после обычного аппендицита у него в лазарете умер шестнадцатилетний мальчишка. Сиделка недоглядела. Уснула, и парнишка тупо истек кровью. Этого дистрофичного мальчишку с трассы, из проклятого двадцать шестого лагеря, ему было жалко. Он думал подержать его, подкормить и на пару месяцев освободить от общих работ. Даже сказал ему, и мальчишка прямо засиял, что не попадет на общие.

Про своего сына Севу он не мог ничего себе представить. Видел только неприятно страшные, почти звериные глаза Аси. Он от нее отвык, но она была все та же, что и в молодости... Решительная и верная. Только тогда у нее не было детей.

Он пришел к ним на следующее утро. Валентин куда-то ушел, Коля спал, они сели с Асей на крылечке. Сегодня оба чувствовали себя полегче. Стеснялись, но смотрели друг на друга. Ася рассказала о матери, о сестре, вспомнила общих знакомых. Рассказала и об их жизни у Романова. Говорила от стеснения, больше хотелось посидеть с ним молча, просто прислониться. Ей казалось, так у них раньше и было, но возможно и не было, – она ясно видела, что не отличает Горчакова настоящего от того, кто долгие годы жил только в ее воображении.

Они могли бы говорить о Севе. Ей этого хотелось, но она не могла. А он не спрашивал. Они замолчали.

Ермаково давно проснулся и снова зажил своей обычной вольно-лагерной летней жизнью. На Енисее гремел пустым металлическим трюмом какой-то лихтер, буксиры гудели, на лесозаводе рокотали трактора, машины поднимали пыль с деревянной дороги. По радио у соседей звенела бодрая комсомольская песня.

Ася сидела, опустив голову, перебирала платье на коленях и о чем-то думала, он осторожно рассматривал ее. В темных блестящих волосах почти не было седины, это была все та же Ася, только очень повзрослевшая, очень худая... и все такая же крепкая. Она всегда была внутренне очень сильна. Он рассматривал ее, как рассматривают постороннего человека. Он все еще не понимал, что это она и что она здесь, в Ермаково.

– Что же будем делать? – Горчаков хотел оживить молчавшую рядом женщину. Женщину, потерявшую ребенка.

– Мне не надо было приезжать...

– Наверное, нет... это место опасно для вас.

Ася едва заметно кивнула, соглашаясь с чем-то, заговорила тихо:

– Ты прав, конечно, я сделала страшную ошибку. Я не обижаюсь, что ты нас прогоняешь... – она вздохнула и продолжила, будто сама с собой говорила: – Хотела, чтобы ты их увидел... это была большая глупость. Никогда не прощу себе... – она застыла, замолчала, хмурясь и удерживая слезы. – Мальчишки тоже любили тебя, они хотели к отцу, и я радовалась. Это же очень простая радость, когда дети любят своего отца... – Ася повернулась на Горчакова. – Сева был необычный...

– Расскажи о нем, – Горчаков от неловкости вытряс папиросу из пачки.

Ася молчала, покачала головой.

– Коля проснется, посмотришь фотографии, я не смогу рассказать. – Она судорожно вздохнула, потом прошептала, отвернувшись: – Я так много с тобой разговаривала, пока тебя не было. Ты был другим...

Горчаков прикурил, погасил спичку:

– Я предупреждал тебя.

– Да, помню, главная мысль в последних письмах, что ты мертвый и ничего уже не надо!

– Это не мысль, это правда, Ася! – Горчаков спокойно изучал ее сквозь очки. – Я отказался от писем, потому что мне уже не выбраться отсюда. Зачем ты приехала? Здесь не место человеческим отношениям!

– Я тебя просто любила. Да и сейчас, наверное, люблю...

В домике загремел рукомойником Коля. Ася прислушалась и продолжила торопливо:

– Мы тебя любили, я все рассказала мальчишкам, и мы были хорошей, любящей семьей все это время. Ты, я и они – семьей! Одним целым!

Горчаков молча курил. В ее голосе был тяжелый упрек. На Енисее, отходя от пристани, протяжно заревел пароход, ему ответили на разные голоса.

На крыльце в одних трусах возник Коля:

– Доброе утро! Я решил каждое утро обливаться холодной водой!
Ася улыбнулась, это было не в первый раз. Горчаков вспомнил особиста Иванова, тот тоже обливался.

– Пап, ты когда-нибудь обливался?

– Нет, – уверенно мотнул головой Горчаков.

– А когда был геологом?

– Нет. Я спать любил...

– Ну что ты на себя наговариваешь? – не согласилась Ася. – Всегда рано вставал.

– Пойду на озеро! Кто со мной?

– Полотенце возьми!

– Не надо, тепло! – Коля убежал, брэнча пустым ведром.

Горчаков смотрел ему вслед и растерянно улыбался.

– Он назвал меня «папа»! Взял и назвал – очень странно!

– Что же странного, они все время так тебя называли.

– Да?!

Калитка отворилась, с двумя большими авоськами вошел Валентин. Заругался негромко:

– Николаич, ты как маленький! Чего на крыльце вместе сидите? Зайдите в дом!

Ася стала убирать постели, Валентин поставил покупки на стол.

– Пойдем покурим! – позвал Горчакова.

Они вышли и направились к озеру.

– Ты извини, Николаич, что лезу к тебе, но что-то ты не то... – Валентин хмуро глянул на свою папиросу. – Я думал, обрадуешься... они к тебе ехали! А ты?! Вот, черт, кто эти папиросы придумал?! «Спорт», ети иху мать! Чего туда напихали?

– «Беломора» не было?

– Не было, я этого говна десять пачек взял... – Валентин в досаде чиркнул спичкой, раскуривая погасшее курево. – Ты совсем с ними неласковый! Как чугуняка, ей-богу! Она сегодня всю ночь не спала...

– Валя, ты о чем? Хочешь, чтобы они тоже жили этой жизнью? Возле лагеря?!

– А я ее понимаю! – уперто нахмурился Романов. – Если бы не моя малышня, уехал бы к Мишке, пешком бы пошел, только чтобы рядом с ним быть!

– Ты – отец!

– И ты отец!

– Ну какой я отец? Шестнадцать лет в лагере! Я вообще не знаю, что это такое.

– Это не важно! Они полгода к тебе ехали, да с малым еще случилось... Ася твоя... – Валентин замолчал и шел некоторое время сосредоточенно глядя под ноги. – Всей душой она к тебе! Ты этого не понимаешь... Я так думаю, сколько отпустит вам Господь, столько и ладно. Ты ее снова полюби! Она тебе детей везла, а ты мысли умные высказываешь! – Он в сердцах бросил в кусты погасшую папиросу, а за ней и всю пачку. – Дай твоего «Беломора»!

Валентин остановился, прикурил, не с первого раза, сунул в карман спички:

– Могу твою Асю с Колькой забрать к себе на остров. Будешь приезжать, когда сможешь...

Горчаков поморщился в досаде:

– Я сегодня тоже не спал, Валя! Ничего не придумал!

– Ты что же, не любишь ее?

Горчаков долго шел молча, остановился:

– У меня ближе нет никого, но... – он сокрушенно затряс головой, – она думает, что приехала ко мне, а не к бесправному зэку! И не слышит ничего, в такой горе... – он опять остановился. – Вот сын погиб... Она его грудью кормила, он рос на ее глазах, а я его даже не представляю себе.

Выбрались на берег озера, сырая тропинка вдоль воды вела к бревну, возле которого стояло Колино ведро для обливания. Валентин шел за Горчаковым, о чем-то напряженно думая, вздыхал с кряхтением:

– Погоди, Николаич, раз уж такой разговор... – Валентин остановился. – Про свое хотел тебя спросить. – Он вздохнул шумно, не решаясь начать. – Помнишь председателя этого, Шульгу, ты его видел как-то... Угробил я его, грешник, в проруби... – Валентин замолчал, глядя, как сапоги погружаются в черную жижу. Поднял голову, строго прищурившись: – Ну вот, значит, так... Было за что, да он, сволочь... по ночам я его стал видеть – держу его в проруби, так вот, руку по самое плечо запустил, а он хватается за тулуп, за лед, руками бьется и на меня смотрит. Вот такие глаза вижу! Сквозь воду! Понимаешь? Проснусь, и кажется, будто ребятенка топлю неразумного... даже и днем иногда вспомню!

Романов тяжело замолчал, потом добавил, оправдываясь:

– Я тебе про мальчонку-то рассказывал беглого. Ну вот, и он, значит, ушел... Тогда этого председателя совсем не жалко было, а теперь проснись ночью и про своих ребятишек думаю. Крепко я замарался, видать...

– Был бы я поп, Валя, я бы тебе этот грех отпустил. За подлеца Господь не взыщет!

– Вот и Анна тоже... каждое утро отмаливает меня... Худо человека-то губить... – Романов смотрел с досадой и растерянностью на рябом лице. – Зря я тебе... это Анна мне все про таблетки, которые для сна. Снорвотные, что ли, как они... видит, я не сплю. Спроси, мол, у Николаича таблетки. Ну ладно, спросил, и ладно. Вон твой Колька куда заплыл, зараза! Коль-ка-а! – заорал он неожиданно громко и строго. – Давай к берегу!

Горчаков посмотрел на часы и заторопился:

– Мне пора, Богданов сегодня возвращается из Игарки.

– Ты что же, все время теперь в этой больнице?

– Да нет. Пока врачи в отпусках.

– А у тебя в лазарете кто же?

– Медсестра.

– Ну-ну, не поешь с нами?

– Не могу. На этот час еле ушел.

– Тогда ночью приходи. Мы с Колькой на ночную рыбалку уйдем...

– Нет, – Горчаков нахмурился, – без пропуска останусь. Объясни ей.

– Она не поймет. Спрашивала, не может ли она с тобой подежурить, – Романов усмехнулся. – Скучает она по тебе.

Богданов прилетел чем-то сильно недовольный, устроил общую дезинфекцию хирургии, и день выдался суетный. Только поздним вечером, после одиннадцати, Горчаков остался один в ординаторской. Включил негромко приемник, в это время всегда передавали классическую музыку, открыл окно и сел на подоконник. Запрещено было, но он тут курил, со второго этажа хороший вид был на озеро.

Собиралась гроза, тучи висели низко, клочковатые, целый день обещали они хороший ливень, но его все не было. Только грохотало

временами. Даже комары притихли из-за духоты. Горчаков курил и думал о Романове. О его переживании. Так это было непохоже на молчаливого, всегда в себе, угрюмого бакенщика. Горчаков по себе знал, что такое черствое сердце, сколько раз прямо на его глазах случалась смерть. Валентин еще грубее казался ему в этом вопросе, но выходило иначе.

Он не раз сегодня представлял себе картину, которая не давала покоя Романову, только захлебывающимся и хватающимся за лед был не председатель, а его Сева... Горчаков сидел, застыв над неподъемной мыслью. Думал об Асе. Обнимал ее плачущую, прижимал к себе. Хрупкая женщина шла против бесчеловечной ненасытной машины, тихо отстаивала право людей любить друг друга.

Горчаков замер. Из приемника звучал Шопен, первый концерт для фортепиано в хорошем исполнении. Георгий Николаевич машинально, по привычке пытался понять, кто играет, но в это время где-то над первым лагерем заскрежетал и порвал небо гром. Он перегнулся через подоконник, высматривая молнию, и услышал шепот и смех. У запасного выхода на лавочке сидели вольный санитар Красин и медсестра Леся. Леся была западная украинка, красивая, с темными умными глазами, очень честная и работающая. Она, вместе с матерью и отцом, получила десять лет лагеря за то, что не донесла на брата. Брату было двенадцать лет, его поймали, когда он расклеивал листовки «Слава Украине!».

У Красина с Лесей была любовь, они и сейчас целовались, шептались и радовались чему-то внизу под окном Горчакова. Георгий Николаевич отодвинулся вглубь комнаты. Любовь у ребят была платоническая и над ними, особенно над Красиным, посмеивались.

Гром теперь заворчал над Енисеем, молния ударила туго и рядом, будто в соседней комнате что-то тяжелое упало, первые капли со звоном вонзились в подоконник. На улице стало темно. Георгий Николаевич сделал погромче музыку, закурил новую папиросу и выглянул. Красин с Лесей, обнявшись, стояли под навесом у входа. Дождь лил уже вовсю, гроза бушевала, то и дело рвала небо, а они стояли, прижавшись.

Играл Святослав Рихтер, Шопену только нравились шум ливня и близкая гроза, он звучал бесстрашно, с огромной верой. И как-то вдруг,

вместе с великим поляком, очень спокойно и ясно пришла в душу Горчакова необычайная, невероятной силы вера Аси.

Ее сложная вера в жизнь.

69

Николь родила восьмого августа. Ее привезли на телеге в Лугавскую больницу из совхозного овощехранилища, где она вместе со всеми солила огурцы в большие бочки. Никто так и не решил вопрос с ее декретом. Для этого надо было ехать в Минусинск, в райбольницу за двадцать пять километров. Транспорта не было, пешком она не пошла. Все решили роды, они прошли легко, и она наконец получила два законных месяца декретного отпуска.

Их выписали на следующий день утром, а уже к вечеру мальчик покрылся красной сыпью. Он не спал всю ночь, все время кряхтел и плакал. Николь кинулась обратно в больницу, но ее не приняли, наорали, что она где-то дома подцепила инфекцию, и теперь ей с другими роженицами нельзя. Николь пошла к главврачу. Это была нестарая, лет сорока женщина, сосланная до войны. Черноглазая, симпатичная, она говорила тихим голосом и старалась выглядеть убедительной. Она больше походила на партработника, чем на врача.

– Слушаю вас? – врачиха смотрела вежливо и строго.

– У ребенка сыпь, Наталья Сергеевна, а его не хотят смотреть!

– Все правильно, у нас нет инфекционного отделения! Вам сделали одолжение, что взяли сюда рожать. Вы должны были в Минусинск ехать.

Мальчик, болезненно кряхтевший до этого, тихо заплакал. Лицо тоже все было в сыпи. Николь, растерянно улыбаясь врачу, стала чуть распускать пеленку.

– У него температура! Посмотрите его, пожалуйста! Нужны же лекарства, у меня есть деньги!

– Не раздевайте его! Вы что?! Это краснянка, идите домой и помойте его слабым раствором марганцовки... – она встала из-за стола и, не касаясь ребенка, открыла Николь дверь.

– Пожалуйста, дайте лекарство! – взмолилась Николь.

– Еще раз вам говорю, вы заразите других детей! Это подсудное дело, мамаша! – главврач говорила по-прежнему негромко, но уже с досадой.

– Только посмотрите, и я уйду! Скажите, какое лекарство! – Николь положила плачущего ребенка на кушетку и стала распеленывать.

Взгляд врачихи потемнел:

– Вон отсюда! – зашипела. – И чтобы я тебя больше не видела! Вон! Иначе напишу...

Николь оставила ребенка, шагнула вплотную к врачихе и с силой закрыла дверь:

– Если он умрет, я тебя убью! Зарежу, как овцу! Я в тюрьме сидела! – Николь с ненавистью глядела ей прямо в глаза. – Зови педиатра, сука!

Врачиха отшатнулась, выставила перед собой руки и замотала головой:

– Вы меня неправильно поняли, я... Хорошо-хорошо... – оглядываясь на Николь, она трусливо выглянула в коридор. – Клава, позовите, пожалуйста Зинаиду Марковну.

Вскоре пришла пожилая толстозадая тетка с черными усиками и большой бородавкой на щеке. Вымыла руки, уверенно развернула малыша, осмотрела, поставила градусник и прикрыла пеленкой.

– Иди домой, мамочка, дам сейчас лекарство, а вечером зайду. Ты у кого живешь?

– Мы на Партизанской... дом восемь. У Матвеевны.

– Ну-ну. Знаю.

Николь снова отправилась домой. Катя, пока она рожала, оставалась с хозяйкой. Матвеевна не стала дожидаться врача, сходила за соседом – высоким сухим стариком. Николь заупрямилась, но у деда были такие мягкие и спокойные глаза, что она пустила его к мальчику.

Старика звали Ефим, он неторопливо осмотрел ребенка, тот сразу перестал плакать, пощупал температуру и вышел из избы. Вскоре вернулся с травками.

– Что у него, дедушка?

– По-ученому – пузырчатка... – дед залил траву кипятком.

– Это опасно?

– Для малышей все опасно, титькой кормишь?

Николь кивнула.

– Корми, это лучше всего. Молока много?

– Много. Доктор вечером придет, вот таблетки дала.

– Какой доктор? – старик даже не глянул на таблетки.

– Зинаида Марковна...

– А-а, Марковна... Михельсон ее фамилия. Хорошая женщина.

Зинаида Марковна пришла и просидела с трясущейся Николь до самой ночи. Рассказала, как лечить, расспросила о жизни. Матвеевна накормила их молодой, с голубиное яйцо, картошкой, изжаренной в масле. Мальчик, то ли от лекарств и травок, то ли от присутствия доктора, заснул. Ночью он снова проснулся и плакал, надрываясь. Лицо было красным, а губы посинели. Обезумевшая Николь, ежеминутно вглядываясь в личико, ходила с ним на руках. Пыталась кормить, но он не брал грудь, она качала и качала, и даже запела от испуга французскую колыбельную. Она не могла сказать, откуда ее знает, не пела ее Кате, она и теперь не помнила всех слов... Ребенок уже не плакал, но странно сипел, и Николь показалось, что он совсем задыхается. Она заплакала. Матвеевна молча встала за своей перегородкой, оделась:

– За Марковной сходить? Или за батюшкой? – спросила, спокойно повязывая платочек.

– За Марковной! – с испугом взмолилась Николь. – побыстрее! Пожалуйста!

За окном уже светало. Николь в отчаянии прижимала к себе крохотного мальчика, ходила и ходила с ним по горнице, но вдруг остановилась и заглянула на половину хозяйки. В углу висело несколько больших темных от старости икон, украшенных бумажными цветами. Она встала на колени, ее лицо было полно необъяснимой решимости:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! Господи, не допусти, нельзя этого... за что ему такое, посмотри не него, он совсем беспомощный. Ты дал его, ты все можешь, возьми меня... – она бормотала и бормотала, требовательно глядя в тьму иконы с едва различимым ликом. Слезы капали на мальчика, она стирала их сухими губами.

Когда пришла врачиха, Саша спал. Перед этим он сильно вспотел, она страшно испугалась, выбежала на улицу, но он начал

успокаиваться, она поменяла пеленки, и он уснул. Матвеевна поставила чайник. Николь с врачихой курили на крыльце. Молчали, Николь всю колотило. Она с отчаянием и ненавистью смотрела куда-то сквозь землю и смахивала злые слезы.

Зинаида Марковна стала каждый день заходить к Саше. Она была ровесницей века, но выглядела намного старше – москвичка, дочь известного врача-педиатра, больше двадцати лет своей жизни провела в Сибири, в ссылке. Чудом миновала тюрьмы и лагеря. Замужем никогда не была, детей не было.

Она лечила Сашу и его мать, у которой был сильный нервный срыв, – Николь ни на шаг не отходила от ребенка, временами у нее вдруг по-старушечьи начинали дрожать руки и накатывала паника – она хватала Сашу и Катю на руки и, как безумная, пыталась с ними спрятаться... Потом долго приходила в себя.

Таблетки помогали плохо, и после очередного приступа Матвеевна позвала деда Ефима. Николь обессиленная лежала на топчане, старик сел рядом, взял ее руку. Николь молчала, он тоже, только гладил ее худую ладонь, увидел бородавки на пальцах, спросил давно ли, бородавки были давно, поднес к глазам. И зашептал что-то, почти касаясь губами ее ладоней, водил пальцем вокруг бородавок и шептал неразборчивое.

Через несколько дней бородавок не стало. Не стало и приступов. Ефим еще приходил, приносил травок к чаю, меду в сотах. С Зинаидой Марковной подолгу сидели вечерами, Николь рассказала ей всю свою жизнь.

Сан Саныч Белов – маленький вскоре поправился.

По поводу Сан Саныча большого врач Михельсон ничего посоветовать не могла.

Николь в третий раз уже отправила письма в Ермаково и Дорофеевский. Ответов на свои прежние послания ни от Али, ни от Марии она не получила. Это было очень странно – почта работала неплохо и до Ермаково письмо должно было дойти недели за полторы-две... Через день она пошла отмечаться в комендатуру и там, в кабинете хромого коменданта, он как раз, постукивая култейей, вышел налить воды в графин, увидела ответ на свои сомнения. На стуле рядом со столом лежали все ее письма. Николь узнала их по красивым

конвертам и маркам, которые Сан Саныч привез из Москвы. Письма были перемотаны бечевкой и явно приготовлены к отправке.

– Это мои конверты! – возмутилась Николь, когда комендант вернулся.

– Кого? – он прикрыл письма подвернувшимся «Личным делом» и строго повернулся к ссыльной. – Не твоя забота! Давай бумажки, отмечу!

– По какому праву у вас мои письма?! Это нарушение закона! – наседала Николь. – Мне что, запрещена переписка?

Комендант хмурился, чувствуя свою оплошку.

– Ты горлом не бери! Была команда! – он ткнул пальцем в потолок. – Я – человек маленький!

– И куда вы их? – пыталась Николь.

– Иди отседа! Здесь я задаю вопросы! А то рапорт на тебя составлю! – он так громко топнул деревянной культей, что Николь попятилась к двери.

– Отдайте мне письма! – попросила уже потише.

– Так, стой! Тебе еще анкету надо! – он сунулся в стол и достал анкету. – Завтра принесешь заполненную! Ступай домой!

Рапорт он, конечно, писать не стал, с него бы и спросили, а вот чекушку из-за сейфа достал. Дрожащей рукой налил почти полный стакан и тут же выпил. Огурцом захрустел. Сам думал о человеческой несправедливости. Ведь он этой засранке с ее ребятишками помогал, как мог, а она вон чего! Георгий Емельяныч долил остатки водки в стакан...

Николь сидела дома над анкетой. Она была отпечатана на машинке и очень странная. Речь в ней шла о Франции, и она сразу поняла, что это имеет отношение к Сан Санычу. Никто больше десяти лет не вспоминал о ее французском языке. В голову нечаянно забредали мысли о французском посольстве, которое могло ее разыскивать... но она тут же морщилась от глупых выдумок – кто мог искать ее здесь? Дело было в Белове, это значило, что следствие еще идет и его обвиняют в связях с иностранкой.

Она покормила Сашу, потом сцеживала лишнее молоко, укладывала Катю и думала, думала. Она не знала, что делать. Не было бы Сан Саныча, она, конечно, заявила бы, что француженка, и ее могли отправить во Францию. Николь застывала от такой мысли. Такие

примеры бывали. Поляков во время войны, не всех, но очень многих, выпустили из лагерей. Французы воевали против фашистов, французы были союзниками... Это были старые мысли, они очень терзали сердце, особенно сразу после войны. Тогда и Франция снилась каждую ночь...

Анкета была с какой-то хитростью. Знаете ли вы французский язык? Учились ли когда-либо во Франции? Где? Опишите учебное заведение... Такие вопросы не могли задаваться всем, их кто-то придумал специально для Николь. Временами ей казалось, что Сан Саныч зачем-то рассказал о ней, а его показания проверяют таким образом. Но зачем ему было рассказывать, если за это грозил срок? Может быть, он так пытался отправить ее во Францию?

Гадать было бессмысленно. Николь не знала, что с ним, ясно было только, что он не на воле. Она вспоминала его «попытку» сотрудничать с органами... это только запутывало. Она еще раз перечитала странную анкету и решительно взялась за карандаш.

Не говорю.

Не жила.

Не училась.

Родилась в Латвии...

Она не верила бесчеловечной власти коммунистов. Судьбу Сан Саныча и ее детей могли решить, как взбредет в чью-то больную голову. Так же десять лет назад они решили ее судьбу.

Следующие письма в Ермаково и Дорофеевский со своего адреса отправила Зинаида Марковна. Была уже середина августа, ответа можно было ждать только в сентябре. И Николь была трусливо рада этой отсрочке.

Она не ждала хороших новостей.

Сан Саныч сам стоял за штурвалом «Полярного». Живой-здоровый, только беззубый, когда улыбался, и с неотросшими волосами. «Отрабатывал неотбытый срок наказания на предприятиях Строительства-503». Так значилось в его документах.

За кормой буксира тащились две баржонки корпусом. Шли из Ермаково в Дудинку, потом дальше – в заливе была работа с рыбаками. Как и в сорок девятом, когда познакомился с Николь. Он невольно вспоминал то счастливое беззаботное время, полный невод, чайки весело орали и воровали рыбу, а Николь ходила голыми ногами в холодной воде и улыбалась...

– Сан Саныч! – в рубку заглянул Егор Болдырев. – Левее возьмите! Как раз бакен снесем!

Белов очнулся, стал переключивать штурвал, солнце слепило так же, как и тогда.

– Иди встань! – приказал и вышел из рубки.

Было еще рано, но пекло уже изрядно, двери были открыты для сквозняка, коричнево-желтые пауты^[145] залетали стремительно и ползали по стеклам. Егор встал к штурвалу, подруливал, оборачиваясь на баржи за кормой. Папиросу подкурил. Егору исполнилось девятнадцать, он курил уже никого не стесняясь, был ростом с высокого Белова, но шире в кости и выглядел крепче. Егор был уже не боцманом, Белов попросил в отделе кадров назначить его вместо Фролыча. Это было нарушением, на старшего помощника Егору не доставало ни опыта, ни квалификации, но командного состава не хватало – на Енисей каждый год приходили суда с материка, и трофейные немецкие, и новые, свои.

От прошлогодней команды осталось совсем немного – Померанцев, Климов да Егор. Остальных набрали заново. Кочегарами работали два тихих, исполнительных поволжских немца, один был родом из Маркса, другой из Энгельса, так их и звали за глаза – Маркс и Энгельс. На камбузе гремела посудой круглозадая и белолицая украинка откуда-то «с-под Одессы», она приворовывала, считая, что имеет на это полное поварское право, а может просто привыкла, и под кроватью у нее скопились такие запасы, что пихать было некуда... но готовила очень вкусно.

Белов встал за рубкой, здесь не было ветра, на солнце грелся. После седого карьерного холода весь его организм постоянно мерз. Почти два месяца он искал Николь и за это время ни откуда не возникло ни одной весточки – у них было полно знакомых, и все это можно было... В голову лезли страшные мысли, в которых были то овчарки, то ледяная енисейская вода... Он злился на себя до хруста в

челюстях, гнал из головы дурное, но ему мнилось и мнилось самое плохое.

Пережитые им осень, зима и весна грубо и очень понятно объяснили, что в их жизни могло быть все, что угодно. Николь могли изнасиловать урки на этапе, могли взять органы и делать с ней, все, что им захочется... а потом посадить или, как ссыльную, загнать с ребенком на дальнюю рыболовецкую факторию, как тех несчастных на Сарихе.

Сан Саныч уже наделал ошибок и потерял кучу времени. В июне, по горячим следам, он как безумный метался по енисейским поселкам и ждал, что сейчас, вот сейчас их увидит... Беда была в том, что горячка эта не прошла, он и теперь сходил на каждой пристани. Он не знал, как еще ему искать. На официальные запросы он не имел права.

Он очень надеялся на Дорофеевский – там его могло ждать письмо. Он написал Герте, но ответа пока не получил, письма по заливу шли с оказией. Теперь же, через неделю-другую, он сам должен был прийти в Дорофеевский. Белов глянул по берегам, они подходили к Игарке.

В городе ничего не изменилось. Он обошел всех знакомых, Николь никто не видел, она никому не писала.

Утром следующего дня «Полярный» зацепил баржи с пустыми бочками и солью и заторопился вниз. Сан Саныч останавливался везде, где и не надо было – в Усть-порту, в Казанцево, в Карауле – и везде сходил. Ссылных было так много, что он искал иголку в стогу сена. Николь с Катей могли быть на любой крохотной фактории.

Ценная рыба косяками поднималась из залива в Енисей, и рыболовецкие бригады стояли через каждые пять-десять километров. В указанных точках – это были бригады заключенных Строительства-503 – «Полярный» выгружал пустую тару, брал соленую рыбу и шел дальше.

Метод толкания был принят в пароходстве, но внедрялся медленно, не было нужной оснастки для барж и буксиров. У Белова за кормой тащились на гаке две старые баржи Строительства-503. Там про толкание никто и не слышал.

Погода стояла хорошая, Енисейский залив за Сопочной Каргой, как настоящее море, во все стороны уходил за горизонт. Шли мимо

речки Сариха, за два года здесь уже возникла целая фактория. Сан Саныч, неожиданно для себя перебрал телеграф на «малый» и стал делать оборот к берегу. Отдали якорь, на слабом течении залива баржи неторопливо вытягивались друг за другом.

Две большие лодки со сложенными парусами покачивались у мыса, где впадала речка. Над длинным основательным баракком торчали три трубы. Даже резное крылечко соорудили, отметил Сан Саныч. Огромная поленница, размером с барак, прикрывала жилище со стороны тундры.

Под навесом летней кухни топилась большая печь. Время было обеденное, за длинным столом сидели Карл Иванович и несколько девушек. Повариха с повязанной головой и в чистом переднике стояла у кипящего котла и смотрела, как с «Полярного» спускают шлюпку.

На берег отправились Сан Саныч с Егором. Померанцев был недоволен двигателем, и они с Климовым возились в машинном отделении. Кто-то из команды курил на борту, разглядывая залитую солнцем тундру. Повариха негромко «спевала» на камбузе, стучала ножом. Было тихо, над буксиром тут же появились мошка и комары и принялись за дело.

Карл Иванович, улыбаясь, вышел навстречу шлюпке:

– Пожалуйста, к столу, товарищ Белов! Очень вам рады!

– Мы на минуту. Узнать, как вы тут?

– Слава богу! Живем помаленьку. Пообедайте с нами!

– Спасибо, уже обедали. Идет рыба?

– Идет, самое время!

– И начальник ваш... Турайкин... – не сразу вспомнил фамилию уполномоченного Белов, – всё с вами?

– Бог миловал! Как увезли вы его, так и не видели больше, меня бригадиром назначили. Мария, наливай чай гостям. – Карл Иванович жестом пригласил за стол.

– Новеньких никого нет? – Сан Саныч не хотел расспрашивать при Егоре.

– Нет, все прежние. Чай у нас с чабрецом, – угощал Карл Иванович.

– А где же народ? – поинтересовался Егор, отхлебывая из кружки и отмахиваясь от мошки.

– Тут только часть, остальные ниже по пескам стоят... Мои-то сегодня на охоту ушли.

– На какую охоту? – оживился Егор.

– Гусей будут ловить на озере. Всю ночь с ненцами какие-то заборы строили.

– А далеко? – Егор вышел из-под навеса и стал всматриваться в тундру.

– Километра полтора, гуси-то сейчас линные, не летают... – Карл Иванович смотрел несколько виновато. – И жалко этих гусей, а что делать? Засолим на зиму. Рыба с декабря почти не попадает, весной кору ивовую к муке подмешивали.

– В Сопкаргу пешком ходили? – спросил Белов.

– Так точно, – улыбнулся Карл Иванович, – двадцать пять километров. День туда с нартами, день обратно. Рыбу сдадим, крупы выдадут.

– А если медведь? – спросил Егор.

– Бывает. Прошлой весной один прямо сюда ходил. Понял, что у нас оружия нет, и не боится, только невод вытянем, он и тут! Девчонки от него в избу...

Из-за барака вышел парень с кучей сетей на плечах, сбросил возле вешал. Поздоровался, подходя к столу.

– Марта, дай хлеба! На всех ребят... – он устало присел на лавку и налил себе чая. – Все сделали, сейчас начнем.

– Много гуся? – спросил Егор.

– Черно в центре озера! – глаза парня блеснули азартом. – Многие, правда, уже летают.

– Сан Саныч, можно, я схожу, гляну? – Егор умоляюще посмотрел на своего капитана.

– Не получится, – Белов встал, протянул руку Карлу Ивановичу. – Бывайте здоровы. На оружие вы имеете право, я узнавал.

Все вышли к берегу.

– Лайма долго тогда болела, спасибо, что увезли ее... – сказал Карл Иванович и поклонился.

Их встречал Померанцев. С черными по локоть руками и погасшей папиросой во рту:

– Менять начали поршень, Сан Саныч. Чуть живой был, хорошо, поглядели...

– Надолго?

– До вечера провозимся. По-другому никак...

Под это дело Егор отпросился на берег. Шлюпку еще не поднимали. Сан Саныч был нервный, он и все время был нервный последнее время, но отпустил.

Уже вскоре Егор с парнем подходили к низинке, в которой ловцы варили чай. Вместе с ненцами человек пятнадцать собралось. На всех самодельные накомарники – из тюля, из чулок, многие в зимних варежках. Дымари в банках чадили, но мошка все равно серым гудящим роем висела над головами и ползала по людям.

– Засем рузё? – заволновался один из ненцев, увидев у Егора ружье. – Не нада рузё! Совсем тиха нада! Я все показать буду!

Ребята и девушки, не евшие с утра, разбирали краюхи.

– Хлеб кусай и пойдем! – решительно скомандовал старший ненец и, допив свой чай, встал.

Егор, осторожно отмахиваясь от мошки и комаров, рассматривал сквозь кусты громко, на разные голоса галдящую пеструю массу в середине большого озера. Ближний конец был узкий, здесь вытекал ручей, по его берегам были натянуты рыболовные сети. Сужаясь, этот коридор вел в большой загон из невода.

– Ты туда ходи! – рассылал ненец людей. – Ты туда! Когда псиса беги, маненько токо махай рука. Совсем берег не ходи, они разный сторона беги, нисего не поймай! Моя лодка пойди. Никода тута не тарапися!

Люди, прячась за кустами, двинулись вокруг озера, Егор остался. Ему не очень понятно было, как они собираются загонять гусей – озеро было большое. Обходили долго, мошка зажирала, заползала под накомарник, набивалась в рукава, Егор уже жалел, что пошел. Через какое-то время гуси забеспокоились, загалдели, а потом поплыли в сторону Егора. Из темной гогочущей массы отделялись и отделялись группы с вожаками. Птицы плыли быстро, передних вскоре стало хорошо видно. С другой стороны озера показалась маленькая ненецкая долбленка. Потом вторая и третья. Лодки плавали, подталкивая к ловушке массу птицы.

Егор подкрался ближе к берегу, он забыл о мошке и комарах, не шевелился, замороженный грандиозной, даже и страшноватой картиной. Птицы широким фронтом приближались к ловушке, и к

берегу, где притаился Егор. Часть гусей уже перелиняли и могли летать, они поднимались в воздух, но, сделав круг, снова садились к товарищам. Гвалт и резкий гогот стоял такой, что Егор невольно прикрывал уши.

Передовые птицы уже достигли берега, выбирались, прямо к Егору спешила большая группа гуменников, молодняк сильно отличался размерами и худобой. Птицы были уже совсем близко, когда Егор вспомнил, что должен пугать их, он высунулся над кустом, замахал руками, гуси кинулись врассыпную, помогали себе крыльями, подлетали, но, пролетев с десятков метров, падали и улепетывали в тундру между кустов и кочек. Один пролетел так близко, что Егор мог его схватить, но он, наоборот, испуганно сел за куст от большой птицы.

Недалеко от Егора бегал сосед, загоняя гусей обратно в воду, Егор встал во весь рост, засвистел пронзительно и тоже замахал руками. Гуси, поднимая черную мусть, кинулись в разные стороны, большинство устремились по ручью в сторону ловушки.

В сужающемся коридоре из сетей было уже много птицы, впереди всех плыли чернозобые казарки. Некрупные, аккуратные гусяки, как солдаты, двигались плотным строем. Только маленькими черными клювами вертели. Среди них выделялись краснозобые казарки. Эти, кирпично-красные с белыми щечками и небольшими черными головками красивые птицы, держались семьями. Только большие гуси – гуменники и белолобые – метались, словно понимали, что впереди ловушка.

Лодки поджимали сзади, загонщики надвигались с двух берегов. Какие-то гуси ныряли, плыли под водой и, вынырнув за лодками, улепетывали, громко радуясь спасению. Другие настырно и смело лезли на берег и исчезали в кустах. Рядом с Егором выскочил здоровый гусачина. Длинно вытянув шею вдоль земли, он ловко лавировал между кочками. Егор кинулся за ним, но гусь быстро удалялся, другой такой же выскочил рядом, Егор метнулся к нему, споткнулся о кочку и растянулся во весь рост. Через секунду и этого гусака уже не было видно. Птицы мелькали тут и там. Егор вспомнил про ружье, подумал, нельзя ли уж теперь стрелять, но не стал, вернулся к взбаламученному и истошно орущему озеру.

Плотный поток перепуганной птицы тек по ручью внутрь загона. Их было очень много, задние напирали, возникала давка, какие-то, размахивая крыльями, бежали по головам. Другие запутались и бились в сетях. Вопили истошно, большие и поменьше, черные, серые, белобокие, красноватые. Расправляли крылья и махали ими, но крылья, с не отросшими и не окрепшими еще перьями, изменяли птицам.

Весь берег, кусты, вода... все было в пуху и перьях. Загон был полон, там, как рыба в неводе, давили друг друга гуси. Один из ненцев закрывал вход неводом, под ногами металась птица, он хватал за шею подвернувшуюся, не обращая внимания на дерущиеся крылья, подносил головой ко рту и кидал в сторону уже безжизненную тушку. Егор поразился такой ловкости, он не понимал, что делает ненец. Помог закрыть вход.

В ловушке и вокруг орудовали люди. Гусиный ор стоял страшный. Егор хмурился сосредоточенно – его сердце охотника уже не радовалось богатой добыче. Сколько их поймали, не счесть было. Егор нагнулся через сетку, ухватил за крылья большого белолобого гуся. Тот рвался и вытягивал шею от охотника. Егору приходилось добивать подранков на охоте, но этот гусь был живой. Егор присел, морщась, зажал сильную птицу коленями, двумя руками стал крутить голову. Не вышло. Голова вернулась на свое место, гусь не кусался, только вытягивал шею от Егора и косил испуганные бусины глаз. Старпом разжал колени, и свободная птица рванула в тундру.

Егор достал папиросу и сел на зыбкую кочку, руки тряслись от возбуждения и ломали спички. Ненцы перекусывали гусям шеи за головой! Работали, как заводные. Все рты были в пуху и крови, но они не обращали на это внимания. Высокий и крепкий прибалт, Егор помнил, это он пел оперные арии в трюме баржи, азартно переламывал шеи и бросал тушки с бьющимися крыльями в одну кучу. Другие били палками, стараясь попасть по голове, а один светловолосый и высокий, жалобно морщась, просто отрывал головы. Он, как и ненцы, тоже был в крови.

Две девушки собирали битых в кучи.

Егору неудобно стало, что не работает, он поправил ружье, переброшенное через голову, приподнял сеть, пытаясь ухватить птицу, тут же несколько штук втиснулись в образовавшуюся дыру, Егор

придавил их коленями и, выбрав одного, остальным дал удрать. Девушка рядом только и делала, что отпускала, ни одного еще не убила. Это увидел и ее товарищ, закричал что-то недовольно по-латышски. Девушка ответила, всплеснув руками, и совсем отошла от сетки.

Егор выбирал самых крупных, ломал шеи – он научился! – и бросал рядом. Некоторые затихали сразу, другие долго еще били крыльями и гребли лапами. С трех сторон от ловушки уже высились темные, пестрые холмы битой птицы. Внутри еще оставалось немало. Ненцы присаживались, и у них в руках тут же оказывалась птица.

Со стороны Енисея слышались требовательные гудки «Полярного». Егор стал пихать гусей в два больших крапивных мешка. Вошло семь штук, покачиваясь под тяжелой ношей и спотыкаясь через кочки, направился к берегу.

На другой день команда «Полярного» обедала вкусным супом из гусятины. Похваливали Егора. Тот за ночь забыл о неприятных ощущениях, рассказывал, как много было птицы и как ловки ненцы. Про хозяйственных прибалтов...

– А куда денешься? Зима длинная! Кто о них побеспокоится? – Климов аккуратно вытер жирные губы. – Эти гуси людей от голода спасут...

– Зачем же зубами, не пойму? – морщился Померанцев, он никогда не охотился.

– Как зачем? – удивился Климов со знанием дела. – Так-то лучше всего – куснул, гусь и загнулся, чего ему башку вертеть? Националы помногу их заготавливают. И тысячу, и две, бывает. Мне приходилось с ними, умелые ребята!

«Полярный» покачивало, тарелки, кружки ползали по столу.

– Потом ощипывают и на мерзлоту, под мох, – объяснял Климов.

– Все равно жалко, – Померанцев встал из-за стола. – Пока националы здесь одни жили, оно, может, и ничего. Но сейчас-то? По всем берегам ссыльные! Все и съедим, как саранча!

«Полярный» выходил мористее, качало уже основательно, пустая баржа сзади скакала на высоких волнах. Белов теперь всегда, когда бывал не занят, сам стоял за штурвалом. Как рабов приковывали на

галерах, так и его привинтили к «Полярному». Вместо того чтобы искать своих, он полдня лежал и слушал, как стучат в машине, меняя поршень, потом жрал этот дурацкий суп из гуся, теперь идет к самым полярным льдам... Сан Саныч замирал надолго, забывая следить за компасом. Вместо паспорта в его кармане лежала бумажка осужденного. Он был не человек, он был вроде этого гуся в ловушке.

Шли к южной оконечности острова Сибирякова, там со стороны пролива Овцына стояла большая бригада, ловившая белух. Климов вдвоем с молодым глазастым матросом вцепились в фальшборт на носу и высматривали мины. В этом районе от Крестовских островов мимо острова Сибирякова во время войны ставили минные поля, перегораживая проходы в залив. После войны их тралили, был обозначен судовой ход, но много и осталось. Какие-то мины отрывались, плавали свободно, и было несколько случаев подрывов.

Дошли без приключений. Только нос, рубка и палуба буксира с правого борта покрылись ледком. Остров Сибирякова, как и большинство полярных островов, был голый и низкий. Арктическая тундра – царство мха, седого, зеленоватого, кое-где красного. Здесь давно началась осень, стояли устойчивые морозцы и по долинке извилистой речки лежал снег. Свинцовое небо пробрасывало колючую крупку.

Пирс был крепкий, устроенный на мощных бревнах. Деревянный настил от него вел к двум разделочным сараям. Дальше, чуть в горку, росли в мох бревенчатый барак и несколько небольших домиков. Возле одного из них стоял трактор.

«Полярного» ждали, из приведенной баржи загрели по трапам пустые деревянные бочки, в обратную сторону тяжело покатали бочки с соленой рыбой. Сиг, чир, муксун, омуль, ряпушка – было написано мелом на крышках. Следом за «Полярным» подошел небольшой сейнер. С него прямо на пирс выгрузили лебедкой четырех белух.

Полярные дельфины лежали большие, неправдоподобно белые и неподвижные. Мужики наводили ножи, присаживались к животным. Женщины несли соль в мешках. Все были веселые, смеялись, обсуждали что-то оживленно. Немецкая речь мешалась с русской. В бригаде, работавшей в поселке, в основном были немцы.

– Ветер помог, – закуривал с товарищами довольный капитан сейнера. Из уважения к Белову он говорил по-русски. – Косяк селедки

к берегу придавило, ну и эти тут!

– Не рвут сети? – Белову было жаль дельфинов, он всегда радовался, встречая их.

– Веревочные рвут, металлическими ловим...

– На зверофермы?

– Ну. Но и сало у них хорошее, вкусное! – капитан что-то изучал на горизонте. – Всё. Север заворачивает. Надолго теперь.

– Я-то не успею уйти? – спросил Белов, он должен был ждать, когда разделают белух.

– К Илье-пророку зайди, – капитан кивнул на отдельный домик, – он скажет.

Мужики вспарывали прочную кожу и отворачивали толстый, в ладонь толщиной слой сала. Укладывали пластами, что получше в ящики, остальное в бочки. Пересыпали солью. Ветер усиливался, продувал одежду, Сан Саныч пошел на берег, поглядывая, как ведет себя «Полярный». За островом качало не сильно. Вся команда осталась на борту, он приплыл на шлюпке с одним кочегаром-немцем, у которого здесь были земляки.

Это была обычная бревенчатая избушка, с единственным окном на залив. Пожилой мужчина сидел в полутьме за столом и курил папиросу. Печка была открыта, трещала, подванивала дымом и освещала жилище красноватыми отблесками.

– Здравствуйте! – Сан Саныч вошел, снимая шапку.

– Здравствуйте! – ответил хозяин негромко и хрипловато.

Стол, умывальник, топчан, карабин на стене – все обычное, только радиоприемник большой и иностранной марки. Передавали музыку. Чайник на печке ожил и начинал подбрасывать крышку. Хозяин встал, неторопливо всыпал в заварник изрядную горсть и залил кипятком. Он делал все сосредоточенно, будто думал о чем-то и не хотел прерывать этих дум.

– Капитан «Полярного» Белов, – представился Сан Саныч.

– Григорий. Раздевайтесь, если хотите.

На удаленных, затерянных в море точках люди всегда бывали рады гостям, разговаривали, расспрашивали... Этот вел себя, словно вчера виделись.

– Я ненадолго. Прогноз не передавали? – Белов расстегнул фуфайку.

– Два дня будет север до двадцати метров, потом юг пойдет, – Григорий разлил в две кружки крепчайший чай и тут же, обжигаясь, с явным удовольствием потянул из своей.

– Новых ссыльных давно сюда не завозили? – Сан Саныч спросил и почувствовал, как заволновалось сердце.

– Кого ищете?

– Женщину... темненькую, с ребенком, она беременная, но могла уже родить.

– Не было.

На лбу, под глазами, на щеках пожилого дядьки застыли глубокие морщины. Это было уверенное и невозмутимое лицо много видевшего человека. Музыка кончилась, он внимательнее посмотрел на Белова. Ветер за стенами выл и дребезжал стеклом. Снаружи темнело, огонь в печке становился ярче.

– Сначала меня арестовали, потом ее с дочкой увезли... – Сан Саныч достал папиросы.

– Недолго они вас... – Григорий прищурился, словно изучал следы лагеря на лице Белова, но думал о чем-то своем. Взгляд был все такой же спокойный, этот Григорий чем-то сильно напоминал Горчакова.

– Восемь месяцев... – Сан Саныч задумался, долго это или недолго.

Григорий молчал, потягивал из кружки, папиросу подкурил. По стенам зашуршало, а выть стало тише. Над ледяным морем полетел снег. Белов вышел на улицу, разглядел «Полярный» на рейде, его слегка развернуло, но якоря держали. Несколько лаек забились от ветра под дом и с любопытством посматривали на незнакомца. Сан Саныч вернулся в тепло. Григорий сидел в той же позе и смотрел на волны, едва уже различимые в темноте.

– Вы начальник... пристани? – с сомнением спросил Сан Саныч.

– Я – начальник местных небес... – поднял бровь хозяин домика, – слушаю, как дышит океан, и брешу людям о ветре, дожде и снеге. Я не виноват, что они верят...

– Так это вы Илья-пророк?! – оживился Сан Саныч.

Григорий не реагировал, крутил ручку приемника, снова зазвучала классическая музыка. Он прислушался, как будто знал того, кто играет, и закурил новую папиросу.

Сан Саныч слышал об этом чуде, проводящем долгие зимы в полном одиночестве. Знакомые метеорологи на Диксоне говорили, что он великий предсказатель и у них постоянно запрашивают его прогнозы из Москвы. Температуру воздуха и силу ветра он определял без приборов, не выходя на улицу. Уверяли, что Илья-пророк точно определял погоду в Лондоне или Париже на неделю вперед.

И вот Белов сидел с этим почти стариком, и он его завораживал своим умным и спокойным до безразличия лицом, загадочными фразами, а еще больше молчанием. Казалось, этот человек что-то ему скажет. Злой ветер тундры привычно выл за окном.

– Не одиноко вам здесь? Зима длинная...

– Одиноко бывает, когда предают. Когда ты один, это невозможно. – Григорий замолчал, закрыл глаза, потом повернулся, взглядываясь в Сан Саныча. – Вы недавно остро чувствовали предательство людей, поэтому вам одиноко...

Белов молча курил. Григорий говорил о том, что очень его волновало, но было так глубоко, что Сан Санычу было странно слышать это от постороннего человека.

– У вас глаза наполнены тоской, вы кое-что поняли в этом мире, но не берите на себя лишнего. В жизни нет ничего обязательного. Даже то, что мы околеем, и то весьма приблизительно. Уйдем и все! Он прекратит наши муки, мы отряхнемся от пыли земной и станем наконец свободными. И нам это совсем ничего не будет стоить.

Григорий говорил негромко, глядя в окно, за которым уже ничего не было, кроме воющей тьмы. Попыхивал дымом крепкого табака и словно сам с собой разговаривал.

– Сможем слышать совершенную музыку, легко перемещаться в сокровенных, скрытых от нас пространствах, о которых только подозреваем. И радоваться Его присутствию, то есть свершившемуся, наконец, нашему совершенству... Он будет везде! – Григорий помолчал, покуривая. – Вы это знаете, вам это могло сниться в лагере, когда сильно голодали.

Сан Саныч помнил такие сны. Он просыпался среди них и не чувствовал ни голода, ни усталости, ни страха. Хотелось уснуть и не проснуться, и в этом не было трусости или предательства.

– А наши близкие?

– Близкие будут рядом! – Григорий впервые улыбнулся. – Будет все, чего захочет наше легкое, чистое сердце! Не будет одежды и жратвы... мне лично жаль только чая и папирос! На море, тундру, на ледяное золото полярных закатов можно будет смотреть сколько душа пожелает, но это будет не самым интересным. И нам совсем не будет стыдно за нашу земную слепоту. За то, что не отличали настоящего, даром данного нам счастья от того, что несет беду.

– Любовь – это счастье?

– Только к Нему!

Григорий отхлебнул чай. Сан Саныч тоже молчал, он не все понимал, но казалось, что понимает все, очень хорошо понимает.

– А женщина? Любимая?

– Не знаю. Вы думаете, вы с ней составляете одно общее... – Григорий внимательно изучил лицо Сан Саныча. – Опасаюсь, что это не так. Только Он наше общее, в Нем наше неистребимое начало. Мы сами, отдельно от Него, не существуем.

– Вы говорите «он»... вы кого имеете в виду?

– Я не смогу объяснить, но вы Его знаете...

В дверь постучали, она открылась. Женщина-бригадница высыпала дрова возле печки, пощупала ее и подложила несколько поленьев в прогоревшую топку.

– Soll ich Ihnen Fisch bringen, Grigoryj?^[146]

– Nein, Danke, Marta!^[147] – Илья-пророк покачал головой. По радиоприемнику начались иностранные новости, и он стал переводить его на другую волну.

– Пойдемте ужинать, уха поспела... – позвала женщина Белова.

В бараке было весело, на столе стояли две бутылки спирта, которые привез кочегар с «Полярного». Сан Саныч отказался от выпивки, похлебал ухи и лег на свободные нары. Немцы весело и громко говорили на родном языке, а потом дружно запели.

Сан Саныч лежал, уткнувшись в подушку. Этот Илья-пророк, словно и не говорил, но дремал, вылавливая из своей дремы какие-то слова. Только небольшие темные глаза спокойно и доброжелательно смотрели на Сан Саныча.

Белов и сам задремывал, и действительность – двухэтажные нары, радостно галдящие и хохочущие немцы, треск и дым печки, дыхание Ледовитого океана, сотрясающее барак, – все смешивалось, и Сан

Санычначинал ясно переживать Его присутствие и свою принадлежность Ему. Улыбался блаженно сквозь дрему. Избитым сердцем Сан Саныч очень чувствовал слова Ильи-пророка – на белом свете есть и другие смыслы! Эта мысль не раз ясно посещала его в горячем карцере, а иногда и в замороженном карьере. Настолько ясно, что он прощал своих истязателей, которые не знали об этих смыслах. Ему было жалко их и даже страшно за них.

Жизнь погрузила Сан Саныча в свои глубины, где все люди были одиноки. Вернувшись на «Полярный», он почувствовал новое отношение окружающих. Люди поняли, что он стал другим, что с ним трудно разговаривать. Даже старые товарищи... жали руку, радовались, что его отпустили, но не задерживались, не расспрашивали, не звали выпить. Про Николь не вспомнил вообще никто. А совсем недавно она всем нравилась.

В горе товарищей нет. Горький опыт никому не нужен, он пугает людей, когда они видят его в глазах другого. Дело было не только в людях, но и в самом капитане Белове. Ему ни с кем не хотелось говорить о Николь.

Даже с Померанцевым, который все понимал, ухаживал за Николь и Катей и любил их. Только однажды, сразу по возвращении, они посидели по душам. Сан Саныч тогда напился и даже заплакал. После этого он ни с кем не разговаривал. Одинокие слезы и тяжелые раздумья о жизни приходили теперь чаще, они и были той глубиной жизни, где, кроме Белова, был только Он.

Его Сан Саныч не стеснялся.

Весь следующий день, как и предсказывал Григорий, давил тяжелый ледяной и снежный север. Тундра стала белой, лужи промерзли до дна, а подветренные стены сараев, пирс и старенький сейнер покрылись седым льдом. На «Полярный» не попасть было, Белов выходил покурить и наблюдал черный дым, клоками срывающийся с высокой трубы буксира. Угля оставалось в обрез.

Весь барак храпел добрые сутки, вставали только по нужде и поесть. Утром следующего дня от Григория пришла Марта, носившая ему еду, и сказала, что ветер скоро стихнет. Люди стали подниматься, и, пока пили чай, в заливе все унялось, только высокая гладкая волна докатывалась с моря. Пошли догружать беловскую баржу.

К вечеру «Полярный» отдал якорь на рейде поселка Дорофеевский.

Сан Саныч зашел поздороваться к Гюнтеру и отправился к Герте. В их с Ваню домике жил новый комендант, ей же с детьми выгородили угол в общем бараке. Герта работала поварихой, земляки помогали и нужды у нее не было, слезы потекли только, когда Сан Саныч рассказал о последней встрече с отцом ее детей. Жадно следила за каждым словом. О Габунии в поселке жалели все. Новый комендант был законник, но и самодур и законы понимал по-своему. Угодить ему было трудно. В бригадах появились стукачи, и общая атмосфера была уже не та, что при Габунии.

Герта смотрела с грустью, нянькала на коленях четырехмесячного Ваню. Малыш был толстый и белокурый, как купидон саксонского фарфора. Грудь Герты лопалась от молока, только глаза глядели невесело. Писем от Николь она не получала, засомневалась, что кто-то в Дорофеевском мог получить и не сказать ей. Пошла спросить по бараку. Писем не было...

– Мог и комендант выбросить, – шепнула Сан Санычу, – он все читает и не все письма отдает.

Сан Саныч с душевным трепетом рассматривал Герту и ее малыша, Николь уже должна была родить. Взял на руки маленького Ваню, мальчишка, как будто почувствовал, что его специально путают с кем-то другим, заревел и потянул руки к матери.

Вечером Сан Саныч, сменившись с вахты, курил на носу, опершись на фальшборт. Енисейская вода негромко шелестела мимо, закат переливался холодными красками. Наступала осень. Небольшой клин гусей, обгоняя буксир, уверенно тянул в теплые края. Первый в этом году, думал Сан Саныч, провожая взглядом красивых сильных птиц. Жизнь богата! Идет своим чередом, летит своим клином! По-прежнему много всего было на этой северной земле – рыбы, птицы, несвободных людей и синего неба.

Словно подтверждая его слова, в воде показалась голова медведя. Старпом, стоявший за штурвалом, тоже заметил и убавил ход. Зверь был немаленький, морда и бока круглые. Сан Саныч глянул на дальний берег, откуда приплыл косолапый, километров семь было, не меньше, зверь еле греб после такого заплыва. Он добавил гребли, недобро

озираясь на судно, но сил у него было немного. Его закачало волной и понесло вдоль борта. До берега осталось меньше километра... Доплывет, прищурился про себя Сан Саныч, этот обязательно доплывет.

Он сам себе казался таким выдохшимся зверем. Без Николь сила жизни продолжала уходить из него, он это чувствовал.

В Карауле Сан Саныч купил трехлитровую банку спирта и засел в своей каюте. Даже курить не выходил. На судне сделалось тихо. Такого не бывало, чтобы капитан Белов пил один. До самого Ермаково это продолжалось. Главный механик Померанцев со старшим помощником Егором Болдыревым стояли на вахте.

Сан Саныч вливал в себя спирт, почти не закусывал и почти не пьянел. Сна не было, лежал, глядя в потолок, или курил, безразлично изучая пол под ногами. В душе, как в паровом котле, подымалось много вопросов. К себе в основном... один другого горше и страшнее. Временами совершенно ясно было, что он больше никогда не увидит Николь... Далее следовала серая пустота. Он снова разводил спирт и пил его теплым, не закусывая совсем... Так и заснул за столом и спал до Ермаково.

На подходе к столице Строительства-503 в каюту зашел Померанцев. Растряс, поговорил о чем-то, забрал банку с остатками спирта. Сан Саныч сходил в душ, вернулся в каюту и глянул в зеркало. Какой-то незнакомый, небритый человек с ввалившимися глазами смотрел, не мигая. Он отвернулся и стал одеваться, ему все равно было. Нет уже никакого капитана Белова! Осужденный за воровство дешевый фраерок должен был доделать кое-какие дела на этой земле. Он сунул папиросу в рот и загремел посудой – не осталось ли где выпивки... Со стены упал портрет Сталина. Стекло треснуло. Сан Саныч взял его в руки и сел на кровать. Николь не любила Сталина – «рябой, хитрый и такой неумный, зачем он у нас в каюте?». Сан Саныч смотрел не на Сталина, но на девочку в его руках... он не помнил, как выглядит его Катя. Он завернул портрет в газету и сунул в ящик под кровать.

В дверь каюты постучали:

– Товарищ капитан! – раздался незнакомый женский голос. – Можно?

– Сейчас! – Сан Саныч нахмурился недовольно, надел брюки. – Кто там?

– Это я, Сан Саныч, вы меня не помните? Я Аля Сухова, мы с Николь вместе в больнице работали. Здравствуйте, можно мне?

– Заходите! – Сан Саныч застегивал рубашку, не узнавая своего голоса. В похмельной башке застучало, она ничего не соображала, срочно нужны были сто грамм.

Аля встала в дверях каюты. Достала из сумочки конверт.

– Вам письмо от Николь... – шепнула.

Сан Саныча будто током прожгло, в голове застучало еще сильнее. Он взял конверт и, забыв о девушке, сел на кровать. Весь организм ходил ходуном, надо было вскрыть, но он не знал чем, почерк на обратном адресе был незнакомый. Он недовольно и растерянно посмотрел на Алю.

– От нее, от нее, – кивнула Аля. – Оно у меня уже две недели лежит, вас не было... Хотите ей ответ написать, я подожду, если недолго.

Сан Саныч смотрел на нее, как баран.

– От вас ей нельзя получать письма, поэтому я от себя отправлю, – объясняла Аля. – Она мне написала, что за ней следят...

Девушка была свеженькая с утреннего сентябрьского морозца, в каюте зверски пахло перегаром. Сан Саныч открыл иллюминатор.

– Извините, – кивнул согласно и вскрыл конверт ножом.

Это был ее почерк. Не очень ровный и без наклона. У Сан Саныча в горле что-то застряло.

– Я подожду наверху. Можно по палубе погулять?

Сан Саныч только кивнул, он уже читал.

«Дорогой мой Саша, как же мне хочется, чтобы это письмо попало к тебе! Это будет так много значить! Я уже девять месяцев не знаю, что с тобой. Пишу в Ермаково, но ты можешь быть где угодно. В тюрьме, в лагере... это не важно, главное, чтобы ты был жив, чтобы взял в руки этот листок и ответил мне!

У нас все неплохо. Нашего сына зовут Сан Саныч. Не оригинально, конечно, но мне не с кем было это обсудить. Он родился восьмого августа. Четыре с половиной килограмма. Ест отлично, то есть пьет. Катя тоже в порядке. Веселая “болтушка”. Пытается

говорить, но кроме меня ее никто не понимает. У меня появились хорошие знакомые. Живем на квартире, село большое и богатое. Много очень дешевых овощей, а для детей хороший климат. Все это на берегу Енисея, по которому ходят пароходы! И недалеко от Минусинска.

Все. Когда ты ответишь, напишу огромное письмо на сто страниц! Буду молиться и молиться (я и так все время молюсь), чтобы ты получил это письмо. Или хотя бы был жив! Твоя Николь».

Ком в горле Сан Саныча превратился в сук. Он еле держался, боясь, что вернется Аля. Мотал мутной головой, стиснув зубы. Он не понимал, почему так коротко, перечитал еще раз.

– Сан Саныч, у меня буквально пять минут, я на работу шла и увидела, что подходит «Полярный»! Если хотите, я вечером зайду, а завтра отправлю?! – Аля осторожно спускалась по тесным ступенькам.

– Нет-нет, я сейчас. Надо срочно, отправьте самым срочным. Авиа! Я только напишу, что я здесь... – он выдрал лист из какой-то тетради и стал быстро писать.

«Здравствуй Николь!

Меня нашла твоя подруга Аля, и я узнал твой адрес. Не верю в это...»

Когда Аля ушла, он вышел покурить. Разгружали баржи, которые привел «Полярный», веселые зэки катали по трапам тяжелые бочки с омулем и селедкой. Померанцев с бумагами в руках негромко и твердо препирался с крепким мужиком в серой телогрейке. Погода поблескивала морозным сентябрьским солнцем. Енисей, чистый и сильный, шумно наваливался на нос баржи. Сан Саныч курил и трясся, и таял внутренне, потрогал небритую щеку, надо было побриться. У него теперь и сын. Он пытался понять, что это значит, и не понимал, только видел прекрасные глаза Николь. И обнимал ее. Теперь у него их было трое.

Он побрился, как мог привел себя в порядок и сел писать письмо. Ничего не выходило. В его жизни без Николь случилось так много, что он не знал, с чего начать, о чем надо, а о чем не стоит писать. Сидел думал, выходил курить... Вечером, чтобы успокоиться, пошел в Ермаково, завернул по привычке в продуктовый и понял, что идти ему

не к кому и покупать нечего. На спиртное он смотреть не мог. Он вышел, и ноги сами понесли его привычным маршрутом в их палаточный городок. Он помнил, что городка уже нет, и все равно шел туда, где они были вместе.

Склад ГСМ на месте их палатки разросся, зэки сидели в тенечке под высоким штабелем из бочек с бензином и курили. Колючка в нескольких местах лежала на земле, через нее тянулись тропинки, но и часовой зачем-то стоял у ворот. Впрочем, и он не стоял, а сидел на лавочке и тоже курил.

Сан Саныч пошел обратно. И здесь, и в поселке, а еще больше на грузовом причале чувствовалась усталость. Как будто притомилась гигантская Стройка. Раньше на причале выгружали и выгружали, особенно осенью, торопились, валили на землю – кучи стройматериалов высились тут же у причальной стенки, в расчете на зимнюю разборку. Теперь куч не было, никто никого не подгонял, а ограждение разгрузочного отдельного лагерного пункта стало в два раза меньше.

Сан Саныч все так же бесцельно побрел к избушке, где Николь жила с Померанцевым. Дымок тянул из трубы. Сан Саныч замялся, неудобно было перед чужими людьми, но взглянуть очень хотелось, и он открыл знакомую калитку. Потом, все еще сомневаясь, постучал и вошел в сенцы. Дверь из комнаты распахнулась. Симпатичная женщина глядела приветливо и с вопросом в глазах.

– Здравствуйте, – Сан Саныч замялся, потом улыбнулся виновато. – У меня тут знакомая жила. Извините, наверное, переехала... Извините...

– Вы – Сан Саныч?!

– Я? Да... – ответил Белов, всматриваясь в милое незнакомое лицо.

– Я – Ася, жена Георгия Николаевича Горчакова. Заходите, пожалуйста!

– Здравствуйте, – пораженный Белов шагнул в комнату. – Вы приехали к нему?

– Да, мы приехали, только никому не говорите, пожалуйста! Снимайте шинель!

– Да, спасибо, а где Георгий Николаевич?

– В командировке, две недели его не видела.

– Вы на свидание к нему приехали?

– Нет, насовсем! Что вы на меня так смотрите? Вы не голодный? Чаю хотите?

– Вы давно здесь? – Белов смотрел на Асю, не отрываясь.

– С июля, в школе работаю... – Ася достала печенье, налила чай и села за стол.

Белов наблюдал за Асей, вспоминал Горчакова, отказавшегося от ее писем:

– Я другой вас себе представлял...

– Да? Ну вот, я такая...

– Думал, вы старше.

– А я и не молодая, сыну пятнадцать лет... Вы извините, мне Георгий рассказывал о вас, вы нашли жену? Ее Николь зовут, правильно?

Они просидели допоздна. Пришел Коля, поужинал и лег спать, а они все разговаривали. У Аси были такие понимающие глаза, что Сан Саныч говорил и говорил. Накопилось. После лагеря он двух слов не сказал ни с одной женщиной. Было уже поздно, он спрятал письмо:

– Теперь знаю, где они, но я приписан к буксиру...

– А если потихоньку? Когда ваш «Полярный» будет в большом рейсе?!

– У меня паспорта нет... Справка и маршрутный лист.

Ася молча кивнула, соглашаясь. Сан Саныч поднялся.

– Спасибо вам, очень рад был... извините, уже поздно...

Ася стояла что-то напряженно соображая:

– Слушайте, а давайте я съезжу к Николь?!

– Вы?! – удивился Белов.

– Ну да. Могу отвезти вещи, деньги. Увижу, как живет, может, помогу чем-то. Подумайте! Мне не сложно!

– Не-ет, что вы?! Туда почти неделя в одну сторону, и билетов не достать... Вы же к Георгию Николаевичу приехали... – Сан Саныч все думал, словно готов был согласиться.

– Ничего, мы с ним не каждый день видимся.

Сан Саныч еще помолчал, размышляя, наконец твердо тряхнул головой:

– Спасибо, что предложили, если очень нужно будет, попрошу. – Он надел шинель. – А как у вас отношения? – спросил вдруг Сан

Саныч почти шепотом. – Вы простили его?

– Кого?! – удивилась Ася.

– Георгия Николаевича... он не писал вам... – Сан Саныч все больше и больше проникался чувствами к этой женщине.

– Я никогда не была на его месте. – Ася замолчала и растерянно посмотрела на Белова. – Ему и сейчас тяжело, может тяжелее, чем было...

Сан Саныч кивнул, и они вышли на крыльцо. Ночь была черная и звездная. Подмораживало.

– Завтра тепло, солнце будет. Это у нас бабье лето такое. А потом польет, – Сан Саныч улыбнулся. – Слушайте, Ася, а где же ваш младший сын? Ведь у вас двое?

Ася замерла, но только на секунду.

– Идите, идите, потом вам расскажу, все в порядке...

71

Сентябрь заканчивался, но тепло держалось необычно долго, снег ни разу не выпал, чего местные не могли и припомнить. Дул устойчивый юг, оттесняя дождливый запад и морозный север. Местные, непривычные к долгому лету, разглядывали небо. Ася с Колей шутили с отцом, что это они привезли сюда московскую погоду.

Горчаковы были вместе уже два с половиной месяца. Георгий Николаевич, если его не забирали в командировки, старался дежурить в больнице для вольных и мог выбираться к своим в «их домик», а иногда и ночевал. Он рассказал все Богданову, тот, с присущим ему хладнокровием, только пожал плечами, но стал учитывать новые обстоятельства жизни своего ассистента. На одном из концертов самодеятельности, где Асю опять долго не отпускали со сцены, Богданов рассмотрел ее внимательно и одобрил окончательно.

В школе шли занятия, Ася всем нравилась, у нее получалось, а дети, это были дети вольнонаемных работяг, инженеров, офицеров и надзирателей, были отзывчивые и, как все дети, талантливые. Из школы она возвращалась поздно, но всегда в хорошем настроении. Стараниями мудрой директрисы она впервые в жизни работала официально, с удовольствием и за огромную по московским меркам

зарплату. Получая деньги в окошечке кассы, Ася всякий раз с тайным удивлением пересчитывала их и сверяла с ведомостью. Ошибки не было, это были ее деньги. И потом, по дороге жалела остро, что этих денег не было раньше. На одну такую зарплату можно было купить пальто и ботинки Севке и костюм Коле... и еще много-много хорошей еды.

Коле тоже все нравилось, школа была с большим спортзалом и отличными педагогами все из тех же ссыльных. Очень сильной была и самодеятельность. От ликвидированного ермаковского театра осталось несколько приличных актеров и музыкантов из московских и ленинградских театров. Жизнь Аси наполнилась заботами, главной из которых был Гера.

Ухаживания холостых и нехолостых офицеров начались сразу. Асю приглашали в ресторан, в кино, на соревнования по футболу. Ася вежливо и твердо отвечала всем, что у нее есть жених, но это не очень помогало. Старожил Ермаково, бывший начальник первого лагеря, а теперь замначальника всего Строительства подполковник Воронов порывался петь под ее аккомпанемент. Голос у него был красивый от природы, но после первой же репетиции подполковник уверенно взял ее под руку и прямо предложил встречаться. Услышав про соперника, властный чекист стал допытываться, кто такой, где он сейчас и почему она одна. Вроде и в шутку, но и требовательно блеснул наглыми глазами начальника, намекая, что он все решит. Ася замерла, опустила глаза в пол, стараясь не думать о Георгии, с которым она через час встречалась в их домике. Внутри у нее поднималось какое-то сильное и брезгливое чувство, страх ушел. Она решительно освободилась от рук Воронова и так посмотрела ему в глаза, что тот перестал пытаться и на следующую репетицию не пришел. А вскоре уехал в длинный отпуск на юга.

Горчаков осторожно и недоверчиво оттаивал. Сдерживал и себя, и Асю, как будто готовил ее к любому развороту судьбы. Но с сыном они жили душа в душу, сработала природная нежность Коли, а может быть, их тоска друг по другу, о которой они раньше ничего не знали. И еще Сева – он как будто был все время с ними. Отец спрашивал, а сын рассказывал о брате, вспоминал забавные случаи, и Горчакову, в сознании которого многое было смещено, часто думалось, что его младший сын где-то есть, так же как где-то были до этого Коля и Ася.

Коля был в школе, они лежали в постели, голова Аси покоилась на плече мужа.

– Я видела у тебя игрушку – зеленая елочка из картона. Это ведь с той нашей елки!

Горчаков скосил на нее глаза, вместо ответа чуть притянул к себе.

– Значит, ты помнил о нас?

Георгий Николаевич молчал, пошарил рукой папиросы, но не нашел:

– Я стоял на стуле у елки, а ты подавала мне эту игрушку... и они позвонили. Я не успел ее повесить, зажал в кулаке, а потом нечаянно положил в карман.

– И ты ее сохранил?

– Лагерный человек очень суеверный... терял несколько раз... но находил.

Ася нашарила его руку, погладила.

– Как ты играла вчера? – Горчаков сел, высматривая папиросы.

– Хорошо. Здесь милейшая, очень непосредственная публика. А ты совсем не хочешь? Это ведь можно устроить, заключенные тоже участвуют...

– Ася, не будь наивной! Это чудо, что нас еще никто не заложил! – он недовольно нахмурился и достал папиросу. – Я совершенно забыл рояль, у меня нет ни рук, ни желания. И потом, я никогда не понимал самодеятельности.

– А то, что ты фельдшер, это не самодеятельность?

– Да, но... – он пожал плечом.

– Прости, мне правда трудно представить Георгия Николаевича Горчакова фельдшером. – Она потянула его за руку. – Ты так и не рассказал, кстати...

– Это не быстро получилось.

– Ты уже говорил, что не быстро, не кури, иди сюда. – Она уложила его и снова устроилась на его руку. – Ты сказал, что начал учиться во время этапа...

Горчаков задумался, покосился на жену, на отложенную папиросу:

– Ну да, в сороковом, нас везли на Колыму. Я оказался в одном вагоне с ленинградским доктором Адамом Станиславовичем Пашковским. Он был старый, тертый уже зэк. Вот он мне как-то и говорит под неторопливый перестук колес: молодой человек, у вас нет

хорошей лагерной профессии, почему вам не поучиться медицине? Делать было нечего, я склеил тетрадку из чего было, в основном из пачек от махорки, и стал записывать «лекции». Симптомы – лечение. Все основные лагерные болячки он мне кратко и точно описал, у меня та тетрадка до сих пор цела... – Горчаков замолчал, вспоминая далекого человека. – На владивостокской пересылке, она была огромная – целый город, распределяли по специальностям. Комиссия сидела за столами, на них таблички с профессиями: водители, электрики, медики... Я набрался наглости и подошел к медикам. Там был фельдшер, который немного больше моего знал, и я ответил на его вопросы, даже латынь употребил. Так в моем формуляре появилась запись – фельдшер. В Магадане уже, на пересылке, развод на работу – а меня не берут ни в какую бригаду – в формуляре стоит «фельдшер»! Я опять обнаглел, пошел в столовую и получил свою миску баланды и селедку. Помню, был ужасно горд!

– Чем?

– Как чем?! Не работал, а получил еду! Я тогда совсем этого не умел, а это в лагере большая доблесть. Но потом сам пошел в медпункт, и меня в ту же ночь послали на санобработку.

– И ты начал работать с такими «знаниями»?

– Ну да, – улыбаясь, вспоминал Горчаков. – Пришел новый этап, людей загоняли в баню, снимали волосы... Старший фельдшер распорядился, чтобы я простерилизовал шприцы, всем должны были делать уколы. Я налил воду в стерилизатор и поставил на огонь. Когда вода закипела, все шприцы полопались.

Ася повернулась, не понимая.

– Шприц стеклянный, поршень металлический – нельзя было кипятить вместе, я не знал, – усмехнулся Горчаков. – Шприцы были страшный дефицит, на другой день меня убрали из медпункта на общие работы. Но забыли вычеркнуть из формуляра! Везение в лагере большая вещь! – Он хитро улыбался. – На общих я довольно быстро дошел, попал в больницу с весом пятьдесят шесть килограмм, а там опять увидели, что я фельдшер. Когда поправился, оставили санитаром в инфекционном отделении. Я стал читать книги по медицине, но проработал недолго. Пообещали зачеты – год за три, и я согласился на должность инженера шахты.

– Про инженера я помню, а про фельдшера ты не писал. – Она рассматривала его лицо, погладила перебитый нос, рваный рубец на нижней губе.

– Это здесь, в Игарке получилось... – Горчаков замолчал, вспоминая. – У меня уже был двадцатипятилетний срок, и я понял, что я здесь навсегда. Стал жить как-нибудь, однажды лежал в лазарете с воспалением легких, выздоравливал, и тут урки в одном лагере устроили бучу. В зону вошли автоматчики и стали стрелять без разбору через стенки палаток. Было много раненых, Богданов трое суток работал в операционной. Я стал помогать, и он меня заметил, оставил ночным санитаром. Я ему по-честному рассказал, какой я «фельдшер». Тогда он дал мне книжки, ночью я работал санитаром, а днем учился, у него спрашивал... Мне уже и самому стало интересно, и он ко мне почему-то серьезно отнесся – на фельдшерские курсы отправил.

– Это у тебя от колючей проволоки? – Ася трогала рассеченную бровь и ниже глаза незагорающий выдранный когда-то кусок кожи. – А почему к тебе нельзя относиться серьезно?

Горчаков помолчал, глядя в потолок, отстранил ее руку и нащупал папиросы на столе.

– Лагерь – безликая масса. Через хирурга Богданова прошли тысячи людей. У него золотые руки, но за глаза его зовут «мясник». Для нелагерного человека он безобразно циничен. И конечно, он никого вокруг себя не видит. Здесь только так и можно...

Рассказанное Горчаковым роилось над ними, но не складывалось в картины жизни. Ей никогда не представить было его доходягой, его работы и лагеря, как и ему – ее московских мытарств.

– Тебе в этом году пятьдесят, мне сорок... мы порознь прожили жизнь... – она вздохнула, – мне все не верится, что я здесь. А иногда гляжу на тебя и чувствую, что мы зря приехали...

– Ты рассказала обо мне директору школы? – Горчаков сел и прикурил папиросу.

– Я не могла врать Клавдии Михайловне, она сама догадалась.

– Ты веришь в высшие силы, а нас просто заложат. – Он повернулся и посмотрел на нее пристально. – Если меня переведут, а вас не тронут, ты вернешься в Москву. Ты не будешь испытывать судьбу второй раз.

– Почему нас должны тронуть?

– Ася, здесь нельзя быть такой! – Горчаков начал одеваться. – Я по всем трем судимостям – террорист и диверсант! Коле пятнадцать! Он уже подсуден! Любой опер за полчаса слепит из нас троих организованную группу.

Ася села в постели. Следила сосредоточенно, как он натягивает штаны. Заговорила спокойно и твердо:

– Мы вместе почти три месяца! Это больше, чем вся наша предыдущая жизнь! Мне важна каждая встреча с тобой. Как глупо об этом говорить! Ты увидел сына, он любит тебя! Разве не это счастье?! Смерть Севы, да... – Она замолчала. – Нет, не трогай меня, я никогда про него не забываю. Но то, что между нами, – это что? Это не любовь?!

Горчаков поднял и привлек Асю к себе.

– Ну-ну, прости! Мы так по-разному на это смотрим, я столько лет здесь прожил, приспособился. Пока был один, я не очень боялся, а теперь боюсь! Опера, стукачей, урок... Ты меняешь мою жизнь, и я не знаю, что с ней будет. Ты тоже не знаешь! Перед нами может быть и пропасть!

– Просто мы немножко чужие друг другу, у нас ведь никогда не было семьи. – Она обняла его. – То есть не чужие, конечно, но нам уже не семнадцать лет, чтобы влюбиться по-настоящему. К тому же я уже старая... – Ася заглянула ему в глаза, забрала из рук рубашку и бросила на лавку. – Ты бы и не взглянул на меня, если бы встретил случайно!

Она все рассматривала его, чмокнула в висок, провела губами по морщинам лба.

– Это я старый! – Горчаков стеснялся ее ласки.

– Старенький ты мой, – она еще поцеловала и потянула за ремень штанов. – Ты зря осторожничаешь, у меня с гибели нашего сына ни разу не было месячных...

Ася выбралась из постели и включила электроплитку:

– Покормлю тебя на дорогу! Это такое счастье – просто покормить мужа! И еще столько продуктов! Никак не привыкну!

– Не надо, Ася, опоздаю, – Горчаков уже одевался.

– Тогда чаю попей и покури! Посиди со мной еще немного. Скоро Коля придет.

– Ты никогда не любила табачного дыма!

– А теперь люблю. Когда тебя долго нет, я готова сама закурить, чтобы пахло твоим «Беломором». Какой зверский кипятильник! – Она сыпала чай в закипевший чайник. – Этот ваш Померанцев настоящий Кулибин! Ты меня с ним познакомишь? С Сан Санычем я уже познакомилась... И почему ты все время в арестантской одежде? Давай купим тебе наконец хороший свитер и полушубок? Я смотрела в магазине!

– Хм, это минимум карцер!

– Почему?

– За зоной – только в лагерном, Ася!

– Да, я забыла, а давай, у тебя здесь будет хорошая одежда. Голубая рубаха...

– Ты меня под монастырь подведешь! – Горчаков взял стакан с чаем, поднес его ко рту, но поставил. – Я сейчас думал про свой лагерь, словно я просто иду туда на работу, а там все по-прежнему – вахта, пропуск, вертухаи и особый отдел. Сейчас еще Коля придет и станет называть меня папой!

– Ты не веришь, что когда-нибудь все это будет. Просто жизнь... семья, дом.

Горчаков не ответил. Он действительно в это не верил, иногда он ясно ощущал близкую развязку этого их краденого счастья.

В начале октября пришел денежный перевод из Ермаково. Он был от Али Суховой на имя Михельсон и на огромную сумму в тысячу рублей. Зинаида Марковна зашла с корешком перевода, и Николь разревелась. С ужасом в глазах вцепилась в плащ врачихи. Это мог быть и Померанцев, могли выпустить Сергея Фролыча... но Николь столько мог прислать только он. Но почему деньги, а не письмо? Значит, сам не мог написать, он в лагере! Слезы текли и текли по лицу Николь.

– Не хочу этих денег!

– Ну-ну, ты не одна! И не реви, потом поревешь. Напиши подруге, чтобы помногу больше не посылала. Я за всю свою жизнь в Лугавском ни одного перевода не получила. Да еще из Ермаково... Николь, я с тобой разговариваю, ты что ревешь?! – Зинаида Марковна, однако, и сама достала платок.

– Почему он не написал? Это не от него деньги!

– Мало ли... Узнал твой адрес, послал деньги, они быстро идут.

Письмо пришло на четвертый день, и опять от Али. Николь разорвала конверт, увидела знакомый почерк Сан Саныча и ушла в свой угол. Читать не могла, слезы текли и текли. Она сидела с мокрым письмом на коленях, опустошенная жизнью и этими днями ожидания, за которые она передумала бог знает что...

«Здравствуй Николь!

Меня нашла твоя подруга Аля, и я узнал твой адрес. Не верю в это. Пишу быстро, она сейчас идет на почту отправить тебе деньги и это письмо. Потом напишу все подробно, сейчас скажу только, что я на свободе, но не совсем... Я долго искал тебя, а сейчас Аля, как кирпич на голову. Ты пишешь, что у нас родился сын, мне и Померанцев сказал, что ты уехала беременная. Все это время ты была одна... Все, отдаю письмо, Аля уходит. Все. Я больше не женат, мы с тобой поженимся.

Соскучился страшно, не верю, что вы нашлись. Жизнь моя без тебя как во сне была».

Она села писать ответ. Вырвала двойной листок из тетради, перечитала письмецо Сан Саныча. Она не понимала, почему его нашла Аля, а не он ее. Еще раз перечитала. Санино письмо было бестолковым и непохожим на него, холодным, если бы не его почерк, не поверила бы...

«Здравствуй, распрекрасный мой Сан Саныч!»

Николь машинально написала «распрекрасный», как часто его называла, а тут задумалась. То ли написанное слово выглядело иначе, то ли отвыкла от него почти за год разлуки, но она застеснялась, зачеркнула и оторвала испорченный лист.

«Здравствуй, Саша!

Не могу собраться с мыслями, отвечу тебе быстро, а когда получу твое письмо, уже напишу. Отвечаю по порядку. Письмо твое мне не

понравилось, я из него ничего не поняла, но, увидев твой почерк, все время реву (мне кажется, я раньше вообще не ревела?). Я боялась, что с тобой совсем все плохо, и я тебя больше не увижу.

Деньги я получила (больше не посылай, мне этих хватит надолго!), они нас страшно спасли! Декретных денег мне назначили сорок семь рублей. Директор совхоза – сволочь, видя, что я с огромным животом, выписал совсем маленькую зарплату, другим ссыльным женщинам платят в два раза больше, а местным не меньше трехсот, иначе они не идут работать. Из этих сорока семи у меня удерживают двадцать пять процентов, как со ссыльной, в пользу министерства госбезопасности. На руки получается тридцать пять рублей двадцать копеек. Если покупать буханку ржаного в день, то не хватит – надо сорок рублей. Прости, что я о деньгах, но было очень туго.

Восьмого октября кончается декретный отпуск, и я должна выйти на работу. Комендант требует. Я его спрашиваю, куда мне девать детей, он логично отвечает, что не надо было их рожать. Это такой одноногий дядька, пьяница. Он не злой, но, как и большинство глупых людей, любит быть властью – у него, как он говорит, “обязанности!”. Меня он жалеет, как “безмужнюю”, и даже по пьяному делу предложил, чтобы я за него шла, а детей он моих усыновит, “хрен с ними!”.

Я так соскучилась и так рада, что ты жив, что не могу остановиться и ответить на твои вопросы. Я совершенно не поняла, что значит “на свободе, но не совсем”. Письма пиши на этот адрес, на имя Михельсон З. М.

Теперь о детях. Катя стала совсем большая и очень общительная. Дружит со всеми и всех любит. Саше почти два месяца, он сосет титьку, пачкает пеленки и спит. Что ему еще делать... Я живу на квартире, плачу двадцать пять рублей, хозяйка хорошая, подкармливала нас, когда не было денег, я ей огород поливаю и мою полы.

Ты пишешь, мы поженимся, а я до сих пор не верю, что ты на свободе. Я еще вчера об этом не знала и думала бог знает что. Я очень плохо жила без тебя. Когда ты к нам приедешь? Ты ничего не написал об этом.

Все. Главное, что ты жив. Я бы сошла с ума! Я бы и сошла, если бы не Катя да не Сашка в животе. Еще, правда, были Померанцев с

Горчаковым. Если увидишь, обними их за меня крепко.

Все, не могу остановиться, но это уже не важно. Целую тебя, мой распрекрасный, нет... наш распрекрасный... – Она запнулась на мгновенье и вместо “Сан Саныч” написала: “папаша!”.

И жду письма. Пиши часто, как мы писали в прошлом году!

Твои Катя, Саня и Николь.

10 октября 1952 года».

73

Строительство-501 МВД СССР (западный участок трассы) и Строительство-503 МВД СССР (восточный участок) объединялись. Штаб Стройки-503 перемещался из Ермаково в Салехард в штаб Стройки-501. Это была уже пятая или шестая масштабная реорганизация. Со сменой руководства и местом его дислокации. Изменялась система финансирования, система отчетности и много чего еще. Деньги урезались.

Все лето и осень 1952 года велась напряженная работа по инвентаризации и передаче колоссального имущества. Руководство Стройки-501 законно хотело знать, что переходит в их ведение и в каком состоянии восточный участок. Работали комиссии офицеров и инженеров, представлявших интересы обеих строек, согласовывались акты, составлялись бесчисленные отчеты.

Стройка-503 передавала готовые участки железнодорожной линии, основные и оборотные средства, кадры, делопроизводство и документацию на железнодорожное и водное хозяйство.

На тот момент, то есть за три с небольшим года, Стройка-503 успела проложить пути на трех участках – от Игарки вдоль берега Енисея до Ермаково (65 км), от Ермаково на запад (125 км) и Тазовский участок (23 км) – удаленный от Ермаково на две сотни километров и не соединенный с трассой. Просто кусок железной дороги в тайге. Насыпь, шпалы, рельсы.

Все эти километры оказались спорными. Участок от Игарки до Ермаково мерялся несколько раз с разными результатами. Сначала офицеры 501-й Стройки готовы были принять только 43,2 км, потом 50,2 км, и только в заключительном акте появилась цифра 65

километров. Как они прирастали, теперь уже не выяснить, можно предположить, что с помощью коньяка, баб, подарков и бригад заключенных, спешно лагающих непригодные пути.

Тазовский участок по отчетам был 22,8 км. На деле же оказалось, что он всего 14 км, но к нему есть причальная ветка – 3,6 км и другая вспомогательная ветка, ведущая к песчаному карьере, – 5,2 км. Все эти километры были уложены старыми изношенными рельсами, а на некоторых участках шпальные ящики насыпи не были засыпаны грунтом, то есть рельсы держались на деревянных подпорках, уложенных, как колодезный сруб.

Самое скверное было в том, что построенное не обслуживалось. В лагпунктах, которые должны были выделять людей на текущий ремонт, не хватало рабочих для самого строительства, а некоторые лагеря, построив свой участок, переезжали на новые объекты, и трасса оставалась совсем без людей. В отчетах указывалось: «За первое полугодие 1952 г. было недодано по нормам на текущее содержание пути свыше девяти тысяч человеко-дней. Имеются участки, совершенно не обеспеченные рабочей силой в течение всего лета и пришедшие вследствие этого в негодность».

Скорость движения рабочих составов по этим участкам была ограничена 5-15 км в час.

503-я передавала в ведение 501-й 150 вагонов, 50 паровозов, 20 речных буксиров, баржи, железнодорожный паром с Енисея. И еще множество тракторов, автомобилей, кранов и прочего, прочего.

Передавался и полноценный поселок Ермаково. С инфраструктурой, школой, четырьмя больницами (две для вольных на 350 мест и две для заключенных на 500 мест), депо, центральными мастерскими, лесозаводом, причалами...

По актам приема-сдачи передавалась большая пересылка и 47 лагерей. В этих зонах были построены 300 жилых бараков, везде были кухни-столовые, пекарни, бани-прачечные, лазареты, дезокамеры-сушилки, штрафные изоляторы, вахты. Во многих имелись конюшни. Рядом с лагерями было выстроено жилье для офицеров и солдат.

Осенью 1952 года из 47 лагпунктов действовали только 15. Остальные стояли пустые. При проверке оказалось, что лагеря никто не консервировал, и они активно разрушались и разворовывались природой и людьми. Половину лагерей комиссия вынуждена была

списать как не подлежащие восстановлению, оставшиеся решили отремонтировать. Правда, никто не знал зачем...

Отдельной проблемой комиссия выделила «санитарное состояние поселка Ермаково, вызываемое произвольным сливом нечистот из уборных на улицу, что в свою очередь происходит из-за конструктивных недостатков уборных в жилых домах. В итоге жители летом страдают от разливов нечистот на территорию поселка, а зимой вообще не могут использовать уборные из-за замораживания коробов, идущих со 2-го этажа на первый. Указанные нечистоты никогда не вывозились, и более того – никогда не существовало ни канализации, ни выгребных ям. Несмотря на неоднократные обращения по этому вопросу в разные инстанции, никаких решений принято не было».

Горчаков постоянно выезжал с санитарными комиссиями.

На этот раз спор вышел между начальником санотдела Строительства-501 Сыромятниковой и начальником всего Строительства-503 Боровицким. В приеме-сдаточном акте санитарное состояние Строительства-503 было признано «удовлетворительным, за исключением лагерных пунктов 4, 10, 19, 31 и Дома младенца, где имеется заклопленность». Боровицкий потребовал убрать эти «мелочи». Тогда Сыромятникова пошла на принцип и составила новый акт, в котором больничные корпуса были не готовы к зиме и требовали ремонта, инфекционные больные лежали вместе с соматическими, родильное и гинекологическое отделение не были отделены от гнойной хирургии. То же было и с хранением мединвентаря и медикаментов: «Приспособленные складские помещения абсолютно не пригодны к дальнейшей эксплуатации – крыши протекают, потолки прогнулись, а часть их обвалилась, полы и стены сгнили и провалились, часть медикаментов, мединструментария и мединвентаря хранится в гнилых палатках, которые совершенно не защищают от дождя и снега. Хранение на лагпунктах организовано неправильно. Медикаменты и хирургический инструментарий хранятся в застекленных шкафах, а запас медикаментов, в том числе и сильнодействующие, в комнатах, не оборудованных решетками, надлежащими замками и не опечатываются. Яды хранятся у инспекторов-фельдшеров на квартире».

Сыромятникова была права, все так и было, но прав был и Боровицкий – по-другому тут и быть не могло. И если проверить, как хранятся медикаменты у Сыромятниковой на 501-й Стройке, то так же точно они и хранились. И клопов там тоже хватало.

Но делать было нечего – стены белили, насекомых засыпали дустом и выкуривали серой.

На этот раз Георгия Николаевича отправили на аптекобазу за три дня до приезда комиссии. Исправить все, как того требовали инструкции и Сыромятникова, было невозможно, поэтому создавали видимость порядка. Просроченные лекарства, которых оказалось едва ли не треть, вывозили и топили в ближайшем болоте, латали текущие крыши, ставили решетки на окна... Горчаков «контролировал».

Начальник санотдела Строительства-503 майор Синепупов – знающие люди говорили, что воровал он вагонами и баржами, – ценил Горчакова как проверяющего. Горчаков никогда не имел своей выгоды, но главное – очень правильно понимал тонкое устройство лагерной жизни. Не лез в мелочи и точно знал, сколько и где туфты допустимо и как она должна выглядеть.

Аптекобаза, куда приехал Горчаков, была устроена в обычном лагерьном бараке. Они обошли ее с начальником. Чтобы навести здесь порядок, надо было все снести и построить заново. Но начальник аптекобазы Михаил Борисович Злотник так не считал. Крыши у него не текли, а сам он отлично ориентировался в своих закоулках, коробках и ящиках. Для проверяющих у него всегда был спирт в бочках и бабы с женского лагпункта, работавшие на базе. Много женщин и много спирта решали любые вопросы с нарушением инструкций. Никакие комиссии никогда ничего не находили на его базе.

Михаилу Борисовичу было лет пятьдесят, худощавый, в очках и плешивый, с большим носом и курчавой бородкой. Его папа и его дедушка были провизорами, и он знал про лекарства все. Он уже два года как освободился, но все состоял при своем складе. Все звали его Миша-аптекарь. Спирт он не пил, в распутстве замечен не был, в воровстве тоже, и единственное, что могло держать его там, – это большая зарплата, которую он отправлял родственникам, и относительная безопасность – дальше, чем его загнала судьба, загонять уже было некуда.

Он, недовольно наморщившись, выпрашивал у Георгия Николаевича, кто такая Сыромятникова и как выглядит. Горчаков его расстроил – Сыромятникова болезненная и тощая старуха, матерится, курит самые дешевые сигареты, водки не пьет и ест одну овсянку.

Закуривая, они вышли из помещения склада, уже смеркалось, какой-то мужичок у порога лениво сбивал лопатой застывшую грязь.

– Гражданин начальник... закурить...

– Шура! – тихо удивился Горчаков. – Ты?!

– Да не-е, я в бригаде... – Шура Белозерцев протянул руку. – Папироской угостите?

Горчаков достал папиросы, рассматривал и как будто не угадывал Шуру, он тут же отпросил его у начальника базы до вечера. Пришли в комнату Горчакова. Шура сильно похудел, осунулся, глаз уже не блестел по-боевому, как он всегда блестел у неунывающего санитара Белозерцева.

Закурили. Без фуфайки, в серой робе и при свете лампочки Шура выглядел стариком.

– Года полтора не виделась... – Георгий Николаевич рассматривал его, пытаясь понять, что за перемена произошла. – Ты не болеешь, Шура?

– Да нет вроде...

– Санитаром в лазарет не хочешь?

– Ничего я не хочу, Николаич. Даже домой уже не хочу... – ответил Шура равнодушно.

– Спирту выпьем?

Шура глянул без особого интереса, подумал о чем-то:

– Без закуси упаду... Сил во мне нет, Николаич.

– Посиди, печку растопи! – Горчаков встал.

– Тогда и бригадиру грамм сто нальешь? – попросил Шура.

Горчаков ушел в столовую и вскоре вернулся с котелком горячей каши, банкой тушенки и буханкой хлеба. Шура сидел на корточках у печки. Там уже разгорелось, он закрыл дверцу.

– Может, у меня и правда какая болезнь, Николаич! – предстоящая выпивка и еда расшевелили Шуру, он даже улыбнулся. – Давно не пил, последний раз с ребятами одеколону засосали, одному лейтенанту ремонт сделали, он нам и купил ящичек «Тройного», ребята сами попросили, чтоб одеколону. Не застукают нас здесь?

– Тут нет никого, расскажи по порядку... – Горчаков достал из-под кровати бутылку спирта и стал разводить.

– Хороший ты мужик, Николаич, – Шура следил, как мутнеет спирт. – Я часто тебя вспоминаю. – Он взял папиросу, смял вдумчиво, чиркнул спичкой. – Жизнь во мне кончается, вот что. Раньше я ее чувствовал, во все стороны расплескивал, а теперь... может, и совсем уже кончилась? Такое может быть?

– Ну ладно-ладно, кончилась... – Горчаков вывалил тушенку в кашу и пристроил на печку.

– Меня Иванов на усиленный режим отправил, после нашего лазарета – чистая каторга! Барак весь в решетках, под замком, везде водят строем... Самое поганое, что не знаешь, сколько в этом БУРе сидеть. Могут и год продержать. Я семь месяцев оттянул. Борзый был поначалу, правды добивался... Давай уж, наливай, что ли!

Они выпили.

– Давненько не пробовал... – задохнувшись, сморщился Шура и съел ложку каши. Зубы были темно-коричневые от чифира. – Народ в БУРе разный. В основном урки да такие, как я, кто оперу не понравился. Не работают, пайка триста грамм... прямая дорога на тот свет!

Шура высморкался в руку, вытер о штаны.

– Я бы давно дубу дал, да надзирателя встретил – он в нашей дивизии кашеваром был... Короче, я однажды крепко его выручил, и он меня вспомнил, помогал, даже хлеб носил. А опер тамошний люто ненавидел, я бы лучше назад к Иванову вернулся.

– Ты про Иванова слышал?

– Была параша. Налей еще! Я, Николаич, до конца срока не дотяну.

– Тебе немного осталось! – Горчаков разлил.

– Пять месяцев... В мае сорок пятого взяли старшину разведки под белы руки... обещали орден повесить, а повесили срок! – Шура запьянел, давил челюсти, нервно и зло помаргивал и щурился. – Тоска заедает, Николаич, думаю всякое... все-все поганое про себя вспоминаю. – Он помолчал, затряс головой и снова стиснул зубы. – Сказано – скрежет зубовой! Точно! Кругом я урод, не хочу такой к своим возвращаться. Жизнь моя совсем меня уделала! – Он опять задумался, прищурившись хищно. – На фронте еще хуже было, чем

здесь! Столько подлости, сколько на войне, нигде нет! Это только в кино умные да храбрые побеждают, там жестокость побеждает и злоба!

Шура очнулся от дум, посмотрел на Горчакова:

– Ты не смотри так, Николаич, это я сам с собой, на других у меня злости нет. Сам я во всем виноват. Перед многими людьми... К нам одна девчушка прибежала от немцев спасаться, лет шестнадцать, а то и меньше... по-русски ни слова, такая, вроде цыганочки, лопочет что-то... уф-ф, – тяжело выдохнул Шура. – Сколько раз я это дело вспомнил... а вслух не могу! Морда горит от стыда!

Горчаков слушал спокойно, курил.

– А я скажу, я давно тебе хотел... Изнасиловали мы ее, твари! Втроем были в землянке! Всякое бывало, бабы по-разному себя вели, а эта прибежала, кинулась к нам, плачет, что спаслась от немцев, а потом... как застыла! Молчит! – Шура стиснул голову руками. – Я старший был, сначала подумал, ничего с ней не сделается, ребятам тоже разрядка нужна, а уснуть не могу. Пошел ее искать. Мы в лесу стояли, ночь уже, где найдешь? До драки у нас в землянке дошло! Это я свою вину хотел на других повесить! А не вышло... Подыхать буду – вспомню!

– Ты жалеешь, что был на фронте, я – что не был... – Горчаков долил остатки спирта.

– Я не жалею, и сейчас пошел бы, я не про это – хуже, чем война, нет ничего! Кино посмотришь – все герои! А я не знаю, что такое герои, грязь одна, кровища да грязь!

Замолчали, покуривая.

– Ты где теперь? – спросил Горчаков.

– На трассе. Мосты должны строить, да не строим...

– Почему?

– Не знаю... ни материалов, ни техники. Небольшие речки вместо мостов насыпями переходим, вода под ними по деревянным коробам идет, год-другой, все сгниет – и привет этой насыпи. Прошлой весной Турухан поднялся, десять километров трассы залил! Такой туфты поискать! Начальство ссыт, Николаич, ждут больших посадок, ничего уже не исправишь.

Шура замолчал недовольно. Погасил окурок в банке:

– Боюсь я домой возвращаться, Николаич. Четыре года на фронте да восемь здесь... Сгнило во мне все, ничего не осталось!

Навигация кончилась. Сан Саныча вызвали в пароходство, он должен был делать доклад, который делал в Министерстве в прошлом году. В ермаковской милиции выписали маршрутный лист, где значились города Игарка и Красноярск. От Красноярска до Николь было четыреста пятьдесят километров.

Он летел на совещание налегке, ему осталось отработать чуть больше года, и потом все должно было поменяться. Он твердо решил уволиться и уехать в Лугавское. Сан Саныч смотрел в иллюминатор на заснеженную тайгу и улыбался, как будто уже теперь летел к ним.

В пароходстве, где он так любил бывать, где ему всегда казалось, что его все любят, что-то поменялось. С ним здоровались, кто-то приятельски хлопал по плечу, но он чувствовал напряженность во взглядах. Были и такие, кто отворачивался, чтобы не здороваться. Секретарь Игарского райкома, старый партиец, руку не подал и жестко посмотрел в глаза. Сан Саныч переживал. Его товарищи думали про него, что он вор. Или еще что-то...

Он пошел к Макарову и отказался делать доклад. Макаров неожиданно легко согласился. Дело было вечером, они вдвоем сидели в большом кабинете.

– Я о Захарове хотел спросить, Иван Михалыч, ведь он сидит.

– Ты так глядишь, Сан Саныч, как будто я все решаю! – нахмурился начальник пароходства. – Занимаюсь я Захаровым, ты спрашивал уже... он им там наговорил на сто лет тюрьмы! Они бы и выпустили, да все зафиксировано, и он подо всем подписался. Сам на себя петлю надел!

– А генерал Подгозин? Он же ваш знакомый...

Макаров помолчал, глядя в стол, поднял недовольный взгляд:

– Занимаемся, я тебе сказал! Лучше про свои дела расскажи. Как работа?

– Нормально.

– Но и не рвешься! План еле-еле вытянул... Я завтра иду к генералу. Пойдешь со мной! Посидишь в коридоре, если он в настроении будет, я тебя позову. Он мужик неплохой, ты с ним поласковой, он любит, когда к нему... ну, понимаешь! Большое начальство! Попросим за твою невесту.

Всю ночь Сан Санычу виделось, как он уже едет за Николь. Так и не уснул. Представлял ее с мальчиком на руках, а Катька рядом, держит маму за руку. И он идет к ним. Сердце его готово было остановиться от благодарности к добрым людям – к Макарову, к этому генералу... Он включал лампочку, садился в постели, закуривал и рассказывал Николь, как все получилось, как им помогли.

Утром встретились с Макаровым у здания МГБ, выписали попуска и поднялись наверх. Сан Саныч шел знакомым длинным коридором и испытывал дурацкое чувство мести – он почти свободным шел по той же синей ковровой дорожке – не получилось у них посадить его, шел уже к другому генералу – справедливость восстанавливалась. Дверь в один из кабинетов открылась, Сан Саныч заглянул машинально, и ему показалось, что там идет допрос. Мгновенно все всплыло в душе – как стоял на опухших ногах, как конвоир орал, чтобы он не спал... Козин со взглядом гаденыша, сержант Цветков, закатывающий рукава... Сердце само собой затрепетало в панике.

Макаров скрылся за дверью. Это был кабинет с бархатными шторами, он заходил сюда в наручниках, держа руками штаны. Иван Михалыч вскоре вышел и заговорил шепотом:

– Не может сейчас, ждет звонка... – он показал глазами наверх. – Когда освободится, не знает. Поедем, буду звонить ему.

Они снова приехали к генералу только в час дня.

Все утро, пока ждал, Сан Саныч пролежал на койке в общежитии. Пытался представить разговор с генералом, свой рассказ о Николь и детях, сам же страшно нервничал и сбивался. Подвал «серого дома», его камера вспоминалась, лезвие в щели, он и сейчас смог бы найти его... Рассказать бы генералу, как ссали на лицо капитана Белова... – сердце Сан Саныча бешено колотилось от унижения. Это все было в этом доме, и офицеры все такие же лощеные и довольные собой! Возможно, и Фролыч там, больше года о нем ничего...

Генерал сам вышел в предбанник и пригласил обоих.

– Здравия желаю, Федор Иванович! – Макаров шутливо приложился к фуражке и по-приятельски подал руку.

Белов тоже козырнул.

– Да ладно-ладно! – генерал был в одной гимнастерке.

Лет сорока пяти, высокий и тучный, но без живота, генерал выглядел моложаво и даже спортивно. Улыбался важно и весело и смотрел умно, но Белов отчего-то чувствовал неловкость – вальяжность начальника МГБ Красноярского края унижала.

– Так! Обедать! – скомандовал хозяин кабинета, потирая руки. – Там поговорим!

Они спустились в столовую на первом этаже. Генерал по дороге выпрашивал у Макарова новости про однокашников, о работе, но, кажется, не слушал, поглядывал благодушно. Пришла официантка, генерал велел принести свежие салаты и цыплят табака. Коньяк и водку. Сан Саныч уже крепко чувствовал себя не в своей тарелке. Здесь, внизу, под ними сидели сейчас люди. Но он только кивал, соглашаясь, что свежие овощи и зелень полезны для мужского здоровья. И улыбался над солдатскими шутками генерала.

Хозяин сидел в торце большого стола, Белов с Макаровым напротив друг друга. Официантку генерал отправил и разливал сам.

– За Хозяина! – он поднялся решительно, пихнул супницу, стоявшую у него под рукой на специальной коляске. Из рюмки выплеснулось, по борту супницы потек золотистый борщ.

Чокнулись. Выпили. Сели закусывать. Белов выпил безо всякого чувства, здесь все было фальшиво. Кроме настроения генерала.

– Сам звонил! – произнес Федор Иванович вполголоса, солидно и с чувством, и указал вилкой в потолок. – Волновался! Честно! Все утро волновался, как пацан! У меня с ним всегда так! А уж когда сидишь у него в приемной... иной раз и коленки трясутся! Такого масштаба человек! Сто генералов, включая Жукова и еще кого хочешь, перед ним будут стоять – и всех будет трясти!

Генерал, гордый своими трясущимися коленями, снисходительно зыркнул на собутыльников сквозь золотые очки и снова наполнил рюмки. Выпили. Генерал сам стал разливать борщ.

– Фу-ух! Хорошо сегодня... на все вопросы четко ответил. Знаете, как он умеет! Это, я вам скажу! У меня один Красноярский край, и то за всем не уследишь! А у него целая страна да еще полмира! И он все

знает и все помнит! – Генерал выдохнул расслабленно и выпил, ни с кем не чокнувшись. – Ну, что у вас, молодой человек?

Сан Саныч поставил поднятую было рюмку и заговорил, заикаясь и преодолевая волнение:

– Я про своего старпома Захарова Сергея... Фролыча хотел спросить... он арестован...

– погоди-погоди! – остановил его генерал и посмотрел на Макарова. – Это твой Захаров?

Начальник пароходства кивнул, строго посматривая на Белова.

– Идет следствие! – генерал зачерпнул борщ и понес ложку ко рту. – Вам тут делать нечего! Вы хотели просить за вашу невесту. Она ссыльная?

– Старпом Захаров арестован по моему делу... меня освободили...

– Я сказал, не ваше дело! – генерал вытер жирный подбородок, глаза недобро сузились, рот тоже стал маленький. – Скажите спасибо, вас отпустили!

– Его тоже бьют, как и меня? Он здесь внизу?! – холодея от страха, выпалил Белов.

– Вас били? – генерал поменял тон на спокойный, даже на благодушный и стал разливать коньяк.

– Пристегивали наручниками и били, как последние подлецы и трусы... – у Белова тряслось все.

– Сан Саныч! – строго остановил его Макаров. – Скажи про Николь.

Генерал опять выпил, не чокаясь. Макаров пригубил, Белов пить не стал.

– Захаров – честнейший человек, Иван Михайлович! Всю войну на морских караванах! Ранения, награды! Почему вы молчите?!

Макаров смотрел на Белова, как на последнего дурака. Заговорил сухо:

– Не ждал я от тебя такого, товарищ Белов. Захаров – это мой вопрос, а ты забыл, куда и зачем пришел! Как можно так себя вести, тебя принимает руководитель края...

– Ладно, Иван Михалыч, дело молодое, горячее, понять можно... – Генерал наполнил рюмки и поднял свою. – Бывает еще, чего греха таить. Давайте, за справедливость! Не я здесь командовал, но все равно – мои личные извинения за сотрудников, капитан!

Сан Саныч растерялся, зачем-то начал вставать, чтобы выпить стоя, но не встал, а быстро выпил и, стиснув зубы, опустил голову. Он видел глаза генерала, когда тот говорил о справедливости. Они не выражали ничего. Капитан Белов и старпом Захаров были ему не интересны.

Генерал с удовольствием ел цыпленка, вытирал салфеткой жир, Макаров закурил, а у Сан Саныча коньяк в горле застрял. О Николь говорить он не мог. Этот упитанный генерал был ему неприятен, у него, у Козина и Антипина было что-то одинаковое в лицах. Они были трусы, холуи, они были люди без чести... Сан Саныч встал неожиданно для себя:

– Извините меня, товарищ генерал, я... разрешите, я пойду? Мне очень стыдно, Иван Михалыч. Честное слово! Извините! – и он, едва не уронив стул, выбрался из-за стола.

– Идите-идите! Ничего не бойтесь! Я запрошу дело... как фамилия вашей невесты?

– Вернье... Николь.

– Цыганка, что ли? Ну ладно, скажите секретарю, разберемся! – генерал разорвал следующего цыпленка. – Завтра с утра приходите!

– Спасибо, извините меня еще раз. Я просто...

– Ну идите уже... я понял. Давай, Михалыч, вздрогнем по-старинному! У меня настроение сегодня! – генерал поднял рюмку.

К выходу Белова сопровождал офицер. Сан Саныч совсем ничего не чувствовал. Как будто сделали укол в голову, если бы его спустили вниз и заперли в знакомую камеру, он не сказал бы ни слова. Так даже и лучше было бы – он сейчас что-то сделал не так! Все испортил! Внутри все онемело – шел просить за Николь и не спросил!

На улице светило солнце и морозило. Он натянул поглубже фуражку, поднял воротник шинели, у него были дела в пароходстве, но он, боясь, что его найдет Макаров и придется с ним разговаривать, пошел в другую сторону. Он просто шел по улице, не зная, куда деться. В этом городе год назад у него было море приятелей, теперь же не было никого. Он брел, а ему назойливо мнилось, что он снова в лагере, где друзей не бывает.

От выпитого коньяка захотелось есть, он зашел в пельменную, где разливали и водку. Здесь они не раз сиживали с Мишкой Романовым.

Возвращался в общежитие вечером, мороз прижал за двадцать, и Белов здорово ооченел, но и протрезвел. Тревога вдруг охватила, показалось, не одыбае^[148] до завтра. Пошел в душ, побрился и лег в кровать. Уснуть опять не получалось. Николь, Фролыч, Макаров, перед всеми он был виноват по уши... Мишка Романов... он уже ничего не мог о них думать. Их образы вызывали только тяжесть в душе. Он не знал, как будет говорить с генералом.

На другой день Сан Саныч два часа просидел в приемной. Приходили люди, в основном штатские, в темных двубортных костюмах, в широких по моде брюках, прокурорские работники в черных кителях и с ромбами. И эти тоже все были чем-то схожи меж собой, Сан Саныч не мог понять. Вот еще один, в хорошем военном френче, без знаков различия, как знакомому, махнул секретарю и зашел. Что же в нем? – соображал Сан Саныч. Немолодой, бритый налысо, крепкие челюсти... брови темные и мохнатые. Какой-то он был никакой! Как будто у него не было выражения лица, не за что было зацепиться любопытству. И прежде вошедших и вышедших Сан Саныч не запомнил. Одно про них можно было сказать точно – это были начальники. Номенклатурные работники. Никто из них не взглянул, будто специально не заметил молодого речника с двумя маленькими звездочками на погонах.

Он вздрогнул и выронил фуражку из рук, когда его пригласил секретарь. Генерал был в штатском, не глядя на Белова кивнул, листая бумаги. Сан Саныч стоял. Генерал листал личное дело. Мое или Николь? – не понимал Сан Саныч. Он решил ни в чем сегодня не противоречить.

– Вот что я тебе скажу, капитан Белов, – генерал говорил весомо, он очень хотел показать, что недоволен. – Забыли эту барышню!

– Как забыли? У нас двое детей, я женюсь! – вылетела у Сан Саныча заготовленная фраза.

– А срок не хочешь?! Кто она тебе?! Ты что, совсем охренел?! – генерал захлопнул дело и пихнул его от себя. – Двое детей... Она – иностранка! Дурака из меня делаешь?! Все – забыл ее! – генерал хмурился сурово. – Работай! Мы вернем тебе честное имя. Это можно.

Он замолчал, рассматривая Белова. Тот стоял, опустив голову, и молчал.

– И я бы подумал... на твоём месте подумал бы о сотрудничестве с нами! – генерал ткнул пальцем в папку. – Скажу прямо – у меня лично ни один не посмел отказаться! В бараний рог скручу! – Он сдавил на столе пухлый кулак. – Будешь с нами работать – жить станешь, как человек! Это должно быть тебе понятно!

Сан Саныч все молчал, генерал принял это за покорность и заговорил по-свойски:

– Жениться... жениться все хотят! – он усмехнулся довольно. – Это не запрещено. Я сейчас с тобой закончу и поеду поджениться! Маленько! Чем французская манда лучше русской?!

Он всем телом, очень искренне затрясся над своей шуткой.

– Все! Свободен! Придешь в понедельник, оформим...

– Я не буду с вами сотрудничать! – Сан Саныч поднял голову, глаза потемнели от страшного волнения.

Он с ненавистью смотрел на генерала, тот опешил, машинально нажал кнопку на столе. Вошел секретарь. Вальяжное лицо генерала на глазах превращалось в харю высокостоящего хама:

– В самую жопу!!! – зашипел он злобно, хватая папку с личным делом. – Кобыле в трещину!!! Загнуть! Загнуть! Выполнять! – взбешенно завизжал хорошо упитанный человек, слюна летела изо рта, он швырнул папку на пол в сторону секретаря. – Куда Макар телят не гонял! Вон отсюда!!!

Белов опять сидел в той же пельменной, что и вчера, и даже в том же самом углу за колонной, где его никто не видел. Официантка принесла водки. Внутри все было выжжено случившимся и тоскливо гудело, ничего нельзя было поправить. Он вспоминал и вспоминал разговор и не видел своей вины. Он ничего и не успел сказать, любому другому он дал бы в морду за такие слова о Николь, а тут промолчал. Почему такая тварь решает судьбу моих детей? Сан Саныч потянулся налить, но остановился.

Год назад я был человек, полный сил и желаний. Я любил свою Родину, готов был сутками и сутками работать на нее. Зачем они меня топчут? Эти сытые люди в погонах! Почему они ведут себя так? Я перестал любить свою команду и работу, я ничего не хочу, стыжусь своих товарищей... Сан Саныч сидел, обхватив голову руками. Я люблю честную женщину... но не имею на это права! Они не могут

объяснить почему, не считают нужным. Они могут только топтать все чистое... любовь, детей, женщин! Зачем они таскают Николь по Красноярскому краю?!

Он вспомнил угрозу генерала, он боялся, но и не верил, что они куда-то отправят Николь с грудным ребенком. Она в декретном отпуске... Этого не могло быть. Просто пугал. Сан Саныч подумал вернуться и извиниться перед генералом, даже встал и надел шинель, но, постояв, не смог придумать, за что должен извиниться. Он боялся и ненавидел этого раскормленного барина.

Рюмка стояла наполненная, а он все не выпивал, мысли тягуче и тошно вращались в голове.

– Сашка, ты?!

Сан Саныч поднял мутную голову, перед ним с тарелкой пельменей стоял Валентин Романов.

– Дядя Валя!

Они обнялись. Валентин приехал узнать о Мишке, от него опять ничего не было.

– В мае получили последнее письмо, он в придурках сейчас – инженером на шахте. Какой-то механизм им придумал... – Валентин посчитал, аккуратно загибая пальцы. – Теперь семь месяцев прошло и никаких вестей. Подал заявление, неделю уже живу...

Он замолчал, взялся за рюмку. Посмотрел мрачно мимо стола и, качнув головой, выпил. Не закусывал, все смотрел куда-то сквозь пол, потом заговорил, нахмурившись:

– Плохие у меня предчувствия, Сан Саныч. Либо они его угробили, либо в штрафниках где-то, без переписки. Письмо это последнее... очень уж он успокаивал, что все у него хорошо. – Валентин вздохнул и стал разливать.

Выпили еще. Закурили.

– Я иногда думаю, если бы морды не побил тем уполномоченным, что нас раскулачивать приехали... – он замолчал, прищурился, вспоминая, расслабился лицом: – Все равно достали бы! Уж, видно, крест такой. Нам наша власть, как стихийная бедствия – никуда от нее не деться!

Валентин с грустной отцовской лаской смотрел на Сан Саныча.

– Что? Хлебнул следствия? У меня они тоже зубья лишние нашли, – он ощерился, обнажая прорехи во рту.

– Расскажи, дядь Валь, про жену Горчакова, – неожиданно спросил Сан Саныч. – Она у тебя на острове жила...

– Ася-то?! Какая женщина, Сашка!

И Валентин рассказал их историю. Про Севу тоже. Сан Саныч слушал, курил и вспоминал Асю. Думал про «неистребимое человеческое начало», о котором говорил Илья-пророк.

У них остыли и слиплись пельмени, и они заказали новые. И еще водки.

– Ну а про своих-то что молчишь?

Тут уже Сан Саныч рассказал. И про сегодняшний разговор с генералом.

– Ты, Сашка, умный, а не очень! – кряхтел с досады Романов. – Ну кто же с ними спорит? Стой, башкой тряси, сам свое думай! Ему же ничего не стоило отдать ее тебе! Да и тебя освободить мог! Эх, молодость! Мандой он ее назвал! Это ты лагеря как следует не понюхал!

– Понюхал!

– Ну-ну... фраернулся – одно слово!

– Что я должен был? Ноги ему целовать?! Ты не все знаешь... – Сан Саныч набрал воздуха и отвел взгляд. – Они меня сексотом^[149] хотели сделать. Еще в Игарке – обещали развод с моей Зинкой. Я подписал бумагу, а потом пошел и отказался. Это все в моем деле есть! Генерал увидел и давай орать. Будешь, говорит, с нами работать, все у тебя будет!

– Да-а-а, это они умеют! Им надо, чтобы все были такими же падлами, как они. Так уж люди устроены... – Валентин поморщился в досаде. – Загонят они ее, Саня. На детей им насрать. Ты бы видел, как они, суки, людей раскулачивали!

– Может, не тронут, этот Подгозин товарищ нашего Макарова, пойду к нему завтра, извинюсь...

– Не поможет. Он теперь обязательно напоганит. Ты же против их порядков прешь!

Замолчали. Получалось, что... плохо все получалось.

– Почему люди так себя ведут, дядь Валь?

– Да какие они люди, Саня...

На другой день Белов позвонил в приемную Макарова, но тот его не принял. Он пришел к зданию МГБ и долго бродил рядом. Так и не

осмелился войти и попросить о встрече. На общее собрание пароходства Белов не пошел.

Перед отлетом в Игарку на всякий случай заглянул в отдел кадров, узнать об отпуске, который не отгулял еще за прошлый год. Отпуск, как осужденному, был ему не положен.

В Игарке всю уже стояла зима, снегу хорошо навалило, и на улицах опять появились заключенные с широкими фанерными лопатами, националы на оленях, запряженных в легкие нарты, а у дворов – высокие кучи тонкого «макаронника», отходы с лесозаводов, их развозили бесплатно. Мужики, ребята, а чаще бабы лучковыми пилами пилили эти обрезки под размер печек, и те без усталости жрали и жрали сырое топливо, коптя и без того серое игарское небо.

Надвигалась полярная ночь, в десять утра еще были сумерки, в четыре начинало темнеть, а в полпятого запускались дизельные генераторы и в домах загорались лампочки.

Сан Саныч прилетел в самом поганом настроении. Впереди были семь месяцев зимы без Николь и детей. В караванке ждали верные, навечно приписанные к Игарке Померанцев и Климов. И еще толстое письмо от Николь.

Сан Саныч ушел в свою комнату, вскрыл конверт. В письме были фотографии. Катя красочная, живая, с кокетством в глазках – у Сан Саныча сердце поплыло от нежности, Саша – просто мальчик-толстячок, тоже в нарядном... Сан Саныч ухватил себя за лицо и замер, пытаясь понять, что это и есть его сын. Мальчик был немного похож на Николь. На третьей карточке они были все вместе. Сан Саныч смотрел на них, не отрываясь, и чувствовал, что ему никогда не оправдаться перед Николь.

«Здравствуй, мой ненаглядный!

Сегодня пишу письмо от себя, малыши спят без задних ног. Нагулялись, купались в одном корыте... Катя так забавно ухаживает за братом, это невероятно, но в ней уже есть что-то материнское. Я иногда с ревностью на нее смотрю. Но, может быть, просто копирует меня. Твои переводы сделали чудо – моя хозяйка, Матвеевна, стала иначе ко мне относиться. Раньше она помогала, но прямо говорила, что

прогадала, пустив меня на квартиру. Теперь же мы частенько пьем с ней настоящий чай, который я покупаю на твои деньги.

Она несчастная, запуганная тетка, всю жизнь в нужде. Раскулачили из-за красавицы дочери (муж погиб в Первую мировую, и раскулачивать вообще было нечего!), какой-то местный “ативист”, как она говорит, брал ее дочь замуж, а она вышла за другого. Так все трое и уехали в Сибирь за “пособничество кулакам”. Из Полтавской губернии в Сопкаргу... Самая, впрочем, обычная история. Дочку с зятем отправили куда-то еще дальше на зимний сетной лов, и Матвеевна потеряла их следы. Ей просто сказали, что они умерли. И она покорно это приняла и не знает, где умерли, почему, и не видела их могил.

У нее остался маленький внук, она работала прачкой по экспедициям, просто людям стирала за хлеб и выходила парня. Два года назад он завербовался на какую-то большую комсомольскую стройку. Иногда присылает бабке десять рублей.

Ссылка у Матвеевны три года как кончилась, домой она ехать побоялась, а перебралась сюда, к своей знакомой, такой же ссыльной в Лугавское. Тут ей повезло, им с внуком дали дом (он большой, но несуразный – перестроен из амбара выселенных когда-то кулаков – представь, отсюда тоже выселяли!).

Она по старой привычке ходит, обстирывает за копейки начальство и обрабатывает свой огород. Я помогаю ей, комендант от меня отстал, не требует, чтобы я работала (раз в неделю, когда хожу отмечаться, ношу ему бутылку). Пишу подробно, чтобы ты знал – у нас тут вполне налаженная жизнь. Во многом лучше, чем в Ермаково, все-таки Север – это тяжело! Лето здесь жаркое, долгое, мошки, можешь себе представить, в селе почти нет... в Дорофеевском из-за нее небо бывало серого цвета! Про чудесную Зинаиду Марковну я тебе много раз писала, ее нам Бог послал! Мне теперь всегда есть с кем посоветоваться, она не дает мне “распускать нюни” (хотя иногда очень хочется).

Мы заготовили на зиму семь мешков картошки, я купила ее у Матвеевны, и эта картошка в погребе лежит отдельно от хозяйской! Еще там есть наша морковь, наша свекла и наш большой кусок соленого сала. Ты меня хвалишь?

Чуть не забыла! Зинаида Марковна поговорила в сельсовете, и нам на наших с тобой детей государство выдало билет, по которому я сама могу вывозить (выносить) из леса хворост! Матвеевна так радовалась этой бумажке! Оказалось, она умеет улыбаться. Но это не все – нам еще выдали ордер на одежду и обувь! И я уже купила себе очень удобные резиновые боты, а Матвеевне новую телогрейку. На детей в здешнем сельпо ничего нет.

Здесь хорошо, Саша! Если бы еще заполучить тебя, то больше ничего не надо. Это было бы полноценное и очень прекрасное счастье! Зиму мы проживем спокойно, копытя не протянем, как говорит Матвеевна, так что не беспокойся о нас.

Пишу это все тебе, потому что мне показалось (по твоим последним письмам!) – ты что-то задумал. Если ты хочешь как-нибудь потихоньку к нам приехать, то, пожалуйста, не надо. Осталось потерпеть всего год. Я очень тебя люблю! Что такое год? Уже середина октября, не надо ничего нарушать, правда же?! И Матвеевна, и Зинаида Марковна, они уже освобождены от ссылки, но не едут на родину, живут здесь, потому что там может быть еще хуже. Что делать, если жизнь теперь так устроена? Через год ты станешь законным отцом твоих детей, а я твоей женой!

Вот я дура, накапала на письмо. Прости. Это от счастья, что все не так плохо! Ведь правда?!

А теперь сюрприз! Я придумала, как нам поговорить по телефону! Я познакомилась с водителем из коопторга! Он три раза в неделю ездит в Минусинск за товаром, а потом обратно. Я поеду с ним в Минусинск (на это я имею право!), поговорю с тобой на переговорном пункте и вернусь. Детей оставлю на Матвеевну, они ее любят. Пришли мне номер телефона (можно и телеграммой!), где ты будешь ждать моего звонка! Я отвечу, когда и во сколько буду звонить!

Тебе нравится?

Целую тебя... не знаю, как... Увидимся, узнаешь!!! Твоя Николь.

Подумала вдруг, что я страшно счастливая! Так удивительно – всего три года назад у меня не было ничего! Я жила одна, в Дорофеевском, за печкой у стариков Михайловых, а теперь у меня Катя и целых два Сан Саныча!»

Сан Саныч долго сидел над письмом. Померанцев с Климовым так и не дождались его к ужину и легли спать.

Утром ушел к открытию почты. Дал телеграмму с номером телефона.

75

Наступал Новый 1953 год.

В сущности – просто какой-то год в долгой истории людей.

Ася с Колей начали отмечать его вместе с младшими классами на утренней школьной елке. По очереди сидели за пианино, а Коля еще был Дедом Морозом. Потом пили с детьми чай с пирогами. В этом году праздник был скромнее. Богатое Управление Строительством-503 прикрыли, и начальства и денег в Ермаково стало меньше. В детских подарках уже не было мандаринов, которые раньше специально к Новому году привозили самолетом, но все равно было весело. Ребятишки с криками и визгами носились по школе, счастливые и свободные.

Вечером был новогодний бал. Старшеклассники уговорили директрису отдать им спортзал, он больше актового зала, украсили его пахучими пихтовыми лапами и самодельными игрушками. Огромная фанерная тройка из северных оленей «летела» под потолком с надписью «1953» под дугой.

Был концерт с чтением стихов, акробатическими и художественными номерами, песнями под гитару собственного сочинения. Потом родительский комитет вместе с учителями сели в учительской выпивать и закусывать, а в спортзале притушили свет и начались танцы.

Горчаков накануне Нового года предупредил, что ему вряд ли удастся выбраться, но Коля все равно несколько раз за этот день бегал домой посмотреть, не пришел ли отец, Ася тоже ходила. Домой вернулись в два часа ночи. Горчакова не было. По случаю праздника дизель еще тархтел и давали свет, в нетопленном домике было холодно. Ася села в одежде к столу, развязывала пуховый платок. Коля закладывал дрова в печку, сам продолжал возбужденно рассказывать:

– Ты права, мне надо серьезно заняться музыкой! Я и Даше это сегодня обещал! Хочу выучить первую балладу Шопена и сыграть отцу. Ты говорила, это последнее, что он тебе играл. Он меня еще ни разу не слышал...

Ася смотрела молча и устало.

– Он правда играл лучше тебя? Даже не верится, он совсем не похож на пианиста. – Коля зажег бересту и сунул под дрова. – Будем топить с открытой дверцей, быстрее нагреется. Отец очень любит музыку, но не любит о ней говорить.

– Как мне нравится, что ты называешь его «отец»!

– Да? А что?

– Это значит, что у Геры Горчакова есть сын! – Ася тихо улыбалась. – И еще твой отец рад тебе больше, чем мне.

– Да? Мне так не кажется...

– Я не ревную, было бы ужасно, если бы было наоборот...

Коля присел рядом, обнял ее за коленки.

– Он Севу тоже любит, носит с собой его фотографию... Мам, не надо, ты сама говорила...

– Да? Какую фотографию?

– Там, где Сева с бабой читают. Они оба смотрят в объектив...

Ася молчала. Потом встряхнулась, заставляя себя улыбнуться:

– В ушедшем году мы встретились с нашим отцом... – она замолчала, словно обдумывала сказанное. – Он тебе нравится?

Печка плохо разгоралась, Коля прикрыл дверцу.

– Почему нравится? Он мой отец! Почему ты спрашиваешь?

– Если бы ты знал его молодым, ты очень удивился бы. Я не думала, что люди могут так меняться, иногда вздрагиваю, что это не Гера, а кто-то другой живет под его именем. – Ася замолчала, улыбнулась Коле. – Целый день сегодня вспоминала его молодым... Наряжала с ним елку.

Она поднялась и стала доставать тарелки.

– Давай поедим... У нас и шампанское есть! Выпьем, чтобы его освободили!

– Ой, я совсем забыл! У меня сюрприз! – Коля снял с полки книжку и достал конверт. – Вот, отец сказал, если он не придет, тут его новогоднее поздравление.

Ася открыла конверт. Это было письмецо, первое письмецо от него за столько лет.

«Дорогие мои Ася и Коля!

Как же хорошо, что вы есть у меня!

Вы учите меня волноваться, и ждать, и любить. И даже надеяться на что-то. Это мне немного непривычно и нервно, но я пробую.

Надеюсь, вам все это не слишком хлопотно...

С наступающим вас 1953-м, дорогие мои!

Будем надеяться на лучшее!

(Лучшее для нас – это как можно дольше остаться вместе!))»

Шел уже третий час ночи. Автор письмеца в это время тоже не спал. В лагерном лазарете никакого праздника не чувствовалось, все шло, как обычно, тридцать первого декабря их лазарет обшмонали на предмет наркотиков, спиртного и колющего-режущего, и вертухаи ловко умыкнули у Горчакова пять пачек «Беломора». С куревом было напряженно.

Тяжелых больных было немного. Пожилая медсестра, всхрапывая, спала головой на столе под настольной лампой. Горчаков накинул бушлат и вышел на улицу. Погода была не новогодняя, минус небольшой с ветром, казалось, что мокро. Он встал за угол и достал папиросы.

Ася была беременна. Сказала ему несколько дней назад. Срок уже немаленький. Горчаков, и тогда, и сейчас это чувство зашевелилось где-то в глубине, был этому непонятно рад. Или не рад, но что-то... какое-то серьезное чувство поселилось в груди. Он, инстинктивно уже опасаящийся перемен, теперь был спокоен. Ася опять оказалась сильнее его страхов.

Он докурил, но все стоял, думая об Асе, – откуда в ней столько сил жить вопреки обстоятельствам? С не проходящим горем, рвущим ее изнутри, жить, любя, и этой любовью отогревать других. Даже он стал привыкать к дурацкой мысли, что его жизнь может быть иной, чем она была последние полтора десятка лет.

Он открыл дверь и шагнул в кашель и бормотание ночного лазарета.

Валентин Романов за час до Нового года ввалился в свою комнатенку и начал стаскивать с себя грязную одежду. Второй месяц пошел, как он жил в Красноярске, обивая пороги учреждений. Писал запросы, подавал заявления в прокуратуру, милицию, особый отдел пароходства. Нигде не торопились с ответами. Деньги давно кончились, и он подрабатывал на товарной станции грузчиком.

Жил Валентин в общежитии речников, куда его устроил Белов. Бакенщикам не положено было, но комендантша «приняла» дорогие духи фабрики «Красная заря» и дала место в чуланчике под лестницей. С раскладушкой, которая сломалась под Валентином в первую же ночь.

Уставший, как собака, доплелся до душа, постоял, отходя, под теплой водой, потом долго брился, рассматривая себя в зеркало. Смотрел на хмурого пожилого мужика и думал о жене. Анна была молодая. Красивая. Никогда бы и не глянула она на рябую рожу, что смотрела сейчас на Валентина Романова, – жизнь ссыльная приперла. Сидит теперь одна, с малыми ребятишками. Под енисейскими снегами.

Валентин вытерся, натянул трусы и с полотенцем на плече пошел к себе под лестницу. Мужики, поддавшие уже и нарядные, шутили над Ильей Муромцем из Ангутихи. Из каких-то комнат доносился и браконьерский женский смех. Наберет сегодня комендантша духов, понимал Валя, вытягивая из форточки авоську с куском сала и бутылкой водки.

Стол себе на ящике, на газетке накрыл, хлеба порезал, луковицу и сел на матрас, по-татарски скрестив ноги. Налил полстакана. Задумался. Почти год от Мишки ничего не было. Но не было и плохих вестей. Это ничего, вспоминал он собственные лагеря, могли и режим поменять, писем лишить, мало ли? Был бы только жив. Он кивнул кому-то, перекрестился, выпил неторопливо и с благодарностью и стал закусывать.

Ленинградский инженер Николай Михайлович Померанцев с неразлучным своим товарищем вологодским крестьянином Игнатом Кирьяновичем Климовым были званы на Новый год к литовцам – за ними пришел молчаливый Йонас. Звали и Сан Саныча, но тот остался в караванке.

Литовцы жили в бараке на краю Нового города. В шестнадцатиметровую комнату собралось человек двадцать, было тесно, от окна до двери тянулся стол, составленный из нескольких, под ним ползали дети, а совсем маленьких и блюда передавали по рукам. Йонас женился прошлой весной, его молодая жена качала на руках грудного. Выпивали очень вкусный самогон, сваренный по какому-то особому литовскому рецепту. Было весело, собирались сидеть до Нового года по вильнюсскому времени и именно на этот торжественный момент подать литовские картофельные колбаски «ведарай» – Повелас объяснял, что это такое и как вкусно. Но начали с игарского времени и подали нельму, запеченную в тесте. Померанцев с Климовым и Повеласом вспоминали их работу и сытую жизнь на «Полярном», пили здоровье Сан Саныча, Николь, арестованных Фролыча и Степановны.

Подошел Йонас:

– Давайте выпьем за всех, кто остался в этой ледяной земле. Неважно, русский он, или литовец, или кто-то еще. За тех, кто лежит в Дорофеевском, Агапитово, Сопкарге...

Выпили, не чокаясь.

– А сейчас за твою дочку! – Климов показал на свою пустую стопку. – Наливай. Люди жили, люди будут жить. Пока есть любовь, никакая дурная сила им не страшна!

В соседней комнате и коридоре начинались танцы. Молодежь, мешая русский, немецкий и литовский, спорила о пластинках. Поставили аргентинское танго.

В караванке никого не было. Сан Саныч лежал на своих нарах и читал «Речное и озерное судовождение». Читалось плохо. Его ставили на большой теплоход «Сергей Киров». Но сейчас он ни о чем не просил, на него просто пришел приказ. Он должен был отправиться в Дудинку, принять судно и готовить его к навигации 1953 года. Макаров простил его выходку в кабинете генерал-майора.

Если бы Белову предложили выбор, он отказался бы от «Кирова» и даже от профессии. Но выбора не было. Он был осужденный капитан и должен был ехать к новому месту службы.

Его неумное поведение у генерала обошлось страшно дорого. С конца ноября целый месяц от Николь не было ни одной весточки – ни

писем, ни ответов на телеграммы. Он терялся: что с ними могло произойти? Они, конечно, могли быть там, в Лугавском, просто не отвечать по каким-то причинам... По каким? Концы не сходились... не мог же этот генерал и правда их отправить... Он ждал письма и уже вторую неделю оттягивал отъезд, но перед самым Новым годом его вызвали в милицию и потребовали, чтобы он ехал в Дудинку.

Без десяти двенадцать Сан Саныч вышел на улицу. Так они условились с Николь. Тучами затянуло все небо, ни звездочки не было. Сильный влажный ветер летел из тундры. Погромыхивал чем-то металлическим на стоявшем у берега буксире «Полярный». Гудел в растяжках. Сан Саныч представлял Николь, что и она смотрит сейчас на небо. Не давало это никакой радости, о которой они мечтали, когда договаривались. Сан Саныч выбросил погасшую папиросу.

Серое небо, как сырое тесто, тяжело липло к лицу.

Хозяйка всхрапывала и бормотала что-то во сне. Как будто молилась. Николь, чутко спящая из-за детей, никак не могла привыкнуть, просыпалась, прислушивалась и не могла заснуть.

Их новой хозяйкой была худая и страшная, как баба Яга, пожилая казашка. Горбатая и одинокая, ничего у нее в жизни не осталось, кроме саманного домика и трех коз. Козы сейчас тоже вздыхали в сенцах за тонкой глиняной стеной.

В домике было холодно. Они втроем спали на полу, на кошме во всей одежде. Катя, засыпая жаловалась, что ей холодно, но потом спала крепко. Саша ночью кряхтел. Николь щупала их лица, носы были холодными. Сделать ничего нельзя было – глиняная печка почти не держала тепла. Глиняными же, смешанными с соломой и навозом были тонкие стены и потолок. На улице крепко морозило. Они спали, укрывшись тяжелой овчиной, и Николь все время было страшно за детей, особенно за Катю, которая, как большая, лежала с другой стороны от Саши. Николь боялась, что Катя задохнется под этим грязным и вонючим «одеялом».

Она выбралась из-под овчины, проверила детей, поднесла к окошку руку. На часиках, подарке Сан Саныча, было уже половина первого. Повязала платок и вышла на улицу. Под ногами хрустело, было тихо, только собаки побрехивали. Лунный свет давал четкую, узорчатую тень от большого и голого дерева, росшего во дворе.

Опять захотелось курить, но она только нахмурилась. Она больше месяца не курила, с Красноярска, как отправились по этапу. На стылом небе было полно звезд, она глянула на них, но не вспомнила о Сан Саныче. С решительным и трусливым внутренним волнением думала о дровах, которые вечером привезли соседи и не успели еще сложить. Надо было, неслышно отворив калитку, войти в их саманный дворик, взять немного, а потом так же тихо выйти. Николь выглянула на улицу, никого не было, прокралась к соседней калитке и взялась за щеколду.

Щеколда была крепко замотана кожаным ремешком...

76

Белов переехал в Дудинку и принял теплоход «Сергей Киров». Судно было размером с четыре «Полярных», даже страшновато становилось, когда представлял, как маневрирует этой длинной тяжелогруженной машиной. Он не понимал, почему Макаров доверил теплоход именно ему, было много куда более опытных капитанов, знавших Заполярье лучше капитана Белова. Первую неделю Сан Саныч обходил теплоход, осматривал. Угля не было, четыре больших трюма, современные лебедки. Непривычно много было и просторных жилых помещений, а каюта капитана состояла из двух комнат. В одну он мысленно ставил две детские кроватки и тоскливо закуривал.

Теплоход стоял вымороженный в Дудинском порту в районе лесозавода, внутри рабочей зоны для заключенных. Зона была огромная, окружена высокой колючкой. Внутри были подзоны, так же разгороженные колючей проволокой и со своими вахтами. Сан Санычу выписали пропуск, в нем были обозначены подзоны, куда ему запрещалось входить. В одной из них, недалеко от судна, работала бригада усиленного режима. На их вахте дежурили автоматчики с овчарками.

Все работы на «Сергее Кирове» выполняла бригада заключенных. Долбили лед, чистили снег, ремонтировали, подваривали корпус – люди были разных специальностей. Бригадир приводил их утром, когда пятнадцать, когда двадцать человек, и уводил вечером в лагерь.

До Белова работами распоряжался старший помощник Виталий Козаченко. Они были ровесники, одного роста, оба заканчивали

Красноярский техникум, Козаченко двумя годами позже. Они знали друг друга, как и почти все знали друг друга в пароходстве, но коротко знакомы не были.

Виталий оказался толковым и спокойным парнем. Не лез без надобности в работу бригадира, только подписывал его наряды, в которых заключенные каждый день убирали горы снега и льда, носили их носилками, которых у них не было, и делали еще много всякой работы, которую нельзя было проверить.

Сан Саныч целые дни проводил на «Кирове», изучал, читал литературу или расспрашивал Козаченко об особенностях маневрирования, о поведении судна в разных условиях. Жил он в общежитии, запросил из Игарки ссыльных Померанцева и Климова, и с их приездом хотел снять отдельное жилье. Все как-то обустроивалось, только от Николь по-прежнему ничего не было. После Нового года пришло письмо от Зинаиды Марковны, она писала, что Николь увезли, но куда выяснить не удалось и писем от нее нет.

Генерал сдержал свое генеральское слово.

Сан Саныч писал Але Суховой в Ермаково, та тоже ничего не знала. Померанцев два раза на дню проверял почтовый ящик в Игарке... Белов не понимал: куда ее могли отправить, что она не может написать? И что с детьми? Он просыпался в холодном поту и уже не засыпал, а иногда не засыпал и с вечера.

Стояла полярная ночь, утро не отличалось от вечера. Уличные фонари, где они были, горели круглыми сутками. Морозы заваливали за пятьдесят, такие дни активировались, и бригада не приходила на работу. Так вышло и в этот день, в караванке не было никого, кроме Козаченко. Он что-то сосредоточенно писал, смутился, увидев вошедшего Белова.

– Здравствуйте, Александр Александрович! – вежливый от природы Виталий все не мог привыкнуть называть своего капитана Сан Санычем. Он убрал тетрадку. – Чайку поставить?

– Давай! И перестань называть меня на вы... Пиши, чего застеснялся?

– Я... ничего. Это дневник... – Виталий поставил чайник, заглянул в металлическую банку с остатками сахара.

– Я раньше тоже вел... – Сан Саныч присел к печке, отогревая руки. – Когда суда гнали из Архангельска, каждый день записывал...

Спал по три часа, а дневник вел – казалось, саму историю пишу!

Сан Саныч стал закладывать в печку обрезки досок.

– А я еще... – Козаченко замялся, потом улыбнулся. – Я в художественной форме тоже пробую... Пока не очень получается, но некоторым нравится. Советуют в газету послать.

– О чем пишешь?

– О буднях речников, о нашей работе. Показывал одному писателю в Красноярске, говорит, слишком подробно и надо писать про людей. Мне кажется, я про людей и пишу, а подробности... – Он в сомнении пожал плечами. – Вот тут я описываю, как мы оборот делали во время шторма, так там в подробностях весь смысл. А иначе можно просто написать – сделали оборот на сто восемьдесят градусов. Во время шторма. Не перевернулись, не сломались...

– Дай почитать, – попросил Белов, пуская дым в открытую буржуйку.

– Хорошо, только вы потом почитайте. – Старпом явно стеснялся своего творчества, подал несколько листочков, напечатанных на машинке. – Тут у нас целое приключение недавно было, хочу рассказ написать...

– Виталий, давай уже на ты меня! Мы ровесники... Что за приключение? – Белов снял кипевший чайник.

– Прямо перед Новым годом было. Мы с бригадой вынули якорную цепь... все четыре смычки. Проверяли износ, контрфорсы... все, как обычно. Отожгли – больше недели возились – стали обратно вешать – якоря нет! Все обыскали! Это же не иголка! Килограмм семьсот! Заключение тоже вроде ищут, а сами посмеиваются, я же вижу, спрашиваю бригадира – ваша работа? Тот не сознается... целый день проваландались, я уже думал им наряды не подписывать, а как не подпишешь: не пойман – не вор! Главное, представить себе не могу, как могли утащить? Его же вдесятером не поднять!

– Может, и не таскали, а спрятали где-то?

– Я сам все обыскал!

– И что?

– Три бутылки спирта поставил!

– Правильно.

– Утром прихожу, якорь на месте!

Козаченко улыбался, очень довольный честностью зэков.

– Получится из такой истории смешной рассказ?

Белов выглядел лет на десять старше. Он серьезно смотрел на Виталия, думал, прищурившись и покуривая...

– Двадцать человек в бригаде. Половина из них – пятьдесят восьмая статья – по доносам, за анекдоты, за восхваление американской техники или американской демократии... потом бытовики – за опоздание на работу, за мешок картошки, один старичок есть, Махоркин фамилия, семь лет за то, что его колхоз не вовремя посеял озимые, а он был председателем... Ну и мелкие воры есть... Обхохочешься, Виталий Александрович, от такого рассказа!

– Это правда, – тише заговорил Козаченко, – я с ними разговаривал... Не напечатают такое. – Он заговорил еще тише. – Я поэтому дневник веду.

– Все в нем и пишешь?

– Ну... не все, конечно, но стараюсь.

Белов докурил и выбросил бычок в печку.

– Прячь его подальше... найдут, будешь в такой же бригаде якоря воровать.

– Я для памяти.

– Ничего, люди все вспомнят. И все расскажут... – Сан Саныч подумал о чем-то. – Если другие люди слушать все это захотят.

Они замолчали. Печка прогорела, Белов присел подложить дров.

– Тебя не смущает, что я тоже заключенный?

– Вы?! – растерялся Козаченко. – А, ну да... Нет, не смущает, я вас очень уважаю. Я считаю, что это ошибка!

– А меня смущает.

Вечером в общаге Сан Саныч вспомнил о сочинении своего старпома и достал листочки. Напечатано было аккуратно, странички пронумерованы и склеены, как тетрабочка. На титульном листе жирно выведено название:

БУХТА КАПИТАНА ВАРЗУГИНА

«Я стою у штурвала теплохода “Сергей Киров”. Много легендарных капитанов стояли на этом месте и глядели в ветреные просторы.

Когда-то “Киров” был парходом и перегонял его на Енисей первый его капитан Ганс Кристиан Игансен. Затем им командовали Варзугин, Ильинский, Потапов, Чечкин.

Строилось судно как экспедиционное, в Голландии, первое его название было – пароход “Лена”. Он пришел на Енисей в составе большой экспедиции в 1905 году».

Сан Саныч перестал читать, закурил. Из четырех капитанов двое – Ильинский и Потапов – были репрессированы. Ильинский первым из енисейских капитанов поднялся на полтысячи километров по Нижней Тунгуске, Сан Саныч разговаривал с ним перед работой на Турухане. Это был очень красивый, интеллигентный человек^[150]. Про Потапова Сан Саныч знал только, что этот полярный капитан, участник первых, невероятной сложности Карских экспедиций, был расстрелян^[151].

Сан Саныч снова углубился в чтение – очерк рассказывал ему о его новом судне.

«Навигация 1951 года была особенной: теплоход на все лето арендовали для работы с рыбаками в Енисейском заливе. С двумя лихтерами, оборудованными для специальных перевозок, мы пошли в Красноярск, где на берегу нас уже ждали десятки бригад рыбаков с лодками, неводами, сетями, бочками, мешками соли для засолки рыбы, кухонным инвентарем, экипированные всем необходимым, ведь путина продолжалась до глубокой осени.

Погрузка бригад на лихтера и в трюмы теплохода длилась два дня. Всего получилось 700 человек, с ними “Киров” и пошел в низовья Енисея.

Мы высаживали бригады на их обжитые места, на их “пески”, как это называлось с давних времен. Большинство рыбаков рыбачили семьями, а уголья были закреплены за ними испокон веков. На песках стояли избышки, иногда ставили палатки. Это было в конце июля, а уже в августе начали съемку. В тот год рыбаков было больше, чем обычно, и сначала решили снять с песков часть добытой рыбы.

Пришли к западной оконечности острова Олений. Погода – как по заказу: тепло, солнечно, полный штиль. Льды отошли в море. Но рыбаки на берегу, невода – на вешалах. Ситуация непонятная. Встали на якоря, спрашиваем: “Где рыба для погрузки?” Отвечают: “Рыба в море, но взять не можем”. Оказалось, что к острову подошел очень большой косяк омуля, но весь он – молодь, не вышел в промысловый размер, его нельзя добывать. Мы попросили невод, чтобы немножко поймать на питание экипажа. Когда подвели невод к берегу, картина предстала впечатляющая – омуля в неводе несколько тонн, и весь

одного размера – на один-два сантиметра не дотягивал до нормы. “Однолетки”, – пояснили рыбаки. Мы взяли 200–300 килограммов, остальную рыбу выпустили в море. В придачу на воде плавали тысячные стаи линного гуся, которого нельзя было добывать, и мы ушли ни с чем.

Внезапно подул довольно сильный северный ветер, мы взяли курс к южной оконечности острова Сибирякова, где встали для отстоя. На острове поохотились на серых уток, которых на озерах было великое множество, и забросили судовой невод, но рыбы не поймали.

Ветер стал постепенно заходить на восток, и мы перешли в бухту Варзугина. Ее открыл капитан парохода “Лена” Варзугин в 1907 году. Бухта хорошо защищает от северо-восточных ветров, но полностью открыта ветрам западной четверти. В 1934 году во время шторма в ней потерпел аварию пароход “Север”.

Как это иногда бывает, вопреки всем метеопрогнозам, ветер резко изменился – зашел на запад, постоянно усиливаясь. К нам в бухту устремился мощный волновой накат. Теплоход стал дрейфовать к береговым скалам. Якоря были вытравлены до жвака-галса, но грунт скалистый, и они не держали судно. Мы запустили обе машины, однако ветер крепчал, и дрейф остановить не удавалось. С большим трудом выбрали якоря и вышли в море. Это мало изменило наше положение, огромные волны могли переломить корпус длинного судна. Чтобы уменьшить нагрузку на корпус, пришлось держаться к волне под углом 45 градусов. Этот маневр усилил бортовую качку, и крен доходил до критического.

Единственный выход из создавшегося положения был понятен – надо было делать оборот на волне и следовать по ветру в Широкую бухту, за Крестовские острова. Оборот нужно было делать быстро и без малейшей ошибки – мы могли переломить корпус или опрокинуть судно. Обсудили маневр. Капитан стал на правый борт, к машинному телеграфу. Его у переговорной трубы связи с машинным отделением подстраховывал механик. У штурвала встал я.

Расчет был такой: как только пройдет самая крупная волна (девятый вал), на следующей малой волне быстро делаем оборот, помогая машинами. Определять мощь волны было бесполезно, так как “девятый вал” иногда был седьмым, иногда – десятым. И вот настал, как нам показалось, удобный момент. Капитан показывает жестом:

“Лево на борт”. Я переключиваю руль, теплоход круто пошел на оборот, но, оказавшись на гребне волны, завис, винты оголились, управляемость упала. Капитан резко переводит ручку телеграфа левой машины на “полный назад”. В это время обрывается тросик телеграфа, и команда не срабатывает. Но механик, видя сложившуюся ситуацию, командует голосом в переговорную трубу – среверсировали левую машину, теплоход сделал оборот, и мы встали по ветру. Волны вдогонку обрушивались нам на корму, не причиняя вреда.

После постановки на якоря в Широкой бухте все собрались в рулевой рубке и некоторое время молча смотрели друг на друга. Наши глаза выражали радость, а нужных слов ни у кого не находилось. Только капитан спросил меня: “Какой был максимальный крен на кренометре?” Я ничего не ответил, и он понял, что в то время я не смотрел на кренометр. Мы все понимали, что сложившаяся ситуация могла закончиться катастрофой, а раз мы сумели из нее выйти, то теперь о чем говорить? Это был для нас урок на всю жизнь. Бухта Варзугина была названа в честь нашего предшественника – капитана парохода “Лена” Анатолия Григорьевича Варзугина, незаурядного специалиста своего дела. Он открыл эту бухту, а мы, его последователи, чуть не погубили в ней теплоход, на котором он ее открыл».

ВИТАЛИЙ КОЗАЧЕНКО, старпом теплохода «Сергей Киров» (бывший пароход «Лена»).

Сан Саныч читал в напряжении, воображая себя в капитанской рубке во время оборота. В нынешнюю навигацию предстояло работать так же. В заливе, за Крестовскими островами, в проливе Овцына с его вечными льдами... Флотская душа капитана Белова наполнялась ледяным дыханием Севера, она и запела бы от восторга, если бы не страшные обстоятельства его жизни.

Горчаков расписался за получение лекарств, заключенная унесла их упаковать, а он вернулся в закуток Злотника. Михаил Борисович

пил горячий чай из большой алюминиевой кружки и о чем-то думал. Лицо у него было скучное.

Горчаков подружился с начальником аптекобазы после февральской проверки, и теперь у Горчакова был здесь блат. Богданов регулярно отправлял его за дефицитными лекарствами. У Злотника было все. Георгий Николаевич представлял себе его в какой-нибудь городской аптеке, где-то в задней комнатке трущего порошки и разводящего капельки. Что держало Михаила Борисовича в этой даже по ермаковским меркам глуши, куда почти пять часов надо было ехать по трассе.

Вспомнив о паровозе, Горчаков глянул на часы на стене. Его «Овечка» с удобным штабным вагоном должна была вернуться примерно через час. Музыка по радио кончилась, ее едва было слышно, начались новости, и Михаил Борисович прибавил громкость. Горчаков закурил, ему как раз больше хотелось дослушать концерт Моцарта, и он начал вставать, скрипя стулом, чтобы выйти на улицу, но Злотник прямо зашипел на него и еще прибавил громкость.

Горчаков прислушался к мерному и строгому голосу и осторожно сел на стул. Злотник даже встал, он был весь внимание. Диктор продолжал читать:

«...В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М. С., врач-терапевт; профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-терапевт; профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., профессор Этингер Я. Г., профессор Гринштейн А. М., Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных, – продолжал диктор, – установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение и подрывали здоровье больных.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А. А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова,

неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского А. М., маршала Говорова Л. А., маршала Конева И. С., генерала армии Штеменко С. М., адмирала Левченко Г. И. и других, однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией “Джойнт”, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву “об истреблении руководящих кадров СССР” из США от организации “Джойнт” через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Виноградов В. Н., Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время».

– Сообщение ТАСС! – объяснил сам себе Злотник и сел, глядя в одну точку. Мыслями он был явно не здесь. – Называется «Арест группы врачей-вредителей», третий раз сегодня передают.

Начальник аптекобазы теребил бородку и все думал о чем-то, не обращая внимания на Горчакова. Наконец взял свою кружку, но чай уже остыл, и он поставил ее на место.

– Он старый, с него пора снимать мерку, – Злотник поднял глаза на небольшой портрет Сталина на стене, – а ему захотелось большого, на весь мир, политического дела. Американские наймиты! Он хочет позлить американцев... это понятно. Его зэки не могут так хорошо и много строить, как американцы, поэтому надо их обосрать, чтобы простые советские люди порадовались. Дайте мне закурить!

Горчаков думал, что Злотник не курит, но тот ловко смял папиросу и задумчиво затянулся:

– Это все очень плохо, дорогой Георгий Николаевич, я сегодня звонил в Москву. Усатый сам правил этот текст. Не этот, но тот, что был опубликован вчера в редакционной статье «Правды» на первой полосе. Называется «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Сам, своей рукой правил текст!

– Вам рассказали об этом по телефону?

– Не делайте из меня дурака! Мы говорили о лекарствах... В списке сплошь евреи, но там и Егоров Петр Иванович – ведущий врач Усатого. Мы думаем, Егоров что-то сделал не так. Но и понять его можно – Усатый психопат и трус! Он заваривает большое дело против евреев...

Михаил Борисович был очень возбужден. Горчаков встал, подошел и выглянул за дверь.

– Не волнуйтесь, такого у меня еще не было. – Злотник поставил чайник на плитку и повернулся к Горчакову. – Да не тушуйтесь вы так, я про вас знаю больше, чем вы про себя. И не бойтесь опоздать на ваш паровоз, мои будут на него грузить... – Он затянулся папиросой и сел на стул. Снова качнулся взад-вперед. – Вы что, не знаете про евреев?

Горчаков пожал плечом, это могло обозначать все что угодно, он все больше удивлялся на разговорчивость всегда молчаливого Миши-аптекаря.

– Это не сейчас началось. Дело «безродных космополитов» тянется с 1948 года, с тех пор взяли больше ста человек, разогнали все еврейские организации, еврейский антифашистский комитет... в сорок втором году они были ему нужны, они подняли евреев по всему миру в помощь СССР, собрали горы денег... а теперь он решил отдать должок! В прошлом году двадцать три человека расстреляли, шестеро умерли во время следствия. В Москве евреев увольняют с работы...

Еще немного, и он скажет «фас»! Он примитивный, но не настолько, чтобы этого не понимать, поэтому никому не может этого простить...

– Чего простить? – не понял Горчаков.

– Собственного невежества и слабоумия! Поэтому он везде лезет учить! Композиторов – писать музыку, писателей – писать их буквы, а врачей – лечить! Да, еще военных – воевать! И везде вешает! – Злотник строго смотрел на Горчакова. – Я тут молчу неделями, дайте поговорить с умным. Я имею высоких родственников, начнут с них... а у меня там мама, ей восемьдесят семь лет... Ходят два слуха. Одни говорят, что выдающихся евреев будут вешать на площадях. Это плохо! – Миша замолчал. – Представляю, как это будет выглядеть, когда Ландау или Шостаковича подведут к виселице за шпионскую и подрывную деятельность... они же – люди мира! Настоящая культура не имеет национальности! Это Божье дело! Но вы помните? – он ткнул в радио. – Их называли извергами человеческого рода. Такое уже было.

– Михаил Борисович, а почему вы здесь?

Злотник перестал раскачиваться на стуле и уставился на Горчакова.

– Только не надо думать обо мне весело! Что вы улыбаетесь? – он поднял кустистые брови.

– Могли бы перебраться в Ермаково...

– Ах, Ермаково! Там на главной базе сидит такой идиёт, что меня от него тошнит. Он зеленки от йода не отличит! Три класса образования и партшкола, чем он очень гордится! А здесь я снабжаю лагпункты. В некоторых лагерях работают не фельдшера, а врачи! Вы знаете Спицына? Он врач от Бога, он специально работает на зоне, где полторы тысячи несчастных! – Миша развел руки в знак уважения. – Кстати, ваш Богданов работал под непосредственным руководством только что арестованного Егорова, когда тот был главным терапевтом Западного фронта. Все зависит от аппетитов чекистов, если они захотят, они за год кончат всех хороших врачей в стране!

Где-то далеко загудела «Овечка». Оба прислушались.

– У нас еще полчаса. Будете ехать долго, там метет... – он посмотрел в темное окно. – Еще этот упавший мост через Барабаниху! Они не могут арестовать вечную мерзлоту, которая выдавила бетонную опору, так арестовали девять человек! Вы это видели? Что, действительно так все ужасно?

– Мост не упал, одна опора наклонилась, и с нее сползли два пролета...

– И что?

– Временную опору поставили...

– Понятно. А эта торчит среди реки, как Пизанская башня! Мне уже рассказывали!

– Забавно будет если так и останется, – улыбнулся Горчаков.

– Не оставят, взорвут, молотками разобьют, у нас не любят, когда грехи торчат наружу... Там же и паровоз упал, вы слышали?

– Нет.

– Вместе с пролетом съехал в реку... за два дня достали! Зэков нагнали, и те выволокли... Ой-ёй, грехи наши тяжкие! – Миша-аптекарь присел к печке и стал нервно разгребать кочергой уголь.

Горчаков надел бушлат, Злотник пошел его проводить.

В поезде было всего два вагона и теплушка для охраны. Из «офицерского» вагона вышли покурить с десятков военных – какие-то очередные проверяющие. Злотник обнаружил знакомого офицера и посадил Горчакова с его лекарствами в дальний угол хорошего вагона. Офицеры уже хорошо выпили и закусили и теперь пили чай, который им носили из вагона охраны.

Все много курили, говорили громко и неинтересно.

Поезд шел медленно, за окном была ночь, а внутри жарко от буржуйки, и Горчаков задремал. Проснулся от того, что поезд стоял, а в вагоне никого не было. Вышел на воздух.

Поезд застрял на повороте, перед ним расчищали пути. В темноте не видно было ничего, слышались только окрики охраны, хриплый мат работяг да звон лопат о рельсы. Два офицера рядом курили и негромко обсуждали аресты на «пятьсот первой».

Там, на западе, начали строить раньше и большую часть трассы уже должны были сдать в постоянную эксплуатацию, но этого не случилось. Поэтому – начали сажать. Ермаковское руководство притаилось, кто мог отсюда перевестись, переводились и уезжали. Даже с понижением по службе и потерей в зарплате – это и обсуждали офицеры.

Негодность Великой Сталинской Магистралы начала проявляться всюду – никакой туфтой этого уже не прикрыть было. Единственное, что еще как-то предохраняло от Большого Гнева, были такие вот

комиссии, закрывающие глаза на все, что тут происходило. Их приукрашенные отчеты приукрашивались еще и в Москве, в Главке, и Сталин получал картинку строительства далекую от реального положения дел.

Возможно, впрочем, что интерес к заполярному строительству он потерял еще раньше.

Поезд осторожно двинулся дальше, Горчаков кемарил в своем углу под медленный перестук колес, вагон наклонялся то в одну, то в другую сторону... когда-то это все равно должно было кончиться. Дорога требовала перекладки насыпи, замены рельсов и шпал, не было мостов... да и нужды в этой дороге ни у кого не было.

Магистраль была копией того, что происходило в стране, и когда и как это могло остановиться, было совершенно непонятно. Страна, живущая в бараках и впроголодь, строила грандиозное и никому не нужное. И делала вид, что гордится этим. Горчаков вздохнул, морщась и отгоняя от себя эти также никому не нужные мысли.

У него была Ася. И Коля... и еще Сева, которого ему еще предстояло полюбить.

«Я буду писать дневник. Для тебя. Возможно, он никогда не попадет в твои руки...»

Николь перестала писать, все еще думая о чем-то далеком отсюда, привстала с маленькой скамеечки, заглянула в булькающий котел и вернулась к дневнику. В котле кипело белье.

«Но что мне делать? Я тут одна, разговариваю только с Катей и Сашей, поэтому, пусть хоть эта бумага знает, что с нами было и что нас еще ждет. Моя хозяйка почти не разговаривает со мной, она ненавидит русских и пустила меня только из-за денег. Я плачу ей в два раза больше, чем это стоит, но найти жилье здесь невозможно. Орск – это сплошные ссыльные, большинство со времен войны живут в саманных домиках, в бараках друг на друге и даже в землянках. Орск, кстати, довольно большой, мы из старого города идем до комендатуры почти два часа, здесь много эвакуированных предприятий.»

Но я отвлеклась, пишу, будто это письмо, которое я сейчас отправлю. Так не получится. В Красноярске (мы там ждали трое суток, пока они решали, что с нами делать! Точнее – куда нас отправить. Теперь и второй твой ребенок посидел в тюрьме! Камера, правда, была чистая и кормили сносно). Так вот в Красноярске мне какой-то майор прямо сказал, что переписка с Беловым А. А. мне категорически запрещена, чтобы я “даже не пыталась, а то будет хуже!”. Я спросила – почему и что может быть хуже? Но он не ответил. Они обыскали все мои вещи и меня! Забрали все письма. И все твои фотографии – только твои! На следующий день забрали и фотографии детей. Я молчала, я так испугалась, когда за нами пришли в Лугавском. Это было среди ночи, они, как всегда, ничего не объясняли! В Красноярске привезли в тюрьму и завели в камеру. Я решила, что меня сажают. Как я испугалась! Вцепилась в детей и не могла говорить. Ничего не спрашивала у наших конвоиров... Теперь вспоминаю, они вели себя не грубо, и нас везли на хорошей машине.

Написала много слов, но ничего не понятно. (Это потому, что я давно ни с кем не разговаривала.) На следующее утро тот майор (наверное, он с кем-то советовался?) сказал, что ты орденосец, ты на доске почета, что ты примерный советский человек, а связь со мной тебя порочит... и еще что-то в этом духе. Сказал, если я тебе напишу, то буду привлечена по какой-то там статье на десять лет, а детей заберут в детский дом.

Может быть, он и наврал, как они всегда это делают, но не в моем положении искушать судьбу. Я не буду тебе писать, пока ты не освободишься! Осталось немного».

Саша громко всплакнул во сне, Николь замерла, слушая, но мальчик, вздохнув, снова затих.

«Мне очень одиноко без тебя, не трудно, но именно одиноко. Невыносимо смотреть на детей, таких милых, похожих на нас... и... Нет, это не то, я не могу объяснить... Все, что происходит с нами, ненормально. В этот сумасшедший дом нельзя поверить, а мы в нем живем!

Все, не могу писать. Я пытаюсь кипятить белье (без мыла – его нет, и без дров, их почти нет, но есть немного сухих коровьих какашек!). Только что получила от хозяйки, она страшно возмущалась, что я взяла ее казан. Сейчас буду полоскать, у меня скоро проснется

голодный Сан Саныч и разбудит Катю. У холода есть свои плюсы – дети помногу спят, особенно сейчас, когда от белья тепло идет по всему домику».

«Сегодня уже 13 февраля. Перечитала свой “дневник” и поняла, что не умею ничего рассказать. Хотела все по порядку и подробно, но, кажется, все уже и рассказала очень бестолково. Как ты понял, в Лугавском меня разбудили среди ночи, дали час времени, я едва успела собрать вещи. Представляешь, Матвеевна сходила к кому-то ночью, заняла денег и вернула нам за картошку! Милая ворчливая старуха, я уже целый месяц тоскую о ней, о ее теплой избе, о моем порубочном билете, по которому можно сколько угодно собирать хворост в тайге. Здесь с дровами полная беда! Лучшие дрова – высохшая коровья лепешка на дороге, да на нее много охотников!

Мы не попрощались с Зинаидой Марковной, я написала ей письмо, но она почему-то не ответила. Возможно, потому что в Лугавском одно почтовое отделение и очень легко отслеживать все мои письма. Можно было написать тебе от чьего-то имени, но я боюсь... Я не знаю, что с тобой, мне назойливо видится, что тебя снова посадили... Тьфу, тьфу!

Из Красноярска нас повезли по “индивидуальному наряду”, так это у них называется, в сопровождении одного дядьки. Он был в гражданском и тоже вежливый (странно – или они теперь все вежливые, или только со мной – из-за детей?), помогал с чемоданом, везде покупал билеты за их счет! Летели мы быстро: Новосибирск – Омск – Челябинск, я решила, что меня везут в Москву, и опять стала думать, что меня ищут из Франции, – кому я там нужна?! Но потом был Оренбург. Нигде не задерживались, дважды ночевали в аэропортовских гостиницах. Из Оренбурга ехали на легковой “Победе”. Дорога была страшно разбитая, дети утомились и спали плохо. Я очень устала, особенно от того, что не знала, куда и зачем нас везут. Я и сейчас не понимаю: зачем они нас сюда притащили? Так тратились?!

Все стало еще загадочнее, когда мы оказались в Орске. Сопровождающий сдал нас в комендатуру, получил расписку и уехал. И все! Здесь мы никому не были нужны! Сделали отметку, взяли очередную расписку, что я бессрочно выслана в Оренбургскую область, что за побег мне причитается двадцать лет каторги и все

такое, как обычно. Сказали – в трехдневный срок должна устроиться на работу. В комендатуре стояла большая очередь ссыльных, чтобы отметиться. В основном немцы.

И вот представь себе! Мы втроем возле комендатуры. Сумерки. И я не знаю, куда идти! Пошли по улице. Чемодан в одной руке, Саша на другой, узел через плечо... Слава Богу, Катя уже может идти сама. Тихо, конечно, я даже руку не могла ей дать – еле плелась со своими узлами. Спрашивала у всех, кто встречался, о жилье. Ничего! Опять выручили дети – нас посадил в сани какой-то поддатый мужик и, специально сделав крюк, привез в Старый город. Здесь я, совсем отчаявшись – была уже ночь! – нашла угол, предложив очень большие деньги. Именно угол, в маленьком глиняном домике у старухи-казашки. Мы прошли много домов, но никто не пожалел маленьких детей – так тесно живут! Все отворачивались, кто жалея, кто равнодушно, а один мужик сострил, что не надо было мне “ноги широко раздвигать!”. Мне бы обидеться, но уже не было сил, я посмотрела на своих краснощеких и подумала, что все я делала правильно! Пошел он на хуй!

И вот мы живем здесь уже полтора месяца. Холод – это все-таки ужасно! Голод не так страшен, его как-то можно терпеть, но холод! Я все время ношу Сашу на руках, под кофтой, прижимаю его к себе. Катя тоже хочет. В домике, его строили во время войны и, видимо, не из чего было, – стены очень тонкие, печка из глины, с очагом, где можно готовить еду. Еще есть низкий топчан, на котором спит старуха, маленький низкий столик и два окна. В одном нет стекла, оно заткнуто тряпьем. У хозяйки две козы и козленок, но доится только одна, другая в запуске^[152], поэтому молока мало. Молоко, по сравнению с Лугавским, страшно дорогое. У нашей старухи это единственный доход, ей не всегда хватает на хлеб, а она еще платит большой сельхозналог – козы считаются сельским хозяйством.

Сегодня 16 февраля. Я могу писать только днем, тут нет электричества, но днем я занимаюсь детьми, хожу добываю топливо или продукты. Деньги у меня еще есть, когда они кончатся, пойду на панель! Ни яслей, ни работы, много людей ходят по дворам, просят о подработке, много одноруких и одноногих после войны и вообще безногих на тележках. Все так же, как и в Игарке, но здесь эти инвалиды почему-то бросаются в глаза. Их здесь намного больше.

В комендатуре мне разрешили отмечаться раз в две недели, видимо, поняли, что с двумя малышами я никуда не уйду. Хотя с чего я взяла, что они вообще обо мне думают? Это у меня от холода. Но требуют, чтобы я принесла справку с работы, иначе они обязаны привлечь меня за тунеядство. У меня с ними вышел спор. Спрашиваю коменданта:

– Как мне работать, если нет яслей?

– Не моя забота!

– А чья?

– Еще вопросы?!

– Я не сама сюда приехала!

– Может, не сама и рожала?!

Остроумно. Я заткнулась и поплелась со своими “выблядками”, так он нас назвал в спину, обратно. Теперь мы ходим быстрее, я раздобыла саночки и работаю лошадкой. У меня двое отличных (нетяжелых!) и, как это ни удивительно, веселых седоков!

18 февраля. Перечитала дневник и подумала, что в нем нет ничего особенного, почему я его прячу? Я все время спрашиваю себя, зачем его пишу. Иногда меня это очень злит, но, наверное, мне все-таки хочется написать тебе. Я, как последняя дура, все время жду твоего письма. Мне кажется, ты как-нибудь можешь узнать наш адрес. А мне здесь некого попросить, и я по-прежнему боюсь, что они могут сделать хуже. (Здесь, в конце концов, можно жить. Когда везли сюда, я всякое передумала, могли ведь привезти и на лесоповал! Такое в моей жизни было...)

Комендант, когда прихожу отмечаться, вместо того чтобы просто шлепнуть штампик и расписаться, все время достает мое личное дело и изучает. Почему? Я начинаю заикаться – это нервы! Как нас не запомнить, если мы всегда втроем? Потом, правда, отпускает, ничего не спросив.

Я жду тепла. Здесь вроде юг, но по-прежнему холодно, не пахнет никакой весной. Полно снега. Где-то рядом Казахстан. У нас в Дорофеевском жила семья казахов, они рассказывали, что там всегда жарко. Не знаю, пока – всегда холодно.

22 февраля. Сегодня был нервный срыв. Лучше бы и не писать. Но кому мне еще рассказать, если не этому дневнику... Сегодня была в комендатуре. Комендант топал на меня ногами и даже заорал, что ему

все равно, куда я дену своих детей, я должна быть трудоустроена, а почти два месяца не работаю. Что он не хочет за меня садиться в тюрьму! Я не выдержала, наверное, устала, у меня слезы потекли, смотрю на него, а они текут. Шла из комендатуры совершенно без сил. Я устала бороться с ними. Но почему они со мной борются? Зачем им это? Совершеннейшая бессмыслица... Думала уехать потихоньку к тебе, отдать тебе детей, а со мной пусть делают, что хотят. Если бы я точно знала, что ты в Игарке, может, так бы и сделала, но я не знаю. И денег почти не осталось... даже до Красноярска не доедем. Самое интересное, что они хватились бы меня в этой комендатуре не раньше, чем через месяц, если вообще вспомнили бы.

Дома сидела и думала, куда мне устроиться. Работа здесь есть на промышленных предприятиях, еще много госпиталей после войны – вот почему столько калек на улицах. Я бы пошла, но как быть с детьми? Комендант, дурак, орал, чтобы я сдала их в детдом! Сволочь! Я сейчас пишу, а Катя с Саней спят. Бедные мои, какие они крепкие, не болеют... на этой кошме под овчиной, как щенята. И я рядом с ними – злая и тощая сука. Пишу при свечке, разорилась сегодня и купила две штуки, хозяйка высовывает нос недовольно из-под своих одеял. Не понимает, что я делаю. Я до сих пор не знаю, как ее зовут, спрашивала несколько раз, она смотрит хмуро или даже зло, но нет, наверное, все-таки не зло, и не отвечает.

Задумалась сейчас и поняла – у меня никакой специальности, с которой я могла бы устроиться здесь! Я всю свою взрослую жизнь провела в ссылке. В России. Я много что умею – тянуть невод, вязать сети, выметывать их в воду, солить рыбу, рубить кустарники, пилить, трелевать и возить бревна, вскапывать землю, продергивать сорняки на грядках, окучивать картошку, перебирать гнилые овощи... еще я работала матроской и кокшей у капитана Белова на буксире “Полярный”. Но это была не работа – это был рай!

У меня нет твоих писем. Отняли. Я их уже не перечитываю, я их придумываю. Удивительно, как люди бывают нужны друг другу! Как ты сейчас мне нужен! Не для помощи, просто, чтобы был рядом, прижаться...

27 февраля. Или я везучая, или Бог мне помогает. Три дня назад по дороге зашла в детсад (мимо которого проходила сто раз!) и, глупо глядя на заведующую, попросила работы.

Она взяла меня ночным сторожем! Ура! Ура! Ура!

Я отнесла справку коменданту и теперь хожу каждый день к восьми вечера и дежурю до семи утра. Сказать, что мне страшно, это не сказать ничего! Мне оставляют ужин (этот огромный плюс), мы съедаем его с Катей, потом Саня получает свой ужин, и они засыпают, а я запираюсь и боюсь выйти из нашей комнатки. Если придут воры, а это запросто может случиться, тут этого полно, я не выйду ни за что! Это очень странно, я никогда не была трусихой. Понятно, что это из-за детей, но оставлять их со старухой я не могу. Этого я боюсь еще больше.

Ты писал, как только освободишься (это должно быть уже в ноябре!), начнешь хлопотать о переводе нас в Красноярск. Я много думаю об этом и почему-то ужасно этого боюсь. Не надо им показываться на глаза, они обязательно сделают хуже. Они для этого и существуют! Я стала страшная трусиха. Сейчас сижу на дежурстве, дети спят в тепле и в настоящих детских кроватках – Кате это очень нравится! В садике тихо, я разговариваю с тобой, и от этого мне спокойно. И кажется, что у тебя тоже все хорошо.

Вчера вечером во время моего дежурства трое мужиков пришли в детсад пить водку. Сели в песочнице, они уже были пьяные, но выпили еще и стали драться. Это такой ужас, когда дерутся большие мужики, я, конечно, много раз такое видела, но это было так рядом, за окном. Они бегали все в крови, били друг друга кулаками и досками от забора. Я заперлась с детьми в дальнюю комнату и тряслась, заткнув им уши. Мужики были, как звери!»

Горчаков спал в лагерном лазарете после ночного дежурства, когда от Богданова пришел вестовой. Его вызывали в поселковую больницу. Георгий Николаевич умылся, и, оставив распоряжения медсестре, направился к вахте. Шел, не проснувшись и не очень понимая, что могло случиться и почему так срочно...

Встал перед окошком, сунул пропуск в лоток, кивнул знакомому вахтеру. Сам думал о своих, он больше недели у них не был, не получалось. Вахтер что-то долго не выдерживал свой засов, Горчаков

посмотрел в окно – оба охранника стояли у радио, напряженно повернувшись к нему боком и склонив головы. Так было, когда объявляли войну. Георгий Николаевич прислушался к глухому, через стекло, голосу. Это был Левитан:

«...К двум часам ночи четвертого марта состояние здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина продолжает оставаться тяжелым. Наблюдаются значительные расстройства дыхания: частота – до 36 в минуту, ритм неправильный с периодическими длительными паузами. Отмечается учащение пульса до 120 ударов в минуту, полная аритмия. Температура 38,2. Степень нарушения функций головного мозга несколько увеличилась. Проводится ряд терапевтических мероприятий, направленных на восстановление жизненно-важных функций организма.

Министр здравоохранения СССР А. Ф. ТРЕТЬЯКОВ

Начальник Лечсанупра Кремля И. И. КУПЕРИН...»

Левитан продолжал перечень академиков скорбным голосом. Вахтер с сурово растерянным лицом повернулся к Горчакову и молча отпер калитку.

Георгий Николаевич заспешил широкой лагерной дорогой между высоких, тяжело слежавшимися к марту сугробов. Что-то важное случилось... – непонятная мысль нервным волчком крутилась в голове, хотелось еще раз это услышать, – расстройство дыхания... нарушения функций головного мозга... Радио у него в лазарете не работало с Нового года, теперь понятно, почему у медсестры был такой испуганный взгляд, она знала, но боялась сказать.

Он дошел до поселка, здесь многие собрались кучками, стояли с серьезными лицами. В больнице было непривычно тихо, люди говорили шепотом, никто не смеялся. Богданов работал в операционной. В графике значились еще три несложные операции, Горчаков переодевался, мыл руки. По радио передавали «Чакону» Баха. Дежурная сестра убавила громкость:

– Слышали, Георгий Николаевич? – она прикрыла себе рот.

– Давно передают?

– В полседьмого утра первый раз зачитали. Сначала Левитан сказал, что сейчас будет важное сообщение. Я перепугалась страшно – думала, война с Америкой, а тут вон что...

В это время музыка прервалась, и мерный голос Левитана опять начал зачитывать:

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ о болезни Председателя Совета министров СССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье – тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания.

Для лечения товарища Сталина привлечены лучшие медицинские силы: профессор-терапевт П. Е. Лукомский; действительные члены Академии медицинских наук СССР: профессор-невропатолог Н. В. Коновалов, профессор-терапевт А. Л. Мясников, профессор-терапевт Е. М. Тареев; профессор-невропатолог И. Н. Филимонов; профессор-невропатолог Р. А. Ткачев; профессор-невропатолог И. С. Глазунов; доцент-терапевт В. И. Иванов-Незнамов. Лечение товарища Сталина ведется под руководством Министра здравоохранения СССР тов. А. Ф. Третьякова и Начальника Лечебно-санитарного управления Кремля тов. И. И. Куперина.

Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства.

Ввиду тяжелого состояния здоровья товарища Сталина Центральный Комитет КПСС и Совет министров Союза ССР признали необходимым установить с сего дня публикацию медицинских бюллетеней о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР, как и вся наша партия, весь наш советский народ сознают все значение того факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности.

Центральный Комитет и Совет министров в руководстве партией и страной со всей серьезностью учитывают все обстоятельства, связанные с временным уходом товарища Сталина от руководящей государственной и партийной деятельности.

Центральный Комитет и Совет министров выражают уверенность в том, что наша партия и весь советский народ в эти трудные дни проявят величайшее единство и сплоченность, твердость духа и бдительность, удвоят свою энергию по строительству коммунизма в нашей стране, еще теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и Правительства Советского Союза».

Снова был зачитан Бюллетень, письма рабочих, колхозников, представителей социалистической интеллигенции. Все желали выздоровления, клялись работать еще лучше, брали повышенные обязательства. Горчаков вышел на улицу с заднего крыльца и закурил. Сильное мартовское солнце слепило, несмотря на морозец, с крыши текло. Воробьи пушистыми комочками скакали друг за другом по кустам у крыльца. Вышел Богданов, поздоровался за руку, разглядывая лицо Горчакова.

– Это я вас вызвал, Георгий Николаевич. Такой день. Хотелось с нормальным человеком побыть, а то эти все бляди... – Богданов смотрел хитро, а теперь и совсем улыбнулся. – Дайте вашей папироской отравлюсь по такому случаю. Как вам? – Богданов был непривычно разговорчив.

– Не выкарабкается? – Горчаков достал папиросы.

– И не надейтесь! Ему уже деревянный бушлат примерили! – он прикурил, морщась от дыма. – Это ведь шанс! А?!

– Вы думаете?

– Все утро! Вы что, не рады?

– Я полчаса назад узнал...

– Там же возле него нет никого... – перебил Богданов, видно было, что у него накопилось. – Ни одного человека, кто бы захотел ему помочь! Никого, включая всех членов Политбюро и весь Совет министров! Разве что доктор-орденоносец Лидия Тимашук! А вы говорите, нет справедливости! Все, Георгий Николаевич, я позвал вас, чтобы выпить. У меня есть хороший коньяк, одна эмгэбэшная сволочь поднесла. Какая там следующая операция?

– Грыжа пупочная. Молодая девушка.

– Молодая девушка – это хорошо, на завтра ее. И заходите ко мне. Ничего? Я вас не смущаю? Может, вы хотели погрузиться с народом? Изучить последний труд великого ученого?

Они сели в маленьком угловом кабинете главного хирурга. Богданов закрыл дверь на ключ и достал бутылку.

– Если что – рожи каменные, трагедию переживаем! Как медики хорошо понимаем тяжесть!

Богданов был не похож на самого себя. Бывший главный хирург Калининского фронта радовался, как мальчишка. Ранение, плен, десять лет лагерей за то, что пленным работал в немецком госпитале... Операции, которые он проводил в лагерном бараке, под натянутой простыней при тусклом свете от слабенького движка, были уникальны по мастерству.

– Он уже в морге, вот что я вам скажу! Иначе не сообщили бы! У него был инсульт, и не один, а кто о них знает? – он разлил коньяк по стаканам. – Черт, у меня руки трясутся! Ну, за прекрасную музыку Баха!

Они выпили.

– Закуривайте, если хотите, окно откройте, – Богданов встал, сам открыл форточку. – Первый раз в жизни радуюсь больному, которому становится хуже!

Горчаков согласно кивнул.

– Но есть и другие вопросы, – продолжил Богданов. – Кто вместо него? Как вы считаете?

– Никогда об этом не думал, Виталий Григорьевич.

– Это правильно, одни ублюдки, на лица достаточно посмотреть! Вокруг него и не могло быть других! Пообосрались теперь все.

– Хуже уже не будет.

– Именно! Начнут с народом заигрывать, петушками скакать, как раньше перед Усатым скакали. Амнистию обязательно объявят! Боятся они народа!

– Вы думаете?

– Обязательно! И покойник боялся! Я близко видел его глаза – все звери трусливы!

Богданов сдвинул стаканы и стал разливать. По радио началось очередное правительственное сообщение, это было повторение, и

Богданов убавил до минимума.

– Это, конечно, шанс для России... – Горчаков взял стакан с коньяком и заговорил негромко, – но все сложнее. Мы как нация страшно искалечены, и началось это давно...

– Это точно, – перебил Богданов. – Давайте выпьем... – он задумался, – чтобы когда-нибудь у нас появилась возможность спокойно осознать все, что с нами произошло. Вы правы, это будет очень трудно... но за сказанное! Бога еще никому не удалось обмануть! Он сегодня всем нам большой подарок сделал! За Сталина! – лицо лучшего хирурга низовьев Енисея, а может быть и всего Красноярского края, сияло.

Горчаков попросился к своим, и Богданов отпустил его на сутки, но его разыскали по телефону и срочно отправили в лазарет на трассу, где не было фельдшера. В штрафной бригаде Бориса Козенко, которого Георгий Николаевич хорошо знал еще по Игарке, случилось массовое «заболевание».

Бригада была известная, у всех срока не меньше двадцати пяти лет, у большинства личные дела перечеркнуты красной линией – склонен к побегу! Норму они никогда не выполняли, и за периметр их не выводили. Целый день, не утруждая себя, копошилась бригада внутри зоны, белили бараки, латали крыши... припухали, как могли. И вот в этой бригаде, чуть не у каждого второго, объявилось выпадение прямой кишки.

Зона была недалеко, Георгий Николаевич приехал на попутном паровозе, нашел бригадира. Закурили.

– Чего вы вдруг? – спросил Горчаков.

Он отлично понимал, что народ сам себе замастырил^[153] все это. И даже знал как – добывали на кухне сухой чечевицы, зашивали ее в длинный продолговатый мешочек и вставляли себе в прямую кишку. За ночь чечевица разбухала, и они выдергивали ее вместе с кишкой.

– Доходит наш вождь, вот ребята ему подарок решили сделать. Салют из всех задних орудий! – бригадир Козенко спокойно курил, только уголки глаз смеялись. – Ну и на работу не пошли. Все законно, иди лечи их, Николаич. Марафетиком не угостишь по такому случаю?

– Зайди попозже...

Он целый день вправлял прямые кишки. Процедура неприятная и грязная, «жопошники» заняли пол-лазарета, балагурили, что кому-то сейчас сильно хуже, рассказывали лагерные парашаи про амнистию в честь такого знаменательного события. Лагерный народ за дни болезни вождя воспрял духом, осмелел даже, и наоборот, начальство если не поджало хвост, то напряглось и замкнулось. Все чего-то ждали.

Только к ночи Горчаков управился со всеми и остался ночевать, он лег в лазарете, на фельдшерском топчане за перегородкой. Народ не спал, разговаривали в разных углах, радио было включено и на правительственные сообщения все затихало и слушали внимательно. Потом бакланили с новой силой. Санитары никого не одергивали. Где-то недалеко от Горчакова, на втором ярусе сошлись крестьяне. Немолодые, судя по говору.

– Мне даве сон-то какой был! – рассказывал один не в первый уже раз. – Вижу я, будто все коммунисты, раз он околел, и они значит! Не понял я, добровольно они или так им партия велела, а как давай они все погибаться! Гробов не наберется! И в три дня все до единого! Туды! И всё!

– Вот эт ты ладно придумал! – нервным баском хихикал его товарищ.

– Да не придумал, говорю, сплю, а сам проснуться боюсь!

– Так-то бы очень хорошо, кабы исделалось! – серьезно поддержал третий. – Колхозы-то к едреней матери все! Хучь на старости лет пожить, как люди!

– Вот и я сразу про то подумал, аж вспотел, какая радость у меня была!

– Жуки вы навозные, – раздался ехидный голос помоложе. – А ну как это он сам приудумал? На начальство посмотреть да на таких вот болтунов! Он эти колхозы, можно сказать, своей титькой выкормил, а вы вона куда! На волю собрались!

– Его титьку пусть бы он сам пососал, харя усатая!

– Пернуть не успеешь, по четвертаку всем подвешат! – не унимался балагур.

Горчаков сунул ноги в валенки, накиннул бушлат и пошел покурить, как раз начали передавать новое сообщение. Он остановился послушать. Когда Левитан закончил читать, угрюмый мужик восточного вида, дотянулся со своих нар, убавляя громкость, спросил:

– Ну что, фершал, врежет Усатый дуба?

– Не знаю... Кажется, его уже не лечат... – Горчаков пошел к выходу, а народ притих, соображая.

– Из чего же ему теперь гроб сладят? – курили у входа.

– Деревянный, как и всем, чего уж вы?!

– Не-е, они ему какой-нибудь специальный изготовят. Может, из стали! В Москве токаря важнейшие имеются. Все по выкройке устроят! Главное, чтоб он отседа не вылез!

Мужики засмеялись.

– А я бы его колючей проволокой умотал всего, чтоб его и на том свете не распутали!

– Там разберутся, Господа не проведешь! Вишь, как он помирать не хочет! Страшно ведь, там его много побитых людишек поджидают!

Утром народ поднялся до рельсы, ждали первого сообщения в шесть утра, в сортир бегали, санитары растапливали печки, гремели железками. Никто не спал. Сморкались, харкали, делили что-то недовольно. Вдруг дверь отворилась, зашел бригадир Козенко. С папиросой во рту, кивнул Горчакову, прошел в расположение, увидел кого-то своего:

– А вы чего же, не слушаете свежие новости?

– Сашка! Казах! Ты что, твою мать! Выключил?! – заорало сразу несколько голосов.

– Да не надо, ребята! – Козенко стоял орлом, по-хозяйски расставив ноги. – Ус хвоста отбросил!

Тишина возникла гробовая, длилась она секунды, пока мужики поднимали глаза друг на друга, ища подтверждения...

– Сдох! Сдох! Загнулся! Околел! Исдох, пес поганый! Сдох!!! – покатались по лазарету выстрадавшие проклятия.

Все загалдели, заматерились радостно, кто-то закричал и заржал по-блатному визгливо, гогот раздавался там и тут. Все смеялись, у многих сквозь улыбку слезы текли, некоторые рыдали истерично, кто – в подушку, кто – молотя кулаком по нарам... Курить потянулись на улицу, угощали друг друга по такому случаю.

По лазарету плыла печальная музыка великого немецкого композитора.

В шесть тридцать все сошлись поближе к радио. Музыка стихла. Зазвучали куранты, а потом голос Левитана:

«Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества!»

Горчаков сидел у себя в закутке, уставившись в пол. Он не улыбался, он не умел радоваться смерти человека.

Белов собирался на митинг, достал парадную форму – брюки, рубашку уже надел... но задумался.

Все эти дни он был в смятении. Он чувствовал, что умер кто-то важный для него, кто, возможно, знал ответы на главные вопросы. Умер, и теперь его ни о чем не спросишь. Прежней любви к покойнику не было – это он тоже понимал. Вспоминал Сталина, стоящего на трибуне, и тогдашний восторг казался глупым и даже стыдным... но и за свои муки и унижения он не готов был его винить. И даже за Николь, которую его верные псы гоняли по этапам с детьми. Не Сталин велел делать это большому генералу от госбезопасности. Сан Саныч стискивал челюсти, вспоминая самодовольное лицо. Такие же жирные собачьи морды Маленкова, Булганина, Берии, Кагановича были в сегодняшней газете...

Он присидел с полчаса, думая о всяком-разном, потом надел повседневную форму и теплые собачьи унты. Пришел на площадь, когда митинг вовсю уже шел.

В Дудинке по случаю похорон за ночь построили новую трибуну. Обтянули черной тканью и украсили большим портретом. Под Сталиным на снегу стояло несколько венков из выцветших бумажных цветов. Кто-то принес зеленый фикус из дома, но тот замерз и уныло обвял большими листьями, мороз был за двадцать.

На столбе под четырьмя репродукторами, направленными в разные стороны, висел на кошках^[154] электрик в больших валенках, бушлате и ушанке, завязанной под подбородком. Ждали прямой

трансляции похорон из Москвы, и всем было понятно – на боевой пост отрядило начальство товарища, не дай бог какой проводок где отвалится.

С крыши ближайшего к трибуне дома несколько дней назад начали сбрасывать снег, но успели счистить только половину, а другая осталась лежать толстым метровым слоем. Дом теперь стоял, как каторжник с полубритой башкой. Народ на него посматривал, улыбались осторожно.

Голос Левитана из Москвы неожиданно громко разнесся над заполярными сугробами:

«...прощание с телом вождя проходило в Колонном зале Дома Союзов, оно длилось три дня и три ночи. И вот сейчас руководители партии и правительства Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович и Микоян с гробом вождя выходят из Дома Союзов. Гроб торжественно устанавливается на орудийный лафет, и процессия начинает движение к Мавзолею».

Народ сначала слушал молча, потом начали перешептываться, обсуждали, на них шикали. Знамена торчали над толпой, несколько портретов с последней ноябрьской демонстрации, красный транспарант провис в первом ряду перед трибуной. Многие женщины тихо плакали с платочками в кулаках, почти все были со скорбными лицами, даже и какие-то мужики стояли с красными глазами, но были и спокойные люди.

Группа девушек, замотанных казенными платками, и в казенных же, поношенных телогрейках и ватных штанах переглядывались. Сан Саныч даже заметил, как промелькнуло у одной что-то вроде улыбки. Перешептывались. Белов хорошо слышал украинскую речь. Расконвоированных зэков было много, выделялись привычными серыми ватниками, некоторые в задних рядах покуривали спокойно. Сан Саныч ощутил в них что-то свое, сам недавно стоял так же на серых утренних разводах. Он выбрался из толпы и тоже достал папиросы.

– Закуривай, браток, – кто-то, запалив свою махорочку, протянул горящую спичку.

Сан Саныч сунулся папиросой в большие крепкие ладони, затянулся дымом и благодарно кивнул. И от этих, таких понятных мозолистых рук или от того, что стоял рядом с этими

измороженными, но еще крепкими лагерными людьми, он вдруг почувствовал, что они единственные, кто пришел сюда с искренними чувствами. Эта смерть обещала им свободу. Другие же не имели никаких чувств к покойнику, они пришли сюда, чтобы узнать, как будут теперь жить без Сталина. Кто будет вместо него?

Две молоденькие девчонки-школьницы подошли, лузгали семечки, равнодушно прислушиваясь. Что-то шептали друг другу. Женщина в возрасте обернулась на них, ткнула пальцем в репродуктор, из которого лилась траурная музыка и голос диктора:

– Человек умер, а вы семечки... разве можно! – и отвернулась.

Девчонки перестали грызть, постояли, повернулись и пошли с площади, снова поплеывая шелуху.

«Путь к Мавзолею занял двадцать две минуты, – торжественно вещал Левитан. – На обновленном Мавзолее с надписью ЛЕНИН – СТАЛИН стоят не только советские партийные деятели, но и иностранные гости – Пальмиро Тольятти, Чжоу Эньлай, Отто Гротеволь, Вылко Червенков, Клемент Готвальд и другие руководители иностранных делегаций. Тысячи обычных людей пришли для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся Иосифом Виссарионовичем Сталиным. С орденами вождя на красных подушках стоят у гроба полководцы – маршалы Советского Союза: Малиновский, Конев, Буденный, Тимошенко, Говоров...»

– Делать-то им не хуя... – пробурчал кто-то сзади безразлично, голос был нетрезвый.

– А как же? – поддержал другой. – Кошку вон задавят, и то народ соберется посмотреть. А тут целый вождь! Обязательно!

– Тихо вы, дайте послушать! – обернулась на них заплаканная женщина в стареньком зеленом платке. – Налют зенки с утра...

– Слушай, слушай, мать. Тут ты угадала, выпили за такое дело, помянули, значит... – все так же пьяно-добродушно ответил мужской голос.

Митинг в Москве кончился, гроб занесли в Мавзолей, загремел артиллерийский салют, а вся страна заревела прощальными гудками заводов и фабрик. В Дудинском порту к ним присоединились несколько теплоходов. После пятиминутного молчания в маленьком заполярном городке на Енисее начался свой митинг. Выступало руководство, простые рабочие читали по бумажке, многие, повторяя

газеты, обещали изучить последнюю работу Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».

Толпа редела, задымила куревом уже основательно, кто-то потянулся в переулки, другие сошлись, обсуждая обычные дела. Никто уже не рыдал, две небольшие колонны заключенных женщин двинулись кривым строем в сторону женской зоны. Ребятишки принялись бегать, как обычно, и никто их не одергивал.

Ася с Колей тоже ходили. В Ермаково народу было поменьше, но митинг проходил на небольшой площади у клуба, и стояли тесно. Партийное руководство, не скупясь, выделило средства. Вся трибуна была в кумаче, а весь нижний этаж клуба закрывали огромные траурные знамена. Большой портрет генералиссимуса в круглой раме смотрел на собравшихся из черно-красных шелковых лент. Опять нарубили в тайге живых елок, прикрывая грязные сугробы. Было солнечно и морозно, и все стояли, подняв воротники. Только выступавший снимал шапку.

У самой трибуны несколько бабешек в пуховых платках и плюшевых пальто, как по заказу, начинали вдруг завывать: «Ой, на кого же ты нас покинул?! Роди-и-мы-ый! Осироти-ил, осироти-ил! За что? За что жы-ы?! И куда же ты уше-ел-то?!» – обращались они к портрету, но казалось, что оплакивают выступавшего. Высокий мужик, стоявший на трибуне рядом с оратором, зло смотрел на них сверху.

«...нет больше Сталина, но живы его мысли и дела! – неслось из громкоговорителей. – Так будем же верными...»

Толпа по большей части была военной. Серые шинели, белые полушубки. На хмурых лицах те же растерянность и непонимание. Никто не знал, что всех ждет. Выступавшие называли стройку Сталинской Магистралью, Сталинской Дорогой в будущее, мечтой великого Сталина, давали себе клятвы завершить начатое Гением...

Ася слушала внимательно, среди выступавших были и знакомые. Все это выглядело странно, истерично и очень тревожно. Люди будто побаивались вездесущего покойника, словно заклинали его спать спокойно, а мы уж тут не подведем, будем стараться.

Она нахмурилась, достала платочек и вытерла нос. О чем думали стоящие рядом люди, понять было трудно, но их мысли не имели ничего общего с тем, что неслось с трибуны. И этому лицемерию,

этому страху быть такими «искренними» тоже научил их Великий Учитель всех людей.

Они стали выбираться, вышли из оцепления – солдаты и немногочисленная ермаковская милиция не пускали к трибуне выпивших, и они собирались в других местах. Возле столовой, где уже не слышно было громкоговорителей, только гармошки не хватало. Пьяных, по случаю непредвиденного выходного, было больше, чем на Новый год. Курили, громко рассуждали о судьбах отечества, одни обнимались, другие даже боролись и нетрезво падали в сугроб. Над ними весело смеялись. Дедок, сидевший на корточках, ясно, чтобы все слышали, изрек: «Собаке – собачья смерть!» Он был такой пьяный, что вряд ли уже и помнил, кого имеет в виду. Его товарищи тоже разговаривали каждый сам с собой:

– Я свое отсидел, я перед ним чист, тогда пусть он мне скажет, где моя семейства? По какому такому закону я должен тут быть? Я украл телегу угля?! Украл! Семь лет за нее отработал! Почему должен?! – коренастый криворожий мужик задирает указательный палец над головой.

– С нами так и надо! Вот! – показывал товарищу сжатый кулак другой, без шапки и нараспашку. – Не дай бог нас отпустить! Всех сметем! В войну он нас отпустил, мы всех смели! А потом он нас снова – раз! И за яйца остудил! – мужик зло сжал кулаки и челюсти. Глаз его пьяно и злобно горел, он посмотрел на товарища, неторопливо отвел руку и залепил ему в ухо.

Они сцепились, не в первый уже раз, и на них не обращали внимания. Дедок повторил про собаку, которой собачья смерть, и вдруг запел: «Однажды морем я плыла на пароходе то-ом...»

Ася с Колей добрались до дома. Ужинали молча, опустошенные трауром. Ася всю неделю вставала по утрам с красными глазами. Иногда слезы текли и днем.

– Ты почему плакала? – Коля только теперь решил спросить.

– Не знаю... Накопилось... – лицо Аси было спокойно, почти безразлично. – Я не смогу объяснить. Когда меня заберут туда, я расскажу, почему я плакала... если спросят. – Она замолчала, изучая сына. – Это были плохие слезы, я понимала, что уже никогда не смогу ему отомстить – своими руками откопала бы его! Я не могла простить

Господу, что Он отпустил этого зверя просто так. Я хотела мести за мою жизнь, за все мои потери.

Ася застыла, вилку сжимала в кулаке.

– Разве другие люди ни в чем не виноваты? – Коля осторожно взял мать за руку. – Он один не мог столько...

– Да-да, мы сами, мы все виноваты. Сталин явился потом. – Ася застыла, напряженно глядя сквозь стол. – Сегодня утром передавали «Реквием» Моцарта. Целиком. Сначала я подумала, какое кощунство – отпевать такого безбожника... но все равно слушала великую музыку.

Она разговаривала сама с собой или с кем-то, кто понимал ее. Не глядела на Колю и не пыталась ничего объяснить.

– И мне его стало жалко – он в тысячи раз несчастнее меня. Он самый несчастный человек, из всех, что жили на Земле. Человек, превратившийся в зверя... Я видела его, бешеного, заросшего шерстью и с клыками... Бешеного и бесконечно несчастного!

80

Внешне в Ермаково все было, как и неделю назад. Снега, морозы, длинный уже день, до лета каких-нибудь четыре месяца осталось. Повседневные заботы заслоняли смерть вождя... Понервничали, а кто и заплакал за эту неделю. Но время стало другим. Радио слушали внимательно и газеты ждали. В офицерских семьях вроде бы и рады были возвышению их министра – Берия уже пятого марта объединил МГБ и МВД и стал во главе нового ведомства, – но и опасались. Рассматривали пристально фотографии членов Политбюро. Вся страна ждала вождя. В том, что это будет один человек, не сомневался никто.

В лагерях только и разговоров было, что об амнистии. И это было понятно – амнистию давали к знаменательным событиям. Смерть Усатого была таким событием, что выше уже некуда! Если бы в один день померли все члены Политбюро и еще весь Совет министров, такого эффекта, такого всенародного праздника для всех лагерей не получилось бы. Поэтому ждали очень большой амнистии. Все, кому оставалось сидеть год, уже обещали остающимся гражданам всякие не шибко нужные на воле лагерные прижитки: ножички, шарф из новых портянок, вполне целые еще стеганые ватные варежки и намордник,

тряпочки на заплатки или шерстяные носки обшить... Приценивались к гражданской одежде. Цены у лагерных портных законно полезли вверх. То же было и с теми, кому оставалось два года, и даже те, кто не дотянул «трёху», ходили взволнованные. Все они, а такого народишка было немало, перестали следить за зачетами, и выработка резко упала.

«Остающиеся» товарищи, кто в шутку, а кто и серьезно, не верили. «А кто работать тут будет? А в Воркуте на шахтах? В Норильске? А метро в Москве кто рыть станет?» – поддерживали их бывшие «воркутяне», «колымчане», «казахи»... По логике лагерников с большими сроками, вся экономика встала бы, ни плотин тебе, ни угля, ни железных дорог. И что-то в этом было!

– Пятьдесят восьмая останется! – нервно отшучивались «выходящие». – Враги народа пусть пашут!

Режим как будто и в самом деле стал помягче, хотя были офицеры и надзиратели, которые не скрывали, что все это им сильно не нравится. Но даже сам Воронов, бывший начальник огромного Первого лагеря, не отмеченный особой любовью к своим подопечным, как-то зашел в столовую, когда она была полна заключенных, собравшихся смотреть кино. На вопросы он не ответил, «сам ничего не знаю», но выходя, бросил: «Ну, отдыхайте, граждане-товарищи!» Нечаянно это у него с языка сорвалось или, может, инструкции начали переписывать, но слово это – товарищи!!! – к отбою облетело все бараки Первого лагеря.

Вместо большой амнистии вышло неожиданное Постановление Правительства о закрытии и консервации Сталинской Магистральной.

Тут заволновались офицеры и надзиратели, их жены... и прочие вольные жители Ермаково, только-только устроившиеся, получившие комнату в бараке и определившие детей в ясли и школу. Никто не мог поверить, что все то, ради чего терпели эту неустраивающую жизнь, все, что построено и обжито, будет брошено. И они, люди и их дети, тоже будут брошены или переведены куда-то в новые палаточные условия. В это не хотели верить.

Но Постановление вышло. Министерствам и ведомствам предписывалось законсервировать или ликвидировать совсем двадцать шесть строек союзного значения:

Главный Туркменский канал;

Самотечный канал Волга – Урал;
Волго-Балтийский водный путь (вторая нитка);
Гидроузлы на Нижнем Дону;
Усть-Донецкий порт;
Тоннельный переход под Татарским проливом на Сахалин,
Железную дорогу Комсомольск – Победино...
...и еще много других дорогостоящих объектов.

В Ермаково прекращалось строительство «железной дороги Чум – Салехард – Игарка, судоремонтных мастерских, порта и поселка в районе Игарки...».

Самый большой хозяйственник в стране – ГУЛАГ, он все это и строил, в Постановлении не упоминался. Возникла некоторая путаница и домыслы, девяносто девять процентов строителей Сталинской Магистральной были приписаны именно к этому ведомству.

Был и еще один пункт в Постановлении. Он давал кое-какие надежды: «б) принять меры к полной сохранности незаконченных строительных объектов, привести их в годное для консервации состояние и обеспечить использование имеющихся на прекращаемых строительством объектах подсобных предприятий, оборудования и материалов для других хозяйственных целей».

Вольные ермаковцы решили, что этот пункт доверят выполнять им. Разговоров было много и очень горячих. Люди возмущались бесхозяйственностью правительства, «зарытыми народными денежками», а многие вслух жалели, что «Сталина на них нет!».

Двадцать восьмого марта по радио передали ожидаемый Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии».

«В результате упрочения советского общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего общественного долга укрепились законность и социалистический правопорядок, а также значительно сократилась преступность в стране.

Президиум Верховного Совета СССР считает, что в этих условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших преступления, не представляющие большой опасности для государства, и своим добросовестным

отношением к труду доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества».

Президиум Верховного Совета СССР освобождал:

- всех осужденных на срок до 5 лет включительно;
- всех осужденных, независимо от срока наказания, за должностные и хозяйственные преступления, а также за воинские преступления;

- женщин (независимо от срока наказания), имеющих детей до 10 лет и беременных;

- несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, а также осужденных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом.

Наполовину сокращались сроки наказания осужденным на срок свыше 5 лет.

Все следственные дела, находящиеся в производстве, и дела, не рассмотренные судами по указанным пунктам, прекращались.

Снималась судимость и поражение в избирательных правах с граждан, ранее судимых и отбывших наказание или досрочно освобожденных от наказания на основании настоящего Указа.

Амнистия не применялась к лицам, осужденным на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленное убийство.

Под Указом стояла подпись Председателя Президиума ВС СССР К. Ворошилова.

Тут и последнему дураку стало ясно, что это совсем не подарок к знаменательному событию. Государство криво-косо, с оговорками, но признавало, что советское правосудие и справедливость имели между собой мало общего.

По Указу из лагерей выходили около восьмисот тысяч заключенных, еще четыреста тысяч, подготовленных судами к лагерям, не попадали туда. Всего около миллиона двухсот тысяч живых людей. Население лагерей СССР сокращалось почти наполовину.

Народ в ермаковских лагерях и по трассе не верил своему счастью. Но надо было еще дождаться освобождения. Счастье отдавало тревогой.

Для лагерного руководства сложилась непростая ситуация. Стройка остановлена и должна была быть законсервирована, как это надо делать, мало кто понимал, никаких инструкций на эту тему не было. Заключенные же, наизусть знавшие Указ об амнистии, совсем отказывались работать и требовали законной свободы.

Горчаков стал чаще бывать у своих. В тот день он самовольно вышел из лагеря. Без вызова и наряда на работу, показал старый маршрутный лист в окошечко вахты, и его пропустили не глядя. Вахтеры его хорошо знали. Он дошел до поселка, теперь важно было не нарваться на патруль, их, правда, тоже стало заметно меньше на улицах.

– Георгий Николаевич! – услышал он бодрый и радостный окрик в спину.

Распахнув немаленькие объятя, к нему шел боевой полковник Кошкин. В гражданском пиджаке и офицерской, набекрень, фуражке на голове.

– Дорогой вы мой! А я смотрю, кто-то знакомый канает! – он тепло обнял Горчакова. – Идите с нами по пятьдесят грамм. Мне сегодня сорок лет! Идемте, идемте! – и он потащил Горчакова к калитке.

В доме жил кто-то из начальства. Они вошли на красивое крыльцо, разулись в светлой прихожей, в большой комнате за богато накрытым столом одиноко сидел майор Клигман.

– Вы знакомы? Яков Семенович!

Горчаков кивнул, в начале строительства они с Клигманом жили в одном бараке. Клигман, привстав, протянул руку. Время было обеденное, но и майор, и особенно Кошкин уже хорошо выпили. Горчаков вообще никогда не видел майора выпивающим и не знал, что они такие приятели с Кошкиным.

– Штрафную! Спирт, коньяк или «Горный дубняк»^[155]? – Кошкин орлом парил над столом.

Горчаков засомневался, ему еще надо было добраться до Аси.

– Вас что, уже амнистировали, Василий Степанович? – спросил с недоверием.

– Нет, но наш праздник не за горами, Георгий Николаевич, увидите, – он, не дожидаясь решения Горчакова, налил ему что подвернулось под руку. – Давайте, я с вами! Скажите мне что-нибудь.

Мне сорок лет и пятого марта 1953 года небеса сделали мне такой подарок! За Сталина мы с Яков Семенычем уже пили, скажите что-то...

– Тогда за отмену пункта семь [\[156\]](#)!

– Отменяют! Увидите! – Кошкин уверенно опрокинул стакан. – За свободу!

Горчаков пригубил и поставил стакан.

– Чего не пьете, Георгий Николаевич?! Яков Семеныч – наш человек! Мы с ним почти родственники! Не смотрите на его форму... представляете, у человека нет гражданского костюма!

– В Москве есть! – не согласился расслабленно улыбающийся Яков Семенович.

– У нас тут принципиальный спор... Я вас в окно увидел и вышел, а до того мы остро разговаривали... – Кошкин поднял указательный палец вверх и направил его на майора. – Яков Семеныч считает, что сталинская тактика «выжженной земли» имела в начале войны, в сорок первом году чуть ли не решающее значение! А я считаю, что это было преступление, а не тактика! Сталин с 22 июня две недели молчал! Войска бегут так, что пятки сверкают, а он всю власть загреб, всех перестрелял и молчит! Потом очнулся! «Братья и сестры!» [\[157\]](#) Очнулся и потребовал от народа – ни килограмма зерна, ни литра горючего не оставлять фашистам! Не можете увезти – уничтожить! И это – тактика?! А если бы ее выполнили?! Почти полстраны – семьдесят миллионов человек остались под фашистами! Как бы они выжили без того зерна, если все продовольствие должно было быть «безусловно уничтожено»?! – полковник оглядел своих слушателей. – За то, что люди остались без защиты, надо было расстрелять нашего главного стратега! А ему ничего! Он войну выиграл!

Кошкин в волнении прошелся по комнате. Высокий, крепкий, стройный. Полковник был породистый.

– Я понимаю, вам, снабженцу, килограммы зерна и литры горючего много чего говорят...

– Не передергивайте, Василий Степанович, я совсем другое сказал! – нахмурился Клигман.

– Возможно, возможно, извините тогда... – Кошкин стал снова разливать по стаканам. – Вы чего не пьете, Георгий Николаевич? Первый раз вижу зэка-трезвенника!

– На патруль можно нарваться...

– Пейте, нету сейчас никаких патрулей. Я вчера надел гражданку и ффраернулся по поселку. В магазин зашел, продуктов вот накупил, – он кивнул на стол. – Все хорошо будет. Я со дня на день жду самых решительных указов. Куда им без «пятьдесят восьмой»? С урками страну не построишь! – Он поднял стакан с коньяком. – Политбюро, освободившись от Сталина, взяли курс на искоренение его достижений! Самая широкая и гуманная амнистия! – он выразительно посмотрел на Горчакова. – Уверяю вас, и «пятьдесят восьмую» освободят, вчистую, со снятием судимостей! Еще и извинятся!

– Фантазер вы, Василий Степанович! – улыбался Клигман.

– Ничуть! – взмахнул руками Кошкин. Горчаков вспоминал их туруханскую экспедицию и такие же разговоры у костра. – Первого апреля снизили цены на десять процентов! Это очень много в масштабах государства! Они начали думать о людях! Третьего апреля объявили о закрытии дела врачей – людей выпустили из тюрем! Четвертого апреля – приказ министра внутренних дел СССР Лаврентия Палыча Берии «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия»! А?! Нашу магистраль, еще кучу никому не нужных строек закрыли! Это все народные деньги! И я вам скажу, почему это происходит. Потому что он их всех за яйца держал! Они тряслись рядом с ним, выполняли все его мудацкие распоряжения! Я знаю, что говорю! И все ффронтовики это знают – такие иногда приказы приходили из Ставки! Приказы бессмысленно сдохнуть! И выполняли! Надо как-то освобождаться от такой цепкой любви, Яков Семеныч!

– Да не лепите вы мне его, Василий Степанович! – совсем недовольно попросил Клигман.

– Хорошо, извините, это я вообще... не про вас, ей-богу! Ненавижу! Он бзднет – все улыбаются! Обосрется – в ладоши бьют! Гений! Гений! Когда же в нас холоп-то сдохнет?! Я и про себя тоже... – Кошкин замолчал, насупившись. Потом заговорил спокойнее. – Без Гуталина все по-другому пойдет! Люди наконец за дело возьмутся! Даже тут у нас уже весной пахнет! Сталина в газетах и по радио не стало! Вы заметили?!

Уличная дверь заскрипела, и в клубах холодного воздуха в комнату втиснулся денщик Клигмана, заключенный первого лагеря

Микола Лазарчук. Невысокий, крепкий, как наковальня, на плече Микола легко держал тяжелый мешок.

– Погодите! – остановил разговор Клигман. – Микола, что ты опять принес?

– Та то, мука, Яков Семенович!

– Зачем?

– Та бабы в магазине начали хватать, говорят, больше завозу не будэ, я и взял вам трошки, – Микола покосился на мешок. – Шо? Опять... я могу и взад унести, Яков Семенович, як скажете! Но женщины мешками берут...

– Неси обратно! – приказал Клигман.

– Може, у Насти запытаемо?

– Неси в магазин!

У Клигмана, как и почти у всего начальства, были заключенный-денщик и такая же повариха. Работали они у него давно, души в нем не чаяли, но теперь оба освобожились.

– Это все Настя. Хочет на десять лет меня запасти. – Клигман вернулся на свое место. – Вам борща разогреть, Георгий Николаевич? Настоящий украинский борщ! С пампушками!

Кошкин лег покомарить в соседней комнате. Горчаков ел борщ и слушал историю Николая Мишарина, который жил в этой самой квартире вместе с Клигманом.

– Опустился, опустился и вот теперь совсем опустился человек, – рассказывал Яков Семенович неторопливо и с жалостью. – Очень талантливый был, мечтатель, рисовал прекрасно. Вон мой портрет висит. – Он кивнул на стену. – И обычных работяг рисовал, а потом... я его предупреждал! Большая зарплата, которую некуда девать, и власть! А он мальчишка! Выпивать стал с офицерами, ему льстило... всякие у них развлечения водились. Женщины здесь, сами знаете... от меня потом переехал и каждый день стал выпивать.

– Я видел его недавно.

– Когда? – удивился чему-то Клигман.

– В феврале.

– А-а... Арестован он. За связи с лагерницами. Стукнула одна Маруся, приревновала, что ли... У него было много Маруся, она всех и назвала и рассказала про групповушки, про бани. Суда ждет. – Он

помолчал. – Много не дадут, но жизнь испортят... С красным дипломом МАРХИ закончил...

Яков Семеныч замолчал, обдумывая собственные слова.

– У Кошкина правда день рождения? – спросил Горчаков.

– Да, второй день гуляет. Верит в свою скорую свободу, за штурвал рвется... И ребятишек еще хочет парочку. Свеженьких... Он в Норильск переводится, в проектное бюро.

Горчаков лежал с Асей на их топчане. Коля спал. Асиному животу было пять месяцев. Эту тему они особенно не обсуждали, как это бывает у суеверных супругов. Ни об имени не говорили, ни про мальчика-девочку. Горчакову как будто стыдно было, что не был нормальным отцом своим сыновьям, не жил вот так, при растущем Асином животе, не прикладывался ухом, не забирал наконец маму с малышом из роддома. Не было у них ничего такого, что помнят потом супруги всю жизнь. И наоборот, было в его лагерной медицинской практике столько всякого-разного: абортыв самых невероятных, беременностей из баночек, которые мужики кидали через колочку в женскую зону, придушенных детей, детей групповых изнасилований, четырнадцати- и пятнадцатилетних беременных... Лучше было об этом не вспоминать.

Рядом с ним лежала его удивительная Ася. Как она не могла поверить в смерть своего младшего сына, так и Георгий все еще сомневался, что рядом с ним та самая тоненькая девушка, талантливая выпускница консерватории, смело сбежавшая к нему в Ленинград от родителей.

– Ты улыбаться начал, ты знаешь это? – Ася водила тонкими пальцами по седой волосатой груди Горчакова. – И улыбка такая же, как та, давняя, я ее помню. Мы когда приехали, в первые дни, мне страшно было. Ты был холодный, растерянный, я совершенно была уверена, что у тебя здесь семья. Обидно было, не могу сказать как. Думала, побудем до конца навигации, чтобы ты с Колей пообщался, и уедем.

Она замолчала. Только Колино дыхание было слышно – у него был сильный насморк. Горчаков осторожно спустил ноги на пол, нашел тапочки и присел к печке. Разгреб не прогоревшие до конца угли и прикурил, выпуская дым в открытую дверцу.

– А сейчас я не ревную тебя к другим женщинам, я все понимаю... то есть ревную, но чуть-чуть, потому что беременная. – Она перевернулась на бок. – Сейчас многое может поменяться. Я тоже уже не хочу, чтобы ты возвращался в геологию. Лучше музыка... У тебя получится!

– Что с тобой сегодня, тебе не нравится фельдшер Горчаков?

– Нравится, но пианист тоже неплохо. Я еще помню пианиста Горчакова.

Горчаков покуривал в печку. Думал о чем-то:

– С твоим приездом мне иногда снится, что сижу за роялем. Просто для себя играю. Но как-то это все нервно.

– Ты знаешь, что Прокофьев умер? Тоже пятого марта! Поэтому и не сообщили. Наталья Алексеевна с ним дружила, он бывал у вас в доме, ты должен помнить...

Горчаков снова лег.

– Если эту вашу железную дорогу закроют, закроют и Ермаково! Правильно? – в голосе Аси было недовольство.

– Ты же была противницей этого бессмысленного строительства! – улыбался Горчаков.

– Гера, сейчас не до шуток! Тебя могут увезти!

– Не думай, это никому не известно.

– Я узнавала, «пятьдесят восьмую» везут в основном в Норильск... Если так, то мы поедem с тобой, – заговорила Ася решительно. – Там у меня есть знакомые, там – большой город. Меня, кстати, звали туда работать!

– Многих в Тайшет отправляют. Тайга, лагерь и никакой музыки! – Георгий Николаевич помолчал, давая ей представить. – Я совсем не обязательно буду там начальником медпункта! Ты с маленьким туда собираешься?

Ася не отвечала, ей не верилось, что начавшиеся перемены могут привести к худшему.

Горчаков жил с ними целую неделю, не ходил ни в лагерь, ни в больницу. Лежал целыми днями, читал книжки, занимался по хозяйству или с Колей. Выяснил между делом, пока колот дрова, что сосед у них – надзиратель. Ася начала волноваться, не будет ли чего ему за это отсутствие? Но Горчаков только улыбался и рассказывал о «чутье старого зэка».

На самом деле он боялся оставлять Асю с Колей одних. Начавшееся освобождение по амнистии – из ермаковских лагерей многих уже отпустили – выплеснуло на улицы поселка много всякого-разного. Жизнь в Бакланихе стояла развеселая, с гармошками и драками. Могли ограбить, изнасиловать, было уже несколько убийств по пьяному делу. Милиции в Ермаково было мало, а лагерное начальство волновало только то, что происходило в зоне.

В середине апреля, освобождая лагерь в Ермаково, увезли по льду несколько этапов «пятьдесят восьмой». В Дудинку и Норильск.

В Ермаково текли и текли с трассы амнистированные. Число их все увеличивалось, жить им было негде, их стали размещать в бараках Первого и Второго лагерей. Они жили там вместе с зэками, не попавшими под Указ. Освободившиеся блатные, почувствовав себя вольными, заставляли остающихся лагерников работать на себя – дрова, уборка, баня и все остальное, – начались конфликты. Где-то верх взяли урки, но где-то и сидельцы, терять им было нечего.

Работа на трассе прекращалась, началась консервация, в которой никто ничегоне понимал и, как всегда, никто ни за что не хотел отвечать. В ермаковских зонах царил серьезный бардак. Офицеры больше думали, куда пристроиться и пристроить семьи. Воровали по должностям – кто тачками, кто баржами. Списывали, уценивали, усушивали и утрусывали.

81

После амнистии 27 марта в Орске случился тихий бунт ссыльных немцев. Они пришли к коменданту небольшой представительной делегацией. Стали задавать вежливые, но настойчивые вопросы. Комендант сказал то, что они и сами хорошо поняли из текста Указа Президиума Верховного Совета. Амнистия касалась только лагерников. Для ссыльных все оставалось, как было. Немцы вышли, перекурили, вернулись и заявили твердо, что теперь будут отмечаться в комендатуре раз в месяц. Комендант ждал худшего, сказал, что доложит по начальству, достал папиросу и добавил устало: «По мне, вы хоть вообще не ходите!»

Когда Николь в очередной срок пришла отметить, ее оповестили, что ей тоже можно приходить раз в месяц. Тогда она осмелела и зашла к молоденькому помощнику коменданта, он неплохо к ней относился, жил где-то недалеко в старом городе, здоровался, когда встречались:

– Мне запрещена переписка с отцом моих детей. Можете сказать почему?

Помощник смотрел, не понимая.

– Может быть, сейчас уже можно? – настаивала Николь.

– Кто вам сказал, что запрещена... – он подумал и спросил: – А вы разве замужем?

– Да, – решительно заговорила Николь, – мы не успели расписаться, но у нас двое детей!

Помощник сходил за ее личным делом. Полистал.

– Нет у вас никакого запрета, пишите, сколько хотите! Откуда вы это взяли?

– В Красно... Спасибо! Спасибо вам большое! – она встала, но остановилась в дверях, она все еще не верила: – А почему комендант всегда читал мое дело? Что он там читал?

– Не знаю, – пожал плечами помощник. – Он у всех читает...

Николь вышла и заторопилась домой, все еще сомневаясь и раздумывая. Запрет мог быть в деле Сан Саныча, но теперь его должны освободить, это понятно... По дороге зашла в магазин – она получила аванс – тридцать два рубля – деньги Сан Саныча давно кончились, а этих хватало только на хлеб.

Было второе апреля, в воздухе уже всюю пахло долгожданной весной, не хотелось уходить с улицы. Она вернулась домой, накормила и уложила детей. Зажгла свечку и села писать письмо Сан Санычу. У нее скрутило живот, Николь решила, что переволновалась... но понос был всю ночь, а утром она начала терять сознание. Очнулась, чувствуя, что ее ведут под руки по улице какие-то люди, она пыталась понять, куда ее ведут, но совсем не могла думать от слабости. Ее вели соседские дети, уставали, сажали ее, где было посуше, прямо на землю, потом снова вели, держа под руки.

В городскую больницу не взяли, у нее не было паспорта, она опять потеряла сознание, и ее отвезли в инфекционный барак на край города. У нее была дизентерия.

Барак был для заключенных и ссыльных. Обессиленные мужчины и женщины лежали вместе в огромном, уставленном койками помещении. Их разделяла веревка, висевшая поперек, на ней болтались грязные простыни. Туалеты были отдельные, но многие настолько ослабели, что не вставали, а ходили под себя желтой водой – санитары держали их на кроватях без матрасов. Их ничем не лечили, только заваривали верблюжьей колючкой в больших баках и заставляли пить. Кормили очень плохо, какой-то пшенной баландой «без ничего».

Николь продолжала слабеть, в минуты просветления она рвалась домой, но у нее не было одежды, и она с трудом доходила до туалета, а иногда и не доходила. Она не знала, что с детьми, и снова впадала в душное, грязное забытие, даже на слезы не было сил.

Однажды, Николь не знала, сколько прошло времени, она с удивлением нашла в своем длинном и грязном халате, который ей выдали, свои деньги. Их оставалось двадцать шесть рублей, она хорошо помнила бумажки – все деньги были на месте – наверное, кто-то, кто переодевал ее, нашел деньги и сунул ей в карман халата. Она дала их санитарке и попросила сходить, отдать старухе-казашке и узнать про детей.

Она не знала, как дождалась утра, а с ним и санитарку. Та сказала, что дети в порядке, что деньги отдала, но по ее взгляду Николь поняла, что она к ним не ходила. Не стала спрашивать, легла обессиленная ожиданием и отвернулась к стенке. У нее давно пропало молоко, она безобразно похудела, сквозь кожу были видны синие и красные вены.

Санитарка знала, что она умрет, поэтому и не ходила.

Еще через несколько дней она уже еле шевелилась. Не ела и у нее клоками лезли волосы.

Почему ее забрала к себе заведующая терапевтическим отделением больницы, неизвестно.

Заведующую звали Маргарита Алексеевна, она была чуть старше Николь, в ее отделении, занимавшем длинный барак, была маленькая комнатка на три кровати, куда она брала умирающих. И сама выхаживала. Николь начали колоть какие-то лекарства, и она стала немного соображать и пить бульон. Маргарита Алексеевна разговаривала с ней, Николь совсем плохо соображала, но, видимо, как-то сумела назвать адрес в Ермаково. Это был адрес Али Суховой.

Заведующая дала телеграмму, на другой день пришел перевод на сто рублей от Али, а еще через день пятьсот рублей от Белова А. А. Маргарита Алексеевна купила лекарств и продуктов на рынке. Потом – Николь этого не помнила – сходила и проведала детей. С ее рассказа о детях Николь начала что-то соображать и есть, вставать не могла. Она была похожа на скелет.

Выздоровлиwała медленно, Сан Саныч прислал еще денег вместе с длинной телеграммой, потом от него пришло письмо. Ему ответила заведующая.

Николь начала садиться, а потом и медленно ходить по комнате. В палате было три женщины. Две умерли. Маргарита переживала. Болезней соседок Николь не знала, на их месте появились две другие женщины.

Маргарита с деньгами Сан Саныча ходила на рынок и к детям, носила им продукты, потом рассказывала о них Николь. Доставала за взятки дефицитные лекарства.

Она думала, что Николь заключенная. И Николь поняла, что у заведующей или кто-то сидит, или сидел и погиб в больнице... Она ничего не рассказывала, но помогала очень самоотверженно, как будто кому-то, кто уже очень далеко, обещала помогать. Она была украинка и говорила с сильным акцентом, со множеством украинских слов. Молодая и сильная.

У окна их палаты рос тополь, одна ветка была так близко, что ее можно было потрогать пальцами. На ней набухали почки. Они были липкие и плохо отмывались. Наверное, это были первые ее «посторонние» эмоции. Даже о детях Николь думала сквозь плохо проницаемую пелену сознания. Только понимала, что они живы.

Наступило настоящее летнее тепло, почки за три дня превратились в зеленые, нежно пахнущие тополевыe листья.

Ее выписали девятого мая. Маргарита Алексеевна куда-то срочно уехала, но распорядилась, чтобы Николь, как слабую, отвезли на телеге. Они даже не попрощались.

Возчик по случаю Победы был выпивший и веселый, неспешно погонял коня, вздыхал по поводу погибших дружков из батальона и время от времени прикладывался к бутылке, спрятанной в соломе. Солнце пекло по-летнему, пели птицы, а воздух пах так, как он пахнет только весной, когда распускаются листья и поднимаются травы.

Николь настороженно улыбалась на всю эту невероятную жизнь и думала о Кате и Саше, от них она тоже отвыкла и боялась, что они забыли мать.

Был будний день, на улицах особенно никого не было. На одном пыльном углу торговал продуктовый, его так и называли «Угловой», возчик остановил лошадь, слез и встал по стойке смирно. Николь с удивлением за ним наблюдала. Возчик, не отнимая руки от кепки, не очень твердым строевым шагом двинулся мимо магазина к кустам. Там на ящиках сидели мужики. В полевых гимнастерках, надетых к случаю, в пилотках и начищенных сапогах. Из кармана возчика торчала бутылка.

У входа в продуктовый два инвалида тянули руки за милостыней. У них на двоих было две руки, одна правая, одна левая. На гимнастерках висели медали. Один был с костылем подмышкой и большими седыми усами. Толстая старуха в белом платочке остановилась возле них и достала кошелек.

Николь сидела в телеге на пыльной соломе и вяло улыбалась, она помнила, что сразу после войны девятое мая был праздничным днем. Даже у них в Дорофеевском, где воевавших не было, собирались в правлении совхоза за большим столом. Играла музыка, вспоминали военные годы, плакали. Особенно ссыльные немцы Поволжья ждали Победы, надеялись, что их освободят...

– Где вы воевали? – спросила Николь возницу, когда они снова поехали.

– Я, милушка, насилу ноги оттеда унес! Не дай бог такого еще! Ты-то не понюхала пороху?

– Нет.

– Ссылная?

– Да.

– То-то! – важно заключил мужик и подстегнул лошадь. – Как в атаку идти, лежишь, всех святых соберешь, а штаны-то иной раз мокрые со всех сторон... вот так! Так и бежишь на врагов!

Катя играла с козами на дворе, Николь наблюдала из-за калитки. Катя была очень крепенькая и быстрая, она «доила» коз, потом «пила» молоко, гладила их и пыталась водить на веревке, но тут уж козы «были не согласны» и Катя выговаривала им и грозила крохотным пальчиком. Николь вошла. Девочка прекратила игру и строго

посмотрела на мать. И тут Николь вспомнила, что месяц назад Кате исполнилось два года. К ней будто возвращались мозги. Что же со мной было, если не помнила... Но она не успела додумать, к ней со всех ног летела дочка:

– Ма-а-ма-а!

Николь схватила ее, прижала, чувствуя, что на это нет сил, гладила по давно немойтой и нечесаной головке. Целовала в грязные щеки. Ей казалось, Катя похудела, но та была очень сильная, выбралась из объятий. У Николь слезы блестели на глазах, она отпустила дочь и устало распрямилась. Из дома вышла старуха, осмотрела ее внимательно черными как уголь глазами и, ничего не сказав, вернулась в дом.

Я так и не знаю, как ее зовут, виновато подумала Николь.

В темноте домика Саша ползал в какой-то загородке из скрученной кошмы. Лицо тоже было немойтое, в разводах слез и соплей. Николь схватила его, прижала и тут же опустилась на кошму, у нее совсем кончились силы. Катя теребила мать:

– Мама, мама, это наша эже^[158]! – Она взяла старуху за руку и поцеловала, и прильнула щекой.

Саша сначала не узнал мать, собрался зареветь, Николь прижимала его и шептала, он узнал, вцепился и все-таки заревел. А Николь все глядела на старуху-казашку, выходившую ее детей. И не знала, что сказать...

Вечером, дети уже уснули – они теперь спали на старухином топчане, – они сидели, пили чай с молоком и свежим хлебом и разговаривали. Звали старуху Тогжан. Мужа ее, «богача», имевшего двадцать баранов, раскулачили в начале тридцатых и угнали куда-то. Больше она о нем ничего не слышала. Два сына – Жамбыл и Темирхан – погибли на фронте. Она показывала их выцветшие фотографии в военной форме. Старуха совсем плохо говорила по-русски, она вообще говорила мало, они сидели в сумерках и молчали. Старухе, оказывается, не было и пятидесяти. Она так ни разу и не улыбнулась, сухая, кривоногая, с темным морщинистым лицом. Николь понимала, что никогда не узнает, как пришлось Тогжан с маленьким грудным Сашкой.

Утром она ответила на письма Сан Саныча. Это было первое письмо из Орска, написанное ее рукой. Письмо было короткое, ни

слезинки не уронила, не было сил. Она писала Сан Санычу, который ждал освобождения и собирался тут же приехать.

Николь и верила, и не верила... не хотела заглядывать в будущее. Всю свою жизнь в России она впустую надеялась на что-то... Она устала.

82

Было уже двенадцатое мая. Сугробы в тайге белым сахаром сверкали на солнце. Градусник с утра показывал минус двадцать, наст был крепкий, без лыж можно было ходить, но к обеду становилось тепло и с крыш начинало весело течь. Огромные сосульки висели. Коля через день отбивал их палкой, и они снова натекали – снега на крыше было полно.

Лазарет Первого лагеря ликвидировали. Горчакова поставили на консервацию медпунктов по закрывающимся зонам и отправили в командировку с молоденьким, белобрысым, лопухим и круглолицым лейтенантом из бухгалтерии Управления. Три дня добирались по парализованной одноколейке семьдесят километров до дальнего лагеря.

Лагерь был строительный, прокладывали трассу и разрабатывали небольшой песчаный карьер. Теперь работы были остановлены, «пятьдесят восьмую» увезли, амнистированных освобождали по мере поступления на них документов и отправляли небольшими партиями. Народу в зоне оставалось немного. Несмотря на общее чемоданное настроение, во всем чувствовался порядок, а еда в столовой оказалась вполне съедобной. Командовал лагерем старший лейтенант, он с женой и тремя детьми жил недалеко от вахты в отдельно срубленной избе.

Медпункт был опечатан сургучной печатью и закрыт на замок, густо обмазанный солидолом. Внутри все было на месте, даже нераспечатанная бутылка спирта. Только не было освободившегося и уехавшего фельдшера.

Горчаков в соответствии с инструкцией раскладывал медикаменты и медицинское имущество. Самое ценное подлежало отправке на аптекобазу, что-то оставалось в законсервированном медпункте, остальное списывалось и уничтожалось по акту. Лейтенант-бухгалтер

тщательно все регистрировал, писал бумаги. Он впервые попал на заполярную трассу и удивлялся такому порядку, он наслышан был о другом. Когда закончили, зашел начальник лагеря:

– Тут у меня еще семьдесят человек народу, оставьте чего-нибудь, хоть от зубной боли...

– Не положено, – строго не согласился лейтенант, продолжая писать. – У вас и медика нет...

– Жену попрошу...

– Берите все, что надо, – кивнул Горчаков на медикаменты.

Лейтенант-бухгалтер непонимающе и даже недовольно положил ручку:

– Георгий Николаевич, мы не имеем права...

– Ничего, Николай Степанович, мы ведь могли вообще здесь ничего не найти.

– Да, но должно быть соответствие приходно-расходной документации.

– На базе лежат тонны медикаментов, их все спишут. То, что мы сейчас делаем, никому не нужно. – Горчаков встал, распрямляя затекшие ноги.

– Да, но... – лейтенант озадаченно почесал под шапкой. – Ну хрен с ней...

Вечер они провели в избе начальника лагеря, жена наготовила, пригодился и оставленный спирт. Лопухий лейтенант-бухгалтер замечательно играл на гитаре, пел артистично и очень смешно рассказывал анекдоты.

На другой день они ехали на дрезине на соседний лагпункт, дрезина шла небыстро, местами кособочило так, что она вот-вот должна была свалиться. Сугробы искрились на солнце, тайга стояла веселая, зеленая, сосны уже стряхнули белые шапки и шарфы. Параллельно дороге тянулась просека-зимник для саней и машин. Где-то шпалы лежали неряшливой горой, где-то торчали из-под снега кучи гравия и песка. Они переезжали ручей по высокому деревянному мосту, рядом с ним был поставлен почти такой же мост – то ли дорогу хотели по нему пустить, но передумали, то ли для автомобилей строили. Горчаков с младшим лейтенантом долго еще оглядывались на чудо-мосты-близнецы. На одном из них еще работали люди. Мужик, везущий их на дрезине, тоже не знал, зачем здесь два моста.

Так они превратили в консервы, как шутил лейтенант, шесть медпунктов. Следующий был не на трассе, а километров двадцать в стороне, за ними выслали лошадь. Кляча была худая, еле тянула, и возница часто слезал с саней и шел рядом. То же делали и «консерваторы». Бухгалтер Николай Степанович оказался говоруном, рассказал Горчакову всю свою недолгую жизнь, все последние новости и анекдоты. Про Сталина не рассказывал, они вообще про него не говорили, похоже лейтенант относился к Усатому с уважением. Или страхом.

Они ехали часа четыре, замерзли и проголодались. Лагерь был женский.

– Одни бабы, – хмуро объяснил старшина, исполнявший обязанности начальника лагеря.

– А почему так далеко от трассы? – поинтересовался бухгалтер.

Старшина равнодушно пожал плечами, отпирая медпункт, потом выдал предположение:

– Чтоб кобели поменьше лазили!

Замок все не открывался, он подергал его, и оказалось, что он не заперт, а просто замерз. В медпункте все было растащено, не было ни инструментов, ни халатов, не говоря уже про лекарства. Даже весов и ростомера не было. Замерзший цветок на окне.

– А где же медпункт? – удивился лейтенант.

– А это что? – вопросом же ответил старшина и посмотрел на разбросанные бумажки и мусор. – Фельдшера не было, сестра была из бытовичек, уехала... Вы меня не спрашивайте, я не знаю. Начальник в оперотделе в Ермаково вторую неделю сидит, а меня тут спрашивают. Лес заставляют вывозить! Как я его вывезу? Кормов с марта не дают, в Ермаково сена целый склад, а у меня всего двенадцать рабочих лошадей осталось! И леса почти пятьсот кубов еще с прошлого года! На двадцать пять тысяч сто двадцать рублей! Это они подсчитали, приезжали так же вот! Не вывезешь, грозят, сам все возместишь!

– У вас женщины лес возят? – осторожно удивился бухгалтер Николай Степанович.

– И пилят, и возят... – старшина не понимал, в чем вопрос. – На лошадях и возят, на чем же?

Старшина хмуро замолчал и стал закуривать, но вдруг возмутился:

– Никто ничего не понимает, только орут! Сначала сказали – не будут лес вывозить, дорожке выйдут! Потом кто-то умный нашелся, бабам, мол, делать нечего, пусть грузят и возят! План утвердили! Вот мы и возим до разъезда, а от разъезда кто этот лес повезет? Паровозы уже не ходят... – Он еще что-то посоображал и спросил, глядя на Горчакова: – Никого у вас знакомых нет на лесозаводе-то? Договорились бы по-хорошему, бумажки выправили... государство оплатило бы. Начальник постоянно так химичил. Ночевать-то останетесь? Оставайтесь, бабу приведу, хотите беленькую, хотите чернявую, али двух... Бабы голодные на это дело, уговаривать не будете!

Лопоухий лейтенант застыл от такого предложения, глянул на Горчакова, но тот уже поднялся.

– Дай нам коня получше да еды в дорогу, я поговорю в снабжении про твои дрова.

– Ну?! Точно, поговоришь?! И насчет сена! – старшина засуетился и побежал распоряжаться.

Отъехали, перекусили, лейтенант думал о чем-то, потом спросил:

– Будем составлять акт? – он давно уже признал Горчакова старшим в их комиссии.

– Не будем.

– Здесь воры!

– У нас везде воры...

– Отчета по этому лагерю не будет хватать! С нас спросят!

– Спросят – напишем, но думаю, не спросят.

Похожая ситуация была по всем лагерям. Везде был большой или меньший бардак – всем было понятно, что никто сюда уже не вернется, и в каком состоянии остаются медпункты и целые лазареты, тоже было неважно. Но страна жила по инструкциям, а инструкций – как консервировать никому не нужную дорогу и лагеря, куда девать оборудование, материалы и людей – не было. Их писали в Москве, без них не могли действовать на местах.

Медицинского оборудования и лекарств было запасено на несколько миллионов рублей. Вывозить их из заполярного Ермаково стоило денег и большого труда, а качество лекарств было плохое, в расчете на заключенных.

Горчаков с лейтенантом еще не закончили всей работы, когда пришло новое Постановление Совета министров. Это случилось двадцать шестого мая – через месяц после Постановления о консервации.

Консервацию прекращали.

Строительство Сталинской магистрали ликвидировалось совсем.

Все работы должны были быть остановлены, а материальные средства по возможности вывезены. Лейтенант позвонил в Управление, и их отозвали с трассы.

Ася встретила Горчакова упреками и даже мокрыми глазами, что его долго не было. Такого в их отношениях еще не случалось. В ней рос страх расставания. Уже совершенно ясно было, что Ермаково будет брошено. Школу закрыли, вывозили учебники и пособия, а само здание готовились разбирать. Директриса еще держала Асю на зарплате, но скоро это должно было закончиться. Надо было придумывать, что делать.

Горчакова снова будто заморозили, он только хмурился на ее упреки. Он рассчитывал на помощь Богданова, но ее могло и не быть, и тогда его могли перевести куда угодно. Он, как мог, оттягивал это дело, ожидая ее родов, и уже несколько раз настойчиво убеждал Асю сразу после рождения ребенка уехать в Москву.

В поселке перестали развозить уголь и воду, начались перебои с электричеством и процветало воровство. В Бакланихе во многие домики заселились амнистированные. Пропивали заработанное. Чаще это были обычные работяги, но встречались и громкие блатные компании, и Горчаков старался ночевать у своих.

В больнице все было по-прежнему – специалисты уезжали, ценное оборудование, рентгеновские и зубоврачебные аппараты вывезли в Игарку на машинах по льду Енисея. Богданова со всей хирургией перевели в Норильск. Терапия и инфекция еще работали. Больных было меньше, чем обычно. Главврач сидела на чемоданах – ждала вызова в Красноярск.

В лагере было то же самое – никто, ни бытовики, ни «пятьдесят восьмая», не хотел работать, приходили на объект, садились и закуривали. Чего-то ждали. Может быть, дальнейших послаблений? Политические опять вспомнили, что они сидят «ни за что».

Никто их не подгонял, не требовал работы, те, кто должен был подгонять, тоже ждали изменений в своей судьбе.

Горчаков ждал вызова от Богданова в Норильскую больницу. Чтобы не попасть на этап, куда-то совсем в другую сторону, он сходил в штабной барак и за триста рублей попросил, чтобы пристроили в Ермаково. Его назначили бригадиром в бригаду плотников. Он подобрал спокойных людей, все были расконвоированные, и они, не торопясь, строили нары в баржах, принадлежащих Строительству. На этих баржах собирались вывозить всю массу освобожденных.

Все ждали ледохода, обычно он заявлял о себе подвижками и остановками, грозным тяжелым шумом, который собирал на берегу все Ермаково. В этом же году то ли ледоход начался неожиданно, то ли у людей хватало других забот, но Ася с Колей пошли посмотреть, когда основной лед уже прошел.

– Тоже свободы хочет... – наблюдал за рекой заросший седой щетиной мужичок. Покуривал спокойно. – Он освободится, и мы, значит, поплывем...

83

Была уже середина июня, но в Дудинке все стоял лед, а по ночам так примораживало, что огромные дудинские лужи на улицах промерзали до дна и не оттаивали к вечеру. Белов ждал начала навигации, «Сергей Киров» был давно готов, поблескивал свежей краской. Подтянулся из разных мест старый экипаж, добрали недостающих. Людей в команде было много, его уже не звали Сан Санычем, даже Померанцев с Климовым называли его по-старому, только если рядом никого не было.

Белов ходил взволнованный, ему хотелось выйти и испытать мощь теплохода, посмотреть, как большое судно поведет себя в хороший шторм. Он простил себе измену «Полярному» и привык к «Кирову». Но было и другое чувство – он ждал освобождения и собирался немедленно ехать к Николь. Навигации могло не получиться.

Пятнадцатого пришло письмо от старпома Захарова. От Фролыча! Письмо все было грубо вымарано цензурой. Ясно было только, что

Фролыч в лагере, где-то на северах. Захаров ничего не просил, освобождения не ждал, просто подал о себе весть. Сан Саныч долго сидел над измятым тетрадным листком с неровными строчками и черными кляксами, затыкающими рот добродушного и бесстрашного старпома. Много бы он дал, чтобы посидеть сейчас с Фролычем. Просто поговорить. Или помолчать.

Лед пошел ночью. Стоял полярный день, солнце не садилось, и на берегу было людно. Енисей трещал, гремел, многокилометровое изломанное ледяное поле медленно текло огромной, живой и страшной массой. Где-то по неясной прихоти убыстряясь или закручиваясь в водоворот, где-то еле ползло, выпучивалось и вдруг толстые прозрачные кубы льда начинали лезть друг на друга. Обрывались, рассыпались и снова лезли. Многотонные льдины в человеческий рост тяжело обсыхали, выдавленные на берег. Какой-то дядька, обвешанный фотоаппаратами, пристраивал рядом с льдинами двух небольших пацанов для сравнения. Их рыжий пес стоял рядом и одобрительно помахивал хвостом. А Енисей все гремел и ломался, и речка Дудинка, которую курица переходила летом вброд, давно уже текла вверх против собственного течения, тащила льдины и разливалась, ширилась, как большая. Сколько ни смотрел на такое Сан Саныч, а всегда восхищался, стоял, замороженно улыбаясь на невероятную силу природы.

На третий день суда начали выходить из порта. Направлялись вверх, в Енисейск, в Красноярск, тянули лихтера с продукцией Норильского комбината, вывозили баржи с заключенными. На «Кирове» ледоходом повредило рули, и они ремонтировались.

Вместе с ледоходом с юга пришло тепло, за несколько дней все растаяло и начало подсыхать. В высоком ветренном небе возвращались и возвращались домой стаи птиц.

Сан Саныча вызвали повесткой. Не в комендатуру, куда он ходил отмечаться, а в Управление МГБ. Сан Саныч понял, что это освобождение, закурил от волнения и еще раз прочел короткую повестку. Его почему-то вызывали завтра, двадцать восьмого июня, на пять часов вечера. Мысли его устремились к Николь.

На следующий день еле дождался времени. Возле комендатуры под охраной конвойных на завалинке и на лавках сидело человек десять инвалидов. Многие были пьяные, особенно один дядька

бросался в глаза – с обожженным лицом, на месте одного глаза была некрасивая, мясного цвета впадина. Белов глянул на часы – он пришел на час раньше, но, разозлившись на себя – прямо чувствовал, как все трясется внутри от непонятного страха! – нашел нужный кабинет.

За столом сидел сержант. Он прочел повестку, кивнул и указал Белову взглядом на стул:

– Ознакомьтесь с приказом, – сержант подал бумагу с грифом «Совершенно секретно».

Сан Саныч прочел. Его, как капитана судна, предупреждали об ответственности, в случае если кто-то из команды обнаружит беглых заключенных и не сообщит об этом. Ответственность возлагалась на него лично.

Сан Саныч перечитал еще раз и посмотрел на сержанта, не очень понимая.

– Здесь распишитесь. В связи с амнистией настроение в лагерях беспокойное, поэтому ужесточается ответственность. Немедленно докладывайте по радию в ближайшую комендатуру. Сможете задержать беглецов силами экипажа – задерживайте! За беглецов премия назначена! – Сержант кивнул Белову и уткнулся в бумаги.

Сан Саныч расписался, от того, что вызывали по пустяку, не спросил ничего о своей амнистии. Вышел из помещения, доставая на ходу папиросы.

На улице его ждал Антипин. Встал с лавочки навстречу.

– Здравствуйте, Белов... – на Антипине были погоны младшего лейтенанта. И весь вид у него был совсем не такой лощеный. Даже как будто меньше ростом стал. – Не узнаете?

– Здравствуйте, – не очень вежливо покосился на него Белов, как на незнакомого, и двинулся мимо. Внутри забродили нехорошие чувства.

– Александр Александрович, не уходите, я поговорить...

– Хотите поговорить, вызывайте повесткой. – Сан Саныч смотрел недобро, но отчего-то слегка заволновался.

– Я не по делам, просто увидел вас и хотел спросить... – От лейтенанта пахло спиртным. – Меня с моим образованием могут взять в ваше ведомство? Что вы на меня так смотрите, я серьезно!

Они пошли рядом, Сан Саныч чуть ли не на полголовы оказался выше своего следователя. В Сером доме в кабинете Антипина все

выглядело наоборот. Сан Саныч пытался понять, что надо лейтенанту и зачем он задает эти вопросы. Сдерживал себя, чтобы не наговорить лишнего.

– Слушайте... – Белов не помнил, как его зовут.

– Андрей Александрович, – догадался лейтенант, – мы с вами почти тезки...

Сан Саныч не узнавал Антипина. Он помнил блестящего офицера, уверенного, подтянутого, с запахом заграничного одеколona. Сейчас же рядом с ним шел обычный начальник захудалого лагеря, глуповатый и опустившийся человек, даже форма на нем висела мешковато. Белов остановился, прямо глядя в глаза младшего лейтенанта.

– Слушайте, Андрей Александрович, – Белов говорил негромко. – Вы меня недавно к высшей мере подводили, обещали жену по рукам надзирателей пустить, детей не пощадили бы... Вы понимаете, как я вас ненавижу?! – Сан Саныч еле сдерживался. – Что вы от меня хотите?

– Я... да, конечно, понимаю... нас или боятся, или ненавидят, работа такая... Я просто поговорить хотел, – Антипин глядел спокойно. – Если бы не я, вашу жену точно посадили бы...

Белов застыл, он не понимал, чего надо этому Антипину, он был не очень трезвый, Сан Саныч с недоверием смотрел на офицера... Про Николь можно было спросить. Лейтенант мог подсказать, как ее вернуть.

– Я недавно в Дудинке, хотел предложить посидеть где-нибудь... Если вам совсем неприятно, я не навязываюсь.

– Хотите ко мне на теплоход?

– Мне все равно, спирту возьмем, у меня сегодня выходной...

– У меня есть, пойдете.

Сан Саныч уже вскоре недоволен был, что предложил, шел и чувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Особенно противно было подниматься на борт с офицером госбезопасности – в новой команде капитана еще не знали, но отступить было некуда.

– Ничего у вас тут, просторно... – младший лейтенант прошелся по необжитой еще капитанской каюте. – Что это за странные звуки все время?

– Рули монтируют.

– Так разносится гулко... – Антипин сел в кресло. – А на самом деле! Могу же я устроиться на судно? У меня высшее образование, возьмут каким-нибудь помощником капитана?

– Не думаю... – Белов открывал консервы. – Зачем вам?

Антипин не сразу ответил, сидел, покачивая головой и почесывая подбородок.

– Надоело. Куда все поворачивается, никто не знает. Хозяин ушел, и все посыпалось.

– Вас разве не при нем разжаловали?

– Не разжаловали, а понизили в звании. Какая разница, когда это было! – Антипин с неожиданной нервной злостью глянул на Белова, но справился с собой. – Мы делали свое дело и были ему нужны!

Сан Санычу разлил и выпил, не чокаясь, не хотелось разговаривать трезвым.

– Вы верили Сталину? – он снова налил себе и твердо посмотрел на своего следователя.

– Что он, поп, чтобы ему верить? Я выполнял его приказы! Был овчаркой, хорошо натасканной! Отличник боевой и политической подготовки! Я очень точно жил по его воле!

– Вы выполняли его приказы? – со злой иронией спросил Белов и взял свой стакан.

– Так точно! – лейтенант, как будто вспоминал что-то приятное, поднял голову. – Он сам нами рулил, в этом он был гений! Нам многого не понять – гении живут по другим законам... – он опять прищурился туманно. – Но я уже начал понимать его волю, еще пару лет – и я был бы в Москве... За что выпьем?

Они смотрели друг на друга и молчали.

– У нас с вами патовая ситуация, – усмехнулся лейтенант. – Я бы выпил за прошлое, оно у меня было блестящее... да вы не захотите, будущее мы можем себе очень по-разному представлять, а настоящее что у вас, что у меня – говно!

Антипин с любопытством смотрел на Белова. Тот все молчал.

– Хотите, за Сталина выпьем, или вы его ненавидите? Все-таки мы с вами прожили жизнь по его воле... этого уже не получится не уважать. Жизнь не отменишь!

Белов с удивлением слушал бывшего следователя по особо важным делам. Мелькнуло даже – не провокация ли? Не похоже было,

Антипин говорил искренне, нервно, с внутренним порывом.

– Да не думайте вы, в Москве сейчас такое творится... Философские вопросы отложены до лучших времен! Никто не знает, что будет завтра. Что смотрите? Думаете, знаете? Будьте здоровы! – Антипин выпил, не чокаясь.

Выпил и Сан Саныч. Он так наволновался сегодня, что ему было не до темных речей лейтенанта, а уже просто хотелось выпить. О Николь пока не решался спрашивать.

– Я вам не верю, – сказал Сан Саныч, закуривая.

– Это тоже понятно... – Антипину как будто все равно было, что о нем думает Белов. – Позавчера Берия арестован!

Сан Саныч замер, он совсем перестал что-то понимать в словах лейтенанта.

– Враг народа! Пока не объявили, но объявят. Они его боятся, он же для них тень Хозяина... – лейтенант помолчал. – Вам не кажется, что... – он не договорил фразу, замолчал строго прищурившись. – Из огромной страны уходит страх, и она не знает, как без него жить!

Антипин ухмыльнулся зло и высокомерно.

– Вчера иду мимо зоны, а зэки кричат охраннику: «Сталинский ублюдок!» И пальцами на него показывают. Смело, свободно так кричат! Он на вышке, с оружием, мог бы дать по ним очередь, а он терпит. Он боец, он служит! Вот вы меня наверняка сволочью последней считаете, а меня партия сюда поставила и сказала: «Служи! Работа трудная, но ее тоже надо делать!» Могли, кстати, и вы оказаться на моем месте! Никогда не думали?! И никто не знает, как бы вы себя вели! А я всегда вел следствие интеллигентно, никого не оскорблял – вы это видели! У меня был свой стиль! Иногда такие негодяи попадались, что трудно было удержаться! Но я держался! Вы говорили, что вас избили, – я не приказывал! Честное слово коммуниста! Я был в командировке...

– Вы сказали, что вели дело красноярских геологов, – перебил его Сан Саныч. – Двести человек по нему посадили и расстреляли. Даже стариков – заслуженных академиков! Это ваши слова! Вы же понимали, что они не виноваты!

– Не виноватых не бывает, дорогой товарищ Белов, – во взгляде Антипина опять появилось холодное равнодушие. – Было такое дело... И что вы от меня хотите? Чтобы я ответил за всех? – Он пододвинул

стакан и посмотрел на Белова, чтобы тот налил. – Это дело сам Хозяин одобрил, вызвал Берию и сказал «фас»! Тот – дальше! Меня вызвал начальник Управления и передал: «Хозяин велел втоптать в грязь этих геологов»!

– Опять получается, Сталин во всем виноват! Но дело вели вы! За это не хотите ответить?

– Не я придумал советское следствие и советское законодательство! Думаете, я по-другому мог поступить? Например, оправдать их?! – он смотрел на Белова, как на идиота.

– Наверняка были честные офицеры, кто оправдывал...

– По мелочи – конечно! Но не в таких делах! Это было дело государственной важности! Хозяин не занимался другими делами... Эти вещи я очень понимал!

– Опять Сталин! В лагере все так и считают...

– И правильно. Только с их точки зрения он злодей, а ему надо было управлять огромной страной! Необразованной, никогда не знавшей, что такое самодисциплина! Что такое ответственность за себя, за свое поведение! Я очень об этом думал! Страной, завистливой к чужому богатству, ленивой, живущей в грязи и впроголодь, совсем не знающей высокой культуры! Как можно было ей управлять? Только страхом! Веками барин управлял розгами, и другого ничего русский мужик не знал и не хотел понимать!

Белов смотрел недовольно.

– Что? Не нравится? Вы же хотели правды?! Вы ее не хуже меня знаете! Русские до сих пор такие – безграмотные, темные. Воруют, бьют друг другу морды, ненавидят, завидуют... После революции Россия пошла вразнос! Сталин наполнил страну страхом, и она затихла. Стала работать, плохо, может быть, но работала, не бунтовала! Зачем ему, казалось бы, дело геологов? Только не ищите простых ответов, мыслить надо масштабами страны! – К Антипину возвращалась прежняя уверенность, щеки покраснели, глаз блестел. – Хозяин, как опытный врач, вводил точечные дозы страха! В одну отрасль, в другую! Небольшие, чтобы не забывались! Геологи – народ вольный, на природе болтают лишнее... Потом за врачей взялся, а до этого органы чистил! Обратите внимание, Александр Александрович! В самом большом напряжении он как раз нас держал! Это парадокс, но мы должны были бояться больше всех! Абакумова посадил... он и

Берию посадил бы! – Антипин замолчал, собираясь с мыслями, от спирта он стал азартнее. Ему хотелось говорить. – Так он и держал страну – где назревала проблема – туда приходили мы! Ему бы еще лет двадцать...

– Да разве можно страхом... Какое же это светлое будущее, в котором все трясутся?

– Ничего подобного! – лейтенант запальчиво растопырил ладони. – Сейчас докажу! Скажите про себя, только честно, вы – боялись?

Сан Саныч замялся.

– Это мешало вашей работе? – настаивал лейтенант.

– Не знаю, я на работе об этом не думал. – Сан Саныч недовольно потряхнул головой.

– Вот! И вы были отличный работник! Рационализатор! Доска почета! План на двести процентов! Значит, не так плох был этот сталинский принцип управления. Люди были счастливы! Под репрессии не попало и трех процентов населения! Остальные по-настоящему радовались жизни!

– Три процента – это миллионы людей!

– Нет, это не миллионы, это всего три процента! Ради счастья девяносто семи тремя можно пожертвовать!

Антипин торжествовал от чего-то. От самого себя.

– Но я вам скажу еще больше – эти девяносто семь процентов были счастливы потому, что знали про те три процента! Да-да! Счастливы, что это случилось не с ними! Сталин заставил целую страну поверить в свое счастье... – Антипин задумался, с сожалением потряхнул головой. – Я был счастлив, как уже никогда не буду! Вы, кстати, тоже! Сознаться! Мы жили трудно и счастливо!

– Это демагогия! Вы ваши преступления и наши страдания валите в одну кучу!

– А в чем страдания? Вы хорошо знали о тех трех процентах, знали о них всю правду, но отказались от нее... Только и всего! Вы сами, добровольно отказались, можно сказать пожертвовали ими ради счастливой жизни абсолютного большинства людей! И такое он сделал с целой страной! Он – гений!

Сан Саныч начинал злиться. Антипин раскуражился, на глазах превращался в того, прежнего, уговаривающего подписать... только

пьяный.

– Вы сейчас сказали, что я сам, по своей воле отказался от своего друга! Пожертвовал им ради своего счастья?!

– Вы Михаила Романова имеете в виду? – лейтенант щегольнул памятью, но было и еще что-то во взгляде.

– Да!

– Я прошу прощения, капитан... – Антипин смотрел спокойно и строго. – Так все и было! Вам это неприятно слышать, но, отказавшись от него, вы поступили благоразумно. Вы бы его не спасли. Я читал дело Романова, оно могло пригодиться, но он не назвал никого. Совсем никого, он был очень упрямый. Это было глупо, он просидел у нас почти год... Стоило ли? Все равно сел!

Сан Саныч запутался в циничной логике лейтенанта. Закурил. В голове стоял Мишка, целый год его водили в подвал, держали ночами на опухших ногах... Он пытался вспомнить свое дело, назвал ли он кого-то... и не помнил. Он называл и отказывался... все спуталось, он тоже провел там немало времени. В общей камере было много ни в чем неповинных людей. В чем гениальность? Сан Саныч поднял взгляд:

– Николь просто так увезли в ссылку! Она здесь уже двенадцать лет! Вообще без вины! А в чем были виноваты латыши, когда их безо всяких объяснений увозили с родины? Только в том, что они латыши?! Или немцы! Это расправа над целыми народами! Она тоже ради счастья людей?

– Мне казалось, вы с искренним уважением относились к Генералиссимусу...

– Я и сейчас не знаю, то есть... я думаю, что он, возможно, великий человек, идеи которого страшно извращались. Он не знал всего, что происходит... Не он же, в конце концов, приказывал бить меня в тюрьме! – Белов смотрел с вызовом, он не верил, что Антипин не знал.

– Он приказывал! – лейтенант довольно улыбался. – Методы физического воздействия на подследственного были введены в 1937 году им лично! Вы не поняли моей теории, товарищ Белов. Все это было частью одного плана. Жестокого, но безусловно великого. То, что вы считаете бесчеловечным и недопустимым, и было великим! Для России, для нашей с вами Родины, это был единственно возможный

план! Посмотрим, как они сейчас будут вертеться. Они хотят... даже Берия этого хотел! – лейтенант поднял палец вверх. – Хотят убавить количество страха в обществе! И здесь ошибка – рухнет все! СССР рухнет! Попомните мои слова!

Они замолчали. Сан Саныч вспоминал недавний разговор с Померанцевым:

– Один умный человек считает, что черный гений Сталина в том, что он убивал невинных...

– Да? И в чем здесь открытие? – Антипин смотрел, не понимая.

– Убивая невинных, он заставил бояться всех! Если ты не чувствовал за собой вины – это не значило, что останешься цел...

– Это не Сталин придумал. Иван Грозный вырезал целые города, Петр Первый рубил головы сотнями! – Антипин закурил неторопливо. – Если вспомнить самое начало, после смерти Ленина... Сталин проявил себя как тонкий психолог, он знал жалкую природу людей! Люди ведь ради сытой и спокойной жизни всегда готовы пожертвовать «мелочами». Сначала они отдали право свободно выражать свое мнение, потом право свободно выбирать, а потом стало поздно – остался выбор между подлой жизнью и лагерем.

– И вы с такими мыслями работали? – теперь Белов смотрел, не понимая. – Вы же говорили о счастливых миллионах?

– Знаете, Сан Саныч, вы не самый умный и думающий из моих подследственных. С некоторыми из них я провел много часов в разговорах. Кстати, в вашей голове очень серьезная каша на эту тему. Вам наверняка трудно живется... Советую лучше не думать совсем. Можно сойти с ума или застрелиться. Среди чекистов, кстати, много самоубийств... – Антипин посмотрел на Белова с неожиданной хмурой грустью во взгляде.

Сан Саныч устал, возможно в его голове и была каша, но то, что творилось в мозгах младшего лейтенанта, точно лучше было не трогать. Странно, что он до сих пор не застрелился. Он потушил папиросу:

– Это вы отправили Николь из Ермаково?

– Что? – Антипин очнулся от своих мыслей. – Не помню. Нет.

– Вы сами при мне приказывали...

– Нет. Я с бабами не воевал, я уважал себя. Мне надо было вас сломать.

– Меня?!

– Ну что вы, ей-богу, встаньте на мое место!

– Никогда!

Антипин скривился на пафос Сан Саныча, он трезвел на глазах:

– Никто ничего не знает. Год назад я был капитаном госбезопасности, старшим следователем по особо важным делам, а сейчас сижу здесь, обычным опером в лагере. Жена отказалась... не поехала со мной.

Он запнулся, помолчал, раздумывая, и продолжил с внутренней тревогой:

– Я боюсь мести зэков, боюсь ареста по прежним делам, просто боюсь заходить в зону. Иногда мне совершенно ясно, что моя жизнь круто пошла вниз. Возможно, даже и проиграна. Я стал пить... я не люблю этого, но пью... – он еще помолчал. – Вас увидел, обрадовался. В этой Дудинке нет никого, большая деревня, наводненная зэками, а вы знали мои лучшие времена! Вы видели меня, когда моя жизнь была настоящей! Большие дела! Широкая дорога! Я был избран вершить великое дело! И я его вершил!

– Почему меня не освобождают? – Белову окончательно надоел этот разговор.

Антипин очнулся от своей блестящей жизни. Посмотрел на Белова, на стол с тушенкой и выпитой бутылкой.

– Просто бумажки. Много освобождают, поэтому долго. Освободят.

– А Николь?

– Про ссыльных не знаю, я не в Центральном комитете работаю... Видно было, что лейтенант тоже устал. Выговорился.

Когда он ушел, Сан Саныч посидел, вспоминая совсем недавнее время. Оно действительно было счастливым. Они с Антипиным были одинаковые. Оба свято верили, оба хотели работать на благо Родины. А потом сошлись в кабинете Антипина.

Сан Саныч достал бумагу. Он почти каждый день писал Николь, вроде и нечего было, но какие-то слова находились. Иногда рисовал картинки для детей. Николь писала, что им очень нравится. В этот раз он долго не начинал, все думал о ней, о ее болезни, она не все рассказывала... почти месяц пролежала в больнице... Сан Саныч сидел, хмуро уставившись в чистый листок. За эти страшные полтора

года он научился ценить самое простое в человеческих отношениях. Но до этого простого ему еще надо было добраться.

Просто добраться и обнять.

Могучий теплоход, загудев, медленно отделился от причала. Енисейская вода, будто обрадовавшись, навалилась на нос, отталкивая «Сергея Кирова» от берега в его первый выход в очередную навигацию. Длинное судно чуть кренилось на один борт, Сан Саныч глянул на кренометр, так и было, вся толпа пассажиров стояла на левой стороне. Махали руками, кепками, шляпами, прощались навсегда. На берегу народу было еще больше. Тоже махали, кричали что-то, многие плакали. Белов увозил в Красноярск почти полторы тысячи амнистированных.

Мелкий дождичек накрапывал, но было не холодно, ветер гнал с запада небольшую, полуметровую волну. «Киров» ее не чувствовал совсем, шел уверенно. Померанцев, как старший механик, пробовал то один, то другой двигатель, менял нагрузки. Часа через два он поднялся в рубку. Во всем чистом, в новой темно-синей тужурке.

– Все в порядке, Александр Александрович... – он достал папиросы, посматривая на старпома Козаченко. – Что, Виталий Александрович, хорошо бежим?

Козаченко, высокий и статный, тоже был в новенькой форме по случаю отхода. Перекладывал в нужном порядке лоцию Енисея, записывал что-то в журнал. Улыбнулся умной и мягкой своей улыбкой, они с Померанцевым симпатизировали друг другу:

– А что же нам не бежать, Николай Михайлович? Восемьсот лошадок тянут!

– И в прошлом году так шел?

– Так же и шел! Завтра к обеду в Ермаково будем.

Померанцев с Беловым вышли на воздух. Закурили.

– Ты что прокисший какой, Сан Саныч?

Белов молчал, покуривая, думал о чем-то:

– Письмо утром получил, тяжело ей там. Ничего не пишет, а я чувствую, как она устала.

– Ребятишки не болеют?

– Нет вроде...

– Ничего, Сан Саныч, главное вы пережили, может в Красноярск придем, а там тебя и отпустят?

– Если бы так...

– Поедешь за ними?

– Я-то поеду, да кто мне ее отдаст. Пойду к этому козлу в Серый дом! Буду извиняться, просить, чтобы ее перевели в Игарку. Что думаешь?

– Боюсь, они уже передали ее в другую область...

– Вот и я о том же... – они обгоняли маломощный буксир, медленно тянущий против течения две баржи. Сан Саныч внимательно наблюдал, как ходко идет его судно. – Где они, эти бумаги на меня? Звонил сегодня Макарову, уже неудобно перед ним. Говорит, нет пока, тоже уговаривает терпеть. Я-то потерплю, а она как там? Приеду, а с ними что-нибудь...

84

Навигация ослабила обстановку в Ермаково. «Пятьдесят восьмую», социально опасных «врагов народа» увозили на другие стройки и в другие лагеря. Уезжали и освобожденные по амнистии, бытовики и урки, этих тоже грузили в трюмы тех же барж, что доставили их в эти края. Только теперь трюмы были без замков и охраны. Везли в Красноярск. Дальше они, социально безопасные, разбрелись по большой стране.

В поселке стало потише и спокойнее, шла ликвидация – вывозили и уничтожали материальные ценности. Бросали лагеря, бросали хорошее жилье. Остающийся непонятно на что рассчитывающий народ занимал дома офицеров или вольных начальников, но приходили команды плотников и начинали их разбирать для отправки в Игарку и Туруханск. Люди, матерясь, переезжали по соседству, тоже в хорошие квартиры или комнаты. Запасались ворованным углем. Что будет зимой с электричеством и водой, никто не знал.

Индивидуальный наряд на Горчакова пришел 28 июля. Срочный! Его самолетом увозили в Норильск, это, скорее всего, был вызов Богданова. Случилось то, чего и опасался Георгий Николаевич, Ася, с ее огромным животом, оставалась одна.

Перед отъездом Горчаков, обманув конвоира, который ждал его в больнице, ушел попрощаться к своим. Ася, подурневшая, осунувшаяся лицом, устало ковыляла по комнате. Она рада была, что именно Норильск, и пыталась обсудить, когда и куда они могут к нему приехать. И что брать с собой. Горчаков нехорошо волновался за ее роды, за то, что они остаются вдвоем, и злился на себя из-за этого волнения, но сделать ничего не мог. Просил дождаться хотя бы, как он там устроится. Ася заплакала. Георгий Николаевич крепко прижал к себе растерянного Колю. Потом снова обнял Асю, взял за подбородок:

– Я не знаю, почему так срочно вызвали, попробую отпроситься к вам, Богданов много чего может... Ну?! Аккуратнее здесь, пожалуйста. Я постараюсь сообщить о себе... – он приподнял ее лицо, заглядывая в глаза. – Только прошу – не забывай, что я заключенный. У меня может не быть этой возможности. А могут отправить еще дальше... все что угодно может быть, будь к этому готова. Если от меня не будет известий, возвращайтесь в Москву. Береги маленького – опять не увижу, как он родится... – попытался пошутить, осторожно прижимая ее к себе.

Горчаков летел в самолете, как и положено, в наручниках, конвойным был молодой сержант, видимо новобранец, сразу после учебки. Действовал по инструкции, пугливо и строго. Самолет летел спецрейсом, собирал медиков. Из Ермаково были трое, еще четверых Горчаков не знал. Из кабины вышел летчик и заговорил с немолодой женщиной, у ног которой стоял чемоданчик с красным крестом. По обрывкам фраз Георгий Николаевич понял, что в Норильске случилось что-то серьезное. С большими жертвами. Это могло быть обрушение шахты или взрыв на комбинате...

Он волновался. Ермаково стало плохим местом – урки, полуразрушенная больница и никаких знакомых. Это было место, над которым кружили вороны. И среди всего этого развала никому уже ненужной жизни его Ася, его несчастная и удивительная жена несла в себе новую жизнь. Ее бесстрашный инстинкт любви не знал меры. От невозможности помочь Горчаков закричал так громко, что конвойный повернулся и посмотрел испуганно на его руки, побелевшие от наручников. Горчаков отвернулся в иллюминатор. Залитая внешней водой тундра медленно плыла вниз. Озера, лужи, петли речушек

отражали солнце, оно слепило в круглый иллюминатор. На сотни верст вокруг не найти было живой души... разве только лагерь.

На небольшом аэродроме Норильска было тесно от военных самолетов. Солдаты разгружали ящики в грузовики, те отъезжали, на их место подруливали пустые. Во всем чувствовалась нехорошая напряженность.

В Норильске восстали каторжные заключенные. Несколько лагерей сразу.

Уже были большие жертвы, и ждали еще больших. В город, по Енисею и по воздуху, прибыли два полка войск МВД. Восстание тут же начали обсуждать в автобусе, который прислали за медиками, – водитель был в курсе событий.

Началась это после смерти Сталина. Люди, сидящие в каторжных лагерях, стали проявлять недовольство режимом. Началось с отдельных мелких неповиновений, но в конце мая случились первые жертвы. Во время конвоирования колонны через большую лужу – по инструкции люди не должны были ломать строй, а идти прямо по воде – заключенные не послушались, нарушили строй, обходя лужу, конвой скомандовал «На землю!», пытаясь опустить людей прямо в воду, те не сели, и двоих заключенных пристрелили за выход из строя.

На следующий день жертв прибавилось. Это было вечером после работы. Мимо мужской зоны вели колонну женщин, мужики сгрудились у колючки, меж ними возник разговор, кто-то встретил землячку... Младший сержант, дежуривший на вышке, действуя по инструкции, крикнул, чтобы они разошлись. Мужики стали огрызаться, кто-то послал сопляка-сержанта матом, и тот разрядил автоматную очередь прямо по толпе! Семь человек ранил, один вскоре умер. Два лаготделения – семь тысяч человек – отказались от еды и от работы. Вскоре к ним присоединилось женское лаготделение. Отказники потребовали московскую комиссию для объективного расследования... Так началось Норильское восстание.

Богданов спал после ночных операций, проснулся перед самым приездом Горчакова. Он как раз умывался с полотенцем на плече. Кивнул хмуро и снова продолжил мыться:

- Жена не родила еще?
- Нет.

– Плохо. Не отпущу вас. Целое отделение нам отвели, а толкового народу не хватает. Слышали, что творится? Два месяца уже... то затихнут, то опять везут. Думаю, под сотню убитых уже, раненых еще больше, и у меня такое подозрение, что часть трупов они просто в шахты сбрасывают... – Богданов вытерся и повесил полотенце. – Обед сюда попрошу. Вы располагайтесь!

Он вышел в коридор и вскоре вернулся.

– Что это за Горный лагерь? – спросил Горчаков.

– Особый каторжный лагерь на двадцать тысяч зэков. Кажется, одна «пятьдесят восьмая» сидит.

Санитарка принесла на подносе тарелки с супом и кашей.

Богданов кивнул ей так же хмуро, как и рассказывал, и принялся есть.

– Довели, короче, людей! Вчера вечером привезли шесть человек, я самых тяжелых прооперировал... Ешьте, остынет! Я вам дам их «Манифест» месячной давности... – Богданов нашел конверт в куче бумаг.

Горчаков взял конверт и посмотрел на дверь.

– Не бойтесь особенно, тут эти листовки у всех есть. Заключение их с воздушных змеев разбрасывают!

– Так что, была комиссия?

– Была. Они и сейчас работают. Только каторжане требовали правительственную, а эти из МВД. Два месяца переговоры вели, стращали, подкупали, освободить раньше срока обещали... что-то, правда, сразу сделали – разрешили каторжные номера снять с одежды, решетки с окон, переписку разрешили раз в месяц. Но не договорились. В последнее время начали силой усмирять, вот и жертвы... – Он доел, выпил компот и встал. – Все. Пойду посмотрю ночных. Через полчаса начинаем оперировать.

Горчаков открыл письмо.

«Обращение заключенных Горного лагеря к Советскому правительству

Президиуму Верховного Совета СССР, Совету министров СССР,
ЦК КПСС

Обращение лагнаселения Горного лагеря МВД СССР
(Норильск)...»

Обращение было неожиданно длинное, в нем подробно описывались заключенные Горлага – за что сидят невинные люди и как следователи делали их преступниками – держали без сна, морили голодом, били, заставляли подписывать ложь против товарищей... Описывалась система стукачества и наемных убийц в лагерях...

Горчаков закурил, продолжая читать, все это было ему хорошо известно – глаза скользили и скользили по строчкам, только изредка приостанавливались. Письмо было не требованием восставших, но мольбой людей, раздавленных государственной машиной.

«...ОСО^[159] при бывшем МГБ СССР не является конституционным органом как судебная инстанция и гражданин во второй половине XX века не может считать решение, вынесенное за его спиной, справедливым и законным. А между тем значительная часть заключенных по статье 58 осуждена именно ОСО».

Горчаков перевернул последнюю страницу.

«Мы хотим, чтобы с нами говорили не языком пулеметов, а языком отца и сына.

Мы хотим, чтобы миллионы жалоб, ходатайств о помиловании и заявлений о пересмотре дел как со стороны лагнаселения, так и родных не оставались бы гласом вопиющего в пустыне.

Мы хотим видеть конкретные и серьезные шаги, направленные на разрешение назревшей и наболевшей проблемы – пересмотра всех без исключения дел с новой гуманной точки зрения.

Мы хотим признания незаконными всех решений Особого совещания как неконституционного органа.

Мы хотим свободы, братства и единства всего советского народа!

Мы верим своему правительству, верим в его истинно миролюбивые, гуманные намерения.

Мы просим наше правительство разумно разрешить все вопросы, изложенные в данном обращении.

Мы приложим все усилия, чтобы, несмотря ни на какие репрессии со стороны Управления Горлага, держаться до получения исчерпывающего ответа на данное обращение.

Мы стремимся к нашим семьям, к мирному, сознательному труду на благо нашей великой Родины.

Настоящее обращение одобрено всем лагерным населением Горлага.

Норильск. 27 июня 1953 г.»

85

Был самый конец июля, теплоход «Сергей Киров», собирая по поселкам амнистированных, выполнял рейс в Красноярск. Пришли в Ермаково. В разоренном поселке, кроме уезжающих, надо было забрать ценные грузы, под них были зарезервированы два трюма. Белов пошел в Ермаковское управление речного транспорта, согласовал габариты и вес, оформил документы... Тут его и нашла повестка из милиции.

В отделении капитану Белову выдали справку об освобождении, показали, где расписаться. Белов вышел на улицу, сел на лавочку и достал из кармана сложенный вчетверо листок.

«Выдана гражданину Белову А. А.,... осужденному народным судом Ленинского района города Красноярска по статьям 56–30 УК РСФСР к лишению свободы...

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27.03.53 судимость снимается. Ст. инспектор лагеря...»

Паспорт он должен был получить в Красноярске.

Он поднялся и пошел в сторону пристани, душа kloкотала от бессилия и негодования. Унизили, растоптали веру, изуродовали жизнь, семью... и теперь какой-то сержант милиции, даже не взглянув на Белова, отдал ему эту бумажку. Сан Саныч очнулся, он стоял среди улицы, сзади требовательно гудела машина.

Он сошел на тротуар и вспомнил о Горчаковых. Надо было найти их, Горчакова никто не собирался освобождать или сокращать его двадцатипятилетний срок. На двери знакомого домика висел замок. Сан Саныч огляделся, непонятно было, живут тут, нет ли. Он написал записку, вложил в дужку замка и, раздумывая, вышел за калитку. Горчакова могли отправить по этапу, а Ася уехала в Москву... бессмысленно было гадать, он и сам собирался уезжать далеко. Сердце сдавило, что никогда может не увидеть ни Асю, ни Георгия

Николаевича. Горчаков был одним из лучших, кого Сан Саныч встречал в жизни... Теперь это было понятно.

С ним поздоровались. Нарушая нервное течение мысли, Белов кивнул на ходу и начал спускаться к пристани.

– Сан Саныч! – окликнули его настойчиво.

Это был Клигман.

– Здравствуйте, Яков Семеныч!

– Я вас разыскиваю. Вы не сможете пару дней здесь постоять? Под каким-то предлогом... ремонт, я не знаю...

– Нет. А зачем? – не понимал Белов.

– У меня материальных ценностей на десятки миллионов, а наряды на их сдачу не пришли! Не имеем права грузить. Я вас прошу, подождите день-два, должны получить телеграмму из Москвы...

– Не знаю, Яков Семенович, – Белов думал сразу о многом, на борту людей было битком.

– Совет министров установил сроки окончания ликвидации – первое сентября, а тут конь не валялся! – угрюмо возмущался Клигман. – Что я за месяц успею? Вы на берег? Пойдемте! Друг на друга ответственность перекалывают, а кому передать, каким транспортом – ничего не могут решить. Целыми днями заседаем!

Клигман, прервав возмущение, внимательно наблюдал, как буксир маневрирует с баржей в ермаковской протоке. Баржа жалобно мычала открытыми трюмами. Он повернулся к Белову:

– Вон, пожалуйста! Правительство страны распорядилось все поголовье скота передать Норильскому комбинату, это сотни и сотни голов по разным лагпунктам! Его надо собрать, привезти в Ермаково, потом в Норильск – кто и как это будет делать? Норильск отказывается от такого «подарка», и я их понимаю! Половина скота заражено бруцеллезом, ветеринарный надзор запрещает везти в живом виде. Только вареным! Это мясо золотое будет! Я предложил отдать больных животных на звероферму, она здесь рядом... Вот эта баржа проплыла сегодня мимо зверофермы и не остановилась! Теперь этих коров надо выводить на берег, кормить, лечить... А-а-а, – Яков Семенович в досаде снял фуражку, вытер платком лысину и надел снова. – Так что, не можете подождать?

– Совсем не могу, утром должен уйти.

– Понятно... – майор опять нервно глянул вниз. – Скот свозят в Ермаково, а сено все уже увезли в Норильск... – он открыл записную книжку, вычеркнул что-то, задумался, перевернул страничку. – Хотите надо мной посмеяться – вот! Почти тонна парфюмерии, 11 тонн пудры и детской присыпки, 13 тысяч бюстгальтеров, 5 тысяч пар чулок, – он скользил глазами по длинному списку. – Медицинская вата – 5 тонн, между прочим, дефицит в стране... списки и списки! И все уничтожат! Продовольствие вообще никто не хочет покупать... Не то что до первого сентября не успеем, весь следующий год будут ликвидировать великую Стройку. Будут охранять, гноить и в конце концов списывать как негодное. – Он опять встал как вкопанный. – Почему это нельзя было сделать умно?!

Сан Саныч тоже остановился.

– А вы не можете уволиться, Яков Семенович?

– Я бы и уволился, Сан Саныч, так ведь свинство! Там паровозов полста штук, вагонов сотни, трактора и машины! Сейчас я хочу погрузить на ваш теплоход ценные инструменты, я с таким трудом их добивался! Они уже упакованы и стоят на берегу, а у меня нет всего-навсего одной бумажки из Москвы! Если погрузу без нее, меня посадят! Как вывозить остальное из тайги, я вообще не знаю – правительство закрыло трассу и запретило ею пользоваться!

– Почему не позвоните в Москву?

Клигман посмотрел оторопело:

– Так все утро сегодня ругался с ними. Им там наплевать, что здесь на сотни миллионов сгниет. Спишут и все! Ну посадят кого-нибудь... из нас... Не хотите пообедать? Или что? Уже ужин?

– Спасибо, Яков Семеныч, мне на судно...

– Доносами замучили, Сан Саныч... – пожаловался вдруг Клигман и нервно потер переносицу. – Пишут и пишут! Давайте до утра этот вопрос оставим, попробую чем-то вас загрузить. Вы знаете, что Мишарин повесился? Николай! Вы же его знали!

– Когда? – помрачнел Белов.

– Три дня назад. Был под следствием, но освободили и даже не разжаловали. А он вот что... вроде сифилис у него был в последней стадии.

– Сам повесился?

– Сам, записку оставил... «Прошу никого не винить...», напился и... Дома мать одна, как о ней не подумать?! Ну, пойду, будьте здоровы, если не увидимся!

Пожали руки, Сан Саныч отправился на судно, а Клигман стал подниматься в сторону Управления.

Ермаково ликвидировалось. На здании школы работали зэки. Не особо церемонились, ломы, фомки^[160] и топоры шли в дело, дерево скрипело и кричало на весь поселок выдираемыми гвоздями и скобами. Первым разобрали на штабеля строевого дерева спортзал, и на его месте зияла некрасивая, заваленная строительным мусором дыра. С самого здания школы уже сняли крышу и теперь разбирали стены, то там, то здесь с веселым матом и прибаутками летел со стен тяжелый брус.

Школу вывозили в совхоз «Игарский» под солдатскую казарму.

Разбирали и большие четырехквартирные дома. Бревна, рамы, печные кирпичи свозили и складывали на берегу, чтобы грузить на баржи. Здесь снова, как и четыре года назад, возникли горы стройматериалов.

Вывоз большей части материальных ценностей признавался нерентабельным или невозможным. На огороженных территориях многочисленных ермаковских складов, так тщательно недавно охраняемых, жгли новые накомарники, нижнее и постельное белье второго и третьего сроков носки, поношенные и новые полушубки, валенки, кирзовые сапоги, инвентарь... жгли, рвали, рубили голенища и рукава. Возле швейных мастерских разбивали швейные машинки, жгли горы ниток на катушках, ткани. Начальство едва успевало подписывать акты о списании и уничтожении.

Специальные бригады целыми днями истребляли «подотчетные материальные ценности». Одна из таких бригад работала на большой площадке, куда им подвозили вещи с разных складов. В трех концах горели огромные костры, к одному из них подъехал грузовик, высокой горой груженный новыми подушками.

– Они не горят! Куда приперли?! – заартачился седой морщинистый заключенный, с погасшей сигаркой во рту.

– Горят, горят! – шофер развязал веревки, подушки посыпались, заваливая грузовик. – Мы пробовали!

– Лучше бы людям отдали, чего их жечь! – такими словами «поджигатели» встречали каждую новую партию, перед этим они полдня расправлялись с несметными тысячами бюстгальтеров и трусов.

– Не положено людям отдавать! – гоготал водитель, сбрасывая подушки, он второй месяц занимался этим веселым делом. – У каждого в доме так уже натаскано! Одна баба себе пятьсот трусов набрала. Целый день, говорит, считала!

Все заржали.

– Много там этих подушек? – седой пытался их поджечь, но они только дымили удушливо.

– Жги, не бзди! Целый склад этого добра, и еще матрасы! Вот те плохо горят, врать не буду...

Дым у седого притих, и он уже решил сходить за керосином, но тут вспыхнуло так сильно, что все попятились. Куриные перья, сгорая, поднимались в сизом облаке алыми звездочками.

Несколько зэков пробивали дырки в новых алюминиевых мисках и кружках. Бросали их в кучу. Один действовал толстым гвоздем, другой стамеской, третий ловко рубил углом топора. Негромкие металлические хрюки и хряки раздавались с последовательностью машины. Тот, что действовал стамеской, рассуждал неторопливо, прищуриваясь на солнце:

– Если бы такую железную дорогу до моей деревни, предположим?

– А ты что же, в тайге живешь? – спрашивал, что рубил топором.

– Не-е, в Саратовской губернии, Базарно-Карабулакский район, а деревня Ивановка у нас.

– И что же, болота у вас там, дорог-то нету?

– Как нет? Есть, да ехать не на чем. Мне от Саратова всего-то верст сто пятьдесят, а хорошо, если за сутки на попутках доберешься! Быстрее и не думай! А тут строили, строили, жопы морозили, а кому построили? Бросаем теперь все и айда!

– А тебя освободили, что ль?

– Ну!

– А чего же стучишь сидишь?

– Скучно без работы... Две недели уже, как освободили, поплыву скоро, видно...

– И много в твоей деревне народу?

– Хватает. К нам в Ивановку когда идешь, три речки будет, а мостов нет! При царе были, чинили их, а теперь нет. Теперь у нас колхоз, и мы, значит, без моста живем, портки сымешь и идешь! А тут сколько мостов настроили! Таких, я вам скажу, умельцев мосты ставить я нигде не видал! По десять метров высотой! Сами! Без инженеро́в ладили! А комар-то давит, а жара пекёт! Сам знаешь! Вот это мы поработали, значит! Славно!

В мужичке не было никакого раздражения, ни досады. Все это дело он описывал так, будто был только что сильный дождь с градом и ветром, всех промочил и перепугал, а теперь вот утихло и солнце собирается выйти. Третий их товарищ был помоложе, бросил молоток, встал, потягиваясь и хрустя костями.

– Надоели мне эти миски, который день – тук-тук, тук-тук! – он широко зевнул. – Я бы лучше собак пострелял! Опять завыли!

– Каких же собак? – по-детски удивился саратовский со стамеской.

– Овчарок караульных! Каких еще?! С утра их истребляют по акту... а они, падлы, визжат! А расстрельщики-то отдохнут – и опять давай!

– Не бреши! – перестал стучать саратовский. – Они всегда лают!

– Да чего, сам не слышишь? Погоди-ка вот...

Вскоре зазвучали размеренные, целились, видно, выстрелы, и истошно завизжала раненая собака. За ней страшным хором завыли другие.

– Слышь-слышь! Умоляет, сука, не трогать ее. А как она мне руку чуть не оторвала! Твари клыкастые! У нас раз проводники зашли в рабочую зону с собаками, да и спустили их. Ой, чего делалось! Зона небольшая – мясо клоками летело! Прямо как ножом режет! Во, видал! – мужик задрал штанину. Наискосок через всю икру шел рваный рубец. – А еще и на жопе, и на руках!

Собаки продолжали жалобно выть на разные голоса. Саратовский поднялся, прислушиваясь и доставая кiset. Снова затрещали сухие выстрелы.

– Вот аспиды, – закачал головой в сторону пальбы. – Собаки-то чем не угодили?!

Белов поужинал и пошел осмотреть загрузку. Отъезжающие устраивались. Кто в каютах, многие на палубе среди своих узлов. Были и амнистированные, но больше вольные. Уезжали насовсем. Группа стрелков охраны в новеньких сапогах и полевой форме со склада сэкономили деньги и ехали на воздухе. Здесь, среди гражданских, они выглядели как обычные демобилизованные солдатики, стриженные пацаны. Притащили казенного имущества, матрасы и подушки были лагерные, новые, привычного черного цвета. Уложили в два слоя на палубе. Сидели, закусывали с бутылочкой. Рядом на таких же матрасах устроилась компания амнистированных заключенных. Тут были и молодые, и мужики, и пара совсем стариков. Одеты в серые лагерные фуфайки и ботинки, двое только были в пиджаках и рубашках с длинными отложными воротничками. Тоже выпивали и закусывали.

Сан Саныч присматривался к лицам. Нарядно одетые офицер с женой и подростком стояли у фальшборта, тут же семья с тремя маленькими детьми сидела на чемоданах и узлах, дети все время бегали и дрались, мать на них орала, хватала злобно... отец смотрел на все равнодушно... надзиратель, понимал Сан Саныч, что-то тупое есть в лице, ни с кем не спутаешь, вертухай лагерный. Две девушки в хороших пальто, в беретах и с прическами оживленно что-то обсуждали, шептали на ухо. Ближе к носу, где не было узлов и матрасов, прогуливался начальник. В черном длинном пальто, широких брюках и черной шляпе.

– На кладбище полдня пробыла, могилку мужа прибрала, тумбу покрасила... Никогда уже не попаду сюда... Как подумаю, так сердце и остановится... – Две немолодые женщины разговаривали. Одна зажимала в кулаке мокрый платочек. – Сынок на фронте без вести пропал, муж тут остается. Уже и не увижу их. – Она обреченно хлопнула носом. – Куда еду? Кому я там нужна?

Сан Саныч спустился в трюм, здесь были устроены нары, гул голосов стоял. Молодое семейство, явно вольные, заложили свой угол узлами, сидели обнявшись. Жена и маленькая, лет трех девочка улеглись на колени к отцу, и он их баюкал:

– Гуся и гусенька мои!

– Нет, это я гуся, а мама гусенька! – не соглашалась девочка и тянула руку отца к себе.

Сан Саныч поднялся наверх, ушел на левый борт, где было поменьше народу, и достал папиросу. Улыбался нечаянно на «гусеньку», вспоминал Катю. Он называл ее только Катей. И Николь только Николь. Николь звала его Саней и Санечкой... еще «Санечка мой». Он закурил, с глупой завистью думая о семействе, где были Гуся и Гусенька, у него ничего такого не было. Он не успел, в его семье было совсем немного счастливых дней. Одна тревога друг за друга, на которой с трудом лепились лоскутки и заплатки короткого счастья.

– Товарищ капитан! – к Белову шел матрос. – К вам пришли! – он показывал в сторону трапа.

Это были Ася и Коля. Белов привел их в свою каюту, Коля ушел с Козаченко посмотреть теплоход, и они остались вдвоем. Живот у Аси был очень большой и совсем не шел к ее стройной фигуре, лицо усталое, но улыбалась она по-прежнему открыто, расспрашивала. Рассказала, что Горчакова увезли в Норильск.

Белов видел, что она волнуется. За мужа и за ребенка. Судьба Ермаково была непонятна, судьба ее мужа и ее собственная зависели от каких-то ветров, которые дули сейчас в Москве. Сан Саныч глядел на Асю, восхищался ее мужеством и совершенно не понимал, что ей теперь делать. Скоро она будет с малышом... и опять не будет знать, где ее муж. Он ничем не мог ей помочь, о своей судьбе он тоже ничего не знал и думал о своих со страхом.

– Оставьте адрес, мало ли что? – Сан Саныч взял бумагу и карандаш.

Ася посмотрела на него внимательно и продиктовала московский адрес Лизы Воронцовой. Сан Санычу нечего было дать, у них с Николь такого адреса не было.

На другое утро большой теплоход «Киров» уходил в Красноярск с пустыми трюмами. Клигман не появился, аккуратно упакованные ящики сиротливо стояли под охраной двух бойцов в дальнем конце грузового пирса. Убрали трап, отвалили, дизеля тряско зашумели, а за кормой забурлила от винтов мутноватая енисейская вода. И опять люди махали руками и кричали, на берегу их было не так много, как в Дудинке. Взгляд Сан Саныча скользил по пустеющему поселку. Заключение, которых в рабочих зонах всегда было, как муравьев, теперь не было совсем, не было и охраны, и самих зон. На их месте

высились штабеля бруса, груды закопченного печного кирпича, крашенные полы...

Теплоход уверенно набирал ход. Люди плотно сгрудились на корме. Никто не махал руками, застыли взглядами, навсегда оставляя в памяти заполярный таежный берег, куда забросила их судьба.

К обеду по левому борту показался дом бакенщика Романова. Сан Саныч ждал этого, поднес к глазам бинокль. Они не виделись с Валентином почти год, и теперь он с растущим волнением наблюдал, как приближается знакомый причал, узнавал лодки на берегу. Пытался вспомнить, где они ночевали, но не помнил ничего, даже о самом себе тогдашнем думал, как о ком-то постороннем.

Бакенщика не было, вместо него на бугре у поднятого флага стояла Анна. Ее уже видно было и без бинокля, Сан Саныч выбросил папиросу и, заглянув в рубку, распорядился встать выше протоки и спустить шлюпку.

Они сидели с Анной в знакомой горнице, ребятишки, особенно старшие Васька и Петька, за три года, что не видел их, подросли, были уже помощники и хлопотали по хозяйству. Руте было четыре, беленькая, аккуратно заплетенные косички. Дом по-прежнему сиял чистотой и опрятностью, так же пахло свежим хлебом и молоком.

– Как навигация началась, первые пароходы пошли в Красноярск, так и собрался. Сказал, опять будет добиваться, писать заявления. После смерти Сталина должны бы ответить про Мишку... – Анна смотрела спокойно, только где-то в глубине глаз тлея безысходная тоска. – А двадцать пятого июля телеграмму дал, что едет на Колыму. Потом уже из Владивостока прислал письмецо – ждет, мол, парохода на Магадан и что в этом году, может, не успеет вернуться. Больше ничего не было, должно быть не добрался еще, теперь много людей едут...

– Ты как тут справляешься? – Сан Саныч встал и достал кошелек.

– Ничего, спасибо, деньги есть, мука... бензина на три года оставил для лодки... справляемся.

Анна помолчала.

– Может и хорошо, что Валя уехал, он ведь пить здесь начал. Как зимой приехал из Красноярска... ничего ему не сказали про Мишку – ни жив, ни мертв... так и впал в тоску. В мастерскую к себе

переселился, пил и молчал, ребяташкам не показывался. Боялась я за него... А так, поехал... думает, жив Мишка, – Анна перекрестилась на икону. – Искать будет.

86

Горчаков работал в операционной с Богдановым до поздней ночи. В шесть утра его разбудили, велели взять все необходимое для скорой помощи, побольше перевязочных материалов и повезли на машине.

Огромная зона – не меньше трех тысяч заключенных, понимал Горчаков, – была окружена вооруженными солдатами и офицерами. Они стояли в две цепи, за ними зачем-то была еще и третья, более редкая цепь, в ней стояли гражданские. Все это растянулось по тундре и выглядело непривычно, даже страшновато. Как будто большую войну готовили. Несколько новеньких бронетранспортеров с пулеметами дежурили по всему периметру, воняя выхлопом. Пулеметы торчали стволами из грузовиков и с ближних крыш. Горчаков с чемоданчиком стоял возле одного из грузовиков, его борта были укреплены металлическими пластинами.

Кто-то из офицеров обращался к лагерникам по громкоговорителю. Голос властный, тон жесткий: «Волынка переросла в контрреволюционный мятеж. Мятежники избрали органы власти, суд, сформировали противозаконные органы обороны. Выходите из зоны! Задерживайте зачинщиков! В случае неподчинения конвой применит оружие!»

Зона молчала. Пик тундровой мошки миновал, и ее было немного, но стояла жара. За колючкой шла обыденная жизнь – кто-то из лагерников куда-то направлялся, но больше стояли кучками у бараков, курили. Черные флаги с красной полосой колыхались на легком ветру.

К микрофону подошел кто-то другой, голос был пожиже: «Одумайтесь, граждане! Вас толкнули против Советской власти! Выходите – и Советская власть вас простит!»

– Прокурор московский! – прокомментировал смену оратора чубатый водитель-сержант. Он курил на корточках, прислонившись к колесу.

Горчаков поставил чемоданчик и присел рядом в тень кузова.

– Почему московский? – склонился прикурить от сигареты сержанта.

– Да они оба из Москвы. Сюсюкают тут! Из пулеметов расхерачить всю эту шушеру бандеровскую. Фашистов, блядь! Четвертый месяц с ними нянчатся...

– А почему металл на бортах? У них что, оружие?

– Да нет у них ни хера! Передавить бронетранспортерами, как тараканов, и конец волынке! Похоже, московским за эту канитель деньги большие платят! Как за военные действия, получается. Сейчас покричат в матюгальник и водку пить поедут. И так каждый день. Ты что, недавно тут?

– Вчера привезли.

– А-а-а, – сержант снисходительно осмотрел любопытного очкарика в белом халате. – У нас теперь так. Воюем. Пять лагпунктов усмирили, эти последние остались. Недавно письмо написали правительству, чтобы их или освободили, или расстреляли. И весь лагерь подписался – три тысячи шестьсот подписей! Свобода или смерть, орут! Или отпустите, или всех убейте! Долбанутые, бля!

– Они все из шахт?

– Да нет, зачем, обычные зэки, и в шахтах работали, на кирпичном, на цементном... дома в городе строили... только срока у них большие. Позавидовали, что других освободили, вот и начали.

– Я слышал, постреляли их...

– А то раньше их не стреляли... Вон, смотри, идут!

Заключенные небольшими группами потянулись к проходам, специально прорубленным в колючей проволоке.

– Все не выйдут! – сержант со знанием дела подкуривал новую сигарету. – Выходят, у кого срок небольшой остался... Тут в основном те, кого после войны сажали – вояки, хохлы западные да из Прибалтики, что по лесам бегали.

Вышедших строили в привычную колонну по пять человек, окружали конвоем с собаками и поджидали других. Не вышла и половина лагеря, оставшиеся спрятались в бараках, и зона вымерла. Колонну увели. Вскоре и начальство уехало на автобусе с громкоговорителем.

В следующий раз Горчакова взяли прямо из операционной, было одиннадцать вечера, стоял полный полярный день, вечер был светлый и тихий. Автобус подъехал к той же зоне третьего лагерного отделения. Все было точно так же – тройное кольцо оцепления (гражданские – добровольцы из вольнонаемных норильчан), черные флаги над зоной, громкоговоритель снова несколько раз потребовал от заключенных «прекратить волюнку» и выходить из жилой зоны. Никто не выходил, за проволокой не было никакого движения.

Сегодня ночью, проваливаясь в недолгий сон, Горчаков дал слово Асе, Коле и еще кому-то, кого он еще не видел... выжить. Впервые за долгие годы он пытался вмешаться в свою судьбу. Это было глупо, но ради их любви надо было попробовать. На этой мысли сон сомкнул его сознание.

Горчаков протер очки, присмотрелся – это был обычный спящий лагерь. Но что-то в самом воздухе было иначе. Офицеры вели себя нервно, приказывали и орали, солдаты бегали в касках, гремя полным вооружением. Георгий Николаевич ясно чувствовал неприятную напряженность. Пахло большой кровью, ему показалось, что он слышит ее запах, Ася с Колей снова мелькнули в сознании, будто они могли нечаянно попасть сюда, он осмотрелся тревожно.

От растерянности, все еще думая о своих, пошел к знакомому грузовику... В этот момент бронетранспортеры зашевелились, заревели двигателями и двинулись в зону через проходы в проволоке. Прячась за ними, шли автоматчики. Кольца окружения стали стягиваться к колючке. Лагерь по-прежнему отвечал мирным, даже сонным молчанием. Горчаков озирался и не видел, кто всем этим командует. Этой зловещей, смертельной тишиной и рокотом двигателей.

И тут загрохотали пулеметы. Горчаков вздрогнул от неожиданности. Со стен лагерных барачных бараков летела щепка, звенели и сыпались окна. Стреляли с вышек и с крыш домов дивизиона охраны. С машины, за которой он спрятался, тоже стреляли. Боец вел прицельный огонь короткими очередями, сыпались пустые гильзы. Куда же он целится? Георгий Николаевич чуть не крикнул, чуть не спросил вслух, но только обескураженно присел за кабину.

Он знал, что делается сейчас в бараках. Пулеметы легко прошивали стены, людям было не спрятаться. Огонь стоял такой

плотный и со всех сторон, что рикошетные пули от барачных и земли с вибрирующим визгом пронеслись рядом с их грузовиком.

В бараках уже много убитых и раненых, – сердце Горчакова замирало и даже останавливалось от переживания. Что они делают? Зачем? Убивают безоружных! Людей, которые ничего не делают! Руки тряслись, он почему-то все время вспоминал, как хотел спастись сегодня ночью, это было неприятное воспоминание, люди в зоне тоже не хотели умирать. Горчаков подхватил чемоданчик и выбежал из-за машины. Автобус с громкоговорителем и начальством отъехал за последнюю линию оцепления, но стоял недалеко. Горчаков бросился к нему.

– Что вы делаете? Что делаете?! – он бежал и бормотал сам себе, в этой канонаде его никто не слышал, и размахивал руками и чемоданчиком с красным крестом.

У автобуса стояли бойцы. Один из них вышел вперед и направил ствол автомата на бегущего в белом халате. Из автобуса выглянул офицер.

– Это преступление! – услышал Горчаков свой голос. – Там живые люди! Они без оружия!

Он, с трудом дыша, остановился у автобуса.

– Уберите урод! – глаза офицера не мигали на красном лице.

– Расстрелять? – обернулся боец с автоматом.

– Мясникам отдайте!

Боец натренированным движением врезал Горчакову прикладом в грудь, тот окончательно задохнулся и обхватил чемоданчик. Его развернули и пинками погнали обратно. Солдат сзади было двое. С досады, что не участвуют в основном деле, они были зло и трусливо возбуждены. Били прикладами в спину, Горчаков начал спотыкаться, он совсем задышался, ударов прибавилось.

Неожиданно сзади раздался пронзительный свист. Это свистел один из солдат.

– Урки, принимай клиента!

Возле вахты на корточках сидела группа ссученных с дубинами в руках. Все повернули головы, а двое поднялись и направились навстречу. Стрельба меж тем стихла, солдаты в зоне входили в бараки. Из ближайшего раздавались стоны, крики ненависти и просьбы о помощи. С вахты выбежал сержант:

– Врачей сюда! – крикнул он куда-то, потом увидел белый халат Горчакова. – Быстро сюда, лейтенанта раздавило! Бегом!

Конвойные погнали Горчакова к вахте, сами жадно разглядывали, что делается в зоне. Из бараков выводили лагерников и пинками и прикладами гнали к проходам. Мужики с дубинами бросились к одному из проходов. Там уже сортировали выходящих, всем командовал офицер с автоматом в руках:

– На колени! Ползти, фашисты бандеровские! На колени, блядь!

Заключенные валились на колени, среди них были и раненые, и ползли по проходу. За колючкой их ждали урки. Били дубинами, ногами и кулаками, многие отключались, их оттаскивали в сторону. За столом сидели офицеры и сверяли выводимых заключенных с формулярами.

Лейтенант полулежал, прислонившись к стене вахты. Это был молодой, лет двадцати пяти парнишка, он дышал, широко открыв рот. В глазах стоял страх. Горчаков осторожно положил его на землю и стал расстегивать гимнастерку, тот испугался еще больше и тихо заголосил:

– Ай-ай, доктор, мне воздуха нет! Не хватает! Не хочу, не хочу лежать! Я боюсь, доктор!

Губы у него синели, изо рта сильнее потекла кровь. Он мазнул ее рукой:

– Доктор, кровь! Помогите! Меня бронетранспортером... в спину... я не видел его... прямо к стенке! – ужас смерти застыл в молодых глазах.

Горчаков понимал, что ничем не поможет – у мальчишки была раздавлена грудная клетка. Он взял лейтенанта за руку, кивнул успокаивающе:

– Сейчас сделаю укол, вам не будет больно, – он открыл чемодан и загремел шприцами.

У него дрожали руки, иголка не надевалась, не попадала в ампулу. Вокруг возбужденно орали, приказывали, ругались, слышались удары, стоны, мольба. Просили носилки, воды, помощи... матерились, матерились и матерились. И умирали.

С ранеными Горчаков оказался в больнице. Шел второй час ночи. Богданов оперировал мрачно, молча, как заведенный, раненых было больше сотни, хирургов всего трое. Горчаков встал ассистировать, но Богданов велел идти и заняться перевязками.

– Георгий Николаевич, – остановил он его в спину. – Не знаю как, но поднимите эту суку, главврачиху! Скажите ей, какой-нибудь полковник МГБ ранен! Придумайте что-то, наврите! Нужны все медсестры, все, кто может перевязывать...

Раненые лежали вповалку по коридорам, пол был в людской крови, затоптанной солдатскими сапогами. С легкими ранами сидели у входа в отделение. Вокруг больницы стояло оцепление из гражданских вперемешку с солдатами. Среди тяжелораненых Горчаков увидел полковника Кошкина, тот зажимал руками кровавую гимнастерку на животе.

– Василий Степанович! Вы как здесь? Вы же не каторжный...

Тот сначала не узнал Горчакова, потом попытался улыбнуться серым лицом:

– Сам пришел к ребятам, Георгий Николаевич. Плохо мое дело, скажи прямо?

– Не знаю, хирург должен смотреть.

– Да чего там смотреть? В живот! Я таких насмотрелся. Пить хочу страшно, дайте воды!

– Воду нельзя, – Горчаков сходил, намочил кусок простыни водой и приложил к губам жизнелюбивого полковника, но тот потерял сознание.

Богданов осмотрел, замер, хмуро уставившись на две маленькие дырочки на белом волосатом животе Кошкина, и покачал головой:

– Был бы он один, можно было попробовать, а так я пятерых с того света вытащу, а его... – он с сомнением смотрел на могучее тело, лежащее без сознания. – Его уже вряд ли. Красивый мужик! Обезболить его, Георгий Николаевич, мучиться будет дня два-три.

Кошкина занесли на кушетку в кабинет Богданова, дышал он более-менее ровно, Горчаков перевязал, вколол укол и пошел к другим раненым. В голове все сместилось, он не понимал, утро теперь или уже вечер. Приезжали опера со стукачами, ходили среди раненых по темному коридору, искали кого-то, светили фонариками в лица. Другие, явно столичные офицеры, с пухлыми папками, пересчитывали и переписывали раненых. Потом пришли гражданские, из прокуратуры, и еще раз пересчитали. От них пахло водкой. Почему они все такие толстомордые и глупоглазые, – Горчаков перевязывал тощее бедро бледного от потери крови старика.

Вечером он выключился часа на три. Прямо на полу возле кушетки с Кошкиным. Из операционной пришел Богданов. Лица не было от усталости. Уронил стул и разбудил Горчакова. Они поужинали и опять уснули на матрасах на полу. Когда Горчаков проснулся, Богданова не было, а Кошкин не спал. Стонал тихо, не стонал даже, но кряхтел и скрипел зубами. Горчаков вколол хорошую дозу морфия, и вскоре полковнику стало лучше. Он уже сильно ослабел, но улыбнулся:

– А что, Георгий Николаевич, много у тебя этой дряни? Хорошо от нее! Я бы и водки сейчас дернул! Нет, не хочу водки, и есть не хочу, тошнит! – он поморщился, вздохнул. – Они меня еще и били! Что за шавки, я весь в кровище, а они прикладами в кровавый живот... И это русские солдаты, я воевал с ними! Берег их... Я и в лагерь-то попал, потому что берег... Как людей в зверьков превращают?

Он опять надолго замолчал. Потом спросил спокойно:

– Что Богданов сказал?

Горчаков стал соображать, как ответить, но Кошкин заговорил сам:

– Не придумывай, Георгий Николаевич, на тебя непохоже... Если Богданов не стал резать, значит, отлетался я, – он произнес это твердо, но в глазах оставался вопрос.

– Сказал – два-три дня. Я буду тебя колоть, Василий Степанович.

– Спасибо тебе, Георгий Николаевич... – он сильно сморщился, осторожно потрогал себя за поясницу. – Хорошие там были ребята!

Горчаков смертельно хотел спать, клевал носом. Полковник, наоборот, был лихорадочно бодрый, строго блеснул глазами:

– Хорошие ребята! Настоящие люди! Ни одного стукача не тронули. Судили и отпускали за зону! К этим шавкам. Давно я не видел такого человеческого духа! Встали люди за свое человеческое достоинство. Все понимали, что от этой своры ничего хорошего не дождешься. А все равно встали против мерзкой власти! Хохлы, евреи, поляки, прибалты, русские... Против жалкой, паскудной власти человека над человеком! Люди это могут! – он опять замолчал, потом произнес негромко и твердо: – За такое помирать не страшно!

– Давай-ка я тебе бинты поменяю, Василий Степаныч...

– Не надо, я прилежался... тепло и сыро... – Кошкин улыбнулся через силу сухими губами. – Ты запомни, Георгий Николаич, если

останешься жить, запомни – там, за колючкой, восстали благородные люди! Ты думаешь, мы не могли смести эту шваль сталинскую?! Только в Горлаге двадцать тысяч человек было. Половина – умелые, настоящие вояки! Снесли бы этот Норильск к гребаной матери! Мы людьми хотели остаться! Показать этим псам, что можно быть людьми! Без подлости можно жить! Они крепко пересрали! Мести ждали, думали, покрошим их в капусту! Два полка сосунков в красных погонах пригнали. Бронетранспортеры. Два месяца силы против нас копили и все равно боялись! Псы не могут по-другому! Безоружных стреляли! Ни царапины у них!

– Ты как такие раны получил? В упор?

– В упор! Я же везучий, меня даже щепками не зацепило! Когда палить перестали, я раненого потащил из барака, а тут мальчонка глупенький со страху, видно, и засадил с трех метров. Натаскали их, как щенков, они же предателей Родины уничтожали! Ничего, отвезут меня с биркой на ноге под Шмидтиху^[161]. Там много достойных людей.

– Оставь адрес, напишу жене...

– Уже попросил, напишут. Уколи еще разок, что-то тошно, башка мутная! Повезло мне, что ты рядом, Георгий Николаевич. Лежал бы сейчас один, а ты свой человек... очень я тебе рад.

Горчаков стал набирать шприц. Вошел Богданов, намыливал руки, глядя на Кошкина.

– Что, Вася, хреново?

Кошкин молчал долго.

– Ничего, Виталий Григорьевич, все хорошо... Я на фронте сто раз мог загнуться, а пришлось здесь. Здесь тоже за Родину. Как было, уже не будет, ребята, кровь человеческая просто так не льется! Не надо ее жалеть!

Полковник пристально и очень серьезно смотрел перед собой.

– Я смерти давно не боюсь. Смерть придумал тот же, кто и жизнь. Он ничего плохо не делает!

Горчаков сделал укол, полковник Кошкин затих и вскоре заснул.

– Дайте папиросу, Георгий Николаевич... – Богданов стоял над Кошкиным, думая о чем-то.

Закурили. Горчаков прикрыл дверь в коридор, откуда доносились стоны, скрип раскладушек и бормотания.

– Я про вашу Асю... Тут еще на неделю работы. Потом можно бы отправить вас на аптекобазу в Ермаково, недели на две. Ей когда рожать?

– Да вот, в первую неделю августа. Не надо бы им сюда...

– Почему? – удивился Богданов.

– Кто знает, что тут будет? Могут и режим ужесточить...

– Что же вы, на амнистию совсем не надеетесь?

Горчаков поморщился в досаде:

– В Ермаково была блажь, думали об этом с Асей... – он затянулся папиросой, молчал, потом поднял хмурый взгляд на Богданова. – Ничего ведь не поменялось, Виталий Григорьевич, какая разница, какая фамилия будет там, наверху? Сталин, Берия, Молотов... Людей уже превратили в бессовестных и бездушных собак... Сначала офицеры приказали расстрелять безоружных, а теперь ходят ищут среди раненых и потом пытаются этих раненых. И ни у одного офицера не хватило мужества отказаться выполнять приказ! На их месте стреляться надо, а они продолжают... Вы знаете, что они добивают некоторых раненых? Я утром в морге видел одного, вы его оперировали...

– Наше дело – оперировать, Георгий Николаевич, – Богданов погасил свою папиросу. – Что вы с женой думаете?

– Надо ее в Москву отправить с этой навигацией, – Горчаков тер колючий седой подбородок. – В Ермаково я не решился настаивать, а теперь с ними не поговоришь. Не знаю, родила она, нет?

– Позвоните в больницу.

– Все телефоны отключены, всё контролируется, боятся, что отсюда уйдет информация, даже телеграмму не смог дать.

Богданов смотрел мрачно. Он тоже не знал, что с ними будет завтра.

Кошкин умер ночью. Лежал очень спокойный и скорбный, правая рука на сердце, словно благодарил кого-то.

Допросы шли днем и ночью, и теперь везли избитых. С переломанными ребрами, носами, отбитыми внутренностями. Раненых продолжали пытаться. Однажды в палату вошли несколько офицеров, опять кого-то искали. Горчаков хотел выйти, но его остановил офицер

и стал внимательно рассматривать. Это был тот краснорожий майор из автобуса, что велел отдать Горчакова «мясникам». Георгий Николаевич смотрел спокойно. Майор вспоминал, но, видно, не вспомнил и отпустил фельдшера.

Активных участников и руководителей восстания самолетами развозили по другим тюрьмам: в Красноярск, Иркутск, Магадан, Кенгир, Владимир. Там судили и давали новые сроки.

Московские следователи пытались представить политическое восстание разгулом бандитствующих элементов, бунтом беспредельщиков против всех законов.

Но арестанты в показаниях стояли насмерть – все хорошо помнили свои требования именно законности. И справедливости.

87

Ася родила десятого августа. Девочку. В больнице, на которой начали разбирать крышу. Рожала две ночи, и обе эти ночи страшно выли собаки. Такого никогда не было. Она страдала от болей, от неизвестности, и еще эти плачущие собаки.

Ее выписали на следующий день. Она была страшно уставшая, они шли домой, присаживаясь на каждую лавочку. Ася с девочкой на руках.

– Почему они так воют? – морщилась Ася потрескавшимися губами.

– От голода, мам. Их в питомник свозят из лагерей, опять стрелять будут. Их не кормят... – Коля теперь был старожилом Ермаково и знал здесь все.

– Почему стрелять? – не понимала Ася.

– Я не знаю... Позавчера коров стреляли! На Енисее, ниже пекарни, и бросали в воду. Сказали, больные чем-то...

– Ты туда ходил? Я же просила... А кто их стрелял?

– Солдаты и зэки. Я сам не видел...

– Коля я тебя просила не называть так людей. Твой отец тоже зэк!

– Прости, мам... Мы будем отцу звонить?

Ася с удивлением глядела на сына.

– У тебя есть его номер?

– Нет, но он же с Богдановым, позвоню в центральную больницу, попрошу Виталия Григорьевича.

Ася задумалась, малышка зашевелилась в одеяле, Ася скинула покрывало.

– У меня еще нет молока... А если совсем не будет? – она с досадой потрогала себя за грудь.

– А так бывает?

– Бывает, пойдём.

– Давай, я понесу.

– Нет, я сама... Ну хорошо, возьми... – Ася вздохнула с трудной улыбкой. – Это же твоя сестра!

В это время невдалеке раздались выстрелы. Сразу много, стреляли короткими очередями из автоматов, раненые собаки завизжали совсем близко. Ася отдала было уже девочку, но взяла ее снова и, нагнувшись, словно прятала ребенка от воя, быстро пошла по дороге. Когда дошли до дома, все кончилось. Над Ермаково повисла необычная тишина. У калитки стояла соседка и тоже слушала. Поздоровались.

– Что собаки! – вздохнула соседка. – Людей бросают, не нужны стали, мужик четыре года горбатился, то вахтером, то в надзирателях, а жилья так и не дали. Теперь – идите, куда хотите... – она еще послушала подозрительную тишину. – Что же, мальчик или девочка у тебя?

– Девочка.

– Как назвали?

– Не придумали еще...

– Чего же?

Ася пожала плечами.

Они вошли в их домик. Ася положила девочку на топчан и устало опустилась рядом. Коля осторожно откинул одеяло, разглядывая сестру:

– Ты хочешь, чтобы отец дал ей имя?

Ася молчала. Заострившееся лицо было сосредоточено, она напряженно думало о чем-то. Вопросов было слишком много.

Ночью Коля думал об отце и матери. Отец выглядел намного старше, рядом с ним она была, как дочь, но часто, и Коля это хорошо чувствовал, мать была намного сильнее. Хотя отец совсем не был

слабым. Все было очень непросто, а иногда ему казалось, что меж ними почти ничего нет. То, что у его сестры не было имени, много о них говорило. Многие темы у них были запретными, как будто отношения только начинались и они очень берегли их. Отец чувствовал себя виноватым за Севу. Мать тоже. Это была разная вина, но они не могли, не научились еще говорить об этом. Если об этом вообще можно говорить... Коля как-то спросил мать, не хочет ли она, если родится мальчик, назвать его Севой. Она недовольно закачала головой и подняла руку, прекращая разговор.

Коля не заговаривал об имени сестры. Видел, что мать ждет встречи с отцом. Коля не знал, как это может быть. Где? И будет ли эта встреча...

Прошло несколько дней, от Горчакова ничего не было. Тогда Коля сам пошел в школу, там еще работал телефон, позвонил главврачу центральной больницы Норильска. Хотел спросить хирурга Богданова, но нечаянно назвал фельдшера Горчакова. На том конце была женщина, она стала строго допытываться, кто звонит. Коля положил трубку.

Ася очень испугалась. Связь шла через коммутатор, их могли легко найти.

88

Сан Саныч остановился, недоверчиво обернувшись на провожатого.

– Тут, тут, заходи! У них нет собаки! – кивнул мужик уверенно и пошел дальше по пыльной улице с саманными заборами.

Двор был маленький, домик еще меньше. Три козы лежали в тени под старым тополем. Сан Саныч прикрыл за собой калитку и взял чемодан. В домике было тихо, он слышал, как стучит сердце и холодеют руки, поставил чемодан у порога, пригладил волосы и вытер пот. Солнце уже садилось, но было жарко, козы внимательно его разглядывали. Внутри раздался детский голос, и Сан Саныч, забыв про чемодан, толкнул дверь.

На него из полумрака комнаты смотрела Николь. Рядом были дети, но он не видел их, видел только испуганные любимые глаза.

– Саша! – она сказала так тихо, что только по губам было понятно. Она сидела на кошме, по-казахски скрестив под собой ноги.

Они вместе потянулись навстречу, он схватил ее, заревел мальчик и тоже пополз к матери. Потом заплакала Катя и стала отрывать от матери руки отца.

– Саша, Саша, – шептала Николь, вцепившись в его спину, – ты приехал! Ну что вы ревете, это ваш отец! Ваш отец, ну?! – она прижала к себе Сан Саныча младшего.

Катя обнимала мать за отвоеванное плечо, хлюпала носом и сердито отталкивала отца.

Старуха-казашка с лицом бабы-яги месила тесто за низким столиком и спокойно смотрела на них. Головой покачивала в такт работе рук. Потом поднялась и заковыляла на улицу.

89

Им удалось сесть на паром «Заполярный». Огромное двухэтажное судно должно было перевозить через Енисей железнодорожные составы в Ермаково. На широких палубах народу было немного, лежали разобранные дома, рельсы, шпалы, семафоры и железнодорожные стрелки. Судно загудело грубо, пугая ворон, чаек и тощих собак, и стало разворачиваться вниз по течению.

Ася с Колей стояли на верхней палубе. Маленькая девочка, у нее так и не было имени, спала, устроенная среди вещей. Чемодан, два узла – все, как и два года назад. И Горчаков опять был против, а может и не был, они этого не знали. Они снова ехали к нему, и снова втроем.

Судно отделилось от берега, поселок стал хорошо виден – какой-то мужик, подгоняя лошадь и поднимая пыль, ехал на телеге наперегонки с паромом, небольшой строй солдат стоял у бани в белых нательных рубашках, из трубы пекарни тянул безмятежный светлый дым. Ася не отрывала взгляда – в этом странном месте среди тайги и заключенных они прожили длинный и тревожный год, его трудно было назвать счастливым, но здесь они снова стали семьей. У Коли появился отец, у Геры сын, у них были очень нежные отношения...

Над Ермаково поднимались темные, тревожные дымы. Жгли за поселком – в первом и втором лагерях, в центре... и на

железнодорожных путях, подходящих к грузовому причалу. Небольшой паровоз стоял лицом к реке, в его топке и возле что-то сильно горело с черными клубами и проблесками огня.

Паром добавил оборотов, еще раз прогудел протяжно и стал набирать скорость. Издали казалось, по поселку прошел ураган. Повалил заборы, караульные вышки – их тоже начали разбирать для вывоза, но почему-то бросили. Многие дома стояли со снятыми крышами, а какие-то уже увезли, и пустые места на улицах зияли, как вырванные зубы. У берега медленно крутились на течении фанерный чемодан, круглый стол ножками вверх, черные матрасы или подушки, ключья ваты, газеты... Вдоль берега грязной стаей бежали брошенные тощие собаки.

Вскоре за поселком начались нетронутые берега с опрятной таежной зеленью невысоких холмов, черточки чаек парили в голубом небе. Могучая река, сужаясь, спокойно уходила за горизонт.

Коля обнял мать, прижался, Ася нащупала его руку, она все смотрела назад, там уже ничего не различить было – черные дымы над столицей конченной Сталинской Магистральной уже растворились в голубизне.

Они плыли, совершенно не представляя, что их ждет. У Аси в сумочке лежала рекомендация директрисы ермаковской школы. И больше ничего. Они мало знали про закрытый заполярный город с гигантскими предприятиями и шахтами. Город несметных богатств и бесчисленных заключенных. Где-то среди них был сейчас и з/к Георгий Николаевич Горчаков.

Или не был.

Ася запрещала себе об этом думать.

Девочка заплакала, ее мама присела на чемодан, расстегнулась и стала кормить. Тонкие сильные пальцы осторожно придерживали одеяло у крошечных человеческих губ.

Послесловие

О достоверности событий и героев. Об источниках и месте действия

Все, насколько это возможно, достоверно, многое документально. Все случаи репрессий, судьбы репрессированных и ссыльных взяты из реальной жизни того времени: из документов и воспоминаний. В некоторых случаях я оставил настоящие имена.

Прототипом Горчакова послужила судьба (и семья) выдающегося геолога Бориса Николаевича Рожкова, открывшего несколько действующих норильских месторождений. Его расстреляли 22 апреля 1938 года. Ему было 36 лет. Родственников, как это часто бывало, обманули, и они долго искали Бориса. Последним, кто видел бесстрашного и невероятно талантливого геолога, был палач Смоленской тюрьмы НКВД.

Я «продлил» жизнь Бориса Рожкова в этой книге.

В романе есть и другие «плохо спрятанные» благодарности автора. Например, Евфросинии Керсновской. Удивительной женщине, прошедшей ссылку и лагеря и оставившей подробные мемуары и рисунки (книга «Сколько стоит человек»). Керсновская ни разу не изменила своему невероятному мужеству и честности. С благодарностью и восхищением я выводил ее образ под именем Фроси Сосновской.

Почти то же можно сказать о начальнике Енисейского пароходства Иване Михайловиче Назарове, в романе он Макаров. Речники, читавшие рукопись, считали, что он получился очень похожим, и предлагали оставить его настоящее имя, думаю, это было бы неправильно. Я придумал его таким, каким он был нужен для романа, настоящий Назаров наверняка сложнее.

Книги Гинзбург, Солженицына, Шаламова и еще целого ряда авторов широко известны, но есть и другие имена. Работая над «Мерзлотой», я открыл для себя колоссальную, невообразимых

размеров мемуарную лагерную и ссылную литературу (иногда очень талантливую!).

То, что закрыты важные архивы, скверно, конечно, и прямо говорит о преемственности российской власти. Но кроме архивов есть множество свидетельств – воспоминаний, дневников, живых голосов участников событий, записанных обществом «Мемориал». Терабайты открытой достоверной информации по любым событиям и по любой территории нашей Родины.

Оказывается, наше общество не такое уж ленивое и нелюбопытное.

О местах действия романа. Города, поселки и фабрики, тайга и тундра соответствуют действительности 1949–1953 годов. Я опирался на память капитана Козаченко (о нем ниже), карты и документы того времени и собственный опыт. Поэтому, например, поселка Дорофеевский сейчас уже не найти, как и многих других енисейских населенных пунктов. По оценке Виталия Козаченко, на настоящее время остался примерно один поселок из двадцати.

Спасибо людям, без чьей помощи эта книга была бы невозможна

Александр Альбертовичу Сновскому. Бывшему заключенному Ермаковского лагеря. В 1949 году ему было 19 лет, когда он получил десять лет лагерей. Видимо, за характер. На следствии в ленинградских «Крестах» его спросили, знает ли он, куда попал, он ответил «В гестапо!». Освободился Александр Альбертович в Норильске, в 1955 году.

Мы познакомились по телефону – он написал семь книг о тех временах. Встретиться он отказался, но на вопросы отвечал и постепенно проникся к моим расспросам. Прочитав первые части рукописи, позвонил и сказал, что могу обращаться к нему в любое время. «Хоть ночью. Я все равно плохо сплю». И я звонил, а потом и ездил к нему в Санкт-Петербург, и мы разговаривали о том времени, быте и нравах, о лагерных отношениях. Он хорошо помнил многих людей и ярко о них рассказывал (о хирурге Богданове, начальнике Строительства-503 Барабанове, лагерном фотографе Гарике, банщиках, аптекарях, нарядчиках и особистах). Иногда звонил сам, вспомнив

какие-то случаи из своей санитарско-фельдшерской практики и вообще лагерной жизни – молодой и сильный, он рвался на волю и, ради зачетов, освоил за колючей проволокой много профессий.

Он читал текст в черновых вариантах, потом готовый. Всегда охотно и внимательно, ни разу не сослался на здоровье, хотя за семь лет моей работы над книгой перенес несколько операций. Жалел, что нельзя дать в текст заковыристый лагерный мат, вспоминал – спокойно, не хвастаясь! – лагерную удаль и удачи в драках, с женщинами и в тяжелой работе. Сказал мне как-то: «Могу умирать спокойно, я остался в вашей книге». Везде, где можно было, я сохранял его речь, его умные и сдержанные, никогда не равнодушные эмоции.

Александр Сновский умер 26 мая 2020-го, ему было почти девяносто два года.

Виталию Александровичу Козаченко. Енисейскому капитану. Интеллигентному, простому, живому и остроумному. Человеку колоссального опыта и знаний. Его биография легла в основу образа Сан Саныча Белова. Капитан Козаченко простил мне с юмором, но не без грусти, когда увидел, как его собственная судьба превращается в литературу – в судьбу Сан Саныча.

Так же как и Сновский, обстоятельно и терпеливо отвечал на мои вопросы, готовил к нашим встречам материалы, карты Енисея с пометами, вырезки из газет разных времен. Он жил в Красноярске, мы встречались четыре раза – обсуждали уже готовые части книги. Ошибок было немного, все сложные места я выяснял с ним заранее, но были. Например, по поводу шторма в Енисейском заливе Виталий Александрович хитро улыбался: «Написано все точно, но на такой глубине во время шторма судно просто разбивает о дно. Они у вас все покойники!» Можно было просто «увеличить» глубину в том месте залива, но я переписал все заново. Даже боцмана пришлось спасать.

Козаченко прочел роман в первом черновом варианте. Он умер в возрасте девяноста лет 11 октября 2018 года. Я позвонил в то утро, просто проведать, жена сказала, что опоздал совсем немного.

В книге есть «поклон» Виталию Александровичу – он назван в романе своим именем на своем рабочем месте, а очерк «Бухта капитана Варзугина» принадлежит его перу. Такое ему «спасибо» на

все время, пока будет жить эта книга. Но главное – в «Вечной мерзлоте» останется живой его любовь к Енисею и к его товарищам – умелым и мужественным енисейским речникам.

Александр Борисовичу Иванову – прекрасному товарищу, во время работы над книгой он был генеральным директором Енисейского речного пароходства. Журналист по первому образованию, он легко понимал мои нужды. Это он познакомил меня с Козаченко и другими старыми капитанами, он отправил на три недели с экипажем буксира «Капитан Очеретько» с весенним завозом грузов. Вслед за льдами мы спускались по Енисею, а потом шли вверх по бурной Подкаменной Тунгуске, которая поднялась той весной на тринадцать метров. Спасибо дружному экипажу буксира, что помогли почувствовать тонкости их профессии и отношений.

А еще спасибо Александру Иванову за издание книг памяти и замечательный музей Енисейского пароходства (директор Борис Михайлович Гончаров), в которых с любовью и знанием дела сохраняется память о жизни и работе речников. «Вечная мерзлота», кстати, началась с того, что мне в руки попал мартиролог репрессированных капитанов, изданный пароходством.

Александру Михайловичу Казанцеву – нынешнему «хозяину» заброшенного Ермаково. За хлеб-соль, за таежные «экскурсии» в лагеря и по Ермаково. Вообще за гостеприимство, за любовь к своей земле и широту души.

Владимиру Петровичу Демидову – депутату Заксобрания Красноярского края, моему старому товарищу, благодаря ему мы с сыном побывали в норильских шахтах (глубже километра под землю!), на медеплавильном комбинате, в памятных местах и музеях Норильска. За его всегдашнюю поддержку на красноярской земле.

Михаилу Тарковскому – замечательному писателю и человеку. Никто лучше Тарковского не написал про Енисей и охотников-промысловиков, боюсь, что и не напишет (книги «Замороженное время», «Енисей, отпусти», «Избранное», документальный фильм «Счастливые люди»).

Очарованный его прозой – у большой прозы есть такое свойство! – я когда-то отправился к нему в Бахту, в среднее течение Енисея. С тех пор я много раз бывал у Миши в тайге, на енисейских притоках, а его замечательные друзья-охотники стали и моими друзьями.

Небольшому коллективу Красноярского общества «Мемориал». Их многолетняя работа вывела на свет судьбы тысяч репрессированных людей. (На их сайте почти 15 000 материалов – воспоминания бывших заключенных и ссыльных, документы, связанные с репрессиями, списки пострадавших, фотографии, публикации и исследования.)

Особая благодарность руководителю красноярского «Мемориала» Алексею Бабию, безусловному знатоку той эпохи, за скрупулезное и доброжелательное чтение моей рукописи. Вспоминая о наших разговорах, всегда думаю, сколько же в российской провинции скромных и в высшей степени интеллигентных людей.

Огромное спасибо энтузиастам – исследователям дорог 501 и 503. Многие из них (за год, два или три) прошли всю дорогу от начала до конца, оставили фото- и видеоматериалы, свои разыскания и соображения. Благодаря им можно наблюдать состояние Трансполярной магистрали в разные годы. Полное таежное и тундровое безлюдье, тяжелый климат, гнус, преодоление рек и болот – экспедиции эти были очень непростые и очень нужные. Это и есть сохранение истории нашей Родины. Невозможно переоценить вклад этих людей.

Отдельная благодарность историку, автору книг по истории Северо-Западной Сибири Вадиму Николаевичу Гриценко. Одному из самых преданных исследователей Трансполярной магистрали, прошедшему ее пешком с фотоаппаратом, открывшему в различных архивах и опубликовавшему, может быть, самое большое количество документов по Стройкам 501–503 (книги «История «Мертвой дороги», «Ямальский Север при Сталине»).

Сотрудникам музеев в Норильске, Дудинке, Игарке за их работу и помощь.

Моему другу, скульптору Михаилу Переяславцу.

Моему сыну Степану, которого я очень люблю, за наше с ним путешествие на моторной лодке по маршруту: Дудинка – Игарка – Ермаково – лагерь – Туруханск – вверх по реке Турухан и обратно в Дудинку и Норильск. Это почти полторы тысячи километров. Попасть туда иначе не получилось бы.

Найти товарища на такое путешествие было непросто, даже предлагать неудобно – я ехал за «волнением». В тех местах, зарастающих тайгой, где не так давно жили и работали люди, должно было возникнуть волнение, без которого за такую тему браться было нельзя. Степа все это понимал и согласился.

Нам не очень повезло: когда 11 августа 2014 года мы со Степаном, тогда двадцатилетним, сходили по трапу самолета в Норильске, шел снег. В Дудинке, где мы накачивали нашу большую лодку, крепко штормило, все суда стояли на якорях, но нам надо было отправляться – через день нас ждали в Игарском музее.

В первый наш вечер на берегу Енисея мы не без труда поставили палатку и зажгли костер. Ветер был такой, что тушенку выдувало из ложки. И затем из восемнадцати дней путешествия четырнадцать Енисей сильно штормило, иногда с дождем, иногда без.

Мы побывали в заросшем молодым лесом и крапивой Ермаково, в хорошо сохранившемся лагере на Барабанихе, поднялись на триста километров по безлюдной таежной реке Турухан, где железная дорога когда-то шла вдоль реки.

Возле ночных костров мы разговаривали об увиденном, думали о простоте и обыденности варварства, о том, как странно уживаются в России государство и человек. Степа предполагал, что может получиться книга о насилии. И о любви, преодолевающей насилие. Двадцатилетнего парня волновали эти вопросы, и это многое определило в моей работе.

Писать книжку только для шестидесятилетних нет смысла...

И наконец, спасибо моей жене, моим терпеливым друзьям, читавшим рукопись и думавшим над ней.

Ну и тебе, конечно, мой читатель, раз уж ты оказался здесь. В конце концов, каждый читает свою книгу.

Так же как и живет свою жизнь.

notes

Примечания

1

ГУЛЖДС – Главное управление лагерного железнодорожного строительства.

2

МАРХИ – Московский архитектурный институт.

3

Чалятся всегда против течения, поэтому, когда идут по течению, разворачивают судно – «делают оборот».

4

«Пятьдесят восьмая» – политическая (преступления против государства) статья Уголовного кодекса РСФСР в редакциях 1922 и 1926 годов. Отменена в 1961 году. Так называли политических заключенных.

5

ОЛП – отдельный лагерный пункт.

6

Все это было предусмотрено Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Только в северные районы Красноярского края «для использования на рыбных промыслах» привезли 23 000 немцев.

7

З/к – заключенный. В официальном документообороте использовалось как несклоняемое существительное, произносилось как «зэка́», с ударением на последний слог. В бытовой речи ударялось на первый слог и склонялось: зэк, зэка, зэку.

8

Лепила – доктор, врач, фельдшер (лагерный жаргон).

9

Третий оперативный (особый) отдел следил за политической благонадежностью и моральным состоянием заключенных, вольнонаемных и частей охраны. Выявлял госпреступления (измена, шпионаж, диверсия, терроризм), контрреволюционные организации и лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Начальник 3-го отдела (по-лагерному – «кум») подчинялся не начальнику лагеря, но напрямую 3-му отделу ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР).

10

ВГС – временное гражданское строительство, ПГС – постоянное.

11

Туфта (*жарг.*) – обман, туфтить – обманывать, часто – прикидываться, что работаешь.

12

При выполнении плана на 150 процентов один день срока зачитывался как три. То есть за один год можно было «отсидеть» три.

13

Параша – обычно емкость для фекалий. В данном случае параша – непроверенный слух (*жарг.*).

14

Усатый – самая распространенная кличка Сталина.

15

ВОХР – военизированная охрана МВД.

16

Бочата – часы.

17

Марафет – кокаин или другое наркотическое вещество.

По воровским понятиям на кон вместо денег можно было поставить человека. Проиграв, поставивший должен был его убить. Если он отказывался, его убивали самого за нарушение воровского закона.

19

Мазу́та – деньги.

МГА – Московская горная академия.

Крупные северные утки.

Ряж – бревенчатый сруб по типу колодезного, заполненный камнями. Этот пирс состоял более чем из тысячи таких «колодцев», и ставились они в ледяной морской воде.

Взмыры – вспучивание воды на поверхности из-за неровного дна и течения. Характерны для Енисея.

Балок – небольшой жилой домик вроде сарая. На Енисее и сейчас торговые ларьки называют балками.

Альвеер – ручной насос для жидкостей с рукояткой-рычагом.

Гарманжа – склад, где хранилась провизия общего пользования (общекотловая, общий котел). От французского «garde manger». Взявший что-то на складе записывал это в книгу учета.

Металлическая обшивка, возвышающаяся над палубой.
Собственно то, что обычно называется бортом.

Гак – буксирный крюк.

29

Идти корпусом – идти порожним, незагруженным судном.

Мерзлотник – подземное сооружение; здесь, в вечной мерзлоте – для хранения рыбы и мяса.

Олени-самцы сбрасывают рога каждую зиму. Весной рога начинают расти заново, в это время они неокостеневшие и покрыты шерстью.

Указ от 04.06.1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», от 5 до 25 лет лишения свободы.

Шаять – тлеть, медленно гореть.

Мелкашка – нарезное оружие мелкого калибра (5,6 мм).

Бутор – вещи, снаряжение, пожитки.

Каларгон – расстрельный штрафной изолятор в Норильске.

Деляна, или делянка, – место, отведенное для заготовки леса.

Балан – бревно.

39

Металлическое ограждение вокруг винта.

40

Веревочная лестница.

41

Кабельтов – около 200 метров.

Брашпиль – лебедка (на «Полярном» – паровая) для поднятия и опускания якорей и натяжения тросов.

43

Смычка – якорная цепь длиной 25 метров. Длину цепи считают смычками.

Курья – залив.

45

Тузлук – крепкий соляной раствор.

«Лесными братьями» называли партизан, действовавших против советской власти (для них – власти оккупантов) на территории прибалтийских республик.

Кукан – веревка или ветка, на которую надевают рыбу жабрами.

Придурок (*жарг.*) – заключенный на административной должности (нарядчики, писари, бухгалтеры, старшие бараков), а также лагерная обслуга – хлеборезы, повара, кладовщики, заведующий ларьком, баней, пекарней, посылочной, врачи и фельдшеры.

49

Что, ребята, никак убежали? (укр.)

Они какого-то кума ждут с особого отдела. Говорят, вы беглые!
(укр.)

Уходя в бега, особо циничные рецидивисты брали с собой одного «лишнего». Когда кончались продукты, его убивали и ели. На жаргоне это называлось «Уходить с коровой».

ШИЗО – штрафной изолятор.

Зимник – зимняя дорога по промерзшим топким местам.

Дорога, вымощенная деревом.

Полярная надбавка к зарплате выплачивалась по широте – в Ермаково она была десять процентов за каждый год работы – то есть через десять лет работы в тех условиях человек получал два оклада. В Дудинке десять процентов добавлялись каждые полгода. У заключенных никаких надбавок не было.

Деньги в те годы были большого размера, в половину тетрадного листа.

Па́узок – небольшое плоскодонное судно для мелководья или перевалки грузов с больших судов на берег.

Сплавная сеть не стоит на одном месте, ее растягивают поперек течения и сплавляют вниз.

Гагара – специальный поплавок для удержания сети в растянутом состоянии.

Корифан (*жарг.*) – друг, корифанить – дружить.

Многочасовой и многодневный допрос, когда следователи, сменяя друг друга, не дают подозреваемому спать.

Костеря – енисейское название небольшого осетра.

Вдоль тела осетра в несколько рядов идут жучки – острые костяные наросты на шкуре.

64

Плотная хлопчатобумажная куртка с капюшоном, защищающая от энцефалитных клещей.

Шуга – кристаллы льда, возникающие от переохлаждения воды перед ледоставом.

Активировать – составить акт (подписывался лагерным и производственным начальством) о невозможности наружных работ по причине, например, сильного мороза.

ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества. С 1940 по 1953 год в школу принималась и мобилизовывалась молодежь 14–18 лет для обучения рабочим специальностям. За побег давался срок.

Самоохрану набирали из заключенных-малосрочников. Они стояли на вышках с оружием. Надзирателями и в конвой их не ставили, чтобы не было контакта с другими заключенными. Жили они за зоной в отдельном от солдат бараке. Шли туда подловатые, не ужившиеся в зоне или желающие выжить любой ценой. За подстрел нарушителей им на полгода уменьшали срок. Самоохрану презирали и солдаты, и заключенные. Это был синоним подлеца.

Человек, сознательно причиняющий себе увечье, чтобы не работать в тяжелых условиях.

ЧТЗ – так, по имени Челябинского тракторного завода, называли обувь, подошва которой изготавливалась из старых автомобильных покрышек. Была широко распространена в лагерях.

Письма отправлялись через вольных друзей мимо лагерной цензуры обычной почтой.

Заклученный в зоне (или на этапе) мог быть одет как угодно. За зоной – только в казенном! Наличие на нем какой-либо гражданской одежды могло быть расценено, как попытка (подготовка) побега.

МГРИ – Московский геолого-разведочный институт.

МИИГАиКа – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

Моор Генрих Генрихович (1907–1958) – известный геолог. Был репрессирован. В конце тридцатых предсказал якутские алмазы.

Траппы – поля базальта магматического происхождения.

Прожарка – специальный домик или помещение при бане, где белье заключенных «прожаривалось» высокой температурой от насекомых.

БУР – барак усиленного режима.

Фитилями называли доходяг.

Сенник – матрас, набитый сеном.

81

Казачнуть – ограбить, обобрать.

Сявка – молодой неопытный вор.

Суки, или ссученные воры, – воры, нарушившие воровской закон и сотрудничающие с лагерным начальством. Были объявлены «честными» ворами вне закона. Всякий вор, увидев вора-суку, обязан был убить его. Тем же отвечали и суки. Часто с попустительства начальства. Этот период после войны известен как «сучья война».

ОРС – отдел районного снабжения.

Туруханская селедка – общепринятое на Енисее название ряпушки сибирской.

Сугудай – свежая рыба кусочками с уксусом, растительным маслом и луком. Встречается как «сагудай».

Черемша – дикорастущий, или медвежий, лук.

КС – коньяк старый – армянский коньяк 10-летней выдержки.

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь.

Караванка – домик у зимующего каравана судов для сторожа, хранения инструментов, утренней разрядки, обогрева и отдыха рабочих.

Выморозка – обнажение подводной части судна путем вырубания вдоль всей длины борта ямы во льду, не достигающей до воды. Судно держится ровно на ледяных перемышках в пустой ледяной чаше.

Гуталин, Гуталинщик – повсеместно принятые лагерные клички Сталина. Маленького роста, черноволосый и смуглый, он был похож на московских сапожников-ассирийцев. По другой версии, отец Сталина был сапожником.

Попка (*жарг.*) – часовой на вышке.

Маза (*жарг.*) – хорошие карты, вообще удача.

Макса – печень налима.

Вы курите?

Я могу так с вами говорить?

Вы сказали по-французски...

Да, говорил когда-то...

А нам можно так разговаривать? Вы – заключенный?

Наверное, можно, но лучше по-русски...

«У чистого фонтана».

Я не помню. Я пела по-французски?! А, ну да... А вы были во Франции?

104

Нет.

Да-а... как жалко, а вы можете мне помочь?

Не знаю.

Я хочу отправить письмо в посольство в Москве. Я пробовала, они не доходят, я думаю, если кто-то в Москве пойдет и отдаст его в посольство? У вас там есть знакомые?

Вы подумайте, пожалуйста.

Если вы можете и если вы захотите мне помочь! Не говорите никому, пожалуйста... если я так сделаю, я же никого тут не подведу? Все, я пойду, пока!

Мастырка – обман, намеренное причинение себе небольшого увечья для освобождения от работы.

Нары бывали двух типов – сплошные, когда люди плотно лежали друг к другу, без промежутков. И типа «вагонка» – эти были как в плацкартном купе, с проходами между ними.

Бацилла (*жарг.*) – масло, сало, любая жирная питательная еда.

Диспепсия (нарушение пищеварения), дерматит (заболевание кожи), деменция (приобретенное слабоумие) (*лат.*).

Апоневроз – широкая соединительнотканная пластинка, посредством которой мышцы прикрепляются к костям (*греч.*).

КМС – спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

Ханка (*жарг.*) – спиртное, выпивка.

Бикса (*жарг.*) – проститутка.

Французский луковый суп.

Тям – ум, мозг, понятливость, смышленность (*устар.*).

120

Майна – открытая вода среди льда.

ГУВС – Главное управление военного снабжения МВД СССР.

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР.

123

ГУЛЖДС – Главное управление лагерного железнодорожного строительства.

ГУПВИ – Главное управление МВД СССР по делам военнопленных и интернированных.

ГУББ – Главное управление МВД СССР по борьбе с бандитизмом.

ГУЛЛП – Главное управление лагерей лесной промышленности
МВД СССР.

УМТС – Управление материально-технического снабжения МВД СССР.

7-й специальный отдел для работы по делам «Енисейстроя» (штат – 20 человек, 19 из них офицеры).

129

Сбалансированный солевой раствор, близкий по составу к морской воде.

При вывозе трупа из зоны на вахте его обязательно «проверяли» – живой, неживой. Кололи чем-то или били киянками (деревянными молотками) по голове.

131

Садитесь, пожалуйста! (*фр.*)

Сельдюк – прозвище местных жителей Туруханского Енисея, от туруханской селедки – ряпушки.

Припухнет (*жарг.*) – отдохнет. Припухать – не работать, валять дурака, отдыхать, делать вид, что работаешь.

Петехия – кожная сыпь.

Абакумов – министр госбезопасности СССР.

Тугунок – мелкая, в пол-ладони размером сиговая рыбка.
Енисейский эндемик. Фантастически вкусная.

ДСО – добровольное спортивное общество.

Шубенки – меховые варежки.

139

Нифеля – чайная гуща, спитой чай.

Олень – то же, что и фраер (штымп, мужик, асмодей) – не блатарь, человек не воровского мира.

Маруха – женщина, бабенка, любовница, оформить – иметь половые отношения.

Жила там?

Нет. Я не говорю по-латышски.

Кипиш (*жарг.*) – суета, беспорядок, волнение, паника.

Пауты – оводы.

Принести вам рыбы, Григорий? *(нем.)*

Спасибо, Марта, не надо.

148

Одыбать – прийти в себя.

149

Сексот – секретный сотрудник.

Ильинский В. В. – арестован летом 1938-го, обвинен в контрреволюционной деятельности, вредительстве и шпионаже в пользу Англии, Германии и Японии. В октябре приговорен тройкой УНКВД к высшей мере. Ожидая расстрела, просидел в тюрьме до лета 1939-го. Дело прекращено краевой прокуратурой по реабилитирующим обстоятельствам. (Данные Красноярского общества «Мемориал».)

Потапов – арестован в апреле 1938 по делу Асеева А. Ф. (12 человек). Обвинен в контрреволюционной подрывной деятельности, антисоветской агитации. В мае 1938-го приговорен тройкой УНКВД Красноярского края к ВМН (высшей мере наказания). Расстрелян 9 августа 1938-го в Красноярске. Реабилитирован 8 декабря 1955 года комиссией Красноярского края по пересмотру дел (П-5181). (Данные Красноярского общества «Мемориал».)

В запуске – беременная. За месяц до окота коз прекращают доить.

Замастырить – сделать себе мастырку – мелкое увечье, чтобы не ходить на работу и попасть в лазарет.

Кошки – металлические «когти» для лазания по деревянному столбу.

«Горный дубняк» – сорокаградусная водочная горькая настойка.

Пункт 7 Указа уравнивал 58-ю статью с рецидивистами и не применял к ним амнистию.

Обращение Сталина к советскому народу 3 июля 1941 года начиналось словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!»

Эже (*казахск.*) – бабушка.

ОСО – Особое совещание – административный орган при НКВД (МГБ) СССР. Существовал с 1934 по 1953 год. Был наделен внесудебным правом признавать лиц общественно-опасными, в связи с чем без суда отправлять их в ссылку или заключать в исправительно-трудовой лагерь на срок до 25 лет. За все время существования Особым совещанием был осужден 442 531 человек, в том числе к расстрелу 10 101 человек, к лишению свободы 360 921 человек, к ссылке и высылке (в пределах страны) 67 539 человек.

Фомка (*жарг.*) – небольшой лом-гвоздодер, инструмент
взломщика – легко прятался в одежде.

Норильское кладбище для заключенных под горой Шмидтиха.

Table of Contents

[Annotation](#)

[Виктор Ремизов Вечная мерзлота](#)

[Вечная мерзлота](#)

[Послесловие](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)

[67](#)

[68](#)

[69](#)

[70](#)

[71](#)

[72](#)

[73](#)

[74](#)

[75](#)

[76](#)

[77](#)

[78](#)

[79](#)

[80](#)

[81](#)

[82](#)

[83](#)

[84](#)

[85](#)

[86](#)

[87](#)

[88](#)

[89](#)

[90](#)

[91](#)

[92](#)

[93](#)

[94](#)

[95](#)

[96](#)

[97](#)

[98](#)

[99](#)

[100](#)

[101](#)

[102](#)

[103](#)

[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)

[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)